ЭЖЕН СЮ

Парижские тайны

СЕМЕЙНЫЙ РОМАН

Парижские тайны

Эжен Сю

Аннотация
Парижские тайны
Часть I
Глава I. КАБАК «БЕЛЫЙ КРОЛИК»
Глава II. ЛЮДОЕДКА
Глава III. ИСТОРИЯ ПЕВУНЬИ
Глава IV. ИСТОРИЯ ПОНОЖОВЩИКА
Глава V. АРЕСТ
Глава VI. ТОМ И САРА
Глава VII. КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ
Глава VIII. ПРОГУЛКА
Глава IX. НЕОЖИДАННОСТЬ
Глава X. ФЕРМА
Глава XI. ПОЖЕЛАНИЯ
Глава XII. ФЕРМА
Глава XIII. МЭРФ И РОДОЛЬФ
Глава XIV. РАССТАВАНИЕ
Глава XV. СВИДАНИЕ
Глава XVI. ПОДГОТОВКА
Глава XVII. «КРОВОТОЧАЩЕЕ СЕРДЦЕ»
Глава XVIII. ПОГРЕБ
Глава XIX. БРАТ МИЛОСЕРДИЯ

Глава XX. РАССКАЗ ПОНОЖОВЩИКА
Глава XXI. НАКАЗАНИЕ
Часть II
Глава I. ЛИЛЬ-АДАН
Глава II. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Глава III. ОТЪЕЗД
Глава IV. ПОИСКИ
Глава V. СВЕДЕНИЯ О ФРАНСУА ЖЕРМЕНЕ
Глава VI. МАРКИЗ Д'АРВИЛЬ
Глава VII. ИСТОРИЯ ДАВИДА И СЕСИЛИ
Глава VIII. ДОМ НА УЛИЦЕ ТАМПЛЬ
Глава IX. ТРИ ЭТАЖА
Глава X. ГОСПОДИН ПИПЛЕ
Глава XI. ЧЕТЫРЕ ЭТАЖА
Глава XII. ТОМ И САРА
Глава XIII. СЭР ВАЛЬТЕР МЭРФ И АББАТ ПОЛИДОРИ
Глава XIV. ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Глава XV. БАЛ
Глава XVI. ЗИМНИЙ САД
Глава XVII. СВИДАНИЕ
Глава XVIII. АНГЕЛ МОЙ, КАК ТЫ ПОЗДНО ПРИЕХАЛА!
Глава XIX. СВИДАНИЯ
Глава XX. АНГЕЛ
Глава XXI. ИДИЛЛИЯ

Глава XXII. ТРЕВОГИ
Часть III
Глава I. ЗАСАДА
Глава II. ДОМ СВЯЩЕННИКА
Глава III. ВСТРЕЧА
Глава IV. ВЕЧЕР НА ФЕРМЕ
Глава V. ГОСТЕПРИИМСТВО
Глава VI. ОБРАЗЦОВАЯ ФЕРМА
Глава VII. НОЧЬ
Глава VIII. СОН
Глава IX. ПИСЬМО
Глава X. РАЗОБЛАЧЕНИЕ
Глава XI. МОЛОЧНИЦА
Глава XII. УТЕШЕНИЯ
Глава XIII. РАЗМЫШЛЕНИЯ
Глава XIV. ОВРАЖНАЯ ДОРОГА
Глава XV. КЛЕМАНС Д'АРВИЛЬ
Глава XVI. ПРИЗНАНИЯ
Глава XVII. МИЛОСЕРДИЕ
Глава XVIII. НИЩЕТА
Глава XIX. НЕОПЛАЧЕННЫЙ ДОЛГ
Глава X. СУДЕБНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Часть IV
Глава I. ЛУИЗА
Глава II. ХОХОТУШКА
Глава III. СОСЕД И СОСЕДКА

Глава IV. БЮДЖЕТ ХОХОТУШКИ
Глава V. ТАМПЛЬ
Глава VI. ОТКРЫТИЕ
Глава VII. ЯВЛЕНИЕ ПРИЗРАКА
Глава VIII. АРЕСТ
Глава IX. ИСПОВЕДЬ
Глава X. ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Глава XI. РАЗГОВОР
Глава XII. БЕЗУМИЕ
Глава XIII. ЖАК ФЕРРАН
Глава XIV. КОНТОРА
Глава XV. ВИКОНТ ДЕ СЕН-РЕМИ
Глава XVI. ЗАВЕЩАНИЕ
Глава XVII. ГРАФИНЯ МАК-ГРЕГОР
Глава XVIII. ШАРЛЬ РОБЕР
Глава XIX. ГЕРЦОГИНЯ ДЕ ЛЮСЕНЕ
Глава XX. ДОНОС
Часть V
Глава I. СОВЕТ
Глава II. ЛОВУШКА
Глава III. РАЗМЫШЛЕНИЯ
Глава IV. ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Глава V. МАЛЬЧИШНИК
Глава VI. СЕН-ЛАЗАР
Глава VII. МОН-СЕН-ЖАН
Глава VIII. ВОЛЧИЦА И ПЕВУНЬЯ

Глава IX. ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ
Глава X. ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА
Глава XI. ДРУЖБА ПОНЕВОЛЕ
Глава XII. СЕСИЛИ
Глава XIII. ПЕРВОЕ ГОРЕ ХОХОТУШКИ
Глава XIV. ДРУЖБА
Глава XV. ЗАВЕЩАНИЕ
Глава XVI. ОСТРОВ ЧЕРПАЛЬЩИКА
Часть VI
Глава I. РЕЧНОЙ ПИРАТ
Глава II. МАТЬ И СЫН
Глава III. ФРАНСУА И АМАНДИНА
Глава IV. МЕБЛИРОВАННЫЕ КОМНАТЫ
Глава V. ЖЕРТВЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ
Глава VI. УЛИЦА ШАЙО
Глава VII. ГРАФ ДЕ СЕН-РЕМИ
Глава VIII. ТРУДНЫЙ РАЗГОВОР
Глава IX. ОБЫСК
Глава X. ПРОЩАНИЕ
Глава XI. ВОСПОМИНАНИЯ
Глава XII. ЛОДКА
Часть VII
Глава I. КАКОЕ СЧАСТЬЕ — СВИДЕТЬСЯ ВНОВЬ!
Глава II. ВОЛЧИЦА И МАРСИАЛЬ
Глава III. ДОКТОР ГРИФФОН

Глава IV. ПОРТРЕТ
Глава V. АГЕНТ СЫСКНОЙ ПОЛИЦИИ
Глава VI. СЫЧИХА
Глава VII. В ПОДВАЛЕ
Глава VIII. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
Глава IX. СОСЕД И СОСЕДКА
Глава X. МЭРФ И ПОЛИДОРИ
Глава XI. КАРА
Глава XII. КОНТОРА НОТАРИУСА
Глава XIII. ЛЮБОСТРАСТНЫМ НЕ БУДЬ...
Глава XIV. ОКОШЕЧКО
Глава XV. ТЮРЬМА ФОРС
Часть VIII
Глава I. ОСТРОСЛОВ
Глава II. СОПОСТАВЛЕНИЕ
Глава III. МЕТР БУЛЯР
Глава IV. ФРАНСУА ЖЕРМЕН
Глава V. ХОХОТУШКА
Глава VI. ЛЬВИНЫЙ РОВ
Глава VII. СГОВОР
Глава VIII. РАССКАЗЧИК
Глава IX. СУХАРИК И ДУШЕГУБ
Глава X. ТОРЖЕСТВО СУХАРИКА И ГАРГУСА
Глава XI. НЕЗНАКОМЫЙ ДРУГ
Глава XII. ОСВОБОЖДЕНИЕ
Глава XIII. НАКАЗАНИЕ

Глава XIV. БАНК ДЛЯ БЕДНЫХ
Часть IX
Глава I. ЗАГОВОРЩИКИ
Глава II. РОДОЛЬФ И САРА
Глава III. МЕСТЬ
Глава IV. НЕИСТОВСТВА ЛЮБВИ
Глава V. ПРИЗРАКИ
Глава VI. БОЛЬНИЦА
Глава VII. ОБХОД
Глава VIII. МАДЕМУАЗЕЛЬ ДЕ ФЕРМОН
Глава IX. ЛИЛИЯ-МАРИЯ
Глава X. НАДЕЖДА
Глава XI. ОТЕЦ И ДОЧЬ
Глава XII. ПРЕДАННОСТЬ
Глава XIII. СВАДЬБА
Глава XIV. БИСЕТР
Глава XV. ГРАМОТЕЙ
Глава XVI. МОРЕЛЬ-ГРАНИЛЬЩИК
Часть X
Глава I. ПРИГОТОВЛЕНИЕ К КАЗНИ
Глава II. МАРСИАЛЬ И ПОНОЖОВЩИК
Глава III. ПЕРСТ БОЖИЙ
Эпилог
Глава I. ГЕРОЛЬШТЕЙН
Глава II. ГЕРОЛЬШТЕЙН
Глава III. ГЕРОЛЬШТЕЙН

Глава IV. ПРИНЦЕССА АМЕЛИЯ
Глава V. ВОСПОМИНАНИЯ
Глава VI. ПРИЗНАНИЕ
«VENI, CREATOR OPTIME»
Глава VII. ИСПОВЕДЬ
Глава последняя. РОДОЛЬФ К КЛЕМАНС

Аннотация

В популярном романе известного французского писателя Эжена Сю (1804 - 1857) даны картины жизни богачей и бедняков - высшего света и "дна" Парижа. Многоплановое повествование, авантюрный увлекательный сюжет романа вызывают неизменный интерес читателей ...

Маркиз де Сомбрей случайно покалечил рабочего, переходившего улицу перед его каретой. Маркиз благороден и отдает на лечение бедняги кошелек с золотом. Но раненый умирает, а его дочь прелестна, и сразу же появляются желающие воспользоваться ее красотой. Маркиз не может допустить, чтобы его друг использовал девушку как проститутку. Он переодевается в рабочую одежду и отправляется в народ…

По убеждению Эжена Сю, автора романа "Парижские тайны", в преступлениях и пороках пролетариата виновато все общество. Автор в романе выступает пламенным защитником интересов низшего класса, обличает аристократию и духовенство как виновников

страданий народа. Роман интересен литературной формой, драматизмом изложения, сложностью интриги.

Парижские тайны

Часть I

Глава I.
КАБАК «БЕЛЫЙ КРОЛИК»

Тринадцатого ноября 1838 года, холодным дождливым вечером, атлетического сложения человек в сильно поношенной блузе перешел Сену по мосту Менял и углубился в лабиринт темных, узких, извилистых улочек Сите, который тянется от Дворца правосудия до собора Парижской богоматери.

Хотя квартал Дворца правосудия невелик и хорошо охраняется, он служит прибежищем и местом встреч всех парижских злоумышленников. Есть нечто странное или, скорее, фатальное в том, что этот грозный трибунал, который приговаривает преступников к тюрьме, каторге и эшафоту, притягивает их к себе как магнит.

Итак, в ту ночь ветер с силой врывался в зловещие улочки квартала; белесый, дрожащий свет фонарей, качавшихся под его порывами, отражался в грязной воде, текущей посреди покрытой слякотью мостовой.

Обшарпанные дома смотрели на улицу своими немногими окнами в трухлявых рамах почти

без стекол. Темные крытые проходы вели к еще более темным, вонючим лестницам, настолько крутым, что подниматься по ним можно было лишь с помощью веревки, прикрепленной железными скобами к сырым стенам.

Первые этажи иных домов занимали лавчонки угольщиков, торговцев требухой или перекупщиков завалявшегося мяса.

Несмотря на дешевизну этих товаров, витрины лавчонок были зарешечены: так боялись торговцы дерзких местных воров.

Человек, о котором идет речь, свернул на Бобовую улицу, расположенную в центре квартала, и сразу убавил шаг: он почувствовал себя в родной стихии.

Ночь была черна, дождь лил как из ведра, и сильные порывы ветра с водяными струями хлестали по стенам домов.

Вдалеке, на часах Дворца правосудия, пробило десять.

В крытых арочных входах, сумрачных и глубоких, как пещеры, прятались в ожидании клиентов гулящие девицы и что-то тихонько напевали.

Одну из них, вероятно, знал мужчина, о котором мы только что говорили; неожиданно

остановившись, он схватил ее за руку повыше локтя.

— Добрый вечер, Поножовщик!

Так был прозван на каторге этот недавно освобожденный преступник.

— А, это ты, Певунья, — сказал мужчина в блузе, — ты угостишь меня купоросом[1], а не то попляшешь без музыки!

— У меня нет денег, — ответила женщина, дрожа от страха, ибо этот человек наводил ужас на весь квартал.

— Если твой шмель отощал[2], Людоедка даст тебе денег под залог твоей хорошенькой рожицы.

— Господи! Ведь я уже должна ей за жилье и за одежду.

— А, ты еще смеешь рассуждать! — крикнул Поножовщик.

И наугад в темноте он так ударил кулаком несчастную, что она громко вскрикнула от боли.

---

[1] Notes: 1

Водкой.

[2] Notes: 2

Если твой кошелек пуст.

Мы не долго будем злоупотреблять этим отвратительным жаргоном и ограничимся впоследствии лишь наиболее характерными его примерами.

Это примечание, как и все остальные, принадлежат автору романа.

Перевод арготических слов и выражений в 1-й и 2-й частях «Парижской правды» сделан Я.З.Лесюком.

— Это не в счет, девочка; всего только небольшой задаток...

Не успел злодей произнести эти слова, как вскрикнул, непристойно ругаясь:

— Кто-то уколол меня в руку; это ты поцарапала меня ножницами!

И, рассвирепев, он бросился вслед за Певуньей по темному проходу.

— Не подходи, не то я выколю тебе шары ножницами[3], — сказала она решительно. — Я ничего тебе не сделала плохого, за что ты ударил меня?

— Погоди, сейчас узнаешь, — воскликнул разбойник, продвигаясь во мраке по проходу. — А! Поймал! Теперь ты у меня попляшешь! — прибавил он, схватив своими ручищами чье-то хрупкое запястье.

— Нет, это ты попляшешь! — проговорил чей-то мужественный голос.

— Мужчина? Это ты, Краснорукий? Отвечай, да не сжимай так сильно руку... Я зашел в твой дом... Возможно, что это ты...

— Я не Краснорукий, — ответил тот же голос.

— Ладно, раз ты не друг, то наземь брызнет

---

[3] Notes: 3
Выколю тебе глаза своими ножницами.

вишневый сок[4], — воскликнул Поножовщик. — Но чья же это рука, в точности похожая на женскую?

— А вот и другая, такая же, — ответил незнакомец.

И внезапно эта тонкая рука схватила Поножовщика, и он почувствовал, как твердые, словно стальные, пальцы сомкнулись вокруг его горла.

Певунья, прятавшаяся в конце крытого прохода, поспешно поднялась по лестнице и, задержавшись на минуту, крикнула своему защитнику:

— О, спасибо, сударь, что заступились за меня. Поножовщик хотел меня поколотить за то, что я не могу дать ему денег на водку. Я отомстила, но вряд ли сильно его поцарапала; ножницы у меня маленькие. Может, он и пошутил. Теперь же, когда я в безопасности, не связывайтесь с ним. Будьте осторожны: ведь это Поножовщик!

Видимо, этот человек внушал ей непреодолимый страх.

— Вы что ж, не поняли меня? Я сказала вам, что это Поножовщик! — повторила Певунья.

— А я громщик, и не из зябких[5], — ответил

---

[4] Notes: 4
Прольется кровь.

[5] Notes: 5
Разбойник, и не из трусливых.

неизвестный. Потом голоса смолкли. Слышался лишь шум ожесточенной борьбы.

— Видать, ты хочешь, чтоб я тебя остудил?[6] — воскликнул разбойник, всячески пытаясь вырваться из рук своего противника, необычайная сила которого изумляла его. — Погоди... Погоди... Я заплачу тебе и за Певунью и за себя, — прибавил он, скрежеща зубами.

— Заплатишь кулачными ударами? Ну что ж... Сдача для тебя найдется... — ответил неизвестный.

— Отпусти горло, не то я откушу тебе нос, — прошептал Поножовщик сдавленным голосом.

— Нос у меня слишком мал, приятель, ты не разглядишь его в темноте!

— Тогда выйдем под висячий светник[7]

— Идем, — согласился неизвестный, — посмотрим, кто кого.

И, подталкивая Поножовщика, которого он все еще держал за шиворот, неизвестный оттеснил его к двери и с силой вытолкал на улицу, слабо освещенную фонарем.

Разбойник споткнулся, но тут же выпрямился

---

[6] Notes: 6
Убил?

[7] Notes: 7
Фонарь.

и яростно накинулся на незнакомца, стройная и тонкая фигура которого не предвещала проявленной им незаурядной силы.

После недолгой борьбы Поножовщик, человек атлетического сложения, весьма искушенный в кулачных боях, называемых в просторечии «саватой», нашел, как говорится, на себя управу...

Неизвестный с поразительным проворством дал ему подножку и дважды повалил на землю.

Все еще не желая признать превосходство своего противника, Поножовщик снова напал на него, рыча от ярости.

Тут защитник Певуньи внезапно изменил прием и обрушил на голову разбойника град ударов, да таких увесистых, словно они были нанесены железными рукавицами.

Этот прием, который вызвал бы восхищение и зависть самого Джека Тернера, прославленного лондонского боксера, был настолько чужд правилам «саваты», что оглушенный Поножовщик в третий раз рухнул на мостовую, прошептав:

— Ну, я накрылся[8].

— Ведь он же сдается, сжальтесь над ним! Не приканчивайте его! — проговорила Певунья, ко-

---

[8] Notes: 8
Признаю себя побежденным, с меня довольно.

торая во время этой драки робко вышла на порог дома Краснорукого. — Но кто ж. вы такой, сударь? — спросила она с удивлением. — Ведь от улицы Святого Элигия до собора Парижской богоматери нет человека, который мог бы совладать с Поножовщиком, разве что Грамотей; спасибо, если бы не вы, Поножовщик наверняка избил бы меня.

Вместо того чтобы ответить девушке, неизвестный внимательно вслушивался в ее голос.

Никогда еще его слух не ласкал такой нежный, свежий, серебристый голосок. Он попытался разглядеть лицо Певуньи, но ночь была слишком темна, а свет фонаря слишком слаб.

Пролежав несколько минут без движения, Поножовщик пошевелил ногами, затем руками и наконец приподнялся.

— Осторожно! — воскликнула Певунья, снова прячась в крытом проходе, куда она увлекла и своего покровителя, — Осторожно, как бы он не вздумал отомстить вам.

— Не беспокойся, девочка, если он захочет добавки, я могу еще раз угостить его.

Разбойник услышал эти слова.

— Спасибо... У меня и так башка как пивной котел, — сказал он неизвестному. — На сегодня с меня хватит. В другой раз не откажусь, если

только разыщу тебя.

— А, тебе мало? Ты смеешь жаловаться? — угрожающе воскликнул неизвестный. — Разве я свергузил[9] в драке?

— Нет, нет, я не жалуюсь, ты угостил меня на славу... Ты еще молод, но куражу тебе не занимать, — сказал Поножовщик мрачно, но с тем уважением, какое физическая сила неизменно внушает людям его сорта. — Ты отколошматил меня за милую душу. Так вот, кроме Грамотея, который может заткнуть за пояс трех силачей, никто до сих пор, поверь, не мог похвалиться, что поставил меня на колени.

— Ну и что из этого?

— А то, что я нашел человека сильнее себя. Ты тоже найдешь такого не сегодня, так завтра... Всякий находит на себя управу... Ну, а коли не встретится такой человек, то есть всемогутный[10], так, по крайней мере, долбят хряки[11]. Ясно одно: теперь, когда ты положил Поножовщика на обе лопатки, можешь делать в Сите все

---

[9] Notes: 9
Нечестно дрался с тобой.

[10] Notes: 10
Бог.

[11] Notes: 11
Священники.

что тебе вздумается. Все девки будут к твоим услугам: людоеды и людоедки не посмеют отказать тебе в кредите... Но кто ж ты, в конце концов? Ты знаешь музыку[12], как свой брат. Если ты кокарь[13], нам с тобой не по пути. Я одного малого пером исписал[14], что правда, то правда. Стоит мне прийти в ярость, как кровь ударяет в голову, и я хватаюсь за нож... Зато ж оплатил свою любовь поиграть ножом пятнадцатью годами кобылки[15]. Мой срок кончился, я освобожден, чист перед дворниками[16], и я никогда не лямзил[17], — спроси у Певуньи.

— Правда, он не вор, — сказала девушка.

— В таком случае, пойдем выпьем по стаканчику, и ты узнаешь, кто я такой. Идем же и позабудем о драке.

---

[12] Notes: 12
Ты говоришь на арго.

[13] Notes: 13
Вор.

[14] Notes: 14
Зарезал человека.

[15] Notes: 15
Каторги.

[16] Notes: 16
Судьями.

[17] Notes: 17
Не воровал.

— Ладно, позабудем о драке, ведь ты мой победитель, признаю это; ты здорово владеешь кулаками... А этот град ударов в конце! Дьявольщина! Как они были отработаны! Ничего похожего я еще не испытывал... Какой-то новый прием... Ты должен обучить меня.

— Ну что ж, попробуем еще разок, как только ты захочешь.

— Только не на мне, слышишь, не на мне! — воскликнул Поножовщик со смехом. — У меня до сих пор голова гудит. Значит, ты знаком с Краснорукими, раз был в крытом проходе его дома!

— С Краснорукими? — переспросил неизвестный, удивленный вопросом, и добавил равнодушно: — Понятия не имею, кто такой этот Краснорукий; вероятно, не он один живет в этом доме?

— Вот именно, что один... У Краснорукого есть причины не любить соседей, приятель, — сказал Поножовщик, как-то странно ухмыляясь.

— Что ж, тем лучше для него, — заметил неизвестный, которому, видно, претил этот разговор. — Для меня что Краснорукий, что Чернорукий — один черт. — Я о таких и не слыхивал. Шел дождь, я забежал в какой-то проход, чтобы не промокнуть. Ты хотел побить эту несчастную девушку, а вышло, что я побил тебя, вот и весь сказ.

— Правильно, твои дела меня не касаются; те, кто нуждается в Краснoруком, не кричат об этом на всех перекрестках. Позабудь о нем.

Обратившись затем к Певунье, он сказал:

— Честное слово, ты славная девушка: я шлепнул тебя, ты ударила меня ножницами — пошутили, и ладно. А ты хорошо сделала, что не подзуживала этого полоумного, когда я свалился к его ногам и мне уже было не до драки... Пойдешь выпить чего-нибудь с нами? Победитель платит! Кстати, приятель, — обратился он к неизвестному, — вместо того чтобы дерябнуть купоросу, не лучше ли скоротать вечеруху у хозяйки «Белого кролика»? Это недурной кабак.

— По рукам... я плачу за ужин. Пойдешь с нами, Певунья? — спросил он у девушки.

— Спасибо, сударь, — ответила она, — я была очень голодна, а от вашей потасовки меня чуть не стошнило.

— Полно, полно, аппетит приходит во время еды, — проговорил Поножовщик, — к тому же жратва в «Белом кролике» что надо.

И все трое в полном согласии направились в таверну.

Во время борьбы Поножовщика с неизвестным какой-то угольщик огромного роста, прита-

ившийся в крытом проходе соседнего дома, с беспокойством наблюдал за дракой, не помогая, как мы знаем, ни одному из противников.

Неизвестный, Поножовщик и Певунья направились к таверне, угольщик последовал за ними.

Когда разбойник и Певунья вошли в кабачок, к неизвестному, шедшему последним, приблизился угольщик и сказал ему по-английски тихо, почтительно, но с явной укоризной:

— Будьте осторожны, монсеньор!

Неизвестный пожал плечами и присоединился к своим спутникам.

Угольщик остался на улице у двери кабака: напрягая слух, он время от времени поглядывал в щелку толстого слоя испанских белил, которыми в подобных заведениях покрывают внутреннюю сторону стекол.

Глава II.
ЛЮДОЕДКА

Кабак «Белый кролик», расположенный почти на середине Бобовой улицы, занимает нижний этаж высокого дома, фасад которого прорезан двумя опускными окнами. Над дверью, ведущей в темный сводчатый проход, висит продолговатый фонарь, на треснутом стекле которого выведены красной краской следующие слова: «Здесь можно переночевать».

Поножовщик, неизвестный и Певунья вошли в таверну. Представьте себе обширную залу под низким закопченным потолком с выступающими черными балками, освещенную красноватым светом дрянного кенкета. На оштукатуренных стенах видны кое-где непристойные рисунки и изречения на арго.

Земляной пол, пропитанный селитрой, покрыт грязью; охапка соломы лежит вместо ковра у хозяйской стойки, находящейся справа от двери под кенкетом.

По бокам залы расставлены по шести столов, прочно приделанных к стенам, так же как и ска-

мейки для посетителей. В глубине залы — дверь на кухню; справа от стойки выход в коридор, который ведет в трущобу, где постояльцы могут провести ночь за три су с человека.

Теперь несколько слов о Людоедке и о посетителях ее кабака.

Прозвище хозяйки — «Матушка Наседка»; у нее три занятия: сдавать койки бездомным, содержать кабак и давать напрокат одежду несчастным девушкам, которыми кишат эти омерзительные улицы.

Хозяйке лет сорок. Она высока ростом, крепка, дородна, красноморда, а на подбородке ее торчат жесткие волоски. Грубый голос Людоедки, ее толстые руки и широченные ладони говорят о незаурядной силе; поверх чепца она носит старый красно-желтый платок и завязывает на спине скрещенную на груди шаль из кроличьей шерсти; подол ее зеленого шерстяного платья доходит до черных сабо, не раз опаленных на жаровне, что стоит у ее ног; цвет лица Людоедки смуглый с багровым румянцем, говорящим о злоупотреблении ликерами. Плакированная свинцом стойка заставлена жбанами с набитыми на них металлическими обручами и разной величины оловянными кружками; рядом на пол-

ке бросаются в глаза несколько бутылок в виде фигуры Императора во весь рост. Налитые в них розовые или зеленые напитки с примесью спирта известны под названием «Идеальная любовь» и «Утешение».

Жирный черный кот с желтыми глазами, свернувшийся клубком возле хозяйки, кажется хранителем этих мест.

А в силу контраста, который показался бы немыслимым всякому, кто не знает, что человеческая душа — книга за семью печатями, из-за старых часов с кукушкой торчит ветка освященного букса, купленного Людоедкой в церкви в день светлого воскресения.

Двое мужчин в отрепьях, со зловещими рожами и взъерошенными бородами, почти не притронулись к поданному им вину; они переговаривались между собой, то и дело тревожно озираясь.

Один из них с очень бледным, почти бескровным лицом часто надвигал до самых бровей свой засаленный греческий колпак и тщательно прятал левую руку, стараясь по возможности скрыть ее, даже копа приходилось ею пользоваться.

Неподалеку от них сидел юноша, едва достигший шестнадцати лет, с безбородым, худым,

болезненным лицом и угасшим взглядом; его длинные черные волосы падали на плечи; этот подросток — олицетворение ранних пороков — курил короткую пенковую трубку. Привалившись спиной к стене, заложив руки в карманы блузы и вытянув ноги вдоль скамьи, он вынимал изо рта трубку лишь для того, чтобы присосаться к горлышку стоящей перед ним бутылки водки.

Другие завсегдатаи кабачка — и мужчины и женщины — ничем не привлекали внимания; у одних были свирепые, у других отупевшие лица, здесь шло грубое., непристойное веселье, там стояла мрачная и гнетущая тишина.

Таковы были посетители кабака, когда неизвестный, Поножовщик и Певунья вошли в залу.

Все трое играют такую важную роль в нашем повествовании, характер каждого из них столь ярок и своеобразен, что мы более подробно остановимся на каждом из них.

Поножовщик — человек высокого роста и атлетического телосложения; у него светлые, белесоватые волосы, густые брови и огромные ярко-желтые бакенбарды.

Загар, нищета, тяжкий труд на каторге придали лицу Поножовщика темный, желтовато-коричневый цвет, свойственный людям этого сорта.

Несмотря на устрашающее прозвище, черты его лица выражают не жестокость, а скорее необузданную отвагу, хотя задняя, чрезмерно развитая часть черепа свидетельствует о чувственности и склонности к убийству.

На Поножовщике потрепанная синяя блуза и плисовые штаны, видимо, бывшие некогда зелеными, ибо цвет их трудно различить под толстым слоем грязи.

В силу какой-то странной аномалии личико Певуньи принадлежит к тому целомудренному, ангелоподобному типу, который остается неизменным среди разврата, как будто человеческое существо бессильно изгладить своими пороками печать благородства, запечатленную богом на челе иных избранных натур.

Певунье шестнадцать с половиной лет,

У нее чистый, белоснежный лоб и лицо безупречно овальной формы; длинные, слегка загнутые ресницы наполовину затеняют ее большие голубые глаза. Пушок ранней юности покрывает округлые румяные щеки. Ее алый ротик, тонкий и прямой нос, подбородок-с ямочкой ласкают взор своим изяществом. На ее нежных, как атлас, висках закругляются две великолепные пепельные косы, которые, оставив на виду розовые, как

лепестки роз, мочки ушей, исчезают под тугими складками ситцевого платка в голубую клетку, завязанного по-простонародному надо лбом.

Ее красивая шейка ослепительной белизны охвачена маленьким коралловым ожерельем. Под платьем из коричневого бомбазина, слишком для нее широким, угадывается тонкая, округлая и гибкая, как тростник, талия, дешевенькая оранжевая шаль с зеленой бахромой перекрещивается на ее груди.

Голос Певуньи недаром поразил ее неизвестного защитника. В самом деле, этот нежный, звонкий, мелодичный голос обладал такой чарующей силой, что проходимцы и падшие женщины, среди которых жила эта обездоленная девушка, нередко умоляли ее спеть что-нибудь, слушали песню, затаив дыханье, и прозвали девушку Певуньей.

У Певуньи имелось еще одно прозвище, которым она была обязана девственной чистоте своего облика, а именно Лилия-Мария, что означает на жаргоне — Пречистая.

Попробуем передать читателю испытанное нами страшное чувство, когда среди мерзких жаргонных слов, говорящих о краже, крови, убийстве, слов, еще более отвратительных и

страшных, чем те понятия, которые они выражают, мы обнаружили метафору «Лилия-Мария», проникнутую поэзией и наивным благочестием.

Так и кажется, что видишь прекрасную лилию, расцветшую на ниве злодеяний и возносящую к небу свою белоснежную душистую чашечку!

Диковинный контраст, странная случайность! Создатели этого жуткого языка поднялись здесь до истинной поэзии, наделив особым очарованием тот образ, который жил в их душе.

Размышляя о других контрастах, которые нередко нарушают ужасающее однообразие жизни закоренелых преступников, невольно приходишь к мысли, что иные, так сказать, врожденные принципы морали и благочестия зажигают порой яркий свет в самых черных душах. Негодяи без проблеска человечности довольно редки.

Защитнику Певуньи (назовем неизвестного Родольфом) было на вид лет тридцать пять — тридцать шесть; ни средний рост его, ни стройная, на редкость пропорциональная фигура не предвещали, казалось, той поразительной силы, которую он проявил в борьбе с атлетически сложенным Поножовщиком.

Определить подлинный характер Родольфа

нелегко — столько странных противоречий в его внешности.

Черты его правильны, красивы, быть может, даже слишком красивы для мужчины.

Матовая бледность лица, большие желтовато-карие глаза, почти всегда полуприкрытые и окруженные синеватой тенью, небрежная походка, рассеянный взгляд, ироническая улыбка — все это, казалось, говорило о человеке пресыщенном, здоровье которого подорвано жизнью в роскоши и аристократическими излишествами.

И однако, своей изящной белой рукой Родольф только что сразил одного из самых сильных и грозных разбойников этого разбойничьего квартала.

Мы употребили выражение «аристократические излишества» потому, что опьянение благородным вином резко отличается от опьянения каким-нибудь отвратительным, смешанным со спиртом пойлом, словом, потому, что в глазах наблюдательного человека излишества различны не только по своим проявлениям, но и по самой природе и сущности.

Иные складки лба изобличали в Родольфе глубокого мыслителя, человека преимущественно созерцательного склада... и вместе с тем твердые

очертания рта, властная, смелая посадка головы говорили о человеке действия, чья отвага и физическая сила неизменно оказывают неодолимое влияние на толпу.

Нередко в его глазах сквозила глубокая печаль, а выражение лица говорило о сердечном участии и трогательной жалости. А иной раз взгляд Родольфа становился хмурым, злым, в лице появлялось столько презрения и жестокости, что не верилось, будто этому человеку присущи добрые чувства.

Читатель узнает из продолжения этого повествования, какого рода события и мысли вызывали у Родольфа столь противоречивые чувства.

В борьбе с Поножовщиком он не проявил ни гнева, ни ненависти к недостойному противнику. Уверенный в своей силе, в своей ловкости и проворстве, он испытал лишь насмешливое презрение к неотесанному верзиле, который не мог противостоять ему.

В дополнение к портрету Родольфа скажем, что у него были светло-каштановые волосы такого же оттенка, как и дугообразные, благородного рисунка брови и тонкие, шелковистые усы; его немного выступавший вперед подбородок был тщательно выбрит.

Впрочем, благодаря тому, что Родольф прекрасно усвоил манеры и язык окружающей среды, он ничем не выделялся среди завсегдатаев Людоедки. Его шея столь же совершенной формы, что и у индийского Бахуса[18], была небрежно повязана черным галстуком, концы которого ниспадали на выцветшую синюю блузу. Его грубые башмаки были снабжены двойным рядом шипов, словом, за исключением рук Родольфа с их редким изяществом, ничто во внешности этого человека не бросалось в глаза; только решительный вид и, если можно так выразиться, спокойная отвага выделяли его среди посетителей кабака.

Войдя в кабак, Поножовщик положил свою широкую волосатую руку на плечо Родольфа и провозгласил:

— Приветствуйте победителя Поножовщика!.. Да, друзья, этот молодчик только что отдубасил меня... Предупреждаю драчунов: не связывайтесь с ним, не то останетесь со сломанной поясницей или с расколотым кочаном[19]. Грамотей и тот найдет на себя управу... Ручаюсь, голову даю на

[18] Notes: 18

Античные статуи Бахуса, установленные в Ватикане и в Лувре (Примечания переводчика).

[19] Notes: 19

Головой.

отсечение!

При этих словах все присутствующие — от хозяйки до последнего завсегдатая кабака — взглянули с робким уважением на победителя Поножовщика.

Одни, отодвинув стаканы и кувшины на середину стола, поспешили предложить место Родольфу на тот случай, если он пожелает сесть рядом с ними; другие подошли к Поножовщику, чтобы потихоньку выведать у него, кто этот незнакомец, что так победоносно появился в их кругу.

Наконец Людоедка обратилась к Родольфу с любезнейшей улыбкой и — вещь неслыханная, невообразимая, баснословная на пиршествах в «Белом кролике» — встала из-за стойки, чтобы выслушать пожелания своего гостя и узнать, что следует подать пришедшей с ним компании — такого внимания Людоедка никогда не оказывала даже пресловутому Грамотею, гнусному негодяю, наводившему страх на самого Поножовщика.

Один из двух мужчин, о которых мы уже говорили выше (человек с бескровным зловещим лицом, то и дело надвигавший на лоб свой греческий колпак и прятавший левую руку), наклонился к Людоедке, старательно вытиравшей стол, предназначенный Родольфу, и хрипло

спросил:

— Грамотей не приходил сегодня?

— Нет, — ответила мамаша Наседка.

— А вчера?

— Вчера приходил.

— Один или со своей новой барулей[20]?

— Это еще что? Уж не принимаешь ли ты меня за легавую[21]? Все спрашиваешь да выспрашиваешь! Неужто, по-твоему, я капаю[22] на своих клиентов? — грубо возразила хозяйка.

— У меня сегодня встреча с Грамотеем, — ответил разбойник. — Дельце одно наклевывается.

— Хорошенькое, видно, у вас дельце, мокрушники[23], другого названия вам нет!

— Мокрушники — раздраженно повторил ее собеседник. — А кто, как не они, кормят тебя.

— Заткнись! Оставь меня в покое! — вскричала Людоедка, угрожающе подняв над его головой жбан с вином.

---

[20] Notes: 20
Женой.

[21] Notes: 21
Доносчицу

[22] Notes: 22
Я выдаю.

[23] Notes: 23
Убийцы.

Недовольно ворча, тот уселся на свое место. Войдя в таверну Людоедки вслед за Поножовщиком, Лилия-Мария дружески кивнула юнцу с испитым лицом. А Поножовщик сказал ему

— Ну как, Крючок, ты по-прежнему хлещешь купорос?

— Да, по-прежнему. По мне, уж лучше не хрящать вовсе и носить опорки на ходунах, чем обходиться без купороса в хомуте и бокуна в файке[24], — ответил юнец надтреснутым голосом, не меняя позы и пуская густые клубы табачного дыма.

— Добрый вечер, мамаша Наседка, — проговорила Певунья.

— Добрый вечер, Лилия-Мария, — ответила Людоедка, подойдя к девушке, чтобы осмотреть одежду, которую позволила ей поносить. — Одно удовольствие давать тебе вещи напрокат... — сказала она хмуро, придирчиво оглядев несчастную, — ты чистенькая, как кошечка... Зато я уж нипочем не доверила бы эту красивую шаль таким негодницам, как Вертихвостка и Мартышка. Правда, это я натаскала тебя, когда ты вышла из тюрьмы... и, надо признаться, во всем старом

[24] Notes: 24

Голодать и ходить в стоптанных башмаках, чем оставаться без водки и без табака в трубке.

городе нет у меня лучшей выученицы.

Певунья опустила голову и, казалось, отнюдь не была горда похвалами мамаши Наседки.

— Что это, мамаша, — обратился Родольф к Людоедке. — Никак, за вашими часами с кукушкой торчит ветка букса?

И он указал на освященную ветку, заложенную за старые часы.

— Да неужто мы должны жить как язычники? — простодушно заметила мерзкая баба.

Затем, обратившись к Марии, она спросила:

— Скажи-ка, Певунья, не споешь ли ты нам одну из своих песенок?

— Нет, нет, мамаша Наседка. Прежде всего мы поедим, — вмешался Поножовщик.

— Что прикажете подать вам, приятель? — спросила Людоедка у Родольфа, чье расположение ей хотелось завоевать, а может, и воспользоваться при случае его поддержкой.

— Спросите у Поножовщика, мамаша, он угощает, я плачу.

— Так чего ты хочешь на ужин, бездельник? — обратилась к нему хозяйка.

— Два литра вина по двенадцати сантимов,

большую порцию бульонки[25] и три мягких краюхи хлеба, — сказал Поножовщик после недолгого размышления.

— Вижу, ты обжора, как и прежде. И всему предпочитаешь бульонку!

— Ну как, Певунья, — спросил Поножовщик, — ты еще не проголодалась?

— Нет, Поножовщик.

— Может быть, тебе заказать что-нибудь другое, дитя? — спросил Родольф.

— О нет, спасибо...Мне все еще не хочется есть...

— Да взгляни ж ты на моего победителя, — проговорил с громким смехом Поножовщик, указывая на Родольфа. — Или ты не смеешь состроить ему глазки?

Певунья ничего не ответила, покраснела и опустила голову.

Вскоре хозяйка собственноручно принесла и поставила на стол жбан вина, хлеб и миску бульонки — кушанье, которое мы не в силах описать, хотя оно, видимо, пришлось по вкусу Поножовщику.

---

[25] Notes: 25

Бульонка — мешанина из мясных, рыбных и других остатков со стола слуг аристократических домов. Нам неловко приводить такие подробности, но они дают более полную картину подаваемых в кабаке блюд.

— Что за блюдо! Клянусь богом! — воскликнул он. — Что за блюдо! Чего тут только нет, еда на все вкусы, и для скоромников и для постников, для сластен и для любителей соли и перца... Ребрышки дичи, рыбьи хвосты, косточки от отбивных котлет, кусочки паштета, поджарка, овощи, головки вальдшнепов, сыр, зеленый салат, бисквит. Да ешь ты, Певунья... А как приготовлено! Уж не кутнула ли ты ненароком сегодня утром?

— Кутнула? Как бы не так! Я съела то же, что и всегда: на одно су молока и на одно су хлеба.

Появление в кабаке нового лица прервало все разговоры и всех заставило поднять головы.

Это был человек средних лет, крепко сбитый, подвижной, в куртке и фуражке. Знакомый с обычаями кабака, он заказал себе ужин на принятом здесь языке.

Хотя новоприбывший не принадлежал к завсегдатаям кабака, на него вскоре перестали обращать внимание: мнение о нем было составлено.

Чтобы узнать «своего» человека, разбойникам, как и честным людям, достаточно одного взгляда.

Вновь прибывший сел так, чтобы ему было удобно наблюдать за двумя субъектами со зло-

вещими лицами, один из которых справлялся о Грамотее. Он и в самом деле не спускал с них глаз, но их столик стоял так, что они не замечали этой слежки за ними.

Временно прерванные разговоры возобновились. Несмотря на свою отвагу, Поножовщик обращался с Родольфом почтительно, не смел говорить ему «ты».

— Право слово, — сказал он Родольфу, — хотя я и получил хорошую трепку, а все же польщен, что встретился с вами.

— Потому, что заказанное блюдо пришлось тебе по вкусу?..

— Не только... Главное потому, что мне не терпится увидеть вашу потасовку с Грамотеем: он всегда избивал меня, и я буду рад... когда его тоже изобьют.

— Вот еще, неужто ты думаешь, что ради твоего удовольствия я наброшусь, как бульдог, на Грамотея?

— Нет, он сам набросится на вас, как только узнает, что вы сильнее его, — ответил Поножовщик, потирая руки.

— У меня в запасе достаточно разменной монеты, чтобы выдать ему все, что полагается, — небрежно заметил Родольф и, помолчав, доба-

вил: — Погода нынче стоит собачья... Не заказать ли нам водки с сахаром? Быть может, это воодушевит ее, и она споет нам что-нибудь.

— Дело подходящее, — согласился Поножовщик.

— А чтобы поближе познакомиться, мы откроем друг другу, кто мы такие, — предложил Родольф.

— Альбинос, — представился Поножовщик, — бывший каторжник, а теперь рабочий, выгружающий сплавной лес на набережной Святого Павла. Зимой мерзну, летом жарюсь на солнце — таковы мои дела, — заявил гость Родольфа, отдавая ему честь левой рукой. — Ну, а вы-то кто будете? — продолжал он. — Вы впервые объявились в здешних местах... и, не в обиду будь вам сказано, лихо обработали мою башку и лихо выбили барабанную дробь на моей шкуре. Батюшки мои! Какие это были тумаки! Особенно последние... Не могу их забыть: как здорово все было проделано... Какой град ударов! Но у вас, верно, есть и другое дело, не только колошматить Поножовщика!

— Я мастер по раскраске вееров! А зовут меня Родольф.

— Мастер по веерам! Так вот почему у вас такие

белые руки, — сказал Поножовщик. — Но если все ваши собратья похожи на вас, видать, это дело требует изрядной силы... А коли вы ремесленник, и конечно же честный, зачем пришли сюда, ведь в здешних местах бывают только воры, убийцы и бывшие каторжники вроде меня, потому как другие места нам заказаны?

— Я пришел сюда потому, что люблю хорошую компанию...

— Гм!.. Гм!.. — пробормотал Поножовщик, с сомнением качая головой. — Я встретил вас в крытом проходе дома Краснорукого; впрочем, молчу... Вы говорите, что не знакомы с ним?

— Долго ты еще будешь донимать меня своим Красноруким? Чтоб ему вечно гореть в адском пламени, если это придётся по вкусу Люциферу.

— Ладно, приятель, вы, верно, мне не доверяете, может, вы и правы. Хотите, я расскажу вам свою историю?.. Но при условии, что вы научите меня наносить те удары, которыми закончилась моя взбучка... Мне это позарез нужно.

— Согласен, Поножовщик, ты расскажешь свою историю... а Певунья расскажет нам свою.

— Идет, — сказал Поножовщик, — погода стоит такая, что и полицейского не выманишь на улицу... Это нас позабавит. Ты не против, Певунья?

— Нет, только мне особенно нечего рассказывать... — ответила Лилия-Мария.

— И вы тоже расскажете нам о себе, приятель? — спросил Понажовщик.

— Да, я начну первый.

— Мастер по раскраске вееров, — проговорила Певунья, — какое хорошее ремесло.

— А сколько вы получаете за свои веера? — спросил Поножовщик.

— Я работаю сдельно, — ответил Родольф. — Если повезет, выколачиваю четыре, а то и пять франков в день, но это летом, когда долго бывает светло.

— И вы часто погуливаете, бездельник?

— Да, когда я при деньгах, то трачу немало: во-первых, шесть су за ночь в меблированной комнате.

— Я не ослышался, монсеньор... вы платите шесть су за ночь! — проговорил Поножовщик, прикладывая руку к шапке.Обращенье «монсеньор», прозвучавшее иронически в устах Поножовщика, заставило улыбнуться Родольфа.

— Да, я люблю удобства и чистоту, — продолжал он.

— Поглядите на этого пэра, на этого банкира, на этого богача! — вскричал Поножовщик. — Он

платит шесть су за ночлег!

— Кроме того, — продолжал Родольф, — я трачу четыре су на табак, выходит уже десять су; четыре су — за завтрак, четырнадцать — пятнадцать су — за обед, одно или два су за водку, словом, около тридцати су в день. Мне не приходится работать всю неделю напролет: в свободное время я кучу.

— А ваша семья? — спросила Певунья.

— Мои родители умерли от холеры.

— А кем они были? — спросила Певунья.

— Старьевщиками, торговали старым тряпьем на Главном Рынке.

— И за сколько вы продали их дело? — спросил Поножовщик.

— Я был тогда слишком молод, все продал мой опекун. Когда я стал совершеннолетним, мне еще пришлось вернуть ему тридцать франков... Вот и все мое наследство.

— А на кого же вы работаете?

— Мою обезьяну[26] зовут Борель с улицы Бурдонне. Болван и притом груб; вороват и скуп. Ему легче потерять глаз, чем расплатиться со своими работниками. Таковы его приметы. Если он заблудится, не разыскивайте его, пропади

---

[26] Notes: 26
Хозяина.

он пропадом. Я учился у него своему ремеслу с пятнадцати лет; в армии я не служил: вытянул счастливый номер. Живу я в старом еврейском квартале, в комнате на пятом этаже, окнами на улицу, зовут меня Родольф Дюран... Вот и вся моя история.

— А теперь твой черед, Певунья, — сказал Поножовщик, — свою историю я оставлю на закуску.

Глава III.
ИСТОРИЯ ПЕВУНЬИ

Начнем с самого начала, — сказал Поножовщик.

— Да... с твоих родителей! — подхватил Родольф.

— Я их не знаю... — ответила Лилия-Мария.

— Как так? — вырвалось у Поножовщика.

— Я о них слыхом не слыхала. Меня нашли в капусте, как говорят маленьким детям.

— Ну и ну! Выходит, Певунья, мы с тобой из одного семейства!..

— У тебя тоже не было дома, Поножовщик?

— Я сирота, и дом мой — парижские улицы, как, верно, и у тебя, дочка.

— А кто же воспитал тебя, Певунья? — спросил Родольф.

— Сама не знаю, сударь... Сколько я себя ни помню, кажется, мне было лет семь-восемь, я жила с одноглазой старухой. Ее прозвали Сычихой из-за крючковатого носа и единственного круглого зеленого глаза, как у окривевшей птицы.

— Ха!.. Ха!.. Ха!.. Я так и вижу эту стерву, —

вскричал, смеясь, Поножовщик.

— По вечерам одноглазая старуха, — продолжала Лилия-Мария, — посылала меня для вида продавать леденцы на Новом мосту, а на самом деле заставляла просить милостыню... Если я собирала меньше десяти су, она била меня и морила голодом.

— Понятно, дочка, — сказал Поножовщик, — пинок вместо хлеба и несколько подзатыльников в придачу.

— Бог ты мой, так я и жила...

— А ты уверена, что эта женщина не была твоей матерью? — спросил Родольф.

— Понятно, уверена: Сычиха то и дело попрекала меня, что я круглая сирота, что нет у меня ни отца, ни матери; клялась, будто подобрала меня на улице.

— Итак, — сказал Поножовщик, — ты получала вместо еды колотушки, если приносила домой меньше десяти су!

— На ночь я выпивала стакан воды и зарывалась в охапку соломы, брошенную Сычихой прямо на пол; говорят, будто солома греет. Какое там! Иной раз я всю ночь напролет дрожала от

холода. — Еще бы, эти перья из босса[27] холодят, как лед, ты права, милочка, — воскликнул Поножовщик, — навоз во сто крат лучше! Но люди воротят от него нос: подстилка, мол, не первой свежести: побывала в брюхе животного.

Эта шутка вызвала улыбку на губах Лилии-Марии.

— Утром Сычиха давала мне с собой немного еды. Сразу на завтрак и обед, и посылала на Монфокон за червями для наживки: ведь, кроме всего, она торговала удочками под мостом Парижской богоматери... А дорога от Дробильной улицы, где мы жили, до Монфокона не близкая... особенно для голодного и озябшего семилетнего ребенка.

— Ходьба укрепила тебя, и ты выросла прямая, как тростинка, тебе не на что жаловаться, доченька, — сказал Поножовщик, высекая искру из огнива, чтобы раскурить трубку.

— Домой я возвращалась очень усталая, — продолжала свой рассказ Певунья. — Тогда около полудня Сычиха давала мне еще кусочек хлеба.

— От такого поста, дочка, талия у тебя стала тонкая, как у осы, не стоит жаловаться, — заметил Поножовщик, делая несколько глубоких затяжек.

---

[27] Notes: 27
Соломы.

— Но что это с вами, приятель? Простите, я хотел сказать, господин Родольф: вид у вас какой-то чудной... Неужто из-за того, что эта девчонка столько намыкалась? Право... все мы намыкались, все жили в нищете.

— О, я ручаюсь, Поножовщик, что у тебя было меньше бед, чем у меня, — проговорила Лилия-Мария.

— У меня, Певунья? Да знаешь ли ты, девочка, что ты жила как королева, по сравнению со мной! По крайней мере, в детстве ты спала на соломе и ела хлеб!.. Я же, когда повезет, проводил ночи в Клиши, в печи для обжига гипса, как настоящий шатун[28], а голод утолял капустными листьями, что валяются возле придорожных тумб. Но идти в Клиши было далеко, а от голода у меня подгибались ноги, и чаще всего я спал под колоннами Лувра... зимой же просыпался иной раз под белыми простынями... когда шел снег.

— Мужчина куда выносливее, чем бедная худенькая девочка, — сказала Лилия-Мария, — к тому же я была маленькая, как воробышек...

— И ты еще помнишь об этом?

— Еще бы! Когда Сычиха принималась бить ме-

---

[28] Notes: 28
Бродяга

ня, я падала с первого же удара; тогда она пинала меня ногами, приговаривая: «У этой дуры сил ни на грош, она валится от одного щелчка». Старуха вечно звала меня воровкой, другого, настоящего имени, у меня не было, а Воровкой она меня сама окрестила.

— То же была и со мной, меня звали как придется, словно я был бездомным псом: мальчик, Альбинос, как тебя там. Поразительно, до чего у нас с тобой похожая судьба, дочка! — воскликнул Поножовщик.

— Это правда... если говорить о нищете, — сказала Лилия-Мария, все время обращаясь к Поножовщику.

Помимо воли она испытывала чувство, похожее на стыд, в присутствии Родольфа, и едва осмеливалась поднять на него глаза, хотя он, по-видимому, принадлежал к тем людям, среди которых она выросла.

— А что ты делала, когда Сычиха не посылала тебя за червями? — спросил Поножовщик.

— Одноглазая заставляла меня просить милостыню до самой ночи неподалеку от нее: ведь по вечерам она варила на Новом мосту большие ячменные леденцы. О, тогда о куске хлеба нечего было и думать! Если я, на свое горе, просила

есть, Сычиха говорила, сопровождая свои слова колотушками: «Когда ты наберешь десять су милостыни, Воровка, я дам тебе поужинать». Иной раз от голода и побоев я принималась громко плакать. Одноглазая вешала мне на шею лоток с леденцами для продажи и заставляла стоять на месте неподалеку от нее. Сколько я там слез пролила, как дрожала от холода и голода!

— В точности как я, доченька, — сказал Поножовщик, прерывая Певунью, — кто бы мог подумать, что от голода дрожишь так же, как от холода.

— Словом, я оставалась на Новом мосту до одиннадцати часов вечера со своей выставкой леденцов на шее. Мои слезы... часто трогали прохожих, и я набирала иной раз десять, а то и пятнадцать су, которые и отдавала Сычихе.

— В самом деле, пятнадцать су — знатная выручка для такого воробышка, как ты!

— Еще бы! Но, видя это...

— Одним глазом, — заметил, смеясь, Поножовщик.

— Конечно, ведь другого у нее не было... Сычиха взяла за привычку бить меня и перед тем, как нам с ней идти на Новый мост, чтобы мои слезы вызывали жалость прохожих и увеличивал»

подаяние.

— Это было не так уж глупо.

— Ты думаешь, Поножовщик? В конце концов я притерпелась к побоям; я видела, что Сычиха злится, если я не плачу, и, чтобы досадить ей, чем больнее она меня била, тем громче я смеялась, а по вечерам, вместо того чтобы обливаться слезами при продаже леденцов, я пела как жаворонок, хотя мне вовсе не хотелось... петь.

— Скажи-ка... эти леденцы... они, верно, очень соблазняли тебя, бедная моя Певунья?

— Еще бы, Поножовщик; и все же я ни разу не попробовала их. Но какой это был соблазн!.. Он-то и погубил меня... Однажды, когда я шла домой с Монфокона, какие-то мальчишки побили меня и утащили мою корзинку. Возвращаясь домой, я знала, что меня ожидают колотушки, а не корка хлеба. Вечером, до того как отправиться на мост, Сычиха, разъяренная тем, что накануне я ничего не собрала, принялась не бить меня, как обычно, а истязать до крови, вырывая у меня волосы на висках — место это самое чувствительное.

— Дьявольщина! Ну это уж слишком! — вскричал разбойник, сдвинув брови и ударяя кулаком по столу. — Бить ребенка — это не по мне... а истязать его... Чертова баба!

Родольф внимательно выслушал рассказ Лилии-Марии и теперь с удивлением смотрел на Поножовщика. Этот проблеск чувствительности удивлял его.

— Что с тобой, Поножовщик? — спросил он.

— Что со мной? Как, разве вас не трогает, что эта старая живодерка мучает ребенка? Неужто душа у вас такая же жестокая, как кулаки?

— Продолжай, девочка, — сказал Родольф, не отвечая на слова Поножовщика.

— Я уже говорила вам, что Сычиха тиранила меня, ей хотелось, чтобы я плакала; но меня это озлобило, и однажды, чтобы вывести ее из себя, я со смехом пришла на мост со своими леденцами. Одноглазая стояла у печки... И время от времени показывала мне кулак. А вместо того, чтобы плакать, я запела громче обычного, а между тем от голода у меня кишки свело. Я полгода продавала леденцы и ни разу их не пробовала. Ей-богу, в тот день я не удержалась... Отчасти от голода, Отчасти чтобы позлить Сычиху, я беру один леденец и съедаю его.,

— Браво, дочка!

— Съедаю еще один.

— Браво, да здравствует хартия[29]!!!

— Леденцы казались мне такими вкусными! А тут торговка апельсинами принимается кричать: «Эй, Сычиха! Воровка поедает твои запасы!»

— Дьявольщина! Каша заваривается... заваривается каша, — проговорил Поножовщик, чрезвычайно заинтересованный рассказом. — Бедная мышка! Как ты небось задрожала, когда Сычиха заметила, что ты делаешь.

— Как же ты вышла из положения, бедная Певунья? — спросил Родольф, не менее заинтересованный, чем Поножовщик.

— Да, мне пришлось несладко! Но самое забавное, что одноглазая не могла отойти от своего варева, — проговорила, смеясь, Лилия-Мария, — хотя она и злобствовала, видя, что я поедаю ее леденцы.'

— Ха!.. Ха!.. Ха!.. Что правда, то правда. Вот так положение! — воскликнул, хохоча, Поножовщик.

Посмеявшись вместе с ним, Лилия-Мария продолжала:

— Тут я подумала о побоях, которые меня ожидают, и сказала себе: «Плевать, все равно мне

---

[29] Notes: 29

Имеется ввиду Конституционная Хартия 1814 г., которая приобрела особое значение после ее пересмотра в 1930 г. (Прим.перев.).

быть битой, что за один леденец, что за три». Беру третий леденец, вижу, что Сычиха издали угрожает мне своей большой железной вилкой... я помахиваю леденцом и съедаю его, ей-богу, не вру, у нее под носом.

— Браво, дочка!.. Понимаю теперь, почему ты только что уколола меня ножницами... Полно, полно, я уже говорил об этом — смелости тебе не занимать. Но после твоей проделки Сычиха, видно, собралась живьем содрать с тебя кожу?

— Загасив свою печурку, она подходит ко мне... Милостыни я собрала на три су, а леденцов съела на целых шесть... Когда одноглазая взяла меня за руку, чтобы отвести домой, мне показалось, что я упаду, до того мне было страшно... я помню тот вечер так ясно, словно наблюдала за собой со стороны... Как раз приближался Новый год. Ты знаешь, сколько лавок с игрушками на Новом мосту? Весь вечер у меня рябило в глазах... только оттого, что я любовалась на красивых кукол, на их красивые домики... Подумай, как это занятно для ребенка...

— А у тебя никогда не было игрушек, Певунья?

— У меня? Ну и балда же ты!.. Да кто бы мне подарил их? Наконец вечер кончился; хотя стояла зима, на мне не было ни чулок, ни рубашки,

одно только поношенное полотняное платьице да сабо на ногах. Право, я не задыхалась от жары. Так вот, когда одноглазая взяла меня за руку, я вся вспотела. Больше всего меня пугало, что всю дорогу Сычиха что-то бубнила себе под нос, а не ругалась, не орала, как обычно... Она только крепко держала меня за руку и заставляла идти быстро, так быстро, что мне приходилось бежать за ней. По дороге я потеряла сабо, но не смела сказать ей об этом и бежала дальше, ступая по тротуару босой ногой... Когда мы вернулись домой, вся нога у меня была в крови.

— Что за сволочь эта старуха! — вскричал Поножовщик, гневно ударяя кулаком по столу. — У меня сердце надрывается, как подумаю, что девчушка семенит за этой стервой, несмотря на свою окровавленную ногу.

— Мы жили на Дробильной улице... на чердаке. Внизу, рядом с входной дверью, помещался ликерщик. Сычиха входит к нему, по-прежнему держа меня за руку, и выпивает за стойкой полштофа водки.

— Черт возьми! Да если бы я столько выпил, то сразу бы окосел.

— Это была ее обычная порция. Недаром она ложилась спать вдрызг пьяная. Поэтому, на-

верно, она так больно била меня по вечерам. Поднимаемся к себе. Мне было невесело, можешь мне поверить. Сычиха запирает дверь на два, поворота ключа; я бросаюсь к ее ногам и умоляю простить меня за то, что съела ее леденцы. Она не отвечает, и я слышу, как она бормочет, расхаживая по комнате: «Что мне сделать с ней сегодня вечером, с этой воровкой леденцов? Что мне такое с ней сделать?» Она останавливается и смотрит на меня, вращая своим зеленым глазом... Я все еще стою на коленях. Внезапно кривая подходит к полке и берет клещи.

— Клещи! — воскликнул Поножовщик.

— Да, клещи. — Для чего?

— Чтобы бить тебя? — говорит Родольф.

— Чтобы щипать тебя? — говорит Поножовщик.

— Как бы не так!

— Чтобы вырывать у тебя по волоску?

— Не отгадали! Да и не пробуйте!

— Сдаюсь.

— Сдаемся.

— Чтобы вырвать у меня зуб[30].

Поножовщик разразился такими ругательствами, таким яростными проклятиями, что посетители кабака взглянули на него с удивлением.

— В чем дело? Что с ним такое? — спросила Певунья.

— Что со мной?.. Да ее вглухую[31], эту Сычиху, стоит ей попасть мне в руки!.. Где она? Скажи, Певунья, где она? Только бы мне найти эту чертовку, и я враз ее остужу[32]!

Глаза разбойника налились кровью.

Разделяя чувства Поножовщика, возбужденного жестокостью одноглазой, Родольф был поражен, что бывший убийца пришел в такое неистовство, услышав, что разъяренная старуха собирается вырвать зуб у ребенка.

Нам кажется, что такое чувство возможно, более того, вполне вероятно у жестокого человека.

---

[30] Notes: 30

Мы просим читателей, которые найдут эти жестокости, неправдоподобными, вспомнить о почти ежегодных приговорах, выносимых озверевшим людям, которые бьют, истязают детей. Даже отцы и матери не чужды этим зверствам.

[31] Notes: 31

Зарежу.

[32] Notes: 32

Убью.

— И что же, эта старая хрычовка все же вырвала у тебя зуб, бедная девочка? — спросил Родольф.

— Еще бы, конечно, вырвала!.. Но не сразу! Боже мой! Как она корпела надо мной! Голову мою она зажала между коленями точно в тисках. Наконец, с помощью клещей и пальцев, она вытащила у меня зуб, а затем сказала, верно, чтобы напугать меня: «Теперь я буду каждый день вырывать у тебя по зубу, Воровка; а когда ты останешься без зубов, я брошу тебя в воду, и тебя съедят рыбы; они отомстят тебе за то, что ты ходила за червями для наживки». Я вспоминаю о.б этом, потому что такая месть показалась мне несправедливой. Как будто я ходила за червями для своего удовольствия.

— Что за подлюга! — вскричал с еще большей яростью Поножовщик. -Ломать, рвать зубы у ребенка!

— Что ж тут такого? Смотри, ведь теперь ничего не заметно? — проговорила Лилия-Мария.

И, улыбнувшись, она приоткрыла свои розовые губки и показала два ряда маленьких зубов, белых, как жемчужины.

Чем был вызван этот ответ несчастной Певуньи? Беззаботностью, забывчивостью, великодушием? Родольф заметил также, что в ее рассказе

не было ни слова ненависти к ужасной женщине, мучившей ее в детстве.

— И что ж ты сделала на следующий день? — спросил Поножовщик.

— Право, я была вконец измучена. Наутро, вместо того чтобы идти за червями, я побежала в сторону Пантеона и шла весь день в одном и том же направлении, до того я боялась Сычихи. Я готова была отправиться на край света, лишь бы не попасть к ней в лапы. Очутилась я на глухой окраине, где не у кого было попросить милостыни, да я и не осмелилась бы это сделать. Ночь я проведа на складе среди штабелей дров. Я была маленькая, как мышка, подлезла под старые ворота и зарылась в кучу древесной коры. Мне так хотелось есть, что я принялась жевать тоненькую стружку, чтобы обмануть голод, но она оказалась слишком жесткой. Мне удалось откусить лишь кусочек березовой коры; березовая кора помягче. И тут я заснула. На рассвете я услышала какой-то шум и заползла дальше в глубь склада. Там было почти жарко, как в подвале. Если бы не голод, я еще никогда не чувствовала себя так хорошо зимой.

— В точности как я в моей гипсовой печи.

— Я не смела выйти со склада: боялась, что

Сычиха разыскивает меня, чтобы вырвать мне зубы, а затем бросить в воду на съедение рыбам, и она, конечно, поймает меня, как только я сойду с места.

— Прошу, не говори больше об этой старой ведьме; у меня глаза наливаются кровью!

— Наконец, на другой день, я опять пожевала немного березовой коры и уже стала засыпать, когда меня внезапно разбудил громкий собачий лай. Прислушиваюсь... Собака продолжает лаять, приближаясь к штабелю дров, где я спряталась. Новая напасть! К счастью, собака, не знаю почему, не появлялась... Но ты будешь смеяться, Поножовщик.

— С тобой всегда можно посмеяться... Ты все же славная девочка. И ей-богу, я жалею, что ударил тебя.

— А почему тебе было и не ударить меня? Ведь у меня нет защитника.

— А я? — спросил Родольф.

— Вы очень добры, господин Родольф, но Поножовщик не знал, что вы окажетесь там... да и я не знала.

— Все равно от своих слов я не откажусь... Очень жалею, Что ударил тебя, — повторил Поножовщик.

— Продолжай свой рассказ, детка, — сказал Родольф.

— Итак, я лежала, притулившись под штабелем дров, когда залаяла собака и чей-то грубый голос сказал: «Моя собака лает, кто-то спрятался на складе». — «Наверно, воры», — говорит другой голос. И оба они начинают науськивать собаку: «Пиль! Пиль!»

Собака бежит прямо на меня; испугавшись, я закричала что есть мочи. «Что это? — говорит первый голос, — как будто ребенок кричит...» Мужчины отзывают собаку, идут за фонарем, я выхожу из своего убежища и оказываюсь лицом к лицу с толстым мужчиной и с рабочим в блузе. «Что ты делаешь на моем складе, воровка?» — злобно спрашивает толстый человек. «Мой добрый господин, я не ела уже два дня; я убежала от Сычихи, которая вырвала у меня зуб и хотела бросить в реку на съедение рыбам; мне негде было переночевать, я подлезла под ваши ворота и проспала ночь на куче коры под вашими штабелями; я никому не хотела причинить зла». Тут торговец говорит рабочему: «Меня такими россказнями не проведешь, эта девчонка — воровка, она пришла воровать мои дрова».

— Ах он старый осел, старый болван! — вскри-

чал Поножовщик. — Воровать его поленья, а тебе было всего восемь лет'

— Конечно, он сказал глупость... Рабочий правильно ответил: «Воровать ваши дрова, хозяин? Да откуда у нее силы возьмутся? Она меньше самого мелкого вашего полешка». — «Ты прав, — говорит толстяк. — Но воры часто учат детей шпионить за богатыми людьми и даже прятаться в их домах, чтобы ночью открывать входные двери своим сообщникам. Надо отвести ее в полицию»

— Ну и дурак стоеросовый этот торговец...

— Меня отводят в полицию. Я рассказываю все по порядку, выдаю себя за бродяжку; меня сажают в тюрьму, а затем уголовный суд отправляет меня за бродяжничество в исправительное заведение, где я должна пробыть до шестнадцати лет. Я горячо благодарю судей за их доброту... Еще бы... Понимаешь, в тюрьме меня кормили, никто не бил меня, это был рай по сравнению с чердаком Сычихи. Кроме того, в тюрьме я научилась шить. Но вот беда: я ленилась и любила бездельничать, мне нравилось петь, а не работать, особенно когда светило солнышко... О, если на дворе было ясно, тепло, я не могла удержаться и принималась петь... и тогда... как это ни странно, мне

чудилось, что я на воле.

— Иначе говоря, деточка, ты прирожденный соловей, — сказал Родольф улыбаясь.

— Вы очень любезны, господин Родольф; с того времени меня стали звать Певуньей, а не Воровкой. Наконец мне исполняется шестнадцать лет, и я выхожу из тюрьмы... За ее воротами меня встречает здешняя Людоедка и две-три старухи, которые навещали некоторых заключенных, моих приятельниц, и всегда говорили мне, что в день моего освобождения у них найдется для меня работа.

— А, вот оно что! Понимаю, — пробормотал Поножовщик.

— «Принцесса, ангелочек, красотка, — сказали мне Людоедка и старухи. — Хотите поселиться у нас? Мы оденем вас, как куколку, и вы ничего не будете делать, только веселиться». Ты смекаешь, Поножовщик, что я не зря провела восемь лет в тюрьме и понимала, что к чему. Я их послала к черту, этих старых сводниц, и сказала себе: «Я хорошо умею шить, скопила за это время триста франков, и я еще молода...»

— Да, молода и красива... дочка, — сказал Поножовщик.

— Я провела в тюрьме восемь лет и теперь хочу

попользоваться жизнью, ведь это никому не повредит; а когда деньги кончатся, то и работа найдется... И я начинаю сорить деньгами. Это была большая ошибка, — прибавила Лилия-Мария со вздохом, — прежде всего мне надо было обеспечить себя работой... Но дать мне совет было некому... Словом, что сделано, то сделано... Итак, я принимаюсь тратить деньги. Прежде всего накупаю цветов, чтобы украсить свою комнату; я так люблю цветы! Потом покупаю платье, красивую шляпу и еду на осле в Булонский лес, еду в Сен-Жермен — тоже на осле.

— Небось с любовником, дочка? — спросил Поножовщик.

— Бог ты мой, нет; мне хотелось быть самостоятельной. Мы развлекались с моей товаркой по тюрьме, которая попала туда из воспитательного дома, хорошей такой девчонкой; ее звали по-разному, кто Риголеттой, кто Хохотушкой, потому что она постоянно смеялась.

— Риголетта? Хохотушка? Что-то не припомню такой, — сказал Поножовщик, видимо, роясь в своих воспоминаниях.

— Еще бы, конечно, ты ее не знаешь: Хохотушка — честная девушка; она превосходная швея и теперь зарабатывает не меньше двадцати пяти су в

день; у нее собственное гнездышко... Вот почему я больше не посмела увидеться с ней. Я так усердно сорила деньгами, что под конец у меня осталось всего сорок три франка.

— На эти деньги тебе следовало купить ювелирный магазин, — пошутил Поножовщик.

— Признаться, я поступила лучше... Белье мне стирала женщина, родом из Лотарингии, кроткая, как овечка; в то время она была на сносях... А из-за своей работы ей вечно приходилось валандаться в воде... Представляешь? Работать прачкой она больше не может и просит принять ее в Бурб; мест там больше нет, и она получает отказ; бедняжка должна вот-вот родить, заработка больше нет, она даже не может заплатить за койку в меблированных комнатах! К счастью, как-то вечером она случайно встречает у моста Парижской богоматери жену Губена, которая уже четыре дня прячется в подвале полуразрушенного дома, что находится позади больницы Отель-Дьё.

— А почему жена Губена должна была прятаться?

— Она боялась мужа, который хотел убить ее, и выходила только по ночам, чтобы купить себе хлеба. Таким образом она повстречала бывшую прачку, которая не знала, где приклонить голову,

а ведь она скоро должна была родить... Жена Губена привела ее к себе в подвал. Все же это была крыша над головой.

— Погоди, погоди, жену Губена зовут Эльминой?

— Да, славная она женщина и хорошая портниха, — ответила Певунья, — она шила на меня и на Хохотушку... Словом, она сделала, что могла: отдала половину своего подвала, соломенной подстилки и хлеба бывшей прачке, которая родила там крохотного, жалкого ребеночка; а у женщины нет даже одеяла, чтобы завернуть его, ничего нет, кроме соломы!.. Тогда жена Губена не выдержала. Рискуя встретить мужа, который повсюду разыскивал ее, она вышла среди бела дня на улицу, чтобы повидаться со мной; она знала, что у меня осталось еще немного денег и что я не жадная: как раз мы с Хохотушкой собирались сесть в аглицкую кабарлетку и истратить мои последние сорок три франка на поездку за город, в поля, я так люблю деревню, люблю смотреть на деревья... траву... Но когда Эльмина рассказала мне о несчастье с прачкой, я отослала кабарлетку[33], бегом вернулась к себе домой,

[33] Notes: 33
Наемный кабриолет на четырех колесах.

взяла постельное белье, матрац, одеяла, вызвала носильщика и поспешила с ним в подвал к жене Губена... Вы бы видели, как была довольна бедная роженица. Мы с Эльминой попеременно ухаживали за ней, а когда она поправилась, я помогала ей до тех пор, пока она не вернулась на свою прежнюю работу. Теперь она зарабатывает себе на жизнь, но мне никак не удается всучить ей счет за стирку моего белья! Я прекрасно понимаю, что таким образом она хочет расплатиться, со мной!.. Но... если так будет продолжаться, я откажусь от ее услуг, — важно проговорила Певунья.

— А что сталось с женой Губена?

— Как, ты не знаешь? — спросила Певунья.

— Нет, а в чем дело?

— Несчастная женщина!.. Губен не промахнулся! Трижды всадил ей нож между лопатками! Он узнал, что ее видели возле больницы Отель-Дье как-то вечером подстерег ее, когда она вышла из подвала, чтобы купить молока для роженицы, и убил ее.

— Так, значит, ему амба[34] и, видно, через неделю его чикнут[35].

---

[34] Notes: 34
Конец.

[35] Notes: 35
Казнят.

— Вот именно.

— И что же ты сделала, девочка, когда истратила на роженицу свои последние деньги? — спросил Родольф.

— Я попробовала найти работу. Я хорошо умела шить, была предприимчивой, чувствовала себя уверенно; вхожу в белошвейную мастерскую на улице Святого Мартина. Мне не хотелось быть обманщицей; я говорю, что два месяца назад вышла из тюрьмы и ищу работу; мне указывают на дверь. Я прошу дать мне на пробу какое-нибудь шитье; хозяйка мастерской отвечает, что она не доверит мне даже рубашки, а просить об этом — значит считать ее за дуру. Когда я, убитая, возвращалась домой... мне повстречалась Людоедка и одна из старух, которые всегда приставали ко мне после выхода из тюрьмы... Я не знала, как жить дальше... Они увезли меня... напоили водкой!.. Вот и все.

— Понимаю, — сказал Поножовщик, — теперь я знаю тебя так же хорошо, как если был бы сразу твоим отцом и матерью и ты никогда не покидала бы меня. Вот это исповедь так исповедь!

— Можно подумать, будто ты жалеешь, что рассказала нам свою жизнь, деточка? — спросил Родольф.

— Вы правы, тяжело ворошить старое. Сегодня мне впервые случилось вспомнить обо всем, начиная с детства, а это невесело... не правда ли, Поножовщик?

— Ладно уж, — иронически сказал Поножовщик, — ты, видно, жалеешь, что не была кухонной девкой в какой-нибудь харчевне или прислугой у старых дураков и нянькой их старых кошек? — Все равно... быть честной, верно, очень приятно... — проговорила со вздохом Лилия-Мария.

— Честной!.. Взгляните только на эту физиономию!.. — воскликнул разбойник с громким смехом. — Честной!.. А почему бы тебе не получить награду за добродетель, чтобы почтить не известных тебе отца с матерью?

С лица Певуньи сошло за последние минуты характерное для нее беззаботное выражение.

— Ты знаешь, Поножовщик, что я не плакса, — сказала она, — отец мой или мать бросили меня у придорожной тумбы, как надоевшую собачонку! Я не в обиде на них, может, они и сами не могли прокормиться! Но, видишь ли, бывает доля счастливее моей.

— Счастливее твоей? Что тебе еще надобно? Ты хороша, как картинка; тебе нет семнадцати лет; ты поешь, как соловей; ты кажешься девоч-

кой, тебя прозвали' Лилией-Марией, и ты еще жалуешься! Посмотрим, что ты скажешь, когда в ходунах[36] и у тебя будет грелка, и на голове парик под шиншиллу, как у нашей Людоедки.

— О, я никогда не доживу до ее лет.

— Быть может, у тебя есть патент на то, как не стать гирухой[37]?

— Нет, но я долго не протяну! У меня такой нехороший кашель.

— Вот оно что! Я так и вижу тебя на кречеле[38]. Ну и глупая же ты... прости господи.

— И часто в голову тебе приходят такие мысли, Певунья? — спросил Родольф.

— Иногда... Вы-то, господин Родольф, наверно, поймете меня. По утрам, когда за монетку, данную мне Людоедкой, я покупаю себе немного молока у молочницы, которая останавливается на углу Старосуконной улицы, и вижу, как она возвращается домой на своей тележке, запряженной ослом, я часто завидую ей... Я говорю себе: «Она едет в деревню, на вольный воздух, в

---

[36] Notes: 36
Ногах

[37] Notes: 37
Старухой.

[38] Notes: 38
Похоронных дрогах.

свою семью... а я поднимаюсь одна-одинешенька на чердак Людоедки, где даже в полдень бывает темно».

— Ну что ж, дочь моя, выкини такую штуку, будь честной, — сказал Поножовщик.

— Честной, бог ты мой! А на какие шиши? Одежда, которую я ношу, принадлежит Людоедке; я должна ей за помещение и за еду... Я не могу уйти отсюда... Она арестует меня как воровку... Я в ее власти... Мне нужно расплатиться с ней.

При этих горестных словах бедная девушка невольно вздрогнула.

— Тогда оставайся такой, какая ты есть, и не сравнивай себя с крестьянкой, — сказал Поножовщик. — Не сходи с ума! Подумай только, что ты блистаешь в столице, тогда как молочница возвращается домой, чтобы варить кашу своим соплякам, доить коров, идти за травой для кроликов и получать взбучку от мужа, когда тот возвращается из трактира. Вот уж действительно завидная судьба!

— Налей мне, Поножовщик, — сказала Лилия-Мария после длительного молчания и протянула ему стакан. — Нет, не вина, водки... Водка крепче, — проговорила она своим, нежным голоском, отстраняя жбан с вином, который взял было

Поножовщик.

— Водки! Наконец-то! Вот такой я люблю тебя, дочка, ты не робкого десятка! — сказал он, не поняв состояния девушки и не заметив слезы, повисшей на ее ресницах.

— Как жаль, что водка такая противная... Она здорово одурманивает... — проговорила Лилия-Мария, поставив на стол стакан, который она выпила с брезгливым отвращением.

Родольф выслушал с огромным интересом этот наивный и печальный рассказ. Не дурные наклонности, а нищета и обездоленность привели к гибели эту несчастную девушку.

Глава IV.
ИСТОРИЯ ПОНОЖОВЩИКА

Читатель, верно, не забыл, что за двумя собутыльниками внимательно следил некто третий, недавно пришедший в кабак.

Как мы уже говорили, один из этих мужчин был в греческом колпаке, прятал свою левую руку и настойчиво расспрашивал Людоедку, не видела ли она в тот день Грамотея.

Во время рассказа Певуньи, которого они не могли слышать, оба дружка несколько раз перешептывались, с тревогой посматривая на дверь.

Человек в греческом колпаке сказал своему приятелю:

— Что-то Грамотей никак не прихряет[39]; как бы андрус[40] не пришил его, чтобы отколоть побольше[41].

— Тогда наше дело дрянь, ведь это мы вскорми-

---

[39] Notes: 39
Не придет

[40] Notes: 40
Дружок

[41] Notes: 41
Не прикончил его, чтобы отхватить себе побольше.

ли дите[42], — отозвался второй.

Новоприбывший, который наблюдал за этими двумя типами, сидел слишком далеко и не мог слышать их разговора; сверившись несколько раз с какой-то запиской, лежащей на дне его фуражки, он, видимо, остался доволен своими наблюдениями; встав из-за стола, он обратился к Людоедке, которая дремала за стойкой, положив ноги на грелку, а толстого черного кота — к себе на колени.

— Вот что, мамаша Наседка, — сказал он, — я мигом вернусь, последи за моим жбаном и тарелкой... Надо остерегаться любителей полакомиться на чужой счет.

— Будь спокоен, парень, — ответила хозяйка, — если твоя тарелка и твой жбан пусты, никто на них не позарится.

Новоприбывший от души посмеялся этой шутке и вышел, никем не замеченный.

Когда этот человек открыл дверь, Родольф увидел на улице угольщика огромного роста с перепачканным лицом и нетерпеливо махнул рукой, недовольный его навязчивой заботливостью. Но угольщик не принял во внимание

---

[42] Notes: 42
Обмозговали и подготовили дело.

досаду Родольфа и не отошел от кабака.

Несмотря на выпитый ею стакан водки, Певунья не развеселилась; напротив, лицо ее становилось все печальнее; она сидела, прислонившись спиной к стене, опустив голову на грудь, а ее большие голубые глаза машинально блуждали по сторонам; казалось, несчастную девушку обуревают самые мрачные мысли.

Встретившись раза два-три с пристальным взглядом Родольфа, Певунья отводила глаза; она не понимала того странного впечатления, которое он производил на нее. Его присутствие стесняло, тяготило ее, и она упрекала себя в том, что не проявляет как должно своей благодарности к человеку, вырвавшему ее из рук Поножовщика; она готова была пожалеть, что так искренне рассказала о своей жизни в его присутствии.

Поножовщик, напротив, был в превеселом настроении; он один расправлялся с заказанным блюдом, а вино и водка сделали его особенно общительным, чувство стыда, вызванное тем, что он нашел на себя управу, прошло благодаря щедрости Родольфа; к тому же он признавал за своим противником такое огромное превосходство, что испытанное унижение уступило место смешан-

ному чувству восхищения, страха и уважения.

Отсутствие злопамятства, суровая откровенность, с которой он признался в убийстве человека и в справедливости понесенного наказания, самолюбивая гордость, с какой он похвалялся, что никогда не крал, доказывали, по крайней мере, что, несмотря на свои преступления, Поножовщик не совсем очерствел душой. Эти черты характера не ускользнули от проницательного взгляда Родольфа, который с любопытством ожидал рассказа Поножовщика.

Человеческое честолюбие так ненасытно, так причудливо в своих разнообразных проявлениях, что Родольф желал встречи с Грамотеем, с этим страшным преступником и силачом, которого он мысленно сверг с пьедестала. И чтобы унять нетерпение, он попросил Поножовщика продолжить рассказ о своих приключениях.

— Ну же... приятель, — сказал он, — мы слушаем тебя. Поножовщик -осушил стакан и начал свою повесть в таких выражениях:

— Ты, бедная Певунья, была все же подобрана Сычихой, провались она в тартарары! У тебя было пристанище еще до того, как тебя отправили в тюрьму за бродяжничество... А я не припомню, чтобы мне доводилось спать в кровати до девят-

надцати лет... Счастливый возраст, когда я стал солдатом.

— Ты был на военной службе, Поножовщик? — спросил Родольф.

— Целых три года, но не забегайте вперед — всему свое время. Каменные плиты Лувра, гипсовые печи в Клиши и каменоломни в Монруже — таковы были те гостиницы, в которых я ночевал с юных лет. Как видите, у меня был дом в Париже и даже в деревне — ни больше ни меньше.

— И никакого ремесла?

— Сам не знаю, хозяин... припоминаю, как в тумане, что в детстве я свигался[43] со стариком тряпичником, который бил меня своим крюком. Должно быть, так оно и было, потому что позже я видеть не мог этих купидонов с их ивовыми колчанами: меня так и подмывало наброситься на них: явное доказательство, что они колошматили меня в детстве. Мое первое ремесло? Я работал подручным на живодерне в Мон-фоконе... Мне было лет десять — двенадцать, когда я впервые с отвращением перерезал горло несчастной старой кляче, но через месяц я и думать перестал о лошадях — какое там! Даже вошел во вкус этого

---

[43] Notes: 43
Бродяжничал.

дела. Ни у кого не было таких острых ножей, как у меня. Так и хотелось пустить их в ход!.. Когда я расправлялся с положенным количеством лошадей, мне бросали в награду кусок огузка клячи, сдохшей от болезни: туши здоровых лошадей продавались ресторатором, обосновавшимся вблизи от Медицинской школы, и те превращали их в говядину, в баранину, телятину, дичь, чтобы потрафить вкусам посетителей... А когда я завладевал принадлежащим мне куском мяса, мне сам черт был не брат! Я бежал со своей добычей в печь для обжига гипса, как волк — в свое логово, и там с разрешения рабочих приготовлял такое жаркое, что пальчики оближешь! Если печи были загашены, я шел в Роменвиль, собирал там хворост, складывал его в углу бойни, высекал искру с помощью огнива и жарил мясо целиком... Признаться, оно бывало почти сырое, зато таким манером я не всегда ел одно и то же.

— Но как же тебя звали? — спросил Родольф.

— Волосы у меня были еще светлее, чем теперь, кудель куделью, а кровь часто приливала к глазам, за что меня и прозвали Альбиносом. Альбинос — это белые кролики с красными глазами, — серьезно добавил Поножовщик в виде научного пояснения.

— А твои родители? Твоя семья?

— Мои родители? Они жили в доме под тем же номером, что и родители Певуньи. Где я родился? На первом попавшемся углу любой улицы, справа или слева от какой-нибудь тумбы, на берегу безымянного ручья,

— Ты проклинал своего отца и свою мать за то, что они тебя бросили?

— Проклинать их? Какой в этом прок?.. Но все же... по правде сказать... они сыграли со мной злую шутку, я не жаловался бы, если бы они поступили со мной так, как следовало бы поступать с нищими всемогутному[44], то есть избавлять их от холода, голода и жажды; ему это ничего не стоило бы, а нищим было бы легче не воровать.

— Ты страдал от голода, холода и все же не стал вором, Поножовщик?

— Нет, а между тем я здорово бедовал, поверьте... Иногда шавал[45] по двое суток кряду, и не раз, не два, а гораздо чаще... И все же я не крал.

— Потому что боялся тюрьмы?

— Ну и шутник! — воскликнул Поножовщик,

---

[44] Notes: 44

Бог. Как ни странно, но имя божье встречается даже в этом исковерканном языке.

[45] Notes: 45

Не ел.

пожимая плечами, и громко расхохотался. — Выходит, я не крал хлеба из страха получить хлеб?.. Я оставался честным и подыхал с голоду, а если бы я крал, то меня кормили бы в тюрьме... и даже сытно кормили!.. Но нет, я не крал потому... потому... словом, потому что красть не в моих понятиях!

Этот поистине прекрасный ответ, суть которого сам Поножовщик вряд ли понимал, глубоко удивил Родольфа.

Он почувствовал, что бедняк, остающийся честным среди жесточайших лишений, вдвойне достоин уважения, ибо наказание за кражу может стать для него источником сытой жизни.

Родольф протянул руку этому несчастному дикарю от цивилизации, еще не вполне развращенному нищетой.

Поножовщик взглянул на своего амфитриона удивленно, чуть ли не с уважением и едва осмелился дотронуться до протянутой ему руки. Он смутно ощущал, что между ним и Родольфом лежит глубокая пропасть.

— Молодец! — сказал ему Родольф. — Ты сохранил мужество и честь...

— Ей-богу, не знаю, — проговорил Поножовщик взволнованно, — но то, что вы говорите... видите

ли... никогда я еще не чувствовал ничего похожего... одно могу сказать... и эти слова... и ваши удары в конце моей взбучки... мастерские удары, а вы, вместо того чтобы избить меня до полусмерти, платите за мой обед и говорите мне такие вещи. Но довольно об этом. Скажу одно: всегда, когда ни потребуется, вы можете рассчитывать на Поножовщика.

Не желая показать, что он тоже взволнован, Родольф спросил более сдержанно:

— И долго ты пробыл на бойне?

— Еще бы... Сначала мне было тошно перерезать горло этим несчастным старым клячам, которые не могли даже хорошенько лягнуть меня; но когда мне шел шестнадцатый год и голос мой начал ломаться, орудовать ножом стало для меня отрадой, потребностью, страстью, безумием! Я терял сон и аппетит... Я думал только об этом!.. Надо было видеть меня за работой; кроме старых холщовых штанов, на мне ничего не было. Я стоял со своим большим, хорошо наточенным ножом, а вокруг меня ожидали очереди пятнадцать — двадцать лошадей. Я не хвастаю. Дьявольщина! Не знаю, что на меня накатывало, когда я принимался за дело... какое-то безумие; в ушах у меня шумело, я приходил в ярость, в

неистовство, глаза мои наливались кровью... и я резал., резал... резал их до тех пор, пока нож не выпадал у меня из рук! Дьявольщина! Какое наслаждение! Будь я миллионером, я платил бы деньги, чтобы заниматься этим делом.

— Вот. откуда у тебя привычка баловаться ножом, — заметил Родольф.

— Да, наверно... Но когда мне исполнилось шестнадцать лет, эта ярость дошла до того, что, взявшись за нож, я терял голову и портил работу... Да, я кромсал лошадиные шкуры, нанося удары вкривь и вкось. В конце концов меня выгнали с бойни. Я хотел пойти в мясники: мне всегда нравилась эта работа. Не тут-то было! Они заважничали! Запрезирали меня! Так сапожник, мастер своего дела, презирает холодного сапожника. Видя такое дело — к тому же после шестнадцати лет моя страсть поиграть ножом прошла, — я стал искать любой работы... и не сразу ее нашел; в то время я часто голодал. Наконец я нанялся в каменоломни Монружа. Но через два года мне обрыдла эта работа — бегаешь с утра до ночи, как белка в колесе, из-за этого треклятого камня, а получаешь какие-то жалкие двадцать су в день. Я был высокий и здоровенный и решил поступить в солдаты. Меня спрашивают о моем имени, воз-

расте, просят предъявить бумаги. Имя? Альбинос. Возраст? Взгляните на мою бороду. Бумаги? Вот свидетельство из каменоломни в Монружё, за подписью моего начальника. Из меня мог выйти неплохой гренадер; я был завербован.

— С твоей силищей, с твоим мужеством и любовью действовать ножом ты стал бы, пожалуй, офицером, случись в это время война.

— Дьявольщина! Я и сам это понимаю! Убивать англичан или пруссаков было бы куда почетнее, чем резать старых кляч... Но, на мое несчастье, войны не было, зато была дисциплина... Если подмастерье всыплет своему хозяину, дело это плевое, в этом нет ничего такого: если он слабее противника, то сам получит вздрючку, если же сильнее, то получит ее хозяин. А его самого выставят за дверь, иногда посадят в тюрьму — и весь сказ. На военной службе — дело другое. Однажды сержант дал мне пинка, чтобы я скорее поворачивался; он был прав, ибо я гонял лодыря; я упрямлюсь, он толкает меня, я толкаю его; он берет меня за шиворот, я ударяю его кулаком. Тут солдаты наваливаются на меня. Я выхожу из себя, глаза наливаются кровью. Я сатанею... в руках у меня нож... — я как раз дежурил на кухне — и пошло и пошло! Я принимаюсь орудовать ножом,

как на бойне... Пришиваю[46] сержанта, раню двух солдат!.. Настоящее побоище!.. Я нанес одиннадцать ножевых ран им троим... подумать только... одиннадцать!.. Кровищи всюду было... кровищи, как на бойне!. Я и. сам был весь в крови.

С мрачным, диким выражением лица злодей потупился и умолк.

— О чем ты думаешь, Поножовщик? — спросил Родольф, с интересом наблюдавший за ним.

— Ни о чем, — резко ответил тот и продолжал со свойственным ему залихватским видом: — Наконец меня берут под стражу. Тащат на правилку и решают чикнуть[47].

— Тебе удалось бежать?

— Нет, меня не чикнули, но я пробыл пятнадцать лет на кобылке. Позабыл вам сказать, что, когда я был в полку, мне случилось вытащить из воды двух товарищей, которые чуть не утонули в Сене: мы стояли тогда гарнизоном в Мелене. В другой раз... но вы будете смеяться надо мной, скажете, пожалуй, что я чудодей, который не боится ни воды, ни огня, спасатель мужчин и женщин! Итак, в другой раз наш полк стоял в Руане. Все до-

---

[46] Notes: 46
Убиваю.

[47] Notes: 47
Тащат в суд и приговаривают к смертной казни.

ма там деревянные, как загородные дачки; пожар начался в одном из кварталов, и скоро огонь уже полыхал вовсю; я был как раз дежурным по пожарной части. Приезжаем на место. Мне говорят, что какая-то старуха не может выбраться из своей спальни, к которой подбирается огонь: бегу туда. Дьявольщина! Да, там было жарковато... недаром мне вспомнились печи для обжига гипса в моей молодости. Все же я спас старуху, поджарив себе ступни ног. Словом, благодаря этим подвигам мой лекарь[48] так изворачивался, так молол языком, что мой приговор смягчили: вместо того чтобы отправиться под нож дяди Шарло[49], я пробыл пятнадцать лет на кобылке... Когда я узнал, что не буду гильотинирован, я хотел задушить болтуна адвоката. Понимаете, хозяин?

— Ты жалел, что твой приговор смягчили?

— Да... Тем, кто орудует ножом, нож дяди Шарло — справедливое наказание; тем, кто ворует, — кандалы на лапы! Каждому свое... Но нельзя заставлять тебя жить после того, как ты убил человека... Дворники не понимают; что делается с тобой, особливо в первое время.

---

[48] Notes: 48
Адвокат.

[49] Notes: 49
Палач.

— Значит, у тебя были угрызения совести?

— Угрызения совести? Нет, конечно, ведь я отбыл свой срок, — ответил варвар Поножовщик, — но вначале не проходило ночи, чтобы я не видел в кошмаре солдат и сержанта, которого зарезал, то есть... они были не одни, — прибавил преступник с ужасом, — десятки, сотни, тысячи других ждали своей очереди на огромной бойне... ждали, как лошади, которым я перерезал глотку в Монфоконе... Тут кровь бросалась мне в голову, и я брался за нож, как прежде, на бойне. Но чем больше я убивал людей, тем больше их становилось... И, умирая, они смотрели на меня так смиренно... что я проклинал себя за то, что убиваю их... но не мог остановиться... Это еще не все... У меня никогда не было брата... а выходило, что люди, чью кровь я проливал, — мои братья и что я их люблю... Под конец, когда сил у меня уже не было, я просыпался весь в поту, холодном, как талый снег.

— Дурной это сон, Поножовщик!

— Да, хуже некуда! Так вот, вначале на каторге я каждую ночь видел... этот сон. Поверьте, от такого кошмара можно сойти с ума или взбеситься. Недаром я дважды пытался покончить с собой, в первый раз проглотил ярь-медянки, а

во второй попробовал задушить себя цепью, но, черт возьми, я силен как бык. От ярь-медянки мне захотелось пить, а от цепи, которой я стянул себе горло, остался на всю жизнь синий галстук. Потом кошмары стали реже, привычка жить взяла свое, и я стал таким же, как остальные.

— На каторге ты вполне мог научиться воровать.

— Да, но вкуса к воровству у меня не было... Те, что были на кобылке, поднимали меня на смех из-за этого, а я избивал их своей цепью. Вот так я и познакомился с Грамотеем. Что до него... ну и хватка! Он вздул меня не хуже, чем вы сегодня.

— Так он тоже освобожденный каторжник?

— Нет, ему навечно дали кобылу, но он сам себя освободил.

— Бежал с каторги? И никто его не выдал?

— Во всяком случае, я никогда не выдал бы Грамотея: вышло бы так, что я боюсь его.

— Но как же полиция не нашла его? Разве его приметы не были известны?

— Приметы?.. Как бы не так! Он давным-давно уничтожил личико, которым наделил его всемогутный. Теперь один лишь пекарь[50], что

---

[50] Notes: 50
Дьявол.

грешников припекает в аду, мог бы узнать Грамотея.

— Как же ему это удалось?

— Он начал с того, что подрезал себе нос, который был у него длиною в локоть, а затем умылся серной кислотой.

— Шутишь!

— Если он придет сюда сегодня вечером, вы сами в этом убедитесь, нос у Грамотея был, как у попугая, а стал как у курносой[51], не считая того, что губы у него величиною с кулак, а на лице столько шрамов, сколько заплат на куртке старьевщика.

— Значит, он стал неузнаваемым?

— За те полгода, что он бежал из Рошфора, легавые[52] много раз видели его, но так и не узнали.

— За что его отправили на каторгу?

— Он был фальшивомонетчиком, вором и убийцей. Его прозвали Грамотеем, потому что у него красивый почерк и человек он очень умный.

— Его здесь боятся?

— Перестанут бояться, когда вы отколошматите его, как отколошматили меня. Дьявольщина!

---

[51] Notes: 51
Смерти.

[52] Notes: 52
Полицейские (сыщики).

Любопытно было бы посмотреть на это.

— На что же он живет?

— Говорят, будто он хвастал, что убил и ограбил три недели назад торговца скотом на дороге в Пуасси.,

— Рано или поздно его арестуют.

— Для того чтобы арестовать этого лиходея, требуется не меньше двух человек: у него всегда имеется под блузой два заряженных пистолета и кинжал; он говорит, что дядя Шарло ждет его, но умирают лишь один раз, и, прежде чем сдаться, он перебьет всех, кто помешает ему удрать... Да, он говорит это напрямки, а так как он вдвое сильнее нас с вами, пришить его будет нелегко.

ему удрать... Да, он говорит это напрямки, а так как он вдвое сильнее нас с вами, пришить его будет нелегко.

— А что ты делал после каторги?

— Я нанялся к подрядчику по выгрузке сплавного леса, работаю на набережной Святого Павла, этим и кормлюсь.

— Но если ты не скокарь, зачем тебе жить в Сите?

— А где, по-вашему, мне жить? Кто захочет знаться с бывшим каторжником? И кроме того, мне скучно в одиночестве, я люблю общество

и живу здесь среди себе подобных. Иной раз поколочу кого-нибудь... Меня тут боятся как огня, но ключай[53] не может ко мне придраться; правда, иной раз за потасовку я и отсижу сутки в тюрьме.

— Сколько же ты зарабатываешь в день?

— Тридцать пять су. И так я буду жить до тех пор, пока у меня есть силы; а потом я возьму крюк да ивовый колчан, как тот старик тряпичник, которого я вижу в тумане моего детства.

— И все же ты не слишком несчастлив?

— Бывают люди понесчастнее меня, ясное дело. Если бы не кошмары о сержанте и солдатах, а мне они еще часто снятся, я спокойно дожидался бы минуты, когда околею, как и родился, возле какой-нибудь тумбы или в больнице... но этот кошмар... Черт бы его подрал... не люблю вспоминать о нем, — сказал Поножовщик.

И он выбил свою трубку о край стола.

Певунья рассеянно выслушала рассказ Поножовщика; по-видимому, она была погружена в какие-то печальные размышления.

Родольф и тот был задумчив.

Услышанные им рассказы пробудили в нем

---

[53] Notes: 53
Полицейский комиссар.

новые мысли.

Некое трагическое происшествие напомнило всем троим, в каком месте они находятся.

Глава V.
АРЕСТ

Посетитель, который недавно вышел, поручив Людоедке свою тарелку и жбан с вином, вскоре вернулся в сопровождении широкоплечего энергичного вида мужчины.

— Вот так нежданная встреча, Борель! — сказал он ему.

— Входи же, давай выпьем с тобой по стакану вина.

— Указав на новоприбывшего, Поножовщик шепотом сказал Родольфу и Певунье:

— Ну, теперь жди передряги... Это сыщик. Внимание!

Оба злодея — один из них сидел надвинув до самых бровей греческий колпак и не раз справлялся о Грамотее — обменялись быстрым взглядом, встали одновременно из-за стола и направились к двери, но двое полицейских бросились на них, издав условный крик.

Началась ожесточенная борьба.

Дверь таверны распахнулась, и другие агенты вбежали в залу, а на улице блеснули ружья.

Во время этой свалки угольщик, о котором мы уже упоминали, — подошел к порогу кабака и, как бы случайно встретившись взглядом с Родольфом, приложил указательный палец к губам.

Быстрым, повелительным взмахом руки Родольф приказал ему уйти, а сам продолжал наблюдать за тем, что творилось в кабаке.

Мужчина в греческом колпаке орал словно одержимый. Полулежа на столе, он гак отчаянно отбивался, что трое полицейских с трудом удерживали его. Подавленный, мрачный, с бескровным лицом и побелевшими губами, с отвислой дрожащей челюстью, его сообщник не оказал ни малейшего сопротивления и сам протянул руки, чтобы на них надели наручники.

Людоедка, привыкшая к таким сценам, безучастно сидела за стойкой, положив руки в карманы фартука.

— Что такое натворили эти двое, господин Нарсис Борель? — спросила она у знакомого ей агента.

— Убили вчера старуху с улицы Святого Христофора, чтобы обчистить ее комнату. Перед смертью несчастная женщина сказала, что укусила за руку одного из преступников. Мы следили за этими негодяями; мой приятель только что

приходил сюда, чтобы опознать их; теперь голубчики попались.

— К счастью, они заранее уплатили мне за выпивку, — заметила Людоедка. — Не желаете ли вы выпить чего-нибудь, господин Нарсис? Ну хотя бы стаканчик «Идеальной любви» или «Утешения»?

— Нет, спасибо, мамаша Наседка, я должен доставить куда следует этих негодяев. Один из них никак не утихомирится.

В самом деле, убийца в греческом колпаке яростно сопротивлялся. Когда его подводили к извозчику, ожидавшему на улице, он стал так отбиваться, что пришлось тащить его на руках.

Охваченный нервной дрожью, сообщник убийцы едва держался на ногах, его лиловые губы шевелились, будто он что-то говорил... Его бросили в извозчичью пролетку как мертвое тело.

— Вот что я вам скажу, мамаша Наседка, — заметил агент, — остерегайтесь Краснорукого: хитер, подлец! Он может втянуть вас в какое-нибудь грязное дело.

— Краснорукого? Я давным-давно не видела его в нашем квартале, господин Борель.

— С ним вечно так: если он где-нибудь находится... там-то его и не видно. Вы сами прекрасно

знаете это... Не принимайте от него на хранение или в заклад ни вещей, ни денег: это будет рассматриваться как укрывательство краденого.

— Будьте спокойны, господин Борель: я боюсь Краснорукого больше, чем дьявола. Никогда не знаешь, куда он отправляется и откуда прибыл. В последний раз, когда я его видела, он сказал, что приехал из Германии.

— Во всяком случае, я вас предупредил... будьте осторожны.

Прежде чем уйти из кабака, полицейский агент внимательно осмотрел посетителей и сказал чуть ли не ласково Поножовщику:

— А, вот и ты, шалопай! Что-то давненько не слыхать о тебе, о твоих потасовках! Видно, взялся за ум?

— Да, стал умником-разумником, господин Борель; вы же знаете, что я разбиваю носы лишь тем, кто меня об этом попросит.

— Недостает еще, чтобы такой силач, как ты, первый ввязывался в драку!

— И однако, вот кто меня одолел, — проговорил Поножовщик, кладя руку на плечо Родольфа.

— Вот те на! Этого человека я что-то не знаю, — заметил агент, разглядывая Родольфа.

— Сомневаюсь, чтобы нам довелось познако-

миться, — ответил тот.

— Желаю этого ради вашего блага, приятель, — сказал агент и, обратившись к Людоедке, продолжал: — До свидания, мамаша Наседка! Ваша таверна — настоящая мышеловка: сегодня я задержал здесь третьего убийцу.

— И надеюсь, не последнего, господин Борель; я всегда рада услужить вам, — любезно ответила Людоедка, отвешивая почтительный поклон.

После ухода полицейского агента молодой человек с серым испитым лицом, который курил, попивая водку, снова набил свою трубку и сказал сиплым голосом Поножовщику: — Разве ты не узнал мужчину в греческом колпаке? Это же Волосатый — любовник Толстушки. Увидев полицейских, я подумал: «Недаром он все время прятал свою левую руку».

— Как удачно, что Грамотей не пришел сегодня, — продолжала Людоедка. — Греческий колпак несколько раз справлялся о нем из-за дел, которые они затеяли вместе... но я никогда не стану капать на своих клиентов. Пусть их забирают, ладно... у каждого свое ремесло... но я не продаю их. Смотрите: про волка речь, а волк навстречь, — заметила Людоедка при виде мужчины и женщины, входящих в кабак. — Вот и сам Грамотей

со своей барулей.

При входе Грамотея нечто вроде лихорадочного трепета охватило зал.

Несмотря на присущую ему смелость, даже Родольф не мог побороть волнения при виде столь опасного преступника, на которого он взглянул с любопытством, смешанным с ужасом.

Поножовщик сказал правду. Грамотей чудовищно себя изуродовал. Трудно было представить себе что-нибудь более жуткое, чем лицо этого злодея, сплошь покрытое глубокими синевато-белыми шрамами; его губы вздулись под действием серной кислоты; часть носа была отрезана, и две уродливые дыры заменяли ноздри. Его серые, светлые, маленькие и круглые глазки хищно блестели, лоб, сплюснутый, как у тигра, был наполовину скрыт под шапкой из рыжего длинношерстного меха... Так и казалось, что это грива чудовища.

Росту он был не более пяти футов и двух-трех дюймов; его несоразмерно большая голова уходила в широкие, приподнятые, мясистые плечи, мощь которых чувствовалась далее под свободными складками блузы из сурового полотна; руки были длинные, мускулистые, пальцы короткие, толстые, сплошь покрытые волосами;

его кривоватые ноги с огромными икрами свидетельствовали об атлетической силе.

Словом, этот человек напоминал в карикатурном виде Геркулеса Фарнезского, короткого, приземистого, плотного.

Что же касается выражения жестокости этой отвратительной морды, ее взгляда, беспокойного, изменчивого, горящего, как у дикого зверя, у нас не хватает слов, чтобы описать их.

На пожилой, довольно опрятной женщине, сопровождавшей Грамотея, было коричневое платье, черная шаль в красную клетку и белый чепец.

Родольф увидел эту женщину в профиль; ее крючковатый нос, ее зеленый круглый глаз, тонкие губы, выступающий вперед подбородок, злое и хитрое выражение лица невольно напомнили ему Сычиху, зловещую старуху, некогда истязавшую Лилию-Марию.

Он хотел было поделиться своим впечатлением с Певуньей, когда на его глазах она побледнела, вперив полный немого ужаса взгляд в мерзкую подругу Грамотея, и, схватив руку Родольфа дрожащими пальчиками, тихо сказала:

— Сычиха... Боже мой... Сычиха... Одноглазая старуха!

В эту минуту Грамотей, неслышно обменявшись несколькими словами с одним из завсегдатаев кабака, медленно приблизился к столу, за которым сидели Родольф, Певунья и Поножовщик. Затем, обратившись к Лилии-Марии, разбойник проговорил голосом, напоминающим рычание тигра:

— Вот что, хорошенькая беляночка, ты оставишь этих двух недотеп и пойдешь со мной...

Певунья ничего не ответила, только прижалась к Ро-дольфу. Она была так напугана, что зубы у нее стучали.

— А я... не стану ревновать моего муженька, — проговорила Сычиха с громким смехом.

Она все еще не узнавала Воровки, своей прежней жертвы.

— Слышишь ты меня или нет, беляночка? — спросил урод, подходя еще ближе к столу. — Если ты не пойдешь со мной, я выколю тебе один глаз, чтобы ты была под стать Сычихе. А если ты, красавчик с усиками, — обратился он к Ро-дольфу, — не перебросишь мне эту блондинку через стол... я прикончу тебя...

— Боже мой, боже мой! — воскликнула Певунья и, сложив с мольбой руки, обратилась к Родольфу: — Защитите меня!

Но, сообразив, что она подвергает его большой опасности, девушка продолжила шепотом:

— Нет, нет, не двигайтесь, господин Родольф; если он подойдет, я позову на помощь, он побоится скандала, появления полиции, Людоедка тоже вступится за меня.

— Не беспокойся, детка, — сказал Родольф, бесстрашно смотря на Грамотея. — Я рядом с тобой, сиди спокойно. Но так как нам с тобой претит вид этого урода, я мигом вышвырну его на улицу.

— Ты? — спросил Грамотей.

— Да, я!!! — ответил Родольф.

И, невзирая на попытки Певуньи удержать его, он встал из-за стола.

Грамотей отступил на шаг, таким грозным было лицо Родольфа.

Лилия-Мария и Поножовщик были поражены злобой, лютым гневом, которые исказили в эту минуту лицо их спутника; его трудно было узнать. Во время своей драки с Поножовщиком он держался презрительно, насмешливо; но перед лицом Грамотея он, казалось, был охвачен дикой ненавистью: его расширенные от ярости зрачки как-то странно блестели.

Иные глаза обладают непреодолимой магнетической силой; говорят, что наиболее знаменитые

дуэлянты одерживали свои кровавые победы благодаря гипнотической силе взгляда, который подавлял, парализовал их противников.

Родольф был наделен именно таким поразительным взглядом, пристальным, сверлящим, пугающим, которого не могут избежать те, на кого он направлен... Этот взгляд смущает их, властвует над ними; они почти физически ощущают его, но у них недостает сил от него оторваться.

Грамотей вздохнул, отступил на шаг и, уже не доверяя своей необычайной силе, стал нащупывать под блузой рукоятку кинжала.

На пол кабака могла пролиться кровь, если бы Сычиха, схватив за руку Грамотея, не вскричала:

— Погоди... погоди... чертушка. Выслушай меня; ты потом расправишься с этими двумя обормотами, они не уйдут от тебя...

Грамотей с удивлением взглянул на одноглазую.

А та уже несколько минут с возрастающим интересом наблюдала за Лилией-Марией, припоминая прошлое. Наконец все ее сомнения рассеялись: она узнала Певунью.

— Статочное ли дело! — воскликнула Сычиха, всплеснув руками. — Да ведь это Воровка, любительница полакомиться на чужой счет. Откуда

ты взялась? Уж не пекарь ли послал тебя сюда? — прибавила она, показывая кулак девушке. — Неужто ты вечно будешь попадать ко мне в лапы? Будь спокойна, я не стану больше вырывать у тебя зубы, зато я заставлю тебя выплакать все глаза. Ах, как ты будешь рвать и метать. Так, значит, тебе ничего не известно? Я знаю, кто твои родители... Грамотей встретился на каторге с человеком, который привез тебя ко мне, когда ты была еще крошкой. Тот открыл ему имя твоей матери... твои родители — грачи[54].

— Вы знаете моих родителей? — воскликнула Лилия-Мария.

— Моему муженьку известна фамилия твоей матери... но я не допущу, чтобы он открыл ее тебе, скорее вырву у него язык... Не далее как вчера он виделся с человеком, который когда-то привез тебя в мою конуру, поговорил с ним о деньгах, которые перестали посылать мне, женщине, так долго кормившей тебя... но твоей матери плевать на тебя, она была бы рада-радешенька, если бы ты околела... И все же, знай ты, кто она, ты могла бы выманивать у нее порядочные деньги, мой маленький подкидыш... У человека, о котором я

---

[54] Notes: 54
Богатые люди

говорю, имеются бумаги... да, письма твоей матери... Ты плачешь, Воровка... Так нет же, ты ничего не узнаешь о своей матери, ничегошеньки.

— Пусть лучше она думает, что я умерла... — проговорила Лилия-Мария, вытирая слезы.

Позабыв о Грамотее, Родольф внимательно слушал Сычиху, рассказ которой заинтересовал его.

Тем временем разбойник, не ощущая на себе властного взгляда Родольфа, приободрился; он не мог поверить, чтобы этот молодой человек, стройный, среднего роста, мог противостоять ему; уверенный в своей незаурядной силе, он приблизился к защитнику Певуньи и властно сказал Сычихе:

— Довольно, прикуси язык... Я хочу испортить вывеску этому грубияну, этому красавчику, чтобы хорошенькая беляночка нашла меня пригожее его.

Родольф мигом перепрыгнул через стол.

— Осторожно, не перебейте моих тарелок! — крикнула Людоедка.

Грамотей встал в оборонительную позицию: руки вытянуты вперед, торс откинут назад, нижняя часть туловища неподвижна, вся тяжесть тела перенесена на одну из огромных ног, подобных каменным тумбам.

В ту минуту, когда Родольф собирался напасть на него, кто-то с силой распахнул дверь кабака, и угольщик, о котором мы уже говорили, детина чуть ли не шести футов ростом, вбежал в залу, резко отстранил Грамотея, подошел к Родольфу и сказал ему на ухо по-английски:

— Сударь, Том и Сара... Они в конце улицы.

При этих таинственных словах Родольф сделал гневный, нетерпеливый жест, бросил луидор на стойку Людоедки и побежал к двери.

Грамотей попытался преградить путь Родольфу, но тот, обернувшись, нанес ему по голове два удара такой силы, что оглушенный злодей зашатался и тяжело рухнул на соседний стол.

— Да здравствует хартия! Узнаю «мои» удары в конце взбучки, — вскричал Поножовщик. — Еще несколько этаких ударов, и я сам буду наносить такие же...

Почти мгновенно придя в себя, Грамотей бросился за Родольфом, но тот исчез вместе с угольщиком в темном лабиринте улочек Сите, и разбойнику не удалось их нагнать.

В ту минуту, когда Грамотей в ярости возвращался обратно, два человека торопливо подошли к кабаку со стороны, противоположной той, где исчез Родольф, и вбежали в него, запыхавшись,

точно спешно проделали длинный путь.

Прежде всего они внимательно оглядели залу.

— Какое несчастье! — сказал один из них, — он опять ускользнул от нас!

— Терпение!.. В сутках двадцать четыре часа, а перед нами еще долгие годы жизни, — ответил его спутник.

Оба новоприбывших говорили по-английски.

Глава VI.
ТОМ И САРА

Эти новые посетители принадлежали к классу, несравненно более высокому чем завсегдатаи таверны.

У одного из них, высокого, стройного человека, были почти совсем седые волосы, черные брови и бакенбарды, костистое загорелое лицо, вид строгий, суровый. На его круглой шляпе бросалась в глаза траурная лента; черный длинный редингот был застегнут, как у военных, до самого верха, а серые облегающие панталоны заправлены в сапожки, некогда прозванные a'la Суворов. Его спутник, тоже носивший траур, был мал ростом, красив, бледен. Его длинные черные волосы, темные глаза и брови подчеркивали матовую бледность лица; по — походке, сложению, изяществу черт лица легко было догадаться, что это женщина, переодетая мужчиной.

— Том, мне хочется пить, вели принести чего-нибудь и расспроси этих людей о нем, — сказала Сара все так же по-английски.

— Хорошо, Сара, — ответил мужчина с седыми

волосами и черными бровями.

В то время как Сара вытирала потный лоб, он сел за один из столиков и сказал Людоедке на прекрасном, почти без акцента французском языке:

— Пожалуйста, сударыня, велите подать нам вина.

Появление в кабаке этой пары привлекло всеобщее внимание; их одежда и манеры свидетельствовали о том, что они когда не посещали подобных низкопробных заведений; а по их беспокойным озабоченным лицам можно было догадаться, что лишь важные причины могли привести их в этот квартал.

Поножовщик, Грамотей и Сычиха рассматривали вошедших с жадным любопытством.

Певунья, испуганная встречей с одноглазой, опасаясь угроз Грамотея, который хотел увести ее с собой, воспользовалась рассеянностью этих двух негодяев и, проскользнув в приоткрытую дверь кабака, вышла на улицу.

Поножовщику и Грамотею было явно не до того, чтобы еще раз померяться силами.

Удивленная появлением столь необычных посетителей, Людоедка разделяла всеобщий интерес. Том нетерпеливо повторил свою просьбу:

— Мы просили принести нам вина, сударыня;

будьте так любезны выполнить наш заказ.

Мамаша Наседка, польщенная столь вежливым обращением, вышла из-за стойки и, грациозно облокотись на столик Тома, спросила:

— Что вы желаете, литр вина или запечатанную бутылку?

— Подайте нам бутылку вина, стаканы и воды. Людоедка принесла все, что требовалось. Том бросил на стол монету в сто су и, отказавшись от сдачи, сказал:

— Оставьте мелочь себе, хозяюшка, и разрешите пригласить вас выпить с нами стакан вина.

— Вы очень любезны, сударь, — проговорила мамаша Наседка, смотря на Тома взглядом, в котором было больше удивление, чем признательности.

— Мы назначили свидание в кабачке на этой улице одному нашему приятелю; не знаю, мы, вероятно, ошиблись?

— Вы находитесь в «Белом кролике», где мы всегда рады вам услужить.

— Понимаю, — сказал Том, многозначительно взглянув на Сару. — Да, именно здесь он должен был ждать нас.

— Видите ли, на этой улице есть только один «Белый кролик», — с гордостью проговорила

Людоедка. — Но каков из себя ваш приятель?

— Высокий, тонкий, волосы и усы светло-каштановые, — сказал Том.

— Погодите, погодите, да это же мой недавний посетитель. Огромного роста угольщик пришел за ним, и они вместе ушли отсюда.

— Как раз их-то мы и разыскиваем, — сказал Том.

— Они были здесь вдвоем? — спросила Сара.

— Нет, угольщик зашел лишь на минутку; а ваш приятель ужинал с Певуньей и Поножовщиком. — И Людоедка указала взглядом на того из сотрапезников Родольфа, который оставался в кабаке.

Том и Сара повернулись лицом к Поножовщику. Внимательно осмотрев его, Сара спросила по-английски у своего спутника:

— Знаешь этого человека?

— Нет. Что до Родольфа, Чарльз потерял его из виду среди этих темных улочек. Видя, что Мэрф, наряженный угольщиком, расхаживает возле этого кабака и беспрестанно заглядывает в его окна, он кое-что заподозрил и пришел предупредить нас... Но, очевидно, Мэрф узнал Чарльза.

Во время этого разговора, который велся тихим голосом, на иностранном языке, Грамотей, глядя на Тома и Сару, обратился к Сычихе:

— Этот долговязый выложил сто су Людоедке. Скоро полночь; на улице дождь, ветер; когда они выйдут, мы последуем за ними; я оглушу долговязого и отберу у него деньги. Он с женщиной и не посмеет кричать.

— А если малышка позовет ночной дозор, у меня в карма не есть пузырек серной кислоты, который я тут же разобью о ее физиономию: детей надо поить, чтобы не орали.

Помолчав, Сычиха продолжала:

— Послушай, чертушка. Стоит нам найти Воровку, и мы возьмем ее нахрапом. Я натру ей морду серной кислотой, после чего она перестанет гордиться своей хорошенькой рожицей.

— Знаешь, Сыхича, я кончу тем, что женюсь на тебе, — сказал Грамотей. — Нет женщины, равной тебе по хитрости и мужеству... В ночь, когда мы имели дело с торговцем скотом, я оценил тебя. Решено и подписано: ты — моя жена, которая будет работать со мной лучше любого мужчины.

Подумав, Сара сказала Тому, указывая на Поножовщика:

— А что, если нам порасспросить этого человека? Быть может, мы узнаем, что привело сюда Родольфа.

— Попробуем, — согласился Том и, обратив-

шись к Поножовщику, сказал: — Мы должны были встретиться в этом кабаке с одним из наших друзей; говорят, он обедал с вами; вы, очевидно, знакомы с ним, приятель, не знаете ли вы, куда он ушел?

— Я знаком с ним только потому, что он отдубасил меня два часа назад, защищая Певунью.

— А до этого вы никогда его не видели?

— Никогда... Мы случайно встретились в проходе дома, где живет Краснорукий.

— Хозяюшка, еще одну бутылку вина, да самого лучшего, — сказал Том.

Они с Сарой едва пригубили вино, зато мамаша Наседка выпила несколько стаканов, видимо, чтобы оказать честь своему винному погребку.

— И подайте, пожалуйста, бутылку на стол этого господина, если он согласится распить ее с нами, — добавил Том.

Тем временем Грамотей с Сычихой продолжали обсуждать шепотом свои зловещие планы.

Как только бутылка была принесена, Сара и Том подсели к Поножовщику, удивленному и польщенному таким вниманием; к ним присоединилась и Людоедка, посчитавшая излишним новое приглашение. Разговор возобновился.

— Вы говорили, любезный, что встретились

с Родольфом в доме, где живет Краснорукий? — сказал Том, чокаясь с Поножовщиком.

— А как же, любезный, — ответит тот- и мигом опорожнил свой стакан.

— Какое странное прозвище. Краснорукий! Что он представляет собой, этот Краснорукий?

— Он промышляет варой, — небрежно обронил Поножовщик и прибавил: — Ну и знатное у вас вино, мамаша Наседка!

— Потому-то, приятель, ваш стакан и не должен пустовать, — заметил Том, снова наливая вина Поножовщику.

— За ваше здоровье, — сказал Поножовщик, — и за здоровье вашего дружка, который... Довольно, молчок. Будь моя тетя мужчиной, она приходилась бы мне дядей, как говорится в пословице. Ну, да чего там... Я-то понимаю, что подразумеваю...

Сара заметно покраснела. Том продолжал:

— Я не совсем понял, что вы сказали о Красноруком. Очевидно, Родольф выходил от него?

— Я вам сказал, что Краснорукий промышляет варой. Томас с удивлением посмотрел на Поножовщика.

— Что значит — промышляет варой, Как вы сказали?..

— Промышлять варой? Ну, ясное дело, зани-

маться контрабандой. Значит, вы не знаете музыки[55].

— Я ничего не понимаю, милейший.

— Я вам сказал: значит, вы не говорите на арго, как господин Родольф.

— На арго? — повторил Том, с изумлением смотря на Сару.

— Какие же вы телепни[56]! Зато друг Родольф — замечательный малый, и хоть он мастер по веерам, а даже меня заткнет за пояс своим арго... Ну ладно, раз вы не знаете этого прекрасного языка, я скажу по-французски, что Краснорукий контрабандист. Я говорю это запросто, не желая ему зла... Он и сам не скрывает этого и даже похваляется своей контрабандой под носом у таможенников; но пусть они только попробуют найти и зацапать его товар... не тут-то было: Краснорукий — хитрюга.

— Но зачем Родольф ходил к этому человеку? — спросила Сара.

— Ей-богу, сударь... или сударыня, как вам будет угодно, я ничего об этом не знаю. Это так же верно, как и то, что я пью с вами это винцо. Сегодня

---

[55] Notes: 55
Вы не знаете жаргона?

[56] Notes: 56
Простаки.

вечером я хотел поколотить Певунью, я был не прав: она хорошая девушка; она бежит от меня в проход дома Краснорукого, я преследую ее... Там было темным-темно, и, вместо того чтобы схватить Певунью, я натыкаюсь на господина Родольфа... который всыпал мне по первое число... О да... Особенно хороши были последние удары... Дьявольщина! Как они были отработаны! Он пообещал показать мне этот прием.

— А что, в сущности, за человек этот Краснорукий? — спросил Том. — Чем он торгует?

— Краснорукий-то? — Как вам сказать... Он продает все, что запрещено продавать, и делает все, что запрещено делать. Вот его позиция. Правильно я говорю, мамаша Наседка?

— О да, он малый не промах, — подтвердила Людоедка.

— И ловко же морочит таможенников, — продолжал Поножовщик. — Они раз двадцать делали обыск в его загородной хибаре, но так ничего и не нашли; а между тем он часто выносит оттуда целые тюки.

— У него все шито-крыто, — сказала Людоедка, — говорят, будто у Краснорукого имеется тайник, который сообщается с колодцем и ведет в катакомбы.

— Но тайника этого никто не отыскал. Чтобы вывести Краснорукого на чистую воду, — следовало бы разрушить его хибару, — сказал Поножовщик.

— А под каким номером значится дом, где живет в городе Краснорукий?

— Под номером тринадцать, Бобовая улица; Краснорукий — торговец, продает и покупает все, что пожелаете... Это известно во всей округе, — пояснил Поножовщик.

— Я запишу этот адрес в блокноте; если мы не отыщем Родольфа, я попытаюсь справиться о нем у господина Краснорукого, — сказал Том.

И он записал название улицы и номер дома контрабандиста.

— Вы вполне можете гордиться своей дружбой с господином Родольфом: это надежный товарищ и славный малый... Кабы не угольщик, он отдубасил бы за милую душу Грамотея, вон того, что сидит там, в углу, с Сычихой... Дьявольщина! Меня так и подмывает стереть в порошок эту старую ведьму, как подумаю, что она проделывала с Певуньей... Но терпение...- как говорится, удар кулаком всегда при мне.

— Родольф вас побил. Вы должны его ненавидеть!

— Чтобы я ненавидел такого смелого, щедрого человека! Этого еще не хватало! И впрямь, я и сам не понимаю, почему так получилось... Взять хотя бы Грамотея, он тоже побил меня, и я только бы порадовался, если бы его придушили... Господин Родольф побил меня гораздо крепче... и вот какая штука: я желаю ему добра. Ради него я готов в огонь и воду, а ведь познакомились мы с ним только сегодня вечером.

— Вы сказали это, потому что мы его друзья.

— Нет, дьявольщина, нет, клянусь честью!.. В его пользу говорят те удары, что он нанес мне под конец... А он, прямо как ребенок, даже не гордится ими. Ничего не скажешь, он мастер, законченный мастер... И кроме того, он говорит тебе такие слова... такие вещи, от которых сердце переворачивается; и, наконец, когда он смотрит на тебя... у него что-то такое есть в глазах... Видите ли, я был пехотинцем... С таким начальником мы пошли бы на приступ неба.

Том и Сара молча переглянулись.

— Неужели эта поразительная власть над людьми будет всегда и повсюду сопутствовать ему? — с горечью молвила Сара.

— Да... До тех пор, пока мы не наложим заклятия на его чары, — заметил Том.

— Да, что бы ни случилось, это надо, надо сделать, — проговорила Сара и провела рукою по лбу, словно отгоняя какое-то тягостное воспоминание.

Часы на ратуше пробили полночь.

Кенкет таверны распространял теперь лишь сумеречный свет.

За исключением Поножовщика, двух его сотрапезников, Грамотея и Сычихи, все посетители понемногу разошлись. Грамотей шепотом сказал жене:

— Мы спрячемся с тобой в доме напротив; увидим, когда наши сударики выйдут на улицу, и последуем за ними. Если они повернут влево, мы подождем их в закоулке на улице Святого Элигия, если они повернут вправо, мы подождем их у разрушенного дома, того, что неподалеку от лавчонки, торгующей требухой. Там есть большая яма... Я кое-что придумал.

И Грамотей направился к двери вместе с Сычихой.

— Вы ничего не закажете нынче вечером? — спросила у них Людоедка.

— Нет, мамаша Наседка... Мы зашли только обогреться, — сказал Грамотей и вышел из кабака вместе с Сычихой.

Глава VII.
КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ

Шум захлопнувшейся двери вывел Тома и Сару из задумчивости, и они поблагодарили Поножовщика за сообщенные им сведения; последний внушал им меньше доверия с тех пор, как он грубо, но искренне выразил свое восхищение Родольфом. После ухода Поножовщика ветер еще усилился, а дождь полил как из ведра.

Грамотей и Сычиха, прятавшиеся на противоположной стороне улицы, увидели, что Поножовщик свернул в сторону разрушенного дома. Вскоре его отяжелевшие шаги — следствие частых возлияний этого вечера — заглохли среди завывания ветра и шума дождя, хлеставшего по стенам домов.

Том и Сара покинули кабак, невзирая на погоду, и отправились в сторону, противоположную той, которую избрал Поножовщик.

— Они у нас на крючке[57], — тихо сказал Грамотей. — Готовь пузырек с серной кислотой; внимание!

---

[57] Notes: 57
Они у нас в руках.

— Давай снимем обувь, чтобы они не услыхали наших шагов.

— Ты права, ты всегда бываешь права, Хитрушка; я никогда бы не подумал об этом; пойдем крадучись, как кошки.

Мерзкая парочка сняла башмаки и стала пробираться в темноте вдоль домов... |

Теперь шум их шагов был настолько смягчен, что они могли следовать чуть ли не вплотную за Томом и Сарой.

— К счастью, извозчик ожидает нас на углу улицы, иначе мы промокли бы до костей, — сказал Том. — Тебе не холодно, Сара?

— Быть может, нам удастся выяснить что-нибудь у этого Краснорукого, — задумчиво проговорила Сара, не отвечая на вопрос брата.

Они как раз находились вблизи того места, где Грамотей решил совершить ограбление.

— Я ошибся и пошел не по той улице, — сказал Том, — нам надо было свернуть влево, в сторону разрушенного дома, чтобы выйти к тому месту, где нас ожидает извозчик. Придется вернуться назад.

Грамотею и Сычихе пришлось спрятаться в подъезде какого-то дома, чтобы не быть замеченными Томом и Сарой.

— По мне, пусть лучше отправятся в сторону развалин, — проговорил Грамотей. — Если этот сударик будет фордыбачить... у меня есть одна мыслишка...

Сара с Томом снова миновали кабак и добрались до развалин. Этот разрушенный дом с зияющими отверстиями подвалов являл собой нечто вроде глубокого рва, вдоль которого и шла улица.

Вдруг Грамотей прыгнул с ловкостью и силой тигра, схватил своей широченной рукой Тома за горло и проговорил:

— Выкладывай деньги, не то я сброшу тебя в эту дыру!

И разбойник толкнул Тома, заставив его потерять равновесие: одной рукой он удержал его на краю глубокой ямы, а другой зажал, как в тисках, руку Сары.

Прежде нежели Том успел сделать хоть одно движение Сычиха обчистила его карманы с поразительной хваткой и проворством.

Сара не вскрикнула, не попыталась вырваться.

— Отдай им свой кошелек, Том, — сказала она спокойно и, обратившись к разбойнику, добавила: — Мы не станем кричать, не причиняйте нам зла.

Тщательно обшарив карманы своих жертв, попавших в расставленную им западню, Сычиха обратилась к Саре:

— Покажи руки: есть у тебя кольца? Нету колец, — продолжала, ворча, старуха. — Какая незадача!

На протяжении всей этой стремительной и неожиданной сцены хладнокровие не изменило Тому.

— Хотите заключить сделку? В моем бумажнике имеются лишь ненужные вам документы; принесите мне его завтра, и вы получите двадцать пять луидоров, — сказал он Грамотею, рука которого уже не так сильно сжимала его горло.

— И чтобы при этом мы попались в ловушку? Дудки! — ответил грабитель. — А теперь убирайся не оглядываясь. Счастье твое, что ты так дешево отделался.

— Минутку, — сказала Сычиха. — Если он окажется покладистым, то получит обратно свой бумажник, всегда можно договориться. — И, обратившись к Тому, спросила: — Знаете долину Сен-Дени?

— Знаю.

— А Сент-Уен знаете? -Да.

— Против Сент-Уена, где проходит дорога Вос-

стания, местность ровная, среди полей там далеко видно. Приходите туда завтра утром — один, с деньгами в кармане; вы встретите там меня, и я верну вам бумажник: даешь — берешь.

— Да он же подведет тебя под арест, Сычиха!

— Не такая уж я дура!.. Там все видать как на ладони. У меня только один глаз... но видит он хорошо; если этот господин придет с кем-нибудь, он никого не найдет; я мигом улетучусь.

Саре пришла в голову какая-то неожиданная мысль.

— Хочешь хорошо заработать? — спросила она у Грамотея.

— Хочу.

— Видел ты в кабаке, откуда мы вышли, — я только сейчас тебя узнала, — повторяю, видел ли ты в кабаке мужчину, за которым зашел угольщик?

— Мужчину с тонкими усиками? Как не видать... Я собрался мокрого места не оставить от этого мерзавца, но не успел... Он оглушил меня двумя ударами и опрокинул стол... такого со мной еще не бывало... О, я отомщу ему!

— Да, я говорю о нем, — сказала Сара.

— О нем? — вскричал Грамотей. — Тысяча франков чистоганом, и я его убью.

— Сара! — в ужасе крикнул Том.

— Негодяй! Речь идет не о том, чтобы его убивать...

— Так о чем же?

— Приходите завтра в долину Сен-Дени, вы встретите там моего спутника, — продолжала она, — убедитесь, что он один; он скажет вам, что надо сделать. И если вам это удастся... я дам вам не тысячу, а две тысячи франков.

— Послушай, чертяка, — шепотом сказала Сычиха, — тут можно хорошо заработать: это — грачи, они, видно, хотят насолить своему врагу, а враг их — тот негодяй, которого ты хотел прикончить... Надо пойти туда, но вместо тебя схожу я... Из-за двух тысяч франков, старичок, стоит потрудиться.

— Ладно, приду не я, а моя женушка, — заметил Грамотей. — Вы скажете ей, что надо сделать, а я подумаю...

— Пусть так, значит, завтра в час дня.

— Да, в час дня.

— В долине Сен-Дени?

— В долине Сен-Дени.

— Между Сент-Уеном и дорогой Восстания, в самом ее конце. \

— Договорились.

— Я верну вам бумажник.

— И получите обещанные пятьсот франков и, кроме того, задаток в счет другого дела, если вы не будете слишком требовательны.

— Теперь идите направо, а мы пойдем налево. И не смейте следовать за нами, не то...-

Грамотей и Сычиха тут же исчезли.

— Сам демон пришел нам на помощь, — проговорила Сара, — этот разбойник может оказать нам услугу.

— Сара, теперь мне страшно... — сказал Том.

— А мне не страшно. Напротив, я надеюсь, но идем, идем скорее, я знаю теперь, где мы находимся; до извозчика недалеко.

И они быстрым шагом направились к площади Парижской богоматери.

Невидимый свидетель присутствовал при этой сцене.

Свидетелем этим был Поножовщик, укрывшийся от дождя в разрушенном доме. Сговор между Сарой и злодеем, направленный против Родольфа, очень взволновал Поножовщика; он был напуган той опасностью, которая грозила его новому другу, и сожалел, что не может предотвратить ее. По всей вероятности, его ненависть к Грамотею и Сычихе подогревала эти добрые

чувства.

Поножовщик решил предупредить Родольфа об ожидающей его беде; но как найти его? Он позабыл адрес мнимого мастера по раскраске вееров. Возможно, Родольф больше не зайдет в кабак «Белый кролик»; где же искать его? Занятый этими мыслями, Поножовщик машинально последовал за Томом и Сарой; он увидел, что они сели на извозчика, ожидавшего их у паперти собора Парижской богоматери.

Извозчик тронул.

Блестящая мысль пришла в голову Поножовщику, и он уцепился за задок экипажа.

В час ночи извозчик остановился на бульваре Обсерватории, и Том с Сарой скрылись в одной из близлежащих улочек.

Было темным-темно. Поножовщик не мог найти ничего, что помогло бы ему на следующий день более точно определить, место, где он находился. Тогда с хитростью дикаря он вытащил из кармана нож и сделал глубокий надрез на стволе дерева, возле которого остановидся экипаж. Затем он вернулся в свое жилище, от которого отъехал довольно далеко. В эту ночь, впервые за долгое время, Поножовщик уснул глубоким сном, который не был потревожен кошмаром о бойне

сержантов, как он называл этот кошмар на своем грубом языке.

Глава VIII.
ПРОГУЛКА

На следующий день после того вечера, в который произошли события, только что рассказанные нами, яркое осеннее солнце сияло в безоблачном небе; ночная буря миновала, и гнусный квартал, в котором читатель побывал вместе с нами, казался менее отталкивающим в свете погожего дня, хотя и был затенен домами.

То ли Родольф перестал опасаться встречи со старыми знакомыми, которых избегал накануне, то ли решил пренебречь этой возможностью, только в одиннадцать часов утра он появился на Бобовой улице и направился в таверну Людоедки.

Родольф был все так же одет по-рабочему, но в его внешности появилась некая изысканность: под новой открытой на груди блузой виднелась красная шерстяная рубашка с серебряными пуговицами; воротник другой рубашки из белого полотна был небрежно повязан черным шелковым галстуком; из-под небесно-голубой бархатной фуражки с лакированным козырьком

выбивались каштановые завитки волос; грубые, подбитые шипами башмаки уступили место до блеска начищенным сапожкам, которые подчеркивали изящество его ног, казавшихся особенно маленькими по сравнению с широкими, бархатными штанами оливкового цвета.

Этот костюм отнюдь не портил осанки Родольфа, являвшей собой редкое сочетание грации, гибкости и силы.

Наша современная одежда так безобразна, что можно только выиграть, сменив ее на самое заурядное платье.

Людоедка мирно отдыхала на пороге кабака, когда подошел Родольф.

— Я к вашим услугам, молодой человек. Вы, верно, пришли за сдачей со своих двадцати франков? — проговорила она с оттенком почтительности, не решаясь «позабыть» о том, что накануне победитель Поножовщика бросил на ее стойку луидор. — Вам причитается семнадцать ливров десять су... Да, вот еще что... Вчера вас спрашивал высокий, хорошо одетый мужчина; на ногах у него были шикарные сапожки, а под руку он вел маленькую женщину, переодетую мужчиной. Они пили с Поножовщиком мое лучшее вино из запечатанной бутылки.

— А, так они пили с Поножовщиком! И о чем они с ним говорили?

— Я неправильно сказала, что они пили, они лишь пригубили вино и...

— Я спрашиваю тебя, что они говорили Поножовщику.

— Они разговаривали о том о сем... О Краснорук ом, о ведре и ненастье.

— Они знают Краснорукого?

— Нет, напротив, это Поножовщик говорил им, что это за птица, и рассказывал, как вы его самого побили.

— Ладно, не об этом толк.

— Так вернуть вам сдачу?

— Да... И я возьму с собой Певунью, чтобы провести с ней день за городом.

— О, это невозможно, мой милый.

— Почему?

— Ведь она может не вернуться, правда? А все, что на ней надето, принадлежит мне, не считая двухсот двадцати франков, которые она задолжала мне за еду и квартиру, с тех пор как живет у меня; не будь она такой честной девочкой, я не пустила бы ее дальше угла этой улицы.

— Певунья должна тебе двести двадцать франков?

— Двести двадцать франков десять су... Но вам-то какое дело до этого, парень? Уж не собираетесь ли вы уплатить за нее? Не разыгрывайте из себя милорда!

— Получай! — сказал Родольф, бросая одиннадцать луидоров на оцинкованную стойку Людоедки. — Теперь, сколько стоит тряпье, в которое она одета?

Изумленная старуха рассматривала один за другим луидоры, всем своим видом выражая сомнение и недоверие.

— Черт побери! Неужто ты думаешь, что я даю тебе фальшивые деньги? Пошли обменять золотые монеты, и покончим с этим делом... Сколько стоит тряпье, которое ты даешь напрокат этой несчастной девушке?

Раздираемая различными чувствами — желанием заключить выгодную сделку, удивлением, что у рабочего может быть столько денег, опасением попасть впросак и надеждой заработать еще больше, Людоедка некоторое время молчала.

— Ее тряпье стоит по меньшей мере... сто франков, — сказала она наконец.

— Такие обноски? Полно!!! Ты оставишь себе вчерашнюю мелочь, и я дам тебе еще один луидор, и ни гроша больше. Позволить тебе

так бессовестно обдирать меня значило бы обкрадывать бедняков, которые имеют право на подаяние.

— В таком случае, мой милый, я оставляю за собой это тряпье: Певунья не выйдет отсюда; я вольна продавать мои вещи за угодную мне цену.

— Пусть в аду Люцифер воздаст тебе по заслугам! Вот деньги, ступай и приведи Певунью.

Людоедка забрала золото, подумав, что рабочий совершил кражу или получил наследство, и сказала ему с гаденькой улыбкой:

— А почему бы, сынок, вам самому не сходить за Певуньей?.. Это доставит ей удовольствие... Честное слово мамаши Наседки, вчера она здорово пялила на вас глаза!

— Ступай за ней сама и скажи, что я повезу ее в деревню... и ни слова больше. Главное, чтобы она не знала, что я уплатил ее долг.

— Это еще почему?

— Не все ли тебе равно?

— В самом деле, мне это безразлично, я предпочитаю, чтобы она по-прежнему считала себя в моей власти...

— Да замолчишь ли ты наконец? Ступай!..

— О, какой злюка! Жалею тех, с кем вы не в

ладах... Хорошо! Иду... иду...

И Людоедка поднялась на чердак. Несколько минут спустя она вернулась.

— Певунья не хотела мне верить; она покраснела как рак, когда узнала, что вы здесь... А когда я разрешила ей провести день за городом, мне показалось, что она сошла с ума; в первый раз в жизни она чуть не бросилась мне на шею.

— Это от радости... что покидает тебя.

В эту минуту в залу вошла Лилия-Мария, одетая, как и накануне: платье из коричневого бомбазина, оранжевая шаль, завязанная на спине, и головная косынка в красную клетку, позволяющая видеть лишь две толстые белокурые косы.

Она вспыхнула, увидев Родольфа, и смущенно опустила глаза.

— Не согласитесь ли вы, детка, провести со мной целый день за городом? — спросил Родольф.

— С большим удовольствием, господин Родольф, раз мадам мне это разрешила.

— Я отпустила тебя, кисанька, в награду за хорошее поведение, которое украшает тебя... Ну же, поцелуй меня...

И мегера приблизила к Лилии-Марии свое лицо в красных прожилках.

Превозмогая отвращение, бедная девушка

подставила ей лоб для поцелуя, но Родольф локтем отбросил старуху к ее стойке, взял под руку Лилию-Марию и вышел из кабака под град проклятий мамаши Наседки.

— Будьте осторожны, господин Родольф, — сказала Певунья, — Людоедка, пожалуй, бросит вам что-нибудь в голову: она такая злая!

— Не беспокойтесь, детка. Но что это с вами? Вид у вас смущенный... печальный!.. Вы недовольны, что идете со мной?

— Напротив... но... но... вы взяли меня под руку.

— Что ж из этого?

— Ведь вы рабочий... И кто-нибудь может сказать вашему хозяину, что встретил вас со мной... Как бы это не повредило вам. Хозяева не любят, когда их подчиненные уходят с работы.

И Певунья осторожно высвободила свою руку.

— Идите один... я дойду вслед за вами до заставы... А как только мы очутимся, за городом, я присоединюсь к вам.

— Ничего не бойтесь, прошу вас, — сказал Родольф, тронутый ее деликатностью, и снова взял под руку Лилию-Марию. — Мой хозяин живет далеко отсюда, к тому же мы наймем извозчика на Цветочной набережной.

— Как вам будет угодно, господин Родольф; я

сказала так, чтобы не навлечь на вас неприятностей...

— Верю вам, спасибо. Но, скажите откровенно, вам все равно, куда ехать?

— Да, все равно, лишь бы это было за городом... В деревне так красиво... и так приятно дышать чистым воздухом! Знаете, за последние пять месяцев я ни разу не была дальше Цветочного рынка! И Людоедка лишь потому отпускала меня из Сите, что очень мне доверяет.

— А для чего вы ходили на рынок? Чтобы купить цветов?

— О нет, у меня не было на это денег; я ходила туда посмотреть на цветы, понюхать их... И в базарные дни, когда Людоедка разрешала мне провести полчаса на рынке, я чувствовала себя такой счастливой, что забывала обо всем.

— А когда вы возвращались к Людоедке... по этим гадким улицам?..

— Как вам сказать... Мне было еще более грустно, чем до прогулки... и я сдерживала слезы, чтобы не нарваться на побои. И знаете... кому я завидовала на рынке... очень завидовала?.. Молоденьким работницам, таким чистеньким, которые шли с рынка веселые-превеселые с горшком красивых цветов в руках.

— Я уверен, что, будь у вас на подоконнике несколько горшков с цветами, вы не чувствовали бы себя такой одинокой.

— Ваша правда, господии Родольф! Представьте себе, что однажды, на свои именины, Людоедка — она знала, что я люблю цветы, — подарила мне маленький розовый кустик. Если бы вы знали, как я была счастлива! Я даже перестала скучать, ей-богу! Я то и дело смотрела на свою розочку... Забавлялась, считая ее листики, бутоны... Но в Сите плохой воздух, два дня спустя розочка стала желтеть. Тогда... Но вы станете смеяться надо мной, господин Родольф.

— Нет, нет, продолжайте.

— Так вот, я попросила у Людоедки позволения гулять с моей розочкой, как я гуляла бы с ребенком. Да, я ходила с ней на набережную, воображая, что ей полезно побыть с другими цветами, на свежем, хорошем, душистом воздухе; я смачивала ее поблекшие листочки в чистой воде, потом я вытирала их и на четверть часа выставляла цветок на солнце... Дорогая моя розочка никогда не видела солнца в Сите... впрочем, как и я... ведь на нашей улице солнце не опускается ниже крыши... Наконец я возвращалась... Уверяю вас, господин Родольф, что благодаря этим

прогулкам моя розочка прожила на десять дней больше, чем прожила бы без них.

— Охотно верю, и, конечно, для вас было большой потерей, когда она погибла.

— Да, я оплакивала ее, это было для меня настоящим горем... И вот что, господин Родольф, раз вы понимаете, что можно любить цветы, я могу сказать вам одну вещь. Так вот, я питала нечто вроде благодарности... Ну, теперь вы непременно посмеетесь надо мной...

— Нет, нет! Я люблю, я обожаю цветы! И вполне понимаю те безрассудства, которые люди совершают из-за них.

— Так вот, я была благодарна моему бедному кустику, который так мило цвел для меня... хотя... словом... несмотря на то, что я представляю собой...

И Певунья, опустив голову, покраснела от стыда.

— Бедная девочка! Вы так ясно сознавали весь ужас своего положения, что, вероятно, нередко...

— ...мне хотелось покончить с собой, вы это хотели сказать, господин Родольф? — подхватила Певунья, прервав своего спутника. — О да, можете мне поверить: не раз за последний месяц я смотрела поверх парапета на Сену... но затем я

смотрела на цветы, на солнце... И думала: река останется на своем месте; мне еще нет семнадцати лет... как знать?

— Когда вы говорили себе: «Как знать?..» — вы на что-то надеялись?

— Да.

— На что же?

— Сама не знаю... Я надеялась... Да, надеялась помимо воли... В такие минуты мне казалось, что моя горькая судьба незаслуженна, что во мне есть что-то и хорошее. Я говорила себе: «Мне очень тяжко пришлось, но, по крайней мере, я никогда никому не делала зла... Если бы я могла посоветоваться с кем-нибудь, то не дошла бы до того, до чего дошла!» Эти мысли разгоняли немного мою грусть... Надо сказать, что они стали приходить ко мне после гибели моего розового кустика, — прибавила Певунья с торжественным видом, вызвавшим улыбку у Родольфа.

— И это большое горе еще не прошло?..

— Нет... Вот взгляните.

И Певунья вытащила из кармана маленький сверток с засохшим розовым кустиком, тщательно перевязанным розовой шелковой лентой.

— И вы его сохранили?

— Ну конечно... Это все, что у меня есть на бе-

лом свете.

— Как, у вас нет ничего своего?

— Ничего...

— А это коралловое ожерелье?

— Оно принадлежит Людоедке.

— Как, у вас нет ни носового платка, ни чепчика, ни какой-нибудь тряпицы?

— Ничего у меня нет, ничегошеньки... только сухие веточки моей бедной розы, вот почему я так дорожу ими.

С каждым словом Певуньи удивление Родольфа возрастало; он не мог понять этого жуткого рабства, этой чудовищной торговли телом и душой женщины, продающей себя за грязное помещение, за поношенное платье и несъедобную пищу[58].

Родольф с Певуньей дошли до Цветочной набережной, где их ждал извозчик. Родольф подсадил Певунью и сел подле нее.

— В Сен-Дени, — сказал он кучеру, — там я ска-

---

[58] Notes: 58

Если бы нам было разрешено входить в подробности, которых мы поневоле избегаем, мы доказали бы, что это рабство существует, что полиция ему не препятствует, что несчастная женщина, нередко проданная своими близкими и брошенная в омут разврата, осуждена, так сказать, навеки оставаться в кем, что ее раскаяние, ее угрызения совести бесплодны и что фактически ей почти невозможно выбраться из этой грязи. (См. прекрасную книгу доктора Паран-Дюшатле, труд философа и благородного человека). (Примеч. автора).

жу, куда ехать дальше.

Извозчик тронул; солнце сияло, на небе не было ни облачка; стекла кареты были опущены, и в нее врывался чистый прохладный воздух.

— Что это? Женское пальто! — воскликнула певунья, заметив, что она сидит на чем-то мягком.

— Да, пальто для вас, детка; я захватил его, опасаясь, как бы вы не продрогли. Хорошенько закутайтесь в него.

Певунья, не привыкшая к такой предупредительности, с удивлением взглянула на Родольфа.

— Боже мой, как вы добры, господин Родольф! Мне просто совестно.

— Из-за того, что я добрый?

— Нет, но... вы говорите сегодня не так, как вчера, да и сами стали совсем другим.

— Скажите, Лилия-Мария, какой Родольф вам больше нравится, вчерашний или сегодняшний?

— Вы мне больше нравитесь таким, как сегодня... Однако вчера мне казалось, что я вам ровня...

И, сразу спохватившись, что могла его обидеть своими словами, она пояснила:

— Хоть я и сказала, что вам ровня, но я прекрасно понимаю, что это не так...

— Вот что меня удивляет, Лилия-Мария.

— Что именно, господин Родольф?

— Вы словно забыли то, что вам сказала вчера Сычиха... будто она знает ваших родителей... вашу мать.

— О, я ничего не забыла... Я думала этой ночью о ее словах и плакала... Но я уверена, что это неправда... Одноглазая выдумала эту историю, чтобы меня огорчить...

— Вполне возможно, что Сычиха лучше осведомлена, чем вы полагаете... А если это так, разве вы не были бы рады найти вашу мать?

— Увы, господин Родольф, если моя мать никогда не любила меня, к чему мне находить ее?.. Она даже не захочет взглянуть на меня... А если бы она меня любила... я опозорю ее!.. Она может умереть от стыда.

— Если мать любила вас, Лилия-Мария, она пожалеет вас, простит и снова полюбит... Если она вас бросила... то, увидев, на какую страшную долю она обрекла вас своим поступком... Стыд, испытанный ею, послужит вам отмщением.

— А к чему мне мстить ей? А кроме того, если бы я отомстила, мне кажется, что уже не имела бы права считать себя несчастной... А подчас это меня утешает.

— Вы правы, не будем больше говорить об

этом.

Карета как раз подъезжала к Сент-Уэну, к тому месту, где расходятся два пути: шоссе на Сен-Дени и дорога Восстания.

Несмотря на однообразие пейзажа, Лилия-Мария пришла в такой восторг при виде полей, как она говорила, что, позабыв о печальных мыслях, навеянных воспоминанием о Сычи-хе, она встрепенулась и ее прелестное личико просияло. Она выглянула в дверцу кареты и, хлопая в ладоши, воскликнула:

— Господин Родольф, какое счастье!.. Трава, поля! Если вы только позволите, я спущусь вниз... Какая чудная погода! Мне так хочется побегать по лугам...

— Побегаем, детка... Извозчик, останови!

— Как! Вы тоже хотите побегать, господин Родольф?

— Еще бы, это такое удовольствие.

— Какое счастье! Господин Родольф!!!

И Родольф с Певуньей, схватившись за руки, побежали во всю прыть по обширному лугу, с опозданием скошенному во второй раз.

Прыжки, веселье, радостные крики, восторг Лилии-Марии не поддаются описанию. Подобно козочке, долго пробывшей взаперти, она с упое-

нием вдыхала живительный воздух... Она ходила туда-сюда, останавливалась и вновь самозабвенно бежала дальше.

При виде растущих кучками маргариток и золотых бубенчиков, выдержавших первые заморозки, Певунья не могла удержаться от возгласов радости, она собрала все цветы до единого. Вдосталь набегавшись, она быстро устала, ибо отвыкла от таких игр, остановилась, чтобы перевести дух, и села на ствол дерева, лежащий у края глубокого рва.

На чистом белом личике Лилии-Марии, обычно слишком бледном, появился яркий румянец. Ее большие голубые глаза сияли, алые губки открывали два ряда влажных жемчужин, грудь бурно вздымалась под старенькой оранжевой шалью; одну руку она прижимала в сердцу, чтобы унять его биение, а другой протягивала Родольфу букет собранных ею полевых цветов.

Как пленительно было выражение невинной и чистой радости, которой дышало это целомудренное личико!

Обретя дар речи, Лилия-Мария сказала Родольфу:

— Как добр господь бог, что Послал нам такой чудесный денек!

И в ее словах прозвучало глубокое счастье и чуть ли не мистическая благодарность.

Слезы выступили на глазах Родольфа, когда он услышал, что Лилия-Мария, обездоленная, покинутая, презираемая, погибшая девушка, не имевшая ни крова, ни хлеба, обратилась с этим криком души и неизъяснимой признательности к создателю лишь потому, что наслаждалась солнцем и видом скошенного луга.

Созерцательное настроение Родольфа было нарушено непредвиденным случаем.

Глава IX.
НЕОЖИДАННОСТЬ

Мы уже говорили, что Певунья села на ствол дерева, лежащий у края глубокого рва. Какой-то мужчина неожиданно вылез из этой рытвины и, сбросив с себя охапку сена, под которой он прятался, разразился оглушительным хохотом.

Певунья вскрикнула от ужаса и обернулась.

Это был Поножовщик.

— Не бойся, дочка, — сказал Поножовщик при виде испуга девушки, которая прижалась к своему спутнику. — Послушайте, господин Родольф, вот удивительная встреча, а? Вы не ждали ничего такого? Я тоже... — Затем он прибавил уже серьезным тоном: — Вот что, хозяин... видите ли, можно говорить что угодно... но что-то есть там, в небе... наверху... над нашими головами... Всемогутный — хитрец! На мой взгляд, он говорит каждому человеку: «Ступай туда, куда я тебя направляю...» — вот он и направил сюда вас обоих, что чертовски странно!

— Что ты тут делаешь? — спросил крайне удивленный Родольф.

— Я тут на посту ради вас, хозяин... Но, дьявольщина! Какая удача, что вы пришли в окрестности моего загородного дома... Право, тут что-то есть... положительно что-то есть...

— Еще раз спрашиваю, что ты тут делаешь?

— Немного погодя вы все узнаете. Дайте срок, мне надо влезть на вашу конную обсерваторию.

Поножовщик бросился бегом к извозчику, стоявшему неподалеку, окинул своим зорким взглядом долину и поспешно вернулся обратно.

— Да объяснишь ли ты мне наконец, что все это значит?

— Терпение, терпение, хозяин... еще один вопрос... Который час?

— Половина первого, — ответил Родольф, взглянув на часы.

— Ладно... у нас еще есть время... Сычиха придет сюда лишь через полчаса.

— Сычиха! — воскликнули разом Родольф и молодая девушка.

— Да... Сычиха. В двух словах, хозяин, вот какая вышла история: вчера, когда вы выбежали из кабака, туда пришли...

— Высокий мужчина и женщина, переодетая мужчиной, которые справлялись обо мне. Знаю. Дальше.

— Затем они выставили мне бутылку вина и хотели заставить меня болтать о вас... Я ничего не мог им сказать... уж по одному тому, что вы не сообщили мне ничего, разве только, как можно осчастливить человека, отколошматив его... Из ваших секретов я знал лишь тот, что имел касательство к последним кулачным ударам. Да и если бы я знал что-нибудь, ничего бы не изменилось..." потому что я ваш друг до гроба... метр Родольф... Пусть меня изжарят в аду, если я знаю, почему это так, но я чувствую к вам как бы привязанность бульдога к своему хозяину... Но тут уж ничего не поделаешь... Эта привязанность сильнее меня, и я решил не думать о ней... Теперь это ваша забота... Поступайте со мной как знаете...

— Благодарю тебя, приятель, но продолжай...

— Высокий господин и маленькая дама, переодетая мужчиной, поняли, что ничего из меня не вытянут; они ушли от Людоедки, я тоже ушел... они повернули в сторону Дворца правосудия, я — в сторону собора Парижской богоматери. Дойдя до конца улицы, замечаю, что дождь припустил вовсю, настоящий потоп. Вижу поблизости полуразрушенный дом и говорю себе: «Если ливень продлится, я не хуже проведу здесь ночь, чем в моей конуре». Соскальзываю в какой-то подвал,

где не каплет, устраиваю себе постель на старой балке, подушкой мне служит строительный мусор, словом, располагаюсь со всеми удобствами, как король...

— Дальше, дальше!..

— Мы пили с вами вместе, метр Родольф, да я еще выпил с высоким господином и с маленькой женщиной, переодетой мужчиной... это к слову, чтобы вы знали, что голова у меня была тяжелая... да и, кроме того, ничто так не усыпляет, как шум дождя. Итак, я преспокойно заснул. Словно бы недолго я задавал храпака, как вдруг какой-то шум разбудил меня; это был голос Грамотея, который, можно сказать, дружески беседовал с кем-то. Прислушиваюсь... Дьявольщина!.. Кого же я узнаю? Высокого господина, того, что был в кабаке с маленькой женщиной.

— Они беседовали с Грамотеем и Сычихой? — спросил Родольф с крайним изумлением.

— Да... Они договаривались встретиться на следующий день.

— Значит, сегодня! — воскликнул Родольф. — В час дня.

— Через несколько минут!

— У развилки шоссе на Сен-Дени и дороги Восстания.

— Здесь?!

— Правильно, господин Родольф, здесь!

— С Грамотеем?!. Будьте осторожны, господин Родольф! — воскликнула Певунья.

— Успокойся, дочка, он не придет, явится сюда одна Сычиха.

— Как мог этот человек войти в сношение с такими двумя негодяями? — сказал Родольф.

— Честное слово, понятия не имею. Вероятно, я проснулся лишь в конце разговора — мужчина просил вернуть бумажник, который Сычиха обещала принести ему сюда... за вознаграждение в пятьсот франков. Надо думать, что сначала Грамотей обокрал их... и что лишь после этого они стали разговаривать по душам.

— Как это странно...

— Боже мой, все это пугает меня из-за вас, господин Родольф, — пролепетала Лилия-Мария.

— Господин Родольф не ребенок, дочка; но ты верно сказала: Грамотей вполне может подложить ему свинью.

— Продолжай, приятель.

— Высокий мужчина и маленькая женщина пообещали две тысячи франков Грамотею, видно, для того, чтобы он напакостил вам, а как — понятия не имею. Вскорости сюда придет Сычиха: она

вернет высокому мужчине его бумажник, узнает, чем тут пахнет, и передаст все, что требуется, своему муженьку, который возьмется за остальное.

Лилия-Мария вздрогнула. Родольф презрительно улыбнулся.

— Две тысячи франков, чтобы напакостить вам! Метр Родольф... это наводит меня на мысль (я не хочу ни с кем себя сравнивать) об объявлениях, в которых обещается награда в сто франков за потерянную собаку. Прочитав такое объявление, я скромно говорю себе: «Скотина, если ты потеряешься, никто не даст и пяти франков, чтобы вернуть тебя». Две тысячи франков, чтобы напакостить вам!.. Кто же вы такой?

— Я скажу тебе это немного погодя.

— Ладно, хозяин... Услыхав такое предложение, я подумал: «Надо узнать, где обосновались эти богачи, которые хотят науськать Грамотея на господина Родольфа; это может пригодиться». Когда они немного отошли, я вылез из своего подвала и, крадучись, последовал за ними; на площади Собора Парижской богоматери большой мужчина и маленькая женщина подходят к извозчику, садятся в карету, я на запятки, и мы прибываем на бульвар Обсерватории. Было темно, как в печке, я ничего не мог разглядеть и

сделал зарубку на дереве, чтобы найти это место на следующий день.

— Очень хорошо, приятель.

— Сегодня утром я вернулся туда. В десяти шагах от моего дерева... я увидел улочку, перегороженную барьером... в уличной грязи отпечатки маленьких и больших ног... В конце улочки садовая калитка, где шаги прекращаются... здесь, видно, и свили себе гнездо высокий мужчина и маленькая женщина.

— Спасибо, дорогой; сам того не зная, ты оказал мне большую услугу.

— Прошу прощения, метр Родольф, я догадался кой о чем... и потому сделал это.

— Понимаю, приятель, и мне хотелось бы вознаградить тебя не только словами благодарности... К несчастью, я всего лишь бедняк рабочий... хотя за то, чтобы напакостить мне, обещаны, как ты говоришь, две тысячи франков... Я объясню тебе, в чем дело.

— Ладно, говорите али нет — мне все равно... Против вас задумано черное дело, а я хочу ему помешать... Остальное меня не касается.

— Я догадываюсь, чего они добиваются. Выслушай меня: я изобрел способ механически обтачивать слоновую кость для вееров, но изоб-

рел его не один; я жду моего компаньона, чтобы применить этот способ; а нашей моделью хотят во что бы то ни стало овладеть мои конкуренты, так как благодаря ей можно заработать большие деньги.

— Так значит, высокий мужчина и маленькая женщина...

— Фабриканты, у которых я работал, но не захотел открыть им свой секрет...

Это объяснение, видимо, удовлетворило Поножовщика, человека не слишком развитого.

— Теперь я все понял... Подумать только, какие прощелыги!.. И у них даже не хватает смелости самим сделать эту подлость... Еще несколько слов, чтобы закончить мой рассказ. Вот что я подумал сегодня утром: «Я знаю, где встретятся Сычиха и высокий мужчина, и подожду их там; ноги у меня хорошие, а мой подрядчик наберется терпения, плевать на него... Я прихожу сюда... вижу эту дыру, беру вон там охапку сена, прячусь под ней до кончика носа и жду Сычиху... Но вот нежданно-негаданно вы приезжаете в эту долину, и бедная Певунья садится как раз на край моей засады; тут, как на грех, мне захотелось позабавиться, и, сбросив с себя сено, я заорал как полоумный.

— Что же ты собираешься делать?

— Дождаться Сычихи — она наверняка придет первая — и постараться услышать, что она скажет высокому мужчине, поскольку это может вам пригодиться. На всем этом поле есть только этот ствол дерева, словно нарочно оставленный здесь, чтобы люди могли посидеть и отдохнуть; отсюда все видать как на ладони... Свидание Сычихи назначено у перекрестка, в четырех шагах отсюда; готов поспорить, что наши голубчики сядут именно здесь; а если нет и я ничего не услышу... то, когда они разойдутся, я нападу на Сычиху — и на том спасибо, — уплачу ей, что положено, за зуб Певуньи, а затем примусь душить ее до тех пор, пока она не назовет фамилию родителей этой бедной девушки... Что вы скажете о моем плане, метр Родольф?

— Твой план неплох, парень, но в нем надо кое-что исправить.

— Главное, Поножовщик, не затевайте ссоры из-за меня... Если вы побьете Сычиху, Грамотей...

— Замолчи, дочка... Сычихе не миновать моих кулаков... Дьявольщина! И как раз потому, что у нее есть защитник, Грамотей, я удвою дозу колотушек.

— Послушай, парень, у меня есть лучший способ отомстить, Сычихе за ее издевательства над

Певуньей, о чем я скажу тебе позже. — И, отходя на несколько шагов от Певуньи, Родольф продолжал, понизив голос: — Хочешь оказать мне настоящую услугу?..

— Приказывайте, метр Родольф.

— Сычиха тебя не знает?

— Вчера в кабаке я видел ее в первый раз.

— Вот что надо сделать... Сначала ты спрячешься, но, когда она подойдет сюда, ты выйдешь из своей засады.

— Чтобы свернуть ей шею?..

— Нет... Это потом!.. Сегодня надо только помешать ей встретиться с высоким мужчиной... Видя, что она не одна, он не решится подойти... Если он все же подойдет, не отходи от нее ни на минуту... при тебе он не будет говорить с ней начистоту.

— Если мужчина найдет меня слишком навязчивым... я отколочу его по первое число... Он не Грамотей и не метр Родольф.

— Я знаю этого человека, он не станет связываться с тобой.

— Ладно, я следую за Сычихой как ее тень. Человек этот не сможет сказать при мне ни одного слова, которого бы я не услышал, и в конце концов уберется восвояси...

— Если они договорятся о другой встрече, ты

узнаешь об этом, поскольку все время будешь при них. Впрочем, само твое присутствие отпугнет высокого мужчину.

— Прекрасно. А после я задам трепку Сычихе?.. От этого я не могу отказаться.

— Не теперь... Одноглазая не знает: вор ты или нет?

— Откуда ей знать, разве только Грамотей говорил ей загодя, что воровать не в моих правилах...

— Если он говорил ей об этом, ты сделаешь вид, что изменил своим принципам.

— Я?

— Ты!..

— Дьявольщина! Господин Родольф... Но подумайте... Гм! гм... Такая игра мне не подходит.

— Ты поступишь как сочтешь нужным... Увидишь, я не предлагаю тебе ничего бесчестного...

— О, на этот счет я спокоен.

— И ты прав.

— Говорите, хозяин... Я поступлю, как вы прикажете.

— Как только высокий мужчина уйдет, ты постараешься умаслить Сычиху.

— Я? Эту старую гадину... Мне было бы легче подраться с Грамотеем. Я не знаю, сумею ли я удержаться, чтобы сразу не наброситься на нее.

— Тогда ты все испортишь.

— Но что же я должен сделать?

— Сычиха будет в ярости от того, что денежки от нее уплыли; ты постараешься успокоить ее, скажешь, будто у тебя наклевывается выгодное дельце, ради которого ты должен встретиться здесь со своим сообщником; ну, а если Грамотей захочет присоединиться к вам... можно получить большие деньги.

— Гм... гм...

— После часа ожидания ты скажешь ей: «Мой товарищ не пришел... Придется отложить встречу» — и назначишь свидание Сычихе и Грамотею назавтра... пораньше. Понимаешь?

— Понимаю.

— А сегодня вечером приходи в десять часов на угол Елисейских полей и аллеи Вдов; я буду ждать тебя и объясню остальное...

— Если вы готовите им западню, будьте осторожны!.. Грамотей хитрец... Вы побили его... При малейшем подозрении он может вас убить...

— Будь спокоен.

— Дьявольщина! Вот так штука... Вы из меня прямо-таки веревки вьете. Не скажу, чтобы я колебался: чует мое сердце, что Грамотей и Сычиха хлебнут горя... И все же... Еще одно слово,

господин Родольф.

— Говори.

— Я не думаю, что вы способны устроить ловушку Грамотею и предать его в руки полиции... Он закоснелый негодяй, который давно заслуживает смерти... но подвести его под арест... это не мое дело.

— И не мое, приятель; но мне надо свести счеты с ним и с Сычихой, которые вступили в заговор с моими недругами. И вдвоем с тобой, если ты согласен мне помочь, мы справимся с ними.

— Ладно, поскольку мерзавец этот не лучше своей мерзавки... я с вами заодно.

— И если мы добьемся удачи, — сказал Родольф серьезным, торжественным тоном, который поразил Поножовщика, — будешь так же горд, как после спасения тонущего солдата и чуть не сгоревшей женщины, которые обязаны тебе жизнью.

— Как вы это сказали, метр Родольф! Я никогда не замечал у вас такого взгляда... Но скорей, скорей, — вскричал Поножовщик, — я вижу вдалеке белую точку; это, должно быть, чепец Сычихи. Уезжайте, а я снова залезу в свою дыру.

— Сегодня, в десять часов вечера...

— На углу аллеи Вдов и Елисейских полей, до-

говорились?

Лилия-Мария не слышала последней части разговора Поножовщика и Родольфа. Она первая села в карету.

Глава X.
ФЕРМА

После своих переговоров с Поножовщиком Родольф был некоторое время задумчив, озабочен. Лилия-Мария, не решавшаяся прервать молчание своего спутника, печально смотрела на него. Подняв голову, Родольф спросил ее с доброй улыбкой:

— О чем вы думаете, детка? Вам неприятно было встретиться с Поножовщиком, да? Нам было так весело!

— Наоборот, господин Родольф, эта встреча большая удача для нас, ведь Поножовщик может оказать вам услугу.

— Скажите, не считался ли Поножовщик среди завсегдатаев кабака человеком, сохранившим кое-какие добрые чувства?

— Не знаю, господин Родольф... До вчерашнего дня я часто его видела, но почти никогда с ним не говорила... Я думала, что он такой же злой, как и все остальные.

— Позабудем обо всем этом, милая Лилия-Мария, мне было бы очень неприятно опечалить

вас; мне так хотелось, чтобы вы хорошо провели этот день.

— О, я счастлива! Ведь я давным-давно не была за городом.

— Со времени ваших поездок в кабриолете с Хохотушкой?

— Бог ты мой, да... Это было весной, и, хотя теперь глубокая осень, прогулка доставляет мне такое же большое удовольствие. Как ярко светит солнце!.. Взгляните на розовые облачка там... вдали... А этот холм... и хорошенькие белые домики среди деревьев... Листья еще не облетели. Это удивительно для ноября, правда, господин Родольф? В Париже листья так быстро опадают... А вон там стайка голубей... Смотрите, они сели на крышу мельницы... В деревне не устаешь смотреть вокруг: все так занятно!

— Одно удовольствие, Лилия-Мария, видеть, как вы восприимчивы ко всем мелочам, которые создают очарование загородного пейзажа.

В самом деле, по мере того как девушка созерцала эту спокойную, ласкающую взор картину, ее личико снова расцветало.

— Вон там, на вспаханных полях горит солома, красивый белый дым поднимается к небу... А этот плуг, в который впряжена пара хороших, упи-

танных лошадей серой масти. Будь я мужчиной, я с радостью стала бы пахарем... Идти за плугом по безмолвному полю... и видеть далеко-далеко большие леса, особенно по такой погоде, как сегодня!.. Тут сразу захочется спеть одну из тех грустных песен, от которых слезы навертываются на глаза... как, например, о Женевьеве Брабантской. Вы знаете эту песню, господин Родольф?

— Нет, детка, но будет очень мило, если вы споете ее сегодня попозже, на ферме, ведь впереди у нас с вами целый день.

— Какое счастье! Мы едем на ферму, господин Родольф?

— Да, на ферму моей кормилицы, хорошей, достойной женщины, которая меня вырастила.

— И мы сможем выпить там молока?

— Подумаешь, молока! Мы отведаем превосходных сливок, которые фермерша снимет при нас, и свежайших яиц.

— И мы сами вынем их из гнезда?

— Разумеется...

— И мы сходим на скотный двор, чтобы взглянуть на коров?

— Конечно.

— И на молочную ферму тоже?

— Да, и на молочную ферму.

— И на голубятню?

— Да, и на голубятню.

— Право, господин Родольф, прямо не верится... Как мне будет весело! Какой чудесный день!.. Какой чудесный день! — радостно воскликнула Лилия-Мария.

Но тут мысли девушки внезапно приняли другой оборот: она подумала, что после часов, проведенных на свободе, в деревне, ей придется вернуться на свой вонючий чердак, и, закрыв лицо руками, она расплакалась.

— Что с вами, Лилия-Мария? Кто вас огорчил? — удивленно спросил Родольф.

— Ничего... ничего, господин Родольф.

И она вытерла глаза и попыталась улыбнуться.

— Простите, если я опечалилась... не обращайте внимания, это просто так, клянусь вам... одна мысль пришла в голову... я развеселюсь.

— Но вы только что были такая радостная

— Именно поэтому мне и взгрустнулось, — наивно ответила Лилия-Мария, подняв на Родольфа глаза, еще мокрые от слез.

Эти слова многое сказали Родольфу: он обо всем догадался.

Желая развеять подавленное настроение девушки, он сказал ей с улыбкой:

— Держу пари, что вы подумали о своей розочке. Уверен, вы жалеете, что не можете разделить с ней удовольствие от поездки на ферму. Бедный розовый кустик! Вы способны были бы и его напоить сливками!

Певунья воспользовалась этой шуткой, чтобы улыбнуться; мало-помалу легкое облачко грусти рассеялось; она решила бездумно наслаждаться настоящим и закрыть глаза на будущее.

Карета приближалась к Сен-Дени, высокий шпиль церкви виднелся вдали.

— О, какая красивая колокольня! — воскликнула Певунья.

— Это великолепная церковь Сен-Дени... Хотите, я прикажу извозчику остановиться?

Певунья опустила глаза.

— С тех пор как я живу у Людоедки, я ни разу не входила в церковь, я не смела. Зато в тюрьме я очень любила петь в хоре во время мессы! И в праздник тела господня мы делали такие красивые букеты для алтаря.

— Но господь бог добр, милостив: почему вы боитесь обратиться к нему с молитвой, войти в церковь?

— О нет... нет... господин Родольф... Это было бы кощунством... Я и без того гневлю бога.

— Скажите, вы любили кого-нибудь до сих пор?

— Нет, никогда.

— Почему?

— Вы же видели посетителей кабака... а кроме того, чтобы любить, надо быть честной...

— Честной?

— Да, зависеть только от себя... суметь... Но если вам все равно, господин Родольф, пожалуйста, не будем говорить об этом.

— Хорошо, Лилия-Мария, поговорим о другом... Но почему вы так смотрите на меня? И снова ваши красивые глаза полны слез... Я огорчил вас чем-нибудь?

— О, как раз напротив; но вы так добры ко мне, что у меня слезы навертываются на глаза... и потом вы не говорите мне «ты»... и потом... можно подумать, что вы взяли меня на прогулку только ради моего удовольствия: такое у вас бывает довольное выражение лица, когда вы видите меня счастливой. Вы не только защитили меня вчера... вы позволяете мне провести с вами такой чудесный день.

— Правда, вы чувствуете себя счастливой?

— Я долго-долго не забуду этого счастья.

— Счастье бывает так редко.

— Да, очень редко.

— По правде сказать, за неимением того, чего у меня нет, я забавляюсь иногда, предаваясь мечтам, и говорю себе: «Вот кем бы мне хотелось быть... вот доля, которая пришлась бы мне по душе...» А вам, Лилия-Мария, наверное, тоже случается мечтать, строить воздушные замки?

— Да, прежде, в тюрьме, до моего прихода к Людоедке, я только и делала, что мечтала и пела; но теперь это бывает со мной все реже... А чего бы вам хотелось, господин Родольф?

— Быть богатым, очень богатым... Иметь слуг, экипажи, выезжать в свет, каждый день бывать в театре. А вы о чем мечтаете, Лилия-Мария?

— Я не так требовательна, как вы; мне хотелось бы расплатиться с Людоедкой и иметь после этого немного денег, чтобы подыскать работу, снять уютную маленькую комнатку, очень чистенькую, с деревьями перед окнами, на которые я поглядывала бы, сидя за шитьем.

— И много цветов на подоконнике?..

— О, конечно... И, если только это возможно, жить в деревне, вот и все.

— Комнатка, работа, это лишь необходимое; но в мечтах можно позволить себе и нечто большее... Разве вам не хотелось бы иметь выезд,

бриллианты, красивые платья?

— Столького я не требую... Быть свободной, жить в деревне и не бояться, что умрешь в больнице... О, главное не умереть в больнице... И знаете, господин Родольф, такая мысль часто приходит мне в голову, это мучительно!

— Увы, нам, бедным людям...

— Я говорю не о нищете... А о том, что бывает после смерти.

— И что же?

— Вы не знаете, что делают с бедняками после смерти?

— Нет...

— Я дружила с тюрьме с одной девушкой... Она умерла в больнице... А тело ее отдали хирургам, — прошептала, вздрогнув, бедняжка.

— Неужели, несчастная, у вас часто бывают такие мрачные мысли? Это ужасно!!!

— Вас удивляет, господин Родольф, что я стыжусь того, что будет с моим телом после смерти... Увы, боже мой... ведь только этот стыд мне и оставили...

Эти горькие, скорбные слова глубоко опечалили Родольфа. Он, содрогаясь, закрыл лицо руками; он думал о роке, поразившем Лилию-Марию... думал о матери этой несчастной девушки... Ее

мать... Она была счастлива, богата, быть может, уважаема...

Уважаема... богата... счастлива... А ее дочь, которой она, вероятно, безжалостно пожертвовала, чтобы избежать позора, сменила чердак Сычихи на тюрьму, а тюрьму на вертеп Людоедки; из этого вертепа она может попасть в больницу... а после смерти...

Какая страшная судьба!

Горькие, скорбные слова Певуньи глубоко опечалили Родольфа.

Видя мрачное выражение его лица, она застенчиво сказала:

— Простите, господин Родольф, мне следовало отогнать эти грустные мысли. Вы взяли меня с собой, чтобы доставить мне удовольствие, а я то и дело говорю вам что-нибудь печальное... такое печальное, господи, что и сама не знаю, как это получается, право же, это помимо моей воли... Я никогда не была счастливее, чем сегодня, и, однако, слезы поминутно навертываются на глаза... Вы не гневаетесь на меня из-за этого? Скажите, господин Родольф? Впрочем... видите... эта грусть рассеялась так же быстро, как и пришла... — Теперь... я о ней даже не думаю... Я буду благоразумна... Пожалуйста, господин Родольф,

посмотрите мне в глаза.

И Лилия-Мария, раза два-три прикрыв веки, чтобы прогнать последние упрямые слезинки, широко-широко открыла глаза и взглянула на Родольфа с очаровательной наивностью.

— Лилия-Мария, умоляю вас, не принуждайте себя. Будьте веселой, если вам весело... и грустной, если вам грустно...

Бог ты мой, на меня, говорящего с вами, тоже находят иногда мрачные мысли. И мне было бы очень тяжело изображать радость, которую я не испытываю.

— Правда, господин Родольф, и вам бывает грустно?

— Конечно, мое будущее нисколько не лучше вашего... У меня нет ни отца, ни матери... Стоит мне завтра заболеть, мне не на что будет жить. Ведь я расходую все, что зарабатываю.

— Вы совершаете ошибку, поверьте... большую ошибку, господин Родольф, — проговорила Певунья с явной укоризной, которая заставила его улыбнуться, — вам следовало бы класть деньги в сберегательную кассу... Все мое злосчастье произошло от того, что я не экономила денег... Имея в запасе двести франков, рабочий никогда не будет жить на чужой счет, никто не припрет

его к стене... Безденежье нередко бывает дурным советчиком.

— То, что вы говорите, очень правильно, очень умно, моя маленькая хозяюшка. Однако двести франков... как сэкономить двести франков?

— Но, господин Родольф, это же проще простого: давайте подсчитаем, и вы убедитесь в этом... Вы зарабатываете иной раз до пяти франков в день, правда?

— Да, когда я работаю.

— Надо работать ежедневно. Неужели вам так уж плохо живется? У вас прекрасное ремесло... художник по раскраске вееров... Да такая работа должна быть для вас. удовольствием... Право, вы неблагоразумны, господин Родольф, — прибавила Певунья строгим тоном. — Рабочий может жить, и хорошо жить, на три франка в день; таким образом, у вас будет ежедневно оставаться двадцать су, а в конце месяца наберется целых шестьдесят франков... Это же кругленькая сумма!

— Да, но так приятно прохлаждаться, бездельничать!

— Повторяю, господин Родольф, вы неблагоразумны, как ребенок.....

— Хорошо, отныне я буду благоразумен, маленькая ворчунья; вы дали мне превосходную

мысль... Я не подумал об этом...

— В самом деле? — воскликнула девушка, радостно хлопая в ладоши. — Если бы вы знали, как вы меня обрадовали!.. Вы станете откладывать сорок су в день! Правда?

— Да... Я стану экономить сорок- су в день, — сказал Родольф, улыбаясь помимо воли.

— Правда, правда?

— Обещаю вам...

— Вот увидите, как вы будете гордиться первыми отложенными деньгами... Но это еще не все... Только обещайте мне не сердиться.

— Разве у меня очень злой вид?

— Конечно, нет... Но я — не знаю, должна ли я...

— Вы должны говорить мне все без утайки, Лилия-Мария.

— Так вот... словом, вы, который... Сразу видно, что вы выше занимаемого вами положения... Почему же вы посещаете такие кабаки, как кабак Людоедки?

— Если бы я не пришел туда, я не имел бы удовольствия поехать за город вместе с вами, Лилия-Мария.

— Истинная правда, но дело не в этом, господин Родольф... Я бесконечно довольна сегодняшним днем и все же с легким сердцем откажусь поехать

с вами еще раз, если это может вам повредить...

— Как раз наоборот, ведь вы даете мне такие великолепные советы.

— И вы последуете им?

— Честное слово, ведь я обещал вам. Да, я буду откладывать по меньшей мере сорок су в день...

Глава XI.
ПОЖЕЛАНИЯ

Тут Родольф обратился к извозчику, миновавшему деревню Сарсель:

— Сверни вправо на первую же дорогу после селения Вилье-ле-Бель, затем влево, и поедешь все прямо, никуда не сворачивая.

— Теперь, когда вы довольны мной, Лилия-Мария, — сказал Родольф, — можно позабавиться, как мы говорили недавно, и построить наши воздушные замки. Это стоит недорого, и вы не станете упрекать меня в мотовстве.

— Нет, не стану... Давайте построим ваш воздушный замок.

— Сперва... ваш, Лилия-Мария.

— Посмотрим, угадаете ли вы, что мне по душе, господин Родольф.

— Попробую... Думаю, что эта дорога... я говорю «эта», потому что мы едем по ней...

— Правильно, не надо искать мой замок слишком далеко.

— Я полагаю, что эта дорога ведет к прелестной деревне, лежащей далеко от шоссе.

— Да, жить там будет гораздо спокойнее.

— Деревня расположена среди деревьев, на склоне холма.

— Рядом протекает маленькая речка.

— Вот именно... Маленькая речка... Сразу же за селом мы увидим хорошенькую ферму; с одной стороны дома — фруктовый сад, с другой — прекрасный цветник.

— Я так и вижу все это, господин Родольф.

— На первом этаже фермы имеется обширная кухня для батраков и столовая для фермерши.

— А на окнах дома — зеленые решетчатые ставни... они придают ему такой веселый вид, правда, господин Родольф?.

— Зеленые ставни... Согласен с вами... Нет ничего милее зеленых ставень... Естественно, что фермерша доводится вам тетей.

— И конечно... она очень добрая женщина.

— Превосходная, и она полюбит вас как мать...

— Милая тетя!.. Как приятно, должно быть, когда тебя кто-нибудь любит.

— И вы тоже ее полюбите?

— О, — воскликнула Лилия-Мария, складывая руки и. подымая глаза к небу с выражением неописуемого счастья. — О да, я полюблю ее; я буду помогать ей во всем: шить, убирать белье,

перебирать и складывать на зиму фрукты, вести хозяйство... Ей не придется жаловаться на мою леность, даю вам слово!.. Прежде всего утром...

— Погодите, Лилия-Мария... Какая же вы нетерпеливая!.. Дайте мне закончить описание дома.

— Продолжайте, продолжайте, господин художник, сразу видно, что вы привыкли рисовать красивые пейзажи на ваших веерах, — проговорила, смеясь, Певунья.

— Ну и болтушка... Дайте мне договорить...

— Вы правы: я болтаю; но это так занятно!.. Да, господин Родольф, я слушаю; кончайте же описание дома фермерши.

— Ваша спальня расположена на втором этаже.

— Моя спальня! Какое счастье! Посмотрим, посмотрим, какая она! — И молодая девушка, прижавшись к Родольфу, с любопытством широко открыла глаза.

— В вашей спальне два окна, которые выходят на разбитый в саду цветник и на луг, внизу которого течет маленькая, речка; на противоположном берегу речки — холм, покрытый старыми каштанами, среди которых виднеется церковная колокольня.

— До чего все это красиво!.. До чего красиво,

господин Родольф! Так и хочется побывать там.

— Три-четыре коровы пасутся на лугу, который отделен от сада изгородью из боярышника.

— А из моей спальни видны коровы?

— Как на ладони.

— Среди них будет одна, моя любимица, правда, господин Родольф? Я повешу ей на шею хорошенькие колокольчики и приучу есть из моих рук.

— Она не преминет сделать это. Она белая, без единого пятнышка, совсем еще молодая, и зовут ее Мюзетой.

— Ах, какое красивое имя! Милая Мюзета, я так ее полюблю!

— Закончим описание вашей спальни, Лилия-Мария; стены ее обиты тисненым полотном, а на окнах висят точно такие же занавески; вьющиеся розы и ветви огромного куста жимолости затеняют с этой стороны стену фермы и свешиваются над вашими окнами, так что по утрам вам стоит лишь протянуть руку, чтобы собрать прекрасный букет роз и жимолости.

— Ах, господин Родольф, какой вы замечательный художник!

— Посмотрим теперь, как вы проводите время на ферме!

— И как же?

— Ваша славная тетушка будит вас по утрам, нежно целуя в лоб; она приносит вам в кровать кружку парного молока, потому что, бедная девочка, у вас слабые легкие! Вы встаете, обходите ферму, здороваетесь с Мюзетой, с курами, с вашими любимцами голубями, с цветами, растущими в саду. В девять часов утра приходит ваш учитель.

— Мой учитель?

— Вы прекрасно понимаете, что вам надо научиться читать, писать и считать, чтобы помогать вашей тете вести приходо-расходные книги.

— Ваша правда, господин Родольф, а я и не подумала об этом... Конечно, мне необходимо научиться писать, чтобы помогать тете, — серьезно сказала бедная девочка, настолько поглощенная красочным описанием этой мирной жизни, что поверила в ее реальность.

— После вашего урока вы займетесь пересмотром и раскладкой белья или сядете вышивать хорошенький чепчик вроде тех, что носят здешние крестьянки. Часа в два пополудни вы приметесь за уроки, а затем пойдете с тетей на прогулку, летом посмотрите, как работают жнецы, а осенью — пахари; вы немного устанете и вернетесь до-

мой с большой охапкой полевых трав для вашей любимой Мюзеты.

— Конечно., — ведь обратно мы пройдем по лугу, правда, господин Родольф?

— Несомненно. Как раз в этом месте через речку перекинут деревянный мост... Когда вы вернетесь, будет, по-моему часов шесть или семь; в это время в большой кухне фермы весело горит огонь; вы заходите туда, чтобы обогреться и побеседовать со славными людьми, которые ужинают там после пахоты. Затем вы сами поужинаете вместе с тетей. Иногда к вам присоединится приходский священник или кто-нибудь из старых друзей дома... После трапезы вы читаете или шьете, в то время как ваша тетя играет в карты. В десять часов она целует вас в лоб, и вы поднимаетесь к себе... А на следующий день все повторяется сызнова.

— Так можно прожить до ста лет и ни на минуту не соскучиться.

— Но это еще не все! А воскресенья, а другие праздники?

— Что же мы будем делать в эти дни, господин Родольф?

— Вы принарядитесь, наденете хорошенькое платье вроде тех, что носят здешние крестьянки,

и один из тех прелестных круглых чепчиков, которые вам так к лицу, сядете в плетеную одноколку вместе с тетей и батраком Жаком и поедете к обедне в приходскую церковь; а летом будете присутствовать с тетей на храмовых праздниках всех окрестных сел. Вы такая нежная, милая, такая прекрасная хозяюшка, ваша тетя так любит вас, а священник так хорошо о вас отзывается, что все парни будут приглашать вас танцевать, ведь именно так начинается здесь всякое сватовство... И не сегодня завтра какой-нибудь молодой человек понравится вам... и...

Удивленный молчанием Певуньи, Родольф взглянул на: нее.

Бедная девочка с трудом сдерживала рыданья... Поверив ненадолго словам Родольфа, она позабыла о настоящем, а теперь поневоле вспомнила о нем; и контраст между настоящим и мечтой о спокойной, радостной жизни дал ей почувствовать весь ужас ее положения.

— Лилия-Мария, что с вами?

— Ах, господин Родольф, сами того не желая, вы очень огорчили меня... ведь я на минуту поверила в этот рай.

— Но, детка, он существует. Взгляните... Извозчик, останови...

Карета остановилась.

Певунья машинально подняла голову. Она находилась на вершине небольшого холма.

Каковы же были ее удивление, ее растерянность!..

Приглядное село на склоне холма, ферма, луг, прекрасные коровы, маленькая речка, каштановая роща, церковь вдалеке — картина нарисованная Родольфом, была у нее перед глазами, вплоть до Мюзеты, красивой белой телки, будущей любимицы Певуньи...

Этот прелестный пейзаж был озарен ярким ноябрьским солнцем... Пурпурные и желтые листья каштанов еще не облетели и вырисовывались на лазури неба.

— Ну как, Лилия-Мария, разве я плохой художник? — проговорил Родольф, улыбаясь.

Певунья смотрела вокруг себя с удивлением, смешанным с беспокойством. То, что она видела, казалось ей чудом.

— Что это, господин Родольф? Боже мой, уж не грежу ли, я?.. Мне даже страшно... Все, о чем вы говорили...

— Нет ничего проще, детка... Фермерша — моя кормилица, и на этой ферме я был взращен... Я написал сегодня рано утром кормилице, что приеду

проведать ее; моя картина нарисована с натуры.

— Вы правы, господин Родольф, — сказала Певунья с глубоким вздохом.

Глава XII.
ФЕРМА

Ферма, куда Родольф привез Лилию-Марию, лежала за селом Букеваль, небольшим уединенным приходом, мало кому известным, окруженным полями, в двух лье от Экуена. Следуя указаниям Родольфа, извозчик спустился по крутой дороге и свернул на длинную аллею, обсаженную яблонями и вишневыми деревьями. Карета бесшумно катила по мягкому, коротко остриженному газону, покрывающему большинство проселочных дорог.

Лилия-Мария, молчаливая, грустная, оставалась под тяжелым впечатлением, которое, сам того не желая, вызвал у нее Родольф, о чем он готов был пожалеть.

Через несколько минут карета, миновав широкий въезд во двор, проехала, по указанию Родольфа, вдоль густой шпалеры грабов и остановилась у простого деревянного крыльца, увитого виноградом, который осень окрасила в пурпур.

— Вот мы и приехали, Лилия-Мария, — сказал Родольф, — довольны вы?

— Да, господин Родольф... Но мне кажется, что я не посмею взглянуть на фермершу, мне будет стыдно перед ней...

— Почему, дитя мое?

— Вы правы, господин Родольф... она не знает меня. И Певунья подавила вздох.

В доме, очевидно, ждали приезда Родольфа.

Как только извозчик открыл дверцу кареты, женщина лет пятидесяти, одетая как и все богатые фермерши парижских окрестностей, с лицом одновременно грустным, добрым и приветливым, спустилась с крыльца и поспешила навстречу Ро-дольфу, почтительно и радостно приветствуя его.

Певунья покраснела до ушей и после минутного колебания вышла из кареты...

— Здравствуйте, моя милая госпожа Жорж, — сказал Родольф фермерше, — как видите, я точен.

Вложив затем деньги в руку кучеру, он сказал:

— Можешь возвращаться в Париж.

У извозчика, низкорослого, приземистого человека, шляпа была надвинута на глаза, а лицо почти скрыто подбитым мехом воротником длинного пальто; он положил деньги в карман, ничего не говоря, влез на козлы, стегнул лошадь

и быстро скрылся в конце зеленой аллеи.

«После такой длинной дороги этот не сказавший ни слова извозчик что-то очень торопится уехать... — подумал Родольф. — Как? Всего два часа! Он, видно, хочет пораньше вернуться в Париж, чтобы сделать еще несколько ездок.

Однако Родольф не придал никакого значения этой мелькнувшей у него мысли.

Лилия-Мария подошла к Родольфу и с видом смущенным, встревоженным, чуть ли не испуганным сказала ему, понизив голос, чтобы г-жа Жорж не услышала ее:

— Боже мой! Господин Родольф, простите меня... Вы отослали извозчика?.. А как же быть с Людоедкой? Увы, я обязана вернуться к ней сегодня вечером... иначе... она сочтет меня воровкой. Ведь все, что на мне надето, принадлежит ей... и я еще должна...

— Успокойтесь, детка, это мне надо просить у вас прощения,.

— Вам у меня?.. За что?

— За то, что я не сказал вам этого раньше: вы ничего не должны Людоедке... Вы можете сбросить эту мерзкую одежду и заменить ее той, которую вам предложит любезная госпожа Жорж. Вы с ней почти одного роста, и она с удовольствием даст

вам что-нибудь из своего гардероба... Как видите, она уже входит в роль вашей тетушки.

Лилии-Марии казалось, что все это сон; она попеременно смотрела на фермершу и на Родольфа, не веря своим ушам.

— Неужто я больше не вернусь в Париж? — молвила она голосом, дрожащим от волнения. — Я смогу остаться здесь? И госпожа Жорж разрешит мне?.. Значит, он возможен... тот воздушный замок, о котором мы только что говорили?

— Он перед вами, я имел в виду эту ферму.

— Нет, о нет! Это было бы слишком прекрасно... слишком хорошо.

— Никогда не бывает слишком хорошо, Лилия-Мария.

— О, сжальтесь надо мной, господин Родольф... не обманывайте меня, мне было бы слишком больно...

— Дорогое дитя, верьте мне, — сказал Родольф по-прежнему ласково, но с оттенком горделивого достоинства, которое Лилия-Мария никогда не замечала у него, — да, если захотите, то, начиная с сегодняшнего дня, вы будете вести рядом с госпожой Жорж ту спокойную жизнь, описание которой только что привело вас в восторг... Хотя госпожа Жорж и не доводится вам тетушкой, она

будет относиться к вам с самой нежной заботливостью; в глазах обитателей фермы вы будете считаться ее племянницей; эта небольшая ложь сделает более естественным ваше пребывание здесь... Повторяю... если вам этого хочется, Лилия-Мария, вы можете осуществить свою недавнюю мечту. Когда вы будете одеты, как, молоденькая фермерша, — продолжал Родольф, улыбаясь, — мы сводим вас к вашей любимице Мюзете, хорошенькой белой телке, которая с нетерпением ждет обещанных вами колокольчиков. Мы поглядим также на ваших приятелей-голубей; я непременно хочу выполнить свое обещание.

Лилия-Мария крепко сжала руки. Удивление, радость, признательность, глубокое уважение отразились на ее прелестном личике; глаза ее наполнились слезами.

— Господин Родольф... — воскликнула она, — значит, вы ангел господень, если делаете столько добра людям, не зная их, и спасаете несчастных от нищеты и позора!!!

— Мое бедное дитя, — ответил Родольф с улыбкой, в которой сквозила глубокая печаль и невыразимая доброта, — хотя я еще молод, но уже испытал много горя; этим и объясняется мое сострадание ко всем обездоленным, Лилия-Ма-

рия, или, лучше сказать, Мария. Да, пусть отныне ваше имя будет Мария, нежное и красивое, как вы сами. Ступайте теперь с госпожой Жорж, до моего отъезда мы еще поговорим с вами, и я покину вас очень счастливый... при мысли, что вы счастливы.

Лилия-Мария ничего не ответила, она преклонила колена, взяла руку Родольфа и, прежде нежели он успел ей помешать, почтительно поднесла ее к губам движением, исполненным изящества и скромности.

После чего она последовала за госпожой Жорж, которая смотрела на нее с глубоким сочувствием.

Глава XIII.
МЭРФ И РОДОЛЬФ

Родольф вышел во двор фермы, где он встретился с мужчиной высокого роста, который накануне, переодетый угольщиком, зашел предупредить его о прибытии Тома и Сары. Мэрфу, так звали этого человека, было лет пятьдесят; седина посеребрила остатки его некогда рыжеватых волос, которые кудрявились по бокам почти голого черепа; полное розовое лицо было чисто выбрито, за исключением очень коротких рыжих бакенбард, которые, прикрывая уши, заканчивались полумесяцем на пухлых щеках. Несмотря на почтенный возраст и полноту, Мэрф был подвижен и крепок. Его физиономия, на первый взгляд флегматичная, говорила о характере одновременно доброжелательном и решительном. Он носил длинный черный сюртук с широкими фалдами, обширный жилет и белый галстук; зеленовато-серые штаны были из той же ткани, что и гетры на перламутровых пуговицах, не вполне доходившие до подвязок и позволявшие видеть дорожные чулки из некрашеной шерсти.

Одеждой и осанкой Мэрф являл законченный тип помещика-дворянина, как говорят англичане. Поспешим добавить, что он был англичанином и дворянином (эсквайром), но не фермером. В ту минуту, когда Родольф вошел во двор, Мэрф клал в специальное отделение небольшого дорожного экипажа пару только что вычищенных пистолетов.

— Зачем, к черту, ты взял эти пистолеты?

— Это касается только меня, монсеньор, — сказал Мэрф, спрыгивая с подножки. — Вы занимаетесь своими делами, а я — своими.

— На какое время ты заказал лошадей?

— Как вы приказали, они будут здесь с наступлением темноты.

— Ты приехал утром?

— В восемь часов. У госпожи Жорж было достаточно времени, чтобы все подготовить.

— Ты не в духе... Ты недоволен мной?

— Более чем недоволен... Гораздо более. Не сегодня завтра... Словом, вам грозит опасность... Дело идет о вашей жизни...

— Тебе не пристало так говорить! Дай тебе волю, ты один взял бы на себя весь риск и...

— Право, если бы вы делали добро, не рискуя жизнью, я не узрел бы в этом большой беды.

— Зато я не испытал бы столь большого удовольствия, дорогой Мэрф.

— Такой человек, как вы, и посещаете низкопробные таверны! — проговорил Мэрф, пожимая плечами.

— О, как это похоже на всех ваших Джонов Булей с их преклонением перед аристократией, воображающих, будто вельможи — люди иной породы, чем вы, несчастные бараны, гордящиеся своими мясниками!!!

— Будь вы англичанином, монсеньор, вы бы поняли это люди чтят тех, кто им оказывает честь. Впрочем, кем бы я ни был, турком, — китайцем или американцем, я все равно сказал бы, что вы напрасно рискуете жизнью таким образом. Вчера вечером, в гнусной улочке Сите, куда мы отправились с вами на поиски этого Краснорукого (чтоб ему пусто было), только опасение прогневить вас непослушанием помешало мне прийти вам на помощь в вашей драке с разбойником, которого вы нашли в этом вертепе.

— Иначе говоря, господин Мэрф, вы сомневаетесь в моей силе, в моем мужестве?

— К несчастью, вы много раз доказывали мне и силу свою, и мужество. Благодарение богу, Крабб и Рамсгейта научил вас боксу; парижанин Лакур

показал вам, как надо пользоваться шпагой, скрытой в трости, наносить удары ногами и шутки ради обучил вас арго; знаменитый Бертран преподал вам фехтование, и в ваших поединках с мастерами этого дела вы нередко были победителем. Из пистолета вы убиваете ласточку на лету; у вас стальные мускулы; несмотря на изящество и стройность, вы с такой же легкостью победили бы меня, с какой скаковая лошадь победила бы ломовую... Это правда...

Родольф не без удовольствия выслушал этот перечень своих гладиаторских качеств.

— Так чего же ты боишься? — спросил он с улыбкой.

— Я утверждаю, что вам не пристало вступать в драку с первым попавшимся мужланом. Я говорю это не из-за того, что считаю неприличным для некоего почтенного дворянина, моего знакомца, мазать себе лицо углем и походить в таком виде на черта... Несмотря на мою седину, дородность и степенность, я переоделся бы канатным плясуном, лишь бы сослужить вам службу, но от своих слов я не откажусь.

— О, я прекрасно знаю это, дорогой Мэрф. Когда какая-нибудь мысль засядет в твоей упрямой башке, когда преданность внедрится в твое

стойкое и отважное сердце, самому дьяволу не вырвать их у тебя ни когтями, ни зубами.

— Вы льстите мне, монсеньор, вы замышляете какое-нибудь...

— Говори, не стесняйся.

— Какое-нибудь безрассудство, монсеньор.

— Мой бедный Мэрф, ты плохо выбрал время, чтобы читать мне нотации.

— Почему?

— Я переживаю как раз одну из редких минут счастья, гордости... Я приехал сюда...

— В местность, где вы сделали столько добра?

— Здесь я спасаюсь от твоих проповедей, это мое прибежище.

— Если так, то где же еще, черт возьми, я смогу вас пожурить, монсеньор?

— По всему видно, Мэрф, что ты хочешь помешать моему новому безрассудству.

— Есть безрассудство и безрассудство, монсеньор, к некоторым из них я отношусь снисходительно.

— Например, к мотовству?

— Да, что ни говори, а имея миллиона два годового дохода...

— И вместе с тем, иной раз мне не хватает денег, мой бедный друг.

— Кому вы это говорите, монсеньор?

— И все же бывают радости, трепетные, чистые, глубокие, которые вдобавок недорого стоят! Какое чувство можно сравнить с тем, что я испытал, когда эта обездоленная девушка, увидев себя здесь, где ничто не грозит ей, в порыве благодарности поцеловала мне руку? Это еще не все; мое счастье не кончится на этом: завтра, послезавтра и еще долгие дни я буду с наслаждением думать о том, что чувствует эта бедная девочка, просыпаясь утром в своем спокойном убежище, под одной крышей с такой превосходной женщиной, как госпожа Жорж, которая нежно полюбит ее, ибо несчастье сближает людей.

— О, что касается госпожи Жорж, никогда еще ваши добрые дела не находили лучшего применения. Благородная, мужественная женщина!.. Ангел, сущий ангел по своей редкой добродетели! Меня нелегко растрогать, но несчастья госложи Жорж растрогали меня... Зато ваша новая протеже... Впрочем, не будем говорить об этом, монсеньор.

— Почему, Мэрф?

— Монсеньор, поступайте как вам заблагорассудится...

— Я делаю то, что хорошо и справедливо, — про-

говорил Родольф с оттенком нетерпения.

— Справедливо... по вашему мнению.

— Справедливо перед богом и перед моей совестью, — строго заметил Родольф.

— Простите, монсеньор, но мы все равно не поймем друг друга. Повторяю, не стоит больше говорить об этом.

— А я приказываю вам говорить, — повелительно воскликнул Родольф.

— Еще ни разу не случалось, монсеньор, чтобы вы приказывали мне молчать; надеюсь, что на этот раз вы не прикажете мне говорить, — гордо ответил Мэрф.

— Сударь!!! — воскликнул Родольф.

— Монсеньор!!!

— Вам известно, сударь, что я не терплю недомолвок.

— А если, на мой взгляд, они необходимы, — резко возразил Мэрф.

— Так знайте же, сударь, я снисхожу до фамильярности с вами, но при одном условии: вы обязаны возвыситься до откровенности со мной.

Невозможно описать выражение крайнего высокомерия, отразившегося на лице Родольфа при этих словах.

— Монсеньор, мне пятьдесят лет, я дворянин;

вам не пристало так разговаривать со мной.

— Замолчите!

— Монсеньор!

— Замолчите!

— Монсеньор, негоже принуждать великодушного человека вспоминать об оказанных им услугах.

— Твои услуги? Разве я не оплачиваю их всеми возможными способами?

Надо сказать, что Родольф не приписывал этим жестоким словам того унизительного смысла, который усмотрел в них Мэрф из-за своего подневольного положения; к несчастью, именно так он истолковал их. Лицо Мэрфа побагровело от стыда, и он поднес сжатые кулаки ко лбу с выражением горестного возмущения; но тут настроение его резко изменилось, и, бросив взгляд на Родольфа, благородное лицо которого было искажено чувством гневного презрения, он подавил вздох, посмотрел на молодого человека с ласковым состраданием и сказал ему взволнованно:

— Монсеньор, опомнитесь!.. Вы неблагоразумны!..

Эти слова окончательно вывели из себя Родольфа; глаза его дико сверкнули, губы побелели, и он подошел к Мэрфу, угрожающе подняв руку.

— Как ты смеешь?! — воскликнул он.

Мэрф отступил на шаг и проговорил скороговоркой, как бы помимо воли:

— Монсеньор, монсеньор, вспомните о тринадцатом января!

Эти слова оказали поразительное действие на Родольфа. Его лицо, искаженное гневом, разгладилось. Он пристально взглянул на Мэрфа, опустил голову и после минутного молчания прошептал изменившимся голосом:

— Ах, сударь, как вы жестоки... я полагал, однако, что мое раскаяние, мои угрызения совести!.. И это вы!.. Вы!..

Родольф не докончил фразы, его голос прервался; он опустился на каменную скамью и закрыл лицо руками.

— Монсеньор, — воскликнул Мэрф в отчаянии, — мой добрый господин, простите вашего старого преданного Мэрфа! Только доведенный до крайности и опасаясь, увы, не за себя... а за вас... последствий вашей горячности, я сказал без гнева, без упрека, сказал помимо воли и с чувством сострадания... Монсеньор, я был неправ, что обиделся. Боже мой, кому лучше знать ваш характер, как не мне, человеку, который всегда был при вас с самого вашего детства!.. Умоляю, скажите, что

прощаете меня за то, что напомнил вам об этом роковом дне... Увы... Чего вы только не делали, дабы искупить...

Родольф поднял голову; он был очень бледен.

— Замолчи, замолчи, старый друг, — сказал он грустно и мягко своему давнему спутнику, — я благодарен тебе, что одним словом ты утишил мою гневную вспышку; я не стану просить прощения за дерзости, которые тебе наговорил: ты сам знаешь, что «от сердца до уст далеко», как говорят добрые люди в нашем краю. Я был не в себе, позабудем об этом.

— Увы! Теперь вы долго будете грустить... Какой же я дурак!.. Больше всего на свете мне хочется, чтобы ваше мрачное настроение развеялось... А я снова вызываю его своей глупой обидчивостью! Бог ты мой! Какой толк быть честным человеком с седеющей головой, если ты не умеешь терпеливо сносить незаслуженные упреки. Так нет же, — продолжал Мэрф с волнением, тем более комичным, что оно не вязалось с его обычным спокойствием, — так нет же, мне, видите ли, требуется, чтобы меня хвалили с утра до ночи, чтобы мне повторяли: «Господин Мэрф лучший из слуг; господин Мэрф, вы замечательный человек; боже, как он хорош собой, господин Мэрф,

нет и не бывало преданности, равной вашей, славный Мэрф!» Полно, старый попугай, тебе, значит, требуется, чтобы кто-то беспрестанно гладил твою старую голову.

Вспомнив затем о ласковых словах, сказанных ему Родольфом в начале беседы, он воскликнул с еще большим пылом:

— Сам же он назвал меня своим хорошим, старым, верным Мэрфом!.. А я, словно какой-нибудь мужлан, из-за его невольной вспышки!.. Черт возьми!.. Я готов выдрать себе волосы.

И достойный джентльмен поднес руки к вискам.

Эти слова и жесты Мэрфа доказывали, что отчаяние его достигло предела. К несчастью или к счастью для Мэрфа, он был почти совсем лыс, и покушение на свою шевелюру ничем ему не грозило, о чем он искренне сожалел, ибо когда слова сменялись делом, то есть когда его скрюченные пальцы встречали лишь гладкую, блестящую, как мрамор, поверхность черепа, достойный эсквайр был смущен и пристыжен, считая себя хвастуном, бахвалом из-за проявленного им самомнения, Поспешим сказать в оправдание Мэрфа, что у него была некогда самая густая, самая золотистая шевелюра, когда-либо украшавшая голову йорк-

ширского дворянина.

Разочарование Мэрфа по поводу отсутствия его шевелюры обычно забавляло Родольфа. Но в эту минуту его мысли были серьезны, горестны. Не желая, однако, усугублять раскаяние своего спутника, он сказал ему с мягкой улыбкой:

— Послушай, мой славный Мэрф, ты как будто превозносил до небес то доброе, которое я сделал госпоже Жорж...

— Монсеньор...

— Но тебя удивляет мой интерес к этой бедной -погибшей девушке?

— Монсеньор, умоляю вас... Я был неправ... неправ...

— Нет... Я понимаю, первое впечатление могло обмануть тебя... Но поскольку ты знаешь всю мою жизнь, поскольку помогаешь мне с редкой преданностью, с редким мужеством выполнить задачу, которую я возложил на себя, я обязан по велению долга или, если хочешь, из чувства благодарности объяснить тебе, что не поступаю легкомысленно.

— Мне ли не знать этого, монсеньор!

— Тебе известны мои мысли о том добре, что может делать человек. Выручать порядочных людей, которые жалуются на свою долю, — хорошо.

Разузнавать о тех, — кто честно, мужественно ведет битву с жизнью, и приходить им на помощь, иной раз без их ведома... вовремя предупреждать нищету и соблазн, ведущие к преступлению... еще лучше. Обелять в их собственных глазах и возвращать к честной, достойной жизни тех, кто сумел сохранить великодушные чувства среди унизительного презрения, гнетущей нищеты и окружающей испорченности, и ради этого смело входить в соприкосновение с нищетой, испорченностью и грязью... лучше всего. Преследовать непримиримой ненавистью, неумолимым возмездием порок, подлость, преступление, ползают ли они в грязи или купаются в роскоши, не что иное, как акт справедливости... Но слепо помогать заслуженной нищете, позорить, осквернять милосердие и жалость, профанировать сочувствие и подаяние — благих, целомудренных утешительниц моей израненной души... и дарить их людям недостойным, бесчестным было бы отвратительно, постыдно, кощунственно. Это значило бы порождать сомнение в существовании бога, а дающий должен пробуждать веру в него.

— Монсеньор, я вовсе не хотел сказать, что вы облагодетельствовали кого-нибудь недостойного.

— Еще одно слово, мой старый друг. Госпожа Жорж и несчастная девушка, которую я поручил ее попечению, вышли из двух противоположных миров, но обе очутились в бездне злосчастья. Жизнь одной из них, счастливой, богатой, любимой, уважаемой, наделенной всеми добродетелями, была растоптана, загублена лицемерным негодяем, за которого ее выдали недальновидные родители... Я говорю с радостью, что без меня эта несчастная женщина погибла бы в нищете, ибо стыд мешал ей просить о помощи.

— Ах, монсеньор, когда мы поднялись на ее мансарду, какую мы увидели там страшную нищету! Это было ужасно, ужасно!.. И когда после долгой болезни она, так сказать, пришла в себя здесь, в этом спокойном доме, каково же было ее удивление, ее благодарность! Вы правы, монсеньор, помощь, оказываемая людям, попавшим в такую горькую беду, внушает веру в бога.

— И помогать им — значит почитать его! Да, согласен, нет ничего более возвышенного, чем мудрая и спокойная добродетель, нет никого более достойного уважения, чем такая женщина, как госпожа Жорж. Воспитанная доброй и благоразумной матерью в разумном соблюдении своих обязанностей, она ни разу не нарушила его... ни

разу!!! И мужественно прошла через самые тяжкие испытания. Разве не славим мы всевышнего во всей его благости, спасая от разврата одну из редких натур, которых ему было угодно наделить многими качествами?.. Не заслуживает ли жалости, интереса, уважения... да, уважения, эта несчастная девочка, которая, предоставленная самой себе, истерзанная, заключенная в тюрьму, униженная и поруганная, свято сохранила в глубине сердца ростки добра, заложенные в нее богом? Если бы ты слышал бедняжку... при первом выражении сочувствия с моей стороны, как первом дружеском сердечном слове, обращенном к ней, лучшие свойства, тончайшие чувства, самые поэтичные и чистые помыслы пробудились в ее простодушной душе наподобие того, как весной множество полевых цветов непроизвольно распускается на лугах, пригретых солнцем! Во время часовой беседы с Лилией-Марией я открыл в ней сокровище доброты, деликатности, мудрости, мой дорогой Мэрф. Улыбка тронула мои губы, а слезы навернулись на глаза, когда среди своей: пленительной и разумной болтовни она доказывала мне необходимость откладывать по сорок су в день, чтобы уберечь себя от нужды и дурных соблазнов. Бедная крошка! Она говорила

все это таким серьезным, убежденным голоском; она была так искренне довольна, что дает мне хороший совет, и так искренне обрадовалась, когда я обещал слушаться ее!.. Я был тронут, уверяю тебя, тронут до слез, я уже говорил тебе об этом... А меня еще обвиняют в том, что я человек пресыщенный, черствый, непреклонный... О нет, нет! Слава богу, я еще чувствую иногда, как бурно, горячо бьется мое сердце... Но ты сам растроган, мой старый друг». Право, Лилии-Марии не придется ревновать тебя к госпоже Жорж, ее участь не оставит тебя безразличным.

— Ваша правда, монсеньор... Эта просьба о том, чтобы вы откладывали по сорок су в день — ведь она думала, что вы рабочий, вместо того чтобы выпрашивать их для себя... да, эта просьба тронула меня, быть может, больше, чем следовало бы.

— Стоит мне подумать, что у этой девочки, как говорят, есть мать, богатая, уважаемая, которая бессовестно бросила ее... О, если это так — надеюсь, я узнаю правду и все расскажу тебе. О, если это так... горе... горе этой женщине! Ее ждет грозное возмездие... Мэрф, Мэрф... я еще никогда не чувствовал такой беспощадной ненависти, как при мысли об этой незнакомке. Ты же знаешь, Мэрф, знаешь... иная месть дорога моему сердцу...

иная боль драгоценна мне... я жажду иных слез!

— Увы, монсеньор, — проговорил Мэрф, огорченный выражением сатанинской злобы, исказившей при этих словах черты Родольфа, — я знаю, что люди, заслуживающие внимания и участия, часто говорят о вас: «Так, значит, он добрый ангел!» Зато другие, заслуживающие презрения и ненависти, восклицают, проклиная вас в порыве отчаяния: «Так, значит, он демон!..»

— Тише, сюда идут госпожа Жорж с Марией... Распорядитесь, чтобы все было готово к нашему отъезду: мне надо пораньше быть в Париже.

Глава XIV.
РАССТАВАНИЕ

Благодаря стараниям г-жи Жорж Марию (так мы будем называть отныне Певунью) нельзя было узнать.

Хорошенький круглый чепчик, какие носят местные крестьянки, и причесанные на пробор густые белокурые волосы обрамляли ее девственное личико. Большой шейный платок из белого муслина скрещивался у нее на груди и уходил под высокий квадратный нагрудник фартучка из переливчатой тафты, голубые и розовые отсветы которой падали на коричневое платье, словно сшитое по ней.

Личико девушки было сосредоточенно, ибо большое счастье погружает иные натуры в невыразимую грусть, в светлую меланхолию.

Родольфа не удивила задумчивость Марии. Появись она веселая, болтливая, у него сложилось бы менее высокое мнение о ней.

С присущим ему тактом он не сказал ни одного лестного слова Марии, хотя она и блистала красотой.

Родольф чувствовал нечто торжественное, священное в возрождении этой души, вырванной у порока.

Госпожа Жорж, на серьезном лице которой лежал отпечаток долгих страданий и покорности судьбе, смотрела на Марию со снисходительностью и чуть ли не материнской нежностью: так пришлись ей по душе мягкость и изящество этой девушки.

— Вот и моя детка... Она пришла поблагодарить вас за все, что вы для нее сделали, — проговорила г-жа Жорж, подводя Певунью к Родольфу.

При слове «детка» Певунья медленно подняла большие голубые глаза на свою покровительницу и посмотрела на нее с чувством неизъяснимой благодарности.

— Спасибо вам за Марию, дорогая госпожа Жорж, она заслуживает вашей нежной заботливости... да и всегда будет достойна ее.

— Господин Родольф, — проговорила Певунья дрожащим голосом, — вы поймете, не правда ли, что я не нахожу слов...

— Ваше волнение мне и так все сказало, Мария...

— О, она и сама понимает, что должна благодарить провидение за ниспосланное ей счастье,

— растроганно молвила г-жа Жорж. — Когда она вошла в мою спальню, ее первым побуждением было броситься на колени перед распятием.

— Ведь теперь благодаря вам, господин Родольф, я смею молиться, — проговорила Мария, смотря на своего покровителя.

Мэрф резко отвернулся: английская невозмутимость не позволяла ему показать, насколько он тронут этими простыми словами Марии.

— Дитя мое, — сказал Родольф, — мне надо побеседовать с госпожой Жорж... Мой друг Мэрф сходит с вами на ферму... и познакомит вас с вашими будущими питомцами... Скоро и мы присоединимся к вам... Мэрф!.. Мэрф! Ты что, не слышишь меня?

Достойный джентльмен стоял в эту минуту спиной к Родольфу и притворялся, что громко сморкается; он спрятал платок в карман, надвинул на глаза шляпу и, наполовину обернувшись к Марии, подал ей руку. Мэрф так искусно проделал все это, что ни Родольф, ни г-жа Жорж не увидели его лица. Затем, держа под руку молодую девушку, он быстро зашагал к зданию фермы, и Певунье пришлось бежать за ним, как она бегала в детстве за Сычихой.

— Так что же вы думаете о Марии, госпожа

Жорж?

— Я уже говорила вам, господин Родольф, что, войдя в мою спальню, она поспешно преклонила колени перед висящим у меня распятием... Не могу выразить, сколько было непосредственности, подлинного религиозного чувства в этом поступке... Я сразу поняла, что душа ее осталась чиста... И кроме того, в благодарности Марии нет ничего искусственного... выспренного; вот почему ее чувство кажется особенно искренним. Приведу еще один пример, который покажет вам, что ей присуще глубокое религиозное чувство. Вы были, вероятно, поражены и очень счастливы, когда господин Родольф сказал, что вы останетесь здесь?.. Какое впечатление его слова произвели на вас?» — «О, когда господин Родольф сказал мне это, я сама не знаю, что случилось со мной; я почувствовала нечто вроде священного трепета, благоговейной радости, как прежде, при входе в церковь... когда я смела туда входить, — прибавила она, — ведь вам известно, сударыня...» Я не позволила ей продолжать, видя, что лицо покрылось краской стыда: «Я знаю, дитя мое, я всегда буду называть вас так... Я знаю, что вы много выстрадали, детка, но бог благословляет тех, кто любит и страшится его, тех, кто несчастлив и

раскаялся...»

— Ну что же, милая госпожа Жорж, я вдвойне доволен тем, что сделал. Со временем эта бедная девушка еще больше расположит вас к себе... вы правильно угадали: задатки у нее превосходные.

— Вот что еще тронуло меня, господин Родольф: она не задала мне ни одного вопроса о вас, хотя любопытство ее, конечно, было возбуждено. Меня поразила ее сдержанность, деликатность, и мне захотелось понять, насколько непосредственно такое поведение. «Вам, наверно, интересно узнать, кто такой ваш таинственный благодетель?» — «Я знаю... — ответила она с прелестной наивностью: — Он зовется моим благодетелем».

— Так, значит, вы полюбите ее, великодушная женщина? Вам будет приятно ее общество, и она займет уголок в вашем сердце...

— Во всяком случае, я буду заботиться о ней... как заботилась бы... о нем, — сокрушенно проговорила г-жа Жорж.

Родольф взял ее за руку.

— Полно, полно, еще рано отчаиваться... Если до сих пор мои поиски не увенчались успехом, быть может, в один прекрасный день...

Госпожа Жорж печально покачала головой.

— Моему несчастному сыну исполнилось бы те-

перь двадцать лет, — проговорила она с горечью.

— Скажите лучше, что ему исполнилось двадцать...

— Да услышит вас бог, господин Родольф!

— Он услышит меня... я твердо верю в это... Вчера я ходил на поиски (правда, напрасные) некоего пройдохи, прозванного Краснорукими, который, как мне говорили, кое-что знает о вашем сыне. По выходе из дома, где живет Краснорукий, мне пришлось вступить в драку, благодаря которой я и встретил эту несчастную девушку.

— Ну что же... по крайней мере, ваше желание мне помочь навело вас на след нового злосчастья, господин Родольф.

— Впрочем, мне давно хотелось исследовать категорию отверженных людей... Я был почти уверен, что среди них найдутся души, которые можно вырвать у старика Сатаны, — сказал с улыбкой Родольф, — я забавляюсь, идя наперекор его козням, и иной раз мне удается похитить лучшую его добычу.

И, перейдя на более серьезный тон, Родольф спросил:

— Никаких сведений из Рошфора?

— Никаких... — ответила г-жа Жорж тихо, с дрожью в голосе.

— Тем лучше!.. Теперь уже можно не сомневаться, что этот изверг погиб в каком-нибудь болоте при попытке к бегству. Его приметы широко известны... он опасный преступник, и, конечно, все средства были пущены в ход, чтобы разыскать его; ведь прошло уже полгода с тех пор, как он исчез с ка...

Родольф умолк, не решаясь произнести это страшное слово.

— С каторги!.. Хотите вы сказать... с каторги! — воскликнула как потерянная несчастная женщина. — И этот человек — отец моего сына!.. О, если мой бедный ребенок еще жив... если он по моему примеру не переменил фамилии... Какой это стыд для него... какой стыд! Но это еще пустяки... Ведь отец его мог исполнить свою чудовищную угрозу... Ах, господин Родольф, простите меня, но, невзирая на все ваши благодеяния, я чувствую себя очень несчастной.

— Успокойтесь, прошу вас.

— Иной раз мне мерещатся всякие ужасы. Мне чудится, что мужу удалось сбежать из Рошфора, что он цел и невредим, что он ищет меня, хочет убить, как убил, быть может, нашего сына. Ума не приложу, что он мог с ним сделать!

— Эта тайна давно гложет меня, — задумчиво

проговорил Родольф. — Для чего этот подлец взял с собой вашего сына, когда пятнадцать лет тому назад он пытался, по вашим словам, перебраться через французскую границу. Маленький ребенок мог только помешать его бегству.

— Увы, господин Родольф, когда мой муж (несчастная женщина вздрогнула, произнеся это слово) был арестован на границе, привезен в Париж и брошен в тюрьму, я получила разрешение на свидание с ним. Тогда-то он и произнес эти страшные слова: «Я похитил твоего сына потому, что ты любишь его; таким образом я заставлю тебя посылать, мне деньги, которые будут, а может, и не будут истрачены на него... это уже моя забота... Останется ли он в живых или нет — не важно... Но если он выживет, то окажется в руках такого человека, что стыд за сына падет на твою голову., как уже пал на нее стыд за его отца...» И вот месяц спустя мой муж был приговорен к пожизненной каторге... С тех пор все просьбы, мольбы, обращенные в моих письмах к мужу, были тщетны; я так ничего и не узнала о судьбе моего мальчика... Ах, господин Родольф, где теперь мой сын? Мне то и дело вспоминаются чудовищные слова, сказанные мужем: «Стыд за сына падет на твою голову, как уже пал на нее

стыд за его отца!»

— Но злодеяние бессмысленно; зачем было развращать, растлевать несчастного ребенка? И главное, зачем отнимать его у вас?

— Я уже говорила вам об этом, господин Родольф, чтобы вынудить меня посылать ему деньги; хотя он и разорил нас с сыном, у меня еще оставались кое-какие средства, которые он и выманивал у меня таким способом. Прекрасно зная его подлость, я все же не могла поверить, чтобы хоть часть этих денег не пошла на воспитание бедного мальчика.

— А у вашего сына не было никакого отличительного признака, никакой вещицы, которые помогли бы установить его личность?

— Ничего, господин Родольф, кроме крошечного скульптурного изображения святого духа из лазурита, которое он носил на серебряной цепочке; эта реликвия, освященная самим святейшим отцом, принадлежала моей матери, которая очень чтила ее; я тоже носила ее; потом повесила этот талисман на шею моему сыну. Увы, он потерял свою чудодейственную силу.

— Как знать! Мужайтесь, несчастная мать: бог всемогущ.

— Да, провидение послало мне вас, господин

Родольф.

— Слишком поздно, милая госпожа Жорж, слишком поздно. Раньше я сумел бы, возможно, избавить вас от долгих лет скорби...

— Ах, господин Родольф, вы и так меня осчастливили.

— Чем же? Я купил у вас эту ферму. В дни вашего благоденствия вам нравилось совершенствовать и украшать свои владения; затем вы согласились стать моим управляющим; благодаря вашим стараниям, вашей деловитости ферма приносит мне доход...

— Приносит вам доход, сударь? — переспросила г-жа Жорж, прерывая Родольфа. — Ведь я сама отдаю арендную плату нашему славному аббату Лапорту, а он, по вашему приказанию, раздает ее нуждающимся.

— Ну что же, разве это не превосходное употребление денег? Но скажите, вы предупредили нашего милого аббата о моем приезде? Я непременно хочу поручить ему мою протеже. Он получил мое письмо?

— Господин Мэрф отнес ему письмо сегодня утром, как только приехал на ферму.

— В этом письме я рассказал в нескольких словах вашему славному священнику историю этой

бедной девочки; я не был уверен, что сумею приехать к вам сегодня. В этом случае Мэрф привез бы вам Марию.

Подошедший батрак прервал эту беседу, происходившую в саду.

— Сударыня, его преподобие ожидает вас.

— Скажи, парень, а почтовые лошади прибыли?

— Да, господин Родольф, уже запрягают. И батрак вышел из сада.

Госпожа Жорж, священник и все жители фермы знали покровителя Марии лишь под именем Родольфа. Мэрф хранил гробовое молчание насчет своего бывшего питомца; правда, он всегда титуловал его с глазу на глаз, зато при посторонних называл его не иначе как г-ном Родольфом.

— Я забыл предупредить вас, дорогая госпожа Жорж, — сказал Родольф, когда они возвращались на ферму, — по-моему, у Марии слабые легкие. Лишения, нищета подорвали ее здоровье. Сегодня утром, при дневном свете, я был поражен ее бледностью, хотя на щеках ее играл яркий румянец; мне показалось также, что глаза у нее лихорадочно блестят... ей потребуется заботливый уход.

— Можете рассчитывать на меня, господин Родольф. Слава богу, у нее нет ничего серьезного... В

этом возрасте... она быстро поправится в деревне, на свежем воздухе, отдых и счастье тоже сделают свое дело.

— Согласен с вами... но я не особенно доверяю вашим деревенским врачам... Я скажу Мэрфу, чтобы он привез сюда моего доктора — негра... он превосходный врач и назначит пациентке тот режим, в котором она нуждается... Вы часто будете осведомлять меня о здоровье Марии... Немного спустя, когда она успокоится и окрепнет, мы подумаем о ее будущем... Быть может, для нее лучше всего было бы остаться с вами... если она придется вам по сердцу.

— Таково и мое желание, господин Родольф. Она заменит мне ребенка, которого я неустанно оплакиваю.

— Ну что ж, будем надеяться на счастливый исход... для вас и для Нее.

Когда Родольф с г-жой Жорж приближались к дому, Мэрф и Мария подходили к нему с другой стороны.

Мария была оживленна после прогулки. Родольф обратил внимание г-жи Жорж на два ярких пятна, рдевших на щеках молодой девушки, которые резко выделялись на нежной белизне ее кожи.

Достойный джентльмен, оставив Певунью, подошел со смущенным видом к Родольфу и сказал ему на ухо:

— Эта девушка околдовала меня; не знаю теперь, кто из них мне больше нравится — она или госпожа Жорж... Я был скотиной, болваном.

— Только не вырывай себе волосы из-за этого, старый друг, — сказал Родольф и с улыбкой пожал руку эсквайра.

Опираясь на Марию, г-жа Жорж вошла в маленькую гостиную, в первом этаже своего дома, где ее ожидал аббат Лапорт.

Мэрф отлучился, чтобы распорядиться об отъезде.

Госпожа Жорж, Мария, Родольф и священник остались одни.

Стены и мебель этой простой и уютной гостиной были обиты тисненым полотном, как впрочем, и остальные комнаты дома, точно описанного Родольфом во время его поездки с Певуньей.

Толстый ковер лежал на полу, огонь пылал в камине, и два огромных букета китайских астр всевозможной расцветки стояли в двух хрустальных вазах, распространяя вокруг себя легкий бальзамический аромат.

Сквозь полузакрытые решетчатые ставни были видны луг, маленькая речка и холм, поросший каштанами.

Аббату Лапорту, сидевшему у камина, перевалило за восемьдесят, и после революции он стал настоятелем этого бедного прихода.

Трудно было встретить более почтенную внешность, чем у этого аббата с его старческим, исхудавшим и болезненным лицом в рамке длинных седых волос, которые падали на воротник его черной, кое-где заплатанной сутаны; по словам аббата, лучше отдать хорошее, теплое сукно двум-трем неимущим детям, чем разыгрывать из себя щеголя, иными словами, чем менять сутаны каждые два-три года.

Добрый аббат был очень стар, так стар, что его руки вечно дрожали, и иной раз, когда в разговоре он поднимал их, можно было подумать, что он благословляет свою паству.

Родольф с интересом наблюдал за Марией.

Если бы он хуже знал ее, или, точнее, хуже разгадал ее душу, он был бы, вероятно, удивлен тем благоговейным спокойствием, с которым она подошла к священнику. Тонкое чутье Марии подсказало ей, что стыд кончается там, где начинаются раскаяние и искупление.

— Ваше преподобие, — почтительно сказал Родольф, — госпожа Жорж согласилась взять на попечение эту юную девушку... для которой я хочу испросить и вашего благосклонного внимания.

— Она имеет на него право, сударь, как и все те, кто прибегает к нам. Милосердие бога неистощимо, мое дорогое дитя! Он доказал вам это, не покинув вас в ваших горьких испытаниях... Мне все известно. — И он взял руку Марии в свои дрожащие старческие руки. — Великодушный человек, спасший вас от гибели, исполнил слово Писания, гласящее: «Господь печется о тех, кто призывает его; он услышит их стоны и спасет их». А теперь постарайтесь заслужить своим поведением милосердие господне. Я же всегда буду рад подбодрить, поддержать вас, на той благой стезе, на которую вы вступили. У вас перед глазами неизменно будет назидательный пример госпожи Жорж... А во мне вы найдете внимательного советчика... Господь завершит свое дело...

— Я буду молиться за тех, кто пожалел меня и привел к богу, отец мой... — сказала Певунья.

И почти непроизвольно она опустилась на колени перед священником. Рыдания душили ее.

Госпожа Жорж, Родольф и аббат были глубоко растроганы.

— Дорогое дитя, — сказал священник, — вы скоро заслужите отпущение грехов, ибо являетесь скорее жертвой, нежели грешницей. Как сказал пророк: «Господь поддерживает тех, кто готов пасть, и поднимает тех, кто повержен».

— Прощайте, Мария, — сказал Родольф, вручая девушке маленький золотой крестик на черной бархотке. — Сохраните его на память обо мне; сегодня утром я велел выгравировать на нем число этого дня — дня вашего освобождения... вашего искупления. Скоро я приеду навестить вас.

Мария поднесла крестик к губам.

В эту минуту Мэрф открыл дверь в гостиную.

— Господин Родольф, — сказал он, — экипаж подан.

— Прощайте, отец мой... прощайте, милая госпожа Жорж... Я вверяю вам ваше дитя или, точнее, наше дитя. Еще раз прощайте, Мария.

Опираясь на г-жу Жорж и на Певунью, которые направляли его неверные шаги, почтенный аббат вышел из гостиной, чтобы проводить Родольфа.

Последние лучи солнца ярко освещали эту примечательную и скорбную группу.

Престарелого священника, олицетворяющего милосердие, прощение и вечную надежду...

Женщину, испытавшую все несчастья, какие

могут поразить жену и мать.

Юную девушку, едва вышедшую из детского возраста, которую нищенство и гнусная преступная среда толкнули некогда в омут порока.

Родольф сел в коляску, Мэрф поместился рядом с ним...

Лошади тронули и помчались во весь опор.

Глава XV.
СВИДАНИЕ

Поручив Певунью заботам г-жи Жорж, Родольф, все так же одетый по-рабочему, стоял в полдень следующего дня у двери кабака «Корзина цветов», расположенного неподалеку от заставы Берси.

Накануне, в десять часов вечера, Поножовщик пришел на свиданье, назначенное ему Родольфом. Читатель узнает из продолжения этого рассказа о результате их встречи.

Итак, был полдень, дождь лил как из ведра; вода в Сене, вздувшейся от непрерывных дождей, сильно поднялась и залила половину набережной.

Время от времени Родольф нетерпеливо посматривал в сторону заставы; наконец, увидев вдалеке мужчину и женщину под зонтом, он узнал Сычиху и Грамотея.

Оба они преобразились; разбойник отказался от своего отрепья и от выражения зверской жестокости; на нем был длинный редингот из зеленого касторина, на голове — круглая шляпа; его галстук и рубашка поражали безупречной

белизной. Если бы не отталкивающее безобразие черт лица и не хищный блеск жгучих бегающих глазок, его можно было бы принять, судя по спокойной, уверенной походке, за добропорядочного буржуа.

Одноглазая тоже прифрантилась, надела белый чепчик и большую шаль из шелковых охлопков, подделку под кашемировую; в руке она держала объемистую корзину.

Дождь внезапно прекратился. Родольф превозмог чувство гадливости и двинулся навстречу отвратительной супружеской паре.

Грамотей сменил кабацкое арго на чуть ли не изысканный язык, который, свидетельствуя об образованности этого человека, до странности не вязался с его похвальбой своими кровавыми подвигами.

При приближении Родольфа Грамотей отвесил ему глубокий поклон; Сычиха сделала реверанс.

— Сударь... я ваш покорнейший слуга... — сказал Грамотей. — Разрешите засвидетельствовать вам мое почтение, весьма рад познакомиться... Или, точнее, возобновить знакомство... ибо позавчера вы почтили меня двумя ударами кулака, способными убить носорога... Но пока что не стоит говорить об этом; то была шутка с вашей

стороны; уверен, простая шутка... позабудем о ней... Зато серьезные интересы объединяют нас. Вчера вечером, в одиннадцать часов, я встретился в кабаке с Поножовщиком; я назначил ему свидание здесь на тот случай, если он пожелает быть нашим сотрудником, но он, видимо, наотрез отказался от этого дела.

— А вы-то согласны?

— Если вам угодно, господин... Ваше имя?

— Родольф.

— Господин Родольф... мы зашли бы в «Корзину цветов»... ни я, ни моя супруга еще не завтракали... Мы побеседуем о наших делишках и кстати заморим червячка.

— Охотно.

— По дороге можно будет перекинуться несколькими словами. Не в упрек вам будь сказано, вы с Поножовщиком должны возместить мне и моей жене понесенные нами убытки. Из-за вас мы потеряли более двух тысяч франков. Неподалеку от Сент-Уена у Сычихи было назначено свидание с высоким господином в трауре, он позавчера вечером осведомлялся о вас в кабаке; он предложил нам две тысячи франков, чтобы мы кое-что сделали вам... Поножовщик приблизительно объяснил нам суть дела... Да,

чуть не забыл, Хитруша, — обратился разбойник к жене, — сходя в «Корзину цветов», выбери там отдельный кабинет и закажи хороший завтрак; отбивные котлеты, кусок телятины, салат и две бутылки лучшего бонского вина; мы нагоним тебя.

За все это время Сычиха ни на минуту не отрывала от Родольфа своего единственного глаза; обменявшись взглядом с Грамотеем, она тотчас же ушла.

— Итак, я говорил вам, господин Родольф, что Поножовщик ввел меня в курс дела.

— А что значит ввести в курс?

— Правильно... Этот язык несколько сложен для вас; я хотел сказать, что Поножовщик объяснил мне в общих чертах, чего хочет от вас высокий господин в трауре со своими двумя тысячами.

— Хорошо, хорошо.

Не слишком-то хорошо, молодой человек, ибо Поножовщик, встретив вчера утром Сычиху возле Сент-Уена, не; отошел от нее ни на шаг, даже когда появился высокий господин в трауре; вот почему этот последний не посмел к ней приблизиться. Следовательно, с вашей помощью мы должны вернуть эту сумму, не считая пятисот франков за бумажник, который мы все равно

не стали бы отдавать, ибо из просмотра бумаг явствует, что они стоят много дороже.

— В нем были большие ценности?

— Нет, только документы, которые показались мне весьма любопытными, хотя в большинстве своем они написаны по-английски; я их храню вот здесь, — сказал разбойник, похлопывая по боковому карману своего редингота.

Слова Грамотея о том, что он имеет при себе бумаги, выкраденные им два дня назад у Тома, очень обрадовали Родольфа, ибо бумаги эти имели для него большое значение. Указания, данные им Поножовщику, не преследовали иной цели, как помешать Тому подойти к Сычихе; в этом случае бумажник остался бы у нее, а Родольф надеялся сам завладеть им.

— Итак, я сохранил их на всякий случай, — сказал разбойник, — ибо я нашел адрес господина в трауре и не сегодня завтра повидаюсь с ним.

— Если хотите, мы заключим с вами сделку, если наше дело выгорит, я куплю у вас все бумаги; ведь я знаком с этим человеком и они мне нужнее, чем вам.

— Поживем — увидим... Но вернемся к нашему разговору.

— Так вот, я предложил великолепное дело

Поножовщику, он сперва согласился, потом, отказался.

— Вечно у него какие-то причуды...

— Но, отказавшись, он обратил внимание...

— Он обратил ваше внимание.

— Черт возьми!.. Вы на грамматике собаку съели.

— Оно и понятно, ведь по профессии я школьный учитель.

— Итак, он обратил мое внимание на вас, сказал, что сам не ест красного хлеба, но не хочет отваживать от него других, и добавил что вы — человек, который мне нужен.

— Не могли бы вы сказать — не сочтите мой вопрос за бестактность, — почему вчера утром вы назначали свидание Поножовщику в Сент-Уене, что позволило ему встретиться с Сычихой? Он был в замешательстве и ничего мне не объяснил толком.

Родольф незаметно прикусил губу и, пожимая плечами, ответил:

— Вполне естественно, ведь я открыл ему свой план лишь наполовину: понимаете... он еще не дал мне окончательного ответа.

— Вы поступили осмотрительно...

— Тем более что у меня было два дела на при-

мете.

— Да?

— Вот именно.

— Вы человек осторожный... Итак, вы назначили свидание Поножовщику в Сент-Уене для...

После недолгого колебания Родольфу удалось придумать довольно правдоподобную историю, чтобы замять неловкость Поножовщика.

— Вот в чем дело... — сказал он. — Операция, которую я предлагаю, хороша тем, что хозяин дома, о котором идет речь, уехал за город... но я очень опасался, как бы он не вернулся. Чтобы быть спокойным на этот счет, я сказал себе: остается только одно...

— Убедиться воочию в присутствии хозяина дома в деревне.

— Вы правы... Итак, я отправляюсь в Пьерфит, где находится его дача... моя двоюродная сестра работает у него прислугой... понимаете?

— Прекрасно понимаю, парень. И что же?

— Сестра сказала мне, что ее хозяин приедет в Париж только послезавтра.

— Послезавтра?

— Да.

— Превосходно, но я возвращаюсь к своему вопросу... Зачем было назначать свидание Поно-

жовщику в Сент-Уене?

— Вы не только сообразительны... На каком расстоянии от Пьерфита находится Сент-Уен?

— Приблизительно на расстоянии одного лье.

— А сколько от Сент-Уена до Парижа?

— Столько же.

— Так вот, если бы я никого не нашел в Пьерфите, иначе говоря, если бы дача была пуста... там тоже можно было обделать выгодное дельце, не такое выгодное, как в Париже, но все же сносное... В этом случае я поспешил бы в Сент-Уен за Поножовщиком, который ждал меня в условленном месте. Мы вернулись бы в Пьерфит по известной мне проселочной дороге.

— Понимаю. А если, напротив, дело ждало вас в Париже?

— Мы добрались бы до заставы Этуаль по дороге Восстания и по аллее Вдов.

— Да, это рядом. Из Сент-Уена вам было рукой подать до обеих операций... ловко придумано. Теперь мне ясно присутствие Поножовщика в Сент-Уене... Итак, мы говорили, что дом на аллее Вдов будет пустовать до послезавтра...

— Да... за исключением привратника.

— Само собою разумеется... И это выгодная операция?

— Сестра говорила мне о шестидесяти тысячах франков золотом в кабинете хозяина дома.

— И вам знакомо расположение комнат в доме?

— Как нельзя лучше... сестра работает там уже год... И постоянно говорит об огромных суммах, которые хозяин берет из банка, чтобы вложить их в дело; вот я и надумал. Только сторож там человек здоровенный, и мне пришлось обратиться к Поножовщику... Он долго ломался, потом было согласился... но увильнул... Впрочем, он не такой человек, чтобы мог продать друга.

— Да, в нем есть кое-что хорошее. Вот мы и пришли. Не знаю, как у вас, но у меня на воздухе разыгрался аппетит...

Сычиха ждала их на пороге кабачка.

— Вот сюда, сюда, — проговорила она, — проходите, пожалуйста! Я заказала завтрак.

Родольф хотел пропустить разбойника перед собой: для этого у него были особые основания... но Грамотей так настойчиво отказывался от этого знака внимания, что Родольф прошел первым. Еще не садясь за стол, Грамотей тихонько постучал по обеим перегородкам, чтобы убедиться в их толщине и звуконепроницаемости.

— Здесь не придется говорить слишком тихо,

— сказал он, — перегородки не тонкие. Нам все подадут сразу, и никто не побеспокоит нас во время беседы.

Служанка принесла все, что было заказано. Прежде нежели дверь за ней затворилась, Родольф заметил угольщика Мэрфа, степенно расположившегося в соседнем кабинете.

Помещение, в котором происходила описываемая нами сцена, было длинное, узкое, с единственным окном, которое выходило на улицу и находилось как раз против двери.

Сычиха села спиной к окну, Грамотей и Родольф поместились на двух противоположных концах стола.

Как только служанка вышла, разбойник встал из-за стола, взял свой прибор и сел рядом с Родольфом так, чтобы скрыть от него дверь.

— Беседовать так будет удобнее, — сказал он, — нам не придется повышать голос.

— И кроме того, вы хотите отгородить меня от двери и помешать уйти... — холодно возразил Родольф.

Грамотей утвердительно кивнул, затем наполовину вытащил из кармана своего редингота длинный, круглый стилет, толщиной с большое гусиное перо, деревянная ручка которого была

зажата в его волосатой руке.

— Видите?

— Да.

— Совет знатокам...

И, насупив брови движением, от которого сморщился его лоб, широкий и плоский, как у тигра, он сделал выразительный жест.

— И можете мне поверить. Я сама наточила ножичек моего муженька.

С поразительной непринужденностью Родольф вынул из-под блузы двуствольный пистолет и, показав его, снова спрятал в карман.

— Прекрасно... Мы оценили друг друга. Но вы недооценили меня... Давайте предположим невозможное: если за мной явится полиция, я вас убью вне зависимости от того, кто устроил мне эту ловушку.

И он бросил свирепый взгляд на Родольфа.

— А я тут же накинусь на него, чтобы помочь тебе, чертушка, — воскликнула Сычиха.

Родольф ничего не ответил; пожав плечами, он налил стакан вина и осушил его.

Хладнокровие Родольфа произвело впечатление на Грамотея.

— Я только хотел предупредить вас...

— Ладно, ладно, спрячьте в карман вашу шпиго-

вальную иглу, здесь нет цыпленка для шпиговки. Я старый петух, и у меня острые шпоры, приятель, — сказал Родольф. — А теперь поговорим о делах.

— Хорошо, поговорим о делах. Но не отзывайтесь дурно о моей шпиговальной игле: она не производит шума и не привлекает внимания.

— И свое дело делает чисто, правда, Чертушка? — добавила Сычиха.

— Кстати, — обратился Родольф к Сычихе, — правда ли, что вам известны родители Певуньи?

Мой муж положил в бумажник высокого господина в черном два письма, в которых говорится об этом, но девчонка их не увидит... Скорее я собственноручно вырву у нее глаза... О, когда она появится в кабаке, ее песенка будет спета...

— Да полно тебе, Хитруша! Говорим мы, говорим, а дела наши не двигаются.

— Можно бакулить[59] при ней? — спросил Р од ольф.

— Да, и вполне откровенно; она человек испытанный и может нам очень пригодиться стоять на страже, собирать сведения и даже прятать, перепродавать краденое и т. д.; она обладает

---

[59] Notes: 59
Говорить.

всеми качествами превосходной домашней хозяйки... Славная хитруша! — сказал разбойник, протягивая руку отвратительной старухе. — Вы не представляете себе, сколько услуг она мне оказала... Ты бы сняла свою шаль, Хитруша, не то озябнешь на улице... Положи ее на стул рядом со своей корзинкой...

Сычиха сняла шаль.

Несмотря на все свое самообладание, Родольф вздрогнул от удивления при виде маленького изображения святого духа из лазурита, висящего на цепочке из поддельного золота, которую носила старуха, изображения, в точности соответствующего описанию той реликвии, которая, по словам г-жи Жорж, была на шее ее сына в день его исчезновения.

При этом открытии внезапная мысль блеснула в голове Родольфа. Со слов Поножовщика, Грамотей, бежавший с каторги полгода назад, сбил со следа полицию, обезобразив себя... и как раз полгода назад муж г-жи Жорж исчез с каторги и как в воду канул.

Сопоставив эти два факта, Родольф подумал, что Грамотей вполне мог быть супругом этой несчастной женщины.

Ее недостойный муж принадлежал некогда к

зажиточному слою общества... а Грамотей употреблял иной раз изысканные обороты речи.

Одно воспоминание влечет за собой другое: Родольф вспомнил, кроме того, что, рассказывая ему с дрожью в голосе об аресте своего мужа, г-жа Жорж упомянула об отчаянном сопротивлении этого мерзавца, которому едва не удалось вырваться от полицейских благодаря своей геркулесовой силе.

Если этот злодей был мужем г-жи Жорж, он знает, конечно, об участи своего сына. Кроме того, в бумажнике, украденном ям у иностранца, известного под именем Том, имелись какие-то бумаги, относящиеся к рождению Певуньи.

Итак, у Родольфа появились новые, и серьезные, причины продолжать начатое дело.

К счастью, его озабоченность ускользнула от внимания разбойника, усердно потчевавшего Сычиху.

— Черт возьми!.. Какая у вас красивая цепочка... — обратился Родольф к одноглазой.

— Красивая... и недорогая... — ответила, смеясь, старуха. — Это поддельное золото, ношу ее, пока муженек не купит мне золотую...

— Все зависит от господина Родольфа, Хитруша... Если наше дельце выгорит, будь покойна...

— Поразительная подделка, нипочем не отличишь от золотой, — продолжал Родольф, — а что это за голубая штучка висит на ней?

— Это подарок муженька взамен бимбера[60], который он обещал мне... правда, Чертушка?

Родольф отметил, что его подозрения наполовину подтвердились. Он с беспокойством ожидал ответа Грамотея.

— Тебе придется сохранить эту безделушку, несмотря на бимбер, Хитруша... Это талисман... Он приносит счастье...

— Талисман? — небрежно заметил Родольф. — Неужто вы верите в талисманы? Где же вы, к черту, откопали его?.. Дайте мне адрес фабрики.

— Их больше не делают, мой дорогой, лавочка закрылась... Эта безделушка относится к седой древности, ее носили три поколения. Я очень дорожу ею — это фамильная драгоценность, — прибавил он с мерзкой улыбкой. — Потому-то я и подарил ее Хитруше... пусть приносит ей счастье в наших совместных операциях, ибо она весьма ловко помогает мне... Увидите, увидите ее в деле... если мы предпримем вместе какую-нибудь коммерческую сделку... Но вернемся к главному

---

[60] Notes: 60
Часов.

предмету нашего разговора... Вы говорили, что на аллее Вдов...

— Имеется под номером семнадцать дом, принадлежащий богачу... зовут его...

— Я не так бестактен, чтобы интересоваться его фамилией... И вы говорите, что в его кабинете имеется шестьдесят тысяч франков золотом?

— Шестьдесят тысяч франков золотом! — воскликнула Сычиха.

Родольф утвердительно кивнул.

— И вы знаете расположение комнат в этом доме? — спросил Грамотей.

— Прекрасно знаю.

— А войти в дом трудно?

— Со стороны аллеи Вдов — каменная ограда семи футов высотой, сад, в который выходят окна одноэтажного дома без всяких уступов и выступов.

— И один-единственный привратник охраняет эти сокровища?

— Да!

— Каков же ваш план кампаний, молодой человек?

— План самый простой... перелезть через стену, открыть отмычкой входную дверь или взломать ставни с внешней стороны. Что вы на это ска-

жете?

— А что, если привратник проснется? — спросил Грамотей, пристально смотря на молодого человека.

— Сам будет в этом виноват... — ответил Родольф многозначительно. — Ну как, подходит вам это дельце?

— Вы прекрасно понимаете, что я ничего не отвечу вам, пока не увижу всего своими глазами, иначе говоря, с помощью моей жены; но если все, что вы говорите, соответствует действительности, мне кажется, что следует взять эти сокровища еще тепленькими... сегодня вечером.

И злодей пристально взглянул на Родольфа.

— Сегодня вечером... невозможно, — холодно ответил тот.

— Почему, раз хозяин возвращается только послезавтра?

— Да, но я не могу сегодня вечером!..

— Неужели? Ну, а я не могу завтра.

— По какой причине?

— По той же, которая мешает вам действовать сегодня... — ответил с ухмылкой разбойник.

— Ладно!.. Согласен, пусть будет сегодня вечером. Где мы встретимся с вами? — ответил, немного подумав, Родольф.

— Встретимся? Мы не расстанемся до вечера, — сказал Грамотей.

— Как так?

— А к чему нам разлучаться? Погода проясняется, мы погуляем, бросим взгляд на аллею Вдов. Вы посмотрите, как работает моя жена. После чего мы вернемся, сыграем партию в пикет и закусим в знакомом мне подвальчике на Елисейских полях, в том, что рядом с рекой; а ввиду того, что аллея эта пустеет рано, мы отправимся туда к десяти часам вечера.

— Я присоединюсь к вам в девять часов.

— Хотите вы или не хотите участвовать в деле вместе с нами?

— Хочу.

— В таком случае мы не расстанемся до вечера... иначе...

— Иначе?

— Я подумаю, что вы собираетесь устроить мне заманиху[61], а потому и хотите уйти...

— Если я собираюсь устроить вам ловушку, что мешает мне сделать это сегодня вечером?

— Решительно все... Вы не ожидали, что я предложу вам немедленно приступить к делу.

---

[61] Notes: 61
Ловушку.

А поскольку мы не разлучимся, вы не сумеете никого предупредить...

— Вы не верите мне?..

— Нисколько... но так как в вашем предложении может оказаться доля правды, а шестьдесят тысяч франков заслуживают того, чтобы ими заняться... я согласен попытать счастье, но только сегодня вечером или никогда... В последнем случае, я пойму, что вы собой представляете... и угощу вас в свою очередь... не сегодня, так завтра, кушаньем собственного изготовления...

— А я отплачу вам за любезность... можете не сомневаться.

— Все это глупости! — пробормотала Сычиха. — Я скажу то же, что и Чертушка; сегодня вечером или никогда.

Родольф был в жесточайшей тревоге: стоит ему упустить эту возможность захватить Грамотея, и, по всей вероятности, она никогда больше не представится: отныне злодей будет настороже, а быть может, его опознают, арестуют и снова сошлют на каторгу, а он унесет с собой все тайны, которые Родольфу было необходимо узнать.

Положив довериться случаю, своей ловкости и смелости, он сказал Грамотею:

— Согласен, мы не расстанемся до сегодняш-

него вечера.

— В таком случае, я с вами заодно... Скоро будет два часа... Отсюда до аллеи Вдов далеко; дождь льет как из ведра: давайте сложимся и наймем извозчика.

— Если мы возьмем извозчика, я успею выкурить сигару.

— Конечно, — сказал Грамотей. — Хитруша не боится запаха табака.

— В таком случае, я выйду на минутку, чтобы купить их, — молвил Родольф, вставая из-за стола.

— Не утруждайте себя понапрасну, — заметил Грамотей. — Хитруша сходит за ними...

Родольф сел на прежнее место. Грамотей разгадал его намерения. Сычиха вышла из кабинета.

— Какая у меня хорошая хозяюшка, а? — заметил негодяй. — И до чего ж покладистая! Ради меня она пойдет в огонь и в воду.

— Кстати насчет огня, здесь, черт возьми, не жарко, — заметил Родольф и спрятал обе руки под блузой.

Продолжая разговаривать с Грамотеем, он незаметно вынул из своего жилетного кармана карандаш с клочком бумаги и торопливо набросал несколько слов, стараясь, чтобы буквы не

наскакивали друг на дружку, так как писал он под блузой вслепую.

Проницательность Грамотея удалось, обмануть, оставалось передать записку по назначению.

Родольф встал, машинально подошел к окну и стал тихонько напевать что-то, барабаня пальцами по стеклу.

Грамотей тоже заглянул в окно и небрежно спросил Родольфа:

— Что за мотив вы наигрываете?

— «Ты не получишь моей розы».

— Красивый мотив... Хотелось бы только знать, не заставит ли он обернуться прохожих.

— На это я не претендую.

— Вы неправы, молодой человек, ибо с большим мастерством стучите по стеклу. Да, вот что пришло мне в голову... Сторож того дома по аллее Вдов, вероятно, парень решительный. Если он будет сопротивляться... У вас есть только пистолет... и стреляет он громко, тогда как такой инструмент, как мой (и он показал Родольфу рукоятку своего кинжала), бесшумен и никого не привлечет.

— Как, вы хотите убить сторожа?! — воскликнул Родольф. — Если таково ваше намерение...

позабудем об этой затее... ничего еще не сделано... не рассчитывайте на меня.

— А если он проснется?

— Мы убежим...

— Вот оно что, я вас плохо понял; всегда лучше договориться заранее... Значит, речь идет лишь о краже со взломом.

— Да, только об этом.

— Хорошо, будь по-вашему...

«А так как я не отойду от тебя ни на шаг, — подумал Родольф, — тебе никого не удастся убить».

Глава XVI.
ПОДГОТОВКА

Сычиха вернулась в кабинет с сигарами.

— Мне кажется, что дождь перестал, — сказал Родольф, раскуривая сигару, — не пойти ли нам самим за извозчиком, чтобы размяться?

— Как это перестал? — воскликнул Грамотей. — Вы что, ослепли?.. Неужели вы думаете, что я подвергну Хитрушу опасности простудиться... рискну ее столь драгоценной жизнью... и испорчу ее превосходную новую шаль?..

— Ты прав, муженек, на улице собачья погода!

— Сейчас придет служанка, и, расплатившись, мы пошлем ее за извозчиком.

— Вот самые разумные слова, которые вы сказали до сих пор, молодой человек, и прокатимся в сторону аллеи Вдов.

Вошла служанка. Родольф дал ей сто су.

— Ах, сударь... вы злоупотребляете... я не потерплю! — воскликнул Грамотей.

— Полноте!.. Придет и ваш черед.

— Хорошо, я подчиняюсь... но с условием, что угощу вас на славу в кабаке на Елисейских полях...

это лучшее местечко из всех мне известных.

— Ладно, ладно... согласен.

Расплатившись со служанкой, компания направилась к двери. Родольф хотел выйти последним из уважения к Сычи-хе. Грамотей не допустил этого и последовал за ним, не упуская из виду ни одного его движения. У тамошнего ресторатора была также распивочная. Среди посетителей выделялся угольщик с перепачканным лицом, в широкополой шляпе, надвинутой на глаза; он как раз расплачивался у стойки за выпитое вино, когда появилась наша троица. Несмотря на неусыпный надзор Грамотея и одноглазой, Родольф, шедший впереди омерзительной супружеской четы, успел обменяться быстрым, едва уловимым взглядом с Мэрфом, когда садился на извозчика.

Дверца кареты была открыта, Родольф задержался, твердо решив, что на этот раз пропустит своих спутников, ибо угольщик незаметно приблизился г. нему.

В самом деле, Сычиха села первая, правда, после всяких отговорок; Родольфу пришлось последовать за ней, ибо Грамотей сказал ему на ухо:

— Вы что ж, хотите, чтобы я окончательно разуверился в вас?

Когда Родольф был уже в карете, угольщик, посвистывая, вышел за порог двери и с удивлением, с беспокойством взглянул на Родольфа.

— Куда поедем, хозяин? — спросил кучер. Родольф ответил громким голосом:

— На аллею...

— Акаций, в Булонский лес, — крикнул Грамотей, перебивая Родольфа, и прибавил: — Мы вам хорошо заплатим.

Дверца кареты захлопнулась.

— Как, черт подери, могли вы сказать, куда мы едем, в присутствии всех этих зевак?! — сказал Грамотей. — Если завтра все будет открыто, такое показание может нас погубить. Ах, молодой человек, молодой человек, как вы неосторожны!

Лошади тронули.

— Правда, я не подумал об этом. Но из-за моей сигары вы прокоптитесь здесь, как селедки. Что, если нам открыть окошко?

И, не мешкая, Родольф искусно выпустил из рук тоненькую, тщательно свернутую бумажку, ту самую, на которой он успел нацарапать несколько слов в кабаке... У Грамотея был такой зоркий глаз, что, несмотря на полную невозмутимость Родольфа, он, вероятно, условил в его взгляде проблеск торжества, ибо, просунув голову в дверцу

кареты, крикнул извозчику:

— Стой!.. Стой!.. Кто-то догоняет нас.

Родольф внутренне содрогнулся, но тоже крикнул «стой!». Карета остановилась. Извозчик обернулся и посмотрел назад.

— Нет, хозяин, там никого нет, — сказал он.

— Я сам хочу убедиться в этом, черт подери! — вскричал Грамотей и спрыгнул на мостовую.

Никого не увидев, ничего не заметив, так как за это время извозчик успел проехать несколько шагов, Грамотей решил, что ошибся.

— Вы будете смеяться надо мной, — сказал он, садясь в карету, — сам не знаю почему, но мне показалось, что кто-то едет за нами.

Тут извозчик свернул на поперечную улицу.

Дело в том, что Мэрф, с самого начала не спускавший глаз с извозчичьей кареты, заметил маневр Родольфа, мигом подбежал к бумажке, попавшей в расщелину мостовой, и схватил ее.

Через четверть часа Грамотей сказал извозчику:

— Вот что, любезный, мы изменили решение: на площадь Мадлен!

Родольф с удивлением взглянул на него.

— Видите ли, молодой человек, с этой площади можно отправиться куда угодно. В случае, если

нас побеспокоят, показания кучера не будут иметь никакой цены.

В ту минуту, когда извозчик подъезжал к заставе, высокий темнолицый мужчина в длинном светлом рединготе, со шляпой, надвинутой на глаза, промчался по дороге на великолепной охотничьей лошади, поражавшей быстротой своего хода.

— Какая великолепная лошадь и какой превосходный всадник! — сказал Родольф, высунувшись из окна кареты и провожая взглядом Мэрфа (ибо это был он). — И как прекрасно скачет этот полный человек.

— К сожалению, он так стремительно проехал мимо, — сказал Грамотей, — что я его не заметил.

Родольф весьма ловко скрыл свою радость: очевидно, Мэрф расшифровал написанную чуть ли не иероглифами записку. Грамотей, убедившись, что за извозчиком никто не следует, решил последовать примеру Сычихи, которая дремала или, скорее всего, притворялась, что дремлет.

— Извините меня, молодой человек, но движение кареты всегда оказывает на меня какое-то странное действие: усыпляет, как ребенка, — сказал он Родольфу.

Под предлогом своего мнимого сна разбойник хотел понаблюдать, не выдаст ли их спутник своего волнения. Родольф разгадал эту хитрость.

— Я рано встал сегодня утром; мне хочется спать... я тоже попробую уснуть, — ответил он и закрыл глаза.

Вскоре громкое дыхание Грамотея и Сычихи, которые храпели в унисон, настолько обмануло Родольфа, что он чуть приподнял веки.

Но, несмотря на свой храп, Грамотей и Сычиха держали глаза открытыми и обменивались какими-то тайными знаками с помощью пальцев, как-то странно переплетенных на их ладонях. Этот символический язык мигом прекратился. Обнаружив по какому-то еле заметному признаку, что Родольф не спит, разбойник воскликнул со смехом:

— Ха, ха, приятель... Вы, значит, испытываете своих друзей?

— Это не должно вас удивлять, вы сами храпите с открытыми глазами.

— Мое дело особое, молодой человек, я лунатик...

Извозчик остановился на площади Мадлен. Дождь временно перестал, но гонимые ветром облака были так черны и так низко нависли над

землей, что почти совсем стемнело. Родольф, Сычиха и Грамотей направились в Кур-ла-Рен.

— Молодой человек, мне пришла в голову одна мысль... и мысль недурная, — сказал разбойник.

— Какая?

— Убедиться, соответствует ли действительности все, что вы сказали о расположении комнат в доме на аллее Вдов.

— Вы хотите немедленно отправиться туда под каким-нибудь предлогом? Но это может вызвать подозрения.

— Я не так простодушен, как вы думаете... молодой человек... но у меня есть жена по прозвищу Хитруша.

Сычиха вскинула голову.

— Взгляните на нее, молодой человек! Она точно боевой конь, услышавший сигнал горниста.

— Вы хотите послать ее на разведку?

— Вот именно.

— Дом номер семнадцать, аллея Вдов, правильно, муженек? — вскричала Сычиха, горя нетерпением. — Будь спокоен, у меня только один глаз, но видит он хорошо.

— Взгляните, взгляните на нее, молодой человек, ей не терпится побывать там.

— Если она ловко возьмется за дело, я скажу,

что ваша мысль недурна.

— Оставь у себя зонтик, чертушка... Через полчаса я вернусь, и ты увидишь, на что я способна, — воскликнула Сычиха.

— Минутку, Хитруша, мы зайдем сперва в «Кровоточащее сердце», это в двух шагах отсюда. Если Хромуля там, ты возьмешь его с собой; он останется сторожить у двери дома, пока будешь внутри.

— Ты прав: он хитер как лиса, этот мальчишка: ему еще нет и десяти лет, а между тем он давеча...

По знаку Грамотея Сычиха прикусила язык.

— «Кровоточащее сердце», что за странное название для кабака? — спросил Родольф.

— Если название вам не по вкусу, пожалуйтесь кабатчику.

— А как его зовут?

— Кабатчика «Кровоточащего сердца»?

— Да.

— Не все ли вам равно? Ведь он-то не спрашивает имена своих посетителей.

— И все же?

— Зовите его, как вам будет угодно: Пьер, Тома, Кристоф, Барнабе, он откликается на все имена... Вот мы и пришли... И вовремя, так как вот-вот снова польет... Как шумит река, точно водопад!

Увидите: еще два дня таких дождей, и вода поднимется выше арок моста.

— Вы говорите, что мы пришли... Где же, к черту, кабак? Я не вижу здесь ни одного дома!

— Конечно, потому что вы смотрите вокруг себя.

— А куда же мне смотреть, по-вашему?

— Себе под ноги.

— Под ноги?

— Да.

— Куда именно?

— Вот сюда... сюда... Видите крышу? Только не вздумайте ступить на нее.

Родольф и в самом деле не заметил одного из тех подземных кабаков, которые встречались еще несколько лет тому назад в разных местах Елисейских полей и, в частности, около Кур-ла-Рен.

Лестница, вырытая во влажной жирной земле, вела к некоему подобию обширного рва, к одной из отвесных граней которого прилепилась низкая грязная лачуга с потрескавшимися стенами; ее черепичная, замшелая крыша едва доходила до поверхности земли, где стоял Родольф; два-три сарая из трухлявых досок — погреб, сарай и крольчатник — дополняли этот вертеп.

Узенькая дорожка, шедшая по дну рва, вела от

лестницы к двери дома; остальная территория была занята увитой зеленью беседкой с двумя рядами грубых, врытых в землю столов. От ветра заунывно скрипела видавшая виды жестяная вывеска; сквозь покрывавшую ее ржавчину можно было различить красное сердце, пронзенное стрелой. Вывеска покачивалась на стояке, прибитом над дверью этой пещеры, подлинного человеческого логова.

Густой, влажный туман присоединился к дождю... близилась ночь.

— Что вы скажете об этом отеле... молодой человек? — спросил Грамотей.

— Благодаря дождю, который льет уже две недели... здесь, верно, образовался пруд и можно заняться рыбной ловлей... Ну же, проходите.

— Минутку... надо узнать, здесь ли хозяин... Внимание.

И разбойник, с силой проводя языком по небу, издал странный крик, некое подобие гортанной барабанной дроби, гулкой и продолжительной, которую можно было бы изобразить следующим образом:

— Прррр!

Такой же крик донесся из глубины лачуги.

— Он дома, — сказал Грамотей. — Извините, мо-

лодой человек... Почет дамам, пропустим вперед Сычиху... Я следую за вами... Будьте осторожны... Здесь скользко...

Глава XVII.
«КРОВОТОЧАЩЕЕ СЕРДЦЕ»

Ответив на условный крик Грамотея, хозяин «Кровоточащего сердца» любезно вышел на порог своего заведения. Этот человек, которого Родольф напрасно разыскивал в Сите и об имени или, точнее, о прозвище которого еще не догадывался, был не кто иной, как Краснорукий. Кабатчику, тонкому, тщедушному, немощному человеку, можно было дать лет пятьдесят. В его физиономии было что-то кунье, крысиное; острый нос, скошенный подбородок, обтянутые кожей скулы, маленькие черные глазки, живые и пронзительные, придавали его лицу неподражаемое выражение хитрости, проницательности и ума. Старый белокурый или, точнее, желтый, как и желтушный цвет его лица, парик, надетый на макушку, оставлял открытыми седеющие сзади волосы. На кабатчике была куртка и длинный черноватый фартук: обычно такие фартуки носят приказчики виноторговцев.

Едва трое пришедших спустились с лестницы, как мальчик лет десяти, самое большее,

рахитичный, хромой и кривобокий, подошел к Краснорукому, на которого был до того похож, что никто не усомнился бы, что он сын кабатчика.

У ребенка был отцовский проницательный и коварный взгляд, а лоб наполовину скрыт копной желтоватых волос, прямых, жестких, как конский волос. Коричневые штаны и серая блуза, стянутая кожаным ремнем, — такова была одежда Хромули, прозванного так из-за своего увечья; он стоял рядом с отцом на здоровой ноге, словно цапля на краю болота.

— Вот как раз и малыш, — сказал Грамотей. — Хитруша, время не ждет, приближается ночь... Надо все успеть засветло.

— Ты прав, муженек... я попрошу, чтобы отец отпустил со мной мальчугана.

— Здравствуй, старик, — сказал Краснорукий, обращаясь к Грамотею похожим на женский голоском, резким и пронзительным, — чем могу служить?

— Отпусти на четверть часа своего малыша, моя жена кое-что потеряла неподалеку отсюда... он поможет ей поискать...

Краснорукий многозначительно подмигнул Грамотею и сказал сыну:

— Хромуля... ты пойдешь вместе с дамой.

Уродливый мальчик подбежал, прихрамывая, к Сычихе и взял ее за руку.

— Что за прелестный ребятенок!.. Малыш как малыш! — сказала — Хитруша. — Так и тянется к тебе... Не то что Воровка, у этой побирушки вечно был такой вид, что ее вот-вот стошнит, стоило ей приблизиться ко мне.

— Ну же, поторапливайся, Хитруша... шире открывай глаз и действуй с оглядкой.

— Я не задержусь... Иди вперед, Хромуля! Одноглазая старуха и хромой мальчик поднялись по скользкой лестнице.

— Хитруша, возьми зонтик, — крикнул разбойник.

— Он мне только помешает, муженек, — ответила старуха.

И она скрылась вместе с Хромулей в туманных сумерках, среди заунывного воя ветра, сотрясавшего на Елисейских полях черные голые ветви больших вязов.

— Давайте войдем, — сказал Родольф.

Пришлось нагнуться, чтобы пройти в дверь кабака, разделенного на две залы. В первой зале видишь стойку и потрепанный бильярд, во второй — столы и садовые стулья, некогда выкрашенные в зеленый цвет. Два узких окна слабо

освещают обе комнаты, зеленоватые стены которых изъедены сыростью.

На несколько секунд Родольф остался один, и за это время Краснорукий и Грамотей успели обменяться несколькими словами и какими-то таинственными знаками.

— Не выпьете ли вы пива или водки в ожидании Хитруши? — спросил Грамотей.

— Нет... Мне не хочется пить.

— Каждый поступает по-своему... А вот я выпью стакан водки.

И Грамотей сел за один из зеленых столиков во второй зале.

Темнота все больше сгущалась в этом притоне, так что невозможно было разглядеть в углу второй залы зияющий вход в подвал, куда ведет двустворчатый люк, одна из створок которого обычно остается открытой для удобства тех, кто обслуживает клиентов. Стол, за который сел Грамотей, находился рядом с этой черной и глубокой дырой, скрытой его массивной фигурой от глаз Родольфа.

Этот последний смотрел в окно, чтобы занять себя и скрыть свою озабоченность. Встреча с Мэрфом, скакавшим во весь опор на аллею Вдов, не вполне успокоила его; он боялся, что эсквайр не

понял смысла его записки, поневоле лаконичной и содержавшей лишь несколько слов: Сегодня вечером, десять часов.

Родольф твердо решил отправиться на аллею Вдов не раньше назначенного часа, а до тех пор не расставаться с Грамотеем. Как он ни был ловок и вооружен, ему придется состязаться в хитрости с опасным, на все готовым убийцей... но для раскрытия тайн, которые он должен узнать, иной возможности нет.

Стоит ли говорить об этом? Но таков уж был склад странного характера Родольфа, жаждущего сильных ощущений, что он находил жуткое удовольствие в тревогах и препятствиях, вставших на пути выполнения плана, который он обсудил накануне со своим верным Мэрфом и с Поножовщиком.

Не желая, однако, чтобы Грамотей отгадал его мысли, он сел за тот же стол и приличия ради заказал стакан вина.

С тех пор как Краснорукий неслышно обменялся несколькими словами с разбойником, он поглядывал на Родольфа с видом пытливым, сардоническим, недоверчивым.

— На мой взгляд, молодой человек, — сказал Грамотей, — если жена узнает, что люди, которых

мы хотим видеть, находятся дома, мы сможем нанести им визит около восьми часов.

— Это слишком рано, — ответил Родольф, — разница в два часа стеснит их...

— Вы так думаете?

— Уверен...

— Полноте, что за счеты между друзьями...

— Я их знаю; повторяю, что туда не стоит являться раньше десяти часов.

— До чего же вы упрямы, молодой человек!

— Я отвечаю за свои слова. И чтоб мне было пусто, если я уйду отсюда раньше десяти часов! — Не церемоньтесь из-за меня: я никогда не закрываю своего заведения раньше полуночи, — сказал Краснорукий своим тонким голоском. — Как раз в это время приходят лучшие клиенты... а мои соседи не жалуются на шум, который те поднимают.

— Приходится во всем соглашаться с вами, молодой человек, — заметил Грамотей. — Будь по-вашему, мы отправимся отсюда только в десять часов.

— А вот и Сычиха! — воскликнул Краснорукий, услышав условный крик, подобный тому, который Грамотей издал, прежде чем спуститься в этот подземный дом.

Минуту спустя в бильярдную Сычиха вошла одна.

— Все ладно, муженек... дела на мази!.. — воскликнула одноглазая, переступая порог.

Краснорукий деликатно удалился, не спросив о Хромуле, которого он, очевидно, не ждал так скоро. Старуха промокла до нитки; она села против Родольфа и Грамотея.

— Ну как? — спросил последний.

— До сих пор парень не соврал.

— Вот видите! — воскликнул Родольф.

— Не мешайте рассказывать Сычихе, молодой человек... Продолжай, Хитруша.

— Я подошла к дому семнадцать, оставив Хромулю сторожить поблизости, в канавке. Было еще светло. Я стала трезвонить у маленькой калитки; дверные петли у нее снаружи, просвет внизу широкий, в два пальца, словом, детская забава. Продолжаю звонить, сторож открывает мне. Это высокий, толстый мужчина лет пятидесяти, вид сонный и добродушный, рыжие бакенбарды полумесяцем, лысая голова... Но, прежде чем начать звонить, я спрятала свой чепчик в карман, чтобы походить на соседку. Увидев сторожа, я заплакала в голос, крича, что потерялся мой попугайчик, по кличке Кокот, которого я обожаю... Я сказала, что

живу на проспекте Марбеф и хожу из дома в дом в поисках своего любимца. Наконец я принялась умолять сторожа позволить мне поискать Кокот у него.

— Гм! — пробурчал Грамотей с довольным и горделивым видом, указывая на Хитрушу. — Что за женщина, а?

— Сторож разрешил мне поискать попугая, и вот я хожу по саду, зову: «Кокот! Кокот!» — а, сама смотрю вверх и по сторонам, чтобы хорошенько все разглядеть. С внутренней стороны каменной ограды, — продолжала свое описание Сычиха, — стоят, куда ни глянь, трельяжи, увитые зеленью, а в левом ее углу растет кривая ветвистая сосна, по ней спустилась бы в сад и беременная женщина. Дом одноэтажный, в нем шесть окон и четыре узких оконца без поперечин в подвальном помещении. На окнах ставни, они закрываются снизу на крючок, сверху — на шпингалет; нажать на плинтус, просунуть проволоку...

— ...и окно открыто, — заметил Грамотей, — дело плевое...

— Входная дверь застеклена... с ее внешней стороны две решетчатые ставни.

— Запомним, — сказал разбойник.

— Все в точности!.. Словно мы сами там побы-

вали, — подтвердил Родольф.

— Слева, — продолжала Сычиха, — возле двора, колодец; веревка на нем может пригодиться, так как с этой стороны у каменной ограды нет трельяжа; я говорю это на тот случай, если отступление со стороны входной двери будет отрезано... Войдя в дом...

— Ты была в доме? Она была в доме, молодой человек! — с гордостью проговорил Грамотей.

— Конечно, я побывала там. Не найдя попугая, я так стонала и плакала, что у меня вроде бы перехватило дыхание. Я попросила у сторожа разрешения посидеть на пороге; этот славный человек пригласил меня войти и предложил стакан воды с вином. «Дайте мне только стакан воды, стакан воды из-под крана, мой добрый господин», — сказала я. Тогда он ввел меня в переднюю... повсюду там ковры; это нам на руку: не будет слышно ни шагов, ни осколков стекла, если придется высадить окно; справа и слева двери с ручками в виде птичьего клюва. Стоит в него дунуть, и дверь откроется... В глубине массивная дверь, запертая на ключ и чем-то похожая на вход в кассу... От нее пахло деньгами!.. Кусок воска был при мне, в корзине...

— У нее с собой был воск, молодой человек...

Она никуда не выходит без воска!.. — сказал разбойник.

— Мне необходимо было подойти к двери, от которой пахло деньгами, — продолжала Сычиха. — Тогда я сделала вид, будто меня душит кашель, да такой сильный, что мне пришлось опереться о стену. Услыхав, что я кашляю, сторож кричит: «Я положу вам кусок сахара в стакан с водой». Он, видно, пошел за ложкой, потому что я услышала, как смеется столовое серебро... столовое серебро находится в комнате справа... не забудь, Чертушка. Продолжая стонать и хныкать, я подхожу к той самой двери... Кусок воска был у меня на ладони... Как ни в чем не бывало я прилепила его к замочной скважине. Вот отпечаток. Не пригодится сегодня, пригодится в другой раз...

И Сычиха отдала разбойнику кусок желтого воска, на котором был ясно виден отпечаток врезного замка.

— А теперь вы должны нам сказать, действительно ли эта дверь ведет в комнату, где лежат деньги? — спросила Сычиха,

— Да, именно там спрятаны деньги!.. — ответил Родольф и подумал: «Неужели Мэрф был одурачен этой старой мегерой? Вполне возможно; он ждет нападения только к десяти часам... тогда все

предосторожности будут приняты».

— Но не все деньги находятся в этой комнате, — продолжала Сычиха, и ее зеленый глаз сверкнул, — подходя к окнам в поисках Кокот, я видела в одной из комнат слева от входной двери на письменном столе мешочки с золотыми монетами... Я их видела так же ясно, как вижу тебя, муженек... Мешочков было не меньше дюжины.

— Где Хромуля? — неожиданно спросил Грамотей.

— Он все еще сидит в своей дыре, в двух шагах от садовой калитки... Он видит в темноте, как кошка. А в доме семнадцать только и есть что этот вход. Когда мы отправимся на аллею Вдов, он нас предупредит, если кто-то побывал там после меня.

— Ладно.

И, едва успев произнести это слово, Грамотей неожиданно кинулся на Родольфа, схватил его за горло и сбросил в люк, находившийся позади стола, за которым они сидели.

Нападение это было так молниеносно, внезапно, так сокрушительно, что Родольф не мог ни предвидеть его, ни избежать.

С испугу Сычиха громко вскрикнула, ибо сначала она не поняла, чем кончилась эта мгновенная

схватка.

Когда умолк шум падения Родольфа, скатившегося по ступеням лестницы, Грамотей, великолепно знавший все ходы этого подземного царства, медленно спустился вниз, прислушиваясь к малейшему шороху.

— Чертушка... будь осторожен!.. — крикнула одноглазая, нагнувшись над открытым люком. — Держи наготове кинжал!

Разбойник ничего не ответил и исчез в подвале.

Сперва ничего не было слышно; но вскоре донесся издалека звук заржавленной двери, глухо заскрипевшей в подземелье, и снова наступила тишина.

В зале было темно, хоть глаз выколи.

Сычиха порылась в своей корзине, вынула оттуда серную спичку и, когда от трения та загорелась, зажгла маленькую свечку, слабо осветившую мрачную залу.

В эту минуту зловещая физиономия Грамотея появилась в отверстии люка.

У Сычихи вырвался крик ужаса при виде этого бледного, жуткого, изуродованного, покрытого шрамами лица с неестественно светящимися глазами, лица, словно плывшего во мраке, который

слабый свет свечи не мог разогнать...

Немного оправившись от потрясения, старуха воскликнула в порыве омерзительного восхищения:

— До чего же ты ужасен, муженек, ты напугал меня... Даже меня.

— Скорей, скорей!.. На аллею Вдов, — сказал разбойник, закрывая люк на железный засов, — через час, возможно, будет поздно! Если это ловушка, она еще не поставлена, если ее нет, мы справимся и сами.

Глава XVIII.
ПОГРЕБ

После своего головокружительного падения Родольф остался лежать без чувств внизу лестницы. Грамотей дотащил его до другого подземного помещения, еще более глубокого, сбросил туда и запер за ним окованную железом толстую дверь; затем он вернулся за Сычихой, чтобы совершить вместе с ней кражу, а быть может, и убийство на аллее Вдов.

Прошло около часа, и Родольф стал понемногу приходить в себя; он лежал на земле в полном мраке; пошарив руками возле себя, он нащупал каменные ступени. Почувствовав холод у своих ног, протянул руку... Там оказалась лужа.

С огромным усилием ему удалось сесть на нижней ступеньке «лестницы; дурнота проходила; он ощупал себя. К счастью, переломов не было. Он прислушался... ничего не услышал... кроме какого-то непонятного журчания, глухого, слабого, непрерывного.

Сперва он не понял, в чем дело.

Но по мере того, как голова его прояснялась,

обстоятельства неожиданного нападения, жертвой которого он стал, всплыли в его памяти. Еще немного, и он восстановил бы сцену до мельчайших подробностей, но тут ноги его снова оказались в воде; он наклонился, вода доходила ему уже до щиколоток.

И среди гнетущей тишины он опять услышал журчание, глухое, слабое, непрерывное...

Тогда он все понял: погреб наполнялся водой... Вода в Сене поднялась так высоко, что эта часть подземелья оказалась ниже ее уровня...

Опасность окончательно вывела Родольфа из оцепенения с молниеносной быстротой он поднялся по лестнице. Дойдя до ее верхней ступеньки, он наткнулся на дверь, но напрасно попытался расшатать ее: она не шелохнулась.

В своем безнадежном положении он прежде всего подумал о Мэрфе.

— Если тот не принял мер предосторожности, изверг убьет его... И это я, — вскричал он, — я сам буду тому виной!.. Бедный Мэрф!..

Эта страшная мысль удвоила силы Родольфа; упершись ногами в каменную ступеньку, согнувшись в три погибели, он попытался открыть дверь — напрасно: она не поддавалась...

В надежде найти какой-нибудь рычаг он снова

спустился; на предпоследней ступеньке два-три животных, мягких, эластичных, выкатились у него из-под ног: это были крысы, которых вода выгнала из нор.

Родольф ощупью обследовал погреб, ступая по воде, которая доходила ему уже до половины икр. Он ничего не нашел и в мрачном отчаянии медленно поднялся по лестнице.

Он сосчитал ступеньки, их оказалось тринадцать; три уже были затоплены.

Тринадцать! Роковое число!.. В иных положениях люди, самые стойкие, не застрахованы от суеверий. В числе «13» Родольф узрел дурное предзнаменование. Мысль о возможной гибели Мэрфа снова пришла ему в голову. Он напрасно попытался обнаружить какую-нибудь щель под дверью; от влаги деревянная ее часть разбухла и крепко-накрепко врезалась в сырую жирную почву.

Родольф принялся громко кричать, полагая, что его голос будет услышан посетителями кабака; потом прислушался...

Он ничего не услыхал, ничего, кроме журчания воды, глухого, слабого, непрерывного; вода все поднималась.

Родольф сел в изнеможении у двери, присло-

нился к ней спиной, сокрушаюсь об участи своего друга, который, быть может, в эту самую минуту боролся с вооруженным убийцей. Он горько пожалел о своих неосторожных и смелых планах, несмотря на их великодушные побуждения. И с болью в сердце припомнил бесчисленные доказательства преданности Мэрфа, человека богатого, почитаемого, который оставил жену, любимого ребенка, дорогие его сердцу занятия, чтобы последовать за Родольфом и помочь ему в деле мужественного, хотя и странного искупления своей вины.

Вода все поднималась... Сухими оставались только пять ступенек. Встав во весь рост около двери, Родольф коснулся головой свода подземелья. Он мог заранее высчитать продолжительность своей грядущей агонии. Смерть его будет медленной, безмолвной, мучительной.

Он вспомнил о пистолете, который носил при себе. Если стрелять из него в упор по двери, быть может, удастся расшатать ее, правда, с риском поранить себя... Какое несчастье! Во время падения оружие это либо потерялось, либо было взято Грамотеем.

Не опасайся Родольф за участь Мэрфа, он ждал бы смерти с ясной душой... Он многое испытал

в жизни… Он страстно любил... Он делал добро людям, ему хотелось сделать его больше, бог все знает! Не ропща против вынесенного ему приговора, Родольф видел в нем справедливое наказание за роковой поступок, который он еще не успел искупить; перед лицом опасности мысли его становились чище, возвышеннее.

Но тут его покорность судьбе подверглась новому испытанию.

Гонимые водой крысы поднимались со ступеньки на ступеньку. Им никак не удавалось взобраться по отвесной стене или двери, и, не находя иного выхода, они стали карабкаться но одежде Родольфа. Трудно вообразить себе гадливость, омерзение Родольфа, когда он почувствовал прикосновение множества крыс. Он попробовал смахнуть их, но острые холодные зубы тут же впились в его руки, брызнула кровь... Во время падения его блуза и куртка порвались, и он почувствовал на своей голой груди ледяные лапы и волосатое тело. Он отрывал от себя этих гнусных тварей, но они возвращались к нему вплавь.

Он снова попробовал кричать, но никто его не услышал... Скоро он уже не сможет кричать: вода дошла до шеи, еще немного, и поднимется

до губ.

В этом сузившемся пространстве Родольфу не хватило воздуха; появились первые признаки удушья: усиленно билась кровь в висках, кружилась голова, скоро настанет смерть. Он в последний раз подумал о Мэрфе и обратил свои помыслы к богу не для того, чтобы молить его о спасении, а чтобы вручить ему свою душу.

В эту последнюю минуту, готовясь покинуть не только все, что делает жизнь счастливой, блестящей, завидной, но и громкий титул, верховную власть... вынужденный отказаться от дела, которое, удовлетворяя одновременно две его страсти: любовь к добру и ненависть к злу, — могло послужить ему, когда придет время, во искупление совершенных им грехов, находясь перед лицом ужасной смерти... Родольф не поддался ни приступам неистовства, ни бессильного гнева, когда слабодушные люди поочередно обвиняют или проклинают людей, судьбу, бога.

Нет, не поддался: пока сознание его было ясно, Родольф ожидал своей участи с покорностью и благоговением... Когда же, во время агонии, оно померкло, заговорил инстинкт самосохранения, и Родольф стал бороться, если можно так выразиться, физически, а не морально с надвига-

ющейся смертью.

Головокружение затянуло все мысли Родольфа в свой стремительный и жуткий водоворот; вода бурлила у его ушей; ему казалось, будто он вращается вокруг самого себя; последний проблеск разума готов был померкнуть, когда поспешные шаги и звук голосов раздались за дверью погреба.

Надежда пробудила угасающие силы; с неимоверным усилием воли он заставил себя уловить несколько слов, последних, которые он услышал и понял:

— Сам видишь, здесь никого нет.

— Дьявольщина! Ты прав, — грустно ответил голос Поножовщика, и шаги стали удаляться.

Родольф, окончательно сраженный, уже не мог держать голову над водой, еще минута — и он соскользнул бы вниз по лестнице.

Неожиданно дверь погреба распахнулась, скопившаяся в нем вода хлынула в подземелье, словно из отверстия шлюза... и Поножовщику удалось схватить под руки Родольфа, который чуть живой судорожно цеплялся за порог двери.

Глава XIX.
БРАТ МИЛОСЕРДИЯ

Спасенный от верной гибели Поножовщиком и перенесенный в дом на аллее Вдов, обследованный Сычихой до попытки ограбления, Родольф лежит в уютно обставленной комнате; жаркий огонь горит в камине; лампа, стоящая на комоде, разливает вокруг яркий свет; кровать Родольфа под пологом из зеленой шелковой ткани окружена полумраком.

Негр среднего роста с седыми волосами и бровями, изысканно одетый, с зелено-оранжевой лентой в петлице синего фрака, держит в левой руке золотые часы с секундной стрелкой, а правой щупает пульс Родольфа.

Негр печален, задумчив; он смотрит на спящего Родольфа с выражением нежнейшего участия.

Поножовщик, в лохмотьях, покрытый грязью, неподвижно стоит у изножья кровати, опустив руки и сцепив пальцы; его рыжая борода давно не стрижена, густые белесые волосы растрепаны и мокры, топорное загорелое лицо сурово, но сквозь эту грубую оболочку проглядывает непе-

редаваемое выражение участия и жалости... Едва осмеливаясь дышать, он сдерживает движение своей широкой груди; он встревожен сосредоточенным видом доктора, опасается худшего и, не сводя глаз с Родольфа, высказывает шепотом следующее философское замечание;

— Какой он сейчас слабый, никто не подумал бы, что он так лихо обрушил на меня град ударов, под конец драки!.. Ничего, он скоро встанет на ноги... правда, господин доктор? Ей-богу, я не прочь, чтобы он выстукал на моей спине барабанную дробь в честь своего выздоровления... это взбодрило бы его... правда, господин доктор?

Негр молча поднял руку. Поножовщик умолк.

— Микстуру! — сказал врач.

Поножовщик, который почтительно оставил у порог.а свои башмаки на шипах, устремился на цыпочках к комоду; но, стараясь ступать как можно легче, он так уморительно поднимал ноги, покачивал для равновесия руками и пригибался к полу, что при других обстоятельствах его ужимки показались бы весьма забавными. Бедный малый, казалось, пытался сосредоточить всю тяжесть своего тела в верхней его части, которая не касалась пола; но, несмотря на ковер, паркет предательски скрипел под тяжестью

Поножовщика. Увы, в своем усердии, а также из страха выронить прозрачный пузырек, который он бережно держал в своей широченной руке, Поножовщик так сильно сжал его, что раздавил стекло, и микстура пролилась на пол.

При виде такой беды Поножовщик застыл на месте с поднятой массивной ногой, пальцы которой были нервно поджаты, переводя смущенный взгляд с доктора на горлышко пузырька, оставшееся у него в руке.

— Чертов растяпа! — нетерпеливо воскликнул врач.

— Дьявольщина! Какой же я болван! — прибавил Поножовщик, обращаясь к самому себе.

— К счастью, — сказал эскулап, взглянув на комод, — вы спутали пузырьки, мне нужен другой...

— Маленький, красноватый? — тихо спросил незадачливый брат милосердия.

— Конечно... Другого там нет.

Быстро повернувшись на пятках по старой военной привычке, Поножовщик раздавил осколки пузырька: будь подошвы его ног не столь загрубелыми, он сильно поранился бы; но на бывшем грузчике были природные сандалии, крепкие, как лошадиные копыта!

— Будьте осторожны, вы пораните себе ноги! — воскликнул врач.

Но Поножовщик не обратил ни малейшего внимания на это предупреждение. Глубоко озабоченный новым поручением, он решил выполнить его с честью, чтобы замять свою первую оплошность; надо было видеть, с какой осторожностью, с какой легкостью, с каким чувством ответственности он взял толстыми пальцами хрупкий пузырек! Бабочка и та не оставила бы ни атома своей золотистой пыльцы между большим и указательным пальцами Поножовщика.

Врач испугался нового инцидента, который мог случиться из-за чрезмерной осторожности брата милосердия. К счастью, микстура не пострадала. Поножовщик благополучно приблизился к кровати, передавив ногами остатки первого пузырька.

— Несчастный, вы что же, хотите окончательно покалечить себя? — тихо спросил врач.

Поножовщик взглянул на него с недоумением.

— Покалечу себя, господин доктор?

— Вы дважды прошли по осколкам стекла.

— Если дело только в этом, не беспокойтесь... Подошвы ног у меня из той же кожи, что и доски.

— Принесите чайную ложку! — сказал врач.

Поножовщик вновь принялся-за свои экслибристические упражнения и отдал врачу требуемый предмет... После нескольких ложечек микстуры Родольф открыл глаза и слабо пошевелил руками.

— Хорошо! Очень хорошо! Он выходит из забытья, — сказал доктор, — кровопускание пошло ему на пользу, он вне опасности.

— Спасен! Браво! Да здравствует хартия! — воскликнул Поножовщик в приливе радости.

— Замолчите и не суетитесь! Прошу вас, — сказал негр.

— Да, господин доктор.

— Пульс улучшается... Превосходно!.. Превосходно!..

— А его бедный друг, господин доктор? Дьявольщина! Когда он узнает, что... Хорошо еще, что...

— Замолчите!

— Да, господин доктор.

— Садитесь.

— Но, господин док...

— Садитесь, говорят вам! Вы мешаете мне: слоняетесь по комнате и отвлекаете мое внимание от больного. Ну же, садитесь.

— Господин доктор, я грязнее, чем бревно, вы-

тащенное из воды при сплаве; я замараю мебель.

— Тогда садитесь на пол.

— Я замараю ковер.

— Делайте что хотите, но, бога ради, не торчите у меня перед глазами, — сказал нетерпеливо врач; и, опустившись в кресло, он прижал руки ко лбу.

Не столько от усталости, сколько из желания повиноваться врачу, Поножовщик с величайшими предосторожностями взял стул, с довольной миной перевернул его и поставил спинкой на ковер; ему хотелось прилично и скромно посидеть на передних ножках стула, дабы не испачкать обивки сиденья, что он и проделал с величайшей осторожностью... К несчастью, Поножовщик был плохо знаком с физическими законами о рычаге первого и второго рода и о равновесии тел. Стул покачнулся, бедняга невольно вытянул руки и перевернул круглый столик, на котором стоял поднос с чашкой и чайником.

Раздался оглушительный шум, негр вскинул голову и подпрыгнул в кресле, внезапно проснувшийся Родольф выпрямился, с беспокойством оглядел комнату и, собрашись с мыслями, воскликнул;

— Мэрф, где же Мэрф?

— Не беспокойтесь, ваше высочество, — почти-

тельно проговорил негр, — я твердо надеюсь на его выздоровление.

— Он ранен? — воскликнул Родольф.

— Увы, монсеньор.

— Где он? Я хочу его видеть.

И Родольф попытался встать, но тут же откинулся на подушки, побежденный болью от ушибов, которые дали себя знать вместе с его пробуждением.

— Сию же минуту отнесите меня к Мэрфу, раз я не могу ходить! — воскликнул он.

— Монсеньор, он спит... Было бы опасно волновать его в таком состоянии.

— Ах, вы меня обманываете!.. Он умер... Его убили! И я всему виной!!! — воскликнул Родольф душераздирающим голосом, воздевая руки к небу.

— Монсеньор, вам известно, что я не умею лгать... Честью клянусь, что Мэрф жив... Он довольно серьезно ранен, это правда, но у него имеются все шансы на выздоровление.

— Вы говорите все это, чтобы подготовить меня к ужасной вести... По всей вероятности, его состояние безнадежно!

— Монсеньор...

— Уверен в этом... Вы меня обманываете... Я

требую, чтобы меня сию же минуту отнесли к нему... Вид друга всегда действует благотворно...

— Ручаюсь вам честью, монсеньор, здоровье Мэрфа скоро пойдет на поправку, если не случится ничего непредвиденного, что маловероятно.

— Это правда, правда, дорогой Давид?

— Да, монсеньор.

— Выслушайте меня, вы знаете, как я уважаю вас; с тех пор как вы принадлежите к моему дому, я всегда полностью доверял вам... никогда не сомневался в ваших редких знаниях... Но, заклинаю вас, если нужна врачебная консультация...

— Об этом я подумал прежде всего, монсеньор. Но в настоящую минуту консультация бесполезна, можете верить мне на слово... К тому же мне не хотелось бы вводить в дом посторонних, пока вы не подтвердите, остаются ли в силе ваши вчерашние...

— Как же все это случилось? — спросил Родольф, перебивая негра. — Кто вытащил меня из погреба, где я чуть не захлебнулся?.. Я смутно припоминаю, что слышал голос Поножовщика, или мне это почудилось?

— Нет, нет! Этот превосходный человек сам все расскажет вам, монсеньор... ибо он спас и вас и Мэрфа.

— Но где же он, где?

Врач поискал глазами самозваного брата милосердия, который, стыдясь того, что натворил в комнате, спрятался за пологом кровати.

— Вот он, — сказал врач, — вид у него пристыженный.

— Ну же, подойди ко мне, герой! — сказал Родольф, протягивая руку своему спасителю.

Глава XX.
РАССКАЗ ПОНОЖОВЩИКА

Смущение Поножовщика усилилось еще и оттого, что он слышал, как врач величает Родольфа «монсеньором».

— Да подойди же... Дай мне руку! — молвил Родольф.

— Извините, сударь... Нет, я хотел сказать, монсеньор... Но...

— Называй меня, как обычно, господином Родольфом, мне это больше по душе.

— И мне тоже, я не стану так робеть... Но что до моей руки, извините... Я столько делов наделал за этот день...

— Руку, говорят тебе!

Побежденный настойчивостью Родольфа, Поножовщик робко протянул ему грязную мозолистую руку... Родольф крепко пожал ее:

— Ну же, садись и рассказывай... как ты отыскал погреб? Да, совсем забыл, что сталось с Грамотеем?

— Он здесь, в надежном месте, — ответил врач.

— Он и Сычиха... скручены, как две связки та-

бачных листьев... Представляю себе, какие рожи они корчат, если им придет охота взглянуть друг на друга. Здорово небось раскаиваются теперь.

— А мой бедный Мэрф! Боже мой! Я только сейчас поду мал об этом. Скажите, Давид, куда он ранен?

— В правый бок, монсеньор... К счастью, удар пришелся в область последнего ложного ребра...

— О, я отомщу! Мне нужна грозная месть!.. Давид, я рассчитываю на вас.,

— Вы знаете, монсеньор, что я вам предан душой и телом, — холодно ответил негр.

— Но как тебе удалось поспеть сюда вовремя, любезный?- спросил Родольф у Поножовщика.

— Если вы хотите, монсень... нет, господин Родольф... я начну с самого начала.

— Ты прав; слушаю тебя.

— Ладно... Вы помните, что вчера вечером вы мне сказали, вернувшись из деревни, куда отвезли бедную Певунью: «Постарайся разыскать в Сите Грамотея; ты скажешь ему, что знаешь об одном деле, в котором не хочешь принимать участия, и предложишь ему заменить тебя. Для этого он должен прийти на следующий день (то есть сегодня утром) в «Корзину цветов» у заставы Бер-

си, где и встретит того, кто вскормил дитятю[62].

— Правильно!

— Расставшись с вами, я побежал в Сите... Захожу к Людоедке — никаких следов Грамотея; иду на улицу Святого Элигия, на Бобовую улицу, на Суконную улицу... никого. Наконец я застукал его с этой стервой Сычихой на площади собора Парижской богоматери у дрянного портняжки, перекупщика, скупщика краденого и вора; они собирались просадить деньги, украденные у высокого мужчины в трауре, который хотел насолить вам; покупали какие-то случайные вещи; Сычиха торговалась из-за красной шали... V, старая образина!.. Я выкладываю все по порядку Грамотею. Он соглашается и говорит, что придет на свидание. Ладно! По вашему вчерашнему приказанию, прибегаю к вам сегодня утром на аллею Вдов, чтобы передать ответ... Вы говорите мне: «Вот что, парень, возвращайся сюда завтра до рассвета, ты проведешь весь день здесь, а вечером... увидишь зрелище, на которое стоит посмотреть...» Вы не сказали мне ни словечка больше но я кое-что смекнул и говорю себе: «Дело идет о какой-ни будь шутке, которую хотят

---

[62] Notes: 62
Кто подготовил ограбление.

сыграть завтра с Грамотеем, приманив его под видом выгодного дельца. Таких мерзавцев, как он, поискать... Он укокошил торговца скотом... и, говорят, убил еще кого-то на улице Профессора Руля... Я примкну этой шутке».

— Моя ошибка была в том, приятель, что я не все сказал тебе... Иначе этого ужасного несчастья могло бы не случиться.

— То была ваша воля, господин Родольф, мое дело — служить вам... потому что... словом, я сам не понимаю, как это получилось, но я чувствую себя вроде как вашим бульдогом, но довольно об этом, молчок... Итак, я сказал себе: «Завтра будет свалка, сегодня я свободен, господин Родольф оплатил мне те два дня, что я не был на работе, а также два последующие дня; я уже три дня не появлялся у своего подрядчика, а работа для меня... это хлеб, ибо я не миллионер. Кстати сказать, продолжаю я разговор с самим собой, господии Родольф оплачивает время, которое я трачу на него, значит, оно принадлежит ему и надо употребить его с пользой. И в голову мне приходит такая мысль: Грамотей — хитрец, он, наверно, опасается ловушки. Господин Родольф договорится с ним на завтрашний день, что правда, то правда; но этот скот вполне может прийти сюда

сегодня, побродить по окрестностям и осмотреть место действия; если он не доверяет господину Родольфу, то приведет для подмоги какого-нибудь вора или же назначит господину Родольфу завтрашний день и все обтяпает сегодня на свой страх и риск».

— Ты правильно обо всем догадался... так оно и случилось... И провидение восхотело, чтобы я был обязан тебе жизнью.

— Поразительное дело, господин Родольф, с тех пор как я вас знаю, со мной приключаются вещи, как бы задуманные там, наверху! А с тех пор как вы мне сказали: «Молодец, ты сохранил и мужество и честь», у меня появились мысли, которых никогда не было прежде. Мужество! Честь! Дьявольщина, от этих слов у меня что-то переворачивается в брюхе. Знаете, господин Родольф, когда привыкнешь, что при твоем приближении честные люди шарахаются от тебя, словно от волка или бешеной собаки...

— Значит, за последние дни у тебя появились новые для тебя мысли?

— Понятно, господин Родольф. Вот что я еще подумал: если я теперь встречу человека, сделавшего спьяну или со злости какую-нибудь пакость, словом, не важно что... я скажу ему: «Послушай,

парень, ты сделал гадость, ладно. Но это еще не все. Господь бог посылает людям напасти не для того, чтобы им помогал прусский король; так вот сделай мне одолжение и, если ты зарабатываешь сорок су, отдавай двадцать неимущим старикам или маленьким детям, словом, тем, кто несчастнее тебя, у кого нет ни хлеба, ни сил... и, главное, не забудь, парень, если тебе встретится человек, которого надо спасти, рискуя своей шкурой, это твоя обязанность, и только твоя!!! При этом условии и если ты откажешься от своих глупостей, ты всегда найдешь помощника во мне...» Но, простите, господин Родольф, я все болтаю и болтаю, а вам, верно, интересно узнать...

— Нет, мне нравится, когда ты так говоришь. Кроме того, я всегда успею узнать, как случилось ужасное несчастье, жертвой которого оказался мой бедный Мэрф... Я был уверен, что не отойду ни на шаг, ни на минуту от Грамотея во время этой опасной затеи... Он мог бы нанести мне множество ран, убить меня... прежде чем добраться до Мэрфа. Увы, судьба судила иначе... Продолжай, приятель.

— Итак, положив употребить свое время на вас, господин Родольф, я говорю себе: «Надо бросить якорь где-нибудь поблизости, откуда я увижу

ограду и, главное, садовую калитку — это единственный вход в. дом... Если я найду уютный уголок... ведь идет дождь, те останусь там весь день и, конечно, всю ночь, а рано утром смогу обо всем доложить...» Я сказал себе это ровно в два часа, в Батиньоле, куда забежал заморить червячка, после того как ушел от вас, господин Родольф... Возвращаюсь на аллею Вдов... Ищу, где бы мне угнездиться... И что же я вижу? Маленький кабачок в десяти шагах от вашей двери... Я занимаю столик в первом этаже, около окна, заказываю литр вина и четверть фунта орехов и говорю, что ожидаю друзей... горбуна с высокой женщиной; это я выдумал для правдоподобия. Итак, я сижу за столиком и не спускаю глаз с вашей калитки... Дождь льет без передыха; на улице — никого, приближается ночь.

— Почему ты не зашел ко мне в дом? — перебил Поножовщика Родольф.

— Вы же велели прийти на следующий день утром, господин Родольф... Я не посмел явиться раньше. Не то вы приняли бы меня за подлипалу, как говорят у нас в пехоте. Ведь я же бывший каторжник, а когда такой человек, как вы, обращается со мной так, как обращаетесь вы, господин Родольф...

Не надо подходить к нему, пока он не скажет: «Поди сюда». Вот если я увижу паука на воротнике вашего костюма, я сниму его и раздавлю, не спрашивая вашего разрешения... Понимаете? Итак, я сидел у окна кабачка, щелкал орехи и попивал дрянное винцо, когда увидел в тумане Сычиху с Хромулей, мальчонком Краснорукого.

— Краснорукого! Так, значит, он хозяин подземного кабака на Елисейских полях? — воскликнул Родольф.

— Да, господин Родольф; а вы этого не знали?

— Нет, я думал, что он живет в Сите...

— Он и там живет, он всюду живет... Краснорукий — тонкая бестия и отъявленный мерзавец, уж поверьте мне, стоит только взглянуть на его желтый парик и острый нос. Словом, я вижу Сычиху и Хромулю и говорю себе: «Дело будет жаркое». В самом деле, Хромуля залез в канаву, против вашего дома, будто бы спрятался от дождя, и затаился там... Сычиха снимает чепец, кладет его в карман и звонит в калитку. Бедный господин Мэрф, ваш друг, открывает калитку одноглазой, и она принимается бегать по саду, воздевая руки к небу. Как я ни ломал себе башку, никак не мог отгадать, для чего она явилась сюда. Наконец Сычиха выходит на улицу, надевает че-

пец, что-то говорит Хромуле, и тот опять залезает в свою дыру, а Сычиха убирается прочь. Погоди, говорю я себе, как бы мне не сбиться с толку. Хромуля пришел с Сычихой: Грамотей и господин Родольф находятся, видно, у Краснорукого. Сычиха приходила сюда что-то расчухивать[63]; ясно, что они совершат ограбление сегодня вечером, и господин Родольф, который не ожидает этого, попадет впросак... Если господин Родольф попадет впросак, мне надо сходить к Краснорукому и узнать, чем там пахнет; да, но за это время сюда припрется Грамотей... правильно. Ничего не поделаешь, я войду в дом и скажу господину Мэрфу: «Будьте осторожны...» Да, но этот слизняк Хромуля засел около калитки, он услышит звонок, увидит меня, предупредит Сычиху; если она вернется сюда... все будет испорчено... тем более что у господина Родольфа могут быть другие намерения на сегодняшний вечер... Дьявольщина! эти «да» и «но» вертелись у меня в голове... Я совсем одурел, растерялся, не знал, как быть; выйду-ка я на свежий воздух, подумал я, быть может, в голове у меня прояснится. Выхожу… в голове проясняется: снимаю блузу и галстук, пры-

[63] Notes: 63
Выведывать.

гаю в канаву, где притаился Хромуля, — хватаю мальчишку за загривок; как он ни отбивается, ни царапается, ни пищит... запихиваю его в свою блузу, словно в мешок, завязываю один конец рукавами, другой — галстуком, но так, чтобы мальчонка мог дышать; беру сверток под мышку, вижу поблизости огород, обнесенный невысокой оградой, и бросаю Хромулю среди морковных грядок; он продолжает верещать, но глухо, как молочный поросенок, словом, его и за два шага не услышишь... Возвращаюсь бегом, как раз вовремя! Залезаю на одно из высоких деревьев аллеи, как раз против вашей калитки и над канавой, где прятался Хромуля. Десять минут спустя слышу шаги; дождь все идет. Кругом темно, так темно, что пекарь мог бы наступить на собственный хвост... Прислушиваюсь, узнаю голос Сычихи. «Хромуля..., Хромуля!..» — тихонько зовет она. «Попробуй поищи своего Хромулю! Идет дождь, мальчишке, верно, надоело ждать, если поймаю его, сдеру с него шкуру!!!» — говорит Грамотей, ругаясь. «Чертушка, будь начеку, — замечает Сычиха. — Быть может, он побежал предупредить нас... А что, если это ловушка?.. Ведь парень хотел приняться за дело лишь в десять часов». — «Вот именно, — отвечает Грамотей, — а теперь только

семь. Ты видела деньги... Кто не рискует, тот не выигрывает; дай мне ломик и отмычку».

— Откуда у него эти инструменты? — спросил Родольф.

— Взял у Краснорукого. О, у него в доме есть все что угодно.

Не прошло и минуты, как калитка отперта. «Оставайся здесь, — говорит Грамотей Сычихе, — и работай сигналом[64], если что-нибудь услышишь». — «Продень стилет в петлицу жилета, чтобы он был у тебя под рукой», — просит одноглазая. Грамотей входит в сад. Я говорю себе: «Господина Родольфа нет с ними; жив он или мертв в эту минуту, я ничем не могу ему помочь, но друзья наших друзей — наши друзья...» О, простите меня, монсеньор!

— Продолжай, продолжай. Что же дальше?

— Я говорю себе: «Грамотей может укокошить господина Мэрфа, друга господина Родольфа, который ничего дурного не ожидает. Вот тут и находится самая горячая точка. Прыгаю с дерева рядом с Сычихой и отвешиваю ей два удара кулаком... отборных удара... Не охнув, она бухается на землю... Я вхожу в сад... Дьявольщина, господин

---

[64] Notes: 64
Кричи: осторожно!

Родольф!.. Было слишком поздно...

— Бедный Мэрф!..

— Услышав скрип калитки, он, верно, вышел из передней; и теперь, раненный, боролся с Грамотеем на крылечке, но не сдавался, не звал на помощь. Молодчина! Он, как хороший пес, кусается, но не лает. Подумав так, я бросился в общую кучу и схватил Грамотея за ногу, единственное место, до которого можно было добраться. «Да здравствует хартия! Это я, Поножовщик! Расправимся с ним на пару, господин Мэрф!» — «Это ты, злодей! Откуда взялся?» — кричит мне Грамотей, обалдевший при моем появлении. «До чего же ты дотошный», — отвечаю я, зажимая его ногу между коленями, и сразу же хватаю руку, ту самую, в которой он держит кинжал. «А что с Родольфом?» — спрашивает господин Мэрф, по мере сил помогая мне.

— Мужественный, замечательный человек, — горестно прошептал Родольф.

— «Не знаю, — говорю я, — возможно, эти скоты его убили». И принимаюсь еще сильнее тузить Грамотея, который пытается ударить меня кинжалом, но я грудью навалился на его правую руку, и он не может ее поднять. «Неужто вы одни здесь?» — спрашиваю я господина Мэрфа, продол-

жая сражаться с Грамотеем. «Есть тут неподалеку народ, но мне не докричаться», — отвечает он. «А это далеко?» — «Нет, минут десять ходьбы». — «Давайте звать на помощь, прохожие услышат и придут на выручку». «Нет, раз мы захватили его, пусть остается здесь... Кроме того, я ослабел, я ранен», — говорит мне Мэрф. «Дьявольщина, тогда идите за подмогой, если у вас хватит сил. Я постараюсь удержать его; вытащите нож из его руки и помогите мне прижать его своим телом; хотя он вдвое сильнее меня, ручаюсь, что не упущу злодея, только бы мне зацепить его...» Грамотей ничего не говорит, слышно было, что он дышит тяжело, как вьючное животное; но, дьявольщина, какая сила! Господину Мэрфу так и не удалось вырвать кинжал, зажатый в руке злодея, словно в тисках. Наконец, придавив всем своим телом его правую руку, я закидываю руки за его шею и соединяю их... словно собираюсь обнять. Защемить Грамотея было моей давнишней мечтой; после чего я говорю Мэрфу: «Поторопитесь... я жду вас. Если у вас найдется лишний человечек, пошлите его подобрать Сычиху за калиткой, я ее здорово пристукнул». Я остаюсь один на один с Грамотеем. Он знал, что его ожидает.

— Он ничего не знал!.. Да и ты, приятель, не

знаешь, — сказал Родольф мрачно, и на лице его появилось то жесткое, чуть ли не свирепое выражение, о котором мы уже говорили.

Поножовщик удивленно взглянул на Родольфа.

— Я думаю, что Грамотей подозревал о том, что его ждет... Право, я не хвастаю, но была минута, когда мне пришлось туго. Мы лежали частью на земле, частью на нижней ступеньке крыльца... Я обхватил его шею руками... моя щека касалась его щеки... Был слышен скрежет его зубов. Стемнело... Дождь лил по-прежнему... Лампа, оставленная в передней, слабо освещала нас. Я зажал ногами одну из его ног. Но он был такой здоровенный, что, напрягая низ туловища, поднимал нас обоих на фут от земли. Он пытался укусить меня, но не мог. Никогда еще я не чувствовал себя таким сильным. Дьявольщина! Сердце у меня сильно билось, но не от страха... Я говорил себе: «Я вроде как вцепился в бешеного пса, чтобы помешать ему бросаться на людей». — «Отпусти меня, и я ничего тебе не сделаю», — говорит Грамотей, с трудом переводя дух. «Да ты еще и трус вдобавок, — отвечаю я, — неужто вся твоя храбрость держится на одной силе? Ведь ты не посмел бы убить торговца скотом из Пуасси, будь он сильнее

тебя, а?» — «Да, — говорит он, — но я убью тебя, как убил его». С этими словами он так сильно приподнялся и напряг мускулы ног, что отбросил меня в сторону; но я по-прежнему держал его за шею и прижимал к земле его правую руку. Как только ему удалось высвободить ноги, он ловко воспользовался ими и наполовину перевернул меня. Если бы я не держал его руку с кинжалом, мне пришел бы конец. В эту минуту я промазал и ударил левым кулаком не по противнику, а по ступеньке лестницы; пришлось разжать пальцы. Дело мое было дрянь. Я сказал себе: «Я лежу под ним, а он на мне; он убьет меня. Но я ни о чем не жалею... Господин Родольф сказал мне, что у меня есть мужество и честь. Я чувствую, что это правда». Тут я увидел Сычиху, стоящую на крыльце, ее зеленый глаз и красную шаль... Дьявольщина! Я подумал, что это наваждение. «Хитруша! — кричит Грамотей. — Я выронил кинжал; подними его... вот тут... под ним... и ударь... в спину, между лопатками...» — «Погоди, погоди, Чертушка, дай мне оглядеться». И вот Сычиха кружит, кружит вокруг нас, как вестница несчастья, какой она всегда была. Наконец она видит кинжал... хочет схватить его... Но так как я лежал ничком, я ударил ее пяткой в живот, и она

полетела вверх тормашками; она тут же встает и снова принимается за свое. Я совсем ослаб, но все еще цеплялся за Грамотея; а он снизу так сильно ударял меня по челюсти, что я готов был сдаться, когда увидел не то троих, не то четверых вооруженных парней, сбегавших с крыльца... Господин Мэрф, бледный-пребледный, еле шел, опираясь на врача... Парни хватают Грамотея и Сычиху и связывают их... Но для меня этого было мало. Мне нужен был господин Родольф... Я набрасываюсь на Сычиху — я не забыл о зубе бедной Певуньи — и начинаю выкручивать ей руку, повторяя: «Где господин Родольф?» Она держится стойко. После второго раза она выкрикивает: «Он у Краснорукого, в подвале, в «Кровоточащем сердце»...» Ладно... По дороге я хочу прихватить Хромулю, лежащего среди морковных грядок: мне это было по пути... Смотрю... его нет, осталась только моя блуза. Он всю ее изгрыз. Прихожу в «Кровоточащее сердце», беру за горло Краснорукого... «Где молодой человек, который был здесь с Грамотеем?» — «Не сжимай так сильно, я все тебе скажу: над ним хотели подшутить и заперли его в подвале, идем выпустим его». Спускаемся в подвал... Никого... «Он, верно, вышел, когда меня не было поблизости, — говорит Краснорукий, — видишь, его здесь

нет...» Вконец опечаленный, я собрался было уйти, но при свете фонаря заметил в глубине подвала другую дверь. Подбегаю к ней, дергаю за ручку на себя и получаю в рожу как бы полное ведро воды. Вижу в воздухе две ваши ослабевшие руки... Вылавливаю вас из воды и приношу сюда на спине, так как послать за извозчиком было некого. Вот и все, господин Родольф... и могу сказать, не хвастая, что я чертовски доволен.

— Я обязан тебе жизнью, друг, и этот долг... я уплачу во что бы то ни стало... Ты — человек мужественный и, конечно, разделишь мои чувства... Я крайне встревожен состоянием Мэрфа, которого ты так отважно спас, и жажду жестоко отомстить тому, кто чуть не убил вас обоих.

— Понимаю, господин Родольф... Схватить вас, бросить в подземелье и отнести бесчувственного в погреб, чтобы утопить там... Право, Грамотей заслужил то, что ему причитается. Он признался мне, кроме того, что укокошил торговца скотом. Я не доносчик, но, дьявольщина! на этот раз я с легким сердцем схожу за полицией, чтобы она арестовала злодея!

— Давид, узнайте, пожалуйста, как чувствует себя Мэрф, — сказал Родольф, не отвечая Поножовщику. — И сразу возвращайтесь обратно.

— Не знаешь ли, парень, где находится Грамотей?

— Он в зале с низким потолком вместе с Сычихой. Вы пошлете за полицией?

— Нет...

— Вы хотите его отпустить?.. Ах, господин Родольф, не делайте этого; такое великодушие ни к чему... Я повторяю то, что уже говорил вам: он бешеный пес... Пожалейте прохожих!

— Он больше никого не укусит... не беспокойся!

— Вы куда-нибудь упрячете его?

— Нет, через полчаса он уйдет отсюда,

— Грамотей?

— Да...

— Один, без жандармов?

— Да...

— Он выйдет отсюда на свободу?

— На свободу...

— Один?

— Да, один.

— Но куда же он пойдет?

— Куда пожелает, — сказал Родольф со зловещей улыбкой, ужаснувшей Поножовщика.

Вернулся врач.

— Скажите, Давид... как Мэрф?

— Он дремлет... монсеньор, — грустно ответил тот, — дышит все так же тяжело.

— Положение серьезное?

— Очень серьезное, монсеньор... И все же надежда не потеряна.

— О Мэрф! я отомщу!.. Отомщу!.. — воскликнул Родольф с холодным гневом и, обращаясь к врачу, добавил: — Давид, на два слова.

И он что-то тихо сказал на ухо негру.

Тот вздрогнул.

— Вы колеблетесь? — спросил Родольф. — Однако я, часто говорил с вами о своем намерении. Пришло время выполнить его...

— Я не колеблюсь, монсеньор... Я одобряю ваше намерение... Оно предполагает коренную реформу уголовного кодекса, достойную рассмотрения крупнейших криминалистов, ибо такое наказание было бы одновременно... простым... жутким... и справедливым... И как раз в этом случае его следовало бы применить. Не считая злодеяний, за которые этот негодяй был осужден на пожизненные каторжные работы... он совершил еще три преступления: убийство торговца скотом, покушение на жизнь Мэрфа... и на вашу жизнь... Кара справедлива...

— Кроме того, перед ним откроются неогра-

ниченные возможности раскаяния... — заметил Родольф. — Хорошо, Давид... вы поняли меня...

— Мы трудимся ради одной и той же цели... Монсеньор,. Помолчав немного, Родольф сказал:

— И пять тысяч франков обеспечат его, не так ли, Давид?

— Безусловно, монсеньор.

— Вот что, милый, — сказал Родольф ошеломленному Поножовщику, — мне надо поговорить с господином Давидом, а тебя я попрошу сходить в соседнюю комнату... там, на письменном столе, лежит красный бумажник, возьми из него пять тысяч франков и принеси их мне.

— Для кого же эти пять тысяч франков? — невольно вскричал Поножовщик.

— Для Грамотея... И ты велишь сразу же привести его сюда.

Глава XXI.
НАКАЗАНИЕ

Сцена происходит в ярко освещенной гостиной, обитой красной тканью.

Родольф, одетый в длинный черный бархатный халат, который подчеркивает бледность его лица, сидит за большим, покрытым скатертью столом. На столе лежат всевозможные вещи: два бумажника: один был украден Грамотеем у Тома в Сите, другой принадлежит самому похитителю; цепочка из поддельного золота с крошечным скульптурным изображением святого духа из лазурита, стилет, еще покрытый пятнами крови Мэрфа, отмычка, которой была отперта калитка, и, наконец, пять билетов по тысяче франков, принесенные Поножовщиком из соседней комнаты.

Доктор-негр сидит с одной стороны стола, Поножовщик — с другой.

Грамотей, так крепко скрученный, что он не может пошевелиться, сидит посреди гостиной в большом кресле на колесиках.

Парни, доставившие сюда преступника, ушли. Родольф, доктор, Поножовщик и убийца остались

одни. Раздражение Родольфа прошло: он спокоен, печален, сосредоточен: он готовится свершить торжественное и грозное деяние.

Врач задумчив.

Поножовщик охвачен неясным страхом. Он не может оторвать взгляда от Родольфа.

Грамотей мертвенно бледен... он боится... Обычный арест, возможно, не так испугал бы преступника, его обычная отвага не изменила бы ему перед лицом суда; но окружающая обстановка удивляет, страшит его; он находится во власти Родольфа, которого считал сообщником, способным предать его или дрогнуть в решающую минуту; из-за этого опасения, а также в надежде воспользоваться одному плодами кражи он и решил пожертвовать им...

Зато теперь Родольф кажется ему внушительным, грозным, как само правосудие.

Кругом — глубокая тишина.

Слышится только шум дождя, который падает... падает с крыши на мощеную дорожку.

Родольф обращается к Грамотею:

— Вы — Ансельм Дюренель... беглый каторжник из Рошфора, куда вы были сосланы навечно... как фальшивомонетчик, вор и убийца.

— Это ложь! Попробуйте доказать это! — гово-

рит Грамотей дрогнувшим голосом, бросая вокруг себя беспокойные, дикие взгляды.

— Вы Ансельм Дюренель!.. Позже вы сознаетесь в этом. Вы убили и ограбили торговца скотом на дороге в Пуасси.

— Это ложь!

— Позже вы сознаетесь в этом. Убийца удивленно взглянул на Родольфа.

— Сегодня ночью вы проникли в этот дом ради грабежа и ранили кинжалом его владельца...

— Вы же сами предложили мне совершить это ограбление! — говорит Грамотей, немного приободрившись, — на меня напали... я защищался.

— Человек, которого вы ранили, не нападал на вас, он был безоружен. Я предложил вам совершить эту кражу... не отрекаюсь. Немного погодя я объясню, зачем мне это понадобилось. Накануне вы обобрали мужчину и женщину в Сите (вот взятый у них бумажник) и предложили им убить меня за тысячу франков!..

— Я слышал это! — воскликнул Поножовщик. Грамотей взглянул на него с лютой ненавистью.

— Вы сами видите, что толкать вас на преступление не требовалось, — заметил Родольф.

— Вы не следователь, я больше не буду вам отвечать...

— Вот почему я предложил вам совершить это ограбление. Мне было известно, что вы беглый каторжник... вы знали родителей одной несчастной девушки, во многих бедах которой виновата Сычиха, ваша сообщница... Я решил заманить вас сюда под предлогом крупной поживы, единственной приманки, способной вас соблазнить. Как только вы оказались бы в моей власти, я предложил бы вам на выбор, либо передать вас в руки правосудия, и тогда вы головой заплатили бы за убийство торговца скотом...

— Ложь! Я не совершал этого преступления...

— ...либо тайно выслать вас из Франции в место вечного заточения, где ваша судьба была бы менее тяжелой, чем на каторге; однако в обмен на смягчение вашей участи я потребовал бы от вас сведений, которые мне необходимы. Вы были осуждены на пожизненные каторжные работы и бежали с каторги. Лишая вас возможности вредить себе подобным, я оказал бы услугу обществу, а ваши признания помогли бы мне вернуть в лоно семьи бедную девушку, вся вина которой заключается в неудачно сложившейся жизни. Таков был сначала мой план, план нелегальный, но ваш побег и ваши новые злодеяния поставили вас вне закона... Вчера благодаря откровению

свыше я узнал ваше подлинное имя.

— Это ложь! Я не Ансельм Дюренель.

Родольф взял со стола цепочку Сычихи и показал Грамотею маленькую скульптурку из лазурита.

— Святотатство! — грозно воскликнул он. — Подарив ее бесчестной женщине, вы осквернили эту реликвию, реликвию, трижды священную, ибо она перешла к вашему сыну от его матери и бабушки.

Грамотей, изумленный этим открытием, молча опустил голову.

— Вчера я узнал, что пятнадцать лет назад вы похитили вашего сына у его матери, вашей бывшей жены, и что вам одному известно, как сложилась судьба ребенка. Когда я понял, кто вы такой, у меня появилась еще одна причина для того, чтобы захватить вас. Я не хочу мстить вам за себя лично! Этой ночью вы опять пролили кровь ни в чем не повинного человека. Тот, кого вы серьезно ранили, доверчиво вышел к вам, не подозревая о ваших гнусных намерениях. Он спросил у вас, что вам здесь надобно... «Твои деньги и твоя жизнь!» — ответили вы и ударили его кинжалом.

— Все это поведал мне господин Мэрф, когда

я оказывал ему первую помощь, — подтвердил врач.

— Это неправда, он солгал.

— Мэрф никогда не лжет, — холодно заметил Родольф. — Ваши преступления вопиют о мщении. Вы проникли в этот сад незаконным путем, вы ударили кинжалом человека, чтобы обокрасть его, и таким образом совершили еще одно убийство... Вы умрете здесь... Из жалости, из уважения к вашей жене и к вашему сыну мы спасем вас от позора смертной казни... Скажем, что вы погибли во время вооруженного нападения... Подготовьтесь... Ружья заряжены.

Лицо Родольфа было неумолимо.

Грамотей заметил в соседней комнате двоих мужчин, вооруженных карабинами... Его имя было известно, он подумал, что от него хотят избавиться, чтобы предать забвению последние совершенные им злодеяния и спасти от нового позора его семью. Как и все люди, подобные ему, этот человек был столь же труслив, сколь и свиреп. Полагая, что его последний час пробил, он задрожал с головы до ног и крикнул:

— Пощадите!..

— Нет для вас пощады, — сказал Родольф. — Если вас не пристрелят здесь, эшафота вам не

миновать...

— Я предпочитаю эшафот... Я проживу, по крайней мере, еще два или три месяца... Не все ли вам равно, раз я буду наказан? Пощадите меня! Пощадите!

— Но подумайте, ваша жена... ваш сын... носят ваше имя...

— Мое имя уже давно обесчещено... Прожить хотя бы еще неделю... Пощадите!..

— У него нет даже того презрения к жизни, какое встречается у крупных злодеев! — сказал с отвращением Родольф.

— К тому же такая самовольная расправа запрещена законом, — уверенно проговорил Грамотей.

— Законом! — вскричал Родольф. — Законом!.. И вы смеете ссылаться на закон, вы, который уже двадцать лет живете с оружием в руках, открыто восставая против общества?..

Не отвечая, злодей опустил голову.

— Оставьте мне жизнь, хотя бы из жалости! — проговорил он наконец униженно.

— «Вы скажете, где находится ваш сын?

— Да... да... Я скажу вам все, что знаю.

— Вы скажете мне, кто родители этой девушки, детство которой было искалечено Сычихой?

— В моем бумажнике имеются документы, которые наведут вас на их следы.

— Где ваш сын?

— Вы не отнимете у меня жизни?

— Прежде всего признайтесь...

— Видите ли, когда вы узнаете... — нерешительно проговорил Грамотей.

— Ты убил его?

— Нет... нет... Я поручил сына одному из моих сообщников, которому удалось бежать, когда я был арестован.

— Что же он сделал с ним?

— Он воспитал его; дал ему знания, необходимые для коммерции, чтобы мы могли воспользоваться... Но я скажу вам всю правду только в том случае, если вы пообещаете не убивать меня.

— И ты еще ставишь условия, мерзавец!

— Нет, нет! Пожалейте меня; прикажите арестовать лишь за сегодняшнее преступление; не говорите о другом. Дайте мне возможность спасти свою голову.

— Итак, ты хочешь жить?

— О да, да! Никогда не знаешь, что может случиться, — невольно вырвалось у злодея.

Он уже думал о возможности нового побега.

— Ты хочешь жить, жить во что бы то ни ста-

ло...

— Да, жить... Пусть даже в цепях! Хотя бы еще месяц, неделю... О, только бы не умереть сию минуту...

— Признайся во всех своих преступлениях, и ты будешь жить.

— Буду жить! Правда, правда? Буду жить?

— Послушай, из жалости к твоей жене, к твоему сыну я дам тебе совет: согласись умереть сегодня...

— О нет, нет, вы отказываетесь от своего обещания, не убивайте меня, жизнь, самая мерзкая, самая ужасная, ничто по сравнению со смертью.

— Ты так решил?

— О да, да...

— Ты так решил?

— Да, и никогда не пожалуюсь на свою участь.

— Что ты сделал со своим сыном?

— Тот друг, о котором я вам говорил, дал ему знания по бухгалтерии, необходимые, чтобы поступить в банк; таким образом сын держал бы нас в курсе некоторых финансовых операций. Так было договоре но между нами. Тогда я еще был в Рошфоре и, готовясь к побегу, руководил этим планом посредством зашифрованных записок.

— Этот человек ужасает меня! — воскликнул

Родольф, содрогаясь. — Оказывается, существуют преступления, о которых я и не подозревал. Признайся... признайся же... Зачем ты хотел устроить сына в банк?

— Для того... вы понимаете... чтобы в согласии с нами нег заметно войти в доверие к банкиру... помогать нам... и...

— О боже! На что он обрек сына, своего родного сына! — скорбно воскликнул Родольф, с гадливостью закрывая лицо руками.

— Речь шла всего-навсего о фальшивых деньгах! — воскликнул разбойник. — Да и кроме того, когда мой сын узнал, чего мы ждем от него, он возмутился... После бурной сцены с человеком, воспитавшим его для выполнения наших замыслов, он исчез... С тех пор прошло полтора года... Никому не известно, что с ним сталось... Вы найдете в моем бумажнике перечень шагов, предпринятых воспитателем сына, который во что бы то ни стало хотел разыскать его, из боязни, что тот выдаст наше содружество; но след его в Париже был потерян. Последнее местожительство сына дом номер четырнадцать на улице Тампль, где он известен под именем Франсуа Жермена; адрес тоже находится в моем бумажнике. Как видите, я все сказал, решительно все... Выполните теперь

свое обещание и велите арестовать меня только за попытку сегодняшнего ограбления.

— Ну а торговец скотом из Пуасси?

— Доказать это невозможно за отсутствием улик. Я признался только вам, чтобы подтвердить свою добрую волю; на следствии я все буду отрицать.

— Итак, ты признаешься?

— Я был в нищете, не знал, как жить дальше... Совет этот мне дала Сычиха... Теперь я раскаиваюсь... Сами видите, ведь я во всем признался... Ах, если бы у вас хватило великодушия не предавать меня правосудию, я дал бы вам честное слово, что не вернусь к прежней жизни.

— Ты будешь жить, и я не предам тебя правосудию.

— Так вы прощаете меня? — вскричал Грамотей, не веря своим ушам. — Прощаете?

— Я вершу суд над тобой... и выношу тебе приговор! -воскликнул Родольф громовым голосом. — Я не отдам тебя в руки правосудия, потому что ты попадешь либо на каторгу, либо на эшафот, а этого не должно быть... Нет, не должно... На каторгу? Чтобы ты снова господствовал над тамошним сбродом благодаря своей силе и подлости! Чтобы ты снова мог удовлетворить свою жажду гру-

бого угнетения!.. Чтобы все тебя ненавидели и боялись, ибо у преступников есть своя, особая гордость, и тебе будет льстить сама исключительность твоей низости!.. На каторгу? Нет, нет: твоему железному здоровью нипочем каторжные работы и палка надсмотрщика. Да и, кроме того, цепи можно перепилить, стены пробуравить, через крепостной вал перелезть; и придет день, когда ты снова пустишься в бега, чтобы снова нападать на кого попало, как взбесившийся дикий зверь, отмечая свой путь грабежами и убийствами... ибо никто не застрахован от твоей геркулесовой силы и от твоего ножа; а этого не должно быть, нет, не должно! Но если на каторге ты можешь разбить свои цепи, как же быть, чтобы уберечь общество от твоих злодеяний? Отдать тебя в руки палача?

— Так, значит, вы хотите моей смерти! — вскричал разбойник. — Вот чего вы хотите?

— Твоей смерти? Не надейся на это... Ты так слабодушен... ты так боишься смерти... что никогда не поверишь в ее неизбежность. Благодаря твоей жажде жизни, твоей упрямой надежде ты избежишь мучительного страха при ее грозном приближении! Надежде глупой, бессмысленной!.. Но она все же избавит тебя от искупительного

страха смерти, и ты поверишь в нее только в руках палача! Но тогда, отупевший от ужаса, ты превратишься в инертное, бесчувственное тело, которое и будет принесено в жертву душам загубленных тобою людей... Этого не должно быть... ты верил бы в спасение до последней минуты... Чтобы ты, чудовище... смел надеяться? Чтобы на стенах одиночной камеры надежда являла тебе свои утешительные, сладостные миражи... до тех пор пока смерть не затуманит твоего взора? Полно!.. Старик Сатана и тот смеялся бы над этим до упаду!.. Если ты не раскаешься, я не хочу, чтобы ты сохранил надежду в этой жизни...

— Но что сделал я этому человеку?.. Кто он?.. Чего хочет от меня? Где я?.. — вскричал Грамотей чуть ли не в бреду.

— Если, напротив, ты нагло, пренебрежительно встретишь смерть, — продолжал Родольф, — то и тогда не следует предавать тебя казни... Эшафот послужил бы тебе кровавыми подмостками, где, по примеру многих других, ты похвалялся бы своей жестокостью... где, позабыв о дурно прожитой жизни, ты произнес бы последнее богохульство и осудил бы свою душу на вечные муки!.. Этого тоже не должно быть... Негоже для народа смотреть на осужденного, который шутит со смертью,

подтрунивает над палачом и с ухмылкой гасит божественную искру, вложенную в нас создателем... Спасение души есть нечто священное. «Нет греха непростительного — кроме греха не раскаянного», сказал спаситель[65]. Но расстояние от суда до эшафота слишком коротко, чтобы ты успел раскаяться. Ты не должен умереть на гильотине.

Грамотей был сражен... В первый раз в жизни он столкнулся с чем-то, что было страшнее смерти... Эти, смутные опасения были ужасны...

Доктор-негр и Поножовщик смотрели на Родольфа с тревогой, они слушали, содрогаясь, его звучный, резкий голос, беспощадный, как нож гильотины; сердце их болезненно сжималось.

— Ансельм Дюренель, — продолжал Родольф, — ты не попадешь на каторгу... Ты не умрешь...

— Но чего же вы хотите от меня?.. Так, значит, вы посланы ко мне из преисподней?

— Послушай, — сказал Родольф, торжественно вставая, и властно, угрожающе поднял руку. — Ты преступно злоупотреблял своей силой... Я парализую ее... Сильнейшие дрожали перед тобой... Ты будешь дрожать перед слабейшими... Убийца...

---

[65] Notes: 65
Исаак Сирин. Слово подвижническое. М., 1858, с. 12. (Примеч. перев.)

Ты погружал созданья божий в вечную ночь... Вечный мрак наступит для тебя в этой жизни... Сегодня... Сейчас... Такая кара будет, наконец, под стать твоим преступлениям... Но, — продолжал Родольф с горестным сочувствием, — эта страшная кара откроет, по крайней мере, перед тобой безграничные возможности искупления... Я был бы так же преступен, как ты, если бы покарал тебя из чувства мести, какой бы справедливой она- ни была... Твоя кара не будет бесплодна, как смерть... она должна послужить спасению твоей души; вместо того чтобы обречь тебя на вечные муки... Она поможет твоему искуплению... Если, желая обезвредить тебя... я навсегда лишаю тебя великолепия божьего мира... если погружаю в непроглядную ночь... в одиночество... в воспоминания о своих злодеяниях... то делаю это для того, чтобы ты беспрестанно созерцал весь ужас содеянного тобой... Да, навеки обособленный от внешнего мира, ты вынужден будешь всецело погрузиться в себя, и тогда, надеюсь, твой лоб, отмеченный бесчестием, покраснеет от стыда, твоя душа, очерствевшая от жестокости... растленная преступлением... проникнется чувством сострадания... До сих пор каждое твое слово было богохульством. Придет время, и, каждое твое

слово будет молитвою... Ты отважен и жесток, ибо чувствуешь свою силу... ты будешь кроток и смирен, ибо почувствуешь свою слабость... Твое сердце было глухо к раскаянию... настанет день, когда ты станешь оплакивать свои жертвы. Ты растлил ум, данный тебе богом, превратив его в оружие грабежа и убийства... Из человека ты стал хищным зверем... Придет день, и твой ум, очищенный угрызениями совести, пробудится благодаря покаянию... Ты не берег то, что берегут даже звери — своих самок и детенышей... После долгой жизни, посвященной искуплению грехов, ты обратишься с последней молитвой к богу, слезно моля его ниспослать тебе нежданное счастье умереть в присутствии твоей жены и твоего сына.

Эти последние слова Родольф проговорил голосом взволнованным и грустным.

Ужас, охвативший было Грамотея, почти прошел... Он подумал, что Родольфу захотелось напугать его этим нравоучением прежде чем закончить свою речь. Ободренный мягки тоном своего судьи, преступник все больше наглел, по мере того как проходил его страх.

— Черт возьми! — сказал он с грубым смехом. — Мы что, шарады разгадываем или присутству-

ем на уроке закона божия?

Врач-негр с опаской взглянул на Родольфа, ожидая его, гневной вспышки.

Этого не случилось... Молодой человек с невыразимой печалью покачал головой и сказал врачу:

— Приступайте, Давид... И да покарает меня господь, если я совершу ошибку.

И Родольф закрыл лицо руками.

При этих словах врач позвонил.

Вошли двое мужчин, одетых во все черное. Доктор указал им рукой на дверь в соседнее помещение.

Они вкатили в него кресло с Грамотеем и связали его так, что он не мог пошевельнуться. Голову они прикрутили к спинке кресла с помощью повязки, охватившей одновременно шею и плечи.

— Обвяжите его лоб платком и намертво прикрепите к креслу, а другим платком заткните ему рот, — распорядился Давид, не сходя с места.

— Теперь вы хотите перерезать мне глотку?.. Помилуйте!.. — взмолился Грамотей. — Помилуйте!.. И...

Из соседней комнаты доносился теперь лишь невнятный шепот.

Двое мужчин появились на пороге... и по знаку

доктора вышли из залы.

— Монсеньор? — молвил в последний раз врач вопросительным тоном.

— Приступайте, Давид, — ответил Родольф, не меняя положения.

Давид медленно вошел в соседнюю комнату.

— Господин Родольф, мне страшно, — сказал побледневший Поножовщик дрожащим голосом. — Господин Родольф, скажите что-нибудь... Мне страшно... Или это сон?.. Что делают там с Грамотеем? Ничего не слыхать... От этого мне еще страшнее.

Давид вышел из соседней комнаты; он был бледен, как бывают бледны негры. Белыми были его губы. Двое мужчин снова вошли в залу.

— Прикатите сюда кресло. Они повиновались.

— Выньте у него кляп.

Кляп был вынут.

— Вы что же, хотите подвергнуть меня пытке?.. — воскликнул Грамотей, и в голосе его прозвучало не страдание, а гнев. — Что это за забава колоть мне чем-то глаза?.. Мне было больно... И для чего вы потушили свет и там и здесь? Собираетесь мучить меня в темноте?

Последовала минута жуткого молчания.

— Вы слепы... — проговорил наконец Давид

взволнованно.

— Неправда! Быть этого не может! Вы нарочно создали этот мрак!.. — вскричал разбойник, делая неимоверные усилия, чтобы освободиться от пут.

— Развяжите его, пусть встанет, — распорядился Родольф. Грамотея развязали.

Он быстро встал, сделал шаг, протянул вперед руки, снова упал в кресло и воздел руки к небу.

— Давид, дайте ему этот бумажник, — сказал Родольф. Врач вложил в дрожащие руки Грамотея небольшой бумажник.

— В этом бумажнике достаточно денег, чтобы обеспечить тебе кров и хлеб до конца твоих дней в каком-нибудь уединенном месте. Теперь ты свободен… убирайся… и постарайся раскаяться... Господь милостив!

— Слеп! — проговорил Грамотей, машинально взяв бумажник.

— Откройте двери... Пусть уходит! — проговорил Родольф. Двери с шумом распахнулись.

— Слеп! Слеп! Слеп!!! — твердил злодей, подавленный горем. — Боже мой, так это правда!

— Ты свободен, у тебя есть деньги, убирайся!

— Но я не могу уйти... Как вы хотите, чтобы я ушел? Я ничего не вижу, — воскликнул он в

отчаянии. — Преступно злоупотреблять своей силой, чтобы...

— Преступно злоупотреблять своей силой! — повторил Родольф, голос которого прозвучал торжественно. — А что ты сделал со своей силой?

— О, лучше смерть... Да, я предпочел бы умереть! — воскликнул Грамотей. — От всех зависеть? Всего бояться? Ребенок и тот может побить меня! Что делать? Боже мой! Боже мой! Что же делать?

— У тебя есть деньги.

— Их украдут у меня! — сказал разбойник.

— Их украдут у тебя. Вслушайся в эти слова!.. Ты произносишь их со страхом, ты, который столько раз воровал? Убирайся.

— Ради бога, — сказал умоляюще Грамотей, — пусть кто-нибудь проводит меня! Как я один пойду по улице?.. О, убейте меня! Прошу вас, сжальтесь... Убейте меня.

— Нет, придет день, и ты раскаешься.

— Никогда, никогда я не раскаюсь! — злобно вскричал Грамотей. — О, я отомщу! Поверьте... я отомщу!..

И, скрежеща зубами, он вскочил с кресла, угрожающе сжав кулаки.

Сделал шаг и споткнулся.

— Нет, нет, не могу!.. И однако, я такой сильный! Ах, как я жалок... Никто не пожалеет меня, никто.

И он заплакал.

Невозможно описать изумление, ужас Поножовщика во время этой трагической сцены: на его простом, грубом лице было написано сострадание. Он подошел к Родольфу и тихо сказал ему:

— Господин Родольф, он, возможно, получил то, что заслужил... Это был последний негодяй! Он и меня хотел убить; но теперь он слеп, он плачет. Дьявольщина! Мне жаль его... Он не знает, как уйти отсюда. Его могут раздавить на улице. Хотите, я отведу его куда-нибудь, где ему хоть нечего будет бояться?

— Хорошо... — сказал Родольф, тронутый великодушием, Поножовщика, и пожал ему руку. Хорошо, ступай...

Поножовщик подошел к Грамотею и положил ему руку на плечо.

Разбойник вздрогнул.

— Кто это трогает меня? — спросил он глухо.

— Я.

— Кто такой?

— Поножовщик.

— Ты тоже хочешь отомстить мне, да?

— Ты не знаешь, как выйти отсюда!.. Обопрись на мою руку... Я провожу тебя.

— Ты! Ты!

— Да, теперь мне жаль тебя, идем!

— Ты хочешь поставить мне ловушку?

— Ты прекрасно знаешь, что я не подлец... Я не злоупотребляю твоей бедой. Ну же, идем, на улице уже светло.

— Светло! А я никогда больше не увижу света! — вскричал Грамотей.

Не в силах выносить долее эту сцену, Родольф поспешно вышел из залы в сопровождении Давида, знаком приказав обоим слугам удалиться.

Поножовщик и Грамотей остались одни.

— Правда ли, что в бумажнике, который мне дали, есть деньги? — спросил разбойник после долгого молчания.

— Да, там по меньшей мере пять тысяч франков. С такими деньгами ты вполне можешь жить на полном пансионе, где-нибудь в тихом уголке, в деревне, до конца своих дней... Хочешь, я отведу тебя к Людоедке?

— Нет, она украдет мой бумажник!

— К Краснорукому?

— Он отравит меня, чтобы завладеть моими деньгами.

— Куда же ты хочешь, чтобы я отвел тебя?

— Не знаю. Ты-то не вор, Поножовщик. Вот что, хорошенько спрячь бумажник у меня под курткой, чтобы Сычиха не увидела его, не то она меня обчистит.

— Сычиха? Ее отнесли в больницу Божона. Сегодня ночью, отбиваясь от вас обоих, я покалечил ей ногу.

— Что же будет со мной? Господи, что же будет со мной из-за этой черной завесы, которая навсегда останется передо мной? А что, если я увижу на ней бледные, мертвые лица тех...

Он вздрогнул и глухо спросил у Поножовщика:

— Скажи, человек, которого я кокнул этой ночью, умер?

— Нет.

— Тем лучше.

И Грамотей некоторое время молчал; потом неожиданно воскликнул, подпрыгивая от ярости:

— И однако, Поножовщик, это ты все испортил, злодей!.. Без тебя я бы укокошил этого человека и унес бы деньги. Если меня ослепили, это тоже твоя вина, да, твоя вина!

— Не думай о том, что было, это вредно для тебя. Ну же, решайся, идешь ты или нет?.. Я устал, мне

хочется спать. Я и так достаточно делов наделал. Завтра я возвращаюсь к своему подрядчику. Я отведу тебя, куда захочешь, и отправлюсь на боковую.

— Но я не знаю, куда мне идти. В мои меблированные комнаты... Я не смею... Придется сказать...

— Послушай, хочешь день или два пробыть в моей конуре? А я постараюсь подыскать тебе хороших людей, которые возьмут тебя к себе как инвалида. Да... в порту Святого Николая я знаю одного рабочего, его мать живет в Сен-Манде; она порядочная женщина, но живется ей несладко. Возможно, она могла бы взять тебя к себе... Идешь ты или нет?

— На тебя можно положиться, Поножовщик. Я не боюсь пойти к тебе со своими деньгами. Ты никогда не крал... ты не злой, ты великодушный.

— Ладно уж, довольно захваливать меня.

— Видишь ли, я благодарен тебе за то, что ты хочешь сделать для меня, Поножовщик. В тебе нет ненависти, злопамятства... — смиренно проговорил преступник, — ты лучше меня.

— Дьявольщина! Еще бы не лучше... Господин Родольф сказал, что у меня есть мужество.

— Но что это за человек? Он не человек вовсе,

— воскликнул Грамотей в новом приступе злобы и отчаяния. — Он палач! Чудовище!

Поножовщик пожал плечами.

— Ну как, идем, что ли?

— Мы пойдем к тебе, ведь так, Поножовщик?

— Да.

— Ты не затаил злобы против меня за эту ночь, поклянись мне в этом?

— Клянусь.

— И ты уверен, что он не умер... тот человек?

— Уверен.

— Одним все же будет меньше, — глухо проговорил преступник. И, опершись на руку Поножовщика, он покинул дом на аллее Вдов.

Часть II

Глава I. ЛИЛЬ-АДАН

Прошел месяц после описанных нами событий. Мы посетим теперь вместе с читателем городок Лиль-Адан, расположенный в живописной местности на берегу Уазы, вблизи большого леса.

В провинции мельчайшие факты становятся важными событиями. Недаром зевакам, гулявшим в. то утро по церковной площади, не терпелось узнать, когда приедет человек, купивший у вдовы Дюмон лучшую в городке мясную лавку со скотоприемным двором.

Новый владелец был, видимо, богачом, ибо он роскошно выкрасил и отделал лавку. Три недели день и ночь трудились там рабочие. Бронзовая с золотом решетка, закрывавшая вход в магазин, не препятствовала притоку свежего воздуха. По обеим ее сторонам высились массивные пилястры, увенчанные двумя крупными бычьими головами; на их золоченые рога опирался широкий антаблемент, предназначенный для вывески. Остальная часть этого двухэтажного дома была выкрашена в темно-серый цвет, а решетчатые ставни — в светло-серый. Все работы были закончены за исключением установки вывески,

которой нетерпеливо ожидали праздношатающиеся, дабы узнать фамилию преемника вдовы.

Наконец рабочие принесли большую вывеску, и любопытные прочли на ней следующие слова, начертанные золотом по черному фону: "Правдолюб-мясник".

Любопытство бездельников все же не было удовлетворено. Кто такой этот Правдолюб? Один из самых нетерпеливых горожан обратился к приказчику, парню с открытым и веселым лицом, который хлопотал в лавке, заканчивая последние приготовления.

На вопрос о его хозяине, г-не Правдолюбе, парень ответил, что еще не видал его, так как лавка была куплена по доверенности, но не сомневается, что патрон сделает все возможное, чтобы удовлетворить своих будущих покупателей, уважаемых жителей Лиль-Адана.

Эти любезные слова, сказанные с видом приветливым и радушным, да и нарядный вид лавки расположили любопытных в пользу г-на Правдолюба; кое-кто тут же обещал симпатичному парню стать клиентом его хозяина. В этом доме со стороны Церковной улицы имелся еще обширный двор. Через два часа после открытия лавки новенькая плетеная двуколка, запря-

женная холеным першероном, въехала во двор мясной; из экипажей вышли двое мужчин. Один из них был Мэрф, бледный, но уже вполне оправившийся после нанесенной ему раны, второй — Поножовщик. Рискуя впасть в банальность, мы скажем, что престиж костюма так велик, что Поножовщика — этого завсегдатая таверн Сите, трудно было узнать в новой, непривычной для него одежде. Такая же метаморфоза произошла и с его лицом; вместе с обносками он, казалось, сбросил и свой дикий, грубый, тревожный вид: когда он спокойно шел, положив руки в карманы длинного теплого редингота из касторина орехового цвета, уткнув свежевыбритый подбородок в широкий белый галстук с вышитыми уголками, всякий принял бы его за добропорядочного буржуа. Мэрф привязал лошадь к железному кольцу, вделанному в стену, и сделал знак Поножовщику следовать за ним; они вошли в уютную низкую залу за лавкой, обставленную ореховой мебелью, оба окна которой выходили во двор, где лошадь нетерпеливо била копытом. Можно было подумать, что Мэрф находился у себя дома, ибо он отворил дверцу одного из шкафов и взял оттуда бутылку и стакан.

— Утро сегодня холодное, парень, не хотите ли

выпить водки?

— Не в обиду будь вам сказано, господин Мэрф... я не стану пить.

— Отказываетесь?

— Да, я до того рад, а радость согревает человека. И еще я рад тому, что встретил вас... Дело в том...

— Но в чем же?

— Вчера вы нашли меня в порту Святого Николая, где я для согрева лихо выгружал из воды бревна. Я не видел вас с той ночи... когда негр с белыми волосами выколол глаза Грамотею. Это первое, что он получил по заслугам, что правда, то правда, но... словом... Дьявольщина! Меня это зрелище перевернуло. А какое лицо было у Родольфа! У него всегда такой добродушный вид, а в ту минуту он меня испугал.

— Что же дальше?

— Итак, вы мне говорите: «Здравствуйте, Поножовщик». — «Здравствуйте, господин Мэрф. Значит, вы поправились?.. Тем лучше, дьявольщина, тем лучше. А как господин Родольф?» — «Ему пришлось уехать через несколько дней после того дела на аллее Вдов, и он позабыл про вас, парень». — «Если так, отвечаю я вам, если господин Родольф позабыл меня, ей-богу, мне это очень горько».

— Я хотел сказать, мой милый, что он забыл вознаградить вас по заслугам; но он вас никогда не забудет.

— Эти ваши слова меня сразу подбодрили, господин Мэрф... Дьявольщина! Я-то уж наверняка его не забуду!.. Он мне сказал, что у меня есть честь и мужество... словом, молчок.

— К сожалению, парень, монсеньор уехал, не оставив никаких распоряжений на ваш счет; у меня самого ничего нет, только то, что мне дает монсеньор: я не могу отблагодарить вас, как бы мне хотелось, за все, что вы сделали для меня.

— Полно, господин Мэрф, вы шутите.

— Но почему же, черт возьми, вы не вернулись на аллею Вдов после той трагической ночи? Монсеньер не уехал бы, не подумав о вас.

— Как вам сказать... Господин Родольф не позвал меня. Я решил, что он больше не нуждается во мне.

— Должны же вы были подумать, что ему хочется отблагодарить вас.

— Вы же сказали, что господин Родольф не забыл меня.

— Хорошо, хорошо, не будем больше говорить об этом. Но мне было нелегко отыскать вас... Так, значит, вы больше не ходите к Людоедке?

— Нет.

— Почему?

— Так уж, кой-какие мыслишки пришли мне в голову... — В добрый час; но вернемся к тому, о чем вы говорили.

— К чему, господин Мэрф?

— Вы говорили: «Я доволен, что встретил вас, и еще доволен, быть может...»

— Вспомнил, господин Мэрф. Вчера, найдя меня у плотового сплава, вы сказали: «Послушайте, парень, я не богат, но я могу доставить вам место, где вам не придется так надрываться, как в порту, а зарабатывать вы будете четыре франка в день». — «Четыре франка в день... да здравствует хартия!»

Я ушам своим не поверил: ведь это жалованье унтер-офицера. «Дело подходящее, господин Мэрф», отвечаю я. Вы же говорите мне, что я не должен походить на бродягу, иначе испугаю хозяина, к которому вы меня ведете. «У меня нет другой одежды», отвечаю я. «Идемте в «Храм вкуса», говорите вы. Я иду за вами, выбираю у мамаши Юбар все самое что ни на есть шикарное, вы даете мне денег в долг, и через четверть часа я разодет, как домовладелец или зубной врач. Вы мне назначаете свидание на сегодня, рано утром

у ворот Сен-Дени; я нахожу вашу повозку, и вот мы здесь.

— Вы в чем-нибудь сомневаетесь?

— Видите ли, господин Мэрф, если человек хорошо одет, это портит его. И когда я вновь напялю на себя старую куртку и остальное тряпье, мне будет не по себе. Да и, кроме того... получать четыре франка в день, вместо двух... кажется мне такой большой удачей, которая не может продолжаться; я предпочел бы спать всю жизнь на дрянном соломенном тюфяке в моей меблирашке, чем проспать пять-шесть ночей в хорошей кровати. Вот какое у меня мнение.

— Оно не лишено основания. Но лучше всегда спать в хорошей кровати.

— Ясное дело, лучше есть хлеба, сколько влезет, чем подыхать с голоду. Что это? Так здесь, значит, мясная лавка? — спросил Поножовщик, слыша удары топора и заметив сквозь занавеску разрубленную бычью тушу..

— Да, мой милый; лавка принадлежит одному из моих друзей. Хотите осмотреть ее, пока лошадь отдыхает?

— Пожалуй, это напомнит мне молодость... только бойня в Монфоконе была дрянная, а убойным скотом служили мне старые клячи. Чудное

дело! Имей я за душой немного денег, я из всех профессий выбрал бы только профессию мясника! Ездить на славной лошадке по ярмаркам, покупать там скотину, возвращаться домой, погреться у своего очага, если ты замерз, посушиться, если ты промок, увидеть свою хозяйку, славную толстую мамашу, свежую и веселую, с целой кучей ребятишек, которые обшаривают твои сумки в поисках гостинцев. А затем утром, на бойне, схватить за рога быка... в особенности, если он злой, черт подери!.. Люблю злых быков... привязать за кольцо, вдетое в ноздрю, убить, разделать на части, очистить... Дьявольщина! Вот чего бы мне хотелось, как хотелось Певунье съесть ячменный леденец, когда она была маленькая... Кстати, господин Мэрф... я не встречал ее больше у Людоедки, верно, господин Родольф вытащил ее оттуда. Знаете, он сделал доброе дело. Бедная девушка! Она не думала ни о чем дурном. Такая еще молоденькая! А после втянулась бы... Словом, господин Родольф хорошо поступил.

— Согласен с вами. Но не хочется ли вам осмотреть лавку, пока наша лошадь отдыхает?

Поножовщик и Мэрф вошли в лавку, затем в хлев, где стояли три великолепных быка и штук двадцать овец; затем осмотрели конюшню,

каретный сарай, бойню, чердаки и подсобные помещения этого дома, порядок и чистота которого свидетельствовали о рачительном и богатом хозяине.

Когда они всюду побывали, за исключением второго этажа, Мэрф обратился с такими словами к Поножовщику:

— Признайтесь, что мой друг счастливчик. Этот дом и участок принадлежат ему, не считая тысячи экю оборотных средств, вложенных в торговлю. В довершение всего ему тридцать восемь лет от роду, силища, как у быка, железное здоровье и любовь к своей профессии. Приветливый и честный малый, которого вы видели внизу, со знанием дела заменяет хозяина, когда тот закупает скот на ярмарке. Повторяю разве мой друг не счастливчик?

— Конечно, господин Мэрф. Но что поделаешь? Есть люди счастливые и несчастные; стоит мне подумать, что я буду зарабатывать четыре франка в день, когда иные не зарабатывают и половины, и подчас и того меньше...

— Хотите подняться и осмотреть второй этаж?

— Охотно, господин Мэрф.

— Там вы познакомитесь с хозяином, который хочет вас нанять.

— С хозяином?

— Да.

— Почему вы не сказали мне этого раньше?

— Я все объясню вам в свое время.

— Погодите, — сказал Поножовщик с печальным и смущенным видом, задерживая Мэрфа, — послушайте, я должен, сказать вам одну вещь... Быть может, господин Родольф не говорил вам об этом... Но я ничего не должен скрывать от своего будущего хозяина... Пусть уж лучше узнает обо всем; теперь, а не потом.

— В чем дело, что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать...

— Что именно?

— Что я бывший преступник... что я был на каторге... — проговорил Поножовщик глухим голосом.

— Да? — молвил Мэрф.

— Но я никогда никому не делал зла! — воскликнул Поножовщик. — И я скорее подохну с голоду, чем стану воровать, — прибавил он, опустив голову, — я убил... в приступе гнева... И это еще не все, — заметил он после паузы, — хозяева нипочем не наймут бывшего каторжника; они правы; не за такие заслуги дают свидетельство о добродетели. Это и помешало мне найти приличную работу,

меня нанимали только каком-нибудь порту для выгрузки плотового леса, ведь я говорил, когда нанимался на работу: «Дело обстоит так-то и так-то... Нужен я вам? Не нужен?» Пусть лучше сразу откажут, а не после, когда сами узнают... Я сказал все это для того, чтобы упредить вас: я выложу всю правду хозяину. Вы знаете его: если он не возьмет меня после этого, избавьте меня от знакомства с ним, лучше я тут же уберусь восвояси.

— Идемте же, — сказал Мэрф.

Поножовщик последовал за Мэрфом; они поднялись по лестнице; одна из дверей отворилась, и они оказались лицом к лицу с Родольфом.

— Дорогой Мэрф..... оставь нас одних, — молвил Родольф.

Глава II.
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Да здравствует хартия! Я чертовски рад видеть вас, господин Родольф, иначе говоря, монсеньор! — воскликнул Поножовщик. Встреча с Родольфом искренне обрадовала его, ибо услуги, которые щедрый человек оказывает людям, в той же мере привязывают его к ним, как и услуги, которые он от них принимает.

— Здравствуйте, друг, я тоже счастлив вас видеть.

— Ну и шутник господин Мэрф! Он сказал мне., что вы в отъезде. Вот что, монсеньор...

— Зовите меня «господином Родольфом», мне это больше по душе.

— Так вот, господин Родольф, простите, что я не зашел вас проведать после той ночи с Грамотеем... Я понимаю теперь, что был невежлив; но вы не в обиде на меня, правда?

— Прощаю вам этот промах, — проговорил Родольф, улыбаясь.

И, помолчав, спросил:

— Скажите, Мэрф показал вам этот дом?

— Да, господин Родольф; прекрасное жилое помещение, прекрасная лавка; все богато, ухоженно. Кстати о богатстве...

Кто теперь разбогател, так это я; господин Мэрф предложил мне заработок, и какой! Четыре франка в день!

— Я хочу предложить вам кое-что получше, мой милый.

— Лучше... Не в обиду будь вам сказано, это трудно сделать. Подумайте, четыре франка в день!

— Говорят вам, мое предложение лучше; ибо вам принадлежит этот дом, мясная лавка и тысяча экю наличными вот в этом бумажнике.

Поножовщик глупо улыбнулся, сплющил свою бобровую шапку между судорожно сжатыми коленями и не понял того, что ему сказал Родольф, хотя все было изложено очень ясно.

— Я понимаю ваше удивление, — продолжал Родольф с доброй улыбкой, — но повторяю еще раз, что этот дом и эти деньги принадлежат вам, они ваши.

Поножовщик побагровел, провел своей мозолистой рукой по вспотевшему лбу и пробормотал изменившимся голосом:

— О, так, значит... так значит... это моя соб-

ственность.

— Да, ваша собственность, потому что я дарю все это вам. Понимаете? Вам...

Поножовщик заерзал на стуле, почесал затылок, откашлялся, опустил глаза и ничего не ответил. Он чувствовал, что мысли его разбегаются. Он прекрасно слышал то, что ему сказал Родольф, но как раз поэтому не мог поверить своим ушам. Между его беспросветным положением, его горькой нуждой и тем, что ему предлагал. Родольф, зияла такая глубокая пропасть, что ее не могла заполнить даже огромная услуга, оказанная им Родольфу.

Не торопя той минуты, когда его подопечный все. уразумеет, Родольф наслаждался тем, как был потрясен, ошеломлен Поножовщик привалившим ему счастьем.

Он видел с радостью, смешанной с глубокой печалью, что привычка к страданиям, к бедам столь велика у некоторых, людей, что их разум отказывается допустить возможность. иного, более светлого будущего, которое показалось бы очень многим не слишком завидной долей.

«Конечно, — думал он, — если, по примеру Прометея, человеку удается иной раз похитить искру божественного огня,., это бывает лишь тогда, ко-

гда он (да простится мне это богохульство) делает то, что надлежало бы делать иной раз самому провидению в назидание людям: доказывать добрым и злым, что существует вознаграждение для одних и кара для других».

Понаслаждавшись блаженной одурью Поножовщика, Родольф спросил:

— Так, значит, то, что я вам подарил, превзошло ваши ожидания?

— Монсеньор! — проговорил Поножовщик, внезапно вставая. — Вы предлагаете мне этот дом и — много денег... чтобы соблазнить меня — но я не могу...

— Не можете? Чего именно? — удивленно спросил Родольф.

Лицо Поножовщика оживилось, его стыд прошел; он сказал твердо:

— Я знаю, вы предлагаете мне столько денег не для того, чтобы склонить меня к воровству. Впрочем, я никогда в жизни не крал... Скорее всего для того, чтобы я кого-нибудь убил... но я по горло сыт кошмарами о сержанте! — докончил он мрачно.

— Несчастные люди! — с горечью воскликнул Родольф. — Неужели сострадание так редко встречалось им в жизни, что они видят в щедром даре лишь плату за преступление?

Обратившись затем к Поножовщику, он сказал ему мягким, ласковым тоном:

— Вы плохо думаете обо мне... вы ошибаетесь, я не потребую от вас ничего бесчестного. Я дарю вам лишь то, что вы заслужили.

— Заслужил? Я? я — вскричал Поножовщик, сомнения которого возобновились. — Но чем же?

— Сейчас все объясню: с детских лет вы не имели понятия ни о добре, ни о зле и были предоставлены своему необузданному нраву; вы провели пятнадцать лет на каторге с отъявленными негодяями, голодали, холодали. Затем вы вышли на свободу, но из-за клейма каторжника и недоверия честных людей вам пришлось по-прежнему жить среди подонков общества; несмотря на это, вы остались честным человеком и угрызения совести за содеянное преступление пережили наказание, наложенное на вас судом.

Этот благородный и ясный язык стал новым источником удивления для Поножовщика. Он смотрел на Родольфа с уважением, смешанным со страхом и благодарностью. И все же никак не мог поверить его словам.

— Как, господин Родольф, из-за того, что вы меня поколотили, из-за того, что я посчитал вас своим братом рабочим (ведь вы говорите на арго,

как наш брат) и рассказал вам свою жизнь за стаканом вина, а после этого помешал утонуть... Вы... как же это так? Словом, я... получаю дом... деньги, становлюсь... как бы буржуа... Послушайте, господин Родольф, говорю вам еще раз: такого не бывает.

— Посчитав меня своим братом рабочим, вы рассказали мне свою жизнь попросту, без притворства, не скрывая того, что в ней было преступного и благородного. У меня создалось мнение о вас... хорошее мнение, и мне угодно вас вознаградить.

— Но, господин Родольф, это же невозможно. Нет... сколько есть на свете бедняков рабочих, которые честно прожили свою жизнь, и...

— Знаю, и я, быть может, сделал для некоторых из них больше, чем сделал для вас. Но если человек, честно живущий среди честных и уважающих его людей, заслуживает внимания и поддержки, то человек, остающийся честным среди самых что ни на есть отъявленных мерзавцев, заслуживает особого внимания, поддержки. Впрочем, это еще не все: вы спасли мне жизнь, вы спасли также жизнь Мэрфу, моему самому близкому другу. Итак, то, что я делаю для вас, подсказано мне и личной благодарностью, и же-

ланием вытащить из грязи хорошего, сильного человека, который заблудился, но не погиб... И это еще не все.

— Что же я еще такого сделал, господин Родольф? Родольф дружески взял его за руку.

— Исполненный сострадания к несчастью человека, который незадолго до этого хотел вас убить, вы предложили ему, свою поддержку, вы даже приютили его в своем убогом жилище, в тупике Парижской божьей матери, номер девять.

— Вы знаете, где я живу, господин Родольф?

— Если вы забываете оказанные мне услуги, я их не забываю. Когда вы вышли от меня, за вами последовал мой человек; он видел, как вы вошли к себе вместе с Грамотеем.

— Но господин Мэрф говорил мне, что вы не знаете, где я живу.

— Мне хотелось подвергнуть вас последнему испытанию, узнать, обладаете ли вы бескорыстием, свойственным щедрым натурам. И в самом деле, после вашего благородного поступка вы вернулись на свою каждодневную тяжелую работу, ничего не попросив, ни на что не надеясь, не сказав ни единого горького слова в осуждение моей кажущейся неблагодарности, ведь я никак не отозвался на все, что вы сделали для меня;

и когда вчера господин Мэрф предложил вам занятие, немного лучше оплачиваемое, чем ваша обычная работа, вы приняли его предложение с радостью, с признательностью.

— Послушайте, господин Родольф, если говорить о заработке, то четыре франка в день — это все же четыре франка. А что до услуги, которую я вам оказал, то скорее всего не вам, а мне придется вас благодарить?

— Почему?

— Да, да, господин Родольф, — проговорил он печально, — каких только мыслей я не набрался... с тех пор как узнал вас и вы мне сказали два слова: «Ты сохранил еще мужество и честь». Диву даюсь, сколько я думаю теперь. Странное дело, что два слова, всего два словечка сделали со мной такое... И то правда, бросьте в землю два крохотных зернышка пшеницы, и из них вырастут большущие колосья.

Это правильное и чуть ли не поэтическое сравнение удивило Родольфа. Действительно, два слова, но два слова редкой силы воздействия для тех, кто их понимает, внезапно пробудили в этой волевой натуре добрые, бескорыстные чувства, находившиеся лишь в зачаточном состоянии.

— Видите ли, монсеньор, — продолжал Поно-

жовщик, — я спас господина Родольфа и отчасти господина Мэрфа, что правда, то правда; я Могу спасти сотни, тысячи других людей, но это не вернет к жизни тех...

И Поножовщик, помрачнев, опустил голову.

— Такие угрызения совести благотворны, но доброе дело непременно зачтется грешнику.

— А затем, многое из того, что вы сказали Грамотею об убийцах, вполне могло бы подойти и мне.

Желая изменить ход мыслей Поножовщика, Родольф спросил:

— Это вы поместили Грамотея в Сен-Манде?

— Да, господин Родольф... Он попросил меня обменять его золото на банковые билеты и купить ему широкий пояс... Мы положили в него все это богатство, я зашил пояс на нем — и в добрый путь! Теперь он живет на тридцать су в день на полном пансионе у хороших людей, которые на эти деньги могут немного побаловать себя.

— Я попрошу вас еще об одной услуге, приятель.

— Говорите, господин Родольф.

— Через несколько дней вы съездите к нему... с этим документом, дающим право на пожизненное пребывание в заведении под названием «Добродетельные бедняки». Он внесет туда четы-

ре тысячи пятьсот франков, и его примут навечно по предъявлении этой бумаги: все договорено и улажено. Я подумал, что для него это наилучший выход. Таким образом он обеспечит себе до конца дней крышу над головой и кусок хлеба и сможет думать только о раскаянии. Я жалею даже, что не отдал ему тотчас же этого документа вместо денег, которые могут быть растрачены или украдены; но он внушал мне такое омерзение, что мне хотелось как можно скорее избавиться от его присутствия. Вы предложите ему место в этом убежище и отвезете его туда. Если он откажется, мы придумаем что-нибудь другое. Итак, вы согласны съездить к нему?

— Я с радостью оказал бы мм эту, как вы говорите, услугу, господин Родольф, но не знаю, буду ли я свободен. Господин Мэрф устроил меня на работу к одному своему приятелю за четыре франка в день.

Родольф с удивлением взглянул на Поножовщика.

— Что? А ваша лавка? Ваш дом?

— Полно, господин Родольф, будет вам смеяться над беднягой. Вы и так всласть позабавились, чтобы испытать меня, как вы говорите. И ваш дом, и ваша лавка все та же старая песенка! Вы

сказали себе: «Посмотрим, окажется ли этот скот Поножовщик таким болваном, чтобы поверить будто...» Довольно, довольно, господин Родольф. Вы весельчак... Потешились надо мной, и баста.

— Но я только что все вам объяснил...

— Да, чтобы ваши россказни были похожи на правду... Знаем мы эти фокусы... И ей-богу, я чуть было не попался на удочку. Надо же быть таким остолопом!

— Да ты с ума сошел, парень!

— Нет, нет, быть этого не может, монсеньор. Возьмем, к примеру, господина Мэрфа. Хотя его предложение и показалось мне чертовски странным... подумать только, четыре франка, в день! Да уж куда ни шло, этому можно было поверить; но дом, лавка, куча денег... Ну и потеха! Дьявольщина, ну и потеха!

И он расхохотался грубо, громко, от всего сердца.

— Выслушайте же меня...

— Скажу вам положа руку на сердце, монсеньор, что сначала вы задурили мне голову; потом я сказал себе: «Таких молодцов, как господин Родольф, поискать, он, верно, хочет послать меня с поручением к пекарю, а чтобы я не испугался запаха серы, он надумал меня подкупить». Но,

пораскинув мозгами, я понял, что нехорошо так думать о вас, и догадался, что это простая шутка; ведь если бы я был таким дураком и поверил бы, будто вы дарите мне за здорово живешь целое состояние, вы сразу подумали бы: «Эх, Поножовщик, мне, право, жаль тебя... уж не свихнулся ли ты, бедняга?»

Родольф был в затруднении, не зная, как ему убедить Поножовщика. Он сказал ему серьезным, внушительным, чуть ли не суровым тоном:

— Я никогда не шучу, когда речь идет о благодарности и о сочувствии, которое вызывает у меня великодушный поступок... Я уже сказал вам, что и дом этот, и деньги ваши, я вам их дарю. Но вы не хотите мне верить, придется дать вам клятву; итак, клянусь честью, что все это принадлежит вам и что мой подарок объясняется причинами, которые я вам уже сообщил.

Когда Поножовщик услышал решительный, исполненный достоинства голос Родольфа и увидел его серьезное лицо, он перестал сомневаться. Несколько секунд он молча смотрел на него, потом сказал без всякой напыщенности, но с чувством глубокого волнения:

— Я верю, монсеньор, и очень вам благодарен. Такой простой человек, как я, не умеет красно

говорить. Повторяю, что очень благодарен вам. Единственное, что я могу обещать, — это никогда не отказывать в помощи несчастным: голод и нищета походят на Людоедок, которые завербовали несчастную Певунью, а как только человек окажется в сточной яме, не у всякого достанет хватки, чтобы выбраться оттуда.

— Вы не могли лучше отблагодарить меня, приятель... понимаете? Вы найдете вот здесь, в секретере, купчую на дом, приобретенную для вас на имя Правдолюба.

— Правдолюба?

— У вас нет фамилии, и я даю вам вот эту, придуманную мной. Она послужит хорошим предзнаменованием, и уверен, вы будете достойны ее.

— Обещаю, монсеньор.

— Мужайтесь, приятель! Вы можете помочь мне в одном добром деле.

— Я, монсеньор?

— В глазах общества вы будете живым и благородным примером. Счастливая перемена, ниспосланная вам богом, покажет иным низко павшим людям, что они не должны терять надежды: они еще могут подняться, если раскаются и сохранят в чистоте иные добрые качества. Видя

вас счастливым, ибо, совершив преступление, претерпев за него страшное наказание, вы остались честным, смелым, бескорыстным, те, что оступились, постараются стать лучше. Я хочу, чтобы ничто из вашего прошлого не осталось скрытым; лучше самому во всем признаться. Итак, мы не откладывая сходим с вами к мэру этой коммуны; я навел справки о нем: он человек достойный и может содействовать моему доброму делу. Я назову себя и буду вашим поручителем; а чтобы сразу же установить хорошие отношения между вами и двумя людьми, представляющими в нравственном отношении общество этого городка, я обязуюсь в течение двух лет ежемесячно вносить тысячу франков в пользу бедных и стану регулярно посылать вам эти деньги, об употреблении которых вы договоритесь с мэром и священником. Если один из них не решится поначалу вступить с вами деловые отношения, его нерешительность скоро пройдет под влиянием нужд благотворительности. Как только ваши отношения с ними наладятся, от вас будет зависеть приобрести уважение этих достойных людей, и вы, конечно, преуспеете в этом.

— Понимаю, монсеньор. Не мне одному, Поножовщику, вы делаете это добро, а также несчаст-

ным, которые вроде меня оказались в нищете, совершили преступление и, по вашим словам, сохранили в беде мужество и честь. Не в обиду будь вам сказано, то же бывает и в армии: когда батальон сражался не на жизнь, а на смерть, нельзя же всем навесить ордена: их всего четыре на сотню храбрецов; так вот те, кто не получил ордена, говорят себе: «Ладно, получу в другой раз», и в другой раз они опять бьются насмерть.

Родольф слушал своего подопечного с огромной радостью. Вернув этому человеку самоуважение, подняв его в собственных глазах, он сразу пробудил в нем мысли, исполненные здравого смысла, достоинства и даже чуткости.

— То, что вы сказали, Правдолюб, — заметил Родольф, — еще раз доказывает мне вашу признательность, и я благодарен вам за нее.

— Тем лучше, — монсеньор, мне было бы очень трудно доказать ее иначе.

— А теперь осмотрим ваш дом; мой старый друг Мэрф уже доставил себе это удовольствие, теперь очередь за мной.

Родольф с Поножовщиком спустились на первый этаж. В ту минуту, когда они входили во двор, приказчик почтительно обратился к Поножовщику:

— Поскольку вы хозяин лавки, господин Правдолюб, я хочу сказать вам, что товар наш нарасхват. Кончились отбивные котлеты и окорока, надо поскорее зарезать одну или двух овец.

— Черт возьми! Вот превосходный случай проявить ваши таланты, — сказал Родольф Поножовщику, — и я хочу первый воспользоваться вашей стряпней... От пребывания на воздухе мне захотелось есть, и я с удовольствием попробую ваши отбивные, хотя боюсь, что они будут жестковаты.

— Вы очень добры, господин Родольф, — радостно проговорил Поножовщик, — вы льстите мне, уж для вас-то я постараюсь.

— Так я отведу двух овец на бойню, хозяин? — спросил его приказчик.

— Да, и принеси мне нож с хорошо наточенным, но не слишком тонким лезвием и крепким тупым краем.

— Будьте покойны, хозяин, у меня есть как раз то, что вам требуется... Взгляните, таким ножом побриться можно.

— Дьявольщина! — воскликнул Поножовщик.

Он поспешно снял редингот и закатал рукава рубашки, обнажив мускулистые, как у атлета, руки.

— Это напоминает мне молодость и бойню, господин Ро-дольф; вот увидите, как я справлюсь с работой... Черт возьми, мне не терпится взяться за дело! Нож, где твой нож, парень! Хорош, ты понимаешь в этом толк. Вот это лезвие! Никто не хочет его испробовать?.. Дьявольщина! С таким орудием я справился бы с бешеным быком.

И Поножовщик поднял нож; его глаза налились кровью; в нем пробуждались зверские инстинкты; жажда крови давала знать о себе со страшной, пугающей силой.

Бойня находилась во дворе.

Это было сводчатое помещение, темное, с плиточным полом и узким отверстием вверху для освещения.

Приказчик довел обеих овец до двери бойни.

— Привязать их, хозяин?

— Привязать? Дьявольщина! А эти колени на что? Будь покоен. Они послужат мне лучше всяких тисков. Давай сюда овцу и возвращайся в лавку.

Родольф, оставшийся наедине с Поножовщиком, смотрел на него внимательно, с тревогой.

— Ну же, за работу, — сказал он.

— Дело не затянется, дьявольщина! Посмотрите, как я орудую ножом. Руки у меня горят, в ушах

шумит... в висках как молотком стучит, кровь приливает к голове... Поди сюда, милочка, чтобы я мог чикнуть тебя ножом!

Глаза его блестели дикой радостью, он уже не замечал присутствия Родольфа и, как перышко подняв овцу, мигом отнес ее на бойню.

В эту минуту он походил на волка, который уволок в логово свою добычу.

Родольф последовал за ним, закрыл за собой дверь и прислонился к ее створке.

В бойне было темно; яркий свет, падающий сверху, освещал, как на картинах Рембрандта, грубое лицо Поножовщика, его бесцветные волосы и рыжие бакенбарды. Согнувшись пополам, держа в зубах длинный нож, блестевший в полумраке, он притянул к себе овцу, зажал между коленями, поднял ее голову, вытянул шею и зарезал.

Когда овца почувствовала прикосновение ножа, она тихо, жалобно заблеяла, взглянула угасающим взглядом на Поножовщика, и две струи крови ударили ему в лицо.

Эта жалоба, этот взгляд, эта кровь, стекавшая по нему, произвели ужасное впечатление на Поножовщика. Нож выпал у него из рук, окровавленное побелевшее лицо исказилось, глаза

округлились, волосы стали дыбом; с ужасом отступив назад, он глухо проговорил:

— О, сержант, сержант!

Родольф подбежал к нему.

— Очнись, парень.

— Здесь... здесь... сержант... — повторил Поножовщик, отступая назад.

Его неподвижный, дикий взгляд был устремлен в одну точку, пальцем он указывал на какое-то скрытое от других привидение. Затем, испустив нечеловеческий крик, словно призрак дотронулся до него, он убежал в глубину бойни, в ее самый темный угол и там налег грудью и руками на стену, будто хотел ее свалить, чтобы укрыться от какого-то страшного призрака.

— О, сержант!.. Сержант!.. Сержант!.. — повторял он хриплым, натужным голосом.

Глава III.
ОТЪЕЗД

Благодаря заботам Мэрфа и Родольфа, которые с большим трудом успокоили Поножовщика, тот окончательно пришел в себя после долгого приступа.

Он находился наедине с Родольфом в одной из комнат второго этажа мясной лавки.

— Монсеньор, — сказал он подавленно, — вы были очень добры ко мне... Но, видите я готов влачить еще более горемычную жизнь, чем до сих пор, но принять ваше предложение не могу...

— Подумайте... все же.

— Видите ли, монсеньор, когда я услышал предсмертное блеяние несчастной беззащитной овцы... когда почувствовал, как ее кровь брызнула мне в лицо... кровь горячая, словно бы живая... О, вы не знаете, что это такое... Я снова увидел свой сон... сержанта и молоденьких солдатиков, которых я убивал ножом... они не защищались и, умирая, смотрели на меня так кротко... так кротко... словно жалели меня!.. О монсеньор! От этого можно с ума сойти!..

И бедняга судорожно закрыл лицо руками.

— Полно, успокойтесь.

— Простите меня, монсеньор, во я не смогу больше выносить вид крови, ножа... Они то и дело будут напоминать мне те страшные кошмары, а ведь я уже стал их забывать... Резать каждый день бедных, беззащитных животных... Видеть их кровь у себя на руках, на ногах... О нет, нет, не могу... Лучше мне ослепнуть, чем заниматься таким ремеслом.

Невозможно описать жест, интонацию, выражение лица Поножовщика, произносившего эти слова.

Родольф был глубоко тронут. Его радовало впечатление, произведенное видом крови на его подопечного.

В течение нескольких минут инстинкт дикого зверя, жажда крови возобладали в душе Поножовщика; но угрызения совести все же одержали победу над инстинктом. Это было прекрасно, в этом заключался великий урок.

Надо сказать в похвалу Родольфу, что он не терял веры в Поножовщика. Его воля, а не случай вызвали сцену на бойне.

— Простите, монсеньор, — робко проговорил Поножовщик, — я очень плохо отплатил за вашу

доброту... но...

— Как раз напротив... вы исполнили мое заветное желание... Признаться, я не был уверен, что обнаружу у вас столь священный ужас, столь мучительные терзания совести.

— И что же, монсеньор?

— Выслушайте меня, — сказал Родольф, — я выбрал для вас профессию мясника, потому что ваши вкусы, ваши наклонности влекли вас к ней.

— Увы, это чистая правда, монсеньор... Без того, что вам известно, такая работа донельзя обрадовала бы меня... Я только что говорил об этом господину Мэрфу.

— Я все это предвидел... Вот почему, мой бедный Поножовщик, так удачно прозванный мной Правдолюбом, если бы вы приняли то, что я предложил вам, а вы могли это сделать, не потеряв моего уважения, все, что здесь находится, стало бы вашей собственностью. Таким образом я заплатил бы вам свой священный долг... изменил бы к лучшему ваше тяжелое положение, создал бы в вашем лице наглядный, спасительный пример... и продолжал бы следить за вашей жизнью. Но если бы, напротив, кровь, которую вы собирались пролить, напомнила бы вам о содеянном

преступлении, если бы невольное отвращение, вызванное ее видом, доказало бы, что угрызения совести еще живы в глубине вашей души, мои виды на вас изменились бы, ибо предложенная мной профессия стала бы для вас ежедневной пыткой.

— О, это истинная правда, господин Родольф, — страшной пыткой.

— Выслушайте теперь мое новое предложение. Полагаю, вы примете его, ибо я действовал не вслепую, а хорошо зная ваш характер. Один мой знакомец, у которого много владений в Алжире, уступил мне для вас (остается лишь подписать купчую) обширную скотоводческую ферму. Прилегающие к ней земли весьма плодородны и прекрасно возделаны, и, хотя я уверен в вашей смелости и в потребности проявить ее, я приобрел эту ферму условно, ибо она расположена на границе Атласа... Вам придется быть не только землевладельцем, но и солдатом и жить в поместье, превращенном в редут. Тот человек, который временно заменяет там хозяина, введет вас в курс дела; говорят, он человек честный и преданный; вы оставите его у себя до тех пор, пока вам потребуются его услуги. Обосновавшись в Алжире, вы сможете не только увеличить

свой достаток благодаря вашему трудолюбию и сметке, но и оказывать подлинные услуги родине, ибо вы человек отважный. Колонисты сформированы во вспомогательные воинские отряды. Величина вашего поместья, количество арендаторов, зависящих от него солдат сделают вас командиром довольно значительного отряда. Дисциплинированный вашими усилиями, возбужденный вашей храбростью, этот отряд будет крайне полезен для зашиты владений, разбросанных по равнине. Повторяю, я выбрал для вас это занятие, несмотря на связанную с ним опасность или, точнее, благодаря этой опасности, ибо после того как вы раскаялись и почти искупили содеянное преступление, восстановление вашего доброго имени будет еще возвышеннее, полнее, героичнее, если при свойственном вам бесстрашии оно завершится среди опасностей непокоренной страны, а не среди мирной жизни маленького городка. Я не сразу предложил вам уехать в Алжир, так как был почти уверен, что мое первое предложение вам подойдет; да и, кроме того, с этой поездкой связано столько риска, что мне не хотелось подвергать вас ему, не предоставив возможности выбора... Время еще есть, и, если ферма в Алжире вам не подходит,

скажите об этом откровенно, и мы поищем что-нибудь другое... В противном случае завтра все будет подписано: я вручу вам купчую на ваше поместье... и 'вы завтра же отправитесь в Алжир с человеком, выбранным прежним хозяином фермы, чтобы помочь вам вступить в ее владение... По приезде вы получите арендную плату за два предыдущих года; ваши земли приносили до сих пор три тысячи в год; работайте, улучшайте их, будьте энергичны, бдительны, и вы без труда повысите свое благосостояние и благосостояние арендаторов, которым вы всегда сможете прийти на выручку; я не сомневаюсь, что вы останетесь отзывчивым и щедрым и запомните, что богатство обязывает помогать людям... Хотя я и буду вдали от вас, но не потеряю вас из виду. Я никогда не забуду, что мы с моим лучшим другом обязаны вам жизнью. Единственное доказательство расположения и благодарности, о котором я прошу вас, — это поскорее научиться читать и писать, чтобы вы могли неукоснительно раз в неделю извещать меня о своих делах, а в случае если вам потребуется совет или поддержка, обратиться ко мне одному.

Бесполезно говорить о радости, о восторге Поножовщика. Читатель хорошо знаком с его

характером и наклонностями и без труда поймет, что ни одно предложение не подошло бы ему лучше этого.

В самом деле, на следующий же день Поножовщик уехал в Алжир.

Глава IV.
ПОИСКИ

Дом Родольфа на аллее Вдов не был обычной его резиденцией. Он жил в одном из самых больших особняков Сен-Жерменского предместья в конце улицы Плюме. По приезде в Париж он пожелал избежать почестей, связанных с его высоким рангом, и сохранил инкогнито, приказав своему поверенному при французском дворе объявить, что его господин нанесет все официальные визиты под именем графа Дюрена.

Благодаря этому обычаю, принятому при дворах властителей северных стран, принц крови путешествует столь же свободно и приятно, как богатый незнатный человек, не связанный тяготами представительства.

Несмотря на свое инкогнито, Родольф жил, как это и подобает, на широкую ногу. Мы введем читателя в его особняк на улице Плюме на следующий день после отъезда Поножовщика в Алжир.

Только что пробило десять утра.

Посреди обширной приемной, расположенной

в первом этаже, перед кабинетом Родольфа, сидел за письменным столом Мэрф и запечатывал депеши.

Привратник, одетый во все черное, с серебряной цепью на шее, распахнул обе створки двери в приемную и возвестил:

— Его сиятельство барон фон Граун!

Не прерывая своего занятия, Мэрф помахал барону рукой.

— Господин поверенный в делах, — проговорил он с улыбкой, — располагайтесь, пожалуйста, у камина, еще немного, и я буду в вашем распоряжении.

— Сэр Вальтер Мэрф, личный секретарь его высочества... жду ваших приказаний, — весело ответил г-н фон Граун и шутливо отвесил глубокий, почтительный поклон достойному эсквайру.

Барону лет пятьдесят; у него редкие седеющие волосы, завитые и припудренные. Слегка выступающий вперед подбородок наполовину скрыт муслиновым, сильно накрахмаленным галстуком ослепительной белизны. Выражение лица говорит о тонком уме, манеры исполнены изящества, за стеклами очков в золотой оправе поблескивает лукавый, проницательный взгляд. Как того требует этикет, барон одет, несмотря

на утренний час, во фрак с яркой полосатой ленточкой в петлице. Он положил шляпу на кресло и подошел к камину, а Мэрф продолжал свою работу.

— Вероятно, его высочество провел бессонную ночь, дорогой Мэрф, если судить по объему вашей корреспонденции.

— Монсеньор лег спать в шесть утра. Он написал, между прочим, письмо на восьми страницах маршалу Герольштейна и продиктовал мне не менее длинное письмо председателю государственного совета.

— Надлежит ли мне дождаться пробуждения его высочества, чтобы сообщить ему собранные мною сведения?

— Нет дорогой барон... Монсеньор велел, чтобы его разбудили не раньше двух-трех часов пополудни: он желает, чтобы вы послали сегодня утром эти депеши со специальным курьером, не дожидаясь понедельника. Вы изложите мне ваши сведения, а я передам их монсеньору, как только он проснется: таковы его распоряжения.

— Превосходно! Мне кажется, что его высочество будет доволен собранной мной информацией. Надеюсь, дорогой Мэрф, что срочная посылка курьера не предвещает ничего дурного. В послед-

них депешах, которые я имел честь передать его высочеству...

— Сообщалось, что там все идет хорошо, и монсеньор пожелал выразить как можно скорее свое удовлетворение председателю государственного совета и маршалу Герольштейна; вот почему он распорядился о срочной отправке курьера.

— Узнаю характер его высочества... если бы речь шла о выговоре, он не стал бы так торопиться; впрочем, в стране нет ни малейших разногласий по поводу твердого и искусного ведения дел нашими временными правителями. Да иначе и быть не может, — продолжал барон, улыбаясь, — часы были не только хороши, но и превосходно отрегулированы нашим повелителем, оставалось лишь аккуратно заводить их, чтобы благодаря своему неизменному и надежному ходу они ежедневно указывали всем подданным употребление каждого дня и часа. Порядок в государстве всегда вызывает уверенность и спокойствие народа; этим и объясняются добрые новости, которые вы сообщили мне.

— А здесь ничего нового, дорогой барон? Ничто не всплыло наружу? Наши таинственные похождения...

— Остались в тайне. Со времени прибытия

монсеньора в Париж здесь привыкли видеть его очень редко и лишь у немногих особ, которых он попросил ему представить; все полагают, что он любит уединение и часто совершает загородные прогулки. Его высочество поступил весьма остроумно, отделавшись на время от камергера и адъютанта, привезенных из Германии.

— Они были бы для нас весьма неудобными свидетелями.

— Итак, за исключением графини Сары Мак-Грегор, ее брата, Тома Сейтона оф Холсбери, и Чарльза, их верного раба, никто не знает о переодеваниях его высочества; впрочем, ни графиня, ни ее брат, ни Чарльз не заинтересованы в том, чтобы выдать эту тайну.

— Ах, дорогой барон, — промолвил Мэрф, улыбаясь, — какое несчастье, что эта проклятая графиня овдовела!

— Ведь она вышла замуж не то в тысяча восемьсот двадцать седьмом, не то в двадцать восьмом году?

— Да, в тысяча восемьсот двадцать седьмом, вскоре после смерти этой бедной крошки, которой было бы теперь лет шестнадцать — семнадцать; монсеньор никогда не упоминает о ней, хотя и постоянно ее оплакивает.

— Это тем более естественно, что его недолгий брак был бездетным.

— И знаете, дорогой барон, помимо жалости, которую внушает монсеньору Певунья, его интерес к ней объясняется прежде всего тем, что дочери, о потере которой он так горько жалеет (одновременно ненавидя ее мать), было бы теперь столько же лет, сколько этой несчастной девушке. Я прекрасно понял это.

— В самом деле, есть что-то роковое в том, что эта Сара, от которой мы считали себя избавленными, снова оказалась свободной ровно через полтора года после того, как его высочество потерял свою жену, лучшую из всех супруг. Я уверен, графиня считает это двойное вдовство знамением судьбы.

— И ее безрассудные надежды возродились, более страстные, чем когда-либо; ей известно, однако, что моисеньор питает к ней глубочайшую и вполне заслуженную ненависть.

Разве не она явилась причиной... Ах, барон, — воскликнул Мэрф, не докончив фразы, — эта женщина всем приносит несчастье... Дай-то бог, чтобы она не навлекла на нас новых бед!

— Разве она не бессильна теперь, дорогой Мэрф? Прежде она имела на монсеньора то влия-

ние, которое всегда имеет ловкая интриганка на молодого человека, полюбившего в первый раз, особенно при известных нам обстоятельствах; но влияние этой особы было уничтожено ее недостойными махинациями и, главное, воспоминанием о вызванной ею непоправимой беде.

— Прошу вас, дорогой Граун, говорите тише, — сказал Мерф. — Увы, наступил зловещий для нас месяц январь, и мы приближаемся к тринадцатому числу — дате столь же зловещей; я всегда опасаюсь за монсеньора, когда наступает эта страшная годовщина.

— Однако если даже великий грех подлежит прощению, то монсеньор давно искупил его.

— Умоляю, дорогой Граун, не надо вспоминать об этом, иначе я весь день буду сам не свой.

— Итак, по-моему, попытки графини Сары абсурдны, ибо смерть бедной крошки, о которой вы только что говорили, разорвала последнюю нить, которая могла бы еще привязывать монсеньора к этой женщине; она безумна, если упорствует в своих надеждах.

— Да, но это опасная сумасшедшая. И, как вам известно, ее брат неукоснительно разделяет ее честолюбивые бредни, хотя в настоящее время у этой милой парочки столько же причин для

разочарования, сколько их было для надежды полтора года тому назад.

— А сколько несчастий вызвал тогда аббат Полидори, этот нечестивец, своим преступным попустительством.

— Кстати об этом прохвосте. Я слышал, что аббат уже год или два живет в Париже, где он либо бедствует, либо занимается какими-нибудь грязными делишками.

— Какой крах для человека столь образованного, умного, одаренного!

— И известного, кроме того, своей необычайной порочностью... Дай-то бог, чтобы он не встретился с графиней! Союз этих дурных людей был бы весьма опасен.

— Повторяю, дорогой Мэрф, интересы самой графини, как бы безрассудно ни было ее честолюбие, помешают ей воспользоваться авантюристическими наклонностями монсеньора; она не отважится на столь неблаговидный поступок.

— Я тоже надеюсь на это; хотя только случай помещал ей сделать какое-то, по всей вероятности, отвратительнее предложение Грамотею, мерзкому злодею, который в настоящее время, полностью обезвреженный, живет в безвестности, быть может, преисполненный раскаяния, у

славных крестьян в деревне Сен-Манде. Увы! Я уверен, что монсеньор решился на такое страшное наказание, чтобы отомстить за меня этому негодяю, рискуя поставить себя в весьма щекотливое положение.

— Щекотливое! Нет, нет, дорогой Мэрф; вот как, по-моему, обстоит дело: беглый каторжник, закоренелый убийца, проникает к вам в дом и ударяет вас кинжалом; вы можете его убить в порядке самозащиты или отправить на эшафот; в обоих случаях этому негодяю не избежать смерти; а вместо того чтобы убить злодея или отдать его в руки палача, вы прибегаете к суровому, но справедливому наказанию и тем самым лишаете его возможности причинять вред обществу. Кто осмелится порицать вас за это? Неужели вас могут привлечь к суду из-за отпетого негодяя и осудить за то, что вы сделали меньше, чем дозволено законом, и только лишили зрения того, кого имели право убить? Подумайте, если в порядке самозащиты или мести за явный адюльтер общество признает за мной право на жизнь и смерть ближнего, право чудовищное, бесконтрольное, не подлежащее обжалованию, превращающее меня в судью и палача, то неужели я не могу заменить иной карой смертную казнь, к которой

мне дозволяется прибегнуть безнаказанно? И в особенности... в особенности, когда речь идет об известном нам с вами злодее? Ибо вопрос заключается именно- в этом. Я оставляю в стороне ранг монсеньора, одного из владетельных князей Германского союза. Я знаю, с точки зрения права, знатность не имеет значения; однако в жизни существует фактическая неприкосновенность; давайте представим себе, что против монсеньора возбуждено судебное дело, сколько добрых поступков будут свидетельствовать в его пользу! Сколько дотоле неизвестных вспомоществований, милостей с его стороны выявится в ходе судебного разбирательства! Повторяю, если бы столь странный процесс начался в суде, как вы полагаете, чем бы он кончился?

— Монсеньор говорил мне не раз: он примет обвинительный приговор, не воспользовавшись неприкосновенностью, которую мог бы обеспечить ему присущий ему высокий ранг. Но кто предаст огласке этот печальный случай? Вам известна молчаливость Давида и четырех слуг-венгров из дома на аллее Вдов. Поножовщик, облагодетельствованный монсеньором, не скажет ни одного слова из боязни скомпрометировать себя. Перед своим отъездом в Алжир

он поклялся мне хранить полное молчание на этот счет. А сам преступник прекрасно понимает, что, пожаловаться на его высочество — значит сложить голову на плахе.

— Наконец, никто из нас троих — монсеньора, вас и меня — не проговорится, не так ли? Хотя эта тайна известна нескольким лицам, она будет свято сохранена. В крайнем случае можно опасаться лишь небольших неприятностей, но при разбирательстве этого странного дела, дорогой Мэрф, выявится столько благородных деяний, что обвинительный приговор обернется триумфом для его высочества.

— Вы вполне успокоили меня. Но не вы ли говорили, что узнали интересные вещи из писем, найденных у Грамотея, а также из признаний, которые сделала Сычиха, когда лежала в больнице с переломом ноги; кстати эта мерзавка уже вышла оттуда.

— Вот эти сведения, — сказал барон, вынимая из кармана какую-то бумагу. — Они касаются поисков, предпринятых, чтобы установить происхождение девушки по прозвищу Певунья и узнать новый адрес Франсуа Жермена, сына Грамотея.

— Не прочтете ли вы мне эти заметки, дорогой

Граун? Мне известны намерения монсеньора, и я сразу пойму, удовлетворят ли его собранные вами сведения. Вы по-прежнему довольны своим агентом?

— О, это ценнейший человек, умный, ловкий, скромный. Иной раз мне даже приходиться умерять его пыл; как вам известно, его высочество желает лично заняться некоторыми делами.

— И вашему агенту до сих пор неизвестно участие монсеньора во всем этом?

— Он ровно ничего не знает об этом. Мое положение дипломата служит превосходным предлогом для тех розысков, которые я ему поручаю. У господина Бадино (так зовут нашего агента) много житейской сметки и широкие, явные и тайные, связи почти во всех слоях общества; в свое время он был адвокатом, но ему пришлось продать свою контору из-за всяких подозрительных махинаций; однако у него сохранились весьма точные сведения о капитале и положении своих прежних клиентов; он знает множество тайн и нагло похваляется тем, что торговал ими; два или три раза он богател и разорялся на разных аферах и теперь пользуется слишком дурной славой, чтобы заняться новыми спекуляциями; он прибегает к не совсем закон-

ным средствам, чтобы прожить, и напоминает мне Фигаро; послушать его весьма любопытно. Он принадлежит душой тем, кто ему платит, а обманывать нас не в его интересах; впрочем, я устроил за ним тайную слежку: нет никаких оснований остерегаться его.

— Да и сведения, которые он собрал для нас, оказались весьма точными.

— Господин Бадино по-своему честен, и уверяю вас, дорогой Мэрф: тип он чрезвычайно оригинальный; странная жизнь, подобная его жизни, встречается только в Париже и возможна только там. Он очень позабавил бы его высочество, если бы всякие отношения между ними не были нам вредны.

— Может быть, увеличить оплату услуг господина Бадино, как по-вашему?

— Пятьсот франков в месяц плюс накладные расходы, достигающие примерно той же суммы, оплата, по-моему, достаточная; он как будто доволен — дальше будет видно.

— И он не стыдится своего ремесла?

— Он-то? Напротив, скорее гордится им; принося мне свои отчеты, он не преминет напустить на себя важный, я сказал бы даже, дипломатический вид; ибо этот пройдоха притворяется, будто при-

нимает всерьез доверенные ему государственные дела и восхищается тайными связями, которые существуют между частными интересами и судьбами империй. Иной раз у него хватает наглости сказать мне: «Сколько сложностей в управлении государством, неизвестных обычным людям. Кто бы мог подумать, что заметки, которые я приношу вам, ваше сиятельство, имеют отношение к европейским делам!»

— Поверьте, прохвосты вечно стараются представить в розовом свете свои низкие поступки; это льстит их самолюбию. Но вернемся к вашим записям, дорогой барон.

— Вот они, почти в точности составленные со слов господина Бадино.

— Слушаю вас.

И барон прочел ему следующие строки:

– «ЗАПИСИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛИЛИИ-МАРИИ.

В начале тысяча восемьсот двадцать седьмого года человек по имени Пьер Турнемин, ныне отбывающий наказание на Рошфорской каторге как фальшивомонетчик, предложил некой мещанке по фамилии Жерве, прозванной Сычихой, взять к себе на воспитание девочку в возрасте

пяти-шести лет за единовременное вознаграждение в сумме тысячи франков».

— Увы, дорогой барон, — сказал Мэрф, прерывая своего собеседника... — тысяча восемьсот двадцать седьмой год... ведь как раз в этом году монсеньор узнал о смерти несчастной девочки, которую он до сих пор горько оплакивает... По этой причине и по многим другим этот год был роковым для моего повелителя.

— Счастливые годы весьма редки, мой бедный друг. Но разрешите мне продолжить чтение: — «По заключении упомянутой сделки девочка пробыла у этой женщины два года, а затем сбежала неизвестно куда из-за дурного с ней обращения. Сычиха ничего не знала о ней в течение нескольких лет, когда месяца полтора тому назад увидела ее в одном из кабаков Сите. Девочка, ставшая к тому времени взрослой девушкой, была известна под прозвищем Певуньи. Вскоре после этой встречи вышеупомянутый Турнемин, с которым Грамотей познакомился на Рошфорской каторге, переслал Краснорукому (тайному и постоянному посреднику каторжан, отбывающих наказание или выпущенных на волю) подробное письмо, относящееся к девочке, некогда вверенной попечению мещанки Жерве,

прозванной Сычихой. Как следует из этого письма и из заявлений самой Сычихи, некая госпожа Сера-фен, экономка нотариуса по имени Жак Ферран, поручила Турнемину подыскать ей женщину, которая согласилась бы за тысячу франков взять на себя заботу о девочке пяти или шести лет, от которой желали отделаться.

Сычиха приняла это предложение.

Посылая эти сведения Краснорукому, Турнемин преследовал следующую цель: потребовать через третье лицо у госпожи Серафен денег, угрожая в случае отказа разгласить это давно забытое дело. Оказалось, что госпожа Серафен лишь посредница никому не известных людей.

Краснорукий поручил хранить вышеуказанное письмо Сычихе, недавней сообщнице Грамотея, принимающей участие в его преступлениях; этим и объясняется, что письмо оказалось в руках злодея и что во время своей встречи с Певуньей в кабаке «Белый кролик» Сычиха, желая помучить ее, сказала: «Твои родители нашлись, но ты ничего не узнаешь о них».

Теперь надо было выяснить, насколько правдиво письмо Турнемина о девочке, некогда приведенной им к Сычихе. Были наведены справки о госпоже Серафен и о нотариусе Жаке

Ферране. Оба они действительно существуют. Нотариус живет на Пешеходной улице, сорок один; он слывет человеком суровым, набожным, во всяком случае, его часто видят в церкви; в делах он отличается излишней пунктуальностью и даже придирчивостью; бережливость его граничит со скупостью; госпожа Серафен по-прежнему служит у него экономкой.

Жак Ферран, будучи бедняком, купил нотариальную контору за триста пятьдесят тысяч франков. Деньги на покупку были ему даны под солидную гарантию господином Шарлем Робером, штабным офицером городской полиции, красивым молодым человеком, пользующимся большим успехом в обществе. Он делит с нотариусом доходы от его конторы, которые оцениваются в пятьдесят тысяч франков, не принимая, разумеется, ни малейшего участия в нотариальных делах. Злые языки утверждают, будто удачные спекуляции и игра на бирже так обогатили нотариуса, что он в состоянии выплатить свой долг господину Шарлю Роберу; но господин Жак Ферран пользуется такой хорошей репутацией, что его доброжелатели считают эти слухи грязной клеветой. Итак, госпожа Серафен, экономка этого святого человека, располагает,

по-видимому, ценными сведениями о происхождении Певуньи».

— Превосходно, дорогой барон! — воскликнул Мэрф. — В заявлениях Турнемина есть видимость правды. Быть может, с помощью нотариуса мы сумеем отыскать родителей этой бедной девочки. А что, справки о сыне Грамотея так же хороши?

— Пожалуй, хотя менее подробны...

— Право, ваш Бадино сущее сокровище.

— Как видно, Краснорукий — главная пружина всего этого дела. Господин Бадино (а у него, видимо; имеются связи с полицией) порекомендовал нам Краснорукого, служившего посредником многих каторжан еще до того, как монсеньор предпринял первые шаги, чтобы разыскать сына госпожи Жорж, несчастной жены этого мерзавца Грамотея.

— Очевидно, так оно и есть; и, отправляясь в логово Краснорукого на Бобовой улице, номер тринадцать, монсеньор встретил там Поножовщика и Певунью. Его высочество непременно пожелал воспользоваться случаем, чтобы посетить гнусные тамошние притоны в надежде вызволить из грязи каких-нибудь горемык; предчувствие не обмануло его; но ценой каких опасностей, боже мой!

— Опасностей, которые вы мужественно разделили с ним, дорогой Мэрф...

— Недаром я состою угольщиком при особе его высочества, — ответил, улыбаясь, эсквайр.

— Скажите лучше, бесстрашным телохранителем, мой достойный друг. Но говорить о вашей смелости и преданности значило бы повторять избитые истины... Итак, я продолжаю свой отчет... Вот записи о Франсуа Жермене, сыне госпожи Жорж и Грамотея, иными словами — Дюренеля.

Глава V.
СВЕДЕНИЯ О ФРАНСУА ЖЕРМЕНЕ

Барон фон Граун продолжал:

— «Около полутора лет тому назад молодой человек по имени Франсуа Жермен прибыл в Париж из Нанта, где он служил в банке «Ноэль и компания».

Как следует из признаний Грамотея и из нескольких найденных у него писем, он поручил своего сына сообщнику, чтобы тот воспитал его для выполнения преступных замыслов шайки; настало время, и негодяй воспитатель открыл этот мерзкий заговор юноше, предложив ему способствовать подделке банкнотов и ограблению банка «Ноэль», где служил Франсуа Жермен.

Этот последний возмущенно отверг сделанное ему предложение; но, не желая выдавать своего воспитателя, он написал анонимное письмо директору банка о готовящемся заговоре и тайно покинул Нант, чтобы избежать мести тех, кто попытался сделать его орудием и сообщником готовящихся преступлений.

Узнав о бегстве Жермена, негодяи приехали

в Париж, где они, свидевшись с Краснoруким, стали разыскивать сына Грамотея, видимо, с самыми зловещими намерениями, ибо юноше были известны их планы. После долгих поисков им удалось узнать его адрес, но было слишком поздно: встретив невзначай того, кто пытался его совратить, он догадался о том, что привело этого человека в Париж, и неожиданно съехал с квартиры. Таким образом сын Грамотея еще раз ускользнул от своих преследователей.

Однако полтора месяца тому назад им удалось узнать, что он живет на улице Тампль, номер семнадцать. Как-то вечером, возвращаясь домой он едва не попал в расставленную ему ловушку. (Грамотей скрыл это обстоятельство от монсеньора).

Жермен догадался, от кого исходит этот удар, покинул свою квартиру и снова скрылся. Поиски находились на этой стадии, когда Грамотей был наказан за свои преступления.

И как раз тогда поиски Жермена были снова предприняты по приказанию монсеньора. Вот их результат: Франсуа Жермен прожил около трех месяцев на улице Тампль, в доме номер семнадцать, доме чрезвычайно любопытном как по нравам, так и по занятиям большинства

своих жильцов. Жермена там очень любили за услужливость, за веселый и открытый нрав. Хотя юноша жил, видимо, на весьма скромный доход или жалование, он с трогательной заботливостью отнесся к неимущему семейству, ютившемуся в мансарде этого дома. Справки, наведенные на улице Тампль о новом адресе Франсуа Жермена и о его занятиях, ничего не дали; предполагают, что он служил в какой нибудь конторе или торговой фирме, ибо обычно уходил утром и возвращался около десяти часов вечера.

Где теперь поселился молодой человек, должна знать некая девушка из этого же дома; это очень хорошенькая гризетка, по прозвищу Хохотушка, состоявшая, по-видимому в любовной связи с Жерменом. Она живет рядом с комнатой, которую занимал Жермен; после его отъезда комната сдается внаем. Все эти сведения были добыты под предлогом, что явившийся туда человек желал бы снять ее».

— Хохотушка? — неожиданно воскликнул Мэрф, который, казалось, силился что-то припомнить. — Хохотушка? Мне знакомо это имя.

— Что я слышу, сэр Вальтер Мэрф, — воскликнул, смеясь, барон, — неужели такой достойный и уважаемый отец семейства, как вы, знаком с

гризетками? Неужели это прозвище не ново для вашего слуха? Как не стыдно! Фу! Фу!

— Черт возьми! Монсеньор свел меня с такими странными людьми, что вы не вправе удивляться этому знакомству, барон. Но погодите, погодите... Да, теперь... я вспомнил: рассказывая мне историю Певуньи, монсеньор не мог удержаться от смеха при этом нелепом прозвище. Насколько мне помнится, так звали одну из подруг по заключению бедной Лилии-Марии.

— Так вот, в настоящее время Хохотушка может оказать нам неоценимую услугу. Итак, я заканчиваю свой доклад: «По всей вероятности, было бы небесполезно снять свободную комнату в доме на улице Тампль. Однако у нас нет приказа продолжать начатое расследование; если судить по некоторым словам, оброненным привратницей, имеются все основания считать, что в этом доме можно узнать при содействии Хохотушки достоверные сведения о сыне Грамотея, кроме того, монсеньор получил бы возможность наблюдать там нравы, занятия и, главное, беды, о существовании которых он даже не подозревает».

Глава VI.
МАРКИЗ Д'АРВИЛЬ

Как видите, дорогой Мэрф, — сказал барон фон Граун, закончив чтение отчета и вручая его эсквайру, — след родителей Певуньи надо искать у нотариуса Жака Феррана, а о теперешнем адресе Франсуа Жермена расспросить Хохотушку. По-моему, дела наши не так уж плохи, когда знаешь, где надо искать то... что ищешь.

— Несомненно, барон; кроме того, монсеньор найдет, я уверен, богатую пищу для наблюдения в доме, о котором идет речь. Но это еще не все: удалось ли вам навести справки о маркизе д'Арвиле?

— Да, по крайней мере, в том, что касается денежных дел, опасения его высочества безосновательны. Господин Бадино утверждает — а я считаю его человеком хорошо осведомленным, — что никогда еще материальное благополучие маркиза не было прочнее, а его дела в лучшем порядке.

— Не допытавшись причины глубокого горя, которое подтачивает здоровье господина д'Арвиля,

монсеньор приписал его денежным затруднениям; в этом случае он пришел бы ему на помощь с известной вам редкой щепетильностью... но, поскольку его высочество ошибся в своих предположениях, ему придется, к своему великому огорчению, ибо он очень любит господина д'Арвиля, отказаться от попыток проникнуть в его тайну.

— Чувства его высочества легко понять. Он всегда помнит, скольким был обязан его батюшка отцу маркиза. Известно ли вам, дорогой Мэрф, что в тысяча восемьсот пятнадцатом году, когда основался Германский союз, отцу его высочества грозило отторжение от этого союза из-за его нескрываемой привязанности к Наполеону? Старый маркиз д'Арвиль, ныне покойный, оказал в этих условиях огромную услугу отцу нашего повелителя, воспользовавшись дружбой, которой его удостаивал император Александр, когда маркиз жил эмигрантом в России; ссылка на эту дружбу оказала огромное влияние на прения в конгрессе, где дебатировались интересы владетельных князей Германского союза.

— Подумайте, барон, как часто один благородный поступок влечет за собой другой; в девяносто втором году отец маркиза выслан; он находит

в Германии у отца монсеньора самое радушное гостеприимство; после трехлетнего пребывания при нашем дворе он уезжает в Россию, заслуживает там царскую милость и с помощью этой милости оказывает в свою очередь большое одолжение князю, так благородно поступившему с ним когда-то.

— Не в тысяча ли восемьсот пятнадцатом году во время пребывания старого маркиза д'Арвиля при дворе тогдашнего великого герцога и зародилась дружба между монсеньором и молодым д'Арвилем?

— Да, у них остались самые приятные воспоминания об этой счастливой поре их юности. Это еще не все: монсеньор относится с таким пиететом к памяти человека, который оказал некогда дружескую услугу его батюшке, что относится с величайшим благоволением ко всем членам этого семейства... Таким образом, постоянные щедроты, которыми монсеньор осыпает несчастную госпожу Жорж, объясняются не столько ее бедами и добродетелью, сколько принадлежностью к этому семейству.

— Вы говорите о госпоже Жорж, о жене Дюренеля! Каторжника, прозванного Грамотеем! — вскричал барон.

— Да, и она же мать Франсуа Жермена, которого мы разыскиваем и, надеюсь, найдем...

— И родственница господина д'Арвиля?

— И двоюродная сестра его матери и ее близкая подруга. Престарелый маркиз всегда питал к госпоже Жорж самые дружеские чувства.

— Но как могло семейство д'Арвиль согласиться на ее брак с этим мерзавцем Дюренелем, дорогой Мэрф?

— Отец этой несчастной женщины, господин де Леньи, управитель Лангедока, был до революции богатым человеком; в грозные революционные годы ему удалось избежать изгнания, а как только в стране наступило успокоение, он стал подумывать о выдаче замуж своей дочери. Дюренель попросил ее руки; он принадлежал к известной парламентской семье, был богат и до поры до времени умело скрывал свои дурные наклонности; его предложение было принято. Вскоре после женитьбы выявились скрытые пороки этого человека: мот, страстный игрок, водивший компанию с отъявленными негодяями, он сделал свою жену очень несчастной. Она не жаловалась, скрывала свои огорчения, а когда отец ее умер, удалилась в свое поместье и стала управлять им, чтобы немного рассеяться. Спустя некоторое время гос-

подин Дюренель растратил их общее состояние на азартные игры и распутство; поместье было продано. Тогда госпожа Дюренель уехала вместе с сыном к своей родственнице маркизе д'Арвиль, которую она любила как сестру» Пустив все по ветру, Дюренель был вынужден искать средств к существованию и стал преступником — фальшивомонетчиком, вором, убийцей, был приговорен навечно к каторжным работам, выкрал сына у своей жены и поручил его воспитание такому же мерзавцу, как и он сам. Остальное вам известно.

— Но как удалось монсеньору отыскать госпожу Дюренель?

— Когда Дюренель был отправлен на каторгу, его жена, впав в нищету, приняла фамилию Жорж.

— Неужели в столь тяжелом положении она не обратилась к госпоже д'Арвиль, своей родственнице и лучшей подруге?

— Маркиза умерла до приговора, вынесенного Дюренелю, а из-за необоримого чувства стыда госпожа Жорж не посмела просить о помощи своих родных, которые, конечно, не отказали бы ей после стольких мужественно перенесенных бед... Однажды, доведенная до крайности нищетой и болезнью, она отважилась молить о помощи гос-

подина д'Арвиля, сына своей лучшей подруги... Таким образом монсеньор и встретился с ней.

— Как же это произошло?

— Монсеньор отправился однажды к господину д'Арвилю; впереди него шла бедно одетая женщина, бледная, больная, подавленная. Подойдя к двери особняка д'Арвиля, она остановилась, долго не решалась позвонить, затем резко повернула обратно, словно у нее не хватило смелости сделать это. Этот поступок весьма удивил монсеньора, и, заинтригованный видом этой женщины, выражением кротости и горя на ее лице, он последовал за ней. Она вошла в неказистый на вид дом. Монсеньор разузнал о ней; все отзывы были в ее пользу. Она вынуждена была трудиться, но недостаток работы и расшатанное здоровье довели ее до полной нищеты. На следующий день мы отправились к ней вместе с монсеньором. Мы пришли вовремя, чтобы помешать ей умереть с голоду.

После долгой болезни, во время которой она пользовалась самым заботливым уходом, госпожа Жорж в порыве благодарности поведала свою жизнь монсеньору, не зная ни имени его, ни ранга, поведала также о приговоре, вынесенном Дюренелю, и о похищении своего сына.

— И таким образом его высочество узнал, что госпожа Жорж принадлежит к семейству д'Арвилей?

— Да, после чего монсеньор, который сумел оценить достоинства госпожи Жорж, уговорил ее уехать из Парижа на букевальскую ферму, где она и находится по сей день вместе с Певуньей. В этом тихом убежище она нашла если не счастье, то спокойствие и смогла отвлечься от своих несчастий, взявшись за управление фермой... Монсеньор скрыл от господина д'Арвиля, что он вызволил его родственницу из беды, отчасти щадя больное самолюбие госпожи Жорж, отчасти потому, что он не любит распространяться о своих добрых делах.

— Понимаю, что монсеньор вдвойне заинтересован в том, чтобы разыскать сына этой бедной женщины.

— Можете теперь судить, дорогой барон, о привязанности его высочества ко всему этому семейству и о том, как его огорчает грусть молодого маркиза, у которого имеются все основания чувствовать себя счастливым.

— В самом деле, чего недостает господину д'Арвилю? У него есть все, чего может пожелать человек: знатность, богатство, молодость; жена

его прелестна, столь же скромна, сколь красива.

— Вы правы, вот почему, отчаявшись выяснить причину черной меланхолии господина д'Арвиля, его высочество велел навести справки, о которых мы только что говорили; тревога и участие монсеньора глубоко трогают его друга, но он по-прежнему хранит молчание о снедающем его горе. Быть может, у него какие-нибудь любовные огорчения?

— Вряд ли, говорят, что он очень влюблен в собственную жену, которая не дает ему ни малейшего повода для ревности. Я часто встречаю ее в свете; она имеет большой успех, как всякая молодая и прелестная женщина, но ее репутация безупречна.

— Да, маркиз живет душа в душу со своей женой... Между ними произошла лишь небольшая размолвка по поводу графини Сары Мак-Грегор!

— Так, значит, эти дамы знакомы между собой?

— По несчастной случайности, отец маркиза д'Арвиля познакомился лет семнадцать — восемнадцать тому назад с Сарой Сейтон оф Холсбери и ее братом Томом во время их пребывания в Париже, где они пользовались покровительством жены английского посла. Узнав, что брат с сест-

рой отправляются в Германию, старый маркиз дал им рекомендательное письмо к отцу монсеньора, с которым он постоянно переписывался. Увы, дорогой Граун, не будь этого письма, удалось бы избежать многих бед, ибо монсеньор вряд ли познакомился бы с этой женщиной. Наконец по возвращении в Париж графиня Сара, осведомленная о дружеских чувствах его высочества к молодому маркизу, добилась приглашения в особняк д'Арвиля с явной надеждой встретить там монсеньора, ибо она преследует его с таким же упорством, с каким он бежит от нее.

— Подумать только, переодеться мужчиной, чтобы перехватить его высочество в дебрях Сите!.. Такая мысль могла прийти в голову только графине Саре.

— Быть может, она надеялась тронуть своей настойчивостью монсеньора и заставить его согласиться на встречу, от которой он всегда отказывался. Но вернемся к госпоже д'Арвиль; ее муж, с которым монсеньор говорил о Саре в надлежащем тоне, посоветовал своей жене видеться с ней как можно реже; но молодая маркиза, польщенная лицемерной лестью графини, не послушалась советов господина д'Арвиля. Произошла небольшая размолвка, которая, впро-

чем, не могла вызвать мрачную подавленность маркиза.

— О, женщины... женщины! Дорогой Мэрф! Я очень сожалею, что госпожа д'Арвиль поддерживает знакомство с Сарой. Молодая и прелестная маркиза может только проиграть от дружбы с этой ведьмой.

— Кстати, по поводу ведьм, — заметил Мэрф, — вот депеша о Сесили, недостойной супруге достойного Давида.

— Говоря между нами, дорогой Мэрф, эта предприимчивая метиска[66] вполне заслуживает ужасного наказания, которому ее муж, наш милый доктор-негр, подверг Грамотея по приказанию монсеньора. Из-за нее тоже пролилась кровь, а ее извращенность не поддается описанию.

— И несмотря на это, как же она хороша, как соблазнительна! Порочная душа при очаровательной внешности всегда вызывает у меня глубочайшее отвращение. В этом отношении Сесили вдвойне омерзительна; но в последней депеше отменяется приказание, отданное монсеньором по поводу этой презренной женщины.

---

[66] Notes: 66

Креолка, отцом которой был представитель белой расы, а матерью — рабыня-квартеронка.

— Как раз наоборот.

— И монсеньор по-прежнему желает устроить ей побег из крепости, куда ее заточили навечно?

— Да.

— И чтобы ее так называемый похититель привез ее во Францию? В Париж?

— Да, и более того, депеша содержит приказ насколько возможно ускорить побег и приезд Сесили, с тем чтобы она прибыла сюда самое позднее через две недели.

— Ничего не понимаю... монсеньор всегда относился к ней с явным омерзением.

— Его чувство к ней еще усилилось, если это только возможно.

— И все же он призывает ее к себе! Впрочем, будет нетрудно, по мнению его высочества, добиться высылки Сесили, если она не выполнит того, что от нее требуется. А покамест сыну тюремного смотрителя крепости Герольштейна отдан приказ похитить эту женщину, притворившись, что он от нее без ума; ему предоставляются наиболее благоприятные условия для выполнения этого плана. С великой радостью воспользовавшись подвернувшейся возможностью, метиска последует за своим предполагаемым похитителем и приедет в Париж; пусть так, но она все же

остается преступницей, ведь... судимость с нее не снята; она всего лишь сбежавшая узница, и я вполне могу, как только это потребуется монсеньору, потребовать и добиться ее высылки.

— Поживем — увидим, дорогой барон; я попрошу вас также затребовать с обратной почтой заверенную копию брачного свидетельства Давида, ибо он женился в княжеском дворце в качестве врача, принадлежавшего к штату монсеньора.

— Запросив это свидетельство с сегодняшней почтой, мы получим его самое позднее через неделю.

— Когда Давид узнал от монсеньора о скором прибытии Сесили, его как громом поразило; затем он воскликнул: «Надеюсь, что ваше высочество не заставит меня встретиться с этой мегерой?» — «Будьте спокойны, — ответил монсеньер, — вы ее не увидите... Но она нужна мне для некоторых моих планов». Огромная тяжесть спала с души Давида. Я уверен, однако, что этот приезд пробудит в нем много горестных воспоминаний.

— Бедный негр!.. Он способен до сих пор любить ее. Говорят она прехорошенькая!

— Прелестна... Чересчур прелестна... Только безжалостный взляд креола может обнаружить в ней женщину смешанной крови по едва замет-

ному темному ободку, который оттеняет розовые ноготки этой метиски; нежным цветом лица, белизной кожи, золотистым оттенком каштановых волос она может поспорить с нашими яркими северными красавицами.

— Я был во Франции, когда монсеньор вернулся из Америки с Давидом и Сесили; мне известно, что с тех пор этот превосходный человек привязан к его высочеству узами глубочайшей благодарности, но я до сих пор не знаю, вследствие каких перипетий он оказался на службе нашего повелителя и каким образом стал мужем Сесили, которую я увидел впервые через год после ее замужества; одному богу известно, какую бурю возмущения она вызывала тогда!..

— Могу сообщить вам то, что вас интересует, дорогой барон; я сопровождал монсеньора во время его путешествия в Америку, где он спас Давида и метиску от поистине страшной участи.

— Вы бесконечно любезны, дорогой Мэрф, я слушаю вас, — ответил барон.

Глава VII.
ИСТОРИЯ ДАВИДА И СЕСИЛИ

Мистер Уиллис, богатый американский плантатор во Флориде, — начал свой рассказ Мэрф, — заметил в одном из своих молодых черных рабов по имени Давид, работавшем в Лазарете его поместья, выдающийся ум, глубокое и действенное сострадание к больным, за которыми он ухаживал с любовью, выполняя все предписания врачей, а так же его необычайный интерес к растениям, применяемым в медицине; в самом деле, не имея специального образования, он сумел классифицировать местную флору и составить нечто вроде гербария. Плантация мистера Уиллиса, расположенная на берегу моря, находилась в пятнадцати — двадцати лье от ближайшего города; тамошние врачи — люди довольно невежественные, к тому же они неохотно приезжали на вызовы из-за больших расстояний и плохих дорог. Чтобы устранить столь серьезное неудобство в стране, подверженной эпидемиям, и иметь под рукой умелого врача, колонист решил послать Давида во Францию для изучения медицины и,

в частности, хирургии. Молодой негр с восторгом принял это предложение и уехал в Париж, причем плантатор оплатил все расходы по его обучению. После восьми лет упорного труда Давид с блеском окончил медицинский факультет и вернулся в Америку, чтобы поставить приобретенные им знания на службу своего господина.

— Да, но, ступив на французскую землю, Давид мог считать себя свободным и фактически и юридически.

— Конечно, но Давид человек редкой честности; он обещал мистеру Уиллису вернуться и вернулся, так как не считал своей собственностью знания, приобретенные на чужие деньги. В довершение всего он надеялся облегчить моральные и физические страдания рабов, своих прежних товарищей по несчастью. Он намеревался стать не только врачом, но их поддержкой и заступником перед колонистом.

— В самом деле, надо обладать редкой честностью и святой любовью к своим соплеменникам, чтобы вернуться к хозяину после восьмилетнего пребывания в Париже... среди самой демократической молодежи Европы.

— По этой черте характера... вы можете судить о человеке. Итак, он вновь во Флориде и, надо

сказать, пользуется уважением и приязнью мистера Уиялиса, живет под его крышей, ест за его столом; впрочем, этот колонист, тупой, злой и чувственный деспот, как и все креолы, счел себя весьма щедрым, положив Давиду шестьсот франков жалованья. По истечении нескольких месяцев в поместье вспыхивает страшная эпидемия тифа, заболевает и господин Уиллис, но вскоре выздоравливает благодаря превосходному уходу Давида; из тридцати тяжело заболевших негров умирают только двое. Мистер Уиллис приходит в восторг от услуг Давида и повышает его жалованье до тысячи двухсот франков. Врач-негр чувствовал себя счастливейшим человеком на свете, собратья смотрели на него как на провидение, в самом деле, хотя и с большим трудом, он добился небольшого улучшения их участи и надеялся достигнуть большего в будущем; а пока что он наставлял, утешал этих обездоленный людей, призывал их к смирению, говорил им о боге, который заботится как о неграх, так и о белых; о другом мире, в котором живут не хозяева и рабы, а праведники и грешники; об иной жизни... жизни вечной, где рабы уже не были скотом, вещью хозяев, где угнетенные на земле люди чувствовали бы себя такими счастливыми,

что молились за своих палачей... Что еще сказать вам? Этим страдальцам, которые, в отличие от других людей, считали с горькой радостью дни, которые приближают их к могиле, этим горемыкам, надеявшимся только на небытие, Давид обещал вечную свободу, после чего цепи казались им менее тяжкими, труд менее утомительным. Давид был их кумиром. Около года прошло без особых изменений. Среди наиболее хорошеньких рабынь плантатора выделялась метиска пятнадцати лет по имени Сесили. Мистеру Уиллису приглянулась эта девушка; быть может, впервые в жизни деспот натолкнулся на отказ, на упорное сопротивление. Сесили любила... любила Давида, который во время последней эпидемии с редкой самоотверженностью лечил ее и спас от смерти; после выздоровления девушка отдала Давиду первое целомудренное чувство, невольно уплатив ему таким образом долг благодарности. Давид, как человек щепетильный, никому не говорил о своем счастье: он ждал шестнадцатилетия Сесили, когда он сможет жениться на ней.

Ничего не зная об этой любви, господин Уиллис величественно бросил платок хорошенькой метиске; обливаясь слезами, девушка рассказала Давиду о грубых притязаниях хозяи-, на, от

которого ей с трудом удалось вырваться. Негр успокоил ее и тут же попросил руки Сесили у мистера Уиллиса.

— Черт возьми! Я боюсь строить догадки об ответе американского султана... Он отказал?

— Отказал. По его словам, эта девушка была ему по вкусу; за всю жизнь он ни разу не встречал пренебрежения со стороны рабыни. Он желает ее и своего добьется. Давид найдет себе другую любовницу или жену. В поместье имеется десять мулаток и метисок таких же хорошеньких, как Сесили. Давид заговорил о своей давнишней любви, разделенной девушкой, плантатор пожал плечами. Давид стал, настаивать. Все было напрасно. Хозяин нагло сказал ему, что было бы дурным примером для остальных рабов, если бы он спасовал перед Сесили, и что такой пример он не даст им ради прихоти Давида. Последний стал его умолять, хозяин вышел из терпения; краснея при мысли о своем унижении, Давид заговорил решительным тоном о своих услугах и своем бескорыстии, ибо получаемое им скромное жалование уже не удовлетворяло его. Разгневанный мистер Уиллис презрительно ответил, что с ним и так слишком хорошо обращаются, ибо он был и остается рабом. При этих словах

возмущение Давида вырвалось наружу... Впервые он заговорил как человек, осознавший свои права благодаря восьми годам, проведенным во Франции. Взбешенный хозяин обозвал его бунтовщиком пригрозил заковать в цепи. Давид произнес несколько горьких и резких слов... Два часа спустя он был привязан к столбу, исхлестан плетью, тогда как на его глазах рабы тащили Сесили в сераль плантатора.

— Вел себя этот плантатор глупо и безобразно... Что эа бессмысленная жестокость!.. Ведь, в конце концов, он нуждался в услугах доктора...

— Да как еще нуждался!.. Ярость, в которую он пришел, и состояние опьянения, ибо этот зверь напивался каждый вечер, вызвали у него сильнейшую лихорадку, симптомы которой появились почти сразу, как это свойственно такого рода заболеваниям. Плантатору пришлось лечь в постель с очень высокой температурой. Он срочно вызывает городского врача; но из-за дальности расстояния тот может приехать лишь через полтора суток.

— Право, этот случай словно ниспослан богом... Трагическое положение этого человека было им вполне заслужено...

— Состояние больного быстро ухудшалось...

Один Давид мог спасти колониста; но Уиллис, недоверчивый, как все подлецы, был уверен, что негр из мести отравит его какой-нибудь микстурой... ибо Давид был не только избит, но и брошен в темницу. Наконец, испуганный резким ухудшением болезни, сломленный страданиями, Уиллис подумал, что ему так и этак крышка и что можно, пожалуй, сделать ставку на благородство своего раба; после мучительных колебаний Уиллис приказал снять цепи с Давида.

— И Давид спас плантатора?

— Пять дней и пять ночей он ухаживал за ним, как за родным отцом, шаг за шагом заставляя отступать болезнь с умением и искусством, достойным удивления; в конце концов он победил лихорадку, к глубокому удивлению вызванного из города врача, который прибыл лишь на второй день.

— Но что же сделал колонист, когда поправился?

— Он, не пожелал краснеть перед рабом, постоянно унижавшим его своим поразительным благородством, и ценою огромной жертвы заменил его вызванным из города врачом, а Давид был снова отправлен в карцер.

— Какай ужас! Но это не удивляет меня: Давид

был бы живым укором для этого человека.

— К тому же бесчеловечный поступок колониста был продиктован не только местью и ревностью. Чернокожие рабы господина Уиллиса преклонялись, благоговели перед Давидом: оц был для них целителем души и тела. Они знали, как самоотверженно ухаживал Давид за хозяином во время его болезни... И, чудом стряхнув с себя отупляющее равнодушие, в которое рабство погружает человека, эти несчастные громогласно высказали свое возмущение или, точнее, горе, когда на их глазах Давида избили плетью. Господину Уиллису почудились в их недовольстве зачатки бунта, вызванного пагубным влиянием Давида. Он подумал, что впоследствии Давид может стать во главе рабов, чтобы отомстить хозяину за его вопиющую неблагодарность... Эти вздорные страхи послужили причиной новых притеснений, направленных против Давида, дабы помешать его злокозненным планам.

— Даже с точки зрения безжалостного произвола такое поведение кажется мне менее абсурдным... Но что за нравы!

— Вскоре после этих событий мы прибываем в Америку. Монсеньор зафрахтовал датский бриг на острове Сент-Томас; и, плывя вдоль амери-

канского побережья, мы посещали инкогнито все поместья, бросавшиеся нам в глаза. Мы были великолепно приняты господином Уиллисом. Вечером, на следующий день после нашего прибытия, господин Уиллис, возбужденный выпитым вином, рассказал нам с циничным бахвальством историю Давида и Сесили, сопровождая свой рассказ омерзительными шутками; я забыл вам сказать, что он велел посадить в темницу и эту несчастную девушку, чтобы наказать ее за пренебрежительное к нему отношение. Выслушав этот гнусный рассказ, его высочество подумал, что, Уиллис прихвастнул спьяну... Тот был действительно пьян, но не солгал. Чтобы рассеять недоверие своего гостя, колонист встал из-за стола, приказал одному из рабов взять фонарь и провести нас в карцер Давида.

— И что же?

— За всю свою жизнь я не видел более душераздирающего зрелища. Бледные, истощенные, полуголые, покрытые ранами, Давид и несчастная девушка, прикованные цепью к стене в разных концах темницы, походили на привидения. Осветивший помещение фонарь придавал этому зрелищу еще более зловещий характер. При нашем появлении Давид ничего не сказал;

его взгляд поражал своей пугающей неподвижностью. Колонист обратился к нему с жестокой иронией: «Как поживаешь, доктор?.. Ты ведь человек ученый! Так попробуй спаси самого себя!..»

Негр ответил лишь одним словом и одним жестом, исполненным благородства и величия; он медленно поднял указательный палец к потолку и, не смотря на колониста, произнес торжественно: «Бог!»

И умолк.

«Бог? — подхватил колонист, расхохотавшись. — Так скажи своему богу, чтобы он вырвал тебя из моих рук! Пусть попробует!»

Затем Уиллис, рассудок которого помутился от гнева и вина, показал кулак небу и кощунственно воскликнул:

«Да, я бросаю вызов богу; пусть попробует отнять у меня этих рабов до их смерти. Если он этого не сделает, я перестану верить в его существование».

— Какой идиот, какой безумец!

— Вызов этот возбудил в нас глубокое отвращение... Монсеньор не произнес ни единого слова. Мы вышли из темницы... Она находилась, как и жилище колониста, у самого моря. Мы возвраща-

емся на бриг, стоящий на якоре у побережья. В час ночи, когда все в доме спали глубоким сном, монсеньор сходит на берег с восемью хорошо вооруженными матросами, направляется прямо к темнице, взламывает ее дверь и похищает Давида и Сесили. Обе жертвы колониста перенесены на борт брига; все сошло хорошо, и наша экспедиция осталась незамеченной; затем мы с монсеньором идем к плантатору.

Странное поведение! Эти люди измываются над своими рабами и не принимают против них никаких мер предосторожности: они спят с открытыми дверями и окнами. Мы беспрепятственно входим в слабо освещенную ночником спальню, плантатор садится в кровати, ничего не соображая, ибо мозг его ещё затуманен винными парами.

«Сегодня вечером вы бросили вызов богу, не поверили, что он может отнять у вас двух рабов до их смерти. Он отнимает их у вас, — проговорил монсеньор. Затем, взяв у меня из рук мешок с двадцатью пятью тысячами золотых франков, он бросил его на кровать колониста. — Эти деньги вознаградят вас за убыток от потери двух рабов. Вашему насилию, которое убивает, я противопоставлю насилие, которое спасает. Бог нас

рассудит!» Тут мы ушли, оставив господина Уиллиса растерянного, неподвижного, он, очевидно, считал, что все это ему приснилось. Несколько минут спустя мы поднялись на бриг и подняли паруса.

— Мне кажется, дорогой Мэрф, что его высочество слишком щедро расплатился с этим негодяем за потерю рабов; ибо, в сущности, Давид уже не принадлежал ему.

— Мы приблизительно подсчитали стоимость обучения Давида в течение восьми лет и утроили цену Сесили против цены обычной рабыни. Я знаю, наше поведение была противозаконно; но если бы вы только видели, в каком ужасном состоянии были эти несчастные люди, находившиеся на грани смерти, если бы слышали кощунственный вызов, брошенный богу колонистом, опьяневшим от вина и жестокости, вы поняли бы, что монсеньор, по его словам, пожелал в этом случае «сыграть роль провидения».

— Вероятно, Давид женился на Сесили по приезде в Европу?

— Да, их бракосочетание, обещавшее столько счастья жениху и невесте, состоялось в дворцовом храме монсеньора; но, заняв в силу необычайного стечения обстоятельств положение, о котором

она даже не могла мечтать, Сесили позабыла все, что Давид выстрадал из-за нее и что она сама выстрадала из-за него. В этом новом для нее мире ей стало стыдно, что муж у нее черный; вскоре Сесили, соблазненная неким развратником, совершила свой первый проступок. Можно было подумать, что ее врожденная порочность, дремавшая до поры до времени; ждала лишь этого толчка, чтобы пробудиться с невероятной силой. Вам известно остальное — ее похождения и вызванный ими скандал. После двух лет брака Давид, который слепо верил жене и так же слепо любил ее, узнал об ее изменах; для него это было словно гром среди ясного неба.

— Говорят, он хотел убить жену?

— Да, но благодаря настояниям монсеньора он согласился на ее пожизненное заточение в крепости. И вот эту темницу монсеньор только что распахнул перед ней... как к вашему, так и к моему удивлению, дорогой барон.

— Откровенно говоря, решение монсеньора тем более поражает меня, что начальник крепости много раз предупреждал его высочество, что справиться с этой женщиной невозможно; ничто не могло укротить ее необузданный, закоренелый в пороках нрав; я несмотря на это, монсеньор

настойчиво вызывает ее сюда. По какой причине? С какой целью?

— Я этого не знаю, как и вы, дорогой барон. Но время идет, а его высочество желает, чтобы почта была отправлена как можно скорее в Герольштейн.

— Еще один вопрос: скажите, дорогой Мэрф, ваше американское приключение не имело последствий? Ведь этот поступок его высочества столь же сомнителен и противозаконен, как и наказание Грамотея.

— Оно и не могло их иметь. На бриге был датский флаг, а инкогнито его высочества соблюдалось строжайшим образом; все считали нас англичанами. И если бы господин Уиллис посмел жаловаться, к кому бы он обратился со своими претензиями? В самом деле, монсеньор сам нам говорил, да и его врач записал это в медицинском заключении, что оба раба не прожили бы и недели в этой страшной темнице. Потребовался очень длительный уход, чтобы спасти Сесили от почти неизбежной смерти. Наконец оба они были возвращены к жизни. С тех пор Давид состоит врачом его высочества и безгранично предан ему.

— Итак, дорогой Мэрф, до вечера!

— До вечера?

— Разве вы забыли, что в посольстве*** сегодня грандиозный бал и что его высочество должен быть на нем.

— Вы правы; я вечно забываю, что в отсутствие полковника Варнера и графа фон Харнейма я исполняю функции камергера и адъютанта.

— Кстати, о графе и полковнике... когда они приедут сюда? Скоро ли закончат свои дела?

— Как вам известно, монсеньор держит их в отдалении, чтобы пользоваться одиночеством и свободой. Что касается поручений, которые он им дал, дабы вежливо отделаться от обоих, послав одного в Авиньон, а другого в Страсбург, я расскажу вам об этом, когда у нас с вами будет мрачное настроение; готов побиться об заклад, что самый угрюмый ипохондрик разразится смехом не только при моем рассказе, но и при чтении некоторых депеш этих достойных джентльменов, которые вполне серьезно относятся к своим так называемым поручениям.

— По правде говоря, я никогда не мог понять, почему его высочество приблизил полковника и графа к своей особе.

— Как, разве полковник Варнер не является законченным типом военного? Во всем Герман-

ском союзе вы не найдете человека такого роста, с такими великолепными усами и более воинственным видом! И когда он разодет, напыщен, подтянут, украшен султаном, трудно встретить более победоносное, блистательное, гордое и красивое... животное.

— Что правда, то правда; но как раз эта внешность мешает ему казаться чрезмерно умным.

— Так вот, монсеньор считает, что благодаря полковнику он привык выносить самых надоедливых людей. Перед скучнейшей аудиенцией он запирается на четверть часика с полковником и выходит от него свежий, бодрый, готовый встретить лицом к лицу олицетворенную скуку.

— Так же поступал римский солдат перед форсированным маршем: он надевал свинцовые сандалии, дабы, сняв их, испытать облегчение и не замечать усталости. Понимаю теперь всю полезность полковника. Ну а граф фон Харнейм?

— Он тоже весьма полезен монсеньору: постоянно слыша эту старую пустозвонную погремушку, блестящую и громкую, видя этот надутый мыльный пузырь, великолепно разукрашенный, но никчемный, который являет собой театральную и ребячливую сторону верховной власти, монсеньор еще острее чувствует всю тщету этого

бесплодного великолепия и, в силу контраста, ему приходят при созерцании блистательного камергера самые серьезные и плодотворные мысли.

— Впрочем, надо быть справедливым, дорогой Мэрф, при каком дворе вы найдете более совершенный образец камергера? Кто знает лучше нашего милейшего фон Харнейма бесчисленные правила и традиции этикета? Кто умеет носить с большим достоинствам эмалевый крест на шее и с большим величием золотой ключ на спине?

— Кстати барон, по словам монсеньора, спина нашего камергера имеет особое выражение, одновременно вымученное и возмущенное, на которое бывает больно смотреть; ибо, о горе! именно на спине камергера сверкает символическое изображение его звания; поэтому так и кажется, что достойному фон Харнейму все время хочется повернуться спиной к людям, чтобы они сразу могли судить о его высоком ранге.

— В самом деле, граф постоянно размышляет над вопросом, из-за какой роковой причуды ключ камергера красуется на его спине, и говорит вполне разумно, с чувством гнева и боли: «Черт возьми! Ведь никто не открывает дверь спиной!»

— Барон! А наша почта, наша почта? — вос-

кликнул Мэрф, указывая барону на часы.

— Треклятый болтун, это ваша вина, это вы заставляете меня говорить! Засвидетельствуйте, пожалуйста, мое почтение его высочеству, — сказал барон фон Граун, поспешно берясь за шляпу. — До вечера, дорогой Мэрф.

— До вечера, дорогой барон; я немного опоздаю; уверен, что монсеньор пожелает сегодня же посетить таинственный дом на улице Тампль.

Глава VIII.
ДОМ НА УЛИЦЕ ТАМПЛЬ

Дабы пополнить сведения, полученные бароном фон Грауном о Певунье и о Жермене, сыне Грамотея, Родольф решил побывать сперва на улице Тампль, а затем в нотариальной конторе Жака Феррана и расспросить г-жу Серафен, экономку нотариуса, о семье Лилии-Марии. В доме на улице Тампль, где жил сначала Жермен, предстояло выведать у Хохотушки, где теперь нашел приют этот молодой человек, — задача довольно трудная, ибо, по всей вероятности, гризетка обещала своему дружку сохранить в тайне его новый адрес.

Сняв комнату, некогда занимаемую Жерменом, Родольф не только продвинул бы свои поиски, но и понаблюдал бы вблизи населяющих его жильцов.

В день затянувшейся беседы барона фон Грауна с Мэрфом Родольф отправился часа в три пополудни на улицу Тампль; стояла унылая зимняя погода.

Дом этот, расположенный в центре густо насе-

ленного торгового квартала, ничем не выделялся среди прочих зданий; первый этаж его был занят ликерщиком, дальше шли четыре жилых этажа, а над ними помещались мансарды.

Узкий, сумрачный проход вел в маленький дворик или, точнее, в колодец, величиной в пять-шесть квадратных футов, — смрадное вместилище всевозможных отбросов, которые летели вниз со всех этажей, ибо на каждой лестничной площадке под незастекленным слуховым окном стояло помойное ведро.

Внизу сырой, темной лестницы красноватый огонек указывал на местонахождение привратницкой с закоптелым потолком, ибо лампа горела даже днем в этом мрачном логовище, куда мы последуем с вами вслед за Родольфом, одетым как коммивояжер в будний день.

На нем было пальто непонятного цвета, старая, потерявшая форму шляпа, красный галстук и огромные допотопные галоши; в руке он нес зонтик, а чтобы выглядеть убедительнее в своей роли, держал под мышкой большой сверток тканей.

Он вошел к привратнику, чтобы тот показал ему свободную комнату.

Привратницкую освещает кенкет, стоящий

за своеобразным рефлектором — стеклянным шаром, наполненным водой. В глубине комнаты видна кровать под пестрым лоскутным одеялом; слева стоит ореховый комод, на мраморной доске которого расположены всевозможные безделушки: маленький восковой Иоанн Креститель в белокуром парике и его белый барашек, покрытые стеклянным колпаком, трещины которого заклеены полосками голубой бумаги, два светильника из покрасневшего от времени накладного серебра, свечи в которых заменены осыпанными блестками апельсинами, видимо, только что преподнесенными привратнице на Новый год, две коробки — одна из разноцветной соломы, другая — украшенная раковинами; от этих произведений искусства за версту несет тюрьмой или каторгой[67]. (Будем надеяться ради нравственности привратника с улицы Тампль, что этот подарок не был преподнесен ему в знак искреннего уважения.)

Наконец, между этими коробками стоит под стеклянным колпаком от часов пара крошечных сафьяновых сапожек, кукольных сапожек, искусно сшитых и отделанных.

---

[67] Notes: 67

Изготовлением таких коробок почти исключительно занимались заключенные и каторжники.

Этот шедевр, как говорили в старину ремесленники, а также омерзительный запах множества старых башмаков, в беспорядке выстроившихся вдоль стен, ясно говорят о том, что здешний привратник шил новую обувь, пока не опустился до починки старой. Когда Родольф отважился войти в этот вертеп, привратника заменяла его жена, г-жа Пипле. Она сидела посреди комнаты и, казалось, внимательно слушала, как ворчит на печурке (принятое в этой среде выражение) чугунок, в котором тушится к обеду мясное рагу.

Анри Монье, этот французский Хогарт, так превосходно изобразил тип французской привратницы, что попросим читателя, пожелавшего представить себе г-жу Пипле, вызвать в своей памяти самую безобразную, морщинистую, прыщавую, неряшливую, злобную и ядовитую, из привратниц, которых обессмертил этот выдающийся художник.

Мы позволим себе добавить к этому «идеалу» одну-единственную характерную черту — странную прическу в стиле императора Тита, а именно, некогда белокурый парик, расцвеченный временем множеством желтоватых, коричневых и огненных тонов, который венчал голову шестидесятилетней привратницы копной грубых,

жестких, спутанных волос.

При виде Родольфа привратница произнесла довольно неприветливо следующую сакраментальную фразу:

— Куда вам?

— Скажите, сударыня, не в этом ли доме сдается комната с чуланом? — спросил Родольф с ударением на слове сударыня, что немало польстило г-же Пипле.

— На четвертом этаже как раз сдается комната, но посмотреть ее нельзя... Альфред вышел.

— Это ваш сын? А скоро он вернется?

— Нет, сударь, это мой муж!.. Почему бы Пипле не зваться Альфредом?

— Без сомнения, сударыня, это его право; но если вы разрешите, я подожду его. Мне хотелось бы снять эту комнату: квартал и улица мне подходят; дом мне нравится, ибо, как мне кажется, он содержится в образцовом порядке. Но прежде нежели осмотреть комнату, мне хотелось бы знать, не согласитесь ли вы, — сударыня, вести мое хозяйство? Я всегда договариваюсь об этом с женами швейцаров.

Это предложение, высказанное в столь лестных выражениях (подумать только, жена швейцара!), окончательно расположило г-жу Пипле в пользу

Родольфа.

— Конечно, сударь... я согласна и почту это за честь для себя, — ответила г-жа Пипле. — За шесть франков в месяц вы будете обихожены, как принц.

— По рукам, сударыня... ваше имя?

— Помона-Фортюне-Анастази Пипле.

— Так вот, госпожа Пипле, я согласен платить вам за услугу шесть франков в месяц. Конечно, если комната мне подойдет... Какова ее цена?

— Вместе с чуланом сто пятьдесят франков, сударь, и ни лиарда меньше. Главный съемщик такой сквалыга, что готов с вас шкуру содрать.

— Как его зовут?

— Господин Краснорукий.

Это имя и вызванные им воспоминания заставили вздрогнуть Родольфа.

— Вы говорите, госпожа Пипле, что фамилия главного съемщика Краснорукий?

— Ну да... Краснорукий.

— А где он живет?

— На Бобовой улице, дом номер тринадцать; кроме того, он имеет кабачок в низине на Елисейских полях.

Все сомнения Родольфа рассеялись, это был тот самый человек... Такое совпадение показалось

ему знаменательным.

— Но если главный съемщик господин Краснорукий, то кто же владелец дома? — спросил он.

— Господин Бурден, но я имею дело лишь с Красноруким. Желая расположить к себе привратницу, Родольф продолжал:

— Вот что, милая госпожа Пипле, я немного устал да и промерз на улице... Зайдите, пожалуйста, к ликерщику, что живет в вашем доме, и принесите мне бутылку черносмородиновой наливки и два стакана... нет, три, ведь муж ваш скоро вернется.

И он дал сто су привратнице.

— Что это, сударь? Вы хотите, чтобы с первых же слов вас полюбили до обожания?! — воскликнула привратница, прыщавый нос которой загорелся всеми цветами истинно вакхического вожделения.

— Да, сударыня, я хочу быть обожаемым

— Это мне по душе, но я принесу лишь два стакана, — мы с Альфредом всегда пьем из одного. Бедный мой дорогуша, он так Падок до женщин!!!

— Ступайте, госпожа Пипле, мы подождем Альфреда.

— А что, если кто-нибудь придет?.. Вы постере-

жете привратницкую?

— Будьте спокойны. Старуха вышла.

Оставшись один, Родольф задумался о странном случае, который приблизил его к Краснорукому; одно его удивляло: как мог Франсуа Жермен прожить целых три месяца в этом доме до того, как его обнаружили сообщники Грамотея, тесно связанные с Красноруким?

В эту минуту в застекленную дверь привратницкой постучал почтальон и, приоткрыв ее, протянул два письма,

— С вас три су! — буркнул он.

— Шесть су, ведь письма-то два, — сказал Родольф.

— Одно оплачено, — отвечал почтальон. Расплатившись, Родольф бросил сперва рассеянный взгдяд

на письма, но затем они показались ему достойными внимания.

Одно, адресованное г-же Пипле, было вложено в конверт из атласной бумаги, источавшей запах дешевых духов. На его красной восковой печати выделялись буквы Ш. Р., увенчанные шлемом, которые опирались на усеянную звездами подставку креста Почетного легиона; адрес был начертан твердой рукой. Геральдические притязания, о

которых свидетельствовали шлем и крест, заставили улыбнуться Родольфа и подтвердили его догадку, что письмо это не от женщины.

Но кто же надушенный аристократический корреспондент г-жи Пипле?

Другое письмо на грубой, серой бумаге, запечатанное облаткой, было адресовано хирургу-дантисту г-ну Брадаманти. Адрес на конверте, явно написанный измененным почерком, состоял из одних заглавных букв.

Было ли это предчувствие, плод фантазии или факт, но письмо навеяло грустные мысли на Родольфа. Он заметил, что несколько букв на адресе полустерты и бумага в этом месте съежилась: здесь, видно, упала слеза.

Вернулась г-жа Пипле с бутылкой черносмородиновой наливки и двумя стаканами.

— Я замешкалась, правда, сударь? Но стоит войти в лавочку папаши Жозефа, как оттуда нипочем не вырвешься. Старый шалун! Поверите ли, он позволяет себе вольные шутки с такой пожилой женщиной, как я!

— Черт возьми! А что, если бы Альфред узнал!

— И не говорите, у меня кровь стынет в жилах, стоит только подумать об этом. Альфред ревнив, как бедуин; а между тем папаша Жозеф отпускает

свои шуточки только смеха ради, промеж нас ровно ничего нет, все по-хорошему, по-честному.

— Вот два письма, их только что принес почтальон, — сказал Родольф.

— Ах, боже мой... извините, сударь... И вы уплатили?

— Да.

— Вы очень любезны. В таком случае я вычту эти деньги из сдачи, которую вам принесла... Сколько там?..

— Три су. — ответил Родольф, улыбаясь при мысли о странном способе расчета г-жи Пипле.

— Почему три су... Вы, верно, заплатили шесть су, тут же два письма.

— Я мог бы злоупотребить вашим доверием, удержав с причитающейся мне сдачи шесть су вместо трех, но я не способен на это, госпожа, Пипле... Одно из двух писем оплачено. Не хочу быть нескромным. И все же должен обратить ваше внимание на то, что любовные записки вашего корреспондента очень хорошо пахнут.

— Посмотрим, что это такое, — проговорила привратница, беря конверт из атласной бумаги. — Признаться... похоже на любовное письмо. Подумайте, сударь, любовное письмо! Вот те на... Какой это шалопай осмелился?..

— А что, если бы Альфред был здесь, госпожа Пипле?

— И не говорите, я лишилась бы чувств в ваших объятиях.

— Молчу, молчу, госпожа Пипле!

— Какая же я дура!.. — сказала привратница, пожав плечами. — Знаю... знаю... письмо от офицера... Ах, как я испугалась! Но это не помешает мне рассчитаться с вами: итак, три су за одно из писем, да? Пятнадцать су за наливку и три су за доставку обоих писем, итого восемнадцать су; восемнадцать плюс два — двадцать су, прибавляем к двадцати су четыре франка, итого сто су. Счет дружбы не портит.

— А вот еще двадцать су, госпожа Пипле; у вас такой замечательный способ сводить счеты за выданные авансом деньги, что мне хочется поблагодарить вас за него.

— Двадцать су? Вы дарите мне двадцать су?.. Но за что же? — воскликнула г-жа Пипле, испуганная и удивленная столь неслыханной щедростью.

— Примите эти деньги как часть задатка за комнату, если я ее сниму.

— В таком случае, я согласна, но я предупрежу Альфреда.

— Разумеется, а вот и второе письмо: оно адре-

совано господину Сезару Брадаманти.

— Да... это зубодер с третьего этажа... Я положу конверт в письменный сапог.

Родольфу показалось, что он ослышался, но г-жа Пипле пресерьезно бросила письмо в старый сапог с отворотами, висящий на стене.

Родольф с удивлением взглянул на нее.

— Что это? — сказал он. — Вы кладете письмо в...

— Ну да, сударь, я кладу его в письменный сапог. Таким манером ни одна записка не потеряется; когда жильцы приходят домой, Альфред или я вытряхиваем сапог, сортируем корреспонденцию и каждый получает свое любовное письмецо.

— В вашем доме все так хорошо устроено, что мне еще больше захотелось поселиться в нем; этот сапог для писем особенно восхищает меня.

— Бог ты мой, все очено просто, — скромно, сказала г-жа Пипле. — У Альфреда остался старый непарный сапог, и мы почли за лучше.е использовать его на благо жильцов.

С этими словами привратница распечатала письмо, которое было ей адресовано; повернув его и так и этак, она в замешательстве обратилась к Родольфу:

— Обычно Альфред читает мои письма вслух,

я-то читать не умею; не могли бы вы, сударь... быть для меня тем, чем бывает Альфред?

— С удовольствием, если дело касается этого письма, — ответил Родольф, которому очень хотелось узнать, что представляет собой корреспондент г-жи Пипле.

«Завтра в пятницу, в одиннадцать часов утра, хорошенько протопите камин в обеих комнатах, протрите зеркала, и снимите чехлы с мебели и, главное, не поцарапайте позолоту, когда будете вытирать пыль.

Если я случайно задержусь и некая дама зайдет сюда, с прогулки и спросит меня под именем г-на Шарля, проводите ее в мою квартиру, ключ от которой возьмете с собой отдадите мне, когда я приду».

Несмотря на довольно неуклюже составленную записку, Родольф прекрасно понял суть дела и спросил у привратницы:

— А кто занимает второй этаж?

Старуха приложила желтый морщинистый палец к своей отвислой губе.

— Молчок... это все любовные шашни, — ответила она с лукавым смешком.

— Я спрашиваю вас об этом, милая госпожа Пипле... ведь, прежде чем поселиться в вашем

доме... хочется знать...

— Понятно... Скажи мне, с кем ты знаком, и я скажу, кто ты.

— Я как раз хотел привести эту пословицу.

— Впрочем, могу вам сообщить все, что об этом знаю, а знаю я не так уж много... Месяца полтора тому назад пришел обойщик, осмотрел второй этаж, который как раз пустовал, спросил его цену и на следующий день вернулся с красивым молодым блондином: маленькие усики, крест Почетного легиона, хорошая белая рубашка. Обращаясь к нему, обойщик говорил «ваше благородие».

— Так, значит, он военный?

— Военный! — сказала г-жа Пипле, пожимая плечами. — Полноте! С таким же успехом Альфред мог бы выдавать себя за швейцара.

— Так кто же он?

— Да состоит кем-то при штабе городской полиции; обойщик величал его «благородием» из подхалимства. Ведь и Альфреду льстит, когда его называют швейцаром. Наконец, когда офицер (мы знаем его только под этим именем) все осмотрел, он сказал обойщику: «Ладно, мне это подходит, повидайтесь с хозяином. И отделайте комнаты». «Да, ваше благородие...» И обойщик

подписал с Красноруким арендный договор на свое имя, уплатив ему за полгода вперед: видно, молодой человек не хочет, чтобы знали, кто он такой. Тут же пришли рабочие, все перевернули вверх дном, привезли диваны, шелковые занавески, зеркала в позолоченных рамах, великолепную мебель: теперь на втором этаже стало так же красиво, как в каком-нибудь кафе на бульварах! Не считая ковров, да таких толстых, мягких, что ходишь по ним, точно по звериным шкурам... Когда все было закончено, офицер пришел взглянуть, что получилось, и сказал Альфреду: «Не возьметесь ли вы содержать в порядке эту квартиру, протапливать ее время от времени и особенно к моему приходу, о котором я предупрежу вас письмом: бывать здесь я буду не часто». — «Да, ваше благородие», — ответил ему подлипала Альфред. «Скажите, сколько вы с меня возьмете?» — «Двадцать франков в месяц, ваше благородие». — «Двадцать франков, полноте, вы шутите, привратник!» И вот этот красавчик начинает торговаться, как какой-нибудь сквалыга, и мытарить простой народ из-за паршивой пятифранковой монеты, хотя только что выложил, не моргнув глазом, кучу денег за квартиру, в которой и жить-то не будет! Наконец

мы все-таки выжали из него двенадцать франков! Право, тут поневоле взбеленишься! Грошовый офицеришка, чтоб тебе!.. Какая разница с вами, сударь! — продолжала привратница, с приятной улыбкой обращаясь к Родольфу. — Вы не выдаете себя за офицера, вид у вас самый неказистый, и все же вы сразу договорились со мной о шести франках.

— И с тех пор этот молодой человек больше не появлялся?

— Погодите, самое забавное то, что дама здорово промариновала офицера. Он уже трижды просил, как сегодня, протопить камины и прибрать комнаты в ожидании дамы. Небось все глаза проглядел!

— Никто не явился?

— Слушайте дальше. В первый раз офицер пришел разодетый, что-то напевая сквозь зубы с этаким победительным видом; он прождал добрых два часа... никого; когда он вновь проходил мимо привратницкой, мы с Пипле ждали, чтобы взглянуть на его рожу и посмеяться над ним. «Ваше благородие, — сказала я, — решительно никто не приходил к вам, ни одна дама не спрашивала вас». — «Ладно, ладно!» — пробурчал он и быстро зашагал прочь; вид у него был

пристыженный, разъяренный, и от злости он грыз ногти. Во второй раз посыльный приносит записку, адресованную господину Шарлю; я заподозрила, что и на этот раз вышла осечка; мы с Пипле как раз потешались над офицером, когда он появился. «Ваше благородие, — говорю я и как заправский служака прикладываю руку к парику, — вам письмо; видно вам и сегодня придется бить отбой!» Он смотрит на меня гордый, как Артабан, вскрывает письмо, читает его и краснеет как рак; затем, стараясь не показать вида, что раздосадован, говорит нам «Я знал, что никто не придет, и зашел лишь для того, чтобы попросить вас получше убирать помещение». Офицер лгал, хотел скрыть, что дамочка водит его за нос; затем он ушел, поводя плечами и напевая сквозь зубы, но по всему бы то видно, что он донельзя раздосадован, уж поверьте мне... Поделом тебе, поделом, грошовый офицеришка! Пусть это послужит тебе уроком, когда вздумаешь выгадывать на уборке квартиры.

— Ну а в третий раз?

— В третий раз я подумала, что дело в шляпе. Офицер пришел расфуфыренный; глаза прямо из орбит вылезали, таким он казался довольным и самоуверенным. Ничего не скажешь, красивый

молодой человек... прекрасно одетый и надушенный мускусом... Он не шел, а словно летел на радостях. Берет свой ключ и говорит нам с видом насмешливым и чванным: «Предупредите даму, что моя дверь против лестницы...» Хотя мы и не рассчитывали на приезд дамы, но у нас с Пипле так разгорелось любопытство, что мы вышли из привратницкой и встали у порога входной двери. На этот раз у нашего дома остановилась синяя извозчичья карета с зашторенными окнами. «Понятное дело, это она, — говорю я Альфреду. — Давай отойдем немного, чтобы не вспугнуть ее». Извозчик отворяет дверцу кареты. Тут мы увидели даму с муфтой на коленях; лицо ее было скрыто под черной вуалеткой и носовым платком, который она прижимала ко рту; видимо, плакала; но едва подножка была опущена, дама, вместо того чтобы выйти, сказала несколько слов удивленному кучеру, который захлопнул дверцу.

— И дама не вышла из экипажа?

— Нет, сударь, она забилась в угол и закрыла глаза руками. Я подбегаю к извозчику, который уже влез не сиденье, и говорю ему: «Что это, приятель? Вы как будто возвращаетесь?» — «Да», — отвечает он мне. «А куда?» — спрашиваю я.

«Туда, откуда приехал». — «А откуда вы приехали?» — «С угла улиц Святого Доминика и Удачной Охоты».

При этих словах Родольф вздрогнул.

Маркиз д'Арвиль, один из лучших его друзей, находившийся ныне в состоянии глубокой меланхолии, жил как раз на углу этих двух улиц.

Неужели эта женщина, шедшая навстречу своей погибели, была маркизой д'Арвиль? Подозревал ли ее муж в измене? Измена жены была, вероятно, единственной причиной снедавшего его отчаяния.

Эти догадки, сомнения не давали покоя Родольфу. Хотя он и бывал в обществе ближайших друзей маркиза, но не видел там ни одного человека, напоминающего красавца офицера. В конце концов, женщина, о которой шла речь, могла нанять извозчика на углу этих улиц, хотя и жила в другом квартале, ничто не указывало на то, что это была маркиза д'Арвиль. И все же смутные, тяжелые подозрения не покидали Родольфа.

Его беспокойный, озабоченный вид не укрылся от привратницы.

— В чем дело, сударь? О чем задумались? — спросила она.

— Не могу понять, почему эта женщина, дое-

хавшая до двери вашего дома... вдруг переменила решение.

— Что поделаешь, сударь, мы, бедные женщины, так слабы, так боязливы: какая-нибудь мысль, неожиданность, суеверие — все пугает нас, — сказала омерзительная баба, скромно и стыдливо опуская глаза. — Мне кажется, вздумай я наставить рога Альфреду, я долго не могла бы собраться с духом. Но со мной такого никогда не было! Бедный мой дорогуша! Ни один мужчина на свете не может похвастать...

— Охотно верю, госпожа Пипле... Но эта молодая женщина...

— Не знаю, молода ли она; я видела только кончик ее носа. Знаю только, что она приехала тайком и тайком же уехала. Если бы нам с Альфредом дали десять франков, мы и то не были бы так довольны.

— Почему?

— Из-за мины, которую должен был скорчить офицер; ей-богу, из-за одного этого можно было бы лопнуть со смеху. Сначала мы больше часа заставили его потомиться, помариноваться. После чего я поднялась к нему: на моих бедных больных ногах были только мягкие туфли без каблука; подхожу к двери, она в двух шагах отсюда. Толк-

нула ее, она скрипнула; на лестнице темно, как в печке, в передней квартиры тоже темно. Как только я вошла, офицер сжимает меня в объятиях и говорит этаким ласковым голосом: «Ангел мой, ангел мой, как поздно ты приехала!..»

Несмотря на обуревавшие его тягостные мысли, Родольф не мог удержаться от смеха, — особенно при взгляде на безобразный парик и на отвратительную морщинистую, прыщавую физиономию героини этого нелепого недоразумения.

— Хе-хе-хе, ну и положение! — продолжала г-жа Пипле, хохоча, от чего ее лицо, сморщившись, стало еще безобразнее. — Послушайте, что было дальше. Я ничего не отвечаю, задерживаю дыхание и не мешаю офицеру обнимать меня; вдруг этот грубиян вскрикивает и отталкивает меня, да еще с таким отвращением, словно дотронулся до паука: «Но, черт побери, кто вы такая?» — «Это я, господин офицер, госпожа Пипле, привратница, а потому вы должны убрать руки, не обнимать меня за талию, не называть своим ангелом и не говорить, что я пришла слишком поздно. А что если бы Альфред видел все это?» — «Что вам здесь понадобилось?» — воскликнул он в ярости. «Ваше благородие, только что на извозчике приехала дамочка». — «Ну так проводите ее ко мне! Вы иди-

отка! Разве я не велел вам проводить ее ко мне?» Я не прерываю его, а он все говорит, говорит. «Да, — это правда, — отвечаю я наконец. — Вы приказали проводить ее к вам». — «Ну а вы?» — «Дело в том, что дамочка...» — «Да отвечайте же!» — «Дело в том, что дамочка уехала». — «Конечно, вы сказали или сделали какую-нибудь глупость!» — вскричал он, все более кипятясь. «Нет, ваше благородие, дамочка не вышла из кареты; когда извозчик открыл дверцу, она велела отвезти ее обратно». — «Извозчик, верно, недалеко!» — воскликнул он, бросаясь к двери. Как бы не так! Она уехала больше часа назад», — отвечаю я. «Больше часа! Больше часа! Почему же вы сразу не предупредили меня!» — вскричал он, трясясь от гнева. «Как вам сказать... мы боялись вас расстроить, ведь вы опять не окупили своих расходов». Вот тебе, щеголь, подумала я, теперь ты уж не скажешь, что тебя тошнит от прикосновения ко мне. «Убирайтесь отсюда и перестаньте делать и болтать глупости!» — в бешенстве проговорил он, расстегивая свой татарский халат и бросая на пол шитый золотом бархатный греческий колпак... Красивый колпак, ей-богу. А халат-то! От него глаза слепило, и офицер походил в нем на светляка...

— И с тех пор ни он, ни эта дама не появлялись здесь?

— Нет, но подождите конца истории, — проговорила г-жа Пипле.

Глава IX.
ТРИ ЭТАЖА

А конец этой истории, — продолжала г-жа Пипле, — вот какой: я мигом сбегаю по лестнице, чтобы обо всем рассказать Альфреду. У нас в комнате как раз собрались привратница из дома девятнадцать и торговка устрицами, она живет рядом с ликерщиком; я рассказываю им о том, как офицер называл меня ангелом и брал за талию. Что тут смеха было! Даже Альфред смеялся, хотя он и стал мелан... да, меланхоликом, сам так говорит, после выходок этого чудища Кабриона...

Родольф удивленно взглянул на привратницу.

— Да, попозже, когда мы с вами еще крепче сдружимся, вы узнаете об этой истории. Тут, несмотря на свою меланхолию, Альфред принимается звать меня «ангелом». В эту минуту офицер выходит из своей квартиры и запирает ее на ключ; но, услышав наш смех, он не решается пройти мимо привратницкой от страха перед нашими насмешками. Мы мигом смекнули, в чем дело, и торговка устрицами принялась кричать своим грубым голосом: «Пипле, как поздно ты

пришел, мой ангел!» Тут офицер возвращается обратно, с грохотом захлопывает дверь: по всему видно, что он зол как черт... Даже кончик носа у него побелел... Затем он раз десять приоткрывал дверь, слушал, остался ли народ в привратницкой.

Мы все еще были там, даже с места не двинулись. Видя, что нас не переждешь, он взял себя в руки, мигом спустился с лестницы, бросил мне ключ, а торговка тем временем повторяла: «Как поздно ты пришла, мой ангел!»

— Но офицер мог отказаться от ваших услуг.

— Как бы не так! Он не посмел бы. Он у нас в руках. Мы знаем, где живет его зазноба; стоит ему нагрубить нам, мы выведем его шашни на чистую воду. Да и, кроме того, за какие-то дрянные двенадцать франков никто не возьмется убирать его квартиру! Ну а если он найдет женщину со стороны, мы ее так допечем, что она жизни не будет рада. Скаред несчастный! И поверите ли, сударь, он дошел в своей мелочности до того, что проверяет, сколько поленьев мы сожгли в ожидании его прихода. Он выскочка, разбогатевший проходимец. Голова у него вельможи, а сердце проходимца; истратил деньги на одно, а на другом хочет сэкономить, вот и скряжничает. Я не

желаю ему зла, но уж очень забавно смотретьг как его милка водит этого офицеришку за нос. Пари Держу, что завтра повторится то же самое. Я позову торговку устрицами, которая была с нами в тот раз: это ее позабавит. Если дамочка придет, мы узнаем, брюнетка она или блондинка и смазливая ли у нее рожица, Подумать только, что за простофиля ее муж! Умора, да и только! Не правда ли, сударь? Но это уже дело самого бедняги рогоносца. Завтра мы наконец увидим дамочку; и несмотря на ее вуалетку, ей придется низко-низко опустить головку, чтобы мы не разглядели, какого цвета у нее глаза. Вот еще одна «дважды потерявшая стыд», как говорят у меня на родине; она идет к мужчине и проверяется, будто ей страшно. Но простите-извините, мне надо снять с огня рагу. Слышу, оно само просится в рот. Сегодня у меня рубец, это немного развеселит Альфреда; как говорит мой старый дорогуша, ради рубца он готов продать Францию... свою прекрасную Францию!..

В то время, как г-жа Пипле занималась своими кулинарными делами, Родольф предавался грустным размышлениям.

Эта молодая женщина (не важно, шла ли речь о маркизе д'Арвиль или о ком-нибудь другом),

конечно, долго колебалась, долго боролась с собой, прежде чем согласиться на первое и на второе свидание, но спасительные укоры совести, наверно, помешали ей сдержать свое роковое обещание.

Наконец, уступая необоримому влечению, она подъезжает в слезах, дрожа от страха, к порогу этого дома; однако в ту самую минуту, когда несчастная готова навеки погубить себя, в душе ее раздается голос долга, и она снова избегает бесчестья.

Но ради кого пренебрегает она стыдом и опасностями?

Родольф знал свет и человеческое сердце; он довольно верно определил характер офицера по нескольким штрихам, грубо, наивно приведенным привратницей.

По-видимому, этот человек был настолько глуп и тщеславен, что кичился своим ничтожным; с военной точки зрения, чином, и настолько лишен такта, что не подумал скрыть свою особу под непроницаемым инкогнито, дабы окружить глубокой тайной поступки женщины, которая всем рисковала ради него; и, наконец, до того туп и жаден, что из-за нескольких луидоров подверг свою любовницу наглым гнусным насмешкам

обитателей этого дома!

Итак, завтра эта молодая женщина приедет, трепещущая, потерянная, на свиданье, влекомая роковым соблазном, сознавая всю величину совершаемого проступка и не имея иной поддержки среди обуревающего ее сомнения, кроме слепой веры в скромность, порядочность избранника своего сердца, которому она отдает больше нежели жизнь; и кроме того, ей предстоит преодолеть наглое любопытство нескольких мерзавцев, а быть может, и услышать их грязные шутки.

Какой стыд! Какой жестокий урок, какое откровение для сбившейся с пути женщины, которая жила до тех пор лишь среди самых пленительных, поэтичных иллюзий любви!

А мужчина, ради которого она рискует бесчестьем, пренебрегает опасностями, будет ли он хотя бы тронут теми мучительными тревогами, которые она переносит из-за него?

Нет...

Бедная женщина! Слепая страсть в последний раз увлекает ее на край пропасти. Мужественным усилием воли она снова спасает свою добродетель. Что почувствует ее герой, подумав об этой тягостной, об этой святой борьбе?

Он почувствует досаду, злобу, гнев при мысли,

что трижды напрасно потревожил себя и что его дурацкому чванству нанесен серьезный ущерб в глазах... привратника.

Наконец, последний штрих его неслыханно грубого поведения: для первого свидания человек этот говорит и одевается так, что он должен вызвать растерянность, замешательство у женщины, и без того подавленной смятением и стыдом!

«О, — думал Родольф, — какой страшный урок был бы... преподан этой женщине (надеюсь, мне незнакомой), если бы она услышала, в каких мерзких выражениях говорилось здесь о ее поведении, несомненно, преступном, но которое стоило ей стольких слез, опасений и таких жгучих угрызений совести!»

И, представив себе, что героиней этой печальной истории могла быть маркиза д'Арвиль, Родольф задумался о том, в силу какого ослепления, какого рока она могла предпочесть г-ну д'Арвилю, молодому, умному, преданному, щедрому и, главное, нежно ее любящему, этого недалекого, скупого, заядлого эгоиста? Неужели она влюбилась во внешность офицера, как говорят, очень красивого?

Однако Родольф знал г-жу д'Арвиль как женщи-

ну со вкусом, сердечную, умную, с возвышенным характером и незапятнанной репутацией. Где она познакомилась с этим человеком? Родольф довольно часто бывал в ее доме и не мог припомнить, чтобы ему доводилось встречать там молодого человека, похожего на этого военного. По зрелом размышлении он почти убедил себя, что речь шла не о маркизе.

Госпожа Пипле, закончив свои кулинарные хлопоты, снова подошла к Родольфу.

— Кто живет на третьем этаже? — спросил он.

— Мамаша Бюрет, редкостная гадалка. Она читает по вашей руке как по открытой книге. У нее бывают очень приличные люди с просьбой погадать им... Она загребает большущие деньги. Да и к тому же гадание не единственное ее ремесло.

— Чем же она еще занимается?

— У нее на дому имеется, так сказать, ссудная касса.

— Что такое?

— Я говорю вам об этом, потому что вы еще молодой человек, а такая касса может побудить вас снять у нас комнату.

— Почему?

— Скоро масленица, на улицах появятся ряженые: пьеро и пьеретты, грузчики, турки, дикари;

в эти дни даже зажиточные люди бывают стеснены в деньгах... Подумайте, как удобно найти выход из положения в своем же доме, вместо того чтобы бежать к «моей тетушке», что гораздо унизительнее, ведь от правительства такого шага не скроешь.

— К вашей тетушке? Значит, она ссужает деньги под залог?

— Неужели вы этого не знаете?.. Полноте, шутник этакий!.. Не прикидывайтесь простаком!

— Я вовсе не прикидываюсь простаком! Почему вы так думаете, госпожа Пипле?

— Спрашиваете, — дает ли «моя тетушка» деньги под залог.

— Потому что...

— Потому что все люди, вышедшие из детского возраста, знают, что сходить к «моей тетушке» значит отнести что нибудь в ссудную кассу.

— А, понимаю... жилица с третьего этажа тоже ссужает деньги под залог.

— Ну и притворщик! Конечно, — и гораздо дешевле, чем в большой кассе. Да и, кроме того, иметь с ней дело очень просто... Вы не обременены кучей бумаг, расписок, цифр... ничего такого вам не требуется. Возьмем такой пример: вы приносите мамаше Бюрет рубашку, которая стоит

три франка, она дает вам на руки десять су, через неделю вы уплачиваете ей двадцать су, в противном случае ваша рубашка остается у нее. Это же проще простого, правда? Расчет идет в круглых цифрах! Ребенок и тот поймет это.

— В самом деле, все очень просто; но я полагал, что давать деньги под залог запрещено законом.

— Ха! ха! ха! — громко расхохоталась г-жа Пипле. — Вы что, недавно из деревни приехали, молодой человек?.. Простите, я разговариваю с вами так, как если бы была вашей матерью.

— Вы очень добры.

— Понятное дело, запрещено; но если бы люди делали только то, что дозволено, многим пришлось бы потуже затянуть пояс. Мамаша Бюрет ничего не записывает, не дает никаких квитанций, против нее нет улик, и ей плевать на полицию. Вы бы посмотрели, чего только ей не приносят, можно животики надорвать! Я видела, что она ссужала деньги род залог серого попугая, который ругался как одержимый, негодник эдакий!

— Под залог попугая? Сколько же он стоил?

— Погодите... Его здесь все знают: это попугай госпожи Эрбело, вдовы почтальона, которая живет неподалеку отсюда, на улице Сент-Авуа;

она дорожит им больше жизни; мамаша Бюрет говорит ей: «Я вам ссужу десять франков под вашу птицу, но если через неделю, в полдень, я не получу своих двадцать франков...»

— Десяти франков...

— Вместе с процентами выходило ровно двадцать франков плюс расходы на кормежку, — «я дам Жако несколько листиков петрушки, приправленных мышьяком». Можете не сомневаться, она прекрасно знает своих клиентов. Ровно через неделю напуганная госпожа Эрбело принесла требуемые двадцать франков и получила обратно свою противную птицу, которая с утра до ночи выкрикивала ругательства. Да такие, что они заставляют краснеть Альфреда, человека донельзя стыдливого. Оно и понятно: его отец был священником... а в революцию, знаете... иные священники женились на монахинях.

— Полагаю, у мамаши Бюрет нет другого ремесла?

— Другого нет, если хотите. Не знаю только, чем они иной раз занимаются с одноглазой по прозвищу Сычиха, запершись в комнатушке, куда никто не входит, за исключением Краснорукого.

Родольф в изумлении взглянул на привратницу. Последняя по-своему объяснила удивление

своего будущего жильца.

— Странное прозвище, правда?

— Да... И эта женщина часто сюда приходит?

— Она не появлялась полтора месяца; но позавчера мы видели ее, она стала немного прихрамывать.

— Чем же она занимается со здешней гадалкой?

— Чего не знаю, того не знаю. Видела только, что в комнатушку, о которой я вам говорила, Сычиха входит не иначе как с господином Краснорукими и с мамашей Бюрет; я заметила также., что в эти дни одноглазая что-то приносит в своей корзине, а господин Краснорукий прячет какой-то сверток под плащом, но обратно они ничего не выносят.

— А что может быть в этих свертках?

— Кто его знает, но из всего этого они приготовляют какое-то зелье, так как на лестнице чувствуется запах серы, угля и расплавленного олова; а потом слышишь, что у них в комнате что-то пыхтит, пыхтит, пыхтит... словно кузнечные мехи. Ясное дело, мамаша Бюрет либо ворожит, либо колдовством занимается... Так говорит, по крайней мере, жилец с четвертого этажа, господин Сезар Брадаманти. Ну и тип, я вам доложу! Я называю его типом, по-настоящему же он ита-

льянец, хоть и говорит по-французски, как мы с вами, только с сильным акцентом. Главное, он очень ученый: всякие лекарственные растения знает и зубы умеет рвать, и делает это не за деньги, а чтобы заслужить уважение людей. Скажем, у вас есть шесть гнилых зубов, он вырвет вам пять задаром, а плату возьмет лишь за шестой, сам об этом говорит встречным и поперечным. И не его это вина, если у вас нет шестого испорченного зуба.

— Как это великодушно с его стороны!

— Кроме того, он торгует превосходной водой: она помогает при выпадении волос, вылечивает глазные болезни, мозоли на ногах, расстройство желудка и уничтожает крыс лучше всякого мышьяка.

— И этой же водой он лечит расстройство желудка?

— Да.

— И ею же убивает крыс?

— Да, всех до единой, потому что лекарство, полезное человеку, бывает вредно животным.

— Вы правы, госпожа Пипле, я не подумал об этом.

— А вода эта очень хороша, ведь она настояна на травах, которые господин Брадаманти собрал

в горах Ливана, там, где живут люди, похожие на американцев; оттуда он вывез и своего злющего коня, белого с коричневатыми пятнами. Знаете, когда господин Сезар Брадаманти, одетый в красный костюм с желтыми отворотами и в шляпе с пером, сидит в седле, стоит раскошелиться, чтобы взглянуть на него. Не в обиду будь ему сказано, он походит тогда со своей рыжей бородой на Иуду Искариота. Месяц тому назад он нанял Хромулю, сына господина Краснорукого, и одел его на манер трубадура: черная шапочка, белый воротничок и абрикосовая курточка; мальчишка бьет в барабан возле господина Сезара, чтобы привлечь к нему клиентов. И кроме того, ухаживает за пятнистым конем дантиста.

— По-моему, сын вашего главного съемщика занимает весьма скромную должность.

— Отец говорит, что мальчишка должен узнать почем фунт лиха, иначе он кончит жизнь на эшафоте. В самом деле Хромуля хитер, как обезьяна... и злюка при этом. Он не одну шутку сыграл с бедным господином Сезаром, честнейшим из людей. Подумайте только, он вылечил Альфреда от ревматизма, после чего мы оба питаем к нему слабость. А некоторые зловредные люди утверждают, сударь... но нет, от таких слов полосы

встают дыбом. Альфред говорит, что, если это правда, дело могло бы обернуться каторгой.

— Скажите же, в чем тут дело?

— Не смею, язык не повернется.

— Ну так забудем об этом.

— Видите ли, честное слово, сказать такое молодому человеку.

— Не будем говорить об этом, госпожа Пипле.

— Но поскольку вы будете жить в нашем доме, лучше предупредить вас об этих сплетнях. Ведь вы можете зайти к господину Брадаманти, подружиться с ним, а стоит вам поверить таким слухам, и они помешают вашему знакомству.

— Говорите, я слушаю.

— Болтают, что когда... девушке случится сделать глупость... понимаете? И она боится последствий...

— И что же?

— Право, не смею.

— Ну же!..

— Нет, к тому же это глупости...

— Скажите все-таки.

— Враки.

— Скажите, какие именно?

— Это говорят люди, завидующие пятнистому коню господина Сезара.

— Отлично, но что же они говорят, в конце концов?

— Язык не поворачивается.

— Но какое может быть отношение между девушкой, сделавшей глупость, и шарлатаном?

— Я не говорю, что это правда!

— Но, ради бога, в чем тут дело? — воскликнул Родольф, выведенный из терпения странными недомолвками г-жи Пипле.

— Послушайте, молодой человек, — продолжала привратница торжественным тоном, — дайте мне честное слово, что никогда, никому не повторите моих слов!

— Прежде чем дать вам такую клятву, я должен знать, в чем дело.

— Если я расскажу вам об этом, то не из-за шести франков, которые вы мне обещали, не из-за черносмородиновой настойки...

— Хорошо, хорошо.

— А только из-за доверия, которое вы мне внушаете.

— Пусть так.

— И чтобы оказать услугу этому бедному господину Брадаманти, оправдать его в ваших глазах.

— Ваши намерения превосходны, не сомневаюсь, итак...

— Ну вот, опять у меня язык не поворачивается. Знаете, я вам скажу это на ушко, мне будет не так стыдно... Подумать только, какой я ребенок, а?

И старуха шепотом сказала несколько слов Родольфу, который вздрогнул от омерзения.

— Но это ужасно! — воскликнул он, невольно вскакивая на ноги и чуть ли не со страхом смотря вокруг себя, словно этот дом был проклят. — Боже мой, боже мой! — прошептал он в горестном недоумении. — Так, значит, такие чудовищные преступления возможны! И эта омерзительная старуха чуть ли не равнодушно отнеслась к сделанному ею гнусному признанию.

Привратница, продолжавшая заниматься хозяйством, не услышала этих слов Родольфа.

— Такие пакости могут говорить лищь злостные сплетники, — проговорила она. — Как они смеют чернить человека, вылечившего Альфреда от ревматизма, привезшего из Ливана пятнистую лошадь, бесплатно удаляющего пять зубов из шести, имеющего аттестаты со всей Европы, который день в день вносит квартирную плату? Ей-богу, лучше умереть, чем поверить подобным россказням!

В то время как г-жа Пипле кипела негодованием против клеветников шарлатана, Родольф

вспомнил письмо, адресованное этому человеку, которое было написано на толстой бумаге, измененным почерком, со следами от слез, размывших иные буквы.

Родольф почувствовал драму в этих слезах, в этом таинственном послании.

Страшную драму.

Предчувствие подсказало ему, что жуткие слухи, ходившие об итальянце, не были лишены основания.

— А вот и Альфред, — вскричала привратница, — он скажет вам, как и я, что только злые языки могут обвинять во всяких ужасах этого бедного господина Сезара Брадаманти, который вылечил его от ревматизма.

Глава X.
ГОСПОДИН ПИПЛЕ

Считаем нужным напомнить читателю, что все эти факты относятся к 1838 году...

Господин Пипле вошел в привратницкую с видом серьезным, осанистым; у этого человека, лет шестидесяти от роду, был огромный нос, внушительная полнота, большое лицо, вылепленное и раскрашенное вроде нюрнбергских щелкунчиков. Над этим странным и неподвижным лицом возвышался расширяющийся кверху широкополый и порыжевший от старости цилиндр.

На Альфреде, не расстававшемся с этой шляпой так же, как его жена не расставалась со своим причудливым париком, был старый зеленый костюм с длинными полами и словно свинцовыми отворотами, ибо они лоснились от грязи. Несмотря на цилиндр и зеленый костюм, не лишенный парадности, он не снял скромной эмблемы своего ремесла — кожаного фартука, рыжеватый треугольник которого выделялся на фоне жилета, такого же пестрого, как лоскутное одеяло г-жи Пипле.

Привратник довольно приветливо раскланялся с Родольфом, но, увы, улыбка его была преисполнена горечи. Кроме того, в ней сквозила та глубокая меланхолия, о которой говорила Родольфу г-жа Пипле.

— Альфред, этот господин хочет снять комнату с чуланом на пятом этаже, — сказала г-жа Пипле, представляя Родольфа своему мужу, — и мы ждали тебя, чтобы вместе распить по стаканчику черносмородиновой наливки, которую он заказал.

Эта любезность сразу расположила г-на Пипле к Родольфу: он поднес руку к своей шляпе и произнес голосом, достойным певчего из кафедрального собора:

— Уверен, сударь, мы ублаготворим вас как привратники, а вы ублаготворите нас как жилец: ведь кто на кого похож, тот с тем и схож. Если только, — с тревогой добавил г-н Пипле, — вы не художник.

— Нет, я коммивояжер.

— В таком случае, сударь, разрешите засвидетельствовать вам мое нижайшее почтение. Я счастлив, что природа не создала вас художником — все они исчадья ада!

— Художники — исчадья ада? — переспросил

Родольф. Вместо ответа г-н Пипле поднял руку к потолку и издал нечто вроде негодующего стенания.

— Именно художники отравили жизнь Альфреду. Это они вызвали, у него меланхолию, о которой я вам говорила, — тихо сказала г-жа Пипле Родольфу.

И продолжала громче ласковым тоном:

— Полно, Альфред, будь благоразумен, не думай об этих повесах... иначе ты вконец расстроишься, и не станешь обедать.

— Нет, я возьму себя в руки и буду благоразумен, — ответил г-н Пипле с печальным"достоинством человека, смирившегося со своей участью. — Некий художник сделал мне много зла: он был моим преследователем, моим палачом, но теперь я презираю его. Поверьте, сударь, — продолжал он, повернувшись лицом к Родольфу, — художники — хуже чумы: они пачкают, разрушают дома.

— У вас снимал комнату художник?

— Увы, сударь, был у нас один такой! — с горечью молвил г-н Пипле. — Звали его Кабрионом!

При этом воспоминании привратник судорожно сжал кулаки, несмотря на свою кажущуюся сдержанность.

— Не он ли был последним жильцом комнаты,

которую я собираюсь снять? — спросил Родольф.

— Нет, нет, последний был славным парнем по имени Жермен, а до него ее занимал Кабрион. Можете мне поверить, сударь, до того, как этот Кабрион съехал с квартиры, он чуть не довел меня до болезни, до сумасшествия.

— Неужели вы так сожалели об его отъезде? — спросил Родольф.

— Сожалеть о Кабрионе! — изумленно воскликнул привратник. — Сожалеть о Кабрионе! Представьте себе, сударь, господин Краснорукий уплатил ему двухмесячную квартирную плату, чтобы заставить его убраться отсюда; ибо, на наше несчастье, с ним был заключен договор на целый год. Ну и сорванец! Уму непостижимо, какие фортели он выкидывал с нами и с жильцами этого дома. Приведу вам один пример: не было такого духового инструмента, от охотничьего рожка до серпента, которым не воспользовался бы этот мерзавец! Да еще нарочно фальшивил при игре или повторял целыми часами одну и ту же ноту. От этого у всех нас голова раскалывалась. Мы больше двадцати раз подавали прошение господину Краснорукому, главному съемщику, прося его выгнать этого прощелыгу. Наконец мы добились своего, уплатив ему двухмесячную

квартирную плату. Что за несуразица, сударь, платить съемщику за два месяца вперед! Но мы готовы были уплатить ему за три месяца, лишь бы избавиться от него. Наконец он уезжает... Вы, может быть, думаете, что с Кабрионом покончено? Ничего подобного. На следующий день в одиннадцать часов вечера я уже успел лечь спать. Бум, бум, бум! Кто-то стучит. Я дергаю за веревку. Какой-то мужчина входит в привратницкую. «Добрый вечер, привратник, — говорит незнакомый голос, — будьте так любезны, дайте мне прядь своих волос!» Супруга говорит мне: «Этот человек ошибся дверью!» И я отвечаю неизвестному «Это не здесь, обратитесь рядом». — «Но ведь это дом семнадцать? И фамилия его привратника Пипле?» — «Да, говорю я, моя фамилия Пипле». — «Дружище, я попрошу прядь ваших волос для Кабриона; это его желание, личная его просьба, она ему необходима».

Господин Пипле взглянул на Родольфа, покачал головой и скрестил на груди руки в поистине скульптурной позе.

— Понимаете, сударь? Он бесстыдно просил у меня, своего смертельного врага, которого поносил на все лады, прядь моих волос — милость, в которой дамы отказывают иной раз даже своему

возлюбленному.

— Куда бы еще ни шло, будь этот Кабрион хорошим жильцом вроде господина Жермена, — заметил Родольф с невозмутимым хладнокровием.

— Даже в этом случае я не дал бы ему пряди своих волос, — величественно сказал человек в цилиндре, — это не в моих принципах, не в моих привычках; но с другим человеком я счел бы своим долгом облечь отказ в вежливую форму.

— Это еще не все, — подхватила привратница. — Предоставьте себе, сударь, что с того самого дня, в любой час — утром, вечером, ночью, этот мерзкий человек подсылал к Альфреду кучу молоденьких мазил, которые являлись один за другим и требовали у Альфреда прядь его волос для Кабриона!

— Вы, может быть, думаете, что я сдался? — возмущенно заявил г-н Пипле. — Как бы не так! Меня скорее бы отправили на эшафот! После трех-четырех месяцев упорства с их стороны и сопротивления с моей я восторжествовал благодаря энергии и выдержке над этими негодяями. Они поняли, что натолкнулись на железную волю, и отказались от своих наглых выходок. Но все же, сударь, я получил удар вот Сюда. — Аль-

фред поднес руку к сердцу. — Сон у меня сделался тревожным, словно я совершил преступление. Я поминутно просыпался, так как мне чудился голос этого проклятого Кабриона. Я опасался всех и каждого, в любом человеке видел врага; я потерял свою обычную приветливость. Когда в окне привратницкой появлялось чужое лицо, я вздрагивал, опасаясь, что это кто-нибудь из банды Кабриона. Я стал подозрительным, хмурым, злоязычным, словно преступник... Я боялся открыть свою душу при первом знакомстве из страха, что этот человек подослан Кабрионом; я потерял вкус ко всему на свете.

Тут г-жа Пипле поднесла указательный палец к своему левому глазу, словно для того, чтобы смахнуть набежавшую слезу, и утвердительно кивнула.

— В конце концов я замкнулся в себе, — продолжал Альфред все более жалобным тоном, — и равнодушно смотрю, как течет река жизни. Разве я был неправ, говоря, что Кабрион, это исчадие ада, отравил мое существование?

И г-н Пипле, глубоко вздохнув, склонил свой высокий цилиндр, словно под гнетом огромного несчастья.

— Понимаю теперь, почему вы не любите ху-

дожников, — заметил Родольф, — но, надеюсь, господин Жермен, о котором вы упоминали, сгладил неприятное впечатление, оставленное Кабрионом?

— О да, сударь! Вот поистине добрый и достойный молодой человек, бесхитростный, услужливый, не гордый и по-настоящему веселый, так как его шутки никого не задевали, он полная противоположность нахальному и насмешливому Кабриону, да покарает его господь!

— Полно, успокойтесь, дорогой господин Пипле, не произносите больше его имени. А какого же домовладельца осчастливил теперь гоподин Жермен, этот перл всех жильцов?

— О господине Жермене нет ни слуху ни духу... Никто не знает, куда он переехал... Никто... За исключением мамзель Хохотушки.

— Хохотушки? Кто она такая? — спросил Родольф.

— Простая работница и тоже живет на пятом этаже, — подхватила г-жа Пипле. — Она настоящая жемчужина: за квартиру платит загодя, и такая чистюля, такая любезная и веселая... ласковая, радостная, точно птичка божия. И прилежная, как Золушка; иной раз она зарабатывает до двух франков в день, но, понятно, для этого ей

приходится здорово гнуть спину.

— Но почему мадемуазель Хохотушка одна знает, где живет Жермен?

— Прежде чем выехать из нашего дома, — продолжала г-жа Пипле, — он сказал нам: «Писем я не жду, но если случайно придет письмо на мое имя, отдайте его мамзель Хохотушке». Ведь правда, Альфред, ей вполне можно доверить даже ценное письмо?

— Да, насчет мамзель Хохотушки ничего дурного не скажешь, — сурово заметил привратник, — если бы не ее слабость к этому прохвосту Кабриону.

— Что до этого, Альфред, — проговорила привратница, — Хохотушка тут ни при чем, все зависит от помещения. Ведь то же самое было с коммивояжером, который жил в этой комнате до Кабриона, и с господином Жерменом, поселившимся там после подлеца Кабриона! ей-богу, иначе и быть не может, все зависит от воздуха этого этажа.

— Значит, все жильцы комнаты, которую я собираюсь занять, ухаживают за мадемуазель Хохотушкой?

— Да, сударь, и это нетрудно понять: обе комнаты находятся рядом; жилец оказывается соседом

Хохотушки; знаете, как это бывает с молодежью... то надо лампу зажечь, то занять раскаленных угольков или же воды. О, что до воды, ее всегда найдешь у Хохотушки, чего другого, а в воде у девушки не бывает недостатка: это ее роскошь, она настоящая утка. Как только у нее выдается свободная минутка, она принимается мыть окна, пол, все свое помещение. Потому-то у нее всегда так чисто!.. Впрочем, вы сами убедитесь в этом.

— Итак, господин Жермен тоже испытал на себе влияние мадемуазель Хохотушки и стал ее добрым другом?

— Да, сударь, и надо сказать, что они прямотаки были рождены друг для друга. Такие оба красивенькие, молодые; одно удовольствие было смотреть, как они спускаются по лестнице в воскресенье, единственный свободный день этих бедных детей! Она принаряженная, в хорошеньком чепчике и хорошеньком платьице из ткани по двадцать пять су за локоть, в котором она выглядела королевой, он же одет как настоящий щеголь!

— И господин Жермен больше не виделся с девушкой с тех пор, как выехал из этого дома?

— Нет, сударь, если только они не встречаются по воскресеньям, потому что в другие дни Хохо-

тушке некогда думать о любовниках, ей-богу! Она встает в пять или шесть утра и работает до десяти, а иной раз до одиннадцати вечера; она никогда не выходит из своей комнаты, разве что утром, чтобы купить провизии для себя и своих двух канареек, втроем они, право, не так много едят: на два су молока, немного хлеба, салата, пшена, зернышек для птиц и свежей чистой воды. Но это не мешает девушке и двум канарейкам петь и щебетать так, что слушать их одно удовольствие!.. Да и девушка она добрая, сострадательная; правда, деньгами она никому не может помочь; бедняжка работает иной по двенадцати часов в день и еле сводит концы с концами, но она недосыпает ночей, чтобы уделить внимание обездоленным, позаботиться о них... Возьмем хотя бы несчастных людей, что ютятся на мансарде, как раз их-то господин Краснорукий и собирается выкинуть на улицу через три-четыре дня. Так вот мамзель Хохотушка и господин Жермен несколько ночей кряду ухаживали за их больными детьми!

— Значит, в этом доме живет нуждающаяся семья?

— Нуждающаяся, сударь? Бог ты мой! Несчастнее их трудно сыскать! Пятеро малолетних детей, тяжело больная мать и полоумная бабка;

а кормит всю эту ораву единственный в семье мужчина, работяга, каких мало, но он даже хлеба не ест досыта, хотя трудится, как негр. Спит три часа в сутки, да и какой это сон, когда дети просят: «Хлеба, хлеба!» — больная жена стонет на своем соломенном тюфяке, а старая идиотка принимается иной раз выть, как волчица... тоже, понятно, от голода, потому что разума у нее не больше, чем у скотины. Когда у нее живот подводит, по всей лестнице раздаются ее вопли.

— Какой ужас! — воскликнул Родольф. — И никто им не помогает?

— Как вам сказать, сударь, такие бедняки, как мы, выручаем друг друга по силе возможности. С тех пор как офицер платит мне двенадцать франков в месяц за уборку, я раз в неделю варю мясо и отношу этим горемыкам кастрюльку бульона. Мамзель Хохотушка недосыпает ночей и шьет из оставшихся лоскутов чепчики и распашонки для малышей, но, разумеется, в такие вечера ей приходится платить лишку за освещение... А бедный господин Жермен, который тоже не был богачом, притворялся, будто получает время о» времени и з деревни несколько бутылок хорошего вина, и тогда Морель (так зовут этого рабочего) выпивал стакан или два, что хоть ненадолго

подбадривало его.

— А шарлатан не помогал этим бедным людям?

— Господин Брадаманти? — переспросил привратник. — Он вылечил меня от ревматизма, что правда, то правда, я уважаю его за это; но я тогда же сказал своей подруге: «Анастази, господин Брадаманти...» Гм, гм! Я ведь кое-что сказал тебе о нем, Анастази?

— Да, правда, но он любит пошутить! По крайней мере, на свой лад, почти не раскрывая рта.

— Но что он сделал для Морелей?

— Видите ли, сударь. Когда я заговорила с ним о бедственном положении Морелей, а заговорила я в ответ на его жалобу, что старуха выла всю ночь и не давала ему спать, он ответил: «Если они такие несчастные, я готов бесплатно вырвать у одного из них шестой зуб, если он у него испорчен, и уступить им за полцены бутылку моей целебной воды».

— Так вот, хоть он и вылечил меня от ревматизма, — воскликнул господин Пипле, — я утверждаю, что говорить так нехорошо, но он вечно такие шутки шутит. Будь они только непристойные!..

— Подумай, Альфред, ведь он итальянец, быть

может, у них принято так шутить.

— Право, госпожа Пипле, — сказал Родольф, — у меня создалось дурное впечатление об этом человеке, и я не стану ни заходить к нему, ни, как вы говорите, водить с ним компанию... А женщина, что дает деньги под залог, оказалась более щедрой!

— Гм! Не больше чем господин Брадаманти, — сказала привратница, — она дала Морелям денег под залог их тряпья... Все, что у них было, перекочевало к ней, вплоть до последнего тюфяка... Дело не затянулось, так как больше двух тюфяков у них никогда не было.

— А теперь она им не помогает?

— Мамаша Бюрет? Как бы не так: в своем роде она такая же сквалыга, как и ее любовник; можете мне поверить: господин Краснорукий и мамаша Бюрет... — заметила привратница, с необыкновенным лукавством сощурив глаза и покачав головой.

— Неужели? — спросил Родольф.

— Еще бы... любовь до гроба!.. Ничего не поделаешь! Ночи бабьего лета так же горячи, как и летние ночи, правда, старый дорогуша?

Вместо ответа г-н Пипле меланхолически покачал своим цилиндром.

— Чем занимается этот несчастный рабочий? Какое у него ремесло?

— Он гранильщик фальшивых камней; работает сдельно и так много сидит сгорбившись, что весь скособочился. Вы сами убедитесь в этом... Впрочем, выше головы не прыгнешь, а когда надо прокормить, кроме себя, ораву из семи человек, вот и приходится тянуть лямку! Хорошо еще, что старшая дочь помогает ему по силе возможности, да возможности-то у нее не больно велики.

— А сколько лет девочке?

— Семнадцать, и хороша при этом, как картинка; она работает служанкой у старого скряги и такого богача, что он мог бы скупить весь Париж; это нотариус по имени Жак Ферран.

— Жак Ферран! — воскликнул Родольф, удивленный этим новым совпадением, ибо у нотариуса Феррана или, по крайней мере, у его экономки он должен был получить сведение о Певунье. — Это тот самый Жак Ферран, что живет на Пешеходной улице?

— Правильно!.. Вы его знаете?

— Он нотариус того Торгового дома, где я работаю.

— Значит, вам известно, что он скряга, каких мало; но, надо сказать, человек он честный и бо-

гомольный... По воскресеньям ходит к обедне и к вечерне, исповедуется и причащается на страстной неделе; если он и устраивает застолье, то для одних только священников, пьет святую воду и ест благословенный хлеб. Принимает скудные сбережения от бедноты. Словом, он праведник! А вместе с тем скуп и безжалостен и к другим и к себе. Уже полтора года, как несчастная Луиза, дочка Мореля, служит у него в прислугах. Девушка сущая овечка по характеру, а работает как лошадь и за какие-то жалкие восемнадцать франков в месяц делает всю работу по дому; шесть франков оставляет себе, а все остальное отдает родителям. Конечно, это подспорье в хозяйстве, но ведь в семье-то восемь ртов!..

— И все же отец что-то зарабатывает, если он трудолюбив.

— Такого работягу, как он, поискать! За всю жизнь даже не притронулся к спиртному. Человек он порядочный, добрый, как Иисус Христос. За свое усердие он готов просить у господа бога лишь одного: чтобы в сутках было сорок восемь часов. Тогда он заработал бы побольше денег для своей ребятни.

— Неужели у него такая невыгодная работа?

— Он три месяца проболел, и это выбило его из

колеи; жена погубила свое здоровье, ухаживая за ним, и теперь сама дышит на ладан; последние три месяца им пришлось жить на двенадцать франков Луизы, на то, что они получали под залог у мамаши Бюрет, и на несколько экю, которые им ссудила посредница, доставляющая ему работу. Но подумать только, ведь их восемь человек. Они у меня из головы не выходят, а посмотрели бы вы на их трущобу!.. Но довольна говорить об этом: мой обед готов, а при мысли об их мансарде у меня тошнота подступает к горлу. К счастью, господин Краснорукий скоро выселит их из дома. Я говорю это не по злобе, поверьте, но если уж так повелось, что кто-то должен прозябать в нищете, как эти несчастные Морели, пусть лучше прозябают в другом месте, мы все равно не можем им помочь. Зато перед глазами у нас одной бедой будет меньше.

— Но если он выгонит их, куда же они пойдут?

— Почем я знаю.

— А сколько зарабатывает в день этот рабочий?

— Если бы ему не приходилось ухаживать за матерью, женой и детьми, он зарабатывал бы четыре-пять франков, уж больно он старательный, но три четверти времени бедняга занят хозяй-

ством, а потому выгоняет не больше сорока су.

— Это не густо. Несчастные люди!

— Да уж несчастнее быть некуда! Вы правильно сказали. Но на свете столько горемык, которым мы все равно не можем помочь, что приходится в чем-то искать утешение, не правда ли, Альфред? Кстати, мы совсем забыли про черносмородиновую наливку.

— По правде говоря, госпожа Пипле, то, что вы мне рассказали, расстроило меня — вы выпьете наливку за мое здоровье вместе с господином Пипле.

— Вы очень любезны, сударь, — проговорил привратник, — но скажите, вы по-прежнему хотите посмотреть комнату на пятом этаже?

— Охотно, и, если она мне подойдет, я тут же дам вам задаток.

Привратник вышел из своего логова. Родольф последовал за ним.

Глава XI.
ЧЕТЫРЕ ЭТАЖА

Темная сырая лестница казалась еще мрачнее в этот печальный зимний день.

Для человека наблюдательного каждая дверь, ведущая в одну из квартир дома, имела свой неповторимый вид.

Так, дверь в холостяцкую квартиру офицера была только чта выкрашена в коричневый цвет с прожилками под стать палисандровому дереву; медная позолоченная ручка сверкала над замочной скважиной, а великолепный шнур звонка с красной шелковой кистью контрастировал с грязными облупленными стенами.

Дверь третьего этажа, занимаемого гадалкой, которая давала деньги под залог, являла еще более странное зрелище; чучело совы, птицы в высшей степени символической и загадочной, было прибито за крылья и лапки к дверной раме, а зарешеченное окошечко позволяло гадалке рассмотреть посетителя, прежде нежели впустить его.

Жилище итальянского шарлатана, подозрева-

емого в том, что он занимается недозволенным ремеслом, тоже выделялось своим необычным входом, ибо его фамилия была выведена из лошадиных зубов, вделанных в прибитую к двери черную деревянную доску.

Шнур от звонка не заканчивался, как обычно, лапкой зайца или копытцем косули, а мумифицированной рукой обезьяны.

Вид ссохшейся ручки с пятью маленькими пальчиками и ноготками был омерзителен.

Казалось, будто это ручка ребенка.

В ту минуту, когда Родольф проходил мимо этой, показавшейся ему зловещей двери, за ней послышались сдерживаемые рыдания, затем тишину дома внезапно нарушил крик боли, крик судорожный, пугающий, словно исторгнутый из глубины человеческого сердца.

Родольф вздрогнул.

Чувство опередило сознание, он подбежал к двери и резко позвонил.

— Что с вами, сударь? — спросил удивленный привратник.

— Какой жуткий крик, — проговорил Родольф, — разве вы не слышали?.

— Понятно, слышал. Кричал, верно, какой-нибудь пациент господина Сезара Брадаманти,

которому он вырвал зуб или два.

Это объяснение было правдоподобно, но оно не удовлетворило Родольфа.

Только что раздавшийся крик показался ему не только воплем физической боли, но и, если можно так выразиться, боли душевной.

Звонок прозвучал очень громко.

Сперва никто на него не отозвался.

Послышалось хлопанье дверей; затем за стеклом небольшого оконца, пробитого возле двери, на которое машинально смотрел Родольф, появились смутные очертания изможденного синевато-бледного омерзительного лица с копной рыжих с проседью волос и длинной, такого же цвета бородой.

Лицо тут же исчезло.

Родольф был ошеломлен.

Промелькнувшая в оконце физиономия показалась ему знакомой.

Эти блестящие зеленые, как аквамарин, глаза под широкими бровями, рыжими и взъерошенными, эта мертвенная бледность, этот тонкий нос, похожий на орлиный клюв, с широкими ноздрями, позволяющими видеть часть носовой перегородки, — все это ясно напомнило ему некоего аббата Полидори, которого проклинали во

время своей беседы Мэрф и барон фон Граун.

Хотя Родольф не видел аббата Полидори шестнадцать или семнадцать лет, у него было множество причин не забывать его; одно обстоятельство сбивало его с толку: священник, которого, как ему казалось, он узнал в облике рыжего шарлатана, был прежде жгучим брюнетом.

Родольфа не слишком бы удивило (при условии, что его подозрения были обоснованны), если бы человек, облеченный саном священника, человек, известный своими дарованиями, обширными познаниями и редким умом, пал столь низко, что покрывал себя позором, ибо эти выдающиеся способности, эти обширные познания и редкий ум сочетались у него с величайшей испорченностью, с разнузданным поведением, порочными наклонностями и, главное, с таким циничным бахвальством, с таким убийственным презрением к людям и вещам, что, впав в заслуженную нищету, он не только мог, но и должен был прибегнуть к самым недостойным ухищрениям и находить своего рода ироническое, кощунственное удовлетворение в том, что он, человек с поистине выдающимися дарованиями и умом, он, облеченный саном священника, играет в жизни роль бесстыдного фигляра.

Но, повторяем, хотя они расстались с аббатом Полидори, когда тот был в расцвете сил и теперь должен был сравняться по возрасту с шарлатаном, между этими двумя людьми были столь явные различия, что Родольф усомнился в своей догадке.

— Давно ли поселился у вас в доме господин Брадаманти? — спросил он г-на Пипле.

— Около года тому назад, сударь, и тут же уплатил мне за январь месяц. Жилец он аккуратный и, главное, вылечил меня ох злейшего ревматизма... Но, как я уже говорил вам, у него есть один недостаток: уж слишком много он зубоскалит и ни к чему не имеет уважения.

— В каком смысле?

— Я не невинная девушка, сударь, награжденная за добродетель, — серьезно проговорил г-н Пипле, — но смеяться можно по-разному.

— Так, значит, он весельчак?

— Дело не в том, что он человек веселый, как раз наоборот; вид у него как у мертвеца, и он никогда по-настоящему не смеется... а только на словах; для него нет ничего святого — ни отца, ни матери, ни бога, ни дьявола, он над всем издевается, даже над своей водой, своей целебной водой, сударь! Не скрою от вас, иной раз его

шутки так пугают меня, что я весь покрываюсь гусиной кожей. Если ему случается провести у нас четверть часа, он пускается в непристойные разговоры о полуголых женщинах, которых повидал в далеких странах... и когда после этого мы с Анастази остаемся с глазу на глаз... так вот, сударь, я, который за тридцать семь лет привык нежно любить жену и считаю такое отношение правильным... так вот, мне начинает казаться, что я меньше люблю ее... Вы будете смеяться надо мной... но господин Сезар рассказал нам как-то о пиршествах племенных вождей, на которых он присутствовал, чтобы проверить, достаточно ли прочны зубы, вставленные им этим царькам; так вот, после его ухода мне показалось, что пища горчит, и я потерял всякий аппетит. Наконец, я люблю свое дело, сударь, я горжусь им. Я мог бы шить новую обувь, как и многие сапожники-честолюбцы, но, по-моему, я приношу не меньше пользы, подбивая подметки к старым бадмакам. Так вот, сударь, бывают дни, когда насмешки этого дьявола Брадаманти заставляют меня жалеть, что я не стал первоклассным сапожником, честное слово! А как он говорит о женщинах какого-нибудь дикого племени, которых близко знавал... Повторяю, сударь, я не девушка, награж-

денная за добродетель, но иной раз, черт возьми, я краснею до корней волос, — прибавил г-н Пипле с видом оскорбленной добродетели.

— И госпожа Пипле терпит такие разговоры?

— Анастази обожает умных людей, а несмотря на свои вольные речи, господин Сезар очень умен; вот почему она все ему спускает.

— Она сказала мне также о некоторых чудовищных слухах...

— Сказала?

— Будьте покойны, я не болтлив.

— Так вот, сударь, я этим слухам не верю и никогда не поверю, и все же помимо моей воли они приходят мне на ум, а это еще увеличивает странное впечатление от шуток господина Брадаманти. Словом, сударь, скажу вам положа руку на сердце, что я ненавижу Кабриона и унесу эту ненависть с собой в могилу. Так вот, иной раз мне кажется, что я предпочел бы его бесстыдные проделки надо мной и нашими жильцами насмешкам, которыми сыплет с невозмутимым видом господин Сезар, неприятно морща губы, что напоминает мне агонию моего дядюшки Русело, который, хрипя перед смертью, морщил губы в точности как господин Брадаманти.

Несколько слов г-на Пипле о постояннной иро-

нии, с которой шарлатан отзывается обо всех и обо всем и своими горькими шутками отравляет самые скромные радости, подтвердили первоначальные подозрения Родольфа; в самом деле, стоило аббату сбросить свойственную ему маску, как он неизменно проявлял самый наглый и возмутительный скептицизм.

Твердо решив выяснить свои сомнения, ибо присутствие аббата могло нарушить его планы, готовый придать зловещий смысл душераздирающему крику, поразившему его, Родольф последовал за привратником на следующий этаж, чтобы осмотреть сдаваемую внаем комнату.

Квартирку Хохотушки, находившуюся рядом с этой комнатой, легко было узнать по прелестному знаку внимания оставленному ей художником, смертельным врагом г-на Пипле.

С полдюжины маленьких толстощеких амуров, весьма изящно и остроумно написанных в духе Ватто, окружали дверную табличку, держа в руках всякие подходящие к случаю предметы — кто наперсток, кто ножницы, кто утюг или зеркальце; на светло-голубом фоне таблички красовалась выведенная розовой краской надпись: «Мадемуазель Хохотушка, портниха». Вся композиция была обрамлена гирляндой цветов,

выделяющейся на бледно-зеленом фоне двери.

Это очаровательное небольшое панно являло резкий, контраст с безобразием стен и лестницы.

Рискуя растравить кровоточащую рану Альфреда, Родольф все же обратился к нему с вопросом:
— Скажите, это, очевидно, работа господина Кабриона?

— Да, сударь, он отважился испортить эту дверь непристойной мазней, изобразив на ней голых детей, которых зовут амурами. Без горячих просьб мамзель Хохотушки и попустительства господина Краснорукого я бы все это соскоблил, а также палитру, что изображена на двери вашей комнаты.

В самом деле, палитра с полным набором красок как бы висела на этой двери.

Родольф последовал за привратником в довольно обширную комнату, предшествуемую крохотной передней и освещенную двумя большими окнами, которые выходили на улицу Тампль; несколько фантастических набросков, изображенных на ее двери г-ном Кабрионом, были тщательно сохранены г-ном Жерменом.

У Родольфа было достаточно причин, чтобы снять эту комнату, и он вручил привратнику скромную сумму в сорок су.

— Комната мне вполне подходит, а вот и задаток; завтра я велю привезти сюда мебель. Как по-вашему, мне не надо обращаться к главному съемщику, господину Краснорукому? — спросил он у привратника.

— Нет, сударь, он лишь изредка наведывается к нам: приходит лишь по своим делишкам с мамашей Бюрет. Все жильцы обращаются непосредственно ко мне; я попрошу вас только назвать ваше имя.

— Родольф.

— Родольф, а дальше?..

— Просто Родольф, господин Пипле.

— Ваше дело, сударь; я спросил об этом не из любопытства: каждый волен назваться любым именем.

— Скажите, господин Пипле, не следует ли мне зайти завтра к Морелям и узнать в качестве их нового соседа, не могу ли я помочь им в чем-нибудь, ведь мой предшественник, господин Жермен, тоже по мере сил помогал им.

— Конечно, сударь; только ваш визит будет ни к чему, ведь их выселяют отсюда, но он им польстит.

Затем, словно осененный внезапной догадкой, г-н Пипле взглянул на своего жильца с гордым,

самодовольным и лукавым видом.

— Понимаю, понимаю! — воскликнул он. — Это для начала, чтобы зайти потом по-соседски к молоденькой швее.

— Как раз на это я и рассчитываю.

— Тут нет ничего дурного, сударь: таков обычай; и, знаете, мамзель Хохотушка, верно, услыхала, что кто-то пришел осматривать комнату, и ждет не дождется, чтобы увидеть нового жильца. Я погромче поверну ключ в замке, а вы не спускайте глаз с ее двери.

В самом деле, Родольф заметил, что дверь, так любезно украшенная амурами в стиле Ватто, была приоткрыта, и смутно различил за ней вздернутый носик и большие черные глаза, блестящие и любопытные; но как только он замедлил шаг, дверь сразу захлопнулась.

— Я же говорил, что она поджидает вас! — заметил привратник и, помолчав, добавил: — Прошу прощения, сударь!.. Я загляну в свою обсерваторию.

— Какую обсерваторию?

— На самом верху этой приставной лестницы имеется площадка, куда выходит дверь мансарды Морелей, а за обшивкой их стены я обнаружил небольшое углубление, куда и складываю всякий

хлам. В стене много трещин, вот почему из этого углубления я вижу и слышу Морелей так же ясно, как будто сижу у них в комнате. Я не шпионю за ними, помилуй бог! Я просто смотрю на их жизнь, как на мрачную мелодраму. Зато, вернувшись к себе в привратницкую, я чувствую себя так, словно попал во дворец. Вот что, сударь, если вам охота поглядеть на них, не то они скоро уедут... Зрелище это печальное, но любопытное, и, когда заходишь к ним, они ведут себя как дикари, стесняются, видите ли...

— Вы очень любезны, господин Пипле, как-нибудь в другой раз, может быть, завтра я воспользуюсь вашим предложением.

— Пожалуйста, сударь; но сейчас мне надо подняться в свою обсерваторию за куском сафьяна. Если вы желаете спуститься вниз, я вас догоню.

И г-н Пипле стал карабкаться по лестнице, ведущей на мансарду, — восхождение, довольно опасное в его возрасте.

Родольф бросил последний взгляд на дверь мамзель Хохотушки, думая о том, что эта девушка, бывшая приятельница бедной Певуньи, вероятно, знает, где нашел себе пристанище сын Грамотея, когда на этаже под ним кто-то вышел от шарлатана; он услышал легкую женскую поступь

и шелест шелкового платья. Родольф задержался, чтобы не смущать посетительницу.

Когда звук ее шагов затих, он продолжил свой путь.

На последних ступеньках второго этажа он поднял носовой платок, видимо, принадлежавший особе, добывавшей у шарлатана.

Родольф подошел к одному из узких окон, освещавших лестничную площадку, и рассмотрел платок, богато отделанный кружевами; на одном из его уголков были вышиты инициалы Л. и Н., увенчанные герцогской короной.

Платок был буквально залит слезами.

Родольф хотел было ускорить шаг, чтобы отдать платок потерявшей его особе, но побоялся, что такая любезность может сойти за проявление непристойного любопытства; он оставил у себя платок, случайно попав на след какой-то таинственной и, очевидно, мрачной истории.

Войдя к привратнице, он спросил:

— Скажите, госпожа Пипле, вы не заметили случайно спустившейся по лестнице женщины?

— Да, сударь. От господина Сезара только что вышла красивая, высокая, стройная женщина под черной вуалью. Мальчишка Хромуля сходил за извозчиком, на котором она и уехала. Меня

удивило, что этот негодник уселся на задок экипажа, быть может, чтобы посмотреть, где живет эта дама, ведь он любопытен, как сорока, и проворен, как хорек, несмотря на свою хромую ногу.

Итак, подумал Родольф, шарлатан узнает адрес этой женщины. Уж не он ли приказал Хромуле последовать за незнакомкой?

— Так как же, сударь? Подошла вам комната или нет? — спросила привратница.

— Вполне подошла; я снял ее и завтра же пришлю свою мебель.

— Да благословит вас бог, сударь, за то, что вы зашли к нам. В нашем доме появится хотя бы один приятный жилец. У вас такой добросердечный вид, что вы сразу приглянулись Пипле. Вы будете смешить его, как смешил господин Жермен, у которого всегда, находилась для него какая-нибудь шутка; а моему бедному дорогуше только бы посмеяться; мне кажется поэтому, что не пройдет и месяца, как вы с ним крепко сдружитесь.

— Полноте, вы льстите мне, госпожа Пипле.

— Нисколько; я говорю от чистого сердца. А если вы будете милы с Альфредом, я отблагодарю вас; увидите вашу маленькую квартирку: я как зверь воюю с пылью; а если пожелаете отобедать с нами в воскресенье, я вам приготовлю такое

угощение, что вы пальчики оближете.

— Договорились, госпожа Пипле, вы будете убирать мою комнату; завтра вам привезут мебель, а я зайду, чтобы проследить за ее расстановкой.

Родольф вышел.

Результаты его посещения дома на улице Тампль были весьма плодотворны не только для раскрытия тайны, которую он хотел узнать, но и для благородных целей, побуждавших его делать добро и предотвращать зло.

А результаты эти были таковы.

Мадемуазель Хохотушка явно была осведомлена о новом пристанище Франсуа Жермена, сына Грамотея.

Молодая женщина, весьма напоминавшая, увы, маркизу д'Арвиль, назначила на следующий день свидание офицеру, которое могло навеки запятнать ее доброе имя.

А Родольф по многим причинам относился с глубоким участием к г-ну д'Арвилю, спокойствие и честь которого были поставлены под угрозу.

При посредстве Краснорукого честный и работящий ремесленник, впавший в безысходную нищету, должен был вскоре оказаться на улице вместе со своей семьей.

Кроме того, Сычиха, недавно вышедшая из

больницы, куда она попала после происшествия на аллее Вдов, поддерживала подозрительные сношения с г-жой Бюрет, гадалкой, дававшей деньги под залог, которая жила на третьем этаже этого же дома.

Собрав все эти сведения, Родольф вернулся домой на улицу Плюме; посещение нотариуса Жака Феррана он решил отложить до следующего дня, ибо в тот вечер ему предстояло побывать на роскошном балу в посольстве***.

Прежде нежели принять участие с нашим героем в этом празднестве, давайте бросим взгляд на Тома и Сару, важных действующих лиц этой истории.

Глава XII.
ТОМ И САРА

Саре Сейтон, вдове графа Мак-Грегора, было тогда тридцать семь — тридцать восемь лет; она принадлежала к знатному шотландскому роду и была дочерью баронета, проживавшего обычно в своей усадьбе. Оставшись круглой сиротой в возрасте семнадцати лет, красавица Сара покинула Шотландию вместе с братом Томом Сейтоном оф Холсбери.

Нелепые пророчества крестьянки, бывшей кормилицы Сары, непомерно раздули основные недостатки девушки — гордость и тщеславие, ибо старуха с глубоким убеждением и редкой настойчивостью предсказывала ей самый высокий удел... Скажем прямо: удел королевы.

Юная шотландка поверила этим словам кормилицы и в угоду своему славолюбию постоянно вспоминала, что некая гадалка тоже обещала корону красивой, очаровательной креолке, которая заняла впоследствии французский трон и была истинной королевой по обаянию и доброте, тогда как другие бывают королевами по величавости и

благородству осанки.

Странное дело! Том Сейтон, такой же суеверный, как и его сестра, поощрял нелепые надежды Сары и решил посвятить свою жизнь осуществлению ее мечты, мечты столь же блестящей, сколь и безумной.

Однако брат с сестрой не были настолько слепы, чтобы твердо верить предсказаниям кормилицы, и вопреки своему горделивому презрению к второстепенным королевствам и княжествам готовы были пренебречь размерами этих владений, лишь бы корона увенчала взбалмошную головку Сары.

При помощи «Готского альманаха» на тысяча восемьсот девятнадцатый год от Рождества Христова Том Сейтон составил перед своим отъездом из Шотландии нечто вроде синоптической таблицы всех неженатых королей и принцев Европы с указанием возраста каждого из них.

Невзирая на всю их нелепость, честолюбивые мечты брата с сестрой были лишены неблаговидных расчетов. Том собирался помочь Саре плести брачные интриги ради заполучения любого венценосца и способствовать ей во всех поисках, которые могли бы привести их обоих к желаемому результату; но он скорее убил бы сестру, чем

видеть ее любовницей какого-нибудь принца, даже если бы такая связь сулила ей законный брак.

Своеобразный брачный список, составленный Томом и Сарой по «Готскому альманаху», удовлетворил их обоих.

Особенно много наследных принцев оказалось в Германском союзе. Сара была протестанткой; Том знал, с какой легкостью в Германии заключаются морганатические браки, браки вполне законные, и в крайнем случае готов был дать согласие на такой брачный союз. Итак, брат и сестра решили отправиться прежде всего в Германию и именно там приступить к предполагаемой ловле женихов.

Если такой проект покажется читателю невероятным, а такие надежды безумными, мы ответим прежде всего, что безудержное честолюбие, к тому же раздутое суеверием, вряд ли может претендовать на благоразумие, ибо его привлекает лишь невозможное; стоит вспомнить, кроме того, некоторые современные факты, начиная с респектабельных морганатических браков между монархами и нетитулованными особами и кончая любовной одиссеей мисс Пенелопы и

принца Капуанского[68], чтобы отказать бредням Тома и Сары в возможности счастливого исхода.

Добавим, что чарующая красота сочеталась у Сары с самыми разнообразными талантами и с силой обольщения, тем более опасной, что, несмотря на свою сухую, холодную душу, изворотливый и злой ум, глубокую скрытность и цельный, настойчивый характер, она производила впечатление женщины великодушной, пылкой и страстной.

При этом внешность ее была столь же обманчива, как и характер...

Большие темные глаза Сары под черными как смоль бровями, то искрометные, то томные, умели выражать весь пыл страсти, хотя жгучие порывы любви еще ни разу не заставили биться ее ледяное сердце, а чувственные или сердечные увлечения не могли нарушить безжалостных расчетов этой хитрой, эгоистичной и честолюбивой женщины.

Перебравшись на континент, Сара решила по совету брата повременить с «военными действиями» до посещения Парижа, дабы, вращаясь в обществе, прославленном приятностью обще-

[68] Notes: 68

Карл-Фердинанд, принц Капуанский, второй сын короля обеих Сицилий Франциска I. (Примеч. ред.)

ния, непринужденностью, изяществом и вкусом, придать лоск своему воспитанию и сгладить присущую ей британскую чопорность.

В высший парижский свет Сара получила доступ благодаря нескольким рекомендательным письмам и милостивому покровительству жены английского посла, а также престарелого маркиза д'Арвиля, знавшего некогда в Англии отца Тома и Сары.

Лживые, холодные, рассудочные люди усваивают с поразительной легкостью не свойственные им язык и манеры; у них все показное, внешнее, поверхностное, притворное, наигранное; стоит кому-нибудь разгадать натуру такого сорта людей, чтобы погубить их в общественном мнении; вот почему своеобразный инстинкт самосохранения помогает им как нельзя лучше маскировать свою внутреннюю сущность. Они гримируются и меняют манеры с быстротой и ловкостью заправского актера.

Короче говоря, после полугодового пребывания в Париже Сара могла состязаться с заправской парижанкой благодаря приобретенной ею пикантной живости разговора, заразительному веселью, простодушному кокетству, наивной игривости взгляда, одновременно целомудренного

и страстного.

Найдя свою сестру достаточно хорошо подготовленной, Том отбыл с ней в Германию, снабженный превосходными рекомендательными письмами.

Первым государством Германского союза, находившимся на пути Тома и Сары, было великое герцогство Герольштейнское, обозначенное следующим образом в непогрешимом «Готском альманахе» за год 1819:

ГЕНЕАЛОГИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ МОНАРХОВ
И ИХ СЕМЕЙ
ГЕРОЛЬШТЕЙН

Великий герцог Максимилиан-Родольф родился 20 декабря 1764 года и вступил на престол 21 апреля 1785 года после кончины своего отца Карла-Фредерика-Родольфа.

Сын герцога Максимилиана-Родольфа родился 17 апреля 1803 года.

Вдовствующая великая герцогиня Юдифь потеряла своего супруга великого герцога Карла-Фредерика-Родольфа 21 апреля 1785 года.

Как человек здравомыслящий, Том записал во главе своего списка наиболее молодых наследников престола, с которыми он хотел породниться, полагая, что юность гораздо легче поддается соблазну, нежели зрелый возраст. Кроме того, как мы уже говорили, Том и Сара получили самые горячие рекомендации к великому герцогу Герольштейнскому от престарелого маркиза д'Арвиля, очарованного, как и все, Сарой, красотой, изяществом и врожденным обаянием которой он не мог нахвалиться.

Согласно «Готскому альманаху», наследником престола великого герцогства Герольштейнского был Густав-Родольф; ему едва минуло 18 лет, когда Том и Сара были представлены его отцу.

Прибытие юной шотландки всколыхнуло этот небольшой немецкий двор, спокойный, простой, строгий, словом, патриархальный. Великий герцог, прекраснейший из людей, управлял своим государством с мудрой твердостью и отеческой добротой; трудно было бы найти государство, более процветающее и спокойное, чем это небольшое княжество, население которого, трудолюбивое, серьезное, воздержанное и благочестивое, являло собой идеальное воплощение германского характера.

Жители Герольштейна были так счастливы, так довольны своим положением, что просвещенному и заботливому великому герцогу не стоило труда предохранить их от мании конституционных нововведений.

Что же касается современных открытий и идей, могущих оказать глубокое воздействие на благосостояние и нравы народа, то великий герцог постоянно справлялся о них в различных европейских странах через своих представителей, у которых, в сущности, не было иной заботы, как держать его в курсе всевозможных научных открытий с точки зрения их общественной и практической пользы.

Мы уже говорили выше, что великий герцог испытывал чувства любви и признательности к престарелому маркизу д'Арвилю за огромные услуги, которые тот оказал ему в 1815 году; вот почему благодаря рекомендации., этого последнего Том и Сара Сейтон оф Холсбери были приняты при Герольштейнском дворе с особым почетом и радушием.

Не прошло и двух недель после приезда брата с сестрой в Герольштейн, как Сара, наделенная острой наблюдательностью, без труда разгадала твердый, честный и открытый характер вели-

кого герцога; прежде нежели обольстить сына, что должно было неминуемо случиться, она задумала, и вполне разумно, удостовериться в намерениях отца. Великий герцог так безумно любил Родольфа, что сначала Сара поверила, будто он способен согласиться на мезальянс своего дорогого сына, лишь бы не видеть его несчастным. Но шотландка вскоре убедилась, что этот столь нежный отец никогда не отречется от иных принципов и идей, имеющих отношение к долгу и обязанностям коронованных особ.

Это не было гордыней с его стороны, а сознанием своего высокого положения, чувством чести и здравым смыслом.

Между тем человек столь энергичного склада, который бывает тем ласковее и добрее, чем он тверже и сильнее характером, никогда не отступит в том, что касается его положения, чести и здравого смысла.

Столкнувшись с таким препятствием, Сара уже была готова отказаться от своих замыслов, но, сообразив, что Родольф еще очень молод, что все хвалят его за мягкость, доброту, за крав, одновременно застенчивый и мечтательный, она посчитала юного герцога человеком слабым, нерешительным и с прежним упорством продол-

жала добиваться осуществления своих проектов и надежд.

В этих сложных обстоятельствах Сара и ее брат проявили чудеса ловкости.

Молодая девушка сумела привлечь на свою сторону всех и, главное, тех женщин, которые могли приревновать ее или позавидовать ее преимуществам; скромностью и простотой она заставила их забыть о своих достоинствах и красоте. Вскоре она стала любимицей не только великого герцога, но и его матери, вдовствующей великой герцогини Юдифи, которая, вопреки или благодаря своему девяностолетнему возрасту, до безумия любила все юное и прелестное.

Том и Сара не раз заговаривали о своем отъезде. Герольштейнский монарх не желал и слышать о нем, и, чтобы окончательно привязать к своему двору брата с сестрой, он попросил баронета Тома Сейтона оф Холсбери принять в ту пору вакантную должность обершталмейстера и упросил Сару не покидать великой герцогини Юдифи, которая не могла обходиться без нее.

После долгих колебаний, которые наталкивались на настоятельные уговоры, Том и Сара приняли эти блестящие предложения и обосновались при Герольштейнском дворе, куда они

прибыли всего два месяца тому назад.

Сара была превосходной певицей: зная вкус великой герцогини к композиторам прежнего времени и, в частности, к Глюку, она выписала произведения этого знаменитого композитора и обворожила престарелую герцогиню своей неисчерпаемой любезностью и тем выдающимся талантом, с которым исполняла его прекрасные старинные мелодии, такие простые и выразительные.

Том, со своей стороны, был весьма полезен великому герцогу в порученной ему должности. Шотландец превосходно знал лошадей, любил порядок и был человеком твердым; за короткое время он преобразовал дворцовые конюшни, огромный ущерб которым был нанесен небрежностью и рутиной.

Вскоре брата с сестрой одинаково полюбили при этом дворе, где они зажили в холе и неге. Вкусы монарха повелевают и вкусами подданных. К тому же Саре требовалась такая сильная поддержка, что она пустила в ход весь свой дар обольщения, чтобы привлечь на свою сторону как можно больше придворных. Ее лицемерие, облеченное в самую привлекательную форму, легко обмануло большинство честных немок, и

вскоре всеобщая любовь подтвердила исключительное благоволение к ней великого герцога.

Итак, наша парочка заняла при Герольштейнском дворе прекрасное и почетное положение; что до Родольфа, то о нем даже не упоминалось. Благодаря счастливой случайности через несколько дней после приезда Сары юный герцог уехал на смотр войск в сопровождении адъютанта и своего верного Мэрфа.

Это отсутствие вдвойне благоприятствовало видам Сары, позволяя ей сосредоточить внимание на основных нитях своего матримониального заговора без стеснительного присутствия юного наследника престола, слишком явное восхищение которого, по всей вероятности, вызвало бы опасения великого герцога.

А в отсутствие своего сына он, к сожалению, не подумал о том, что приблизил к себе молодую девушку, обладающую редкой красотой и игривым умом, которой придется постоянно встречаться с Родольфом.

Сара осталась внутренне равнодушной к столь трогательному и радушному приему и к тому благородному доверию, с которым она была введена в эту королевскую семью.

Ни эта девушка, ни ее брат ни на минуту не

подумали отказаться от своих дурных намерений и сознательно внесли смятение и горе в этот спокойный и счастливый двор. Они холодно предвидели результаты жестоких раздоров, которые возникнут из-за нее между отцом и сыном, столь нежно любившими друг друга.

Глава XIII.
СЭР
ВАЛЬТЕР МЭРФ И АББАТ ПОЛИДОРИ

В детстве Родольф отличался хрупким телосложением, и его отец принял следующее решение, с первого взгляда странное, а в сущности вполне разумное.

Английские дворяне, живущие в своих поместьях, отличаются прекрасным здоровьем. Это преимущество зависит в огромной степени от полученного ими воспитания на лоне природы; суровое и простое, оно прекрасно развивает их физически. Родольф скоро выйдет из-под опеки женщин; мальчик он изнеженный; если приучить его к жизни сына английского фермера (с некоторыми поблажками), это закалит, пожалуй, его слабый организм.

Герцог Герольштейнский выписал из Англии человека достойного, который вполне мог руководить физическим воспитанием наследного принца; итак, это важное дело было поручено сэру Вальтеру Мэрфу, атлетически сложенному джентльмену из Йоркшира. Те навыки, которые

он привил мальчику, вполне отвечали намерениям великого герцога.

Родольф, освобожденный от всякого этикета, занимался с Мэрфом сельскохозяйственными работами, доступными ему по возрасту, и вел простую, мужественную и однообразную жизнь людей, близких к природе; все его удовольствия и развлечения заключались в физических упражнениях, борьбе, кулачном бое, езде верхом и охоте.

На чистом воздухе, среди лугов, лесов и гор, юный принц, казалось, преобразился и вырос крепким, как молодой дуб; его несколько болезненная бледность уступила место здоровому румянцу; по-прежнему стройный и выносливый, он выходил победителем из самых утомительных испытаний: ловкость, энергия и смелость восполняли у него недостаток мускульной силы, и вскоре он уже не без успеха боролся с людьми гораздо старше себя; в это время Родольфу было пятнадцать — шестнадцать лет.

Образование Родольфа неизбежно пострадало от предпочтения, отданного физическому воспитанию: познания его были весьма ограничены; но великий герцог думал вполне резонно, что предъявлять большие требования к уму

человека можно лишь тогда, когда этот ум находит опору в сильном, хорошо развитом теле; тогда умственные способности, хотя и поздно оплодотворенные образованием, развиваются чрезвычайно быстро.

Славный Вальтер Мэрф не был человеком ученым; он мог дать Родольфу лишь немногие первоначальные знания; но никто не мог лучше него внушить своему ученику сознание того, что справедливо, честно, великодушно, и отвращение ко всему низкому, подлому, мелкому.

Ненависть к злу, деятельное и благотворное преклонение перед добром навсегда срослись с душой Родольфа; позже, в буре страстей эти принципы сильно поколебались, но никогда не были вырваны из его сердца. Молния поражает, калечит и ломает дерево, глубоко и крепко укоренившееся в земле, но соки продолжают бурлить в его корнях, и этот казавшийся засохшим ствол дает вскорости множество зеленых побегов.

Если можно так выразиться, Мэрф дал Родольфу здоровье тела и души; он сделал его человеком крепким, ловким и смелым, поборником справедливости и добра, ненавистником зла и всякой скверны.

Выполнив столь блестяще свою задачу, эсквайр

на некоторое время уехал в Англию, куда его призывали важные дела, чем очень огорчил Родольфа, нежно любившего его.

Мэрф должен был навсегда вернуться с семьей в Герольштейн, как только покончит с делами. Он надеялся, что его отсутствие продлится самое большее год.

Уверившись в добром здоровье Родольфа, великий герцог-серьезно подумал о том, чтобы дать образование своему любимцу... Некоему аббату Сезару Полидори, известному филологу, прекрасному врачу, эрудированному знатоку точных и естественных наук, было поручено возделать и оплодотворить эту плодородную, но девственную почву, так прекрасно подготовленную Мэрфом.

На этот раз выбор великого герцога оказался весьма неудачным или, вернее, он был жестоко обманут человеком, который порекомендовал католического священника в качестве преподавателя для его сына-протестанта. Это новшество многим показалось чудовищным, более того, его сочли весьма пагубным для образования Родольфа.

Случай или, вернее, отвратительный характер аббата частично способствовали осуществлению этих печальных пророчеств.

Нечестивец, мошенник, лицемер, кощунственный хулитель всего святого, человек хитрый и ловкий, умеющий скрыть свою глубокую безнравственность И отталкивающий скептицизм под маской сурового благочестия, выставлявший напоказ свое мнимое христианское смирение, дабы замаскировать свойственную ему пронырливость, и разыгрывавший искреннее доброжелательство и наивный оптимизм для маскировки вероломства своей корыстной лести, человек, прекрасно изучивший людей или, точнее, познавший лишь их худшие стороны и постыдные страсти, аббат Полидори был самым неподходящим наставником для молодого человека.

Покинув с огромным сожалением независимую жизнь, которую он вел до сих пор под наблюдением Мэрфа, чтобы корпеть над книгами и подчиняться придворному церемониалу, Родольф возненавидел попервоначалу аббата Полидори.

Иначе и быть не могло.

Уезжая, бедный эсквайр не без основания сравнил своего ученика с молодым диким жеребенком, исполненным грации и огня, которого лишили прекрасных лугов, где он весело резвился на свободе, и, подчинив его удилам и шпорам,

направили в иное русло силы, которыми он пользовался до сих пор лишь для того, чтобы скакать и резвиться на просторе.

Родольф сразу же заявил аббату, что у него нет ни малейшего призвания к занятиям, что ему необходимо прежде всего упражнять руки и ноги, дышать свежим воздухом, носиться по полям и холмам; доброе ружье и добрый конь казались, ему предпочтительнее самых прекрасных книг на свете... Священник ответил своему ученику, что он прав: в самом деле, нет ничего скучнее учения, но вместе с тем нет ничего примитивнее, грубее его излюбленных удовольствий, достойных лишь тупого немецкого фермера. И аббат нарисовал такую забавную, такую язвительную картину простой сельской жизни, что Родольфу впервые стало стыдно, что он находил ее столь счастливой; тут он наивно спросил у священника, чем же можно занять свое время, если не любишь ни учения, ни охоты, ни вольной жизни среди природы.

Аббат таинственно ответил на это, что впоследствии он все ему объяснит.

По правде сказать, надежды священника были в некотором роде столь же честолюбивы, что и надежды Сары.

Хотя великое Герольштейнское герцогство было всего лишь второстепенным государством, аббат вообразил себе, что со временем станет играть в нем роль Ришелье, и вознамерился подготовить Родольфа к роли монарха-бездельника.

Он начал с того, что посредством поблажек и угодливости постарался понравиться своему ученику и заставить его позабыть о Мэрфе. Родольф по-прежнему ненавидел науку, аббат скрыл от великого герцога отвращение юного принца к занятиям; напротив, он восхвалял его усидчивость, его поразительные успехи; и несколько проверок, заранее втайне подготовленных с Родольфом, утвердили великого герцога (человека не слишком образованного) в его доверии к учителю.

Мало-помалу чувство отчужденности, которое священник внушил сначала Родольфу, превратилось со стороны юного принца в развязную фамильярность, отнюдь не похожую на ту серьезную привязанность, которую он испытывал к Мэрфу.

Мало-помалу Родольф оказался связанным с аббатом (правда, по причинам вполне невинным) теми узами солидарности, которые объединяют двух сообщников. Рано или поздно он поневоле станет презирать человека с характером и в воз-

расте аббата, который недостойно лгал, чтобы скрыть леность своего ученика.

Аббат знал это.

Но он знал и другое: если Родольф не отшатнется сразу с омерзением от порочного человека, то постепенно, помимо воли, привыкнет к его острому уму и незаметно для самого себя будет внимать без возмущения и стыда, как тот высмеивает и поносит те понятия, перед которыми юноша привык преклоняться.

Впрочем; аббат был слишком хитер, чтобы резко оспаривать иные благородные убеждения Родольфа, плод воспитания Мэрфа. Поиздевавшись всласть над грубым времяпрепровождением своего ученика на лоне природы, священник сбросил ненадолго маску непримиримой суровости и пробудил в юноше любопытство полупризнаниями о сказочной жизни иных королей прежних времен; наконец, уступив настоятельным просьбам Родольфа, аббат после бесконечных оговорок и несколько вольных шуток над церемониальной серьезностью, царившей при дворе великого герцога, воспламенил воображение юного принца красочными рассказами о празднествах и любовных похождениях, которыми прославились царствования Людовика XIV, регента, и главным

образом Людовика XV — героя Сезара Полидори.

Он убеждал несчастного мальчика, слушавшего его с пагубной жадностью, что сладострастие, даже чрезмерное, не только не развращает принца, богато одаренного от природы, по, напротив, делает его милосерднее, великодушнее по той простой причине, что счастье неизменно смягчает, облагораживает человека высокой души.

Ярким примером тому служил Людовик XV.

Да и наиболее прославленные люди прежних и новых времен, говорил аббат, от Алкивиада до Морица Саксонского, от Антония до великого Конде, от Цезаря до Вандома, уделяли много времени изысканнейшему эпикурейству.

Такие речи должны были вызвать подлинное потрясение в молодой, горячей и девственной душе принца; кроме того, аббат красноречиво переводил своему ученику оды Горация, в которых сей несравненный гений воспевает жизнь, всецело посвященную любви и утонченным наслаждениям чувственности. И все же иной раз аббат старался набросить флер на эти опасные теории и баюкал Родольфа пленительными утопиями, чтобы не покоробить великодушных чувств, глубоко в нем укоренившихся. По его словам, умный и сладострастный монарх мог

облагодетельствовать своих подданных, научив их наслаждаться жизнью, смягчить их нравы благодаря обретенному таким образом счастью и пробудить даже в заядлых атеистах религиозное чувство, вызвав в их душе горячую благодарность к создателю, который с неисчерпаемой щедростью дарует им земные радости.

Всегда и во всем искать наслаждение значило, по мнению аббата, прославлять бога в его величии и неизреченной милости.

Эти теории принесли свои плоды.

Живя при строгом и добродетельном дворе, привыкший по примеру монарха к добропорядочным удовольствиям и к невинным развлечениям, Родольф стал мечтать под влиянием аббата о безумных ночах в Версале, об оргиях в Шуази, о грубых наслаждениях во дворце Олений Парк, а также изредка, в силу контраста, о мимолетных романтических увлечениях.

Кроме того, аббат не преминул убедить Родольфа в том, что владетельный князь не должен производить никаких военных действий, за исключением посылки своих отрядов для, охраны парламента Германского союза.

Впрочем, дух времени был явно настроен на мирный лад.

Проводить свои дни в упоительном безделье среди женщин и утонченной роскоши, поочередно переходить от угара страстей к восхитительному наслаждению искусством, искать иной раз в охоте, не в качестве дикого Немврода, а просвещенного эпикурейца, ту приятную усталость, которая лишь усиливает прелесть беспечности и лени, — таково было, по словам аббата, единственное времяпрепровождение, приличествующее монарху, который (на свое великое счастье!) найдет премьер-министра, готового взвалить на себя тягостную и скучную ношу государственных дел.

Размышляя об этих возможностях, в которых не было ничего преступного, ибо они не выходили за пределы роковой неизбежности, Родольф намеревался, когда бог призовет к себе его батюшку, вести именно тот образ жизни, который аббат Полидори рисовал ему в столь жизнерадостных, заманчивых красках, и назначить премьер-министром своего наставника.

Напомним, что Родольф нежно любил отца и горько оплакивал бы его кончину, хотя она и позволила бы ему стать Сарданапалом в миниатюре. Не стоит говорить о том, что юный принц держал в глубокой тайне эти бурлившие в нем

злосчастные чувства.

Зная, что любимыми героями великого герцога были Густав-Адольф, Карл XII и Фридрих Великий (Максимилиан-Родольф имел честь был близким родственником прусских королей), Родольф думал, не без основания, что его отец, преклонявшийся перед этими королями-военачальниками, вечно в походах, вечно в седле и при шпорах, счел бы своего сына человеком пропащим, если бы заподозрил, что тот может заменить германскую чопорность, царящую при Герольштейнском дворе, веселыми и фривольными нравами эпохи Регентства. Так прошли год, полтора года; Мэрф еще не вернулся, хотя и сообщал о своем скором приезде.

Преодолев свое первоначальное отвращение к угодливости аббата, Родольф все же воспользовался его ученостью и приобрел если не обширные познания, то те поверхностные сведения, которые помогли ему в сочетании с его врожденным, живым и проницательным умом сойти за человека гораздо более образованного, чем он был на самом деле, оказав этим немалую честь заботам своего ментора.

Мэрф вернулся из Англии с семьей и прослезился от радости, обняв своего бывшего ученика.

Несколько дней спустя достойный эсквайр заметил, что Родольф держится с ним холодно, скованно и отзывается почти иронически об их суровой жизни на лоне природы. Мэрф терялся в догадках — он никак не мог понять причины этой глубоко огорчившей его перемены.

Уверенный во врожденной доброте юного принца, взбудораженный тайным предчувствием, Мэрф подумал, что тот попал под вредное влияние аббата Полидори; эсквайр инстинктивно возненавидел священника и дал себе слово внимательно наблюдать за ним.

Со своей стороны, аббат, раздосадованный возвращением Мэрфа, которого он опасался из-за его доброты, здравого смысла и проницательности, возымел лишь одно желание: погубить эсквайра во мнении Родольфа.

Как раз в это время Том и Сара были представлены великому герцогу и с отменным радушием приняты при его дворе.

Перед их приездом Родольф отправился с адъютантом и Мэрфом в инспекционную поездку, чтобы произвести смотр нескольким герольштейнским гарнизонам. Поскольку эта поездка была военного характера, великий герцог счел излишним посылать с ними аббата Полидори. К

своему великому сожалению, священник узнал, что на несколько дней Мэрф вернется к своим прежним обязанностям при юном принце.

Со своей стороны, эсквайр рассчитывал на этот случай, чтобы окончательно выяснить причину охлаждения Родольфа.

Увы, этот последний уже научился скрывать свои мысли и, считая опасным говорить Мэрфу о своих проектах, был с ним на редкость мил и сердечен, притворялся, что очень сожалеет о годах своего отрочества и о прежних сельских забавах, что почти успокоило его первого наставника.

Мы говорим «почти», ибо иные любящие сердца наделены-удивительной прозорливостью. Несмотря на проявления любви со стороны принца, Мэрф смутно чувствовал, что их разделяет какая-то тайна; напрасно он попробовал выяснить, в чем тут дело, — все его попытки наталкивались на преждевременное двоедушие Родольфа.

Во время этой отлучки аббат не сидел сложа руки.

Интриганы угадывают, узнают себе подобных по некоторым таинственным признакам, позволяющим им наблюдать друг за другом до тех пор, пока они не решат, что для них выгоднее — вступить с данным человеком в союз или в

открытую вражду.

Через несколько дней после прибытия Сары с братом к двору великого герцога Том подружился с аббатом Полидори.

Священник признался сам себе с отвратительным цинизмом, что естественное, почти непроизвольное сродство душ влечет его ко всем пройдохам и негодяям; недаром, думал он, еще не вполне догадываясь о целях Тома и Сары, я испытываю к ним обоим такую горячую симпатию; они явно лелеют какие-то бесовские замыслы.

Несколько вопросов Тома Сейтона о характере и прошлом Родольфа, вопросов незначительных для человека менее настороженного, чем аббат, просветили его относительно намерений брата с сестрой; но даже он не мог поверить в столь честолюбивые виды юной шотландки.

Приезд этой очаровательной девушки показался аббату перстом судьбы. Воображение Родольфа было распалено любовными мечтами; Сара должна была явиться прелестной явью, призванной заменить столько чудесных грез; ибо, думал аббат, прежде нежели прийти к отбору в наслаждениях и к разнообразию в страстях, мужчина почти всегда начинает с единственной романтической привязанности; Людовик XIVи

Людовик XV были, возможно, верны лишь Марии Манчини и Розетте д'Арей.

По мнению аббата, то же самое должно было произойти с Родольфом и прекрасной шотландкой. Несомненно, она приобретет огромное влияние на это сердце, увлеченное чарующей прелестью первой любви. Направлять это влияние, извлекать из него выгоду и пользоваться им, чтобы навеки погубить Мэрфа, — таков был план аббата.

Человек ловкий, он дал ясно понять обоим честолюбцам, что им придется считаться с ним, ибо он один отвечает перед великим герцогом за личную жизнь принца.

Но в первую очередь надо было опасаться бывшего наставника Родольфа; это неотесанный, грубый, напичканный глупыми предрассудками человек имел прежде большое влияние на Родольфа и мог стать бдительным и опасным стражем: вместо того чтобы с пониманием отнестись к безумным и прелестным ошибкам молодости, он сочтет своим долгом воззвать к суровой морали великого герцога.

Том и Сара поняли аббата с полуслова, хотя они и не оповещали его о своих тайных замыслах. По возвращении Родольфа и эсквайра все трое,

объединенные общими интересами, вступили в тайный союз против Мэрфа, самого грозного их врага.

Глава XIV.
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Случилось то, что должно было случиться.

По возвращении ко двору Родольф, ежедневно видя Сару, до безумия влюбился в нее. Вскоре и она призналась ему, что разделяет его чувства, которые, по ее словам, должны были принести им много горя. Они никогда не будут счастливы: слишком большое расстояние разделяет их. Поэтому она советовала Родольфу быть как можно осторожнее, чтобы не вызвать подозрений великого герцога, который будет неумолим и лишит их единственно возможного счастья — счастья видеться каждый день.

Родольф обещал следить за собой и скрывать свою любовь. Шотландка была слишком самолюбива, слишком уверена, в себе, чтобы выдать, скомпрометировать себя в глазах двора. Юный принц и сам понимал, что они должны затаить свою любовь; он вел себя так же осторожно, как и Сара. И некоторое время влюбленные свято хранили свою тайну.

Когда же брат с сестрой увидели, что безум-

ная страсть Родольфа дошла до предела и что с каждым днем ему все труднее сдерживать свои чувства, которые могли вырваться наружу и все погубить, они нанесли решительный удар.

Характер аббата допускал разговор начистоту, в котором к тому же не было ничего аморального; Том заговорил первый о необходимости брака Родольфа и Сары; иначе, добавил он вполне искренне, они с сестрой немедленно покинут Герольштейн. Сара разделяет любовь принца, но она может быть только женой принца: бесчестью она предпочтет смерть.

Эти притязания ошеломили священника: ему и в голову не приходило, что Сара столь отважна и честолюбива. Такой брак с его препятствиями и бесчисленными опасностями показался аббату невозможным; и он откровенно изложил Тому те причины, по которым великий герцог никогда не согласится на союз наследного принца с Сарой.

Том понял эти причины, признал их важность и предложил в качестве mezzo termine[69] — тайный брак, который станет достоянием гласности лишь после смерти великого герцога.

Сара принадлежала к старинному благородно-

---

[69] Notes: 69
Временный выход из положения (ит.)

му роду; таких мезальянсов немало встречалось в истории. Том дал аббату, а следовательно, и принцу неделю на размышление; его сестра не выдержит дольше терзаний неизвестности; если ей суждено отказаться от любви Родольфа, она примет как можно скорее тягостное решение об отъезде.

Чтобы объяснить столь внезапный отъезд, утверждал Том, он отправил на всякий случай одному из своих английских друзей письмо, которое будет опущено в Лондоне и получено братом с сестрой в Герольштейне; в этом письме изложены достаточно веские причины, вменяющие в обязанность Тому и Саре временно покинуть двор великого герцога.

Благодаря своему дурному мнению о роде человеческом, аббат на этот раз отгадал истину.

Он всегда искал подоплеку самых бескорыстных чувств и, узнав, что Сара хочет узаконить свою любовь, увидел в этом желании доказательство не добродетели, а честолюбия; вряд ли бы священник поверил бескорыстию Сары, даже если бы та пожертвовала своей честью ради Родольфа, как он это думал сначала, предполагая, что она хочет стать любовницей его ученика. Согласно принципам аббата торговаться, ставить

в любви превыше всего долг — значит не любить. Слаба и холодна любовь, говаривал Полидори, если она тревожится о небе или о земле!

Убедившись, что он не ошибся касательно намерений Сары, аббат был озадачен. Впрочем, желание, выраженное Томом от имени сестры, было вполне добропорядочным. Чего он добивался? Разрыва или законного брака.

Несмотря на весь свой цинизм, священник не посмел бы усомниться в разговоре с Томом в добропорядочности тех побуждений, которые, казалось, лежали в основе его просьбы, и сказать ему без обиняков, что они с сестрой действовали весьма ловко, дабы навязать принцу этот мезальянс.

У аббата было три выхода: уведомить великого герцога об этом матримониальном заговоре, открыть глаза Родольфу на происки Тома и Сары, содействовать этому браку.

Но предупредить великого герцога значило навсегда восстановить против себя наследного принца.

Осведомить Родольфа о корыстных намерениях Сары значило встретить тот прием, который ожидает всякого, кто попытается унизить в глазах влюбленного предмет его страсти; да и какой

жестокий удар он нанесет тщеславию и сердцу принца. Открыть ему, что любимая зарится не на него самого, а на его высокое положение?! Да и в какое странное положение попадает он, священник, осуждающий поведение девушки, которая желает остаться чистой и предоставить права любовницы только законному супругу?

Устроив же это бракосочетание, аббат привяжет к себе принца и его жену узами глубокой благодарности или по меньшей мере соучастия в опасном предприятии.

Конечно, все может открыться, и на него обрушится гнев великого герцога; но брак уже будет совершен и союз влюбленных вступит в свои права; пройдет время, и молодой монарх Герольштейна тем теснее сблизится с аббатом, чем больше будет риск, который тот возьмет на себя, чтобы услужить ему.

Итак, по зрелом размышлении аббат решил помочь Саре, правда, о некоторыми оговорками, о которых мы скажем ниже.

Страсть Родольфа достигла апогея; доведенный до крайности как необходимостью сдерживать свои порывы, так и обольстительным кокетством Сары, страдавшей, казалось, еще больше, чем он, из-за неодолимых препятствий долга и чести,

которые стояли на пути к их блаженству, юный принц готов был ежеминутно выдать себя.

Подумать только, ведь это была его первая любовь, любовь пламенная и наивная, доверчивая и страстная; Сара прибегала, чтобы разжечь ее, к уловкам самого утонченного кокетства. Никогда еще целомудренная любовь юноши, исполненного великодушия, воображения, огня, не подвергалась столь долгим и столь умелым искушениям; ни одна женщина не была так коварно пленительна: то игрива, то печальна, то целомудренна, то пламенна, то застенчива, то вызывающе игрива; ее большие черные глаза, томные, искрометные, зажгли в пылкой душе Родольфа неугасимый пожар.

Когда аббат предложил ему навсегда расстаться с этой восхитительной девушкой или же вступить с ней в тайный брак, Родольф бросился ему на шею, назвал его своим спасителем, своим другом, своим отцом. Будь поблизости храм и священник, юный принц немедля связал бы себя брачными узами.

Аббат пожелал, и не без основания, всем заняться самолично.

Он нашел пастора, свидетелей, и бракосочетание (за формальностями которого тщательно

наблюдал Том) было совершено под покровом тайны, во время краткого отсутствия великого герцога, вызванного на собрание всегерманского парламента.

Предсказание шотландской крестьянки сбылось: Сара вышла замуж за наследника престола.

Не угасив пламенной страсти Родольфа, брак сделал юношу более осмотрительным и утишил ту необузданность, которая могла выдать тайну его любви к Саре. Молодая супружеская чета, охраняемая Томом и аббатом, жила так дружно и так умело скрывала свои отношения, что они никем не были замечены.

В течение первых трех месяцев брака Родольф был счастливейшим из смертных; когда после первого угара страсти в права вступил разум и Родольф хладнокровно взглянул на свое положение, он не посетовал на то, что связал себя нерасторжимыми узами с Сарой, без сожаления отказался от той свободной, исполненной любви и неги жизни, о которой так горячо мечтал прежде, и стал строить вместе с женой радужные планы об их будущем царствовании.

В этой гипотетической дали роль премьер-ми-

нистра, на которую зарился in petto[70] аббат, потеряла всякое значение: Эти важные функции Сара желала присвоить себе; она была натурой слишком властной, чтобы отказаться от претензий на главенство, и желала править страной вместо Родольфа.

Событие, нетерпеливо ожидаемое Сарой, вскоре превратило в бурю царящий при дворе покой.

Она забеременела.

Тогда у этой женщины появились новые требования, испугавшие Родольфа; она заявила ему, проливая притворные слезы, что не может больше выносить то ложное положение, в котором вынуждена жить, положение, ставшее еще тяжелее из-за ее беременности.

И она решительно предложила Родольфу во всем признаться великому герцогу. Конечно, говорила она, поначалу он вспылит, возмутится, но он так нежно, так слепо любит своего сына, так привязан к ней, Саре, что гнев его мало-помалу утихнет, и она займет наконец при Герольштейнском дворе надлежащий ей ранг, и, если так можно выразиться, займет его вдвойне, ибо родит ребенка наследнику престола.

---

[70] Notes: 70
В глубине души (ит.)

Это притязание привело в ужас Родольфа: он знал, как глубоко любит его отец, но знал также и непреклонность великого герцога, если дело коснется обязанностей наследного принца.

На все эти возражения у Сары находился ответ.

«Я ваша жена перед людьми и богом. Вскоре я уже не смогу скрывать свою беременность, — жестко говорила она. — Я не хочу краснеть из-за положения, которым горжусь, и считаю себя вправе выражать свою гордость во всеуслышание».

Отцовство еще увеличило нежность, испытываемую Родольфом к Саре. Оказавшись между любовью к жене и боязнью прогневить отца, он испытывал щемящую душевную боль. Том стоял на стороне своей сестры...

«Брак нерасторжим, — говорил он своему высокородному зятю. — Единственное, что может сделать великий герцог, — это удалить вас и вашу жену из Герольштейна. Но он слишком любит вас, чтобы решиться на такую меру; он предпочтет примириться с тем, чему уже не может помешать.

Эти рассуждения, в общем-то вполне резонные, не успокоили тревоги Родольфа. Вскоре Том был направлен великим герцогом, в Австрию для

знакомства с тамошними конными заводами. Это поручение, от которого он не имел права отказаться, должно было занять не более двух недель; он уехал скрепя сердце в момент, когда решалась судьба его сестры.

Эта последняя была одновременно огорчена и довольна временным отсутствием брата; правда, она лишалась его советов, зато в случае, если бы их тайна открылась, Том избежал бы гнева великого герцога.

Сара обещала брату изо дня в день держать его в курсе дела, столь важного для них обоих. На тот случай, если бы их письма попали в чужие руки, они договорились о специальном шифре.

Сама эта предосторожность доказывала, что Сара писала брату отнюдь не о своей любви к Родольфу. В самом деле, ледяное сердце этой честолюбивой, эгоистичной женщины не растаяло в огне страстной любви, которую ей удалось разжечь.

Материнство было для Сары только одним из средств, помогавшим ей управлять Родольфом, оно ничуть не смягчило ее несгибаемого характера. Молодость, безумная любовь, неопытность принца, почти ребенка, коварно поставленного в безвыходное положение братом с сестрой, не

слишком интересовали ее: в своей откровенной переписке с Томом она с презрением и горечью жаловалась на слабость этого юнца, дрожавшего перед добродушнейшим из великих князей, который зажился на белом свете.

Словом, переписка брата с сестрой выдавала их корыстные, честолюбивые замыслы, их зловещее нетерпение и обнажало пружины темного заговора, приведшего к женитьбе Родольфа.

Несколько дней спустя после отъезда Тома Сара находилась в кругу вдовствующей герцогини.

Дамы с удивлением поглядывали на молодую женщину и перешептывались между собой.

Невзирая на свои девяносто лет, великая герцогиня Юдифь прекрасно видела и слышала, вот почему поведение придворных не ускользнуло от ее внимания. Она жестом подозвала одну из фрейлин и узнала таким образом, что мадемуазель Сара Сейтон оф Холсбери кажется им всем менее тонкой и стройной, чем обычно.

Престарелая герцогиня обожала свою юную протеже; она готова была бога призвать в свидетели непорочности Сары. Возмущенная этими недоброжелательными толками, она пожала плечами и сказала громко из конца в конец гостиной «Дорогая Сара, послушайте!»

Сара встала.

Ей пришлось пересечь гостиную, дабы подойти к вдовствующей герцогине, которая из лучших чувств позвала ее, желая посрамить клеветников и воочию доказать им, что фигура ее протеже оставалась все такой же тонкой и грациозной.

Увы! Самый коварный недруг не придумал бы того, что придумала добросердечная дама, дабы защитить свою любимицу.

Сара приблизилась к ней. Потребовалось глубокое уважение, которым пользовалась великая герцогиня, чтобы все приближенные подавили шепот удивления и негодования, когда девушка проходила по гостиной.

Даже ненаблюдательные люди обнаружили, то, что Сара не желала больше скрывать, хотя ее беременность была еще не слишком заметна, но честолюбивая женщина разыграла эту сцену, чтобы заставить Родольфа объявить о своей женитьбе.

Великая герцогиня все еще не могла поверить своим глазам.

«Дорогая детка, вы отвратительно одеты сегодня. Ведь у вас осиная талия, а из-за этого платья вы просто неузнаваемы».

Мы расскажем ниже о последствиях этого от-

крытия, вызвавшего серьезные и даже грозные события в Герольштейне. Скажем заранее (читатель, вероятно, уже догадался об этом), что Певунья, иначе говоря, Лилия-Мария, была плодом несчастного брака Сары и Родольфа и что оба они считали ее умершей.

Читатель, верно, не забыл, что после посещения дома на улице Тампль Родольф вернулся к себе домой и что в тот же вечер он должен был отправиться на бал в посольство.

Мы последуем на это празднество за ныне царствующим великим герцогом Герольштейнским Густавом-Родольфом, путешествующим по Франции под именем графа фон Дюрена.

Глава XV.
БАЛ

В одиннадцать часов вечера швейцар в парадной ливрее распахнул ворота особняка на улице Плюме, откуда выехала роскошная карета, запряженная двумя великолепными лошадьми серой масти, с пышными гривами; на козлах, покрытых чехлом с шелковой бахромой, восседал огромного роста, кучер, казавшийся еще внушительней из-за синего пальто на меху, украшенного по швам серебряной нитью, и с огромным куньим воротником; на запятках кареты стояли величественный лакей с пудреными волосами, в сине-желтой, расшитой серебром ливрее и егерь в мундире с серебряным позументом, как полковой барабанщик, в широкополой шляпе, наполовину скрытой пучком желтых и синих перьев, и с большими усищами.

Свет уличных фонарей озарял внутренность обитой атласом кареты, где можно было различить Родольфа, сидящего справа, рядом с ним барона фон Грауна, а лицом к нему верного Мэрфа.

Из уважения к монарху, к послу которого Родольф ехал на бал, он прикрепил к своему фраку лишь осыпанный бриллиантами орден***.

Эмалевый крест на оранжевой ленте командора ордена Золотого Орла Герольштейна поблескивал на груди сэра Вальтера Мэрфа; барон фон Граун надел тот же орден и, кроме того, огромное количество иностранных крестов, которые покачивались на золотой цепочке в промежутке между двумя первыми пуговицами его фрака.

— Меня очень порадовали хорошие вести, полученные от госпожи Жорж о моей молоденькой подопечной с букевальской фермы, — сказал Родольф. — Лечение Давида буквально сделало чудеса. Если бы не постоянная грусть этой бедной девочки, она была бы вполне здорова. Да, кстати, о Певунье: признайтесь, доблестный угольщик, — продолжал Родольф, улыбаясь, — если бы одна из ваших сомнительных знакомых в Сите увидела вас в этом парадном костюме, она была бы вне себя от удивления.

— Полагаю, монсеньор, вы вызвали бы не меньшую сенсацию, если бы пожелали отправиться сегодня вечером на улицу Тампль с кратким дружеским визитом к госпоже Пипле, чтобы немного развеять меланхолию бедного Альфреда, готового

всем сердцем полюбить вас, как об этом говорила вашему высочеству достойная привратница.

— Монсеньор так великолепно изобразил нам Альфреда, его парадный зеленый костюм, бессменный цилиндр и менторский вид, — проговорил барон, — что я так и вижу, как он восседает в своей темной и закопченной привратницкой. Впрочем, смею надеяться, ваше высочество, что вы удовлетворены указаниями моего тайного агента. Этот дом на улице Тампль, по-видимому, оправдал ваши ожидания?

— Да, — ответил Родольф, — я нашел там даже больше того, что ожидал.

Он ненадолго умолк, чтобы прогнать тягостные мысли, вызванные опасениями по поводу маркизы д'Арвиль.

— Должен признаться в своем ребячестве, — продолжал он более веселым тоном, — я нахожу весьма пикантными эти различные роли: сперва я художник по раскраске вееров, сидящий в притоне на Бобовой улице, сегодня утром я коммивояжер, угощающий госпожу Пипле стаканчиком черносмородиновой наливки, а вечером один из тех, кто божией милостью царствует в этом дольнем мире и, получая сорок экю процентов с капитала, говорит «мои доходы»

словно какой-нибудь миллионер, — заключил в виде отступления Родольф, намекая на весьма скромные размеры своего государства.

— Мало кто из миллионеров, монсеньор, наделен таким редким, таким поразительным здравым смыслом, как ваш обладатель «сорока экю», — сказал барон.

— Вы слишком добры, мой милый фон Граун; право, вы мне льстите, — продолжал Родольф с наигранным смущением.

Тут барон посмотрел на Мэрфа взглядом человека, который понял слишком поздно, что сказал глупость.

— Дорогой фон Граун, — продолжал Родольф с невозмутимой серьезностью, — я, право, не знаю, как оправдать ваше доброе мнение обо мне, а главное, как отплатить за вашу любезность.

— Монсеньор, умоляю вас, не утруждайте себя, — проговорил барон, упустивший из виду, что Родольф беспощадно мстил за лесть, которой не выносил.

— Право, барон, я не желаю быть в долгу у вас; вот, к сожалению, то единственное, что я могу сказать в ответ: клянусь честью, вам можно дать самоё большее двадцать лет; даже у Антиноя не было более пленительных черт лица, чем у вас.

— Прошу пощады, монсеньор!

— Взгляните на него, Мэрф: Аполлон Бельведерский и тот не сравнится с ним по изяществу и юношеской стройности фигуры.

— Монсеньор, я уже давно не делал такой глупости.

— А как ему идет эта пурпурная мантия!

— Монсеньор, больше со мной этого не случится.

— А золотой обруч, что удерживает, не скрывая их, завитки прекрасных черных волос, спускающихся на его божественную шею.

— Пощады, пощады, монсеньор, я, право же, раскаиваюсь, — проговорил несчастный дипломат с комическим отчаянием.

(Читатель, конечно, не забыл, что у пятидесятилетнего барона были пудреные курчавые волосы с проседью, широкий белый галстук, худое лицо и очки в золотой оправе).

— Ей-богу, Мэрф, ему не хватает только серебряного колчана за плечами и лука в руке, чтобы походить на победителя Пифона.

— Я хочу взять его под защиту, монсеньор; не обременяйте его всей этой мифологией, — проговорил, смеясь, эсквайр, — готов поручиться, что отныне он воздержится от лести, если новый ге-

рольштейнский словарь толкует таким образом слово «правда».

— Как, и ты туда же, старый друг? В такую минуту ты смеешь?.. .

— Монсеньор, мне жаль несчастного барона, и я хочу разделить его участь.

— Дорогой придворный угольщик, ваша преданность другу делает вам честь. Но, говоря серьезно, барон, как вы могли забыть, что я допускаю лесть только со стороны Харнейма и ему подобных? Скажу справедливости ради, что они неспособны говорить иначе: это как бы их визитная карточка; но человек с вашим вкусом и умом... фи, барон!

— Выслушайте меня, монсеньор, — решительно проговорил барон, — в вашем отвращении к похвалам есть немалая доля гордыни, да простит мне ваше высочество эти слова.

. — Превосходно, барон, такой язык мне больше по душе! Объясните, что вы подразумеваете под этим.

— Такое же чувство, монсеньор, испытывает хорошенькая женщина, говоря своим воздыхателям: «Бог ты мой, мне и самой известно, что я очаровательна; ваши похвалы скучны, они мне набили оскомину. Зачем утверждать то, что

очевидно? Кто станет кричать на улице: солнце — источник света!»

— Это замечание, барон, более остроумно и более опасно. Итак, чтобы продлить ваши муки, признаюсь вам, что чертов аббат Полидори и тот не сумел бы лучше скрыть яд лести.

— Монсеньор, я умолкаю.

— Значит, вы больше не сомневаетесь, ваше высочество, что под обликом шарлатана скрывается аббат Полидори? — серьезно спросил Мэрф.

— Не сомневаюсь, ведь вы были предупреждены, что он недавно обосновался в Париже.

— Я позабыл или, точнее, не хотел говорить вам о нем, монсеньор, — грустно заметил Мэрф, — я же знаю, как вам; тягостно вспоминать об этом священнике.

Лицо Родольфа снова омрачилось; и, погруженный в печальные думы, он не сказал больше ни слова до того, как карета въехала во двор посольства.

Все окна этого огромного особняка ярко сияли в темноте ночи; лакеи в парадной ливрее стояли шпалерой от колоннады перед входом и передних до залов ожидания, где находились камердинеры: зрелище было величественное, царственное.

Граф*** с графиней любезно ожидали Родольфа

в первом салоне, когда он появился в сопровождении эсквайра Мэрфа и барона фон Грауна.

В ту пору Родольфу было тридцать шесть лет; и хотя молодость его уже миновала, безупречная правильность черт лица и благожелательное достоинство, с которым он держался, невольно бросались в глаза, даже если бы его августейший ранг и не придавал блеска этим преимуществам.

Родольф, вошедший в первый салон посольства, казался другим человеком: в нем не было ничего от буяна с быстрой и решительной походкой, художника по расписке вееров и победителя Поножовщика; в нем не было ничего и от насмешника коммивояжера, с готовностью внимавшего невзгодам г-жи Пипле. Это был принц крови в самом высоком, поэтическом смысле слова.

У Родольфа прямая, гордая посадка головы; вьющиеся каштановые волосы обрамляют его широкий, открытый, благородный лоб; взгляд у него ласковый, исполненный достоинства; когда он обращается к кому-нибудь с присущим ему остроумием, в его тонкой чарующей улыбке обнажаются два ряда жемчужных зубов, белизну которых оттеняют темные тонкие усы; такого же цвета бакенбарды обрамляют безупречный овал его бледного лица вплоть до слегка выступающе-

го вперед подбородка с ямочкой.

Родольф одет очень просто: белый жилет, белый галстук, сверкающий на груди усыпанный бриллиантами орден, и синий фрак, который облегает его стройную, изящную, гибкую фигуру; наконец, мужественные, решительные манеры смягчают то, что могло бы показаться слащавым в его обаятельном облике. Родольф так редко бывал в свете и держался с такой царственной непринужденностью, что его прибытие вызвало сенсацию, взгляды всех собравшихся обратились к нему, когда он вошел в первый салон посольства в сопровождении Мэрфа и барона фон Грауна.

Атташе посольства, которому было поручено следить за его прибытием, тотчас же отправился предупредить графиню***, и она вместе с мужем поспешила навстречу Родольфу.

— Не знаю, ваше величество, как выразить вам мою признательность за любезность, какую вы оказали нам сегодня, почтив нас своим присутствием, — сказала графиня***.

— Вы же знаете, графиня, что я всегда рад случаю засвидетельствовать вам свое почтение и выразить господину послу мою сердечную к нему привязанность; ведь мы с вами старые знакомые, граф.

— Вы очень добры, ваше высочество, что не забыли о нашем знакомстве и дали мне новый повод вспомнить о ваших милостях.

— Уверяю вас, граф, не моя вина в том, что иные воспоминания всегда живы у меня в памяти; я наделен счастливым даром не забывать того, что было у меня наиболее приятного в жизни.

— Право же, ваше высочество, это неоценимое преимущество, — заметила, улыбаясь, графиня***.

— Не правда ли, сударыня? Вот почему спустя много лет я буду иметь удовольствие — очень надеюсь на это — напомнить вам сегодняшний день, а также вкус и редкостную и изысканность, которые царят на этом балу... Ибо, скажу вам откровенно на ушко, вы одна умеете давать такие празднества.

— Монсеньор!..

— И это не все; скажите мне, господин посол, почему женщины кажутся у вас красивее, чем на других приемах?

— Потому, ваше высочество, что вы распространяете них ту благосклонность, которую проявляете к нам.

— Разрешите не согласиться с вами, граф, мне кажется что это полностью зависит от вашей

жены.

— Не будете ли вы так добры, ваше высочество, объяснить мне этот феномен? — улыбаясь, спросила графиня.

— Все очень просто, сударыня; вы умеете принимать всех этих дам с такой безукоризненной учтивостью, с таким восхитительным радушием, вы говорите каждой из них что-нибудь такое приятное, лестное, что даже те женщины, которые не вполне... да, не вполне заслуживают столь любезных похвал, — сказал Родольф с лукавой улыбкой, — приходят в восторг от них, а те, что заслуживают таких комплиментов, бывают в не меньшем восторге из-за того, что вы сумели оценить их красоту. От этой невинной радости расцветают лица; счастье делает привлекательными даже дурнушек, вот почему, графиня, дамы всегда кажутся у вас красивее, чем на других приемах. Уверен, что господин посол согласится со мной.

— Вы привели столько убедительных доводов в пользу своего мнения, ваше высочество, что я готов присоединиться к нему.

— Что до меня, монсеньор, я принимаю ваше объяснение с благодарностью и удовольствием, словно это правда, а не лесть, хотя и рискую стать

такой же хорошенькой, как те женщины, которые не вполне, да, не вполне заслуживают похвал.

— Чтобы убедить вас, сударыня, в истинности моих слов, давайте понаблюдаем за действием комплиментов на выражение лиц присутствующих дам.

— Но, монсеньор, можно ли расставлять им такую ловушку? — возразила, смеясь, графиня.

— Хорошо, сударыня, я отказываюсь от своего намерения, но при условии, что вы разрешите предложить вам руку, я наслышан о некоем волшебном саде, цветущем в январе месяце... Не будете ли вы так добры показать мне это чудо из «Тысячи и одной ночи»?

— С величайшим удовольствием, ваше высочество; но то, что вы слышали о нашем саде, сильно преувеличено. Впрочем, вы сами будете судить о нем, если только ваша обычная снисходительность не введет вас в заблуждение.

Родольф предложил руку графине*** и прошел вместе с ней в другие салоны, в то время как посол беседовал с бароном фон Грауном и Мэрфом, с которыми был давно знаком.

Глава XVI.
ЗИМНИЙ САД

Трудно было бы найти что-нибудь более феерическое, более достойное сказок «Тысячи и одной ночи», чем зимний сад, о котором Родольф говорил с графиней***.

Представьте себе великолепную галерею, откуда вы попадаете на площадку сорока туазов длины и тридцати ширины, над которой навис застекленный, словно невесомый свод, достигающий пятидесяти футов от пола. Зеркальные стены этой площадки в форме параллелограмма, в глубине которых как бы пересекаются крохотные зеленые ромбы камышовых трельяжей, напоминают благодаря игре света и тени ажурную беседку; вдоль стен выстроились апельсиновые деревья и кусты камелии, не уступающие по размерам тем, что находятся в Тюильри; первые усыпаны плодами, сверкающими, как золотые яблоки, среди глянцевитой темно-зеленой листвы, вторые пестрят пурпурными, белыми и розовыми цветами.

Но это лишь обрамление сада.

Пять или шесть куп деревьев и кустов, привезенных из Индии и тропиков, растут в глубоких впадинах, вокруг которых петляют аллеи, выложенные прелестной ракушечной мозаикой; аллеи эти достаточно широки, чтобы три-четыре человека могли гулять по ним, взявшись за руки.

Невозможно описать впечатление, которое производила в разгар зимы, и притом среди бала, эта роскошная экзотическая растительность.

Здесь огромные банановые деревья почти достигают вершины застекленного свода, смешивая свои широкие лоснящиеся листья с остроконечными листьями огромных магнолий, |де уже расцветают прекрасные душистые цветы, из чашечек которых, пурпурных сверху и серебристых внутри, торчат золотые тычинки; дальше растут финиковые пальмы Леванта, красные веерники, индийские смоковницы; все эти густолиственные, мощные деревья как бы дополняют буйство окружающей их пышной яркой зелени, которая словно позаимствовал свое великолепие у изумруда, ибо ее крепкие, плотные, гладкие побеги приобретают иной раз искрометные металлические оттенки.

А каких только здесь нет вьющихся растений!

Они карабкаются по трельяжам гирляндами цветов и листьев, повисают между апельсиновыми и иными деревьями, спиралью взбираются по их стволам и, образуя непроходимую чащу, поднимаются до верха застекленного свода; страстоцветы, прозванные крылатыми, кавалерники, усыпанные большими пурпурными цветами в голубых прожилках с лиловато-черным пестиком, ниспадают оттуда гигантскими каскадами, цепляясь своими тонкими усиками за стреловидные листья алоэ, точно снова хотят подняться ввысь.

Пушистый индийский жасмин с удлиненными светло-желтыми цветами переплелся с другой лианой, покрытой сочными белыми цветами, которые распространяют вокруг пряный аромат; обе они, не разжимая объятий, украшают своей зеленой бахромой с золотыми и серебряными колокольчиками листья индийской смоковницы.

Дальше взвиваются и зелеными струями падают вниз бесчисленные побеги ласточника, чьи листья и зонтичные цветы по двадцати звездочек в каждом так компактны и глянцевиты, что их можно принять за букеты из розовой эмали, окруженные маленькими зелеными листочками.

Купы деревьев и кустов окружены бордю-

рами трансваальского вереска, голландских тюльпанов, константинопольских нарциссов, персидских гиацинтов, цикламенов, ирисов, образующими нечто вроде естественного ковра, где соседствуют во всем своем великолепии самые разнообразные краски и оттенки.

Наполовину скрытые среди листвы китайские фонарики из прозрачного шелка, одни голубые, другие бледно-розовые, освещают зимний сад.

Невозможно описать таинственный мягкий свет, создаваемый их лучами, свет пленительный, сказочный, который напоминает голубоватую прозрачность ясной летней ночи и алые отблески северной зари.

В эту огромную теплицу ведет приподнятая над ней длинная галерея, сверкающая золотом, зеркалами, хрусталем, сияние которой обрамляет, если так можно выразиться, сумеречный сад» где неясно вырисовываются высокие деревья, видимые в ее широкие просветы, наполовину затянутые малиновым бархатом.

Заглянув в один из них, можно подумать, что перед вами расстилается среди спокойной светлой ночи экзотический пейзаж.

Если же смотреть из глубины сада, где под сенью зелени и цветов стоят огромные диваны,

галерея являет собой резкий контраст с мягким полумраком оранжереи.

Глаз различает, как в окутывающей их золотистой дымке играют и переливаются, словно на ожившей картине, разнообразные красочные ткани женских платьев, как искрятся бриллианты и другие драгоценные камни.

Звуки оркестра, ослабленные расстоянием и веселым, невнятным шумом галереи, замирают в неподвижной листве высоких экзотических деревьев.

Прогуливаясь по этому саду, гости невольно понижали голос, слышался лишь звук легких шагов и шуршание атласных платьев; этот воздух, одновременно легкий, теплый и напоенный запахом множества благовонных растений, эта тихая, далекая музыка погружали вас в сладостный душевный покой.

Сидя на обитом шелком диване в укромном уголке этого Эдема, двое счастливых влюбленных, опьяненные страстью, гармонией и ароматами, не могли бы найти более волшебной рамки для своей пламенной и недавно зародившейся любви, ибо, увы, месяц или два законного спокойного счастья беспощадно превращает двух любовников в холодную супружескую чету.

Войдя в этот восхитительный зимний сад, Родольф невольно вскрикнул от удивления.

— Право, сударыня, я никогда не подумал бы, что подобное чудо возможно. Этот сад не только воплощение роскоши и вкуса, он — сама поэзия; вместо того чтобы писать поэмы или картины, как крупный мастер, вы создаете то, о чем они вряд ли осмелились бы мечтать, — сказал он графине***.

— Вы очень любезны, ваше высочество.

— Признайтесь же, сударыня, что мастер, который сумел бы передать эту чарующую картину с ее поразительными красками и контрастами, то ласкающими глаз, то навевающими сладостный покой, признайтесь же, что такой художник или поэт создал бы замечательное произведение искусства, лишь воспроизведя то, что сотворили вы.

— Похвалы, подсказанные снисходительностью вашего высочества, тем более опасны, что они очаровывают тебя своим остроумием и ты помимо воли внимаешь им с огромным удовольствием. Но взгляните, монсеньор, на эту прелестную молодую женщину. Согласитесь, ваше высочество, что маркиза д'Арвиль хороша в любой рамке. Сколько в ней изящества!

Разве она не выигрывает по сравнению с холодной красавицей, которая сопровождает ее?

Графиня Сара Мак-Грегор и маркиза д'Арвиль как раз спускались по ступеням, которые вели из галереи в зимний сад.

Глава XVII.
СВИДАНИЕ

Лестные отзывы графини*** о г-же д'Арвиль не были преувеличены.

Не хватает слов, чтобы передать тонкую, пленительную красоту этой женщины, находившейся во цвете лет, красоту, тем более редкостную, что она заключалась не столько в правильности черт лица, сколько в невыразимой его прелести, которая как бы скромно пряталась за трогательным выражением доброты.

Мы делаем упор на слова «доброта», ибо обычно не доброта ценится в лице двадцатилетней женщины, красивой, остроумной, окруженной поклонением и любовью, как г-жа д'Арвиль, которая невольно привлекала сердце своим мягким, бесхитростным характером, не вязавшимся с успехом, которым она пользовалась в свете, отчасти, надо признаться, из-за родовитости и богатства мужа. Попробуем пояснить эту мысль. Натура слишком гордая, слишком одаренная, чтобы кокетством завлекать мужчин, г-жа д'Арвиль бывала так чистосердечно тронута их внимани-

ем, словно не вполне заслуживала его; внимание это пробуждало в ней не гордость, а радость; равнодушная к похвалам, она ценила превыше всего доброе к себе отношение и прекрасно умела отличить лесть от проявления искренней приязни.

Наделенная ясным, тонким, а порой и лукавым умом, она умела беззлобно высмеять множество самодовольных людей, которые постоянно выставляют напоказ одни свою благодушную физиономию счастливых дураков, другие — надутую физиономию спесивых глупцов... «Эти люди, — шутливо говорила г-жа д'Арвиль, — проводят жизнь как бы танцуя в одиночку перед невидимым зеркалом и сочувственно улыбаясь ему». Зато застенчивые, сдержанные, самолюбивые люди вызывали неизменный интерес г-жи д'Арвиль.

Это краткое вступление поможет читателю понять все своеобразие красоты маркизы.

У нее безукоризненный цвет лица с нежным румянцем; длинные локоны светло-каштановых волос касаются округлых плеч, крепких и гладких, как белый мрамор. Невозможно описать ангельскую прелесть ее больших серых глаз, опушенных длинными черными ресницами. Алый рот ее так же выразителен, как и чарующий

взгляд, а трогательному, задушевному разговору вторит ласковое и грустное выражение лица. Не будем говорить ни об ее безупречной фигуре, ни о редкой изысканности всего ее облика. В тот вечер на маркизе было платье из белого крепа, украшенное веточкой камелии, в чашечке которой сверкали, наподобие капель росы, полускрытые в ней бриллианты; венок таких же цветов осенял ее чистый белый лоб.

Холодная красота графини Мак-Грегор еще больше подчеркивала обаяние и женственность маркизы д'Арвиль.

В свои тридцать пять лет Сара казалась самое большее тридцатилетней. Нет ничего полезнее для тела, чем холодный эгоизм; человек долго сохраняет молодость с этим куском льда в груди.

Иные сухие, черствые души не доступны волнениям, от которых изнашивается и блекнет лицо, они ощущают лишь уколы уязвленной гордости или обманутого честолюбия — огорчения, которые не слишком влияют на здоровье тела.

Моложавость Сары лишь подтверждает наши слова.

Если не считать известной полноты, которая придавала ее фигуре, менее стройной, чем у г-жи д'Арвиль, сладострастную томность, Сара

блистала свежестью молодости; мало кто мог выдержать обманчивый огонь сверкающих черных глаз графини, но влажные губы выдавали ее решительную и плотоядную натуру.

Голубоватые жилки на висках и шее проступали сквозь молочную белизну ее тонкой, словно прозрачной, кожи.

На графине Мак-Грегор было муаровое платье соломенного цвета и в тон ему шелковая туника; простой венок из вечнозеленых листьев, оттенком напоминающих бирюзу, прекрасно гармонировал с ее черными как смоль волосами, разделенными на прямой пробор. Эта строгая прическа придавала нечто античное властному и чувственному профилю этой женщины с орлиным носом.

Немало людей, введенных в заблуждение собственной внешностью, рассматривают ее как явное доказательство своего будущего призвания. Один находит у себя чрезвычайно воинственный вид, он воюет; другой — вид поэта, он слагает стихи; третий — вид конспиратора, он конспирирует; четвертый — вид политика, он политиканствует; пятый — вид проповедника, он проповедует. Сара находила, и не без основания, что у нее царственный вид, и, поверив некогда предсказаниям

кормилицы, была по-прежнему убеждена в своей высокой судьбе.

Спускаясь по ступенькам лестницы в зимний сад, маркиза с Сарой увидели там Родольфа; но герцог, очевидно, не заметил их, ибо находился на повороте аллеи.

— Герцог так увлечен разговором с супругой посла, — сказала г-жа д'Арвиль, — что даже не обратил на нас внимания...

— Вы ошибаетесь, дорогая Клеманс, — возразила графиня, которая была близкой приятельницей г-жи д'Арвиль, — герцог прекрасно видел нас, но он меня боится... Его неприязнь ко мне так и не прошла.

— Я отказываюсь понимать то упорство, с которым он избегает вас; я часто журила его за столь странное поведение с таким давним другом. «Мы с графиней Сарой смертельные враги, — ответил он шутливо, — я дал обет никогда не, разговаривать с ней, и, по-видимому, обет этот священный, если я отказываю себе в удовольствии беседовать с такой любезной особой». И хотя, дорогая Сара, слова герцога удивили меня, пришлось удовле-

твориться ими[71].

— Уверяю вас, что причина нашей жестокой ссоры, ссоры полушутливой, полусерьезной, самая невинная; если бы в этом деле не было замешено третье лицо, я давным-давно открыла бы вам эту великую тайну. Но что с вами, дорогое дитя? Вы чем-то озабочены?

— Пустяки... в этой галерее было так жарко, что у меня разболелась голова; давайте посидим здесь, и, надеюсь, моя головная боль пройдет...

— Вы правы, вот как раз уединенный уголок, где вы будете скрыты от глаз тех, кого опечалит ваше отсутствие... — заметила Сара, улыбаясь и делая ударение на последних словах.

Обе дамы сели на диван.

— Я сказала «тех, кого опечалит ваше отсутствие», дорогая Клеманс... Вы должны быть благодарны мне за сдержанность.

Молодая женщина слегка покраснела, опустила голову и ничего «е сказала в ответ.

— Вы слишком сдержанны со мной, — проговорила Сара тоном дружеского упрека. — Разве вы не доверяете мне, детка? Да, для меня вы девочка,

---

[71] Notes: 71

Любовь Родольфа к Саре и последовавшие за ней события, случившиеся 17-18 лет тому назад, не стали достоянием светских сплетен: Родольф и Сара были одинаково заинтересованы в том, чтобы скрыть их.

ведь я вам в матери гожусь.

— Как вы могли подумать, что я не доверяю вам? — с грустью молвила маркиза. — Разве я не сказала вам того, в чем не смела признаться самой себе?

— Превосходно. Так что же... давайте поговорим о нем, значит, вы решили довести его до отчаяния, до самоубийства?

— Ах! — с ужасом воскликнула г-жа д'Арвиль. — Что вы такое говорите?

— Вы еще не знаете его, бедное дитя!.. Он человек с холодным, решительным характером, для которого жизнь мало что значит. Он был всегда очень несчастлив... и можно подумать, что вас забавляет мучить его.

— Боже мой, как вы могли это подумать?

— Быть может, сами того не желая, вы мучаете его... О, если бы вы знали, как впечатлительны, как болезненно чувствительны те, кого нещадно била жизнь! Послушайте, я только что видела слезы на его глазах.

— Возможно ли?!

— Да... и это среди бела дня; он рискует стать посмешищем, если его тяжкое горе будет замечено в свете. Поверьте, надо очень любить, чтобы так страдать... и, главное, даже не пытаться скрыть

своих страданий!..

— Умоляю, не говорите со мной об этом, — растроганно молвила г-жа д'Арвиль, — вы глубоко огорчили меня... Я и сама прекрасно знаю это выражение мягкой и безропотной скорби... Увы, меня погубила жалость к нему, — невольно вырвалось у г-жи д'Арвиль.

Сара сделала вид, что не поняла значения этих последних слов.

— Не преувеличивайте!.. — сказала она. — Считать себя погибшей из-за того, что вы принимаете ухаживания мужчины, который по своей скромности, сдержанности даже не хочет быть представленным вашему мужу из боязни скомпрометировать вас, ибо господин Шарль Робер человек чести! А сколько в нем такта, сердечности. Я с такой горячностью защищаю его, потому что вы познакомились с ним в моем доме и у меня с ним встречались. Уважение, которое он питает к вам, так же велико, как и его привязанность...

— Я никогда не сомневалась в его душевных качествах: вы так много говорили о нем хорошего!.. Но особенно тронули меня его несчастья.

— Признайтесь же, что он заслуживает и оправдывает это участие... Да к тому же разве такое прекрасное лицо не есть отражение великой ду-

ши? Со своим высоким ростом, стройным станом он напоминает мне рыцарей средних веков. Я видела его однажды в военной форме: какой у него был величественный вид! Если бы принадлежность к дворянству зависела от достоинств и внешности человека, он был бы не господином Шарлем Робером, а князем или пэром. С каким блеском он мог бы представлять знатнейшие фамилии Франции!

— Вы знаете, Сара, что родовитость весьма мало трогает меня; не вы ли упрекали меня в том, что я республиканка? — заметила с улыбкой г-жа д'Арвиль.

— Конечно, я всегда считала, как и вы, что господин Шарль Робер не нуждается в титулах, чтобы пленять сердца; а как он музыкален, какой у него дивный голос! Как он скрашивал наши утренние домашние концерты! Помните тот день, когда вы впервые спели с ним дуэт? Сколько экспрессии, сколько чувства он вкладывал в свою партию!..

— Пожалуйста, — сказала г-жа д'Арвиль после долгой паузы, — переменим тему разговора.

— Почему?

— Меня очень опечалили ваши слова о его мрачном настроении.

— Уверяю вас, что в порыве отчаяния человек

с таким горячим, страстным темпераментом может найти в смерти конец своим...

— О, умоляю вас, замолчите, замолчите! — воскликнула г-жа д'Арвиль, прерывая Сару. — Впрочем, такая мысль и мне приходила в голову.

Опять наступила пауза.

— Прошу вас, давайте поговорим о ком-нибудь другом... хотя бы о вашем смертельном враге, продолжала маркиза с наигранным весельем, — да, поговорим о герцоге, которого я давно не видела. Знаете, он обаятельнейший человек, Несмотря на свой почти королевский титул. Хотя я и республиканка, но считаю, что в обществе мало таких обворожительных мужчин, как он.

Сара украдкой бросила на г-жу д'Арвиль испытующий, подозрительныйвзгляд.

— Признайтесь, дорогая Клеманс, — оживленно заметила она, — что вы очень непостоянны. Вспомните, ваш интерес к герцогу не раз уступал место странной к нему неприязни; несколько месяцев тому назад, когда он только что приехал в Париж, вы были в таком восторге от него, что, говоря между нами... я испугалась за покой вашего сердечка...

— Зато благодаря вам, — проговорила с улыбкой г-жа д'Арвиль, — мой интерес к нему был

недолговечен, вы прекрасно сыграли роль его смертельного врага, вы сделали мне такие признания о герцоге... что, сознаюсь вам, охлаждение сменило былой интерес, из-за которого вы опасались за покой моего сердца; кстати сказать, он и не думал нарушать его: незадолго до ваших признаний герцог, продолжавший по-дружески посещать моего мужа, почти совсем отказался от чести наносить мне визиты.

— Скажите, вашего мужа как будто нет на этом празднестве? — спросила Сара.

— Нет, он не пожелал выезжать сегодня, — смущенно ответила г-жа д'Арвиль.

— Мне кажется, он все меньше и меньше бывает в свете?

— Да... иногда он предпочитает оставаться дома. Маркиза была в явном замешательстве, и Сара заметила

это.

— В последний раз, когда я видела его, он показался мне побледневшим.

— Да... Ему немного нездоровилось...

— Скажите, дорогая Клеманс, хотите, я буду вполне откровенна с вами?

— Прошу вас...

— Когда разговор заходит о вашем муже, вы

впадаете в какое-то странное беспокойство.

— Я... Откуда вы это взяли?

— Видите ли, на вашем личике появляется... Боже мой, как бы это выразить поточнее... Нечто вроде... боязливого отвращения.

Сара с ударением произнесла последние слова, как бы стараясь проникнуть в мысли Клеманс.

Сначала г-жа д'Арвиль противопоставила инквизиторскому взгляду Сары безучастно-холодное выражение лица, однако последняя уловила нервное, еле заметное подергивание нижней губы молодой женщины.

Не желая продолжать свой допрос из боязни вызвать недоверие подруги, графиня поспешила заметить, чтобы сбить ее с толку;

— Да, нечто вроде боязливого отвращения, какое внушает обыкновенно ревнивый ворчун.

При этом объяснении легкое подергивание нижней губки г-жи д'Арвиль прекратилось: она испытала, видимо, огромное облегчение.

— Да нет же, мой муж не ревнивец и не ворчун...

Наступила пауза, видимо, маркиза искала предлога переменить неприятный ей разговор.

— Боже мой! А вот и этот несносный герцог де Люсене, один из друзей моего мужа... Только бы

он не заметил нас! Откуда он взялся? Я полагала, что он за тридевять земель отсюда.

— В самом деле, поговаривали о том, будто он уехал на Восток, на год или два; а между тем прошло едва пять месяцев, как он покинул Париж. Это внезапное появление должно было немало расстроить герцогиню де Люсене, хотя герцог и не слишком навязчивый муж, — проговорила Сара с недоброй усмешкой. — Впрочем, не только ее огорчит это досадное возвращение... Господин де Сен-Реми разделит ее горе.

— Не надо злословить, дорогая Сара; скажите лучше, что... все будут недовольны его возвращением,. Господин де Люсене настолько неприятный человек, что вы могли отнести это, замечание ко всем нам.

— Я не злословлю, нет!.. Я только передаю то, что слышала. Говорят, кроме того, что господин де Сен-Реми, этот законодатель мод, который покорил все светское общество своим великолепием, почти разорен, хотя и продолжает вести столь же роскошный образ жизни; зато госпожа де Люсене несметно богата.

— Какой ужас!..

— Повторяю, я передаю лишь то, что говорят другие... Боже мой! Герцог нас заметил. Он на-

правляется к нам, придется смириться. Какая досада., я не знаю человека более несносного, чем он. Порой он держится так вульгарно, так громогласно хохочет над своими глупыми анекдотами, поднимает такой шум, что у собеседника голова идет кругом; если у вас имеется флакон или веер, которыми вы дорожите, смело защищайте их от его посягательств, ибо он ломает все, к чему ни прикоснется, и делает это с видом бесшабашным и самодовольным.

Герцог де Люсене принадлежал к одному из знатнейших родов Франции; человек еще не старый, с лицом, которое могло бы показаться приятным, если бы не причудливый, непомерной длины нос, герцог с его порывистым, неусидчивым характером, громким голосом и оглушительным смехом отличался к тому же шутками такого сомнительного свойства, выходками столь бесцеремонными и неожиданными, что приходилось постоянно вспоминать о его титуле, дабы не удивляться, встречая его в самом изысканном обществе, и не осуждать тех, кто терпеливо сносил свойственные ему эксцентричные выходки, которые пользовались всепрощением и безнаказанностью благодаря давней к ним привычке. И все же от него бежали как от чумы, хотя

он и не был лишен остроумия, проглядывавшего иной раз в потоке его слов. Он был одним из тех людей, которых так и подмывает натравить на самых смешных или ненавистных вам субъектов.

Поведение г-жи де Люсене, одной из обаятельнейших и модных парижанок, хотя ей уже стукнуло тридцать, нередко служило причиной сплетен; но в свете готовы были извинить ее за легкомыслие из-за странностей супруга.

Упомянем еще одно неприятное свойство герцога — несдержанность и немыслимый цинизм при упоминании о нелепых болезнях или немыслимых увечьях, которые он приписывал людям смеха ради и тут же при всем обществе во всеуслышание выражал им свое соболезнование. Как человек безупречно смелый, он был готов искупить свои оскорбительные выходки и не раз наносил и получал сабельные удары, что, однако, не послужило ему к исправлению.

Предуведомив обо всем этом читателя, мы дадим ему послушать, что говорит своим крикливым, пронзительным голосом г-н де Люсене, который, едва завидев г-жу д'Арвиль и Сару, возопил:

— Вот те на, вот те на! Что это такое! Что я вижу? Как, самая хорошенькая женщина на балу

держится в стороне от общества! Да разве это допустимо? Я вовремя вернулся от антиподов, чтобы положить конец этому скандалу! Предупреждаю, если вы, маркиза, будете избегать всеобщего восхищения, я закричу во всю глотку, я объявлю об исчезновении лучшего украшения этого празднества!

В заключение своей тирады г-н де Люсене развалился на диване рядом с маркизой; после чего он закинул левую ногу на правую и схватился рукой за свой башмак.

— Как, сударь, вы уже вернулись из Константинополя? — проговорила г-жа д'Арвиль, нетерпеливо отодвигаясь от герцога.

— Уже! Вы говорите то, что подумала моя жена, уверен в этом, ибо она не пожелала сопровождать меня сегодня вечером в честь моего возвращения в свет. Вот и приезжайте невзначай к своим друзьям, чтобы они обдавали вас таким холодным душем!

— Почему бы вам было не проявлять своей любезности... там, откуда вы приехали? — проговорила г-жа д'Арвиль с полуулыбкой.

— Иначе говоря, оставаться в отсутствии, не так ли? Какие мерзости, какие гадости вы говорите! — вскричал г-н де Люсене, ставя ноги на пол

и ударяя по своей шляпе, словно по баскскому барабану.

— Ради всего святого, сударь, не кричите так громко и сидите смирно, иначе вы вынудите нас уйти отсюда, — с досадой молвила г-жа д'Арвиль.

— Превосходно, значит, вы хотите опереться на мою руку и пройти по галерее?

— С вами? Нет, конечно. Будьте осторожны, прошу вас, не трогайте этого букета, умоляю, оставьте в покое и мой веер, — не то сломаете его по своему обыкновению.

— Какие пустяки! Поверьте, я и так сломал их немало, особенно хорош был один, китайский, который госпожа де Водемон подарила моей жене.

Произнося эти успокоительные слова, г-н де Люсене теребил густые стебли ползучего растения. Дело кончилось тем, что оно оторвалось от дерева, служившего ему опорой, и рухнуло на герцога.

Из-под этого зеленого покрова раздались взрывы смеха, да такие безумные, визгливые, оглушительные, что г-жа д'Арвиль сбежала бы от своего несносного соседа, если бы не заметила в эту минуту г-на Шарля Робера («офицера», как называла его г-жа Пипле), который направлялся к ним с противоположного конца аллеи. Могло

показаться, будто она идет ему навстречу, и, испугавшись этого, молодая женщина осталась рядом с г-ном де Люсене.

— Скажите, госпожа Мак-Грегор, ведь я в точности походил на бога Пана, на наяду, лешего, дикаря под обрушившейся на меня листвой? — спросил г-н де Люсене, обращаясь к Саре, возле которой он неожиданно очутился. — Кстати, о дикаре, я должен рассказать вам чрезвычайно неприличную историю... Представьте себе, что на Таити...

— Герцог, — ледяным тоном прервала его Сара.

— Так вот же, я не расскажу вам этой истории; приберегу ее для госпожи де Фонбон, она как раз идет к нам.

Это была пятидесятилетняя коротышка, очень претенциозная и очень смешная, с тройным подбородком, которая вечно закатывала глаза, говоря о своей душе, о томлении своей души, о запросах своей души, о порывах своей души. В этот вечер на ее голове красовался безвкуснейший тюрбан из ткани медного цвета в мелкий зеленый горошек.

— Я оставляю свою историю для госпожи де Фонбон, — воскликнул, герцог.

— В чем дело, герцог? — спросила г-жа де Фон-

бон, жеманясь, воркуя и подмаргивая, как говорят в народе.

— А дело в том, сударыня, что эта история в высшей степени неприличная, непристойная и ни с чем не сообразная.

— Ах, боже мой! Но кто же посмеет... рассказать ее? Кто же позволит себе?..

— Я, сударыня; моя история вогнала бы в краску даже старика Шамборана. Но я знаю ваши вкусы... Послушайте-ка...

— Сударь...

— Так нет же, вы не услышите моей истории, не услышите! И знаете из-за чего? Вы обычно так хорошо одеваетесь, с таким вкусом, с таким изяществом, а сегодня вечером на вас тюрбан, похожий, разрешите сказать, на старую форму для торта, изъеденную ярь-медянкой.

И герцог громко расхохотался.

— Если вы приехали с Востока для того, чтобы возобновить ваши дурацкие выходки, которые прощаются вам лишь потому, что голова у вас не в порядке, — раздраженно проговорила толстуха, — все пожалеют о вашем возвращении, сударь.

И она величественно удалилась.

— Как мне хочется сбросить тюрбан с этой противной жеманницы! — сказал г-н де Люсене.

— Прямо руки чешутся, но я уважаю ее: она одинока на белом свете... Ха-ха-ха! А вот и господин Шарль Робер, — воскликнул г-н де Люсене, — я встречал его на пиренейских водах... Он поразительный малый, поет как лебедь. Увидите, маркиза, как я его разыграю. Хотите, я вам представлю его?

— Сидите смирно и оставьте нас в покое, — сказала Сара. Пока Шарль Робер медленно шел по аллее, делая вид, что любуется оранжерейными цветами, г-н де Люсене ловко завладел флаконом Сары и в полном молчании, с чрезвычайным усердием старался отвинтить пробку этой прелестной вещицы.

Господин Шарль Робер подходил все ближе; его высокая фигура была безукоризненно пропорциональна, черты лица отличались редкой правильностью, костюм исключительной элегантностью; однако его лицу и манерам не хватало изящества, обаяния, изысканности; походка была напряженная, чопорная, руки и ноги большие и неуклюжие. Как только он увидел г-жу д'Арвиль, незначительность его лица сразу исчезла, сменившись глубокой меланхолией, слишком внезапной, чтобы ее нельзя было заподозрить в наигранности; однако сделано это

было безупречно. Вид у г-на Робера был такой несчастный, такой безутешный, когда он подходил к г-же д'Арвиль, что она невольно подумала о зловещих словах Сары насчет трагического шага, на который может толкнуть его любовь.

— Ба, да это вы, сударь, здравствуйте! — обратился к нему г-н де Люсене. — Я не имел удовольствия видеть вас со времени нашей встречи на пиренейских водах. Но что это с вами? Вид у вас совершенно больной!

Тут г-н Шарль Робер бросил долгий горестный взгляд на г-жу д'Арвиль и ответил герцогу с подчеркнутой печалью в голосе:

— Я и в самом деле болен, сударь.

— Боже мой, боже мой, вы так и не смогли отделаться от своих утренних рвот? — спросил г-н де Люсене с видом искреннего участия.

Вопрос этот был столь неожидан, столь нелеп, что на мгновение г-н Шарль Робер растерялся; затем лоб его покраснел от гнева и он ответил г-ну де Люсене, твердым, отрывистым голосом:

— Если вас так интересует мое здоровье, сударь, я надеюсь, что вы завтра же зайдете справиться о нем?

— Ну конечно, мой милый... конечно, завтра же пришлю к вам... — высокомерно ответил герцог.

Сделав полупоклон, г-н Шарль Робер удалился.

— Забавнее всего, что он так же здоров, как турецкий султан, — сказал г-н де Люсене, снова развалясь на диване рядом с Сарой, — если только я не попал в точку, сам того не подозревая. Скажите-ка, госпожа Мак-Грегор, разве у этого молодца такой вид, словно его рвет по утрам?

Сара резко повернулась спиной к г-ну де Люсене, ничего ему не ответив.

Вся эта сцена разыгралась с молниеносной быстротой.

Сара с трудом подавила взрыв смеха.

Госпожа д'Арвиль жестоко страдала, думая о тягостном положение человека, которому был задан столь нелепый вопрос в присутствии любимой женщины; она пришла в ужас при мысли о возможной дуэли и под влиянием необоримого чувства жалости неожиданно встала, взяла под руку Сару и догнала г-на Шарля Робера, который был вне себя от гнева.

— Завтра в час дня... я приду... — сказала она тихо проходя мимо него.

Затем она вернулась с графиней на галерею и покинула бал.

Глава XVIII.
АНГЕЛ
МОЙ, КАК ТЫ ПОЗДНО ПРИЕХАЛА!

Отправляясь на это празднество, чтобы выполнить долг вежливости, Родольф намеревался выяснить, кроме того, насколько обоснованны его опасения относительно г-жи д'Арвиль, и узнать, была ли она героиней рассказа г-жи Пипле. Покинув вместе с графиней*** зимний сад, Родольф напрасно обошел несколько салонов в надежде встретить г-жу д'Арвиль. Он возвращался в оранжерею, когда, задержавшись на первой ступеньке лестницы, оказался свидетелем мимолетной сцены, которая произошла между г-жой д'Арвиль и г-ном Шарлем Робером после отвратительной шутки герцога де Люсене. Родольф заметил многозначительные взгляды, которыми они обменялись. Предчувствие подсказало ему, что этот высокий красивый молодой человек и есть тот самый офицер, о котором ему говорила г-жа Пипле. Желая убедиться в этом, он вернулся в галерею.

Оркестр заиграл вальс; вскоре он увидел г-на

Шарля Робера, стоявшего в проеме одной из дверей. Казалось, он был вдвойне доволен — и своим ответом г-ну де Люсене (Шарль Робер был человеком весьма храбрым, несмотря на свои причуды), и свиданием, которое назначила ему на следующий, день г-жа д'Арвиль: он был уверен, что на этот раз она не обманет его.

Родольф разыскал Мэрфа.

— Видишь высокого блондина вон там, среди кучки людей?

— Господина, явно довольного самим собой? Да, монсеньор.

— Незаметно подойди к нему и скажи так тихо, чтобы он один услышал тебя: «Ангел мой, как ты поздно приехала!»

Эсквайр с недоумением взглянул на Родольфа.

— Вы не шутите, монсеньор?

— Отнюдь нет.

— Я ничего не понимаю, но готов повиноваться.

До окончания вальса достойному Мэрфу удалось встать за спиной г-на Шарля Робера.

Родольф занял наблюдательный пост, откуда он мог прекрасно видеть, чем закончится этот опыт, и стал внимательно следить за Мэрфом.

Не прошло и секунды, как г-н Шарль Робер рез-

ко обернулся, Мэрф и глазом не моргнул; конечно же этот высокий лысый мужчина с серьезным внушительным видом был последним человеком, которому офицер мог приписать фразу, напомнившую ему досадное недоразумение, героиней которого была г-жа Пипле.

По окончании вальса Мэрф подошел к Родольфу.

— Вы видели, монсеньор, молодой человек обернулся, словно его ужалили. Так, значит, эта фраза волшебная?

— Да, волшебная, старый друг: она открыла мне то, что я хотел узнать.

Родольфу не оставалось ничего иного, как пожалеть г-жу д'Арвиль из-за совершенной ею ошибки, тем более что соучастницей и наперсницей ее в этом деле (он это прекрасно понял) была графиня Сара Мак-Грегор. При этом открытии Родольф почувствовал, как болезненно сжалось его сердце; он перестал сомневаться в причине огорчения г-на д'Арвиля, которого нежно любил; виной всему была, несомненно, ревность; его жена, наделенная красотой и прекрасными душевными качествами, готова была принести себя в жертву недостойному ее человеку. Овладев чужой тайной, Родольф не мог воспользоваться ею,

чтобы открыть глаза г-же д'Арвиль на ее избранника, и был осужден оставаться бесстрастным свидетелем гибели молодой женщины, оказавшейся жертвой слепой страсти.

Из задумчивости его вывел барон фон Граун.

— Если вы, ваше высочество, соизволите уделить мне немного времени для беседы в маленькой уединенной гостиной, я сообщу вам те сведения, которые вы приказали мне собрать.

Родольф последовал за бароном.

— Единственная герцогиня, к которой могут относиться инициалы Н и Л, это герцогиня де Люсене, урожденная де Нуармон, — сказал фон Граун, — сегодня ее здесь нет Я только что встретил ее мужа, пять месяцев назад отправившегося в годичное путешествие по Востоку, — он неожиданно вернулся в Париж не то два, не то три дня тому назад.

Читатель, наверное, помнит, что при посещении дома на улице Тампль, Родольф поднял на лестничной площадке против квартиры шарлатана Сезара Брадаманти мокрый от слез носовой платок, обшитый прекрасными кружевами, в уголке которого он заметил инициалы Н и Л, увенчанные герцогской короной. По его приказанию барон фон Граун, ничего не знавший

об обстоятельствах этого дела, навел справки о герцогинях, в настоящее время находящихся в Париже, и добыл те сведения, о которых мы только что упомянули.

Родольф все понял.

У него не было ни малейшей причины интересоваться г-жой де Люсене, но он поневоле содрогнулся при мысли, что она та самая женщина, которая побывала у шарлатана, и теперь этот негодяй, иначе говоря, аббат Полидори, знает ее имя, ибо приказал Хромуле выследить ее, и что он может злоупотребить связавшей их страшной тайной, дабы шантажировать герцогиню.

— Странные бывают совпадения, монсеньор, — продолжал барон фон Граун.

— О чем это вы?

— В ту минуту, когда господин де Гранжнев сообщал мне сведения о супругах де Люсене, присовокупив к ним не без ехидства, что неожиданное возвращение господина да Люсене, вероятно, очень расстроило герцогиню и виконта де Сен-Реми, красивого молодого человека и одного из самых знаменитых парижских щеголей, господин посол попросил меня узнать, не разрешите ли вы, ваше высочество, представить вам виконта: он как раз присутствует на этом

празднестве; дело в том, что господин де Сен-Реми причислен к французской миссии в Герольштейне и был бы счастлив засвидетельствовать вам свое почтение.

Родольф досадливо поморщился.

— До чего же мне это неприятно, — сказал он, — но отказать невозможно... Что ж, попросите графа*** представить мне господина де Сен-Реми.

Несмотря на свое дурное настроение, Родольф слишком хорошо умел, играть роль монарха, чтобы не встретить г-на де Сен-Реми с подобающей случаю улыбкой. Кроме того, молодой человек слыл любовником герцогини де Люсене, что возбудило любопытство Родольфа.

Граф*** подвел к нему виконта.

Это был очаровательный молодой человек лет двадцати пяти, тонкий, стройный, с прекрасными манерами и приветливым смуглым лицом того мягкого золотистого оттенка, который встречается на портретах Мурильо; его иссиня-черные волосы были разделены на пробор; гладко зачесанные надо лбом, они кудрявились на висках, почти закрывая бледные мочки ушей; его бархатисто-черные глаза ярко блестели, белки глаз были того голубоватого оттенка, который прида-

ет пленительное выражение взгляду индийцев. По прихоти природы густые шелковистые усы контрастировали с безбородым юношеским лицом, нежным, как у девушки; из-за свойственного ему желания нравиться он повязывал очень низко черный атласный галстук, открывая шею, достойную античного флейтиста.

Одна-единственная жемчужина скрепляла длинные концы его галстука, жемчужина, бесценная по величине, форме, переливчатому сиянию, более яркому, нежели у опала. Безупречный костюм г-на де Сен-Реми прекрасно гармонировал с этой изысканно-простой драгоценностью.

Увидев хоть раз г-на де Сен-Реми, невозможно было забыть его, — так не походил он на обычного щеголя.

Великолепие его лошадей и экипажей не поддается описанию; он удачливо и смело играл на скачках, и сумма его выигрышей достигала в год двух-трех тысяч луидоров. Его особняк на улице Шайо считался образцом изящества и роскоши. Стол у него был отменный, а по вечерам шла азартнейшая игра в карты, во время которой он проигрывал иной раз огромные суммы с беззаботностью гостеприимного хозяина; и однако, в городе было известно, что виконт уже давно

пустил по ветру отцовское наследство.

Чтобы как-то объяснить его непонятную расточительность, завистники или сплетники говорили, как и Сара, об огромном состоянии герцогини де Люсене; они забывали при этом не только о гнусности такого предположения, но и о том, что г-н де Люсене распоряжался, как оно и подобает, состоянием своей жены, а виконт тратил не менее пятидесяти тысяч экю, или, иными словами, двухсот тысяч франков в год. Другие говорили о неосторожных заимодавцах, ибо г-ну де Сен-Реми уже не от кого было ждать наследства; наконец, третьи утверждали, будто ему везет на скачках, а шепотом упоминали о тренерах и жокеях, которых он подкупал, чтобы выигрывали те лошади, на которые он ставил большие деньги... но в большинстве своем светские люди не слишком беспокоились о том, к каким средствам прибегает г-н де Сен-Реми, чтобы вести столь роскошный образ жизни.

По рождению он принадлежал к высшей знати, был весел, отважен, остроумен и обладал легким, уживчивым характером; он давал превосходные холостые обеды, а во время игры соглашался на любые ставки. Чего еще оставалось желать?

Женщины обожали виконта; его победам не

было числа; он был молод и красив, галантен и великодушен во всех случаях, когда мужчина может проявить эти качества по отношению к даме, словом, всеобщее увлечение им было таково, что покров тайны, которым он окружал речку Пактол, пригоршнями черпая из нее золото, и тот придавал его жизни некую загадочную прелесть. «Должно быть, этот дьявол Сен-Реми нашел философский камень», — говорили светские люди с беззаботной улыбкой.

При известии, что виконт вошел в состав французской миссии при Герольштейнском дворе, многие подумали, что г-н де Сен-Реми решил с честью удрать из Парижа.

— Ваше высочество, — сказал граф***, — имею честь представить вам господина виконта де Сен-Реми, причисленного к французской миссии в Герольштейне.

Виконт отвесил глубокий поклон.

— Соблаговолите извинить меня, ваше высочество, если я слишком поторопился засвидетельствовать вам свое почтение, но мне не терпелось воспользоваться честью, которой я придаю огромное значение, — сказал он.

— Буду весьма рад, сударь, увидеться с вами в Герольштейне. Как скоро вы рассчитываете

отправиться туда?

— Поскольку вы, ваше высочество, пребываете в Париже я не слишком тороплюсь уехать отсюда.

— Спокойствие и тишина наших немецких дворов удивит вас, сударь, ведь вы привыкли жить в Париже.

— Смею вас заверить, ваше высочество, что благосклонность, с которой вы встретили меня и которую, надеюсь, соблаговолите оказывать мне и дальше, не даст мне пожалеть о Париже.

— Не от меня будет зависеть, сударь, чтобы вы продолжали так думать в течение всего вашего пребывания в Герольштейне.

И Родольф слегка наклонил голову, давая этим понять, что аудиенция окончена.

С глубоким поклоном виконт удалился.

Родольф был прекрасным физиономистом, а потому его внезапные симпатии или антипатии почти неизменно оправдывались. Обменявшись несколькими словами с г-ном де Сен-Реми, он почувствовал, сам не зная почему, невольную холодность к виконту. Он подметил в его взгляде нечто хитрое, коварное и нашел, что внешность молодого человека не сулит ничего хорошего.

Мы снова встретимся с г-ном де Сен-Реми при

обстоятельствах, ничем не напоминающих то блестящее положение, которое он занимал, когда граф*** представил его Родольфу, и читатель убедится в верности предчувствий последнего.

После окончания аудиенции Родольф спустился в зимний сад, размышляя о странных встречах, посланных ему случаем. Настало время ужина, и салоны почти опустели; наиболее укромное место зимнего сада находилось в углу между двумя стенами и было скрыто от посторонних глаз огромным банановым деревом, оплетенным вьющимися растениями; за этим развесистым гигантом он заметил маленькую приоткрытую дверцу, замаскированную трельяжем; она вела в длинный коридор, а оттуда в буфетную.

Приютившись за этой завесой, Родольф погрузился в раздумье, когда его имя, произнесенное знакомым голосом, заставило его вздрогнуть.

Сара сидела по другую сторону зеленого массива, скрывавшего Родольфа, и беседовала по-английски со своим братом Томом.

Том был, по обыкновению, во всем черном. И несмотря на небольшую разницу в летах с Сарой, волосы его почти совсем побелели, лицо выражало холодную, упрямую волю; голос звучал отрывисто, резко, глухо. По-видимому, этого

человека снедало большое горе или большая ненависть. Родольф прислушался к их разговору...

— Маркиза только что отправилась на бал к барону де Нервалю; к счастью, она не успела поговорить с Родольфом, который разыскивал ее; я все еще опасаюсь его влияния на госпожу д'Арвиль, хотя влияние это мне с таким трудом удалось побороть, а возможно, и уничтожить. Наконец соперница, которой я всегда опасалась, ибо сердце подсказывало мне, что она может стать мне поперек дороги... эта соперница завтра будет устранена. Выслушай меня, Том, дело серьезное...

— Ты ошибаешься, Родольф никогда не помышлял о маркизе.

— Настало время кое-что рассказать тебе по этому поводу. Многое изменилось со времени твоего последнего путешествия... И действовать надо скорее, чем я думала... сегодня вечером после бала. Вот почему нам необходимо поговорить... К счастью, мы здесь одни.

— Говори, я слушаю.

— До своей встречи с Родольфом эта женщина, я убеждена в этом, никого не любила... Не знаю, по какой причине она испытывает непреодолимую антипатию к своему мужу, который обожает ее...

Здесь кроется какая-то тайна, которую я напрасно пыталась разгадать. Присутствие Родольфа вызвало в сердце Клеманс еще не изведанное ею чувство. Я задушила в зародыше эту пробуждающуюся любовь, выставив герцога в самом дурном свете. Но жажда любви уже пробудилась у маркизы; встретив как-то у меня Шарля Робера, она была поражена его красотой, как бываешь поражен видом прекрасной картины; к сожалению, этот человек столь же глуп, сколь и красив, но во взгляде у него есть что-то трогательное. Я стала восхвалять величие его души, благородство характера. Зная, как добра от природы госпожа д'Арвиль, я наделила Робера самыми романтическими чертами! Я посоветовала ему неизменно пребывать в безнадежно грустном настроении, воздействовать на маркизу лишь вздохами и возгласами «увы!». А главное, поменьше говорить. Он последовал моим советам. Благодаря своему таланту певца, своему красивому лицу и в особенности выражению неизлечимой грусти он мало-помалу привлек к себе сердце госпожи д'Арвиль, которая таким образом нашла замену потребности в любви, разбуженной в ней Родольфом. Понимаешь?

— Прекрасно понимаю, продолжай.

— Робер и госпожа д'Арвиль встречались в домашней обстановке лишь у меня, и дважды в неделю мы все трое музицировали по утрам. Меланхоличный поклонник вздыхал, произносил шепотом несколько нежных слов, а два или три раза вручил своей даме любовные записки. Писем его я опасалась еще больше, чем разговоров; но женщина всегда снисходительна к первым объяснениям в любви; объяснения моего протеже не повредили ему; главное для него было добиться свидания. У молоденькой маркизы принципы перевешивали любовь, или, точнее, она недостаточно любила, чтобы позабыть их... Сама того не сознавая, она все еще хранила в сердце образ Родольфа, который, так сказать, оберегал ее, помогая бороться со склонностью к Шарлю Роберу... склонностью скорее надуманной, чем реальной... которая подогревалась ее неподдельным сочувствием к воображаемым бедам этого безмозглого Аполлона и моими чрезмерными похвалами ему. Наконец Клеманс, побежденная глубоко несчастным видом своего незадачливого поклонника, согласилась прийти на назначенное им свидание.

— Неужели ты стала поверенной ее тайн?

— Она созналась мне лишь в своей привязан-

ности к Шарлю Роберу. Я не стала расспрашивать ее; это было бы неудобно... Зато он, упоенный счастьем или, точнее, самолюбивой гордостью, поделился со мной своей победой, по умолчал о дне и месте свидания.

— Как же ты узнала об этом?

— По моему приказанию Чарльз два дня подряд дежурил с утра у двери господина Робера. На второй день, около полудня, наш влюбленный отправился на извозчике в отдаленный квартал, на улицу Тампль... Он сошел у дома жалкого вида, пробыл там около полутора часов и ушел. Чарльз оставался весьма долго на своем посту, чтобы посмотреть, не выйдет ли кто-нибудь вслед за Робером. Никто не вышел: маркиза не сдержала своего обещания. Я узнала об этом на следующий день от самого разочарованного и разгневанного влюбленного. Я посоветовала ему разыграть глубокое отчаяние. Клеманс опять разжалобилась; назначено было новое свидание, столь же тщетное, как и первое. В последний раз она все же доехала до двери дома: это уже был шаг вперед. Видишь, как борется эта женщина... А почему? Потому что, уверена в этом, сама того не ведая, она еще любит Родольфа, который как бы охраняет ее, что вызывает мою ненависть к маркизе.

Наконец сегодня вечером она назначила Роберу свидание на завтра; не сомневаюсь, что она придет на него. Герцог де Люсене так грубо высмеял этого молодого человека, что госпожа д'Арвиль, расстроенная унижением своего поклонника, согласилась из жалости увидеться с ним наедине, иначе она, по всей вероятности, отказала бы ему. Но теперь она сдержит слово.

— Что же ты думаешь обо всем этом?

— Маркизой владеет не любовь, а нечто вроде доведенного до восторженности сострадания; Шарль Робер так плохо разбирается в тонкости ее чувства, что поспешит воспользоваться предоставившейся ему возможностью и погубит себя во мнении Клеманс; повторяю, она принуждает себя к этому опасному для ее репутации поступку не в порыве увлечения или страсти, а только из жалости. Словом, я не сомневаюсь, что она смело отправится на свидание, желая показать своему поклоннику, как глубока ее обида за него, но вполне спокойная и уверенная в том, что ни на минуту не забудет супружеского долга. Шарль Робер не поймет этого, и маркиза возненавидит его; а когда ее иллюзии развеются, она вновь обратится душой к Родольфу, образ которого все еще живет в глубине ее сердца.

— И что же?

— А то, что она будет навсегда потеряна для Родольфа. Не сомневаюсь, что иначе он рано или поздно изменил бы своей дружбе с господином д'Арвилем и ответил бы на любовь Клеманс; но Родольф возненавидит ее, узнав, что не он был предметом ее любви, а для мужчин это непростительное преступление. Наконец, под предлогом своей давней привязанности к господину д'Арвилю, он никогда больше не встретится с этой женщиной, которая недостойно обманула его близкого друга.

— Так, значит, ты хочешь предупредить мужа?

— Да, и сегодня же вечером, конечно, если ты не против. По словам Клеманс, у ее мужа имеются смутные подозрения, но точно он ничего не знает. Скоро полночь, мы уедем с бала, зайдем в первое попавшееся кафе, и ты напишешь господину д'Арвилю, что завтра в час дня его жена отправляется на любовное свидание на улицу Тампль, семнадцать. Он ревнив: он застанет Клеманс на месте преступления. Нетрудно догадаться, что последует за этим.

— Но это же подло, Сара, — холодно заметил джентльмен.

— И все же ты согласен со мной?

— Да... сегодня вечером господин д'Арвиль узнает обо всем... Но... кто-то прячется там, за этим деревом! — неожиданно заметил Том, понизив голос. — Мне почудился какой-то шорох.

— Надо взглянуть, — сказала Сара с беспокойством. Том встал, обошел зеленый массив и никого не увидел.

Родольф только чго вышел в маленькую дверку, о кото мы говорили.

— Я ошибся, — проговорил Том, возвращаясь, — там никого нет.

— Я так и думала...

— Послушай, Сара, я считаю, что эта женщина не так опасна для твоих планов; Родольф человек принципиальный и от своих принципов не отступится. Девушка, которую он отвез на ферму полтора месяца тому назад, переодевшись рабочим, гораздо больше беспокоит меня; он окружил ее заботами, нанял ей учителей и несколько раз навещал ее. Мне известно, кто она, но, по-моему, эта девка принадлежит к низшим слоям общества. Редкая красота, которой она, видимо, наделена, то, что Родольф сам отвез ее и принимает в ней живейшее участие, — все доказывает, что этой привязанностью нельзя пренебрегать. Вот почему я пошел навстречу твоим желаниям.

Дабы устранить это второе препятствие, на мой взгляд, более существенное, чем первое, пришлось действовать крайне осторожно, собрать точные сведения об обитателях фермы, о привычках девушки. Настало время действовать, судьба вновь свела меня с омерзительной старухой, которая предусмотрительно сохранила мой адрес. Ее связи людьми вроде того разбойника, который напал на нас в Сите будут нам весьма полезны. Все предусмотрено, ни малейших улик против нас не будет... К тому же если эта девка принадлежит, как мне кажется, к рабочему люду, она не станет колебаться между нашими предложениями и уделом, пусть даже заманчивым, о котором она, вероятно, мечтает, ибо герцог сохранил строжайшее инкогнито. Итак, завтра этот вопрос будет решен... В противном случае... посмотрим...

— После того, как будут устранены эти два препятствия... Том, а наш великий проект...

— он сопряжен с большими трудностями, но может удаться.

— Признайся, что одним шансом у нас будет больше, если мы приведем его в исполнение в тот момент, когда Родольф будет вдвойне удручен скандалом с госпожой д'Арвиль и исчезновением

этой девки, к которой он так привязан.

— Конечно... Но если эта последняя надежда нас обманет... я буду свободен?.. — спросил Том, мрачно смотря на Сару.

— Да, вполне свободен!

— И ты не возобновишь своих уговоров, из-за которых я помимо воли дважды не смог отомстить?

Затем, указав взглядом на свою повязанную крепом шляпу и черные перчатки, Том зловеще улыбнулся.

— Я жду, я все еще жду... Ты знаешь, что я уже шестнадцать лет хожу в трауре... и сниму его только...

На лице Сары невольно появилось выражение страха, и она поспешно прервала брата.

— Да, я обещала тебе это, ты будешь свободен... Том... — проговорила она с невольной тревогой, — ведь тогда меня покинет глубокая уверенность, служившая мне опорой в самые трудные минуты и оправданная к тому же божественным предначертанием... А теперь, когда я близка к цели, надо убрать с дороги даже самые ничтожные препятствия... Они, возможно, и не столь серьезны, но я сокрушу их, чтобы развязать себе руки. Мои средства бесчестны, согласна!.. А разве

меня кто-нибудь пожалел? — воскликнула Сара, невольно повысив голос.

— Тише! Гости возвращаются с ужина, — сказал Том. — Ты полагаешь, что следует предупредить маркиза д'Арвиля о завтрашнем свидании? Хорошо, идем... уже поздно.

— Ночной час, в который будет вручена наша записка, придаст ей еще больше значения.

И Том с Сарой покинули здание посольства.

Глава XIX.
СВИДАНИЯ

Желая во что бы то ни стало предупредить г-жу д'Арвиль о грозящей ей опасности, Родольф ушел с приема до окончания беседы Тома с Сарой, поэтому он так и не узнал о заговоре, замышляемом против Лилии-Марии, и неминуемой опасности, которой та подвергалась.

Несмотря на все свои старания, Родольфу не удалось, как он надеялся, предупредить маркизу.

После бала в посольстве маркизе д'Арвиль надлежало приличия ради появиться хотя бы на мгновение у г-жи де Нерваль; но маркиза была сломлена обуревавшими ее волнениями, у нее не хватило духа поехать на второе празднество, и она вернулась домой.

Эта помеха все погубила.

Барон фон Граун, как и все гости посланника***, был приглашен к г-же де Нерваль. Родольф немедля отвез его туда с просьбой отыскать на балу г-жу д'Арвиль и передать ей, что герцог желает в тот же вечер сообщить ей нечто очень важное; он будет стоять возле особняка д'Арвилей, подой-

дет к карете и скажет ей несколько слов, пока ее люди будут ждать, когда им откроют ворота.

Потеряв много времени на балу, где он так и не нашел маркизы, барон приехал к Родольфу...

Родольф был в отчаянии; он правильно рассудил, что следовало прежде всего предупредить маркизу о заговоре, направленном против нее; в этом случае предательство Сары, которому он не мог помешать, сошло бы за недостойную клевету. Было слишком поздно: постыдная записка была вручена маркизу в час ночи.

На следующее утро г-н д'Арвиль медленно расхаживал по своей спальне, обставленной с изящной простотой, где невольно привлекали внимание коллекция современного оружия и этажерка с книгами.

Постель осталась нетронутой, однако с нее свисало разорванное в клочья шелковое стеганое одеяло; стул и столик из черного дерева с витыми ножками валялись возле камина; на ковре виднелись осколки хрустального стакана, раздавленные свечи, а большой канделябр отлетел в угол спальни.

Казалось, весь это беспорядок был вызван чьей-то неистовой борьбой.

Господину д'Арвилю было под тридцать; его му-

жественное характерное лицо, обычно приятное, доброе, было в то утро искажено и мертвенно бледно, губы посинели; маркиз так и остался во вчерашнем костюме, он был без галстука, в расстегнутом жилете, разорванная рубашка запятнана кровью; темные, обычно вьющиеся волосы падали прямыми спутанными прядями на его словно восковой лоб.

«Завтра, в час дня, ваша жена отправится на улицу Тампль, 17, где у нее назначено любовное свидание. Последуйте за ней, счастливый муж! И вы все узнаете...»

По мере того как он пробегал эти читаные и перечитанные строки, губы его судорожно дергались.

Тут дверь отворилась, и вошел камердинер. У этого пожилого человека были седеющие волосы и честное, доброе лицо.

Маркиз резко повернул голову, не меняя положения и все еще держа письмо в руках.

— Зачем пришел? — резкосСпросил он.

Ничего не отвечая, тот смотрел с горестным изумлением на беспорядок в комнате; затем, внимательно взглянув на своего барина, он воскликнул:

— Рубашка у вас в крови... Боже мой! Боже мой,

ваше сиятельство, вы, верно, поранили себя!. Ведь вы были одни, почему не позвали меня, как обычно, когда чувствуете, что начнется...

— Убирайся!

— Но, ваше сиятельство..... Огонь в камине погас, холод в комнате собачий, и после вашего...

— Замолчи! Оставь меня в покое.

— Но, ваше сиятельство, — продолжал камердинер, дрожа, — вы приказали господину Дубле прийти к вам сегодня утром в Половине одиннадцатого; сейчас как раз половина одиннадцатого, и он уже здесь с нотариусом.

— Ты прав, — сказал маркиз, овладев собой. — Когда человек богат, надо думать о делах. Иметь большое состояние так приятно!

Наступила пауза.

— Проводи господина Дубле в мой кабинет, — добавил он.

— Господин Дубле, ваше сиятельство, уже там.

— Дай мне какой-нибудь костюм. Мне скоро придется отлучиться.

— Но, ваше сиятельство...

— Делай, что тебе приказано, Жозеф, — проговорил г-н д'Арвиль более мягким тоном.

Помолчав, он спросил:

— Моя жена уже проснулась?

— Не думаю, барыня еще не звонила.

— Пусть меня предупредят, когда она позвонит.

— Хорошо, ваше сиятельство...

— Позови Филиппа, чтобы он помог тебе: ты вечно так копаешься!

— Погодите, барин, сперва я приберу комнату, — грустно ответил Жозеф. — Кто-нибудь другой заметит этот беспорядок и поймет, что случилось сегодня ночью с вашим сиятельством.

— А если поймут, то все выйдет наружу, да? — язвительно заметил г-н д'Арвиль.

— Полно, ваше сиятельство, — воскликнул Жозеф, — никто ни о чем не подозревает.

— Никто?.. Да, никто! — горько ответил маркиз.

Пока Жозеф наводил порядок, его хозяин подошел к коллекции оружия, о которой мы уже упоминали, несколько минут внимательно осматривал ее и с мрачным удовлетворением кивнул головой.

— Уверен, ты забыл почистить ружья, вон те, наверху, что лежат в охотничьем футляре.

— Вы ничего не говорили мне об этом, ваше сиятельство... — удивленно проговорил Жозеф.

— Говорил, но ты запамятовал..

— Осмелюсь возразить, ваше сиятельство...

— Воображаю, в каком они должны быть состоянии!

— Не прошло и месяца, как я принес их от оружейника.

— Не важно, как только я буду одет, ты снимешь футляр, я хочу осмотреть эти ружья: быть может, завтра или послезавтра я отправлюсь на охоту.

— Немного погодя я достану их. Когда спальня была приведена в порядок, на помощь Жозефу пришел второй камердинер.

Переодевшись, маркиз вошел в свой кабинет, где находились управляющий г-н Дубле, а также клерк и нотариус.

— Вот купчая, которая уже была зачитана вашему сиятельству, — сказал управляющий. — Остается только подписать ее.

— А вы сами читали ее, господин Дубле?

— Да, ваше сиятельство.

— Этого достаточно... дайте сюда бумагу, я поставлю на ней свою подпись.

Маркиз подписал бумагу, клерк вышел из кабинета.

— Благодаря этой покупке, ваше сиятельство, — торжествующе проговорил г-н Дубле, — ваша земельная рента составит не менее ста двадцати

шести тысяч франков. Как прекрасно, ваше сиятельство, получать со своих земельных владений сто двадцать шесть тысяч!

— Я счастливец, не правда ли, господин Дубле? Иметь сто двадцать шесть тысяч земельной ренты! Где найдешь другого такого удачника?

— И это не считая основного капитала, ваше сиятельство.

— И не считая других преимуществ!

— Слава богу, у вашего сиятельства есть все, что может пожелать человек: молодость, богатство, здоровье — решительно все, и главное, — проговорил г-н Дубле, приятно улыбаясь, — красавица жена и прелестная дочка, похожая на херувима.

Господин д'Арвиль бросил зловещий взгляд на г-на Дубле.

Мы отказываемся описать выражение дикой иронии, с которой он обратился к г-ну Дубле, фамильярно похлопав его по плечу.

— Вы правы, — сказал он, — со ста двадцатью шестью тысячами франков земельной ренты, с такой женой, как моя... и с дочкой, похожей на херувима... мне больше нечего желать, не так ли?

— Хе-хе, ваше сиятельство, — наивно ответил управляющий, — остается дожить до преклонных лет, чтобы выдать замуж вашу дочку и стать

дедушкой... Вот чего я вам желаю, ваше сиятельство, а вашей супруге желаю стать бабушкой и даже прабабушкой.

— Милый господин Дубле, вы весьма кстати вспомнили о Филемоне и Бавкиде. Вы всегда попадаете в точку.

— Вы очень любезны, ваше сиятельство. Что еще прикажете?

— Ничего... Да, скажите, сколько у вас наличных денег?

— Девятнадцать тысяч триста франков с небольшим на текущие расходы, ваше сиятельство, не считая денег, лежащих в банке.

— Вы принесете мне сегодня утром десять тысяч франков золотом и вручите их Жозефу, если меня не будет дома.

— Сегодня утром?

— Да.

— Я принесу их через час. Больше не будет приказаний, ваше сиятельство?

— Нет, господин Дубле.

— Сто двадцать шесть тысяч франков чистоганом! — повторил управляющий, направляясь к двери. — Сегодня удачный день: я боялся, как бы эта ферма, которая так нам подходит, не ускользнула от нас... Ваш покорный слуга.

— До свиданья, господин Дубле.

Едва управляющий вышел из комнаты, г-н д'Арвиль упал, подавленный, в кресло, положил локти на письменный стол и закрыл лицо руками.

Впервые после получения роковой записки Сары он дал волю слезам.

«Что за жестокая насмешка судьбы, сделавшей меня богачом! Кому нужна отныне эта золотая рамка? Кого в нее вставить? Она лишь подчеркнет мой позор и низость Клеманс! Этот позор ляжет, быть может, и на мою дочь! Да, позор... должен ли я сделать решительный шаг или же пожалеть...»

Тут он вскочил, глаза его сверкали, зубы были судорожно сжаты.

— Нет! Нет! — проговорил он глухо. — Я отомщу. Пролитая кровь помешает мне стать посмешищем! Понимаю теперь ее отвращение... мерзавка!

Тут он неожиданно умолк, словно сраженный внезапной мыслью.

— Отвращение Клеманс... — продолжал он. — О, я прекрасно понимаю его причину: я внушаю ей страх, ужас!..

Наступила длительная пауза.

— Но разве это моя вина? И обманывать меня из-за этого? Не ненависти я заслуживаю, а жалости, — продолжал он, все более волнуясь. — Нет, нет!.. Мщение, мщение!.. Я убью их обоих!.. Ведь она, наверно, все сказала тому, другому.

Эта мысль привела в полную ярость маркиза.

Он поднял к небу судорожно сжатые кулаки; затем, при жав горячую руку к глазам, почувствовал, что необходим взять себя в руки перед слугами, и вернулся в спальню с спокойным лицом; там он увидел Жозефа.

— Где мои ружья?

— Я принес их, ваше сиятельство, они в полном порядке.

— Я сам их осмотрю. А что, барыня звонила?

— Не знаю, ваше сиятельство.

— Сходи, узнай. Камердинер вышел. Господин д'Арвиль поспешно взял из оружейного ящика мешочек с порохом, несколько пуль и пистонов; запер ящик и положил ключ в карман. Затем он подошел к коллекции оружия, выбрал два пистолета средней величины, зарядил их и тоже спрятал в карман своего длинного утреннего редингота. В эту минуту вошел Жозеф.

— Ее светлость велели сказать, что они уже встали, барин.

— А не знаешь, приказала ли она заложить карету?

— Нет, ваше сиятельство, горничная Жюльетта сказала при мне кучеру, пришедшему за распоряжениями, что сегодня прохладно и сухо и что барыня погуляет пешком... если ей захочется.

— Прекрасно. Ах, совсем забыл: завтра или послезавтра я, вероятно, отправлюсь на охоту. Скажи Вильяму, чтобы он сегодня же утром осмотрел небольшую зеленую карету, слышишь?

— Да, ваше сиятельство. Подать вам тросточку?

— Нет, не надо. Нет ли тут поблизости извозчичьей стоянки?

— А как же, в двух шагах отсюда, на улице Лилль.

— Пусть Жюльетта спросит у барыни, может ли она принять меня, — молвил маркиз после минутного колебания.

Жозеф вышел.

«Да... между нами разыграется комедия, не хуже всякой другой. И все же я хочу видеть эту вероломную женщину, понаблюдать за слащавой, обманчивой маской, под которой она скрывает свои мысли о скором свидании с любовником; я выслушаю ложь из ее уст и прочту правду в ее

развращенном сердце. Это будет прелюбопытно... Видеть, как на тебя смотрит, с тобой говорит и тебе отвечает жена, которая вскоре покроет твое имя тем нелепым и гнусным позором, что отмывается лишь кровью... Ну и болван же я! Она посмотит на меня, как обычно, тем же ясным взглядом; каким смотрит на свою дочь, когда целует ее в лоб, прося прочесть молитву. Взгляд... зеркало души? — Он презрительно пожал плечами. — Чем нежнее и стыдливее взгляд, тем больше в нем порочности. Ее пример подтверждает это... А я, дурак, попался на удочку. Горе мне! С каким холодным и наглым пренебрежением она, вероятно, взирала на меня до сих пор сквозь свою лживую маску, мечтая в то же время о свидании с другим... А я относился к ней с уважением, с нежностью... как к молодой матери, целомудренной и серьезной, я вложил в нее всю свою любовь, всю надежду на счастье».

— Нет, нет! — воскликнул г-н д'Арвиль, чувствуя, что гнев душит его. — Нет, я не зайду к ней, я не хочу ее видеть... не хочу видеть и дочь... я выдам себя, откажусь от мщения.

Выйдя из спальни, г-н д'Арвиль, вместо того чтобы пройти к жене, сказал ее камеристке:

— Передайте барыне, что я собирался погово-

рить с ней сегодня утром, но вынужден отлучиться по делу; если ей угодно позавтракать со мной, скажите, что я вернусь к полудню; в противном случае, пусть не беспокоится обо мне.

«Полагая, что я скоро вернусь, она почувствует себя свободнее», — подумал г-н д'Арвиль.

И он отправился на извозчичью стоянку поблизости от его особняка.

— Извозчик, оплата почасовая.

— Ладно, барин, сейчас половина двенадцатого. Куда поедем?

— По улице Доброй Охоты, завернешь за угол улицы Святого Доминика и затем поедешь вдоль каменной ограды сада... и там подождешь.

— Ладно, барин.

Господин д'Арвиль опустил шторы. Извозчик тронул и почти тотчас же остановился против дома маркиза: отсюда легко было заметить любого человека, выходящего из особняка.

Свидание его жены должно было состояться в.час дня; такая буря бушевала в душе маркиза, что время для него летело с невероятной быстротой.

Двенадцать ударов пробили на колокольне Святого Фомы Аквинского, когда дверь особняка медленно отворилась и маркиза вышла на

улицу.

«Уже!.. Какая аккуратность! Она, видимо, боится опоздать на свидание!» — с иронией сказал себе маркиз

Стояла холодная и сухая погода

На Клеманс была черная шляпа с вуалью того же цвета, теплое красновато-лиловое пальто; огромная темно-синяя кашемировая шаль ниспадала до оборок ее платья, которое она слегка приподняла жестом, исполненным изящества, чтобы перейти через дорогу, приоткрыв до щиколотки маленькую, узкую, стройную ножку, обутую в атласные ботинки.

Странная вещь: несмотря на потрясение, на обуревавшие его мучительные мысли, г-н д'Арвиль заметил эту ножку, которая показалась ему изящнее и кокетливее, чем когда-либо, что еще усилило его гнев, его жгучую ревность. Ему представился коленопреклоненный соперник, в упоении целующий эту прелестную ножку. В одно мгновение все безумства любви, любви горячей, страстной, — предстали перед умственным взором маркиза и опалили его душу.

И впервые в жизни он почувствовал в сердце мучительную физическую боль, боль резкую, глубокую, которая вырвала у него глухой стон. До

сих пор он страдал нравственно, так как думал лишь о своей поруганной чести.

Его страдание было так сильно, что ему едва удалось произнести несколько слов.

— Видишь ту даму в синей шали и черной шляпе, — сказал он кучеру, приподняв штору, — ту, что идет вдоль каменной ограды?

— Вижу, барин...

— Поезжай шагом за ней... Если она выйдет на извозчичью стоянку, остановись и следуй за каретой, в которую она сядет.

— Да, барин... Ну и забавная же история!

Госпожа д'Арвиль подошла к стоянке, взяла извозчика.

Господин д'Арвиль последовал за ней.

'Вскоре, к великому удивлению маркиза, его возница свернул к церкви Святого Фомы Аквинского и остановился возле нее.

— В чем дело? Почему ты стоишь?

— Барин, дама только что вошла в церковь... Черт подери!.. Ну и хорошенькая у нее ножка... До чего забавно!

Множество мыслей пронеслось в голове г-на д'Арвиля; сперва он решил, что его жена, заметив, что за ней следят, пожелала сбить с толку преследователя. Потом он подумал, что, быть

может, полученная записка была недостойной клеветой... Если Клеманс виновна, к чему такое показное благочестие? Не было ли это глумлением над верой?

Но его успокоительная иллюзия быстро рассеялась.

Кучер обернулся к нему со словами:

— Барин, дамочка опять села на извозчика.

— Следуй за ней.

— Да, барин! Забавно, до чего забавно!

Извозчик выехал на набережную, миновал ратушу, проехал по улице Сент-Авуа и добрался наконец до улицы Тампль.

— Барин, — сказал кучер, оборачиваясь к г-ну д'Арвилю, — первый извозчик остановился у семнадцатого номера, а мы находимся у тринадцатого. Прикажете тоже остановиться?

— Да!..

— Барин, дамочка только что вошла в дом номер семнадцать.

— Открой дверцу.

— Да, барин.

Минуту спустя г-н д'Арвиль вошел в проход дома вслед за своей женой.

Глава XX.
АНГЕЛ

Привлеченные любопытством, у порога дома № 17 стояли г-жа Пипле, Альфред и торговка устрицами.

На лестнице было так темно, что вошедшему с улицы трудно было что-нибудь разглядеть. Маркизе пришлось обратиться к г-же Пипле.

— Как пройти к господину Шарлю, сударыня? — спросила она тихим, прерывающимся голосом.

— К кому? — переспросила старуха, притворившись, будто не расслышала имени, чтобы муж и торговка устрицами могли разглядеть сквозь вуаль черты несчастной женщины.

— Я спрашиваю... господина Шарля... сударыня, — повторила Клеманс дрожащим голосом и потупилась, чтобы скрыть свое лицо от взглядов, рассматривавших ее с нахальным любопытством.

— А, к господину Шарлю, вот оно что... Вы говорите так тихо, что я ничего не могла понять... Так вот, дамочка, если вы идете к господину Шарлю — красивый молодой человек, ничего не

скажешь, — поднимитесь прямо по лестнице и увидите перед собой его дверь.

Маркиза в полном замешательстве поднялась на первую ступеньку.

— Хе! Хе! Хе! — проговорила старуха с ухмылкой. — Видно, сегодня все будет без обмана. Да здравствует гулянка! Ух ты!

— Что ни говори, а у офицера губа не дура: его любезная премиленькая, — заметила торговка устрицами.

Если бы г-же д'Арвиль, сникшей от стыда и страха, не пришлось бы снова пройти мимо привратницкой, она тут же вернулась бы обратно. Но, взяв себя в руки, она дошла до лестничной площадки.

Каково же было ее изумление!.. Она столкнулась лицом к лицу с Родольфом, который, вложив ей в руку кошелек, поспешно сказал:

— Вашему мужу все известно, он следует за вами по пятам...

В эту минуту раздался резкий голос привратницы:

— Вам куда, сударь?

— Это он! — прошептал Родольф.

И, подтолкнув, так сказать, г-жу д'Арвиль к лестнице на третий этаж, он молвил скороговоркой:

— Поднимитесь на шестой этаж; вы пришли, чтобы оказать помощь одной несчастной семье; их фамилия Морель.

— Сударь! — воскликнула г-жа Пипле, преграждая дорогу г-ну д'Арвилю. — Если вы не скажете, к кому идете, вам придется переступить через мое тело.

— Я пришел с дамой... которая только что вошла, — ответил маркиз, задержавшийся у входа, пока его жена разговаривала с привратницей.

— Другое дело, проходите.

Услышав необычный шум в привратницкой, г-н Шарль Робер приоткрыл дверь: Родольф вбежал к офицеру и запер изнутри его дверь как раз в ту минуту, когда г-н д'Арвиль подходил к лестничной площадке. Родольф боялся, как бы друг не узнал его, несмотря на темноту, и воспользовался представившимся случаем, чтобы избежать с ним встречи.

Господин Шарль Робер в своем великолепном халате с разводами и в бархатном греческом колпаке, расшитом золотом, был поражен появлением Родольфа, которого он не заметил накануне в посольстве ***, а если бы и заметил, то вряд ли узнал в этом скромно одетом человеке.

— Что это значит, сударь?

— Т-с-с! — прошептал Родольф с таким выражением тревоги, что г-н Шарль Робер замолчал.

На лестнице раздался грохот, словно кто-то упал и покатился вниз.

— Несчастный, он убил ее! — воскликнул Родольф.

— Убил!.. Кто? Кого? Что здесь происходит? — тихо спросил г-н Шарль Робер и побледнел.

Не отвечая ему, Родольф приоткрыл дверь.

Он увидел Хромулю, который, спеша и припадая на одну ногу, сбегал с лестницы, держа в руке красный шелковый кошелек, только что врученный Родольфом г-же д'Арвиль.

Хромуля скрылся.

Слышался лишь легкий шаг г-жи д'Арвиль и более тяжелая поступь маркиза, следовавшего до пятам за женой.

У Родольфа немного отлегло от сердца, хотя появление Хромули с кошельком в руке напомнило ему много тяжких переживаний..

— Не выходите отсюда, вы чуть не наделали беды, — сказал он Шарлю Роберу.

— Да объясните же наконец, что все это значит? — спросил нетерпеливым, раздраженным тоном офицер. — Кто вы такой и по какому праву?..

— Это значит, сударь, что господину д'Арвилю

все известно, что он дошел вслед за своей женой до вашей двери и идет за ней вверх по лестнице.

— Боже мой, боже мой! — воскликнул Шарль Робер, в ужасе всплеснув руками. — Но что же она будет делать там, наверху?

— Не все ли вам равно? Оставайтесь у себя и не выходите до тех пор, пока привратница не предупредит вас.

И, покинув г-на Робера, столь же напуганного, сколь и изумленного, Родольф спустился в привратницкую.

— Что вы на это скажете? — воскликнула сияющая г-жа Пипле. — Погодите, скоро небу станет жарко! Господин преследует дамочку. Это, верно, ее муж! Я мигом все смекнула и пропустила его. Он схватится с офицером, это наделает шума в квартале. Люди будут толпами ходить, чтобы взглянуть на наш дом, как они ходили к дому тридцать шесть, где было совершено убийство.

— Дорогая госпожа Пипле, хотите оказать мне большую услугу? — И Родольф вложил пять луидоров в руку привратницы. — Когда эта дама спустится... спросите ее, как поживают несчастные Морели; скажите ей, что она делает доброе дело, помогая им, как обещала, когда расспрашивала вас об этих бедолагах.

Госпожа Пипле с недоумением смотрела на деньги и на Родольфа.

— Как, сударь... все это золото... для меня?.. Значит, дамочка не у офицера?

— Господин, который идет следом за дамой, ее муж. Бедная женщина была заранее предупреждена и успела направиться к Морелям якобы для того, чтобы помочь им в беде, понимаете?

— Чего же тут не понять?.. А я должна пособить, чтобы обвести вокруг пальца ее мужа... Такое дело как раз по мне!.. Ха-ха-ха! Можно подумать, что я только этим и занималась всю жизнь... Ей-богу!

В эту минуту в полумраке привратницкой возник высокий цилиндр г-на Пипле.

— Анастази, — серьезно проговорил Альфред, — право, для тебя нет ничего святого, как и для Сезара Брадаманти; к некоторым вещам нельзя относиться легкомысленно, даже с глазу на глаз с любимьм...

— Полно, полно, старый дорогуша, не придуривайся и не таращи на меня глаза... ты же видишься пошутила. Разве ты не знаешь, что нет никого на свете, кто мог бы похвалиться... Словом, понятно... Если я хочу услужить этой молодой парочке, то делаю это ради нашего нового жильца, он так добр к нам.

Обратившись затем к Родольфу, она сказала:

— Погодите, увидите, как я обтяпаю это дельце!.. Хотите остаться здесь, в углу, за занавеской?.. Они как раз спускаются, слышите?..

Родольф поспешно спрятался.

Господин и госпожа д'Арвиль шли по лестнице, маркиз вел жену под руку.

Когда они поравнялись с привратницей, на лице г-на д'Арвиля лежало выражение глубокого счастья, смешанного с удивлением и замешательством.

Клеманс была спокойна и бледна.

— Видели вы этих несчастных Морелей, милая дамочка? — воскликнула г-жа Пипле, выходя из привратницкой. — Сердце разрывается, смотря на них! Боже мой, вы делаете хорошее, доброе дело... Я уже говорила вам, что они достойны жалости, когда вы заходили сюда, чтобы навести справки о них! Можете быть спокойны, таким славным людям не жаль помогать... правда, Альфред?

Альфред, показная добродетель и врожденная прямота которого восставали против необходимости присоединиться к этому антиматримониальному заговору, издал нечто вроде отрицательного хмыканья.

— У Альфреда опять спазмы в желудке, вот по-

чему его не слыхать, а то он сказал бы вам, как и я, что эти несчастные люди будут от всего сердца молить бога за вас, сударыня!

Господин д'Арвиль смотрел на жену с восхищением.

— Она ангел! Сущий ангел! О клевета! — повторял он.

— Ангел? Вы правы, сударь, и вдобавок ангел, посланный господом богом!

— Друг мой, едем домой, — проговорила г-жа д'Арвиль, измученная напряжением, в котором жила с тех пор, как переступила порог этого дома; она чувствовала, что силы изменяют ей.

— Едем, — ответил маркиз.

— Клеманс, я нуждаюсь в прощении и жалости!.. — проговорил он, выходя на улицу.

— Кто из нас не нуждается в том же? — ответила молодая женщина со вздохом.

Родольф вышел, глубоко взволнованный этой трагической сценой, к которой примешалось немало грубого и смешного, этой странной развязкой таинственной драмы, породившей столько различных страстей.

— Ну как? — спросила г-жа Пипле. — Надеюсь, я неплохо обдурила этого молокососа? Теперь он будет держать жену под стеклянным колпа-

ком... Бедняга... А как же ваша мебель, господин Родольф? Ее так и не привезли.

— Я еще займусь этим делом... Предупредите офицера, что он может спуститься...

— И то правда... Какую он промашку дал! Выходит, зазря квартиру нанял... Так ему и надо... С его паршивыми двенадцатью франками за уборку...

Родольф распростился с привратницей.

— Теперь, Альфред, настал черед офицера. Ну и посмеюсь же я!

И она поднялась к г-ну Шарлю Роберу и позвонила; он отворил дверь.

— Ваше благородие, — проговорила Анастази и отдала ему честь, приложив руку к своему парику, — я пришла, чтобы освободить вас... Муж с женой ушли под ручку перед вашим носом. Не важно, зато вы дешево отделались... благодаря господину Родольфу; вы должны поставить за него большую свечку!

— За господина Родольфа? Это тот тонкий господин с усами?

— Он самый.

— Что представляет собой этот субъект?

— Субъект! — негодующе вскричала г-жа Пипле. — Он стоит многих других! Он коммивояжер, живет в нашем доме, у него всего одна комната,

и он не сквалыжничает, как иные... Он дал мне шесть франков за уборку, шесть франков с первого слова... шесть франков не торгуясь!

— Ладно... ладно... Вот ваш ключ.

— Надо ли завтра протопить у вас, ваше благородие?

— Нет!

— А послезавтра?

— Нет! Нет!

— Помните, ваше благородие? Я сразу вас предупредила, что вы не возместите своих расходов.

Уходя, господин Шарль Робер бросил презрительный взгляд на привратницу; он никак не мог понять, каким образом какой-то коммивояжер по имени Родольф узнал о его свидании с маркизой д'Арвиль.

В конце крытого прохода он встретил Хромулю, который шел, припадая на одну ногу.

— А, вот и ты, негодник, — сказала г-жа Пипле.

— Одноглазая не приходила за мной? — спросил мальчик, не ответив на обращение привратницы.

— Сычиха-то? Нет, выродок. Зачем бы она пришла за тобой?

— Как зачем? Чтобы отвезти меня в деревню! — ответил Хромуля, переступая с ноги на ногу у

порога привратницкой.

— А твой хозяин?

— Отец попросил господина Брадаманти отпустить меня на сегодняшний день... Мы поедем в деревню... в деревню... в деревню... — прогнусавил сын Краснорукого и принялся что-то напевать, барабаня по застекленной двери привратницкой.

— Перестань, бездельник... не то разобьешь стекло! А вот и извозчик!

— Это Сычиха, — сказал мальчик, — какое счастье прокатиться в экипаже!

В самом деле, за стеклом кареты на фоне красной шторы выделялся носатый землистый профиль одноглазой.

Старуха знаком подозвала Хромулю, и тот подбежал к ней.

Извозчик открыл дверцу, и мальчишка влез к Сычихе.

Она была в экипаже не одна.

В дальнем углу сидел какой-то человек в старом пальто с меховым воротником, часть его лица была скрыта под черным шелковым колпаком, надвинутым до самых бровей... это был не кто иной, как Грамотей.

За его красными веками виднелись неподвижные, без радужной оболочки, словно покрытые

белилами глаза, из-за которых еще страшнее казалось лицо, стянутое лиловыми и мертвенно бледными шрамами.

— Ну же, ложись на ходули моего муженька, будешь греть его, — сказала одноглазая мальчишке, который присел, как пес, между ней и Грамотеем.

— А теперь в Букеваль, на херму[72]! Правильно я сказал, Сычиха? — спросил извозчик. — Вот увидишь, что я умею править квымагой[73].

— А главное, припандорь свою шкапу[74], — сказал Грамотей.

— Будь спокоен, чертяка без гляделочек[75], он запросто ухандорит[76] до проселицы[77].

— Хочешь, я дам тебе лекарство[78]? — спросил Грамотей.

---

[72] Notes: 72
Ферму.

[73] Notes: 73
Экипажем.

[74] Notes: 74
Настегивай свою лошадь.

[75] Notes: 75
Без глаз (гляделочки — еще одно чуть ли не изящное слово в этом отвратительном жаргоне).

[76] Notes: 76
Добежит.

[77] Notes: 77
Проселочной дороги.

[78] Notes: 78
Совет.

— Какое?

— Дуй шибче мимо шмырников[79]. Тебя вполне могут узнать, ты ведь долго был бродягой.

— Буду смотреть в оба, — ответил тот, влезая на козлы.

Мы привели здесь этот отвратительный жаргон в доказательство того, что мнимый извозчик был злодеем, достойным сообщником Грамотея.

Карета с Грамотеем, Сычихой и Хромулей покинула улицу Тампль.

Два часа спустя, когда уже смеркалось, возница остановился у развилки, возле деревянного креста; отсюда букевальская дорога вела между крутыми склонами на ферму, где под покровительством г-жи Жорж нашла приют Лилия-Мария.

---

[79] Notes: 79
Поезжай быстрее мимо сторожевой заставы.

Глава XXI.
ИДИЛЛИЯ

Пять часов пробило в церкви небольшого сельца Букеваль; стояла холодная погода, небо было безоблачно; солнце, медленно опускаясь за оголенными деревьями холмов Экуена, окрашивало в пурпур горизонт и бросало косые бледные лучи на обширные, скованные морозом поля. В каждое время года природа предстает перед нами в новом и чаще всего чарующем обличии.

Первозданной белизны снег превращает порой окрестности в череду словно вылепленных из алебастра пейзажей, искристые контуры которых выступают на -фоне розовато-серого неба.

В наступающих сумерках встречается иной раз запоздалый крестьянин, который спешит домой, либо поднимаясь на холм, либо спускаясь в долину: лошадь его, пальто, шляпа — все покрыто инеем; стоит жестокий мороз, дует ледяной ветер, приближается темная ночь; но там, между голых стволов, приветливо светятся оконца фермы; высокая кирпичная труба выбрасывает в небо густой столб дыма, говорящий путнику о том,

что его ожидает огонь, весело потрескивающий в камине, а на столе — незатейливый ужин; затем, после беседы в домашнем кругу, наступает спокойная ночь в теплой постели, тогда как снаружи свищет ветер, а на разбросанных по долине фермах лают, перекликаясь, собаки.

Иногда по утрам иней развешивает на деревьях свои хрустальные гирлянды, сверкающие, как бриллианты, под зимними лучами солнца; влажная, тучная земля изрыта длинными бороздами, в которых находят приют рыжеватые зайцы или бодро семенящие серые куропатки.

То тут, то там слышится печальное позвякивание колокольчика барана — вожака большого стада, разбредшегося по травянистым склонам дорог, в то время как пастух в сером полосатом плаще сидит у подножья дерева и, напевая, плетет тростниковую корзинку.

Порой все вокруг оживает: эхо множит далекие звуки охотничьего рога и лай своры собак; испуганная лань выскакивает на опушку, в ужасе мчится по долине и скрывается в противоположной лесной чаще.

Конский топот и лай приближаются; белые с желтоватыми подпалинами собаки в свою очередь выбегают из леса, несутся по пашне и

земле под паром, принюхиваясь к следам лани. За ними скачут во весь опор наездники в красных охотничьих костюмах, криками подбадривая свору. Этот яркий вихрь проносится с быстротою молнии; шум постепенно замирает; собаки, лошади, охотники пропадают вдали, в том лесу, где исчезла лань.

Снова наступает тишина, и снова безмолвие широких просторов нарушается лишь однообразной песней пастуха.

Таких пейзажей, таких сельских уголков немало в окрестностях селения Букеваль, расположенного, несмотря на свою близость к Парижу, в уединенном месте, куда ведут лишь проселочные дороги.

Скрытая летом за деревьями, как гнездо среди ветвей, ферма, где нашла пристанище Певунья, была теперь видна как на ладони.

Русло маленькой, скованной льдом речки походило на серебряную ленту, небрежно брошенную среди еще зеленеющих лугов, где лениво паслись тучные коровы, искоса поглядывая на хлев. Привлеченные наступлением вечера, стаи голубей поочередно опускались на островерхую крышу голубятни. Сквозь ореховые деревья, которые летом отбрасывают тень на двор и зда-

ния фермы, проглядывали теперь черепичные и соломенные крыши, покрытые бархатистым изумрудным мхом.

Тяжело груженная повозка, запряженная тремя приземистыми сытыми лошадьми с пышной гривой, синие хомуты которых были украшены бубенцами и красными шерстяными кисточками, везла на ферму снопы со скирды, стоящей в долине. Эта громоздкая повозка въехала через главные ворота во двор, тогда как многочисленное овечье стадо теснилось у одного из боковых входов.

Люди и животные, казалось, спешили укрыться от вечернего холода и вкусить сладость отдыха; лошади весело ржали при виде конюшни, овцы блеяли, беспорядочно устремляясь к двери овчарни, пахари бросали голодные взоры на окна кухни, где готовился ужин, достойный Пантагрюэля.

На ферме царил редкий порядок и поразительная, ласкающая глаз чистота.

По окончании трудового дня плуги, бороны и прочие сельскохозяйственные орудия не были оставлены где попало, с присохшей к ним грязью; чистые, недавно покрашенные или же новейшего образца, они стояли в обширном сарае, в нем

же возчики аккуратно складывали лошадиную сбрую. — Двор был опрятный, посыпанный песком и обсаженный деревьями; вы не увидели бы здесь ни куч навоза, ни луж гниющей воды, которые портят вид лучших ферм в старинных областях Бос и Бри. Птичий двор, обнесенный зеленым трельяжем, вмещал всех пернатых обитателей фермы, которые возвращались в него по вечерам через дверцу, выходящую в поля.

Не желая обременять читателя новыми подробностями, скажем только, что ферма эта по праву считалась лучшей в округе, благодаря установленному в ней порядку, превосходному ведению хозяйства, высоким урожаям, а также благополучию и трудолюбию ее многочисленных работников.

Мы объясним ниже причину этого явления, теперь же подойдем с читателем к решетчатой двери птичьего двора, который ни в чем не уступал остальным помещениям фермы по сельскому изяществу насестов, курятников и выложенному камнями руслу журчащего прозрачного ручья, тщательно освобождаемого от льдинок, которые могли бы загромоздить его русло.

Внезапно нечто вроде переполоха произошло среди пернатых обитателей птичника: куры,

кудахтая, слетели с насестов, индюки принялись гоготать, цесарки пронзительно закричали, голуби покинули крышу голубятни и опустились, воркуя, на посыпанную песком землю.

Все это оживление было вызвано приходом Лилии-Марии.

Грез и Ватто могли лишь мечтать о такой прелестной натурщице, если бы щеки бедной Певуньи были покруглее и не так бледны; но хотя личико ее и осунулось, его выражение, вся фигурка девушки и изящество позы по-прежнему были достойны кисти этих двух великих художников.

Маленький круглый чепчик обрамлял лоб Лилия-Марии и разделенные на прямой пробор белокурые волосы; по примеру крестьянок парижских окрестностей, она повязывала поверх этого чепчика красную ситцевую косынку, скрепленную двумя булавками на затылке, концы которой падали на ее плечи; то был живописный, изящный головной убор, которому могли бы позавидовать швейцарки и итальянки.

Шейный платок из белого батиста скрещивался на ее груди под холщовым фартуком; синий суконный жакет с узкими рукавами облегал ее тонкую талию, прекрасно гармонируя с серой бумазейной юбкой в коричневую полоску; белые

чулки, маленькие туфельки на толстой подошве и черные сабо вместо галош, украшенные спереди кожаным квадратом, дополняли этот по-деревенски простой наряд, которому врожденное изящество Лилии-Марии придавало особую прелесть.

Приподняв фартук, она пригоршнями черпала из него зерна и кормила слетевшихся к ней пернатых.

Хорошенький серебристо-белый голубь с пурпурным клювом и такими же лапками, более ручной и смелый, чем его сородичи, покружив вокруг Лилии-Марии, сел к ней на плечо.

Девушка, видимо привыкшая к его бесцеремонности, продолжала разбрасывать зерна; затем, слегка повернув прелестное личико и откинув голову, она с улыбкой приблизила розовые губки к клюву своего любимца.

Последние лучи заходящего, солнца бросали золотистый отблеск на эту идиллическую картину.

Глава XXII.
ТРЕВОГИ

В то время как Певунья занималась хозяйственными делами, г-жа Жорж и аббат Лапорт, настоятель церкви села Букеваль, сидели в маленькой гостиной фермы и беседовали о Лилии-Марии: тема эта неизменно интересовала их обоих.

Престарелый священник задумчиво, сосредоточенно опустил голову на грудь и, опершись локтями на колени, машинально протянул свои дрожащие руки к огню камина.

Госпожа Жорж что-то шила и время от времени поглядывала на аббата, словно ожидая от него ответа.

— Да, сударыня, надо предупредить господина Родольфа; если он расспросит Марию, она, вероятно, откроет ему то, что скрывает от нас... ведь она так признательна своему благодетелю.

— В таком случае, чаше преподобие, я сегодня же отправлю письмо на аллею Вдов по адресу, который он дал мне...

— Бедная девочка! — продолжал аббат. — Какое горе подтачивает ее? Чего ей не хватает для сча-

стья в Букевале?

— Ничто не может развеять ее грусть, ваше преподобие... даже то усердие, с каким она учится...

— Она и в самом деле сделала поразительные успехи с тех пор, как мы занимаемся ее воспитанием.

— Не правда ли? Она научилась свободно читать и писать и настолько усвоила арифметику, что ведет вместе со мной приходо-расходные книги! И милая девочка так старательно помогает мне по хозяйству, что это глубоко трогает меня. Не переутомляется ли бедняжка вопреки моим просьбам? Ее здоровье беспокоит меня.

— К счастью, врач-негр успокоил нас по поводу небольшого кашля, которым она страдала. От него не осталось и следа.

— Какой чудесный человек этот доктор! Он так хорошо относится к ней; впрочем, у нас все любят, уважают ее. И это неудивительно! Благодаря своему возвышенному и широкому взгляду на жизнь господин Родольф подобрал для этой фермы лучших местных работников. Но даже самые грубые и равнодушные из них подпали под обаяние ангельской кротости Марии, той милой и робкой манеры держать себя, с которой она словно молит о милосердии. Несчастная

девочка! Можно подумать, что она одна во всем виновата!

После недолгого раздумья аббат спросил г-жу Жорж:

— Не вы ли говорили мне, что Мария погрузилась в печаль после дня всех святых, когда здесь побывала госпожа Дюбрей из Арнувиля, фермы его высочества герцога де Люсене?

— Да, мне так показалось, ваше преподобие, и, однако, госпожа Дюбрей, и в особенности ее дочь Клара, образец невинности и доброты, не остались равнодушны к обаянию Марии; обе они проявили к ней самое сердечное внимание; вы знаете, что по воскресеньям наши друзья из Арнувиля приезжают к нам или мы едем к ним. Так вот, можно подумать, что каждое такое посещение увеличивает грусть нашей милой девочки, хотя Клара успела полюбить ее как сестру.

— Право, госпожа Жорж, тут кроется какая-то тайна. Какова причина затаенного горя Марии? Она должна бы чувствовать себя вполне счастливой! Между ее теперешней и прежней жизнью лежит такая же пропасть, как между раем и адом. И вместе с тем ее нельзя упрекнуть в неблагодарности.

— Неблагодарности? Великий боже!.. Она так

искренне благодарна нам за наши заботы! В ней столько деликатности! Бедная крошка делает все возможное, чтобы отплатить за наши заботы о ней! Разве она не возмещает своими услугами получаемое у нас гостеприимство? И это еще не все: за исключением воскресных дней, когда, по моему настоянию, Мария одевается понаряднее, чтобы сопровождать меня в церковь, она носит такое же грубое платье, как деревенские девушки, и, несмотря на это, в ней столько врожденного благородства, изящества, что она прелестна даже в этом наряде, не правда ли, ваше преподобие?

— Ах, сколько в вас материнской гордости! — заметил с улыбкой престарелый священник.

При этих словах глаза г-жи Жорж наполнились слезами: она подумала о своем сыне.

Аббат догадался о причине ее волнения.

— Мужайтесь! — сказал он. — Господь послал вам эту бедную девочку, чтобы помочь дождаться свидания с сыном. Кроме того, священные узы свяжут вас скоро с Марией: если крестная мать правильно понимает свою миссию, она становится как бы родной матерью. Что до господина Родольфа, то он вдохнул в нее душу, вытащив ее из всей этой грязи... И заранее выполнил свою обязанность крестного отца.

— Считаете ли вы ее достаточно подготовленной, чтобы приобщиться святых тайн, ведь эта обездоленная девочка, наверное, никогда не причащалась.

— Вскоре она проводит меня домой, и я сообщу ей, что это таинство, вероятно, состоится недели через две.

— Быть может, ваше преподобие, вы вскоре совершите и другое таинство, таинство, внушающее надежду на счастье?..

— Что вы имеете в виду?

— Если Марию полюбят так, как она того заслуживает, и она сама отличит какого-нибудь хорошего доброго человека, почему бы ей не выйти замуж?

Аббат печально покачал головой.

— Выдать ее замуж! Подумайте, госпожа Жорж, во имя истины, чести придется все сказать суженому Марии... И несмотря на ваше и мое ручательство, какой мужчина пренебрежет прошедшим, запятнавшим юность этой бедной девочки! Никто не захочет взять ее в жены.

— Но господин Родольф — человек щедрый! Он сделает для своей протеже еще больше того, что уже сделал... Приданое...

— Увы! — сказал священник, прерывая г-жу

Жорж. — Горе Марии, если на ней женятся из соображений корысти! Она будет обречена на самую тяжкую долю; жестокие упреки вскоре последуют за таким браком.

— Вы правы, ее ожидает тяжкая доля! Боже мой, какое несчастное будущее уготовано ей!

— Ей придется искупить тягчайшие грехи, — серьезно проговорил аббат.

— Подумайте, ваше преподобие, ведь она была брошена в детстве без средств к существованию, без поддержки, без понятия о добре и зле... Затем ее насильно увлекли на путь порока. Какая девушка не сбилась бы с пути на ее месте?

— Заложенное в человеке нравственное чувство должно было поддержать, просветить ее; впрочем, она и не пыталась избежать этой страшной участи. Разве в Париже нет сострадательных людей?

— Конечно, их можно найти, но как и где их искать? Прежде чем вы отыщете доброго человека, сколько придется встретить равнодушия, отказов! А ведь Мария нуждалась не в милостыне, а в постоянной поддержке, которая помогла бы ей честно зарабатывать себе на жизнь... Многие матери, вероятно, сжалились бы над ней, но не так-то легко обрести такую женщину. Уж поверь-

те мне: я знаю, что такое нищета... Счастливый случай вроде того, который, увы, свел слишком поздно Марию с господином Родольфом, редко встречается; горемыки почти всегда наталкиваются на грубый отказ; они думают, что жалости нет на белом свете, и, мучимые голодом... неумолимым голодом, часто ищут в пороке те средства существования, в которых им отказывают люди.

Тут в гостиную вошла Певунья.

— Откуда вы, детка? — ласково спросила г-жа Жорж.

— Сперва я закрыла двери птичьего двора, а потом осмотрела фруктовый сад. Все плоды прекрасно сохранились, за немногим исключением, попорченные я сняла.

— Почему вы не попросили Клодину сделать это вместо вас, Мария? Вы, наверно, переутомились.

— Нет, нет, сударыня, мне очень нравится в моем саду: там хорошо пахнет спелыми плодами.

— Вы непременно должны осмотреть фруктовый сад Марии, ваше преподобие! Трудно себе представить, как хорошо, с каким вкусом она ухаживает за ним. Гирлянды вьющегося винограда свисают между плодовыми деревьями, которые украшены внизу бордюрами изумрудного мха.

— О, ваше преподобие, я уверена, что сад вам

понравится, — наивно сказала Певунья. — Вы увидите, как живописно выглядит мох рядом с ярко-красными яблоками и золотистыми грушами. А особенно хороши мелкие яблоки! То розовые, то белые, они походят среди зелени на головки херувимов, — прибавила девушка с восторгом художника, довольного своим произведением.

Священник с улыбкой взглянул на г-жу Жорж и, обратясь к Марии, проговорил:

— Я уже любовался молочным хозяйством, которым вы руководите, дитя мое; самая требовательная фермерша позавидовала бы его образцовому порядку. А на днях зайду полюбоваться вашим фруктовым садом, красными яблоками и золотистыми грушами и, главное, хорошенькими яблочками-херувимами. Но солнце только что село, вы едва успеете проводить меня до дому и вернуться до наступления темноты. Возьмите свою накидку, и идемте скорее, дитя мое... Но как же я не подумал об этом: на дворе очень холодно; оставайтесь лучше дома, кто-нибудь из работников проводит меня.

— Что вы, ваше преподобие, вы очень огорчите ее, — сказала г-жа Жорж. — Она так любит провожать вас по вечерам.

— Ваше преподобие, — присовокупила Певунья,

робко поднимая на священника свои большие голубые глаза, — я подумаю, что вы недовольны мной, если не разрешите проводить вас, как обычно.

— Я? Мое милое дитя! В таком случае поскорей одевайтесь, да как можно теплее.

Мария тут же надела накидку с капюшоном из толстой кремовой шерсти, отороченную черной бархатной лентой, и предложила священнику опереться на ее руку.

— К счастью, — молвил последний, — от фермы до моего дома недалеко, да и место здесь безопасное.

— Его преподобие немного задержался у нас сегодня, — сказала г-жа Жорж. — Не хотите ли, Мария, чтобы кто-нибудь из работников проводил вас?

— Меня сочтут трусихой, — ответила Мария, улыбаясь. — Спасибо, сударыня, но никого не стоит тревожить из-за меня. Отсюда до дома его преподобия четверть часа пути, и я вернусь до наступления ночи.

— Я не стану уговаривать вас: слава богу, мы никогда не слышали здесь о бродягах.

— В противном случае я не согласился бы, чтобы эта милая девушка провожала меня до дому.

И аббат покинул ферму, оперевшись на руку Лилии-Марии, которая старалась приноровить свой легкий шаг к медленной и тяжелой поступи старца.

Вскоре священник и Мария дошли до той впадины, где притаились Грамотей, Сычиха и Хромуля.

Часть III

Глава I.
ЗАСАДА

Церковь и дом священника Букеваля стояли в каштановой роще на склоне холма, откуда была видна вся деревня. Лилия-Мария и аббат шли по извилистой тропинке, которая вела к приходскому дому, пересекая глубокую овражную дорогу, прорезавшую холм по диагонали. Сычиха, Грамотей и колченогий Хромуля затаились за поворотом дороги и оттуда увидели, как священник и Лилия-Мария спустились в дорожную впадину и выбрались на противоположной стороне по крутому откосу. Капюшон плаща скрывал лицо юной девушки, и кривая Сычиха не узнала свою бывшую жертву.

— Тихо, приятель, — сказала старуха Грамотею. — Девчонка и боров в сутане перелезли через ров. Это наверняка она, если верить приметам, которые нам дал высокий человек в трауре: одежда деревенская, рост средний, юбка в коричневую полоску, плащ шерстяной с черной оторочкой. В таком наряде она провожает борова каждый день до его конуры, а возвращается одна. Когда она

сейчас пойдет назад, надо напасть на нее там, в конце тропинки, схватить и отнести в карету.

— А если она закричит, позовет на помощь? — возразил Грамотей. — Ее услышат на ферме, потому что вы сказали, что отсюда видны дома. Вы-то их видите... не то что я, — добавил он своим гнусавым голосом.

— Конечно, отсюда видна вся ферма, она совсем близко, — подтвердил Хромуля. — Я только что взобрался на откос, полз на животе. И слышал, как возчик разговаривал со своими лошадьми там внизу, на дворе...

— Тогда надо сделать вот что, — подумав минуту, снова заговорил Грамотей. — Ты, Хромуля, пойдешь сторожить к началу тропинки. Когда увидишь издали эту малышку, ковыляй ей навстречу и кричи, что ты сын бедной старухи, что она свалилась в придорожный ров и не может встать и просит о помощи.

— Поняла тебя, хитрец... Бедной старухой будет твоя Сычиха. Здорово придумано! Мой красавчик всегда был королем взломщиков. Ну а что Мне делать потом?

— Ты заляжешь в придорожном рву, как можно ближе к тому месту, где ждет Крючок с фиакром. Я спрячусь поблизости. Когда Хромуля доведет

малышку до середины дороги, перестань хныкать и бросайся на нее: одной рукой за горлышко, а другой — зажми рот, чтобы не вопила.

— Понятно, хитрец. Как с той дамочкой на канале Сен-Мартен, у которой мы взяли «чернушку»[80] из-под мышки, а потом отправили купаться. Тот же фокус, не так ли?

— Да, тот самый... Ты будешь держать девчонку, чтобы не вырвалась, а Хромуля сбегает за мной. Втроем мы запакуем ее в тот плащ, донесем до фиакра Крючка, а потом — вперед, на Сен-Дени, где нас ждет человек в трауре.

— Здорово задумано, не придерешься! Послушай, хитрец, да тебе нет равных! Если бы я могла, я бы устроила в честь твоей башки фейерверк, разукрасила бы ее разноцветным стеклярусом и отправила в дар святому Шарло, покровителю всех висельников[81]. Ты слышишь меня, сопляк? — обратилась она к Хромуле. — Если хочешь стать настоящим ловкачом, бери пример с моего башковитого муженька. Вот это человек! — добавила Сычиха с гордостью. — Кстати, — продолжала она, обращаясь к Грамотею. — Ты

---

[80] Notes: 80
Пакет с деньгами, обернутый черной провощенной тканью.

[81] Notes: 81
Палачу.

должен знать: Крючок трясется от страха за свою дурацкую голову.

— Это еще почему?

— Он недавно в драке пришил мужа одной молодицы, который каждое утро приезжал на маленькой тележке, запряженной осликом, и продавал молоко на углу Старосуконной рядом с этой обжираловкой, «Белым кроликом».

Сын Краснорукого не понимал воровского жаргона и прислушивался к словам Сычихи с любопытством и недоумением.

— Тебе, я вижу, хочется знать, о чем мы говорим, сопляк, не так ли?

— Черт возьми, конечно!

— Если будешь умницей, я научу тебя жаргону. Ты уже не маленький, и это может тебе пригодиться. Ну как, доволен, миленочек?

— Еще бы не доволен! Ведь я хочу остаться с вами, а не возвращаться к старому тупице толочь его снадобья и чистить его клячу. Если бы я только знал, где он прячет «крысомор для людей», я бы подсыпал ему в суп, чтобы он не заставлял меня таскаться с ним по всем дорогам.

Сычиха расхохоталась и проговорила, привлекая к себе Хромулю:

— Иди ко мне, поцелуй скорей мамочку, пре-

лесть моя! Какой же ты забавник... Но откуда ты знаешь, что у твоего хозяина есть «крысомор для людей»?

— Откуда? Да я сам слышал однажды, как он говорил об этом. Меня он не видел, потому что я спрятался в темном чулане, где он держит свои бутылки, всякие железные штуковины и толчет свои снадобья в маленьких ступках...

— О чем же он говорил? Что ты слышал? — настаивала Сычиха.

— Он отдал порошок в пакетике одному господину и сказал: «Кто примет три дозы этого порошка, уснет вечным сном под землей, и никто не узнает отчего и почему, потому что не останется никаких следов...»

— А кто был этот господин? — спросил Грамотей.

— Молодой, красивый, с черными усами и нежным лицом, как у девушки... Он пришел еще раз, но на этот раз, когда он ушел, я отправился следом за ним по приказу моего хозяина Брадаманти, чтобы узнать, где его «гнездо». Этот красивый господин вошел в богатый дом на улице Шайо. Мой хозяин приказал мне: «Куда бы он ни пошел, следуй за ним и жди у дверей. Если он выйдет снова, следуй за ним и так до тех пор, пока он не

останется в последнем доме. Это будет означать, что там он и живет. Так вот, почтенный мой Хромуля, пошевели своими кривулями и узнай его имя, а не то я тебе так выкручу уши, что они станут похожи на твои кривули!»

— А что дальше?

— А дальше я пошевелил своими кривулями и узнал имя молодого господина.

— Как же ты его узнал? — спросил Грамотей.

— Очень просто, я ведь не дурак! Вошел в подъезд того дома на улице Шайо, откуда господин все не выходил, и справился у швейцара, эдакого напудренного, в коричневой ливрее с желтым воротником и серебряными галунами.

«Добрый господин, — говорю я ему, — я пришел получить сто су, которые ваш хозяин обещал мне, за то что я нашел и вернул ему его потерявшуюся собачку, такую маленькую, черную, по кличке Тявкалка, ведь это он вошел сюда, такой темноволосый, с черными усами, в сером рединготе и светлосиних брюках, он мне сам сказал, что живет на улице Шайо в доме одиннадцать и зовут его Дюпон». — «Господин, о котором ты говоришь, — отвечает мне лакей, — мой хозяин, и зовут его виконт де Сен-Реми, и здесь нет никакой другой собачонки, кроме тебя, дрянной мальчишка, так

что убирайся отсюда, пока я тебя не вздул за то, что ты пытался выманить у меня сто су!» И тут он меня так пнул, что я вылетел на улицу. Но это уж не важно, — продолжал философски Хромуля. — Главное, я узнал имя красивого господина с черными усами, который приходил к моему хозяину за «крысомором для людей». Его звали виконт де Сен-Реми, да, да, Сен-Реми, Сен-Реми, — пропел, по своему обыкновению, сын Краснорукого.

— Ох, да я его просто съесть готова, этого маленького певуна! — воскликнула Сычиха, обнимая Хромулю. — Каков хитрец, а? Послушай, хочешь, я буду твоей мамашей, ты это заслужил!

Эти слова произвели на колченогого уродца странное впечатление: его хитрая, злая и недоверчивая рожица вдруг сделалась грустной; похоже, он принял всерьез эти материнские нежности Сычихи.

— И я вас тоже очень люблю, — ответил он. — Потому что вы поцеловали меня в тот первый день, когда пришли за мной в «Кровоточащее сердце», к моему отцу... После смерти матери только вы приласкали меня, а все остальные бьют меня и гонят, как паршивую собачонку, все на свете, даже привратница, матушка Пипле.

— Старая ведьма! — воскликнула Сычиха с

видом деланного возмущения, которое Хромуля принял за чистую монету. — Подумать только, она еще нос воротит! Оттолкнуть любовь такого ребенка...

И кривая Сычиха еще раз поцеловала Хромулю с преувеличенной нежностью.

Сын Краснорукого, глубоко тронутый этим новым проявлением добрых чувств, ответил на них с горячей признательностью.

— Только прикажите! — вскричал он. — Прикажите, и вы увидите, я исполню все, увидите, как верно я буду вам служить!..

— Правда? Ну хорошо, ты об этом не пожалеешь...

— О, я так рад остаться с вами!

— Ладно, посмотрим, если будешь умником. А пока пойдешь с нами.

— Да, — согласился Грамотей, — ты поведешь меня, несчастного слепца, и будешь говорить, что ты мой сын. Мы будем проникать в дома, и тысяча смертей, — вскричал в ярости убийца, — с помощью Сычихи мы еще не раз поживимся! Я еще покажу этому дьяволу Родольфу, который меня ослепил, что со мной далеко не все кончено!.. Он отнял у меня зрение, но не отнял стремления творить зло. Я буду головой, ты, Хромуля, моими

глазами, ты, Сычиха, моей рукой. Ты ведь мне поможешь.

— Ты же знаешь, душегубчик, я с тобой до досочки, до веревочки с петлей. Когда я вышла из госпиталя и узнала, что ты спрашивал меня у кабатчицы Людоедки ради этого простофили из Сен-Манде, я все бросила и помчалась в твою деревню к этим местным ведьмам и всем говорила, что я твоя жена! Ты разве не помнишь?

Но эти слова кривой Сычихи вызвали у Грамотея неприятные воспоминания. Внезапно тон и обращение его к Сычи-хе изменились, и он злобно закричал:

— Да я подыхал там от скуки с этими честными людьми; через месяц я уже больше не мог, мне было страшно. И тогда я придумал позвать тебя. Себе на беду! — добавил он еще более яростно. — На другой же день после твоего появления меня ограбили, утащили остатки денег, которые мне дал этот демон из аллеи Вдов. Да, сняли пояс с золотыми, пока я спал... Только ты могла это сделать, и теперь я в твоей власти... Всякий раз, как вспомню, все время удивляюсь, почему я тебя не убил на месте, старая воровка!

Он шагнул в сторону кривой Сычихи, но его остановил возглас Хромули:

— Берегись, если тронешь Сычиху, худо будет!

— Да я раздавлю вас обоих, злобные гадюки! — в ярости закричал бандит. И, услышав рядом с собой голос сына Крас-норукого, он нанес наугад в его сторону такой страшный удар кулаком, что наверняка уложил бы его наповал, попади он в цель.

Хромуля, чтобы отомстить за себя и за Сычиху, подобрал с дороги камень, прицелился и попал Грамотею прямо в лоб.

Удар был не опасен, но весьма болезнен.

Разъяренный бандит вскочил на ноги, страшный, как раненый бык, сделал несколько шагов вперед, но споткнулся.

— Не сломай себе шею! — воскликнула Сычиха, хохоча до слез.

Несмотря на кровавые узы, связавшие ее с убийцей, она по многим причинам с жестокой радостью наблюдала за унижением этого некогда ужасного зверя, непомерно гордого своей чудовищной силой.

Так одноглазая на свой манер подтверждала правоту безжалостной мысли Ларошфуко о том, что «мы всегда находим нечто утешительное в несчастьях наших лучших друзей».

Уродливый мальчишка с желтыми волосами

и крысиной мордочкой всецело разделял буйное веселье одноглазой. Грамотей снова споткнулся, и Хромуля закричал ему:

— Да открой же глаза, старина, открой глаза! Ты идешь не в ту сторону, ты петляешь... Неужели ты сам не видишь?.. Протри получше стекла своих очков!

Понимая, что ему не удастся поймать мальчишку, силач яростно затопал на месте, двумя огромными волосатыми кулаками протер глазницы и глухо зарычал, — как тигр в петле намордника.

— Ты вроде кашляешь, старина? — осведомился сын Краснорукого. — Послушай, вот прекрасное лекарство, его дал мне один жандарм, надеюсь, и тебе оно понравится! Он подобрал горсть щебня и швырнул в лицо убийцы.

Этот дождь мелких острых камешков, оцарапавших лицо, это новое оскорбление причинили Грамотею еще более жестокие страдания, чем удар камня в лоб; мертвенно побледнев под сетью сине-багровых шрамов, ой внезапно раскинул крестом руки жестом невыразимого отчаяния, воздел к небесам свое ужасное лицо и взмолился из глубины души:

— О господи, господи боже мой!

Странно было слышать из уст этого человека,

запятнавшего себя самыми жестокими преступлениями, перед кем дрожали самые отчаянные мерзавцы, внезапный призыв к божьему милосердию, но так было угодно провидению.

— Ах, ах, ах, чертушка раскидывает руки крестом, — захихикала Сычиха. — Ты не того позвал, мой милый, тебе надо звать рогатого на помощь!

— Дай мне хоть нож, чтобы я покончил с собой!.. Дай мне нож!!! Ибо все оставили меня! — вскричал несчастный, кусая кулак в бессильной ярости.

— Нож? У тебя есть нож в кармане, хитрец, и преострый. Старикашка с улицы Руля и торговец быками, должно быть, уже рассказали о нем могильным червям.

Грамотей понял, что ему ничто не мешает покончить с собой, и поспешно сменил тему.

— Поножовщик был ко мне добр, — заговорил он глухим, трусливым голосом. — Он не обокрал меня, он меня пожалел...

— Почему ты сказал, будто я утащила твою казну? — спросила Сычиха, едва удерживаясь от смеха.

— Ты одна входила ко мне в комнату, — ответил бандит. — Меня обокрали в ночь твоего приезда. Кого же мне еще подозревать? Местные

крестьяне на такое не способны.

— А почему бы им не поживиться, твоим крестьянам? Что они, хуже других? Может, они пьют только молоко и щиплют траву, как кролики?

— Так или иначе, меня обчистили.

— Но при чем здесь твоя Сычиха? Да ты сам подумай! Если, бы я увела твое сокровище, разве бы я после этого осталась с тобой? Ты что, сдурел? Конечно, я бы взяла твои денежки, если бы могла. Но, верь слову Сычихи, ты бы все равно меня снова нашел потом, когда бы денежки растаяли, потому что ты мне Нравишься, белоглазый разбойник! И послушай, брось ты скрипеть зубами, а то все выкрошишь.

— Похоже, он щелкает орехи! — заметил Хромуля.

— Ха-ха-ха! Ты прав, малыш. А ты, душегубчик, успокойся, пусть себе посмеется, он еще так молод. И признайся, что ты несправедлив. Когда высокий человек в трауре, похожий на могильщика, сказал мне: «Плачу тысячу франков, если вы похитите девушку, которая живет на ферме Букеваль, и привезете на указанное место в долине Сен-Дени», разве я не предложила тебе сразу войти в долю, ответь! А ведь могла бы выбрать любого, кто соображает и видит лучше. Так что

считай, что я тебя облагодетельствовала. Потому что ты нам нужен только для того, чтобы ты держал девчонку, пока мы с Хромулей не запакуем ее в плащ. А в остальном ты нам как карете пятое колесо. Ну ладно. Я бы тебя, конечно, обокрала, если бы могла, но в общем я тебя люблю и желаю тебе добра. Я хочу, чтобы ты был обязан всем твоей дорогой Сычихе: такой уж у меня характер! Мы дадим двести монет Крючку за карету и за то, что он привозил сюда слугу высокого человека — в трауре показать нам место, где мы должны спрятаться, поджидая девчонку. Нам останется восемьсот монет на двоих, будет на что погулять! Ну а теперь что скажешь? Ты еще сердишься на свою старушку?

— Кто поручится, что ты дашь мне хоть что-нибудь, когда дело будет сделано? — мрачно и недоверчиво спросил грабитель.

— Я бы, конечно, могла ничего тебе вообще не дать, мой милый, потому что ты у меня в кармане, как когда-то была Певунья. Так что жарься на моей сковородке, пока рогатый пекарь, в свою очередь, не подцепит тебя на вилы, хе-хе-хе!.. Ну что, душегубчик, ты все еще На меня дуешься? — спросила одноглазая, хлопнув бандита по плечу. Тот удрученно промолчал.

— Ты права, — проговорил он наконец со сдержанной яростью. — Такова, видно, моя участь. И это я, я во власти мальчишки и женщины, которую раньше бы убил одним дуновением! О, если бы я так не боялся смерти! — пробормотал он и опустился на придорожный склон.

— А ты стал трусом, ты трус! — презрительно сказала Сычиха. — Поговори теперь о своей «немой», о своей совести, это будет еще смешнее. А если тебя даже на это не хватает, я улечу и брошу тебя.

— Значит, я не смогу даже отомстить тому человеку, который искалечил меня и оставил в этом жалком положении, из которого я никогда не выйду! — вскричал Грамотей с удвоенной яростью. — Да, я очень боюсь смерти, очень... Ну пусть мне скажут: ты получишь этого человека, будешь держать его обеими руками, а потом вас обоих бросят в бездну. Я отвечу: пусть бросят, пусть, потому что я не выпущу его, пока мы оба не достигнем дна. И пока мы будем катиться вниз, я искусаю его лицо, перегрызу горло, вырву сердце, я загрызу его зубами, потому что мой нож для него слишком хорош!

— Вот и прекрасно, чертушка, таким я тебя люблю. Будь спокоен, мы отыщем твоего подонка

Родольфа, и Поножовщика тоже. После больницы я долго бродила по аллее, Вдов... все было заперто, заколочено. Но я сказала высокому человеку в трауре: «Когда-то вы хотели нам заплатить, чтобы мы кое-что сделали с этим чудовищем Родольфом. Может быть, после дельца с девчонкой, которое нас ждет, мы займемся Родольфом?..» — «Возможно», — ответил он. Ты слышишь, хитрец? «Возможно!» Мужайся, чертушка. Мы слопаем твоего Родольфа, это я тебе говорю, мы его сожрем!

— Ты правда меня не бросишь? — спросил бандит покорно и в То же время недоверчиво. — Если ты теперь меня бросишь, что же со мной будет? — Да, ты прав. Скажи-ка, душегубчик, вот будет весело, если мы с Хромулей удерем в карете и оставим тебя здесь в поле, а ночи-то уже не летние, холодок прихватывает. Вот будет знатная шутка, а, разбойничек?

При этой угрозе Грамотей содрогнулся; он приблизился к Сычихе и проговорил, весь дрожа:

— Нет, нет, ты не сделаешь этого, Сычиха... и ты тоже, Хромуля... Это было бы слишком жестоко.

— Ха-ха-ха, слишком жестоко! Посмотри на этого простачка! А старикашка с улицы Руля, а торговец быками? А женщина на канале Сен-

Мартен? А господин в аллее Вдов? Может, им понравилось, когда ты щекотал их своим кинжалом? Почему с тобой, в свою очередь, нельзя сыграть такую шутку?

— Хорошо, я признаюсь, — глухо проговорил Грамотей. — Да, я был неправ, когда заподозрил тебя, и был неправ, когда ударил Хромулю. Я прошу у тебя прощения, Сычиха... и у тебя тоже, Хромуля... Я прошу прощения у вас обоих.

— Нет, пусть он просит прощения на коленях за то, что хотел избить Сычиху! — заявил Хромуля.

— Вот мартышка, какой он забавный! — со смехом сказала Сычиха. — В самом деле, мне хочется посмотреть, какую рожу ты состроишь, когда будешь стоять на коленях, словно сгорая от любви к твоей ненаглядной Сычихе. Вставай на колени и поторопись, иначе мы тебя бросим, предупреждаю, через полчаса уже наступит ночь.

— Да ведь ему все равно, день или ночь, — насмешливо сказал Хромуля. — У этого господина ставни всегда закрыты, он боится испортить цвет лица.

— Хорошо, вот я на коленях. Прости меня, Сычиха... и прости меня ты, Хромуля. Теперь ты довольна? — спросил бандит, стоя на коленях посреди дороги. — Теперь ты меня не покинешь,

скажи?

Эта странная группа на дороге между крутыми склонами, освещенная красноватыми отсветами заката, была ужасна и отвратительна.

Посреди дороги стоял на коленях Грамотей, умоляюще протягивая к кривой Сычихе могучие руки; густая и жесткая шевелюра падала словно грива на его багровый лоб; красные веки, безмерно распахнутые от ужаса, позволяли видеть неподвижные зрачки, потускневшие, стеклянные, мертвые, — взгляд мертвеца.

Его огромные лапы были униженно опущены. Этот коленопреклоненный Геркулес дрожа склонялся перед старухой и мальчишкой.

Кривая Сычиха, закутанная в красную клетчатую шаль, в старом чепце из черного тюля, из-под которого вылезали седые пряди, возвышалась над Грамотеем во весь рост. Ее костлявое лицо с крючковатым носом, старое и обветренное, все в морщинах и пятнах, выражало циничную, жестокую радость; единственный красно-желтый глаз сверкал, как пылающий уголек; хищный оскал губ под длинными волосками обнажал три-четыре пожелтевших и полусгнивших зуба.

Хромуля в своей блузе с, кожаным поясом стоял на одной ноге, опираясь на Сычиху, чтобы сохра-

нить равновесие.

Болезненное и хитрое лицо этого мальчишки, такое же серо-желтое, как его волосы, выражало в этот момент насмешливую, дьявольскую жестокость.

Тень от придорожного склона еще более увеличивала ужас этой сцены, которую уже заволакивали сумерки.

— Пообещайте хотя бы не бросать меня! — повторил Грамотей, испуганный молчанием Сычихи и Хромули, которые наслаждались его страхом. — Неужели вы уже ушли? — прибавил убийца, наклоняясь, чтобы прислушаться, и машинально протягивая вперед руки.

— Нет, нет, мой голубчик, мы здесь, не бойся. Покинуть тебя? Да скорее я поцелуюсь с костлявой. Давай я тебя раз навсегда успокою и объясню, почему не покину тебя никогда. Слушай хорошенько: я всегда обожала кого-нибудь мучить, запускать в кого-нибудь мои когти, в человека или зверя. Еще до Воровки, — пусть пекарь вернет ее мне, потому что мне до сих пор хочется умыть ее серной кислотой! — так вот, до Воровки был у меня мальчишечка, который не выдержал и загнулся, за что меня и упекли на шесть лет за решетку. Все эти шесть лет в тюрьме я мучила

птиц: сначала приманивала, а потом ощипывала живьем... Но с них было мало толку, они быстро подыхали. Когда я вышла из тюрьмы, в мои когти попалась Певунья, но эта нищенка ухитрилась сбежать, когда я могла бы еще с ней позабавиться. Потом у меня была собачка, которой досталось все, от чего сбежала девчонка; под конец я отрубила ей одну заднюю лапу и одну переднюю: из-за этого она так смешно ковыляла, так перекатывалась, что я едва не померла от хохота.

«Так и я сделаю с той собакой, которая меня укусила», — пообещал себе колченогий.

— Когда я встретила тебя, голубчик, — продолжала Сычиха, — я домучивала кошку... Так вот, отныне ты будешь моей кошкой, моей собакой, моей птичкой, моей Воровкой; в общем, будешь моей «тварью страждущей»... Понимаешь, душегубчик, вместо того чтобы мучить птицу или пытать ребенка, теперь я смогу позабавиться с волком или тигром, ведь это куда интересней, что скажешь?

— Старая ведьма! — вскричал Грамотей и в ярости вскочил на ноги.

— Полно, ты опять дуешься на свою старушку. Ну что же, покинь ее, ты сам себе господин. Я не стану на тебя сердиться за предательство.

— Да, уходи, дверь открыта! Беги не глядя все прямо! — сказал Хромуля и разразился хохотом.

— Лучше умереть, умереть! — закричал Громотей, ломая руки.

— Ты повторяешься, мой милый, ты уже это говорил. И не болтай чепухи! Ты здоров как буйвол, так что оставь, ты проживешь еще долго на радость твоей Сычихе. Я тебя буду мучить время от времени, потому что в этом моя радость, и к тому же ты должен отрабатывать хлеб, которым я тебя кормлю. А если будешь умником, я буду брать тебя на хорошие дела, как сегодня, и, может быть, на другие, повыгоднее, где ты сможешь пригодиться. Короче — ты будешь моим зверем, моим псом. Я прикажу тебе: принеси! И ты принесешь. Я прикажу: загрызи! И ты загрызешь. Но только вот что, милый, я вовсе не хочу тебя принуждать. Если вместо того, что я тебе предлагаю, ты предпочтешь жить на ренту, кататься в карете со смазливой дамочкой, получать ордена и должности вроде «главного соглядатая»[82] и прозреть, а не оставаться слепым, — пожалуйста, не стесняйся! Весь это так легко! Стоит тебе пожелать — и все тебе преподнесут на блюдечке... Не

---

[82] Notes: 82
Верховного судьи.

правда ли, Хромуля?

— На блюдечке и горяченькое, только скажи! — со смехом поддержал ее сын Краснорукого.

Но вдруг он склонился к земле и тихо проговорил:

— Я слышу шаги на тропинке. Прячемся! Это не наша девчонка, потому что идут с той стороны, откуда она пришла.

И действительно, через несколько минут на тропинке появилась крепкая, еще молодая крестьянка с накрытой корзиной на голове; за ней бежала большая собака с фермы. Они пересекли дорогу и поднялись по тропе, по которой недавно прошли священник и Певунья.

Присоединимся к этим двум персонажам и оставим пока трех сообщников в их засаде на овражной дороге.

Глава II.
ДОМ СВЯЩЕННИКА

Последние лучи солнца угасали за массивными стенами замка Экуен и окружающими его лесами. Повсюду вокруг, насколько хватал глаз, простирались обширные поля с коричневыми бороздами, уже отвердевшими от заморозков, безмерное безлюдное пространство, среди которого деревушка Букеваль казалась оазисом жизни.

Прозрачное, чистое небо на западе прочертили длинные пурпурные полосы — верный признак ветров и холодов. Багряные тучи, яркие и пылающие, по мере приближения сумерек становились фиолетовыми.

Тонкий, четкий полумесяц, похожий, на половинку серебряного кольца, тихо засветился на темно-лазурном небосводе. Был торжественный час, царила глубокая тишина. Священник приостановился на вершине холма полюбоваться прекрасным закатом.

Несколько минут он стоял, погруженный в глубокие размышления, затем простер дрожащую

руку к далям, наполовину затянутым вечерним туманом, и сказал, обращаясь к Лилии-Марии, которая в задумчивости следовала за ним:

— Взгляни, дитя мое, на эту беспредельность: у нее нет границ!.. И не слышно ни малейшего звука... Мне кажется, безмолвие и бесконечность — это символ вечности... Я говорю тебе это, Мария, потому что ты чувствуешь красоту природы. Часто я с умилением смотрел, с каким благоговейным восторгом ты любовалась этими красотами... ты, столь долго лишенная возможности их созерцать. Наверное, тебя, как и меня, поражает нерушимый покой этого заката?

Девушка не ответила.

Удивленный кюре обернулся; она плакала.

— Что с тобой, дитя мое?

— Отец мой, я так несчастна!

— Несчастна? Даже сейчас... несчастна?

— Я знаю, что не могу жаловаться на судьбу после всего того, что вы для меня сделали... и все же...

— И все же?

— Ах, отец мой, простите меня за мою печаль: наверное, она обидит моих благодетелей...

— Послушай, Мария, мы часто спрашивали тебя о причинах твоей печали, которая охватывает те-

бя временами и очень беспокоит твою приемную мать... Ты не отвечала, и мы не настаивали, хотя твоя тайна нас тоже огорчает, потому что мы не знаем, как облегчить твои страдания.

— Увы, отец мой! Я не могу сказать, что происходит со мной. Так же, как и вы, я вдруг ощутила всю красоту этого вечера, такую мирную и грустную... Сердце мое разбито... Я сейчас заплачу...

— Но что с тобой, Мария? Ты знаешь, как мы тебя любим. Послушай, признайся мне во всем! К тому же я могу сказать тебе; уже близок день, когда госпожа Жорж и господин Родольф станут твоими крестными и обязуются перед богом всегда охранять тебя от всех бед.

— Господин Родольф?.. Тот, кто спас меня? — вскричала Лилия-Мария, молитвенно складывая руки. — Неужели ой вновь снизойдет ко мне, даст мне новое доказательство своей доброты? О боже, я ничего не буду скрывать от вас, отец мой, я слишком боюсь оказаться неблагодарной, недостойной.

— Неблагодарной? Недостойной?

— Чтобы вы поняли меня, я должна рассказать о первых моих днях на ферме.

— Я тебя слушаю, говори, пока мы идем.

— Вы будете милосердны, отец мой? То, что я

расскажу, может быть, очень нехорошо.

— Господь доказал тебе, что его милосердие безгранично. Мужайся!

Собравшись с мыслями, Лилия-Мария заговорила:

— Когда я узнала здесь, что больше не покину ферму и госпожу Жорж, я подумала, что вижу чудесный сон. Сначала я была словно оглушена таким счастьем и каждый миг думала о господине Родольфе. Очень часто, когда я оставалась одна, словно против своей воли я поднимала глаза к небу, чтобы найти его там и поблагодарить. Да, я виновата, отец мой... Я думала о нем чаще, чем о боге... Ибо он сделал для меня то, что мог сделать только господь. Я была счастлива, счастлива, как человек, избежавший смертельной опасности. Вы и госпожа Жорж были так ко мне добры, что порой мне казалось, что я в самом деле больше достойна жалости, чем порицания.

Кюре посмотрел на Певунью с удивлением. А она продолжала:

— Мало-помалу я привыкла к такой безмятежной, спокойной жизни. Я уже не боялась, просыпаясь, что увижу Людоедку, я спала, как бы сказать, в безопасности. И больше всего мне нравилось помогать госпоже. Жорж во всех ее де-

лах, прилежно внимать вашим урокам, отец мой, а еще — слушать ваши проповеди и поучения. Лишь порой мне бывало стыдно за мое прошлое, а в остальное время я думала, что теперь я такая же, как все люди, потому что все были добры ко мне... Но вот однажды...

Рыдания прервали речь Лилии-Марии. — Прошу тебя, успокойся, бедное дитя! Наберись смелости!

Утерев слезы, Певунья продолжала:

— Вы помните, отец мой, на праздник всех святых сюда приезжала со своей дочерью госпожа Дюбрей, арендаторша герцога де Люсене в Арнувиле?

— Конечно, помню. И я был рад, что ты познакомилась с Кларой Дюбрей; у этой девушки много достоинств...

— Это ангел, отец мой, просто ангел! Когда я узнала, что она приедет на несколько дней к нам на ферму, я была так счастлива и только и мечтала о встрече с желанной подругой. И наконец она приехала. Я была в своей комнате, Клара должна была пожить у меня, и я старалась убрать комнату получше. За мной прислали; я вошла в гостиную, сердце мое колотилось. Госпожа Жорж подвела меня к этой юной девушке, такой

нежной, скромной и доброй, и сказала: «Мария, вот подруга для тебя!» И госпожа Дюбрей прибавила: «Я надеюсь, что скоро вы будете как две сестрички». Едва ее мать произнесла эти слова, Клара бросилась ко мне и обняла меня. И тогда, отец мой, — продолжала Лилия-Мария, заливаясь слезами, — я не знаю, что со мной вдруг случилось... Но когда нежное, свежее личико Клары прижалось к моей увядшей щеке... эта щека загорелась от стыда... и от раскаяния. Я вспомнила, кем я была... Кто я такая, чтобы меня обнимала юная, честная девушка!.. Мне показалось, что я обманщица, презренная лицемерка...

— Но послушай, дитя мое...

— Ах, отец мой! — вскричала Мария с отчаянием и болью, прерывая священника. — Когда господин Родольф увел меня из Сите, я уже смутно догадывалась, как я низко пала... Но неужели вы думаете, что воспитание, советы и примеры, которые давали мне госпожа Жорж и вы, просвещая мой разум, не объясняли мне, увы, что я была не столько несчастна, сколько виновна?.. До приезда мадемуазель Клары, когда эти мысли терзали меня, я старалась заглушить их, старалась угождать госпоже Жорж и вам, отец мой... Если я краснела от стыда за мое прошлое, то только перед самой

собой... Но при виде этой юной девушки, такой прелестной, такой невинной, я поняла, какая пропасть легла навсегда между ею и мной... В первый раз я почувствовала, что существуют шрамы, которые ничто не может сгладить... С того самого дня эта мысль не покидает меня... Что бы я ни делала, она преследует меня, с того самого дня я не знаю ни минуты покоя.

Девушка вытерла глаза, полные слез.

Кюре смотрел на нее с нежностью й состраданием. Потом он заговорил:

— Подумай, дитя мое, если госпожа Жорж рассудила, что ты достойна быть подругой мадемуазель Клары, значит, она считала, что ты заслужила такую дружбу своим хорошим поведением. И, упрекая себя, ты словно упрекаешь свою приемную мать.

— Я это знаю, отец мой, я не права, конечно, но я не могла преодолеть стыд и страх... И это еще не все... Где взять мужества, чтобы договорить до конца?..

— Продолжай, Мария! Пока я вижу: твои сомнения или, скорее, угрызения совести говорят только о доброте твоего сердца.

— Когда Клара поселилась на ферме, я думала, буду радоваться, буду счастлива, что у меня

появилась подруга моего возраста, но вместо этого пришла печаль. А Клара, наоборот, была счастлива и весела. Ей устроили постель в моей комнате. В первый же вечер она обняла меня и сказала, что уже полюбила меня, что очень ко мне расположена, и попросила называть ее просто Кларой, как она называет меня Марией. А потом она помолилась и сказала, что будет поминать мое имя в своих молитвах, если я тоже буду поминать ее имя в моих молитвах. Я не могла ей в этом отказать. Мы еще немного поболтали, и она уснула, а я даже не прилегла. Я подошла к ней, я плакала и смотрела на ее ангельское лицо, а потом подумала, что она спит в одной комнате со мной... со мной, найденной в притоне Людоедки среди убийц и воров... Я вся дрожала, словно совершила преступление, меня терзали страхи... Мне казалось, господь когда-нибудь накажет меня за эта Я легла, и мне снились кошмары, я видела ужасные, почти забытые лица Поножовщика, Грамотея, Сычихи, этой одноглазой старухи, которая меня терзала и мучила, пока я была совсем маленькой... О, какая страшная ночь! Господи, какая ночь! Какие ужасные сны!

И Певунья содрогнулась от этих воспоминаний.

— Бедняжка Мария! — с волнением проговорил священник. — Почему же ты раньше не признавалась мне в своих горестях? Я бы помог тебе успокоиться... Но все же продолжай.

— Я уснула поздно; мадемуазель Клара меня разбудила поцелуем, чтобы победить то, что она называла моей недоверчивостью, «холодком», стремясь доказать свою искреннюю дружбу, она решила доверить мне свою тайну. Когда ей исполнится восемнадцать, она станет женой давно любимого ею сына фермера из Гуссенвиля. Их семьи о свадьбе сговорились уже давно. А потом... она мне рассказала кое-что о себе, о своей жизни... Жизни такой простой, спокойной, счастливой... Она никогда не расставалась со своей матерью и не расстанется, потому что ее жених будет возделывать поля фермы вместе с господином Дюбрейем.

«Отныне, Мария, — сказала она мне, — ты знаешь меня как сестра. А теперь расскажи о себе...»

После этих слов я думала, что умру со стыда. Я краснела и бормотала что-то... Я ведь не знала, что госпожа Жорж рассказала обо мне, я боялась подвести ее. А потому ответила, что я сирота, воспитывали меня люди строгие, жестокие даже, и в детстве я была не слишком счастлива и

только рядом с госпожой Жорж познала радость жизни. Тогда Клара, скорее из сочувствия, чем из простого любопытства, спросила, где меня воспитывали: в городе или в деревне? Как звали моего отца? И еще она спрашивала, помню ли я мою мать? И каждый ее вопрос смущал меня и причинял мне боль: ибо мне приходилось все время лгать, а вы, отец мой, научили меня, как пагубна й греховна ложь... Но Клара не могла и подумать, что я ее обманываю. Она подумала, что неуверенные и неясные мои ответы — следы горьких воспоминаний детства, Клара мне верила и жалела меня с такой добротой, что мне становилось плохо. Отец мой, вам никогда не понять, сколько я выстрадала за те первые дни, первые разговоры с Кларой! Сколько мне стоило тогда каждое слово лжи и лицемерия!..

— Несчастная! Да обрушится гнев господний на всех, кто вверг тебя в эту страшную бездну греха и, может быть, заставит всю жизнь раскаиваться в неумолимых последствиях первого падения!

— О да, злодеи этого заслуживают, отец мой, — с горечью продолжала Лилия-Мария. — Ибо отмыть мой позор невозможно. И это еще не все. Клара говорила мне о своем светлом счастье, о близкой свадьбе, о доброй семейной жизни, и я не

могла не сравнивать ее судьбу со своей. Потому что, несмотря на всю вашу доброту здесь ко мне, судьба моя неотвратимо несчастна. Вы и госпожа Жорж объяснили мне, что такое добродетель, и в то же время дали понять, как низко я опускалась в прошлом: отныне я пример самого подлого, что может быть в мире, и никто меня в этом не разубедит. Познание зла и добра обошлось мне слишком дорого. Так пусть же свершится моя злосчастная судьба!

— О Мария, Мария!

— Я говорю не то, отец мой? Я не права? Увы! Я не решалась вам в этом признаться... Да, порой я не могу с благодарностью принимать ту бесконечную доброту, с которой вы ко мне относитесь. Мне кажется, мне говорят; если бы тебя не вырвали из бездны унижений, ты бы скоро умерла от нищеты и побоев. Так что же! По крайней мере, я бы умерла, не зная о той чистоте и невинности, о которых я буду горевать всю жизнь.

— Увы, Мария, этого не избежать! Даже такое щедро одаренное создателем существо, как ты, погрузившись однажды в нечистоты, подобные тем, из коих тебя извлекли, будет хранить на себе неизгладимые отметины. Такова непреклонная воля божественного правосудия.

— Вот видите, отец мой! — горестно вскричала Лилия-Мария. — Вы сами сказали: я должна страдать и отчаиваться до самой смерти!

— Ты должна сожалеть, что тебе не удастся вычеркнуть из своей жизни эту горестную страницу, — печально и сурово сказал священник, — но ты должна надеяться и верить в бесконечное милосердие всемогущего. Здесь, на земле, несчастное дитя мое, тебе уготованы раскаяние, слезы, искупление грехов, но когда-нибудь там, — и он воздел руку к небосклону, на котором уже замерцали звезды, — там тебя ждет всепрощение и вечное счастье!

— Сжалься, господи, сжалься надо мной!.. Я еще так молода и, может быть, проживу еще долго! — воскликнула Певунья душераздирающим голосом и упала на колени, инстинктивно обратившись к священнику.

Он стоял на вершине холма, неподалеку от которого виднелся его дом; черная сутана кюре, его благородное лицо, обрамленное длинными седыми волосами, чуть освещенные последними отсветами заката, вырисовывались силуэтом на фоне поразительно чистого и прозрачного неба, бледно-золотистого на западе и сапфирового на востоке.

Священник поднял дрожащую руку к небесам, а другую протянул Марии, которая обливала ее слезами.

Капюшон ее серого плаща упал ей на плечи, открыв прелестное лицо девушки, ее прекрасные, умоляющие, полные слез глаза, ее белоснежную шею, окутанную шелковистой волной белокурых волос.

Эта простая и величественная сцена являла разительный контраст и странную аналогию с омерзительной сценой, которая разыгрывалась почти одновременно в глубине овражной дороги между Грамотеем и Сычихой.

Во мраке черного оврага ужасный убийца, заклейменный своими преступлениями, изнемогая от трусости и страха, тоже стоял на коленях... но перед своей сообщницей, насмешливой и мстительной фурией, которая безжалостно терзала его и толкала на новые преступления. Перед той, кто была первой виновницей всех несчастий Лилии-Марии. Лилии-Марии, которую теперь безотрывно мучили угрызения совести.

Но разве нельзя понять глубину ее бесконечных страданий? С раннего детства она жила среди отвратительных, опустившихся, злобных людей; променяла эту клоаку на притон Людо-

едки, тюрьму еще более страшную; никогда не была свободной, никогда не выходила из темных, зловонных кварталов Сите... Несчастная девушка всю свою жизнь прожила, ничего не ведая о красоте и добре и ничего не зная о своих благородных чувствах, столь же непостижимых для нее, как великая красота природы.

И вдруг, без всякого перехода, она меняет это зловонное узилище на уединение прелестной фермы; свое мерзкое существование — на счастливую и мирную жизнь рядом с самыми достойными, самыми добрыми людьми, сочувствующими ее несчастьям.

Иными словами, перед ее пораженной душой вдруг открылось самое восхитительное сочетание прекрасных людей и прекрасной природы. В этом величественном окружении дух ее воспрял, мысль ожила, благородные инстинкты пробудились... И именно потому, что дух ее воспрял, мысль ожила и благородные инстинкты пробудились, она осознала всю глубину своего первоначального падения, ощутила невыразимое страдание и ужас перед своей прошлой жизнью и теперь, увы, понимает, как она сказала, что от этой грязи ей никогда не отмыться...

— Горе мне, горе! — в отчаянии восклицала Пе-

вунья. — Даже если вся жизнь моя отныне будет столь же долгой и столь же чистой, как ваша, отец мой, она все равно останется омраченной угрызениями совести и воспоминаниями о прошлом. Горе мне!

— Наоборот, Мария, счастие тебе, счастие той, кому господь ниспошлет это раскаяние, полное горечи, но такое святое! Оно говорит, что душа твоя не погибла для веры. Очень многие, лишенные твоего душевного благородства, постарались бы на твоем месте скорее забыть свое прошлое, чтобы спокойно наслаждаться радостями настоящего. Твоя нежная душа страдает, а вульгарная и грубая не испытала бы ни малейшей боли. Но все твои страдания будут тебе зачтены там, на небесах! Поверь мне, господь не оставит тебя ни на миг на твоем грешном пути, чтобы тебе досталась слава раскаяния и вечное блаженство во искупление!

Не тебе ли сказал сам господь: «Кто творит добро без борьбы и приходит ко мне с улыбкой на устах — тот избранный; но кто ранен в борьбе и приходит ко мне окровавленный и увечный — избранные из моих избранных!..» Поэтому мужайся, дитя мое!.. Надейся на нашу поддержку, опору и совет... Я уже слишком стар, но госпожа

Жорж и господин Родольф проживут еще долгие годы. Особенно господин Родольф, который проявляет к тебе такой искренний интерес... и с таким благосклонным вниманием следит за твоими успехами. Скажи, Мария, неужели ты когда-нибудь пожалеешь, что повстречалась с ним?..

Певунья уже хотела ответить, но ее прервала крестьянка, о которой мы уже упоминали: по той же тропинке, по которой раньше прошли священник и девушка, она теперь догнала их. Это была одна из служанок с фермы.

— Извините меня, господин кюре, — проговорила она. — Прошу прощения, но госпожа Жорж велела мне отнести вам эту корзину с фруктами и еще велела проводить мадемуазель Марию домой, потому что уже темнеет, а я взяла с собой Турка, — добавила крестьянка, потрепав по голове огромную пиренейскую овчарку, которая не боялась бы схватиться и с медведем. — Хоть у нас и не бывает злых людей на дорогах, но с Турком все-таки спокойней.

— Ты права, Клодина; к тому же мы уже почти дошли до моего дома. Поблагодари от меня госпожу Жорж.

Затем, понизив голос, кюре серьезным тоном

сказал Певунье:

— Завтра мне нужно на приходский совет, но к пяти часам я вернусь. Если хочешь, я буду ждать тебя, дитя мое. Насколько я понимаю, в твоем состоянии духа тебе необходимо о многом поговорить со мной.

— Благодарю вас, отец мой, — ответила Лилия-Мария. — Вы так добры, и завтра я обязательно приду.

— А вот мы и дошли до калитки сада! — сказал священник. — Оставь здесь корзину, Клодина, моя домоправительница ее захватит, Возвращайся поскорее на ферму вместе с Марией: уже почти ночь и холодает заметно. До завтра, Мария, в пять часов!

— До завтра, отец мой.

Кюре вошел в сад.

Певунья и Клодина двинулись по тропинке к ферме, и Турок бежал за ними не отставая.

Глава III.
ВСТРЕЧА

Наступила ночь, холодная и ясная.

По совету Грамотея Сычиха вместе с ним выбрала на овражной дороге место подальше от тропинки на ферму и поближе к перекрестку, где их ждал Крючок.

Хромуля остался у тропинки, поджидая возвращения Лилии-Марии, которую он должен был завлечь в эту западню, умоляя помочь несчастной старой женщине.

Сын Краснорукого на несколько шагов поднялся с дороги на тропинку, но вдруг навострил уши и замер: он услышал издали Певунью, которая о чем-то говорила с Клодиной.

Значит, Певунья не одна, значит, все пропало! Колченогий поспешил спуститься на дорогу и поспешно заковылял к тому месту, где спряталась Сычиха.

— Кто-то идет вместе с девчонкой! — тихо проговорил он, еле переводя дыхание.

— Чтобы ей подохнуть в петле, этой нищенке! — в ярости зашипела Сычиха.

— С кем она идет? — спросил Грамотей.

— Наверняка с той самой крестьянкой, которая только что прошла по тропинке с большой собакой. Я различил женский голос, — ответил Хромуля. — Да слушайте, слушайте! Слышите, как стучат их сабо?

И в самом деле, в ночной тишине издалека доносится стук деревянных подошв по схваченной заморозком земле.

— Их двое... Я могу справиться с девчонкой в сером плаще, но как быть с другой? Мой хитрец ничего не видит, а колченогий слишком слаб, чтобы «утихомирить» эту деревенщину, чтобы черт ее задушил! Что делать? Что делать? — повторяла Сычиха.

— Да, я не очень силен, но если вы хотите, я брошусь под ноги этой крестьянке с собакой, я вцеплюсь в нее руками и зубами и не выпущу, будь что будет!.. А за это время вы утащите девчонку...

— А если они поднимут крик, если будут сопротивляться, их услышат на ферме и успеют прибежать на помощь раньше, чем мы доберемся до кареты Крючка. Не так-то просто нести женщину, которая отбивается!

— Да еще с ними эта большущая собака! — до-

бавил Хрому ля.

— Ба, ерунда! — возразила Сычиха. — Если бы только собака, я бы ей выбила зубы одним ударом сабо!

— Они приближаются, — пробормотал колченогий, прислушиваясь к отдаленным шагам. — Сейчас они спустятся на дорогу...

— Да скажи ты хоть слово! — обратилась Сычиха к Грамотею. — Что нам теперь делать, хитрец, посоветуй! Ты что, проглотил язык?

— Сегодня ничего нельзя сделать, — ответил слепой бандит.

— А тысяча франков господина в трауре?. — вскричала Сычиха. — Значит, они фу-фу, улетели? Не больно часто такое предлагают... Нет, хитрец! Твой нож, дай мне твой нож! Я прикончу деревенщину, чтобы она нам не мешала, а девчонку мы с Хромулей как-нибудь оглушим и заткнем ей рот.

— Но человек в трауре не думал, что кого-то придется убивать...

— Так что же? Эту кровь мы тоже запишем ему в счет, и он доплатит, потому что станет нашим сообщником.

— Вот они... — прошептал колченогий. — Спускаются в овраг, на дорогу...

И вдруг он воскликнул в ужасе, протягивая к

Сычихе руки:

— Нет, не надо убивать, это уж слишком! Я не могу!..

— Давай свой нож, говорю тебе! — тихо повторила Сычиха, не обращая внимания на мольбы Хромули и торопливо разуваясь. — Я скину башмаки и покрадусь за ними, как волчица. Они меня не услышат. Правда, уже темно, но я различу девчонку по ее плащу и прикончу ту, вторую.

— Нет, — возразил слепой убийца. — Сегодня это уже ни к чему. Подождем, завтра еще будет время.

— Ты боишься, несчастный трус! — прошипела Сычиха со злобой и презрением.

— Я не боюсь, — ответил Грамотей, — но ты можешь промахнуться, и все будет потеряно.

Собака крестьянки несомненно почуяла затаившихся на овражной дороге людей, остановилась как вкопанная и яростно залаяла, не обращая внимания на призывы Лилии-Марии.

— Ты слышишь их собаку? Вот она, скорее давай нож... А не то!.. — с угрозой, вскричала Сычиха.

— Ну что ж, подойди, попробуй взять его... силой, — усмехнулся Грамотей.

— Все кончено! Мы опоздали! — воскликнула Сычиха, прислушиваясь к удаляющимся шагам.

— Они уже прошли... Ты мне заплатишь за это, висельник! — добавила она, размахивая кулаком. — Тысяча франков пропала, и все из-за тебя!

— Наоборот! — уверенно возразил Грамотей. — Мы получим тысячу, две тысячи, а может быть, и три. Слушай меня, Сычиха, и ты поймешь, что я был прав, когда не дал тебе нож... Ты сейчас отправишься к Крючку, и вы вдвоем поедете в его фиакре к назначенному месту, где вас ждет господин в трауре... Вы ему скажете, что сегодня ничего не удалось, но завтра мы похитим девчонку.

— А ты что будешь делать? — спросила Сычиха, все еще не остыв от злости.

— Слушай дальше: девчонка каждый вечер одна провожает священника; сегодня за ней пришла крестьянка, но это чистая случайность, и завтра нам, наверное, больше повезет. Поэтому завтра ты в этот же час вернешься на тот же перекресток с Крючком и его каретой.

— А ты, что будешь делать ты?

— Хромуля отведет меня на ферму, где живет эта малютка. Хромуля скажет, что мы заблудились, что я его отец, бедный рабочий-механик, ослепший из-за несчастного случая на работе, что мы идем в Лувр к родственникам, которые нам помогут, а заблудились мы потому, что хотели

пройти более короткой дорогой через поля. Мы попросимся переночевать на ферме, где-нибудь в амбаре. В этом никто никогда не отказывает. Эти крестьяне поверят нам и пустят на ночлег. Хромуля тем временем как следует осмотрит все окна и двери в доме: у этих людей в такое время всегда хранятся денежки для оплаты за аренду. Уж я-то знаю, у самого была когда-то землица, — добавил он с горечью. — Сейчас середина января... самое подходящее время, когда рассчитываются со всеми долгами. Вы говорили, ферма стоит на отшибе... Мы разведаем все входы и выходы и сможем сюда вернуться с друзьями. Это дельце верное!

— Ну и голова у тебя, чертушка! — воскликнула Сычиха, сменяя гнев на милость. — Продолжай, хитрец.

— Назавтра утром, вместо того, чтобы покинуть ферму, я притворюсь, что не могу идти от боли. Если мне не поверят, я покажу им язву, которая не заживает с тех пор, как мне натерли ее кандалы, — она меня в самом деле все время мучит. Но им я, конечно, скажу, что это после ожога раскаленным железом, когда я еще был механиком, и они мне поверят. Так я проведу на ферме еще часть дня, чтобы Хромуля успел

осмотреть все как следует. К вечеру, когда наша крошка как обычно отправится провожать священника, я скажу, что мне лучше, и мы пойдем дальше. Но вместо этого мы с Хромулей будем издали следить за девчонкой, чтобы встретить ее на обратном пути в этом же месте на овражной дороге. Она нас увидит, но ничего не заподозрит, потому что уже нас видела и знает... Мы заговорим с ней, а когда она приблизится ко мне, чтобы я мог достать ее рукой... Тут уж я за себя отвечаю: она не вырвется, и тысяча франков будет у нас в кармане... А дня через два-три мы поручим дельце с фермой Крючку или кому-нибудь еще и, если там что-нибудь найдется, получим свою долю, потому что мы дали наводку[83].

— Ах ты мой умник безглазый, с тобой никто не сравнится! — воскликнула Сычиха, обнимая Грамотея. — Но что, если девчонка завтра вечером не пойдет провожать священника?

— Будем ждать ее послезавтра, и сколько потребуется: такое блюдо не едят горячим и второпях, чтобы не обжечься. К тому же все это мы припишем к счету господина в трауре. И еще: пока я буду на ферме, я узнаю из разговоров, сумеем ли

---

[83] Notes: 83
Подготовили, указали место кражи

мы похитить девчонку по нашему плану. И если нет — придумаем другой.

— Согласна, хитрец. Твой план хорош. И знаешь, душегубчик, когда ты станешь совсем немощным, мы тебя сделаем нашим главным советчиком, и ты будешь зарабатывать не меньше любой «тюремной крысы»[84]. Поцелуй же свою совушку-сычиху и поспеши, а то эти крестьяне на фермах ложатся спать в одно время с курами. А я побегу к Крючку. Завтра в четыре мы будем на перекрестке с его таратайкой, если только его не загребут за то, что он пришил мужа молочницы на Старосуконной улице... Но если не Крючок, со мной поедет еще кто-нибудь, потому что этот фальшивый фиакр принадлежит господину в трауре и он им уже не раз пользовался. Через четверть часа после приезда на перекресток я доберусь сюда и здесь буду тебя ждать.

— Хорошо, Сычиха. До завтра!

— Постой, я же забыла дать воску Хромуле, чтобы он снял на ферме отпечатки с ключей! Ты, надеюсь, умеешь это, малыш? — спросила одноглазая, подавая Хромуле кусок воска.

— Умею, конечно, ничего нет проще: папаша

---

[84] Notes: 84
Адвокаты

показал мне, как это делается. Я для него сделал отпечатки замка маленькой железной шкатулки, которую мой хозяин, фокусник-шарлатан, хранит в своей черной комнате.

— Тогда в добрый час! И чтобы воск не приклеился, когда ты его разогреешь в руке, не забудь его смочить.

— Знаю, знаю! — ответил Хромуля. — Вы видите, я готов сделать все, что вы скажете, и все потому, что вы ведь меня любите хоть немножко, не правда ли? Хоть чуть-чуть, Сычиха?

— Еще бы тебя не любить! Да я тебя люблю как сына покойного Наполеона!!! — сказала Сычиха, обнимая и целуя Хромулю, безмерно польщенного этим сравнением с наследником императора. — Итак, до завтра, душгубчик!

— До завтра, — повторил Грамотей.

Сычиха поспешила к перекрестку, где ее ждал Крючок с фиакром.

Грамотей с Хромулей выбрались из овражной дороги и пошли по тропинке в сторону фермы; свет ее окон указывал Хромуле путь.

Поразительная игра судьбы приближала таким образом Ансельма Дюренеля к его супруге, которую он не видел с тех пор, как был приговорен к каторжным работам.

Глава IV.
ВЕЧЕР НА ФЕРМЕ

Что может больше обрадовать сердце путника, чем зрелище очага на большой ферме в час вечерней трапезы, особенно зимой? Что может больше сказать сердцу о покое и достатке сельской жизни?

Ответом на наши риторические вопросы могла бы послужить кухня фермы Букеваль в этот январский вечер.

Ее огромный камин, высотой в шесть футов и шириной в восемь, походил на большие каменные ворота, распахнутые на пылающее горнило: в почерневшей золе очага пылал настоящий костер из дубовых и буковых поленьев. Этот огромный костер согревал и освещал все уголки кухни, так что свет лампы, подвешенной к средней потолочной балке, в общем-то был ни к чему.

Большие котлы и кастрюли из красной меди, расставленные на полках, сверкали чистотой; старинный кувшин из того же металла сиял как пылающее зеркало рядом с квашней из орехового

дерева, от которой исходил аппетитный запах свежего хлеба. Длинный, массивный стол, накрытый необычайно чистой скатертью грубого полотна, занимал всю середину кухни; место каждого отмечали его фаянсовые тарелки, коричневые снаружи и белоснежные внутри, а также его приборы из простого металла, начищенные и блестевшие, словно серебро.

Посередине стола большая супница с овощной похлебкой дымилась, как кратер вулкана, застилая ароматным паром огромное блюдо тушеной капусты с ветчиной и такое же, не менее внушительное, блюдо бараньего рагу с картошкой; и, наконец, целая четверть жареного теленка с двумя зимними салатами, обрамленная двумя корзинами с яблоками и сырами двух сортов, завершали симметрию изобилия этого ужина. Три или четыре кувшина с искрящимся сидром и столько же круглых хлебов, каждый величиной с мельничный жернов, были выставлены для работников фермы.

Старая, почти беззубая собака из породы черных грифонов, почетный старейшина всего собачьего рода фермы, получила за свой возраст и былые заслуги право оставаться в доме, в уголке возле камина. Незаметно и скромно пользуясь

своей привилегией, она лежала, положив морду на вытянутые лапы, и внимательно следила за разными кулинарными приготовлениями, которые предшествовали ужину.

Эта почтенная псина откликалась на несколько буколическую кличку Лисандр.

Возможно, такая повседневная трапеза на ферме, при всей ее незатейливости, показалась бы слишком роскошной, однако г-жа Жорж, верно следуя в этом советам Родольфа, как могла, скрашивала участь своих работников, набранных среди самых честных и трудолюбивых крестьян округи. Им щедро платили, и судьба их считалась завидной и счастливой, поэтому каждый хороший земледелец мечтал попасть на ферму Букеваль, а их невинное честолюбие, в свою очередь, помогало хозяевам, у которых они работали, потому что поступить на освободившееся на ферме место можно было только с наилучшей рекомендацией.

Таким образом Родольф создавал в очень маленьком масштабе своего рода образцовую ферму, предназначенную не только для улучшения породы скота и сельскохозяйственных методов, но прежде всего для улучшения людей, и он достигал своей цели, заставляя людей быть

активнее, изобретательнее и честнее.

Закончив все приготовления к ужину и поставив на стол чашу старого вина на десерт, кухарка фермы позвонила в колокол.

На этот радостный призыв все работники фермы, слуги, коровницы и птичницы, числом в десять-пятнадцать человек, весело поспешили в кухню. У мужчин был открытый, мужественный вид, женщины отличались здоровьем и привлекательностью, девушки — резвостью и весельем; все были в хорошем настроении, их простые, добродушные лица дышали спокойствием и удовлетворенностью. С наивным вожделением готовились они воздать честь этим яствам, справедливо заслуженным за день неустанных трудов.

Во главе стола сел старый работник с седыми волосами, с честным лицом, открытым и смелым взглядом и слегка насмешливым ртом; типичный крестьянин, здравомыслящий, скрытный и прямой, решительный и прозорливый, деревенский хитрец, в котором издали ощущалась старая галльская закваска.

Дядюшка Шатлэн, — так звали этого патриарха, — с детства не покидал этой фермы и сейчас был главным над всеми работниками. Когда Родольф

купил ферму, ему справедливо рекомендовали старого слугу; он оставил его у себя и поручил под началом г-жи Жорж надзирать за сельскохозяйственными работами. Дядюшка Шатлэн пользовался у работников фермы высоким уважением благодаря своему возрасту, знаниям и опыту.

Все крестьяне уселись на свои места.

Громко прочитав застольную молитву, дядюшка Шатлэн по древнему святому обычаю перекрестил один из хлебов кончиком своего ножа и отрезал ломоть, который считался ломтем богородицы или хлебом для бедняка; затем он налил стакан вина, тоже перекрестил его и все поставил на тарелку, которую благоговейно поместили на середине стола.

В этот момент сторожевые псы разразились громким лаем; старый Лисандр ответил им глухим рычанием, вздернув верхнюю губу и показывая два еще внушительных клыка.

— Кто-то идет вдоль ограды двора, — сказал дядюшка Шатлэн.

Едва он произнес эти слова, зазвонил колокольчик у главных ворот.

— Кто бы это мог быть так поздно? — удивился старый работник. — Все наши давно вернулись...

Поди посмотри, Жан-Рене!

Жан-Рене, наверное, самый юный на ферме работник, со вздохом сожаления опустил в тарелку с обжигающим супом свою огромную ложку, на которую дул с такой силой, что ему позавидовал бы сам бог ветра Эол, встал и вышел из кухни.

— Что-то давненько уже госпожа Жорж и мадемуазель Мария не приходили к нам во время ужина посидеть в уголке у огня, — заметил дядюшка Шатлэн. — Я голоден как волк, но без них мне не очень хочется есть.

— Госпожа Жорж поднялась в комнату мадемуазель Марии, потому что, проводив господина кюре, мадемуазель почувствовала себя нехорошо и легла пораньше, — объяснила Клодина, та самая крепко сбитая крестьянка, которая проводила Певунью от дома священника и тем самым разрушила зловещие замыслы Сычихи.

— Надеюсь, наша добрая мадемуазель Мария не занемогла? — с надеждой и беспокойством спросил старый крестьянин.

— Нет, нет, слава тебе господи, дядюшка Шатлэн! Госпожа Жорж сказала, что это пустяки, — ответила Клодина. — Иначе госпожа Жорж послала бы в Париж за господином Давидом, тем самым черным доктором, который уже лечил

мадемуазель, когда она в самом деле болела... И все равно не могу я понять: доктор — и вдруг чернокожий! Если бы я захворала, я бы ему ни за что не доверилась. Другое дело белый врач, пожалуйста... он все-таки христианин.

— Разве доктор Давид не вылечил мадемуазель Марию, которая первое время угасала на глазах?

— Да, дядюшка Шатлэн, вылечил.

— Так в чем же дело?

— Да, дядюшка Шатлэн, но подумайте сами, черный доктор, совсем черный...

— Послушай, дочка, какой масти корова Мюзетта?

— Она белая, дядюшка Шатлэн, белая, как лебедушка, и к тому же такая дойная, что за нее можно не краснеть.

— А твоя корова Розетта?

— Черная, как ворон, и тоже дает вдоволь молока: надо ко всем быть справедливой.

— А молоко твоей черной коровы, какого оно цвета?

— Ну конечно, белое, дядюшка Шатлэн, это же понятно, белое как снег.

— Такое же белое, как у Мюзетты?

— Да, дядюшка Шатлэн.

— Хотя сама Розетта совсем черная?

— Да, хотя Розетта черная... Но при чем здесь молоко? Коровы могут быть какие угодно: черные, рыжие или белые...

— Значит, разницы никакой?

— Совсем никакой, дядюшка Шатлэн.

— Так вот скажи мне, дочка, почему черный доктор должен быть хуже белого?

— Право, не знаю, дядюшка Шатлэн. Наверное, из-за цвета кожи, — ответила молодая крестьянка в глубоком смущении. — Но если уж черная Розетта дает такое же хорошее молоко, как белая Мюзетта, значит, дело не в масти.

Эти физиогномические рассуждения Клодины о различиях белой расы и черной были прерваны возвращением Жана-Ре-не, который дул себе на озябшие пальцы с такой же силой, как перед этим дул на горячий суп.

— У, какой холодище! Какая холодная ночь!.. Морозит так, что земля трескается, — проговорил он, входя. — В такую ночь лучше быть в доме, чем на дворе. Ну и холодище!

— Когда заморозки начинаются с восточным ветром, холода будут долгие и жестокие, ты должен это знать, мой мальчик. Но кто там звонил? — спросил старейшина работников.

— Несчастный слепой и мальчишка, который

его водит, дядюшка Шатлэн.

Глава V.
ГОСТЕПРИИМСТВО

Чего он хочет, этот слепой? — спросил дядюшка Шатлэн Жана-Рене.

— Этот бедный человек и его сын хотели срезать путь по дороге в Лувр и заблудились в полях. А поскольку холод собачий и ночь хоть глаз выколи, потому что небо затягивает тучами, слепой и его сын просятся переночевать на ферме где-нибудь в уголке хлева.

— Госпожа Жорж так добра, что никогда не отказывает в гостеприимстве несчастным. Она, конечно, согласится пустить на ночлег этих бедняг... но надо ее предупредить. Сходи к ней, Клодина!

Клодина исчезла.

— Где он сейчас, этот добрый человек? — спросил дядюшка Шатлэн.

— Ждет в маленьком амбаре.

— Зачем же ты запер их в амбаре?

— Если бы он остался на дворе, собаки разорвали бы его на куски вместе с его мальчонкой. Да, дядюшка Шатлэн, напрасно я кричал и кричал:

«Тихо, Медор! Ко мне, Турок!.. Назад, Султан!» Никогда еще я их не видел в такой ярости. А ведь у нас на ферме их не учили рвать бедняков, как в других местах...

— Ей-богу, мы сегодня не зря выделили кусок хлеба и глоток вина для бедняка... Потеснитесь немножко... Вот так! Поставим еще два прибора, для слепого и его сына, потому что госпожа Жорж наверняка позволит им переночевать у нас.

— И все же непонятно, почему собаки так разъярились, — проговорил Жан-Рене. — Особенно Турок, которого Клодина взяла с собой, когда ходила в дом священника... Он словно взбесился!.. А когда я его гладил, чтобы успокоить, шерсть на его спине стояла дыбом, как иглы у ежа. Что вы на это скажете, дядюшка Шатлэн? Вы ведь все знаете...

— Скажу тебе, сынок, что, хоть я знаю много, животные знают больше нас... Помнишь, ураган этой осенью превратил нашу маленькую речку в настоящий поток? Ночь была непроглядная, а я как раз возвращался с поля с моими рабочими лошадьми. Ехал я на старом рыже-саврасом жеребце, но черт меня побери, если я знал, где нам перебраться через реку вброд' Темно было, как в печи! Так вот, опустил я повод на шею старого

саврасого, и он сам отыскал брод, которого в такой тьме не нашел бы ни один человек... Но кто его этому научил?

— Да, дядюшка Шатлэн, кто научил старого саврасого?

— Тот же, кто научил ласточек лепить гнезда под карнизами, а трясогузок вить гнезда в камышах, мой мальчик... Так что там? — обратился старый пророк к Клодине, которая появилась, неся под каждой рукой по паре белоснежных одеял, — сразу наполнивших кухню свежим запахом шалфея и вербены. — Госпожа Жорж велела накормить несчастного слепого и его сына ужином и оставить переночевать, не правда ли?

— Вот одеяла, мне велено постелить им в маленькой комнате в конце коридора, — ответила Клодина.

— Так пойди же за ними, Жан-Рене!.. А ты, дочка, пододвинь два стула к огню, пусть согреются, прежде чем сесть за стол, потому что холод этой ночью жестокий.

Снова послышался яростный лай собак и голос Жана-Рене который пытался их успокоить. Дверь в кухню внезапно распахнулась, Грамотей вместе с Хромулей вошли так поспешно, словно спасались от погони.

— Придержите ваших собак! — злобно закричал Грамотей. — Они чуть нас не искусали.

— Они оторвали у меня кусок блузы, — добавил Хромуля, все еще бледный от страха.

— Простите, добрый человек, — сказал Жан-Рене, закрывая дверь. — Но я никогда не видел наших собак в такой ярости... Наверное, это холод их так обозлил, вот они и готовы покусать кого угодно, чтобы согреться... Глупые животные!

— Эй, и этот туда же! — воскликнул крестьянин, удерживая старого Лисандра, который с грозным рычанием пытался броситься на чужаков. Он услышал, как другие собаки заходятся от злости, и последовал их примеру. — А ну, ложись на место, старый разбойник, ложись, говорят тебе!

Дядюшка Шатлэн сопроводил свои слова добрым пинком, и Лисандр, все еще ворча, вернулся в свой любимый уголок возле очага.

Грамотей и Хромуля стояли у дверей, не решаясь сделать и шага.

Закутанный в синий плащ с меховым воротником, в шапке, глубоко надвинутой на черную повязку, почти закрывавшую ему лоб, бандит крепко держал за руку Хромулю, который жался к нему, с опаской глядя на крестьян: их честные лица сбивали его с толку и внушали страх.

У дурных натур тоже есть свои симпатии и антипатии.

Черты Грамотея, были, столь безобразны, что обитатели фермы на миг оцепенели, одни от ужаса, другие от отвращения. Это не ускользнуло от Хромули, и страх крестьян вернул ему уверенность, он был даже горд, что его спутник вызывает у них ужас. Но дядюшка Шатлэн, справившись с первым впечатлением, вспомнил о долге гостеприимства и обратился к Грамотею:

— Подойди к огню, добрый человек, и сначала согрейся. Потом вы оба поужинаете с нами, потому что мы как раз садились за стол. Устраивайтесь вон там! Ох, простите, я не подумал! — спохватился дядюшка Шатлэн. — Мне бы надо было обратиться не к вам, а к вашему сыну, потому что вы, к несчастью, незрячий. Послушай, сынок, подведи твоего отца к очагу.

— Хорошо, мой добрый господин, — ответил Хромуля гнусавым голосом, полным лицемерного смирения. — Да воздаст вам господь за вашу доброту и милосердие!.. Иди за мной, бедный папочка, иди сюда, осторожнее...

И мальчишка повел за собой слепого бандита. Оба приблизились к камину.

Сначала Лисандр встретил их глухим ворчани-

ем, но, учуяв вблизи запах Грамотея, он внезапно взвыл душераздирающе и страшно: по общему поверью, так воют собаки, когда чуют смерть.

«Дьявольщина, — проворчал про себя Грамотей. — Неужели они унюхали кровь, эти проклятые псы? Ведь на мне те же самые штаны, что и в ту ночь убийства торговца быками...»

— Ничего не могу понять, — тихо проговорил Жан-Ре не. — Лисандр обнюхал этого человека и воет, как по покойнику. —

И тут произошло нечто странное.

Завывания Лисандра были такими жуткими и пронзительными, что его услышали другие собаки, — кухню отделяло от двора только застекленное окно без второй рамы, — и по обычаю собачьего племени хором присоединились к его жалобному вою.

Работники молочной фермы не были слишком суеверны, однако сейчас они переглядывались почти с ужасом.

В самом деле, происходило что-то необычное.

На ферму пришел человек, на которого невозможно было, смотреть без страха и отвращения. И тотчас до сих пор мирные, добрые псы словно взбесились и теперь зловеще воют, предвещая, по народным поверьям, чью-то близкую смерть.

Даже сам бандит, несмотря на всю свою закоренелость и дьявольское бесстрашие, содрогнулся, услышав этот страшный, погребальный вой, вызванный его появлением... появлением убийцы...

Один Хромуля, циничный и наглый, истинный парижский сорванец, впитавший яд безверия, так сказать, с молоком матери, остался насмешливо-равнодушен. Когда страх, что собаки его покусают, прошел, этот колченогий недоносок совершенно успокоился и теперь с издевкой смотрел на перепуганных обитателей фермы и на потрясенного Грамотея.

Наконец, очнувшись от оцепенения, Жан-Рене выбежал на двор, и вскоре послышалось щелканье его кнута, быстро рассеявшего мрачные предчувствия Султана, Турка и Медора. Постепенно омраченные лица крестьян прояснились, и вскоре ужасное безобразие бандита перестало внушать им страх, а вызывало скорее жалость. Точно так же они с сочувствием смотрели на хромого мальчишку, обиженного судьбой; им нравилась его хитрая мордочка, и они искренне хвалили его за трогательную заботу о слепом отце...

Аппетит крестьян пробудился с новой силой, и в течение нескольких минут за столом слыша-

лось только звяканье вилок и ложек.

Храбро расправляясь со своими деревенскими яствами, работники и коровницы с нежностью поглядывали, как маленький уродец ухаживает за слепым, сидя с ним рядом. Хромуля подавал ему лакомые кусочки, нарезал хлеб, подливал сидра — и все это с поистине сыновьей любовью и вниманием.

Но это была лишь одна сторона медали. А на обороте...

Не столько из жестокости, сколько из духа подражания, свойственного его возрасту, Хромуля находил злобную радость в том, чтобы терзать Грамотея по примеру Сычихи, которую он по-своему преданно любил и старался во всем на нее походить. Но откуда у этого извращенного мальчишки такая потребность в любви? Почему его делали счастливым скупые нежности одноглазой Сычихи! Почему, наконец, его до сих пор волновали воспоминания о материнских ласках? Это было одно из тех неизгладимых воспоминаний, которые доказывают, что порок никогда не бывает монолитен, что и в нем есть трещины.

Мы уже сказали, что Хромуля, так же как Сычиха, находил особое наслаждение в том, Что он, заморыш, мог истязать могучего тигра. Сидя

рядом с работниками фермы, Хромуля придумал изысканную пытку, заставлявшую Грамотея страдать и выносить его издевательства, не подавая вида.

Каждую заботу, каждое проявление деланного внимания к мнимому отцу он сопровождал пинком ноги под столом и старался при этом угодить по старой незаживающей язве на правой ноге Грамотея, в то место, где ее растерло до кости кандальное кольцо за время каторги. Бандиту понадобились все его мужество и терпение, чтобы скрывать свои страдания при каждом нападении Хромули, тем более что маленький злодей выбирал для своих ударов самые неподходящие моменты, когда Грамотей пил или когда он говорил.

И тем не менее старый убийца не выдавал себя: он великолепно скрывал гнев и страдания, прекрасно понимая, — а колченогий именно на это и рассчитывал, — какая опасность грозит всем его замыслам, если крестьяне догадаются, что творится под столом.

— Держи, бедный папочка, вот тебе орех, я его очистил, — сказал Хромуля, подкладывая на тарелку Грамотею орех, освобожденный от скорлупы.

— Молодец, сынок, — одобрил дядюшка Шатлэн, а затем обратился к слепому бандиту: — Конечно, участь твоя незавидная, добрый человек, но у тебя такой хороший сын, и это должно тебя немного утешить!

— Да, несчастье мое велико, и, если бы не заботы такого нежного сына, я бы...

Тут бандит не удержался и громко вскрикнул. Сын Краснорукого ухитрился наконец попасть точно по язве, и боль была невыносимой.

— Господи, что с тобой, бедный папочка? — воскликнул Хромуля плаксивым голосом. Он встал и бросился на шею Грамотею.

В первом порыве гнева и ярости бандит хотел задушить колченогого недоноска своими могучими руками и так сильно прижал его к груди, что мальчишка почти задохнулся и жалобно пискнул.

Но тут же, сообразив, что не сможет обойтись без Хромули, слепой бандит сдержался и оттолкнул его на стул.

Во всем этом поведении крестьяне увидели только выражение отцовской и сыновьей любви: бледность Хромули и его прерывистое дыхание показались им признаками беспокойства доброго сына за своего отца.

— Но что с тобой, достойный человек? — спросил дядюшка Шатлэн. — Ты своим криком так напугал сыночка, что он весь побелел... Смотрите, он и сейчас еле дышит!

— Ничего, это пустяки, — ответил Грамотей, вновь обретя обычное хладнокровие. — Я слесарь-механик. Не так давно мы ковали полосу раскаленного железа, и она упала мне на ноги: ожог был таким глубоким, что раны не зажили до сих пор. Я сейчас задел о ножку стола и не сдержал крик от боли.

— Бедный папочка! — посочувствовал Хромуля, оправившись от испуга и бросая на Грамотея змеиный взгляд. — Бедный папочка! И это в самом деле так, добрые люди, язву у него на ноге никто не может исцелить, увы, никто! О, я хотел бы, чтобы она досталась мне, лишь бы он не мучился, бедный папочка...

Женщины смотрели на Хромулю с умилением.

— Очень жаль, добрый человек, — продолжал дядюшка Шатлэн, — очень жаль что вы пришли к нам на ферму только сегодня, а не три недели назад.

— Почему это?

— Потому что у нас был врач из Парижа, у которого есть волшебное средство от всех болезней

ног. Одна добрая старушка из деревни совсем не ходила уже три года, так этот врач положил свою мазь ей на раны... А теперь она бегает, как охотник-баск, и обещает при первой возможности пешком отправиться в Париж и поблагодарить своего спасителя. Сами понимаете, отсюда до аллеи Вдов, где он живет, путь неблизкий. Но что с тобой? Опять эта проклятая рана?

Упоминание об аллее Вдов вызвало у бандита такие страшные воспоминания, что он невольно содрогнулся и уродливые черты его лица исказились.

— Да, — ответил он, приходя в себя, — опять приступ боли...

— Добрый папочка, не беспокойся, я тебе осторожненько попарю ногу на ночь, — пообещал Хромуля.

— Бедняжка! — умилилась Клодина. — Как он любит отца!

— Право, очень жаль, — продолжал дядюшка Шатлэн, обращаясь к Грамотею, — что этого достойного врача здесь нет. Но я думаю, он столь же милосерден, как учен, и, когда ты будешь снова в Париже, попроси своего сына, чтобы он отвел тебя к нему. Он тебя вылечит, я уверен. Адрес его легко запомнить: аллея Вдов, дом семнадцать. Ес-

ли даже забудешь номер, не беда, в том квартале не так уж много врачей, особенно чернокожих... Потому что, представь себе, этот превосходный доктор Давид — негр!

Лицо Грамотея было настолько обезображено шрамами, что вряд ли кто-либо заметил его бледность.

И тем не менее он побледнел, смертельно побледнел, услышав сначала номер дома Родольфа, а затем — имя Давида, чернокожего доктора.

Того самого негра, который по приказу Родольфа подверг его ужасному наказанию, мучительные последствия которого он испытывал каждый миг.

Поистине для Грамотея это был черный день.

Утром его унижали и мучили Сычиха и сын Краснорукого; на ферме собаки, почуяв убийцу, чуть не разорвали его и выли, как по покойнику; и, наконец, случай привел его в дом, где недавно побывал его палач.

Все эти отдельные происшествия раньше вызвали бы у слепого бандита попеременно ярость или страх, но, вместе взятые, они нанесли ему жестокий удар.

Первый раз в жизни его охватил суеверный ужас... Он спрашивал себя: нет ли в сочетании

этих страшных событий грозного предостережения судьбы?

Дядюшка Шатлэн, не заметив бледности Грамотея, продолжал:

— К тому же перед вашим уходом мы дадим твоему сыну адрес доктора, и этого будет достаточно: господин Давид обязательно поможет любому, кто к нему обратится. Он так добр, так добр! Жаль только, что он всегда такой грустный... Ну ладно, выпьем за здоровье твоего будущего спасителя.

— Спасибо, я не хочу больше пить, — мрачно ответил Грамотей.

— Выпей, папочка, выпей, дорогой, это полезно... для твоего желудка! — пристал Хромуля, вкладывая в руку слепого бандита стакан.

— Нет, нет, я не стану пить, — сказал Грамотей.

— Но тебе налили не сидра, а доброго вина, — сказал старый крестьянин. — В городе не всякий богач пивал такое. Черт побери, да вся наша ферма не такая, как все! Ну, что скажешь, к примеру, о нашем простом ужине?

— Все было хорошо, очень хорошо, — машинально ответил Грамотей, все более погружаясь в свои нерадостные мысли.

— Так у нас каждый день: хорошая работа, хорошая еда, чистая совесть и чистая постель: вот

в двух словах наша жизнь. Нас здесь семеро, и скажу не хвалясь: мы работаем за четырнадцать. Но нам и платят за четырнадцать! Простым землепашцам — сто пятьдесят экю в год; скотницам и служанкам на ферме — по шестьдесят экю! Да еще мы делим между собой одну пятую всего, что дает ферма. Черт возьми, ты понимаешь, что мы не оставляем ни одного клочка невозделанной земли? Потому что, чем больше дарит наша бедная старая земля-кормилица, тем больше мы получаем.

— Должно быть, ваш хозяин не очень-то богатеет, если он вам так платит, — сказал Грамотей.

— Наш хозяин?.. Он совсем не похож на других. У него свой способ наживать добро, и только он его знает.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил слепой бандит, готовый говорить о чем угодно, лишь бы уйти от осаждавших его мрачных мыслей. — У вас, наверное, какой-то удивительный хозяин!

— Да, удивительный и необычайный во всем, старина. Но послушай, ты ведь зашел к нам случайно, наша деревушка стоит далеко от всех больших дорог. И наверное, ты сюда никогда не вернешься. Поэтому тебе стоит послушать, кто такой наш хозяин и что он делает на этой ферме.

Я расскажу тебе покороче, при условии, что ты потом будешь повторять это всем. Сам увидишь, говорить об этом так же приятно, как слушать.

— Я слушаю, — согласился Грамотей.

Глава VI.
ОБРАЗЦОВАЯ ФЕРМА

И ты не пожалеешь, выслушав меня, — сказал Грамотею дядюшка Шатлэн. — Представь, что однажды наш хозяин сказал себе: «Я очень богат, и это хорошо. Но все равно я не могу съесть два обеда. А что, если я накормлю тех, у кого ничего нет на обед, и накормлю досыта добрых людей, у которых еды не хватает? Ей-богу, это мне нравится. Так скорее за дело!» И наш хозяин принялся за дело. Он купил эту ферму, которая тогда немного стоила: на ней было всего две упряжки для пахоты и два плуга: я это точно знаю, потому что родился здесь. Наш хозяин прикупил земли, и ты сейчас узнаешь, для чего. Управительницей фермы он поставил достойную женщину, столь же уважаемую, сколь несчастную, — он всегда вот так выбирал людей, — и он сказал ей: «Этот дом будет, как дом божий, открытый для добрых и закрытый для негодяев. Мы прогоним ленивых нищих, но будем всегда подавать трудовой хлеб тем, кто сохранил мужество. Эта милостыня труда не унизит тех, кто ее принимает, и принесет

пользу тем, кто ее подает. Богач, который этого не делает, — скверный богач». Так сказал наш хозяин, но, ей-богу, он сделал лучше, чем сказал. Прежде отсюда до Экуана была прямая дорога, которая сокращала путь на доброе лье[85]. Но какая эта была дорога, о господи! Она была так разбита, что по ней нельзя было ни пройти, ни проехать, это была погибель для лошадей и повозок. Немного собственного труда и немного денег от каждого окрестного фермера могли бы привести дорогу в порядок, но если одни мечтали об этом, другие упрямились и не хотели вкладывать ни свой труд, ни свои денежки. Наш хозяин увидел это и сказал: «Дорога будет исправлена, однако, поскольку те, кто должен в этом участвовать, не хотят в этом участвовать и поскольку это слишком дорогая дорога, которой потом будут пользоваться прежде всего те, у кого есть лошади и экипажи, надо сделать так, чтобы она сначала принесла пользу тем, у кого есть только руки и доброе сердце, но нет работы. Например, поступит к нам на ферму здоровый парень и скажет: «Я голоден, и у меня нет работы». — «Дорогой мой, отвечу я, вот тебе добрая похлебка, вот кирка и лопата. Тебя сейчас

[85] Notes: 85

Лье, или французская миля, равнялась 2282 туазам, или 4444 метрам (Примеч. перев.)

отведут на дорогу в Экуан. Выровняешь за день два туаза дороги — и получишь к вечеру сорок су, выровняешь один туаз — получишь двадцать су, выровняешь полтуаза — получишь десять су, а ничего не сделаешь, не получишь ничего». К вечеру, возвращаясь с полей, я осмотрю дорогу и увижу, кто сколько сделал.

— И подумать только, нашлись два негодяя, которые слопали похлебку и просто украли кирки и лопаты, — с возмущением воскликнул Жан-Рене. — Вот и поди после этого делай добро!

— Да, это правда, — подтвердили остальные крестьяне.

— Полно, дети мои! — возразил дядюшка Шатлэн. — Подумайте сами, неужели мы не будем ни сажать, ни сеять только потому, что на свете есть гусеницы, долгоносики и прочие вредные насекомые, которые объедают листья и грызут зерно? Нет, нет, эту нечисть надо просто давить, а бог милостив, и по его доброте распустятся новые почки и вырастут новые колосья, все снова расцветет, и никто даже не вспомнит о зловредных жучках и червячках. Не правда ли, добрый человек? — обратился он к Грамотею.

— Да, разумеется, — поспешно ответил бандит; уже несколько минут он был глубоко погружен в

какие-то свои мысли.

— Нашлась работа и для женщин и для детей, — продолжал дядюшка Шатлэн. — Каждому по его силам.

— И все равно дела на ферме и на дороге идут медленно, — заметила Клодина.

— Ну что ж, зато в округе у добрых людей, к счастью, пока хватает работы.

— А для меня, несчастного слепца, найдется у вас на ферме угол и кусок хлеба, чтобы мне дожить остатки моих дней? — внезапно спросил Грамотей. — Поверьте, мне осталось немного. Окажете вы мне такую милость? О, если бы это сбылось, добрые люди, я бы до конца жизни молился за вашего хозяина!

Бандит говорил в этот момент вполне искренне. Он вовсе не раскаивался в своих прошлых преступлениях, но мирная и счастливая жизнь крестьян привлекала его тем более, что он страшился жестокой участи, которую готовила ему Сычиха. Он страшился этого страшного невообразимого будущего и горько сожалел, что в свое время позвал свою бывшую сообщницу и навсегда потерял возможность жить среди честных людей, у которых его поселил Поножовщик.

Дядюшка Шатлэн с удивлением взглянул на

Грамотея.

— Но послушай, бедняга, — сказал он, — я думал, у тебя есть какие-то деньги, друзья...

— Увы, бог свидетель!.. Я ослеп из-за несчастного случая на работе. Теперь иду в Лувр, надеясь на помощь дальнего родственника, но вы понимаете, люди бывают порой такими жестокими, такими эгоистами, — ответил Грамотей.

— О, не одни же себялюбцы живут на свете! — возразил дядюшка Шатлэн. — Хороший и честный работник, как ты, и к тому же такой несчастный, да еще с таким добрым, милым сыночком, могут растрогать даже каменное сердце. Однако почему хозяин, у которого ты работал до этого несчастного случая, ничего не сделал для тебя?

— Он умер, — чуть поколебавшись, ответил Грамотей. — Он был моим единственным благодетелем.

— А приют для слепых?

— Я еще не так стар, чтобы меня туда взяли.

— Бедняга! Поистине участь твоя печальна!

— Значит, вы думаете, если родичи в Лувре меня не примут, я могу надеяться, что ваш хозяин, перед которым я преклоняюсь, еще не зная его, может сжалиться надо мной?

— Видишь ли, к несчастью для тебя, наша ферма не дом призрения. Обычно мы позволяем калекам провести здесь ночь или день, а потом даем что-нибудь на дорогу — и да поможет им бог!

— Значит, мне нечего надеяться, что моя горькая участь смягчит вашего хозяина? — спросил слепой бандит со вздохом разочарования.

— Я сказал, что это у нас правило, однако наш хозяин может все решить по-другому. Если он согласится оставить тебя на ферме, тебе не придется ютиться в каком-нибудь углу, ты будешь одним из нас... как сегодня! И для сынка твоего найдется работа по его силам; ему будет с кого брать пример, да и добрыми советами его не обойдут. Наш почтенный кюре обучит его чтению вместе с другими деревенскими детьми, и он вырастет, как говорится, в благости и добре. Но для этого, понимаешь, надо завтра утром откровенно поговорить с нашей святой богородицей-заступницей.

— С кем, с кем? — удивился Грамотей.

— Так мы называем нашу хозяйку. Если она сжалится над тобой, считай, что все в порядке. Когда речь идет о милосердии, наш хозяин не отказывает ей ни в чем.

— Тогда я поговорю с ней сам я сам поговорю!

— радостно вскричал Грамотей, надеясь, что уже избавился от страшных когтей Сычихи.

Но Хромуля вовсе не разделял его радужные надежды; его нисколько не прельщала спокойная жизнь, обещанная старым крестьянином: он не собирался расти в благости и добре под опекой почтенного священника. У сына Краснорукого не было ни малейшей склонности к сельской жизни, да и по духу он далеко не походил на пасторального пастушка. Кроме того, верный заветам Сычихи, он не мог допустить, чтобы Грамотей избавился от их подлого деспотизма. Поэтому он решил вернуть к действительности слепого бандита, который уже размечтался о сельских радостях.

— Да, да, — повторял Грамотей. — Я поговорю с вашей богородицей-заступницей, и она сжалится надо мной... И я...

Но тут Хромуля изо всех сил пнул его в ногу и точно угодил в самое больное место.

Грамотей содрогнулся от неизъяснимой муки, не закончил фразу и смог только повторить:

— Да, я надеюсь, добрая госпожа сжалится надо мной...

— Бедный папочка! — вмешался Хромуля. — Ты, однако, забыл мою добрую тетушку, госпожу

Сычиху, которая так тебя любит. Бедная тетя Сычиха!.. Но она тебя так не оставит, ведь ты это знаешь! Скорее уж она приедет сюда за тобой с нашим кузеном Крючком.

— Похоже, у этого слепого пройдохи престранные родичи, — с хитрющим видом прошептал Жан-Рене, подталкивая локтем свою соседку, Клодину.

— Бессердечный олух! Как ты можешь смеяться над этими несчастными! — так же шепотом ответила доярка и в свою очередь так двинула Жана-Рене локтем, что чуть не сломала ему ребра.

— Госпожа Сычиха одна из ваших родственниц? — спросил старый крестьянин Грамотея.

— Да, одна из моих родственниц, — мрачно ответил тот с озабоченным видом.

Он боялся, что, даже если он найдет на ферме нежданное пристанище, одноглазая может явиться сюда и выдать его, чтобы напакостить и отомстить; кроме того, он боялся, что странные имена его предполагаемых родичей, упомянутых Хромулей, Сычихи и Крючка — покажутся подозрительными, но в этом отношении его страхи были напрасными, потому что все ограничилось шуткой Жана-Рене, к тому же весьма плохо принятой его соседкой, Клодиной.

— Эта твоя родственница ждет вас в Лувре? — спросил дядюшка Шатлэн.

— Да, — ответил слепой бандит. — Однако мой сын, наверное, зря рассчитывает на нее.

— Ах, бедный папочка, вовсе не зря! Вот увидишь... Она такая добрая, моя тетушка Сычиха!.. Ты ведь знаешь, это она дала мне снадобье, чтобы парить твою ногу... и точно объяснила, как это делать... Это она мне сказала: «Сделай для своего папочки все, что бы сделала я сама, и бог благословит тебя». О, моя тетушка Сычиха, она тебя любит, она тебя любит так сильно, что...

— Хватит, хватит, — оборвал его Грамотей. — Это в любом случае не помешает мне завтра утром поговорить с доброй хозяйкой... попросить ее, чтобы она замолвила за меня словечко перед достойным владельцем этой фермы. Кстати, — добавил он, чтобы сменить тему и прервать неосторожные излияния Хромули, — кстати, о владельце фермы. Мне обещали рассказать, что такого особенного в устройстве его хозяйства.

— Это я обещал, и я сдержу свое слово, — сказал дядюшка Шатлэн. — Наш хозяин придумал то, что он называет милосердием труда. Он сказал себе: есть выставки и премии за улучшение пород скота и лошадей, за новые плуги и прочие

орудия земледелия... Но, право же, настало время подумать об улучшении людей... Хороший скот — это прекрасно, однако хорошие люди — это еще лучше, хотя и много труднее. Вдоволь овса и травы, чистая вода и свежий воздух, надежный кров и хороший уход — и тогда лошади и скот станут лучше не пожелаешь и принесут тебе радость. Но человека не так просто сделать добродетельным, как быка — упитанным. Пастбище полезно для быка, потому что сочная трава ему нравится и он набирает вес. Так вот, по-моему, чтобы добрые советы приносили пользу человеку, надо, чтобы он к ним прислушивался и следовал им...

— Так же, как бык на добром лугу, дядюшка Шатлэн?

— Точно так же, сынок.

— Дядюшка Шатлэн, — вмешался другой крестьянин. — Говорят, раньше были особые фермы, где молодые воришки, правда за хорошее поведение, обучались земледелию, но там их холили и лелеяли, как маленьких принцев?

— Правда, дети мои, — ответил старик землепашец, — и в этом есть кое-что доброе: похвально и милосердно не отнимать последнюю надежду у заблудших. Но нельзя отнимать надежду и у честных людей. Вот приходит честный, сильный

и трудолюбивый парень на такую ферму бывших воров с желанием хорошо работать и хорошо учиться, а ему говорят: «Послушай, ты когда-нибудь воровал? Когда-нибудь бродяжничал?» — «Нет». — «Тогда тебе здесь не место».

— И все же это правда, дядюшка Шатлэн, — сказал Жан-Рене. — Для жуликов делают больше, чем для честных; улучшают скот, а не людей.

— Для того чтобы исправить это зло, сынок, и подать пример, наш хозяин и завел эту ферму, как я говорил нашему гостю... Я знаю, сказал он себе, что на небесах воздастся всем честным людям... Но помилуйте, небеса — это так далеко и высоко, и многие, — к сожалению, дети мои, — не имеют ни сил, ни прозорливости, чтобы их достичь. Да и к тому же откуда им взять время, чтобы то и дело обращать взор к небесам? Целый день от восхода до заката они склоняются к земле, они ее вскапывают и перекапывают по воле своего хозяина, а ночью спят как убитые на своих лежаках... По воскресеньям они напиваются в кабаке, чтобы забыть вчерашнюю усталость и тяжкий труд, который ждет их завтра. Потому что — самое страшное! — это труд, который не имеет для них никакого смысла. Они работают как каторжные, но разве от этого хлеб их не остается таким же

черным, постель — такой же жесткой, дети — такими же истощенными, а жены?.. У них даже нет, молока, чтобы вскармливать младенцев, потому что они никогда не ели досыта... Нет, нет и нет! Я хорошо знаю, дети мои, что хлеб их черный, но это хлеб, лежак их жесток, но это постель, детишки худенькие, но они живут... Несчастные, наверное, без ропота мирились бы со своей судьбой, если бы знали, что все живут так же, как они. Но они видят белый хлеб, видят мягкие теплые матрасы, видят детей, румяных, как майские розы, и таких откормленных, таких закормленных, что они кидают пирожные собакам... Проклятье! И когда несчастные возвращаются в свои жалкие хижины, к своему черному хлебу, к своим больным, худющим и голодным детишкам, они думают, что охотно принесли бы им хоть кусочек пирожного, которое дети богачей скормили собакам. «Если уж так заведено, чтобы на свете были богатые и бедные, почему не мы родились богатыми? Это несправедливо... Может, пора поменяться судьбой?» Так говорят они, и это, дети мои, неразумно: это не облегчает их участи, тяжкого жесткого ярма, которое гнетет их и порою ранит, его все равно приходится влачить без отдыха и без надежды когда-нибудь отдохнуть, когда-нибудь

познать счастье, которое приносит достаток... И так всю жизнь, о господи, всю жизнь, а это так долго... дольше бесконечного дождливого дня без единого проблеска солнца. И люди принимаются за работу с печалью и отвращением. И наконец большинство батраков говорит себе: «Зачем нам работать больше и лучше? Тяжелым будет колос или легким, нам все равно. Для чего надрываться? Будем лишь честными: зло наказывают, поэтому не станем творить зло; за добро не вознаграждают, поэтому незачем делать добро... Будем как добрые вьючные животные: от нас требуется только терпение, сила и покорность...» Такие мысли пагубны, дети мои; от такого равнодушия недалеко до лености, а от лености еще ближе до порока... К сожалению, таких, незлых и недобрых, кто не делает ни зла, ни добра, — большинство. «Поэтому, — сказал наш хозяин, именно их надо улучшать, точно так же, как улучшают породы лошадей, коров или овец... Сделаем так, чтобы они сами старались быть живее, мудрее, трудолюбивее, опытнее и преданнее своему делу... Докажем им, что, становясь лучше, они станут счастливее и станут получать больше... От этого выиграют все. Чтобы добрые советы пошли им. на пользу, дадим им здесь, на земле, маленький

образчик великого счастья, которое ожидает праведных там, на небесах...»

Порешив так, наш хозяин объявил по округе, что ему нужны шесть пахарей и столько же коровниц, женщин или девушек, но он сам хотел выбрать этих людей среди лучших работников по рекомендациям фермеров, мэров и священников. Им обещали платить, как принцам, как платят нам, кормить лучше, чем едят господа в городах, и отдавать всем работникам одну пятую часть урожая. Эти люди должны были оставаться на ферме два года, а затем уступать место другим работникам на тех же условиях. Через пять лет любой из них мог снова прийти на ферму, если будут свободные места. Вот почему, когда появилась эта ферма, земледельцы и поденщики в округе начали говорить: «Будем стараться, будем честными и трудолюбивыми, чтобы нас заметили, и, может быть, когда-нибудь нас возьмут на ферму Букеваль. Там целых два года мы будем жить как в раю, а когда уйдем, то не с пустыми руками, и, главное, мы будем потом нарасхват, потому что попасть на эту ферму может только превосходный работник».

— Меня уже пригласили на ферму Дюбрей в Арнувиле, — сказал Жан-Рене.

— А меня заранее наняли на ферму Гонесс, — подхватил другой работник.

— Вот видишь, добрый человек, от этого выигрывают все. И окрестные фермеры вдвойне. У нас всего двенадцать мужчин и женщин, но в кантоне появляется в пять раз больше старательных работников, которые стремятся поступить на их место. И даже те, кто не сможет получить это место, все равно останутся хорошими работниками, не так ли? Как говорится, добрый хлеб не станет плохим; потому что, если им не повезет сегодня, у них всегда остается надежда на завтра, и в конечном счете число хороших людей возрастает. Ну вот, скажем к слову, назначают приз лошади или быку за скорость, силу и красоту — и хозяева воспитывают сотню животных, способных бороться за этот приз. Так вот, даже если они его не получают, эти отборные питомцы все равно останутся прекрасными и полезными животными... Слышишь, добрый человек? Я был прав, когда говорил, что наша ферма не обычная ферма, а наш хозяин необычайный человек?

— Да, конечно! — воскликнул Грамотей. — И чем больше я слышу о его доброте и щедрости, тем больше надеюсь, что он сжалится над моей несчастной судьбой. Человек, который творит

добро с таким благородством и такой мудростью, не станет раздумывать; одним благодеянием больше или меньше — разница невелика.

— Наоборот, он над этим очень раздумывает, — возразил дядюшка Шатлэн. — Но это не помешает ему совершить новое доброе дело. Мне кажется, мы еще с тобой встретимся, бедняга, разумеется, здесь, на ферме, и ты не последний раз сидишь за нашим столом!

— Правда? Я могу надеяться?.. О, если бы вы знали, как я признателен и счастлив! — воскликнул Грамотей.

— Не сомневайся, у нас добрый хозяин.

— Но скажите мне хотя бы, как его зовут и как зовут вашу добрую заступницу, чтобы я мог заранее благословить их святые имена! — живо проговорил Грамотей.

— Я понимаю твое нетерпение, — сказал старый крестьянин. — Черт возьми, ты, наверное, думал, что услышишь громкие имена? И напрасно. У них имена простые и чистые, как у святых. Нашу богородицу-заступницу зовут госпожа Жорж... а нашего хозяина — господин Родольф.

— Моя жена!.. И мой палач!.. — пробормотал слепой бандит, словно молнией пораженный этим открытием.

Глава VII.
НОЧЬ

Родольф!!! Госпожа Жорж!!! Грамотей не поверил в случайное совпадение имен. Прежде чем обречь его на страшные муки, Родольф сказал, что сердечно позаботится о госпоже Жорж. И наконец, недавнее посещение этой фермы черным Давидом окончательно доказывало, что Грамотей не ошибался.

Он увидел нечто роковое и предопределенное в этой встрече, которая разбивала в прах все его надежды, основанные на великодушии хозяина фермы.

Первым его побуждением было — бежать!

Родольф внушал ему непреодолимый ужас. А вдруг он сейчас на ферме? Едва придя в себя, слепой бандит ошалело вскочил, схватил Хромулю за руку и вскричал:

— Нам пора! Пойдем! Веди меня отсюда! Крестьяне изумленно переглянулись.

— Вы хотите уйти... сейчас? И не думай даже об этом, бедняга, — сказал дядюшка Шатлэн. — И какая муха тебя укусила? Ты что, рехнулся?

Хромуля тотчас подхватил этот намек и горестно вздохнул. Постучав указательным пальцем по лбу, он жестом объяснил крестьянам, что его мнимый папочка не совсем в своем уме.

Старый крестьянин понимающе закивал головой и сочувственно развел руками.

— Пойдем, пойдем отсюда! — повторял Грамотей, пытаясь увлечь за собой мальчишку.

Но Хромуля вовсе не собирался менять теплый угол на промерзшие ночные поля.

— Господи, бедный папочка! — завопил он плаксивым голосом. — Опять у тебя приступ... Успокойся, тебе нельзя выходить в такую холодную ночь, тебе станет хуже... Уж лучше я ослушаюсь тебя, прости, но только не поведу по дорогам в такой час. — И, обращаясь к крестьянам, продолжал: — Вы ведь поможете мне, добрые господа, не дадите моему папочке уйти?

— Да, да, не волнуйся, малыш, — сказал дядюшка Шатлэн. — Мы не откроем дверь твоему отцу... Так что придется ему ночевать на ферме.

— Вы не заставите меня здесь остаться! — вскричал Грамотей. — И к тому же я не хочу стеснять вашего хозяина... господина Родольфа. Вы ведь сказали мне, что ваша ферма не приют для калек. Поэтому еще раз прошу: отпустите меня!

— Стеснять нашего хозяина? Можешь не беспокоиться. К сожалению, он не живет на ферме и приезжает лишь изредка, когда мы просим... Но даже будь он здесь, ты бы ему не помешал. Этот дом не приют, ты прав, но я уже сказал, что калеки, такие же несчастные, как ты, всегда могут провести здесь день или ночь.

— Значит, вашего хозяина сегодня здесь нет? — спросил Грамотей, немного успокаиваясь.

— Нет. Он должен, по своему обыкновению, приехать дней через пять-шесть. Как видишь, тебе нечего бояться. Наша добрая госпожа вряд ли спустится сегодня, иначе она бы тебя успокоила. Но разве она уже не распорядилась приготовить вам здесь постель? Впрочем, если она не сойдет сегодня, -ты сможешь поговорить с ней завтра перед уходом... Попроси ее как следует, чтобы наш хозяин сжалился над твоей судьбой и оставил тебя на ферме...

— Нет, нет! — в ужасе пробормотал бандит. — Я передумал... Мой сын прав, наша родственница в Лувре пожалеет из примет меня... Я пойду к ней!

— Как тебе угодно, — сочувственно сказал дядюшка Шатлэн, полагая, что имеет дело с человеком, повредившимся уме. — Ты сможешь уйти завтра утром. Но, чтобы пуститься в дорогу

сейчас, да еще с этим мальчуганом, — не может быть и речи! Об этом уж мы позаботимся.

Хотя Родольфа и не оказалось в Букевале, страхи Грамотея далеко не рассеялись. Хотя лицо его было страшно изуродовано, он все же боялся, что жена, — а она могла спуститься в кухню в любой момент, — опознает его. И тогда она его выдаст, и его арестуют, ибо он был убежден, что Родольф так страшно покарал его только для того, чтобы удовлетворить мстительную ненависть г-жи Жорж.

Но слепой бандит не мог уйти с фермы; он всецело зависел от Хромули. Поэтому он смирился, но, чтобы жена не увидела его, сказал старому крестьянину:.

— Раз уж вы говорите, что я не стесню вашего хозяина и вашу хозяйку... благодарю вас за гостеприимство. Но я очень устал и, если позволите, пойду лягу. Завтра я хочу уйти на рассвете.

— О, на рассвете? Как тебе захочется. Мы здесь рано встаем. А чтобы ты снова не заблудился, тебя с сыном выведут на прямую дорогу.

— Если хотите, я могу подвезти этих бедняг до дороги, — предложил Жан-Рене. — Потому что хозяйка велела мне завтра съездить на повозке в Вилье-ле-Бель к нотариусу за мешочками с

серебряной монетой.

— Хорошо, ты выведешь бедного слепца на дорогу, но пойдешь пешком и сразу вернешься, — сказал дядюшка Шатлэн. — Хозяйка передумала. Она решила, и это правильно, что незачем заранее привозить на ферму такую большую сумму: всегда успеется съездить за ней в понедельник или в другой день, а пока пусть серебро полежит у нотариуса, там надежнее.

— Хозяйка лучше знает, что делать, но чего ей бояться, если серебро будет здесь, дядюшка Шатлэн?

— Слава богу, нечего, сынок! Но все равно, по мне, лучше иметь здесь пятьсот мешков зерна, чем десять мешочков с экю, — сказал дядюшка Шатлэн. — Ну хорошо, пойдемте, — обратился он к слепому бандиту и Хромуле. — Иди за мной, сынок, — добавил он, — Я посвечу тебе.

Со свечой в руке он провел за собой нежданных гостей в маленькую комнатку на первом этаже по длинному коридору, в который выходили многочисленные двери.

Крестьянин поставил свечу на стол и сказал Грамотею:

— Вот ваша комната, да пошлет тебе господь спокойную ночь, добрый человек. А ты, сынок, и

так заснешь, в твоем возрасте спят без просыпу!

Задумчивый и мрачный, бандит сел на край постели, к которой его подвел Хромуля.

Колченогий мальчишка сделал красноречивый знак крестьянину, когда тот уже выходил из комнаты, и догнал его в коридоре.

— Чего тебе, сынок? — спросил дядюшка Шатлэн.

— Боже мой! Добрый господин, я так несчастен! Иногда у моего бедного папочки по ночам начинаются приступы, вроде судорог, и я не могу один с ним справиться. Если придется позвать на помощь, меня услышат отсюда?

— Несчастный малыш! — Крестьянин взглянул на него с любопытством. — Успокойся. Видишь эту дверь рядом с лестницей?

— Да, мой добрый господин, вижу.

— Один из наших работников всегда спит там, ключ в дверях: если понадобится, разбуди его и он тебе поможет.

— Ах, мой господин, мы с этим работником, наверно, не справимся с бедным папочкой, такие страшные у него судороги... Вот если бы вы нам помогли, ведь вы такой сильный, такой добрый...

— Послушай, сынок, я сплю вместе с другими

пахарями в большом доме в глубине двора. Но ты не беспокойся, Жан-Рене силач, за рога любого быка повалит. А если еще нужна будет помощь, он разбудит старую кухарку; она спит на втором этаже, рядом с комнатами нашей хозяйки и девушками. Эта добрая женщина при нужде всегда ухаживала за больными, она такая заботливая...

— О, благодарю, благодарю, достойный мой господин, я буду молить за вас бога, вы так милосердны, так жалостливы к моему бедному папочке...

— Полно, сынок!.. И спокойной ночи. Надеюсь, все обойдется, и тебе не придется никого звать, чтобы помочь твоему отцу. Беги, он, наверное, тебя ждет.

— Бегу, бегу! Спокойной ночи, добрый господин.

— Да хранит тебя бог, сынок! И старый крестьянин удалился. Едва он повернулся спиной, колченогий паршивец сделал ему вслед в высшей степени оскорбительный и насмешливый жест, известный всем парижским мальчишкам: похлопал себя левой рукой по затылку, каждый раз выбрасывая вперед правую руку ладонью вверх.

С дьявольской ловкостью этот гаденыш вызнал немало сведений, полезных для зловещих

замыслов Сычихи и Грамотея. Он уже знал, что в этой половине дома, где их устроили, ночью оставались только госпожа Жорж, Лилия-Мария, старая кухарка и один работник фермы.

Возвратившись в отведенную им комнату, Хромуля постарался держаться подальше от Грамотея. Услышав его шаги, Грамотей тихо спросил:

— Где ты пропадал, поганец?

— Ты слишком любопытен, безглазый!

— Ну ты мне заплатишь за все, что заставил вытерпеть и выстрадать за этот вечер, исчадье зла! — воскликнул Грамотей. Он вскочил и заметался по комнате, пытаясь ощупью поймать Хромулю. — Я задушу тебя, подлый змееныш!

— Бедный папочка! Похоже, у тебя хорошее настроение, раз ты вздумал поиграть в кошки-мышки со своим любимым сыночком, — хихикая, ответил Хромуля, с необычайной ловкостью увертываясь от слепого бандита.

В порыве ярости тот все еще надеялся поймать сына Краснорукого, но скоро отказался от этой затеи.

Вынужденный терпеть все его бесстыдные издевательства, пока не подвернется случай отомстить, Грамотей подавил бессильную злобу

и рухнул на кровать, изрыгая страшные проклятия.

— Бедный папочка, у тебя что, зубки разболелись? Ах, какие гадкие слова! Что скажет кюре, если тебя услышит? Он наверняка наложит на тебя покаяние-Грамотей надолго умолк и наконец заговорил глухим,

сдержанным голосом:

— Ладно, смейся надо мной, издевайся над моей немощью, несчастный трус! Таково твое великодушие!

— О, вот это словечко! «Великодушие»! Хватает же у тебя наглости! — воскликнул Хромуля, разражаясь смехом. — Ах, извините! Вы ведь надевали мягкие перчатки, когда раздавали затрещины направо и налево всем, кто ни попадется, пока не окривели на оба глаза.

— Но тебе-то я никогда не делал зла... Почему ты меня так мучаешь?

— Во-первых, потому что ты говорил гадости Сычихе... А потом, когда ты задумал остаться здесь и подружиться с деревенщиной... Наверное, соскучился по ослиному молоку?

— Какой же ты болван! Если бы я мог остаться на этой проклятой ферме, разрази ее гром, я бы... Но ты почти помешал мне своими идиотскими

намеками.

— Остаться здесь? Хорошая шуточка! А кого же тогда будет мучить Сычиха? Может быть, меня? Нет уж, спасибо, это не по мне!

— Подлый недоносок!

— Недоносок? Вот и еще один повод. Как говорит моя тетушка Сычиха, нет ничего забавнее смотреть, как ты задыхаешься от ярости, ты, кто мог бы убить меня одним ударом кулака... Это куда интереснее, чем если б ты был хилым и слабеньким... До чего же ты был смешным этим вечером за столом! Господи боже мой! Какую комедию я разыгрывал для одного себя. Почище фарсов в театре Ла Гетэ! От каждого пинка, которым я награждал тебя под столом, ярость ударяла тебе в голову и твои слепые глаза по краям наливались кровью, оставались только голубые пятна в середине; еще немного, и они бы стали трехцветными, точь-в-точь кокарды городских сержантов... Умереть от смеха!

— Послушай, ты любишь посмеяться, ты веселый паренек, да это и неудивительно в твоем возрасте, — сказал Грамотей добродушным и снисходительным тоном, надеясь разжалобить Хромулю. — Но, вместо того чтобы насмехаться надо мной, лучше бы ты вспомнил, о чем говори-

ла Сычиха, которая так тебя любит. Ты должен все здесь осмотреть, взять отпечатки с замков. Ты слышал? Они говорили о крупной сумме, которую должны привезти в понедельник... Мы вернемся сюда с друзьями й обделаем хорошее дельце. Ба, я свалял дурака, когда хотел остаться здесь... Нам бы эти добряки крестьяне опостылели к концу недели, не правда ли, сынок? — добавил слепой бандит, чтобы польстить Хромуле.

— Да, ты бы меня очень огорчил, — с усмешкой ответил сын Краснорукого.

— Говорю тебе, здесь можно обделать хорошее дельце... Но если бы даже здесь нечего было взять, я все равно вернулся бы сюда вместе с Сычихой... чтобы отомстить, — проговорил бандит, и голос его задрожал от ярости и злобы. — Потому что теперь я знаю: это моя жена натравила на меня проклятого Родольфа, который ослепил меня и отдал на милость всех и всякого... Сычихи, тебя, увечного мальчишки... Так вот, раз уж я не могу отомстить ему, я отомщу моей жене! Пусть, она заплатит за все... даже если мне придется поджечь этот дом и самому погибнуть в горящих развалинах... О, как я хотел бы!..

— Ты, конечно, хотел бы, чтобы твоя женушка попалась тебе в лапы, не так ли, старина? И по-

думать только, ведь она всего в десяти шагах от тебя, разве это не забавно? Если бы я захотел, я довел бы тебя до ее комнаты, потому что только я знаю, где эта комната, я знаю, я знаю, я знаю, — пропел, по своему обыкновению, Хромуля.

— Ты знаешь, где ее комната? — воскликнул Грамотей со свирепой радостью. — Ты знаешь?

— Похоже, ты готов, — сказал Хромуля. — Сейчас ты будешь служить передо мной на задних лапках, как пес, которому показывают кость... Итак, мой верный Азор, служить!

— Кто тебе об этом сказал? — воскликнул бандит, невольно поднимаясь.

— Хорошо, Азор, хорошо... Рядом с комнатой твоей жены спит старая кухарка... один поворот ключа — и в наших руках весь дом, твоя жена и девчонка в сером плаще, которую мы хотели похитить... А теперь подай лапку, Азор, постарайся для своего хозяина... Служить!

— Ты врешь, ты все врешь! Откуда ты это знаешь?

— Пусть я хром, но я вовсе не глуп. Только что я наплел этому старому деревенскому дурню, что по ночам у тебя бывают судороги, и спросил, кто мне сможет помочь, если у тебя начнется приступ... Так вот он мне ответил, что, если вас

схватит, я могу разбудить слугу и кухарку, и объяснил, где они спят: один внизу, другая наверху, рядом с комнатой твоей жены, твоей жены, твоей жены! — повторил Хромуля свою припевку.

После долгого молчания Грамотей спокойно сказал ему с искренней и устрашающей непреклонностью:

— Послушай, я устал от жизни... Всего час назад, признаюсь, у меня затеплилась надежда, но теперь моя участь кажется мне еще ужаснее... Тюрьма, каторга, гильотина — ничто по сравнению с тем, что я претерпел сегодня и должен буду терпеть до смерти... Отведи меня в комнату моей жены... У меня мой нож, я прикончу ее... Пусть меня убьют потом, это мне все равно... Ненависть душит меня! Я буду отомщен, и месть меня утешит... Такие муки, такое унижение, и это мне, перед которым дрожали все! Нет, непереносимо! Если бы ты знал, как я страдаю, ты бы сжалился надо мной... Мне кажется, голова сейчас лопнет, в висках стучит, разум помутился...

— Да не застудил ли ты головку, старина? Бывает, бывает... Может, у тебя насморк? Прочихайся, это помогает! Ха-ха! — расхохотался Хромуля. — Хочешь понюшку?

И, громко похлопывая по тыльной стороне

сжатой в кулаке левой руки, как по крышке табакерки, он пропел:

«Добрый табачок в моей табакерке,
Добрый табачок, но не для тебя!»

— О господи, господи! Они сговорились свести меня с ума! — воскликнул бандит, действительно почти теряя рассудок от всепожирающей пламенной жажды кровавой мести, которую он не мог утолить.

Невероятная сила этого зверя могла сравниться только с его яростью.

Представьте себе голодного, разъяренного, бешеного волка, которого ребенок дразнит весь день сквозь прутья клетки, а за этими прутьями, в одном шаге, кривляется его жертва, которая могла бы разом удовлетворить его голод и утихомирить ярость.

Последняя издевка Хромули взбесила бандита; он потерял голову.

Раз нет под рукою жертвы, он упьется своей кровью... ибо кровь душила его.

Будь у него в руках заряженный пистолет, он бы тут же застрелился. Грамотей сунул руку в карман, вытащил свой длинный нож-наваху, раскрыл его и встал, чтобы нанести удар... Но как

ни были быстры его движения, страх, инстинкт самосохранения, мысль о смерти оказались быстрее.

Убийце не хватило мужества, и его рука с ножом опустилась.

Хромуля внимательно следил за каждым его жестом и, когда увидел безобидный исход трагического фарса, насмешливо воскликнул:

— Дуэль не состоялась, господа! Ощиплем трусов!

Грамотей, боясь совсем потерять рассудок в припадке бессильной ярости, постарался пропустить мимо ушей это последнее оскорбление Хромули, который дерзко насмехался над трусостью бандита, не сумевшего покончить с собой. Грамотею казалось, что сам рок преследовал его в лице этого безжалостного проклятого недоноска. В отчаянии он сделал последнюю попытку, решив сыграть на жадности сына Краснорукого.

— Послушай, — сказал он почти умоляющим голосом. — Доведи меня до дверей моей жены; ты возьмешь себе все что хочешь в ее комнате и убежишь, а я останусь один... Можешь даже закричать, что там убивают, грабят! Меня арестуют или прикончат на месте, но тем лучше... Я умру отомщенный, раз уж я не могу сам покончить с

собой. Отведи меня к ней, отведи! У нее наверняка есть золото, драгоценности... Я говорю: можешь взять все, все себе одному, ты слышишь? Я прошу только одного: отведи меня к ее комнате...

— Да, я прекрасно слышу: ты хочешь, чтобы я довел тебя до дверей ее комнаты, а потом до ее постели... а потом сказал, куда надо ударить, а потом направил твою руку, не так ли? Короче, ты хочешь, чтобы я стал рукояткой твоего ножа? Старый злодей! — с презрением продолжал Хромуля. Гнев и ужас впервые за весь день сделали серьезной его крысиную мордочку, обычно насмешливую и наглую. — Я скорее умру, слышишь ты? Лучше умру, чем поведу тебя к твоей жене!

— Ты отказываешься?

Сын Краснорукого ничего не ответил.

Босиком он неслышно подкрался к слепому бандиту, который сидел на постели, по-прежнему сжимая в руке свой длинный нож; с необычайной ловкостью и быстротой Хромуля выхватил у него это страшное оружие и одним прыжком оказался в другом углу комнаты.

— Мой нож! Мой нож! — закричал бандит, протягивая руки.

— Нет уж, папочка! Завтра утром ты, может быть, захочешь поговорить с хозяйкой и, может

быть, кинешься на нее с ножом, потому что, как ты сказал, жизнь тебе надоела, а самому покончить с собой не хватает пороха...

— Дьявольщина, теперь он защищает мою жену от меня! — вскричал бандит, чувствуя, что разум его мутится. — Значит, этот маленький звереныш — исчадье ада? Где я? Почему он ее защищает?

— Чтобы ты не дергался, папочка, — ответил Хромуля, и лицо его приняло прежнее насмешливо-наглое выражение.

— Ах, так, — пробормотал Грамотей в полной растерянности, — тогда я подожгу дом... Мы сгорим все... все! Лучше эта печь огненная, чем другая... Свеча! Где свеча?..

— Ха-ха-ха! — снова разразился смехом колченогий. — Как жаль, что твою свечу задули для тебя... навсегда. Ты бы тогда увидел, что наша свеча вот уж час, как погасла.

И Хромуля замурлыкал:

«Моя свеча погасла,
Нет у меня огня...»

Грамотей глухо застонал, вытянул руки и во весь свой огромный рост рухнул на пол, лицом вниз, сраженный ударом.

— Знаем мы твои штучки, — сказал Хромуля, глядя на неподвижного бандита. — Опять притворяешься, чтобы я подошел помочь тебе, а потом задашь мне трепку... Лежи, лежи... Когда надоест лизать пол, сам поднимешься.

Боясь, что Грамотей ночью найдет его ощупью, сын Краснорукого решил не спать и остался сидеть на стуле, внимательно наблюдая за бандитом. Он был уверен, что тот расставил ему ловушку, и нисколько не опасался за его жизнь.

Чтобы приятнее провести время, Хромуля выудил из кармана неизвестно откуда взявшийся маленький кошелек красного шелка и принялся медленно пересчитывать золотые монеты; их было семнадцать, и каждая приносила ему алчное наслаждение.

Откуда же у Хромули это неправедное сокровище?

Вспомним, что он застал врасплох госпожу д'Арвиль во время ее несостоявшегося свидания с майором. Родольф передал этот кошелек молодой женщине и велел ей подняться на шестой этаж к Морелям как бы для того, чтобы оказать им помощь. Госпожа д'Арвиль быстро поднималась по лестнице, держа кошелек в руке, а Хромуля спускался ей навстречу от своего хозяина-шарла-

тана. Он сразу заприметил кошелек, сделал вид, что споткнулся, толкнул маркизу и в мгновение ока выхватил у нее кошелек. Госпожа д'Арвиль уже слышала внизу шаги мужа и в отчаянии поспешила на шестой этаж, не смея даже сказать, что дерзкий колченогий мальчишка ее обокрал.

Хромуля сосчитал и пересчитал свои золотые. На ферме все было тихо. Тогда он, чутко прислушиваясь, встал, прокрался босиком в коридор и, загораживая ладонью свечу, снял слепки с замков всех четырех дверей. Если бы его застали здесь, он бы соврал, что шел за помощью для своего папочки.

Когда Хромуля вернулся в комнату, Грамотей по-прежнему лежал на полу. Слегка обеспокоенный, Хромуля послушал немного: бандит дышал спокойно и ровно, наверное, все еще притворялся.

— Знаем твои штучки, старый хитрец, — пробормотал Хромуля.

Но на самом деле только случай спас Грамотея от смертельного кровоизлияния в мозг. Падая, он ударился лицом о пол, и лишь обильное кровотечение из носа предотвратило роковой исход.

Какое-то оцепенение охватило его, наполовину сон, наполовину лихорадочный бред; и тогда он

увидел странный и страшный сон.

Глава VIII.
СОН

Вот что приснилось Грамотею. Он снова увидел Родольфа в доме на аллее Вдов. В комнате, где бандит претерпел свои страшные муки, ничто не изменилось. Родольф сидит за столом, на котором лежат документы Грамотея и маленький лазуритовый образок святого духа, подаренный им Сычихе.

Лицо Родольфа торжественно и печально. Справа от него молча стоит Давид, чернокожий, слева — Поножовщик, и он смотрит на всех троих с ужасом.

Грамотей уже не слеп, но видит все сквозь прозрачную кровавую жижу, заполняющую орбиты его глаз.

Все предметы кажутся ему окрашенными в красный цвет.

Как хищная птица парит неподвижно над своей будущей жертвой, гипнотизируя ее, прежде чем разорвать и сожрать, над ним царит чудовищная сова с уродливым лицом кривой Сычихи... Она безотрывно следит за ним единственным круг-

лым глазом, пылающим зеленоватым пламенем.

Этот пристальный взгляд давит его непомерной тяжестью.

Мало-помалу, как глаза, постепенно привыкая к темноте, начинают различать вначале незаметные предметы, Грамотей все яснее видит огромную лужу крови, отделяющую его от, стола, за которым сидит Родольф.

Этот неумолимый судья, а также Поножовщик и чернокожий врач растут и растут, превращаясь в гигантов, а когда эти призраки достигают головой потолка, потолок начинает подниматься над ними.

Кровавое озеро спокойно и гладко, как красное зеркало. Грамотей видит в нем свое уродливое отражение.

Но вскоре его образ искажается и вовсе пропадает в закипающих волнах.

От волнующейся кровавой поверхности, как от зловонного болота, поднимается туман, багровосизый, как губы мертвеца.

Но, по мере того как туман поднимается и поднимается, фигуры Родольфа, Поножовщика и негра продолжают расти и расти непостижимым образом, все время возвышаясь над зловещим кровавым испарением.

В клубах этого тумана Грамотей видит бледные призраки жертв и ужасные сцены убийств, которые он совершил...

В этом фантастическом кошмаре он видит сначала маленького лысого старичка, в коричневом рединготе, с козырьком зеленого шелка на лбу; в неопрятной, неприбранной комнатенке он при свете лампы считает и выстраивает столбиками золотые монеты.

За окном мертвенно-желтая луна освещает вершины деревьев, колеблемых ветром, и его самого, Грамотея, приникшего к стеклу уродливым лицом.

Он следит за каждым движением старичка пылающими глазами... Затем разбивает стекло, открывает створки окна, бросается на свою жертву и всаживает ей длинный нож между лопатками.

Его прыжок так быстр, удар так мгновенен, что труп старика остается на месте, в кресле...

Убийца хочет вытащить нож из мертвого тела.

И не может.

Он удваивает усилия...

Все напрасно!

Тогда он хочет оставить свой нож в теле убитого.

Ничего не выходит.

Рука убийцы вросла в рукоятку кинжала, как лезвие кинжала в труп убитого.

И тогда убийца слышит в соседней комнате звон шпор и сабель.

Ему нужно скрыться любой ценой, и он готов унести с собой труп ветхого старика, от которого не может оторвать свой кинжал и свою руку.

Но не тут-то было!

Мертвое худенькое тело словно налилось свинцом.

Несмотря на могучие плечи, несмотря на отчаянные усилия, он не может даже приподнять этот безмерный груз.

Шаги за дверью звучат все громче, звон сабель о каменный пол приближается и приближается...

Ключ поворачивается в скважине. Дверь открывается...

И видение исчезает.

И тогда Сычиха взмахивает крыльями и кричит: «Это старый богач с улицы Руля!.. Твое первое дело, убийца, убийца, убийца!»

Наплывает тьма, затем багровое облако над озером крови становится вновь прозрачным, и он видит новую призрачную сцену...

Едва светает, еще клубится темный, густой

туман. На откосе большой дороги лежит человек в грубой одежде торговца скотом. Развороченная земля, вырванные клочья травы говорят о том, что жертва отчаянно сопротивлялась.

У человека пять кровавых ран в груди... Он мертв, но по-прежнему свистом зовет своих собак и кричит: «На помощь! Ко мне!»

Он свистит и зовет сквозь эти зияющие раны, края которых шевелятся, как окровавленные губы. Эти пять призывов, пять стонов, одновременно вылетающих из пяти кровавых ран убитого, невыносимо слышать, так они ужасны!

И в этот миг Сычиха снова взмахивает крыльями и, передразнивая предсмертный хрип жертвы, пять раз насмешливо, пронзительно и дико хохочет как сумасшедшая: «Ха-ха, ха-ха...» И кричит: «Это торговец быками из Пуасси... Убийца, убийца, убийца!»

Подземное эхо сначала громко повторяет зловещие вопли Сычихи, но постепенно они замирают, словно уходя в глубины земли.

При последних звуках возникают две огромные собаки, черные как смоль, с горящими как уголья глазами. Они кружатся вокруг Грамотея с яростным лаем все быстрее, быстрее, быстрее, с немыслимой скоростью, подступая все ближе,

готовы уже вцепиться в него, но их лай звучит, словно издалека доносимый ветром.

Постепенно эти призраки бледнеют и исчезают, как тени в багровом тумане, который по-прежнему вздымается и клубится.

Новая волна испарений встает над кровавым озером. Она похожа на зеленоватое стекло, полупрозрачное, как воды канала.

Сначала видно только дно канала, покрытое толстым слоем ила с бесчисленными личинками и червями, почти незаметными для глаза, но которые постепенно становятся все больше, вырастают как под микроскопом, обретая жуткие формы, чудовищные размеры, далекие от реальности.

Это уже не ил, а сплошная кишащая гуща, невообразимое переплетение червеобразных, которые наползают и отползают, пожирают друг друга и размножаются в таком множестве и в такой тесноте, что лишь медленные и почти незаметные колебания вздымают поверхность этого ила, вернее, плотной массы нечистых животных.

Над ними лениво и неторопливо течет гнилая, густая, мертвая вода, увлекая в своем тяжелом потоке бесчисленные отбросы из сточных труб

большого города, всякую мерзость и трупы животных...

И вдруг Грамотей слышит тяжелый всплеск, чье-то тело упало в канал.

Волна от этого всплеска ударяет ему в лицо.

Сквозь облако воздушных пузырьков, которые поднимаются со дна к поверхности, он видит женщину: она быстро тонет, но все еще отбивается, отбивается...

И видит себя вместе с Сычихой на берегу канала Сен-Мартен: они убегают со всех ног, унося пакет с деньгами, завернутый в черную ткань,

И в то же время он присутствует при всех стадиях агонии злосчастной жертвы, которую они с Сычихой только что бросили в канал.

Но вот, дойдя почти до дна, женщина вдруг начинает всплывать, она поднимается на- поверхность и беспорядочно бьет по воде руками, как человек, не умеющий плавать, когда он пытается спастись.

А затем он слышит громкий крик.

Этот последний вопль отчаяния переходит в глухой, булькающий звук, когда жертва невольно заглатывает воду... и вновь идет ко дну.

Сычиха парит все так же неподвижно и насмешливо повторяет конвульсивный хрип

утопающей, как до этого передразнивала предсмертные стоны торговца скотом.

Сквозь дьявольский зловещий хохот Сычиха изображает, как булькает вода: «Глу-глу-глу! Глу-глу-глу!»

И подземное эхо повторяет ее крики.

Погрузившись под воду второй раз, женщина задыхается и невольно делает глубокий вдох, но вместо воздуха снова глотает воду.

И тут ее голова запрокидывается, лицо вздувается и синеет, шея становится багрово-синей и вспухает, руки судорожно вытягиваются, а ноги в судорогах агонии взбаламучивают донный ил.

И тогда ее окружает черное облако грязи, в котором она вновь поднимается на поверхность.

Едва утопленница испустила последний вздох, как на нее набрасываются тысячи микроскопических паразитов — прожорливые и ужасные личинки и черви придонного ила.

Какое-то мгновение труп остается на поверхности, слегка покачиваясь на волнах, затем медленно погружается в почти горизонтальном положении ногами вниз и так между двумя слоями воды начинает сплывать по течению.

Иногда труп поворачивается вокруг своей оси, оказывается лицом к лицу с Грамотеем; в эти

мгновения призрак пристально смотрит на него выпученными, остекленелыми, мутными глазами... и его фиолетовые губы шевелятся...

Грамотей находится далеко от утопленницы, но она бормочет ему прямо в ухо: «Глу-глу-глу! Глу-глу-глу!» И сопровождает это жуткое бульканье особым звуком, который производит, наполняясь, бутылка, погруженная в воду.

Сычиха машет крыльями и кричит: «Глу-глу-глу! Это женщина из канала Сен-Мартен! Убийца! Убийца! Убийца!»

Подземное эхо вторит ей, но, вместо того чтобы постепенно затихнуть в. глубинах земли, на сей раз оно словно приближается и становится все оглушительнее.

Грамотею кажется, что зловещий хохот Сычихи раскатывается над всей землей, от полюса до полюса.

Призрак утопленницы исчезает.

Кровавое озеро, за которым Грамотей все время видит Родольфа, приобретает цвет темной бронзы, затем снова краснеет и превращается в печь огненную, наполненную расплавленным металлом. И эта огненная жидкость закручивается гигантским смерчем и устремляется ввысь, все выше.

И вот уже небо от края до края пылает, словно печь, раскаленная добела.

Этот бескрайний, необъятный небосвод одновременно ослепляет и жжет глаза Грамотею, но, прикованный к месту, он не может отвести от него взгляда.

И на фоне этого яростного пламени, раздирающего тело и разум Грамотея, перед ним снова и снова медленно проплывают гигантские, черные призраки его жертв.

«Волшебный фонарь угрызений совести... совести... совести!» — кричит Сычиха, хлопает крыльями и дико хохочет.

Несмотря на невыносимую боль, причиняемую этим бесконечным зрелищем, Грамотей не может оторвать глаз от призраков, проплывающих в пламени.

Он чувствует, как приближается нечто ужасное.

Пройдя все стадии невыносимой пытки, он больше не в силах смотреть на пылающее небо; он чувствует, как его зрачки в наполненных кровью глазных орбитах становятся все горячей, закипают, плавятся, как в огнедышащей печи, и наконец обугливаются в глазницах, словно две капли остывающего железа.

Благодаря какому-то страшному чуду он видел и чувствовал, как его зрачки постепенно гасли и превращались в пепел, а теперь он погружался в изначальную тьму своего прежнего мира.

Но вот внезапно, словно по волшебству, страдания его утихают.

Напоенный ароматами ветерок чудесно освежает его все еще горящие орбиты...

В этом ветре перемешаны все нежные запахи весенних цветов и трав, окропленных росой.

Грамотей слышит вокруг себя легкий шорох, словно ветер играет с листьями, и еще какой-то нежный звон, словно рядом журчит и струится живой ручеек, пробираясь среди камней и мхов.

Тысячи птиц поют и щебечут, выводя фантастические трели, а если они умолкают, то лишь для того, чтобы слышнее были ангельские детские голоса неземной чистоты: они поют странные гимны, и слова их непонятны Грамотею, но эти слова такие окрыленные, что взлетают прямо к небесам и Грамотей невольно вздрагивает.

Чувство душевного покоя, расслабленности и бесконечного благодушия постепенно овладевает им.

Волшебство, чарующее сердце и разум, неизъяснимая душевная чистота, не сравнимые ни

с каким физическим наслаждением, опьяняют его.

Грамотей чувствует, как тихонько и плавно парит над землей в эфирной сияющей сфере, поднимаясь все выше и выше на неизмеримую высоту над юдолью людской.

Но после недолгих мгновений невыразимого счастья он вновь погружается в черную бездну своих прежних мыслей.

Он все еще видит чудесный сон, но теперь он всего лишь слепой, беспомощный бандит, который богохульствует и проклинает весь мир в припадках бессильной злобы.

Вдруг слышится голос, торжественный и звонкий.

Это голос Родольфа.

Грамотей содрогается от ужаса: он смутно понимает, что все это ему снится, однако Родольф внушает ему такой непреодолимый страх, что он напрягает все силы, чтобы избавиться от этого нового видения.

Голос звучит, и он его слышит.

В голосе Родольфа нет гнева, он исполнен печали и сострадания.

«Несчастный злодей, — говорит он Грамотею, — час раскаяния для тебя еще не пробил. Один

бог знает, когда он придет. Ты еще не претерпел всех мук за свои преступления. Ты страдал, но ты их не искупил, а потому судьба продолжает вершить высшее правосудие. Твои сообщники стали твоими палачами: старая женщина и ребенок командуют тобой и терзают тебя...

Подвергнув тебя наказанию столь же ужасному, как твои преступления, я сказал, вспомни мои слова: «Ты преступник, возгордившийся своей силой... Я отниму ее у тебя. Самые свирепые и могучие дрожали перед тобой... отныне ты будешь трепетать перед самыми слабыми!»

Ты покинул скромное убежище, где мог бы жить, раскаиваясь и искупая свои грехи...

Ты испугался безмолвия и одиночества.

Недавно тебя соблазнила на миг мирная жизнь крестьян на этой ферме, но поздно, уже слишком поздно!

Почти беззащитный и беспомощный, ты вновь с головой окунулся в мутную среду мерзавцев и убийц, потому что боялся оставаться среди честных людей, у которых тебя поселили.

Ты хотел опьяниться новыми злодеяниями. Ты бросил дерзкий и наглый вызов тому, кто решил помешать тебе творить зло и приносить горе ближним, но твой преступный побег был напра-

сен. Несмотря на всю свою смелость, коварство, изворотливость и силу, ты скован по рукам и ногам. Жажда злодеяний пожирает тебя, но ты не можешь ее удовлетворить. Только что в припадке ужасного и кровавого безумия ты хотел убить свою жену: ведь она совсем рядом, под одной с тобой крышей, она спит, и она беззащитна. А у тебя твой нож, ее спальня в двух шагах, ничто тебе не может помешать, ничто не спасет ее от твоей дикой злобы, ничто... кроме твоего бессилия!

Ты видел сейчас сон и продолжаешь его видеть, который мог бы многому тебя научить, мог бы тебя спасти. Таинственные образы этого сновидения имеют глубокий смысл.

Озеро крови, в котором появлялись твои жертвы, — это пролитая тобою кровь. Огненная лава, сменившая кровь, — это жгучие угрызения совести, которые должны были тебя испепелить, чтобы господь когда-нибудь сжалился над твоими мучениями, призвал тебя к себе и дал вкусить неизъяснимую сладость всепрощения. Но этому не суждено свершиться! Нет, нет! Эти предостережения не пойдут тебе впрок: вместо того чтобы раскаяться, ты будешь каждый день с горечью и проклятиями вспоминать о тех преступных временах, когда ты творил свои злодеяния... Увы,

эта постоянная борьба между твоими кровавыми страстями и невозможностью их удовлетворить, между старой привычкой всех безжалостно подавлять своей силой и теперешней необходимостью подчиняться слабым и жестоким существам, окончится для тебя так страшно, так ужасно!.. О несчастный злодей!»

Голос Родольфа прервался.

На мгновение он умолк, словно волнение и страх мешали ему говорить.

Грамотей почувствовал, как волосы встают дыбом у него на голове.

Какова же была его участь, если над ним сжалился даже сам палач?

«Участь твоя столь ужасающа, — продолжал Родольф, — что даже если бы господь всемогущий в неотвратимом гневе своем захотел выместить на тебе одном все преступления всех злодеев на свете, он не смог бы придумать более страшной кары. Горе, горе тебе! Судьбе угодно, чтобы ты узнал, какое ужасное наказание ожидает тебя, и чтобы ты даже не старался его избежать.

Да откроется тебе будущее!»

Грамотею показалось, что он снова прозрел.

Он открыл глаза и увидел...

Но то, что он увидел, поразило его таким

невыносимым страхом, что он дико закричал и проснулся, содрогаясь от этого ужасного сновидения.

Глава IX
ПИСЬМО

Часы на ферме Букеваль пробили девять, когда г-жа Жорж тихонько вошла в комнату Лилии-Марии.

У девушки был такой легкий сон, что она проснулась почти в то же мгновение. Яркие лучи зимнего солнца проникали сквозь ставни и занавески из легкого полотна, подбитого розовой бумазеей, и наполняли комнату Певуньи розоватым светом, сообщая ее бледному и нежному лицу легкий румянец, которого ей так не хватало.

— Доброе утро, дитя мое, — сказала г-жа Жорж, усаживаясь на край постели и целуя девушку в лоб. — Как ты себя чувствуешь?

— Лучше, сударыня, спасибо.

— Тебя никто не разбудил сегодня рано утром?

— Нет, сударыня.

— Тем лучше. Этот несчастный слепой и его сын, которых вчера оставили здесь ночевать, захотели уйти с фермы еще до рассвета; я боялась, что хлопанье дверей тебя разбудит.

— Бедные люди! Почему они ушли так рано?

— Не знаю. Вчера вечером, когда тебе стало получше, я спустилась на кухню, чтобы взглянуть на них, но они так устали, что попросили разрешения пораньше лечь спать. Дядюшка Шатлэн сказал, что у слепого, похоже, не все в порядке с головой, и еще наших людей поразило, с какой любовью его маленький сын заботится о своем несчастном отце. Но скажи, Мария, тебя не познабливает? Я не хочу, чтобы ты простудилась, так сегодня не выходи из комнат.

— Простите меня, сударыня, но сегодня в пять пополудни я должна быть в доме священника: он будет меня ждать, я обещала.

— И напрасно: я уверена, ты провела беспокойную ночь. У тебя усталые глаза, ты не выспалась.

— Да, это правда... Мне опять снились страшные сны. Я снова увидела ту женщину, которая терзала меня, когда я была еще маленькой: я проснулась как от толчка, дрожа от страха. Мне стыдна, но я никак не могу избавиться от этой моей слабости.

— И меня твоя слабость огорчает, потому что она заставляет тебя страдать, бедняжка! — проговорила г-жа Жорж с нежным участием, видя, что глаза Певуньи наполняются слезами.

Мария бросилась на шею своей приемной матери и спрятала лицо у нее на груди.

— Господи, что с тобой, Мария? Ты меня пугаешь.

— Вы так добры ко мне, и теперь я стыжусь, что не доверила вам того, что доверила господину кюре. Завтра он вам сам все расскажет, а мне будет очень трудно еще раз повторять исповедь.

— Полно, полно, девочка, успокойся. Я уверена, что в твоей тайне, которую ты доверила нашему доброму кюре, больше достойного похвалы, чем осуждения. Не плачь так, милая, не огорчай меня!

— Простите, сударыня, я сама не знаю почему, но последние два дня у меня порою сердце разрывается... И слезы сами текут из глаз... У меня дурные предчувствия... Мне кажется, со мной случится какая-то беда.

— Мария, Мария! Я отругаю тебя, если ты будешь поддаваться воображаемым страхам. Неужели нам мало настоящих огорчений, которых и так хватает в жизни.

— Вы правы, сударыня. Я виновата и постараюсь преодолеть эту слабость... Если бы вы знали, как я упрекаю себя за то, что не могу всегда улыбаться, не могу быть веселой и счастливой, как

любая другая на моем месте. Увы, моя печаль должна вам казаться признаком неблагодарности.

Госпожа Жорж принялась разубеждать Певунью, но в этот момент в дверь постучали и вошла Клодина.

— Что тебе, Клодина?

— Сударыня, Пьер приехал из Арнувиля в кабриолете госпожи Дюбрей; он привез для вас письмо, говорит, очень срочное.

Госпожа Жорж взяла письмо и прочитала вслух:

— «Дорогая госпожа Жорж, вы окажете мне огромную услугу и выведете из большого затруднения, если немедля приедете к нам на ферму; Пьер привезет вас и отвезет обратно сегодня же после обеда. Я поистине не знаю, что мне делать. Господин Дюбрей сейчас в Понтуазе, продает овечью шерсть, так что я могу обратиться только к вам и к Марии. Клара целует свою добрую сестричку и ждет ее с нетерпением. Постарайтесь приехать в одиннадцать часов к завтраку.

Ваша искренняя подруга госпожа Дюбрей».

— Что там могло случиться? — обратилась г-жа Жорж к Лилии-Марии. — К счастью, по тону письма госпожи Дюбрей можно судить, что ничего

серьезного.

— Я поеду с вами? — спросила Певунья.

— Нет, это было бы неосторожно, сейчас слишком холодно. А впрочем, это тебя развлечет, — передумала г-жа Жорж. — Мы тебя укутаем хорошенько, и маленькая прогулка пойдет тебе только на пользу.

— Но простите, сударыня, — сказала Певунья, чуть подумав. — Ведь кюре ждет меня вечером в пять часов у себя.

— Да, ты права. Но мы вернемся раньше пяти часов вечера, обещаю тебе.

— О, благодарю вас! Я буду так рада повидать мадемуазель Клару!

— Ты опять! — сказала с упреком г-жа Жорж. — Мадемуазель Клара! Разве она называет тебя мадемуазель Марией, когда говорит о тебе?

— Нет, сударыня, — ответила Певунья, опуская глаза. — Это все потому, что я...

— Ты! Ты просто несчастный ребенок, который все время сам себя мучает. Ты уже забыла о том, что мне сейчас обещала. Одевайся-ка побыстрее да потеплее. Мы еще успеем доехать до Арнувиля к одиннадцати часам.

И, выходя вместе с Клодиной, г-жа Жорж добавила:

— Пусть Пьер подождет немножко, мы будем готовы через несколько минут.

Глава X.
РАЗОБЛАЧЕНИЕ

Полчаса спустя после этого разговора г-жа Жорж и Лилия-Мария уже ехали в одном из тех громоздких кабриолетов, которыми пользуются богатые фермеры в окрестностях Парижа. Вскоре эта повозка, запряженная сильной лошадью, которой управлял Пьер, покатилась по травянистой дороге, соединявшей Букеваль с Арнувилем.

Большие дома и многочисленные службы фермы госпожи Дюбрей свидетельствовали о богатстве этого великолепного имения, которое Сезарина де Нуармон принесла в приданое герцогу де Люсене.

Звучным щелканьем кнута Пьер предупредил г-жу Дюбрей о прибытии г-жи Жорж и Лилии-Марии. Гостьи вышли из кареты и были радостно встречены хозяйкой фермы и ее дочерью.

Госпоже Дюбрей было под пятьдесят; у нее была нежное и добродушное лицо; а черты ее Дочери, хорошенькой брюнетки с голубыми глазами и свежим румянцем на щеках, дышали невинностью и добротой.

Когда Клара бросилась Певунье на шею, та с изумлением заметила, что ее подруга была одета так же просто, как она, по-крестьянски, а не в платье богатой барышни.

— Как, и вы тоже, Клара, переоделись в сельчанку? — с удивлением проговорила г-жа Жорж, целуя юную девушку.

— Разве она не должна во всем подражать своей сестренке Марии? — возразила г-жа Дюбрей. — Она мне покоя не давала, пока не получила такой же суконный казакин и такую же бумазейную юбку, как у Марии... Но все это лишь капризы девчонок, бедная моя госпожа Жорж!.. — со вздохом добавила г-жа Дюбрей. — Пойдемте, я расскажу вам о моих неприятностях.

Войдя в салон вместе со своей матерью и г-жой Жорж, Клара тут же усадила Лилию-Марию на самое лучшее место у камина, окружила ее тысячью забот, взяла ее руки в свои, чтобы удостовериться, что они не озябли, еще раз поцеловала ее, называя своей жестокой маленькой сестрицей и тихонько выговаривая за то, что она так редко приезжает в гости.

Если мы вспомним о беседе несчастной Певуньи со священником, то поймем, почему она принимала эти нежные и невинные ласки со сме-

шанным чувством унижения, боязни и радости.

— Но что у вас случилось, дорогая госпожа Дюбрей? — спросила г-жа Жорж. — И чем я могу вам помочь?

— Господи, случилось сразу столько! Я вам сейчас объясню. Полагаю, вы знаете, что эта ферма в действительности принадлежит госпоже герцогине де Люсене. Мы имеем дело непосредственно с нею, минуя герцогского управляющего.

— В самом деле? Я этого не знала.

— Сейчас вы поймете, почему я вам об этом рассказываю... Значит, так, мы платим аренду за ферму самой госпоже герцогине или госпоже Симон, ее первой камеристке. Госпожа герцогиня хотя и немножко легкомысленна, но так добра, так добра, что иметь с ней дело одно удовольствие. Мы с моим мужем готовы за нее в огонь и в воду. Господи, да ведь это понятно: мы ее знали еще маленькой девочкой, когда она приезжала сюда со своим отцом, покойным принцем де Нуармон... Так вот, последний раз она попросила выплатить ей аренду за полгода вперед... Сорок тысяч франков — это, как говорят, на дороге не валяется. Но у нас была эта сумма про запас, приданое нашей Клары, и на другой же день госпожа герцогиня получила свои деньги в звонких

луидорах. Этим знатным дамам так необходима роскошь! Правда, госпожа герцогиня начала требовать арендную плату до срока лишь год назад. Раньше, похоже, — ей и так всегда хватало денег... Но теперь все переменилось!

— Дорогая госпожа Дюбрей, я пока не возьму в толк, чем я могу быть полезной?

— Подождите, послушайте! Я вам рассказываю все это, чтобы вы поняли: госпожа герцогиня нам полностью доверяет. Не говоря уже о том, что в двенадцать — тринадцать лет она вместе со своим отцом крестила нашу Клару, которую всегда так любила. Так вот, вчера я вдруг получила от госпожи герцогини вот это письмо:

«Дорогая госпожа Дюбрей, необходимо срочно привести в полный порядок маленький садовый павильон, чтобы он был готов к послезавтрашнему вечеру. Прикажите перенести туда всю необходимую мебель, ковры, занавески и прочее. Сделайте так, чтобы всего было вдоволь, а главное, чтобы он был вполне комфортабельным...»

Комфортабельным! Вы слышите, госпожа Жорж? И это слово еще подчеркнуто!

Госпожа Дюбрей посмотрела на подругу с задумчивым и смущенным видом, затем продолжала читать:

— «Прикажите топить в павильоне днем и ночью, чтобы не было сыро, ведь там уже давно никто не жил. Примите человека, который в нем поселится, как приняли бы меня. Письмо, которое он вам вручит, объяснит вам, что от вас требуется. Рассчитываю на ваше неизменное усердие. Надеюсь, что моя просьба и на этот раз вас не стеснит: я знаю вашу доброту и преданность. Прощайте, дорогая госпожа Дюбрей. Поцелуйте за меня мою прелестную крестницу и примите уверения в моих самых добрых чувствах.

Нуармон де Люсене.

P. S. Человек, о котором идет речь, прибудет послезавтра к вечеру. Главное, не забудьте, прошу вас, сделать павильон как можно комфортабельнее».

— Вот видите, это несносное словечко опять подчеркнуто! — сказала г-жа Дюбрей, пряча в карман письмо герцогини де Люсене.

— И это все? — удивилась г-жа Жорж. — Нет ничего проще...

— Нет ничего проще? Разве вы не слышали? Госпожа герцогиня желает, чтобы павильон был как можно комфортабельней, поэтому я и просила вас приехать. Мы вдвоем с Кларой со вчерашнего вечера ломаем себе головы и не можем

взять в толк, что это такое — комфортабельней? А ведь Клара была в пансионе в Вилье-ле-Бель и получила бог знает сколько премий по истории и географии... И все равно она поняла не лучше моего, что означает это странное слово. Наверное, его употребляют при дворе или высшем свете... Вы понимаете теперь, в каком мы затруднении? Госпожа герцогиня желает, чтобы павильон был как можно комфортабельней, она подчеркивает это слово, повторяет его дважды, а мы не знаем, что оно означает!

— Слава богу, я могу вам это объяснить, — с улыбкой сказала г-жа Жорж. — Тут нет никакой тайны. В данном случае комфортабельный означает удобный, хорошо обставленный, теплый, без сквозняков, короче, жилье, где есть все необходимое и даже с излишком.

— О господи! Теперь я понимаю, но от этого еще не легче...

— Почему же это?

— Госпожа герцогиня говорит о коврах, всякой мебели и еще о многом прочем, но у нас здесь нет ковров, и мебель у нас самая что ни на есть простая. И наконец, я не знаю, кто этот человек, которого мы должны принять, — мужчина или женщина, а все надо подготовить в завтрашнему

вечеру... Что делать? Как быть? Здесь нет никаких запасов. Ей-богу, госпожа Жорж, можно голову потерять!

— Но послушай, мама, если ты возьмешь на время мебель из моей комнаты, я просто проведу три-четыре дня в Букевале у Марии...

— Из твоей комнаты? Дитя мое, но достаточно ли она хороша, твоя мебель, — проговорила г-жа Дюбрей, пожимая плечами. — Достаточно ли она комфортабельна, как говорит госпожа герцогиня. Господи боже мой, и где только придумывают подобные словечки?

— Значит, в этом павильоне обычно никто не живет? — спросила г-жа Жорж.

— Никто. Это маленький белый домик, он стоит отдельно в самом дальнем конце сада. Господин принц построил его для госпожи герцогини, когда она еще была девицей; когда она приезжала на ферму вместе с отцом, она там отдыхала. В доме три хорошенькие комнаты, а в конце сада — швейцарская молочная ферма, где мадемуазель герцогиня забавлялась, разыгрывая из себя работницу. После ее замужества мы видели госпожу герцогиню на ферме всего два раза, и каждый раз она проводила в маленьком павильоне несколько часов. Первый раз, шесть лет

назад, она прискакала на лошади вместе с...

Но тут г-жа Дюбрей умолкла, словно ей помешало присутствие Клары и Лилии-Марии. А потом продолжала:

— Я тут болтаю, болтаю, но как мне со всем этим справиться? Помогите мне, моя дорогая госпожа Жорж, помогите мне!

— Послушайте, расскажите лучше, какая мебель сейчас в павильоне?

— Да ее почти нет. В главной комнате — соломенный матрас на деревянной раме, плетеный тростниковый диванчик-канапе, такие же плетеные кресла, стол, несколько стульев, и все. Как видите, назвать это комфортабельным трудновато.

— Так вот, на вашем месте я бы сделала вот что: я бы послала в Париж сообразительного человека, ведь сейчас только одиннадцать часов!

— Нашего доверенного, самого бойкого слугу!

— Чудесно... Через два часа он будет в Париже. Он отправится к обойщику на улице Антен, не важно какому, и передаст ему список, который я составлю, но прежде мне надо взглянуть, чего не хватает в павильоне. И он ему скажет, чтобы любой ценой...

— Конечно, конечно, лишь бы госпожа герцо-

гиня была довольна, я за ценой не постою.

— Так вот, он ему скажет, что, сколько бы это ни стоило, все обозначенное в списке должно быть здесь сегодня вечером или ночью, вместе с тремя-четырьмя мастерами-обойщиками, чтобы все привести в порядок.

— Они смогут приехать с почтовой каретой, она отправляется из Парижа в восемь часов вечера.

— А поскольку в павильоне надо только расставить мебель, прибить ковры и повесить занавеси, они легко успеют это сделать до завтрашнего вечера.

— О моя дорогая госпожа Жорж, вы меня просто спасаете! Я бы никогда до этого не додумалась... Вам послало мне само провидение... Вы составите мне список, чтобы павильон стал, как его...

— Комфортабельным? Разумеется, составлю.

— Господи, вот еще одно затруднение! Я уже сказала, мы не знаем, кого ждать, господина или даму? В своем письме госпожа герцогиня говорит: человек... Но это так неопределенно!

— Приготовьтесь так, как если бы вы ожидали даму, если же это окажется мужчина, ему будет только приятнее и удобней, дорогая госпожа Дюбрей.

— Вы правы, вы всегда правы...

Появилась служанка фермы и объявила, что завтрак подан.

— Мы сейчас придем, — сказала г-жа Жорж, — но, пока я составлю список всего необходимого, прикажите измерить все три комнаты в павильоне в высоту и по стенам, чтобы можно было заранее раскроить занавеси и подобрать ковры.

— Хорошо, хорошо, я прикажу нашему доверенному.

— Сударыня, — снова вмешалась служанка. — Там еще эта молочница из Стэна, и все ее добро на тележке, запряженной осликом. Ей-богу, не много у нее добра!

— Бедная женщина, — с сочувствием сказала г-жа Дюбрей.

— Кто она, эта бедная женщина? — спросила г-жа Жорж.

— Крестьянка из Стэна. У нее было четыре коровы, и кое-как перебивалась: продавала По утрам молоко в Париже. Муж ее был деревенским кузнецом; однажды ему понадобилось железо и он пошел в Париж со своей женой. Они договорились встретиться на углу той улицы, где она обычно продавала молоко. На свою беду, молочница выбрала дурной квартал; когда муж вернулся, она отбивалась от каких-то пьяных про-

щелыг, которые опрокинули ее бидоны в канаву. Кузнец хотел их урезонить, они набросились на него. Он стал защищаться и в драке получил смертельный удар ножом... Там он и остался.

— Господи, какой ужас! — воскликнула г-жа Жорж. — Надеюсь, убийцу арестовали?

— К сожалению, нет. В суматохе он скрылся, но бедная вдова утверждает, что сможет его опознать, потому что видела много раз вместе с его приятелями, завсегдатаями квартала. Однако до сих пор все поиски оставались тщетными. Короче, после смерти мужа молочнице пришлось расплачиваться с разными долгами. Она продала своих коров и свой клочок земли. Фермер из Стэна порекомендовал мне эту славную женщину как прекрасную работницу, столь же честную, сколь несчастную, потому что у нее трое детей... старшему только двенадцать лет. У меня как раз освободилось место доярки, я ей предложила, вот она и прибыла к нам на ферму.

— Такая ваша доброта меня не удивляет, дорогая госпожа Дюбрей.

— Послушай, Клара! — обратилась хозяйка фермы к своей дочери. — Помоги этой славной женщине устроиться, а я пока переговорю с нашим ловким доверенным о его поездке в Париж.

— Хорошо, мама. Марии можно пойти со мной?

— Ну конечно... Разве вы можете хоть минуту обойтись друг без друга?

И г-жа Дюбрей рассмеялась.

— А я займусь списком, чтобы не терять времени, — сказала г-жа Жорж, присаживаясь к столу. — Потому что нам нужно вернуться в Букеваль к четырем часам.

— К четырем? Вы так торопитесь? — удивилась г-жа Дюбрей.

— Да, потому, Что в пять часов Мария должна быть в доме священника.

— О, если речь идет о нашем добром кюре Лапорте, это дело святое, — сказала г-жа Дюбрей. — Я распоряжусь, чтобы все было в порядке. А пока пусть девочки наговорятся! Им, наверное, столько нужно сказать друг другу... Пусть поболтают:

— Значит, мы уедем в три часа?

— Да, решено. Но как же я вам благодарна, дорогая госпожа Жорж! Какая добрая мысль мне пришла — обратиться к вам за помощью! — проговорила г-жа Дюбрей, Пойдемте, девочки, Клара, Мария, пойдем!

Госпожа Жорж принялась составлять список, а г-жа Дюбрей вышла из комнаты вместе с двумя

девушками и служанкой, известившей ее о прибытии молочницы из Стэна.

— Где эта несчастная женщина? — спросила Клара.

— Она со своими детишками, с повозкой и осликом на дворе у амбаров, мадемуазель.

— Ты сейчас увидишь эту бедную женщину, Мария, — сказала Клара, беря Певунью за руку. — Она такая бледная, такая печальная в своем Вдовьем трауре. В последний раз, когда она приходила к маме, она меня очень расстроила: плакала горячими слезами, вспоминая покойного мужа, и вдруг слезы ее просыхали и она так проклинала его убийцу!.. Мне... мне становилось страшно, сколько в ней было злобы... Но ее можно понять. Бедняжка! Сколько же на свете несчастных людей, не правда ли, Мария?

— Да, да, вы правы, к сожалению, очень много, — рассеянно ответила Певунья, тяжедо вздыхая. — Очень много несчастных людей, мадемуазель...

— Ты оцять за свое! — вскричала Клара, сердито топнув ногой. — Опять ты говоришь мне «вы» и называешь «мадемуазель»! За что ты меня так не любишь, Мария?

— Я? О господи!

— Тогда почему ты говоришь мне «вы»? Я знаю, мадам Жорж и моя мать уже бранили тебя за это. И предупреждаю, если еще раз скажешь мне «мадемуазель», я пожалуюсь и тебе еще влетит! Тем хуже для тебя.

— Клара, прости, я задумалась...

— Задумалась! После целой недели разлуки... — печально сказала Клара. — Задумалась, о чем? Уж и так нехорошо, но дело не в этом. Знаешь, Мария, наверное, ты просто гордячка.

Лилия-Мария побледнела как смерть и ничего не ответила.

Перед ней очутилась маленькая женщина во вдовьем трауре и при виде ее дико закричала от ярости и ужаса.

Это была та самая молочница, которая каждое утро продавала Певунье молоко, когда та жила у Людоедки в кабаке «Белый кролик».

Глава XI.
МОЛОЧНИЦА

Сцена, о которой сейчас будет рассказано, произошла на одном из дворов фермы в присутствии работников и служанок, собравшихся к обеду. Под навесом стояла маленькая, запряженная ослом повозка, где уместилась вся бедная, деревенская утварь вдовы; двенадцатилетний мальчик и два его младших братишки уже начали ее сгружать.

Молочница была женщина в глубоком трауре, около сорока лет, с грубым, мужественным и решительным лицом; глаза ее покраснели от непросыхающих слез. Увидев Лилию-Марию, она сначала дико вскрикнула от ужаса, но тут же боль, негодование и гнев исказили ее черты. Она бросилась к Певунье, грубо схватила ее за руку и закричала, обращаясь к работникам фермы:

— Вот эта злодейка! Она знает убийцу моего несчастного мужа!.. Я сто раз видела, как она говорила с этим разбойником, когда я продавала молоко на углу Старосуконной улицы. Она покупала у меня молоко каждое утро, она должна знать, кто нанес предательский, подлый удар.,

она такая же, из одной шайки с этими бандитами... О, теперь ты от меня не уйдешь, подлая тварь! — кричала молочница, подогревая себя злобными подозрениями.

Ошеломленная, дрожащая Певунья хотела бежать, но молочница схватила ее на другую руку.

Клара была потрясена этим внезапным нападением; сначала она не могла произнести ни слова, но при этом новом наскоке она воскликнула, обращаясь к вдове:

— Вы с ума сошли! Горе помутило ваш разум, вы ошибаетесь...

— Я ошибаюсь? — переспросила вдова с горькой усмешкой. — Я ошибаюсь? О нет, я вовсе не ошибаюсь. Смотрите, как она побледнела, несчастная! У нее уже зуб на зуб не попадает... Судья заставит тебя говорить; ты пойдешь со мной к господину мэру, ты слышишь? И не пробуй даже сопротивляться, у меня рука цепкая, я тебя сама потащу!

— Да как вам не стыдно! — вскричала Клара, теряя терпение. — Убирайтесь отсюда! Как вы смеете оскорблять мою подругу, мою сестренку!

— Вашу сестренку? Да полно, мадемуазель, это вы тут спятили, — грубо ответила вдова. — Ваша сестренка, ха! Уличная девка! Полгода я видела, как она таскается по кварталу Сите.

При этих словах работники начали перешептываться, бросая подозрительные взгляды на Лилию-Марию; они приняли сторону молочницы, которая была для них своей, крестьянской, и явно сочувствовали ее несчастью.

Трое ребятишек, услышав громкий голос матери, подбежали и с ревом повисли на ее юбке, не понимая толком, что происходит. Вид этих несчастных малышей, тоже одетых в траур, еще больше привлек крестьян на сторону вдовы и удвоил их негодование против Певуньи.

Перепуганная их угрожающими возгласами, Клара взволнованно сказала работникам фермы:

— Уведите отсюда эту женщину! Говорю вам: горе помутило ее разум. Прости меня, Мария, прости! Господи, эта сумасшедшая сама не знает, что говорит...

Смертельно бледная, сраженная, Певунья стояла, опустив голову, чтобы ни с кем не встретиться взглядом, и не делала ни малейшей попытки вырваться из грубых рук коренастой молочницы.

Клара подумала, что ее сестренку испугала эта дикая сцена, и снова закричала работникам:

— Разве вы не слышали? Я приказала прогнать эту женщину! А раз она так упорствует и оскорбляет нас, в наказание она не получит места,

которое ей обещала моя мать. В жизни ноги ее не будет на нашей ферме!

Никто из работников даже не двинулся, чтобы выполнить ее приказ. А один осмелился сказать:

— Прошу прощенья, мадемуазель, если это уличная девка и она знает убийцу мужа этой бедной женщины, надо, чтобы она пошла к мэру и все рассказала...

— Повторяю, — твердо сказала Клара, — вы никогда не поступите на нашу ферму, если немедленно не попросите прощения у мадемуазель Марии за свои грубые слова.

— Вы меня прогоняете, мадемуазель? Тем лучше! — с горечью ответила вдова. — Пойдемте, бедные сиротки, — добавила она, обнимая своих детей. — Грузите снова все на тележку, мы заработаем себе на хлеб в другом месте, господь сжалится над нами. Но мы уведем с собой эту несчастную к господину мэру, и она выдаст убийцу моего мужа... потому что она знает всю эту шайку!.. А вы, мадемуазель, — продолжала она, с вызовом глядя на Клару, — если вы так богаты и даже если у вас такие приятельницы, не след быть такой жестокой к бедным людям!

— Правда, — сказал один из крестьян. — Молочница права...

— Бедная женщина!

— Несправедливо это...

— Убили ее мужа, что же ей, радоваться?

— Никто не запретит ей сделать все, чтобы отыскать убийцу!

— И отсылать ее тоже несправедливо.

— Чем она виновата, что подруга мадемуазель Клары оказалась уличной девкой?

— Как можно прогнать честную женщину, мать троих детей, из-за какой-то несчастной дряни?

Голоса раздавались все более громко и угрожающе, когда Клара воскликнула:

— Мама, наконец-то! Слава богу!

И действительно, г-жа Дюбрей появилась на дворе на обратном пути из садового павильона.

— О, Клара! Мария! Вы идете обедать? — спросила хозяйка фермы, приближаясь к группе крестьян. — Пойдемте, девочки, уже поздно.

— Мамочка! — воскликнула Клара. — Оградите мою сестру от оскорблений этой женщины. — Она показала на вдову. — Пожалуйста, отошлите ее! Если бы вы слышали, какие дерзости она осмелилась говорить нашей Марии...

— Как? Она осмелилась?..

— Да, мамочка. Посмотрите на мою бедную сестренку: она вся дрожит и еле держится на

ногах... Какой стыд, что подобная сцена могла разыграться у нас на ферме! Прости нас, Мария, умоляю...

— Но что это все означает? — спросила г-жа Дюбрей, с беспокойством оглядываясь вокруг: особенно ее встревожил удрученный вид Певуньи.

— Хозяйка рассудит по справедливости... по справедливости, — глухо забормотали крестьяне.

— Вот госпожа Дюбрей, — сказала молочница, обращаясь к Лилии-Марии. — И она выставит за порог не меня, а тебя!

— Значит, это правда? — воскликнула г-жа Дюбрей, глядя на молочницу, которая по-прежнему держала Марию за руку. — Значит, вы действительно осмеливаетесь так говорить с подругой моей дочери? И это ваша благодарность за мою доброту? Извольте отпустить эту девушку!

— Я уважаю вас, сударыня, и благодарна вам за ваши милости, — сказала вдова, выпуская руку Лилии-Марии. — Но прежде чем обвинять меня и прогонять вместе с моими детьми, порасспросите эту несчастную. У нее, наверное, не хватит духу отрицать, что я ее знаю и она меня знает.

— Господи, Мария, ты слышишь, что говорит

эта женщина? — спросила потрясенная г-жа Дюбрей.

— Тебя зовут Певунья, да или нет? — спросила молочница.

— Да, — ответила бедняжка, не поднимая глаз, чтобы не встретиться взглядом с г-жой Дюбрей. — Да, так меня звали.

— Ага! Вы видите! — злобно закричали крестьяне. — Она призналась, призналась!

— Призналась, но в чем? В чем она призналась? — в ужасе вскричала г-жа Дюбрей. — В том, что она знала убийцу?

— Эти твари только с такими и знаются, — ответила вдова.

Сбитая с толку этим внезапным открытием, которое подтвердили слова Лилии-Марии, г-жа Дюбрей вдруг все поняла и отшатнулась с ужасом и отвращением. Она резко и грубо отдернула к себе Клару, которая пыталась утешить Певунью, и воскликнула:

— Какой ужас! Клара, не подходи к ней, не прикасайся к этой несчастной!.. Но как госпожа Жорж могла принять ее у себя? Как она осмелилась представить ее мне, чтобы моя дочь… О, господи боже мой, как это ужасно! Я не в силах поверить... Нет, нет, госпожа Жорж не способна на такую

низость! Ее, наверное, обманули, как всех нас... Иначе это было бы просто гнусно с ее стороны!

Огорченная и перепуганная этой жестокой сценой, Клара не верила своим глазам и ушам. В своем невинном неведении она не понимала страшных обвинений, которые сыпались на ее подругу; сердце ее разрывалось и глаза заволакивали слезы при виде оцепеневшей Певуньи, которая стояла молча, понурив голову, как преступница перед судьями.

— Пойдем, пойдем, моя девочка! — позвала г-жа Дюбрей Клару и, обратившись в Лилии-Марии, добавила: — А тебя, недостойную, господь бог накажет за подлое лицемерие. Да как ты осмелилась допустить, чтобы моя дочь, этот ангел, называла тебя своей подругой, сестренкой? Подруга, сестренка! Ты распоследнее отребье, какое только есть на свете! Что за бесстыдство! Втереться к честным людям, когда твое место наверняка в тюрьме, среди тебе подобных...

— Да, да! — закричали крестьяне. — В тюрьму ее! Она знает убийцу!

— Может, она его сообщница?

— Видишь, есть бог на свете! — крикнула вдова, грозя Певунье кулаком.

— А что до вас, добрая женщина, — сказала г-жа

Дюбрей, обращаясь к молочнице, — то никто вас не прогонит с фермы, и, наоборот, вам зачтется за то, что вы разоблачили эту негодяйку.

— Слава богу! Наша хозяйка справедлива... Она все знает, — переговаривались между собой крестьяне.

— Пойдем, Клара, — сказала хозяйка фермы. — Госпожа Жорж объяснит нам свое поведение, иначе я ее больше в жизни не увижу. Ибо если она сама не была обманута, она поступила с нами ужасно.

— Но, мама, посмотри на бедную Марию!

— Пусть умрет от стыда, если может, так будет даже лучше! Она достойна только презрения... Я не хочу, чтобы ты оставалась рядом с ней ни минуты. Это одно из тех существ, с которыми юная, девушка, чистая, как ты, не должна даже говорить, чтобы не запачкаться.

— Боже мой, боже мой, мама! — взмолилась Клара, упираясь. — Я не знаю, что все это значит... Может быть, Мария виновата, раз вы так говорите, но смотрите, она сейчас потеряет сознание, хотя бы сжальтесь над нею.

— Ах, мадемуазель Клара, вы так добры, вы меня прощаете, — сказала Лилия-Мария, бросив на свою защитницу взгляд, исполненный беско-

нечной благодарности. — Если я вас и обманула, то, верьте мне, это случилось не по моей воле. Я так об этом жалею...

— Мама, мама, неужели в тебе нет жалости? — воскликнула Клара душераздирающим голосом.

— Жалости, к ней? Не говори глупостей. Если бы не госпожа Жорж, которая избавит нас от нее, я бы выбросила эту негодницу за ворота фермы как зачумленную, — жестко ответила г-жа Дюбрей.

И она увлекла за собой свою дочь, которая в последний раз обернулась к Певунье и крикнула:

— Мария, сестра моя! Я не знаю, в чем тебя обвиняют, но верю, что ты невиновна, и люблю тебя, как прежде!

— Молчи, молчи, — зашипела г-жа Дюбрей, зажимая рот дочери. — Молчи, прошу тебя! К счастью, все видели, что после этого ужасного разоблачения ты не осталась и на миг с этой падшей девицей. Вы все видели, друзья мои?

— Да, да, сударыня! — подтвердил один из крестьян. — Мы свидетели, что она не осталась с этой девчонкой! А она ведь наверняка воровка, потому что водилась с убийцами.

Госпожа Дюбрей увлекла за собой Клару. Певунья осталась одна среди разъяренных крестьян, окруживших ее плотным кольцом.

Несмотря на упреки, которыми осыпала ее г-жа Дюбрей, присутствие ее и Клары немного успокоило Лилию-Марию: она уже не боялась рокового исхода. Но когда эти две женщины ушли и она осталась одна в толпе крестьян, силы покинули ее, и она была вынуждена опереться о край глубокой каменной бадьи, в которой поили лошадей.

Ничего не могло быть трогательнее беспомощной позы несчастной девушки!

Ничего не могло быть бесчеловечнее угроз и злобы окруживших ее крестьян!

Певунья стояла, прислонившись к каменной бадье, пряча лицо в ладонях; на голове у нее была маленькая круглая шапочка; красный ситцевый платок окутывал ее шею и прикрывал грудь; она была воплощением горя и отрешенности.

В двух шагах от нее молочница-вдова, торжествующая, но все еще озлобленная против Лилии-Марии из-за суровых слов г-жи Дюбрей, с презрением и ненавистью тыкала пальцем в сторону несчастной девушки, показывая ее своим детям и крестьянам.

Работники фермы подходили к Певунье все ближе, не скрывая своих враждебных чувств: на их грубых, простых лицах выражалось одновременно возмущение, гнев и какая-то особая

издевка, оскорбительная и тупая, и больше всех ярились и возмущались женщины, чему немало способствовала трогательная красота Певуньи.

Работники и работницы фермы не могли простить Лилии-Марии, что их хозяева до сих пор принимали ее как равную.

А кроме того, кое-кого из крестьян Арнувиля не взяли на ферму Букеваль — завидное местечко! — из-за отсутствия хороших рекомендаций, и они затаили против г-жи Жорж злобу, которую готовы были выместить сейчас на ее воспитаннице.

Первые порывы простых душ всегда ведут к крайностям.

Они либо прекрасны, либо отвратительны.

Но они становятся необычайно опасными, когда толпа уверена, что ее зверства оправданы действительной или мнимой виной того, кого она преследует, обуянная злобой и жаждой мести.

Хотя большинство работников этой фермы ни в чем не могли упрекнуть Лилию-Марию и ничто не оправдывало их озлобленности, само присутствие здесь Певуньи, казалось, осквернило их деревенскую чистоту: они прямо тряслись от одной мысли, к какому низкому разряду принадлежала эта несчастная, которая наверняка была знакома с убийцами. Чего еще нужно было,

чтобы разжечь глухую злобу крестьян, к тому же подогретую примером г-жи Дюбрей? Кто-то крикнул:

— Отведите ее к мэру!

— Да, отведем! А не захочет идти — потащим!

— И она еще смеет одеваться как честные деревенские девушки! — добавила одна из самых последних дурнушек на ферме.

— Еще бы! — подхватила другая уродка. — А с виду такая святая недотрога, что господь бог простил бы ее без исповеди.

— И она еще смела ходить с нами в церковь!

— Нечестивая!.. А не окрестить ли ее тут же, на месте?

— И еще старалась втереться к нашим хозяевам!

— К счастью, правда всегда выплывет наружу!

— Хватит! Пусть она признается и выдаст убийцу! — крикнула вдова. — Ты из одной с ними шайки. Мне кажется, я тебя даже видела вместе с ними в тот день. Довольно, поздно распускать нюни, — когда тебя уличили. Покажи-ка нам свое личико, оно такое смазливое!

И вдова грубо отдернула руки Певуньи, которыми та закрывала свое залитое слезами лицо.

Певунья сначала сгорала от стыда, но теперь

она начала дрожать от страха перед толпой этих озверевших людей. Она сложила руки на груди и, глядя на молочницу умоляющими, испуганными глазами, проговорила своим тихим, нежным голоском;

— Боже мой, сударыня, я уже два месяца живу уединенно на ферме Букеваль, а потому никак не могла быть свидетельницей постигшего вас несчастья...

Робкий голос Лилии-Марии заглушили злобные выкрики:

— Отведем ее к мэру, пусть там объясняется!

— Пошли вперед, красотка!

И угрожающая толпа вплотную обступила Певунью. Инстинктивно скрестив перед собою руки, та в отчаянии озиралась по сторонам в надежде на помощь.

— Зря ты надеешься! — продолжала молочница. — Нечего смотреть, мадемуазель Клары нет и никто за тебя не заступится, ты от нас не сбежишь.

— Увы, я и не думаю бежать, — ответила Лилия-Мария дрожащим голосом. — Я готова ответить на все вопросы, если это сможет вам помочь... Но что я плохого сделала всем этим людям, которые теснят меня и угрожают?..

— Что ты нам сделала? А то, что сидела за одним столом с нашими хозяевами, когда нас туда не звали, хотя мы в тысячу раз честнее и лучше тебя... Вот что ты нам сделала!

— А зачем ты хотела, чтобы эту бедную вдову с ее детишками прогнали отсюда? — спросил кто-то,

— Это не я, это мадемуазель Клара хотела...

— Перестань нам морочить голову! — оборвал ее тот же крестьянин. — Ты не только не заступилась за нее, ты была рада, что ее хотят лишить куска хлеба.

— Да, да, она не вступилась за вдову!

— Такая бессердечная!

— Бедная вдова, мать троих детей...

— Я не могла за нее заступиться, потому что не в силах была произнести ни слова, — оправдывалась Лилия-Мария.

— А с убийцами тебе хватило сил говорить?

Как бывает всегда в возбужденной толпе, эти крестьяне, скорее неразумные, чем жестокие, сами себя озлобляли и распаляли надуманными обидами, опьяняясь собственным гневом, угрозами и оскорблениями, которые они бросали в лицо беззащитной девушке.

Так разнузданная толпа доходит порой до пре-

дела и, сама того не желая, совершает самые жестокие и несправедливые поступки.

Круг обозленных крестьян смыкался вокруг Лилии-Марии; вдова кузнеца уже не владела собой.

От глубокого водопоя Певунью отделял только каменный парапет, на который она опиралась. Боясь, что ее опрокинут в воду, Певунья воскликнула, умоляюще протягивая руки:

— Боже мой, чего вы хотите от меня? Умоляю, сжальтесь!

Молочница подскочила к ней, размахивая кулаками перед самым ее лицом. Лилия-Мария невольно отшатнулась и воскликнула:

— Прошу вас, не толкните меня! Я могу упасть в воду...

Последние слова Лилии-Марии подали этим грубым людям жестокую мысль. Почему бы не сыграть с этой городской девкой одну из тех деревенских шуточек, от которых порой волосы встают дыбом? И тогда один из самых обозленных закричал:

— Окунем ее! Искупаем!

— Давай! Окунем! В воду ее! — подхватили остальные с хохотом, громко хлопая в ладоши.

— Пусть напьется водицы!.. От этого она не умрет.

— Будет знать, как обманывать честных людей!

— В воду ее, в воду!

— Кстати и лед сегодня уже раскололи»

— Эта уличная девка надолго запомнит добрых работников фермы Арнувиль!

Услышав эти бесчеловечные выкрики, эти варварские насмешки и видя, как на нее надвигаются тупые, разъяренные лица, как тянутся к ней корявые руки, Певунья подумала, что пришла ее смерть.

Мгновенный страх уступил место горькому удовлетворению: будущее рисовалось ей в таких черных красках, что сейчас она возблагодарила бога за скорое избавление от всех ее страданий. Она не произнесла больше ни слова, не стала умолять о пощаде, а только упала на колени, молитвенно скрестила руки на груди, закрыла глаза и стала ждать, шепча про себя молитву.

Крестьяне, пораженные ее отрешенным видом и покорным молчанием, на миг заколебались, но женская половина толпы продолжала науськивать их яростными воплями, чтобы они решились довести до конца жестокую расправу.

Двое самых рьяных и озлобленных уже протягивали к Лилии-Марии свои руки, когда вдруг

раздался громкий и властный голос:

— Остановитесь! Назад!

В то же мгновение г-жа Жорж, проложив себе путь сквозь разъяренную толпу, очутилась рядом с Певуньей, по-прежнему стоявшей на коленях, схватила ее за руку, подняла и воскликнула:

— Встань, дитя мое! Встань, моя дорогая дочь! Преклонять колени следует только перед господом богом.

Слова и поведение г-жи Жорж были исполнены такого мужества и решимости, что толпа отступила и умолкла.

Обычно бледное лицо г-жи Жорж пылало от негодования. Она сурово оглядела крестьян и сказала громким, угрожающим голосом:

— Несчастные! У вас нет ни стыда ни совести! Как смели вы угрожать этой бедной девочке?

— Да ведь она...

— Это моя дочь! — воскликнула г-жа Жорж, перебивая крестьян. — Господин аббат Лапорт, которого все знают и благословляют, любит ее и заботится о ней, а если он уважает ее, значит, она достойна уважения.

Эти простые слова произвели большое впечатление на крестьян.

Кюре из Букеваля считали в округе святым

человеком; к тому же многие крестьяне знали, что он заботится о Певунье. Тем не менее в толпе снова послышался глухой ропот, значение которого г-жа Жорж тотчас поняла и воскликнула:

— Да будь эта бедная девочка самой последней, самой отверженной из всех созданий, все равно ваше поведение отвратительно! За что вы хотите ее покарать? И по какому праву? Кто дал вам такую власть? Право сильного? Вы, мужчины, набросились на беззащитную слабую девушку... Какая трусость! Какой позор! Пойдем, Мария, пойдем, любимое дитя мое, вернемся к себе... Там нас, по крайней мере, знают и ценят.

Г-жа Жорж взяла Лилию-Марию за руку; смущенные и пристыженные за свое грубое поведение крестьяне почтительно расступились.

Одна вдова выступила вперед и сказала решительно г-же Жорж:

— Эта девка не уйдет отсюда, пока не даст показаний мэру об убийце моего несчастного мужа!

— Любезная, — проговорила г-жа Жорж, еле сдерживаясь, — моя дочь не обязана давать здесь никаких показаний. Если позднее правосудие сочтёт нужным выслушать ее свидетельство, ее вызовут, и я пойду вместе с нею... А пока никто не имеет права ее допрашивать.

— Но, сударыня, говорю вам...

Г-жа Жорж сурово оборвала молочницу:

— Даже горе не может извинить вашего недостойного поведения! Когда-нибудь вы пожалеете о всех оскорблениях, которые нанесли моей дочери. Мадемуазель Мария живет вместе со мной на ферме Букеваль, известите об этом судью, которому подали ваше первое заявление, мы будем ждать его распоряжений.

Вдове нечего было ответить на эти разумные слова. Она села на край водопоя и горько заплакала, обнимая своих ребятишек.

Через несколько минут после этой тягостной сцены Пьер подал кабриолет и г-жа Жорж с Лилией-Марией сели в него, чтобы вернуться в Букеваль.

Когда они проезжали мимо господского дома Арнувиля, Певунья заметила Клару: она плакала, прячась за полуприкрытой ставней, и на прощание помахала Лилии-Марии платком.

Глава XII.
УТЕШЕНИЯ

Ах, мама, мама! Как мне стыдно! — жаловалась Лилия-Мария своей приемной матери в маленькой гостиной фермы Букеваль. — Какое это горе для вас! Теперь вы наверняка навсегда поссорились с госпожой Дюбрей, и все из-за меня. Не зря у меня были дурные предчувствия... Бог наказал меня за то, что я обманула госпожу Дюбрей и ее дочь... Я стала причиной раздора между вами и вашей подругой.

— Подругой?.. Она женщина превосходная, милое дитя, но головка у нее слабенькая. По счастью, у нее доброе сердце, и завтра, я уверена, она пожалеет о своем сегодняшнем глупом поведении.

— Сударыня, не думайте, что я хочу Оправдать ее, обвиняя вас. Господи, вовсе нет! Но ваша доброта ко мне, наверное, ослепляет вас. Поставьте себя на место госпожи Дюбрей! Узнать вдруг, что подруга ее невинной дочери была... скажите, кем я была? Можно ли порицать ее за благородное материнское негодование?

Госпожа Жорж, к сожалению, не нашлась, что

ответить на этот вопрос Лилии-Марии, и та с волнением продолжала:

— Об этом унижении, которому я подверглась сегодня на глазах у всех в Арнувиле, завтра будет знать вся округа. Я не за себя боюсь, но репутация Клары может быть запятнана навсегда... потому что она называла меня своей подругой, своей сестренкой. Я должна была послушаться первого побуждения, воспротивиться желанию приблизиться к доброй госпоже Дюбрей, отказаться от дружбы, которую она мне предлагала, даже рискуя вызвать ее неприязнь и недовольство... Как видите, я за это наказана, о, как жестоко наказана! И не зря, ибо я, наверное, причинила непоправимый вред этой юной девушке, такой целомудренной и такой доброй.

— Дитя мое, ты не права, — сказала г-жа Жорж, немного подумав. — Зря ты себя так горько упрекаешь. Прошлое твое печально, да, очень печально. Но разве ты своим раскаянием не заслужила благоволения нашего доброго кюре? Не по его ли желанию и не по моему ли тебя представили госпоже Дюбрей? Разве не твои достоинства внушили ей привязанность и любовь, которую она сама тебе выказывала? Не сама ли она просила тебя называть Клару своей сестрой?

И наконец, как я ей только что сказала, — ибо я не могла и не должна была ничего от нее скрывать, — могла ли я, уверенная в твоем искреннем раскаянии, рассказывать всем о твоем прошлом, зная, что это помешает твоему будущему, может быть, погубит его навсегда и заставит тебя отчаяться, если на тебя обрушится презрение таких же несчастных и отверженных людей, какой была ты, но не сохранивших, как ты, глубокого чувства порядочности и добродетели? Разоблачение этой молочницы очень неприятно, хуже не придумаешь. Но могла ли я заранее пожертвовать спокойствием твоей души в предвидении столь маловероятной случайности?

— Ах, сударыня, это только доказывает, что мое положение навсегда останется ложным и несчастным, что если вы были правы, скрывая мое прошлое из любви ко мне, то мать Клары не менее права, презирая меня за это прошлое, как отныне меня будут презирать все на свете, ибо все узнают о том, что случилось на ферме Арнувиль, узнают все обо мне... О, я умру от стыда... Я никому не смогу посмотреть в глаза!

— Даже мне? Бедное дитя! — воскликнула г-жа Жорж, разражаясь слезами и прижимая к себе Лилию-Марию. — Но ведь в моем сердце ты

найдешь только нежность и материнскую преданность... Поэтому ничего не бойся, Мария! Ты раскаялась, и это поможет тебе. Здесь ты среди друзей, и этот дом — твой дом. Мы предупредим все разоблачения, которых ты так боишься: наш добрый аббат соберет всех работников фермы — они любят тебя — и откроет им истину о твоем прошлом... Верь мне, дитя мое, его слово имеет такую власть, что это сообщение сделает тебя еще привлекательнее в их глазах.

— Я верю вам, сударыня, и доверяюсь во всем. Вчера во время нашей беседы господин кюре предсказал, что меня ждут жестокие испытания; они начались, и я этому не удивляюсь. Он еще сказал, что страдания мои когда-нибудь мне зачтутся... Я надеюсь... Вы и господин кюре поддерживаете меня в моих испытаниях, и я не стану больше жаловаться.

— К тому же ты скоро увидишь, что его советы никогда еще не были столь спасительны для тебя. Сейчас уже половина пятого, скоро тебе надо будет отправиться в дом священника, ты готова, дитя мое? А я напишу господину Родольфу обо всем, что случилось на ферме Арнувиль. Ему срочно доставят мое письмо... А потом я приду к вам в дом нашего доброго аббата... потому что нам

нужно незамедлительно переговорить втроем.

Вскоре Певунья уже выходила с фермы, направляясь к дому священника по тропинке, пересекавшей овражную дорогу в том самом месте, где Грамотей и Хромуля накануне сговорились захватить ее врасплох.

Глава XIII.
РАЗМЫШЛЕНИЯ

Как мы уже знаем из беседы с г-жой Жорж и священником Букеваля, Лилия-Мария всей душой приняла советы своих благодетелей и так глубоко ими прониклась, что теперь даже редкие воспоминания о ее позорном прошлом приводили ее в отчаяние.

В довершение несчастья разум ее развился так же быстро, как расцветали добрые чувства в ее душе в той атмосфере порядочности и чистоты, в которой она очутилась.

Не обладай она таким острым умом, такой утонченной чувствительностью и таким живым воображением, Лилия-Мария давно бы утешилась и успокоилась.

Она бы раскаялась, почтенный священник простил бы ее, и она бы забыла все ужасы своего прошлого на улицах Сите среди прелестей деревенской жизни, которую разделяла с г-жой Жорж. И наконец, она без колебаний приняла бы дружбу г-жи Дюбрей, и вовсе не потому, что не понимала тяжести совершенных ею проступков,

а из слепого доверия к словам тех, чье превосходство она признавала.

Они говорили ей: «Теперь твое доброе поведение делает тебя такой же, как все честные люди».

И она бы могла поверить, что ничем не отличается от честных людей.

Ужасная сцена на ферме Арнувиля могла тяжело ее ранить, но она, так сказать, предвосхитила, предвидела эту сцену, проливая горькие слезы и терзаясь раскаяниями при виде спящей Клары, такой невинной и чистой, которая разделяла комнату с бывшей пленницей Людоедки.

Несчастная девочка!.. В безмолвии долгих бессонных ночей она упрекала себя еще горше, обвиняя себя во сто раз беспощаднее, чем работники фермы в тот день.

Лилию-Марию медленно убивали угрызения совести, суровая оценка всех ее поступков, а главное, она постоянно сравнивала свое будущее, которое неумолимо определялось ее прошлым, с тем будущим, о котором она могла только мечтать.

Склонность к анализу, самокритичность и умение сравнивать — непременные качества живого, острого разума. Людей бойких и гордых

он заставляет во всем сомневаться и восставать против всех.

Людей робких и застенчивых он заставляет сомневаться в себе и восставать против себя.

Мы осуждаем первых, но они сами себя оправдывают.

Мы оправдываем вторых, но они сами себя осуждают.

Кюре Букеваля, несмотря на всю свою святую чистоту, и г-жа Жорж, несмотря на все свои добродетели, а скорее оба они из-за своей чистоты и добродетели не могли даже представить, как страдала Певунья с тех пор, как душа ее, очистившаяся от скверны, познала всю глубину своего падения.

Они не могли знать, что страшные воспоминания Певуньи придавали им почти сверхъестественную силу действительности; они не знали, что эта юная девушка обладает острой чувствительностью и поэтическим воображением, что ее ранимая душа болезненно воспринимает любой намек; они не знали, что эта юная девушка каждый день, каждый час вспоминала с глубоким раскаянием и болью, смешанной с отвращением и ужасом свое постыдное прошлое.

Попробуйте представить себе девочку шест-

надцати лет, невинную и чистую и сознающую, что она невинна и чиста, брошенную какой-то дьявольской силой в зловонную харчевню Людоедки и всецело отданную во власть этой ведьмы! Так воспринимала Лилия-Мария свое прошлое, которое определяло ее настоящее и будущее.

И попробуем теперь понять всю глубину ее отвращения к прошлому, невыносимые душевные муки, которые так жестоко терзали Певунью, когда она вспоминала о прошлом и не осмеливалась признаться даже аббату, что хотела бы захлебнуться и утонуть в этом болоте.

Кто умеет размышлять и наделен каким-то жизненным опытом, не воспримет наши слова как парадокс.

Лилия-Мария была достойна сочувствия и жалости не только потому, что она никогда не любила, но еще потому, что все ее чувства еще не пробудились и были как бы заморожены. Так довольно часто даже у женщин, не столь чувствительных и робких, как Лилия-Мария, целомудренные инстинкты сохраняются еще долго после замужества. Стоит ли удивляться, что эта несчастная девушка, опоенная Людоедкой и брошенная в шестнадцать лет на утеху разнузданной шайке жестоких и диких зверей, населявших

Сите, испытала только боль и ужас и вырвалась из этой клоаки, сохранив всю чистоту души?

Наивные признания Клары Дюбрей о ее платонической любви к молодому крестьянину, за которого она собиралась выйти замуж, очень огорчили Лилию-Марию. Она тоже чувствовала, что могла бы полюбить смело и безоглядно, вложив в свою любовь всю преданность, благородство, чистоту и величие, но ей не было отныне дозволено внушить или испытать это прекрасное чувство. Ибо если она полюбит, то лишь такого же возвышенного душой, но, чем достойнее будет выбор, тем недостойнее будет она казаться самой себе.

Глава XIV.
ОВРАЖНАЯ ДОРОГА

Солнце склонялось к горизонту; поля были пустынными и безмолвными.

Лилия-Мария приближалась по тропинке к овражной дороге, которую ей нужно было пересечь на пути к дому священника, когда вдруг увидела хромого мальчика в серой блузе и синей фуражке. Лицо у него казалось заплаканным, и, заметив Певунью, он сразу бросился к ней.

— Добрая госпожа, пожалейте меня! — воскликнул он, умоляюще складывая руки.

— Что с тобой? Чем я могу помочь тебе, мальчик? — сочувственно спросила Певунья.

— Увы, добрая госпожа! Моя бедная бабушка, такая старенькая, такая старенькая, упала вот там, спускаюсь в овраг. Ей так больно, так больно!.. Наверное она сломала ногу... А я слишком слаб, чтоб поднять ее. Господи, что мне делать, если вы мне не поможете? Бедная бабушка, она наверное умрет...

Тронутая горем маленького уродца, Певунья воскликнула:

— Я тоже не очень сильна, мальчик мой, но может быть, я смогу помочь твоей бабушке! Веди меня к ней скорее. Я живу вон на той ферме. Если бедная старушка не сможет туда дойти, я пришлю за нею.

— Добрая госпожа, да благословит вас бог! Идите сюда, тут всего в двух шагах от дороги... Она упала, спускаясь с откоса, я уже говорил.

— Значит, ты нездешний? — спросила Певунья, следуя за Хромулей, которого вы наверняка уже узнали.

— Нет, добрая госпожа, мы идем из Экуана.

— И куда вы идете?

— К доброму кюре, который живет вон там на холме, — ответил сын Краснорукого, чтобы рассеять последние сомнения Лилии-Марии.

— Неужели к аббату Лапорту?

— Да, моя добрая госпожа, к господину аббату Лапорту.

Моя бедная бабушка его знает давно-давно, очень давно.

— Я тоже как раз шла к нему. Какое совпадение! — проговорила Лилия-Мария, спускаясь все ниже по овражной дороге.

— Бабушка! Бабушка! Вот и я! Потерпи немножко, сейчас мы тебе поможем, — закричал Хромуля,

чтобы Грамотей и Сычиха приготовились схватить свою жертву.

— Значит, твоя бабушка упала где-то неподалеку?.. — спросила Певунья:

— Да, моя добрая госпожа, вон за тем большим деревом, где дорога поворачивает, всего в двадцати шагах.

Внезапно Хромуля остановился.

В вечерней тишине послышался звонкий галоп приближающегося коня.

«Все пропало», — пробормотал про себя Хромуля.

В нескольких шагах от того места, где находился сын Краснорукого вместе с Певуньей, дорога поворачивала под довольно острым углом.

Из-за этого поворота вынесся всадник и резко остановился, поравнявшись с девушкой.

В тот же миг раздался стук копыт другой лошади, и через несколько секунд из-за поворота рысью выехал слуга, в коричневом рединготе с серебряными пуговицами, в лосинах белой кожи и в сапогах с отворотами. За спиной его был привязан свернутый макинтош хозяина, перетянутый рыжим ремнем.

Сам хозяин, в простом теплом рединготе зеленоватого цвета и в серых брюках, ловко сидел на

чистокровном гнедом коне поразительной красоты; несмотря на немалый путь, на его блестящей шелковистой шкуре с золотым отливом не было ни одного пятна пота.

Лошадь грума, остановившаяся в нескольких шагах от своего хозяина, тоже отличалась породой и красотой.

В этом всаднике с загорелым приятным лицом Хромуля узнал виконта де Сем-Реми, которого считали любовником герцогини де Люсене.

— Прелестное дитя! — обратился он к Певунье, пораженный ее красотой. — Ты не укажешь мне дорогу к деревне Арнувиль?

Мария опустила глаза под смелым пристальным взглядом молодого кавалера и ответила:

— За овражной дорогой, сударь, сверните на первую тропу направо, она доведет вас до вишневой аллеи, а та прямиком в Арнувиль.

— Тысяча благодарностей, прелестное дитя... Ты объяснила мне гораздо лучше старухи, которую я нашел в двух шагах отсюда: она лежит там под деревом, и от нее я ничего не услышал, кроме стонов и причитаний.

— Моя бедная бабушка, — жалобно пробормотал Хромуля.

— А теперь еще один вопрос, — продолжал де

Сен-Реми, обращаясь к Певунье. — Как мне найти в Арнувиле ферму господина Дюбрей?

Певунья невольно вздрогнула, услышав эти слова, которые напомнили ей о мучительной утренней сцене, и ответила:

— Дома фермы подходят вплотную к аллее, по которой вы поедете, сударь.

— Еще раз спасибо, прелестное дитя! — сказал Сен-Реми и пустил своего коня галопом. Грум последовал за ним.

Приятные черты лица виконта немного разгладились, пока он говорил с Лилией-Марией, но, едва он остался один, лицо его вновь отразило глубокую озабоченность и беспокойство.

Лилия-Мария вспомнила о неизвестном человеке, для которого по приказу г-жи де Люсене спешно приводили в порядок садовый павильон в Арнувиле; несомненно он предназначался для этого юного и прекрасного кавалера.

Звон подков по мерзлой земле еще какое-то время доносился до нее, постепенно угасая в отдалении, и наконец затих.

Вновь воцарилось безмолвие.

Хромуля облегченно вздохнул.

Чтобы успокоить и предупредить своих сообщников, один из которых, Грамотей, успел

спрятаться при приближении всадников, сын Краснорукого громко закричал:

— Бабушка! Мы идем! Со мной добрая госпожа, которая тебе поможет!

— Скорее, идем скорее! — заторопила его Певунья. — Из-за этого господина мы потеряли минут пять.

И она ускорила шаг, стараясь побыстрее миновать поворот овражной дороги.

Едва она достигла его, Сычиха, затаившаяся за поворотом,

тихо скомандовала:

— Ко мне, мой хитрец!

В тот же миг одноглазая ведьма бросилась на Певунью, обхватила ее одной рукой за шею, а другой зажала ей рот, а Хромуля кинулся ей под ноги и вцепился в них обеими руками, чтобы девушка не смогла сделать и шага.

Все произошло так быстро, что Сычиха не успела разглядеть лицо Певуньи, но пока Грамотей вылезал из канавы, где он прятался, и пока ощупью подходил со своим плащом в руках, кривая старуха узнала свою бывшую пленницу.

— Воровочка, ты? — воскликнула она, не веря себе, но ее изумление тут же сменилось жестокой радостью. — Опять ты мне встретилась! Видно,

сам главный палач послал мне тебя! Видно, тебе на роду написано попадаться мне в когти! У меня в фиакре припасен пузырек с серной кислотой, теперь-то попорчу твою смазливую мордашку, потому что меня тошнит от твоего личика святой недотроги... Ко мне, мой силач! Смотри, чтобы она тебя не укусила, держи ее крепче... Сейчас мы ее упакуем!

Грамотей схватил Певунью своими могучими руками, и не успела та даже вскрикнуть, как Сычиха накинула плащ ей на голову и плотно обмотала.

В одно мгновение Певунью связали и заткнули рот, так что она не могла ни пошевельнуться, ни позвать на помощь.

— Теперь дело за тобой, душегубчик, — сказала Сычиха. — Неси эту куклу... К счастью, она не тяжелее «чернушки», которую мы отняли у той женщины на канале Сен-Мартен, не правда ли, мой силач? — И, увидев, что слепой бандит содрогнулся при этих словах, вспомнив свой жуткий сон, одноглазая добавила: — Что это с тобой, хитрец? Ты вроде дрожишь? Сегодня с утра у тебя зубы щелкают, как от лихорадки, и ты озираешься то и дело, словно что-то можешь увидеть.

— Толстый увалень!.. Он просто ловит мух!

— добавил перца Хромуля.

— Давай поскорее, хитрец! Упакуй получше Воровочку, и в путь! — торопила Сычиха бандита, который подхватил спеленатую Лилию-Марию на руки, как ребенка. — Скорее в карету!

— Но кто меня поведет? — спросил Грамотей глухим голосом, прижимая к могучей груди свою легкую и гибкую ношу.

— Вот старый упрямец! Обо всем подумает, — пробормотала Сычиха.

Она распахнула шаль, размотала красный платок, который окутывал ее худую морщинистую шею, скрутила его в длинный жгут и сказала Грамотею:

— Открой свою пасть и зажми конец этого платка клыками покрепче. Хромуля возьмет другой конец в руку и поведет тебя, как на поводке... Доброму слепцу — доброго пса-поводыря. Ко мне, мой песик!

Маленький хитрец подпрыгнул на месте, насмешливо и злобно затявкал, затем взялся за скрученный платок и повел за собой Грамотея, в то время как Сычиха поспешила к перекрестку, чтобы предупредить Крючка.

Невозможно описать беспредельный ужас Певуньи, когда она очутилась во власти Сычихи и

слепого бандита. Лилия-Мария едва не потеряла сознания и не могла оказать ни малейшего сопротивления.

Несколько минут спустя её погрузили в карету Крючка, хотя уже наступила ночь, шторки экипажа были тщательно задернуты, и трое сообщников со своей полумертвой жертвой покатили к равнине Сен-Дени, где их ждал Том.

Глава XV.
КЛЕМАНС Д'АРВИЛЬ

Пусть извинит нас читатель за то, что мы покидаем одну из наших героинь в столь трагическом положении, — о том, как все это кончилось, мы расскажем позднее.

Особенности этого многоликого повествования, к сожалению слишком разнообразного в своем богатстве, заставляют нас постоянно переходить от одного персонажа к другому, стараясь по мере сил, чтобы действие развивалось и интерес к нашему произведению не остывал, — если только вообще подобное произведение может вызвать какой-то интерес, ибо оно добросовестно и беспристрастно и вовсе не для легкого чтения.

Мы еще последуем за некоторыми участниками этой драмы на жалкие мансарды, где дрожит от холода и голода нищий люд, покорный и скромный, честный и трудолюбивый.

Последуем в тюрьмы для мужчин и женщин, порой кокетливые и светленькие, а чаще мрачные и темные, но всегда достаточно вместительные, в эти школы пагубы, пропитанные зловонной

атмосферой порока, в которой невинная душа задыхается и хиреет и выходит оттуда почти всегда искалеченной и развращенной.

В эти больницы, где за несчастными бедняками порой ухаживают с такой трогательной заботой, что они потом с сожалением вспоминают об одинокой койке, на которой они тряслись от лихорадки, в ледяном поту.

В эти таинственные притоны, где соблазненная и брошенная девушка рожает свое несчастное дитя и обливает горькими слезами, потому что никогда уже больше его не увидит.

В эти страшные дома, где все виды безумия, гротескного, трогательного, идиотского, отвратительного или жестокого, проявляются в самых ужасающих обликах, начиная от кроткого дурачка, который смеется таким жалким смехом, что хочется плакать, и кончая буйнопомешанным, который рычит как дикий зверь, сотрясая прутья своей клетки.

И еще мы увидим...

Но к чему такой слишком длинный перечень!

Не испугаем ли мы нашего читателя? Он и так уже покорно следовал за нами в самые странные места и сейчас может заколебаться перед новыми странствиями по нелегким, извилистым путям.

Впрочем, будущее покажет.

Напомним, что за день до того, как произошли только что описанные события — похищение Певуньи Сычихой и ее сообщниками, — Родольф спас г-жу д'Арвиль от неминуемой опасности, которую навлекла на нее ревность Сары, — та предупредила господина д'Арвиля, что его жена неосторожно согласилась пойти на свидание к Шарлю Роберу. Глубоко потрясенный этой сценой, Родольф вышел из дома на улице Тампль и вернулся к себе, решив отложить на -завтра посещение Хохотушки и семьи несчастных ремесленников, о которых мы уже говорили. Он считал, что они на время избавлены от нужды благодаря его деньгам, которые он вручил г-же д'Арвиль, чтобы сделать ее благотворительный визит более правдоподобным в глазах ее мужа. К несчастью, Родольф не подозревал, что Хромуля выхватил у г-жи д'Арвиль его кошелек, но мы-то знаем, как маленький уродец совершил эту дерзкую кражу.

Около четырех часов принц получил следующее письмо.

Его принесла пожилая женщина и сразу удалилась, не дожидаясь ответа.

«Ваше высочество!

Я обязана вам более чем жизнью и хотела бы сегодня же выразить вам мою глубокую признательность. Завтра, может быть, я уже ничего не смогу вам сказать от стыда... Если вы окажете мне честь посетить меня сегодня вечером, вы сможете завершить свой день так же, как его начали, — добрым делом.

Д'Орбиньи-д'Арвиль.

P. S.Не трудитесь отвечать мне, монсеньор, я буду у себя весь вечер».

Родольф был счастлив оказать г-же д'Арвиль важную услугу, однако его смущала вынужденная интимность, возникшая в связи с этими обстоятельствами между ним и маркизой.

Он не мог предать дружбу с д'Арвилем, но его глубоко поразила душевная тонкость и редкостная красота Клеманс. Поняв, что слишком увлекся ею, Родольф после месяца настойчивых ухаживаний спохватился и решил больше не видеться с маркизой.

Тем более что он не мог без волнения вспоминать о случайно подслушанном разговоре между Томом и Сарой на приеме в посольстве. Пытаясь оправдать свою ненависть и ревность, Сара утверждала, и не без оснований, что г-жу д'Арвиль почти помимо ее воли всегда неудержимо

влекло к Родольфу.

Сара была слишком прозорлива и умна и слишком хорошо знала все слабости человеческого сердца, чтобы не разгадать Клеманс, обиженной и оскорбленной равнодушием человека, который произвел на нее огромное впечатление. Именно поэтому Клеманс с досады так легко поддалась настойчивым уговорам коварной подруги и вдруг ни с того ни с сего горячо заинтересовалась воображаемыми несчастьями Шарля Робера, хотя и не смогла при этом окончательно забыть Родольфа.

Другая женщина, верная своим воспоминаниям о человеке, которого она избрала и отличила, осталась бы равнодушной к воздыханиям майора. Таким образом Клеманс д'Арвиль была виновна вдвойне, хотя и уступила только из жалости. К счастью, острое чувство долга и, наверное, образ принца, хранимый ею в глубине души, этот спасительный образ уберег ее от непоправимой ошибки.

Тысячи противоречий раздирали Родольфа, когда он думал о предстоящем свидании с г-жой д'Арвиль. Он твердо решил противиться чувству, которое влекло его к маркизе, и сейчас то радовался, что может ее разлюбить, может и упрекнуть за столь недостойный выбор, как этот Шарль Робер,

то, наоборот, горько сожалел, что она лишилась того ореола, которым он ее окружил.

Клеманс д'Арвиль тоже с волнением ожидала этого свидания; два чувства владели ею: мучительное смущение, когда она думала о Родольфе... и глубокое отвращение, когда она вспоминала о Шарле Робере.

Причин этому отвращению, почти ненависти, было немало.

Женщина может пожертвовать своим покоем, своей честью ради мужчины, но она никогда не простит ему, если он поставит ее в унизительное или смешное положение.

А маркиза д'Арвиль, натолкнувшись на оскорбительные взгляды и циничные замечания г-жи Пипле, едва не сгорела от стыда.

Но это еще не все.

Получив от Родольфа предупреждение о грозящей ей опасности, Клеманс поспешно поднялась на шестой этаж; лестница здесь поворачивала так, что она еще снизу заметила Шарля Робера в его роскошном халате в тот момент, когда, заслышав легкие шаги женщины, которую он поджидал, он приоткрыл свою дверь с уверенной и победительной улыбкой... Фатовская интимность этого майорского халата сразу показала

маркизе, как жестоко она ошибалась в этом человеке. По доброте своего сердца и великодушию характера она решилась на это свидание, которое могло ее погубить, вовсе не из любви, а всего лишь из жалости, чтобы утешить Шарля Робера за то унижение, которое ему пришлось претерпеть на приеме в посольстве из-за дурного вкуса герцога де Люсене.

Можно понять смятение и отвращение г-жи д'Арвиль, когда она увидела победную улыбочку Шарля Робера... уже облаченного в роскошный халат!

Часы любимой маленькой гостиной г-жи д'Арвиль пробили девять.

Портные и содержатели ресторанов настолько опошлили стиль Людовика XV, или стиль Ренессанса, что маркиза, женщина тонкого вкуса, изгнала со своей половины эту вульгарную роскошь, велев перенести всю эту мебель в залы для больших приемов. Гостиная, где маркиза ожидала Родольфа, отличалась изысканным изяществом.

Стены были обтянуты индийским шелком цвета соломы, такими же были простые портьеры без рюшек и кистей; на блестящем фоне этой материи матовым шелком того же оттенка бы-

ли вышиты изящные и причудливые арабески. Двойные алансонские шторы полностью закрывали окна.

Двери розового дерева украшали тонкие рамки инкрустированного позолоченного серебра, которые на каждой дверной панели обрамляли овальные медальоны севрского фарфора в локоть высотой, с изысканными изображениями сверкающих цветов и птиц. Рамы зеркал и карнизы были того же розового дерева с такими же инкрустациями из позолоченного серебра.

Фриз камина из белого мрамора поддерживали две кариатиды античной красоты и поразительного изящества, изваянные вдохновенным резцом великого скульптора Марочетти, который согласился выполнить этот заказ, наверное, потому, что вспомнил, что гениальный Бенвенуто Челлини не отказывался украшать кувшины и панцири.

Два канделябра и два факела из позолоченного серебра тончайшей работы Гутьера обрамляли напольные часы в форме куба из ляпис-лазури, установленного на цоколе из восточной яшмы и увенчанного великолепной золотой чашей с перегородчатой эмалью и вкрапленными в нее жемчужинками и рубинами, — шедевр флорен-

тийского Возрождения.

Многочисленные прекрасные картины средних размеров, принадлежавшие к венецианской школе, довершали этот великолепный ансамбль.

Благодаря приятному нововведению последних лет этот прелестный салон жалко освещала лампа из матового хрусталя, наполовину спрятанная среди живых цветов, поставленных в глубокую, огромную японскую вазу с пурпурными, синими и золотыми узорами, подвешенную к потолку, как люстра, на трех толстых цепях позолоченного серебра, вокруг которых обвивались зеленые стебли многочисленных вьющихся растений; некоторые гибкие отростки с цветами свешивались через края вазы изумрудной бахромой, чудно выделяясь на фоне золотых, лазурных и пурпурных узоров японского фарфора.

Мы останавливаемся на всех этих, может быть ребяческих, подробностях не только для того, чтобы дать представление о природном вкусе г-жи д'Арвиль, почти верном признаке артистической одаренности, но и для того, что скрытая боль и тайные страдания бывают еще мучительнее среди подобной роскоши и красоты, которые для всех посторонних были бы символами завидной счастливой жизни.

Клеманс д'Арвиль, гладко причесанная, сидела в глубоком кресле, сплошь обтянутом материей соломенного цвета, как и вся остальная мебель в салоне. На ней было глухое платье черного бархата, на котором прелестно выделялся широкий воротник и плоские манжеты из английских кружев, смягчая слишком резкий переход от черного бархата к ослепительной белизне ее шеи и рук.

Признательность с новой силой пробудила прежние чувства к Родольфу. Интуиция, которая так редко обманывает любящие сердца, подсказывала маркизе, что не только случай привел Родольфа ей на помощь, что если он вот уже несколько месяцев не стремился ее увидеть, то вовсе не из пренебрежения. И тот же инстинкт пробуждал в душе Клеманс сомнения в искренности Сары.

Прошло несколько минут. Негромко постучав, в салон вошел слуга и спросил:

— Госпожа маркиза примет госпожу Астон и мадемуазель?

— Разумеется, как всегда, — ответила г-жа д'Арвиль.

И ее дочь неторопливо вошла в салон.

Эта четырехлетняя девочка могла бы быть прелестной, если бы не ее болезненная бледность и

чрезвычайная худоба. Г-жа Астон, ее гувернантка, держала девочку за руку. Клэр, — так звали девочку, — несмотря на свою слабость, бросилась к матери, протягивая к ней ручки. Два бантика вишневого цвета удерживали над висками закрученные косички каштановых волос, обрамлявших ее личико; она была такой слабенькой, что ее одели в подбитую ватой душегрейку коричневого шелка, вместо красивых, открытых платьиц из белой кисеи с бантиками Под цвет волос, чтобы можно было любоваться розовыми ручками и свежей, шелковистой кожей плечиков, таких прелестных у здоровых детей.

Большие черные глаза этой девочки казались огромными на ее худеньком личике со впалыми щеками. Несмотря на кажущуюся слабость, счастливая и добрая улыбка озарила лицо Клэр, когда она умостилась на коленях своей матери, которая осыпала ее страстными, нежными поцелуями, стараясь скрыть печаль.

— Как она чувствовала себя сегодня? — спросила г-жа д'Арвиль гувернантку.

— Довольно хорошо, госпожа маркиза, хотя был такой момент, когда я подумала...

— Опять! — воскликнула Клеманс, невольно прижимая дочь к своей груди в порыве страха.

— По счастью, сударыня, я ошиблась, — сказала гувернантка. — Приступа не было, мадемуазель Клэр успокоилась, это была только минутная слабость. Она мало спала сегодня после обеда, но все равно не хотела ложиться, пока не обнимет свою мамочку и не попрощается с госпожой маркизой.

— Бедный мой, любимый ангелочек! — воскликнула г-жа д'Арвиль, осыпая дочку поцелуями.

Девочка отвечала на ее ласки с детской радостью, когда слуга, распахнул обе створки дверей салона и торжественно объявил:

— Его высочество великий герцог Герольштейнский!

Сидя на коленях матери, Клэр обнимала ее двумя ручонками за шею и целовала в обе щеки. При виде Родольфа Клеманс покраснела, осторожно спустила дочку на ковер, сделала г-же Астон знак, чтобы та увела девочку, и поднялась навстречу гостю.

— Вы разрешите? — с улыбкой проговорил Родольф, почтительно поклонившись маркизе. — Могу я вновь познакомиться с моей маленькой подружкой, которая, — увы! — наверное, уже меня позабыла?

И, слегка наклонившись, он протянул руку

девочке.

Клэр сначала посмотрела на него своими черными глазищами, потом узнала, мило кивнула головкой и послала ему воздушный поцелуй с кончиков худеньких пальчиков.

— Ты знаешь этого господина, дитя мое? — спросила Клеманс.

Клэр утвердительно кивнула головой и послала Родольфу еще один воздушный поцелуй.

— Кажется, она немного поправилась с тех пор, как я ее не видел, — сказал Родольф, обращаясь к маркизе.

— Да, ваше высочество, она себя чувствует лучше, но все еще порой недомогает.

Маркиза и принц одинаково боялись предстоящего им разговора и почти радовались той отсрочке, которую им давала Клэр. Но гувернантка потихоньку увела с собой девочку, и Родольф и Клеманс остались наедине.

Глава XVI
ПРИЗНАНИЯ

Кресло, где сидела г-жа д'Арвиль, находилось справа от камина; Родольф стоял, легко опираясь на мраморную полку локтем. Благородный и прекрасный облик принца поразил Клеманс, как никогда; голос его показался невыразимо нежным и звучным. Чувствуя, что маркизе трудно начать разговор, Родольф сказал:

— Сударыня, вы стали жертвой подлого предательства: низость графини Сары Мак-Грегор едва не погубила вас.

— Неужели это правда, монсеньор? — воскликнула Клеманс. — Значит, мои предчувствия не обманули меня. Но как ваше высочество узнали?..

— Вчера, совершенно случайно, на балу у графини*** я услышал об этом подлом заговоре. Я сидел в дальнем уголке зимнего сада. Графиня Сара и ее брат не знали, что меня отделяет от них только зеленая шпалера, и не стесняясь говорили о своих замыслах и о ловушке, которую вам расставили. Я хотел предупредить вас о грозящей

вам опасности, а потому поспешил на бал к госпоже де Нерваль, надеясь увидеть вас там, но вы там не появились.

Написать вам утром я не решился: письмо могло попасть в руки маркиза и пробудить его подозрения. Я предпочел подождать вас на улице Тампль, чтобы предупредить о предательстве Сары. Надеюсь, вы простите меня, что я так долго говорю о столь неприятном для вас деле? Если бы не ваше доброе письмо, я бы в жизни об этом не заговорил...

Чуть помолчав, г-жа д'Арвиль сказала Родольфу:

— У меня только один способ выразить вам мою благодарность, монсеньор... это сделать признание, которого не сделала бы никому. Это признание не оправдает меня в ваших глазах, но, может быть, смягчит мою вину перед вами.

— Честно говоря, — с улыбкой сказал Родольф, — мое положение весьма затруднительно.

Пораженная его почти легкомысленным тоном, Клеманс взглянула на Родольфа с изумлением.

— Я не понимаю вас, монсеньор!

— Благодаря простому стечению обстоятельств, о которых вы, сударыня, несомненно догадываетесь, я был вынужден сыграть роль, скажем,

доброго дядюшки в этой истории. Но поскольку вы не попались в подлую ловушку, расставленную вам графиней Сарой, об этом вряд ли стоит говорить. Однако, — добавил Родольф серьезно и сочувственно, — не забывайте, что ваш муж для меня почти как брат. Мой отец многим обязан его отцу. Поэтому я от всей души поздравляю вас за то, что вы смогли вернуть вашему мужу уверенность и покой.

— Ах, монсеньор, именно потому, что вы удостаиваете господина д'Арвиля своей дружбы, я обязана открыть вам всю правду! И об этом моем выборе, который казался вам таким постыдным и в действительности таким оказался, и о моем поведении, оскорбительном для моего мужа, которого ваше высочество называет почти братом.

— Сударыня, я всегда буду счастлив и горд малейшим доказательством вашего доверия. Однако позвольте сказать вам о вашем выборе, что я знаю: вы поддались чувству жалости и настойчивым уговорам графини Сары Мак-Грегор, у которой были свои побуждения вас погубить... Я также знаю, что вы долго колебались, прежде чем решиться на поступок, о котором так сожалеете до сих пор.

Клеманс была поражена.

— Вас это удивляет? — продолжал принц с улыбкой. — Я открою вам когда-нибудь свою тайну, чтобы вы не считали меня волшебником. Но скажите, вы уверены, что ваш муж окончательно успокоился?

— Да, монсеньор, — сказала Клеманс, смущенно опуская глаза. — Признаюсь, мне так стыдно, когда он просит прощения за то, что подозревал меня, и восторгается моим скромным умолчанием о благотворительных делах.

— Он счастлив в своем неведении, не упрекайте его за это, наоборот, поддерживайте, сколько можно, этот невинный обман! Если бы я мог так легко говорить об этом приключении, если бы речь шла не о вас... я бы сказал, что вы самая очаровательная женщина, которая вынуждена что-то скрывать от своего мужа. Невозможно представить, какие щедрые ласки расточает нечистая совесть, какие восхитительные цветы расцветают на почве измены... В молодости, — добавил Родольф с улыбкой, — я обычно испытывал смутные опасения, когда мне выказывали особенно нежную привязанность, и поскольку я, со своей стороны, всегда чувствовал особую уверенность в себе, когда бывал небезупречным, то, встречая ту же коварную ласковость, какую

старался проявить сам, был убежден, что за этим согласием таится... взаимная измена.

Госпожа д'Арвиль все больше удивлялась, слушая, как насмешливо говорит Родольф о ее приключении, которое могло окончиться для нее ужасными последствиями. Но вскоре она поняла, что своим легкомысленным тоном принц благородно пытается уменьшить значение оказанной им услуги, и сказала, глубоко тронутая его скромностью:

— Я понимаю ваше великодушие, монсеньор. Вам дозволено сейчас шутить и не вспоминать об опасности, от которой вы меня избавили... Но то, что я вам обязана сказать, настолько важно, и настолько грустно, и настолько связано с сегодняшними событиями, что ваш совет мне необходим, и я умоляю вспомнить, что вы спасли мне честь и жизнь, да, жизнь! Мой муж был при оружии, он мне в этом признался в приступе раскаяния, он хотел меня убить.

— Боже мой! — вскричал пораженный Родольф.

— И он был прав, — горько ответила г-жа д'Арвиль.

— Заверяю вас, сударыня, — уже серьезно продолжал Родольф, — мне вовсе не безразлична

ваша судьба. Если я сейчас подшучивал, то только потому, что хотел рассеять ваши печальные воспоминания об этом утреннем происшествии, которое должно было вас так взволновать. А теперь, сударыня, я слушаю вас с величайшим вниманием, так как вы сказали, что мои советы могут быть вам весьма полезными.

— Даже очень полезными, монсеньор! Но, прежде чем испросить их у вас, позвольте рассказать в двух словах о не столь далеком прошлом, о котором вы не знаете... о моей жизни до брака с господином д'Арвилем.

Родольф поклонился, и Клеманс продолжала.

— В шестнадцать лет я потеряла мать, — говорила она, невольно уронив слезу. — Нет сил сказать, как я ее любила! Представьте, монсеньор, воплощенную доброту! В своей нежности и заботах обо мне она находила глубокое утешение за свои земные печали... Она мало кого любила, здоровьем была слаба, и, естественно, на склоне лет самым большим удовольствием для нее стало мое воспитание. Она обладала основательными и разнообразными знаниями и могла лучше всех исполнить выбранную ею роль.

... Судите сами, монсеньор, как были мы поражены, она и я, когда, — мое образование уже

завершилось, — отец под предлогом того, что мать нездорова, объявил нам, что некая молодая вдова из хорошей семьи, чьи печали его очень тронули, готова завершить то, что начала моя мать. Та сначала воспротивилась желаниям моего отца. Я тоже умоляла его не ставить между мной и матерью чужую женщину. Но он был непреклонен, несмотря на наши слезы. Госпожа Ролан, вдова полковника, погибшего где-то в Индии, поселилась у нас и получила должность моей учительницы.

— Как, та самая госпожа Ролан, на которой ваш отец женился почти сразу же после вашей свадьбы? — воскликнул Родольф.

— Да, монсеньор.

— Наверное, она была очень хороша?

— Да нет, так себе.

— Тогда, может быть, очень умна?

— Притворство и хитрость, и ничего больше. Ей было лет двадцать пять, очень светлая блондинка с почти белыми ресницами и большими круглыми голубыми глазами; личико скромное и слащавое, а характер подленький до жестокости, угодливый до самой последней низости.

— А воспитание? Знания?

— Никаких! До сих пор не могу понять, мон-

сеньор, как мой отец, всегда столь рабски подчинявшийся условностям, не подумал, что неподготовленность этой женщины самым скандальным образом выдает истинную причину ее присутствия у нас. Моя мать заметила ему, что госпожа Ролан невежда. Отец ответил не допускающим возражений тоном, что невежда она или нет, но эта молодая и интересная вдова останется в нашем доме моей воспитательницей. Я узнала обо всем этом много позже; после этого разговора моя мать поняла все и погрузилась в глубокое горе, сожалея, как я думаю, не столько о неверности моего отца, сколько о тех пагубных последствиях, которые могла причинить эта связь, если бы слухи о ней дошли до меня.

— Но послушайте, сударыня, даже если ваш отец так безумно увлекся этой женщиной, совершенно непонятно, зачем он ввел ее в ваш дом... Это было неразумно!

— Ваше недоумение удвоится, монсеньор, если вы узнаете, что отец мой был самым щепетильным человеком из всех, кого я знала, человеком, считавшимся со всеми условностями, и, если он пренебрег ими, нужны были необычайная воля и настойчивость госпожи Ролан, которая прикрывалась безумной любовью к нему.

— Но сколько же лет было вашему отцу?

— Около шестидесяти, монсеньор.

— И он верил в любовь этой женщины?

— Мой, отец был одним из самых модных светских людей своего времени, и госпожа Ролан, следуя своему инстинкту или хитрым советам...

— Хитрым советам? Кто мог их давать?

— Я сейчас скажу вам, монсеньор. Понимая, что мужчина, избалованный победами, на пороге старости весьма восприимчив к похвалам его внешности, напоминающим ему о расцвете его лет, эта женщина — поверите вы мне, монсеньор? — все время льстила ему, восхищаясь его лицом и фигурой, его неповторимой элегантностью, его неотразимым очарованием, а ему было за пятьдесят. Все восхищались ее редкостным умом, и он попался на эту простейшую приманку. В этом была и есть, я не сомневаюсь, основа влияния этой женщины на моего отца. Несмотря на мои горестные заботы, монсеньор, я не могу без улыбки вспоминать, как госпожа Ролан, еще до моего замужества, говорила и повторяла, что «истинная зрелость» — самый прекрасный возраст. И эта «истинная зрелость», по ее словам, наступает только на пятьдесят пятом — шестидесятом году жизни.

— Сколько же лет вашему отцу?

— Именно столько, монсеньор. Только в этом возрасте, говорила госпожа Ролан, разум и опыт достигают высшего развития; только тогда человек высокого положения получает в свете достойное признание, только тогда его черты, его прекрасные манеры достигают совершенства, и лицо его в этих годах приобретает божественное выражение, чудную редкую смесь снисходительной безмятежности и доброй серьезности. И наконец, легкий оттенок меланхолии, которая всегда сопутствует опыту прежних разочарований, дополняет неотразимое очарование «истинной зрелости», очарование, которое, спешила заметить госпожа Ролан, понятно только женщинам с добрым умом и сердцем, которые лишь пожимают плечами, слыша взрыв хохота сорокалетних ветреников, на которых нельзя ни в чем положиться и чьи еще не зрелые черты пока не имеют величавого выражения, свидетельствующего о глубоком знании жизни.

Родольф невольно улыбнулся, слушая, с какой иронией, маркиза д'Арвиль рисует портрет своей мачехи.

— Есть одна вещь, которую я никогда не прощаю смешным и нелепым людям, — сказал он

маркизе.

— Что же это, монсеньор?

— Их злобность. Она мешает нам весело посмеяться над ними..

— Может быть, в этом и есть их расчет, — сказала Кле-манс.

— Я готов в это поверить, а жаль. Потому что, если бы, к примеру, я не знал, что эта госпожа Ролан намеренно причинила вам столько горя, я бы от души похохотал над ее изобретением «истинной зрелости», которую она противопоставляет бездумной молодости сорокалетних сорванцов, как утверждает эта женщина, едва вышедших из «возраста пажей», как говаривали наши предки.

— Отец мой, по-моему, до сих пор счастливо тешится иллюзиями, которые внушила ему моя мачеха.

— А сама она несомненно страдает, расплачиваясь за свою ложь: ваш отец поверил в ее страстную любовь, поймал ее на слове, и теперь она пленница его любви и одиночества. Позвольте сказать вам: жизнь вашей мачехи столь же невыносима, сколь велико счастье вашего отца. Представьте себе радость шестидесятилетнего мужчины, привыкшего к успехам в свете и уверовавшего, что его еще может страстно любить

молодая женщина! Естественно, у него возникло желание отгородиться вместе с нею от всего мира...

— Пусть отец будет счастлив, монсеньор, я бы не стала жаловаться на госпожу Ролан, если бы не ее отвратительное отношение к моей матери... И еще, если бы не ее слишком рьяное старание поскорей выдать меня замуж. За это я ее особенно презираю и ненавижу, — сказала г-жа д'Арвиль.

Родольф посмотрел на нее с удивлением.

— Господин д'Арвиль ваш друг, монсеньор, — продолжала Клеманс твердым голосом. — Я сознаю всю важность моих слов. Вы скоро поймете, насколько они справедливы. Однако вернемся к госпоже Ролан, назначенной мне в гувернантки, несмотря на ее очевидную безграмотность и неспособность. Из-за нее у моей матери произошло мучительное объяснение с моим отцом. Мама объявила ему, что положение этой женщины в доме нетерпимо и что она не выйдет к столу, если госпожа Ролан немедленно не уйдет от нее. Моя мать была воплощением мягкости и доброты, но в то же время была несгибаема, дело шло о ее собственном достоинстве. Мой отец остался непоколебим, а она сдержала свое слово: с этого дня мы жили с ней совершенно отдельно

на ее половине дома. Отец стал ко мне так же холоден, как к моей матери, а госпожа Ролан почти в открытую играла роль хозяйки дома, все еще притворяясь, будто она моя гувернантка.

— До какой же крайности может довести слепая страсть самого разумного человека! И чем больше нам льстят, чем больше расхваливают наши достоинства, которых уже больше нет, тем скорее мы забываем о достоинствах, которыми еще обладаем. Доказывайте шестидесятилетнему, что он так же хорош и силен, как в тридцать лет, — это же азбука самой грубой лести! Но чем грубее лесть, тем она действенней... Увы, нам, принцам, это давно знакомо.

— Да, вам ли это не знать, монсеньор!

— В этом смысле вашего отца обманывали, как короля... Но ваша мать, наверное, страдала невыразимо.

— И не столько за себя, сколько за меня, монсеньор, потому что она думала о будущем. Она вообще была очень слабенькая, а теперь начала угасать и скоро серьезно заболела. И судьба сложилась так, что наш домашний врач Сорбье, которому мама так доверяла, умер, и она долго его оплакивала. У госпожи Ролан был свой врач и приятель, какой-то итальянец, весьма знамени-

тый, как она говорила. Отец, естественно, иногда обращался к нему, был доволен и порекомендовал его моей матери, которая, увы, согласилась... Он ее пользовал, когда она в последний раз занемогла.

При этих словах глаза г-жи д'Арвиль наполнились слезами.

— Мне стыдно признаться в моей слабости, монсеньор, — продолжала она. — Но именно потому, что этого врача порекомендовала моему отцу госпожа Ролан, он вызывал у меня, хотя и без всякой причины, какое-то невольное подозрение. Я чего-то боялась, глядя, как моя мама доверяется этому пусть ученому, но незнакомому доктору Полидори...

— Что вы сказали? — вскричал Родольф.

— Что с вами, монсеньор? — удивленна спросила Клеманс, глядя на исказившееся лицо Родольфа.

— Нет, быть не может, — пробормотал про себя принц. — Я наверняка ослышался. Вот уже пять-шесть лет назад мне говорили, что Полидори года два скрывается в Париже под чужим именем... Не его ли я видел вчера, этого шарлатана Брадаман-

ти? И все-таки два имени... какое совпадение![86] Простите, несколько слов об этом докторе Полидори, — сказал Родольф маркизе д'Арвиль, которая глядела на него с возрастающим удивлением. — Сколько лет этому вашему итальянцу?

— Лет пятьдесят примерно.

— А каков он собой?

— Довольно мрачный... Никогда не забуду его глаза, светло-зеленые, и его нос, горбатый, как огромный клюв...

— Он, точно он! — воскликнул Родольф. — И вы думаете, мадам, что этот доктор Полидори все еще живет в Париже?

— Не знаю, монсеньор. Примерно через год после новой женитьбы моего отца он покинул Париж. Одна из моих знакомых, которую в то время пользовал этот врач-итальянец, герцогиня де Люсене...

— Герцогиня де Люсене? — воскликнул Родольф.

— Да, монсеньор... Чем вы так удивлены?

— Позвольте мне не ответить вам. Но расскажите, что было в то время между герцогиней де Люсене и тем итальянцем?

---

[86] Notes: 86

Напомним читателю, что Полидори был тем самым ученым медиком, который вознамерился стать воспитателем Родольфа.

— Знаю только, что после отъезда из Парижа он часто писал ей довольно остроумные письма, рассказывал о странах, где побывал, потому что он много путешествовал... А потом... Помню, месяц назад я как-то спросила герцогиню де Люсене о Полидори, а она замялась- и сказала, что давно о нем не слышала, что не знает, где он и что с ним сталось, и даже ходят слухи, будто он умер,

— Поразительно! — воскликнул Родольф, сразу вспомнив о том, что герцогиня де Люсене приходила к шарлатану Брадаманти.

— По-видимому, вы тоже знаете этого человека, монсеньор?

— Да, к несчастью... Но, бога ради, продолжайте ваш рассказ! Я вам потом скажу, кто такой этот Полидори...

— Как? Этот врач?

— Скажите лучше: злодей, запятнанный самыми гнусными преступлениями!

— Преступлениями? — в ужасе вскричала г-жа д'Арвиль. — Он совершал преступления, этот человек, друг госпожи Ролан и врач моей матери? Моя мать умерла у него на руках, проболев всего несколько дней!.. Ах, монсеньор, вы пугаете меня! Вы говорите обо всем этом слишком много... но все же не до конца...

— Я не обвиняю этого человека в еще одном преступлении, не обвиняю вашу мачеху в немыслимом двуличии, я говорю только, что вы должны благодарить бога за то, что ваш отец после женитьбы на госпоже Ролан не прибегал к услугам этого доктора Полидори.

— О господи! — воскликнула г-жа д'Арвиль душераздирающим голосом. — Значит, предчувствия не обманывали меня!

— Ваши предчувствия?

— Да, монсеньор. Я вам уже говорила о подозрениях, которые внушал мне этот врач, потому что его пригласила к нам в дом госпожа Ролан. Но я сказала вам не все, монсеньор...

— Как не все?

— Я боялась бросить тень, на невиновного под влиянием тяжелых воспоминаний. Но теперь я скажу вам всю правду, монсеньор. Мать болела вот уже пять дней, и я не отходила от нее. Однажды вечером я вышла подышать на террасу нашего дома. Минут через пятнадцать я возвращалась по длинному, темному коридору. Дверь в комнату госпожи Ролан была приоткрыта, и я в полумраке увидела, как из нее выходил господин Полидори. Эта женщина провожала его. Я спряталась в тени, и они меня не заметили. Госпожа Ролан сказала

ему что-то, но я не могла расслышать ее слов. Однако врач ответил ей громче, и я услышала одно слово: «Послезавтра!» И поскольку госпожа Ролан продолжала говорить с ним шепотом, я услышала, как он ответил ей с особенным выражением: «Послезавтра, говорю вам, послезавтра, и не позднее!» Что означали его слова? Что они означали, монсеньор? В среду вечером господин Полидори говорил: «Послезавтра!» В пятницу моя мать умерла...

— Это ужасно!

— Когда я подумала обо всем этом и вспомнила, об этих его словах, — «послезавтра, и не позднее!» — которые как бы предсказывали день смерти моей матери, мне пришла в голову одна мысль: господин Полидори. зная, что моей матери осталось недолго жить, поспешил уведомить об этом госпожу Ролан... Ту самую госпожу Ролан, которая могла только радоваться ее близкой смерти! Одного этого было достаточно, чтобы возненавидеть этого мужчину и эту женщину! Но я никогда не могла даже подумать... Нет, нет, до сих пор я не могу поверить в столь ужасное преступление!..

— Полидори был единственным врачом, который пользовал вашу мать?

— За день до ее смерти он привез на консуль-

тацию кого-то из своих коллег. Как рассказал мне позднее отец, этот врач нашел состояние моей матери весьма опасным. После столь сурового приговора меня отвезли к одной из наших родственниц, которая очень любила мою мать. И та, не считаясь с моим юным возрастом, без обиняков рассказала мне, что я имела все основания ненавидеть госпожу Ролан. Она рассказала мне о честолюбивых замыслах этой женщины. Я была подавлена, я только тогда поняла, как страдала моя мать. Когда я снова увидела отца, мое сердце было разбито: он приехал за мной, чтобы увезти меня в Нормандию, где мы должны были провести первые дни траура. По дороге он часто плакал и говорил, что у него осталась только я одна и без меня он не вынес бы этого страшного несчастья. Я искренне отвечала ему, что он тоже остался у меня один на свете после смерти моей любимой матери. Он помешкал немного, а затем смущенно ответил, что вынужден оставить меня одну из-за разных неотложных дел, и без всякого перехода, самым естественным образом сообщил, что, по счастью для него и для меня, госпожа Ролан согласилась управлять домом и быть моей наставницей и подругой.

Удивление, негодование и боль не позволили

мне ответить; я только молча плакала. Отец спросил, в чем причина моих слез. Я воскликнула, может быть с излишним негодованием и горечью, что никогда не останусь под одной крышей с госпожой Ролан, потому что презираю эту женщину и ненавижу за все горе, которое она причинила моей матери. Он остался спокойным и, пожурив меня за то, что он называл ребячеством, холодно объявил мне, что решение его непреклонно и мне придется ему подчиниться.

Я умоляла его позволить мне удалиться в монастырь Сердца Иисусова, где у меня были подруги, обещая остаться там, пока он не сочтет нужным выдать меня замуж. Он ответил мне, что прошли те времена, когда женились у решеток монастыря, что в моих словах видит хотя и понятную, но неразумную чрезмерную чувствительность, которая скоро несомненно пройдет, поцеловал меня в лоб и назвал бедной дурочкой, Увы, мне пришлось подчиниться. Судите сами, монсеньор, как я страдала! Жить каждый день бок о бок с женщиной, которую я почти подозревала в смерти моей матери!.. Я предвидела, какие жестокие сцены будут возникать у меня с отцом, и знала, что никакое чувство почтительности не помешает мне выражать глубочайшее отвращение к

госпоже Ролан. Мне казалось, что таким образом я буду мстить за свою мать и любое доброе слово по отношению к этой женщине будет позорным святотатством.

— Господи, если бы, я знал, как вы страдали! Если бы я знал, сколько вам довелось претерпеть, я бы старался быть рядом с вами. Но ни одно ваше слово даже не позволяло догадываться...

— Потому что в то время, монсеньор, у меня не было извинений в моей непозволительной слабости... Я рассказываю вам так подробно о том периоде моей жизни, чтобы вы могли понять, в каком состоянии находилась я, когда вышла замуж... и почему я стала женой господина д'Арвиля, несмотря на все предубеждения, которые должны были меня удержать от этого шага.

Когда мы прибыли в Обье, поместье моего отца, первый, кто нас встретил, была госпожа Ролан. Она устроилась тут как хозяйка сразу же после смерти моей матери. Несмотря на видимую скромность и слащавость, она уже не скрывала торжествующей радости. Никогда не забуду ее иронического и в то же время злобного взгляда, которым она меня встретила. Казалось, она говорила: «Здесь я хозяйка, а ты — незваная гостья!» И еще одно горе поджидало меня: то ли из непоз-

волительного отсутствия деликатности, то ли из дерзкого бесстыдства эта женщина устроилась в комнате моей матери. Я была возмущена и пожаловалась отцу, что это немыслимо, недопустимо! Он сурово ответил мне, что это нисколько не должно меня удивлять, потому что отныне я должна почитать госпожу Ролан как мою вторую мать. Я ответила, что это равно надругательству над святым именем «мать», и, сколько он ни гневался, при каждой возможности выражала госпоже Ролан мое глубокое презрение. Он выходил из себя и не раз выговаривал мне перед этой женщиной. Он упрекал меня в холодности и неблагодарности по отношению к этому ангелу, которого судьба послала нам в утешение. «Прошу вас, отец, говорите только за себя», — однажды сказала я ему. Он ответил мне жестоко. Госпожа Ролан своим сахарным голоском вроде бы вступилась за меня с лицемерной добротой: «Будьте снисходительны к бедняжке Клеманс, ее сожаления о столь прекрасной матери, которую все мы оплакиваем, вполне понятны и похвальны, а потому нам следует простить ее выходки, ибо горе ее пока не утихло». — «Ну что? — спросил меня отец, показывая с восхищением на госпожу Ролан. — Разве ты не видишь, как она добра, как

великодушна? Ты должна признаться в этом и обнять ее!» — «Не надо, отец! Она меня не любит, и я ее ненавижу». — «Ах, Клеманс, вы меня очень огорчаете, но я вас прощаю», — сказала госпожа Ролан, возводя глаза к небесам. «Дружок мой! Моя благородная подруга! — взволнованно воскликнул отец! — Умоляю вас, успокойтесь! — Сжальтесь, ради меня, над этой дурочкой, которая даже не может вас оценить!» А затем, бросив на меня разъяренный взгляд, отец объявил: «Трепещи, несчастная! Если ты еще раз посмеешь оскорбить самую благородную душу на свете... Немедленно извинись перед ней!» — «Мать моя видит меня и слышит, — ответила я ему. — Она бы не простила мне такого малодушия». И я вышла, оставив отца утирать госпоже Ролан ее фальшивые слезы. Извините, монсеньор, за эти детские воспоминания, но только они помогут вам понять, как мне тогда жилось...

— Мне кажется, я сам душой участвовал в этих сценах, таких обыденных, правдивых и горьких. В скольких семьях они повторялись и 'будут бесчетно повторяться! Поведение госпожи Ролан весьма банально и очень хитро: сама простота ее подлого замысла ставит ее в ряд посредственных умов... Посудите сами! Вся беда не в том, что она

была хитра, а в том, что ваш отец был слеп; но как же смотрели на нее соседи?

— Как на мою воспитательницу... и его подругу. И относились к этому спокойно.

— Не знаю, стоит ли спрашивать... Очевидно, ваш отец жил все так же уединенно?

— К нему изредка приезжали соседи и люди по делам, кому он не мог отказать, а больше никто. Мой отец полностью отдался своей страсти и, наверняка по настоянию госпожи Ролан, едва минуло три месяца после смерти моей матери, отказался от траура, объявив, что носит траур в душе. Его холодность ко мне возрастала изо дня в день, его безразличие доходило до того, что он предоставлял мне полную свободу, немыслимую для девушки моего возраста. Я видела его за завтраком; потом он уходил к себе с госпожой Ролан, которая вела его деловую переписку как секретарь, потом он выходил или выезжал с ней и возвращался только к обеду... Госпожа Ролан переодевалась в новое, прелестное платье; отец одевался с необычайной изысканностью, смешной в его возрасте. Иногда после обеда он принимал у себя людей. Потом до десяти часов играл с госпожой Ролан в триктрак, а затем предлагал ей руку, чтобы отвести в комнату моей

матери, целовал ей руку и почтительно удалялся. А я могла делать все, что хотела, ездить на лошади в сопровождении слуги или гулять, сколько вздумается, по лесам в окрестностях замка. Иногда мне бывало так грустно, что я не приходила к завтраку; отец этого даже не замечал...

— Какое странное равнодушие! Какое невнимание...

— Несколько раз подряд, когда я ездила верхом, я встречала в лесу одного из наших соседей. Я отказалась от этих прогулок и больше не выходила из парка.

— Но как вела себя эта женщина, когда вы оставались наедине?

— Так же как и я, она по возможности избегала подобных встреч. Однажды, намекая на суровые слова, которые я сказала ей накануне, она холодно заметила мне: «Поостерегитесь! Вы собираетесь бороться со мной? Вам не поздоровится!» — «Как моей матери? — спросила я ее. — К сожалению, госпожа Ролан, теперь не будет господина Полидори, который скажет вам, что это случится... послезавтра». Эти слова произвели на госпожу Ролан такое впечатление, что она едва опомнилась. Теперь, когда я знаю благодаря вам, монсеньор, кто такой этот доктор Полидори и на

что он способен, невольный ужас госпожи Ролан, когда я напомнила ей его загадочные слова, мог бы подтвердить мои самые тяжкие подозрения... Но нет, нет, я не хочу в это верить! Мне будет слишком страшно думать, что сейчас мой отец почти полностью во власти этой женщины.

— А что она вам ответила, когда вы напомнили ей эти слова Полидори?

— Сначала она покраснела, потом справилась с волнением и холодно спросила, что я имею в виду. «Когда вы останетесь наедине с собой, сударыня, задайте себе этот вопрос и получите от себя же ответ», — сказала я. Вскоре после этого произошла сцена, которая, по сути говоря, решила мою судьбу. Среди множества картин, висевших в гостиной, где мы все собирались по вечерам, находился портрет моей матери. Но однажды я заметила, что он исчез. С нами обедали в тот день два наших соседа; один из них, местный нотариус господин Дорваль, всегда относился к моей матери с величайшим почтением. Войдя в гостиную, я спросила отца: «Где портрет моей матери?»

«Эта картина навевала на меня такую печаль...» — смущенно ответил он, показывая кивком на гостей, невольных свидетелей нашего разговора. «А где теперь этот портрет?»

Нетерпеливо повернувшись к госпоже Ролан, он вопросительно взглянул на нее. «Куда унесли портрет?» — «В кладовую для старой мебели», — ответила она и посмотрела на меня с вызовом, уверенная, что я не посмею ей ничего сказать при посторонних. «Я понимаю, сударыня, — холодно сказала я, — что вам было не по себе от ее взгляда, но это еще не причина, чтобы отправить на чердак портрет женщины, которая призрела вас в вашем ничтожестве и милостиво позволяла жить в своем доме».

— Великолепно! — воскликнул Родольф. — Такое ледяное презрение должно было ее раздавить.

— «Мадемуазель!» — вскричал мой отец. Но я прервала его: «Вы должны признать, что особа, трусливо оскорбляющая память женщины, подавшей ей милостыню, не заслуживает ничего, кроме презрения и отвращения».

Мой отец на мгновение замер, пораженный, а госпожа Ролан побагровела от стыда и злости. Смущенные соседи сидели молча, опустив глаза. «Мадемуазель! — вновь заговорил мой отец. — Вы забываете, что она была подругой вашей матери, вы забываете, что она по-матерински заботилась и заботится о вашем воспитании, и, наконец, вы

забываете, что я отношусь к ней с глубочайшим почтением. А поскольку вы позволили себе столь недостойную выходку в присутствии этих господ, я скажу вам напрямик: только трусливые и неблагодарные особы, забывая о нежных заботах, могут упрекать в благородной бедности ту, кто заслуживает сочувствия и уважения». — «Я не могу себе позволить обсуждать с вами этот вопрос», — ответила я покорным голосом. «Может быть, мадемуазель соизволит поговорить об этом со мной? — вскричала госпожа Ролан, которую злоба заставила на сей раз забыть об осторожности. — Может быть, вы осчастливите меня хотя признанием, что мне. вовсе не за что благодарить вашу мать, что я могу помнить только о ее холодности, которую она мне всегда выказывала, ибо лишь помимо ее воли я смогла...» — «Ах, сударыня, — сказала я, прерывая ее. — Из уважения к моему отцу или хотя бы из чувства скромности избавьте нас от этих постыдных признаний, иначе я буду очень сожалеть, что вынудила вас к таким унизительным разоблачениям...» — «Как вы смеете, мадемуазель! — закричала она вне себя от гнева. — Вы осмеливаетесь говорить...» — «Я говорю, сударыня, — снова прервала я ее, — что если моя мать и позволила вам жить в ее

доме, вместо того чтобы выставить за порог, на что у нее были все основания, своим презрением давала вам ясно понять, что ее терпимость по отношению к вам была вынужденной».

— Прекрасно сказано! — восхитился Родольф. — Это же просто приговор! Ну а что эта женщина?

— Госпожа Ролан решила закончить эту сцену самым вульгарным, но вполне надежным способом. Она закричала: «Боже мой, боже мой!» — и упала в обморок. Оба наших соседа воспользовались этим и выскочили из комнаты, якобы чтобы позвать кого-нибудь на помощь. Я последовала их примеру, оставив растерянного отца хлопотать над госпожой Ролан.

— Представляю себе, с каким гневом он обрушился на вас потом!

— Он пришел ко мне на следующее утро и сказал: «Чтобы на будущее избежать ваших сцен, подобных вчерашней, заявляю вам, что, как только истечет кратчайший срок моего и вашего траура, я женюсь на госпоже Ролан. Поэтому отныне вы должны относиться к ней с уважением, которое заслуживает... моя супруга. По некоторым причинам необходимо, чтобы вы вышли замуж до нашей свадьбы. Состояние вашей матери достигает более миллиона; это ваше приданое.

Начиная с сегодняшнего дня я займусь вашим будущим и постараюсь найти вам достойного супруга; ко мне уже обращались с соответствующими предложениями. Упорство, с которым вы преследуете, несмотря на все мои просьбы, дорогую мне женщину, говорит о вашей дочерней привязанности. Госпоже Ролан безразличны ваши наскоки, но я не потерплю, чтобы подобные безобразные сцены повторялись в присутствии посторонних в моем собственном доме. Отныне вы сможете находиться в гостиной только тогда, когда в ней будем одни мы с госпожой Ролан».

После этого разговора я стала совсем затворницей. Отца я видела только за столом, где все хранили мрачное молчание. Жизнь моя была так печальна, что я с нетерпением ждала, чтобы отец предложил мне хоть кого-нибудь в супруги, и заранее готова была на все. Госпожа Ролан не решалась больше плохо говорить о моей матери, но вымещала всю свою злобу на мне, заставляя каждый миг мучительно страдать. Она нарочно пользовалась тысячами мелочей, которые принадлежали моей матери: ее креслом, ее пяльцами для вышивания, книгами из ее личной библиотеки и даже ее подносиком для лекарств, на который я сама вышила салфетку с ее иници-

алами посередине... Она пачкала и опошляла все своим прикосновением...

— Я понимаю, как это было для вас мучительно!

— Тем более что полное одиночество усугубляло мои страдания.

— Неужели у вас не было никого, кому вы могли бы довериться? -

— Никого... Впрочем, я получила одно трогательное доказательство участия ко мне, которое могло просветить меня относительно моего будущего. Одним из двух свидетелей той сцены, когда я так сурово обошлась с госпожой Ролан, был, как я уже говорила, господин Дорваль, старый и честный нотариус, которому моя мать оказала несколько услуг, в частности, устроила судьбу одной его племянницы. После запрета моего отца я никогда не спускалась в салон, если в нем были посторонние, поэтому больше ни разу не видела Дорваля. Но однажды, к моему великому изумлению, он сам подошел ко мне с таинственным видом на аллее парка, где я обычно гуляла. «Мадемуазель, — сказал он, — я боюсь, что господин граф застанет нас, поэтому скорее возьмите это письмо, прочтите и сразу сожгите. Речь идет об очень важных для вас вещах». И он поспешно

удалился.

В этом письме он сообщал о намерении отца выдать меня за маркиза д'Арвиля; партия казалась, со всех точек зрения вполне подходящей; маркиз, обладал многими неоспоримыми достоинствами, был молод, богат, отличался умом и приятной внешностью, и тем не менее две семьи, к чьим дочерям по очереди сватался маркиз д'Арвиль, по каким-то причинам внезапно отказывали ему. Нотариус не знал причин этих двух отказов, но считал своим долгом предупредить меня, хотя и не знал за маркизом ничего предосудительного. Две девушки, к которым он сватался, были одна — дочь пэра Франции господина де Борегара, вторая — дочь лорда Болтропа. Дорваль сообщил мне об этом потому, что мой отец в своем нетерпении поскорее выдать меня замуж, по-видимому, не придавал никакого значения этим обстоятельствам.

— Да, в самом деле, — сказал Родольф, минуту подумав. — Теперь я припоминаю, что ваш муж сообщал мне сначала об одном своем сватовстве, а через год — о другом, и оба раза брачные договоры внезапно расторгались незадолго до свадьбы, по причинам денежных разногласий, как он мне писал.

Г-жа д'Арвиль горько усмехнулась и сказала

— Сейчас вы узнаете всю правду, монсеньор... Прочитав письмо старого нотариуса, я ощутила одновременно любопытство и беспокойство. Кто такой этот маркиз д'Арвиль? Мой отец никогда не говорил мне о нем. Я напрасно рылась в памяти, но не могла даже вспомнить его имени. Вскоре госпожа Ролан, к моему великому удивлению, уехала в Париж. Она отсутствовала неделю, не больше, но отец все равно жестоко переживал даже такую краткую разлуку. Его характер заметно портился, он становился ко мне все холоднее. Однажды, когда я спросила, как он себя чувствует, он резко ответил: «Очень плохо, и все из-за вас!» — «Из-за меня?» — «Конечно! Вы знаете, как я привык к госпоже Ролан, а теперь эта восхитительная женщина, которую вы так оскорбили, ради вас отправилась в эту поездку и находится вдали от меня».

Такое проявление Интереса ко мне со стороны госпожи Ролан испугало меня. Я смутно догадывалась, что речь идет о моем замужестве. Можете представить себе, монсеньор, как обрадовался отец возвращению моей будущей мачехи. Назавтра он попросил меня зайти к нему; они были вдвоем.

«Я давно думал о вашем будущем, — сказал отец. — Срок вашего траура истечет через месяц. Завтра к нам приедет господин маркиз д'Арвиль, замечательный молодой человек, богатый и во всем вас достойный. С ним вы будете счастливы. Он видел вас в свете и живо заинтересован в этом браке. Все деловые вопросы уже улажены. Поэтому только от вас зависит, чтобы свадьба состоялась не позднее чем через полтора месяца. Если же по какому-нибудь внезапному капризу вы откажетесь от этой превосходной партии, на которую я даже не мог надеяться, я все равно женюсь, как я вам объявил, сразу же по окончании моего траура. В последнем случае, должен вас предупредить, ваше присутствие здесь будет возможным лишь в том случае, если вы обещаете выказывать моей жене любовь и уважение, какого она заслуживает». — «Понимаю, отец, — сказала я. — Если я не выйду за д'Арвиля, вы женитесь на госпоже Ролан, и тогда ни у вас, ни у нее не останется никаких возражений против того, чтобы я удалилась в монастырь Сердца Иисусова». — «Никаких», — холодно подтвердил отец.

— Увы, это уже не душевная слабость, а самая настоящая жестокость! — воскликнул Родольф.

— Поверьте, монсеньор, я никогда не обижалась на отца. И знаете почему? У меня было предчувствие, что когда-нибудь он заплатит, и, увы, очень дорого, за свою слепую страсть к госпоже Ролан. Слава богу, что день этот еще не пришел.

— И вы ничего ему не сказали о письме старого нотариуса, о двух случаях, когда с маркизом д'Арвилем внезапно расторгали брачный контракт?

— Да, монсеньор, сказала... В тот день я попросила отца разрешения поговорить с ним несколько минут наедине. «У меня нет секретов от госпожи Ролан, — ответил он. — Можете говорить при ней». Я хранила молчание. «Еще раз повторяю: у меня нет от нее секретов! — сурово сказал отец. — Поэтому говорите открыто!» — «Если позволите, я подожду, когда вы освободитесь и будете один». Внезапно госпожа Ролан вскочила и выбежала. «Теперь вы довольны? — спросил отец. — Что ж, говорите!»

«У меня нет никаких возражений против партии, которую вы мне предлагаете. Однако я узнала, что господин д'Арвиль дважды сватался, но в последний момент ему оба раза отказывали...» — «Знаю, знаю, — прервал меня отец. — Все эти разрывы произошли на почве денежных

разногласий, но в обоих случаях маркиз д'Арвиль проявил благородство и его не в чем упрекнуть. Если у вас нет других возражений, можете считать себя женой маркиза, и счастливой женой!.. Потому что я искренне желаю вам счастья».

— Госпожа Ролан, наверное, была в восторге от этой партия?

— В восторге? Да, монсеньор, — с горечью ответила Кле-манс. — Еще бы! Ведь это было делом ее рук. Она первая подала моему отцу эту мысль... Она прекрасно знала истинную причину, по которой д'Арвилю дважды отказывали. Именно поэтому она и хотела выдать меня за него замуж.

— Но с какой целью?

— Она хотела отомстить мне, обрекая на ужасную судьбу.

— Но ваш отец?

— Госпожа Ролан обманула его, и он поверил, что причиной отказов д'Арвилю были денежные разногласия.

— Какой гнусный замысел!.. Но в чем же была истинная причина?

— Сейчас я скажу вам, монсеньор. Маркиз д'Арвиль приехал к нам в Обье. Его манеры, его остроумие, «го внешность понравились мне; у него было доброе, чуть грустное лицо, мягкий

характер. Я заметила в нем одну не совсем понятную, но довольно привлекательную особенность: он был очень образован и знатен, обладал прекрасным состоянием, и все же лицо его, обычно энергичное и решительное, вдруг становилось испуганным и робким, выражая уныние и трогательную неуверенность в себе. Мне было также приятно видеть, с какой очаровательной добротой он относится к своему старому слуге, который его вырастил и служил ему до сих пор, потому что маркиз доверялся только ему одному. Через какое-то время д'Арвиль вдруг заперся и не выходил из своей комнаты два дня. Отец захотел его увидеть, но старый слуга этому категорически воспротивился. Он сказал, что его хозяина мучит такая жестокая мигрень, что он не может принять никого. Когда вышел на третий день, я нашла, что он очень бледен и сильно изменился. Позднее его всегда раздражали и огорчали любые разговоры об этом его коротком недомогании... По мере того как я узнавала д'Арвиля, я находила в нем все больше привлекательных черт. Он имел все основания быть счастливым, но никогда этим не кичился. Срок нашей свадьбы был установлен, и он старался предупредить малейшие мои желания во всем, что касалось нашего будущего.

Если я иногда его спрашивала о причинах его мимолетной грусти, он мне рассказывал о своих родителях, которые были бы счастливы и горды тем, что сын их наконец нашел себе невесту по сердцу и по вкусу. Я была бы неблагодарной, если бы не приняла столь лестного для себя объяснения. Маркиз д'Арвиль догадался, в каких отношениях я была с госпожой Ролан и с отцом, хотя последний, обрадованный моим близким замужеством, которое приближало день его собственной свадьбы, стал ко мне заметно добрее и нежнее. Во время наших многих разговоров д'Арвиль с большим тактом и осторожностью давал мне понять, что любит меня еще больше за мои прошлые страдания. Я сочла нужным по этому поводу предупредить его, что мой отец собирается снова жениться, и начала рассказывать, как этот брак может отразиться на моем состоянии, но он не дал мне закончить, выказав самое благородное бескорыстие. Я подумала, что, наверное, семьи, с которыми он хотел породниться, оказались очень уж скряжными, если отвергли его из-за каких-то денежных интересов.

— Да, именно таким я его и знал, — подтвердил Ро-дольф. — Добросердечным, преданным и деликатным... Но вы никогда не говорили с ним об

этих несостоявшихся браках?

— Признаюсь вам, монсеньор, этот вопрос много раз возникал у меня на губах, но он был так добр, так предан, что я каждый раз умолкала, боясь ранить его преданность и доброту... Чем ближе подходил день нашей свадьбы, тем счастливее был господин д'Арвиль. И все же временами он впадал в мрачное уныние... Однажды он с печалью посмотрел на меня и глаза его наполнились слезами. Он казался очень удрученным, как будто хотел, но не решался доверить мне важный секрет... Я подумала, что он вспоминает о тех непонятных, болезненных отказах... Признаюсь, мне стало страшно. Тайное предчувствие предупредило меня, что речь идет, по-видимому, о чем-то ужасном, способном искалечить всю мою жизнь. Но я так настрадалась в доме моего отца, что подавила мои страхи...

— И д'Арвиль ничего вам не открыл?

— Ничего. Когда я спросила о причинах его печали, он ответил: «Простите, просто у меня такая грустная радость».

Эти слова, произнесенные трогательным тоном, немного успокоили меня... К тому же как я могла сомневаться, когда глаза его были полны слез, как могла оскорбить его недоверием из-за

его прошлого?

Свидетели со стороны маркиза д'Арвиля, герцог де Люсене и виконт де Сен-Реми, прибыли в Обье за несколько дней до нашей свадьбы, на которую были приглашены только наши ближайшие родственники. Сразу же после брачной церемонии мы должны были отправиться в Париж... Я не испытывала к маркизу любви, но он был мне симпатичен; его характер вызывал уважение. Если бы не события, последовавшие за моим роковым замужеством, я бы, наверное, нежно привязалась к нему. Итак, мы обвенчались.

При этих словах г-жа д'Арвиль побледнела, казалось, решимость покидает ее. Но затем она продолжала:

— Сразу после свадьбы отец нежно обнял меня. Госпожа Ролан тоже поцеловала меня, и я не могла при всех уклониться от этого лицемерного поцелуя. Своей белой сухой рукой она с такой силой сжала мою руку, что мне стало больно, и прошептала мне на ухо слащавым голоском коварные слова, которые я не забуду никогда: «Вспоминайте изредка обо мне, наслаждаясь своим счастьем, ибо это я устроила вашу свадьбу!»

Увы, я не могла тогда понять истинный смысл ее слов. Венчание закончилось в одиннадцать

часов. Сразу после этого мы сели в карету; с нами была моя горничная и старый слуга маркиза. Мы ехали так быстро, что должны были добраться до Парижа часам к десяти вечера.

Меня бы удивила молчаливость и уныние д'Арвиля, если бы я не знала, что у него, как он говорил, радость печальная. Да и сама я волновалась и тосковала: я возвращалась в Париж первый раз после смерти матери, а кроме того, как ни горько мне жилось с отцом, все-таки это был мой родной дом, и я покидала его, Чтобы поселиться в чужом доме, где все для меня будет новым и незнакомым. Я останусь там одна со своим мужем, которого знаю всего полтора месяца и который еще накануне обращался со мной с изысканной вежливостью, не более. Вряд ли кто до конца понимает, какой страх внушают нам перемены в обращении даже самых воспитанных мужчин, когда мы становимся, их женами. Никто не думает, что молодой женщине трудно за несколько часов преодолеть девичью робость и смущение.

— Мне всегда казался диким и варварским этот обычай так бесцеремонно и грубо увозить молодую жену, словно военную добычу, вместо того чтобы окружить ее нежностью и деликатностью

и со всей осторожностью страсти пробудить ее к любви.

— Значит, вы понимаете, монсеньор, с каким тяжелым сердцем и с какими опасениями возвращалась я в этот город, где совсем недавно умерла моя мать. И вот мы приехали в дом д'Арвилей.

Волнение молодой женщины удвоилось, на щеках появился жгучий румянец, и она горестно воскликнула:

— И вое же вам надо знать все до конца, иначе вы будете меня презирать еще больше! Так вот, — продолжала она с решимостью отчаяния, — меня проводили в предназначенные для меня покои и оставили одну... Вскоре господин д'Арвиль пришел ко мне... Несмотря на всю его предупредительность и нежность, я умирала от страха... Рыдания душили меня... Но я принадлежала ему... Нужно было отрешиться от себя... И вдруг мой муж испустил ужасный крик, схватил меня так, что кости затрещали, но я не могла вырваться из его железных объятий... Я молила его сжалиться, но он меня не слышал... Лицо его исказили страшные конвульсии, глаза вращались в орбитах с завораживающей быстротой, из перекошенного рта шла кровавая пена, и он все равно не отпускал меня... Я потеряла сознание,

когда маркиз д'Арвиль забился в судорогах в пароксизме этого ужасного припадка. Вот такой была моя брачная ночь, монсеньор... Такова была месть госпожи Ролан!

— Несчастная женщина! — горестно воскликнул Родольф. — Я все понял, это эпилепсия... Какой ужас!

— И это еще не все, — добавила Клеманс душераздирающим голосом. — О, эта роковая ночь... будь она проклята навсегда! Моя доченька, мой бледный ангелочек унаследовала эту ужасную болезнь.

— Значит, ваша дочь тоже?.. Значит, отсюда ее бледность и слабость?

— Да, отсюда. О господи, да, это так, и врачи говорят, что эта болезнь неизлечима... потому что она наследственная...

Маркиза д'Арвиль спрятала лицо в ладони; мучительное признание истощило ее, и она не могла больше произнести ни слова.

Родольф тоже молчал.

Мысль его невольно отступала перед ужасами этой трагической брачной ночи... Он представлял себе эту юную девушку, огорченную и подавленную возвращением в город, где умерла ее мать, представлял, как она вошла в незнакомый, чужой

дом и осталась наедине с мужчиной, к которому испытывала только симпатию и уважение, но ничего похожего на любовь, на сладостное смущение, на то пьянящее чувство, которое заставляет женщину забыть целомудренные страхи и предаться очарованию законной и разделенной страсти.

Нет, ничего этого не было. Дрожа от стыда и страха, Клеманс ждала, печальная и холодная, с разбитым сердцем, с пылающим лицом, с глазами, полными слез... Она решается, уступает... но вместо слов любви и нежности, вместо слов утешения и благодарности за счастье, которые она подарила, она слышит рычание безумца и видит у своих ног человека, пораженного самой ужасающей из всех неизлечимых болезней, который хрипит с кровавой пеной у рта и бьется в страшных судорогах.

И это не все! Ее дочь, бедный невинный ангелочек, тоже обречена от рождения.

Мучительные и горькие признания Клеманс пробудили у Родольфа мрачные мысли.

«Таковы законы этой страны, — говорил он себе. — Прелестная юная девушка, чистая, преданная и доверчивая, становится жертвой гнусного обмана и соединяет свою судьбу с человеком,

пораженным ужасной болезнью, которая передается по наследству его детям. Несчастная женщина слишком поздно узнает эту страшную тайну. Но что она может сделать? Ничего.

Ей остается только страдать и плакать, стараться превозмочь свой ужас и отвращение, проводить дни в агонии нескончаемых страхов, да еще, может быть, искать на стороне утешения в том беспросветном горе, на которое ее обрекли.

И снова эти жестокие законы, — говорил себе Родольф, — невольно наводят на горькие мысли, на сравнения, унизительные для человека.

По этим законам животные ставятся выше человека. О животных заботятся, улучшают их породу, оберегают их потомство.

Когда вы покупаете какое-нибудь животное, то, если у него вдруг обнаруживается какой-то недостаток или болезнь, сделку тут же аннулируют. Еще бы! Ведь это возмутительное преступление против общества заставлять человека держать больное животное, которое кашляет, бодается или хромает! Да ведь это скандал, преступление, чудовищная жестокость! Подумайте сами, каково это содержать всю жизнь чахоточного мула, бодливую корову или хромого осла! Какими страшными последствиями это может обернуть-

ся для всего человечества? Поэтому такую сделку отменяют, от договоренности отказываются, контракт расторгают. Всемогущий закон развязывает нам руки.

Но если речь идет о существе, созданном по образу и подобию божию, если юная девушка по своей невинности и доверчивости выходит замуж за человека, который потом оказывается эпилептиком, полубезумцем, пораженным одним из самых страшных недугов со всеми его ужасающими моральными и физическими последствиями, болезнью, которая разрушает и позорит семьи и способна поразить всех его потомков...

О, тот же закон, неумолимый по отношению к бодливым, хромым или кашляющим животным, тот же предусмотрительный закон, который запрещает использовать жеребца с пороками как производителя, этот закон не может спасти жертву обмана от противоестественного супружества.

Ибо узы священны и нерасторжимы, и разбить их — значит нанести оскорбление людям и господу богу.

Поистине, — говорил себе Родольф, — человек порой бывает подл до низости и эгоистичен до

отвращения... Он сам ставит себя ниже всякого животного, здоровье которого оберегает, отказывая в этом себе. Он губит сам себя, навязывая и передавая ближним самые ужасные болезни, потому что они находятся под охраной незыблемых законов, божеских и человеческих».

Глава XVII.
МИЛОСЕРДИЕ

Родольф сурово порицал д'Арвиля, но он обещал себе хоть как-то оправдать его в глазах Клеманс, хотя после ее горьких признаний понял, что маркиз навсегда стал рабом своей страсти. Он думал и думал и наконец сказал себе: «Долг повелел мне удалиться от любимой женщины, которая, наверное, уже относилась ко мне благосклонно. Может быть, из сердечного одиночества, может быть, из ложной жалости она едва не потеряла честь и жизнь из-за какого-то глупца, которого досчитала несчастным. Если, вместо того чтобы избегать ее, я окружил бы ее заботами, любовью и уважением, я бы держался так осторожно, что на ее репутации не было бы ни малейшего пятнышка, и муж никогда бы ни в чем ее не заподозрил. А теперь она почти во власти этого фата Шарля Робера, и я боюсь, что он поведет себя подло и нескромно, тем более что у него нет для этого ни малейшего повода.

И еще одно. Кто знает, не займет ли сердце мадам д'Арвиль кто-нибудь другой, несмотря на все

перенесенные ею опасности? Вернуться к мужу она не может, это немыслимо... А она молода, красива, богата и по характеру склонна сочувствовать всем, кто страдает... Сколько опасностей ей угрожает! Сколько разочарований! А для д'Арвиля — сколько мучительных тревог и горя! Он сгорает от ревности и любви к своей жене, которая неспособна превозмочь отвращения и ужаса после той кошмарной первой брачной ночи... Несчастная его судьба!»

Клеманс сидела, подпирая ладонью лоб; глаза ее были полны слез, щеки горели от стыда после столь тяжких признаний, и она избегала взгляда Родольфа.

— Увы, теперь я понимаю причину безнадежной печали маркиза д'Арвиля, — снова заговорил Родольф после долгого молчания. — Раньше я не мог ее разгадать... Теперь понимаю все его муки и сожаления...

— Его сожаления? — вскричала Клеманс. — Скажите лучше: угрызения совести!.. Если только он может их испытывать, ибо никогда еще подобное преступление не было так расчетливо и холодно задумано.

— Преступление?

— А как это еще назвать? Намеренно привязать

к себе нерасторжимыми узами юную девушку, которая вам доверилась, и знать при этом, что вы поражены неизлечимой болезнью, внушающей страх и отвращение! И при этом знать, что наверняка обрекаешь своего несчастного ребенка на такие же муки! Кто принудил д'Арвиля принести нас в жертвы обеих, меня и мою дочь? Неудержимая, слепая страсть? Вовсе нет. Ему подошло мои происхождение, мое состояние и я сама, и он решил вступить в достойный для себя брак, потому что ему наскучила жизнь холостяка.

— Сударыня, имейте хотя бы жалость...

— Жалость? Знаете, кто действительно ее заслуживает, моей жалости? Это моя дочь. Несчастная жертва нашего противоестественного брака. Сколько ночей, сколько дней просидела я рядом с нею! Сколько горьких слез пролила, глядя на ее страдания!..

— Однако ее отец... тоже испытывал незаслуженные страдания.

— Но это ее отец обрек ее на болезненнее детство, на загубленную юность и на жизнь, — если она останется жива! — полную горя и одиночества, ибо она никогда не выйдет замуж. О нет, я слишком люблю ее, чтобы она когда-нибудь проливала слезы над своим ребенком, пораженным

роковым недугом, как я сегодня плачу над ней... Я слишком настрадалась из-за этого предательства, чтобы стать виновницей или сообщницей подобной же измены.

— Да, вы были правы, месть вашей мачехи ужасна... Но потерпите... Может быть, и вы когда-нибудь будете отомщены, — сказал Родольф после недолгого раздумья.

— Что вы хотите этим сказать, монсеньор? — спросила Клеманс, пораженная его тоном.

— Мне почти всегда улыбалось счастье видеть, как злодеи, которых я знавал, бывали наказаны, и прежестоко, — ответил он с выражением, заставившим Клеманс содрогнуться. — Но что сказал вам муж после той ужасной ночи?

— Он признался со странной наивностью, что семьи, с которыми он хотел породниться, узнали о его тайном недуге и тотчас разорвали брачные контракты. А потому, после того как его дважды отвергли, он все же попытался... О господи, как это недостойно! И подумать только, что его до сих пор принимают в свете как честного и благородного дворянина!

— Вы такая добрая, а сейчас вы жестоки.

— Я жестока потому, что была недостойно обманута. Господин д'Арвиль знал, что я добра, почему

же он не обратился искренне к моей доброте, почему не сказал всю правду?

— Вы бы его отвергли...

— Это слово звучит как приговор, монсеньор, ибо он подло обманул меня, потому что знал о грозящей нам опасности...

— Но он любил вас!

— Если бы он любил, мог ли он принести меня в жертву своему эгоизму? Господи, если бы я не была в таком горе, не так спешила покинуть дом моего отца, будь мой муж до конца искренним, может быть, он тронул бы меня своим раскаянием, своим одиночеством, на которое его обрекала жестокая и неотвратимая судьба... Да, если бы я узнала его таким честным и несчастным, я бы, наверное, не нашла в себе смелости ему отказать. И если бы я согласилась принять на себя все священные обязательства супружеской преданности, я бы с мужеством сдержала свои обещания. Но поставить меня в полную зависимость, сначала взывая к моему долгу и к моему милосердию, а потом к моим обязанностям супруги, он, который предал свои обязанности мужа и честного отца... Это было трусостью и безумием! Теперь, монсеньор, судите сами, какова была моя жизнь. Судите о моих горчайших разочарова-

ях! Я верила в честность господина д'Арвиля, а он меня жестоко обманул. Меня тронула его нежная грусть, которую он объяснял печальными воспоминаниями, а она была всего лишь следствием его неизлечимого недуга.

— Но все-таки, неужели он стал вам так чужд и враждебен? Неужели его страдания не разжалобили вас, ваше благородное и милостивое сердце?

— Как я могла утешиться в моем горе! Если бы кто-то услышал мои жалобы, если бы чей-то сочувственный взгляд ответил мне... Увы! О, вы не знаете, монсеньор, как ужасны эти приступы, когда человек извивается в диких судорогах, ничего не видит, ничего не слышит и ничего не чувствует, а потом впадает в мрачную апатию. Когда у моей дочери случился такой приступ, я была в отчаянии; сердце мое разрывалось, я обливала слезами ее несчастные холодные ручки, сведенные судорогами, которые ее убивали... И это моя дочь, моя дочь! И когда я вижу, как она страдает, я тысячу раз снова проклинаю ее отца. Когда мучения моего ребенка утихают, утихает и моя ненависть к моему мужу. И тогда, тогда я жалею его, потому что я добра, и мое отвращение уступает место горькой жалости... Но неужели я

вышла замуж в семнадцать лет только для того, чтобы всегда испытывать поочередно чувство ненависти и презрительного сочувствия, чтобы плакать над моим несчастным ребенком, которому, наверное, недолго осталось жить? И если уж говорить о моей дочери, монсеньор, позвольте отвести от себя упрек, которого я, наверное, заслуживаю и который вы не решаетесь мне сделать. Моя доченька такая милая, что могла бы заполнить все мое сердце; я страстно люблю ее, но мою болезненную привязанность к ней настолько омрачают повседневные опасения и страхи за ее будущее, что моя нежность к дочери всегда выражается в слезах. Когда я сижу рядом с ней, сердце мое разрывается от муки и отчаяния. Ибо я не в силах избавить ее от неизлечимого недуга. И вот, надеясь как-то избавиться от этой удручающей и мрачной атмосферы, я возмечтала, что найду утешение в нежной привязанности, найду покой и отдохновение... Увы, я была обманута, признаюсь, недостойно обманута, и теперь возвращаюсь в ад, который создал для меня мой муж. Скажите, монсеньор, за что мне такие мучения? Неужели я одна виновата в проступке, за который д'Арвиль собирался сегодня утром лишить меня жизни? Вина моя велика, я это знаю,

потому что до сих пор краснею от одного только имени моего избранника. К счастью для меня, то, что вы услышали, монсеньор, из разговора графини Сары и ее брата по поводу Шарля Робера, избавило меня от лишнего унижения. Теперь, надеюсь, вы не будете только порицать меня, но сжалитесь надо мной и посоветуете, как выйти из этого мучительного затруднения.

— Не могу вам выразить, мадам, как взволновал меня ваш рассказ. После смерти вашей матери и до рождения вашей дочери сколько скрытых страданий, сколько тайных мук довелось вам пережить!.. Вам, такой восхитительной, такой прекрасной, такой желанной!..

— О, поверьте мне, монсеньор, когда страдают от беды, которую невозможно открыть, нет ничего страшнее, как слышать отовсюду: «Она так хороша! Так счастлива!»

— Но это же ребячество. Не вы же одна страдаете от жестокого несоответствия между тем, что кажется, и тем, что есть на самом деле.

— Не понимаю вас, монсеньор.

— Ваш супруг должен казаться всем гораздо счастливее вас, потому что он обладает вами. А на самом деле он гораздо более достоит жалости. Можно ли представить более несчастного челове-

ка, чем он? Он так жестоко наказан! Он любил вас бесконечно, как вы того заслуживаете... Он знает, что вы не можете испытывать к нему ничего, кроме непреодолимой неприязни... Его болезненная, страдающая дочь — вечный упрек для него. И это еще не все, его терзает жестокая ревность.

— А что я могу, монсеньор? Даже не давать ему поводов для ревности? Пусть будет так. Но если мое сердце не принадлежит никому, имеет ли он на него право? Он знает, что не имеет. После той жуткой ночи, о которой я вам рассказала, мы живет отдельно, но перед всем светом -я исполняю обязанности верной супруги... Никому, кроме вас, монсеньор, я не открыла этой ужасной тайны.

— И заверяю вас, сударыня, что если бы оказанная мною услуга и заслуживала какого-то осуждения, ваше доверие вознаградило меня тысячекратно. Но раз уж вы попросили у меня совета, позвольте говорить с вами откровенно.

— О, монсеньор, умоляю вас!

— Позвольте заметить вам, что, вместо того чтобы воспользоваться одним из самых драгоценных ваших достоинств, вы лишаете себя неповторимого счастья, которое могло бы не только утишить ваше глубокое сердечное горе, но и отвлекло бы от домашних неприятностей и

удовлетворило стремление к острым ощущениям и, я бы осмелился сказать, — извините меня за не столь высокое мнение о женщинах вообще, — пристрастие к тайным интригам, которые так влекут всех вас.

— Что вы хотите сказать, монсеньор?

— Я хочу сказать, что вам хочется совершать добрые дела, и ничто вам так не нравится, ничто вас так не привлекает.

Госпожа д'Арвиль смотрела на Родольфа с изумлением.

— Не подумайте, — продолжал он, — что я говорю с вами необдуманно или пренебрежительно. Щедрая милостыня беднякам, которых вы зачастую не знаете и которые, может быть, не заслуживают ваших благодеяний, забавляет вас. Точно так же, как меня иногда забавляет играть роль провидения. Признайтесь, иногда в благотворительности есть что-то пикантное, романтическое!

— Я никогда не думала, монсеньор, что в благотворительности Может быть нечто забавное, — тоже с улыбкой ответила Клеманс.

— Я сделал это открытие, потому что ненавижу все обыденное и скучное. Это я понял по время политических совещаний с моими министрами.

Но вернемся к нашей забавной благотворительности. Я не обладаю достоинствами добрых людей, которые доверяют другим добрым людям раздавать свою милостыню. Если бы дело шло о том, чтобы разослать моих камердинеров с несколькими сотнями луидоров по всем округам Парижа, признаюсь, к моему стыду, я бы не испытал от этого никакого удовлетворения. Потому что тайно творить добро, как я это понимаю, — самая забавная вещь на свете! Я повторяю: тайно, ибо только это мне нравится, только это меня привлекает. И поверьте, сударыня, если бы вы согласились стать моей сообщницей в кое-каких таинственных интригах подобного рода, вы бы увидели, клянусь честью, что нет ничего увлекательнее и прелестнее, а порой — ничего более захватывающего, чем эти приключения, связанные с благотворительностью. И потом — сколько надо уловок, чтобы скрыть свое имя! Сколько хитрости, чтобы никто не узнал, от кого поступили деньги! Какие сильные и разноречивые чувства пробуждаются при виде добрых бедняков, которые заливаются слезами благодарности! Господи, это стоит порой в тысячу раз больше, чем насупленное лицо любовника, ревнивого или неверного, а только такими они

и бывают... Послушайте, вы можете вновь испытать эти чувства, почти те же самые, какие испытали сегодня утром на улице Тампль... Одетая поскромнее, чтобы вас не узнали, с трепетом в сердце, вы сели бы в самый скромный фиакр, опустив при этом шторки, а потом, оглядываясь по сторонам, из страха, что вас заметят, вошли бы тайком в какую-нибудь жалкую с виду лачугу, как сегодня, повторяю, сударыня... Но только вы не говорили бы себе: если меня застанут здесь, я пропала! И еще вы говорили бы себе: если все узнается, я буду благословенна! Но поскольку вы скромны и стесняетесь своих добрых чувств, вы бы прибегали ко всем хитростям и чертовским уловкам, чтобы вас не благословляли.

— Ах, монсеньор! — с умилением вскричала г-жа д'Арвиль. — Вы меня спасаете! Я не в силах выразить, какие новые мысли и надежды пробуждают во мне ваши слова. Вы справедливо говорите: посвятить свое сердце и разум добру ради благодарности тех, кто страждет, — это все равно что полюбить... Что говорю я? Их благодарность больше чем любовь! Как я могла не увидеть, какое счастье открывается мне по сравнению с постыдным будущим, на которое обрекла бы меня моя ошибка, в которой я раскаиваюсь все

горше?!

— Я тоже был бы этим очень огорчен, — с улыбкой ответил Родольф. — Потому что самое горячее мое желание — помочь вам забыть о прошлом и доказать, что душе открыты многие пути. Зло и добро зачастую идут по ним рядом, и только конечная цель отличает их... Иными словами, если добро и зло одинаково привлекательны и забавны, зачем выбирать последнее? Послушайте, я приведу вам довольно пошлый пример. Почему многие женщины предпочитают мужчин, которые не стоят и подметки их мужей? Потому что самое привлекательное в любви — это соблазн запретного плода... Признайтесь, если бы у такой любви отнять неуверенность, страхи, тревоги, опасности, риск, от нее бы-не осталось ничего или очень мало — всего лишь любовник в самом примитивном смысле. И это всегда было бы не более, чем приключение мужчины, который на вопрос: «Почему вы не женитесь на этой вдове, вашей любовнице?» — ответил бы: «Увы, я подумывал об этом, но куда бы я девался тогда по вечерам?»

— Пожалуй, в этом большая доля истины, — сказала г-жа д'Арвиль с улыбкой.

— Так вот, если мне удастся избавить вас от

ваших страхов, тревог и опасений, которыми вы опьяняетесь, если мне удастся использовать вашу врожденную склонность к тайнам и приключениям, вашу скрытность и хитрость, — уж простите мое нелестное мнение о женщинах, которое я, как видите, не в силах скрыть, — весело добавил Родольф, — то не смогу ли я использовать вашу доброту и непреклонность, качества превосходные, если они служат добру, и роковые, если они служат злу? Послушайте, мадам, мы могли бы вдвоем совершать всевозможные добрые дела помимо закона, оказывая хитрые милости, жертвами которых будут, как всегда, самые почтенные люди! У нас будут свои тайные свидания, переписка, наши секреты... А главное, мы уйдем из-под опеки маркиза, ибо ваш утренний визит к Морелям, должно быть, пробудил его подозрения. Короче, если вы согласны, завяжем настоящую интригу!

— С радостью и благодарностью принимаю ваше предложение участвовать в этом таинственном союзе, — весело ответила Клеманс. — А для начала нашего романа я завтра вернусь к тем беднягам — этим утром не смогла, к несчастью, принести ничего, кроме слов утешения, потому что какой-то хромой мальчишка воспользовался

моим страхом и спешкой и выхватил у меня кошелек, который вы мне передали. Ах, монсеньор, — продолжала Клеманс, и лицо ее утратило минутное выражение робкой веселости. — Если бы вы знали, какая там нищета! Какая ужасная картина! Нет, я даже не думала, что на свете могут быть такие обездоленные... А я еще жалуюсь... Я еще сетую на свою судьбу!..

Родольф был глубоко растроган словами г-жи д'Арвиль, которая на миг забыла о своей судьбе, доказывая тем свое благородство, и, не желая этого показывать, весело подхватил:

— Если позволите, я исключу Морелей из нашего сообщества. Я сам займусь этими бедняками. А главное, обещайте мне больше не приходить в этот мрачный дом... потому что я там живу.

— Вы, монсеньор? Это шутка!

— Я вполне серьезно. Комната, правда, скромная, за двести франков в год, и еще шесть франков за уборку, щедрая добавка консьержке, той самой отвратительной старухе Пипле, с которой вы познакомились. Прибавьте к этому, что соседка моя — одна из самых прелестных гризеток- квартала Тампль, мадемуазель Хохотушка, и согласитесь, что для счетовода, который получает сто восемьдесят франков, — а меня там держат за счетовода,

— жилье у меня вполне пристойное.

— Ваше неожиданное появление в этом... роковом для меня доме доказывает, что вы говорите правду, монсеньор. Видимо, какой-то великодушный замысел заставил вас там поселиться. Но какое доброе дело предназначили вы для меня? Какую роль я должна сыграть?

— Роль ангела-утешителя и, простите мне эти грубые слова, роль демона изворотливости и хитрости, ибо есть такие болезненные и тайные раны, которые может излечить лишь нежная рука женщины. На свете немало обездоленных, таких гордых, затаенных и скрытных, что нужна редкостная проницательность, чтобы их обнаружить, и неотразимое обаяние, чтобы завоевать их доверие.

— И когда я смогу проявить эту проницательность и обаяние, которыми вы меня наделяете? — нетерпеливо спросила г-жа д'Арвиль.

— Скоро, надеюсь, вы сможете одержать достойную вас победу. Но для этого вам придется проявить самую изощренную хитрость и лицемерие.

— Когда же вы посвятите меня в эту тайну, монсеньор?

— Давайте подумаем... Сегодня наше первое

свидание... Вы окажете мне честь принять меня через четыре дня?

— Так долго? — наивно воскликнула Клеманс.

— А тайна? И еще условности! Посудите сами, если кто-то заподозрит, что мы сообщники, нас будут опасаться. Но, возможно, я вам напишу. Кто эта пожилая женщина, которая принесла мне сегодня вечером вашу записку?

— Бывшая горничная моей матери, сама преданность и неподкупность.

— Значит, я буду ей отдавать мои письма к вам. Если захотите мне ответить, пишите по адресу: господину Родольфу, улица Плюме. Пусть ваша горничная относит ваши письма на почту.

— Я сама могу это делать, монсеньор, когда буду прогуливаться как обычно пешком.

— Вы гуляете пешком и одна?

— Почти каждый день, когда хорошая погода.

— Превосходная привычка, хорошо бы ее усвоить всем женщинам с первых месяцев замужества. Всегда может пригодиться при любых обстоятельствах. Это, так сказать, прецедент, как выражаются наши юристы. Потом эти обычные прогулки не будут вызывать опасных подозрений. Если бы я был женщиной, — а, между нами говоря, боюсь, что я был бы женщиной одно-

временно очень милосердной, щедрой и очень легкомысленной, — назавтра же после свадьбы я бы самым невинным образом начал совершать компрометирующие поступки... Я бы простодушно напустил на себя таинственный вид, опять же чтобы создать прецедент, о котором я говорил, чтобы однажды спокойно отправиться по благотворительным делам... или к своему любовнику.

— Но это же кошмарное лицемерие, монсеньор! — с улыбкой сказала г-жа д'Арвиль.

— К счастью для вас, вам не дано понять всего смиренномудрия подобных предосторожностей.

Мадам д'Арвиль перестала улыбаться, покраснела, опустила глаза и печально сказала:

— Вы не великодушны, монсеньор.

Сначала Родольф поглядел на маркизу с удивлением, затем продолжал:

— Я вас понимаю. Однако давайте раз и навсегда определим ваше отношение к Шарлю Роберу. Однажды одна из ваших знакомых показывает вам жалкого попрошайку из тех, кто молитвенно закатывает глаза и печально играет на кларнете, чтобы разжалобить прохожих. «Это бедный, но добрый человек, — говорит вам ваша знакомая. — У него семеро детей, а жена слепая, глухая и немая и т. д. и т. п.». — «Ах, несчастный!»

— восклицаете вы и подаете нищему щедрую милостыню. С тех пор этот нищий, завидев вас издали, умоляюще возводит глаза, а его кларнет издает самые жалостливые звуки, и каждый раз ваша милостыня попадает в кошель. Однажды ваша коварная подруга особенно растрогала вас рассказами о горестях этого бедняка и вы, по доброте своего сердца, решили посетить несчастного в его нищем жилище... Вы приходите, и о ужас! Вместо жалкого нищего с умоляющим взглядом и плаксивым кларнетом перед вами предстает жизнерадостный и нахальный здоровяк, распевающий кабацкие куплеты. И тотчас жалость к нему уступает место презрению, ибо вы приняли за доброго бедняка самого наглого обманщика, ни больше и ни меньше. Не так ли?

Маркиза д'Арвиль не могла удержаться от улыбки, слушая эту забавную притчу.

— Такое объяснение мне кажется весьма приемлемым, монсеньор, — ответила она. — Однако все не так-то просто.

— Однако в конечном счете вы совершили всего лишь благородную и великодушную неосторожность... И у вас довольно средств, чтобы ее исправить, а не сожалеть о ней... Но скажите, смогу я сегодня увидеть д'Арвиля?

— Нет, монсеньор... Утренняя сцена так его взволновала, что он... опять занемог, — ответила маркиза, понижая голос.

— Да? Ах, понимаю, — грустно сказал Родольф. — И все же мужайтесь! Вам не хватает цели в жизни, которая могла бы отвлечь вас от ваших печалей, как вы сами сказали. Искренне надеюсь, что вы найдете эту цель в том будущем, о котором я вам говорил... И тогда ваше сердце утешится и успокоится, и, может быть, в нем не останется места для горечи и презрения к вашему мужу. Вы почувствуете к нему жалость, как к вашей бедной дочери. А что касается этого ангелочка, то теперь, когда я знаю причину болезни, я осмелюсь сказать, что все-таки есть надежда...

— Неужели это возможно, монсеньор? — воскликнула Клеманс, молитвенно, складывая руки.

— Мой врач — человек мало известный, но очень ученый. Он долго пробыл в Америке. Помнится, он мне рассказывал о двух-трех случаях почти чудесного излечения рабов, пораженных этим ужасным недугом.

— Ах, монсеньор, возможно ли?..

— Не надо слишком надеяться, разочарование может быть жестоким... Но отчаиваться тоже

не надо.

Клеманс д'Арвиль устремила на Родольфа взгляд, исполненный бесконечной признательности. Этот человек с благородными чертами лица, по сути, почти король, утешал ее с такой тактичной деликатностью и добротой!

И она спросила себя: как же она могла проявить хоть какой-то интерес к Шарлю Роберу?

Мысль о нем ужаснула ее.

— Я вам так благодарна за все, монсеньор, — сказала она взволнованно. — Вы успокоили меня, дали надежду, что дочь мою можно вылечить, и я поверила, несмотря ни на что, и вы открыли передо мной новое будущее, где я обрету одновременно утешение, радость и свое достоинство... Значит, я была права, когда писала вам, что, если вы соблаговолите прийти сюда этим вечером, вы завершите свой день так же, как его начали, — добрым делом!

— Все же добавьте, что эти добрые дела я совершаю из чистого эгоизма: они доставляют мне удовольствие лишь тогда, когда они интересны и очаровательны, — сказал Родольф, поднимаясь, ибо часы в гостиной пробили половину двенадцатого.

— Прощайте, монсеньор, и не забудьте поско-

рее сообщить мне об этих бедняках на улице Тампль.

— Я увижу их завтра утром... К сожалению, я не знал, что этот маленький хромец выхватил у вас кошелек, и эти бедняги, наверное, сейчас в отчаянном положении. Не забывайте, через четыре дня я извещу вас о той роли, которую вам предстоит сыграть. Однако должен предупредить, что вам, наверное, придется изменить свой облик и одежду.

— Переодевание! Какая прелесть! А какой наряд мне выбрать, монсеньор?

— Пока не могу сказать... Вы посмотрите сами.

Вернувшись к себе, принц мысленно поздравил себя с общим успехом разговора с г-жой д'Арвиль. Он намеревался:

во-первых, занять чем-то серьезным ум и сердце этой юной женщины, которую невыносимое одиночество отделяло от мужа; пробудить в ней романтическое любопытство таинственной целью, не связанной с любовью, чтобы дать пищу ее воображению и душе и уберечь ее от новых любовных увлечений.

А во-вторых, внушить Клеманс д'Арвиль такую глубокую, неизлечимую и в то же время такую благородную и чистую страсть, чтобы

эта юная женщина не смогла больше отдаться менее возвышенному чувству и никогда больше не смущала душевный покой маркиза д'Арвиля, которого Родольф любил как брата.

Глава XVIII.
НИЩЕТА

Читатель не забыл, наверное, что несчастная семья, главой которой был ювелир-гранильщик Морель, ютилась в мансарде в доме на улице Тампль.

Войдем в это печальное жилище. Пять часов утра. Снаружи царит глубокое безмолвие леденящей, непроглядной ночи. Идет снег.

Свеча, подпертая двумя щепками, воткнутыми в щели квадратной дощечки, не в силах разогнать своим желтоватым мертвенным светом темноту мансарды, узкой и низкой; потолок на две трети скошен крутым наклоном крыши; сквозь обрешетку повсюду видна снизу позеленевшая черепица.

Перегородки покрыты почерневшей от времени штукатуркой, она вся растрескалась, а местами вовсе осыпалась, и под нею видны полусгнившие доски этих жалких стен; в одной из них — щелястая дверь, ведущая на лестницу.

Грязный, липкий пол, утративший всякий цвет, усыпанный пучками гнилой соломы, во-

нючими тряпками и теми огромными костями, которые самые последние бедняки покупают у самых гнусных перекупщиков тухлого мяса, чтобы обглодать хрящи и сухожилия[87].

Такая страшная грязь всегда свидетельствует либо о крайней неряшливости, либо о крайней нищете, такой отчаянной и угнетающей, что даже честный человек, раздавленный и опустившийся, уже не находит в себе ни сил, ни воли, ни желания выбраться из этой клоаки и заживо гниет в ней, как зверь, замурованый в своей норе.

Днем эту комнатенку освещает узкое и длинное окно в наклонной части потолка, с застекленной рамой, которая поднимается и опускается с помощью крюка.

В тот час, о котором мы говорим, окно покрыто толстым слоем снега.

Свеча, поставленная примерно посередине мансарды на верстаке гранильщика, образует здесь неколеблющийся круг желтоватого света, который по краям постепенно тускнеет и теряется в тени чердака, где смутно угадываются какие-то беловатые предметы.

На верстаке, тяжелом дубовом столе, грубо

[87] Notes: 87

В кварталах бедноты немало таких перекупщиков, которые торгуют мясом мертворожденных телят, скота, павшего от болезней, и т.д.

оструганном и крепко сколоченном, среди пятен сажи и свечного сала сверкает и переливается, как живая, горсть довольно крупных рубинов и алмазов великолепной огранки.

Морель был специалистом по настоящим камням, а не по фальшивым, как он всем говорил и как думали его соседи в доме на улице Тампль. Благодаря этому невинному обману все полагали, что камушки, которые он огранивает, ничего не стоят, и он мог оставлять драгоценности у себя, не боясь, что его обворуют.

То, что люди доверяли такие сокровища такому бедняку, избавляет нас от необходимости говорить о безупречной честности Мореля.

Сидя на табуретке, сломленный усталостью, холодом и бессонницей после долгой ночи работы, гранильщик уронил на верстак свою отяжелевшую голову, свои затекшие руки и оперся лбом на большой горизонтально установленный наждачный круг, который он обычно вращал с помощью маленького ручного привода; пилочка из тонкой стали и другие инструменты разбросаны по верстаку; мы видим только лысую голову ремесленника, окруженную прядями седых волос; на нем старая вязаная кофта коричневого цвета, надетая прямо на голое тело, и дешевые

полотняные штаны; на ногах у него рваные ботинки из обрезков кожи, и сквозь дыры видны его посиневшие ноги, поставленные на нижнюю перекладину стола.

В этой мансарде такой леденящий, пронизывающий холод, что даже в полусне измученный ремесленник иногда вздрагивает всем телом.

Длинный, обугленный фитиль свечи говорит о том, что Морель задремал уже довольно давно. Слышится только его стесненное дыхание, потому что остальные семеро обитателей мансарды не спят.

Да, в этой жалкой, тесной комнатенке живет восемь человек! Пятеро детей, младшему из которых всего четыре года, а старшему едва исполнилось двенадцать.

И еще — больная мать.

И еще — ее мать, восьмидесятилетняя, выжившая из ума старуха.

Холод жестокий, потому что даже естественное тепло восьми человек, сгрудившихся в такой тесной комнатушке, не способной согреть леденящий воздух, потому что восемь худеньких, болезненных, дрожащих тел, начиная с маленького ребенка и кончая его бабушкой, выделяло мало калорий, как сказал бы ученый.

Никто из них не спит, кроме задремавшего отца, силы которого на исходе; и вовсе не холод, голод или болезнь заставляет их ни на миг не смыкать глаз, ни на миг.

Всем известно, как редок и драгоценен для бедняка глубокий, спасительный сон, в котором он забывает свои горести и черпает новые силы. После такой благословенной ночи он просыпается таким бодрым и свежим, готовым к самому тяжкому труду, что даже люди неверующие, в католическом смысле этого слова, испытывают смутное чувство благодарности если не к богу, то, по крайней мере, ко сну, и благословляют сон и того, кто его ниспослал.

Зрелище ужасающей нищеты этого ремесленника по сравнению с огромной ценностью доверенных ему камней потрясает разительным контрастом, который одновременно ранит и возвышает душу.

Зрелище невыносимых страданий его семьи постоянно стоит у него перед глазами; все беды и горести терзают его родных, начиная от голода и кончая безумием, но он свято хранит эти драгоценные камушки, а ведь любой из них мог бы избавить его жену и детей от лишений, которые их медленно убивают.

Разумеется, он исполняет свой долг, просто долг честного человека; но что значит просто исполнить свой долг? Этот подвиг всегда велик и прекрасен. А в таких условиях исполнение долга заслуживает еще большего уважения.

Разве этот ремесленник, такой несчастный и честный среди доверенных ему сокровищ, не представляет огромное и подавляющее большинство таких же честных людей, обреченных на нищету, но трудолюбивых и кротких, которые каждый день смотрят без ненависти и зависти на великолепие и роскошь богачей?

Есть нечто благородное и утешительное в том, что не сила и не страх, а глубокое нравственное чувство сдерживает этот могучий и страшный народный океан, который мог бы захлестнуть все общество, если бы вышел из берегов, опрокидывая все законы и установления, как разбушевавшееся море опрокидывает плотины и разбивает дамбы.

Душа и разум проникаются глубочайшей симпатией к этой великодушной мудрости народа, проявляющего столько мужества и терпения и требующего за все свои муки только немножко места под солнцем.

Однако вернемся к нашему примеру столь

ужасающей и, увы, слишком реальной нищеты и попытаемся ее описать во всей ее страшной наготе.

У ювелира всего один тоненький матрас и кусок одеяла, которые пришлось отдать бабке, потому что та в своей глупости и старческом эгоизме не желала ни с кем делить свой топчан.

В начале зимы она стала впадать в буйство и однажды едва не задушила самую младшенькую, четырехлетнюю, когда ее хотели уложить рядом с нею, потому что у девочки начиналась чахотка и она мерзла на соломенном матрасе, где спала вместе со своими братьями и сестрами.

Сейчас мы объясним, как зачастую укладываются спать подобные бедняки. По сравнению с ними животные на ферме просто сибариты — у каждого своя соломенная подстилка!

Таков общий вид мансарды ремесленника, каким он предстает, когда глаза привыкают к полумраку, где теряется слабый свет свечи.

У опорной стены, менее сырой, чем все другие перегородки, стоит деревянная рама с матрасом, — топчан, на котором лежит полубезумная старуха. Она не выносит никаких платков, поэтому ее седые волосы острижены очень коротко и обрисовывают череп с плоским лбом; густые бро-

ви затеняют глубокие орбиты, где диким огнем горят глаза; впалые, мертвенно бледные щеки с тысячами морщин словно приклеены к скулам и выступающим углам челюсти; она лежит на боку, сжавшись в комок, так что ее подбородок почти касается колен, и трясется под серым шерстяным одеялом, слишком коротким, чтобы прикрыть ее целиком, из-под которого высовываются худые ноги и обтрепанный подол старой юбки. Омерзительный, гнилой запах исходит от топчана.

Вдоль той же стены за изголовьем старухи лежит на полу соломенный матрас, на котором спят пятеро детей.

И вот каким образом.

С каждый стороны полотняного матраса сделали два надреза по его длине, затем уложили детей внутрь, в сырую и зловонную солому, так что обе половинки матраса служат им и простыней и одеялом.

Две маленькие девочки, одна из которых тяжело больна, дрожат от холода с одного края, трое мальчиков — с другого.

Все улеглись одетыми, если только можно назвать одеждой их жалкие лохмотья.

Густые, белокурые волосы детей, тусклые, спутанные и взъерошенные, — потому что мать

не стрижет их, надеясь хоть как-то уберечь от холода, — наполовину закрывают их бледные, лишенные красок, болезненные личики. Один из мальчиков натянул окоченевшими, пальцами чехол матраса до подбородка, чтобы лучше укрыться, другой, боясь высунуть руки наружу, держит край чехла зубами, но у него щелкают зубы от холода; третий жмется между двумя братьями.

Младшая из девочек, пораженная чахоткой, бессильно опустила свое несчастное личико, уже синевато-бледное и прозрачное, на холодную как лед грудь своей пятилетней сестренки, которая тщетно старается согреть ее в своих объятиях и следит за ней с тревогой и страхом.

На другом матрасе в глубине лачуги, напротив своих детей, лежит жена ремесленника, сгорая от медленной лихорадки; какой-то болезненный недуг вот уже несколько месяцев не позволяет ей встать.

Мадлен Морель тридцать шесть лет. Старый платок из синей бумазеи, повязанный над ее впалым лбом, еще больше подчеркивает болезненную желчную бледность ее костлявого лица. Коричневые круги обрамляют угасшие глаза; кровавые трещины рассекают побелевшие губы.

Ее печальное, унылое лицо, незначительное и малоприятное, изобличает один из тех добрых, но слабых характеров, которые не имеют ни сил, ни энергии для борьбы с жестокой судьбой, а только сгибаются перед ней, покоряются и могут только жаловаться и плакать.

Слабая, вялая, ограниченная, она осталась честной, потому что ее муж был честен; если бы она была предоставлена самой себе, нищета могла бы сбить ее с праведного пути и подтолкнуть ко злу. Она любила своих детей, своего мужа, но не было ни сил, ни воли, чтобы удержаться от горьких жалоб на свою и их судьбу. Часто ювелиру, чей упорный труд поддерживал всю семью, приходилось прерывать работу, чтобы утешать и успокаивать несчастную, больную жену.

Поверх грубого одеяла из толстого полотна, местами протертого до дыр, Морель накинул на жену, чтобы ее согреть, какую-то одежку, настолько старую и заплатанную, что ее уже никто не хотел брать в залог.

Маленькая печка, котелок и глиняный кувшин с отбитым носиком, две-три выщербленные чашки, разбросанные там и сям по столу, корыто, стиральная доска и большая каменная бадья, поставленная под скатом крыши возле щелястой

двери, сотрясаемой порывами ветра, — вот и все достояние этой семьи.

Эту горестную картину озаряет свеча, чье пламя колеблется от зимнего ветра, проникающего сквозь щели черепичной кровли, то выхватывая из мрака бледные образы нищеты, то вдруг вспыхивая тысячами огней, тысячами радужных искр, озаряя верстак, за которым заснул гранильщик.

Но никто из его несчастной семьи не спит; они лежат молча и все, от безумной старухи до самых младших детей, не спускают с него глаз, ибо он их единственная опора, единственная надежда.

В своем наивном эгоизме они беспокоятся, что он ничего не делает, сломленный усталостью.

Мать думает о своих детях.

Дети думают о себе.

Безумная старуха, похоже, не думает ни о чем.

Но вдруг она приподнялась на своем топчане, скрестила на костлявой груди сухие, длинные руки, желтые, как самшит, и уставилась на свечу моргающими глазами. Потом медленно встала, увлекая за собой как саван лохмотья своего одеяла.

Она была очень высокого роста, ее коротко стриженная голова казалась слишком маленькой, толстая нижняя губа отвисла и конвульсивно

подергивалась: эта отвратительная маска была олицетворением жестокости и слабоумия.

Идиотка осторожно подкралась к верстаку, как ребенок, собирающийся набедокурить.

Подойдя к свече, она приблизила к ней трясущиеся ладони; они были такими худыми, что пламя, которое они заслоняли, придало им синеватую прозрачность.

Мадлен Морель следила со своего матраса за каждым движением старухи. Продолжая греть у свечи руки, та опустила голову и с идиотским любопытством принялась рассматривать переливы рубинов и бриллиантов, сверкавших на верстаке.

Увлеченная этим зрелищем, слабоумная старуха слишком приблизила ладони к пламени свечи, обожглась и дико вскрикнула хриплым голосом.

От этого крика Морель вздрогнул, проснулся и живо поднял голову.

Ему было сорок лет, его открытое лицо дышало умом и добротой, но нищета уже отметила его и состарила. Седая щетина, отросшая за несколько недель, скрывала нижнюю часть его лица со следами оспы; преждевременные морщины залегли на его уже лысеющем лбу; покрасневшие веки были воспалены от постоянного недосыпания.

Как это часто бывает у рабочих слабого телосложения, обреченных на сидячую работу, которая заставляет их по целым дням оставаться на месте, такая работа деформировала хилую фигуру ювелира. Ему приходилось все время сгибаться над верстаком и наклоняться в правую сторону, чтобы вращать наждачный круг, и он как бы застыл и окостенел в той позе, которую сохранял по двенадцать — пятнадцать часов в день; он сгорбился и уже скособочился.

Кроме того, его правая рука, которой он постоянно приводил в движение тяжелый наждачный круг, стала необычайно сильной и мускулистой, в то время как левая, всегда неподвижная и опирающаяся о верстак, чтобы точнее подводить фасетки бриллиантов на наждачному кругу, сделалась страшной худой, каким-то жалким отростком; слабые ноги почти атрофировались от недостатка движения и с трудом поддерживали измученное тело, вся сила и жизненная субстанция которого, казалось, сосредоточились в единственном его органе, постоянно выполнявшем безмерную работу.

Как иногда говорил сам Морель с горькой отрешенностью:

«Я ем не столько чтобы жить, сколько для то-

го, чтобы придать силу руке, которая вращает круг».

Внезапно разбуженный ювелир оказался лицом к лицу со слабоумной старухой.

— Что с вами? Что вам нужно, матушка? — спросил Морель, потом добавил, понижая голос, чтобы не разбудить остальных, — он думал, что они спят. — Ступайте, ложитесь, матушка, и не шумите. Мадлен и дети спят.

— Я не сплю, я стараюсь согреть Адель, — сказала старшая дочка.

— А я слишком голоден и не могу заснуть, — подхватил один из сыновей. — Ведь вчера была не моя очередь ужинать, как мои братья, у мадемуазель Хохотушки.

— Бедные дети! — горестно сказал Морель. — А я-то надеялся, что вы хоть поспите.

— Я не хотела тебя будить, Морель, — сказала его жена. — Иначе я попросила бы у тебя воды; мне хочется пить, опять у меня приступ лихорадки.

— Сейчас, сейчас, — ответил ювелир. — Только сначала надо уложить твою мать. Послушайте, не трогайте мои камни! — прикрикнул он на слабоумную, которую заворожило сверкание крупного рубина. — Ступайте, ложитесь спать!

— Это, вот это, — бормотала идиотка, протягивая руку к драгоценному камню.

— Вы меня рассердите, матушка! — сказал Морель, повышая голос, чтобы напугать свою тещу, и тихонько отстраняя ее руку.

— Боже мой, боже мой, как хочется пить! — простонала Мадлен. — Дай же мне воды!

— Как я могу отойти! Не могу же здесь оставить твою мать рядом с моими камнями! А вдруг она куда-нибудь денет еще один бриллиант, как в прошлом году? Один бог знает, чего нам стоил этот бриллиант и сколько еще будет стоить.

И ювелир уныло провел ладонью по лбу. Затем он обратился к одному из сыновей:

— Феликс, подай матери воды, раз уж ты не спишь!

— Нет, нет, я подожду, — возразила Мадлен. — А то он еще простудится.

— Снаружи не холоднее, чем в этом матрасе, — сказал мальчик, поднимаясь.

— Послушайте, кончайте это! — вскричал Морель угрожающим голосом, чтобы отогнать идиотку, которая не отходила от верстака и все пыталась схватить один из камней.

— Мать, вода в бадье замерзла! — крикнул Феликс.

— Так разбей лед, — сказала Мадлен.

— Он слишком толстый, я не могу.

— Морель, разбей лед в бадье, — нетерпеливо потребовала Мадлен плаксивым голосом. — Раз уж мне нечего пить, кроме воды, пусть будет хотя бы вода! Я умру от жажды!

— Боже мой, боже мой, где взять терпения? — вскричал несчастный ювелир. — Я не могу отойти, пока твоя мать не ляжет.

Он никак не мог отделаться от идиотки, которая раздражалась все больше, встречая его сопротивление, и злобно что-то ворчала.

— Да позови ты ее, — обратился Морель к жене. — Она иногда тебя слушается.

— Мама, ложись спать! Если ты будешь умницей, я дам тебе кофе, который ты так любишь.

— Это, вот это! — не унималась идиотка, пытаясь на сей раз оттолкнуть Мореля в добраться до желанного рубина.

Морель удерживал ее, грозил, но все было тщетно.

— Господи, ты же знаешь, что не справишься с ней, если не пригрозишь кнутом! — воскликнула Мадлен. — Только это может ее испугать и успокоить.

— Может быть, и так, — согласился Морель.

— Но грозить старой женщине кнутом, даже слабоумной, мне просто отвратительно.

Старуха пыталась его укусить, и он удерживал ее одной рукой. Наконец закричал страшным голосом:

— А где кнут! Если немедленно не ляжешь, отведаешь кнута!

Но и эти угрозы не испугали слабоумную. Тогда он выхватил из-под верстака кнут, громко щелкнул, угрожая идиотке, и крикнул:

— В постель! Сейчас же ложись!

От громкого хлопка кнута старуха отпрянула, но тут же остановилась посередине мансарды, ворча сквозь зубы и бросая на зятя злобные взгляды.

— В постель! В постель! — повторял тот, наступая на нее и щелкая кнутом.

Только тогда идиотка начала медленно пятиться в свой угол, грозя ювелиру костлявым кулаком.

Желая поскорее закончить эту сцену и подать жене напиться, он приблизился к идиотке вплотную и последний раз громко щелкнул кнутом, впрочем ее не задев, и еще раз повторил грозным голосом:

— Немедленно в постель!

Перепуганная старуха дико завопила, бросилась на свой топчан, сжалась там, как побитая собачонка, и принялась стонать и вопить что есть мочи.

Дети тоже испугались: они решили, что отец действительно ударил старуху кнутом.

— Не бей бабушку! Не бей! — закричали они, заливаясь слезами.

Невозможно передать, как ужасна была ночная сцена, сопровождаемая мольбами детей, злобными воплями идиотки и жалобными причитаниями жены ювелира.

Глава XIX.
НЕОПЛАЧЕННЫЙ ДОЛГ

Огранщику Морелю приходилось не раз выдерживать сцены, подобные той, которую мы описали, но сейчас он бросил кнут под свой верстак и вскричал в порыве отчаяния:

— Боже, и это жизнь? Какая это жизнь!

— Разве я виновата, что моя мать слабоумная? — слезливо вопрошала Мадлен.

— А может быть, это я виноват? Я же ничего не прощу. Я убиваю себя этой работой ради всех вас. Я тружусь день и ночь и не жалуюсь. Пока хватит сил, я буду работать. Но я не могу зарабатывать на хлеб для всех и в то же время быть сиделкой при слабоумной старухе, больной жене и детях! Нет, право, нет на небесах справедливости! Это несправедливо, обрушивать на одного человека столько горя и нищеты! — проговорил ювелир с отчаянием и почти упал на свой верстак, обхватив голову руками.

— Но ведь никто не захотел взять мою мать в приют, потому что она еще не совсем безумна! Что же ты хочешь от меня? — жалобно спросила

Мадлен плаксивым, ноющим голосом. — Что мы можем поделать? Сколько ни мучь себя, какой от этого толк, если все равно ничего не изменишь?

— Да, ничего, — согласился бедный ювелир, утирая слезы, увлажнившие его глаза. — Ничего, ты права... Но когда все разом обрушивается на тебя, нелегко с собой совладать.

— Боже мой, боже, как я хочу пить! Я дрожу, и лихорадка сжигает меня, — простонала Мадлен.

— Подожди, сейчас принесу воды.

Морель подошел к бадье под скатом крыши. С трудом он разбил корку льда, зачерпнул чашку ледяной воды и понес ее жене, которая нетерпеливо протягивала к нему руки.

Но, подумав мгновение, он сказал ей:

— Нет, вода слишком холодная. Когда у тебя приступ лихорадки, это тебе повредит.

— Мне повредит? Тем лучше! Дай мне скорей напиться, — с горечью возразила Мадлен. — Чем скорее все кончится, тем скорее ты избавишься от меня и останешься сиделкой только при детях и слабоумной старухе. Не придется тогда заботиться о больной жене.

— Почему ты так говоришь со мною, Мадлен? — печально спросил Морель. — Я этого не заслужил. Прошу тебя, не мучь меня; у меня осталось сил и

разума только для работы, в голове моей мутится, и боюсь, она не выдержит. И что станется тогда с вами со всеми? Я забочусь о вас. Если бы дело шло обо мне одном, я бы не думал о будущем. Слава богу, реки текут для всех и примут меня тоже.

— Бедный Морель! — растроганно воскликнула Мадлен. — Я не права, я не должна была досадовать и говорить, что хочу умереть, чтобы освободить тебя. Не сердись, я говорила искренне. Ведь я ничем не могу вам помочь, ни тебе, ни детям. Вот уже полтора года я не встаю с постели... О господи, как я хочу пить! Прошу тебя, дай мне воды.

— Подожди чуть-чуть, я стараюсь согреть чашку в моих ладонях.

— Как ты добр! И я еще смела упрекать тебя...

— Бедная моя жена, ты так страдаешь, а страдания ожесточают. Говори мне все что хочешь, но только не говори, что хотела бы умереть и освободить меня.

— Но зачем я тебе нужна теперь?

— А зачем нам нужны наши дети?

— Чтобы ты еще больше сидел за своим верстаком.

— Да, правда, из-за вас мне приходится иногда работать. Из последних сил по двадцать часов в

сутки, я стал кривобоким и одноруким уродом. Но неужели ты думаешь, что я бы надрывался так ради себя одного? О нет, такая жизнь невыносима, и я бы расстался с нею.

— Так же, как и я, — подхватила Мадлен. — Если бы не дети, я бы давно сказала тебе: Морель, хватит нам с тобой мучиться! Разожги печурку, подкинь угля, и... прощай нищета! Но дети, наши дети...

— Ты видишь, и они нам для чего-то нужны, — сказал Морель с восхитительной наивностью. На, попей, только маленькими глоточками, потому что вода еще холодная.

— О, спасибо, Морель, спасибо! — сказала Мадлен, с жадностью припадая к чашке.

— Хватит, хватит...

— Да, вода очень холодна, меня трясет еще больше, — сказала Мадлен, возвращая чашку.

— Боже мой, боже, я же тебе говорил, тебе станет хуже...

— Ничего, у меня уже нет сил дрожать. Мне просто кажется, что я вмерзла в лед, вот и все...

Морель снял с себя кофту, накрыл ею ноги жены, а сам остался по пояс голым; у несчастного не было рубахи.

— Но ты же замерзнешь, Морель!

— Погоди немного, если мне будет слишком холодно, я на время возьму кофту.

— Бедный мой муж! Да, ты прав, нет в небесах справедливости. За что нам такие страдания, когда другие...

— Каждому свое горе, большим и малым.

— Но горе больших людей не подводит им живот от голода, не заставляет дрожать от холода. Послушай, когда я думаю, что только один из этих бриллиантов, которые ты шлифуешь, мог бы позволить нам жить в довольстве, тебе и нашим детям, у меня сердце переворачивается. И зачем им эти бриллианты?

— Если спрашивать, зачем это им, можно зайти далеко. Можно спросить, зачем этому господину, этому майору, как его называет мамаша Пипле, весь второй этаж, который он снял и обставил, хотя никогда там не живет! Зачем ему эти мягкие постели и теплые одеяла, хотя он ночует где-то в другом месте?

— Да, это правда. Там хватило бы добра не на одну бедную семью, такую, как наша... Не говоря уже о том, что мамаша Пипле каждый день топит там, чтобы мебель не отсырела. Сколько тепла уходит зря, а мы с нашими детьми дрожим от холода! Ты ответишь мне: мы ведь не мебель! О,

эти богачи, как они жестоки!

— Не более жестоки, чем другие люди, Мадлен. Но, понимаешь, они не знают, что такое нищета. Они рождаются счастливыми, живут счастливыми и умирают счастливыми: к чему им думать о таких, как мы? И еще раз скажу: они не знают... Как им представить страдания бедняков? Чем больше они проголодались, тем больше радуются: значит, тем лучше пообедают! Чем холоднее на дворе, тем лучше; они говорят: какой чудный морозец! Это ведь так просто! Если они выходят прогуляться пешком, они возвращаются к пылающему камину, и, чем сильнее мороз, тем приятнее им тепло очага. Поэтому они не могут нас понять и пожалеть: голод и холод обращаются для них в удовольствие. Понимаешь, они не знают, не знают!.. И мы бы на их месте поступали точно так же.

— Значит, бедные люди лучше их, потому что знают и понимают друг друга. Эта добрая маленькая мадемуазель Хохотушка, которая так часто ухаживала за мною и за детьми, когда мы болели, позвала вчера Жерома и Пьера разделить с ней ужин. А что ее ужин? Всего лишь чашка молока и кусочек хлеба. А в ее возрасте у девушек хороший аппетит: она поделилась последним, оторвала

от себя.

— Бедная девушка! Да, она очень добра. А почему? Потому что она знает, что такое горе и нищета. Я всегда повторяю: если бы эти богачи знали, если бы они только знали!..

— А эта дамочка, которая прибежала к нам такая перепуганная и все спрашивала, не нужно ли нам чего, она-то теперь знает, что такое нищета? Но ведь она же не вернулась...

— Я не то хотел сказать, — мягко возразил Морель. — Я говорю: у них свои недостатки, а у нас — свои.

— Может быть, она вернется, потому что, несмотря на испуг, лицо у нее было доброе и благородное...

— Беда в том, что они не знают... Беда в том, например, что множество полицейских ищут бродяг, совершивших преступления, и нет ни одного, кто бы искал честных тружеников, обремененных семьей, что прозябают в такой нищете, ждут помощи в самый нужный момент и могут порой впасть в соблазн. Справедливо карать зло — это, может быть, лучшее средство предотвращать его. Вы были честным до пятидесяти лет; но крайняя бедность, голод толкают вас на преступление, и вот — еще одним злодеем больше...

Но если бы они знали... Однако к чему говорить об этом? Мир таков, каков он есть. Я беден, и я отчаялся, а потому говорю так; будь я богат, я бы говорил о другом, о празднествах и наслаждениях. Как ты чувствуешь себя, бедная моя женушка? — спросил он, помолчав.

— Все так же... Ног не чувствую... Но ты весь дрожишь. Возьми свою кофту и задуй свечу, нечего ей зря гореть, уже светает.

И на самом деле бледный рассвет уже пробивался сквозь снег на откидном окне мансарды и печально освещал ее убожество, еще более трагичное ранним утром. Ночные тени хотя бы частично скрывали эту нищету.

— Подожду, пока совсем рассветет, а потом снова сяду за работу, — сказал ювелир, присаживаясь на край постели своей жены и пряча лицо в ладони.

Помолчав немного, Мадлен спросила:

— Когда госпожа Матье придет за камнями, которые ты ограниваешь?

— Сегодня утром. Мне осталось отшлифовать только одну фасетку фальшивого бриллианта.

— Фальшивого бриллианта? Но ты же работаешь только с настоящими камнями, хотя в доме и думают по-другому!

— Как, разве ты не знаешь? Да, когда в тот день приходила госпожа Матье, ты спала. Она принесла мне десять фальшивых бриллиантов, десять рейнских камушков и попросила, огранить их точно так же, как подлинные бриллианты, которые она мне вручила вместе с рубинами. Я никогда еще не видел алмазов такой чистой воды: эти десять камней стоят наверняка больше шестидесяти тысяч франков.

— А зачем ей понадобилось заказывать к ним фальшивки?

— Одна знатная дама, кажется, герцогиня, которой принадлежат бриллианты, поручила ювелиру Бодуэну продать ее ожерелье и сделать вместо него такое же из фальшивых камней. Госпожа Матье, доверенная Бодуэна, объявила мне это, когда принесла настоящие камни, и просила, чтобы фальшивые ничем не отличались от них по форме и огранке. Матье обратилась с такой же просьбой к еще четырем огранщикам, потому что нужно было изготовить к нынешнему утру сорок или пятьдесят фальшивых бриллиантов. Я не мог сделать все один к утру, а Бодуэну нужно еще время, чтобы вставить эти фальшивые камни в оправу. Госпожа Матье призналась, что эти знатные дамы частенько пытаются потихоньку

заменить подлинные бриллианты рейнскими камушками.

— Я понимаю. Эти фальшивые камни очень похожи на настоящие, и некоторые знатные дамы носят для украшения только их, но им никогда не приходит мысль, что хотя бы один бриллиант мог бы избавить от нищеты и страданий такую семью, как наша!

— Бедная моя жена! Будь разумна, горе делает тебя несправедливой. Кто из них знает, что мы, Морели, несчастны?

— Ну что ты за человек, о господи, что за человек! Тебя будут резать на куски, и все равно ты скажешь спасибо.

Морель снисходительно пожал плечами.

— Сколько должна тебе госпожа Матье? — спросила Мадлен.

— Почти ничего, потому что я попросил у нее заранее сто двадцать франков.

Ничего? Мы же потратили вчера последние двадцать су!

— Да, но что поделаешь, — ответил Морель, вид у него был убитый.

— Что же нам делать?

— Не знаю.

— Булочник не дает больше хлеба в долг...

— Да, поэтому я вчера одолжил у госпожи Пипле четверть батона.

— Матушка Бюрет не ссудит нас?

— Нас? После того как она приняла в залог все наши вещи, подо что ей ссужать? Под наших детей? — ответил Морель с горькой улыбкой.

— Но ведь все мы — моя мать, дети и мы, съели вчера всего полтора фунта хлеба! Ты же не можешь умереть с голоду. Ты сам виноват: не захотел записать нас на этот год в благотворительное общество.

— Туда записывают только бедняков, у которых есть утварь, мебель, а у нас нет ничего; на нас смотрят как на отверженных. В приюты принимают детей, у которых есть хотя бы куртка или блуза, а у наших — одни лохмотья. И потом, чтобы попасть в список этих благотворительных обществ, мне пришлось бы ходить в их конторы по двадцать раз, потому что у нас нет покровителей. Я потерял бы больше времени, чем если бы я работал.

— Но что же тогда делать?

— Может быть, та маленькая дама, которая приходила вчера, не забудет нас?

— Как же, дожидайся! Скорее госпожа Матье одолжит нам сотню су. Ты работаешь на нее уже

десять лет, она не оставит в такой крайности честного человека, обремененного семьей.

— Не думаю, чтобы она выручила нас из беды. Она сделала все что могла, одалживая мне понемногу сто двадцать франков; для нее это большие деньги. Если она служит доверенной комиссионершей по бриллиантам и носит в своей сумочке порою камни на сотни тысяч франков, это вовсе не значит, что она богата. Она вполне довольна, когда получает сотню франков в месяц, потому что у нее на руках две племянницы, которых она должна воспитать и поставить на ноги. Видишь ли, для нее сто су — все равно что сто су для нас, и порой у нее и этого не бывает, а ты знаешь, что это такое. Она уже так много дала нам в долг, что не может отнять кусок хлеба у себя и своей семьи.

— Вот что значит работать на посредницу, вместо того чтобы иметь дело с настоящими ювелирами! Они, во всяком случае, щедрее. Но тебя всегда стригли, как покорную овцу, и виноват в этом только ты.

— Да, я виноват! — вскричал бедняга, не в силах более выносить эти глупые упреки. — Кто стал причиной всех наших несчастий? Не твоя ли мать? Если бы она не задевала куда-то бриллиант, за который до сих пор приходится платить,

мы бы давно разделались с долгами, я бы давно получал полностью за свою работу, у нас были бы деньги, которые пришлось взять из страховой кассы и еще добавить к этому втрое больше за все, что одолжил нам этот Жак Ферран. Да будет проклято имя его!

— Но ты все не решаешься попросить хоть немного у этого скряги. Конечно, он скуп и, может, не даст ничего, но все-таки стоит попробовать?

— Попросить у него? Обратиться к нему! — вскричал Морель. — Да пусть я лучше сгорю на медленном огне. Прошу тебя, не говори мне больше об этом человеке, иначе ты сведешь меня с ума.

При этих словах лицо Мореля, обычно доброе и покорное, обрело выражение трагичной решимости и на бледных щеках выступили красные пятна. Он резко поднялся и взволнованно заходил по мансарде. Он был слаб, кривобок, но черты его лица выражали благородное негодование.

— Ты знаешь, я добрый человек и в жизни никому не делал зла, но этот нотариус![88] — вос-

---

[88] Notes: 88

Читатель, может быть, помнит, что Лилия-Мария еще совсем маленькой была доверена заботам этого нотариуса и что его экономка отдала девочку Сычихе, которая согласилась заботиться о ней, сразу получив за это аванс в тысячу франков.

кликнул он. — О, я желаю ему столько же горя, сколько он принес мне!

Он обхватил голову руками и с болью прошептал.

— Господи, за что моя горькая участь, которой я не заслужил, отдала меня и всю мою семью в безраздельную власть этого лицемера? Неужели он всегда сможет пользоваться своими деньгами, чтобы губить, развращать и унижать всех, кого захочет погубить и унизить?

— Что ж, плачь и жалуйся! — сказала Мадлен. — Проклинай его! А что толку, если он посадит тебя в тюрьму, — а он может это сделать хоть сегодня из-за векселя на тысячу триста франков, за который он подал на тебя в суд. Он держит тебя как курицу на веревочке. Я тебя презираю не меньше, чем этого нотариуса, но раз мы от него зависим, придется...

— Позволить ему обесчестить нашу дочь? Ты этого хочешь? — вскричал Морель громовым голосом.

— Господи, молчи, дети не спят! Они тебя слышат!

— Правда? Ха-ха! Тем лучше, — ответил Морель с горькой иронией. — Это будет хорошим примером для наших маленьких дочерей, это

их подготовит. Пусть Только дождутся, когда нашему нотариусу взбредет на ум новая фантазия! Мы от него целиком зависим, как ты говоришь? Повтори еще раз, что он может бросить меня в тюрьму, когда захочет. Говори откровенно. Значит, мы должны отдать ему нашу дочь?

И несчастный шлифовальщик разразился рыданиями, ибо этот добрый по натуре человек не мог продолжать разговор в этом тоне язвительного сарказма.

— Дети мои! — вскричал он, обливаясь слезами. — Бедные дети мои! Моя Луиза! Моя добрая и прекрасная Луиза! Слишком добрая, слишком красивая... И отсюда, наверное, все наши беды. Если бы она не была так хороша, этот человек не предложил бы мне деньги в долг. Я честен и трудолюбив, ювелир дал бы мне отсрочку, и я ничем не был бы обязан этому старому подлецу, и он не мог бы, за оказанную нам милость, посягать на честь нашей дочери, я бы и на день не оставил ее в его доме. Но пришлось, пришлось. Он держит меня за горло. О, нищета, нищета, сколько обид и оскорблений ты заставляешь нас терпеть!

— А что делать? Ведь сказал же он Луизе: «Если ты уйдешь от меня, я посажу твоего отца в тюрьму...»

— Да, он тыкал ей, как самой последней девке.

— Если бы только это, мы бы еще потерпели, — возразила Мадлен. — Но уйди она из дома нотариуса, он посадил бы тебя в тюрьму, и что бы тогда стало со мной, с детьми и с моей матерью? Если Луиза будет получать на другом месте всего двадцать франков в месяц, как мы проживем на это вшестером?

— Значит, для того, чтобы прожить, мы пожертвуем честью Луизы?

— Ты всегда преувеличиваешь! Нотариус волочится за ней, это правда, она нам сама сказала, но она честная девушка, и ты это знаешь.

— Да, она честная, работящая и добрая... Когда ты заболела и нам приходилось туго, она захотела пойти в услужение, чтобы не быть в тягость. Я тебе не сказал тогда, чего мне это стоило! Чтобы она стала прислугой... чтобы ее попрекали и унижали! Ее, такую гордую по натуре! Ты помнишь? Мы смеялись тогда, называя ее принцессой, — она грозилась навести у нас такую чистоту, что наша бедная комнатушка станет маленьким дворцом. Дорогая моя девочка! Ничего мне не надо, лишь бы она осталась со мной, хотя бы мне пришлось для этого работать все ночи напролет. Когда я видел рядом, у моего верстака ее веселое румяное

лицо и карие глаза, когда слышал ее песенки, работа казалась мне легче легкого! Бедная Луиза, такая трудолюбивая и при этом такая веселая... Даже твоя мать всегда ее слушалась... Да что там! Стоит Луизе заговорить с человеком, взглянуть на него — и он во всем с ней соглашается. А помнишь, как она за тобой ухаживала, как забавляла тебя, сестричек и братьев, не думая о себе? На все она находила время... Может, потому, когда ушла Луиза, ушло наше счастье, все ушло...

— Прошу тебя, Морель, не напоминай мне об этом, ты разрываешь мне сердце! — воскликнула Мадлен, заливаясь горючими слезами.

— И когда я думаю, что этот старый урод... Нет, от одной этой мысли у меня в голове мутится. Я готов убить его, а потом покончить с собой

— А мы, что станет с нами? И еще раз говорю тебе: ты все преувеличиваешь! Может быть, нотариус сказал это Луизе просто так, шутя... Ведь он же ходит в церковь каждое воскресенье, посещает священников разных приходов... И многие люди говорят, что отдавать ему деньги надежнее, чем в страховую кассу.

— А что это доказывает? Только то, что он богач и лицемер! Я хорошо знаю Луизу, она честная... Но она любит нас, как никто. Сердце у нее обли-

вается кровью, когда она видит нашу бедность. Она знает, что без меня вы бы умерли с голоду; и если этот нотариус грозит ей упрятать меня в тюрьму, она, несчастная, может согласиться..... О, голова моя, голова! Нет, я сойду с ума!

— Ах, господи, если бы это случилось, нотариус дал бы ей денег, разные подарки, и она, конечно, не оставила бы все себе, она бы поделилась с нами.

— Замолчи! Как тебе в голову могло прийти такое? Луиза?..

— Но для себя... Ради нас...

— Замолчи, говорю тебе, замолчи! Мне страшно... Если бы не я, до чего бы ты дошла... Что стало бы с тобой... и с нашими детьми тоже, если ты на самом деле так думаешь...

— Но что я плохого сказала?

— Ничего...

— Так почему ты боишься, что она... Морель нетерпеливо оборвал жену:

— Я боюсь, потому что вот уже три месяца, как Луиза приходит к нам и чего-то стесняется, почему-то краснеет.

— Потому что рада видеть тебя!

— А может быть, от стыда? И к тому же она с каждым разом все печальнее...

— Потому что видит, что нам живется все хуже. И потом, когда я говорила с ней о ее нотариусе, она сказала, что теперь он больше не грозит тебе тюрьмой.

— Но какой ценой она отвела эту угрозу? Она не сказала и краснеет всякий раз, когда целует меня. О господи, как просто бесчестному хозяину сказать честной служанке, которая от него целиком зависит: «Уступи мне, иначе я тебя выгоню за нерадивость и ты нигде больше не устроишься!» Но чего проще сказать ей: «Уступи, иначе я засажу твоего отца в тюрьму!» Тем более что он знает: вся семья зависит от работы ее отца. Это же в тысячу раз преступнее!

— Но если подумать, что алмазы на твоем верстаке помогли бы вернуть долг нотариусу, вызволить от него нашу дочь и оставить у нас... — медленно проговорила Мадлен.

— Повторяй это хоть сотни раз, но к чему? — с горечью ответил Морель. — Если бы я был богат, я конечно бы не был бедняком.

Верность слову для него была настолько естественна, настолько, если можно сказать, органична, что ему и в голову не приходило, что его жена, ожесточенная нищетой и болезнями, могла даже подумать о чем-то дурном и попытаться

поколебать его непогрешимую честность.

— Надо смириться, — продолжал он с горечью. — Счастливы те, кто мог держать своих детей при себе и оберегать от всяких соблазнов. Но дочь бедняка?.. Кто может ее уберечь? Никто... Едва она войдет в возраст, чтобы хоть сколько-нибудь зарабатывать своими руками, она с утра бежит в свою мастерскую и возвращается только вечером. А в это время отец работает и мать тоже. Время — наше достояние, и хлеб насущный обходится так дорого, что нам некогда следить за нашими детьми. К чему же тогда все эти вопли о недостойном поведении девушек из бедных семей? Если бы мы могли держать их дома, если бы у нас было время гулять с ними по городу... Лишения ничто — по сравнению с тем, что нам приходится оставлять одних жену, детей, родителей... Ведь именно нам, беднякам, семейная жизнь была бы спасительной и утешительной. Но, увы, едва наши дети достигают разумного возраста, нам приходится с ними расстаться!

В этот момент кто-то грубо и шумно застучал в дверь мансарды.

Глава X.
СУДЕБНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Удивленный гранильщик поднялся и открыл дверь. В мансарду вошли двое мужчин. Один из них, высокий и тощий, с прыщавым лицом, обрамленным густыми черными бакенбардами с проседью, держал в руке тяжелую трость со свинцовым набалдашником; на нем была мятая шляпа и грязный зеленоватый длинный сюртук, застегнутый на все пуговицы. Из потертого воротника черного бархата выглядывала длинная шея, красная и облезлая, как у стервятника. Звали его Маликорн.

Другой, пониже ростом, коренастый толстяк, вульгарный и краснорожий, был одет с претензией на роскошь. На его рубашке сомнительной чистоты сверкали фальшивые бриллианты, длинная золотая цепочка пересекала потертый клетчатый жилет, а пальто его было серо-желтого цвета... Этого человека звали Бурден.

— О господи, здесь просто разит нищетой и смертью! — воскликнул Маликорн, переступая порог мансарды.

— Да, тут не мускусом пахнет! — подхватил Бурден, презрительно отдуваясь. — Ну и вонища!

Затем он надвинулся на Мореля, который смотрел на него с крайним удивлением и возмущением.

Через полуоткрытую дверь сунулась любопытная, злая и хитрая мордочка колченогого мальчишки, который незаметно следовал за этими незнакомцами, подсматривал, подслушивал и выведывал.

— Что вам угодно? — воскликнул Морель, возмущенный наглостью этих людей.

— Вы Жером Морель? — спросил Бурден.

— Да, это я.

— Рабочий-шлифовальщик?

— Да.

— Мы не ошибаемся?

— Еще раз говорю вам: это я. Но вы меня выводите из себя. Что вам нужно? Объяснитесь или уйдите прочь!

— Смотри-ка, какие они здесь честные-пречестные! — воскликнул Маликорн, обращаясь к своему товарищу. — А здесь не очень-то жирно, не то что у виконта Сен-Реми, тут не поживишься!

— Да, но когда есть «навар», тебя встречают с каменными рожами, как тогда, на улице Шайо.

А птичка-то наша оттуда уже улетела, и остались мы с носом. Только такие вот крысы прячутся по своим норам.

— Похоже, похоже. Он уже испекся и готов, хоть на стол подавай!

— Надо только, чтобы волк-ростовщик[89] не жадничал, а то это будет стоить ему дороже... Но это уж его дело.

— Послушайте! — возмущенно вскричал Морель. — Если бы вы не были пьяны, — а на это очень похоже, — я бы по-настоящему рассердился. Немедленно убирайтесь из моего дома!

— Ха-ха! Посмотрите на этого недоноска! — воскликнул Бурден с оскорбительным смехом, намекая на физический недостаток гранильщика. — Ты слышал, Маликорн? И он еще называет своим домом эту... конуру, в которую я бы не посадил и собаку!

— Боже мой! — вскричала Мадлен, настолько перепуганная, что до сих пор не могла сказать и слова. — Боже мой, позови на помощь! Это, наверное, злодеи... Морель, твои бриллианты!..

Видя, что два незнакомца действительно приближаются к верстаку, на котором сверкала

---

[89] Notes: 89
Заимодавец, кредитор.

россыпь драгоценных камней, Морель испугался. Он бросился к верстаку и прикрыл камни обеими руками.

Вездесущий и всюду подслушивающий Хромуля уловил слова Мадлен, заметил жест гранильщика и сказал себе:

«Ах, вот оно как! Говорили, будто он шлифует только стекляшки... А на деле? Если бы камни были фальшивыми, он бы так не боялся за них... Надо запомнить. И еще — матушку Матье, которая сюда частенько наведывается. Значит, она — доверенная ювелира и ходит с настоящими камнями в своей сумочке. Надо запомнить. И Сычихе сказать, и Сычихе сказать», — пропел колченогий сын Краснорукого.

— Если вы не уйдете, я крикну полицейских! — пригрозил Морель.

Испуганные дети заплакали, а старая идиотка приподнялась на своем топчане.

— Звать полицейских? Пожалуйста! Только позовем их мы, слышите, господин недоносок?! — сказал Бур-ден.

— Особенно потому, что, возможно, понадобится их помощь, когда мы потащим вас в тюрьму, если вздумаете брыкаться, — добавил Маликорн. — С нами нет мирового судьи, но, если он вам так

нужен, мы его представим, вытащив его из постели, совсем тепленького и такого добренького... Бурден, сходи за судьей!

— Меня... в тюрьму? — вскричал пораженный Морель.

— Да, в Клиши...

— В Клиши? — повторил ошеломленный гранильщик.

— У него, наверное, с головой не все в порядке, — заметил Маликорн.

— В долговую тюрьму, если это вам больше нравится! — пояснил Бурден.

— Значит, вы... Как же так?.. Значит, нотариус... О господи!

И Морель, побледнев как смерть, упал на свою табуретку, не в силах вымолвить больше ни слова.

— Мы судебные приставы, и нам поручено схватить тебя, если повезет... Теперь понятно, деревня?

— Дети! — взмолилась Мадлен. — Просите этих господ не уводить нашего несчастного отца, нашего единственного кормильца! Ах, Морель! — воскликнула она душераздирающим голосом. — У них записка от хозяина Луизы. Мы погибли!

— Вот постановление, — сказал Маликорн,

вынув из своей папки документ с печатями.

Он пробормотал, по своему обыкновению, почти невнятно большую часть текста, зато отчетливо прочитал последние слова, к несчастью слишком понятные Морелю:

«Исходя из последнего, суд приговаривает вышеупомянутого Жерома Мореля выплатить вышеупомянутому негоцианту Пьеру Пти-Жану долг в тысячу триста франков, взыскав его со всего его имущества и с него самого со всеми процентами со дня вынесения приговора и со всеми судебными расходами.

Заслушано и утверждено в Париже, 13 сентября 1838 года»[90].

— А как же Луиза? — воскликнул Морель, почти ничего не поняв в этой тарабарщине. — Что с Луизой? Где она? Значит, она ушла от нотариуса, раз он может посадить меня в тюрьму? Луиза!.. Господи, что с ней стало?

— Какая еще Луиза? — спросил Бурден.

— Хватит! — грубо прервал его Маликорн. — Ты что, не видишь, что он ломает комедию? Пошли! — продолжал он, подступая к Морелю. — Налево

---

[90] Notes: 90

Ловкий нотариус знал, что не сможет преследовать бедного Мореля в судебном порядке от своего имени, а потому подсунул ему так называемый безымянный вексель и затем заполнил его на третье лицо.

кругом и вперед! Шагай, раб нерадивый. Пора подышать свежим воздухом, а то здесь такая вонища!..

— Морель, не ходи с ними! Защищайся! — в отчаянии закричала Мадлен. — Убей этих проходимцев! О, какой ты трус! Неужели ты позволишь увести себя? Оставить нас одних?

— Не стесняйтесь, сударыня, будьте как дома, — сардонически усмехнулся Бурден. — Но если ваш муженек поднимет на меня руку, я его оглушу.

Морель думал сейчас только о Луизе и почти не слышал того, что говорили с ним рядом. Внезапно выражение горькой радости осветило его лицо и он воскликнул:

— Значит, Луиза ушла из дома нотариуса! Что ж, я пойду в тюрьму с легким сердцем.

Но, окинув взглядом мансарду, он вскричал:

— А моя жена? Ее мать? Все мои дети? Кто будет их кормить? Мне же не доверят камни, если я попаду в тюрьму. Все будут думать, что я в чем-то виноват... Это же смерть для меня и всей моей семьи! Этого хочет нотариус?

— И раз, и два, мы когда-нибудь с этим покончим? — завопил Бурден. — Как это надоело! Одевайся, и пошли!

— Добрые господа, простите меня за то, что я

тут наговорила, — взмолилась Мадлен со своего тюфяка. — Вы ж не так жестоки, чтобы увести Мореля! Что станет со мной, с пятью детишками и слабоумной матерью? Посмотрите на нее, посмотрите, как она скорчилась на своем топчане! Она совсем впала в детство, добрые господа, она выжила из ума!

— Эта остриженная старуха?

— Смотри-ка, она в самом деле острижена! — сказал Маликорн. — А я — то думал, что у нее на голове белый платок.

— Дети, просите не коленях этих добрых господ! — воскликнула Мадлен в последней попытке умилостивить судебных приставов.

Но перепуганные детишки только плакали и не осмеливались вылезти из своего матраса.

От всего этого необычного шума, от вида незнакомых людей старая идиотка начала кричать и глухо рычать, ударяясь затылком о стену.

Морель, казалось, не видел, что происходит вокруг него. Этот удар был таким ужасным, таким неожиданным; арест его грозил такими страшными последствиями, что он не мог об этом даже думать... Лишения измучили его, и он вконец обессилел; бледный, с блуждающим взглядом, сидел он на своей табуретке, опустив руки, с по-

никшей на грудь головой.

— Довольно! Тысяча чертей! Когда-нибудь это кончится? — завопил Маликорн. — Мы что здесь, на свадьбе? Пошли, иначе я тебя поволоку!

Пристав схватил ремесленника за плечо и затряс.

Эти угрозы, эти грубые жесты вконец испугали детей; трое мальчиков, почти голые, выбрались из своего матраса, бросились в ноги судебным приставам и закричали, сложив ручки, жалобными голосами:

— Пощадите! Не убивайте нашего отца!..

При виде этих несчастных детей, дрожащих от холода и от испуга, Бурден, несмотря на всю природную жестокость и привычку к подобным сценам, почти растрогался. Однако его неумолимый коллега оттолкнул детей, которые цеплялись за его ноги с умоляющим плачем.

— Эй, прочь, сопляки! Какая собачья должность, иметь дело с такими нищими!

Ужасное происшествие сделало эту сцену еще страшнее. Старшая из девочек, которая лежала в матрасе со своей больной сестрой, вдруг закричала:

— Мама, мама, я не знаю, что такое с Адель! Она вся холодная... Смотрит на меня и не дышит...

Несчастная чахоточная девочка тихо умерла без единой жалобы, глядя на сестренку, которую так любила...

Невозможно передать, как закричала жена Мореля, услышав эти слова, ибо она сразу поняла все. Это был жуткий, потрясающий вопль, вырвавшийся, казалось, из самого чрева матери.

— Наверное, сестра моя умерла! Боже мой, боже мой, как я боюсь! — закричала девочка. Она выбралась из матраса и, гонимая страхом, бросилась в объятия матери.

А та, забыв, что почти парализованные ноги не могут ее держать, сделала отчаянную попытку подняться, чтобы подойти к своей мертвой дочери. Но силы оставили ее, и она упала на свой топчан с последним горестным криком отчаяния.

Этот крик пробудил Мореля; он вдруг вышел из оцепенения, бросился к распоротому матрасу и поднял младшую, четырехлетнюю, дочку на руки.

Она была мертва.

Холод и лишения ускорили ее смерть... хотя ее болезнь, вызванная нищетой, и так была смертельна.

Ее худенькие ручки и ножки уже окоченели и

были ледяными...

Часть IV

Глава I.
ЛУИЗА

Морель стоял неподвижно, пораженный ужасом и отчаяньем, седые волосы его растрепались; он держал мертвую дочь на руках и неотрывно смотрел на нее сухими, воспаленными глазами.

— Морель, Морель, дай мне мою девочку! — воскликнула несчастная мать, протягивая к мужу руки. — Нет, это неправда, она не умерла!.. Ты увидишь, я ее согрею...

Эти крики, суета двух приставов вокруг Мореля, который не хотел расстаться с тельцем своей дочери, возбудили любопытство старой идиотки. Она перестала вопить, поднялась и свесила свою уродливую и глупую голову через плечо Мореля... Несколько мгновений безумная старуха смотрела на труп внучки.

Лицо ее сохраняло обычное выражение идиотизма и жестокости, через минуту она хрипло зевнула с подвывом, как голодная гиена, бросилась на свой топчан и завопила:

— Есть хочу! Есть хочу!

— Вы видите, господа, видите эту бедную девоч-

ку? Ей было четыре годика, ее звали Адель... Вчера еще я поцеловал ее на ночь, а сегодня утром... Вы скажете: одним ртом меньше и я должен только радоваться, не так ли? — растерянно бормотал Морель.

Разум его не выдерживал этих ударов, следовавших один за другим.

— Морель, дай мне мою дочь, дай мне ее! — кричала Мадлен.

— Да, ты права, каждому свой черед, — ответил несчастный отец.

Он положил мертвую девочку на руки матери, обхватил голову руками и мучительно застонал.

Мадлен тоже не помнила себя: она зарыла тельце дочери в солому своего матраса, глядя на нее со звериной ревностью, а остальные дети стояли рядом на коленях и горько рыдали.

Судебные приставы, растроганные смертью ребенка, вскоре спохватились и обрели свою обычную грубую жестокость.-

— Послушай, приятель! — сказал Маликорн. — Дочь твоя умерла, это, конечно, несчастье, но все мы смертны. Мы тут ни при чем, а ты тем более... Следуй за нами! Нам надо прихватить еще одну птичку, такой уж сегодня удачливый денек.

Морель его не услышал.

Погруженный в свои горькие мысли, отрешенный от всего, гранильщик разговаривал сам с собой глухим прерывистым голосом:

— Надо все-таки похоронить мою девочку... Надо посидеть рядом с ней, тогда ее не унесут... Похоронить, но на какие деньги? У нас нет ничего... А гроб! Кто нам даст его в долг? Даже такой маленький гроб! Для девочки четырех лет... Это ведь недорого!.. А катафалк? Зачем? Такой гробик можно отнести на руках. Ха-ха-ха! — разразился он вдруг жутким смехом. — Да я же счастливчик! Она могла умереть в восемнадцать лет, в возрасте Луизы, и тогда никто мне не дал бы в долг большой гроб!

— Эй, пора кончать с этим! — сказал Бурден Маликорну. — Этот парень сейчас спятит. Ты посмотри на его глаза! И еще эта старуха, которая вопит от голода... Ну и семейка!

— Да, пора кончать... Правда, за арест этого нищего нам заплатят всего семьдесят шесть франков семьдесят пять сантимов, мы по справедливости округлим все расходы до двухсот сорока или двухсот пятидесяти франков. Волк за все заплатит.

— То есть даст аванс, но платить за всю музыку придется этому зайчику да еще плясать под нее!

— Если он откопает где-нибудь две с половиной тысячи франков, — за свой долг с процентами, судебными расходами и прочим, вот будет жарко!

— А пока мы здесь замерзаем, — ответил пристав, дуя На пальцы. — Давай кончать. Поведем его, успеет еще похныкать по дороге... Мы с тобой, что ли, виноваты, что его малявка загнулась?

— А не надо плодить детей, когда жрать нечего!

— Пусть ему будет наукой! — добавил Маликорн и хлопнул Мореля по плечу. — Вставай, приятель, пойдем, у нас нет времени. Если не можешь заплатить — в тюрьму!

— В тюрьму? Господина Мореля? — раздался чистый и звонкий голос, и в мансарду ворвалась юная девушка, румяная, свежая брюнетка с непокрытой головой.

— Ах, мадемуазель Хохотушка! — воскликнул кто-то из детей, утирая слезы. — Вы такая добрая! Спасите папу, его хотят увести в тюрьму, а наша маленькая сестренка умерла...

— Адель умерла! — воскликнула девушка, и ее большие черные глаза наполнились слезами. — Вашего отца в тюрьму? Этого не может быть...

Она стояла неподвижно, обводя горящим взглядом всех, кто был в мансарде: Мореля, его жену,

судебных приставов.

— Послушайте, милое дитя, вы, похоже, в своем уме, так образумьте этого человека! Его маленькая дочь умерла, ну и ладно! Но мы должны отвести его в Клиши, в долговую тюрьму. Мы судебные приставы коммерческой палаты.

— Значит, это правда? — воскликнула девушка.

— Очень даже правда! Мать спрятала девочку в своей постели, отнять ее невозможно, столько возни... А папаша постарается воспользоваться суматохой и сбежать...

— Господи! Господи боже мой! Какое несчастье! Что же делать?

— Заплатить или сесть в тюрьму. Другого выбора нет. Найдется у вас две-три ассигнации по тысяче франков, чтобы одолжить ему? — насмешливо спросил Маликорн. — Если найдется, сбегайте за ними в банк и погасите его должок, нам ничего больше не надо.

— О, как это отвратительно! — возмущенно воскликнула Хохотушка. — Вы еще смеете шутить, когда такое горе...

— Так вот, кроме шуток, — оборвал ее другой пристав. — Если вы такая добрая и хотите чем-то помочь, постарайтесь, чтобы жена не видела,

как мы уведем ее мужа. Вы избавите их обоих от неприятной сцены.

При всей своей грубости совет был разумен, и Хохотушка, следуя ему, подошла к Мадлен. Та не помнила себя от горя и даже не заметила девушку, вставшую на колени возле ее матраса рядом с плачущими детьми.

Морель немного пришел в себя после приступа отчаяния, — но его угнетали самые мрачные мысли. Он понимал весь ужас своего положения. Если нотариус решился на такую крайность, от него нечего ждать пощады, а судебные приставы только исполняли свой долг.

Морель решил покориться.

— Так войдем мы наконец или нет? — воскликнул Бурден.

— Я не могу оставить здесь бриллианты, — ответил Морель, показывая на драгоценные камни, рассыпанные на верстаке. — Моя жена не в себе от горя, а доверенная ювелира придет за ними только утром или днем. Камни стоят очень дорого...

«Тем лучше, тем лучше, — промурлыкал про себя Хрому-ля, который по-прежнему прятался за полуоткрытой дверью. — Тем лучше! Сычиха узнает и это».

— Подождите хотя бы до завтра, чтобы я мог вернуть бриллианты! — продолжал Морель.

— Ничего не выйдет! Пошли!

— Но я не могу оставить здесь бриллианты, они могут пропасть!

— Возьми их с собой, внизу ждет фиакр, заплатишь за него по статье расходов. Поедем к твоей ювелирше, а если ее нет, сдашь камушки в камеру хранения в тюрьме Клиши, там они будут надежнее, чем в банке... И поторопись, чтобы твоя жена и дети не заметили, как мы уходим.

— Прошу вас, подождите до завтра, чтобы я мог похоронить мою дочь! — взмолился Морель прерывающимся от рыданий голосом.

— Нет! Мы и так уже целый час потеряли.

— Да и похороны огорчат вас еще больше, — добавил Маликорн.

— Да, огорчат, — с болью ответил Морель. — Вам ведь так не хочется огорчать людей!.. Еще одно слово...

— Черт побери! Ты пойдешь наконец? — заорал Маликорн, потеряв терпение.

— Скажите только, когда вы получили ордер на мой арест?

— Приговор вынесен четыре месяца назад, но наш судебный исполнитель получил его от но-

тариуса вчера.

— Только вчера? Почему же он ждал так долго?

— Откуда мне знать! Вставай, собирайся!

— Вчера!.. И Луиза не приходила... Где она? Что с ней? — бормотал гранильщик, вынимая из-под верстака картонную коробку с ватой и укладывая в нее драгоценные камни. — Но что сейчас гадать?.. В тюрьме будет время обо всем подумать.

— Послушай, собирай поскорей свои вещи и одевайся!

— У меня нет никаких вещей, только алмазы, чтобы отдать на сохранение в тюремную канцелярию.

— Тогда одевайся!

— У меня нет другой одежды, кроме той, что на мне.

— Ты хочешь выйти в этих лохмотьях? — поразился Бурден.

— Вам, наверное, будет стыдно за меня? — с горечью спросил Морель.

— Не очень, потому что мы поедем в твоем фиакре, — ответил Маликорн.

— Папа, мамочка зовет тебя! — сказал один из ребятишек.

— Послушайте! — шепотом быстро заговорил Морель, обращаясь к судебным приставам. — Не

будьте жестокими, окажите мне последнюю милость... Я не смогу так проститься с женой, с детьми... у меня сердце разорвется... Если они увидят, что вы меня уводите, они побегут за мной... Я боюсь этого. Умоляю, скажите погромче, что вернетесь через два-три дня, и сделайте вид, что уходите... Вы подождете меня этажом ниже, я выйду к вам через пять минут... Это избавит меня от горестных прощаний, я их не выдержу, поверьте мне... Я сойду с ума! Я и так чуть не утратил разум...

— Знаем мы эти шуточки! — обозлился Маликорн. — Ты хочешь надуть нас? Хочешь смыться?

— О господи, что за люди! — вскричал Морель с болью и негодованием.

— Я не думаю, что он притворяется, — шепнул Бурден своему приятелю. — Сделаем, как он просит, иначе мы никогда отсюда не выберемся. А я постою за дверью: из мансарды нет другого выхода, он от нас все равно не уйдет.

— Ладно, будь по-твоему, но черт бы их всех побрал! Какая дыра! Хуже любой конуры!

И, понизив голос, Маликорн сказал Морелю:

— Договорились, мы будем ждать на пятом этаже. Разыгрывай свой спектакль, только по-

быстрее!

— Благодарю вас, — сказал Морель.

— Ну что ж, в добрый час! — громко воскликнул Бурден, подмигивая ремесленнику. — Раз уж так вышло и вы обещаете заплатить долг, мы уходим. Вернемся дней через пять или шесть... Но только не подведите нас!

— Да, господа, я уверен, что смогу к тому времени заплатить, — ответил Морель.

И судебные приставы направились к двери. Боясь, что его застигнут, Хромуля скатился по лестнице, прежде чем блюстители закона вышли из мансарды.

— Госпожа Морель, вы меня слышите? — спросила Хохотушка, пытаясь вывести жену гранильщика из мрачного оцепенения. — Вашего мужа оставили в покое, эти два человека ушли.

— Мама, ты слышала? Нашего папу не увели! — подхватил старший из сыновей.

— Морель, послушай меня, возьми один большой бриллиант, никто об этом не узнает, а мы спасемся, — бормотала Мадлен в полубреду. — Нашей маленькой Адель не будет холодно, она не будет такой мертвой...

Воспользовавшись мгновением, когда никто на него не смотрел, Морель осторожно вышел

из комнаты.

Судебный пристав ожидал его на маленькой площадке под скошенной крышей. На эту площадку выходила дверь чердака, который был как бы продолжением мансарды Морелей; Пипле хранил там запасы своих кож. Кроме того, — об этом мы уже говорили, — достойный привратник называл чердак своей ложей в театре мелодрам, потому что иногда подглядывал в щель между досками перегородки за горестными сценами в семье Морелей.

Судебный пристав заметил эту чердачную дверь и даже на миг подумал, что его пленник рассчитывает на этот выход, чтобы сбежать или спрятаться.

— Наконец-то! — сказал он, спускаясь на ступеньку и делая знак гранильщику следовать за ним. — Вперед, вшивая рота!

— Еще минуту, прошу вас! — воскликнул Морель.

Он встал на колени, приник к одной из щелей в двери, бросил последний взгляд на свою семью и заплакал горькими слезами.

— Прощайте, мои бедные детки! — шептал он прерывающимся голосом. — Прощай, моя несчастная жена! Прощайте!..

— Может, хватит? Кончишь ты лить из пустого в порожнее? — грубо оборвал его Бурден. — Прав был Маликорн: конура! Поганая конура!

Морель поднялся и уже был готов последовать за приставом, когда на лестнице раздался возглас:

— Отец! Мой отец!

— Луиза! — вскрикнул Морель, поднимая руки к небесам. — Значит, я смогу обнять тебя, пока меня не увели!

— Господи, слава тебе, я поспела вовремя!

Голос девушки приближался, и слышно было, как она торопливо взбегает по лестнице.

— Не волнуйся, моя девочка, — присоединился к ней снизу второй голос, язвительный и прерывистый от одышки. — Если надо, я подожду их у выхода с моей верной метлой и моим старым другом-супругом! Они отсюда не выйдут, пока ты с ними не поговоришь, с этими рожами!

Без сомнения, вы уже узнали голос г-жи Пипле, которая, не столь скорая на ногу, все же старалась не отставать от Луизы.

Через несколько секунд девушка бросилась в объятия своего отца.

— Это ты, Луиза! Добрая моя Луиза! — плача, говорил Морель. — Но как ты бледна! Господи,

что с тобой?

— Ничего, ничего, — отвечала Луиза, запыхавшись. — Я так бежала... Вот деньги...

— Как?

— Ты свободен.

— Значит, ты знала?

— Да, да... Возьмите, тут все деньги, — сказала девушка, протягивая Маликорну завернутый в бумагу столбик золотых монет.

— Но откуда эти деньги, Луиза?

— Не волнуйся... Ты сейчас все узнаешь... Пойдем, успокоим мать!

— Нет, только не сейчас! — воскликнул Морель, преграждая ей путь к двери. Он подумал о том, что Луиза не знает о смерти своей младшей сестры. — Подожди, я должен поговорить с тобой! Но откуда деньги?

— Погодите-ка! — прервал его Маликорн. Он пересчитал золотые и упрятал себе в карман. — Тут всего шестьдесят пять луидоров, значит, тысяча триста франков. А больше у тебя ничего нет, милашка?

— Но ты ведь должен только тысячу триста франков! — воскликнула ошеломленная Луиза, обращаясь к отцу.

— Да, — ответил Морель.

— Минуточку! — снова прервал его пристав. — Вексель на тысячу триста франков он оплатил, прекрасно. А судебные расходы? Если даже без ареста, их набежало уже на тысячу сто сорок франков.

— Боже мой! — воскликнула Луиза. — Я думала — тысяча триста франков, и все. Но мы заплатим потом, чуть позднее... Мы вам дали такой большей задаток, не правда ли?

— Позднее? Прекрасно! Принесите деньги в тюремную канцелярию, и мы тотчас отпустим вашего папеньку. А сейчас пошли!

— Вы хотите его увести?

— И немедля. За все надо платить. Когда рассчитается, его выпустят. Вперед, Бурден!

— Сжальтесь, сжальтесь! — закричала Луиза.

— О господи, как она верещит! Опять сопли и вопли! Тут и на морозе вспотеешь, право слово! — грубо закричал пристав и надвинулся на Мореля. — Если сам не пойдешь, я тебя схвачу за ворот и спущу по лестнице. Мне это, наконец, надоело!

— О, мой бедный отец! А я — то думала, что спасу тебя! — удрученно проговорила Луиза.

— Нет, нет, господь несправедлив! — отчаянно закричал гранильщик и в гневе затопал ногами.

— Вы не правы, господь справедлив, он всегда

заботится о честных людях, которые страждут, — возразил ему добрый и звучный голос.

И в то же мгновение Родольф вышел на лестничную площадку из чердака, где он прятался и незримо для всех наблюдал за трагическими сценами, которые мы описали.

Он был бледен и глубоко взволнован.

Вынув из кармана маленькую пачку банковских билетов, Родольф отсчитал три ассигнации, вручил их Маликорну и сказал:

— Здесь две с половиной тысячи франков. Верните девушке золотые, которые она вам дала.

Изумляясь все более и более, пристав нерешительно взял ассигнации, повертел их и так и сяк, посмотрел на свет и сунул наконец в карман. Но, по мере того как рассеивалось его удивление и проходил внезапный страх, к нему возвращалась его грубость. Он нагло уставился на Родольфа и сказал:

— Ваши банкноты вроде не фальшивые! Но откуда у вас на руках такая сумма? Откуда эти денежки?

Родольф был одет очень странно и к тому же перепачкался в пыли на чердаке.

— Я тебе сказал: верни золотые этой девушке! — коротко ответил Родольф суровым голосом.

— Ты мне сказал? А с чего это вдруг ты мне «тыкаешь?» — воскликнул пристав, угрожающе надвигаясь на Родольфа.

— А ну, возвращай луидоры! — ответил принц. Он схватил Маликорна за руку и так стиснул его запястье, что тот согнулся от этой железной хватки и завопил:

— Ой, больно, больно! Отпустите меня!

— Верни золотые! Тебе заплачено сполна, и убирайся. Еще одна дерзость, и я спущу тебя с лестницы!

— Вот они, ваши золотые, — простонал Маликорн, возвращая девушке сверток с луидорами. — Но не тыкайте мне и не трогайте меня. Вы думаете, что, если вы сильнее...

— Да, в самом деле! — вмешался Бурден, на всякий случай прячась за спину своего коллеги. — Кто вы, собственно говоря, такой?

— Кто он такой, невежа? Это мой жилец, самый лучший из всех жильцов, дрянь ты немытая! — задыхаясь, ответила ему г-жа Пипле, которая наконец поднялась по лестнице все в том же своем белокуром парике в стиле императора Тита.

Привратница держала в руках кастрюльку с горячайшим супом, который она милосердно несла Морелям.

— Это еще что? — воскликнул Бурден. — Откуда эта старая крыса?

— Если попробуешь меня тронуть, я наброшусь на тебя и — укушу! — ответила г-жа Пипле. — А потом мой жилец, лучший из жильцов, спустит вас обоих по лестнице, как он обещал... А я еще вымету вас метлой, как кучу мусора, потому что вы дрянь и мусор!

— Эта старуха поднимет против нас весь дом! — шепнул Бурден Маликорну. — Нам заплатили долг, заплатили за расходы, и баста! Бежим отсюда.

— Вот ваши расписки! — сказал Маликорн, бросив папку с документами к ногам Мореля.

— Подбери! Тебе платят за честность, а не за наглость! — сказал Родольф, останавливая пристава одной рукой и указывая другой на папку.

Судебный пристав понял, что ему не уйти от железной хватки незнакомца, и, кривясь от боли, нагнулся. Он подобрал папку с документами и, бормоча невнятные угрозы, подал ее Морелю.

Тот думал, что все это ему снится.

— Послушайте, вы, хоть у вас хватка мясника с большого рынка, но берегитесь попасть нам в руки! — крикнул Маликорн и, погрозив Родольфу кулаком, скатился по лестнице, перепрыгивая

через десять ступенек. Его приятель бросился за ним, испуганно оглядываясь через плечо.

Тут г-жа Пипле подумала, что может достойно отомстить этим судейским крысам за своего лучшего жильца. Она вдохновенно взглянула на кастрюлю с дымящимся супом и героически воскликнула:

— Долги Морелей заплачены, у них будет что поесть и без моего варева... Эй, вы, там, внизу, берегитесь!

И, перегнувшись через перила, старуха выплеснула всю кастрюлю на спины двух приставов, которые добежали только до второго этажа.

— Нате вам! — добавила привратница. — Бегите, бегите, мокрые, как суп, как два супа! Хе-хе-хе, вот потеха!

— Сто тысяч чертей! — возопил Маликорн, облитый горячей и не столь уж аппетитной похлебкой г-жи Пипле. — Ты что там, рехнулась наверху, старая шлюха?

— Альфред! — завопила в ответ г-жа Пипле таким голосом, что и глухой бы его услышал. — Альфред! Лупи их, мой дорогой! Они тут хотели позабавиться с твоей Стази, эти бродяги! Они на нее напали, эти два похабника! Лупи их метлой! Зови дворничиху и дворника, они тебе помогут...

Бей их! Колоти! Лупи, как паршивых котов! Держи их! Караул! Воры, воры! Ху-ху! Колоти их, мой дорогой! Молодец, мой старенький! Бум-бум!!!

И чтобы завершить свою ораторию, г-жа Пипле, опьяненная победой, приплясывая от восторга, швырнула вниз фаянсовую кастрюлю, которая с ужасным грохотом разбилась как раз в тот момент, когда оба пристава, оглушенные ее криками и угрозами, долетели, кувыркаясь, до последней площадки, что немало ускорило их позорное бегство.

— Нате вам! — повторила Анастази с громким хохотом, торжествующе скрестив руки на груди.

Но пока она преследовала приставов своими воплями и оскорблениями, Морель стоял на коленях перед Родольфом.

— Сударь, вы спасли мне жизнь! Кому мы обязаны этой нежданной помощью?

— Господу богу. Как видите, он всегда заботится о честных людях.

Глава II.
ХОХОТУШКА

Луиза, дочь гранильщика алмазов, отличалась удивительной, строгой красотой. Высокая и стройная, она напоминала правильностью лица античную Юнону, а живостью и гибкостью фигуры — Диану-охотницу. Несмотря на загар, несмотря на красные руки, превосходные по форме, но огрубевшие от стирки и прочих домашних работ, несмотря на бедную одежду, эта девушка сохраняла облик, полный благородства, и Морель, даже в отцовском своем восхищении, не зря называл ее принцессой.

Мы не станем и пытаться изобразить всю признательность и ошеломляющую радость этой семьи, внезапно избавленной от горчайшей участи. В какой-то момент общего опьянения все забыли даже о смерти маленькой девочки.

Поэтому только Родольф заметил крайнюю бледность Луизы и мрачную озабоченность, которая владела ею, несмотря на освобождение отца.

Чтобы окончательно уверить Морелей в их будущем и объяснить им свое вмешательство, ко-

торое могло разоблачить его инкогнито, Родольф, пока Хохотушка осторожно готовила Луизу к известию о смерти ее сестры, вывел гранильщика на лестничную площадку.

— Позавчера к вам приходила молодая дама, — сказал он.

— Да, и ее очень огорчило то, что она у нас увидела.

— Это ее вы должны благодарить за все, а не меня.

— Как же так?.. Эта молодая дама...

— И есть ваша благодетельница, — закончил за него Родольф. — Я часто относил к ней товар. А когда я снял здесь комнату на пятом этаже и узнал от привратницы о всех ваших бедах, я сразу подумал о доброте этой дамы и отправился к ней... Позавчера она была здесь, чтобы самой убедиться в тяжести вашего положения. Ее оно взволновало до боли. Но, поскольку ваша нищета могла быть следствием нерадивости, она поручила мне поскорее разузнать о вас все, что можно, чтобы оказать вам помощь в соответствии с вашей порядочностью.

— Добрая, милосердная дама! Я был прав, когда говорил...

— Когда говорил Мадлен: «Если бы богатые

знали», — не так ли?

— Откуда вы знаете имя моей жены? Кто вам сказал, что я...

— Сегодня с шести утра, — прервал его Родольф, — я прятался на маленьком чердаке, который примыкает к вашей мансарде.

— Вы, сударь?

— И я все слышал, все. Вы превосходнейший и чистейший человек.

— Господи, но как вы туда попали?

— К добру или к худу, но я решил все разузнать о вас лично от вас самих. Я хотел сам все увидеть и все услышать, не выдавая себя. Пипле говорил мне об этом маленьком чердаке и соглашался уступить мне его под дрова. Сегодня утром я сказал ему, что хочу осмотреть чердак, и я пробыл там больше часа и убедился, что трудно сыскать человека более чистого, благородного и мужественного в беде, чем вы.

— Господи, в этом нет никаких заслуг, просто я таким родился и не могу поступать по-другому.

— Я это знаю, а потому не хвалю вас, а воздаю вам должное. Я хотел уже выйти из своего тайника, чтобы избавить вас от приставов, но тут услышал голос вашей дочери. Я намеревался предоставить ей удовольствие быть вашей

спасительницей, но, к несчастью, жадность судейских исполнителей лишила бедную Луизу этого невинного удовольствия. И тогда пришлось выступить мне. Вчера мне вернули кое-какие деньги, я мог, в виде аванса вашей благодетельнице, заплатить этот ваш жалкий долг. Но ваши несчастья так велики и вы переносите их с таким честным достоинством, что на этом ее благодеяния не остановятся, вы заслуживаете большего. От имени вашего ангела-хранителя обещаю вам и вашей семье счастливое и мирное будущее...

— Возможно ли это? Но скажите хотя бы ее имя, сударь, как зовут этого ангела небесного. Нашего ангела-хранителя, как вы сами сказали?..

— Да, она ангел. Вы еще говорили, что у больших и малых свои беды.

— Неужели эта дама несчастна?

— У каждого свое горе... Но у меня нет причин скрывать ее имя... Ее зовут...

Но тут Родольф подумал: Пипле знает, что г-жа д'Арвиль спрашивала майора, и может проболтаться. Поэтому, чуть помолчав, он продолжал:

— Я вам скажу ее имя при одном условии.

— Я согласен на все, говорите!

— При условии, что вы не откроете его никому. Понимаете? Никому!

— Клянусь вам!.. Но могу ли я хотя бы поблагодарить эту заступницу бедняков?

— Я спрошу об этом у самой маркизы д'Арвиль и думаю, она не станет возражать.

— Значит, эта дама?..

— Маркиза д'Арвиль.

— О, я никогда не забуду это имя! Она будет моей святой, я буду ей молиться. Когда только подумаю, что благодаря ей моя жена, мои дети спасены!.. Увы, не все, не все... Бедная крошка Адель, ее больше нет... О господи, но мы бы все равно ее потеряли, раньше или позже, потому что она была обречена.

Морель вытер слезы.

— Но следует отдать последний долг этой бедняжке, и я бы на вашем месте... Впрочем, послушайте: я еще не въехал в свою комнату; она просторная, чистая, проветренная. Там уже есть кровать, а все остальное можно перенести, чтобы вы с семьей могли устроиться в этой комнате, пока госпожа д'Арвиль не подыщет вам подходящее жилище. Тело вашей дочери останется на ночь в мансарде, над ним, как полагается, священник будет читать молитвы. Я попрошу господина Пипле заняться этими печальными делами.

— Но, сударь, как можно лишать вас вашей

комнаты! Стоит ли? Теперь, когда все успокоились, когда мне больше Не грозит тюрьма, наша бедная каморка покажется мне дворцом, особенно если Луиза останется с нами и все приберет, как в былые времена...

— Ваша Луиза вас больше не покинет. Вы говорили, что ее присутствие для вас великая радость, так пусть оно будет вашим вознаграждением.

— Господи, возможно ли это? Мне кажется, я сплю и вижу сны... Я никогда не был особенно благочестивым, но такое чудо провидения... эта помощь, ниспосланная свыше, любого заставит уверовать...

— Ну и верьте на здоровье... Чем вы рискуете?

— Да, правда, — наивно ответил Морель. — Чем я рискую?

— Если бы можно было утешить горе отца, я бы сказал вам: вы лишились одной дочери, зато другая вернулась к вам.

— Да, это так. Теперь Луиза будет с нами.

— Надеюсь, вы займете мою комнату, не так ли? Иначе где установят гроб для ночного бдения? Подумайте о вашей жене... У нее и так с головой не все в порядке, и оставить ее на целые сутки рядом с мертвой дочерью — это слишком жестоко!

— Вы обо всем подумали, обо всем! Как вы доб-

ры, сударь.

— Благодарите за все вашего ангела-хранителя, это она меня вдохновляет. Я говорю то, что сказала бы она сама, и уверен, она меня одобрит. А теперь скажите мне, кто такой Жак Ферран?..

Лицо Мореля сразу омрачилось.

— Это тот самый Жак Ферран? — продолжал Родольф. — Нотариус, который живет на Пешеходной улице?

— Да, сударь. Вы его знаете?

Тут новые опасения за Луизу охватили Мореля, и он воскликнул:

— Если вы его знаете, сударь, скажите, имею ли я право его ненавидеть?.. Потому что он… кто знает?.. Моя дочь, Луиза...

И он спрятал лицо в ладонях, не закончив фразы. Но Родольф понял его страхи.

— Само поведение нотариуса должно вас успокоить, — сказал он. — Ферран хотел посадить вас в тюрьму наверняка из мести, чтобы наказать вашу дочь за ее гордость. Да вообще, у меня все основания думать, что он бесчестный человек. А если это так, — добавил Родольф после мгновенной паузы, — пусть покарает его провидение!

— Он очень богатый и очень двуличный, сударь.

— Вы были очень бедны и очень несчастны, — оставило вас провидение?

— О нет, слава богу!... Не подумайте, я так благодарен.

— Ангел-хранитель пришел к вам, неумолимый мститель настигнет однажды нотариуса... если он виновен.

В этот момент из двери мансарды вышла Хохотушка, утирая слезы.

Родольф сказал ей:

— Вы слышали, соседка? Я просил Мореля с семьей на время перебраться в мою комнату, пока его благодетель, от имени которого я действую, не найдет ему подходящего жилья.

Хохотушка посмотрела на Родольфа с удивлением.

— Как, вы настолько великодушны!..

— Да, но при одном условии... Тут все зависит от вас, моей соседки.

— От меня?

— Мне надо срочно подготовить отчет для моего хозяина, за ним скоро придут... Бумаги мои у меня внизу... Если вы, как соседка, позволите мне заняться отчетом у вас, где-нибудь на краешке вашего стола, пока вы шьете... Я не буду вам мешать, а семья Мореля сможет сразу перебраться

ко мне с помощью супругов Пипле.

— О, если только это, конечно, я согласна! Соседи должны помогать друг другу. Вы первый подали пример, пригласив к себе бедного Мореля. Так что к вашим услугам, сударь.

— Называйте меня просто соседом, иначе я буду стесняться и не смогу принять ваше предложение, — с улыбкой сказал» Родольф.

— За этим дело не станет! Я давно могла называть вас соседом, потому что вы и есть мой сосед!

— Папа, мама тебя зовет! Иди скорее! — крикнул один из мальчиков, выбегая на лестницу.

— Ступайте, дорогой Морель, когда комната будет готова, вас предупредят.

Гранильщик поспешно ушел к себе.

— А теперь, соседка моя, — обратился Родольф к Хохотушке, — я попрошу еще об одной услуге.

— Заранее согласна, сосед мой... Все, что смогу.

— Я уверен. Вы превосходная хозяюшка. Речь идет о том, чтобы немедленно купить для Морелей все необходимое: постель, одежду, мебель, потому что у меня там самая скромная обстановка — стол, стул да холостяцкая койка. Как раздобыть поскорее все, что может понадобиться Морелям? Хохотушка минуту подумала и ответила:

— До двух часов у вас будет все, что вам нужно: готовая прочная одежда, теплая и чистая, белое постельное белье на всю семью, две маленьких кроватки для детей, одна — для их бабки, в общем — все, что надо... Но ведь все это стоит кучу денег!

— Сколько?

— Самое малое... пятьсот — шестьсот франков.

— За все?

— Увы, сами видите, какие большие деньги! — сказала Хохотушка, сделав большие глаза и качая головой.

— И у нас будет все это?..

— До двух часов!

— Может быть, вы фея-волшебница, а, соседка?

— Да нет же, все очень просто... Тампль отсюда в двух шагах, и там мы найдем все, что нужно.

— Тампль?

— Да, Тампль.

— А что это такое?

— Как, сосед, вы не знаете, что такое Тампль?

— Нет, соседка.

— Но ведь там всегда покупают одежду и мебель такие люди, как мы с вами, когда удается что-нибудь сэкономить. Там все не хуже, чем в других местах, зато гораздо дешевле...

— В самом деле?

— Я-то знаю... Ну вот, к примеру, сколько вы заплатили за ваш редингот?

— Право, не могу вам сказать.

— Как, сосед, вы не знаете, сколько стоит ваш редингот?

— Признаюсь вам по секрету, соседка, — с улыбкой сказал Родольф, — мне его подарили... Так что, сами понимаете, откуда мне знать?..

— Ах, сосед, сосед, похоже, вы не очень-то привыкли к точности и порядку.

— Увы, это правда.

— Придется исправиться, если вы хотите, чтобы мы стали добрыми друзьями, а мы будем друзьями, я чувствую, ведь вы такой добрый! Вы не пожалеете, что у вас такая соседка, вот увидите. Вы будете мне помогать, а я вам все чинить и штопать — по-дружески, по-соседски. Я, конечно, буду стирать вам белье, а вы помогать мне, когда понадобится натереть полы... Я встаю рано и могу вас будить, чтобы вы не опаздывали в свой магазин. Я буду стучать вам в перегородку, пока вы не скажете в ответ: «С добрым утром, соседка!»

— Значит, договорились, вы меня будите по утрам, стираете мое белье, а я — натираю полы в вашей комнате...

— И вы будете следить за порядком?

— Разумеется!

— А когда вам нужно будет что-нибудь купить, вы пойдете в Тампль, потому что, к примеру, ваш редингот стоил вам, наверное, франков восемьдесят, не правда ли? А на бульваре Тампль вы купили бы такой же за тридцать франков.

— Да это же чудесно! Значит, вы думаете, что за пятьсот — шестьсот франков эти бедняги Морели...

— Обуются, оденутся, и некоторые надолго!

— Соседушка, у меня есть мысль!

— Послушаем, что за мысль.

— Вы понимаете, что нужно в хозяйстве?

— Как будто понимаю, — ответила Хохотушка с насмешкой.

— Тогда возьмите меня под руку, и пойдем в этот Тампль, чтобы купить Морелям все, что им нужно. Идем?

— А деньги?

— У меня хватит.

— Пятьсот франков?

— Благодетель Морелей дал мне право не стесняться в расходах, лишь бы у этих добрых людей было все, что нужно. И если мы найдем что-нибудь получше, чем в Тампле...

— Да нигде мы не найдем получше, а главное — в Тампле все готовое — и для детишек, и для матери.

— Тогда вперед, соседка, идем в Тампль!

— Да, но боже мой!

— Что еще случилось?

— Да ничего... Но, понимаете, я уже и так потеряла время — час туда, час сюда, эта бедная госпожа Морель, за которой пришлось ухаживать, вот и вылетел весь день, а это тридцать сантимов, а когда за день ничего не заработаешь, на что же потом жить... Ну да ладно, как-нибудь устроюсь! Ночью наверстаю... Удовольствия теперь в редкость, но на этот раз я уж навеселюсь! С вами я буду воображать, что я такая богатая-разбогатая и что я на свои денежки покупаю все эти вещи для бедняков Морелей... Погодите минуту, только накину шаль и надену чепчик — и, я с вами, сосед!

— Если вам нужно надеть только это, соседка, может быть, в это время я перенесу к вам свои документы?

— Пожалуйста, заодно увидите мою комнату, — ответила с гордостью Хохотушка. — Я уже прибралась, я же говорила, что встаю поутру, а если вы соня и лентяй, тем хуже для вас, я буду вам

беспокойной соседкой!

И, легкая, как птичка, Хохотушка сбежала по лестнице. Родольф последовал за ней, чтобы стряхнуть с себя пыль и паутину, налипшую на него на чердаке.

Мы расскажем позднее, почему Родольфа не известили о похищении Лилии-Марии близ фермы Букеваль, которое произошло накануне, и почему он не пришел к Морелям сразу же после разговора с маркизой д'Арвиль.

Напомним также читателю, что только мадемуазель Хохотушка знала новый адрес Франсуа Жермена, сына г-жи Жорж, и Родольфу было очень важно раскрыть эту тайну.

Прогулка на бульвар Тампль, надеялся он, расположит к нему гризетку, сделает подоверчивее и в то же время отвлечет его от грустных мыслей, навеянных смертью дочери Мореля.

Ребенок Родольфа, о котором он горько сожалел, умер, наверное, в том же возрасте...

Именно в этом возрасте Лилия-Мария была отдана Сычихе экономкой нотариуса Жака Феррана.

Зачем и при каких обстоятельствах, об этом мы расскажем позднее.

С огромным свертком бумаг, чтобы не выдать

себя, на всякий случай Родольф вошел в комнату Хохотушки.

Хохотушка была примерно того же возраста, что и Певунья, ее соседка по тюремной камере.

Между этими двумя девушками была та же разница, как между смехом и слезами;

между веселой беззаботностью и печальной мечтательностью;

между самой бесшабашной дерзостью и нескончаемыми грустными раздумьями о будущем;

между деликатной, изысканной, возвышенной и поэтической душой, болезненно чувствительной и смертельно раненной угрызениями совести, и, с другой стороны, — характером веселым, живым, подвижным, прозаическим и не обремененным размышлениями, хотя в то же время добрым и милосердным.

Хохотушка вовсе не была эгоисткой, но у нее не было своих печалей; она болела только за других, отдавалась душой тем, кто страждет, но забывала о них, едва отвернувшись; как грубо говорят: с глаз долой — из сердца вон.

Частенько она переставала хохотать, чтобы так же искренне заплакать, и утирала слезы, чтобы расхохотаться еще звонче.

Настоящее дитя Парижа, Хохотушка предпо-

читала опьянение покою, движение — отдыху, резкие и громкие мелодии, оркестров на балах в Шартрез или в Колизее — нежному шепоту ветра в листве или журчанию ручейка.

Оглушительную толкотню парижских перекрестков — одиночеству полей...

Ослепительные огни фейерверков, вспышки и грохот ракет — безмятежной красоте ночей, полных звезд, теней и безмолвия.

Увы, будем искренни! Эта добрая девушка откровенно предпочитала черную грязь столичных улиц зелени цветущих лугов; скользкие или раскаленные мостовые — свежим бархатистым мхам лесных тропинок, овеянных запахом фиалок; удушающую пыль парижских застав или бульваров — золотым пшеничным полям, расцвеченным багрянцем диких маков и лазурью васильков...

Хохотушка покидала свою комнатку лишь по воскресеньям, да еще каждый день по утрам, на минутку, только чтобы купить немножко хлеба, молока и проса, — для себя и своих двух птичек, как говорила г-жа Пипле; но она жила в Париже ради Парижа. И пришла бы в отчаяние, если бы ей пришлось покинуть столицу.

И еще была в ней одна странность; несмотря на

любовь к парижским развлечениям, несмотря на полную свободу или, вернее, полное отсутствие опеки, Хохотушка была одна-одинешенька... Несмотря на сказочную бережливость в расходах, которую ей приходилось проявлять, чтобы жить примерно на тридцать су в день, несмотря на свою самую пикантную, самую озорную и самую прелестную в мире мордашку, Хохотушка выбирала своих возлюбленных — мы не станем называть их любовниками, и будущее покажет правоту г-жи Пипле, которая утверждала, что все намеки соседей гризетки не более чем клевета и сплетни, — так вот, Хохотушка выбирала своих возлюбленных только из своей среды, то есть среди своих соседей, и это равенство перед домовладельцем было для нее решающим.

Один богатый и знаменитый художник, так сказать современный Рафаэль, наставник нашего Кабриоиа, увидел однажды портрет Хохотушки с натуры, где она была отнюдь не прикрашена. Пораженный прелестью юной девушки, мэтр упрекнул молодого художника в том, что тот поэтизировал, так сказать, идеализировал свою натурщицу.

Однако Кабрион, гордясь своей прелестной соседкой, предложил своему учителю на пари

показать ее как «предмет искусства» на одном из воскресных балов в Эрмитаже. Очарованный озорной грацией Хохотушки, «Рафаэль» на этом балу сделал все, чтобы оттеснить Кабриона. Нашей гризетке посыпались самые соблазнительные, самые щедрые предложения, но она героически отвергла их все, а на следующее воскресенье спокойно и весело приняла приглашение своего скромного соседа поужинать вместе в «Меридьян» — кабаре на бульваре Тампль, — а потом посидеть с ним на галерке в театрике Ла Гетэ или Амбигю.

Подобные интимные связи могли бы скомпрометировать Хохотушку и заставить усомниться в ее добродетели.

Не станем объясняться по этому поводу, но заметим пока, что есть тайны и бездны, к которым следует приближаться очень осторожно.

Еще несколько слов о нашей гризетке, и мы введем ее соседа Родольфа в ее комнату.

Хохотушке едва исполнилось восемнадцать; она была среднего роста, пожалуй, даже чуть ниже среднего, но фигурка у нее была такая изящная, такая стройная и гордая, с такими соблазнительными округлостями, что при ее легкой и стремительной походке она казалась

совершенством. Чуть-чуть прибавить, чуть-чуть убавить, и она бы все потеряла, настолько совершенным был весь ее грациозный облик.

У нее были маленькие ножки, и она всегда носила безупречные ботиночки из черного казимира с невысоким каблучком; от этого ее быстрая, задорная и в то же время сдержанная походка напоминала перепелку или трясогузку; казалось, что она не идет, а лишь слегка касается мостовой, быстро скользит над ее поверхностью.

Эту особенную походку гризетки, быструю, завлекающую и вроде бы испуганную, пожалуй, можно объяснить тремя причинами:

им хочется нравиться;

им не хочется, чтобы им выражали восхищение... слишком откровенно;

у них слишком мало времени, чтобы терять его, когда они спешат по своим делам.

Родольф видел Хохотушку только в полумраке мансарды Мореля или на столь же сумрачной лестнице, а потому был просто ослеплен изумительной свежестью девушки, когда тихонько вошел в комнату, залитую светом двух больших окон с квадратами переплетов. На мгновение он замер, пораженный прелестной картиной, представшей его глазам.

— Стоя перед зеркалом, поставленным на камине, Хохотушка завязывала под подбородком ленты чепчика из вышитого тюля, обрамленного цветочками вишневого цвета; этот чепчик, посаженный очень плотно и сдвинутый почти на затылок, открывал два густых и блестящих, черных как смоль завитка, почти закрывавших лоб; ее тонкие, разлетистые брови, словно нарисованные тушью, закруглялись над огромными черными глазами, блестящими и озорными; на упругих и полных щечках играл свежий румянец, такой свежий, что хотелось притронуться, как к румяному персику, еще прохладному от утренней росы.

Ее маленький носик, чуть вздернутый, озорной и чуть- чуть нахальный, мог бы принести целое состояние какой-нибудь Лизетте или Мартон; рот казался немного широковатым, но розовые, влажные губы, жемчужно-белые ровные зубки и веселая, насмешливая улыбка заставляла обо всем забывать. Три очаровательные ямочки придавали ее лицу дерзкую привлекательность: две на щеках, а третья — на подбородке, чуть ниже черной родинки, замершей как неотразимая мушка в углу ее рта.

Между вышитым широко открытым воротом

платья и нижним краем чепчика, окантованного вишневой лентой, виднелась грациозная шейка; густые волосы над ней были так аккуратно и туго подобраны, что корни их казались точками китайской туши на слоновой кости.

Шерстяное платье цвета коринфского винограда, с облегающей спинкой и обуженными рукавами, — Хохотушка любовно сшила его своими руками! — сидело на ней как влитое и свидетельствовало, что девушка никогда не носила корсета... из экономии. Гибкость и необычная естественность в каждом повороте ее плеч и стана, напоминавшие мягкие движения кошки, выдавали ее секрет.

Представьте себе такое платье, плотно облегающее округлые и полированные формы мраморной статуэтки, и поймете, Почему Хохотушка обходилась без вышеупомянутой принадлежности дамского туалета. Вместо корсета маленький фартучек из темно-зеленого левантина опоясывал ее талию, которую можно было охватить двумя ладонями.

Полагая, что она одна, — ибо Родольф по-прежнему незаметно и неподвижно стоял у дверей, — Хохотушка пригладила локоны на лбу ладонью своей белой, маленькой и ухоженной руки,

поставила ножку на стул и нагнулась, чтобы затянуть шнурки полусапожка. Этот интимный жест невольно показал нескромному Родольфу краешек белоснежного чулка и стройную ножку безупречной и чистой линии.

После этого столь подробного рассказа о туалете Хохотушки читатель легко поймет, что она сегодня выбрала свой самый красивый чепчик и самый красивый передничек, чтобы сделать честь своему соседу на прогулке по бульвару Тампль.

Ей пришелся по душе милый коммивояжер, ей очень нравилось его лицо, такое добродушное и в то же время гордое и смелое. И к тому же он выказал такую доброту к Морелям, великодушно уступив им свою комнату! И благодаря этому великодушию, а может быть, и благодаря своей приятной внешности Родольф, сам того не ведая, сразу завоевал доверие маленькой портнишки.

А та, поразмыслив практично о вынужденной интимности и взаимных обязанностях столь близкого соседства, искренне решила, что ей просто повезло, поскольку такой сосед, как Родольф, занял место коммивояжера, Кабриона и Франсуа Жермена. К тому же ей казалось, что соседняя комната слишком долго оставалась пустой, а она

боялась, что в ней поселится не очень-то желательный постоялец.

Пользуясь тем, что его не видят, Родольф с любопытством осмотрел комнатку, которая показалась ему выше всех похвал мамаши Пипле, объяснявших эти достоинства только необычайной чистоплотностью скромной портнихи.

Трудно представить что-либо более веселое и ухоженное, чем эта бедная комнатушка.

Стены были оклеены светло-серыми обоями с зелеными букетами; половицы сочного красного цвета сверкали как зеркало. В камине стояла белая фаянсовая печурка, по бокам которой симметрично лежали стопки дров, таких тонких и коротеньких, что их можно было без особого преувеличения сравнить с большими спичками.

Полку камина, имитацию серого мрамора, украшали две дешевенькие вазы веселого изумрудного цвета: с начала весны в них всегда стояли самые простые, но ароматные цветы; и маленькие часы в позолоченном футляре с серебряным циферблатом вместо громоздких напольных часов с маятником. Там же стоял с одной стороны медный подсвечник с огарком свечи, сверкавший, как золотой, а с другой стороны — такая же начищенная до блеска лампа,

цилиндр с медным рефлектором на стальной ножке и на свинцовом основании. Довольно большое квадратное зеркало в раме из черного дерева висело над камином.

Ситцевые занавески серо-зеленого цвета были обшиты шерстяной бахромой; их выкроила, сшила и отделала сама Хохотушка. И она же развесила их на легких рейках из почерненного железа на окнах и вокруг кровати с таким же покрывалом. Два застекленных шкафчика белого цвета стояли по бокам алькова; наверное, в них была всякая хозяйственная утварь — переносная печурка, посуда, умывальник, веник и прочее и тому подобное, — ибо ни один из этих предметов не нарушал кокетливого стиля маленькой комнаты.

Отполированный до блеска комод орехового дерева с красивыми прожилками, четыре стула того же дерева, большой рабочий стол для глажки и раскройки, покрытый куском зеленого сукна, какое еще можно найти где-нибудь в деревенском доме, соломенное кресло с таким же табуретом, на котором обычно сидела портниха за шитьем, — вот и вся скромная обстановка комнаты.

И наконец, в амбразуре одного из окон стояла клетка с двумя чижиками, верными друзьями и

нахлебниками Хохотушки.

С изобретательностью, свойственной лишь беднякам, Хохотушка поместила эту клетку в большой деревянный ящик глубиною с треть метра на особой подставке, а вокруг нее насыпала земли и назвала это садом чижей; зимой его выстилал мох, а весной Хохотушка засевала его травкой и ранними цветочками.

Родольф разглядывал этот маленький мирок с интересом и любопытством; теперь он прекрасно понимал жизнерадостный характер его хозяйки.

Он представлял себе, как она сидит здесь и шьет, беззаботно распевая вместе со своими чижами; летом она наверняка работала возле окна, наполовину затененного зеленой завесой розового душистого горошка, оранжевых настурций и синих и белых вьюнков; а зимой — рядом с маленькой печью при мягком свете своей лампы.

По воскресеньям она отвлекалась от трудовых будней, вознаграждая себя безудержным весельем и наслаждениями вместе с каким-нибудь молоденьким соседом, таким же веселым, влюбленным и беззаботным, как она... (В то время у Родольфа не было никаких причин верить в добродетель юной гризетки).

А в понедельник она вновь принималась за

работу, вспоминая об удовольствиях прошедшего дня, мечтая о будущих. Родольф сейчас почувствовал особенно остро всю прелесть этих простеньких куплетов о Лизетте-простушке и ее комнатушке, о безумных и беззаботных страстях, которые пылают на бедных мансардах, ибо эта поэзия приукрашала все и превращала жалкий чердак в веселое гнездышко влюбленных, где смеялась и радовалась зеленая и свежая юность... И никто не мог представить себе лучше Родольфа эту очаровательную богиню.

Родольф был весь во власти этих сентиментальных размышлений, когда взгляд его невольно остановился на двери и он вдруг увидел огромный засов...

Такой засов вполне подошел бы к дверям тюрьмы...

Этот засов заставил его задуматься.

Он имел двойное значение и мог служить.двум разным целям:

закрывать дверь от влюбленных...

закрывать дверь за влюбленными.

Одна из этих целей полностью опровергала домыслы г-жи Пипле.

Другая их подтверждала.

Родольф мучительно пытался разгадать эту

загадку, когда Хохотушка повернула голову, увидела его и, не меняя позы, воскликнула:

— Смотри-ка, сосед, вы уже здесь?

Глава III.
СОСЕД И СОСЕДКА

Полусапожок был зашнурован, и прелестная ножка исчезла под пышным подолом юбки цвета коринфского винограда.

— И давно вы здесь, господин соглядатай?

— Не очень... Я любовался молча.

— Чем же вы любовались, сосед мой?

— Этой прелестной маленькой комнаткой... Вы устроились здесь как принцесса, соседушка!

— Черт возьми, я могу себе позволить хоть эту роскошь. Ведь я почти не выхожу, так пусть хотя здесь будет хорошо.....

— Я просто опомниться не могу! Какие милые занавески... И этот комод, словно из красного дерева... Вам, наверное, все это безумно дорого стоило?

— И не говорите. У меня было четыреста двадцать пять франков, когда я вышла из тюрьмы... Почти все ушло на эту комнатушку...

— Вышли из тюрьмы? Вы?

— О, это целая история! Вы, надеюсь, не думаете, что я попала в тюрьму за какое-то преступле-

ние?

— Но как же это случилось?

— После холеры я осталась на свете совсем одна. Мне было тогда лет десять...

— Но до этого кто-то заботился о вас?

— Да, заботились добрые люди, но всех унесла холера... — Большие черные глаза Хохотушки увлажнились. — То немногое, что у них осталось, продали, чтобы уплатить какие-то небольшие долги, и я осталась одна, и никто не хотел меня принять. Я не знала, что делать, и пошла в караульную, которая была напротив дома, и, сказала часовому: «Господин солдат, мои родители умерли, я не знаю, куда мне идти, что мне делать, скажите!» Тут появился офицер и приказал отвести меня к полицейскому комиссару. А комиссар отправил меня в тюрьму за бродяжничество, и я вышла оттуда уже шестнадцати лет.

— Но ваши родители?

— Я не знаю, кто был моим отцом. Мне было шесть лет, когда я потеряла мать, которая взяла меня из сиротского приюта, куда ей пришлось сначала меня отдать. Добрые люди, о которых я вам говорила, жили в нашем доме. У них не было детей. Когда я осталась сиротой, они меня взяли к себе.

— А кто они были, эти люди? Чем занимались?

— Папа Пету, — я так его называла, — был маляром, а его жена — вышивальщицей.

— Они, по крайней мере, не терпели нужды?

— Как и во всех рабочих семьях. Я говорю «семья», хотя они и не были женаты, но они называли друг друга мужем и женой. Так вот, бывало по-всякому, и хорошо и худо. Когда была работа, мы ни в чем не нуждались, когда ее не было — бедствовали. Но это не мешало супругам никогда не огорчаться и смотреть на жизнь весело.

При этом воспоминании лицо Хохотушки прояснело.

— Во всем квартале не было второй такой пары: всегда они были бодры, всегда распевали, а таких добрых людей я еще не видела: все, что было у них, принадлежало всем. Госпожа Пету была жизнерадостная толстушка лет тридцати, чистюля и непоседа, всегда подвижная и веселая, как зяблик. Ее муж был вторым Роже Бонтамом: большой нос, большой рот, на голове всегда шапочка из бумаги, и такое смешное лицо, такое уморительное, что на него нельзя было смотреть без смеха. Каждый раз, возвращаясь домой после работы, он принимался кричать, петь, плясать и строить рожи, — как мальчишка. Он заставлял

меня танцевать, подбрасывал на колене; он играл со мной, словно мы были одного возраста, а его жена всячески баловала меня и почитала это за счастье. Оба хотели от меня только одного: чтобы я была в хорошем настроении, но веселья мне, слава богу, было не занимать. Поэтому они и прозвали меня Хохотушкой, и так это имя за мной и осталось. Они сами подавали мне пример: всегда были веселы. Я никогда не видела их грустными. Если они и ссорились, то жена говорила: «Послушай, Пету, это, глупо, но ты так смешон, так смешон!» Или он говорил своей жене: «Послушай, Рамонетта (не знаю, почему он называл ее Рамонеттой?), замолчи, прошу тебя, не то я умру от смеха!..» И я хохотала, глядя, как они смеются... Вот так они меня воспитывали, такой дали характер... Надеюсь, я их не обманула!

— Нисколько, соседушка! Значит, они никогда не ссорились?

— Никогда, ни разу!.. По воскресеньям, а иногда в понедельник или в четверг они устраивали, как они говорили, гулянье и всегда брали меня с собой. Папа Пету был очень хорошим мастером: когда он хотел, он зарабатывал столько, сколько ему было, нужно и его жене тоже. Когда у них было на что погулять в воскресенье и понедель-

ник, они были довольны и рады, а остальные дни недели можно прожить и

кое-как! И даже если работы не было, они не унывали... Я вспоминаю, когда мы сидели на хлебе и воде, папа Пету обычно брал из своей библиотеки...

— У вас была библиотека?

— Он называл так маленький ящичек, куда складывал сборники новых песен... Он покупал их и все знал наизусть. Так вот, когда в доме не было хлеба, он брал из своей библиотеки старую поваренную книгу и говорил нам: «А ну-ка посмотрим, что у нас сегодня на обед? Что выбираем? Вот это или это?..» И он нам читал названия самых вкусных блюд. Каждый выбирал по своему вкусу. Тогда папа Пету брал пустую кастрюлю и с потешными ужимками и шутками делал вид, будто кладет в кастрюлю все, что нужно для вкуснейшего рагу. А потом он делал вид, словно выкладывал рагу на пустое блюдо и подавал его на стол с такими потешными гримасами, что мы держались за бока. Потом он снова брал поваренную книгу и читал нам, к примеру, рецепт фрикасе из курицы, которое мы выбрали; у нас просто, слюнки текли, и под это чтение мы ели свой хлеб, хохоча как сумасшедшие.

— И у этой веселой семейки были долги?

— Никогда! Когда были деньги, мы гуляли, когда денег не было, обедали «вприглядку», как говорил папа Пету. — Разве они не думали о будущем?

— Думали, конечно. Но для нас будущее это было новым воскресеньем и понедельником. Летом мы их проводили у городских ворот, зимой — в предместье.

— Если эти добрые люди так подходили друг другу, если они так часто и весело гуляли вместе, почему же они не поженились?

— Один из друзей однажды спросил их об этом при мне.

— Так что же?

— Они ответили: «Если бы мы хотели детей, тогда конечно. Но нам и так хорошо. Зачем заставлять нас делать то, что мы и так делаем по доброй воле? К тому же свадьба — это лишние расходы, а у нас нет лишних денег...» Господи! — спохватилась Хохотушка. — Как я разболталась! Но понимаете, когда я вспоминаю этих добрых людей и все, что они для меня сделали, мне хочется рассказывать о них и рассказывать. Послушайте, сосед, подайте мне, пожалуйста, шаль с моей кровати и помогите заколоть сзади

под воротничком вот этой большой булавкой. И тогда — в путь, потому что нам давно пора на бульвар Тампль, если вы хотите купить все нужное для этих бедных Морелей.

Родольф поспешил исполнить просьбу Хохотушки: он взял с постели большую тартановую шаль коричневого цвета с широкими пунцовыми полосами и осторожно накинул ее на прелестные плечи гризетки.

— А теперь, сосед, приподнимите немного мой воротничок и скрепите вместе шаль и платье булавкой, только смотрите на уколите меня!

Для того чтобы исполнить эту просьбу, Родольфу пришлось бы почти коснуться этой шейки цвета слоновой кости с черной, четкой линией приподнятых эбеновых волос Хохотушки. В комнате было сумеречно, Родольф подошел очень близко, без сомнения слишком близко, потому что гризетка внезапно испуганно вскрикнула.

Не беремся объяснять причину ее испуга.

Может быть, был укол булавкой? Может быть, Родольф коснулся губами этой атласной нежной шейки? Во всяком случае, Хохотушка живо обернулась и воскликнула полунасмешливо, полупечально:

— Нет, сосед, я никогда вас больше не попрошу

заколоть на мне шаль!

Родольф искренне пожалел, что допустил даже столь невинную вольность.

— Простите меня, соседушка, я так неловок!

— Наоборот, за это я и сержусь... А теперь подайте руку и будьте умником, а то мы поссоримся.

— Нет, право, соседушка, я не виноват... Ваша прелестная шейка так бела, что меня проста ослепило... Голова склонилась сама собой, и я...

— Ну ладно, хватит! В будущем я уж постараюсь вас больше не ослеплять.

Хохотушка погрозила ему пальчиком, они вышли, и она закрыла свою дверь.

— Будьте добры, сосед, возьмите мой ключ: он такой большущий, что прорвет мне карман, и тяжеленный... настоящий пистолет!

И она расхохоталась.

Родольф вооружился, в буквальном смысле слова, огромным ключом, который мог бы посоперничать с теми символическими ключами от взятых городов, которые побежденные униженно подносят на блюде победителю.

Хотя Родольф и был уверен, что с годами достаточно сильно изменился и Полидори не сможет его узнать, на всякий случай, проходя перед дверью шарлатана, он поднял воротник пальто.

— Сосед, не забудьте предупредить мамашу Пипле, что скоро доставят вещи и надо отнести их в вашу комнату, — сказала Хохотушка.

— Вы правы, соседушка, сейчас мы заглянем на минутку к привратнице.

Господин Пипле с его извечной шляпой-трубой на голове, в своем зеленом сюртуке важно восседал, как всегда, перед столом, заваленным обрезками кожи и всевозможной рваной обувью; сейчас он старался починить сапог и занимался этим делом с обычной серьезностью. Анастази в каморке не было.

— Привет, господин Пипле! — сказала Хохотушка. — У нас для вас новости. Спасибо моему соседу, Морели теперь спасены... Подумать только, несчастных хотели отправить в тюрьму! Ох уж эти судебные приставы, у них нет сердца!

— И нет совести, — добавил Пипле, размахивая рваным сапогом, в который он вставил для починки свою левую руку. — Я не боюсь это сказать и готов повторить перед богом и людьми, это бессовестные твари! Они воспользовались темнотой на лестнице и осмелились поднять руку даже на мою супругу, непрестанно хватая ее за талию. Когда я услышал ее крики оскорбленной невинности, я не смог удержаться и поддался

праведному гневу. Не стану скрывать, сначала я хотел сдержаться и только краснел от стыда, думая об отвратительных приставаниях к моей Анастази. Она ведь чуть не сошла с ума, потому что в отчаянии швырнула нашу фаянсовую кастрюльку сверху вниз по лестнице! И в этот момент эти два нахала пробегали перед дверью нашей каморки...

— Надеюсь, вы бросились их преследовать? — проговорила Хохотушка, с трудом сохраняя серьезный тон.

— Я так и думал сделать, — ответил Пипле с глубоким вздохом. — Но когда я представил, что мне придется встретить их нахальные взгляды и, может быть, услышать неприятные слова, меня это возмутило, вывело из себя. Я не такой уж злой человек, не хуже других, но, когда эти бесстыдники пробегали мимо нашей двери, кровь вскипела во мне и я не удержался: я закрыл рукою глаза, чтобы не видеть этих похотливых злодеев!!! Но меня ничто не удивило, со мной должно было приключиться сегодня какое-то несчастье, потому что мне приснился этот негодяй Кабрион!

Хохотушка улыбнулась, и вздохи Пипле смешались со стуком его молотка по подметке старого сапога...

Судя по всему, Альфред не понимал, что Анастази принадлежала к тому типу старых кокеток, которые все время рассказывают о бесконечно опасных покушениях на их честь, пытаясь раздуть огонь ревности в своих мужьях или любовниках.

— Не спорьте, сосед, — тихонько сказала Хохотушка Родольфу. — Пусть бедняга думает, что они приставали к его жене. Ему это, наверное, даже льстит.

Родольф и не собирался лишать Пипле его иллюзий.

— Вы разумно избрали участь мудрецов, дорогой господин Пипле, — сказал он. — Вы презрели недостойных! К тому же добродетель мадам Пипле поистине неприступна.

— Ее добродетель, сударь, ее добродетель! — Альфред снова начал размахивать надетым на руку сапогом. — Да я голову за нее сложу на эшафоте! Слава великого Наполеона и добродетель Анастази... за них я могу ответить своей собственной честью.

— И вы правы, господин Пипле. Но забудем на минуту этот прискорбный случай. Я прошу вас оказать мне одну услугу.

— Люди созданы, чтобы помогать друг другу, —

наставительно и меланхолично ответил Пипле. — Тем более если речь идет о таком достойном жильце, как вы, сударь.

— Надо будет отнести ко мне разные вещи, которые вскоре доставят. Они для Морелей.

— Не беспокойтесь, сударь, я за всем прослежу.

— И еще, — печально добавил Родольф, — надо позвать священника, чтобы он побыл возле маленькой девочки, которая умерла этой ночью, оповестить о ее смерти и сразу заказать гроб и достойные похороны. Вот вам деньги... не скупитесь... Благодетель Морелей, — а я всего лишь исполнитель его воли, — пожелал, чтобы все было как можно лучше.

— Доверьтесь мне, сударь. Анастази пошла купить нам кое-что к обеду. Как только она вернется, Я оставлю ее здесь и займусь вашими поручениями.

В этот момент какой-то господин, настолько «упрятанный» в свое пальто, как говорят испанцы, что видны были только глаза, и стараясь держаться в тени подальше от двери, осведомился у Пипле, можно ли ему подняться к госпоже Бюрет, торговке комиссионными вещами?

— Вы прибыли из Сен-Дени? — спросил Пипле с заговорщическим видом.

— Да, в час с четвертью.

— Хорошо, можете войти.

Человек в пальто с капюшоном быстро поднялся по лестнице.

— Что все это значит? — спросил Родольф у Пипле.

— Там что-то затевается, у этой мамаши Бюрет... Все время приходят, уходят. Утром она мне сказала: «Всех, кто придет ко мне, спрашивайте: «Вы из Сен-Дени?» — и, если ответят: «Да, в час с четвертью», — пропускайте ко мне. Но только этих людей!»

— Похоже, настоящий пароль, — сказал Родольф, не скрывая тревожного любопытства. — Вот именно, сударь. Поэтому я и сказал себе: у мамаши Бюрет наверняка что-то затевается! Не говорю уже о том, что Хромуля, маленький хромой паршивец, он прислуживает Сезару Брадаманти, вернулся сегодня в два часа ночи с какой-то кривой старухой, которую зовут Сычиха. Они сидели до четырех утра у мамаши Бюрет, и все это время у дверей ее ждал фиакр. Откуда взялась эта кривая старуха? Что она здесь делала в такой поздний час? Такие вопросы задавал я себе и не мог на них ответить, — удрученно закончил Пипле.

— Эта кривая старуха, которую звали Сычихой, уехала на фиакре в четыре утра? — спросил Родольф.

— Да, сударь. И она наверняка вернется, потому что мамаша Бюрет сказала, что пароль для кривой старухи необязателен.

Родольф подумал, и не без оснований, что Сычиха замышляет какое-то новое злодеяние, но, увы, ему и я голову не приходило, как близко коснется его эта новая интрига.

— Значит, договорились, дорогой Пипле. Не забудьте сделать все для Морелей и попросите вашу супругу отнести им хороший обед из лучшей соседней харчевни.

— Будьте спокойны, — сказал Пипле. — Как. только моя супруга вернется, я побегу в мэрию, в церковь и к харчевнику... В церковь — для мертвых и в харчевню — для живых, — философски добавил Пипле, поэтически украшая эту сентенцию. — Будьте спокойны, считайте, что все уже сделано.

У выхода Родольф и Хохотушка буквально столкнулись в Анастази, которая возвращалась с рынка с тяжелой корзиной всякой провизии.

— Счастливо вам, сосед и соседка! — воскликнула г-жа Пипле, глядя на них коварно и

многозначительно. — Вы уже ходите под ручку... Дай бог, дай бог... Горячо, горячо! Молодость есть молодость... Хорошей девке — хороший парень! Да здравствует любовь! И дай вам боже...

Старуха исчезла в глубине аллеи, ведущей к дому, но голос ее доносился:

— Альфред, не печалься, мой старенький!.. Вот идет твоя Стази, несет тебе вкусненького, мой старый лакомка!

Родольф предложил Хохотушке руку, и они вышли из дома к бульвару Тампль.

Глава IV.
БЮДЖЕТ ХОХОТУШКИ

Ночью шел снег, а потом задул очень холодный ветер; обычно слякотная мостовая стала почти сухой. Хохотушка и Родольф направились к огромному и единственному в своем роде базару, который называли «Тампль». Девушка опиралась на руку своего кавалера и откровенна льнула к нему, как будто их давно уже связывала интимная интрига.

— Ну какая она смешная, эта мамаша Пипле! — заметила гризетка.

— Ей-богу, соседушка, по-моему, она права — ответил Родольф.

— А в чем она права, сосед?

— Она сказала: «Да здравствует боже!»

— Ну так что?

— Вот и я так же думаю...

— Не понимаю...

— Я бы тоже хотел воскликнуть: «Да здравствует любовь», но... с вами, и пошел бы... куда вы меня поведете.

— Верю вам, вы не очень упрямы.

— Что же в том плохого? Ведь мы соседи!

— Если бы не были соседями, я бы не вышла с вами вот так, под ручку.

— Значит, я могу надеяться?

— На что надеяться?

— Что вы меня полюбите.

— Я вас уже люблю.

— В самом деле?

— Это ведь очень просто: вы добрый и веселый. Хоть и сами бедны, вы делаете все, что можете, для несчастных Морелей, взывая к богачам, чтобы они сжалились над бедняками; у вас хорошее лицо и вежливое обхождение, а мне это приятно и льстит мне: кто подает мне руку, тот получает мою. Я думаю, достаточно причин полюбить вас.

Хохотушка весело рассмеялась и вдруг воскликнула:

— Посмотрите на эту толстушку, вот ту, в ее сапожках на меху! Похоже, она тащит на ногах двух кошек без хвоста!

И она снова расхохоталась.

— Я предпочитаю смотреть на вас, милая соседка. Я так счастлив, что вы меня уже полюбили.

— Я вам говорю это, потому что так оно и есть. Если бы вы мне не нравились, я бы вам тоже это сказала. Я никогда никого не обманывала и не

была кокеткой-притворяхой. Когда кто-то мне нравится, я это сразу говорю...

Внезапно остановившись перед лавкой старых вещей, гризетка воскликнула:

— Ох, посмотрите на эти грубые часы с маятником и на эти две прекрасные вазы! Я уже отложила три ливра и десять су — они у меня в копилке. Лет через пять-шесть я смогу купить себе такие же.

— Значит, вы даже откладываете? А сколько же вы зарабатываете, соседушка?

— Самое малое тридцать су в день, а иногда и сорок. Но я рассчитываю только на тридцать, так будет осторожнее, и трачу не больше, — ответила Хохотушка с такой серьезностью, словно речь шла, о равновесии государственного бюджета.

— Но как же вы можете жить на тридцать су в день?

— Рассчитать не долго... Хотите, я расскажу вам, сосед? Похоже, вы мот по натуре, так это вам будет примером.

— Да что вы, соседушка!

— Мои тридцать су в день — это значит сорок пять франков в месяц, не так ли?

— Правильно.

— Из них двенадцать франков уходит за комна-

ту и двадцать три на еду.

— На еду... двадцать три франка?

— О господи, ну примерно столько! Признайтесь, что для такой крохотули, как я, и это слишком много. Кстати, я себе ни в чем не отказываю.

— Маленькая лакомка!

— И включите сюда моих чижиков.

— Да, понятно, если вас трое, то это уже и так разорительно. Но расскажите подробнее... чтобы я мог поучиться.

— Так слушайте: фунт хлеба — это четыре су, на два су молока, на четыре су зимних овощей, а летом — фрукты и салат; обожаю салат, его легко приготовить и он не пачкает руки; значит, это шесть су; на три су масла сливочного или оливкового и еще немного уксуса для приправы — итого тринадцать! И еще — ведро чистой воды — это роскошь, которую я себе позволяю, с вашего разрешения, значит, уже пятнадцать су... Прибавьте к этому два-три су в неделю на конопляное семя и птичью смесь для моих чижей, чтобы их порадовать, а обычно они клюют хлебный мякиш, размоченный в молоке, — и все на двадцать су, двадцать три франка в месяц, ни больше, ни меньше.

— И вы совсем не едите мяса?

— Мяса? Да ведь оно же стоит десять — двенадцать су за фунт! Я о нем и не думаю. А потом, когда оно варится, от него такой запах, вся комната пропахнет... А вот молоко, овощи, фрукты можно приготовить быстро. Знаете, что я больше всего люблю? Это так просто, я так вкусно это готовлю!

— Что же это за блюдо?

— Я кладу желтенькие чистенькие картошечки на противень — и в печку, а когда они испекутся, я их растолку, добавлю немного масла, чуть-чуть молока и щепотку соли, и... это пища богов! Если будете вести себя хорошо, я вас угощу.

— Если вы все приготовите вашими прелестными ручками, это, наверное, будет восхитительно. Но постойте, соседушка, давайте посчитаем... У нас уже вышло двадцать три франка на еду и двенадцать франков за комнату, итого тридцать пять франков в месяц...

— Чтобы дойти до сорока пяти или пятидесяти франков, которые я зарабатываю, мне остается потратить еще десять — пятнадцать франков на дрова и на масло для лампы зимой, и еще на одежду и на стирку, то есть на мыло, потому что, кроме простыней, я все стираю сама, — это тоже моя роскошь! Если бы я все отдавала прачке, я бы

осталась голой! А я сама стираю, и глажу очень даже неплохо, и обхожусь! За пять зимних месяцев у меня уходит пять с половиной охапок дров и масла для лампы на четыре-пять су, значит, всего примерно восемьдесят франков в год на тепло и свет.

— Таким образом, у вас остается в лучшем случае сто франков, чтобы одеваться?

— Да, и прибавьте еще к этому сэкономленные три франка и десять су.

— Но ваши платья, ваши ботиночки, этот прелестный чепчик?

— Мои чепчики? Я их надеваю, только когда выхожу, и они меня не разорят, потому что я их шью сама. А дома — зачем мне чепчики с такой копной волос? А платья и ботиночки — разве нет рядом Тампля?

— Ах да, благословенный Тампль! Значит, вы там находите...

— Превосходные платья, и очень красивые. Представьте, знатные дамы завели обычай дарить свои старые платья горничным... Когда я говорю «старые», это значит, что они поносили их с месяц-другой, да и то разъезжали в каретах, а горничные тут же их продают в Тампле... почти даром. Вот, глядите, на мне платье превосходной

шерсти цвета коринфского винограда. Мне оно обошлось всего в пятнадцать франков, а стоило не меньше шестидесяти, и оно почти не ношенное. Я его подогнала по себе и надеюсь, оно мне делает честь.

— Это вы ему делаете честь, соседушка!.. Однако со всеми чудесами вашего Тампля я начинаю понимать, как вы можете одеваться всего на сто франков в год.

— Трудно поверить, правда? Там продают чудные летние платьица всего за пять-шесть франков, полуботиночки, ну вот как у меня, почти новенькие, за два или три франка. Поглядите, они как на меня пошиты! — воскликнула Хохотушка, останавливаясь и показывая в самом деле отлично обутую ножку.

— Ножка прелестная, ничего не скажешь, на такую, наверное, нелегко найти туфельки... Но если вы мне скажете, что в этом Тампле продают и детскую обувь...

— Ох, какой же вы льстец, сосед. Но признайтесь все-таки, что маленькая, одинокая и разумная девушка может прожить и на тридцать су в день! Надо, правда, сказать, что эти четыреста пятьдесят франков, которые я получила, выходя из тюрьмы, мне очень помогли устроиться... Когда

люди видели комнатку со всей этой мебелью, они доверяли мне и давали работу на дом. Но не сразу, не сразу. По счастью, у меня еще оставались деньги, и я могла прожить три месяца и без работы.

— У вас такое озорное личико, и кто бы подумал, что у вас столько рассудительности и расчета?

— Господи, когда ты одна на всем белом свете и когда не хочешь ни от кого зависеть, приходится быть расчетливой и, как говорят, вить свое гнездо.

— А ваше гнездышко прелестно!

— Правда? Ведь, в конце концов, я себе ни в чем не отказываю. Даже за комнату плачу больше, чем могла бы. И птички у меня, и летом две вазочки с цветами на моем камине, и цветочки в ящиках на подоконниках и в клетке у чижиков. И при всем при том, как я уже вам говорила, у меня уже были три франка и десять су в моей копилке, чтобы я могла когда-нибудь купить полный набор для моего камина.

— Что же стало с вашими сбережениями?

— Господи, в последние дня я видела этих, бедных Морелей такими несчастными, такими жалкими, что я сказала себе: «Нет смысла хранить в копилке три глупых монеты по двадцать су, которые пылятся от безделья в копилке, ко-

гда честные люди рядом умирают с голоду... И я одолжила три франка госпоже Морель. Когда я говорю «одолжила», то это так, чтобы не унижать ее, потому что я отдала им эти деньги от чистого сердца.

— Вот видите, соседушка, вы были правы, теперь у них все в порядке, и они вернут вам этот долг.

— Да, а самом деле, и я не откажусь. Все-таки будет какая-то зацепочка, что когда-нибудь я смогу купить все для моего камина: решетку, щипцы... Я так об этом мечтаю!

— Но все-таки нужно хоть немного думать о будущем?

— О будущем?

— Ну если, например, заболеете...

— Я? Заболею?.. И Хохотушка разразилась смехом. Она расхохоталась так громко, что толстяк, который шел перед ними с такой же толстой собачонкой на руках, сердито обернулся, посчитав, что смеются над ним.

Хохотушка, не переставая смеяться, отвесила ему полупоклон с таким озорным видом, что Родольф невольно присоединился к веселому смеху своей спутницы.

Толстяк сердито проворчал что-то и пошел

дальше.

— Да вы что, с ума сошли, соседушка? Успокойтесь! — попытался урезонить ее Родольф.

— Вы сами виноваты...

— В чем же?

— Говорите мне такие глупости!

— Что вы можете заболеть?

— Я? Заболеть?

И она снова расхохоталась.

— А почему бы и нет?

— Неужели я похожа на больную?

— Да нет же, я никогда не видел такого свежего и румяного личика.

— Так в чем же дело? Почему вы думаете, что я могу заболеть?

— Почему? Со всеми бывает...

— В восемнадцать лет... и при жизни, какую я веду, разве это возможно? Я встаю в пять утра, зимой и летом, ложусь спать в десять или в одиннадцать; я ем, пусть немного, но сколько мне хочется, не мерзну, работаю весь день и распеваю, как жаворонок, сплю как сурок, сердце мое свободно и радостно, я всем довольна; работы мне всегда хватает, об этом я не забочусь; так от чего же, по-вашему, мне болеть?.. Было бы просто смешно!

И опять она расхохоталась.

Родольф был поражен этой слепой и благословенной верой в будущее и упрекнул себя, что едва ее не поколебал... Он с ужасом подумал, что роковой недуг мог бы всего за месяц погубить это радостное и мирное создание.

Глубокая вера Хохотушки в свои восемнадцать лет и ее храбрость — ее единственное достояние преисполнили Родольфа глубоким уважением. Святая простота!

Со стороны юной девушки в этом не было беззаботности или непредусмотрительности: в этом была инстинктивная вера в то, что божье милосердие и справедливость не покинут трудолюбивое и юное создание, бедную портнишку, виноватую разве лишь в том, что она целиком полагалась на свою молодость и здоровье, подаренные ей небесами...

Когда птицы небесные по весне трепещут крыльями и радостно распевают над розовой люцерной или взмывают в теплых просторах лазури, разве думают они о грядущей суровой зиме?

— Значит, вы ни к чему особому не стремитесь? — спросил Родольф гризетку.

— Нет.

— Абсолютно ни к чему?

— Да нет же... Впрочем, я ведь говорила о гарнитуре для моего камина. Он у меня обязательно будет, только не знаю когда. Но я это вбила себе в голову, и я своего добьюсь. Может быть, буду работать даже по ночам...

— А кроме этого камина?..

— Ничего мне особенно не хотелось... До сегодняшнего дня.

— Что же случилось?

— Еще позавчера я мечтала о соседе, который бы мне понравился... чтобы зажить с ним в доброй дружбе, как я всегда это делала, чтобы оказывать ему небольшие услуги, я — ему, а он — мне.

— Мы уже договорились об этом, соседушка: вы будете заботиться о моем белье, а я — натирать полы в вашей комнате... не говоря уже о том, что вы будете стучать мне в перегородку, чтобы пораньше меня разбудить.

— И вы думаете, это все?

— А что же еще?

— Нет, вы еще не все поняли. Разве вы не будете водить меня по воскресеньям к городским воротам или на бульвары? Ведь это у меня единственный свободный день...

— Прекрасно, договорились. Летом мы отпра-

вимся в деревню.

— Нет, я терпеть не могу деревню, я люблю только Париж. Правда, я несколько раз бывала в окрестностях Сен-Жермена да и то, чтобы угодить одной моей подружке: мы с ней познакомились в тюрьме, и звали ее Певунья, потому что она распевала весь день. Очень хорошая, добрая девочка.

— Что же с ней стало?

— Право, не знаю. Она тратила деньги, заработанные в тюрьме, без всякого удовольствия. Всегда была печальной, но отзывчивой, милосердной... Когда мы вышли вместе, у меня еще не было работы, а когда появились заказы, я уже не выходила из своей комнатушки. Я дала ей мой адрес, но она ни разу не пришла ко мне; наверное, у нее были свои дела... Так вот, мой сосед, я сказала, что люблю Париж больше всего! Поэтому, если вы сможете, сводите меня пообедать в ресторанчик, а может быть, порой в театр. А если у вас не будет денег, пойдемте посмотреть на витрины в ближайших пассажах, — для меня эта такая же радость. И можете не беспокоиться: во время этих прогулок вам не придется за меня краснеть. Вы увидите, как я смотрюсь в моем лучшем платьице из темно-синего левантина, — я надеваю его

только по воскресеньям! Мне оно так идет, просто прелесть, да еще при маленьком чепчике с кружевами и оранжевыми бантиками, — на моих черных волосах они тоже глядятся неплохо, — да еще когда я в ботиночках из турецкого сатина, сделанных на заказ, и в прелестной шали из шелковых оческов под кашемир. Подумайте только, сосед! На нас будут все оборачиваться! Мужчины будут говорить: «Смотрите, какая прелесть эта малышка, ей-богу, прелесть!» А женщины: «Какая у него красивая осанка, у этого стройного высокого юноши!.. Какой у него изысканный вид... И эти черные усики так ему к лицу!..» И я буду согласна с этими дамами, потому что обожаю усы... К несчастью, Жермен не носил усов из-за работы в своей конторе. У Кабриона были усы, но такие же рыжие, как его огромная борода, а я не люблю большие бороды, и к тому же он вел себя на улице как последний мальчишка-озорник и всегда издевался над беднягой Пипле. Вот, скажем, Жирадо, — мой сосед еще до Кабриона, — был очень видным, но страшно косил. Вначале это меня очень смущало, потому что казалось, будто он смотрит куда-то в сторону, мимо меня, и я все время оборачивалась, чтобы узнать, на кого это он смотрит.

И снова взрыв смеха.

Родольф слушал эту болтовню с любопытством и уже третий или четвертый раз спрашивал себя, что ему думать о Хохотушке, о ее морали.

Откровенная речь гризетки и воспоминания об огромном засове на ее двери заставляли его почти верить в то, что всех своих соседей она любила как сестра, как братьев, как товарищей и что г-жа Пипле клеветала на нее, но тут же он усмехался своей наивной доверчивости и думал, что вряд ли такая юная и одинокая девушка могла устоять перед соблазнительными предложениями господ Жиродо, Кабриона и Жермена. И все же откровенность, простота и неподдельная искренность Хохотушки вновь заставляли его сомневаться.

— Вы меня радуете, соседушка, обещая занять все мои воскресенья, — весело подхватил Родольф. — Можете не беспокоиться, мы славно погуляем.

— Минуточку, господин растратчик! При одном условии: кошелек будет у меня. Летом мы сможем отлично, ну просто преотлично пообедать всего за три франка в Шартрезе или в Эрмитаже на Монмартре, а потом — полдюжина контрдансов или вальсов, а потом — гонки на деревянных лошадках. Ах, как я люблю сидеть на деревянных

лошадках!.. И все это вам обойдется всего в сто су, и ни грошика больше... Вы танцуете вальс?

— Да, и неплохо.

— Вот и прекрасно! Кабрион всегда наступал мне на ноги, да еще рада шутки разбрасывал гремучие хлопушки, поэтому нас и перестали пускать в Шартрез..

И опять взрыв хохота.

— Можете не беспокоиться, я сам не люблю эти хлопушки, поверьте на слово. Но что мы будем делать зимой?

— Зимой не так хочется есть, и мы будем обедать всего за сорок су, и нам останется три франка на театр, поэтому я не хочу, чтобы вы тратили больше ста су, это и так слишком много, но в одиночку вы бы истратили гораздо больше в кабачках или на бильярд с разными проходимцами, от которых так воняет табаком, что просто ужас! Разве не лучше провести веселый день с хорошенькой девушкой, доброй и смешливой, которая к тому же найдет время сэкономить вам на галстуки и заботясь о вашем хозяйстве?

— Разумеется, соседушка, тут чистая выгода. Но вот задача, что, если мои друзья встретят меня под ручку с моей маленькой прелестной подружкой?

— Ну что ж, они скажут: «Повезло этому Родольфу, чертовски повезло!»

— Вы уже знаете, как меня зовут?

— Когда я узнала, что соседняя комната сдается, спросила, кому ее сдали.

— А друзья мне скажут: «Повезло этому счастливчику Родольфу!» И будут мне завидовать.

— Тем лучше!

— Они будут думать, что я счастлив.

— Тем лучше, тем лучше!..

— А если я вовсе не буду так счастлив, каким покажусь?

— Что вам до того, главное, чтобы все в это верили. Мужчинам большего и не нужно.

— Но ваша репутация?.. Хохотушка звонко рассмеялась.

— Репутация гризетки? Кто верит в эти падучие звезды? Если бы у меня был отец или мать, сестра или брат, я бы думала, что обо мне скажут... Но я одна, и это уж мое дело...

— Но я — то буду очень несчастлив.

— Почему это?

— Потому что меня будут считать счастливчиком, а я буду в самом деле любить, любить такой, какой вы были у папы Пету, когда вы с ним пировали сухой коркой хлеба, слушая, как он вам

читает поваренную книгу.

— О господи, какие пустяки! Вы попривыкнете. Я буду такой нежной, такой, признательной, такой послушной, что вы сами скажете: все-таки лучше провести воскресенье с ней, чем с каким-нибудь приятелем... И в любой день недели, если вечером вы свободны и если вам со мной не скучно, вы можете цриходить ко мне посидеть у печурки при свете моей лампы. Вы будете брать в книжной лавочке на время романы и читать их мне. Лучше уж это, чем терять деньги на бильярде. А если вы долго задержитесь у своего хозяина или засидитесь в кафе, вы всегда можете постучать и пожелать мне спокойной ночи, если я еще не сплю. И даже если я буду спать, я утром постучу вам в перегородку, чтобы вас разбудить, и пожелаю доброго утра... Кстати, мосье Жермен, мой последний сосед, проводил так со мною все вечера и не жаловался! Он прочел мне почти всего Вальтера Скотта! Это было так забавно!.. Иногда по воскресеньям, когда погода была скверная, мы не ходили гулять или в театр; вместо этого он покупал что-нибудь вкусное, и мы устраивали настоящую пирушку в моей комнате, а потом читали...

— Меня это веселило почти как в театре. Я вам

все рассказываю, чтобы вы поняли, что я совсем неприхотлива и всегда стараюсь угодить. А раз уж вы заговорили о болезнях, если вы когда-нибудь заболеете, я буду вам самой верной маленькой сестрой милосердия... Можете спросить у Морелей! Вы даже не знаете, как вам повезло, господин Родольф. Вам выпал самый большой выигрыш в лотерею, что у вас такая соседка.

— Что правда, то правда, мне всегда везло. Кстати, а что стало с этим Жерменом? Где он теперь?

— Наверное, в Париже.

— Вы его больше не видели?

— С тех пор как он съехал, он ко мне на заходил.

— Но где он живет? Что делает?

— К чему все эти расспросы, сосед?

— Потому что я ревную, — ответил Родольф, улыбаясь. — И я хотел бы...

— Ревнуете? — Хохотушка расхохоталась. — Было бы из-за чего... Бедный малый!

— Нет, серьезно, соседка, мне очень важно, где я могу встретить Жермена. Вы знаете, где он живет, и, поверьте на слово, я никогда не употреблю во зло то, о чем прошу мне сказать... Клянусь, это только в его интересах.

— А если серьезно, сосед, то я верю, что вы же-

лаете Жермену только добра, но он взял с меня слово, что я никогда не дам его адреса, и я не скажу его вам, потому что это мне невозможно... Не надо из-за этого на меня сердиться... Если бы вы мне доверили свою тайну, вы бы, наверное, похвалили меня за то, что я храню.

— Но все дело в том...

— Послушайте, сосед, раз и навсегда, не надо больше об этом. Я дала слово, и я его сдержу; что бы мне ни говорили, я отвечу то же самое: нет!

Несмотря на все свое озорство и легкомыслие, девушка произнесла последние слова так твердо, что Родольф, к своему великому сожалению, понял: от нее он так ничего не добьется. А прибегать к хитрости, чтобы застать Хохотушку врасплох, ему было неприятно. Поэтому он подождал немного и весело заговорил снова:

— Не будем больше об этом, соседушка! Черт возьми, вы так свято храните чужие тайны, что уж наверняка не выдадите свои собственные секреты.

— Мои секреты? Хотелось бы мне их иметь, наверное, это забавно.

— Как, у вас нет даже маленьких сердечных тайн?

— Сердечные тайны?

— Но разве вы никого не любили? — спросил Родольф, пристально глядя на гризетку и пытаясь угадать, скажет ли она правду.

— Как это никого? Жиродо? А Кабрион? Жермен? И вы, наконец!

— Вы их любили больше, чем меня? То есть не так, как меня?

— О господи! Нет, конечно, наверное, меньше, чем вас. Потому что мне приходилось мириться с косыми глазами Жиродо, с рыжей бородой и дурацкими шуточками Кабриона и с вечной печалью Жермена, — он всегда был такой грустный-прегрустный, этот бедный молодой человек. А с вами все наоборот, вы мне сразу понравились...

— Послушайте, соседушка, только не сердитесь, я спрошу вас как верный друг...

— Давайте спрашивайте!.. У меня легкий характер... И к тому же вы так добры, что вам сердце не дозволит спрашивать меня о том, что может меня огорчить. Я в этом уверена!

— Да, конечно... Но скажите откровенно, у вас никогда не было любовника?

— Любовники!.. Ну да, понимаю... Но разве есть у меня на это время?

— При чем здесь время?

— При том. Время — самое главное. Прежде всего, я буду ревновать, как тигрица, и без конца терзаться муками ревности. Так вот, сколько я зарабатываю? Могу я терять каждый день по два-три часа на слезы и душевные переживания? А если мне изменят — сколько горя, сколько страданий!.. Это вам для примера... Но одно лишь это так уменьшит мой заработок, что страшно подумать!

— Но не все же любовники изменяют, не все заставляют плакать своих любовниц.

— Так это еще хуже... Если он будет слишком хорошим, разве смогу обойтись без него хоть минуту?.. А ему, наверное, придется сидеть целый день в своей конторе, в мастерской или в лавке, и я буду весь день слоняться, как потерянная душа, пока он не придет... Я буду выдумывать тысячи ужасов, будто его любит другая, что сейчас он с нею... А если он меня бросит?.. А если... мало ли что еще может со мной приключиться? В любом случае я не смогу работать, как раньше... И что тогда со мной станет? Сейчас я спокойна и могу работать по двенадцать-пятнадцать часов в день, иначе мне не свести концы с концами... А представьте, что теряла бы три-четыре дня в неделю на страдания и переживания... Как бы я нагнала

потерянное время? А никак... и пришлось бы мне к кому-нибудь в услужение идти. Но уж это нет! Мне слишком дорога моя свобода!

— Ваша свобода?

— Да, я давно могла бы получить место первой швеи в хозяйкином ателье, на которую я работаю... Мне бы платили четыреста франков, с жильем и едой...

— И вы не соглашаетесь?

— Конечно, нет... Я буду тогда наемной работницей, зависящей от других, а сейчас, как я ни бедна, я хозяйка в моем бедном доме, я никому ничего не должна... Я ничего не боюсь, я добра, я здорова и весела... У меня прекрасный сосед, я говорю о вас, — чего еще мне нужно?

— А вы никогда не думали о замужестве?

— О замужестве? Я могу выйти замуж только за такого же бедняка, как я. Вы видели несчастных Морелей? Видели, к чему это ведет? А, нет, пока ты отвечаешь только за самое себя, можно еще дожить...

— Значит, вы никогда не строили воздушных замков, ни о чем не мечтали?

— Нет, почему же? Я мечтаю о гарнитуре для камина... а кроме этого... о чем я еще должна мечтать?

— Но если какой-нибудь дальний родственник вдруг оставит вам маленькое наследство, ну, скажем, тысячу двести франков ренты, то для вас, с вашими пятьюстами франками, я полагаю...

— Черт возьми, наверное, это было бы здорово, но может быть и наоборот.

— Наоборот?

— Я счастлива какая есть, знаю жизнь, которой живу, и не знаю той жизни, какую мне придется вести, если я разбогатею. Вот послушайте, сосед: когда после долгого рабочего дня я ложусь в постель, когда лампа погасла и только угольки еще тлеют в моей печурке, я вижу при их слабом свете мою чистенькую комнату, мои занавески, мой комод и стулья, моих птичек, мои часы и мой рабочий стол, заваленный материей, которую мне доверили, и я говорю себе: «Наконец все это мое, и я никому за это не обязана, кроме меня самой...» Честное слово, сосед, эти мысли лениво меня убаюкивают, и я порой засыпаю гордая и всегда довольная собой. Так вот, если бы все это у меня было на деньги какого-нибудь старого дальнего родственника, я бы этим не так гордилась и не так радовалась, уверяю вас. Но смотрите, мы уже подходим к Тамплю! Признайтесь, прекрасное зрелище!

Глава V.
ТАМПЛЬ

Хотя Родольф и не разделял беспредельного восхищения Хохотушки, его все же поразил этот единственный в своем роде огромный базар с его кварталами и бесчисленными переходами. Примерно в середине улицы Тампль, неподалеку от фонтана на углу большой площади, стоял огромный деревянный павильон в форме параллелограмма с высокой шиферной крышей.

Это был Тампль.

Слева его ограничивала улица Пти-Туар, справа — улица Персэ, а замыкался этот базар колоссальный ротондой с галереей открытых аркад.

Длинная улица пересекала Тампль посередине во всю его длину, разделяя на две примерно равные части, а те в свою очередь делились и подразделялись множеством маленьких продольных и поперечных переулков, которые перекрещивались в разных направлениях, и все они прятались от дождя под крышей огромного базара.

Здесь было все, кроме новых товаров, но даже

самый куцый обрезок ткани, самый крошечный кусочек меди, железа, стали, чугуна или бронзы всегда находили в Тампле своих продавцов и своих покупателей.

Были там «негоцианты», торгующие лоскутками материй всех цветов и оттенков, всех качеств и всех времен, которые могли понадобиться на заплаты для дырявой или рваной Одежды.

Были там лавчонки со всякой ношеной обувью, драной, прохудившейся, со сбитыми каблуками и совсем без подошв, среди которых попадались невыразимые обувки, потерявшие форму и цвет, забитые гвоздями, как тюремные двери, с подметками толщиною в палец и жесткими, как лошадиные подковы! Настоящие скелеты обуви, изъеденной временем и лишенной принадлежности к какой-либо эпохе. Все это заплесневелое, скорченное, дырявое, ржавое — и все продавалось и покупалось. И многие жили такой торговлей.

Здесь есть мелкие лавочники, торгующие бахромой, петличными шнурками, оторочками, витыми шнурами, кружевной отделкой из льна или шелка или нитками, которые они извлекают из совершенно непригодных занавесей и гардин.

Другие умельцы специализируются на дамских шляпках: этот товар поступает к ним только

в мешках перекупщиц после самых странных превращений и немыслимых перекрасок, и у каждой шляпки своя долгая и невообразимая история. Для того чтобы эти товары не занимали слишком много места в лавочке, которая обычно чуть побольше собачьей конуры, эти шляпки складывают вдвое, в тесноте они сплющиваются как селедки, разве что без рассола, и невозможно представить, какое количество товара умещается в лавочке площадью в четыре фута на четыре.

Если появляется покупатель, эти шляпки выдергивают из кучи; торговка небрежно хлопает по ним, надевает на кулак, чтобы вернуть им былую форму, кладет на колено, чтобы разгладить поля, и перед вами предстает некий странный, фантастический предмет, который смутно напоминает легендарные головные уборы театральных служительниц, которые провожают вас в ложу, или тетушек, молодых фигуранток или дуэний провинциального театра.

Чуть дальше, под вывеской «Современные моды», под сводами ротонды, сооруженной в конце широкого прохода, который делит Тампль на две части, развешаны как «ex-voto»[91] всевозможные

---

[91] Notes: 91
Приношение по обету (исп.). (Примеч. перев.)

и бесконечные одежды самой невероятной расцветки и покроя, перед которыми блекнут все дамские шляпки.

Здесь можно найти серый шерстяной фрак, дерзко украшенный тремя рядами медных пуговиц на манер гусарского ментика, и вдобавок с огненным воротничком из лисьего меха.

Тут же рединготы, первоначально зеленого бутылочного цвета, но теперь выгоревшие до салатного, с черной шнурковой окантовкой, омоложенные подкладкой из шотландки в сине-желтую клетку, которая придает им развеселый вид.

Тут же сюртуки с рыбьими хвостами, как говорили раньше, пепельного цвета, с широкими отворотами и некогда посеребренными пуговицами, которые со временем стали медно-красными.

Здесь можно увидеть и коричневые плащи со стоячими воротниками, петлицами и обшивкой из черного, потертого шнура; рядом — домашние халаты, искусно сделанные из старых карриков, у которых срезали тройную пелерину и добавили подкладку из лоскутов набивного ситца. У менее поношенных сохранился первоначальный цвет, синий или грязно-зеленый, с вышитыми встав-

ками разных оттенков, и красная подкладка с оранжевыми розанчиками, такими же обшлагами и воротничками; витой шерстяной шнурок, который когда-то служил для того, чтобы звонком вызывать лакеев, ныне выдают за пояс этого элегантного домашнего халата, в котором Робер Макэр мог бы гордо наслаждаться покоем.

Мы не станем перечислять все эти дикие, странные, фантастические одежды, — всех не упомнишь! — но среди них попадались и подлинные ливреи королевских и княжеских дворов, которые всевозможные революции вытащили из дворцов на торжище в Тампле.

Эта выставка старой обуви, шляпок и нелепых одежд придавала базару Тампль гротескный вид; это был рынок лохмотьев, кое-как подновленных и с претензией приукрашенных. Однако следует признать, даже провозгласить, что столь широкий выбор очень полезен беднякам или малоимущим людям. Здесь они могут купить по самой низкой цене великолепные вещи, почти новые, у которых износ, можно сказать, чисто воображаемый.

Одно из отделений Тампля, где продавались спальные принадлежности, было заполнено одеялами, простынями, матрасами и подушка-

ми. Чуть поодаль продавали ковры, занавеси, всевозможную домашнюю утварь; еще дальше — одежду, обувь, головные уборы для покупателей любого сословия и любого возраста. Эти вещи, как правило, очень чистые и приличные, ни у кого не вызывали неприязни.

Тем, кто не видел этого базара, трудно представить, что за самое короткое время и с небольшими деньгами здесь можно нагрузить целую повозку всем, что необходимо для хозяйства двух или трех семей, у которых нет ничего.

Родольф был поражен, с каким благодушием, предупредительностью и радостью торговцы, стоя перед своими лавчонками, спешили обслужить покупателей; их манеры, проникнутые почтительной фамильярностью, казались отголоском прошедших веков. Родольф подал Хохотушке руку. Едва они вошли в пассаж, где продавали спальные принадлежности, на них со всех сторон посыпались самые соблазнительные предложения.

— Мосье, взгляните на мои матрасы! Они совсем как новые! Я вам распорю уголок, вы увидите, набивка словно шерсть ягненка, такая она белая и нежная.

— Моя маленькая красотка, у меня простыни

из наилучшего льна, и лучше чем новые, потому что не такие жесткие: они мягкие, как замшевая перчатка, и прочные, как стальная кольчуга.

— Милые молодожены, купите у меня эти одеяла! Посмотрите, какие они пышные, теплые и легкие; взгляните на этот пуховик, его полностью перебрали, да он и прослужил всего раз двадцать; дамочка, убедите вашего мужа, я доставлю вам все на дом, уверяю вас, вы будете довольны, и еще вернетесь к мамаше Бувар, и найдете у нее все, что вам нужно... Вчера у, меня была такая удачная покупка!.. Да вы сами посмотрите, за погляд денег не берут!

— Ей-богу, соседушка, эта толстуха мне нравится, — сказал Родольф Хохотушке. — Она принимает нас за молодоженов, и это мне льстит... Так что зайдём в ее лавку.

— Что ж, пусть будет эта толстуха, — ответила Хохотушка. — Он» мне тоже нравится!

Гризетка и ее спутник вошли к мамаше Бувар. По великодушию, которое царит только в Тампле, соперницы мамаши Бувар не возмутились, что покупатель предпочел ее, и одна из соседок даже заметила без всякой зависти:

— Лучше уж мамаша Бувар, чем кто-нибудь другой. У нее семья, и она старейшина и гордость

нашего Тампля.

Да и в самом деле, трудно себе представить более приветливую, открытую и добродушную физиономию, чем у этой старейшины Тампля.

— Смотрите, моя милая маленькая дамочка, — обратилась она к Хохотушке, которая с видом знатока рассматривала ее товар. — Вот эта моя счастливая покупка: два полных спальных гарнитура, и оба как новенькие. А если вам захочется купить еще старый маленький секретер, то отдам почти даром, вот он. — И мамаша Бувар указала рукой. — Достался мне заодно с постелями. Я, правда, обычно не покупаю такую мебель, но тут я не смогла отказать: люди, у которых я все это купила, были такими несчастными! Бедная женщина!.. И расставание с этим старьем больше всего надрывало ее сердце... Наверное, этот секретер — последнее, что у нее оставалось от семейной мебели...

При этих словах, пока Хохотушка спорила с торговкой о цене спальных гарнитуров, Родольф внимательно присмотрелся к секретеру, на который показала мамаша Бувар.

Это был старый секретер розового дерева, почти прямоугольный по форме, с передней крышкой на медных петлях с упорами: если ее опустить,

она превращалась в маленький столик. На внешней стороне крышки, обрамленной разноцветным орнаментом, он заметил инкрустацию из черного дерева, переплетенные буквы М и Р, — и над ними — графская корона.

Он подумал, что владелец этого секретера принадлежал к высшему классу общества. И любопытство его удвоилось. Он еще внимательнее присмотрелся к секретеру, начал машинально выдвигать ящички, но один из последних почему-то не поддавался. С некоторым усилием он осторожно потянул его на себя и увидел листок бумаги, застрявший между ящичком и пазами секретера.

Пока Хохотушка заканчивала торговые переговоры с мамашей Бувар, Родольф с любопытством исследовал свою находку.

По многим зачеркнутым словам можно было сразу определить, что перед ним черновик неоконченного письма.

Родольф прочитал его с немалым трудом:

«Сударь!

Поверьте, что только последняя крайность заставляет меня обращаться к вам. Меня удерживала вовсе не гордость, неуместная в моем положении, а полное отсутствие заслуг, за кото-

рые я могла бы просить награды. Однако вид моей дочери, доведенной, как и я, до ужасной нищеты, заставляет меня преодолеть мои колебания. Всего несколько слов о причинах угнетающего меня несчастья.

После смерти моего мужа мне осталось триста тысяч франков, которые мой брат отдал в рост нотариусу Жаку Феррану. В Анжере, куда я удалилась с моей дочерью, я получала проценты с этой суммы через моего брата. Вы знаете об ужасном происшествии, которое оборвало, его жизнь; он разорился, по-видимому, из-за тайных неудачных спекуляций и покончил с собой восемь месяцев назад. Накануне этого рокового события я получила от него отчаянное письмо. Когда я буду его читать, писал он, его уже больше не будет на свете. Он закончил это письмо предупреждением, что у него нет никаких документов относительно суммы, помещенной на мое имя у Жака Феррана: нотариус никогда не давал расписок, ибо он считался честью и гордостью своего сословия, и мне достаточно явиться к нему, чтобы это дело было устроено наилучшим образом.

Как только я смогла опомниться после ужасной смерти брата, я приехала в Париж, где почти никого не знаю, кроме вас, да и то не прямо, а

через некоторых знакомых моего мужа. Как я уже сказала, сумма, доверенная г-ну Жаку Феррану, составляла все мое состояние: и мой брат каждые полгода присылал мне проценты с этих денег. Но после последней выплаты прошло более года, и я пришла к г-ну Жаку Феррану, чтобы востребовать эти деньги, в которых крайне нуждалась.

Едва я предстала перед ним и назвала себя, он, невзирая на мое горе, обвинил моего брата в том, что тот якобы занял у него две тысячи франков, которые он потерял, что его самоубийство было не только преступлением перед богом, добавил он, но и перед людьми, и что это было бесчестным поступком, жертвой которого стал он, Жак Ферран.

Его отвратительные слова возмутили меня: кристальная честность моего брата была известна всем. Правда, он, не слушая меня и своих друзей, потерял свое состояние в рискованных спекуляциях, но он умер с незапятнанной репутацией и не оставил никаких долгов, кроме долга нотариусу. Я ответила г-ну Феррраиу, что разрешаю ему взять эти две тысячи франков, которые задолжал мой брат, из трехсот тысяч франков, отданных ему на сохранение. При этих словах он посмотрел на меня с изумлением и спросил, о

каких трехстах тысячах франков идет речь...

«Тех самых, которые мой брат передал вам полтора года назад и с которых вы до сих пор перечисляли мне проценты, через его посредство», — ответила я, не понимая его удивления.

Нотариус пожал плечами, улыбнулся с жалостью, словно я пошутила, и ответил, что мой брат никаких денег ему не поручал, а, наоборот, занял у него две тысячи франков.

Не могу вам описать, как ужаснул меня этот ответ.

«Куда же делась такая сумма денег? — вскричала я. — У нас с дочерью нету иных доходов. Если у нас отнимут и это, мы окажемся в самой страшной нищете. Что же с нами будет?»

«Я ничего не знаю, — холодно ответил нотариус. — Возможно, ваш брат, вместо того чтобы передать мне эти деньги, как он вам говорил, истратил их на всякие неудачные спекуляции, которыми увлекался, несмотря на все наши предостережения».

«Это неправда, и это подлость! — воскликнула я. — Мой брат был воплощением совести. Он не мог обездолить меня и мою дочь, наоборот, он даже не женился, только для того, чтобы оставить все свое достояние моей дочери».

«Значит, вы смеете утверждать, что я способен отрицать, будто получил от вас вклад, который вы мне якобы передали?» — спросил меня нотариус с негодованием, которое показалось мне настолько искренним и справедливым, что я ему ответила:

«Нет, ваша честность известна всем, но тем не менее я не могу даже подозревать брата в том, что он так жестоко злоупотребил моим доверием».

«Какие документы могут подтвердить ваше заявление?» — спросил г-н Ферран.

«Никакие. Полтора года назад мой брат, желая устроить мои дела, написал мне: «Есть прекрасная возможность поместить твои деньги из расчета шести процентов годовых. Вышли мне доверенность на продажу твоей ренты; я помещу триста тысяч франков, доплатив до круглой суммы, у нотариуса Жака Феррана...» Я отослала доверенность брату, а через несколько дней он оповестил меня, что вклад сделан вам, хотя вы никогда не даете расписок, и через полгода я получила причитающиеся мне проценты».

«Но у вас сохранились хоть какие-то письма по этому поводу?»

«Нет, сударь. Чисто деловые письма я не храню».

«К сожалению, ничем не могу вам помочь, — ответил нотариус. — Поскольку моя честность выше всех подозрений и неуязвима, я вам скажу: обращайтесь в суд! Обвините меня! И судьям придется выбирать между честным словом почтенного и почитаемого всеми человека, который за тридцать лет завоевал уважение всех добрых людей, и посмертными претензиями одного из самых безумных спекулянтов, который не нашел иного выхода, кроме самоубийства... И под конец скажу вам: попробуйте обвинить меня, и память вашего брата будет обесчещена. Но я думаю, что вы смиритесь с вашим несчастьем, конечно немалым, но к которому я совершенно не причастен».

«Но поймите, я все-таки мать! Если мы лишимся всего, нам останется только продать нашу скромную мебель, а потом — нищета, ужасная нищета!»

«Вас обманули, и это большое несчастье, — ответил нотариус. — Но тут уж я ничем не могу помочь. Еще раз повторяю: ваш брат обманул вас. Если вы сомневаетесь, кто говорит правду, он или я, обвиняйте меня! Судьи вынесут свой приговор».

Я ушла от нотариуса с отчаянием и болью в

душе. Что оставалось мне делать в этой крайности? Без всяких документов, которые могли бы доказать справедливость моих требований, убежденная в безупречной честности моего брата и смущенная непоколебимой уверенностью г-на Феррана, я не знала, к кому обратиться за советом. Вы были тогда в отлучке. Я знала, что консультация у адвокатов стоит немалых денег, и желая сохранить то немногое, что у нас оставалось, не посмела затевать подобную тяжбу. И вот тогда...»

На этом черновик письма обрывался: последние строки были так густо зачеркнуты, что разобрать их было невозможно. И только в самом низу листа, в уголке Родольф разобрал нечто вроде памятки: «Написать герцогине де Люсене».

Родольф надолго задумался над этим неоконченным письмом.

Хотя новое преступление Жака Феррана и не было доказано, этот человек проявил такую жестокость к несчастному Морелю, такую подлость по отношению к его дочери Луизе, что утверждение этого негодяя, будто он не брал на сохранение под проценты денег, да еще у самоубийцы, вряд ли могло кого-нибудь удивить.

Эта мать, пытавшаяся спасти свое необъяснимым образом исчезнувшее достояние ради

дочери, очевидно всегда жившей в достатке, внезапно оказалась нищей, никого не знала в Париже, как говорилось в черновике письма. Что могли делать эти две женщины без всяких средств, одинокие в этом огромном городе?

Родольф, как мы помним, обещал г-же д'Арвиль волнующие приключения, правда, обещал наугад, но был уверен, что представится такая возможность отвлечь ее, дать ей возможность заняться благотворительностью, потому что до следующего свидания с маркизой наверняка найдет бедняг, которые нуждаются в помощи и утешении.

Он подумал, что случай, может быть, навел его на след благородной жертвы, которая согласно его планам сможет занять сердце и воображение маркизы.

Черновик письма, наверное так и не отосланного человеку, к которому она взывала о помощи, говорил, что женщина, писавшая его, обладала гордым и решительным характером и, несомненно, возмутилась бы, если бы ей предложили что-то вроде милостыни. В таком случае, сколько же предосторожностей и хитростей придется применить, чтобы скрыть источник щедрых благодеяний и заставить ее принять их!

И потом, сколько ловкости понадобится, чтобы войти в доверие к этой женщине, оценить, достойна ли она сочувствия, которое внушает! Родольф предвидел во всем этом множество новых побуждений, любопытных и трогательных, которые должны были особенно позабавить г-жу д'Арвиль, как он ей это обещал.

— Ну так что же, муженек, — весело Сказала Хохотушка Родольфу. — Что это за клочок бумаги, который вы читаете?

— Вы слишком любопытны, моя женушка! — ответил Родольф. — Я потом расскажу. Вы покончили с вашими покупками?

— Конечно, и ваши подопечные будут жить как короли. Остается только заплатить; мамаша Бувар довольно уступчива, надо отдать ей должное.

— Моя маленькая женушка, у меня идея! Пока я расплачиваюсь, не поищете ли вы одежду для Мадлен Морель и ее детей? Признаюсь, я сам в этом ничего не смыслю. Скажите, чтобы все принесли сюда, и мы, люди небогатые, все увезем за раз.

— Вы всегда правы, муженек. Ждите меня здесь, я скоро. У меня здесь знакомые торговки, у которых я обычно покупаю; у них я найду все, что

нам нужно.

И Хохотушка выбежала из лавки.

Но на пороге обернулась и воскликнула:

— Только прошу вас, мамаша Бувар, не стройте глазки моему муженьку! Я его вам доверяю!

И со звонким хохотом она исчезла.

Глава VI.
ОТКРЫТИЕ

Надо признаться, сударь, — сказала мамаша Бувар Родольфу, когда Хохотушка убежала, — надо признаться, вам досталась хорошая хозяюшка. Черт возьми, она умеет так дешево все покупать! И к тому же она добрая, прехорошенькая, — беленькая, румяная, черноглазая, и волосы черные... а это уже редкость.

— Не правда ли, она очаровательна? Я счастливый муж, госпожа Бувар!

— А она счастливая жена, я в этом уверена.

— И вы не ошибаетесь. Но скажите, сколько я вам должен?

— Ваша маленькая хозяйка ни за что не хотела уступать и сторговала все за триста франков. Видит бог, я на этом имею всего пятнадцать франков, потому что заплатила за все эти вещи дороже, чем могла бы... Но у людей, которые их продавали, был такой несчастный, жалкий вид!

— В самом деле? Кстати, вы не у них купили этот маленький секретер?

— Да, сударь... Как подумаю о них, просто сердце

разрывается! Представляете, позавчера приходит сюда молодая дама, еще очень красивая, но такая бледная, такая худая, что смотреть больно... Мы-то, бедные люди, кое-что в этом понимаем. И хотя она была одета, как говорится, со вкусом, но ее старая черная шерстяная шаль, ее поношенное черное бомбазиновое платье, — дама была в трауре, — ее соломенная шляпка — и это в январе! — говорили яснее ясного о том, что мы называем благородной нищетой, потому что я уверена: это очень приличная дама. Она спросила, не куплю ли я у нее спальный гарнитур из двух кроватей и маленького секретера, и вся покраснела от смущения. Я ответила, что, раз уж я продаю мебель, надо ее и покупать, если она мне подойдет, считайте дело сделанным, но сначала надо посмотреть. Она предложила сходить к ней, это совсем недалеко, по другую сторону бульвара, в доме на канале Сен-Мартен. Что ж, я оставляю лавку на свою племянницу и следую за дамой. Мы приходим в дом, как говорится, для маленьких людей, в самой глубине двора, поднимаемся на пятый этаж, дама стучит, нам открывает дверь девочка лет четырнадцати, и тоже в трауре, и такая же бледная и худая, но при всей ее бледности и худобе такая хорошенькая, — как ясный день,

такая красавица, что я просто онемела.

— Кто же эта прелестная девочка?

— Дочка той дамы в трауре... В доме было холодно, а на ней — бедненькое бумажное платьице, черное в белый горошек, и маленькая черная шаль, совсем изношенная.

— Наверное, они жили в страшной нищете?

— Представьте себе две комнаты, очень чистенькие, но совершенно голые и такие холодные, что можно умереть. Камин; но в нем даже пепла нет, его давно уже не топили. А из мебели — две кровати, два стула, комод, старый сундук и маленький секретер. На сундуке — какой-то пакет, завязанный в платок... Этот узелок было все, что осталось матери и дочери, когда они продадут свою мебель. Привратник, который поднялся вместе с нами, объяснил, что хозяин дома согласился взять у них за долги только деревянные рамы двух кроватей, стулья, сундук и стол. Поэтому дама в трауре попросила меня честно оценить матрасы, простыни, занавески и покрывала. Слово честной женщины, сударь, я живу тем, что покупаю подешевле, а продаю подороже, но, когда я увидела эту несчастную девочку с глазами, полными слез, и ее бедную мать, которая при всем ее хладнокровии едва

сдерживала рыдания, я оценила все с точностью до пятнадцати франков, и это была хорошая цена, клянусь вам. Я даже согласилась, чтобы их выручить, взять маленький секретер, хотя это и не по моей части...

— Я его покупаю у вас, госпожа Бувар.

— Господи, тем лучше! А то бы долго не знала, кому его сбыть. Я ведь взяла его, только чтобы помочь бедной даме. Когда я сказала ей свою цену, я думала, она будет торговаться, запросит больше... Так нет же! Тут я еще раз убедилась, что эта дама не из простых: благородная нищета, вы меня понимаете?.. Я ей говорю: даю столько-то. А она отвечает: «Хорошо. Пойдемте к вам, там вы мне заплатите, потому что я не могу вернуться в этот дом». Потом она говорит своей дочери, которая сидит на сундуке и плачет: «Возьми узелок, Клэр!» Я хорошо запомнила имя, она назвала ее Клэр. Юная мадемуазель встала, но, когда она подошла к маленькому секретеру, вдруг упала перед ним на колени и разрыдалась. «Мужайся, дитя мое, на нас смотрят», — сказала ей мать вполголоса, но я ее услышала. Понимаете, сударь, они очень бедные люди, но при этом гордые. Когда дама в трауре протянула мне ключ от секретера, я увидела, как из ее покрасневших глаз тоже скати-

лись слезы, словно сердце ее обливалось кровью, наверное, ей был очень дорог этот секретерчик, но она постаралась сохранить хладнокровие и достоинство перед чужими людьми. Под конец она предупредила портье, что я заберу все, что не взял себе хозяин дома, и мы вернулись ко мне в лавку. Девочка одной рукой поддерживала мать, а в другой несла узелок со всем их добром, Я отсчитала им триста пятнадцать франков, и больше я их не видела.

— Вы знаете, как их зовут?

— Нет, сударь. Дама продала мне свои вещи в присутствии привратника, так что мне были ни к чему их имена: и так было ясно, что это ее вещи.

— А куда они перебрались?

— И этого я не знаю.

— Наверное, об этом знают в их прежнем доме?

— Нет, сударь. Когда я вернулась туда за купленными вещами, портье сказал мне об этой даме и ее дочке: «Они были очень скромные, очень достойные и очень несчастные. Только бы с ними не стряслось никакой новой беды! С виду они вроде спокойны, но я душой чувствую, что они в отчаянии...» — «Куда же они сейчас перебрались?» — спросила я. «Ей-богу, не знаю,

— ответил он. — Они ничего мне об этом не сказали. и наверняка сюда уже не вернутся».

Все надежды, возникшие было у Родольфа, рухнули. Как отыскать двух несчастных женщин, зная только имя дочери, Клэр, и имея в руках только обрывок черновика письма, о котором мы уже говорили, где внизу осталась только одна строчка: «Написать герцогине де Люсене»?

Единственный, хотя и слабый шанс отыскать следы этих, двух бедняжек могла дать только герцогиня де Люсене, которая, по счастью, была из круга знакомых г-жи д'Арвиль.

— Возьмите отсюда сколько нужно, — сказал Родольф, протягивая торговке билет в пятьсот франков.

— Я вам дам сдачи.

— Где нам найти повозку, чтобы отвезти все эти вещи?

— Тут совсем рядом. Хватит одной большой ручной повозки, такая есть у папаши Жерома, моего соседа. Он мой постоянный перевозчик... По какому адресу доставить вещи?

— Улица Тампль, дом семнадцать.

— Тампль, семнадцать? Как же, как же, прекрасно знаю...

— Вы уже бывали в этом доме?

— И довольно часто... Сначала я там покупала всякую рухлядь у одной ростовщицы, которая там живет. Конечно, ремесло у нее не очень почетное, но какое мне дело? Она продает, я покупаю, и мы в расчете. В другой раз я приходила туда месяца полтора назад за мебелью одного молодого человека, который куда-то переезжал. Он жил на пятом этаже.

— Случайно это не Франсуа Жермен? — воскликнул Родольф.

— Он самый. Вы его знаете?

— И очень хорошо. Но, к несчастью, на улице Тампль он не оставил своего нового адреса, и я не могу его отыскать.

— Ну, если дело только за этим, я вам помогу.

— Вы знаете, где он живет?

— Точно не знаю, но могу сказать, где вы его наверняка можете встретить.

— Где же это?

— У нотариуса, у которого он работает.

— У нотариуса?

— Да, он живет на Пешеходной улице.

— Жак Ферран! — воскликнул Родольф.

— Он самый; святой человек, у него в конторе и распятие, и освященные кусочки дерева от креста господня; не контора, а просто церковная

ризница.

— Но откуда вы узнали, что Жермен работает у нотариуса?

— Ну, в общем, этот молодой человек пришел и предложил мне купить у него всю его скудную мебель. Хотя это и не по моей части, в тот раз тоже я купила все оптом, чтобы потом продать в розницу. Молодого человека это устраивало, а мне хотелось ему помочь. Значит, я у него покупаю всю его холостяцкую мебелишку, я ему плачу... Наверное, он был доволен, потому что недели через две он вернулся ко мне, чтобы купить полный кроватный гарнитур. С ним — доставщик с маленькой ручной тележкой. Мы все увязываем, грузим, и вот в последнюю минуту он вдруг замечает, что забыл дома свой кошелек. Этот молодой человек казался таким честным, что я ему и говорю: «Забирайте, все же ваши вещи, а за деньгами я к вам завтра зайду». — «Очень хорошо, — говорит мне он. — Только меня почти никогда не бывает дома. Приходите завтра на Пешеходную улицу к нотариусу Жаку Феррану, — я у него работаю, — и я вам заплачу». На другой день я пришла к нему, он мне уплатил, и все бы хорошо, но вот что непонятно: зачем он продал свою мебель, чтобы через две недели

купить другую?

Родольф, казалось, понимал причину этого странного поступка: Жермен хотел сбить со следа негодяев, которые за ним охотились. Он явно боялся, что, если переедет со своей мебелью, преследователи об этом узнают и найдут его новое жилье; поэтому он предпочел все продать, а потом купить, сбежать налегке, а потом купить заново необходимые вещи.

Родольф задрожал от радости при мысли о том, как будет счастлива г-жа Жорж, когда узнает, что сможет наконец увидеть своего сына, которого так долго и тщетно искала.

Вскоре вернулась, Хохотушка, как всегда веселая, с улыбкой на устах.

— Я же вам говорила, я не ошибаюсь! — воскликнула она. — Мы истратили всего шестьсот сорок франков, зато Морели заживут теперь как короли. Смотрите, смотрите, торговцы идут один за другим, и все нагруженные вещами! Теперь у семьи будет все, что нужно, — и гриль, и две чудные кастрюли, заново луженные, и даже кофейник... Я сказала себе: если уж делать все с размахом, нечего мелочиться... И на все это я потратила от силы три часа!.. Но платите скорее, сосед, и пойдем отсюда... Скоро уже полдень, и

моей иголке придется мелькать, как молния, чтобы утро совсем не пропало.

Родольф заплатил и вместе с Хохотушкой покинул базар Тампль.

Глава VII.
ЯВЛЕНИЕ ПРИЗРАКА

В тот момент, когда гризетка со своим спутником входили в аллею перед домом, их чуть не сбила с ног растрепанная, растерянная и перепуганная привратница.

— Боже мой, что с вами, госпожа Пипле? — спросила Хохотушка. — Куда это вы так бежите?

— Ах, это вы, мадемуазель Хохотушка! — воскликнула Анастази. — Сам господь мне вас посылает... Помогите мне спасти жизнь моего Альфреда!

— Что вы говорите?

— Бедный мой дорогой старичок упал в обморок... Сжальтесь над нами! Сбегайте в винную лавку, купите на два су абсента, самого крепкого, это ему всегда помогало, если он болен, особенно при запорах... наверное, и сейчас поможет. Будьте так добры, поспешите, а я вернусь к Альфреду. У меня голова идет кругом.

Хохотушка выдернула руку из-под руки Родольфа и бросилась в винную лавку.

— Но что с ним случилось, госпожа Пипле?

— спросил Родольф, следуя за привратницей к ее каморке.

— Откуда мне знать, достойный господин! Я вышла в мэрию, в церковь, а заодно — к трактирщику, чтобы Альфреду самому не бегать... Возвращаюсь — и что я вижу! Мой бедный старичок лежит, все четыре лапы кверху... Посмотрите, господин Родольф, — продолжала она, открывая дверь своей конуры. — Это же сердце может разорваться!..

Действительно, зрелище было жалостное. Как всегда, в своей шляпе с раструбом, но сейчас нахлобученной до самых глаз и явно с чьей-то помощью, если судить по глубокой поперечной вмятине в засаленном фетре, г-н Пипле сидел на полу, прислонившись к своей кровати.

Обморок прошел, и Альфред делал слабые движения, словно что-то отталкивал от себя, а затем попытался освободиться от надвинутой на глаза шляпы.

— Он уже шевелится, это добрый знак! Он приходит в — чувство! — воскликнула привратница и, нагнувшись, прокричала ему прямо в ухо: — Что с тобой, мой Альфред? Это я, твоя Стази... Как ты себя чувствуешь? Сейчас тебе принесут абсента, и ты сразу поправишься!

А затем добавила самым сладеньким фальцетом:

— Тебя чуть не ограбили, чуть не убили! Чуть не похитили у твоей мамочки? И кто?

Альфред глубоко вздохнул и со стоном лишь одно роковое слово:

— Кабрион!!!

Его дрожащие руки снова попытались оттолкнуть ужасное видение.

— Кабрион? Опять этот нищий мазила воскликнула г-жа Пипле. — Он снился Альфреду всю ночь, поэтому он все время брыкался и не давал мне спать. Это чудовище для него настоящий кошмар! Он отравляет ему не только дни, но и ночи, он его преследует даже во сне, да, сударь, Как будто Альфред преступник, а он — его больная совесть, покарай господь этого Кабриона!

Родольф усмехнулся про себя, подумав, какую еще шутку выкинул бывший сосед Хохотушки.

— Альфред, отвечай мне, не молчи, ты меня слушаешь? — продолжала г-жа Пипле. — Ну послушай, опомнись... Почему ты все время думаешь об этом мерзавце? Ты же знаешь, от этих кошмаров тебя всегда пучит, как от капусты, и ты задыхаешься.

— Кабрион! — повторил Пипле, стаскивая с

головы свою сплющенную шляпу и растерянно озираясь.

Тут прибежала Хохотушка с бутылочкой абсента.

— Спасибо, мамзель, вы такая добрая! — сказала старуха и добавила: — А ну, мой старенький, мой хороший, проглоти-ка все это, и тебе сразу станет лучше.

Анастази живо поднесла бутылочку к губам Пипле, чтобы он выпил абсент.

Альфред торжественно, но тщетно сопротивлялся: пользуясь слабостью своей жертвы, жена одной рукой крепко удерживала его голову, а другой всунула горлышко маленькой бутылки ему в рот и заставила проглотить ее содержимое после чего торжествующе воскликнула:

— Вот и славно! Теперь с тобой все в порядке, милый мой старичок!

И действительно, вытерев рот тыльной стороной руки, Альфред окончательно открыл глаза, поднялся на ноги и спросил все еще испуганным голосом:

— Вы его видели?

— Кого?

— Он ушел?

— Но кто, Альфред?

— Кабрион!

— Да как он посмел! — вскричала привратница

Пипле, безмолвный, как статуя командора, лишь дважды с загробным видом утвердительно кивнул головой.

— Кабрион приходил сюда? — спросила Хохотушка, едва удерживаясь от непреодолимого желания рассмеяться.

— Этот злодей ополчился на Альфреда! — воскликнула г-жа Пипле. — О, если бы я была здесь с моей метлой... Он бы слопал ее до самой ручки! Говори же, Альфред, расскажи нам о твоем горе!

Пипле сделал жест, что готов и говорить. Все слушали человека в расплющенной шляпе в священной тишине. А он рассказывал взволнованным голосом:

— Моя супруга оставила меня, чтобы мне самому не ходить в мэрию, в церковь и к трактирщику, как мне порекомендовал сей достойный господин.

Кивок в сторону Родольфа.

— Моего дорогого старичка всю ночь мучили кошмары, и я решила избавить его от этих хлопот, — пояснила Анастази.

— Этот кошмар был ниспослан мне свыше как

предупреждение, — благоговейно продолжал Пипле. — Мне снился Кабрион... Мне предстояло пострадать от него. И утро началось с покушения на талию моей супруги...

— Альфред, Альфред, ну что ты рассказываешь об этом перед всеми! — манерным воркующим голосом пропела г-жа Пипле, стыдливо опуская глаза. — Я так стесняюсь...

— Когда эти два похотливых злодея ушли, я думал, что испил свою чашу несчастий в этот несчастливый день, — продолжал Пипле. — Но вдруг, о боже мой, боже!..

— Мужайся, Альфред, говори!

— Да, я найду в себе мужество, — героически ответил привратник, — оно мне еще понадобится. Так вот, я спокойно сидел перед рабочим столом и размышлял, какие изменения следует внести в голенище этого сапога, доверенного моему умению, как вдруг я услышал шум, словно кто-то царапался в дверь нашей комнаты... Что это было? Предчувствие? Знак свыше? Сердце мое сжалось, я поднял голову и сквозь дверное стекло увидел... я увидел...

— Кабриона?! — вскричала Анастази, заламывая руки.

— Да, Кабриона, — глухо ответил Пипле. — Его

безобразное лицо было прижато к стеклу, и он смотрел на меня в упор своими кошачьими глазами... Что я говорю, кошачьими? Глазами тигра! Точно как в моем кошмаре... Я хотел заговорить — но язык прилип у меня к небу, хотел подняться — и не смог оторваться от кресла; сапог выпал у меня из рук, но, как во всех критических и самых важных случаях в моей жизни, я... сохранил полную неподвижность... И тогда ключ повернулся в скважине, дверь открылась и Кабрион вошел!

— Он вошел! Какое нахальство! — подхватила г-жа Пипле, не менее мужа пораженная этой дерзостью.

— Он вошел медленно, — продолжал Альфред, — остановился на миг у порога, гипнотизируя меня своими свирепыми глазами... затем двинулся ко мне, останавливаясь на каждом шагу и бросая на меня пронизывающие взгляды, не говоря ни слова, ужасный и безмолвный, как привидение!..

— Ох, у меня мурашки бегут по спине, — прошептала Анастази.

— Но я становился все неподвижнее и неподвижнее, сидя в моем кресле... Кабрион приближался все так же медленно, завораживая меня взглядом, как змея маленькую птичку... Он внушал мне ужас, но я не мог оторвать взгляда от

его страшных глаз. Он подошел ко мне совсем близко... Я не мог больше выносить его отвратительного вида, это было сильнее меня, я не выдержал... и я закрыл глаза. И тогда я почувствовал, что он осмелился поднять руку... на мою шляпу! Я почувствовал, как он взял ее за верх, медленно поднял... и оставил меня с обнаженной головой! Я почувствовал головокружение, дыхание мое стеснилось, в ушах шумело, я все плотнее вжимался в кресло и все крепче зажмуривал глаза. И тогда Кабрион наклонился, обхватил руками мою лысую голову, мою почтенную, достойную голову. Как я имел право сказать до этого покушения, — так вот, он взял мою голову двумя руками, ледяными, как руки мертвеца... и на моем высоком лбу, покрытом холодным потом... запечатлел бесстыдный, дерзкий поцелуй!!!

Анастази воздела руки к небесам.

— Мой самый злейший враг целует меня в лоб! И я вынужден терпеть его мерзкие ласки, после того как он повсюду преследовал меня из-за моих волос! Такой чудовищный кошмар заставил меня призадуматься и совсем парализовал... Кабрион воспользовался моей неподвижностью, чтобы снова надеть мне шляпу на голову, а затем ударом кулака нахлобучил ее мне до самых глаз,

как вы сами видели. Это последнее оскорбление потрясло меня, это было последней каплей, переполнившей чашу, все вокруг меня завертелось, и я потерял сознание. Но в последний миг я увидел из-под полей моей шляпы, как он выходит из нашей комнаты так же спокойно и медленно, как и вошел.

Тут Пипле упал в свое кресло, словно этот рассказ истощил его силы, и безвольно воздел руки к небесам.

Хохотушка выскочила из швейцарской, у нее тоже сил больше не было, она просто задыхалась от смеха и не могла больше сдерживаться. Родольф и тот с великим трудом сохранял серьезность.

Внезапно на улице послышался шум, который обычно производит множество людей, перед воротами произошла какая-то суета и еще через минуту по плитам у двери дома загремели ружейные приклады.

Глава VIII.
АРЕСТ

Ох, господин Родольф! — кричала Хохотушка, вбегая; она была бледна и вся дрожала. — Там полицейский комиссар со стражей!

— Правосудие божие заботится обо мне! — воскликнул Пипле в религиозном экстазе. — Наконец-то арестовали этого Кабриона... К несчастью, слишком поздно!

Комиссар, которого легко было узнать по перевязи, выглядывавшей из-под его черного сюртука, вошел в швейцарскую; лицо его было серьезным, достойным и суровым.

— Господин комиссар, вы пришли слишком поздно: преступник сбежал, — печально сказал Пипле. — Но я могу вам дать все его приметы... улыбка жестокая, взгляд нахальный, манеры...

— О ком вы говорите? — удивился полицейский.

— О Кабрионе, о ком же, господин комиссар! Но если поспешить, еще можно поймать, — ответил Пипле.

— Я не знаю, кто такой Кабрион, — нетерпеливо

прервал его полицейский. — В вашем доме живет ювелир-гранильщик по имени Жером Морель?

— Да, мой комиссар, — насторожившись, ответила г-жа Пипле.

— Ведите меня в его квартиру.

— Морель-гранильщик? — переспросила привратница вне себя от изумления. — Да ведь это агнец божий, он не способен...

— Здесь проживает Жером Морель, да или нет?

— Да, мой комиссар, со своей семьей, в мансарде.

— Так ведите меня на эту мансарду!

Затем, обращаясь к одному из своих спутников, полицейский добавил:

— Пусть два жандарма ждут внизу и не уходят от ворот, а Жюстена пошлите за фиакром.

Тот удалился, чтобы исполнить приказ.

— А теперь, — сказал комиссар полиции, обращаясь к Пипле, — ведите меня к Морелю.

— Если вам все равно, мой комиссар, я заменю Альфреда: он себя плохо чувствует из-за этого Кабриона... Его от него мутит, как от капусты.

— Вы или ваш муж, мне это безразлично. Идемте! Вслед за г-жой Пипле он начал подниматься по лестнице, но вскоре остановился, заметив, что Родольф и Хохотушка идут за ним.

— А вы кто такие? Что вам нужно? — спросил он.

— Это двое наших жильцов с пятого этажа, — ответила г-жа, Пипле.

— Извините, я не знал, что вы здесь живете, — сказал комиссар Родольфу.

Надеясь на снисходительность вежливого полицейского, тот сказал ему:

— Вы увидите семью, доведенную до отчаяния. Я не знаю, какая еще беда ожидает этого несчастного ремесленника, но в эту ночь на его долю выпало страшное испытание... Одна из его дочерей, уже истощенная болезнью, умерла у него на глазах... умерла от холода и нищеты...

— Возможно ли это?

— Это чистая правда, мой комиссар, — вмешалась г-жа Пипле. — Если бы не этот господин, с которым вы говорите, — а он принц среди наших жильцов, и потому, что своей щедростью спас несчастных Морелей от долговой тюрьмы, — вся его семья умерла бы с голоду.

Комиссар посмотрел на Родольфа с интересом и удивлением.

— Нет ничего проще, — объяснил Родольф. — Одна милосердная особа, узнав, что Морель, за честность и порядочность которого я отвечаю,

незаслуженно оказался в отчаянном положении, поручила мне оплатить долговое письмо, по которому судебные приставы могли упрятать в тюрьму этого бедного ремесленника, единственную опору многочисленной семьи.

Пораженный в свою очередь благородным обликом Родольфа и достоинством его манер, комиссар ответил:

— Я не сомневаюсь в честности Мореля, но, к сожалению, обязан исполнить тяжкий долг, который вас огорчит, потому что вы так искренне печетесь о семье Морелей.

— Что вы хотите этим сказать?

— Судя по услугам, которые вы им оказали, и по вашей речи, я вижу, что вы благородный человек. А потому у меня нет причин скрывать от вас предписание, которое я должен выполнить. У меня ордер на арест Луизы Морель, дочери гранильщика.

Родольф сразу вспомнил сверток с золотыми монетами, который девушка вручила судейским приставам.

— В чем же ее обвиняют, господи?

— Ее ждет тюрьма за детоубийство.

— Ее, тюрьма? О, несчастный ее отец!

— Судя по горестным обстоятельствам, о кото-

рых вы мне рассказали, этот новый удар будет для ремесленника ужасен... К сожалению, я должен выполнять полученные приказы.

— Может быть, речь идет только о предварительном заключении? — воскликнул Родольф. — Доказательств наверняка нет?

— Я не могу вам ничего больше сказать по этому поводу... Правосудие узнало об этом преступлении, вернее о подозрении в преступлении, от весьма достойного во всех отношениях человека, ее хозяина...

— От Жака Феррана, нотариуса? — возмущенно спросил Родольф.

— Да, сударь... Но почему такой тон?..

— Потому что Жак Ферран — мерзавец!

— Мне жаль, сударь, что вы совсем не знаете человека, о котором судите; господин Жак Ферран достойнейший человек, его честность признана всеми.

— Я повторяю вам, сударь: этот нотариус — мерзавец... Он хотел посадить Мореля в тюрьму, потому что его дочь отвергла его гнусные домогательства. Если Луизу обвиняют только на основании доноса такого человека... Признайтесь, сударь, подобное обвинение не заслуживает доверия.

— Я не могу и не хочу обсуждать с вами справедливость заявления господина Феррана, — холодно сказал комиссар полиции. — Это дело правосудия, все решит суд присяжных. Что касается меня, я должен установить личность Луизы Морель и выполнить данное мне предписание.

— Вы правы, извините меня за то, что в порыве негодования, впрочем вполне законного, я забыл на минуту, что здесь действительно не время и не место для обсуждения таких вопросов. Только одно: тело покойной дочери Мореля осталось у него в мансарде, а я предложил его семье свою комнату, чтобы избавить всех от печального зрелища мертвой девочки. Так что вы найдете гранильщика и, может быть, его дочь у меня. Умоляю вас, во имя человечности, не забирайте Луизу так сразу, когда они еще не оправились от страшного горя. Морель в эту ночь испытал столько потрясений, что разум его не выдержит нового. Жена его тоже смертельно больна, и еще один удар убьет ее.

— Я всегда исполнял приказы со всевозможной мягкостью и сегодня буду действовать так же осторожно.

— Позвольте попросить вас об одном одолжении, если хотите, милости. Вот что я предлагаю:

девушка, которая идет за нами вместе с привратницей, занимает комнату рядом с моей. Не сомневаюсь, что она предоставит ее в ваше распоряжение. Вы сможете, если нужно, позвать туда сначала Луизу, — а потом Мореля, чтобы дочь могла с ним проститься. По крайней мере, вы избавите несчастную больную и беспомощную мать от этой душераздирающей сцены.

— Если можно это устроить, что ж, я согласен.

Этот разговор происходил вполголоса; Хохотушка и г-жа Пипле скромно отстали от комиссара и Родольфа на десять ступеней. РодоЛьф спустился к Хохотушке, весьма смущенной присутствием полицейского, и шепнул ей:

— Бедная моя соседушка, я попрошу от вас еще одной жертвы: уступите мне вашу комнату примерно на час!

— На сколько хотите, господин Родольф... Мой ключ у вас. Но, господи, что тут происходит?

— Я вам потом расскажу. Но это еще не все: возвращайтесь поскорее в Тампль и попросите, чтобы все наши покупки доставили не ранее чем через час.

— Охотно, господин Родольф. Неужели еще что-то стряслось с несчастным Морелем?

— Увы, случилась новая беда, и вы скоро об

этом узнаете.

— Хорошо, сосед, я бегу в Тампль. Господи, а я-то надеялась, что благодаря вашей доброте эти бедные люди избавятся от всех забот! — сказала гризетка и быстро спустилась по лестнице.

Родольф прежде всего хотел избавить ее от печальной сцены ареста Луизы.

— Мой комиссар, если уж мой принц жильцов доведет вас, может, я спущусь к моему Альфреду? — спросила г-жа Пипле. — Он меня беспокоит. Ведь он только что оправился от этой встречи с Кабрионом.

— Идите, идите, — сказал комиссар, и они остались вдвоем с Родольфом.

Потом одновременно они поднялись на площадку пятого этажа и остановились перед дверью комнаты, где временно разместился Морель со своей семьей.

Внезапно дверь распахнулась.

Из нее быстро вышла Луиза, бледная и заплаканная.

— Прощайте, прощайте, отец! — воскликнула она. — Я вернусь, но сейчас мне нужно уйти.

— Луиза, девочка моя, послушай меня! — умолял Морель, следуя за нею и пытаясь ее удержать.

При виде Родольфа и комиссара полиции отец

и дочь замерли.

— Ах, это вы, наш спаситель! — воскликнул гранильщик, узнав Родольфа. — Помогите мне удержать Луизу. Я не знаю, что с ней, но она меня пугает. Она хочет уйти. Но ведь правда, ей не нужно больше возвращаться к хозяину? Вы ведь сами сказали мне: «Луиза вас больше не покинет, это вам будет, наградой». О, благословенное обещание! Я, признаюсь, на миг позабыл даже о смерти маленькой Адели. Поэтому я не могу расстаться с тобой, Луиза! Никогда, никогда!

Сердце Родольфа сжалось, он не мог ответить ни слова.

Комиссар сурово спросил Луизу:

— Вас зовут Луиза Морель?

— Да, — ответила девушка в замешательстве. Родольф отпер комнату Хохотушки,

— А вы Жером Морель, ее отец? — продолжал полицейский, обращаясь к гранильщику.

— Да, но что...

— Войдите сюда вместе с вашей дочерью!

Комиссар показал на комнату Хохотушки, где уже находился Родольф:

Ободренные его присутствием, Морель и Луиза, удивленные и смущенные, вошли в комнату гризетки вслед за комиссаром. Тот закрыл дверь и,

сдерживая волнение, обратился к гранильщику.

— Я знаю, что вы честны и у вас горе, поэтому с большим сожалением должен сказать вам, что именем закона я арестую вашу дочь.

— Все открылось!.. Я погибла! — воскликнула перепуганная Луиза и бросилась в объятия отца.

— Что ты говоришь?.. О чем ты говоришь? — бормотал пораженный Морель. — Ты сошла с ума... Погибла?.. Арестовать тебя?.. За что?.. Кто может тебя арестовать?

— Я, именем закона! — И полицейский комиссар показал ему свою перевязь.

— О, я несчастная, несчастная! — вскричала Луиза, падая на колени.

— Как это, именем закона? — бормотал ремесленник, чей разум, потрясенный ночной трагедией, начал мутиться от этого нового удара. — Зачем забирать мою дочь именем закона? Я отвечаю за Луизу, отвечаю... Это дочь моя, достойная дочь... не правда ли, Луиза? Как? Арестовать тебя, когда наш добрый ангел вернул тебя нам, чтобы утешить за смерть моей маленькой Адели? Да полно, все это неправда! И потом, господин комиссар, при всем уважении, арестуют только преступников, вы слышите? А Луиза, моя дочь, не преступница. Ну конечно, ты видишь, дитя

мое, он ошибается... Мое имя Морель, другого Мореля нет, а тебя зовут Луиза, есть только одна Луиза, вот так. Видите ли, господин комиссар, это ошибка, наверняка ошибка!

— К сожалению, никакой ошибки нет!.. Луиза Морель, попрощайтесь с вашим отцом.

— Вы отнимаете у меня мою дочь? Вы не смеете! — воскликнул гранильщик, обезумев от горя, и двинулся на комиссара полиции с угрожающим видом.

Родольф схватил его за руку и сказал:

— Успокойтесь, не теряйте надежды. Дочь вернется к вам; ее невиновность будет доказана; я верю, что она не совершила никакого преступления.

— В чем ее обвиняют?.. Она ни в чем не виновата! Ручаюсь вам...

Но тут он вспомнил о золотых, которые Луиза принесла, чтобы оплатить долговую расписку.

— Значит, эти деньги? — воскликнул Морель, бросая на дочь уничтожающие взгляды. — Откуда взяла ты эти деньги сегодня утром?

Луиза поняла.

— Я их не украла! — воскликнула она, и вспыхнувший румянец негодования, искренность ее голоса и жеста успокоили отца.

— Я это знал! — крикнул он. — Вот видите, господин комиссар! А она за всю жизнь не солгала ни разу, клянусь вам. Спросите всех, кто ее знает, и они вам скажут то же самое. Лгать? Для этого она слишком горда, и к тому же долговое письмо оплатил наш благодетель... А это золото, ей оно не нужно; она собиралась вернуть его тому, кто его одолжил, запретив называть его имя... Правда, Луиза?

— Вашу дочь не обвиняют в воровстве, — сказал комиссар полиции.

— Но, господи, в чем же тогда ее обвиняют? Я ее отец и клянусь вам, она ни в чем не повинна, что бы ни говорили. А я за всю свою жизнь тоже ни разу не солгал.

— Зачем вам знать об этом обвинении? — вступился Родольф, тронутый его горем. — Невиновность Луизы будет доказана; особа, которая стремится помочь вам, сумеет защитить вашу дочь... Поэтому мужайтесь! Провидение и на этот раз не оставит вас. Обнимите вашу дочь, вы скоро с ней увидитесь...

— Господин комиссар! — вскричал Морель, не слушая Родольфа. — Вы отнимаете дочь у отца, даже не говоря, в чем ее обвиняют! Я хочу все знать!.. Луиза, может, ты сама скажешь?

— Ваша дочь обвиняется в детоубийстве, — сказал комиссар полиции.

— Я... я не понимаю...

И потрясенный Морель забормотал что-то неясное.

— Вашу дочь обвиняют в том, что она убила своего ребенка, — объяснил комиссар полиции, глубоко потрясенный этой сценой. — Но то, что она совершила это преступление, еще не доказано.

— О нет, нет, этого не было! — с силой воскликнула Луиза, поднимаясь с колен. — Клянусь вам, он был уже мертв! Он уже не дышал, он был совсем холодный... Я потеряла голову, и в этом все мое преступление... Но чтобы я своего ребенка... Нет, нет, никогда!

— Твоего ребенка, несчастная? — вскричал Морель, воздевая обе руки, словно он хотел уничтожить Луизу этим жестом и этим страшным возгласом.

— Пощади, отец, пощади меня! — воскликнула Луиза. Воцарилась тяжкая, жуткая тишина, а затем Морель заговорил еще более страшным голосом:

— Уведите ее, господин комиссар, уведите эту тварь... Она мне больше не дочь...

Гранильщик хотел выйти, но Луиза бросилась ему в ноги, обхватила обеими руками его колени и, откинув голову, закричала с отчаянием и мольбой:

— Отец мой! Выслушайте меня, только выслушайте!

— Господин комиссар, заберите ее, я вам ее оставляю, — повторял гранильщик, тщетно пытаясь освободиться от рук Луизы.

— Послушайте ее! — вмешался Родольф, останавливая его. — Не будьте хоть сейчас таким безжалостным.

— И это она! Господи боже мой, она! — повторял Морель, пряча лицо в ладонях. — Обесчещенная!.. Подлая!..

— А если она приняла бесчестие, чтобы вас спасти? — тихо спросил его Родольф.

Эти слова поразили гранильщика как молния. Он посмотрел на свою заплаканную дочь, все еще обнимающую его колени. Его вопрошающий взгляд был неописуем. И вдруг он проговорил глухим голосом сквозь стиснутые от ярости зубы:

— Нотариус?

Ответ уже дрожал на губах Луизы... Она готова была сказать, но, видимо, какая-то мысль удержала ее; она опустила голову и промолчала.

— Да нет же, еще сегодня утром он хотел посадить меня в тюрьму! — засмеявшись, продолжал Морель. — Значит, это не он? О, тем лучше, тем лучше!.. Ей нечем даже оправдать свою вину, значит, я тут ни при чем, я не виноват в ее бесчестии... и могу проклясть ее без угрызений совести!..

— Нет, нет, не проклинайте меня, отец! Вам я все расскажу, только вам одному. И вы увидите, увидите, достойна ли я прощения...

— Выслушайте ее ради бога! — сказал Родольф.

— О чем она может мне рассказать? О своем бесстыдстве? Пусть расскажет всем, а я подожду...

— Сударь! — воскликнула Луиза, обращаясь к комиссару полиции. — Сжальтесь! Позвольте мне сказать несколько слов моему отцу наедине... прежде чем мы расстанемся, может быть навсегда. И перед вами я все расскажу, наш спаситель, но только вам и моему отцу...

— Я согласен, — сказал комиссар.

— Неужели у вас нет жалости? Неужели вы откажете ей в последнем утешении? — спросил Родольф Мореля. — Если вы хоть немного благодарны мне за все доброе, что я для вас сделал, не откажите вашей дочери в этой последней милости.

После минуты угрюмого и злобного молчания Морель проговорил:

— Пошли!

— Но куда? — удивился Родольф. — Рядом вся ваша семья...

— Куда? — переспросил гранильщик с горькой иронией. — Куда мы пойдем? Наверх, наверх, в мансарду... поближе к телу моей маленькой дочки... Самое подходящее место для таких признаний, не правда ли? Пошли! Посмотрим, посмеет ли Луиза лгать перед трупом своей сестренки. Идем!

И Морель с блуждающим взглядом вышел из комнаты, не оглядываясь на Луизу.

— Сударь, — тихо сказал комиссар Родольфу. — Ради бога, сократите как можете этот тягостный разговор из жалости к несчастному отцу. Вы были правы, боюсь, его рассудок не выдержит, у него и сейчас был уже взгляд безумца...

— Да, я, как и вы, опасаюсь нового и ужасного несчастья. Постараюсь, чтобы это горестное прощание длилось недолго.

И Родольф начал подниматься по лестнице вслед за гранильщиком и его дочерью.

Каким бы ни был странным и зловещим выбор Мореля, он, так сказать, определялся располо-

жением комнат: комиссар полиции согласился ждать у Хохотушки, семья Мореля занимала комнату Родольфа, значит, оставалась только мансарда.

В этот жуткий склеп под самой крышей и пришли Луиза, ее отец и Родольф.

Глава IX.
ИСПОВЕДЬ

Жестокое и мрачное зрелище! Посреди мансарды, такой, как мы ее описали, на топчане старой идиотки лежало тело умершей утром девочки, прикрытое рваным одеяльцем.

Потоки яркого света, проникая сквозь узкое окно в потолке, падали на лицо трех актеров этой сцены, превращая их в белые маски с резкими черными тенями.

Родольф стоял, прислонившись спиной к стене; у него было тяжко на душе.

Морель присел на край своего верстака, понурив голову и опустив рук»; пристально и угрюмо смотрел он на топчан, где лежало тельце маленькой Адели.

При виде ее гнев и возмущение гранильщика постепенно уступили место горечи и невыразимой печали; он обессилел и согнулся под тяжестью нового удара судьбы.

Луиза была смертельно бледна и боялась потерять сознание: ее ужасало то, в чем она должна была признаться. И все же она решилась, трепе-

ща, взять руку своего отца, бедную, исхудавшую руку, измученную непосильной работой.

Он не отнял ее, и тогда его дочь с рыданиями осыпала ее поцелуями и вскоре почувствовала, как он легонько прижал свою руку к ее губам. Гнев Мореля улетучился, и из глаз его потекли наконец слезы, которые он так долго сдерживал.

— Отец! Если бы вы знали! — воскликнула Луиза. — Если бы вы знали, какая я несчастная!

— Ох, Луиза, я буду каяться в этом вечно, до конца моей жизни, — ответил, плача, гранильщик. — Ты, о господи, и в тюрьме!.. На скамье подсудимых!.. Ты, такая гордая... когда тебе было чем гордиться... Нет! — воскликнул он снова в приступе боли и отчаяния. — Нет, лучше тебе лежать в смертном саване рядом с твоей несчастной маленькой сестрой!.

— Да, лучше, я бы тоже этого хотела! — ответила Луиза.

— Молчи, несчастное дитя, не надрывай мне сердце... Я не хотел, этого говорить, я забылся... Говори же, но, бога ради, не лги! Какой бы жестокой ни была правда, скажи мне все... чтобы я узнал от тебя, а не от других... Мне будет легче... Говори! У нас мало времени, внизу тебя ждут. Господи, какое горькое расставание!

— Отец, я скажу вам все, — начала Луиза, собрав всю свою решимость. — Но обещайте мне, и пусть наш спаситель обещает, что вы не расскажете об этом никому... никому... Если он только узнает, что я рассказала, о боже мой! — Она содрогнулась от ужаса. — Вы все погибнете, погибнете, как я... потому что вы не знаете могущества и жестокости этого человека.

— Какого человека?

— Моего хозяина...

— Нотариуса?

— Да, — прошептала Луиза и оглянулась, словно боясь, что ее услышат.

— Успокойтесь, — сказал Родольф. — Пусть он могуществен и жесток, мы с ним справимся. К тому же, если я открою кому нужно все, что вы хотите рассказать, это будет только в ваших интересах и в интересах вашего отца.

— И я тоже, Луиза, — подтвердил Морель. — Если я заговорю, то только для того, чтобы тебя спасти. Но что он сделал, этот негодяй?

— Вот еще что, — сказала Луиза, чуть подумав. — Речь пойдет еще об одном человеке, который оказал мне огромную услугу... и всегда относился к моему отцу и к нашей семье с большой добротой. Он уже служил у Феррана, когда я к нему

нанялась, и заставил меня поклясться, что я не назову его имени.

Родольф подумал, что, наверное, речь идет о Жермене, и сказал Луизе:

— Если вы имеете в виду Франсуа Жермена, то можете быть спокойны: мы с вашим отцом сохраним его тайну.

Луиза посмотрела на Родольфа с удивлением.

— Вы его знаете? — спросила она.

— Еще бы! Этот добрый, превосходный молодой человек жил здесь месяца три. Значит, он уже работал у нотариуса, когда ты пришла к нему? — спросил Морель. — Но когда ты впервые увидела его, ты как будто его не узнала...

— Так мы условились, отец. У него были важные причины, чтобы никто не знал, что он работает у Феррана. Это я посоветовала ему снять комнату у нас на пятом этаже, зная, что он будет нам добрым соседом...

— Но кто же направил вашу дочь к нотариусу? — спросил Родольф.

— Когда моя жена заболела, я сказал госпоже Бюрет, — она живет здесь и ссужает деньги под заклад, — что Луиза хочет пойти в прислуги, чтобы нам помочь. Госпожа Бюрет знала экономку нотариуса; она дала мне письмо к ней, в котором

рекомендовала Луизу как превосходную служанку. Будь оно проклято, это письмо!.. Оно стало причиной всех наших несчастий. Вот так, сударь, моя дочь попала в прислуги к нотариусу.

— Хотя я кое-что знаю о причинах ненависти Феррана к вашему отцу, — сказал Родольф, — все же расскажите, Луиза, что в общем происходило между вами и нотариусом, после того как вы к нему нанялись... Это может пригодиться для вашей защиты.

— В первые дни службы у Феррана мне как будто не на что было жаловаться, — ответила Луиза. — Работать приходилось много, экономка часто обращалась со мной грубо, дом был мрачный, но я все терпела: служба есть служба, и в других домах у меня были бы другие неприятности. У Феррана было суровое лицо, он ходил к мессе, часто принимал у себя священников, в общем, я его не опасалась. Первое время он едва удостаивал меня взглядом и говорил со мной очень строго, особенно при чужих.

Кроме швейцара, который жил в комнате с выходом на улицу, в главном доме, где находится контора, из всей прислуги я оставалась одна с экономкой, госпожой Серафен. Мы жили во флигеле, он стоял в стороне, между садом и двором. Моя

комната была на самом верху. По вечерам мне часто становилось страшно, когда я оставалась совсем одна, либо на кухне, в полуподвале, либо у себя в моей комнатушке. Мне порой слышались какие-то глухие страшные звуки на нижнем этаже, где никто не жил и где обычно работал днем Жермен. Два окна этого этажа были замурованы, а одна из толстых тяжелых дверей была усилена железными полосами. Экономка сказала мне, что за ней находится касса господина Феррана.

Однажды я надолго задержалась, чтобы закончить срочную починку белья, и уже ложилась спать, когда услышала, как кто-то крадется по маленькому коридору, в конце которого была моя комната. Кто-то остановился перед моей дверью.

Я думала, что это экономка, но никто не вошел, и я испугалась. Я не смела шевельнуться, только прислушивалась, но за дверью никто не шевелился, а я была уверена, что за ней стоят. Я спросила два раза: кто там? Мне не ответили. Я еще больше испугалась и придвинула к двери комод — у меня не было ни замка, ни засова. Я долго вслушивалась, но никто в коридоре не шевелился. Через полчаса, показавшимися мне вечностью, я улеглась в постель; ночь прошла спокойно. Наутро я попросила экономку сделать

на моей двери засов, потому что в ней не было замка. Рассказала ей о моих ночных страхах. Она ответила, что все это мне приснилось, а насчет засова надо просить Феррана. Услышав мою просьбу, он пожал плечами и сказал, что я сошла с ума. Больше я не осмеливалась его просить. Через некоторое время случилось это несчастье с бриллиантом. Мой отец был в отчаянии и не знал, что делать. Я рассказала о его горе госпоже Серафен; она мне ответила: «Наш господин такой милосердный, что, наверное, чем-нибудь поможет вашему отцу». В тот же вечер, когда я прислуживала за столом, господин Ферран вдруг мне сказал: «Твоему отцу нужно тысячу триста франков. Сегодня же скажи ему, чтобы зашел ко мне в контору, я одолжу ему эти деньги. Он честный человек, и надо ему помочь». От такой доброты я расплакалась. Я не знала, как отблагодарить моего хозяина. Но он мне сказал с обычной своей суровостью: «Полно, полно, здесь нет ничего особенного...» Вечером после работы я поспешила принести отцу добрую весть. А на следующий день...

— Я получил тысячу триста франков в долг на три месяца и написал расписку — на предъявителя, — сказал Морель. — Я, как Луиза, едва не

плакал от благодарности, называл этого человека моим благодетелем, моим спасителем... Господи, каким же надо быть жестоким, чтобы растоптать мою признательность и мое уважение к нему...

— Эта долговая расписка на предъявителя на такой короткий срок, эта странная предосторожность не вызвали у вас подозрений? — спросил Родольф. — Ведь вы бы не успели вернуть долг!

— Нет, сударь, я думал, что нотариус делает это на всякий случай. К тому же он мне сказал, что дает мне два года. Просто каждые три месяца я для порядка должен давать новую расписку. Но, когда миновал первый срок, он предъявил ее к оплате от третьего лица, денег у меня не было, и суд вынес постановление... Но он сказал мне, чтобы я не беспокоился, мол, это просто ошибка судебного пристава...

— Он хотел держать вас в своей власти, — сказал Родольф.

— Увы, сударь, вы правы. Со дня этого постановления он начал... Но продолжай, Луиза, продолжай! Я уже не знаю, на каком я свете... В голове мутится... В памяти какие-то провалы... Я сойду с ума! Нет, это слишком, я не выдержу, не выдержу!

Родольф успокоил гранильщика... Луиза про-

должала:

— Я старалась как могла отблагодарить Феррана за его доброту. И тогда экономка возненавидела меня: она находила какое-то наслаждение в том, чтобы мучить меня, не передавала мне приказы моего хозяина, и я всегда была виноватой; все время придиралась ко мне, и я бы давно ушла -на другое место, но расписка моего отца удерживала меня. Прошло три месяца; Ферран по-прежнему обращался со мной очень грубо перед госпожой Серафен, но иногда он посматривал на меня исподтишка так, что я смущалась, и улыбался, видя, как я краснею.

— Вы понимаете, сударь? — спросил Морель. — Он готовил мне арест за неуплату долга.

— Однажды, — продолжала Луиза, — после обеда экономка ушла, против своего обыкновения; клерки тоже покинули контору — все они живут в городе. И вот Ферран отсылает швейцара с каким-то поручением, и мы остаемся в.доме одни. Я прибиралась в прихожей, он мне позвонил. Я вхожу в его спальную; он стоит перед камином; я подхожу к нему, внезапно он оборачивается и обнимает меня... Лицо его было кроваво-красным, глаза сверкали. Я испугалась до ужаса и сначала не могла шевельнуться, но, хоть он сильней, я

отбивалась так отчаянно, что сумела вырваться. Я убежала в прихожую, захлопнула дверь и навалилась на нее всем телом, но ключ торчал с его стороны.

— Вы слышите, сударь, слышите? — пробормотал Морель, обращаясь к Родольфу. — Вот как вел себя этот достойный благодетель!

— Через несколько мгновений дверь подалась под его натиском, — продолжала Луиза. — К счастью, лампа была со мной рядом и я успела ее погасить. Он очутился внезапно в темноте. Он меня позвал, я не ответила. Тогда он сказал дрожащим от злобы голосом: «Если ты попытаешься убежать от меня, твой папаша сядет в тюрьму за тысячу триста франков, которые он мне должен и не может вернуть!» Я его умоляла сжалиться надо мной, обещала делать все что угодно, чтобы услужить ему, отблагодарить за его доброту, но сказала твердо, что никто не заставит меня пойти на крайнее унижение.

— Узнаю мою прежнюю Луизу, — сказал Морель. — Узнаю ее гордую речь. Но все-таки как же?.. Говори, говори...

— Было совсем темно, через минуту я услышала, как мой хозяин ощупью нашел входную дверь и запер ее на ключ. Я была в его власти. Он сбегал

к себе и вернулся со свечой. Не могу передать, не смею, как я отбивалась от него, как он мне угрожал, бегал за мной из комнаты в комнату... К счастью, отчаяние, страх и гнев придавали мне силы; мое сопротивление сводило его с ума, он уже не владел собой. Он терзал меня, бил, у меня все лицо было в крови...

— Господи боже мой! — воскликнул гранильщик, вздымая руки к небесам. — Какой зверь! Какое чудовище! Для таких преступников нет достойной казни...

— Возможно, — проговорил Родольф и на миг задумался. Затем-, обращаясь к Луизе, сказал: — Мужайтесь! Расскажите все.

— Эта борьба длилась долго, я уже теряла силы, когда вернулся швейцар и позвонил два раза: так он извещал о срочном письме. Опасаясь, что если я не пойду за письмом, то его принесет швейцар, хозяин пригрозил мне: «Убирайся! Скажешь хоть слово — и твой отец погиб. Если попытаешься уйти от меня, он все равно погибнет. Если будут справляться о тебе, я намекну, хоть и не буду ничего доказывать, что ты воровка, и ты нигде не найдешь себе места. И еще скажу, что служанка ты никудышная...» На следующий день, несмотря на угрозы моего хозяина, я прибежала сюда и

все рассказала отцу. Он хотел, чтобы я немедля покинула этот дом... Но тог, — да бы его ждала тюрьма... Даже мой маленький заработок был необходим семье, с тех пор как заболела мать... А если Ферран распустит обо мне всякие слухи, я долго не смогу найти себе другого места.

— Да, — с горечью подтвердил Морель и помрачнел. — Мы были трусами, эгоистами, и мы позволили нашей дочке вернуться туда... О, я говорил вам: нищета, проклятая нищета! На какие подлости она нас толкает!

— Увы, отец! Разве вы не пытались всеми способами раздобыть эти тысячу триста франков? А когда мы увидели, что это невозможно, пришлось смириться.

— Говори, говори... Да, твои близкие стали твоими палачами. Да, мы больше всех виноваты в твоем несчастье. Это правда, — пробормотал гранильщик, закрывая лицо руками.

— Когда я вернулась к моему хозяину, — продолжала Луиза, — он повел себя так, словно между нами не было той ужасной сцены, о которой я вам рассказала: был как прежде суров и резок, о том, что было, не обмолвился ни словом; экономка продолжала преследовать меня, почти не давала, есть, запирая хлеб в буфете, а иногда нарочно

обливала всякой дрянью остатки еды, чтобы мне ничего не досталось, — сама-то она почти всегда обедала вместе с Ферраном. Ночью я почти не спала, боясь, что нотариус может в любую минуту войти в мою комнату, которая не запиралась. Он приказал даже вынести из нее комод, чтобы я не могла задвинуть им дверь. У меня остался только один стул, маленький столик и мой сундук. Я старалась нагромоздить все это перед дверью и спала не раздеваясь. Какое-то время он не трогал меня, даже не смотрел в мою сторону. Я начала уже успокаиваться, надеясь, что он больше не думает обо мне. В одно из воскресений, свободный день, я прибежала к отцу с этой доброй вестью; мы все были счастливы!.. Были счастливы... То, что случилось потом, — голос Луизы задрожал, — об этом страшно говорить, я всегда скрывала...

— Да... конечно... я чувствовал... Знал, что ты не говоришь... скрываешь от меня свой секрет... Какую-то тайну! — вскричал Морель; его блуждающий взгляд и странное многословие поразили Родольфа. — Твоя бледность, твое лицо... должны были все мне открыть. Сто раз я говорил твоей матери... но, увы, ха-ха, она меня успокаивала! Вот и добилась, вот и хорошо ей! Чтобы избавиться от нищеты, отдала нашу дочь этому чудовищу!..

А куда пойдет теперь наша дочь?.. На скамью подсудимых... Хорошо ей! А впрочем, кто знает?.. Может быть, и лучше? В самом деле, когда ты беден... А что же другие?.. Ха-ха-ха, другие!..

Внезапно Морель умолк, стараясь собраться с мыслями, стукнул себя по лбу кулаком и воскликнул:

— Ох, я не знаю сам, что говорю... Голова раскалывается, словно я напился...

И он снова спрятал лицо в ладонях.

Родольфа очень встревожила несвязная речь гранильщика, но он постарался, чтобы Луиза этого не заметила.

— Вы несправедливы, Морель, — серьезно сказал он. — Не только ради себя, но ради своей матери, ради своих детей и ради вас несчастная ваша жена не хотела, чтобы Луиза уходила от нотариуса. Она боялась худшего... Не обвиняйте никого... Пусть все проклятия и месть обрушатся на одного человека, на это чудовище лицемерия, которое поставило вашу дочь перед выбором: бесчестие или полная нищета, быть может, ваша смерть и гибель всей вашей семьи; на этого хозяина, который гнусно злоупотребил своей властью... Но, терпение, терпение, говорю я вам; судьба нередко готовит таким преступникам

страшное и небывалое отмщение.

Голос Родольфа, когда он заговорил о неотвратимом возмездии судьбы, был проникнут, если можно так сказать, такой уверенностью и убежденностью, что Луиза посмотрела на своего спасителя с удивлением, почти со страхом.

— Продолжайте, дитя мое, — сказал Родольф, обращаясь к Луизе. — Не спрашивайте ничего... Это очень важно, важнее, чем вы думаете.

— Значит, я начала понемногу успокаиваться. Но однажды вечером Ферран и его экономка вышли из дому, каждый из своей двери. Они не стали обедать дома, и я осталась одна. Как обычно, мне оставили мой кусок хлеба, воду и немного вина, а все остальное заперли в буфетах. Я закончила уборку, поужинала, и мне стало боязно одной в этом доме. Я зажгла лампу Феррана и поднялась в свою комнату. Когда он выходил по вечерам, его не надо было ждать. Я принялась за рукоделье, но, странно, сон морил меня... Ах, отец! — вскричала Луиза, прерывая свой рассказ. — Я боюсь, вы не поверите мне, станете обвинять меня во лжи... Но смотрите, над телом моей маленькой несчастной сестры я клянусь вам, что говорю только правду!

— Расскажите подробнее, — попросил Родольф.

— Что было потом?

— Увы, вот уже семь месяцев я сама стараюсь понять, что случилось потом, в ту страшную ночь... и не могу. Я чуть с ума не сошла, пытаясь проникнуть в эту тайну.

— Господи! Господи! Что она сейчас нам скажет? — вскричал гранильщик, очнувшись на миг от оцепенения, в которое он то и дело погружался во время рассказа Луизы.

— Я почему-то заснула, сидя на стуле, хотя раньше со мной этого никогда не бывало. Это последнее, что я помню, — продолжала Луиза. — А потом, потом, прости меня, отец, я не знаю! Но клянусь тебе, я не виновата...

— Верю тебе, верю, но говори!

— Я не знаю, сколько проспала, а когда проснулась, лежала на постели в моей комнате, обесчещенная Ферраном, который сидел со мной рядом.

— Ты лжешь, лжешь! — в ярости закричал Морель. — Признайся, что ты уступила насилию из страха, что меня посадят в тюрьму, но только не лги?

— Отец, клянусь вам...

— Ты лжешь, лжешь! Если ты ему уступила, зачем бы он вдруг захотел упрятать меня в тюрь-

му?

— Уступила! О нет, отец, мой сон был таким глубоким, что я была словно мертвая... Это вам кажется страшным, невероятным... Господи, я сама это знаю и до сих пор не могу понять...

— А я все понимаю, — вмешался Родольф, прерывая Луизу. — Этому человеку не хватало только такого злодеяния. Не обвиняйте вашу дочь во лжи, Морель!.. Скажите, Луиза, когда вы ужинали, прежде чём подняться к себе, вы не заметили никакого странного привкуса в том, что вы пили? Постарайтесь вспомнить, это очень важно.

Немного подумав, Луиза ответила:

— Я в самом деле вспоминаю, что вода с капелькой вина, которую мне оставила как обычно госпожа Серафен, была чуть-чуть горьковатой. Но я не обратила внимания, потому что злая экономка иногда нарочно подсыпала мне в графин соли или перцу.

— Значит, в тот вечер напиток показался вам горьким?

— Да, но не очень, и я все равно его выпила. Я подумала, что вино, наверное, уже обернулось в уксус.

Морель сидел, вытаращив глазами растерянно слушал вопросы Родольфа и ответы Луизы, вряд

ли что-нибудь понимая.

— Прежде чем заснуть, сидя на стуле, вы не почувствовали, что голова и моги как бы тяжелеют?,

— Да, у меня стучало в висках, и я плохо себя чувствовала, как при ознобе.

— О негодяй, подлец! — вскричал Родольф. — Знаете, Морель, чем он опоил вашу дочь?

Ремесленник смотрел на него, не отвечая.

— Экономка, его сообщница, подлила Луизе снотворного, скорее всего опиума. Сила и разум вашей дочери были парализованы на несколько часов. А когда она очнулась от наркотического сна, она уже была обесчещена!..

— Ах, теперь я все понимаю! — воскликнула Луиза. — Вы видите, отец, я не так уж виновата, как вам кажется. Отец, отец мой, ответьте мне!

Взгляд гранильщика был ужасающе неподвижен.

Разум этого наивного и честного человека не мог постичь всей глубины столь подлого злодеяния. Он едва понимал, о каком ужасном преступлении рассказывала его дочь.

И к тому же, надо сказать, временами он уже не улавливал смысл слов, мысли его путались и он погружался в бездну, которая для разума так

же черна, как непроглядная ночь для зрения, — страшный симптом безумия.

Однако Морель быстро заговорил глухим, прерывающимся голосом:

— Да, да, это очень плохо, очень плохо, плохо... И снова погрузился в апатию.

Родольф смотрел на него с беспокойством. Он боялся, что гнев и возмущение иссякнут в душе несчастного Мореля, как бывает, когда слишком большое горе иссушает слезы.

Стараясь поскорее закончить это тягостное прощание, Родольф сказал Луизе: — Наберитесь мужества! Откройте нам до конца ужасную правду.

— Увы, все, что вы слышали, это только начало. Когда я увидела Феррана рядом со мной, я закричала от страха. Я хотела бежать, он удержал меня силой. Я еще чувствовала себя такой слабой, такой отяжелевшей, наверняка из-за того зелья, о котором вы говорили, что не могла вырваться из его рук. «Зачем же теперь бежать от меня? — спросил Ферран с таким удивлением, что я растерялась. — Что ты капризничаешь? Разве ты не приняла меня по доброй воле?» — «Ах, сударь! — закричала я. — Это недостойно! Вы воспользовались тем, что я спала, и погубили

меня. Я все, расскажу отцу!» Хозяин расхохотался. «Я воспользовался твоим сном? Да ты шутишь. Кто поверит в твое вранье? Сейчас четыре утра. Я здесь уже два часа. Похоже, ты спала слишком долго и слишком притворно. Признайся лучше, что отдалась мне по доброй воле. Полно, хватит капризничать, иначе я рассержусь. Твой отец в моей власти, так что незачем тебе меня отвергать. Будь послушной, и мы подружимся. А иначе — берегись!» — «Я все расскажу отцу! — крикнула я. — Он отомстит за меня. Есть справедливость на свете». Ферран посмотрел на меня с удивлением. «Ты совсем сошла с ума? Что ты скажешь своему отцу? Что он уговорил тебя уступить мне? Поступай как хочешь, посмотрим, что он тебе ответит»... — «Господи, это неправда! Вы же знаете, что вошли сюда без моего согласия!» — «Без твоего согласия? И у тебя хватит наглости утверждать это, говорить, будто я тебя изнасиловал? Хочешь, я докажу, что все это вранье? Вчера вечером я велел Жермену, моему кассиру, вернуться в контору к десяти часам, чтобы закончить срочную работу. Он сидел за своими книгами до часу ночи, сидел в комнате, которая прямо под твоей. Спроси его, слышал он крики, шум борьбы, какую мне пришлось вести е тобой там, внизу, когда ты, злючка,

не была еще такой покладистой, как сегодня? Так спроси завтра Жермена, и он тебе ответит: этой ночью в доме все было тихо и спокойно».

— Да, он принял все предосторожности, чтобы выйти сухим из воды, — заметил Родольф.

— Я была убита, сударь. Я не знала, что ответить на слова моего хозяина. Я не знала, что мне подлили, и сама не могла понять, почему так крепко спала. Казалось, все было против меня. Если я пожалуюсь, мне никто не поверит, и неудивительно потому, что эта ужасная ночь для меня самой оставалась неразрешимой загадкой.

Глава X.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Невероятная подлость и лицемерие Феррана поразили Родольфа.

— Значит, вы не осмелились рассказать отцу о гнусном поступке вашего хозяина? — спросил он Луизу.

— Да, сударь. Отец бы мне не поверил. Он посчитал бы, что я заодно с Ферраном. И потом, я боялась, что в порыве гнева он забудет, что его свобода, жизнь всей нашей семьи в руках у моего хозяина.

Желая избавить Луизу от тягостных признаний, Родольф сказал:

— Очевидно, вам пришлось смириться с ролью жертвы этого негодяя из страха за отца и за вашу семью...

Луиза потупила взор и покраснела.

— Но потом его отношение к вам стало не таким жестоким и грубым?

— Наоборот, сударь. Чтобы избежать всяких подозрений, мой хозяин, когда у него, например, бывал в гостях священник церкви Благовещения,

особенно строго распекал меня. Он просил господина кюре наставить меня на путь истинный, он говорил, что рано или поздно я погублю свою душу, что я слишком вольно веду себя с его писцами, что я лентяйка, что он держит меня только из жалости к моему отцу и его семье, которым оказывает помощь. Он и правда помог отцу, но все остальное — ложь! Я никогда в глаза не видела ни одного его клерка, все они работали в главном здании конторы, а не в нашем флигеле.

— А когда вы оставались наедине с Ферраном, как он объяснял свои нападки на вас в присутствии кюре?

— Он уверял меня, что просто шутил. Но кюре принимал его обвинения всерьез. Он сурово говорил мне, что на мне лежит двойной грех, если я не веду себя как следует в этом дважды святом доме, где у меня перед глазами всегда пример чистоты и добродетели. Я не знала, что на это ответить, и только краснела, опуская глаза. И мое молчание, мое смущение оборачивались против меня. Мне было так страшно жить, что порою я хотела покончить с собой, но я думала о моем отце, о моей матери, братьях и сестрах, которым я могла хоть немного помочь, и я смирилась. Я была гадкой, презренной, но у меня было

утешение: я спасала отца от тюрьмы. А потом, — неотвратимое несчастье, — я почувствовала, что стану матерью... Я поняла, что это моя погибель! Не знаю почему, я все предугадала. Ферран, когда узнал об этом и мог бы стать- ко мне добрее, вместо этого начал придираться и выговаривать мне еще суровее. Но я даже представить не могла, что он мне готовит.

Морель как бы очнулся от своего беспамятства, с удивлением посмотрел вокруг, провел рукою по лбу, словно что-то вспоминая, и сказал своей дочери:

— Я, похоже, забылся. Устал, совсем растерялся от горя... О чем ты говорила?

— Когда Ферран узнал, что я беременна... Гранильщик в отчаянии воздел руки; Родольф успокоил

его одним взглядом.

— Ладно, ладно, я дослушаю все до конца, — пробормотал Морель. — Говори, говори...

— Я спросила Феррана, как мне скрыть свой позор, в котором он был виноват, — продолжала Луиза. — Вы не поверите, отец, как он мне ответил!..

— Что же он ответил?

— Он прервал меня с возмущением и с делан-

ным изумлением, словно ничего не понимал. Он сказал, что я, наверное, сошла с ума. Я была в ужасе, я закричала: «Господи, что же теперь со мной будет? Если вы не пожалеете меня, пожалейте хотя бы вашего ребенка». — «Какой ужас! — воскликнул Ферран, воздев руки к небу. — Ты, подлая тварь! Ты осмелилась обвинить меня, будто я пал так низко, опустился до такой грязной девки, как ты! И у тебя хватает наглости приписать мне плоды твоего распутства, мне, который сотни раз повторял тебе перед самыми достойными свидетелями, что ты погубишь свою душу, презренное создание! Убирайся отсюда немедленно, я тебя увольняю!»

Родолъф и Морель замерли от ужаса; их поразило такое неслыханное лицемерие.

— Да, признаюсь, — сказал Родольф, — подобной подлости я даже не мог себе представить.

Морель ничего не сказал, глаза его расширились до ужаса, лицо исказила страшная гримаса; он сполз с верстака, на котором сидел, внезапно выдернул ящик, выхватил оттуда длинный, остро отточенный нож с деревянной рукояткой и бросился к двери.

Родольф понял его замысел, схватил за руку и остановил.

— Морель, куда вы? Вы погубите себя, несчастный!

— Поберегись! — закричал Морель вне себя от ярости. — Отойди, иначе я убью двоих вместо одного!

Обезумевший ремесленник бросился на Родольфа.

— Отец, это же наш спаситель! — закричала Луиза.

— Ему наплевать на нас! Ха-ха-ха, он хочет спасти нотариуса! — отвечал обезумевший гранильщик, вырываясь из рук Родольфа.

Но через секунду Родольф уверенно, но мягко обезоружил его, распахнул дверь и выкинул нож на лестницу. Луиза бросилась к отцу, обняла его и сказала:

— Отец, это наш благодетель. И ты на него поднял руку! Опомнись!

Эти слова привели Мореля в себя, он закрыл лицо руками и упал на колени перед Родольфом.

— Встаньте, несчастный отец, — с жалостью проговорил Родольф. — Терпение, терпение... я понимаю ваш гнев, я разделяю вашу ненависть, но во имя праведной мести, не мешайте ей свершиться...

— Господи, господи! — вскричал гранильщик,

поднимаясь на ноги. — Но что может правосудие, что может закон против такого?.. Несчастные мы люди! Если мы, бедняки, попробуем обвинить этого злодея, богатого, могущественного, всеми уважаемого, над нами просто насмеются!.. Ха-ха-ха! — Он разразился судорожным смехом. — И люди будут правы. Какие у нас доказательства? Да, какие доказательства? Нам не поверят. Поэтому, говорю вам, — вскричал он в новом приступе ярости, — я верю только в справедливость ножа...

— Замолчите, Морель, — печально сказал ему Родольф. — Горе затмило ваш разум. Дайте вашей дочери все досказать... Каждая минута дорога, комиссар ждет ее, а я должен знать все, понимаете? Все!.. Говори, дитя мое!

Морель бессильно упал на свой верстак.

— Незачем говорить вам, как я рыдала, как просила сжалиться, — продолжала Луиза. — Я погибала. Все, это происходило в десять утра в кабинете Феррана, кюре должен был прийти в тот день позавтракать с ним, и он вошел в тот момент, когда мой хозяин осыпал меня упреками и оскорблениями... Появление священника очень ему не понравилось...

— И что он сказал?

— Он сразу переменился, выбрал другую роль. «Посмотрите, господин аббат! — закричал он. — Я говорил вам, что она погубит свою душу! А теперь она погибла навсегда: она только что мне призналась в своем падении и позоре... и умоляла спасти ее... И подумать только, что, я приютил в своем доме эту негодяйку!» — «Немыслимо! — с возмущением воскликнул господин аббат, обращаясь ко мне. — Сколько раз ваш хозяин тут при мне давал вам добрые и праведные советы, и это вас не остановило?.. Вы так низко пали?.. Этому нет прощений! Друг мой, вы были слишком добры к этой несчастной и к ее семье, но снисхождение с вашей стороны было бы слабость. Будьте справедливы, но непоколебимы!» Так сказал аббат, обманутый, как и все, лицемерием Феррана.

— И вы в этот момент не попытались разоблачить негодяя? — спросил Родольф.

— Господи! Я была так перепугана, голова у меня кружилась, я не могла сказать ни слова и все же хотела говорить, хотела оправдаться... «Послушайте, сударь...» — начала я, но Ферран прервал меня: «Ни слова больше, недостойная тварь! — крикнул он. — Ты слышала, что сказал господин аббат? Жалость была бы слабостью. Через час ты должна оставить мой дом!» И, не

давая мне времени ответить, он увел аббата в другую комнату.

— После ухода Феррана, — продолжала Луиза, — я не помнила себя. Я представляла, как меня выгонят из этого дома, как я буду искать и не найду себе другого места из-за моего положения и других сведений обо мне, которые разошлет мой хозяин. Я была уверена, что он от злости посадит в тюрьму моего отца. Я не знала, что делать, и убежала в свою комнату.

Часа через два туда пришел Ферран. «Ты собрала свои тряпки?» — спросил он. «Сжальтесь! — взмолилась я, падая к его ногам. — Не прогоняйте меня в моем положении. Что со мной будет? Меня никто не возьмет в услужение!» — «Тем лучше, господь, накажет тебя за твое распутство и твою ложь». — «Вы смеете говорить, что я лгу? — возмущенно воскликнула я. — Вы смеете говорить, что это не вы меня погубили?» — «Убирайся отсюда немедленно, тварь! — закричал он страшным голосом. — Ты еще смеешь клеветать на меня! Так вот завтра, в наказание тебе, я засажу твоего папашу в тюрьму». — «Нет, что вы, что вы, — в испуге сказала я ему. — Я ни в чем не стану обвинять вас, обещаю вам, только не прогоняйте меня... Пожалейте моего отца, мой

маленький заработок так нужен нашей семье! Оставьте меня у себя... я ничего не скажу, постараюсь, чтобы никто ничего не заметил, а когда уже будет невозможно скрывать мое горестное положение, ну что ж, тогда вы меня уволите».

Я долго его умоляла, упрашивала, и под конец Ферран согласился оставить меня. Я сочла это великой милостью, настолько положение мое было безысходно. И все же в течение пяти месяцев после этой ужасной сцены мне пришлось очень плохо и очень трудно; только Жермен, которого я видела изредка, с сочувствием спрашивал меня, почему я такая печальная, но я стыдилась сказать ему правду.

— Наверное, в это время он и поселился здесь?

— Да, сударь. Он искал комнату где-нибудь поблизости от бульвара Тампль или от Арсенала. Здесь как раз освободилась комната, та самая, которую вы сейчас занимаете, и она ему подошла. Он съехал месяца два назад и просил никому не давать его нового адреса, который знали только в конторе Феррана.

Попытки Жермена уйти от своих преследователей объяснили Родольфу все эти предосторожности.

— А вам никогда не хотелось рассказать обо

всем Жермену? — спросил он Луизу.

— Нет, сударь. Его тоже обмануло лицемерие Феррана: он считал его грубым, слишком требовательным, но честнейшим человеком на свете.

— Когда Жермен жил здесь, он ни разу не слышал, чтобы ваш отец обвинял нотариуса, что тот пытается вас соблазнить?

— Мой отец никогда не говорил о своих опасениях при посторонних, и к тому же в то время я его обманывала. Я уверяла, что Ферран больше не думает обо мне... Увы, бедный мой отец, простите меня за этот обман! Я только хотела вас успокоить, вы теперь понимаете, не правда ли?

Морель ничего не ответил; уронив голову на руки, скрещенные на верстаке, он безмолвно рыдал.

Родольф сделал знак Луизе, чтобы она больше не обращалась к отцу.

— Пять месяцев, — продолжала Луиза, — я плакала и страдала. Каждый день был нескончаемой пыткой. С помощью разных ухищрений мне удавалось скрывать свое положение от всех, но на последних двух месяцах, которые отделяли меня от рокового срока, об этом нечего было и думать. Каждый день все больше страшил меня. Господин Ферран заявил, что больше не хочет

меня держать... Я лишалась даже той малости, которая выручала нашу семью. Отец проклял бы меня и выгнал, узнав, что я его обманывала, хотя я желала только не волновать его. Он подумал бы, что я не жертва Феррана, а его сообщница. Что было делать? Где спрятаться? Где найти новое место в моем положении? Мне приходили в голову преступные мысли. Но, по Счастью, я отступила перед ними. Я признаюсь вам в этом, сударь, потому что ничего не хочу скрывать, даже то, что может пойти мне во вред, а также для того, чтобы вы поняли, до какой крайности довела меня бессердечность господина Феррана. Если бы я поддалась жестокому соблазну и совершила преступление, разве он не считался бы соучастником?

Немного помолчав, Луиза с усилием продолжала дрожащим голосом:

— Я слышала от привратницы, что в нашем доме живет один лекарь-шарлатан... и я...

Она не могла больше говорить.

Родольф вспомнил, как при первой встрече с г-жой Пипле, когда она отлучилась, он принял от разносчика письмо на грубой бумаге с измененным почерком и заметил на нем следы слез...

— И вы написали ему, несчастное дитя? Три

дня назад!.. Вы изменили почерк и плакали над этим письмом!

Луиза смотрела на Родольфа с ужасом.

— Откуда вы это знаете?

— Успокойтесь. Я был один в привратницкой у госпожи Пипле, когда принесли это письмо, и заметил его случайно.

— Да, вы правы, сударь. В этом письме без подписи я писала господину Брадаманти, что не смею прийти к нему, но прошу встретить меня вечером возле Шато-д'Ор... Я потеряла голову. Я хотела получить от него страшный совет... И вышла от моего хозяина с намерением этот совет исполнить. Но через минуту мысли мои прояснились: я поняла, на какое преступление иду... Я вернулась, встреча не состоялась. В тот же вечер произошла ужасная сцена, из-за которой на меня обрушились новые несчастья.

Ферран подумал, что я ушла часа на два, а я возвратилась очень скоро. Проходя мимо маленькой садовой калитки, я, к своему удивлению, увидела, что она полуоткрыта. Я вошла в сад и отнесла ключ в кабинет Феррана, где обычно его оставляли. Эта комната — самая дальняя в доме, за ней только его спальня — была самым уединенным местом: там он с. кем-то советовался втайне, а

обычные дела вел в своей конторе. Вы поймете сейчас, сударь, почему я рассказываю все это так подробно. Я прекрасно знала все входы и выходы этого дома. Я прошла через столовую, где горел свет, вошла в гостиную, где не было света, потом в кабинет перед его спальней. И дверь спальни открылась, когда я хотела положить ключ на стол. Едва мой хозяин заметил меня при свете лампы в своей комнате, он захлопнул дверь за каким-то человеком, которого я не успела разглядеть. И тогда, несмотря на темноту, он набросился на меня, вцепился двумя руками в шею, словно хотел меня задушить, и прошипел с яростью... и в то же время со страхом: «Ты подглядывала? Ты подслушивала за дверью? Что ты слышала, говори! Отвечай, или я тебя задушу!» Но, видно, ему пришло что-то другое в голову, он вытеснил меня в столовую; дверь кладовки была открыта, он грубо втолкнул меня туда и запер.

— И вы ничего не слышали из его разговора?

— Ничего, сударь. Если я знала, что он разговаривает с кем-то в своем кабинете, я не входила туда. Он запрещал это даже госпоже Серафен.

— А когда вы вышли из кладовки, что он вам сказал?

— Меня выпустила экономка, и в тот вечер я не

видела больше Феррана. От волнения, от испуга мне стало очень плохо. На другое утро, когда я спускалась по лестнице, я встретила Феррана и вся задрожала, вспомнив его угрозы. Но как же он меня удивил! Он сказал мне почти спокойно: «Ты ведь прекрасно знаешь, что я запрещаю входить в мой кабинет, когда у меня посетители. Но к чему тебя бранить, раз уж тебе и так недолго оставаться в моем доме». И он ушел в свою комнату.

Такое добродушие удивило меня после недавнего приступа ярости. Я, как обычно, занялась домашними делами и хотела уже прибрать в его спальне... Но вы знаете, я так страдала всю ночь, я была такой слабой, удрученной... Когда я вешала какой-то его костюм в темный гардероб рядом с альковом, я вдруг почувствовала страшные боли и в голове у меня все помутилось... Уже падая, я ухватилась за пальто, висевшее на дверце, и стащила его на себя, и оно меня почти всю укрыло.

Когда я пришла в себя, застекленная дверь спальни была закрыта... Я услышала голос Феррана... Он говорил очень громко... Вспомнив о вчерашней сцене, я подумала, что умру, если только шевельнусь. Я подумала; что мой хозяин не заметит меня под этим пальто в темном гардеробе. Если он увидит меня, как объяснить ему

эту случайность? Я затаила дыхание и невольно услышала разговор, который наверняка продолжался уже давно.

Глава XI.
РАЗГОВОР

— А кто разговаривал с нотариусом в его запертой комнате? — спросил Родольф.

— Не знаю, сударь, — ответила Луиза. — Голос был незнакомый.

— О чем же они говорили?

— Разговор, наверное, шел уже давно, потому что я услышала только обрывки. «Ничего нет проще, — говорил незнакомый голос. — Один парень по прозвищу Краснорукий, старый контрабандист, свел меня с семейкой «речных пиратов»[92] — это по тому дельцу, о котором я только что говорил. Они устроились на мысу маленького островка близ Аньера. Два самых страшных бандита на этом свете! Дедушка и папаша отдали свои головы гильотине, два сынка — на каторге до конца своих дней, но еще осталась мамочка, три сыночка и две девочки — это прохиндеи хуже не придумаешь. Говорят, чтобы шарить по обоим берегам Сены, они спускаются по ночам на лодке до самого Берси! Эти детишки убьют первого

---

[92] Notes: 92
Позднее мы узнаем об этих «речных пиратах».

встречного за один золотой. Но для этого нам они не нужны. Достаточно, чтобы они приютили нашу даму из провинции. Марсиали, — так зовут моих пиратов, — предстанут перед ней как семья честных рыбаков. Я, от вашего имени, навещу раза два-три вашу юную даму, пропишу ей кое-какие отвары... а примерно через недельку она упокоится на кладбище Аньера. В тихих деревушках люди уходят на тот свет незаметно, как письма, отправленные почтой. А в Париже на все обращают внимание. Но когда вы пришлете вашу провинциалочку на островок под Аньером? Я должен заранее предупредить Марсиалей, какую роль им играть». — «Завтра она прибудет сюда, послезавтра будет у них, — ответил Ферран. — И я предупрежу ее, что доктор Венсан будет о ней заботиться по моему поручению». — «Ладно, пусть я буду Венсаном, — сказал другой голос. — Чем это имечко хуже другого?»

— Это какая-то новая тайна и новое преступление! — воскликнул пораженный Родольф.

— Новая? Нет, сударь, вы увидите, что она связана с преступлением, которое вам уже известно, — возразила Луиза и продолжала: — Я услышала, как передвигаются стулья; разговор был окончен. «Я не прошу открыть мне тайну, — сказал Ферран.

— Вы меня держите в своей власти, и я вас держу». — Это значит, что мы всегда будем помогать друг другу и никогда не будем друг другу вредить, — ответил незнакомец. — Видите, как я усердствую! Получил ваше письмо вчера в десять вечера, а утром я уже у вас. До свидания, друг и сообщник, не забудьте островок под Аньером, рыбака Марсиаля и доктора Венсана. Эти три магические имени — гарантия, что ваша провинциалка не протянет и недели». — «Подождите, — сказал Ферран. — Я отодвину секретный засов в кабинете и посмотрю., нет ли кого-нибудь в прихожей, чтобы вы могли спокойно выйти через садовую калитку, как вы сюда вошли...» Ферран вышел, потом вернулся, и наконец я услышала, как он удалился с тем человеком, чей голос я слышала...

Вы можете понять, в каком я была ужасе во время всего этого разговора и совсем пришла в отчаяние, невольно подслушав об этой тайне. Часа через два госпожа Серафен пришла за мной в мою комнату, куда я поднялась, вся дрожа. Мне было очень плохо, как никогда. «Хозяин зовет

вас, — сказала она. — Вам выпало счастье, которого вы не заслуживаете. Спускайтесь скорее! Ах, бедняжка, какая она бледная! Но то, что вы сейчас услышите, вернет вам румянец».

Я последовала за госпожой Серафен. Ферран был в своем кабинете. Увидев его, я невольно задрожала, хотя вид у него был не такой суровый, как обычно. Он долго, пристально смотрел на меня, словно хотел прочесть мои мысли. Я опустила глаза. «Похоже, вы очень страдаете?» — спросил он. «Да, сударь», — ответила я и очень удивилась про себя, что он обращается ко мне на «вы» против своего обыкновения. «Да это и понятно, — продолжал он. — Причиной всему ваше положение и попытки его скрыть. Однако, несмотря на все ваше вранье, плохое поведение и вчерашнюю нескромность, я вас жалею, — добавил он более мягким тоном. — Через несколько дней вам уже будет невозможно скрывать вашу беременность. И хотя я выговаривал вам, как вы того заслуживаете, перед нашим кюре, такой скандал опозорит мой дом в глазах всех наших прихожан, и к тому же опозорит вашу семью... Учитывая все это, я хочу вам помочь». — «Ах, сударь! — воскликнула я. — За эти добрые слова я готова все забыть!» — «Что забыть?» — жестко спросил он. «Ничего, ничего, простите меня», — спохватилась я, боясь, что он вдруг рассердится, и надеясь, что сегодня он будет ко мне милосерднее. «Так слушайте меня! — продолжал

он. — Вы пойдете сегодня к отцу. Вы ему скажете, что я посылаю вас на два-три месяца в деревню следить за домом, который я недавно там купил. За время вашей отлучки я буду посылать ему ваш заработок. Завтра вы покинете Париж. Я дам вам рекомендательное письмо к госпоже Марсиаль, матери честной семьи рыбаков, которые живут близ Аньера. Вам следует сказать, что вы из провинции, и ни слова больше. Позднее вы узнаете, что все это делается в ваших интересах. Матушка Марсиаль будет ухаживать за вами как за родной дочерью; врач моих друзей, доктор Венсан, будет заботиться о вас, как этого требует ваше положение... Вы видите., как я к вам добр!»

— Какой ужасный замысел! — воскликнул Родольф. — Теперь я все понимаю. Он думал, что вы накануне подслушали что-то очень опасное для него, и решил от вас избавиться. И ему, наверное, было выгодно обмануть своего сообщника, представив вас какой-то женщиной из провинции. Представляю, как вы ужаснулись этому предложению!

— Да, это был страшный удар. Я была потрясена и ничего не могла ответить. Я смотрела на Феррана с ужасом, голова у меня кружилась. Я уже хотела рискнуть жизнью и сказать ему, что

утром подслушала его разговор с незнакомцем, но, к счастью, вспомнила о новых опасностях, которыми грозило мне это признание. «Вы что, не понимаете меня?» — раздраженно спросил он. «Нет, сударь... Да, сударь, — ответила я, вся дрожа. — Но я не хотела бы ехать в деревню». — «Почему бы это? Там, куда я вас посылаю, за вами будет прекрасный уход...» — «Нет, нет, я не поеду! Лучше я останусь в Париже, здесь моя семья, отец... Лучше я признаюсь ему во всем, лучше умру от стыда, если так доведется...» — «Значит, ты отказываешься? — спросил Ферран, все еще сдерживая гнев, и внимательно посмотрел на меня. — Почему ты вдруг изменила свое решение? Ты ведь только что соглашалась...» Я поняла, что, если он догадается, я погибла. Я ответила ему, что не думала, что придется уезжать из Парижа, где моя семья. «Но ведь ты опозоришь свою семью, негодяйка!» — закричал он. Уже не владея собой, он схватил меня за руку и дернул так сильно, что я упала. «Даю тебе срок до завтра! — кричал он. — А завтра ты либо поедешь к Марсиалям, либо пойдешь к своему папеньке и скажешь ему, что я тебя выгнал, а он отправится.в тюрьму!»

Я осталась одна, на полу в его кабинете. Подняться не было сил. Прибежала госпожа Серафен,

услышав громкий голос своего хозяина. С ее помощью я кое-как добралась до своей комнаты, слабея на каждом шагу. И сразу упала на кровать. Я не вставала дотемна, так потрясли меня все эти ужасы! А к часу ночи у меня начались невыносимые боли и судороги, я поняла, что до срока рожу этого несчастного ребенка.

— Почему вы не позвали на помощь?

— О, я не смела! Ферран хотел избавиться от меня, он наверное послал бы за доктором Венсаном, который убил бы меня в его доме, а не в доме этих Марсиалей... Или сам Ферран задушил бы меня, а потом сказал, что я умерла при родах... Увы, сударь, это, наверное, были безумные мысли, но тогда они меня преследовали, и это стало причиной моей погибели. Если бы не эти страхи, если бы я позвала на помощь, меня бы не обвинили в том, что я убила своего ребенка. Но я боялась позвать, боялась, что услышат мои крики, и кусала, затыкала себе рот простынями. И наконец, в ужасных страданиях, одна, в темноте, я родила несчастное создание, которое наверняка погибло из-за этих преждевременных родов... Я не убила его, господи, не убила! В той ночи у меня был миг горького счастья, когда я прижала мое дитя к груди!..

Голос Луизы угас, и она зарыдала.

Морель слушал рассказ своей дочери со странной апатией, угрюмым безразличием, которое все больше пугало Родольфа.

Гранильщик по-прежнему сидел, опершись локтями о верстак и обхватив голову руками, но, увидев, что Луиза рыдает, он пристально посмотрел на нее и забормотал:

— Она плачет... Плачет... Почему она плачет? И, мгновение поколебавшись, продолжал:

— Знаю, знаю... это нотариус... Говори, бедняжка Луиза... ты моя дочь... я люблю тебя... всегда люблю... Но вот сейчас... я тебя не узнал... Слезы помешали... О господи, господи! О, моя голова... Как же больно!

— Вы видите, отец, я ни в чем не виновата?

— Да... вижу...

— Это страшное несчастье, но я так боялась нотариуса!

— Нотариус... Да, я тебе верю... Он плохой человек, плохой...

— Теперь вы меня простите?

— Да...

— Это правда, отец?

— Да... Это правда... О, я тебя люблю... всегда люблю... хотя не могу сказать... О, моя голова...

Голова!..

Луиза со страхом посмотрела на Родольфа.

— Он страдает, дайте ему немного успокоиться. И продолжайте.

Несколько раз с беспокойством взглянув на Мореля, Луиза продолжила свой рассказ.

— Я прижала к себе мое дитя... и удивилась, не слыша его дыхания. Но я сказала себе: такой маленький ребенок дышит так тихо, что его не услышишь... а потом он мне показался совсем холодным... Я не могла зажечь свечу, у меня все отнимали... Дождалась, пока не рассвело, и все прижимала его к груди, стараясь согреть... но он все больше холодел. Я еще говорила себе: бедняжка, он так замерз, потому что в комнате холодно.

При первых лучах рассвета я поднесла моего ребенка к окну, посмотрела... Он был окоченелый, холодный как лед! Я припала губами к его ротику, чтобы почувствовать дыхание... приложила руку к его сердцу... Оно не билось... он умер!

Луиза залилась слезами.

— Ах, в этот миг со мной что-то случилось, что-то невыразимое! Смутно помню, что было потом, все как во сне: отчаяние, ужас и ненависть, но больше всего — страх! Нет, я уже не боялась, что Ферран меня задушит, но я боялась, что, если

найдут моего мертвого ребенка рядом со мной, меня обвинят, что я его убила. И мелькнула вдруг одна только мысль: спрятать его тельце, чтобы никто не нашел. Тогда никто не узнает о моем позоре, отец не будет гневаться на меня, Ферран не станет меня преследовать, потому что теперь, без ребенка, я смогу уйти от него, наняться служанкой в какой-нибудь другой дом и зарабатывать хоть немножко, чтобы помогать семье...

Увы, сударь, эти мысли заставили меня ни в чем не признаваться и спрятать мертвого младенца. Да, я была не права, но в моем положении, когда я мучительно страдала и чуть не сходила с ума, когда мне отовсюду грозила смерть, я не подумала о том, что меня ждет, если все откроется...

— Боже, какие мучения, какая безысходность, — удрученно проговорил Родольф.

— Быстро светало, и у меня оставалось всего несколько минут, пока в доме не проснулись, — продолжала Луиза. — Я больше не колебалась, завернула моего ребенка, как могла, спустилась потихоньку, дошла до самого дальнего угла сада, чтобы выкопать могилку и похоронить его там, но за ночь земля промерзла. Тогда я спрятала мертвое тельце в погреб, куда зимой никто не заходил, накрыла его пустыми ящиками нз-под

цветов и вернулась к себе в комнату. Никто меня не заметил.

Обо всем этом у меня сохранилось лишь смутное воспоминание. Я была очень слаба и до сих пор не понимаю, как я нашла в себе силы и смелость сделать все это. В девять часов госпожа Серафен пришла узнать, почему я не встаю. Я ответила, что заболела, и умоляла позволить мне провести один день в постели, а завтра я покину дом, потому что Ферран меня увольняет. Через час он явился ко мне сам. «Вот видите, вам стало хуже, — сказал он. — А все из-за вашего упрямства. Если бы воспользовались моей добротой, вы сегодня были бы в семье славных людей, которые окружили бы вас участием и заботой. Впрочем, я и сейчас не оставлю вас: не такой уж я жестокий. Вечером к вам зайдет доктор Венсан».

От этой угрозы я содрогнулась. Я ответила, что накануне была не права, когда отказалась от его предложения, что сейчас я его принимаю. Однако пока еще слишком плохо себя чувствую и не смогу сразу уехать, но завтра мне наверняка станет лучше и я отправлюсь к Марсиалям, так что доктора Венсана беспокоить совершенно незачем. Я хотела только выиграть время, а на самом деле твердо решила назавтра покинуть

этот дом и уйти к отцу, надеясь, что он никогда ничего не узнает. Мой ответ успокоил Феррана, и он проявил ко мне даже некоторую снисходительность и первый раз в жизни поручил меня заботам госпожи Серафен.

Весь день прошел в смертельной тревоге: я дрожала от страха, боясь, что кто-нибудь случайно найдет моего мертвого ребенка. Я молила только об одном: чтобы скорее потеплело, земля оттаяла и я могла бы его похоронить... Но пошел снег... и это тоже внушило мне надежду... Весь день я пролежала в постели.

Наконец, когда все уснули, я нашла в себе силы встать и добраться до дровяника; там я взяла топор для колки дров, чтобы вырубить в заснеженной земле могилку... Мне удалось это сделать ценой мучительных усилий... Тогда я взяла трупик и, обливая его слезами, похоронила, как могла, в маленьком ящике из-под цветов. Я не знала погребальных молитв, а потому прочитала над ним «Отче наш» и «Ave», моля бога, чтобы он принял его невинную душу в рай... Я думала, силы оставят меня и я не смогу засыпать землей этот маленький гробик... Мать, хоронящая своего ребенка!.. И все же я справилась... Чего это мне стоило, знает один лишь бог! Поверх

земли я нагребла немного снега, чтобы ничего не было заметно. Мне светила луна. Надо все было скрыть, я долго не решалась уйти... Бедная малютка, в холодной земле, под снегом... Я знала, что он мертв, но мне почему-то казалось, что он страдает от холода... Наконец я вернулась в свою комнату и легла, меня всю трясло, и у меня был жар... Утром Ферран прислал узнать, как я себя чувствую; я ответила, что немного лучше и назавтра наверняка смогу уехать в деревню. Весь день я тоже пролежала, чтобы набраться сил. Вечером я встала и спустилась в кухню погреться; я сидела там долго совсем одна. Потом вышла в сад помолиться последний раз.

Когда я возвращалась к себе в комнату, мне повстречался Жермен на площадке лестницы перед кабинетом, где он иногда работал... он был очень бледен... Сунул мне в руку тяжелый сверток и очень быстро проговорил: «Завтра рано утром должны арестовать вашего отца по долговой расписке на тысячу триста франков. Заплатить ему нечем. Поэтому вот деньги... Как только рассветет, бегите к нему!.. Сегодня наконец я раскусил этого Феррана: он очень злой человек... Но я его разоблачу!.. Главное, никому не говорите, что эти деньги от меня»..

Он не дал мне времени даже поблагодарить его и быстро сбежал по лестнице вниз.

Глава XII.
БЕЗУМИЕ

Этим утром, — продолжала Луиза, — пока в доме Феррана никто еще не вставал, я прибежала сюда с деньгами, которые дал мне Жермен, чтобы спасти моего отца. Но их оказалось недостаточно, и, если бы не ваша щедрость, я не смогла бы вырвать его из рук судебных приставов... Наверное, после моего ухода от Феррана они поднялись в мою комнату и нашли там следы, которые позволили им сделать ужасное открытие. Прошу вас, сударь, о последней услуге, — проговорила Луиза, вынимая сверток с золотыми, — можете вы вернуть эти деньги Жермену?.. Я обещала не говорить никому, что он служит у нотариуса, но, поскольку вы это уже знали, я не выдам его тайну... А теперь, сударь, повторяю еще раз: бог свидетель, я не солгала ни единым словом... Я не старалась снять с себя вину, а только...

Но, внезапно прервав свою речь, Луиза в ужасе закричала:

— Сударь, взгляните на моего отца!.. Смотрите, что это с ним?!

Морель слушал последнюю часть рассказа дочери с мрачным безразличием, которое Родольф объяснил себе полным упадком сил несчастного ремесленника. «После целого ряда страшных потрясений, следовавших одно за другим, силы его иссякли, чувствительность притупилась, и он уже не может даже возмущаться», — думал Родольф.

Но он ошибался.

Подобно пламени факела, который то угаснет, то разгорится, меркнущий разум Мореля иногда еще вспыхивал, освещая отдельные сцены отблесками понимания, но вдруг заколебался и... угас.

Совершенно безразличный ко всему, что говорилось и происходило вокруг него, гранильщик тихо сошел с ума.

Хотя его шлифовальный круг находился на другом конце верстака, а под рукой у него не было ни драгоценных камней и никаких орудий, ремесленник внимательно и прилежно выполнял свою обычную работу с помощью воображаемых инструментов.

Он сопровождал эту пантомиму тихим жужжанием, воспроизводя звук вращающегося шлифовального колеса.

— Смотрите, смотрите, — продолжала Луиза со все возрастающим страхом. — Что с ним?

Затем она приблизилась к ремесленнику.

— Отец, вы меня слышите? Отец!

Морель посмотрел на нее мутным и неопределенным, ничего не выражающим взглядом, свойственным тихопомешанным.

Не прекращая своей воображаемой работы, он заговорил негромко и печально:

— Я должен тысячу триста франков... это цена за жизнь Луизы. Надо работать, работать... О, я заплачу, заплачу, заплачу...

— Господи, но это немыслимо! Это не может продолжаться! Ведь он не совсем сошел с ума, не правда ли? — вскричала Луиза душераздирающим голосом. — Он придет в себя... Это лишь минутное затмение.

— Морель, друг мой! — обратился к нему Родольф. — Мы здесь, рядом с вами. Вот ваша дочь, и она ни в чем не повинна...

— Тысячу триста франков! — проговорил гранильщик и продолжал свою воображаемую работу, не глядя на Родольфа.

— Отец! — воскликнула Луиза, бросаясь перед ним на колени и хватая его за руки. — Это я, твоя дочь Луиза!

— Тысяча триста франков, — повторил он, с трудом вырываясь из объятий дочери. — Тысяча триста франков... А иначе, — добавил он шепотом, словно доверяя величайшую тайну, — иначе Луизу ждет гильотина...

И он снова принялся вращать воображаемый шлифовальный круг.

Луиза закричала:

— Он сошел с ума! Он безумен! И все из-за меня... Я всему причина. О господи, господи, но я не виновата... Я не хотела сделать ничего дурного... Это все он, этот зверь, чудовище!

— Успокойся, бедное дитя, наберись храбрости, — сказал Родольф. — Не будем терять надежды... Может быть, это только временное помешательство. Ваш отец слишком настрадался; столько несчастий, и все одно за другим, этого никто бы не перенес... Разум его затмился, однако будем надеяться, что не надолго.

— Но моя мать, моя бабушка, сестры, братья, что с ними станет? — воскликнула Луиза. — Теперь у них нет ни отца, ни меня... Они умрут от голода, нищеты и отчаяния!

— Вы забыли обо мне... Успокойтесь, у них ни в чем не будет недостатка... И наберитесь храбрости, говорю я вам. Ваше признание поможет

покарать опасного преступника. Вы убедили меня в своей невиновности, и она будет признана всеми, я в этом уверен.

— Ах, сударь, вы видите, сколько зла причиняет этот человек: бесчестие, безумие, смерть... И никто ничего с ним не может поделать! От одной этой мысли мне не хочется жить!

— Пусть другая мысль поможет вам перенести все беды.

— Что вы хотите сказать, сударь?

— Унесите с собой уверенность, что ваш отец, вы сами и все ваши близкие будут отомщены.

— Отомщены?

— Да! Клянусь вам! — торжественно ответил Родольф. — Клянусь вам, когда преступления этого человека будут доказаны, он жестоко поплатится за бесчестие, смерть и безумие, которые сеет вокруг себя. И если даже закон окажется бессильным покарать его, если его хитрость и ловкость столь же непомерны, как его злодеяния, против его хитрости найдется другая хитрость, против его ловкости — другая ловкость, против его злодеяний — еще более страшные, но праведная неотвратимая месть не будет похожа на трусливое и тайное убийство.

— Ах, сударь, да услышит вас бог! Я не думаю об

отмщении за мои страдания, я думаю о безумном отце, о моем ребенке, который ни минуты не прожил...

Луиза сделала последнюю попытку вырвать Мореля из мрака безумия.

— Прощай, отец, прощай! — воскликнула она. — Меня уводят в тюрьму... Я больше тебя не увижу! Твоя Луиза прощается с тобой. Отец, отец мой, отец!

Но он не ответил на эти душераздирающие призывы.

Ничто не пробудилось в его несчастной помраченной голове, ничто...

Струны родительских чувств, которые труднее всего разорвать, даже не дрогнули, не отозвались.

Дверь мансарды открылась. Вошел полицейский комиссар.

— Время истекло, — сказал он Родольфу. — К сожалению, должен вам сказать, что эта беседа не может быть продолжена долее.

— Эта беседа окончена, — с горечью ответил Родольф, показывая на Мореля. — Луизе нечего больше сказать своему отцу, потому что он не слышит свою дочь... Он сошел с ума.

— Господи боже мой! Этого я и боялся! — вос-

кликнул комиссар. — Какой ужас!

Он живо приблизился к ремесленнику и после минутного осмотра убедился в горестной истине.

— Ах, сударь, — печально сказал он Родольфу, — я с самого начала искренне желал, — чтобы невиновность этой юной девушки была признана и доказана! Однако после такого несчастья я не стану ограничиваться одними пожеланиями, нет! Я расскажу об этой семье, такой честной и такой обездоленной, я расскажу о последнем ужасном ударе, который ее поразил, и можете не сомневаться, судьи найдут еще одну причину, чтобы оправдать обвиняемую.

— Хорошо, сударь, — согласился Родольф. — Поступая таким образом, вы не только выполняете свои обязанности, вы исполняете священный долг.

— Поверьте мне, наши обязанности почти всегда тяжелы и печальны, поэтому мы всегда радуемся и бываем счастливы, когда можем оказать помощь добрым и честным людям.

— Еще одно слово, сударь. Признания Луизы Морель убедили меня в ее невиновности. Можете вы мне сказать, как было открыто ее так называемое преступление, вернее, кто об этом донес?

— Сегодня утром, — ответил комиссар, — ко

мне явилась экономка господина Феррана и заявила, что после поспешного бегства Луизы Морель, которая, как она знает, была на седьмом месяце беременности, она поднялась в ее комнату и нашла там следы тайных родов. После недолгих поисков следы на снегу позволили ей обнаружить труп новорожденного младенца, похороненного в саду.

После ее заявления я прибыл на Пешеходную улицу. Господин Ферраи был возмущен, что такой скандал произошел в его доме. Кюре из церкви Благовещения, за которым он послал, тоже подтвердил, что дочь Мореля призналась перед ним в своем грехе и просила своего хозяина проявить к ней жалость и милосердие. Кроме того, он часто слышал, как господин Ферран самым строгим тоном предостерегал Луизу Морель, предсказывая ей, что рано или поздно она себя погубит. «И предсказания его исполнились самым прискорбным образом», — добавил священник. Негодование господина Феррана, — продолжал комиссар, — показалось мне таким справедливым, что я его разделил. Он сказал мне, что Луиза Морель наверняка укрылась у своего отца. Я тотчас направился сюда. Преступление было явным, и у меня имелись все основания для

немедленного ареста.

Родольф с трудом удержался, услышав о негодовании Феррана. Он сказал полицейскому комиссару:

— Благодарю вас, бесконечно благодарю за вашу снисходительность и за то, что вы хотите помочь несчастной Луизе. Я попрошу отвести ее бедного отца в сумасшедший дом, а также мать его жены, такую же помешанную.

Он обратился к Луизе, которая все еще стояла на коленях перед отцом, тщетно пытаясь вернуть его к разуму:

— Дитя мое, вам придется уйти, не повидавшись с матерью. Избавьте ее от тягостного прощания... О судьбе ее не беспокойтесь: отныне ваша семья ни в чем не будет нуждаться, мы найдем женщину, которая позаботится о вашей матери, ваших сестрах и братьях, и ваша добрая соседка, Хохотушка, присмотрит за всем. Что касается вашего отца, то будет сделано все, чтобы он оправился как можно скорее. Мужайтесь и верьте мне: честные люди нередко подвергаются самым жестоким испытаниям, но всегда выходят из них еще более закаленными, еще более сильными и достойными.

Через два часа после ареста Луизы, Давид, по

приказу Родольфа, отвез гранильщика и старую идиотку в Шарантон[93], где им были обеспечены отдельные комнаты и самое внимательное лечение.

Морель покинул свой дом на улице Тампль без всякого сопротивления: он пошел туда, куда его повели, безразличный ко всему; его помешательство было тихим, безобидным и печальным.

А бабушка хотела есть. Ей показали мясо и хлеб, и она пошла за мясом и хлебом.

Драгоценные камни ювелира, оставленные его жене, были в тот же день переданы посреднице, г-же Матье, которая приехала за ними.

К несчастью, за нею неотступно следил Хромуля, узнавший об истинной ценности якобы фальшивых бриллиантов из подслушанного разговора Мореля с судебными приставами. Сын Краснорукого выяснил, что она жила на бульваре Сен-Дени в доме номер одиннадцать.

Хохотушка с большой осторожностью рассказала Мадлен Морель о том, что ее муж помешался, и об аресте Луизы. Сначала Мадлен горько плакала, рыдала, но, когда первый приступ отчаяния и боли прошел, это несчастное, слабое и легко-

[93] Notes: 93

Шарантон — известнейший парижский дом сумасшедших. (Примеч. перев.)

мысленное создание успокоилось, видя, что сама она и ее дети ни в чем не нуждаются благодаря щедрости их благодетеля.

Что касается Родольфа, то его одолевали самые мрачные мысли он думал о признаниях Луизы.

«Такую подлость видишь на каждом шагу, — говорил он себе. — Уговорами или силой хозяин овладевает служанкой; иногда запугивает ее, иногда застает врасплох, но во всех случаях добивается своего благодаря превосходству господина над своей рабыней.

Эта растленность нисходит от богатого к бедному и не щадит даже святости домашнего очага; она отвратительна, когда ее принимают добровольно, но становится ужасной и преступной, когда ее навязывают силой.

Это подлое и грубое порабощение, варварское и бесчестное унижение живого существа, которое в страхе отвечает на посулы своего хозяина слезами, на его похотливые приставания — дрожью ужаса и отвращения.

А что потом ждет несчастную женщину? — продолжал размышлять Родольф. — Почти всегда отчаяние и безразличие ко всему на свете, нищета, проституция, кражи, а иногда и детоубийство!

И какие страшные у нас об этом законы!

Каждый соучастник преступления отвечает за преступление.

Каждый скупщик краденого приравнивается к вору.

Это справедливо.

Но если человек от безделья соблазняет юную, невинную нечистую девушку, делает ее матерью, а потом бросает ее, оставляя ей только позор, нищету и отчаяние, и толкает к детоубийству, за это ей приходится отвечать только своей головой...

Посмотрят ли на этого человека как на ее соучастника?

Смешно! Что он такого сделал? Да это же так, пустячок, любовная шалость с хорошенькой куколкой... Однодневный каприз!.. Сегодня одна, завтра другая...

Мало того, если этот человек обладает оригинальным и лукавым характером и к тому же считается честнейшим из людей, он может пойти в суд, полюбоваться своей жертвой на скамье обвиняемых.

Если его случайно привлекут как свидетеля, он может позабавиться и ответить этим слишком любопытным людишкам, озабоченным только тем, как бы поскорее отправить на гильотину эту

бедную девушку во славу отечества и общественной морали:

«Я хочу сообщить суду нечто очень важное». — «Говорите!» — «Господа присяжные, эта несчастная была добродетельна и чиста, это святая правда... я ее соблазнил, и это тоже правда... Я стал отцом ее ребенка, не отрицаю...

Но поскольку она блондинка, я ее бросил ради другой, брюнетки, и это опять-таки истинная правда.

Но при этом я пользовался своим неотъемлемым правом выбора, священным правом, которое признано обществом и законом». — «В самом деле, этот молодой человек совершенно прав, — скажут друг другу присяжные шепотком. — Нет такого закона, чтобы судить его, если он сделал младенца блондинке, а потом увлекся молоденькой брюнеткой. Он просто шалопай!»

«А теперь, господа присяжные, эта несчастная уверяет, будто убила своего ребенка, я бы даже сказал, нашего ребенка, потому что я ее бросил...

Потому что она осталась одна, в безысходной нищете, испугалась и потеряла голову. Но почему? Потому что если бы ей пришлось сохранить своего ребенка, — объяснит вам она, — если бы ей пришлось ухаживать за ним, она бы не смогла

вернуться в свою мастерскую и заработать на жизнь себе и младенцу, плоду нашей любви.

Но я полагаю, что ее оправдания ничего не стоят, разрешите вам это сказать, господа присяжные!

Разве мадемуазель не могла пойти рожать в приют Ля Бурб... если там было место?

Разве мадемуазель не могла в самый критический момент явиться к комиссару полиции своего квартала и признаться ему в своем, скажем, позоре, чтобы получить разрешение отнести своего младенца в Дом подкидышей?

И наконец, разве мадемуазель не могла найти какой-нибудь другой, не столь варварский способ избавиться от плода наших заблуждений и наслаждений, пока я покуривал в кофейной, поджидая свою новую любовницу?

Признаюсь вам, господа присяжные, я нахожу ее способ слишком диким и слишком удобным для нее. Она хотела только избавиться от всяких забот на будущее!

Подумайте, господа присяжные! Эта девушка должна была не только терпеть позор и унижение, вынашивая девять месяцев незаконного ребенка. Ей бы пришлось еще его выкармливать и растить! Заботиться о нем, воспитывать

его, чтобы он стал таким же честным молодым человеком, как его отец, или такой же честной девушкой, не похожей на свою развратную мать... Ибо материнство — священный долг, черт побери! И негодяйки, которые им пренебрегают, которые топчут ногами священные материнские обязанности, не матери, а изуверки, и они достойны самого сурового, примерного наказания!

Поэтому, господа присяжные заседатели, прошу вас: поскорее отдайте эту мерзавку палачу. Этим вы совершите акт, достойный неподкупных и добродетельных, твердых и просвещенных граждан. Dixi»[94].

Этот господин рассматривает данное дело с точки зрения высокой морали, — добродушно скажет какой-нибудь разбогатевший шляпник или старый ростовщик из числа присяжных. — Он сделал то, что и мы бы с вами сделали на его месте, черт побери! Посмотрите, какая она хорошенькая, эта блондиночка, хотя и бледненькая... Этот молодец, как говорится, «кружит головы блондинкам и брюнеткам». Ну и что? Закон не запрещает. А что до этой несчастной, то в конечном счете она сама во всем виновата. Почему она

---

[94] Notes: 94

«Я сказал» (лат.) завершающее слово в конце обвинения или речи.

ему не сопротивлялась? Не пришлось бы тогда совершать такого преступления, ужасного преступления, постыдного, позорного для всех, для всего нашего общества». И этот разбогатевший шляпник или старый ростовщик будут правы, абсолютно правы.

В чем можно упрекнуть ловкого соблазнителя? Разве он был прямым или косвенным участником преступления, разве он несет за него моральную или материальную ответственность? Ведь он ничего не сделал! Счастливый пройдоха только совратил красивую девушку, а потом ее бросил, в чем сам признался. Ну и что? Есть такой закон, который это запрещает?

И все наше общество в таких случаях уподобляется папаше из какой-то полупохабной сказочки, который кричит:

«Берегите ваших кур, соседи! Мой петух вылетел из курятника! Я умываю руки...»

Но если какой-нибудь бедолага, из нужды или по глупости, не зная законов, которые не может прочитать, в простоте душевной купит краденую тряпку, он получит двадцать лет каторги как скупщик краденого, точно так же, как вор, — двадцать лет каторги.

И в этом есть железная логика.

Без скупщиков краденого не было бы и воров.

Без воров не было бы скупщиков краденого.

Нет, хватит шалости! Поменьше милосердия! Не разбирая, кто стал жертвой и кто был палачом!

Пусть даже самая малая причастность к преступлению будет наказана самой страшной карой!

Подумаем... В этой суровой и благодатной мысли есть высокая мораль.

Преклонимся перед обществом, которое провозгласило такие законы... Однако вспомним, что это общество, неумолимое по отношению к соучастию в малейших преступлениях против собственности, устроено таким образом, что если наивный и неискушенный человек попытается доказать, что бесчестный соблазнитель пусть не материально, но хотя бы морально отвечает за позор покинутой им девушки, его просто поднимут на смех.

А если этот простак попробует возразить, что без отца... не было бы и младенца, то же самое общество завопит, что он зверь, негодяй и сумасшедший.

И будет право, опять же право, ибо в конечном счете этот господинчик, который мог бы нагово-

рить присяжным такие красивые слова, сможет потом преспокойно пойти полюбоваться, как его любовнице отрубят голову за страшное преступление — детоубийство, преступление, в котором он был сообщником, а лучше скажем: главным преступником, потому что безжалостно бросил несчастную мать.

Эта очаровательная снисходительность нашего общества к его мужской половине, к легкомысленным шалостям наших мужчин под защитой маленького божка Амура, разве не доказывают, что настоящие французы преклоняются перед грациями и по-прежнему остаются самыми галантными мужчинами в мире?

Глава XIII.
ЖАК ФЕРРАН

В то время, когда происходили эти события, в конце Пешеходной улицы стояла длинная растрескавшаяся стена, по гребню которой в известку были вставлены осколки бутылок. Эта стена ограждала сад нотариуса Жака Феррана и примыкала к главному зданию, выходившему на улицу. В нем было всего два этажа и чердак.

Две большие таблички из позолоченной меди с именем нотариуса были прибиты к створкам входной двери, такой старой и ветхой, что первоначальный цвет ее уже невозможно было различить под слоем грязи.

За дверью был крытый переход; справа — каморка наполовину глухого швейцара, который принадлежал к цеху портных примерно так же, как Пипле — к цеху сапожников, слева — бывшая конюшня, служившая ему кладовкой, прачечной, дровяником и крольчатником; недавно овдовевший швейцар с горя начал разводить в колодце, где когда-то лошади хрупали овес, этих милых домашних зверьков.

Рядом с его каморкой открывался вход на узкую извилистую и темную лестницу, которая вела к конторе, как подсказывала клиентам намалеванная черной краской рука, указательный палец которой утыкался в написанные на стене такой же черной краской слова: «Контора на втором этаже».

По одну сторону широкого мощеного двора, заросшего травой, стояли заброшенные службы, по другую — ограда из ржавых железных прутьев отделяла сад, в глубине которого, во флигеле, жил сам нотариус.

Пологая лестница из восьми-десяти истертых каменных плит, расшатанных, поросших мхом и позеленевших от времени, вела к этому квадратному флигелю, состоявшему из кухни и других подвальных помещений, первого и второго этажа и мансарды, где жила Луиза.

Этот флигель выглядел таким же запущенным, как все остальное, на стенах были глубокие трещины, рамы и ставни, когда-то выкрашенные в серый цвет, с годами сделались почти черными; шесть решетчатых окон второго этажа, выходивших на двор, были без занавесок. Какая-то жирная тусклая ржавчина покрывала стекла; лишь на первом этаже сквозь более прозрачные

окна можно было разглядеть бумажные желтые занавески с красными розетками.

Четыре окна выходили в сад, но два из них были замурованы.

Этот сад, захваченный сорняками, казался совсем заброшенным. В нем не было ни цветочных грядок, ни клумб, — только дикая поросль и несколько больших кустов акации и бузины, газон, покрытый мхом, выгоревший от солнца, тропинки, заросшие терном; где-то в глубине — наполовину вросшая в землю теплица; а вокруг — высокие серые стены соседних домов с редкими отдушинами, зарешеченными, как тюремные окна. Так печально выглядели сад и жилище нотариуса.

Однако Жак Ферран придавал этой видимости, вернее реальности, большое значение.

Обычно простакам такое небрежение в сочетании с достатком кажется безразличием ко всему мирскому, и даже грязь они объясняют скромностью и воздержанием.

Сравнивая кричащую роскошь некоторых нотариусов или сказочные наряды их жен с печальным, старым домом Жака Феррана, презирающего всякие модные причуды, элегантность и показное богатство, люди невольно проникались

уважением или даже слепым доверием к этому человеку, который мог сказать, несмотря на свою многочисленную клиентуру и немалые доходы, — слухом земля полнится! — мог бы громко сказать, как большинство его собратьев: «Мой выезд (так это говорится), мой раут, моя ложа в Опере», и так далее и тому подобное, но вместо этого жил в скромности и скучно. А потому всякие вклады, векселя, нотариальные поручения и прочие денежные операции, требующие безупречной честности и доверия, сыпались на Жака Феррана как манна небесная.

Он жил, довольствуясь малым, и это было в его вкусе... Нотариус презирал большой свет, празднества, дорогие удовольствия. Если бы это было не так, он без колебаний отказался бы от своих дорогих сердцу привычек и зажил бы вовсю, как ему и полагалось.

Скажем несколько слов о характере этого человека.

Он принадлежит к великой семье скупцов.

Их всегда выставляют в смешном свете, осмеивают, издеваются над ними, и почти всегда скупец предстает перед нами всего лишь эгоистом, в крайнем случае — злым эгоистом.

Большинство из них скаредно копит свои богат-

ства, меньшинство решается одалживать деньги за тридцать процентов, и лишь очень немногие, самые смелые, рискуют нырять в бездну биржевых спекуляций... Но чтобы скряга, скупец ради новой прибыли пошел на преступление, на убийство? Такого еще не слыхивали.

Это само собой разумеется.

Скупость по природе своей — страсть отрицательная, пассивная.

Скупец, придумывая свои бесконечные комбинации, мечтает о том, как бы ему разбогатеть, ничего не потратив, и скорее сужает вокруг себя границы самого необходимого, нежели стремится нажиться за счет других. Можно сказать, что он мученик, жертва своей скупости.

Слабый, трусливый, хитрый, недоверчивый, а главное осторожный и осмотрительный, никогда не впадающий в гнев, безразличный к чужим несчастьям, скупец не причинит этих несчастий сам. Он прежде всего и главным образом человек положительный, верящий в незыблемость вещей, а можно сказать по-другому: он скупец потому, что верит только факту, реальности, а реальность для него — только золото в его сундуке.

Всякие спекуляции, одалживание денег даже под самый верный залог его не очень-то соблазня-

ют; даже малейший риск потерять хоть немного пугает его, и он предпочитает хранить свой капитал, а не наживаться на процентах.

Такой боязливый, положительный человек, предпочитающий высматривать и выжидать, вряд ли станет преступником, готовым идти на каторгу или рискнуть головой ради больших денег.

«Рисковать» — это слово вычеркнуто из словаря скупца.

Именно в этом смысле Жак Ферран был редким исключением и, скажем прямо, новой и любопытной разновидностью скупцов.

Потому что Жак Ферран рисковал, и очень многим.

Он рассчитывал на свою хитрость, поистине беспредельную; на свое лицемерие, не знающее границ; на свой ум, изворотливый, гибкий, изобретательный; на свою дьявольскую дерзость, которая позволила ему безнаказанно совершить уже немало преступлений.

Жак Ферран был исключением не только в этом.

Обыкновенно такие люди, отчаянные авантюристы, которые не останавливаются ни перед каким злодейством ради золота, подвержены

низким страстям, привычке к роскоши, азартным играм, обжорству и пьянству, разврату.

Жак Ферран был избавлен от всех этих шумных беспорядочных страстей. Замкнутый и терпеливый, как фальшивомонетчик, жестокий и решительный, как наемный убийца, он был внешне скромен и пристоен, как Гарпагон.

Единственное чувство, вернее страсть, но постыдная, низменная, звериная в своей жестокости, часто доводила его почти до безумия.

Это была похоть.

Похоть хищника, волка или тигра.

Когда ее жгучая отрава проникала в кровь этого коренастого здоровяка, жар бросался ему в голову, он весь пылал и плотские вожделения затмевали его разум. И тогда, забывая порой о всякой хитрости и осторожности, он превращался, как мы 'говорили, в тигра или волка, о чем и свидетельствует его покушение на Луизу.

Обманувшее всех бесстыдное лицемерие, с которым он отрицал свое преступление, было, так сказать, гораздо больше в его стиле, чем открытое насилие.

Вожделение, грубая похоть, звериная страсть, которая не считается ни с чем, — так разгоралась любовь этого человека.

Мы говорим об этом, чтобы показать на примере Луизы, что милосердие, доброта и щедрость были ему совершенно неизвестны. Ферран одолжил тысячу триста франков Морелю за большие проценты: для него это было выгодное дельце и одновременно ловушка, способ устрашить Луизу. Он был уверен в честности гранильщика, знал, что рано или поздно получит свои деньги, и все же красота Луизы произвела на него такое большое впечатление, что он готов был отказаться от столь немалых денег, одолженных на таких выгодных условиях.

Не считая этой его слабости, Жак Ферран по-настоящему любил только деньги, золото. Он любил деньги ради денег.

Вовсе не за те радости, которые они ему приносили.

Он был аскетом.

Вовсе не за те радости, которые могло бы ему дать богатство; у него не хватало фантазии, чтобы вообразить себе, как это делают некоторые скупердяи, какой-то несуществующий рай. А что касается собственного кошелька, то он любил его за то, что он его собственный. А что до вкладов его клиентов, особенно очень больших вкладов, которые ему доверяли, полагаясь на его безупреч-

ную честность, он испытывал, возвращая их, такую же боль, такое же страшное отчаяние, какие испытывал ювелир Кардильяк, когда отдавал заказчику драгоценность, превращенную благодаря его изысканному вкусу в шедевр искусства.

Для нотариуса таким шедевром была его безупречная репутация... И поэтому вклады, с которыми ему приходилось расставаться, вызывали у него боль и ярость.

Сколько забот, хитрости и ловкости, сколько искусства, в конечном счете, употреблял он, чтобы заполучить эти деньги в свой сундук и превратить эти сверкающие доказательства своей безупречности в драгоценные свидетельства доверия к нему, как жемчужины и бриллианты, оправленные Кардильяком!

Говорят, знаменитый ювелир с возрастом смотрел на свои изделия все ревнивее и считал каждое своим последним шедевром и никак не мог с ним расстаться.

Так и Жак Ферран, чем больше он совершенствовался в своем преступном искусстве, тем больше придавал значения особым их личным приметам: они должны были быть «уникальными и потрясающими». И каждую свою новую подлость он считал шедевром.

Мы увидим дальше, какими поистине дьявольскими способами, с какой ловкостью и хитростью ему удалось безнаказанно присвоить огромные суммы денег.

Его вторая, тайная жизнь доставляла ему такие же волнения и радости, как азартному картежнику игра.

Против кошелька его невинных жертв Жак Ферран ставил свою голову, лицемерие, хитрость, дерзость... И всегда играл, как говорится, наверняка. Потому что, если не считать человеческого правосудия, о котором он довольно вульгарно и зло говорил: «Печная труба на голову не свалится», — он ничего не боялся. Для него проиграть означало только не выиграть. И к тому же он был таким ловким, талантливым преступником, что с горькой иронией считал себя неуязвимым, насмехаясь над бесконечной доверчивостью не только своих богатых клиентов, но также мелких буржуа и рабочих своего квартала.

Многие из них помещали у него свои сбережения и говорили: «Милости от него не жди, это правда. Он святоша, но это уж его беда. Но он надежнее, чем все правительственные банки и сберегательные кассы».

И несмотря на всю свою исключительную лов-

кость, этот человек совершил ошибку, которой не могут почти никогда избежать даже самые хитрые преступники.

Правда, его вынудили к этому обстоятельства, и он связался с двумя сообщниками. Эта грубейшая ошибка, как и сам он признавал, частично была исправлена: ни один из двух сообщников не мог его предать, не выдав при этом себя, и оба не могли извлечь из такого предательства ничего, кроме праведного гнева общества и суда над ними самими и над нотариусом.

Значит, в этом отношении он мог быть спокоен.

А в остальном, замышляя новые преступления, он рассчитывал, что помощь этих неудобных сообщников скоро вполне окупится.

Еще несколько слов о внешнем облике Жака Феррана, и мы проследуем в его контору, где найдем главных героев нашего рассказа.

Феррану было пятьдесят лет, но выглядел он всего на сорок. Среднего роста, чуть сгорбленный, широкоплечий, коренастый, мускулистый, рыжий и весь заросший, как медведь.

Он приглаживал волосы на висках, лоб его был с залысинами, брови едва различимы, цвет лица желчный, серо-зеленый, но и это трудно было

различить из-за бесчисленных рыжих веснушек. Но когда он сильно волновался, эта рыжая землистая маска наливалась кровью и становилась почти фиолетовой.

Лицо у него было плоское; как говорят в простонародье — мертвая голова. Нос вздернутый и на конце приплюснутый, губы такие тонкие и незаметные, что рот казался щелью, а когда он зловеще и зло улыбался, виднелись края его гнилых зубов почти черного цвета. Всегда чопорный, важный, он хранил одновременно суровое и блаженное выражение лица, невозмутимое и строгое, холодное и задумчивое. Его маленькие черные глазки, живые и пронзительные, прятались за большими зелеными очками.

У Жака Феррана было отличное зрение, но, прячась за этими очками, он приобретал огромное преимущество! Он все видел, а его не видели. А зачастую как много может сказать случайный и невольный взгляд! Несмотря на всю свою беспредельную дерзость, ему пришлось раза два-три в жизни встретиться с пронизывающими, магическими взглядами людей, которые были сильнее его, и он вынужден был перед ними опускать глаза. Не надо! Ни при каких обстоятельствах он больше не будет опускать глаз перед чело-

веком, который расспрашивает, обвиняет или осуждает.

Большие очки господина Феррана были, таким образом, своего рода амбразурами, из которых он внимательно следил за всякими маневрами своего врага... ибо все на свете были врагами нотариуса, все на свете были простаками или глупцами, а те, кто сможет его обвинить, — такие же дураки, только более или менее просвещенные и взбунтовавшиеся.

Одевался Жак Ферран скромно, даже очень, все на нем было грязноватое или какое-то поношенное. Его лицо со щетиной, — он брился раз в два-три дня, — его грязные и корявые руки, плоские ногти с черными ободками, запах как от старого козла, заплатанные сюртуки, засаленные шляпы, перекрученные галстуки, черные шерстяные носки и грубые ботинки внушали особое уважение глупым клиентам, которые видели во всем этом пренебрежение к мирским благам и философскую отрешенность, которая их покоряла.

«Каким своим вкусам, каким пристрастиям и слабостям принес бы нотариус в жертву это бесконечное доверие к нему? — говорили люди. — Да никаким! Он зарабатывал, наверное, шесть-

десят тысяч франков в год, а жил в своем ветхом доме с одной служанкой и старой экономкой. Единственное его удовольствие — ходить к мессе по воскресеньям и на торжественные службы по праздникам. Никакая опера не заменит ему величавый голос органа. Никакое общество — мирной беседы с кюре и скромного ужина с ним у затопленного камина. Вся его радость была в безупречности, его гордость в честности, его блаженство — в светлой вере».

Таково было мнение окружающих о Жаке Ферране, этом редкостном и великом, добродетельнейшем из людей.

Глава XIV.
КОНТОРА

Контора г-на Феррана походила на все конторы, клерки — на всех клерков. В контору проходили через прихожую, где стояли четыре старых стула. В самой конторе, обставленной со всех сторон этажерками с папками, где содержались дела всевозможных клиентов г-на Феррана, сидели пять молодых людей, склоняясь над столиками черного дерева, то хохоча, то болтая между собой; то старательно что-то записывая.

Приемная, также обставленная полками с разными бумагами в папках, всецело принадлежала господину главному клерку. За нею была совершенно пустая комната, которая для большей секретности отделяла приемную от кабинета нотариуса. Таково было расположение всей этой юридической кухни, где стряпались всевозможные завещания, договоры, акты и прочие документы.

На старых часах, стоявших между двумя окнами конторы, кукушка прокуковала два раза. Среди клерков чувствовались нервозность и бес-

покойство. Обрывки разговоров позволят понять причину их волнения.

— Если бы кто-нибудь посмел сказать мне, что Франсуа Жермен — вор, — горячился один из молодых людей, — я бы ответил: вы лжете!

— И я тоже!

— И я...

— Меня так потрясло, когда я увидел, как полицейские схватили его и увели, что я за столом не проглотил и куска... Впрочем, оно и к лучшему, это спасло меня от ужасной похлебки, которой нас потчует каждый день мамаша Серафен.

— Семнадцать тысяч франков — немалая сумма!

— Еще бы!

— И подумать только, почти полтора года Жермен прослужил кассиром, и за все это время из кассы не пропало ни одного сантима!

— Я считаю, наш патрон был неправ, когда потребовал арестовать Жермена. Ведь бедняга клялся всеми богами, что взял всего тысячу триста франков в золотых монетах. И к тому же сегодня утром принес эти деньги, чтобы вернуть их в кассу, но патрон все равно послал за полицией.

— Да, нелегко иметь дело с такими безупреч-

ными людьми: они безжалостны к нашим слабостям.

— И все равно, он обязан был дважды подумать, прежде чем губить молодого человека, который до сих пор вел себя безупречно.

— Ферран сказал: «Пусть это послужит примером!»

— Примером кому? Честным он не нужен, а бесчестные и так знают, что, сколько ни воруй, когда-нибудь да попадешься.

— Но, похоже, этот дом весьма заинтересовал комиссара полиции...

— Как это?

— Да ты что, не знаешь, черт побери? Утром эта несчастная Луиза, а потом — Жермен...

— С Жерменом тут что-то непонятное...

— Но ведь он признался!

— Да, признался, что взял тысячу триста франков, но клянется, что не брал пятнадцати тысяч франков в ассигнациях и семисот франков золотом, которых недосчитали в кассе.

— В самом деле, зачем признаваться в одном и отрицать другое?

— Да, ты прав, за тысячу пятьсот франков дают столько же, как за пятнадцать тысяч.

— С той лишь разницей, что хитрец себе ду-

мает: когда я выйду из тюрьмы, эти пятнадцать тысяч франков помогут мне очень прилично устроиться.

— Да, не глупо!

— Но что ни говорите, за этим что-то кроется.

— И подумать только: Жермен всегда защищал патрона, когда мы называли его иезуитом!

— Да, это правда. «Почему наш патрон не имеет права ходить к мессе? — говорил он. — Ведь вы имеете право не появляться в церкви!..»

— Смотри-ка, Шаламель возвращается, вот кто сейчас удивится!

— Чему это, друзья? Что еще стряслось? Есть какие-нибудь новости о несчастной Луизе?

— Ты бы уже знал об этом, лентяй, если бы не ходил по поручениям столько времени!

— Послушайте, может, вы думаете, что отсюда до дворца Шайо один куриный шаг!

— Ну ловкач! Ну хитрюга!

— Так что с этим знаменитым виконтом де Сен-Реми?

— Разве он еще не приходил?

— Нет.

— Удивительно! Карета была готова, и он передал через слугу, что тотчас приедет. Правда, сказал слуга, он, кажется, чем-то недоволен... Ах,

друзья, если бы видели его прелестный маленький дом! Какая роскошь! Можно сказать, один из тех дворянских особняков, о которых сказано в Фобласе... О, этот Фоблас! Он мой герой, он мне служит примером, — продолжал Шаламель, ставя в угол свой зонтик и стаскивая калоши.

— Наверное, у него долги, за которые могут арестовать. У этого виконта?

— Вексель на тридцать четыре тысячи франков; судебный пристав передал его сюда, потому что кредитор предпочел, чтобы он был оплачен у нас в конторе. А почему — этого я не знаю.

— Лучше ему сразу все оплатить, этому красавцу виконту, потому что он и так просрочил три дня, прятался от судебных приставов в деревне и вернулся только вчера вечером.

— Но почему до сих пор не описали его дом?

— Не так уж он глуп. Дом не принадлежит ему, обстановка — его камердинера, который якобы от чьего-то имени сдает его виконту внаем со всей мебелью; точно так же лошади и кареты записаны на его кучера, и тот утверждает, будто сдает виконту напрокат эти великолепные выезды за столько-то в месяц. Хитер этот Сен-Реми. Но о чем это вы тут говорили? Что еще случилось?

— Представь себе, часа два назад влетает наш

патрон вне себя от ярости. «Где Жермен?» — кричит он. «Не знаем, сударь». — «Так вот, он вчера украл семнадцать тысяч франков!»

— Жермен? Украл? Да полно вам.

— Лучше послушай!..

— «Как, сударь, вы уверены? Это невозможно», — говорим мы ему наперебой.

— А я говорю: вчера я оставил в ящике кассы пятнадцать ассигнаций по тысяче франков и еще две тысячи франков золотом в маленькой шкатулке, и все похищено». В этот момент вбегает папаша Марритон, швейцар, и кричит: «Хозяин, полицейские сейчас придут!»

— А что Жермен?

— Подожди немного. Патрон говорит швейцару: «Когда появится господин Жермен, пошли его сюда, в контору, но ничего не говори...» Так приказал патрон. «Я хочу уличить его перед вами всеми, господа...» Примерно через четверть часа приходит бедняга Жермен как ни в чем не бывало; мамаша Серафен только что принесла нам свою похлебку; он спокойно здоровается с патроном и со всеми. «Жермен, вы хотите с нами позавтракать?» — спрашивает Ферран. «Нет, сударь, я не голоден». — «Вы сегодня опоздали». — «Да, сударь, мне пришлось сегодня утром от-

правиться в Бельвиль». — «Наверняка, чтобы спрятать деньги, которые вы у меня украли!» — закричал господин Ферран страшным голосом.

— И что Жермен?

— Несчастный побледнел как смерть и тут же забормотал: «Сударь, умоляю, не губите меня...»

— Он в самом деле украл?

— Да подождите вы, Шаламель! «Не губите меня», — говорит он патрону. «Значит, ты признаешься, негодяй?» — «Да, сударь... Но вот деньги, которых недостает. Я надеялся вернуть их рано утром, пока вы не встали, но, к несчастью, той дамы, которая была мне должна эту маленькую сумму, не оказалось вчера дома; она уже два дня находилась в Бельвиле, и мне пришлось отправиться туда с утра. И этим и объясняется мое опоздание... Сжальтесь, сударь, не погубите меня! Когда я брал эти деньги, я знал, что смогу вернуть их утром. Вот тысяча триста франков золотом». — «Какие тысяча триста? — закричал Ферран. — При чем здесь тысяча триста франков? Вы украли у меня из ящика стола на втором этаже пятнадцать ассигнаций по тысяче франков в зеленой папке и еще две тысячи франков золотом!» — «Я? Да ничего подобного! — воскликнул ошеломленный Жермен. — Я взял у вас тысячу

триста франков золотом... и ни сантима больше. Никакой зеленой папки я не видел, там было только две тысячи франков золотом в шкатулке». — «О, какая гнусная ложь! — закричал патрон. — Вы украли тысячу триста франков, значит, могли украсть и больше. Суд решит... О, я буду беспощаден!.. Так злоупотреблять моим доверием!.. Пусть это будет уроком для всех». И тогда, мой бедный Шаламель, явились полицейские с секретарем полиции, чтобы составить протокол, и нашего Жермена схватили и увели. Вот так-то!

— Неужели это возможно? Жермен честнейший из честных!

— Нам это тоже показалось очень странным.

— Надо, впрочем, сказать, что Жермен был со странностями: он никому не говорил, где он живет.

— Да, это правда.

— У него всегда был такой таинственный вид...

— Но это не причина, чтобы он вдруг взял и украл семнадцать тысяч франков.

— Это конечно.

— Я об этом и говорю.

— Действительно, хорошенькая новость... Прямо как дубиной по голове... Жермен... Жермен такой с виду честный! Да ему бы любой доверился

как на исповеди!

— Похоже, он предчувствовал, что его поджидает беда...

— Почему ты так думаешь?

— Последнее время что-то его грызло, беспокоило...

— Может быть, это из-за Луизы?

— Из-за Луизы?

— Я только повторяю слова мамаши Серафен. Она говорила утром...

— Что она говорила? О чем?

— О том, будто он любовник Луизы... и отец ее ребенка.

— Подумать только! Вот лицемер!

— Неужто правда? Вот это да!

— Да не верю!

— Не может этого быть!

— Откуда ты это знаешь, Шаламель?

— Недели две назад Жермен по секрету признался мне, что безумно влюблен, просто сходит с ума от одной маленькой портнишки. Он, познакомился с ней в доме, где недавно жил. Когда он говорил о ней, на глазах у него были слезы.

— Браво, Шаламель! Ура, Шаламель! Да из какой старой оперы ты явился?

— И еще говорил, что его герой — Фоблас! А сам,

как малый ребенок, как невинная девица, как простак акционер, не понимает, что можно любить одну и быть любовником другой! Потеха!

— А я вас уверяю, что Жермен говорил вполне серьезно...

В этот момент в контору вошел старший клерк.

— Вы уже здесь, Шаламель? — спросил он. — Исполнили все поручения?

— Да, господин Дюбуа. Я был у виконта Сен-Реми, он сейчас должен приехать и все заплатить.

— А у графини Мак-Грегор?

— Да, вот ее ответ.

— А у графини д'Орбиньи?

— Она благодарит патрона, она только вчера утром приехала из Нормандии и не ждала так скоро нашего ответа: вот ее письмо. Я также посетил управляющего маркиза д'Арвиля, как он меня просил, чтобы оплатить расходы за договор, который я недавно составил у него дома.

— Вы сказали, что это не спешно?

— Сказал, но тем не менее управляющий пожелал рассчитаться немедля. Вот деньги. Ах, чуть не забыл, там внизу была визитная карточка у швейцара с надписью карандашом, — ну конечно, на карточке, а не на швейцаре, ха-ха! Какой-то

господин спрашивал патрона и оставил ее.

— «Вальтер Мэрф», — прочитал старший клерк, и ниже — карандашную строчку: — «Вернусь через три часа по делу чрезвычайной важности». Я не знаю этого имени, — пробормотал старший клерк.

— Да, еще забыл! — воскликнул Шаламель. — Бадино сказал, что согласен, что господин Ферран может поступать по своему усмотрению, и он уверен, что все будет хорошо.

— Он не дал письменного ответа?

— Нет, он сказал, что очень торопится.

— Прекрасно.

— Днем зайдет Шарль Робер поговорить с патроном, кажется вчера он дрался на дуэли с герцогом де Люсене.

— Он ранен?

— Не думаю, мне об этом сказали бы слуги.

— Смотрите-ка! Подъехала карета.

— Ох, какие прекрасные кони! Так и рвутся из постромок! А этот толстый кучер-англичанин в белом парике, в коричневой ливрее с серебряными галунами и эполетами — ну просто настоящий полковник!

— Или какой-нибудь посол.

— А посмотрите на лакея на запятках! Сколько

на нем серебряного шитья!

— И какие усищи!

— Да ведь это ж карета виконта де Сен-Реми, — сказал Шаламель.

— Значит, это его стиль? Ну, спасибо.

Через минуту виконт це Сен-Реми уже входил в контору.

Глава XV.
ВИКОНТ ДЕ СЕН-РЕМИ

Мы уже описали прекрасное лицо, изысканную элегантность и обворожительные манеры виконта де Сен-Реми, приехавшего накануне с фермы д'Арнувиль, собственности герцогини де Люсене, где он скрывался от судебных приставов Маликорна и Бурдена. Господин де Сен-Реми быстро вошел в контору, не снимая шляпы, с гордым и дерзким видом, полуприкрыв глаза и ни на кого не глядя; он надменно спросил:

— Нотариус у себя?

— Господин Ферран работает в своем кабинете. Если вы соблаговолите немного подождать, он примет вас.

— То есть как это — подождать?

— Но послушайте, сударь...

— Не может быть никаких «но»! Ступайте и скажите, что приехал виконт де Сен-Реми. Я вообще не понимаю, как этот нотариус может держать меня в этой прихожей... здесь печка дымит, угореть можно...

— Соблаговолите пройти с соседнюю комнату,

— сказал старший клерк. — Я тотчас доложу о вас господину Феррану.

Сен-Реми пожал плечами и последовал за старшим клерком.

Через четверть часа, которые показались ему бесконечными и превратили досаду в ярость, его допустили в кабинет нотариуса.

Прелюбопытнейший был контраст между этими двумя людьми, каждый из которых был опытным физиономистом и обычно безошибочно судил с первого взгляда, с кем он имеет дело.

Виконт де Сен-Реми видел Жака Феррана впервые. Он был поражен видом этого бескровного лица, сурового, невозмутимого, его огромными зелеными очками, за которыми прятались глаза, его лысым черепом под низко надвинутым старым колпаком черного шелка.

Нотариус сидел за своим столом в кожаном кресле; сзади, в обветшалом камине, полном золы, едва дымились две черные головешки. Ободранные шторы зеленого перкалина, прикрепленные к маленьким железным угольникам над окнами, закрывали стекла, пропуская в темный кабинет зловещий и мрачный зеленоватый полумрак. Полки черного дерева с помеченными шифрами папками, несколько стульев виш-

невого дерева с сиденьями, крытыми желтым утрехтским бархатом, большие часы красного дерева, пожелтевшие, влажные и холодные плитки пола, растрескавшийся потолок, затянутый паутиной, — таково было логово, святая святых Жака Феррана.

Виконт не сделал и двух шагов в этом кабинете, не произнес ни слова, а нотариус его уже возненавидел, хотя и знал о нем только понаслышке. Прежде всего он увидел в нем, так сказать, соперника в подлости, а поскольку сам Ферран страдал от своей гнусной и низменной внешности, он ненавидел у других изящество, красоту и молодость, особенно когда эти невыносимые преимущества сочетались с дерзостью.

Нотариус обычно разговаривал со своими клиентами сурово и резко, почти грубо, и производил на них желаемое впечатление: они еще больше уважали его за мужицкие манеры. И он пообещал себе быть особенно грубым с виконтом.

А тот, тоже зная о Жаке Ферране только по слухам, ожидал увидеть перед собой эдакого писаря-замарашку, добродушного и чудаковатого. Виконт всегда представлял себе почти идиотами таких исключительно честных людей, образцом которых был, по слухам, Жак Ферран. Но,

столкнувшись лицом к лицу с этим писарем-простаком, виконт испытал невыразимое чувство — наполовину страх, наполовину ненависть, хотя у него не было особых причин бояться его или ненавидеть. Поэтому, по своему решительному характеру, виконт де Сен-Реми повел себя еще более дерзко и вызывающе, чем обычно.

Нотариус сидел в своем колпаке, виконт не снял шляпу и с порога закричал гневно и возмущенно:

— Что это такое, черт побери! Очень странно, сударь, что вы заставляете меня приходить сюда, вместо того чтобы послать ко мне за деньгами, которые я должен по векселям этому Бадино и за которые этот субъект преследует меня по судам... Но мне, правда, сказали, что вы имеете мне сообщить нечто важное... Пусть будет так, однако вы могли бы не заставлять меня ждать целых четверть часа в вашей прихожей. Это не очень-то вежливо, сударь!

Ферран невозмутимо закончил свои подсчеты, неторопливо вытер перо о влажную губку, на которой стояла выщербленная фаянсовая чернильница, и обратил к своей жертве землистое, сизое, курносое лицо, наполовину скрытое очками.

Оно было похоже на череп, в котором пустые орбиты заменили огромные мертвые глаза, мутные и зеленые.

С минуту он молча смотрел на виконта, затем грубо и резко спросил;

— Где деньги?

Такое хладнокровие вывело де Сен-Реми из себя. Он, виконт, кумир всех дам, образец для всех мужчин, желанный гость в лучших салонах Парижа, прославленный дуэлист, которого все боялись, — и такое пренебрежение со стороны какого-то жалкого нотариуса! Это было постыдно, отвратительно. И хотя он находился один на один с Жаком Ферраном, его тщеславие и гордость были уязвлены.

— Где векселя? — спросил он так же резко.

Нотариус молча постучал одним пальцем, поросшим рыжей шерстью, по кожаной папке у себя на столе.

Решив не говорить ни одного лишнего слова, но внутренне дрожа от гнева, виконт вынул из кармана своего редингота маленький кошелек русской кожи с золотыми застежками, извлек из него сорок ассигнаций по тысяче франков и показал их нотариусу.

— Сколько? — спросил тот.

— Сорок тысяч франков.

— Давайте сюда.

— Возьмите, и покончим с этим побыстрее, сударь. Делайте, что вам положено, берите деньги и верните мне мои векселя, — сказал виконт, нетерпеливо бросив пачку ассигнаций на стол.

Нотариус взял их, поднялся, осмотрел их одну за другой у окна, поворачивая и переворачивая с таким тщанием и такой осмотрительной внимательностью, что виконт де Сен-Реми бледнел от ярости.

Нотариус, словно догадываясь о его чувствах, покачал головой, повернулся к нему и произнес невыразительным тоном:

— Да, мы и такое видали...

Смешавшись на миг, де Сен-Реми сухо спросил:
— О чем вы говорите?

— О фальшивых банкнотах, — ответил нотариус, продолжая внимательно рассматривать ассигнации.

— Почему вы говорите об этом со мной, сударь?

Жак Ферран прервал на миг свое занятие, пристально посмотрел на виконта сквозь свои зеленые очки, затем чуть пожал плечами и продолжал изучать ассигнации, не говоря ни слова.

— Черт меня побери! — вскричал де Сен-Реми, разъяренный спокойствием нотариуса. — Когда я спрашиваю, я привык, чтобы мне отвечали!

— Ну эти-то вот настоящие, — проговорил нотариус, возвращаясь к столу; взял тоненькую пачку бумаг с гербовыми марками, с двумя приколотыми к ней векселями.

Затем положил на папку с документами одну ассигнацию в тысячу франков и три пачки по сто франков и сказал виконту, показывая пальцем на деньги и векселя:

— Вот все, что вам остается от сорока тысяч франков. Мой клиент поручил мне взыскать с вас за расходы.

Виконт едва сдерживался, пока Жак Ферран производил свои расчеты. Вместо того чтобы ответить ему и взять деньги, он воскликнул дрожащим от ярости голосом:

— Я спрашиваю вас, сударь, почему вы сказали о тех банковских билетах, которые я вам передал, что видели такие же фальшивые?

— Почему?

— Да, почему?

— Потому что я попросил вас прибыть сюда... в связи с одним делом, сходным...

И нотариус уставился на виконта сквозь свои

зеленые очки.

— Но какое я имею отношение к фальшивкам?

Минуту помолчав, Ферран ответил ему печально и сурово:

— Вы себе представляете, сударь, какие обязанности выполняет нотариус?

— Подсчитать и понять несложно! Только что у меня было сорок тысяч франков, а сейчас осталось всего тысяча триста...

— Вы большой шутник, сударь... Скажу вам, поверьте мне, что нотариус в мирских делах — все равно что исповедник в духовных... И по своей обязанности и профессии он узнает иногда постыдные тайны.

— Что же дальше?

— Ему приходится иногда иметь дело с проходимцами...

— Ну и что?

— Он должен, по мере возможности, защищать достойные и честные имена от позора.

— Но какое мне до всего этого дело?

— Ваш отец оставил вам славное имя, которое вы позорите, сударь.

— Да как вы смеете?

— Если бы не мое уважение к этому имени, почитаемому всеми честными людьми, я бы не

говорил с вами здесь, а вы бы отвечали перед судом.

— Я вас не понимаю.

— Два месяца назад вы с помощью некоего посредника учли заемное письмо на пятьдесят восемь тысяч франков торговым домом «Мелаерт и компания» в Гамбурге на имя некоего Уильяма Смита с оплатой через три месяца у парижского банкира Гримальди.

— Ну и что из того?

— Так этот вексель — фальшивка.

— Это неправда...

— Вексель — фальшивка! Торговый дом «Мелаерт» никогда не выдавал заемного письма Уильяму Смиту; он его просто не знает.

— Неужели это правда? — вскричал де Сен-Реми с изумлением и возмущением. — Значит, меня ужасно обманули, потому что я принял этот документ как чистые деньги.

— От кого?

— От самого мистера Уильяма Смита. Торговый дом «Мелаерт» всем известен, и я был так уверен в честности мистера Уильяма Смита, что без колебаний принял от него этот вексель в оплату суммы, которую он был мне должен...

— Уильям Смит никогда не существовал... Это

выдуманная личность.

— Сударь, вы меня оскорбляете!

— Подпись поддельная, и, наверное, все остальное тоже.

— Повторяю вам, Уильям Смит существует, но я несомненно стал жертвой... Так подло злоупотребить моим доверием!

— Бедный, доверчивый юноша...

— Объясните, чего вы хотите?

— В немногих словах: теперешний владелец этого векселя утверждает, что вы его просто подделали.

— Как вы можете?!

— Он утверждает, что у него есть все доказательства. Позавчера он попросил меня вызвать вас сюда и предложить вернуть вам этот фальшивый вексель, разумеется возместив все расходы. До сих пор все было вполне законно. Но далее — не все очень законно, и я просто сообщаю вам это как посредник: он требует сто тысяч франков, золотом... и сегодня же. Иначе завтра в полдень фальшивый вексель будет передан королевскому прокурору.

— Но это же подлость!

— И к тому же бессмыслица... Вы разорены, вас преследовали судейские приставы за тот долг,

который вы мне только что вернули, уж не знак? из каких доходов... Я объяснил это все моему поручителю... Но он ответил, что некая богатая дама выручит вас из беды...

— Довольно, сударь, довольно!

— Еще одна подлость и еще одна бессмыслица с его стороны, я совершенно с вами согласен.

— Так чего же, наконец, он хочет?

— Бесчестно нажиться на бесчестном поступке. Я согласился довести до вашего сведения это предложение, от всей души порицая его, как любой честный человек. Теперь дело за вами. Если вы виновны, выбирайте: или суд присяжных, или уплата выкупа, которого от вас требуют... я со своей стороны официально выполнил поручение и больше не желаю вмешиваться в такое грязное дело. Имя третьего лица, посредника, Пти-Жан, торговец оливковым маслом; он живет на берегу Сены, набережная Билли, дом десять. Договаривайтесь с ним. Вы найдете общий язык... если вы действительно подделали вексель, как он это утверждает.

Виконт де Сен-Реми вошел к нотариусу с высоко поднятой головой и дерзкими словами на устах. Хотя он и совершил в жизни несколько постыдных поступков, в нем еще оставалась

некая дворянская гордость и природная храбрость, которых никто не смел отрицать. В начале этого разговора он смотрел на нотариуса как на недостойного его противника и в душе издевался над ним.

Но когда Жак Ферран заговорил о подлоге, виконт почувствовал себя раздавленным. Нотариус в свою очередь взял над ним верх.

Если бы виконт не отличался высочайшим самообладанием, ему бы не удалось скрыть, в какой ужас повергло его это неожиданное разоблачение, ибо оно могло привести к самым непредсказуемым последствиям, о которых нотариус даже не подозревал.

После минуты молчаливых размышлений виконт, такой гордый, вспыльчивый и тщеславно храбрый, решился уговаривать этого грубого мужлана, который так сурово говорил с ним на языке неподдельной честности.

— Сударь, вы доказали, что относитесь ко мне с сочувствием, и я вас благодарю за это, — сказал де Сен-Реми самым сердечным тоном. — Прошу извинить меня за некоторую резкость в начале нашей встречи...

— Я вам нисколько не сочувствую! — грубо оборвал его нотариус. — Ваш отец был образцом

честности, и я просто не хотел, чтобы его имя трепали на суде, вот и все.

— Повторяю вам, сударь, я не способен на подлость, в которой меня обвиняют.

— Вот и скажите это Пти-Жану.

— Однако признаюсь, отсутствие Уильяма Смита, который так недостойно обманул меня...

— Подумайте, каков негодяй!

— Отсутствие мистера Смита ставит меня в крайне тяжелое положение. Я ни в чем не виноват, и, если меня обвинят, я смогу оправдаться, но подобные обвинения всегда наносят ущерб имени благородного человека.

— Что же дальше?

— Будьте настолько великодушны и передайте сумму, что я вам вернул, человеку, в руках у которого тот вексель, чтобы хотя бы частично удовлетворить его.

— Эти деньги не мои, а моего клиента, и они священны!

— Но я возмещу их через два-три дня.

— Вы не сумеете этого сделать.

— У меня есть возможности.

— Никаких... во всяком случае, явных и честных. Вы сами говорите, что ваш дом, обстановка, лошади принадлежат не вам, что уже само по

себе бессовестный обман.

— Вы слишком жестоки, сударь. Но, даже если допустить, что все это так, разве я не превращу все в деньги при таких отчаянных обстоятельствах? Но только я не успею собрать к завтрашнему полудню сто тысяч франков. Поэтому заклинаю вас: употребите те деньги, что я вам передал, на выкуп злосчастного векселя. Или, может быть, — ведь вы так богаты — сами сможете одолжить мне необходимую сумму, чтобы выручить из крайнего положения?

— Поручиться за вас на сто тысяч франков? Да вы с ума сошли!

— Сударь, умоляю вас, во имя моего отца, о котором вы говорили... будьте великодушны.

— Я великодушен к тем, кто этого заслуживает, к честным людям, — грубо ответил нотариус. — А мошенников я ненавижу и с удовольствием погляжу, как одного из этих молодчиков без веры и без чести, нечистых и развратных, привяжут к позорному столбу на пример и устрашение другим... Но мне кажется, я слышу стук копыт... Ваши лошади застоялись, господин виконт, — добавил нотариус, обнажая в ухмылке края своих черных зубов.

В этот момент в дверь кабинета постучали.

— Кто там? — спросил Жак Ферран.

— Госпожа графиня д'Орбиньи, — доложил старший клерк.

— Попросите ее подождать минуту.

— Это же мачеха маркизы д'Арвиль! — воскликнул виконт де Сен-Реми.

— Совершенно верно. У меня с ней назначена встреча. Так что прошу покорно...

— Ни слова ей обо всем этом! — с угрозой проговорил де Сен-Реми.

— Я уже сказал вам, сударь, что нотариус умеет хранить тайны так же, как исповедник.

Жак Ферран позвонил, появился клерк.

— Позовите графиню д'Орбиньи! — Затем, обращаясь к виконту, проговорил: — А вы возьмите эти тысячу триста франков, может быть, они пригодятся как аванс господину Пти-Жану.

Госпожа д'Орбиньи, в прошлом г-жа Ролан, вошла в кабинет и столкнулась в дверях с виконтом де Сен-Реми; лицо его было искажено от бешенства из-за того, что он без всякой пользы так унижался перед нотариусом!

— О, добрый день, господин де Сен-Реми, — поздоровалась с ним г-жа д'Орбиньи. — Что-то мы давно с вами не виделись...

— В самом деле, сударыня, со дня свадьбы д'Ар-

виля, на которой я был свидетелем; с тех пор не имел этой чести, — ответил де Сен-Реми, усилием воли придавая лицу любезное выражение и вежливо улыбаясь. — Вы теперь все время живете в Нормандии?

— Увы! Граф д'Орбиньи теперь может жить только в деревне, но я люблю все, что любит он... Так что перед вами настоящая провинциалка... И в Париже не была ни разу после свадьбы моей падчерицы с этим превосходным д'Арвилем... Кстати, вы с ним часто видитесь?

— Д'Арвиль сделался каким-то нелюдимым и очень угрюмым и почти не бывает в свете, — ответил де Сен-Реми с некоторым нетерпением — этот разговор был ему невыносим, потому что задерживал его еще больше и потому что нотариуса он явно забавлял.

Но мачеха маркизы д'Арвиль, очарованная встречей со светским щеголем, была вовсе не из тех женщин, которые легко расстаются со своей добычей.

— А моя дорогая падчерица, — продолжала она, — надеюсь, не такая нелюдимая, как ее супруг?

— Госпожа д'Арвиль, сейчас в большей моде и всегда окружена поклонниками, как и подобает красивой женщине. Но боюсь, сударыня, что я

злоупотребляю вашим временем...

— Да нет, что вы, уверяю вас! Для меня такое счастье встретить самого элегантного кавалера, законодателя столичной моды. Благодаря вам я за десять минут узнаю о Париже все, как будто и не уезжала отсюда..... Как поживает ваш дорогой друг де Люсене, который был с вами свидетелем на свадьбе д'Арвиля?

— Оригинален, как никогда: отправился путешествовать на Восток и вернулся как раз вовремя, чтобы получить вчера укол шпагой, впрочем, вполне невинный.

— Бедный герцог! А его жена по-прежнему прекрасна и обворожительна?

— Вы знаете, сударыня, что я имею честь быть одним из ее лучших друзей, так что мое свидетельство будет пристрастным... Надеюсь, по возвращении в Обье вы не забудете меня и засвидетельствуете мое почтение графу д'Орбиньи.

— Уверяю вас, он будет очень тронут — это очень мило, что вы его помните. А он о вас часто вспоминает, интересуется вашими успехами... Он всегда говорит, что вы ему напоминаете герцога де Лозена.

— Одно это сравнение уже выше всех похвал, но, к несчастью для меня, в нем больше доброже-

лательности, чем истины. Прощайте, сударыня, потому что я не смею надеяться, что вы окажете мне честь принять меня до вашего отъезда.

— Право, я была бы огорчена, если бы вы решились навестить меня, потому что я кое-как устроилась на несколько дней в меблированных комнатах. Но если летом или осенью вы окажетесь поблизости от нас, по дороге в один из модных замков, где щеголихи будут соперничать между собой за счастье пригласить вас... Подарите нам несколько дней, хотя бы из любопытства и любви к контрастам и чтобы отдохнуть у бедных сельских жителей от оглушительной суеты, ибо там, где вы, всегда начинается праздник!

— Сударыня...

— Мне нет необходимости говорить вам, как мы с д'Орбиньи будем счастливы принять вас. Однако прощайте, виконт. Я боюсь, что этот добрый ворчун, — она кивнула на нотариуса, — уже устал от нашей болтовни.

— О нет, сударыня, совсем наоборот, — возразил Ферран со скрытой издевкой, что удвоило еле сдерживаемое бешенство виконта де Сен-Реми.

— Признайтесь, что Ферран — ужасный человек, — продолжала г-жа д'Орбиньи с шаловливым кокетством. — И берегитесь! Поскольку он, к

счастью для вас, занимается вашими делами, он все время будет вас ругать и распекать. Это человек безжалостный! Но что я говорю? Наоборот! Для такого вертопраха, как вы, иметь своим нотариусом Феррана, — да это просто счастье, это свидетельство о вашем полном благополучии, ибо все знают, что он никогда не дает своим клиентам совершить безумства, иначе он от них отказывается... Он вовсе не хочет быть нотариусом кого попало, не так ли, Ферран? А знаете, господин пуританин, вы совершили благое дело, наставив на путь истинный этого великолепного светского льва, законодателя мод.

— Да, поистине это было благое дело, сударыня... виконт уходит из моего кабинета совсем другим человеком.

— Я же говорю: вы творите чудеса, и в этом нет ничего удивительного, потому что вы — святой.

— Ах, что вы, вы мне льстите, — сокрушенно возразил Жак Ферран.

Виконт де Сен-Реми низко поклонился г-же д'Орбиньи и, прежде чем покинуть нотариуса, решил сделать последнюю попытку разжалобить его.

— Дорогой господин Ферран, — проговорил он как будто небрежно, но с плохо скрытым волне-

нием, — может быть, вы передумаете и окажете мне услугу, о которой я вас прошу?

— Несомненно, какой-нибудь каприз? — со смехом воскликнула г-жа д'Орбиньи. — Не уступайте, мой пуританин, будьте непоколебимы!

— Вы слышали, сударь? Разве я могу перечить такой прекрасной даме?

— Дорогой господин Ферран, поговорим серьезно... о серьезных вещах, а это дело, вы знаете, очень важное. Вы решительно мне отказываете? — спросил виконт с дрожью в голосе.

Нотариус не мог отказать себе в жестокой шутке и сделал вид, что колеблется. У виконта на миг зародилась надежда.

— Как, вы, железный человек, собираетесь уступить? — со смехом воскликнула мачеха маркизы д'Арвиль. — Значит, вы тоже поддались очарованию этого красавца?

— Право же, сударыня, я действительно чуть не уступил, как вы сами заметили, — проговорил Ферран. — Но вы заставили меня устыдиться своей слабости. — И, обращаясь к виконту, продолжал в таких выражениях, которые не оставляли ни тени сомнения: — Увы, отвечаю вам очень серьезно, — он подчеркнул последние два слова, — это совершенно невозможно... Я

не потерплю, чтобы вы из каприза совершили подобную неосторожность... Господин виконт, я считаю себя опекуном моих клиентов, у меня нет другой семьи, и я бы никогда не простил себе, если бы позволил им совершать всякие безумства.

— Вот видите? Вот что значит настоящий пуританин! — воскликнула г-жа д'Орбиньи.

— А впрочем, повидайтесь с господином Пти-Жаном. Но я уверен, он ответит вам точно так же, как я, он вам скажет «нет»!

Виконт де Сен-Реми вышел в полном отчаянии.

После минутного размышления он сказал себе: «Ничего не поделаешь, надо». А лакею, открывшему перед ним дверцу кареты, приказал:

— К особняку де Люсене.

Пока виконт де Сен-Реми едет к герцогине, давайте послушаем, о чем беседуют наедине Жак Ферран и мачеха маркизы д'Арвиль.

Глава XVI.
ЗАВЕЩАНИЕ

Читатель, наверное, уже позабыл портрет мачехи г-жи д'Арвиль, обрисованный ее падчерицей. Напомним, что г-жа д'Орбиньи была маленькой, тоненькой блондинкой с почти белыми ресницами и круглыми голубыми глазами; речь ее слащава, взгляды лицемерны, манеры вкрадчивые и завлекающие. Изучая ее насквозь фальшивую и коварную физиономию, можно обнаружить в ней какую-то подлую скрытую жестокость.

— Какой очаровательный молодой человек, этот де Сен-Реми, — сказала г-жа д'Орбиньи Жаку Феррану после ухода его жертвы.

— Да, очаровательный. Но поговорим о делах, сударыня. Вы мне написали из Нормандии, что хотели бы посоветоваться по важному вопросу.

— Разве вы не были всегда моим советчиком с тех пор, как наш добрый доктор Полидори направил меня к вам?.. Кстати, как он поживает? — спросила г-жа д'Орбиньи самым невинным тоном.

— После отъезда из Парижа он ни разу мне не написал, — так же безразлично ответил нотариус.

Предупредим читателя, что эти два человека бесстыдно лгали друг другу.

Нотариус недавно виделся с Полидори, одним из двух своих сообщников, и предложил ему отправиться в Аньер к Марсиалям, этим речным пиратам, о которых мы еще поговорим, появиться у них под именем доктора Венсана и отравить Луизу Морель.

А мачеха маркизы д'Арвиль приехала в Париж специально для тайных переговоров с этим мерзавцем, который, как она уже знала, давно скрывался под именем Сезара Брадаманти.

— Но речь пойдет вовсе не о нашем добром докторе, — продолжала мачеха маркизы д'Арвиль. — Я очень встревожена. Мой муж плохо себя чувствует. Здоровье его становится все хуже и хуже: Я не поддаюсь страхам, но его состояние беспокоит меня, вернее, его самого беспокоит, — проговорила г-жа д'Орбиньи, вытирая платочком чуть повлажневшие глаза.

— В чем, собственно, дело?

— Он все время говорит о последних распоряжениях о завещании. Тут г-жа д'Орбиньи на

несколько минут уткнулась лицом в свой платочек.

— Разумеется, все это печально, — продолжал нотариус, — однако в самой такой предосторожности нет ничего плохого... Каковы же намерения вашего супруга, сударыня?

— Господи, откуда мне знать? Вы понимаете, когда он начинает говорить на эту тему, я стараюсь его поскорее отвлечь.

— Но, в конце концов, неужели он не сказал вам по это му поводу ничего положительного?

— Мне кажется, — отвечала г-жа д'Орбиньи с совершенно незаинтересованным видом, — кажется, он собирается оставить мне не только все то, что позволяет закон, но также... Ах, я не могу! Прошу вас, не будем больше об этом говорить?

— Тогда о чем нам говорить?

— Увы, как всегда, вы правы, безжалостный человек! Мне все же придется вернуться к печальной теме, которая привела меня к вам. Так вот, граф д'Орбиньи выказал такую доброту, что пожелал... продать часть своих владений и отказать мне... значительную сумму.

— Но его дочь? Как же его дочь? — сурово воскликнул Ферран. — Я обязан объявить вам, что год назад маркиз д'Арвиль поручил мне вести его

дела. Последний раз я убедил его купить великолепное поместье. Вы знаете мою беспощадность в делах, и не важно, что маркиз д'Арвиль мой клиент: я прежде всего стремлюсь к справедливости, и, если ваш муж задумал обездолить свою дочь маркизу д'Арвиль, решение, по-моему, недостойное, то скажу вам сразу: на мое содействие не рассчитывайте! Действовать четко и прямо, таково всегда было мое правило.

— И мое тоже! Поэтому я без конца повторяю мужу то же самое, что вы мне сказали: «Ваша дочь во многом виновата перед вами, пусть это правда, но это не причина лишать ее наследства».

— Очень хорошо, прекрасно сказано! И что он ответил?

— Он ответил: «Я оставлю дочери двадцать пять тысяч франков ренты. Она унаследовала от матери более миллиона. У ее мужа свое огромное состояние. Неужели я не могу подарить остальное вам, моей нежной подруге, единственной моей опоре и утешительнице, ангелу-хранителю моей старости?» Я повторяю вам эти слишком лестные для меня слова, — продолжала г-жа д'Орбиньи, скромно вздохнув, — чтобы показать, насколько мой супруг добр ко мне. Однако, несмотря на все это, я всегда отказывалась от его дара. Видя это,

он решился попросить меня, чтобы я обратилась к вам.

— Но я не знаю графа д'Орбиньи.

— Зато он, как и все на свете, знает о вашей безупречной честности.

— Но как он вас ко мне направил?

— Чтобы разом покончить с моими отказами, сомнениями и колебаниями, он сказал мне: «Я не прошу вас обращаться к моему нотариусу, вы подумаете, что он слишком предан мне, а потому пристрастен. Но я абсолютно уверен в законности решения одного человека, чья справедливость и беспристрастность вошли в поговорку, — это Жак Ферран. Если он решит, что мое предложение для вас неприемлемо, не будем больше об этом говорить, вы от него просто откажетесь». — «Хорошо, я согласна», — сказала я моему супругу. Таким образом он избрал вас нашим арбитром. «Если он одобрит мое решение, — добавил муж, — я пришлю ему полную доверенность на мои ренты и прочие ценности; всю вырученную сумму я отдам ему на хранение, а когда меня не станет, моя нежная подруга, вы сможете, по крайней мере, вести достойное вас существование».

Вот когда Жаку Феррану пригодились его зеленые очки! Если бы не они, г-жу д'Орбиньи

поразил бы огонь, загоревшийся в глазах нотариуса при словах: «всю сумму... ему на хранение».

Тем не менее он ответил ворчливым тоном:

— Просто надоело... вот уже сколько раз меня выбирали в арбитры... и каждый раз под предлогом моей честности... Только и слышишь: честность, честность! А что мне с этого? Одни неприятности и беспокойство.

— Мой добрый Ферран, не отказывайте мне так сурово! Вы напишете графу, он ждет вашего письма и сразу отправит вам доверенность... чтобы вы могли реализовать эту сумму.

— Сколько там примерно?

— Он, кажется, говорил о четырехстах или пятистах тысячах франков.

— Не такая уж большая сумма, как я думал. В конечном счете вы целиком посвятили себя господину д'Орбиньи... Дочь его и без того богата, — а у вас нет ничего... Да, я могу вас ободрить; мне кажется, вы можете принять это предложение, и оно будет вполне законным.

— Правда? Вы так думаете? — обрадовалась г-жа д'Орбиньи.

Она, как и все прочие, была одурачена легендарной честностью нотариуса, в чем ее, разумеется, не стал разубеждать Полидори.

— Вы можете принять этот дар, — повторил Жак Ферран.

— В таком случае, я согласна, — со вздохом сказала г-жа д'Орбиньи.

Старший клерк постучал в дверь.

— Кто там еще? — спросил Ферран.

— Графиня Мак-Грегор.

— Пусть немножко подождет.

— Итак, я покидаю вас, дорогой господин Ферран, — сказала г-жа д'Орбиньи. — Вы напишете моему мужу, ибо это его воля, и завтра он вышлет вам полную доверенность.

— Да, я напишу...

— Прощайте, мой достойный и добрый советчик!

— Ах, вы, светские люди, просто не знаете, как сложно и неприятно порой брать подобные суммы на сохранение. Ведь это такая ответственность! Откровенно скажу вам, нет ничего хуже репутации искреннего и честного человека, которая навлекает на тебя только лишние заботы!

— И восхищение всех добрых людей!

— Помилуй бог! Я надеюсь получить награду, которую, может быть, заслужил, не от людей, а от всевышнего, — ответил Ферран с ханжеским смирением.

Едва графиня д'Орбиньи удалилась, ее место заняла Сара Мак-Грегор.

Глава XVII.
ГРАФИНЯ МАК-ГРЕГОР

Сара вошла в кабинет нотариуса с обычным своим хладнокровием и уверенностью. Жак Ферран не знал ее, не знал цели ее визита и рассматривал ее особенно пристально, надеясь одурачить еще одну жертву. Он смотрел на графиню очень внимательно и, несмотря на холодную невозмутимость этой женщины с мраморным лицом, заметил легкое подрагивание бровей, которое, видимо, выдавало сдержанное смущение.

Нотариус поднялся со своего кресла, пододвинул стул, жестом пригласил Сару сесть и сказал:

— Вы просили принять вас сегодня, сударыня; вчера я был очень занят и смог ответить вам только утром. Тысячу раз прошу прощения.

— Я хотела встретиться с вами по делу чрезвычайной важности. Ваша репутация честного, доброго и отзывчивого человека позволяет мне надеяться, что мой приход к вам будет не напрасным...

Нотариус слегка поклонился.

— Я знаю, сударь, что ваша скромность не тре-

бует доказательств. Вы умеете хранить тайны.

— Это мой долг, сударыня.

— Вы человек суровый и неподкупный.

— Да, сударыня.

— И тем не менее, если бы я вам сказала: от вас, сударь, зависит вернуть жизнь, да что жизнь... вернуть рассудок несчастной матери, найдется у вас смелость отказаться?

— Уточните факты, и я вам отвечу.

— Примерно пятнадцать лет назад, в конце декабря тысяча восемьсот двадцать четвертого года, один человек, тогда еще молодой, в глубоком трауре, пришел к вам и предложил взять на сохранение сумму в сто пятьдесят тысяч франков, которую хотели поместить на безымянный счет в пользу трехлетнего ребенка, родители которого желали остаться неизвестными.

— Что же дальше? — спросил нотариус, избегая утвердительного ответа.

— Вы согласились взять эти деньги и распорядиться ими так, чтобы ребенку была обеспечена пожизненная рента в восемь тысяч франков; половину этой суммы следовало пустить в оборот, чтобы затем вернуть ее девочке, когда она достигнет совершеннолетия, другую половину следовало вручить тому, кто о ней будет забо-

титься.

— Далее, сударыня?

— Примерно через два года, — говорила Сара, с трудом сдерживая волнение, — двадцать восьмого ноября тысяча восемьсот двадцать шестого года ребенок умер.

— Прежде чем продолжать этот разговор, я должен спросить, какое отношение вы имеете к этому делу?

— Мать этой маленькой девочки... моя сестра[95]. В доказательство моих слов я имею свидетельство о смерти несчастной девочки, письма человека, который о ней заботился, и обязательство одного из ваших клиентов, которому вы ссудили пятьдесят тысяч экю, чтобы он вложил их в свое дело.

— Покажите эти документы, сударыня.

Предельно удивленная, что ей не верят на слово, Сара вынула из сумочки многочисленные бумаги, которые нотариус внимательно просмотрел.

— Что ж, чего вы теперь желаете? Свидетель-

---

[95] Notes: 95

Мы считаем полезным напомнить читателю, что девочка, о которой идет речь, это Лилия-Мария, дочь Родольфа и Сары, и что Сара, упоминая о вымышленной сестре, была вынуждена лгать, ибо это было необходимо для ее замыслов, как мы сейчас увидим. Кроме того, Сара, как и Родольф, была убеждена в смерти маленькой девочки.

ство о смерти в полном порядке, а пятьдесят тысяч экю перешли к моему клиенту, некоему Пти-Жану, после смерти ребенка: это одно из условий риска по обеспечению пожизненной ренты, о чем я предупредил господина, который поручил мне это дело. Что касается доходов с этой суммы, я их регулярно выплачивал до смерти ребенка.

— Вы действовали по закону, и я рада это признать. Женщина, которой был доверен ребенок, тоже имела все права на нашу признательность, она искренне заботилась о нашей маленькой племяннице,

— Это святая истина. Меня так тронуло поведение этой женщины, что, когда она осталась без места после смерти ребенка, я взял ее к себе, и она до сих пор служит у меня.

— Госпожа Серафен служит у вас?

— Вот уже четырнадцать лет, она моя экономка. И я не могу ею нахвалиться.

— В таком случае, она может оказать нам большую помощь... если вы согласитесь удовлетворить мою просьбу, которая может показаться вам странной, даже на первый взгляд незаконной. Но когда вы узнаете причины...

— Незаконная просьба? Я думаю, вы на это не

способны, точно так же, как и я не способен ее выслушать.

— Я знаю, что вы далеко не тот человек, к которому можно обратиться с подобной просьбой, но вся моя надежда... единственная надежда на ваше милосердие. В любом случае, могу я рассчитывать на вашу скромность?..

— Да, сударыня.

— Итак, продолжаю. Смерть девочки была для матери таким страшным ударом, что она до сих пор не может оправиться от горя и отчаяния, даже спустя четырнадцать лет. Сначала мы боялись за ее жизнь, теперь — за ее рассудок.

— Бедная мать! — со вздохом сказал Ферран.

— Да, несчастная мать, ибо она могла только краснеть от стыда, пока не потеряла своего ребенка. Но теперь обстоятельства изменились, и моя сестра, если бы ее дочь осталась в живых, могла бы законным образом удочерить ее, никому не говоря об этом, и больше не расставаться с нею. Тем более что к ее постоянным угрызениям совести прибавились новые печали, и мы боимся, что она в любой момент может утратить разум.

— К сожалению, тут ничего нельзя поделать.

— Нет, можно, сударь...

— О чем вы говорите?

— Представьте, что несчастной матери скажут: мы думали, ваша дочь умерла, но это не так, и женщина, которая о ней заботилась, когда она была совсем маленькой, может это подтвердить.

— Такая ложь была бы слишком жестокой, сударыня! Зачем внушать тщетную надежду несчастной матери?

— Но представьте, что это не просто ложь! Представьте, что такая надежда может осуществиться!

— Каким чудом? Если бы для этого нужно было присоединить мои молитвы к вашим, я бы помолился вместе с вами от чистого сердца, поверьте мне, сударыня... Но, к сожалению, свидетельство о смерти составлено по всем правилам.

— Ах, я это знаю, ребенок умер. И все же, если вы согласитесь, это непоправимое несчастье можно будет поправить.

— Вы говорите загадками, сударыня.

— Хорошо, я выскажусь яснее. Если моя сестра завтра вновь обретёт свою дочь, она не только возродится к жизни, но и сможет выйти замуж за отца своей девочки, за человека, который сегодня так же свободен, как и она. Моя племянница умерла в возрасте шести лет. Родители расстались с ней, когда она была еще младенцем, и

не сохранили о ней никаких воспоминаний... Представьте, что мы найдем девушку семнадцати лет, — моей племяннице сейчас было бы столько же. Девушку, каких сейчас множество, сироту, оставленную родителями... И мы скажем моей сестре: «Вот ваша дочь, ибо вас обманули, из каких-то важных соображений ее выдали за умершую, но она осталась жива. Женщина, которая ее воспитала, и всеми уважаемый нотариус могут подтвердить, что это она...»

Жак Ферран долго не прерывал графиню, но тут он вскочил и воскликнул с возмущенным видом:

— Довольно, довольно, сударыня! О, какая низость!

— Сударь!

— И вы осмелились предложить это мне, предложить мне... подмену ребенка, уничтожение свидетельства о смерти... наконец, соучастие в преступлении! Первый раз в моей жизни мне наносят подобное оскорбление... На я этого не заслужил, видит бог, и вы это знаете!

— Но кому это повредит, сударь? Моя сестра и человек, за которого она хочет выйти замуж, вдовеют, и у них нет детей... Оба горько сожалеют о погибшей дочери. Обмануть их? Наоборот, это значит вернуть им счастье и жизнь, а заодно

обеспечить счастливую участь какой-нибудь бедной, покинутой девушке... Это благородное и милосердное дело, а вовсе не преступление.

— Поистине невероятно! — вскричал нотариус с возрастающим возмущением. — Я просто восхищаюсь, с какой ловкостью самые отвратительные планы маскируются под самые добрые дела!

— Однако подумайте, сударь...

— Повторяю, все это низко и подло... Мне стыдно, что женщина ваших достоинств замышляет подобные махинации, к которым ваша сестра, надеюсь, не причастна.

— Сударь!..

— Довольно, сударыня, довольно! Я не галантный кавалер и скажу вам грубо, напрямик...

Сара бросила на нотариуса один из своих черных, страшных взглядов, пронизывающих душу, и холодно спросила:

— Значит, вы отказываетесь?

— Не оскорбляйте меня больше.

— Тогда берегитесь...

— Угрозы?

— Да, угрозы... И чтобы вы убедились, что они не напрасны, узнайте для начала: у меня нет никакой сестры...

— То есть как это, сударыня?

— Я мать этого ребенка.

— Вы?

— Да, я!.. Я придумала обходной маневр, чтобы достичь своей цели, придумала басню, чтобы разжалобить вас, но вы безжалостны. Поэтому я сбрасываю маску... Вы хотите войны? Что ж, будь по-вашему!

— Война? Потому что я отказываюсь участвовать в преступной махинации? Какая дерзость!

— Слушайте меня, сударь! Ваша репутация честного человека чиста и безупречна, огромна и всеми признана... Такая репутация дорого стоит!

— Потому что она заслужена мною! Поэтому нужно потерять всякий разум, чтобы предлагать мне подобную сделку...

— Но я лучше других знаю, как опасно доверять столь блистательной добродетели, которая часто скрывает ветреность женщин и мошенничество мужчин...

— Вы осмеливаетесь говорить, сударыня...

— С самого начала нашего разговора... уж не знаю почему, я усомнилась в ваших достоинствах, в вашем праве на уважение и почтение, которыми вы пользуетесь.

— В самом деле, сударыня? Эти сомнения делают честь вашей прозорливости.

— Не правда ли?.. Ибо это сомнение основано на пустяках... на моем инстинкте, на необъяснимых предчувствиях. Но эти предчувствия редко меня обманывали.

— Значит, закончим этот разговор, сударыня.

— Но прежде узнайте мое решение... Для начала скажу вам с глазу на глаз, что я уверена в смерти моей дочери... Но это не важно, все равно я буду утверждать, что она не умерла; самые очевидные факты можно оспаривать... Сегодня вы в щекотливом положении: у вас должно быть множество завистников, и они ухватятся за любую возможность, набросятся на вас... А я им такую возможность предоставлю...

— Вы?..

— Да, я, выдвинув против вас обвинение под каким-нибудь самым нелепым предлогом, например, что свидетельство о смерти составлено не по закону... но это не важно. Я буду утверждать, что моя дочь не умерла. А поскольку мне очень важно заставить людей поверить, будто она жива, я могу проиграть дело, но этот процесс получит огромную огласку и все равно послужит моим интересам. Мать, которая сражается за свое дитя, всегда вызывает сочувствие. На моей стороне будут все ваши завистники, все ваши враги, все

чувствительные и романтичные души.

— Это непристойно и совершенно нелепо. Какой мне смысл утверждать, что ваша дочь умерла, если бы она была в живых?

— Вы правы, мотив отыскать затруднительно, к счастью, на то и существуют адвокаты!.. Кстати, я подумала, вот прекрасное объяснение: вы хотели поделить с вашим клиентом деньги, предназначенные для выплаты пожизненной ренты моей дочери... и она исчезла..

Нотариус невозмутимо пожал плечами.

— Если бы я решился на подобное преступление, она бы не исчезла, я бы ее просто убил!

Сара вздрогнула от изумления, замолкла на миг, затем с горечью продолжала:

— Для святого человека столь преступная мысль свидетельствует о немалом опыте... Я попала в точку, хотя и целилась наугад?.. Тут есть над чем задуматься... и я подумаю. Последнее слово. Вы видите, кто я такая... я раздавлю всякого, кто встанет у меня на пути... Подумайте хорошенько. Завтра вы должны принять решение. Вы можете выполнить мою просьбу, ничем не рискуя. Отец моей дочери будет вне себя от радости и не станет сомневаться в подробностях ее воскрешения из мертвых, если наш счастли-

вый для него обман будет ловко отрепетирован. К тому же нет никаких доказательств, что наша дочь умерла, кроме письма, которое я ему написала четырнадцать лет назад, — мне будет нетрудно его убедить, что я обманула его тогда, потому что была оскорблена им и ожесточилась... Я скажу ему, что в отчаянии хотела порвать единственную связь, которая нас еще соединяла. Так что вас никто не сможет заподозрить: только утверждайте и подтверждайте... безупречный человек... что все было обговорено между вами, мною и госпожой Серафен, и вам поверят. А что касается пятидесяти тысяч экю, помещенных на счет моей дочери, то это уже мое личное дело. Они останутся у вашего клиента, который ничего обо всем этом не должен знать. И наконец, вы сами назначите сумму вознаграждения.

Жак Ферран сохранял все свое хладнокровие, несмотря на всю странность этой столь необычной и столь опасной для него ситуации.

Графиня была уверена, что ее дочь умерла, и тем не менее предлагала нотариусу объявить живой ту самую девочку, которую он четырнадцать лет назад объявил умершей.

Он был слишком хитер и слишком хорошо знал все опасности своего положения, чтобы не оце-

нить, какую угрозу представляла для него Сара.

Репутация нотариуса, воздвигнутая с таким искусством и трудом, все же была построена на песке. Публика легко отрекается от тех, кого восхваляет, чтобы с наслаждением растоптать кумира, которого вчера превозносила до небес.

Как оценить последствия этой первой атаки против безупречной репутации Жака Феррана? Пусть эта атака будет отчаянной, безумной, но дерзость ее породит сомнения...

Прозорливость Сары, ее ожесточенность пугали нотариуса. Эта мать не умилилась и на миг, говоря о своей потерянной дочери; ее смерть для нее была только потерей оружия в борьбе за свои интересы. Подобные люди беспощадны в своих замыслах и мщении.

Пытаясь выиграть время, обдумать, как отразить опасность, Ферран холодно сказал Саре:

— Вы дали мне отсрочку до завтрашнего полудня. А я вам даю отсрочку до послезавтра, чтобы вы могли отказаться от своего замысла, последствия которого вы даже не представляете. Если к этому времени я не получу от вас письма, что вы отказываетесь от этой безумной и преступной мысли, вы убедитесь на своем горьком опыте, что правосудие умеет защищать честных

людей, которые не желают быть участниками отвратительных махинаций, и умеет карать их зачинщиков.

— Иными словами, вы просите один день, чтобы подумать над моим предложением, не так ли? Это добрый знак, я согласна... Послезавтра в это же время я приду к вам, и тогда между нами либо мир, либо война... И, повторяю вам, война не на жизнь, а на смерть, без жалости и пощады!

И Сара удалилась.

«Все пока идет хорошо, — говорила она себе. — Эта жалкая девчонка, которой Родольф заинтересовался из каприза и отослал на ферму Букеваль, наверняка чтобы сделать потом своей любовницей, — ее больше нечего бояться... потому что одноглазая отдала ее в мою власть...

Ловкость Родольфа вызволила маркизу д'Арвиль из расставленной мной западни, но она наверняка попадется в новую ловушку и будет навсегда потеряна для Родольфа.

И тогда, убитый горем, обескураженный, лишенный всякого сочувствия, он ослабеет и будет счастлив принять за истину ту спасительную ложь, которую я ему преподнесу с помощью нотариуса... А нотариус мне поможет, потому что я его испугала.

Я легко найду девушку-сироту, миленькую и бедную, и научу её сыграть роль нашей дочери, которую Родольф так горько оплакивал. Я знаю величие и щедрость его души. Да, несомненно, чтобы вернуть имя и положение своей вновь обретенной дочери, до сих пор несчастной и покинутой, он вернется ко мне, и нас снова свяжут узы супружества, которые я считала нерасторжимыми. И тогда наконец сбудется предсказание моей кормилицы... Я на этот раз достигну высшей цели моей жизни — короны!»

Едва Сара успела покинуть дом нотариуса, как к нему подкатил на самом элегантном кабриолете Шарль Робер и как завсегдатай направился прямо в кабинет Жака Феррана.

Глава XVIII.
ШАРЛЬ РОБЕР

Бесцеремонный майор, как его называла г-жа Пипле, ворвался к нотариусу, который сидел в самом мрачном и желчном настроении.

— После полудня я принимаю только моих клиентов, — грубо сказал ему Жак Ферран. — Если хотите поговорить со мной, приходите с утра.

— Дорогой мой стряпчий! (Это была одна из шуточек господина Робера). Речь идет об очень важном деле, а кроме того, я хотел первым вас успокоить, чтобы у вас не было никаких опасений...

— Каких опасений?

— Вы ничего не знаете?

— Чего я не знаю?

— О моей дуэли...

— Какой дуэли? С кем?

— С герцогом де Люсене. Неужели вы ничего не слышали?

— Ничего.

— Вот так так!

— Из-за чего была дуэль?

— Страшное оскорбление, которое можно было смыть только кровью. Представьте себе, что на приеме в посольстве этот де Люсене позволил себе сказать мне в глаза, что я... харкаю и брызжу слюной!

— Что такое?

— Он сказал, что я брызжу слюной, дорогой мой стряпчий! Будто у меня такой неприятный порок!

— И вы из-за этого дрались на дуэли?

— А из-за чего же еще вызывают на дуэль? Вы, наверное, думаете, что можно вот так просто... спокойно сказать, что я брызжу слюной? Что у меня харкотина? Да еще в присутствии очаровательной дамы? Перед этой маленькой маркизой, которая... Впрочем, хватит!.. Я не мог этого так оставить...

— Да, разумеется.

— Мы люди военные, вы понимаете, шпага всегда при нас. Мои секунданты назавтра отправились договариваться с секундантами герцога. Я прямо заявил: дуэль, или он приносит извинения.

— Извинения за что?

— За харкотину, черт побери! За то, что я брызжу слюной, вот что он позволил себе сказать!

Нотариус пожал плечами.

— А секунданты герцога сказали: «Мы с почтением относимся к уважаемому Шарлю Роберу, однако герцог де Люсене не может, не должен и не хочет приносить никаких извинений». — «Таким образом, господа, — ответили мои секунданты, — герцог де Люсене упорствует, утверждая, будто мосье Шарль Робер брызжет слюной?» — «Да, господа, но он не думал, что затрагивает этим утверждением честь Шарля Робера». — «Пусть возьмет свои слова обратно, извинится». — «Нет, господа, герцог де Люсене считает господина Робера благородным человеком, но утверждает, что он брызжет слюной». Вы понимаете, что не было другого выхода из такого запутанного положения?

— Да, выхода не было... Вас оскорбили в самых лучших ваших чувствах благородного человека.

— И вы так думаете? Итак, мы условились о месте и времени встречи: вчера утром в Венсенне. Все произошло самым благородным образом: я нанес легкий укол шпагой в руку герцога де Люсене; секунданты объявили, что моя честь восстановлена, и тогда герцог громко заявил: «Я никогда не беру слов обратно перед дуэлью, но после дуэли — другое дело. Поэтому мой долг,

моя честь требуют, чтобы я сказал: я напрасно заподозрил господина Шарля Робера в том, что у него харкотина и он брызжет слюной. Господа, я признаю, что он не брызгал слюной, и утверждаю, что он никогда не харкал и не будет харкать...» После этого герцог протянул мне руку и спросил: «Теперь вы довольны?» — «Отныне мы с вами друзья на жизнь и на смерть», — ответил я ему. И я действительно ему обязан... Он все решил превосходно. Он мог вообще ничего не сказать или просто признать, что я не брызжу слюной, но он объявил, что у меня не было и не будет подобного иедостатка, а это с его стороны весьма деликатное замечание.

— Вот что значит храбрость, приносящая пользу!.. Но что вам от меня угодно?

— Дорогой мой архивариус! (Еще одна шутка Шарля Робера). Речь идет об очень важном для меня дельце. Вам прекрасно известно, что по нашему соглашению, когда я одолжил вам триста пятьдесят тысяч франков, чтобы вы могли покрыть ваши обязательства, между нами было условлено, что, предупредив вас за три месяца, я могу изъять эту сумму, за которую вы мне начисляете проценты...

— Что же дальше?

— Ну понимаете, — смутился Робер, — не знаю, как даже сказать...

— Говорите же!

— Вы можете подумать, что это прихоть, дорогой мой стряпчий... но мне захотелось стать помещиком.

— Говорите яснее, мы теряем время!

— Одним словом, мне предложили выгодно купить поместье, и, если вы не имеете ничего против, я хотел бы, то есть я желаю получить от вас вложенные мною деньги... Я приехал заранее предупредить вас об этом, как мы договаривались.

— Ха, интересно.

— Надеюсь, вы на меня не сердитесь?

— А с чего мне сердиться?

— Я боялся, вы подумаете, что я поверил слухам...

— Каким слухам?

— Да нет, так, пустяки...

— Говорите же!

— Я вовсе не из-за всяких глупостей, которые говорят о вас...

— Каких глупостей?

— Разумеется, в этом нет ни слова правды, но завистники нашептывают, будто вы оказались

невольно замешаны в разных темных делишках. Конечно, все это полнейшая чепуха! С тем же успехом можно говорить, что мы с вами заодно играли на бирже. Слухи эти быстро угасли... но все же я бы хотел, чтобы вы и я были чисты, как агнцы божьи.

— Значит, вы не верите больше, что ваши деньги в надежных руках?

— Что вы, помилуйте... но я бы хотел, чтобы они были в моих руках.

— Подождите здесь!

Ферран задвинул ящик своего стола и встал.

— Куда это вы, мой архивариус?

— За доказательствами, чтобы вы увидели, насколько справедливы слухи о моих денежных затруднениях, — иронически ответил нотариус.

Он открыл потайную дверцу на маленькую лестницу, которая позволяла ему пройти в глубине двора, минуя контору, во флигель, и исчез за нею.

Едва он вышел, постучался старший клерк.

— Войдите, — сказал Шарль Робер.

— Господин Ферран у себя?

— Нет, мой достойный бумагомарака... (Еще одна шутка Шарля Робера).

— Пришла дама под вуалью и хочет немедлен-

но цереговорить с ним по очень срочному делу.

— Достойный бумагомарака, патрон сейчас вернется, и я ему об этом скажу. А что эта дама, хорошенькая?

— Трудно догадаться: на ней такая густая, черная вуаль, что лица не различишь.

— Ну уж, так уж? Я ее прекрасно разгляжу, когда буду уходить. А Феррана я предупрежу, как только он вернется.

Клерк вышел.

«Какого черта, куда подевался этот мой стряпчий? — проговорил про себя Шарль Робер. — Наверное, проверяет свою кассу... Если эти слухи ложные, тем лучше! В конечном счете, скорее всего сплетни, которые распространяют злые языки... У таких достойных людей, как Ферран, столько завистников!.. Все равно, я предпочитаю иметь свои деньги на руках... Я куплю замок, о котором мне говорили... Там есть готические башенки времен Людовика XIV, в духе Ренессанса... Самый настоящий стиль рококо... Это позволит мне выглядеть сеньором настоящим, а не каким-нибудь траченным молью... Тогда уж мои чувства никто не отвергнет, как эта недотрога д'Арвиль! Господи, как она меня провела! Как осрамила! Но нет, я еще не сделал все мои покупки, как

говорит эта дура привратница с улицы Тампль, с ее париком под маленькую девочку... Эта шутка обошлась мне самое малое в тысячу франков. Правда, мебель осталась за мной... И я еще найду способ скомпрометировать маркизу... А вот и мой стряпчий!»

Жак Ферран вернулся, держа в руках ворох бумаг, которые тут же передал Шарлю Роберу.

— Вот триста пятьдесят тысяч франков в ассигнациях государственного банка, — сказал он. — Через несколько дней мы урегулируем все расчеты по процентам... Пишите расписку.

— Как? — воскликнул пораженный Шарль Робер. — Но вы, по крайней мере, не поверили?..

— Я ни во что не верю.

— Однако...

— Расписку!

— Дорогой мой архивариус...

— Пишите расписку и расскажите людям, которые болтают о моих денежных затруднениях, как я отвечаю на их подозрения.

— В самом деле, когда об этом узнают, ваш кредит еще больше укрепится. Но возьмите эти деньги, они мне сейчас ни к чему, я же сказал вам: через три месяца.

— Господин Робер, я не позволю, чтобы меня

подозревали дважды.

— Вы сердитесь?

— Расписку!

— Гром и молния! Пусть будет по-вашему, — ответил Шарль Робер.

Закончив писать расписку, он добавил:

— Там дожидается дама, вся под густой вуалью, хочет с вами говорить сейчас же, немедленно, по очень, очень срочному делу... Постараюсь разглядеть ее мимоходом, вдруг она мне понравится?.. Вот вам расписка. Надеюсь, все в порядке?

— Прекрасно. А теперь уходите по этой маленькой лестнице.

— А как же таинственная дама?

— Именно затем, чтобы вы ее не видели. Нотариус позвонил старшему клерку и сказал:

— Пригласите даму... Прощайте, сударь!

— Что ж, значит, я ее так и не увижу... Но я не обижаюсь, мой стряпчий... Поверьте мне...

— Хорошо, хорошо! Прощайте...

И нотариус закрыл дверь за Шарлем Робером.

Через несколько мгновений старший клерк ввел в кабинет герцогиню де Люсене, одетую очень скромно и закутанную в большую шаль; лицо ее полностью скрывала густая черная кружевная вуаль, накинутая поверх муаровой

шляпки того же цвета.

Глава XIX.
ГЕРЦОГИНЯ ДЕ ЛЮСЕНЕ

Герцогиня с некоторым смущением медленно приблизилась к нотариусу, который сделал несколько шагов ей навстречу.

— Кто вы... и что вам от меня угодно? — грубо спросил Жак Ферран, чье настроение, омраченное угрозами Сары, еще больше ухудшилось из-за дурацких и неприятных подозрений Шарля Робера. К тому же герцогиня была одета так скромно, что нотариус счел себя вправе обращаться с ней без церемоний. Она замедлила с ответом, и он продолжал еще резче.

— Может, вы наконец объяснитесь, сударыня?

— Сударь, — заговорила она взволнованным голосом, стараясь спрятать лицо под складками вуали. — Сударь, могу ли вам доверить очень важную тайну?

— Мне можно доверить все, но я должен знать и видеть, с кем я имею дело.

— Может быть, это не столь необходимо? Я знаю, что вы — воплощение чести и справедливости...

— К делу, к делу! Там... извините, меня ждут, сударыня! Кто вы?

— Мое имя вам ничего не скажет. Однако один из моих друзей, моих родственников, только что был у вас.

— Его имя?

— Флорестан де Сен-Реми.

— Ах, вот как?

Нотариус испытующе и пристально посмотрел на герцогиню и продолжал:

— Так в чем дело?

— Виконт де Сен-Реми... рассказал мне все.

— Что же он вам рассказал?

— Все!

— А точнее?

— О боже, вы ведь и сами все знаете.

— Я многое знаю о де Сен-Реми.

— Увы, сударь, это ужасно!..

— Я знаю много ужасного о де Сен-Реми.

— Ах, сударь, правду он говорил мне, вы не знаете жалости...

— Да, к мошенникам и хлыщам с фальшивыми векселями в кармане у меня нет жалости. Этот Сен-Реми в самом деле вам родственник? Тогда вам следовало бы не признаваться в этом, а стыдиться такого родства. Если вы пришли сюда

плакаться, в надежде смягчить меня, то пришли напрасно. Вы взялись за дело, недостойное честной женщины... если вы... честная женщина...

Этот грязный намек возмутил герцогиню, оскорбил ее гордость, затронул честь ее знатного рода. Она встала, откинула вуаль, выпрямилась во весь рост и твердым, повелительным голосом ответила:

— Я герцогиня де Люсене!

Эта женщина вдруг проявила столько благородства, столько властности, что нотариус невольно отступил, покоренный ее красотой и величием, машинально сдернул свой шелковый черный колпак с лысой головы и глубоко поклонился.

Трудно представить себе более прекрасный и более гордый облик, хотя герцогине де Люсене было давно уже за тридцать и ее бледное лицо казалось немного усталым; но у нее были огромные карие глаза, огненные и смелые, великолепные черные волосы, тонкий орлиный нос, розовые губы с презрительной гримасой, белоснежный цвет лица, сверкающие зубы, высокая, стройная и гибкая фигура и благородство в каждом движении, которое напоминало, по выражению бессмертного Сен-Симона, «поступь богини, шествующей по облакам».

С ее зажигательным взглядом и в наряде XVIII века де Люсене по своему физическому облику и морали вполне сошла бы за одну из тех пылких герцогинь времен регентства, которые во всех своих многочисленных романах отличались неслыханной дерзостью, выдумкой и. очаровательным добродушием, проявляя порой свои слабости с такой наивной откровенностью, что самые суровые моралисты говорили с улыбкой: «Да, конечно, она слишком легкомысленна и сама во всем виновата, но она так добра, так прелестна! Она любит своих возлюбленных с такой страстью, преданностью и верностью... пока она их любит... что не следует судить ее слишком строго. В конце концов, она губит только одну себя, но зато приносит счастье столь многим!»

Если не считать пудреных париков и платьев с огромными фижмами, именно такой была герцогиня де Люсене; когда ее не одолевали мрачные заботы.

Она вошла к нотариусу в образе скромной мещаночки и вдруг предстала перед ним высокородной дамой, гордой и разгневанной. Жак Ферран в жизни еще не встречал подобных женщин, обладающих такой дерзкой красотой и такими смелыми и благородными манерами.

Слегка утомленное лицо герцогини, ее прекрасные глаза, окруженные едва заметными синими тенями, ее розовые нервные ноздри говорили о пылком характере, который опьяняет и сводит с ума настоящих мужчин. Жак Ферран был стар, уродлив, мрачен и мерзок, однако и он не мог не оценить чувственную красоту герцогини де Люсене.

Его ненависть и озлобление против де Сен-Реми удвоились от невольного грубого чувства, которое пробудила в нем гордая и прекрасная любовница виконта. Жак Ферран, снедаемый тайными низменными страстями, с бешенством думал о том, что этот дворянчик, которого он почти заставил ползать перед собой на коленях, угрожая судом за подлог, этот мелкий мошенник внушает столь благородной даме такую любовь, что она решилась обратиться к нему, рискуя себя погубить. От этих мыслей к нотариусу вернулась его смелость, которую он на миг утратил. Ненависть, зависть и неудержи-, мая дикая злоба зажгли в его глазах и на лице огни самых постыдных и жестоких страстей.

Когда герцогиня приступила к столь деликатному сюжету, нотариус был уверен, что сейчас начнутся разговоры вокруг да около, недомолв-

ки, намеки.

Каково же было его изумление! Она заговорила с такой высокомерной уверенностью, как будто речь шла о самом обычном ничтожном деле, не считая даже нужным притворяться перед каким-то нотариусом, отбросив всякие условности, которые наверняка соблюдала бы при общении с равными себе людьми.

Действительно, неприкрытое хамство нотариуса задело и оскорбило герцогиню и заставило ее отбросить маску скромной и униженной просительницы: эта роль оказалась ей не по силам. Взыграла ее благородная кровь, и она не смогла сдержаться перед этим писакой, составителем каких-то актов-договоров. Это было ниже ее достоинства!

Умная, щедрая и великодушная, исполненная доброты и сердечной преданности, но в то же время дочь матери, которая своей возмутительной невоздержанностью сумела опорочить даже святые и благородные страдания эмиграции, г-жа де Люсене, в своем наивном пренебрежении к некоторому сорту людей, могла бы сказать подобно римской императрице, принимавшей ванну перед своим рабом: «Разве это мужчина?»

— Так вот, господин нотариус, — решительно

сказала герцогиня Жаку Феррану. — Виконт де Сен-Реми — один из моих друзей; он мне признался, что находится в затруднении из-за двойного обмана, жертвой которого стал... Но с деньгами все можно устроить. Сколько я вам должна, чтобы покончить со всеми этими жалкими пересудами?

Жак Ферран был поражен такой откровенностью и смелостью.

— Для этого потребуется сто тысяч франков, — ответил он ворчливым тоном, едва оправившись от удивления.

— Вы получите сто тысяч франков и немедленно вернете эти гадкие бумажки виконту де Сен-Реми.

— А где эти сто тысяч франков, госпожа герцогиня?

— Разве я не сказала, что вы их получите?

— Мне они нужны завтра до полудня, иначе заявление о подделке будет передано в суд.

— Так в чем же дело? Выдайте эту сумму, я за нее отвечаю, а что касается вас, я вам заплачу, как вы пожелаете.

— Сударыня, это невозможно...

— Вы же не станете утверждать, что такой нотариус, как вы, не сможет сразу найти ста тысяч

франков, когда это нужно?

— А под какие гарантии?

— Что вы хотите этим сказать? Объяснитесь!

— Кто мне ответит за такую сумму?

— Я.

— Однако...

— Вы должны знать, что одно только поместье в четырех лье от Парижа приносит мне восемьдесят тысяч ливров ренты... Одного этого, надеюсь, достаточно, чтобы послужить вам гарантией, как вы это называете.

— Конечно, если будет закладная на земельное владение.

— Что это еще такое? Наверное, какие-нибудь формальности. Составьте эту закладную, сударь, да побыстрее!

— Такой документ может быть оформлен не ранее, чем через две недели, и понадобится еще согласие вашего высокочтимого мужа, сударыня.

— Но ведь эти земли принадлежат мне, только мне одной! — нетерпеливо воскликнула герцогиня.

— Это не имеет значения; ваши владения с мужем нераздельны, и составление подобных актов о закладе земельной собственности — дело долгое и очень сложное.

— Повторяю еще раз, я не верю, что вам затруднительно найти какие-то сто тысяч франков за два часа!

— В таком случае обратитесь к своему нотариусу или управляющему... Что касается меня, то я не могу этого сделать.

— У меня есть причины держать это в тайне, — высокомерно ответила герцогиня. — Вы знаете мошенников, которые намерены шантажировать виконта де Сен-Реми. Поэтому я и обратилась к вам.

— Ваше доверие делает мне честь, польщен. Однако я не могу удовлетворить вашу просьбу.

— У вас нет таких денег?

— В моей кассе гораздо больше этой суммы, в банковских ассигнациях и золотом...

— О, сколько лишних слов!.. Вам нужна моя подпись? Пожалуйста, и покончим с этим...

— Если поверить, что вы действительно герцогиня де Люсене...

— Приезжайте через час в особняк герцога де Люсене. Я подпишу там все, что нужно подписать.

— Герцог тоже подпишет?

— Я не понимаю вас, сударь...

— Одной вашей подписи для меня недоста-

точно.

Жак Ферран с жестокой радостью наслаждался тревожным нетерпением герцогини, которая под маской хладнокровного презрения скрывала глубокую озабоченность и... страх.

К тому времени она осталась почти без денег. Еще накануне ее ювелир одолжил ей значительную сумму под залог ее драгоценностей, часть которых была у гранильщика Мореля. Эта сумма позволила оплатить векселя де Сен-Реми и успокоить его других кредиторов. Дюбрей, фермер из Арнувиля, уже выплатил за аренду земли на год вперед; а время не терпело! К тому же, к несчастью для герцогини, двое из ее друзей уехали куда-то из Парижа. Она полагала, что виконт де Сен-Реми был невиновен ни в каких подделках. Он сказал, и она поверила, что он стал жертвой двух мошенников, но его положение было ужасно. Если его обвинят, бросят в тюрьму... Даже если он скроется, убежит, его имя все равно будет опозорено.

Эти страшные мысли заставили герцогиню содрогаться от ужаса... Она слепо любила этого человека, такого ничтожного и в то же время наделенного таким очарованием. Ее любовь к нему, ее страсть были одним из тех беспорядочных

увлечений, которые женщины ее характера и ее воспитания обычно испытывают, когда первые цветы их молодости облетают и они приближаются к возрасту зрелости.

Жак Ферран пристально наблюдал за малейшими движениями лица герцогини, которое казалось ему все прекраснее и привлекательнее. Он смотрел на нее с ненавистью и сдержанным восхищением и с жестокой радостью старался побольнее уязвить своими отказами эту женщину, которая могла испытывать к нему только презрение и гадливость.

Герцогиню возмущала даже мысль обратиться к нотариусу с чем-то похожим на просьбу, и в то же время она понимала, что иного способа нет и что только этот человек может спасти виконта де Сен-Реми.

— Поскольку у вас есть необходимая мне сумма и вы знаете мои гарантии, почему же вы мне отказываете?

— Потому что у мужчин есть свои капризы, как и у женщин, сударыня.

— Но что же это за каприз, который заставляет вас поступать вопреки вашим интересам? Потому что, повторяю, назовите ваши условия, любые! — и я их приму.

— Вы примете любые мои условия? — многозначительно спросил нотариус.

— Любые!.. Две, три, четыре тысячи франков, если хотите, больше! Потому что вся моя надежда только на вас, — с детской откровенностью призналась герцогиня. — Мне больше негде взять эти деньги до завтра. А они нужны сейчас, это необходимо, совершенно необходимо! Вы понимаете? Поэтому, повторяю, я готова на любые ваши условия, чего бы мне это ни стоило, на любые...

Нотариус начал задыхаться, в висках у него стучало, все лицо налилось кровью; к счастью зеленые стекла очков скрывали похотливые огоньки в его глазах. Жгучее облако замутило его разум, обычно такой холодный и ясный, он обезумел. В своем гнусном ослеплении он принял последние слова герцогини за недостойное предложение; он увидел своим помутившимся от похоти взглядом эту гордую женщину, подобную придворным дамам минувшего века, готовой на все ради чести своего любовника и, может быть, даже на еще более унизительные жертвы ради его спасения. Все это было глупо и подло, но мы уже говорили, что Жак Ферран иногда превращался в тигра или волка, и тогда все звериное в нем затмевало все человеческое.

Он вскочил и подбежал к герцогине.

Она также быстро встала и с удивлением взглянула на него.

Поистине необъяснимы противоречия в человеческом характере! При виде уродливо возбужденного лица Феррана и разгадав его странные, страшные и смешные вожделения, герцогиня, несмотря на все свои страхи и тревоги, разразилась таким откровенным, звонким и безудержным смехом, что ошеломленный нотариус отшатнулся.

Не давая ему и слова промолвить, герцогиня продолжала хохотать, безумно забавляясь нелепостью этой сцены. Она опустила вуаль на лицо и между двумя взрывами смеха едва смогла объяснить нотариусу, ошеломленному от ярости и злобы:

— Господи, такую услугу, говоря откровенно, я могла бы попросить у герцога де Люсене!

Она вышла, продолжая смеяться так громко, что раскаты ее хохота нотариус слышал даже за закрытой дверью своего, кабинета.

Жак Ферран постепенно пришел в себя и проклял свою неосторожность. Однако он понемногу успокоился, поразмыслив о том, что в конечном счете герцогиня наговорила много такого, что

могло бы ее очень скомпрометировать.

И все же это был для него неудачный день. Он погрузился в самые мрачные мысли, когда потайная дверца его кабинета вдруг открылась и вбежала взволнованная Серафен.

— Ах, Ферран! — воскликнула она, заламывая руки. — Вы были тысячу раз правы, когда говорили, что когда-нибудь мы погибнем из-за того, что оставили ее в живых!

— Кого?

— Эту проклятую девчонку!

— Что случилось?

— Пришла одноглазая старуха, я ее не знаю, но Турнемин отдал ей малышку, чтобы избавить нас от нее, четырнадцать лет назад, когда мы сказали, будто она умерла... О господи, кто бы мог подумать!..

— Говорите же, что было дальше?

— Эта кривая старуха сейчас приходила... Она была здесь... Она сказала, что знает меня, что это я отдала ей ребенка.

— Проклятье! Кто мог это сказать ей? Турнемин сейчас на каторге...

— Я все отрицала, обзывала эту одноглазую лгуньей, но поди же ты! Она твердит, что разыскала эту маленькую девочку, которая теперь выросла,

знает, где она, и может все рассказать, всех нас выдать...

— Что за день сегодня, весь ад раскрылся, чтобы поглотить меня? — воскликнул нотариус в припадке ярости, исказившем до безобразия его лицо.

— Господи, что сказать этой женщине? Что обещать ей, чтобы она молчала?

— Как она выглядела? Состоятельной?

— Я обозвала ее побирушкой, но она потрясла передо мной своим грязным кошельком: там звенело серебро.

— Она знает, где сейчас эта девушка?

— Говорит, что знает.

«И это дочь графини Сары Мак-Грегор, — сказал себе ошеломленный Ферран. — Подумать только, вот сейчас она предлагала мне сколько угодно, чтобы я подтвердил, что ее дочь не умерла... А она жива! Я могу вернуть ее матери!.. Но что же делать с фальшивым свидетельством о смерти? Если начнется расследование, я пропал! Одно преступление наведет на след остальных».

Минуту помолчав, он сказал госпоже Серафен:

— Значит, эта кривая знает, где сейчас девушка?

— Да.

— И она обещала вернуться?

— Завтра.

— Напиши Полидори, чтобы он был у меня сегодня вечером к девяти.

— Вы хотите отделаться от этой девушки, а заодно от кривой старухи?.. Не много ли за один раз, Ферран?

— Я сказал: напиши Полидори, чтобы он был у меня к девяти часам!.

Вечером того же дня Родольф сказал Мэрфу, которому так и не удалось проникнуть в кабинет нотариуса:

— Прикажите барону Грауну немедленно отправить курьера... Необходимо, чтобы Сесили была в Париже через неделю, и не позднее.

— Опять эта чертовка? Неверная жена этого несчастного Давида, столь же подлая, сколь соблазнительная! Зачем это вам?

— Зачем? Об этом вы спросите через месяц у нотариуса Жака Феррана.

Глава XX.
ДОНОС

В день, когда Лилия-Мария была похищена Сычихой и Грамотеем, часам к десяти вечера на ферму Букеваль прискакал всадник, сказал, что он от г-на Родольфа, и утешил г-жу Жорж, чтобы она не беспокоилась о своей юной подопечной, которая вернется к ней не сегодня, так завтра. По многим и очень важным соображениям, добавил этот человек, г-н Родольф просит г-жу Жорж, если у нее есть какие-либо пожелания, не писать ему в Париж, а передать это срочное письмо ему, он вручит его сам.

Это был тайный посланец Сары.

Благодаря такой хитрости она успокаивала г-жу Жорж и могла на несколько дней отдалить тот момент, когда Родольф узнает о похищении Певуньи.

За это время Сара надеялась заставить Жака Феррана помочь ей в подлой махинации — подмене ребенка, о чем мы уже говорили.

Но это было еще не все...

Сара хотела избавиться от г-жи д'Арвиль, кото-

рая внушала ей серьезные опасения и которую она чуть не погубила, если бы не проницательность Родольфа.

На следующий день, когда маркиз проследил свою жену до дома на улице Тампль, Том пришел туда, без особых трудностей заставил разговориться г-жу Пипле и узнал, что молодая женщина, которую едва не застиг ее муж, была спасена благодаря ловкости одного из жильцов, некоего Родольфа.

Зная об этих обстоятельствах, но не имея никаких существенных доказательств свидания, которое Клеманс якобы назначила Шарлю Роберу, Сара замыслила другой коварный план. Он сводился к тому, чтобы послать маркизу д'Арвиль анонимное письмо, которое должно было их окончательно поссорить или, во всяком случае, заронить в душу маркиза такие страшные сомнения, чтобы он решительно запретил своей жене встречаться с принцем. Вот текст этого письма:

«Вас недостойно обманули. Вашу жену предупредили, что вы за нею следите и она придумала, будто занимается благотворительностью, а на самом деле она шла на свидание с очень высокой особой, которая сняла комнату на пятом этаже, в доме по улице Тампль, под именем Родольфа.

Если вы сомневаетесь в этих обстоятельствах и они кажутся вам странными, сходите на улицу Тампль в дом семнадцать, порасспрашивайте, опишите внешность сиятельного жильца, о котором идет речь, и убедитесь, что вы самый доверчивый и добродушный муж, которого гнусно обманывают. Не пренебрегайте этим предупреждением, иначе многие подумают, что вы еще и слишком близкий друг принца».

Это письмо было отправлено по почте самой Сарой около пяти часов в тот день, когда она побывала у нотариуса.

В тот же день, приказав Грауну как можно скорее вызвать в Париж Сесили, Родольф вечером отправился на прием к супруге посла, г-же***. После этого он должен был зайти к маркизе д'Арвиль, чтобы сообщить, что нашел ей дело, заслуживающее ее внимания и милосердия.

Последуем за ним сразу к маркизе д'Арвиль. Мы узнаем из их беседы, что эта юная женщина, которая до сих пор относилась к своему супругу с предельной холодностью, последовала благородным советам Родольфа и проявила великодушие и понимание.

Маркиз и его супруга только что отобедали. Сцена происходила в маленькой гостиной, ко-

торую мы уже описывали. Лицо Клеманс было нежным и сочувственным, сам маркиз выглядел менее печальным, чем обычно.

Заметим, что он еще не получил новое и гнусное анонимное письмо Сары.

— Что вы делаете сегодня вечером? — спросил он машинально свою жену.

— Я не стану выходить... А вы?

— Право, не знаю, — ответил он со вздохом. — Эти светские сборища невыносимы... Наверное, проведу этот вечер, как всегда... в одиночестве.

— Почему же в одиночестве? Ведь я никуда не поеду! Маркиз д'Арвиль посмотрел на жену с удивлением.

— Да, конечно... однако...

— Так в чем же дело?

— Я знаю, что вы предпочитаете оставаться у себя, когда не выезжаете в свет...

— Это так, но у меня свои капризы, — с улыбкой ответила Клеманс. — Сегодня я очень хотела бы разделить свое одиночество с вами... если вы не возражаете.

— Это правда? — взволнованно воскликнул маркиз. — Как вы добры, что угадали мое желание, которое я не смел даже высказать!

— Знаете, друг мой, ваше удивление похоже

на упрек.

— Упрек? О нет, нет, но после моих жестоких и несправедливых подозрений я не мог и надеяться, что вы проявите такую доброту, поэтому, признаюсь, она меня удивила, но такая неожиданность — бесценный подарок.

— Забудем прошлое, — сказала маркиза с доброй улыбкой.

— Клеманс, как могу я все позабыть? — печально ответил маркиз. — Я осмелился вас заподозрить. Сказать вам, до какой низости довела меня слепая ревность?.. Но что все это по сравнению с моей виной перед вами, куда более страшной и непоправимой?

— Забудем прошлое, говорю вам, — сказала Клеманс, гоня от себя горестные воспоминания.

— Я не ослышался? Вы сможете тоже забыть это?

— Я надеюсь.

— И это правда? О Клеманс... такое великодушие... Однако нет, нет, я не верю в подобное счастье! Я от него отказался навсегда.

— И вы были неправы, теперь вы это видите.

— Господи, как все переменилось! Уж не сон ли это? О, скажите мне, что я не ослышался!

— Нет, вы не ослышались.

— В самом деле, вы смотрите на меня не так холодно. И голос ваш теплее... Скажите, неужели это правда? Может быть, это все мне только кажется?

— Нет, ибо я тоже перед вами виновата.

— Вы?

— И во многом. Разве я не была по отношению к вам несправедлива и даже жестока? Разве я подумала, что вам пришлось проявить редкое мужество, почти сверхчеловеческое самообладание, чтобы жить, как вы жили? Одинокий, несчастный... Как могли вы противиться единственной возможности найти утешение в браке с той, кого вы полюбили. Увы, когда человек страдает, он ищет утешения в великодушии своих близких... До сих пор вы рассчитывали только на мое великодушие... Так вот, я постараюсь вам доказать, что вы не были неправы.

— О, говорите, говорите! — воскликнул маркиз д'Арвиль, восторженно сжимая руки.

— Наши судьбы связаны навсегда, и я сделаю все, чтобы жизнь ваша не была так печальна...

— Господи! Боже мой! Клеманс, неужели вы мне это говорите?

— Прошу вас, не удивляйтесь так... Мне это тяжело... Я слышу в этом упрек, горький упрек

моему поведению в прошлом... Кто же пожалеет вас, кто протянет вам дружескую руку помощи, если не я? Меня осенила добрая мысль... Я подумала, хорошенько подумала о прошлом и будущем. Я признала свои ошибки и, мне кажется, нашла способ их исправить...

— Ваши ошибки? Бедная женщина!

— Да, на другой же день после нашей свадьбы я должна была обратиться к вашей совести и потребовать расторжения брака...

— Клеманс, умоляю!.. Сжальтесь!

— Но, раз уж смирилась со своим положением, я должна была оправдать его добротой и преданностью, а не быть вам постоянным молчаливым упреком, проявляя холодное высокомерие. Я должна была утешить вас в этом страшном несчастье и помнить только, что это ваша горькая беда. Постепенно я бы привыкла к роли сестры милосердия, к заботам о вас, может быть, даже к жертвам, а ваша признательность возместила бы мне все, и тогда... Но что с вами, господи? Вы плачете!..

— Да, плачу... И это благостные слезы... Вы не знаете, какие новые чувства пробуждают во мне ваши слова! О Клеманс, позвольте мне поплакать!.. Только сейчас я понял, какое преступление

совершил, связав вашу судьбу с моей, печальной судьбой!

— А я только сейчас почувствовала, что могу все забыть и простить. Ваши покаянные слезы принесли мне счастье, о котором я даже не знала. Поэтому мужайтесь, мой друг, мужайтесь! Не суждена нам райская и беспечная жизнь, но утешимся в исполнении долга, предназначенного нам судьбой. Будем терпимы друг к другу, а если станем слабеть, то поглядим на колыбель нашей дочки, отдадим ей все наши добрые чувства, и у нас еще останутся печальные и святые радости...

— Ангел, вы просто ангел!.. — воскликнул маркиз д'Арвиль, сжимая руки и глядя на жену со страстью и восхищением, — О Клеманс, вы сами не знаете, какое счастье и горе принесли мне! Вы не знаете, что самые жестокие ваши слова и самые горькие упреки в прошлом, быть может мною заслуженные, не ранят меня столь глубоко, как сейчас ваше нежное снисхождение, ваша великодушная терпимость... И все же, несмотря ни на что, вы пробуждаете во мне надежду. Вы даже не представляете, о каком будущем я смею мечтать!

— И вы можете полностью и слепо верить во все, о чем я говорю, Альбер. Моя решимость

тверда, клянусь вам, и я от своего решения не отступлюсь. Позднее я смогу представить вам новые доказательства...

— Доказательства? — воскликнул маркиз, ошеломленный столь неожиданной радостью. — Какие доказательства? Разве я в них нуждаюсь? Ваш взгляд, ваш тон, божественное выражение лица, которое делает вас еще прекраснее, мое сердце, которое бьется и трепещет, — разве все это не доказывает мне; что вы говорите святую правду? Вы знаете, Клеманс, мужчины ненасытны в своих желаниях, — добавил маркиз, приближаясь к креслу своей жены. — Однако ваши благородные и трогательные слова внушают мне надежду, даже смелость надеяться на счастье... которое еще вчера казалось мне безумной и недостижимой мечтой!

— О чем вы? — спросила Клеманс, немного встревоженная страстными словами мужа. — Я не совсем понимаю...

— Да, да! — воскликнул он, сжимая руку жены. — Ваша нежность, ваши заботы, ваша любовь... Вы слышите, Клеманс?.. Любовь! Я надеюсь на вашу любовь, не на бледную, чуть теплую симпатию, а на пылкую страсть, подобную моей... О, вы не знаете глубины этой страсти! Я не смел даже

говорить о ней... Вы всегда были ко мне так холодны... Никогда ни единого доброго слова... Никогда ни одного из тех слов, которые сейчас заставили меня плакать... и сейчас внушают надежду на счастье... Да, на счастье, которое я заслуживаю! Ибо я всегда так любил вас... и так страдал, не смея об этом сказать... Сердце мое разрывалось от боли, и я страдал. Я страшился людей, у меня был замкнутый, угрюмый характер, и все от этого. И представьте, каково было мне, ведь в моем доме жила очаровательная и обожаемая женщина, моя жена, которую я жаждал с пылкой любовью, сгорал от страсти, но был обречен на одинокие, горячечные бессонные ночи... О нет, вы не знаете моих слез отчаяния, моей бессильной ярости! Уверяю вас, если бы знали, вы бы сжалились надо мной. Но что я говорю? Разве вы об этом не знаете? Не догадывались о моих мучениях? Вы все поняли, обо всем догадались и понимали меня... Ваша несравненная красота, ваша грация, обаяние перестанут быть для меня повседневной сладостной пыткой, не так ли? Это самое драгоценное из всех сокровищ, которые принадлежат мне и которым я не обладаю... оно будет скоро моим... Да, мое сердце, мое опьянение, моя невыразимая радость говорят мне, что

так оно и будет! Не правда ли, моя любимая, моя нежная подруга?

С этими словами маркиз д'Арвиль припал к руке своей жены со страстными поцелуями.

Клеманс, ошеломленная тем, как неправильно понял ее маркиз, испытала ужас и почти отвращение и чуть было не отдернула свою руку.

Лицо ее слишком откровенно выражало ее чувства, чтобы маркиз мог в них ошибаться.

Это было для него ужасным ударом. Лицо его исказилось гримасой отчаяния. Г-жа д'Арвиль живо протянула ему руку и воскликнула:

— Альбер! Клянусь вам, я буду вам самой верной подругой, самой нежной сестрой... но не более... Простите, простите меня, если мои слова подали вам надежду, которой никогда не сбыться... Я не смогу!

— Никогда?.. — воскликнул маркиз д'Арвиль, устремив на свою жену умоляющий и отчаянный взгляд.

— Никогда, — ответила Клеманс.

Это единственное слово, и как оно было произнесено, дало понять, что решение ее окончательное.

Родольф своими уговорами убедил Клеманс, что она должна нежно заботиться о своем муже,

и она на это решилась, но испытывать к нему любовь не могла.

И еще одно чувство, более властное, чем ужас, презрение или ненависть, навсегда отталкивало ее от мужа.

Это было непреодолимое отвращение.

После минуты тягостного молчания маркиз д'Арвиль смахнул рукой слезы и сказал своей жене с печалью и горечью:

— Простите, что я так ошибся. Простите, что я понадеялся так безумно...

И, помолчав, он воскликнул:

— Боже, как я несчастен!

— Друг мой, — тихонько сказала ему Клеманс, — я не хотела бы вас упрекать, и все же. Неужели для вас ничего не значит мое обещание, что я буду вам самой нежной сестрой?.. Моя дружба и преданность — не заменят ли они вам то, что не может вам дать любовь? Надейтесь! Надейтесь на лучшие дни... До сих пор вы находили, что я безразлична к вашим горестям. Теперь вы увидите, как я вас жалею и какое утешение вы найдете в моем сочувствии.

Постучав, вошел лакей и сказал Клеманс:

— Его высочество великий герцог Герольштейна спрашивает маркизу, может ли она его

принять.

Клеманс взглядом спросила мужа. Д'Арвиль, овладев собой, ответил жене:

— Разумеется! Лакей вышел.

— Простите меня, друг мой, — продолжала Клеманс. — Я не отказываюсь принимать... И к тому же вы так давно не видели принца; он будет рад увидеть вас здесь.

— Я тоже с удовольствием, — ответил маркиз д'Арвиль. — Однако, признаюсь, я сейчас так взволнован, что предпочел бы принять его в другой день...

— Я вас понимаю... Но что делать? Вот и он.

В тот же момент лакей объявил о госте, и Родольф вошел.

— Бесконечно счастлив, что имею честь видеть вас, сударыня, — сказал Родольф. — И дважды счастлив, что мне довелось встретиться с вами, дорогой мой Альбер, — добавил он, обращаясь к маркизу и дружески пожимая ему руку.

— В самом деле, монсеньор, я уже давно не имел чести выказать вам мои самые...

— Полно, полно! А кто виноват, господин невидимка? Последний раз, когда я пришел поухаживать за госпожой д'Арвиль, я вас спрашивал, но вы куда-то исчезли! Вот уже три недели,

как вы обо мне забываете; это непростительно...

— Не жалейте его, монсеньор! — с улыбкой сказала Клеманс. — Маркиз д'Арвиль столь же виноват перед вами, сколь глубока его преданность вашему величеству, и лишь из этого можно судить о тяжести его вины.

— Простите мое тщеславие, но, понимаете, что бы ни сделал д'Арвиль, я никогда не усомнюсь в его преданности. О, я не должен был этого говорить!.. Иначе он примет мои слова как поощрение своему невниманию ко мне.

— Поверьте, монсеньор, лишь крайние и непредвиденные обстоятельства не позволяли мне пользоваться вашей добротой...

— Между нами, дорогой Альбер, мне кажется, вы относитесь к истинной мужской дружбе слишком платонически: зная, что вас любят, вы не слишком заботитесь о том, что друзьям нужно что-то давать, получая нечто реальное.

Маркизу слегка покоробило это легкое отступление от придворного этикета, но в этот момент появился лакей с письмом для г-на д'Арвиля.

Это было анонимное письмо Сары Мак-Грегор, в котором она утверждала, что принц — любовник маркизы.

Из уважения к принцу маркиз отстранил ру-

кой маленький серебряный поднос с письмом и сказал слуге:

— Потом... Позднее...

— Дорогой Альбер, — сказал Родольф самым любезным тоном. — Неужели я вас стесняю?

— Монсеньор...

— С разрешения маркизы... прошу вас, прочтите это письмо.

— Уверяю вас, монсеньор, тут нет никакой срочности...

— Еще раз, Альбер, прочтите это письмо!

— Но, монсеньор...

— Я прошу вас... Я велю вам!

— Если ваше высочество желает, — растерянно сказал маркиз и взял письмо с подноса.

— Да, я желаю, и желаю, чтобы вы относились ко мне как к другу.

Затем он обратился к маркизе, пока д'Арвиль распечатывал роковое письмо, о содержании которого Родольф не мог даже подозревать, и добавил с улыбкой:

— Вы одержали победу! Вам снова удалось переубедить этого неисправимого упрямца!

Маркиз д'Арвиль подошел к одному из канделябров у камина и открыл письмо Сары Мак-Грегор.

Часть V

Глава I.
СОВЕТ

Родольф и Клеманс мирно беседовали, пока д'Арвиль во второй раз перечитывал письмо Сары.

Лицо маркиза оставалось спокойным, лишь рука его заметно подрагивала, когда он, чуть помедлив, спрятал письмо в карман жилета.

— Я рискую еще раз показаться дикарем, — сказал он с улыбкой Родольфу, — но прошу у вас позволения, монсеньор, пойти ответить на это письмо, которое оказалось важнее, чем я думал.

— Я вас еще увижу сегодня?

— Боюсь, не смогу удостоиться этой чести, монсеньор. Надеюсь, ваше высочество извинит меня.

— Какой непредсказуемый человек! — весело сказал Родольф. — Может быть, вы, сударыня, сумеете его удержать?

— Я не осмелюсь и пытаться, если вы потерпели в этом неудачу, ваше высочество.

— Серьезно, дорогой Альбер, прошу вас, постарайтесь вернуться к нам, когда покончите с этим

письмом... Если же не сумеете, обещайте уделить мне несколько минут утром... Мне так нужно вам многое рассказать.

— Для меня это большая честь, ваше высочество, — ответил маркиз с глубоким поклоном.

Он удалился, оставив Клеманс наедине с принцем.

— Ваш муж чем-то озабочен, — сказал Родольф маркизе. — Улыбка у него показалась мне вымученной.

— Когда ваше высочество приехали, д'Арвиль был глубоко взволнован и с трудом сумел это скрыть от вас.

— Может быть, я приехал некстати?

— Наоборот, монсеньор. Вы меня избавили от продолжения трудного разговора.

— Каким образом?

— Я сказала мужу о своем решении установить между нами иные отношения, обещая ему поддержку и утешение во всем остальном.

— Наверное, он был счастлив!

— Сначала так же счастлив, как я; ибо слезы его, его радость вызвали у меня такое чувство, какого я еще никогда не испытывала... В прошлом я думала, что мщу ему своими упреками, своей горькой иронией... Грустное отмщение! Моя печаль ста-

новилась потом еще горше. И вот сейчас... все переменилось! Я спросила мужа, собирается ли он сегодня выезжать. Он печально ответил, что останется дома, как это уже частенько бывало. Когда я предложила посидеть вместе с ним... если бы видели, как он изумился, монсеньор! Его лицо, всегда такое мрачное, вдруг озарилось! Ах, вы были тысячу раз правы, нет ничего прекраснее, чем дарить нежданное счастье!

— Но каким образом эти доказательства доброты с вашей стороны привели к столь печальному окончанию вашего разговора?

— Увы, монсеньор, — ответила Клеманс краснея. — Я подала ему надежду на тихое счастье, которое могла подарить, однако мои слова пробудили в нем гораздо более пылкие надежды, о которых я даже не думала... потому что удовлетворить их я не в силах.

— Понимаю... Он вас так нежно любит...

— Вначале я была бесконечно тронута его признательностью, но затем была столь же испугана и ошеломлена его страстными речами... И наконец, когда в порыве чувств он припал губами к моей руке, смертельный холод охватил меня и я не сумела скрыть свой ужас... Я нанесла ему тяжкий удар, выразив таким образом, насколько

невозможна для меня его любовь... Мне очень жаль... Однако маркиз, по крайней мере сейчас, убедился, что, несмотря на мое возвращение, может ожидать от меня только самой преданной дружбы, но не более...

— Мне жаль его, но я не могу вас порицать. Есть чувства слишком глубокие, священные. Бедный Альбер! Такой добрый, такой справедливый и при этом с таким храбрым сердцем и такой пылкой душой! Если бы вы знали, как давно меня беспокоила его невыразимая печаль, хотя мне и не была известна ее причина... Что ж, подождем, время все рассудит. Постепенно он оценит по достоинству дружбу, которую вы ему предлагаете, и смирится, как мирился до сих пор со своим положеньем, не слыша от вас добрых слов утешения.

— Но теперь он будет слышать их все время, клянусь вам, монсеньор!

— А теперь подумаем о других несчастьях. Я пообещал вам благотворительное дело, похожее на захватывающий роман... Только что мне удалось выполнить мое обещание.

— Так скоро, монсеньор? О, я счастлива!

— Да, мне просто необычайно повезло, когда я снял ту бедную комнатку на улице Тампль, о которой я вам говорил... Вы не можете предста-

вить, сколько интересного и странного я нашел в этом доме!.. Прежде всего, ваши подопечные из мансарды пользуются всеми благами, которые обещало им ваше посещение, хотя им еще предстоят жестокие испытания... Но не буду вас огорчать... Когда-нибудь вы узнаете, какие ужасные беды могут разом обрушиться на одну семью...

— Как же они, должно быть, благодарят вас!

— Они благословляют ваше имя.

— Вы помогли им от моего имени, монсеньор?

— Чтобы добрая помощь показалась им слаще... Кроме того, я всего лишь исполнил ваши обещания.

— О, я пойду к ним и расскажу всю правду, чтобы они знали, кто их истинный благодетель.

— Не делайте этого! Вы знаете, у меня в этом доме комната, и нам следует опасаться новых трусливых козней ваших и моих врагов... К тому же Морели сейчас ни в чем не нуждаются... Подумаем лучше о нашем деле. Речь идет о бедной матери и ее дочери, которые жили раньше в полном достатке, а теперь, в результате подлых интриг, доведены до последней крайности.

— Несчастные женщины! Где они живут?

— Я этого не знаю.

— Но как же вы узнали об их беде?

— Вчера я побывал в Тампле... Вы знаете, что такое Тампль, маркиза?

— Нет, монсеньор.

— Это очень забавный с виду базар; я отправился туда купить кое-что с моей соседкой с пятого этажа...

— Вашей соседкой?

— Я же говорил, что снимаю комнату на улице Тампль.

— О, я забыла, монсеньор.

— Эта соседка, прелестная маленькая гризетка, зовут ее Хохотушка, и она в самом деле все время смеется, и у ней никогда не было любовника.

— У гризетки — и такая добродетель?

— Тут дело не только в добродетели; она ведет себя так скромно, потому что на любовные интрижки, как она сама говорит, у нее просто не хватает времени, потому что ей приходится шить по двенадцать — пятнадцать часов, чтобы заработать двадцать пять су, на которые она живет.

— Она может жить на такие гроши?

— И еще как! Она даже позволяет себе роскошь держать двух птичек, которые едят больше, чем она сама; у нее удивительно чистенькая комнатушка, и сама одевается очень мило и

кокетливо.

— Жить на двадцать пять су в день? Это какое-то чудо!

— Да, настоящее чудо порядка, экономности, трудолюбия и практической философии, можете мне поверить. Поэтому я вам ее рекомендую; она говорит, что очень неплохо шьет... Впрочем, вам совсем необязательно носить сшитые ею платья...

— Завтра отошлю ей заказ... Бедная девочка! Жить на такую ничтожную сумму, которую мы бы даже не заметили! Ведь при нашем богатстве на малейший каприз мы тратим в сто раз больше!

— Значит, вы не забудете мою маленькую подопечную? Прекрасно. Однако вернемся к нашему приключению. Итак, я отправился с мадемуазель Хохотушкой в Тампль кое-что купить для ваших бедняков с мансарды, и там, совершенно случайно, в ящике старого секретера, выставленного на продажу, я нашел черновик письма, в котором неизвестная женщина жаловалась третьему лицу, что ее с дочерью довел до полной нищеты обманувший ее доверенный нотариус. Я спросил у торговки, откуда этот секретер. Он был частью скромной мебели, которую продала молодая дама, очевидно оставшаяся без всяких средств...

Эта женщина и ее дочь, по словам торговки, с виду были из хорошей семьи и гордо переносили свою нужду.

— И вы не знаете, где они живут, монсеньор?

— К сожалению, нет... Пока не знаю... Но я приказал барону Грауну отыскать их и, если нужно, обратиться в полицейскую префектуру. Вполне возможно, что мать с дочерью, лишенные всякого состояния, нашли себе прибежище в каких-нибудь жалких меблированных комнатах. Если это так, у нас есть надежда на успех, потому что хозяева таких домов записывают каждый вечер постояльцев, которые прибывают к ним днем.

— Какие странные стечения обстоятельств! — с удивлением сказала г-жа д'Арвиль. — Как это увлекательно!

— Но это еще не все... На углу черновика из старого секретера сохранилась такая строчка: «Написать герцогине де Люсене».

— Какое счастье! Может быть, мы что-то узнаем от герцогини! — живо воскликнула маркиза. Затем со вздохом добавила: — Но мы не знаем имени этой женщины... Как описать ее герцогине?

— Надо спросить ее, не знает ли она еще молодую вдову с благородным лицом, у которой есть дочь шестнадцати-семнадцати лет по имени

Клэр... Я сейчас вспомнил это имя.

— Ее зовут так же, как мою дочь! Мне кажется, это еще одна причина заняться судьбой несчастных...

— Я забыл вам сказать, что брат этой вдовы покончил с собой несколько месяцев назад.

— Если герцогиня знает эту семью, — чуть подумав, продолжила г-жа д'Арвиль, — таких сведений будет вполне достаточно, чтобы пробудить ее память. К тому же трагическая смерть несчастного должна была поразить герцогиню. Господи! Мне не терпится поскорее ее увидеть! Я напишу ей вечером записку, чтобы наверняка повстречаться с ней завтра утром. Кто бы могли быть эти женщины? Судя по тому, что вы о них знаете, они должны принадлежать к высшему классу общества... И вдруг оказаться в такой нужде!.. Увы, для них подобная нищета должна быть ужасна вдвойне.

— И все это благодаря гнусному обману нотариуса, отвратительного вора и мошенника, за которым я знаю и другие преступления... некоего Жака Феррана!

— Но ведь это нотариус моего мужа! — воскликнула маркиза. — Он же — нотариус моей мачехи! Нет, вы ошибаетесь, монсеньор; его все считают

честнейшим человеком на свете.

— У меня есть доказательства обратного. Однако прошу вас никому не говорить о моих подозрениях, вернее, о моей твердой убежденности относительно этого негодяя. Он столь же хитер, сколь преступен, и, чтобы сорвать с него маску, мне нужно, чтобы еще несколько дней он верил в свою безнаказанность. Да, это именно он разорил несчастных женщин, нагло отрицая, будто получил от них на сохранение значительную сумму, которую ему, по всей видимости, вручил брат этой вдовы.

— Значит, эта сумма...

— Была все, чем они располагали!

— Какое низкое преступление...

— Да, подобные преступления не могут оправдать ни нужда, ни страсть! — воскликнул Родольф. — Часто голод толкает человека на воровство, жажда мести — на убийство... Но этот нотариус, и без того достаточно богатый человек, завоевавший в обществе репутацию почти святого, обладающий характером, который вызывает, внушает доверие... этого человека толкает на преступление только холодная и неумолимая алчность. Убийца убивает только однажды и мгновенно своим ножом. А он убивает вас мед-

ленно, заставляя терпеть все муки отчаяния и нищеты, в которые он вас постепенно погружает... Для такого, как этот Ферран, нет ничего святого: ни сиротское наследство, ни сбережения бедняка, собранные с таким трудом... Вы ему доверяете золото, а перед золотом он не может устоять, и он вас обворовывает. Из богатого и счастливого человека злая воля этого мерзавца превращает вас в несчастного бедняка... Ценой лишений и тяжкого труда вы обеспечили себе к старости кров и кусок хлеба... Злая воля этого человека лишает под старость вас и хлеба и крова. И это еще не все. Подумайте об ужасных последствиях его гнусного воровства и обмана!.. Если эта вдова, о которой мы говорим, умрет от горя и отчаяния, ее дочь, молодая и красивая, без всяких средств и поддержки, привыкшая с детства к достатку и совершенно не способная по своему воспитанию зарабатывать себе на жизнь, скоро окажется перед страшным выбором: бесчестие или голодная смерть! Стоит ей однажды оступиться, упасть, и она навсегда пропала, обесчещена, опозорена!.. Своей кражей Жак Ферран убил мать и сделал проституткой дочь. Он убил тело матери и душу дочери, и это, повторяю, не сразу, как обычный убийца, а постепенно, медленно и жестоко.

Клеманс никогда еще не слышала, чтобы Родольф говорил с такой горечью и возмущением; она слушала молча, пораженная его суровым красноречием, которое изобличало его непримиримую ненависть ко злу.

— Извините меня, — продолжал Родольф, немного помолчав, — но я не мог сдержать негодования при одной только мысли о страшной участи, которая ожидала ваших будущих подопечных. Ах, поверьте, никогда нельзя представить, какие последствия влекут за собой разорение и нищета.

— О, наоборот, благодарю вас, монсеньор, ваши ужасные слова только усилили, если это возможно, мою жалость и сочувствие к несчастной матери. Увы, она, должно быть, больше всего страдает за свою дочь... О, как это страшно... Но мы их спасем, мы обеспечим их будущее, не правда ли, монсеньор? Слава богу, я достаточно богата; правда, не настолько, как я бы желала сейчас, когда увидела новое применение моим средствам, но, если понадобится, я могу обратиться к д'Арвилю; я постараюсь сделать его таким счастливым, что он не сможет отказать мне в моих новых капризах, а я предвижу, что подобных капризов у меня будет немало. Вы сказали, что

наши подопечные горды; за это я их еще больше люблю. Гордость в несчастье свидетельствует о возвышенной душе... Я найду способ спасти их так, чтобы они подумали, будто обязаны своим спасением моему благодеянию... Это будет непросто, но тем лучше! О, у меня уже есть одна мысль... Вы увидите, монсеньор, увидите, что у меня достанет ловкости и тонкого такта.

— Я уже предвижу самые изощренные комбинации в духе Макиавелли, — с улыбкой сказал Родольф. — Но сначала надо их отыскать.

— Не знаю, как я дотерплю до завтра! Повидав герцогиню Люсене, я отправлюсь на их прежнюю квартиру, расспрошу всех соседей, увижу все своими глазами, соберу все сведения. Я готова даже назвать себя, если понадобится! Мне так хочется самой, без чужой помощи, добиться желанных результатов... И я их добьюсь... Это такое волнующее и трогательное приключение. Бедные женщины! Мне кажется, они мне становятся еще ближе, когда я думаю о своей дочери.

Взволнованный ее милосердным порывом, Родольф с грустью думал об этой двадцатилетней женщине, такой прекрасной, любящей, которая старается в благородных заботах о других позабыть о своем собственном горе и домашних

невзгодах. Глаза Клеманс сверкали, щеки слегка порозовели, живость движений и слов придавали еще большую привлекательность всему ее очаровательному облику.

Глава II.
ЛОВУШКА

Маркиза д'Арвиль заметила, что Родольф в молчании пристально разглядывает ее. Она покраснела, опустила глаза, затем снова подняла их и сказала с прелестным смущением: — Вы смеетесь над моими восторгами, монсеньор! А мне вот не терпится вкусить простые радости, которые оживят мою жизнь, до сих пор такую печальную и бесполезную. Поистине я мечтала об иной судьбе. Есть одно чувство, высшее счастье, которого мне никогда не узнать. И хоть я еще молода, мне пришлось от него отказаться, — добавила Клеманс со сдержанным вздохом. Затем продолжала: — Но благодаря вам, мой спаситель, снова благодаря вам у меня появились другие интересы; благотворительность заменит мне любовь. Ваши советы уже помогли мне познать новые волнующие чувства! Ваши слова, монсеньор, утешают и ободряют меня!.. Чем больше я размышляю, чем больше проникаюсь вашими идеями, тем они мне кажутся вдвойне справедливыми, великими и плодотворными. И

еще, когда я думаю, что вы не только сжалились над моими несчастьями, которые не должны были вас касаться, но также подавали мне самые мудрые, спасительные советы и шаг за шагом вели по этому новому пути, который вы открыли моему бедному измученному горем сердцу... о, монсеньор, какие же сокровища доброты скрываются в вашей душе? Откуда вы черпаете столько сочувствия и великодушия к людям?

— Я много страдал и сейчас страдаю, поэтому знаю тайну многих горестей!

— Вы, монсеньор? Вы несчастны?

— Да, ибо можно сказать, что судьба заставила меня пережить все несчастья, чтобы я мог их понимать и сострадать. Я дружил — и судьба поразила меня рукой друга; я любил со всем пылом и доверчивостью юности — и первая любовь обманула меня; я стал супругом — и судьба нанесла мне удар в лице моей жены; как сын я был поражен рукою отца; как отец я был убит смертью моего ребенка.

— Я думала, монсеньор, что у великой герцогини не было детей.

— Да, это так, но еще до брака у меня была дочь, которая умерла совсем маленькой... Вам это может показаться странным, однако утрата этого

ребенка, которого я почти не видел, омрачила всю мою жизнь. И с возрастом боль становится все сильнее! Каждый год удваивает мою горечь, можно сказать, она возрастает по мере того, как росла бы моя дочь. Теперь ей было бы семнадцать лет!

— А где ее мать, монсеньор? Она жива? — минуту поколебавшись, спросила Клеманс.

— О, не говорите мне об этом! — воскликнул Родольф, и черты его омрачились при одном воспоминании о Саре. — Ее мать недостойное создание, душа, окаменевшая от эгоизма и честолюбия. Иногда мне кажется, что моей дочери лучше было умереть, чем остаться на руках у подобной матери.

Клеманс почувствовала некое удовлетворение от этих жестоких слов Родольфа.

— Да, теперь я понимаю, что вы вдвойне горюете о вашей дочери! — воскликнула Клеманс.

— Я бы ее так любил!.. И потом, мне кажется, что у нас, владетельных князей, в любви к сыну, к наследнику, всегда примешиваются соображения имени и рода, подспудный политический интерес. Но дочь! Дочь любят только ради нее самой. Именно потому, что мы часто видим человечество в самом неприглядном обличии,

для нас есть особая радость и отдохновение в созерцании невинной и чистой души. О, как сладостно вдыхать аромат непорочности, следить с беспокойством и нежностью за первыми, еще неловкими движениями дочки! Ни одна самозабвенно любящая мать, как бы она ни гордилась своей дочерью, не испытывает невыразимой сладости этих чувств; все это ей слишком близко и знакомо, поэтому она скорее оценит достоинства храброго и доблестного сына. И потом, вы не находите, что в любви матери к сыну и отца к дочери есть нечто трогательное? Сильный всегда покровительствует слабому, который нуждается в защите. Но сын защищает мать, а отец защищает дочь.

— Да, это так, монсеньор.

— Но, увы, к чему говорить об этих неизъяснимых радостях, если нам не дано их испытать? — с горечью закончил Родольф.

В голосе его прозвучала такая душераздирающая боль, что Клеманс не смогла сдержать предательскую слезу.

После недолгого молчания Родольф, чуть не краснея из-за того, что не сдержал своих чувств, с печальной улыбкой сказал г-же д'Арвиль:

— Простите, сударыня, мои сожаления и горь-

кие воспоминания оказались сильнее меня. Еще раз прошу прощенья...

— Ах, монсеньор, поверьте, я разделяю ваше горе. Разве у меня нет на это права? Разве вы не разделяете мои страдания? К сожалению, я ничем не могу вас утешить...

— Что вы! Ваше доброе сочувствие так помогает мне. Иметь возможность высказаться — уже великое утешение, а я не стал бы говорить о своих страданиях, если бы не сердечность нашего разговора, которая пробудила во мне горькие воспоминания. С моей стороны это слабость, но, когда заходит речь о юной девушке, я невольно вспоминаю дочь, которую утратил...

— Но это же так естественно! Вот послушайте, с тех пор как я повидалась с вами, монсеньор, я несколько раз сопровождала одну знатную даму во время ее визита в тюрьму: она покровительствует молодым женщинам, заключенным в Сен-Лазаре. Там сидят далеко не невинные создания. Если бы я не была матерью, я судила бы их строже... а я ощущаю болезненную жалость при мысли, что, может быть, они не пали бы так низко, если бы не жили с детства в нищете и заброшенности. Не знаю почему, но после этого мне кажется, что я люблю свою дочь еще больше... И

маркиза залилась слезами.

— Я только надеюсь, что вы не откажете мне в поддержке и в советах, не правда ли, монсеньор?

— Где бы я ни был, далеко или близко, я всегда буду с живейшим интересом следить за вами... И насколько это от меня зависит, постараюсь сделать все, чтобы вернуть счастье вам... и человеку, которого издавна считаю верным и близким другом.

— О, спасибо, спасибо за это обещание, монсеньор! — воскликнула Клеманс, утирая слезы. — Без вашей великодушной поддержки я бы, наверное, не выдержала, но, поверьте мне, клянусь вам, теперь я найду силы мужественно выполнять мой долг.

При этих словах маленькая дверь, скрытая под обоями, внезапно распахнулась.

Клеманс вскрикнула, Родольф вздрогнул.

Появился маркиз д'Арвиль, бледный, взволнованный и глубоко тронутый: на глазах его блестели слезы.

Когда прошел первый миг удивления, маркиз шагнул к Родольфу.

— Монсеньор, — сказал он, протягивая принцу письмо Сары. — Вот гнусное письмо, которое я только что получил у вас на глазах... Прошу вас

сжечь его, но предварительно прочтите.

Клеманс ошеломленно смотрела на мужа.

— Боже, какая низость! — вскричал Родольф, пробежав глазами письмо.

— Да, монсеньор, но есть вещи еще более низкие, чем эта подлая клевета... Мое поведение!

— Что вы хотите этим сказать?

— Только что, вместо того чтобы смело и открыто показать вам это письмо, я сделал вид, что спокоен, но в сердце у меня бушевала ревность, ярость и отчаяние... И это не все. Знаете, что я сделал, монсеньор? Я постыдно спрятался за этой дверцей, чтобы вас подслушивать... Да, я пал достаточно низко, чтобы усомниться в вашем благородстве, в вашей чести... О, гнусный автор подобных писем знает, кому их адресовать. Он знает, как слаба моя голова... Так вот, монсеньор, скажите, после того, как я услышал все, что здесь говорилось, ибо я не пропустил ни единого слова, после того, как опустился до недоверия к вам и поверил этой ужасной клевете, заподозрив... скажите, могу ли я на коленях умолять вас о жалости и пощаде? И я умоляю вас, смотрите, смотрите, Клеманс, ибо я могу теперь надеяться только на ваше великодушие!

— Боже мой, дорогой Альбер, за что мне вас про-

щать? — сказал растроганный Родольф, сердечно протягивая маркизу руки. — Теперь вы знаете все наши секреты, я очень этому рад и могу вас только пожурить, что и сделаю с удовольствием. Невольно я проник в вашу тайну, так сказать, стал вашим наперсником, но что еще лучше, вы стали наперсником маркизы, то есть вы знаете теперь, чего вам ждать от ее благородного сердца.

— А вы, Клеманс, — печально обратился маркиз д'Арвиль к жене, — простите ли вы и этот мой грех?

— Да, при условии, что вы мне поможете вернуть вам счастье и радость.

Она протянула мужу руку, и он с волнением пожал ее.

— Поистине, дорогой маркиз, наши враги изрядно просчитались! — воскликнул Родольф. — Благодаря их козням мы стали дружнее, чем прежде. Без них вы никогда бы не смогли по достоинству оценить госпожу д'Арвиль, а она — выказать до конца свою преданность вам. Признайтесь, мы хорошо отомстили всем этим завистникам и злодеям! Пока все хорошо, но лучшее — впереди. Потому что я догадываюсь, кем нанесен удар, и не в моих обычаях терпеть зло, причиняемое моим друзьям. Но это уже моя

забота. Прощайте, маркиза, наш заговор раскрыт, но зато теперь у вас будет помощник в заботах о ваших подопечных. Можете быть спокойны, мы скоро придумаем еще какую-нибудь тайную интригу, и пусть маркиз сам попытается угадать наш секрет!

Проводив Родольфа до кареты, чтобы еще раз поблагодарить его, маркиз прошел прямо к себе, не заходя к Клеманс.

Глава III.
РАЗМЫШЛЕНИЯ

Трудно описать сумбурные и противоречивые чувства, которые обуревали маркиза д'Арвиля, когда он остался один.

Он радовался, что низкая клевета на Родольфа и Клеманс оказалась подлой ложью, но в то же время должен был отказаться от надежды, что Клеманс его когда-нибудь полюбит. Кроме того, в разговоре с Родольфом Клеманс решительно показала себя храброй, готовой на самопожертвование. Но из-за этого он еще более горько упрекал себя в преступном эгоизме, за то, что приковал к себе цепями супружества эту несчастную женщину...

Подслушанный им разговор совсем не утешил его, наоборот, он впал в мрачность, им овладела невыразимая тоска.

Богатство и праздность ужасны тем, что не могут отвлечь человека и делают его беззащитным перед жизненными невзгодами и страданиями. Праздному богачу не приходится думать о будущем, он не занят повседневным трудом и по-

этому оказывается целиком во власти жестоких душевных мук.

Имея все, что можно купить за деньги, богач мечтает или горячо сожалеет о том, чего не купишь ценой золота.

Страдания маркиза д'Арвиля были беспредельны, потому что он в конечном счете желал только того, что было справедливо и законно: «Владеть своей женой, рассчитывать на ее любовь».

И теперь, встретив решительный отказ Клеманс, он спрашивал себя, не звучат ли жестокой насмешкой слова закона:

«Жена принадлежит мужу своему».

К какой власти, какому принуждению должен прибегнуть он, чтобы победить ее холодность, ее отвращение, которые превратили его жизнь в нескончаемую пытку, ибо он не должен был, не хотел и не мог любить никого, кроме своей жены?

Ему было ясно, что в его случае, как и во многих других семейных трагедиях, одна только воля мужа или жены была сильнее и непреложнее любых законов государства и церкви, и тут уже ничего нельзя изменить.

За приступами бессильного гнева обычно следовали периоды мрачного уныния.

Будущее страшило его, казалось непроглядно-темным и холодным.

Он предчувствовал, что эти боль и тоска несомненно сделают более частыми приступы его ужасной болезни.

— О, я сам виноват, во всем виноват! — восклицал он с отчаянием и нежностью. — Несчастная, бедная женщина! Я обманул ее, недостойно обманул! Она может... она должна меня ненавидеть... И все же только что она проявила ко мне такое трогательное сочувствие... А я, вместо того чтобы радоваться этому, поддался своей безумной страсти, воспылал, заговорил о любви, но, едва мои губы коснулись ее руки, она содрогнулась от ужаса. Если я до сих пор еще мог сомневаться, что внушаю ей непреодолимое отвращение, то, что она сказала принцу, не оставило мне никакой надежды. О, как это ужасно... ужасно!

Но по какому праву она доверила ему нашу страшную тайну? Это недостойная измена! По какому праву? Увы, наверное, по праву жертвы, которая жалуется на своего палача. Бедная девочка, такая юная, такая любящая, и. все, что она смела сказать о страшной участи, которую я ей уготовил, это... что не о такой судьбе она мечтала и что была еще слишком молода, чтобы

отказаться от любви! Я знаю Клеманс. Отныне и навсегда она будет держать слово, которое дала мне и принцу. Она будет мне самой нежной и доброй сестрой... Что ж, не достойно ли мое положение зависти? Вместо холодных и сдержанных отношений между нами придут нежность и тепло, хотя она могла бы по-прежнему смотреть на меня с леденящим презрением, и была бы права, а я виновен.

Ну что ж, утешимся тем, что она мне предлагает. Разве это не слишком большое счастье?.. Счастье? Как же я слаб, как труслив! Разве она не моя жена? Моя! Только моя! Закон признает мою власть над ней... Если жена противится, я имею право...

Он прервал свой монолог сардоническим хохотом.

— О да, насилие, не правда ли? Теперь уже насилие! Еще одна низость. Но что же мне делать? Ведь я люблю ее, люблю как безумный! И люблю только ее и не хочу другой... Я жажду ее любви, а не тепловатой сестринской нежности. О, когда-нибудь она должна надо мною сжалиться, ведь она так добра, она поймет, как я несчастен! И все же нет, никогда! Есть разделяющее нас чувство, которое женщина никогда не сможет

превозмочь. Отвращение... Да, отвращение, ты слышишь? Отвращение... Надо понять и смириться. Твоя страшная болезнь будет всегда внушать ей ужас, всегда, ты понимаешь? — вскричал маркиз с отчаянием и болью.

После нескольких минут мрачного молчания он продолжал:

— Эта анонимная клевета, обвиняющая принца и мою жену, отправлена вражеской рукой. И только что, пока я их не услышал, я был способен его подозревать! Подозревать его в трусливой, подлой измене! И мою жену вместе с ним! О господи, ревность неизлечима. И все же я не должен обольщаться. Если принц, который любит меня как самого верного и великодушного друга, побуждает Клеманс отдать свое сердце и разум благотворительным делам, если он обещает ей свой совет и поддержку, значит, она нуждается в его совете и поддержке.

В самом деле, такая юная, такая красивая, окруженная воздыхателями, и без любви в сердце, которая ее бы защищала, почти освобожденная от всяких обязательств моим жестоким обманом, разве она не может когда-нибудь оступиться и пасть?

Какая пытка! Боже, как я страдаю! Когда я поду-

мал, что она способна... Какая страшная агония! Нет, это все пустые страхи. Клеманс поклялась, что никогда не изменит своему долгу... Она сдержит свое обещание... но какой ценой, господи, какой ценой! Только что, когда она приближалась ко мне со словами сочувствия и нежной, печальной, отрешенной улыбкой, как же мне было больно! Сколько же ей стоило это возвращение к своему палачу! Бедная женщина! Как она была трогательна и прекрасна! Впервые в жизни ощутил я жгучие угрызения совести, ибо до сих пор мстил всем за себя холодным презрением. Какой я несчастный, господи, какой я несчастный!

После долгой бессонной ночи, проведенной в горьких размышлениях, маркиз д'Арвиль перед рассветом внезапно успокоился.

Он ждал наступления дня с нетерпением.

Глава IV.
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Утром маркиз д'Арвиль позвонил в колокольчик, вызывая своего камердинера. Старик Жозеф был предельно удивлен, когда услышал, войдя в спальную своего хозяина, что тот напевает охотничью песенку, — очень редкий, но зато верный признак, что маркиз д'Арвиль пребывает в отличном настроении.

— Ах, господин маркиз, — с умилением сказал верный слуга, — какой у вас чудный голос! Жалко, что вы так редко поете.

— В самом деле, Жозеф? — со смехом спросил д'Арвиль. — У меня хороший голос?

— Если бы господин маркиз мяукал, как мартовский кот, или трещал, как кузнечик, разве я посчитал бы его голос самым лучшим в мире?

— Молчи уж, старый льстец!

— Боже мой, господин маркиз, когда вы поете, это знак, что вы в хорошем настроении... и тогда ваш голос для меня — божественная музыка.

— В таком случае, старина Жозеф, открой пошире твои длинные уши.

— О чем вы говорите?

— Отныне ты сможешь каждый день наслаждаться этой музыкой, которая тебе так нравится.

— Значит, вы каждый день будете счастливы, господин маркиз? — воскликнул Жозеф, складывая руки, обрадованный и удивленный.

— Каждый день, старина Жозеф, я буду теперь все время счастлив. Да, ты прав, долой печали и грусть! Я могу тебе это сказать, тебе единственному, верному и скромному Свидетелю моих страданий... Я преисполнен счастья! Моя жена — ангел доброты. Она просила у меня прощения за свою недавнюю холодность, которая была вызвана... догадайся чем?.. Ревностью!

— Ревностью?

— Да, нелепыми подозрениями, которые вызвали у нее анонимные письма.

— Какая подлость!

— Ты понимаешь, женщины так самолюбивы... Этих подозрений было бы достаточно, чтобы разлучить нас, но, к счастью, вчера вечером она откровенно объяснилась со мной. Я разуверил ее; не могу описать, как она была рада, потому что она меня любит, безмерно любит! Жестокая холодность, которую она мне выказывала, была

ей так же невыносима, как и мне... Наконец-то наш мучительный разлад окончился, можешь сам судить, как я счастлив!

— Неужели это правда? — воскликнул Жозеф со слезами на глазах. — Неужели правда, господин маркиз? Вы теперь счастливы навсегда, потому что вам не хватало только любви госпожи маркизы... Или, вернее, только ее холодность была единственным вашим несчастьем, как вы мне говорите...

— А кому еще я мог это сказать, мой бедный Жозеф? Разве ты не знал уже о моей еще более печальной тайне? Однако не будем говорить о грустных вещах. День так хорош! Ты, наверное, заметил, что я плакал? Это потому, что счастье переполняет меня... Я уже почти не надеялся... Я так слаб, не правда ли?

— Полно, полно, господин маркиз, вы можете вволю поплакать от счастья, потому что немало плакали от боли. А я? Вы видите, я тоже плачу! Но это сладкие слезы. Я бы отдал за них десять лет жизни... И я боюсь только одного, что не удержусь и упаду на колени перед госпожой, как только ее увижу...

— Старый безумец! Ты столь же неразумен, как твой господин... Но я тоже кое-чего боюсь...

— Чего вы боитесь? О господи!..

— Боюсь, что это не продлится долго... Я слишком счастлив... Чего же мне не хватает?

— Ничего, господин маркиз, совершенно ничего!

— В том-то все и дело: я страшусь слишком совершенного, слишком полного счастья.

— О, дело стало только за этим... Но я не смею предложить...

— Я слушаю тебя!.. Но ты зря опасаешься. Это нежданное счастье перевернуло мне душу, оно так сильно и глубоко, что я уверен, оно меня наверное спасет.

— Как это?

— Мой врач говорил мне тысячу раз, что сильное душевное потрясение зачастую способно усугубить или изменить эту роковую болезнь... Могу же я надеяться, что эта радость спасет меня?

— Если вы верите в это, господин маркиз, то так оно и будет. Так оно и есть, вы уже исцелились! Какой благословенный день! Ах, вы говорите, госпожа маркиза — ангел, сошедший с небес, но я тоже начинаю чего-то бояться, слишком много радости и счастья в один-то день... Вот я подумал: чтобы не сглазить, вам надобно хотя бы малень-

кое огорчение, совсем маленькое, слава богу. И если вы согласны, такое у меня для вас есть.

— О чем ты говоришь?

— Один из ваших друзей получил к счастью и очень кстати, — видите, как получается? — совсем маленький укол шпагой, право, совсем незначительный! Но и этого довольно, чтобы ваш счастливый день хоть чуть-чуть омрачился, маленькое черное пятнышко, не больше! Правда, в этом смысле было бы лучше, чтобы удар шпагой был опаснее, однако следует довольствоваться тем, что имеем.

— Да перестанешь ты, наконец? О ком ты говоришь?

— О господине герцоге де Люсене.

— Он ранен?

— Всего лишь царапина на руке. Господин герцог вчера приезжал повидаться с вами и сказал, что вернется утром, если можно, на чашечку чаю.

— Бедняга Люсене! Почему ты мне не сказал?

— Вчера вечером я не мог вас увидеть, господин... Подумав некоторое время, маркиз д'Арвиль заговорил

снова:

— Ты прав, это небольшое огорчение должно

отвратить ревнивую зависть судьбы... Но мне пришла мысль: я хочу сегодня утром устроить мальчишник, собрать всех друзей герцога, чтобы отпраздновать счастливый исход его дуэли. Он этого не ждет и будет наверняка очень доволен.

— В добрый час, господин маркиз! Да здравствует веселье и радость, догоним потерянное время!.. На сколько человек накрывать стол, чтобы я мог предупредить слуг?

— На шесть персон в маленькой зимней столовой.

— А приглашения?

— Я сейчас напишу. Скажи кому-нибудь тотчас оседлать коня и развезти приглашения. Сейчас еще рано, и посланец всех застанет дома. Позвони!

Жозеф позвонил..

Маркиз д'Арвиль вошел в свой маленький кабинет и написал одинаковые записки, в которых менялись только имена:

«Мой дорогой***, это не просьба, а предписание: речь идет о сюрпризе. Люсене должен прибыть ко мне сегодня к завтраку; он рассчитывает на свидание наедине, но сделайте ему приятную неожиданность и присоединитесь к нам и еще к некоторым его друзьям, которых я также преду-

прежу. Жду в полдень, и без опозданий.

А. д'Арвиль».

Вошел слуга.

— Пусть кто-нибудь сядет на коня и немедля развезет эти приглашения, — приказал маркиз д'Арвиль; затем, обращаясь к Жозефу, добавил: — Напиши адреса: «Виконту де Сен-Реми», — «Люсене не может без него обойтись», — сказал про себя д'Арвиль; — «Г-ну де Монвиль» — это один из спутников Люсене в его странствиях; «Лорду Дугласу» — его верному партнеру в вист; «Барону Сезанну» — его другу детства... Ты написал?

— Да, господин маркиз.

— Отправьте эти записки, не теряя ни минуты! — приказал маркиз, — и вот еще что, Филипп, попросите ко мне Дубле, нам надо поговорить.

Филипп вышел.

— Что с тобой? — спросил д'Арвиль Жозефа, который смотрел на него с изумлением.

— Я не могу опомниться, господин: я никогда еще не видел вас таким оживленным, таким веселым. И обычно вы такой бледный, а сегодня румянец вернулся к вам и глаза блестят...

— От счастья, мой старый верный Жозеф, от счастья... Да, кстати, ты должен помочь мне в моем маленьком заговоре... Сходи узнай, где сей-

час мадемуазель Жюльетта, одна из горничных маркизы, которая, по-моему, заботится о ее драгоценностях, о бриллиантах...

— Да, господин маркиз, это поручено мадемуазель Жюльетте; еще неделю назад я помогал ей отмывать их, приводить в порядок...

— Ступай и спроси у нее имя и адрес ювелира маркизы, но чтобы та ничего не знала!

— О, понимаю... Еще один сюрприз?

— Ступай быстрее! Вот и Дубле...

В самом деле, управляющий появился в тот же момент, когда Жозеф закрывал за собой дверь.

— Имею честь явиться по приказанию господина маркиза.

— Дорогой мой Дубле, сейчас я вас напугаю! — со смехом сказал д'Арвиль. — Вы сейчас закричите от ужаса и отчаяния!

— Я, господин маркиз?

— Да, вы.

— Я сделаю все возможное, чтобы угодить господину маркизу

— Я хочу истратить много денег, Дубле, огромную сумму денег

— Если дело только за этим, господин маркиз, это в наших возможностях, слава богу, это не страшно.

— Вот уже долгое время я вынашиваю один проект: я хочу пристроить к правому крылу особняка галерею через сад. До сих пор я колебался и не говорил вам об этом безумном капризе, но сегодня решил... Надо уведомить архитектора, чтобы он пришел обсудить со мною подробнее этот план. Почему же вы не стонете, Дубле, от подобных расходов?

— Я могу уверить господина маркиза, что не вижу причин...

— Эта галерея будет предназначена для балов и празднеств; я хочу, чтобы она возникла как в сказке, как по волшебству, а сказки и волшебство стоят довольно дорого. Понадобится продать пятнадцать — двадцать тысяч ливров ренты, чтобы возместить все расходы, ибо я хочу, чтобы работы начались как можно скорее.

— И это очень, разумно... Чем скорее порадуешься, тем лучше. Я всегда говорил себе: у господина маркиза есть все, не хватает лишь какого-нибудь увлечения... А здания хороши тем, что они остаются надолго... Что же касается денег, то пусть господин маркиз не беспокоится. Слава богу, он может себе позволить, если ему угодно, и не такой еще каприз, как эта галерея.

Вернулся Жозеф, протянул д'Арвилю записку.

— Вот, господин маркиз, имя и адрес ювелира. Его зовут Бодуэн.

— Дорогой Дубле, прошу вас, тотчас отправляйтесь к этому ювелиру и попросите доставить сюда через час бриллиантовое ожерелье примерно на две тысячи луидоров. Женщинам всегда не хватает драгоценностей, особенно теперь, когда-ими обшивают платья. О цене договоритесь с ювелиром сами.

— Хорошо, господин маркиз... И опять же я не буду рыдать, потому что бриллианты, как и здания, долговечны. И к тому же этот сюрприз несомненно обрадует госпожу маркизу, не говоря уже об удовольствии, которое вы сами от этого получите. Ибо, как я уже имел честь недавно говорить, в мире нет более счастливого человека, чем господин маркиз.

— Ах этот дорогой Дубле! — с улыбкой проговорил д'Арвиль. — Его комплименты всегда приходятся удивительно кстати...

— Может быть, в этом их единственное достоинство, господин маркиз, и это достоинство они обретают потому, что я высказываю их от чистого сердца. Простите, я бегу к ювелиру, — сказал Дубле и вышел.

Оставшись один, маркиз д'Арвиль заходил по

своему кабинету, скрестив руки на груди, с задумчивым, погруженным в себя взглядом.

Лицо его сразу изменилось; с него исчезло довольное, радостное выражение, обманувшее управляющего и старого слугу, уступив место холодной, спокойной и мрачной решимости.

Он расхаживал так некоторое время, затем тяжело упал в кресло, словно не выдержав груза страданий, оперся локтями о стол и спрятал лицо в ладонях.

Через мгновение он резко выпрямился, смахнул слезу с покрасневших глаз и проговорил с усилием:

— Полно... мужайся!.. Так надо...

После этого он написал различным лицам письма, в которых шла речь о всяких маловажных вещах, но в каждом назначал или переносил свидания с ними на много дней позже.

Маркиз уже заканчивал свои письма, когда вернулся Жозеф, который был так счастлив, что пел от радости, забыв все приличия.

— Господин Жозеф, у вас поистине прекрасный голос, — с улыбкой заметил ему д'Арвиль.

— Ну и что ж, тем хуже, господин маркиз, мне это не важно! Это моя душа поет, и пусть ее слышат!

— Отправь эти письма почтой.

— Хорошо, господин маркиз, но где вы примете сейчас всех этих господ?

— Здесь, в моем кабинете, — мы покурим после завтрака, а отсюда запах табака не дойдет до маркизы.

В этот момент во дворе особняка послышался шум кареты.

— Это выезжает госпожа, — она попросила запрячь лошадей пораньше, — сказал Жозеф.

— Тогда поспеши сказать ей, чтобы она зашла ко мне до отъезда.

— Хорошо, господин маркиз.

Едва старый слуга вышел, д'Арвиль приблизился к зеркалу и внимательно вгляделся в свое отображение.

— Неплохо, неплохо, — проговорил он глухим голосом. — Да, все так... щеки порозовели, и глаза блестят... От радости или от лихорадки — какое это имеет значение! Главное, чтобы это обмануло всех... А теперь попробуем улыбнемся Сколько бывает разных улыбок! Но кто сумеет отличить истинную от притворной! Кто сумеет разгадать эту обманчивую маску и сказать: эта улыбка скрывает мрачное отчаяние, это шумное веселье — мысль о смерти? Кто может об этом догадаться?

Никто... к счастью... никто. В самом деле, никто? О нет, любовь не обмануть, ее инстинкт подскажет правду! Но я слышу шаги жены, моей жены... Пора, играй свою роль, зловещий комедиант.

Клеманс вошла в кабинет д'Арвиля.

— Здравствуй, Альбер, мой добрый брат, — сказала она с нежностью и сочувствием, протягивая ему руку. Затем увидела сияющее лицо мужа и с удивлением спросила: — Что с вами, друг мой? У вас такой счастливый вид...

— Потому что, когда вы вошли, я думал о вас, моя маленькая дорогая сестричка... И к тому же я так радовался, что нашел великолепное решение...

— Меня это не удивляет...

— Все, что произошло вчера, ваше несравненное великодушие, благородное поведение принца, все это заставило Меня задуматься и согласиться с вами. Однако при всем моем согласии я не сожалею о моих вчерашних подозрениях, которые вы, надеюсь, простите мне, хотя бы из кокетства, не правда ли, дорогая? — добавил он с улыбкой. — И вы не простили бы меня, я уверен, если бы я так легко отказался от вашей любви.

— Какие слова! Какая счастливая перемена! — воскликнула г-жа д'Арвиль. — Ах, я была уверена,

что, обращаясь к вашему сердцу, к вашему разуму, я найду понимание. Теперь я не сомневаюсь в нашем будущем.

— И я тоже, Клеманс, уверяю вас. Да, после того решения, которое я принял этой ночью, это будущее, которое казалось мне смутным и мрачным, удивительным образом озарилось и стало простым и определенным.

— Это так понятно, мой друг; отныне мы пойдем к одной цели, но братски поддерживая друг друга. И в конце нашего пути мы обретем друг друга такими же, как сегодня. И это чувство пребудет неизменным. И наконец, я хочу, чтобы вы были счастливы, и вы будете счастливы, ибо это желание запало мне вот сюда, — добавила Клеманс, приставив палец к своему лбу. Но потом поправилась с очаровательной улыбкой, приложив руку к сердцу: — Нет, я ошиблась, это здесь останется навсегда, и никогда не затухнет доброе чувство к вам... к нам обоим... И вы увидите, 'дорогой мой брат, как много значит упорство преданного сердца!

— Клеманс, дорогая Клеманс! — ответил д'Арвиль, едва сдерживая волнение.

После короткого молчания он весело заговорил как ни в чем не бывало:

— Я просил вас соблаговолить прийти сюда до вашего отъезда, чтобы предупредить вас, что не смогу выйти к чаю с вами. У меня сегодня несколько гостей к завтраку, своего рода неожиданная пирушка по случаю удачного исхода дуэли этого бедняги Люсене, которого его противник, по счастью, лишь слегка оцарапал.

Маркиза покраснела при мысли о причине этой дуэли: насмешливые слова де Люсене, брошенные Шарлю Роберу в ее присутствии.

Это воспоминание жестоко ранило Клеманс; оно напомнило ей о ее ошибке, которой она стыдилась.

Чтобы избавиться от неприятных, тягостных мыслей, она сказала мужу:

— Видите, какое странное совпадение: господин де Люсене только что завтракал у Бленвалей. Вы ведь не знаете всех моих тщеславных планов, а я стараюсь сейчас, чтобы меня допустили к милосердным делам, к юным узницам в тюрьме.

— Поистине ваша жажда к милосердию неутолима, — с улыбкой сказал маркиз д'Арвиль и добавил с горьким волнением, которое его выдавало помимо его воли: — Значит, я вас больше не увижу... сегодня? — поспешно добавил он.

— Вам не хочется, чтобы я выезжала сегодня

утром? — живо спросила Клеманс, удивленная его тоном. — Если вы желаете, я отменю свой визит к герцогине.

Маркиз едва не выдал себя и постарался ответить как можно любезнее:

— Да, моя дорогая сестричка, я не хотел бы, чтобы вы уезжали, но буду с нетерпением ждать вашего возвращения. Вот противоречия и недостатки моего характера, от которых я никогда не смогу избавиться!

— И это прекрасно, мой друг, иначе я была бы огорчена. Раздался звонок, извещающий, что кто-то пришел в особняк маркиза.

— Это, наверное, один из ваших гостей, — сказала маркиза д'Арвиль. — Я вас оставляю. Кстати, что вы будете делать сегодня вечером? Если вы еще не распорядились вашим временем, я желаю, чтобы вы сопроводили меня в Итальянскую оперу. Может быть, теперь их музыка понравится вам гораздо больше.

— К вашим услугам и с величайшим удовольствием.

— Вы скоро выезжаете, друг мой? Я вас увижу до обеда?

— Нет, я сегодня не выхожу... вы найдете меня здесь.

— В таком случае, до свидания. Я приеду, чтобы узнать, как вы позабавились на вашем мальчишнике.

— Прощайте, Клеманс!

— Прощайте, друг мой! До скорого свидания... Даю вам полную свободу! Веселитесь на здоровье, вам все дозволено!

И, сердечно пожав руку мужа, Клеманс вышла за мгновение до того, как в другую дверь вошел герцог де Люсене.

«Она сказала мне: вам все дозволено!.. Она сказала: веселитесь! В этом прощальном слове, в последнем прощании моей умирающей души, в этих словах окончательной и вечной разлуки... Неужели она не поняла?.. И сказала: до скорого свидания? И ушла, такая спокойная, с улыбкой на устах... Что ж, это делает честь моему актерству... Господа боже мой!.. Я и не думал, что могу быть таким ловким притворщиком... Но вот и Люсене...»

Глава V.
МАЛЬЧИШНИК

Де Люсене вошел в кабинет д'Арвиля.

Рана герцога была настолько незначительной, что он больше не носил свою руку на перевязи. Лицо его, как обычно, было насмешливым и высокомерным, он, как всегда, суетился, и, как всегда, болтовня его была непереносима. Однако, несмотря на все эти недостатки, на его шуточки дурного тона, на его длиннющий нос, который придавал лицу почти клоунский облик, герцог де Люсене, как мы уже говорили, не был вульгарным типом и обладал природным достоинством и мужеством, которые не покидали его никогда.

— Вы, наверное, считаете, что я безразличен ко всему, что вас касается, дорогой мой Анри! — сказал д'Арвиль, протягивая руку де Люсене. — Но вы ошибаетесь. Только сегодня утром я узнал о вашем несчастном приключении.

— Несчастном?.. О чем речь, маркиз?.. Я получил то, чего заслуживал, за мои деньги, как говорится... Никогда в жизни я еще так не хохотал! Этот великолепный господин Робер имел такой

торжественный вид и был полон решимости доказать, что никогда не харкает и не брызжет слюной... Вы разве не знали? Это и послужило причиной дуэли. Недавно вечером в посольстве господина*** я его спросил в присутствии вашей жены и графини Мак-Грегор, как он справляется с этим своим недостатком. В этом все дело, между нами, он и не имел такой слабости. Но все равно. Понимаете, если вас упрекают в этом при двух прекрасных дамах, это ведь нельзя перенести.

— Какое безумие! Узнаю вас. Но кто такой этот господин Робер?

— Ей-богу, понятия не имею! Какой-то господин, с которым я повстречался на курорте; он проходил по зимнему саду в посольстве, вот я и позвал его, чтобы так глупо подшутить, а он назначил мне на завтра встречу и очень галантно поцарапал мне руку шпагой — вот и все наши отношения. Да хватит говорить об этих глупостях! Я пришел к вам за чашкой чая.

С этими словами герцог де Люсене бросился на софу, улегся и начал концом своей тросточки раскачивать картину, висевшую над его головой, просунув трость между стеной и рамой.

— А я вас ждал, дорогой Анри, и приготовил сюрприз, — сказал маркиз д'Арвиль.

— О, в самом деле? Какой же? — воскликнул де Люсене, раскачивая картину еще азартнее.

— Кончится тем, что эта картина сорвется и упадет вам на голову.

— Черт побери, вы правы! У вас орлиный глаз... Но что за сюрприз, говорите!

— Я пригласил на чай некоторых наших друзей.

— Неужели? За это, маркиз, браво, брависсимо, архибрависсимо! — воскликнул де Люсене, с восторгом колотя своей тростью по подушкам софы. — И кто же у нас будет? Сен-Реми? Нет, он уже несколько дней в деревне... Кстати, какого черта ему делать в деревне зимой?

— Вы уверены, что он не в Париже?

— Абсолютно уверен. Я ему написал чтобы он был моим секундантом... Его не было дома, и мне пришлось пригласить лорда Дугласа и Сезанна...

— Какое чудесное совпадение, они будут завтракать с нами.

— Браво, браво, брависсимо! — снова закричал герцог де Люсене.

Он раскинулся на софе и на этот раз принялся подскакивать на ней, сопровождая свои безумные возгласы прыжками только что выловленного карпа, которые могли бы свести с ума любого

рыбака.

Эти акробатические подскоки были прерваны появлением виконта де Сен-Реми.

— Мне не пришлось спрашивать, здесь ли герцог де Люсене! — весело заметил виконт. — Я его голос услышал еще снизу!

— Как, это вы, мой прекрасный любитель природы, мой очаровательный пейзанин? — с удивлением воскликнул герцог, внезапно поднявшись с софы. — А мы-то думали, что вы в своей любимой деревне!

— Я еще вчера вернулся, только что получил приглашение маркиза и поспешил сюда и очень рад видеть вас... Для меня это прекрасный сюрприз..

Де Сен-Реми пожал руку де Люсене, затем — д'Арвилю.

— И я благодарен, что вы поспешили ко мне, — сказал маркиз. — Ведь это так естественно, не правда ли? Друзья де Люсене должны вместе порадоваться счастливому исходу его дуэли, которая могла кончиться совсем иначе.

— Однако, — упрямо продолжал герцог, — не могу понять, чего вам понадобилось в деревне среди зимы, Сен-Реми? Меня это очень интересует.

— До чего же он любопытен! — воскликнул Сен-Реми, обращаясь к д'Арвилю, и только после этого ответил герцогу: — Я хочу постепенно отвыкнуть от Парижа... потому что вскоре должен его покинуть.

— Ах да, ваше пылкое воображение заставило вас согласиться на службу во французском посольстве в Герольштейне... Не морочьте нам голову вашими дипломатическими капризами! Вы никогда туда не поедете... так говорит моя жена и весь высший свет.

— Уверяю вас, что на сей раз госпожа де Люсене ошибается, как и все остальные.

— Она при мне сказала вам, что это безумие.

— Мало ли сколько безумств уже было в моей жизни!

— Когда безумства очаровательны и элегантны, совершайте их на здоровье, правда, говорят, вы в конце концов разоритесь, пытаясь сравняться по великолепию с царем Сарданапалом, я это допускаю, но похоронить себя в такой захудалой дыре, как Герольштейн! Хорошенькая выдумка! Это уже не безумство, а глупость, а у вас достаточно ума, чтобы не делать глупости.

— Поостерегитесь, дорогой Люсене, отзываясь так плохо об этом немецкой дворе, вы рискуете

поссориться с д'Арвилем, близким другом царствующего принца, который, кстати, недавно очень любезно принял меня в посольстве, где меня ему представили.

— В самом деле, дорогой Анри, — поддержал его д'Арвиль. — Если бы вы знали великого герцога так же хорошо, как я, вы бы поняли, что Сен-Реми нисколько не пугает перспектива провести некоторое время в Герольштейне.

— Охотно верю вам, дорогой маркиз, хотя о вашем великом герцоге рассказывают, что он большой оригинал. Но это не меняет дела: такой красавец, как Сен-Реми, цвет нашей молодежи, должен жить только в Париже, ибо только в Париже его могут оценить по достоинству.

Вскоре съехались и другие приглашенные, но тут вошел Жозеф и шепнул несколько слов на ухо маркизу.

— Вы позволите, господа? — обратился тот к гостям. — Это ювелир моей жены принес показать бриллианты, я хочу сделать ей сюрприз. Вам это понятно, Люсене, мы ведь с вами мужья старой закалки...

— Еще бы не понять, черт побери! — воскликнул герцог. — Моя жена тоже преподнесла мне вчера сюрприз, да еще какой!!!

— Какой-нибудь великолепный подарок?

— Вот именно!.. Она попросила у меня сто тысяч франков.

— И поскольку вы щедры и великодушны, вы их ей...

— Одолжил!.. Под залог ее поместья в Арнувиле. Как говорится, добрые счеты между добрыми друзьями... Но все равно, одолжить в течение двух часов сто тысяч франков человеку, которому они вдруг понадобились, это, конечно, очень мило, но бывает редко. Не правда ли, юный транжира? — со смехом обратился он к Сен-Реми, не подозревая, что попал прямо в цель. — Уж вы-то знаете, каково в наше время занимать такие суммы!

Несмотря на все свое нахальство, виконт слегка покраснел, но затем спокойно ответил:

— Да, сто тысяч франков — сумма действительно огромная. И зачем столько сразу женщине? Если бы мужчине, я бы еще понял...

— Ей-богу, не знаю, что она собирается делать с такими деньгами, моя дражайшая супруга. Но мне это безразлично, наверное, долги за туалеты, нетерпеливые, несговорчивые поставщики, но это уже ее дело. И к тому же, заметьте, мой дорогой Сен-Реми, одолжив ей мои деньги, не мог же я спрашивать, на что она собирается их

употребить, это было бы дурным тоном...

— Однако заимодавцы всегда особенно интересуются, на что пойдут их денежки, — со смехом заметил виконт.

— Полно вам, Сен-Реми! — прервал его маркиз д'Арвиль. — Помогите мне лучше выбрать украшение для моей жены; вы всегда отличались хорошим вкусом, и ваше одобрение решит мой выбор, потому что ваши суждения о модах безупречны.

Вошел ювелир со множеством футляров в большой кожаной сумке.

— Смотрите-ка, да это Бодуэн! — удивился де Люсене.

— Всегда к вашим услугам, господин герцог.

— Я уверен, что это вы разоряете мою жену вашими дьявольскими и сверкающими соблазнами, не так ли? — спросил де Люсене.

— Госпожа герцогиня этой зимой приказала только заново оправить свои бриллианты, — с некоторым смущением ответил ювелир. — Я как раз собирался прямо отсюда отнести их госпоже герцогине.

Де Сен-Реми прекрасно знал, что г-жа де Люсене, чтобы выручить его, приказала заменить свои подлинные бриллианты на стразы, и был

неприятно поражен этой встречей. Однако он храбро продолжал:

— Эти мужья всегда так любопытны! Не отвечайте ему, Бодуэн.

— Любопытен, я? Ей-богу, нисколько! — возразил герцог. — Жена сама за себя платит. Она может позволить себе любой каприз... Она богаче меня.

Во время этого разговора ювелир разложил на столе многочисленные, изумительные ожерелья из рубинов и бриллиантов.

— Какой блеск!.. И какая великолепная огранка камней! — восхитился лорд Дуглас.

— Увы, — ответил ювелир, — такие вещи я заказывал одному из лучших огранщиков Парижа, но бедняга, по-видимому, сошел с ума, и я больше никогда не найду подобного мастера. Моя посредница по драгоценным камням сказала, что, наверное, нищета довела этого несчастного до безумия.

— Нищета... И вы доверяете бриллианты подобным беднякам?

— Разумеется, — ответил ювелир. — Не было еще случая, чтобы огранщик что-либо утаил, как бы ни был он беден.

— Сколько стоит это ожерелье? — спросил

д'Арвиль.

— Господин маркиз должен обратить внимание, что все камни в нем самой чистой воды и великолепной огранки и почти все одинаковой величины.

— Такое осторожное вступление весьма угрожает вашему кошельку! — заметил де Сен-Реми и рассмеялся. — Так что сейчас он вам назовет чудовищную цену!

— Послушайте, Бодуэн, назовите по совести цену, и покончим с этим, — сказал д'Арвиль.

— Я не хочу, чтобы господин маркиз торговался... Окончательная цена — сорок две тысячи франков.

— Господи! — воскликнул де Люсене. — Склонимся в молчании перед нашим другом д'Арвилем. Всем мужьям есть чему у него поучиться. Устроить своей жене сюрприз на сорок две тысячи франков!.. Черт побери! Однако никому ни слова, иначе мы все испортим.

— Смейтесь сколько хотите, господа, — весело ответил маркиз. — Я влюблен в мою жену и не скрываю этого. Более того, я этим горжусь!

— Оно и видно! — подхватил де Сен-Реми. — Такой подарок красноречивее всех уверений в любви.

— Хорошо, я беру это ожерелье, — сказал д'Арвиль. — Правда, если Сен-Реми одобрит оправу из черной эмали. Как она, на ваш вкус?

— Она еще лучше выделяет блеск алмазов, и рисунок чудесный!

— Итак, решено, я его беру, — сказал маркиз. — Бодуэн, вы можете произвести расчет с Дубле, моим управляющим.

— Он уже предупредил меня об этом, господин маркиз, — сказал ювелир и вышел, собрав в свою кожаную сумку даже не считая — настолько велико было его доверие — различные драгоценности, которые де Сен-Реми долго перебирал и пристально рассматривал на протяжении всего этого разговора.

Д'Арвиль передал ожерелье Жозефу, который ожидал его приказа, и тихо сказал:

— Пускай мадемуазель Жюльетта осторожно положит это ожерелье вместе с другими драгоценностями своей госпожи, чтобы та ничего не заметила, иначе не получится настоящего сюрприза.

В этот момент дворецкий объявил, что завтрак подан; гости прошли в столовую и сели за стол.

— Вы знаете, дорогой д'Арвиль, — сказал де Люсе-не, — ваш дом, наверное, самый элегантный и

удобный во всем Париже.

— Да, он очень удобен, но не слишком просторен... Я задумал пристроить к нему садовую галерею. Маркиза д'Арвиль намерена дать несколько больших балов, и наших салонов будет недостаточно. К тому же не люблю даже на время покидать покои, которые мы обычно занимаем, а гости нас обычно выживают.

— Я согласен с д'Арвилем, — поддержал его де Сен-Реми. — Нет ничего более мелкого и мещанского, чем эти вынужденные переселения ради балов или концертов... Чтобы устраивать эти прелестные празднества и не стеснять себя, надо иметь для них специальные помещения, и к тому же эти обширные сверкающие залы, предназначенные для блестящих балов, должны носить совсем иной характер, чем салоны; между ними должна быть такая же разница, как между монументальными фресками и обычными картинами.

— Он прав, — согласился д'Арвиль. — Какая жалость, господа, что у нашего Сен-Реми нет хотя бы полутора миллионов ренты! Какие чудеса он показал бы нам!

— Поскольку мы имеем счастье наслаждаться благами репрезентативного правительства,

— заметил герцог де Люсе-не, — не должна ли "наша страна проголосовать за то, чтобы Сен-Реми получал миллион в год, чтобы представлять в Париже французский вкус и элегантность, от которых зависит вкус и элегантность Европы... и всего мира?

— Принято! — хором воскликнули все.

— И этот миллион ежегодно следует взимать в виде налога с этих ужасных скупердяев-ростовщиков, которые обладают огромными состояниями, дабы сами они по закону, принуждению и убеждению жили, как подобает подобным крохоборам.

— И как таковые, — подхватил д'Арвиль, — были обязаны платить за великолепие, которого сами не могут явить.

— Не говоря уже о том, — продолжал де Люсене, — что, выполняя свои обязанности великого жреца, вернее — великого магистра элегантности, наш Сен-Реми станет примером для подражания и окажет чудодейственное влияние на вкусы всей нации.

— Все будут стараться походить на него.

— Это несомненно.

— И подражание ему сделает наши вкусы утонченнее и чище.

— Во времена Возрождения вкусы повсюду стали великолепными, потому что образцом для всех служили вкусы аристократии, а они были безупречными.

— По тому, какой серьезный оборот принимает наша беседа, — весело подметил д'Арвиль, — вижу, что нам остается только обратиться в обе палаты с петицией об установлении должности великого магистра французской элегантности.

— И поскольку все депутаты без исключения явно придерживаются самых широких, самых артистических и самых грандиозных воззрений, этот проект будет принят под овации.

— Но пока еще не принято решение, которое утвердит за нашим Сен-Реми титул высшего законодателя мод, каким он является на деле, — продолжал д'Арвиль, — я хочу с ним посоветоваться относительно галереи, которую собираюсь построить. Меня поразили его идеи о великолепии празднеств.

— Мои ничтожные знания всегда к вашим услугам, д'Арвиль.

— А когда мы увидим воплощение всех этих чудес, дорогой маркиз?

— Полагаю, на следующий год, потому что я начну работы немедленно.

— У вас столько замыслов!

— Это еще не все... Я замыслил полностью перестроить Валь-Ришэ.

— Ваше поместье в Бургундии?

— Да, там можно построить нечто восхитительное... лишь бы господь продлил мои дни...

— Боже, несчастный старец!

— Вы, кажется, недавно купили ферму неподалеку от Валь-Ришэ, чтобы округлить свои владения?

— Да, очень выгодное дело, его мне присоветовал мой нотариус.

— Кто же этот редкостный и бесценный нотариус, который советует такие выгодные дела?

— Некий Жак Ферран.

При этом имени де Сен-Реми на мгновение нахмурился.

— Он действительно такой честный человек, как о нем говорят? — небрежно спросил он у д'Арвиля, который тотчас вспомнил, что рассказывал Родольф его жене об этом нотариусе.

— Жак Ферран? Странный вопрос! — вмешался де Люсене. — Он человек безупречной порядочности.

— Почтенный и почитаемый всеми.

— Очень набожный, но это ему не вредит.

— Исключительно скупой... что является гарантией для его клиентов.

— И наконец, он один из немногих нотариусов старого толка, которые вас спрашивают, за кого вы их принимаете, если вам вздумается попросить у него расписку за деньги, врученные на хранение.

— Хотя бы за одно это я доверяю ему все мое состояние.

— Но какого черта, Сен-Реми, откуда у вас такие сомнения в этом достойном человеке, чья честность вошла в поговорку?

— До меня доходили кое-какие неясные слухи... А в остальном у меня нет никаких причин подозревать этого святого нотариуса... Однако вернемся к вашим проектам, д'Арвиль. Что вы хотите построить в Валь-Ришэ? Говорят, старый замок прекрасен...

— Я обращусь к вам за консультацией, дорогой Сен-Реми, можете не сомневаться, и даже скорее, чем вы думаете, потому что эти работы меня радуют и увлекают. По-моему, нет ничего интереснее воплощать один за другим свои планы, которые наполняют дни и годы... Сегодня один проект, завтра другой... Позднее — еще что-нибудь... Прибавьте к этому очаровательную жену,

которую я обожаю и которая разделяет мои вкусы и интересы, — господи, какая прекрасная жизнь!

— Еще бы, черт побери! Настоящий рай на земле.

— А теперь, господа, — сказал д'Арвиль, когда завтрак был закончен, — если угодно покурить, пройдите в мой кабинет — у меня чудесные сигары.

Все поднялись от стола и прошли в кабинет маркиза; дверь из него в прилегающую спальную была открыта. Мы уже говорили, что единственным украшением этой комнаты были две стойки с коллекцией великолепного оружия.

Герцог де Люсене раскурил сигару и последовал за маркизом в его комнату.

— Как видите, я по-прежнему увлекаюсь оружием, — сказал ему д'Арвиль.

— В самом деле, какие превосходные ружья, английские и французские. Ей-богу, не знаю даже, каким отдать предпочтение... Дуглас! — крикнул де Люсене. — Идите сюда, посмотрите: эти ружья, наверное, могут посоперничать с вашими лучшими «ментонами».

Лорд Дуглас, де Сен-Реми и двое других гостей вошли в комнату маркиза, чтобы полюбоваться оружием.

Д'Арвиль взял боевой пистолет, взвел курок и сказал, смеясь:

— Вот, господа, универсальная панацея от всех бед: от сплина, от тоски...

И он шутя приблизил пистолет к губам.

— Честное слово, я бы предпочел другое лекарство, — сказал Сен-Реми. — Это годится только на самый крайний случай.

— Да, но оно действует мгновенно, — сказал маркиз. — Раз, и дело сделано! Оно быстрее мысли, быстрее любого пожелания... Поистине оно волшебно.

— Поосторожнее, д'Арвиль; такие шутки всегда опасны; не успеешь глазом моргнуть, как случится беда! — проговорил де Люсене, видя, что д'Арвиль снова приближает дуло пистолета к губам.

— Черт побери, дорогой, неужели вы думаете, я стал бы так шутить, если бы он был заряжен?

— Разумеется, нет, но все-таки это неосторожно.

— Смотрите, господа, вот как это делается. Вставляешь ствол в рот... и тогда...

— Господи, перестаньте валять дурака, д'Арвиль! Вы теряете всякую меру, — сказал де Люсене, пожимая плечами.

— ...тогда приближаешь палец к спусковому крючку, — продолжал д'Арвиль.

— Ну что за ребячество! Такая глупость в его-то возрасте?

— Легкий нажим на гашетку, — продолжал д'Арвиль, — и ты отправляешься прямиком на небеса...

При этих словах грянул выстрел. Маркиз д'Арвиль прострелил себе голову.

Мы отказываемся описывать ужас и потрясение гостей маркиза.

На следующий день в газете было написано:

«Вчера событие столь же непредвиденное, сколь трагическое, взволновало все предместье Сен-Жермен. Одна из тех неосторожностей, какие каждый год приводят к роковым последствиям, окончилась ужасным несчастьем. Вот факты, которые нам удалось установить и за достоверность которых мы ручаемся.

Господин маркиз д'Арвиль, обладатель огромного состояния, в возрасте неполных двадцати семи лет, известный своей щедростью и добротой, женатый всего несколько лет на женщине, которую он боготворил, пригласил на завтрак несколько своих друзей. Выйдя из-за стола, все отправились в спальную г-на д'Арвиля, где на-

ходилась коллекция ценного оружия. Показав своим гостям несколько ружей, г-н д'Арвиль взял пистолет и, полагая, что он не заряжен, приблизил дуло ко рту... Уверенный в своей безопасности, он нажал на гашетку... Раздался выстрел!.. Несчастный молодой человек упал замертво; голова его была раздроблена, лицо страшно изуродовано. Можете представить себе ужас друзей г-на д'Арвиля, с которыми всего несколько минут назад, полный энергии, жизни и счастья, он делился различными проектами на будущее! И наконец, словно все обстоятельства этого горестного события должны были сделать его еще более жестоким по ужасному контрасту, тем же утром г-н д'Арвиль, желая сделать жене сюрприз, купил для нее очень ценное ожерелье... И именно в тот момент, когда жизнь казалась ему особенно радостной и прекрасной, он пал жертвой рокового несчастного случая...

Перед подобным горем любые рассуждения излишни, остается лишь склониться перед неумолимыми и непредсказуемыми предначертаниями судьбы»..

Мы цитируем газетную заметку, которая выразила и, так сказать, закрепила всеобщее убеждение, что смерть мужа Клеманс произошла

в результате роковой и непростительной неосторожности.

Стоит ли говорить о том, что маркиз д'Арвиль унес с собою тайну своей добровольной смерти?..

Да, добровольной и точно рассчитанной, обдуманной с хладнокровием и великодушием по отношению к Клеманс, чтобы та не смогла даже заподозрить об истинной причине его самоубийства.

Так, все проекты, о которых д'Арвиль говорил со своим управляющим и своими друзьями, счастливые признания своему старому слуге, сюрприз, который он в то утро приготовил своей жене, — все это были только ловушки для доверчивых простаков.

Кто смог бы заподозрить, что человек, так увлеченный планами на будущее, так желающий угодить любимой жене, на самом деле думал о самоубийстве?

Поэтому его гибель объяснили фатальной неосторожностью, и не могли объяснить иначе.

Что же касается истинной причины его решения, то его продиктовало безнадежное отчаяние.

Когда Клеманс благородно вернулась к нему, когда ее прежняя холодность и высокомерие сменились сочувствием и нежностью, в душе

маркиза пробудились жестокие угрызения.

Он видел, как самоотверженно и печально соглашается Клеманс на долгую жизнь без любви рядом с человеком, пораженным страшной и неизлечимой болезнью. И он понимал, вспоминая торжественные слова Клеманс, что она никогда не сможет преодолеть к нему ужаса и физической неприязни. И маркиз д'Арвиль проникся глубокой жалостью к своей жене и глубочайшим отвращением к самому себе и к жизни.

В отчаянии от невыносимой муки он сказал себе:

«Я люблю и могу любить только одну женщину на свете, — это моя жена. Ее поведение, полное сердечности и благородства, только усилит мою безумную страсть, если ее можно еще более усилить.

И эта женщина, моя жена, никогда не будет мне принадлежать.

Она имеет право презирать меня и ненавидеть... Я овладел ею с помощью гнусного обмана, связал юную девушку со своей злосчастной судьбой...

Я раскаиваюсь в этом... Но что я могу теперь сделать для нее?

Освободить ее от ужасных уз, которыми приковал к себе из низменного эгоизма. Но только смерть может разорвать эти узы... Значит, я должен покончить с собой».

Вот почему маркиз д'Арвиль принес эту величайшую, страшную жертву.

Но если бы у нас существовал развод, разве этот несчастный покончил бы с собой?

Нет!

Он мог бы частично искупить содеянное зло, вернуть своей жене свободу, чтобы она могла найти счастье в новом супружестве.

Так неумолимая окостенелость закона делает порой некоторые ошибки непоправимыми или, как в нашем случае, позволяет их исправить лишь ценой нового преступления.

Глава VI.
СЕН-ЛАЗАР

Полагаю, следует предупредить наших наиболее щепетильных читателей, что тюрьму Сен-Лазар, специально предназначенную для воровок и проституток, каждый день посещают многие женщины, чье милосердие, имя и положение в обществе заслуживают всеобщего уважения. Эти женщины, воспитанные среди всех великолепий богатства, эти женщины, которых по праву считают украшением высшего света, приходят сюда каждую неделю и проводят долгие часы рядом с несчастными узницами Сен-Лазара, пытаясь уловить в их заблудших душах малейший порыв к добру, малейшее сожаление о преступном прошлом. Они поощряют их лучшие чувства, побуждают к раскаянию, и магией таких слов, как долг, честь, добродетель, им удается иногда спасти из преступного болота одну из этих несчастных, покинутых, опустившихся и презираемых.

Привыкшие к деликатности, к изысканному обращению в избранном обществе, эти храбрые

женщины покидают свои родовые особняки, целуют в лобик своих дочерей, чистых, как ангелы небес, и идут в мрачные темницы, где их порой встречает грубое равнодушие или грязная брань воровок и проституток.

Верные своей благородной миссии, они бесстрашно погружаются в эту зловонную грязь, прислушиваются ко всем зараженным скверной порока сердцам, и, если малейшее биение совести и внушает им хотя бы слабую надежду на выздоровление, они вступают в борьбу и порой спасают от неминуемой погибели большую душу, в которой они не отчаялись.

Поэтому пусть чрезмерно щепетильные читатели, к которым мы обращаемся, отбросят свою брезгливость и подумают о том, что они увидят и услышат в конечном счете только то, что видят и слышат каждый день эти достойные женщины, о которых мы говорим.

Мы не пытаемся даже сравнивать их миссию с нашей скромной целью, но должны сказать, что в этом длинном, тяжелом и трудном рассказе нас поддерживает убеждение, что он сумеет пробудить симпатию к незаслуженным горестям честных, мужественных, но несчастных людей, к тем, кто искренне раскаивается, к наивному и

простому достоинству бедняков; и в то же время — внушить презрение отвращение, ужас и спасительный страх ко всему грязному, бесчестному и преступному.

Мы не отступали перед самыми отвратительными и уродливыми сценами, полагая, что истина и мораль очищают все, как огонь. Наше слово не много стоит, наше мнение не имеет большого веса, потому что мы не пытаемся поучать или реформировать общество. Наша единственная надежда — это привлечь внимание мыслителей и людей доброй воли к ужасным социальным бедствиям, весьма прискорбным, но, увы, вполне реальным.

И тем не менее кое-кто из счастливых мира сего, возмущенных суровой правдой нашего рассказа, кричит о его преувеличениях, неправдоподобности, невозможности стольких зол и бед, — лишь бы не сожалеть о них.

Мы их не оправдываем.

Это вполне понятно.

Эгоист, осыпанный золотом или объевшийся на пиру, заботится прежде всего о своем пищеварении. Облик бедняков, дрожащих от голода и холода, ему особенно неприятен; он предпочитает наслаждаться своими богатствами и своими

яствами, лениво наблюдая с полузакрытыми глазами сладострастные сцены балета в опере.

И наоборот, большое число богачей и счастливцев щедро помогали беднякам, о несчастьях которых ранее не знали, и некоторые из них даже благодарили нас за то, что мы открыли им новые пути для их благотворительности.

Подобная помощь оказала нам огромную поддержку и воодушевила нас.

И если наше повествование, которое мы без труда признаем довольно слабой книгой, с точки зрения искусства, но зато, очень нужной книгой, с точки зрения морали, если эта книга, повторяем, за короткий срок смогла привести хотя бы к одному благотворительному результату, о которых мы говорили, значит, мы можем ею по праву гордиться.

Какая награда может быть выше благословений и благодарности нескольких бедных семей, которые получили какую-то помощь благодаря пробужденному нами сочувствию!

Все это мы говорим потому, что пускаемся в новые странствия и поведем за собой читателя, надеясь, что смогли успокоить его совесть. Мы проведем его по тюрьме Сен-Лазар, огромному и мрачному сооружению и предместье Сен-Дени.

Еще ничего не зная о страшной трагедии, которая разыгралась в ее доме, г-жа д'Арвиль направилась в тюрьму, предварительно получив от г-жи де Люсене кое-какие сведения о двух несчастных женщинах, которых ненасытная алчность нотариуса Жака Феррана ввергла в отчаяние и нищету.

Госпожа Бленваль, одна из покровительниц юных преступниц, не могла в тот день сопровождать Клеманс, и та приехала в Сен-Лазар одна. Ее почтительно встретили директор тюрьмы и многочисленные дамы-попечительницы; их легко было узнать по черным платьям и синим бантам с серебряной бляхой на груди.

Одна из таких попечительниц, пожилая дама со строгим, но добрым лицом, осталась наедине с маркизой в маленькой приемной рядом с канцелярией.

Можно себе представить, сколько скрытой доброты, ума, сочувствия и прозорливости требовалось от этих достойных женщин, согласившихся на скромную и неблагодарную роль — надзирать над заключенными.

Что они могли им практически предложить? Приучать их к порядку, к работе, внушать понятие о долге в надежде, что все это им пригодится,

когда они выйдут из тюрьмы.

Иногда снисходительные, иногда суровые, терпеливые или строгие, но всегда справедливые и беспристрастные, эти женщины за долгие годы близкого общения с заключенными приобретают такую способность читать по лицам этих несчастных, что с первого взгляда уверенно судят о них и классифицируют по степени их испорченности.

У госпожи Арман, попечительницы, которая осталась с д'Арвиль, почти пророческое чувство проницательности было особенно развито. В характере своих подопечных она разбиралась мгновенно и безошибочно, поэтому ее слова и суждения имели здесь большой вес.

Госпожа Арман сказала Клеманс:

— Поскольку госпожа маркиза поручила мне указать ей одну из наших заключенных, которая хорошим поведением или искренним раскаянием заслуживает симпатии, я думаю, что могу вам рекомендовать одну девушку, которая, по-моему, скорее несчастна, чем виновна, — ибо я вряд ли ошибаюсь: ее еще можно спасти, эту бедняжку, ведь ей самое большее шестнадцать-семнадцать лет!

— За что же она попала в тюрьму?

— Была признана виновной в том, что вечером

была на Елисейских полях. Подобным ей под страхом очень строгого наказания запрещено появляться днем или ночью в некоторых общественных местах, в том числе на Елисейских полях, вот ее и арестовали.

— Вы заинтересовались ею?

— Я еще никогда не видела таких правильных и чистых черт лица. Представьте себе, госпожа маркиза, лицо святой девы. Но еще большую скромность придавала ее облику деревенская одежда, в которой ее сюда доставили. Она была одета как крестьянка из окрестностей Парижа.

— Значит, эта девушка — крестьянка?

— Нет, госпожа маркиза. Инспектора ее опознали; она раньше жила в ужасном доме в Сите, потом куда-то пропала на два-три месяца, но, поскольку она не просила вычеркнуть ее из полицейских списков, она оставалась под действием соответствующих правил, поэтому ее доставили сюда.

— Но, может быть, она покинула Париж, чтобы начать новую жизнь?

— Я тоже так думаю, как раз это меня в ней сразу и привлекло. Я пыталась расспрашивать ее о ее прошлом, спрашивала, из какой она деревни, советовала надеяться, если она действительно

хочет вернуться на путь истинный, а я в это верила.

— Что же она ответила?

— Подняла на меня свои большие синие глаза, полные слез, и сказала мне печально с ангельской кротостью: «Благодарю вас за вашу доброту, но я ничего не могу рассказать о своем прошлом. Меня арестовали, я была виновна, и я не жалуюсь». — «Но откуда вы пришли? Где вы были после вашего исчезновения из Сите? Если вы отправились в деревню, чтобы начать достойную жизнь, так и скажите, докажите; мы напишем господину префекту и добьемся вашего освобождения; вас вычеркнут из полицейских списков, и мы поможем вам в ваших добрых устремлениях». — «Умоляю вас, не расспрашивайте меня ни о чем, я не смогу вам ответить, — сказала она. «Неужели вам хочется по выходе отсюда опять попасть в тот ужасный дом?» — «О, никогда!» — воскликнула она. «Что же вы будете делать?» — «Об этом знает один господь», — ответила она и уронила голову на грудь.

— Все это странно... А как она разговаривает?

— Вполне правильно, грамотно. Держится скромно, почтительно, однако без приниженности. Скажу больше: несмотря на ангельскую

нежность в голосе и во взгляде, иногда в ней прорывается вдруг печальная гордость, которая сбивает меня с толку. Если бы она не принадлежала к падшим созданиям, я бы подумала, что эта гордость свидетельствует о врожденном благородстве души.

— Но это же целый роман! — вскричала Клеманс, до крайности заинтересованная; она подумала, что Родольф был прав, когда говорил ей, что порою нет ничего более увлекательного, чем творить добро. — А каковы ее отношения с остальными узницами? Если в ней есть то благородство души, которое вы предполагаете, она должна жестоко страдать среди этих несчастных созданий...

— Боже мой, госпожа маркиза, я привыкла наблюдать всякое по долгу службы, но в этой девушке все меня изумляет. Она здесь всего три дня, но уже приобрела влияние над другими узницами!

— За такое короткое время?

— Они испытывают к ней не только любопытство, но своего рода уважение.

— Как? Эти жалкие женщины?..

— У них своего рода инстинкт, благодаря которому они узнают, вернее догадываются о

благородных качествах своих подруг по несчастью. Только обычно они ненавидят тех, чье превосходство им приходится признавать.

— И они ненавидят эту бедную девушку?

— Совсем наоборот; ни одна из них не знала ее, пока ее не привели сюда. Сначала их поразила ее красота: черты ее редкостной чистоты как бы затянуты дымкой трогательной и болезненной бледности; это печальное и нежное лицо вызвало у них скорее сочувствие, чем зависть. К тому же она оказалась очень молчаливой, и это тоже удивило воровок и проституток, которые обычно стараются оглушить себя и других шумом, болтовней и беспорядочной суетой. И наконец, при всей ее сдержанности и достоинстве она выказала столько доброты и понимания, что все простили ей ее холодность. И это еще не все — вот уже месяц здесь содержат одну неукротимую особу по прозвищу Волчица, настолько у нее дикий, необузданный и хищный характер. Этой девице двадцать лет, она высокая, сильная, лицо у нее довольно красивое, но жестокое; нам часто приходится сажать ее в карцер за ее бесчинства. Как раз позавчера она вышла из одиночки, все еще разъяренная этим наказанием. Был час обеда, но несчастная девушка, о которой я говорю, ничего

не ела. Она грустно спросила своих товарок: «Кто хочет взять мой хлеб?» «Я!» — первой сказала Волчица. «Я!» — закричала за ней уродливая до безобразия женщина по прозвищу Мон-Сен-Жан, над которой все смеются, а иногда и вымещают на ней злобу за нашей спиной, хотя она беременна на последних месяцах. Девушка отдала свой хлеб этой несчастной, несмотря на ярость Волчицы. «Но я же первая потребовала твою порцию!» злобно воскликнула та. — «Это правда, но бедная женщина беременна, и ей хлеб нужнее, чем вам», — ответила девушка. Тем не менее Волчица вырвала хлеб из рук Мон-Сен-Жан и принялась изрыгать проклятия, размахивая своим ножом. Все знали, как она опасна, и никто не посмел вступиться за бедную Певунью, хотя все узницы про себя сочувствовали ей.

— Как вы сказали ее зовут, сударыня?

— Певунья... Это имя или скорее прозвище, под которым была доставлена сюда моя подопечная, и надеюсь, скоро она будет вашей, госпожа маркиза... Здесь почти у всех только прозвища.

— Удивительно...

— На их уродливом жаргоне это означает: певица, потому что у нашей юной девушки, как говорят, очень красивый голос, и я охотно этому

верю: она говорит так мелодично...

— Так как же она избавилась от этой гадкой Волчицы?

— Та разъярилась еще больше, видя хладнокровие Певуньи, с проклятьями бросилась на нее и замахнулась ножом. Певунья бесстрашно взглянула в лицо этой необузданной фурии, улыбнулась ей с горечью и сказала своим ангельским голосом: «Убейте меня, убейте, я этого хочу... Только не заставляйте чересчур страдать!..» Эти слова, как передали мне, она произнесла с такой горечью и простотой, что почти у всех узниц брызнули слезы.

— Могу поверить, — сказала г-жа д'Арвиль с глубоким волнением.

— У самых дурных людей, — продолжала попечительница, — к счастью, сохраняются остатки добрых чувств. Услышав эти слова, проникнутые душераздирающей отрешенностью, Волчица была потрясена до глубины души, как сама позднее призналась; она швырнула нож на пол, оттолкнула его ногой и воскликнула: «Зря я тебе угрожала, Певунья, ведь я сильнее тебя; но ты не испугалась моего ножа, у тебя храброе сердце... А я люблю храбрецов! Поэтому теперь, если кто тронет тебя, будет иметь дело со мной!»

— Какой удивительный характер!

— Поступок Волчицы еще более усилил влияние Певуньи, и сегодня, — случай, пожалуй, неслыханный! — почти никто из заключенных не обращается к ней на «ты»; большинство ее уважает, и многие стараются оказать разные мелкие услуги, которые возможны в тюрьме. Я порасспросила некоторых узниц из ее камеры, почему они относятся к Певунье с таким уважением. «Это сильнее нас, — отвечали они. — Сразу видно, что она не такая, как мы». — «Но кто вам это сказал?» — «Никто ничего не говорил. Это и так понятно». — «По каким же признакам?» — «По тысяче вещей. Вчера перед сном она встала на колени и помолилась. Если она молится, — сказала Волчица, — значит, имеет на это право».

— Какое странное замечание!

— Эти несчастные женщины лишены всякого религиозного чувства, но здесь они не позволяют себе святотатственных или оскверняющих слов. Вы увидите, сударыня, во всех наших залах своего рода алтари или статуи богородицы всегда окружены дарами или украшениями, которые делают сами узницы. Каждое воскресенье они ставят множество свечек с покаянными обещаниями. Те немногие, кто ходит в капеллу, ведут

себя там вполне достойно, однако остальных вид святынь смущает или пугает. Что касается Певуньи, ее подруги по несчастью еще говорили мне: «Сразу видно, что она не похожа на других, — по ее нежному взгляду, по ее печали, по тому, как она говорит...» — «И еще, — подхватила вдруг Волчица, которая присутствовала при нашем разговоре, — она не может быть из наших, потому что сегодня утром... в камере, когда мы одевались при ней, нам почему-то стало стыдно...»

— Какая удивительная деликатность у этих падших созданий! — воскликнула маркиза.

— Да, сударыня, перед мужчинами или между собой они не знают стыда, но мучительно стесняются, если их застают полуголыми кто-нибудь из нас или благодетельниц, которые, как вы, посещают тюрьмы. Таким образом глубокий инстинкт целомудрия, заложенный в нас богом, проявляется у этих падших созданий перед лицом только тех, кто внушает им уважение.

— Одно утешение, что хоть какие-то добрые естественные чувства оказались в них сильнее всех бед и лишений.

— Несомненно, ибо эти женщины способны на преданность и верность, которые в иных, нормальных условиях сделали бы им честь... И еще, у

них есть одно священное чувство, ради которого они не посчитаются ни с чем и не устрашатся ничего, — это материнство; они гордятся им и радуются ему, лучших матерей не найти; они готовы заплатить любую цену, лишь бы оставить у себя своего ребенка, они готовы пойти на самые тяжкие жертвы, лишь бы самим его воспитать, ибо, как они говорят, это маленькое существо, может быть, единственное на свете, которое их не презирает.

— Неужели у них так глубоко чувство собственного падения?

— Никто не презирает их сильнее, чем они сами... Для тех, кто искренне раскаялся, пятно первородного позора остается несмываемым, даже когда они оказываются совсем в иных условиях и ведут чистую жизнь; а другие от мысли, что их грешная судьба неотвратима и неизменна, сходят с ума. Поэтому, сударыня, я не буду удивлена, если причиной глубокой скорби Певуньи окажутся угрызения совести подобного рода.

— Если это действительно так, какая же это мука для нее! Угрызения совести, которые ничто не может успокоить!

— К счастью, сударыня, и к чести рода человеческого, подобные угрызения посещают нас чаще,

чем мы думаем; мстительная совесть никогда не засыпает до конца; или, вернее, как это ни странно, иногда мне кажется, что душа бодрствует, когда тело спит. В этом я снова убедилась этой ночью, наблюдая за моей подопечной.

— За Певуньей?

— Да, сударыня.

— Как же это было?

— Довольно часто, когда узницы уже спят, я обхожу камеры... Вы не можете представить, как меняются лица этих женщин, во сне! Многие из них, которые днем казались беззаботными, насмешливыми, наглыми, дерзкими, совершенно менялись, когда сон снимал с них маску деланного цинизма; ибо и порок, увы, имеет свою гордость! О сударыня, сколько печальных секретов открывали мне эти лица, унылые, мрачные и печальные! Сколько судорожных движений! Сколько стонов и вздохов невольно вырывали у них сновидения, несомненно связанные с неумолимой действительностью!.. Я вам только что рассказывала об этой неукротимой и неукрощенной Волчице. Две недели назад она грубо обругала меня перед всеми узницами; я пожала плечами, и мое безразличие привело ее в ярость... И тогда, чтобы вернее ранить меня, она обрушила целый

поток гнусной клеветы на мою мать... которая часто приходила ко мне...

— Боже, какой ужас!

— Признаюсь, как ни бессмысленна была эта брань, она причинила мне боль... Волчица, заметив это, восторжествовала. В тот же день около полуночи я совершала свой обход по камерам и остановилась около постели Волчицы, которую должны были отправить в карцер только утром. Я была поражена почти нежным выражением ее лица, обычно такого жестокого и дерзкого; сейчас оно казалось умоляющим, полным печали и раскаяния; губы ее были полуоткрыты, она тяжело дышала. И наконец, — я сама себе не поверила! — из-под век этой железной женщины скатились две крупные слезы! Я молча смотрела на нее несколько минут, когда вдруг услышала ее голос: «Прости... Прости!.. Ее мать!..» Я прислушалась внимательнее, но среди невнятного бормотания спящей смогла разобрать только имя моей матери... госпожи Арман... которое она произнесла со вздохом.

— Она раскаивалась во сне в том, что оскорбила вашу мать...

— Я так и подумала, и это смягчило меня. Она, несомненно, хотела из глупого тщеславия пока-

заться перед своими компаньонками еще более грубой и дерзкой, чем была на самом деле, и, может быть, добрый инстинкт заставил ее в этом раскаяться во сне.

— А наутро она высказала вам свое сожаление за вчерашнюю выходку?

— Ни малейшего. Она, как всегда, была груба, дика и вспыльчива. Но, уверяю вас, сударыня, ничто так не располагает к жалости, как эти ночные наблюдения, о которых я вам рассказываю. Я убеждаю себя, — может быть и напрасно? — что во сне эти несчастные становятся лучше, вернее, становятся самими собой, правда, со всеми их недостатками, но порою с добрыми побуждениями, которые днем они скрывают из порочной и глупой бравады. Все это заставляет меня думать, что эти создания в общем-то не такие уж злые и отвратительные, какими стараются казаться. Следуя этому убеждению, я не считаю этих женщин безвозвратно погибшими.

Маркиза д'Арвиль не могла скрыть своего изумления перед таким пониманием и глубокой проницательностью, соединенными с высокой человеческой добротой и разумной практичностью. И у кого? У какой-то скромной надзирательницы в тюрьме для воровок и про-

ституток!

— Нужна немалая смелость и высокое благородство, — заговорила Клеманс после нескольких минут молчания, — чтобы не отступить перед таким неблагодарным делом, сулящим так мало надежды на успех.

— О нет, уверяю вас: другие делают то же самое, но только гораздо умнее и успешнее, чем я... — Взять хотя бы мою знакомую надзирательницу из другого корпуса Сен-Лазар для осужденных за различные преступления — она бы вас наверняка больше заинтересовала... Сегодня утром она рассказала мне об одной юной девушке, которую обвиняют в детоубийстве. Я еще никогда не слышала ничего печальнее и страшнее! Отец этой несчастной девушки, честный гранильщик-ювелир, сошел с ума, узнав о позоре своей дочери. Семья ее жила в ужасающей нищете в жалкой мансарде на улице Тампль.

— Улица Тампль!.. — с удивлением воскликнула маркиза. — Как зовут этого ремесленника?

— Имя его дочери Луиза Морель...

— Так оно и есть!

— Она была в услужении у почтенного человека, нотариуса Жака Феррана.

— Мне рекомендовали эту несчастную семью,

— проговорила Клеманс, покраснев. — Но я даже не думала, что ее постигнет еще один страшный удар... Так что Луиза Морель?

— Она утверждает, что невиновна, говорит, что ее ребенок родился мертвым, и слова ее звучат правдиво. Поскольку вы интересуетесь этой семьей, госпожа маркиза, может, вы будете так добры и повидаетесь с этой несчастной, чтобы хоть немного её успокоить, потому что она в полном отчаянии.

— Конечно, я ее увижу; у меня будет здесь две подопечных вместо одной. Певунья и Луиза Морель, потому что все, что вы рассказали мне об этой бедной девушке, меня глубоко тронуло... Но что нужно сделать, чтобы добиться ее освобождения? Потом я нашла бы ей место и позаботилась о ее будущем...

— С вашими связями, госпожа маркиза, вы легко добьетесь, чтобы ее выпустили из тюрьмы не сегодня, так завтра: это зависит только от воли господина префекта полиции... Он не откажет в просьбе такой значительной особе, как вы. Но мы забыли про Певунью. Должна вам признаться, что меня не удивит, если окажется; что помимо раскаяния и стыда ее мучит еще одна боль, не менее жестокая...

— Что вы имеете в виду?

— Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, эта юная девушка, каким-то чудом спасенная из бездны порока, куда ее бросили, полюбила кого-то... и сейчас любит искренне и чисто, и это ее счастье и ее мучение...

— Почему вы так думаете?

— Вчера вечером во время обхода камер я приблизилась к кровати Певуньи; она спала глубоким сном. Некоторое время я смотрела с нежностью на ее ангельское личико, когда она вдруг тихо произнесла с почтением, печалью и любовью одно имя. Вам я могу доверить эту тайну, госпожа маркиза. Она произнесла: Родольф.

— Родольф! — воскликнула маркиза, сразу вспомнив о принце.

Потом она подумала, что его высочество великий герцог Герольштейна вряд ли имеет какое-нибудь отношение к «Ро-дольфу» бедняжки Певуньи, и сказала надзирательнице, явно удивленной ее восклицанием:

— Это имя удивило меня, потому что по странной случайности так зовут и одного из моих родственников. Но все, что вы рассказываете о Певунье, меня интересует все больше и больше... Могу я ее увидеть сегодня... сейчас?

— Да, госпожа маркиза, я схожу за ней, если вы того желаете. Я могу также узнать о Луизе Морель, хотя она в другом отделении тюрьмы.

— Буду вам очень признательна, сударыня, — ответила Клеманс и осталась одна.

Глава VII.
МОН-СЕН-ЖАН

Часы тюрьмы Сен-Лазар пробили два пополудни. Несколько дней было очень холодно, но теперь потеплело, погода стала мягкой, почти весенней; лучи солнца отражались в воде бассейна — большой каменной чаши, расположенной в середине двора со старыми деревьями; двор был окружен высокими почерневшими стенами с многочисленными зарешеченными окнами. Тут и там стояли скамейки, вкопанные по сторонам этого мощеного двора, который служил местом прогулок для арестанток.

Звон колокола объявил о начале прогулки, тяжелая дверь с окошечками распахнулась, и арестантки высыпали гурьбой на двор.

Эти женщины носили одинаковую форму: черные чепчики и длинные холщовые балахоны синего цвета с поясами и железными пряжками. Их было сотни две, этих проституток, которые преступили изданные для них ограничения, а потому стали нарушительницами общественного порядка.

С первого взгляда в них не было ничего особенного, но, если приглядеться внимательно, почти на всех лицах был неизгладимый отпечаток порока и тупого равнодушия, которое приносят безграмотность и нищета.

При виде этого сборища потерянных созданий невольно возникала грустная мысль, что некоторые из них были когда-то чистыми и честными. Мы делаем эту оговорку потому, что большинство из них было опорочено, развращено и приучено к разврату не только с юности, но с самого раннего детства, как мы увидим позднее, даже с самого рождения, если так можно сказать...

Невольно вопрошаешь себя с горьким любопытством, какая же цепь роковых обстоятельств могла привести на тюремный двор этих несчастных, которые были когда-то скромными и целомудренными?

Сколько же разных наклонных стоков сбросило их в эту помойку!

Реже всего — стремление к разврату ради разврата, но гораздо чаще — безразличие ко всему, дурной пример, неправильное воспитание, а главное — голод, который обрекал этих несчастных на крайнее унижение, ибо только бедняки платят нашей цивилизации этот налог душой

и телом.

Когда узницы с криками и воплями высыпали на свободу, сразу стало видно, что их обрадовала не только прогулка, не только возможность размяться после мастерских. Они вырвались на двор через единственную дверь, и тотчас эта шумная толпа расступилась и с насмешками окружила одно бесформенное несчастное существо.

Это была женщина лет тридцати пяти — сорока, низенькая, коренастая, кривобокая, с головой, вжатой в плечи. С нее сорвали чепчик, и ее белокурые, вернее тускло-желтые, с седыми прядями волосы, растрепанные и спутанные, падали на ее тупое лицо с низким лобиком. Она была в таком же синем балахоне, как другие арестантки, и держала под мышкой правой руки маленький узелок, завернутый в грязную клетчатую тряпку. И старалась, как могла, защищаться левой рукой от сыпавшихся на ее побоев.

Трудно представить более смешное и горестное зрелище, чем эта бедолага; ее нелепое и уродливое землистого цвета лицо, похожее на крысиную мордочку с двумя дырочками ноздрей и двумя щелочками слезливых, покрасневших глаз, было сморщенным и грязным; она то вспыхивала от ярости, то умоляла, огрызалась и нападала, но

над ее мольбами смеялись еще больше, чем над угрозами.

Эта женщина была игрушкой арестанток.

Ее могло бы защитить от нападок то, что она была беременна.

Однако ее уродство, ее тупость и привычка смотреть на нее как на жертву, отданную на забаву им всем, делали ее мучительниц безжалостными, несмотря на то, что она вскоре должна была стать матерью.

Среди самых жестоких мучительниц Мон-Сен-Жан — таково было прозвище этой несчастной, — особенно отличалась Волчица.

Это была высокая девушка лет двадцати, подвижная, гибкая и очень сильная, с довольно правильными чертами лица. В ее жестких черных волосах мелькали рыжие нити; горячая кровь окрашивала щеки румянцем, черный пушок оттенял чувственные губы; густые взъерошенные брсви темно-каштанового цвета соединялись над большими желтовато-карими глазами. Что-то дикое, свирепое и звериное было во всем облике этой женщины; хищный оскал приподнимал ее верхнюю губу, когда она злилась, открывая белые редкие зубы и клыки, — за это ее и прозвали Волчицей.

И все же ее лицо выражало больше дерзости и храбрости, чем жестокости. Одним словом, эта женщина, хотя и падшая, вовсе не была такой порочной и сохранила в душе добрые чувства, как об этом сказала надзирательница г-же д'Арвиль.

— Боже мой! Боже мой! Что я вам сделала? — кричала Мон-Сен-Жан, отбиваясь от своих мучительниц. — Почему вы терзаете меня?

— Потому что это нас забавляет!

— Потому что ты на то и пригодна, чтобы тебя мучить!

— Твое дело такое...

— Посмотри на себя и поймешь, что тебе не на что жаловаться!

— Но вы же видите, я не жалуюсь... я страдаю, как могу...

— Ладно, оставим тебя в покое, если ты скажешь, почему тебя называют Мон-Сен-Жан.

— Да, да, расскажи-ка нам это!

— О господи, я говорила тысячу раз: так звали моего солдата, потому что его когда-то ранили в сражении под Мон-Сен-Жан... Я взяла его имя, вот и все... Теперь вы довольны? Зачем вы заставляете меня повторять одно и то же?

— Если он походил на тебя, он, наверное, был милашкой, твой солдатик?

— Наверное, он был инвалидом, ни на что не способным...

— Огрызком мужчины...

— Сколько у него было стеклянных глаз?

— А сколько носов из жести?

— У него, должно быть, было две ноги и две руки, но не было глаз и ушей, раз он польстился на такую, как ты!

— Да, я знаю, я совсем уродка, что поделаешь? Говорите мне любые глупости, насмехайтесь, как вам хочется, но только не бейте меня, об одном вас прошу...

— А что у тебя в этом драном узелке? — спросила Волчица.

— Да...да... что у тебя в узелке?

— Пусть покажет!

— Посмотрим... посмотрим!

— О нет, умоляю вас! — воскликнула несчастная, прижимая изо всех сил к груди маленький узелок.

— Надо отнять его...

— Да, вырви его у нее, Волчица!

— Господи, какие вы злые... Делайте со мной что хотите, но оставьте это мне, прошу вас... прошу...

— А что это такое?

— Я начала собирать приданое для моего ребен-

ка... пеленочки... Я их делала из старых лоскутков, которые никому не нужны... а я их подбирала... Разве вам не все равно?

— О, приданое для новорожденного госпожи Мон-Сен-Жан! Должно быть, роскошное!

— Давайте посмотрим.

— Приданое... приданое!

— Она, наверное, примеряла его на собачку привратницы...

— Вот вам, держите это приданое! — закричала Волчица, вырывая маленький узелок из рук Мон-Сен-Жан.

Ветхий платок, в которое все это было завернуто, разорвался, и со всех сторон полетели разноцветные лоскутки и раскроенные кусочки холста; они разлетелись по двору, и арестантки с хохотом и криками принялись их топтать.

— Какое тряпье!

— Словно из короба мусорщика!

— А вот еще, откуда эти лохмотья?

— Да, прямо лавочка старьевщика...

— И она еще это сшивала!

— Здесь больше ниток, чем материи...

— Настоящие кружева!

— На, держи свои тряпки, Мон-Сен-Жан!

— Какие вы злые! — кричала несчастная урод-

ка, гоняясь по двору за своими лоскутками и стараясь подобрать их, несмотря на пинки и толчки, которые сыпались на нее со всех сторон.

— Какие же вы злые! Я ведь никому не делала ничего плохого, — продолжала она, обливаясь слезами. — Я все исполняла вместо вас, только бы оставили меня в покое, отдавала половину пайка, хотя сама умирала с голоду... И теперь... За что это мне? Что мне делать, чтобы вы оставили меня? О господи, у них нет жалости к несчастной маленькой беременной женщине... Надо же быть такими жестокими, хуже диких зверей... Мне было так трудно собрать все эти лоскутки! А из, чего бы мне сшить приданое для моего ребенка, если я ничего не могу купить? Ну кому я помешала, если подбирала всякие тряпочки, которые никому не нужны?

Но тут она увидела Певунью и воскликнула с надеждой:

— О, вы пришли... значит, я спасена! Поговорите с ними, Певунья, они вас послушают, потому что любят вас также, как меня презирают.

Певунья одной из последних вышла на двор для прогулок.

На ней был такой же синий балахон и черный чепчик, как на всех арестантках, но эта грубая

одежда только оттеняла ее очарование и красоту. Однако после ее похищения с фермы Букеваль, — о последствиях которого мы расскажем позднее, — черты ее резко изменились: лицо ее, изредка окрашенное легким румянцем, теперь стало белым, как алебастр, и выражение его изменилось: оно приобрело достоинство и глубокую печаль. Лилия-Мария чувствовала, что, если она храбро пройдет все мучительные испытания очищения, она, может быть, будет оправдана и прощена.

— Попросите их, чтобы они пожалели меня, Певунья! — обратилась к ней Мон-Сен-Жан. — Посмотрите, как они разбрасывают по двору все, что я собрала с таким трудом на приданое для моего ребенка... Чему они так радуются?

Лилия-Мария не ответила ни слова, но принялась быстро подбирать из-под ног арестанток лоскутки.

Одна из них нарочно наступила своим сабо на выгоревшую детскую кофточку из грубого полотна. Лилия-Мария, не поднимая головы, сказала ей своим тихим, нежным голосом:

— Прошу вас, позвольте мне взять это ради бедной женщины, она плачет...

Арестантка отдернула ногу.

Кофточка была спасена, как почти все другие

лоскутки, которые Певунья подбирала один за другим.

Ей осталось взять маленький детский чепчик, который со смехом вырывали друг у друга две проститутки. Лилия-Мария сказала им:

— Прошу вас, будьте добры, отдайте ей этот чепчик!

— Ну да, конечно, для клоуна в тельняшке этот чепчик! Он же сшит из старого серого матраса с черно-зелеными полосками!

И это было правдой.

Такое описание чепчика вызвало взрыв хохота и восторженных воплей.

— Насмехайтесь как хотите, но отдайте его мне! — взмолилась Мон-Сен-Жан. — Только не бросайте его в сточную канаву, как все остальное... Спасибо, что вы запачкали для меня свои ручки, Певунья, — добавила она с благодарностью.

— А ну-ка дайте мне этот клоунский колпачок! — воскликнула Волчица, выхватив чепчик и с торжеством подбросив его в воздух.

— Молю вас, верните его мне, — попросила Певунья.

— Нет, я отдам его самой Мон-Сен-Жан!

— Что ж, прекрасно.

— О, ха-ха! Стоит ли этого такая тряпка?

— У Мон-Сен-Жан нет ничего, кроме этих тряпок, и у нее нет больше денег, чтобы одеть своего ребенка, и вы должны пожалеть ее, Волчица... — проговорила Лилия-Мария, протягивая руку к несчастному чепчику.

— Вы его не получите! — грубо ответила Волчица. — Что мы, обязаны всегда вам уступать, потому что вы слабее нас всех? Вы этим пользуетесь...

— Какая же честь мне уступать... если бы я была самой сильной, — ответила Певунья с горькой усмешкой и сожалением.

— Нет! Вы хотите снова околдовать нас вашим нежным голоском... Нет, больше этого не получится!

— Послушайте, Волчица, прошу вас...

— Оставьте меня в покое, вы мне надоели!

— Прошу вас...

— Довольно! Не выводи меня из терпения... Я сказала нет, значит, нет! — воскликнула Волчица вне себя от ярости.

— Но сжальтесь над нею... посмотрите, как она плачет!

— А что мне до этого! Тем хуже для нее. Она ведь наша, как это говорится, страдалица за всех!

— Да, в самом деле, правда не надо было от-

давать ей ее лоскутки, — загудели арестантки, увлеченные примером Волчицы. — Чем хуже для этой Мон-Сен-Жан, тем лучше!

— Да, вы правы, тем хуже для нее! — ответила Лилия-Мария с горечью. — Она для вас — вроде игрушки... Она смирилась, ее страдания доставляют вам радость... Ее слезы вызывают у вас смех... Вам ведь больше нечем развлечься? Ее можно убить на месте, и она не пожалуется... Да, вы правы, Волчица, это справедливо!.. Несчастная эта женщина никому не сделала зла, она не может защищаться, она одна против всех... Вы ее мучаете, терзаете, — как это достойно и храбро!

— Значит, мы трусихи! — вскричала Волчица в порыве гнева, а главное потому, что не терпела, чтобы ей противоречили. — Отвечай нам, значит, мы трусихи, да? Отвечай! — повторяла она, все более разъяряясь.

Толпа гудела, послышались угрожающие выкрики.

Оскорбленные арестантки сдвинулись вокруг Певуньи с ненавистью, а может быть, с каким-то горьким сожалением, что эта юная девушка была среди них не своей, оказывала на них какое-то странное, благотворное влияние.

— Она обозвала нас трусливыми?

— Какое право имеет она судить нас?

— Разве она не такая, как мы все?

— Мы с ней нежничали, да слишком!

— А теперь она перед нами важничает!

— Ну и что? Если нам нравится помучить немножко эту Мон-Сен-Жан, ей-то какое дело?

— Если у тебя такая заступница, мы тебя еще больше излупим, слышишь, Мон-Сен-Жан?

— И вот тебе для начала! — воскликнула одна из арестанток, ударив несчастную кулаком.

— А если ты влезешь в это дело, которое тебя не касается, Певунья, получишь то же самое!I

— Да, да! Получишь!

— И это еще не все! — закричала Волчица. — Она обозвала нас трусливыми! Пусть просит у нас прощения! Если мы ее так отпустим, она же нас заставит бегать за своим хвостом. Какие же мы дуры, что раньше этого не заметили!

— Да, пусть просит у нас прощения!

— На коленях!

— На двух коленях и кланяясь!..

— Иначе мы с тобой разделаемся как с твоей подопечной, этой Мон-Сен-Жан!

— Значит, мы трусихи?

— Повтори это еще раз! — Лилию-Марию не тронули злобные выкрики; она выждала, чтобы

это вспышка утихомирилась; и когда ее голос мог быть услышан, ответила Волчице, которая все еще выкрикивала:

— Посмей еще раз сказать, что мы трусливые твари! Лилия-Мария обвела арестанток своим грустным и спокойным взглядом и сказала:

— Вас обвинить в трусости? Я? Нет, я говорила об этой несчастной женщине, которую вы били, рвали на ней одежду, втаптывали ее в грязь, — это она оказалась трусливой... Разве вы не видите, как она плачет, как дрожит, глядя на вас? Еще раз говорю вам: она трусиха, потому что боится вас!

Инстинкт Лилии-Марии сослужил ей огромную службу. Если бы она воззвала к справедливости и долгу, чтобы утихомирить грубое и глупое ожесточение арестанток, она бы не добилась цели. Но сейчас она тронула их, обращаясь к их природному великодушию, которое никогда не угасает до конца даже в самых ожесточенных сердцах.

Волчица и ее подруги поворчали немного, но в душе признавались, что вели себя недостойно, трусливо. Лилия-Мария, желая закрепить эту первую победу, продолжала:

— Ваша несчастная жертва не заслуживает жалости, говорите вы. Но, господи, ведь ее ребенок заслуживает жалости и сострадания! Господи,

разве он не чувствует ударов, которые вы наносите его матери? Когда она умоляет вас пожалеть ее, это ведь это не для себя, а ради своего ребенка! Когда она просит у вас корочку хлеба, если у вас немного остается, — это потому, что она голоднее вас, это потому, что ей нужно еще немного для своего ребенка... Когда она умоляет вас со слезами на глазах вернуть ей эти лохмотья, которые она собирала с таким трудом — это не для нее, а для ее ребенка! Этот маленький чепчик из лоскутков и кусочков от старого матраса, этот жалкий чепчик, над которым вы так смеялись... Может быть, он и в самом деле смешной, но, когда я увидела его, признаюсь, мне захотелось плакать... Что ж, если хотите, посмейтесь надо мной и над Мон-Сен-Жан.

Но никто из арестанток не засмеялся.

Волчица с печалью смотрела на маленький детский чепчик, который остался у нее.

— Боже мой! — продолжала Лилия-Мария, утирая слезы тыльной стороной своей белой и тонкой руки. — Я же знаю, что вы добрые... Вы мучили Мон-Сен-Жан от скуки, а не потому, что вы жестокие... Но вы забыли, что их двое... она и ее ребенок. Скоро она возьмет его на руки и будет защищать от всех вас! И вы не только не

ударите ее, боясь задеть невинного младенца, вы отдадите матери, все, чтобы она могла уберечь его от холода... Скажи, Волчица!

— Да, это правда... Младенец... Кто не пожалеет маленького?

— Ведь это так просто...

— Если бы он был голоден, вы бы отдали ему свой кусок хлеба, не правда ли, Волчица?

— Да, и с легким сердцем... Я же не хуже других.

— И мы тоже!..

— Невинный бедняжка!

— Да у кого рука поднимется, чтобы причинить ему зло?

— Это же злодейство!

— Бессердечие!

— Даже дикие звери...

— Я была права, — продолжала Лилия-Мария, — когда говорила, вам, что вы совсем не злые, вы добрые, просто вы не подумали, что Мон-Сен-Жан пока еще не носит своего ребенка на руках, чтобы вас разжалобить, но уже носит его в своем чреве... вот и все.

— Все? — с волнением воскликнула Волчица. — Нет, далеко не все! Вы были правы, Певунья! Мы и в самом деле трусливые девки, и у вас хва-

тило смелости сказать это нам и не побояться ничего после того, как вы это сказали. Видите ли, сколько бы мы ни говорили и ни спорили, все равно приходится признавать, что вы не такая, как мы, не из наших. Обидно, но что поделаешь... Мы тут сейчас были неправы... Вы оказались храбрее нас всех...

— Да, в самом деле, этой блондиночке нужно было набраться смелости, чтобы сказать нам всю правду в лицо...

— Но ее голубые глазки, такие нежные, такие сладкие, когда в них посмотришь...

— Отважные, как два львенка!

— Бедняжка Мон-Сен-Жан, она теперь должна поставить ей такую свечу за свое спасение!..

— А правда ведь, когда мы колотили эту несчастную Мон-Сен-Жан, мы вроде как бы били ее ребенка...

— Я об этом не подумала.

— Я тоже.

— А Певунья подумала обо всем.

— Ударить ребенка... Как это страшно!

— Никто из нас на такое не пойдет.

Нет ничего более переменчивого, чем страсти толпы, ее внезапные обращения от зла к добру и от добра ко злу.

Несколько простых и трогательных слов Лилии-Марии вернули сочувствие к Мон-Сен-Жан, которая рыдала от умиления.

Все были искренне взволнованы, потому что, как мы уже говорили, все, что связано с материнством, пробуждало самые добрые и живые чувства даже в сердцах этих заблудших созданий.

И тогда Волчица, свирепая и озлобленная на весь белый свет, смяла маленький чепчик, который держала в руках так, чтобы он походил на кошелек, и бросила в него двадцать су.

— Я кладу двадцать су на приданое младенцу Мон-Сен-Жан! — закричала она, показывая чепчик своим компаньонкам. — Только на материю! Мы покроим и сошьем все сами, чтобы это ей ничего не стоило...

— Да! Да!

— Правильно!.. Давайте скинемся...

— Я тоже в доле!

— Она страшна как бог знает что, но все-таки она мать...

— Певунья права, сердце может разорваться, когда глядишь на эти лоскутки, из которых несчастная собиралась шить пеленочки...

— Я даю десять су.

— А я — тридцать.

— А я — двадцать.

— Я только четыре су... у меня больше нет.

— А у меня нет ничего, но я продаю свою завтрашнюю порцию в общий котел... Кто купит?

— Я покупаю, — ответила Волчица. — Кладу за тебя десять су, но твоя порция останется тебе, а у Мон-Сен-Жан будет приданое, как у принцессы.

Невозможно выразить изумление и радость Мон-Сен-Жан; ее уродливое, клоунское лицо, залитое слезами, стало почти трогательным. Оно сияло от признательности и счастья.

Лилия-Мария тоже была бесконечно счастлива, но все же сказала Волчице, когда та протянула ей чепчик с монетами:

— У меня нет денег, но я буду работать сколько понадобится...

— Ах вы, мой ангелочек небесный! — воскликнула Мон-Сен-Жан, бросаясь перед ней на колени и пытаясь схватить ее руку, чтобы поцеловать. — Чем я заслужила, что вы так милосердны ко мне и все эти дамы тоже? Неужели это возможно, о господи, что мой ребенок получит приданое, настоящее приданое, все, что ему понадобится? Кто бы мог поверить! Я бы с ума сошла, это точно. Я только что была грязной тряпкой, об которую

все вытирали ноги! И сразу, вдруг, потому что вы им сказали... всего несколько слов... своим тихим ангельским голосом... все они отвратились от зла к добру... все любят меня... И я тоже всех люблю. Они такие добрые! Я напрасно на них сердилась. Какая же я — глупая, несправедливая и неблагодарная! Ведь если они помыкали мной, так это в шутку, для смеха, они не хотели мне зла, это только для моего же блага, и вот доказательство! О, если теперь меня прикончат на месте, я даже не охну. Зря я вас всех подозревала.

— У нас восемьдесят восемь франков и четыре су, — объявила Волчица, подсчитав все собранные деньги, которые она сложила в маленький чепчик.

— Кто у нас будет кассиршей, пока мы не истратим эти деньги на приданое? Кто? — закричали арестантки.

— Если вы верите мне, — сказала Лилия-Мария, — я бы отдала эти деньги госпоже Арман и поручила ей купить все необходимое для детского приданого. А потом, кто знает, госпожа Арман, может быть, оценит ваш добрый поступок и попросит сбавить на несколько дней сроки заключения для тех, кто хорошо себя ведет... Так что же, Волчица, — добавила Лилия-Мария, беря

под руку свою подругу, — разве теперь вам не лучше, чем тогда, когда вы раскидывали и топтали жалкие лоскутки этой Мон-Сен-Жан?

Сначала Волчица ничего не ответила.

Великодушный порыв, который на несколько мгновений одушевил ее лицо, уступил место звериной подозрительности.

Лилия-Мария смотрела на нее с удивлением, не понимая причины столь резкой перемены.

— Пойдемте, Певунья... мне надо с вами поговорить, — с мрачным видом сказала Волчица.

Выйдя из толпы арестанток, она резко потянула за собой Лилию-Марию и почти потащила к облицованному камнем бассейну, устроенному посреди прогулочного двора. За ним стояла скамья.

Волчица и Певунья сели на скамейку и оказались как бы отделенными от своих подруг.

Глава VIII.
ВОЛЧИЦА И ПЕВУНЬЯ

Мы свято верим, что существуют такие властные натуры, которые могут влиять на толпу, и они настолько могущественны, что способны подвигнуть ее на злое или на доброе дело. Одни, бесстрашные, дерзкие и непокорные, возбуждают самые низкие страсти, — их вздымает на поверхность, как ураган поднимает пену над волнами; однако эти волны хоть и высоки, но быстро опадают. За взлетом ярости следует тихая боль, скрытая горечь, которые только усиливают печаль несчастной души. Похмелье после взрыва ярости всегда тяжело, пробуждение всегда мучительно.

Волчица, если хотите, была примером именно такого ужасного воздействия.

Другие натуры, гораздо более редкие, потому что у них инстинкты облагорожены разумом и разум сочетается с душевностью, другие, еще раз скажем, способны склонить к добру, так же как первые — ко злу. Благотворное влияние проникает в души, как солнечные лучи с их живительным

теплом... как свежая ночная роса возрождает иссушенную жаждой землю.

Лилия-Мария, если хотите, была примером воздействия благодетельного.

Добро не проникает в душу так быстро, как соблазны зла, но оно действует хоть и медленно, но верно. Оно, как благовонное умащение, постепенно ублажает, успокаивает и смягчает зачерствевшую душу и возвращает ей необъяснимое это счастье чистоты.

Но, к несчастью, очарование это длится недолго.

Мельком увидев небесное сияние, ожесточенные души снова погружаются во мрак своей обычной жизни: воспоминания о сладостных радостях, которые их посетили на минуту, быстро забываются. Но иногда они все же пытаются их вспомнить, хотя бы смутно, как мы вспоминаем невнятную колыбельную, которая укачивала нас в далеком счастливом детстве.

Благодаря доброму делу, которое подсказала Певунья, многие испытывали это чувство мимолетного счастья, но оно особенно затронуло Волчицу. Однако она, по причинам, о которых мы расскажем, была ранена гораздо более, чем все остальные арестантки, и восприняла гораздо

глубже этот благородный урок.

Можно, конечно, удивляться, как это Лилия-Мария, еще недавно такая безвольная и плаксивая, вдруг стала храброй и решительной, но надо не забывать, какое благородное воспитание она получила на ферме Букеваль и как оно быстро развило редкие природные качества ее чудесного характера.

Лилия-Мария понимала, что нечего зря оплакивать прошлое и что, только делая добро или подвигая на него других, она может искупить свою вину.

Как мы уже сказали, Волчица села на деревянную скамью рядом с Певуньей.

Эта близость двух юных женщин являла разительный контраст.

Их освещали бледные лучи зимнего солнца; в чистом небе всплывали маленькие белые и курчавые облачка; птички, обрадованные недолгим теплом, щебетали среди черных ветвей старого каштана; самые храбрые и отчаянные воробьишки купались и пили воду в ручейке, вытекавшем из переполненного бассейна; зеленый мох покрывал плиты по его краям; между этими камнями в широких щелях проросли пучки травы и водяных растений, еще не погубленных заморозками.

Описание этого маленького водоема на прогулочном дворе тюрьмы Сен-Лазар может показаться ребячеством, однако Лилия-Мария запоминала каждую подробность; она смотрела на эту зелень и прозрачную воду, в которой отражались бегущие облака и золотой отсвет солнца, и думала, вздыхая, о великолепии природы, которую так любила, которой так восхищалась всей страстью своей поэтической души и которой была лишена.

— Что вы хотели сказать мне? — спросила Певунья свою подругу, сидевшую рядом с ней в суровом молчании.

— Нам пора объясниться! — гневно воскликнула Волчица. — Это не может так продолжаться!

— Я вас не понимаю, Волчица.

— Только что там, на дворе, я сказала себе, из-за этой Мон-Сен-Жан: я больше не стану уступать тебе, Певунья, и все-таки я уступила...

— Но при чем же я?..

— А при том, что это не может так продолжаться!

— Что вы имеете против меня, Волчица?

— А то... что я сама не своя после того, как вы здесь появились. У меня ни сердца, ни злости, ни храбрости...

Она замолчала на миг, затем вдруг, засучив рукав, показала на своей белой, мускулистой, покрытой черным пушком руке неизгладимую татуировку — изображение кинжала, вонзенного наполовину в окровавленное сердце, а под ним — наколотые слова: «Смерть трусам! Марсиаль. Н. В. На всю жизнь».

— Вы видите это? — вскричала Волчица.

— Да, и это ужасно... и пугает меня, — ответила Певунья, отворачиваясь.

— Когда Марсиаль, мой любовник, выколол мне на руке раскаленной иголкой эти слова: «Смерть трусам!» — он верил, что я никогда не струшу. Но если бы он знал, как я вела себя последние три дня, он бы вонзил кинжал в мою грудь, как этот кинжал в это сердце... и он был бы прав, потому что написал: «Смерть трусам!» А я оказалась трусихой...

— В чем же вы струсили?

— Во всем...

— Вы жалеете о своем добром поступке?

— Да...

— Нет, я не верю вам...

— Да, я жалею об этом, потому что это еще одно доказательство, что вы что-то делаете со всеми нами. Разве вы не слышали, как эта Мон-Сен-Жан

благодарила вас, стоя на коленях?

— Что же она говорила?

— Она сказала: «Одно ваше слово отвратило нас от зла и подвигло к добру». Я бы ее задушила... если бы, к моему стыду, это не было правдой. Да, в мгновение ока вы можете белое сделать черным, и наоборот, мы слушаем вас, доверяемся первому порыву... и остаемся в дураках... как вот сейчас...

— Я одурачила вас?.. Только потому, что хотела великодушно помочь этой несчастной женщине?

— Речь не об этом! — гневно вскричала Волчица. — До сих пор я ни перед кем не склоняла голову... Волчицей меня прозвали, и я заслужила это имя... Многие женщины носят отметки моих клыков... и мужчины тоже. И никто не скажет, чтобы такая девчонка, как вы, укротила меня!..

— Я? Но как же это

— Откуда я знаю как!.. Вы тут появляетесь... Вы начинаете оскорблять меня...

— Вас оскорблять?..

— Да... Вы спрашиваете, кому нужна ваша пайка хлеба... Я первая отвечаю: мне!.. Мон-Сен-Жан попросила только после меня, но вы отдали хлеб ей... Я была в ярости, бросилась на вас с ножом...

— А я вам сказала: убейте меня, если хотите, но

только не заставляйте мучиться, — припомнила Певунья. — Вот и все.

— Все? Да, в самом деле, все. Но из-за этих слов нож выпал у меня из рук! И я просила у вас прощения, у вас, что меня оскорбила!.. Что же будет дальше? Когда я прихожу в себя, прямо хоть плачь! А вечером, когда вас привели сюда, вы стали на колени помолиться, а я, вместо того чтобы посмеяться над вами, поднять на ноги всех подружек, почему я сказала: «Оставьте ее в покое... она имеет право молиться...»? И почему назавтра я и все другие застыдились одеваться перед вами?

— Я, право, не знаю, Волчица.

— В самом деле? — воскликнула со смехом эта необузданная женщина. — Вы этого не знаете? Может быть, потому, что вы другой породы, как мы это говорим в шутку? Может, вы сами в это верите?

— Я никогда не говорила, что верю в это.

— Да, не говорили... но про себя-то верили!

— Прошу вас, послушайте меня...

— Нет уж, я вас наслушалась, насмотрелась на вас, да что от этого толку? До сих пор я никому никогда не завидовала, а теперь... Надо же быть такой трусливой и глупой!.. Два-три раза я ловила

себя на мысли... что завидую вашему лицу непорочной девы, вашему печальному и нежному личику... Да, я завидовала даже вашим белокурым волосам, вашим голубым глазам, и это я, которая всегда презирала блондинок, потому что я брюнетка... Мне хотелось походить на вас, мне, Волчице!.. Неделю назад я бы пометила моими клыками ту, кто посмел бы мне это сказать... И все же ваша участь мало кого может соблазнить: вы печальны, как Магдалина. Кому это нужно?

— Разве я виновата, что вы обо мне так думаете?

— О, вы прекрасно знаете, что делаете... с вашим видом невинной недотроги...

— В чем же вы меня подозреваете?

— Откуда мне знать? Вот потому, что я не понимаю, я остерегаюсь вас. И еще одно: до сих пор я всегда была весела или зла... но никогда не задумывалась... А вы меня заставили задуматься. Да, вы говорили слова, которые тревожили мне душу и невольно заставляли вспоминать самое грустное.

— Мне жаль, что я, может быть, чем-то огорчила вас, но, поверьте, Волчица, если я и сказала что-то такое...

— О господи! — гневно воскликнула Волчица,

нетерпеливо прерывая свою подругу. — Все, что вы говорите и делаете, порой выворачивает душу!.. Вы так ловко это умеете!..

— Не сердитесь, Волчица... Лучше объясните.

— Вчера в мастерской я вас хорошо разглядела. Вы сидели опустив голову и смотрели на свое шитье... и тогда из ваших опущенных глаз скатилась вам на руку крупная слеза; вы посмотрели на нее, поднесли руку к губам, словно чтобы поцеловать эту слезу, а не вытереть ее... Это правда?

— Да, правда, — ответила Певунья.

— Вроде бы ничего не случилось, но у вас был такой несчастный вид, такой несчастный, что у меня все перевернулось в душе... Ну скажите, разве это не смешно? Я всегда была каменной, никто не видел у меня на глазах ни слезинки, а тут... от одного взгляда на вашу заплаканную мордашку я почувствовала, как сердце мое слабеет, становится жалким и трусливым... Да, потому что все это трусость! И доказательство тому — что вот уже три дня не решаюсь писать Марсиалю, моему любовнику, потому что совесть моя не чиста... Да, да, наше с вами знакомство размягчило мне душу, и пора с этим кончать! С меня хватит, это плохо кончится... я за себя не отвечаю. Я хочу остаться, какая есть, и не позволю насмехаться

над собой!..

— Зачем же над вами насмехаться?

— Черт возьми! Да потому что я стала добренькой дурочкой, это я, перед кем здесь все трепетали! Нет, не бывать этому! Мне всего двадцать лет, я так же красива, как и вы, только по-своему, я злая, меня все боятся, а мне этого только и надо... А на все остальное мне наплевать, и пусть подохнет тот, кто думает иначе!..

— Вы почему-то сердитесь на меня, Волчица?

— Да, вы для меня — скверное знакомство. Через две недели, если так будет продолжаться, меня начнут называть не Волчицей... а кроткой овечкой. Нет уж, спасибо, меня так никогда не перекрестят... Марсиаль убил бы меня. И наконец, я не хочу с вами больше знаться: чтобы не видеть вас, я попрошусь в другую камеру, а если откажут, выкину какую-нибудь злую шутку, чтобы меня засадили в одиночку до окончания моего срока... Вот что я хотела сказать вам, Певунья.

Лилия-Мария поняла, что подруга, чье сердце еще не очерствело, боролась с самой собой, сопротивлялась лучшим своим побуждениям. Несомненно, эти лучшие побуждения проснулись в ней из сочувствия и любопытства, которые невольно возбуждала Лилия-Мария. К счастью

для людей, — повторим еще раз, — редкие, но блистательные примеры убеждают нас, что существуют избранные души, обладающие такой притягательностью, что даже самые упрямые и закоренелые во зле существа поддаются их влиянию и стараются им подражать. Чудодейственные успехи многих миссионеров и проповедников можно объяснить только этим.

В том бесконечно суженном кругу именно такими стали отношения между Лилией-Марией и Волчицей; но последняя, из чувства противоречия или скорее по своему неукротимому и вздорному характеру, изо всех сил противилась благотворному влиянию, которое ощущала все сильнее... точно так же, как честные натуры сопротивляются греховным соблазнам.

Если вспомнить о том, что у порока тоже есть своя дьявольская гордость, то станет понятным, почему Волчица старалась любой ценой сохранить свою репутацию неукротимой и неустрашимой женщины, чтобы не превратиться из Волчицы... в овцу... как она сама сказала. В то же время ее колебания, ее вспышки гнева, ее злобные нападки вперемежку с великодушными порывами открывали в этой несчастной женщине такие глубоко скрытые добрые и значи-

тельные качества, мимо которых Лилия-Мария не могла пройти.

Да, она почувствовала, что Волчица не была совсем потерянна, и хотела ее спасти, как спасли ее самое.

«Лучший способ отблагодарить моего благодетеля, — думала Певунья, — это подать другим, кто еще может услыхать, такие добрые советы, какие он дал мне».

Лилия-Мария застенчиво взяла за руку свою подругу и указала ей:

— Поверьте мне, Волчица, если вы сжалились надо мной, то вовсе не из трусости, а потому что вы великодушны. Только храбрые сердца умиляются несчастиям ближних.

— В этом нет ни великодушия, ни храбрости! — грубо ответила Волчица. — Одна только трусость!.. И я не хочу, чтобы вы говорили, будто я рассусолилась! Это все вранье!

— Я не скажу этого больше, Волчица, но вы посочувствовали мне, не правда ли? Могу я поблагодарить вас за это?

— А мне наплевать!.. Сегодня же я буду в другой камере или одна в карцере, а скоро и срок пройдет, слава богу!

— И куда вы пойдете, когда пройдет срок?

— Хм, то есть как это? К себе, конечно, на улицу Пьер-Леско, у меня там своя квартирка со всей обстановкой.

— А как же Марсиаль? — спросила Певунья, надеясь продолжить этот разговор, затронув больное для Волчицы место. — Как же Марсиаль? Он будет рад увидеть вас?

— О да, да, конечно! — ответила Волчица со страстью. — Когда меня схватили, он только что оправился после болезни... от лихорадки, потому что он все время на воде... Больше двух недель днем и ночью я не отходила от него ни на минуту, продала половину своих тряпок, чтобы заплатить врачу за лекарства и все прочее... Могу сказать об этом с гордостью и горжусь этим: если мой любовник жив и здоров, этим он обязан только мне... Я еще вчера поставила за него свечу. Глупость, конечно, но мне все равно, — говорят, это очень помогает, когда человек поправляется...

— А где он теперь? Что он делает?

— Как всегда, у моста Аньер, на берегу реки.

— На берегу?

— Он там устроился со своей семьей в одинокой хижине. По-прежнему воюет с рыбной охраной, и, когда он сидит в своей лодке с двустволкой в руках, лучше к нему не подходить! — с гордостью

добавила Волчица.

— Чем же он живет?

— Рыбачит тайком, по ночам. И еще, он храбрый как лев, и если нужно подсобить какому-нибудь трусишке, который повздорил с таким же трусом, он это быстро улаживает... У его папаши были какие-то неприятности с полицейскими... А кроме того, там еще мамаша, две сестрицы и брат... Боже упаси от такого братца! Такого негодяя еще поискать! Когда-нибудь он попадет под гильотину... и его сестрицы тоже... Да мне что за дело, — пусть сами думают о своих шеях!

— Где же вы познакомились с Марсиалем?

— В Париже. Он хотел выучиться на кузнеца... Прекрасное ремесло, всегда раскаленное железо и огонь вокруг! Опасно, конечно, однако ему это нравилось. Но голова у него дурная, как у меня, и ничего у него не вышло с этими парижанами-горожанами. Вот он и вернулся к своим родичам и опять принялся разбойничать на реке. Ночью приезжает ко мне в Париж, а я днем, когда могу, к нему в Аньер; это ведь совсем близко, но, если бы было в тысячу раз дальше, я все равно приползла бы к нему на четвереньках.

— Вам бы очень понравилось в деревне, — со вздохом сказала Певунья. — Особенно если вы

любите, как я, эти тропинки в полях.

— Я бы лучше погуляла со своим Марсиалем по тропинкам в густом лесу.

— В густом лесу? И вы бы не испугались?

— Испугалась? Чего мне бояться? Разве волчица боится леса? Чем гуще и безлюднее будет лее, тем лучше. Что нам нужно? Маленькая хижина, где мы смогли бы приютиться. Марсиаль постреливал бы тайком дичь, а если бы пришли егеря нас схватить, он бы стрельнул в них разок-другой, и мы бы удрали с ним в чащу! О господи, как было бы здорово!

— А вам уже приходилось жить в лесу?

— Никогда, — ответила Волчица.

— Откуда же у вас эти мечтания?

— От Марсиаля.

— Не понимаю.

— Он был браконьером в лесах Рамбулье. Год назад его обвинили, будто он стрелял в егеря, который точно стрелял в него... этот поганый егерь! Короче, на суде ничего не доказали, но Марсиалю пришлось уехать оттуда. Он пришел в Париж, чтобы выучиться на кузнеца и слесаря. Тут мы с ним и повстречались. Но я уже говорила: у него слишком дурная голова, и он не смог приспособиться к этим сытым горожанам и вернулся в

Аньер к своим родичам вылавливать свою долю на реке — все-таки меньше хлопот и унижений! Но до сих пор жалеет о лесах; когда-нибудь он туда вернется. Он столько мне рассказывал о них, как он там охотился тайком, что все это запело мне в голову... и теперь мне кажется, что я рождена для этой жизни. Да ведь это всегда так: хочешь того, чего хочет твой муж... Если бы Марсиаль был вором, я бы стала воровкой... Когда у тебя есть любимый мужчина, надо быть такой же, как он.

— А ваши родители, Волчица, где они?

— Откуда мне знать!

— Вы давно их не видели?

— Я даже не знаю, живы ли они.

— Они так плохо с вами обходились?

— Нет, они не были ни добрыми, ни злыми. Мне было, наверное, лет одиннадцать, когда моя мамочка улизнула куда-то с каким-то солдатом. Мой папаша, — он был поденщиком, — сразу привел на наш чердак любовницу с ее двумя сынишками: одному было лет шесть, а другому — столько же, сколько мне. Она торговала яблоками, развозила их на тележке. Вначале все было не так уж плохо, но потом, пока она возила свою тележку, у нас начала появляться торговка устрицами, с которой папаша завел шашни, а та, первая, об

этом узнала. С тех пор у нас в доме почти каждый день происходили такие свары и драки, что мы с двумя этими мальчишками помирали от страха. А спали мы вместе, потому что у нас была всего одна комната и одна кровать на троих... а рядом в этой же комнате забавлялся папаша со своей любовницей. Однажды, были как раз ее именины — праздник Святой Магдалины, так вот эта наша не святая Магдалина упрекнула отца, что он ее не поздравил! Слово за слово, и в конце концов папаша раскроил ей череп палкой от метлы. Я уже обрадовалась, думала, с ней все кончено. Она так и рухнула, как мешок с картошкой, наша Магдалина! Но жизнь ее закалила и голова у нее была крепкая.

После этого случая она устроила папаше красивую жизнь: один раз укусила его за руку так, что лоскут кожи остался у нее в зубах! Надо сказать, что такие побоища были вроде больших праздников в Версале, а по обычным дням все обходилось без особого шума, были синяки, но крови не было...

— Эта женщина плохо обходилась с вами?

— Мамаша Мадлен? Да что вы, наоборот! Она была просто вспыльчивая, а так — славная женщина. Но под конец отцу все это надоело; он

оставил ей все свои нехитрые пожитки, ушел и больше не вернулся. Он был бургундцем и, наверное, отправился к себе на родину. Мне было тогда лет пятнадцать или шестнадцать.

— И вы остались с бывшей любовницей отца?

— Куда же мне было деваться? А тут еще она спуталась с кровельщиком, который поселился у нас. Из двух сыновей Мадлен старший утонул возле Лебяжьего острова, а младший ушел в подмастерья к столяру.

— А что вы делали у этой женщины?

— Помогала ей возить тележку, варила суп, относила еду ее кавалеру, а когда он возвращался пьяный, что с ним бывало чаще положенного, помогала матушке Мадлен лупить его, чтобы он утихомирился и оставил нас в покое, потому что мы по-прежнему жили в одной комнате. А он, когда хмель ударял ему в голову, становился хуже дикого осла, все бил и крушил! Один раз еле вырвали у него топорик: он хотел обеих нас зарубить; но матушке Мадлен все же досталось, он успел садануть ей по плечу... Ну и кровищи было — как на бойне!

— Как же вы стали такой... как мы все? — робко спросила Лилия-Мария.

— О, это просто! Сначала у меня был тот,

мальчишка Шарль, ну, который утонул возле Лебяжьего острова, — почти сразу же после того, как мамаша Мадлен переселилась к нам. Ведь мы были детьми и спали в одной постели, чего же еще?.. А потом этот кровельщик... Мне-то было все равно, только я боялась, как бы Мадлен нас не застукала, а то еще выгонит из дому... Так оно и случилось. Она, добрая женщина, сказала мне: «Раз уж такое дело, тебе шестнадцать, ты ни на что другое не пригодна и слишком глупа, чтобы устроиться служанкой или чему-нибудь выучиться, так что пойдем со мною в полицию, тебя там внесут в списки. Родителей твоих нет, значит, я за тебя отвечаю, и можешь потом не бояться, правительством это дозволено. Дело твое простое, веселись да забавляйся, а я буду за тебя спокойна, и ты мне будешь не в тягость. Как ты на это посмотришь, дочка?» — «Ей-богу, наверное, так и надо, — ответила я. — Сама я об этом не подумала». Мы отправились в полицию, в отдел нравов, и меня рекомендовали в один дом, где я до сих пор прописана. Последний раз я видела Мадлен с год назад; мы выпивали с моим ухажером, пригласили ее к столу. Она сказала, что кровельщика отправили на галеры. С тех пор я ее не встречала. Не помню уж, кто говорил мне,

будто ее унесли в морг месяца три назад. Если это так, тем хуже, потому что она была славная женщина, эта мамаша Мадлен, такое открытое сердце, а злости в ней было не больше, чем в голубке.

Лилия-Мария сама попала с детства в подобную же, отравленную атмосферу, но последнее время она дышала таким чистым воздухом, что страшный рассказ Волчицы причинил ей мучительную боль.

Если мы и осмеливаемся с горечью привести этот рассказ, то лишь потому, чтобы все знали: при всем его ужасе он в тысячу раз невиннее того, что ежечасно происходит на самом деле.

Да, невежество и нищета слишком часто приводят дочерей бедняков к деградации и унижению человеческого достоинства.

Да, во множестве лачуг взрослые и дети, законные и незаконные дети, девочки и мальчики валяются на одной постели, как щенята на одной подстилке, и у них перед глазами возникают отвратительные сцены пьянства, избиений, разврата и даже зверских убийств.

Да, и слишком часто к этим ужасам примешивается ужас кровосмешения.

Богачи могут скрывать свои пороки, окружая

их тайной, и хранить таким образом святость своего домашнего очага. Но даже самые честные ремесленники, которые живут в одной комнатушке со всей семьей, вынуждены укладывать на одну кровать всех своих детей — сестер и братьев, а рядом с ними, на полу, — мужей и жен.

Если эти ужасные обстоятельства заставляют нас содрогаться, когда мы говорим о бедных, но честных ремесленниках, то что же нам остается сказать, если речь идет о людях, сбившихся с пути, совращенных невежеством или пороком?

Какой ужасный пример они показывают своим заброшенным детям, которых с ранних лет возбуждают сцены животной грубости и похоти! Откуда у них возьмутся понятия о долге, чести и целомудрии? Как могут они воспринять законы общества, если эти законы для них так же чужды и непонятны, как для дикарей-людоедов?

Несчастные создания, развращенные с детства, они даже в тюрьмах, куда попадают всего лишь из-за бездомности и сиротства, сразу получают грубую и страшную кличку: «Каторжное семя!»

И в этой метафоре есть смысл.

Столь мрачное предсказание почти всегда сбывается: в зависимости от пола, одни идут на каторгу, другие — в дома терпимости, у каждого

своя судьба.

Мы не хотим никого оправдывать.

Но давайте только сравним развратное поведение женщины из добропорядочной семьи, женщины, воспитанной на самых благородных примерах, с падением Волчицы, которая была, если можно так сказать, вскормлена пороком и для порока! И кто осмелится после этого утверждать, будто проституция — явление нормальное, обычная профессия?

Но так оно и считается.

Есть особое отделение полиции, где проституток регистрируют, отмечают и выдают удостоверения.

Матери часто приводят туда дочерей, мужья — своих жен.

И это отделение называется «полицией нравов»!!

Должно быть, в нашем обществе укоренился глубокий и неизлечимый порок, если закон, защищающий мужчин и женщин, если сама власть, да, та самая власть, которая стала для большинства пустой абстракцией, вынуждена не только терпеть, но регламентировать, узаконивать и даже защищать, чтобы сделать ее менее опасной, эту отвратительную распродажу души

и плоти, которая подстегивается необузданными аппетитами огромного города и с каждым днем возрастает неудержимо!

Глава IX.
ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ

Певунья преодолела волнение, вызванное печальной исповедью своей подруги, и робко сказала:

— Послушайте меня, только не сердитесь.

— Что ж, давайте, я уже довольно тут наболтала. Но мне все равно, потому что мы говорим в последний раз.

— Волчица, вы счастливы?

— Как это?

— Довольны жизнью, которую ведете?

— Здесь, в Сен-Лазаре?

— Нет, у себя, на свободе.

— Да, я счастлива.

— Всегда?

— Всегда.

— Вы не хотели бы сменить вашу участь на другую?

— На какую другую? У меня одна судьба.

— Скажите, Волчица, — продолжала Лилия-Мария, немного помолчав, — вы никогда не мечтали, не строили воздушные замки? Это так

забавно, особенно в тюрьме!

— О чем еще мне мечтать?

— О Марсиале.

— Ей-богу, даже не пробовала.

— Позвольте тогда построить воздушный замок для вас и Марсиаля.

— Ха, к чему это все?

— Так, чтобы провести время.

— Ну что ж, давайте ваш воздушный замок!

— Представьте, например, что совершенно случайно, как это иногда бывает, вы повстречали человека, который вам говорит: вас покинули отец и мать, с детства вы видели перед собой такие дурные примеры, что вас следует скорее пожалеть, а не упрекать за то, чем вы стали...

— Чем это я стала?

— Тем, чем стали вы и я, — ответила Певунья нежным голосом и продолжала: — Представьте, что этот человек говорит вам: вы любите Марсиаля, он любит вас, кончайте эту дурную жизнь! Вместо того чтобы быть его любовницей, будьте его женой!

Волчица пожала плечами.

— Да разве он возьмет меня в жены?

— Но ведь, если не считать браконьерства, он ни в чем не провинился?

— Нет. Он браконьерствует теперь на реке, как раньше — в лесах, и он прав. Подумай, разве рыба, как дичь, не должны доставаться тому, кто их поймает? Где на них клеймо хозяина?

— Так вот, представьте, что он откажется от своего опасного ремесла речного браконьерства и захочет вести самую честную жизнь; и представьте, что его искренность и добрые намерения понравятся, внушат доверие некоему неизвестному благодетелю, и тот даст ему место, скажем, егеря. Ему, бывшему браконьеру, это будет, надеюсь, по вкусу: занятие то же самое, только не во зло, а во имя добра.

— Ей-богу, это так! Он любит жить в лесу.

— Только это место ему дадут при одном условии: чтобы он женился на вас и взял вас с собой.

— Чтобы я отправилась вместе с Марсиалем?

— Да, ведь вы говорили, что были бы счастливы жить с ним в лесу! Но лучше вместо жалкой хижины браконьера, где вы оба прятались, как два преступника, честно жить в маленьком домике, где вы будете трудолюбивой и прилежной хозяйкой?

— Вы смеетесь надо мной! Разве это возможно?

— Кто знает? Все дело случая. К тому же ведь это только воздушные замки...

— А, ну да... Что же, тем лучше.

— Послушайте, Волчица, я уже вижу вас в вашем маленьком домике в глубине леса вместе с вашим мужем и двумя или тремя детьми. Дети! Какое это счастье, не правда ли?

— Дети от моего мужа? — воскликнула Волчица с дикой страстью. — О, как крепко я их буду любить!

— А они будут скрашивать вам одиночество. А когда не-много подрастут, будут вам помогать во всем: младшие — собирать хворост для очага, старший — пасти на лесных полянах одну или две коровы, которые ваш муж получит в награду за свою службу, потому что из бывших браконьеров получаются лучшие егеря.

— Да, так оно и есть. Смотри-ка, воздушные замки — это и впрямь забавно... Говорите дальше, Певунья!

— Хозяин будет очень доволен вашим мужем... Он не поскупится: у вас будет птичник, сад, но, смотрите, Волчица, вам придется работать не покладая рук с утра до ночи!

— О, если бы только за этим стало! Рядом с мужем я с любой работой справлюсь, у меня сильные руки...

— А работа для них всегда найдется, уж это я вам

обещаю!.. Столько дел надо переделать! Столько дел!.. Хлев почистить, еду приготовить, всю одежду перечистить; сегодня — стирка, завтра — хлеб надо печь или весь дом убрать сверху донизу, чтобы другие егеря говорили: «О, такую чистюлю, как жена Марсиаля, поискать! Смотрите, как все блестит и сверкает от чердака до погреба, просто чудо! И дети такие ухоженные... Да, прекрасная хозяйка эта госпожа Марсиаль!»

— В самом деле, Певунья, ведь меня тогда будут называть госпожа Марсиаль, — с гордостью сказала Волчица. — Госпожа Марсиаль!

— Это, пожалуй, лучше звучит, чем Волчица, не так ли?

— Конечно, имя мужа мне больше по нраву, чем имя зверя... Но о чем я?.. Ха-ха, волчицей я родилась, волчицей и подохну...

— Кто знает, кто знает? То, что вас не пугают трудности честной жизни, — добрый знак, он приносит счастье. Значит, работа вас не страшит?

— О чем речь? Я смогу позаботиться и о муже и о трех-четырех малышах, это мне не в тягость!

— Но такая жизнь — не только труды, в ней есть и минуты отдыха; зимой, в сумерках, когда дети уже спят, а муж покуривает трубку и чистит свои ружья или забавляется со своими собаками... вы

сможете отдохнуть, развлечься.

— Ха-ха, развлечься! Чтобы я сидела сложа руки? Да никогда! Лучше я поштопаю постельное белье, сидя вечером в уголке у огня, это ведь тоже развлечение... Зимою дни такие короткие!

Слова Лилии-Марии заставили Волчицу все дальше и дальше уходить от действительности в страну грез, как было и с Певуньей, когда Родольф рассказывал ей о сельских радостях фермы Букеваль. Волчица не скрывала любви к дикой жизни в лесу, которую внушил ей ее любовник. Но Лилия-Мария помнила, какое глубокое спасительное чувство вызывали в ней радужные картины сельской жизни, которые рисовал перед ней Родольф. И она решила испробовать тот же способ на Волчице, справедливо полагая, что, если ее подруга так искренне жаждет даже такой трудной, бедной, одинокой, но честной жизни, значит, она заслуживает сочувствия и жалости.

Певунью бесконечно радовало, что Волчица слушает ее так внимательно, она с улыбкой продолжала:

— Видите ли, госпожа Марсиаль... можно, я буду называть вас так? Вам ведь все равно?

— Вовсе нет, наоборот, мне даже лестно... — Тут Волчица пожала плечами и рассмеялась. — Госпо-

ди, какая глупость, разыгрывать из себя барыню? Что мы, дети?.. Ну да все равно... Давайте!.. Это в самом деле забавно... Так вы говорили?

— Я хотела сказать, госпожа Марсиаль, что зима в лесу — это самое худшее время года.

— Ну уж нет, вовсе не худшее! Слушать, как ветер качает по ночам деревья, а где-то далеко воют волки, далеко-далеко... Я бы не скучала, сидя у огня, только со мною был бы мой муж и мои крошки... Даже если бы я осталась одна, а мужу пришлось пойти с обходом... С ружьем я уже знакома. Если бы пришлось защищать моих малышей, я бы не испугалась... Э, да что там говорить! Волчица отстояла бы своих волчат!

— О, я вам верю! Вы храбрая... А я трусиха, я предпочитаю зиме весну. Ах, весна, госпожа Марсиаль, весна! Когда зеленеют листья, когда расцветают прекрасные лесные цветы, которые пахнут так нежно, так сладко, что, кажется, весь воздух пропитан их ароматом... Вот тогда ваши дети будут весело валяться на молодой травке, а затем листва на деревьях станет такой густой, что ваш дом почти скроется среди зелени. Мне кажется, я его так и вижу! Перед дверью шпалера виноградных лоз, которые посадил ваш муж; они отбрасывают Тень на лужайку, где он отдыхает в

полуденный зной, а вы хлопочете по хозяйству, проходите мимо и говорите детям, чтобы они не будили отца... Я не знаю, вы заметили, что летом в лесу около полудня наступает такая тишина, как ночью... и не слышно ни шороха листьев, ни пения птиц?..

— Да, не слышно, — машинально повторила Волчица, все более и более отдаляясь от реальности. Она словно наяву видела радостные сцены, которые разворачивала перед ней поэтическая фантазия Лилии-Марии, инстинктивно влюбленной в красоту природы.

Обрадованная глубоким вниманием подруги, Певунья продолжала, почти столь же увлеченная своими грезами.

— Есть еще одна вещь, которую я люблю почти так же, как лесную тишину, — это шум дождя, когда крупные капли стучат по листьям... Вы тоже это любите?

— Да, да, очень... Летний дождь!

— Не правда ли, хорошо? Когда деревья, мох, трава — все промокло, какой свежий запах! А потом, когда солнце просвечивает сквозь деревья, как сверкает каждая капелька на листьях после дождя! Вы тоже заметили?

— Нет... но теперь вспоминаю, потому что вы

мне об этом сказали... Право, чудно, вы рассказываете так хорошо, что вроде все вижу сама, когда вы об этом говорите... А потом еще, не знаю, как сказать, черт меня побери! Ну, когда вы рассказываете, я словно чувствую запах, такой сладкий, такой свежий... как после летнего дождя...

Так же как добро и красота, поэзия не менее заразительна,

Волчица, даже при ее примитивном и диком характере, невольно подчинялась влиянию Лилии-Марии.

А та продолжала с улыбкой:

— Не следует думать, что одни мы с тобой любим летний дождь. А птицы? Смотри, как они радуются, отряхивая перышки, как весело они щебечут, но все же не так весело, как ваши ребятишки... ваши дети, свободные, веселые и легкие, как эти птицы. Смотрите, как малыши бегут по тропинке навстречу старшему брату, который гонит с пастбища двух коров. Они еще издали узнали звон их колокольчиков и бросились наперегонки!

— Постойте-ка, Певунья, я словно вижу самого маленького и самого храброго: он упросил старшего брата, и тот посадил его верхом на спину коровы...

— Да, и можно подумать, что кроткое животное понимает., какой драгоценный груз оно несет: видите, как осторожно ступает эта корова?.. Но вот и час ужина... Ваш старшенький по дороге на пастбище забавы ради набрал для вас полную корзинку сладкой земляники и принес ее совсем свежей под толстым слоем лесных фиалок.

— Земляника и фиалки... какой это, должно быть, аромат!.. Но, господи боже мой, откуда у вас все это?

— Из тех лесов, где зреет земляника и цветут фиалки... Стоит только отыскать их и собрать, госпожа Марсиаль... Но поговорим о хозяйстве. Уже темнеет, надо подоить коров, накрыть стол под сводом виноградника, потому что вы слышите издали собачий лай, а вскоре — голос их хозяина, который весело распевает, несмотря на усталость... Ну как тут не запоешь, если тебя ждет добрая жена и веселые ребятишки? Не правда ли, госпожа Марсиаль?

— Правда, как не запеть, — мечтательно проговорила Волчица.

— Или не заплакать от умиления, — продолжала Лилия-Мария, чувствуя, что сама взволнована не меньше своей под руги. — Ибо эти слезы так же сладостны, как песня... А потом, когда при-

дет ночь, какое счастье посидеть под ажурной аркой из виноградных лоз, вдыхая запахи леса, послушать, как лепечут дети, засыпая... поглядеть на звезды... Тогда сердце преисполняется счастья, доброты... и изливается в молитве... Как же не возблагодарить того, кто послал вечернюю свежесть, запахи леса, прозрачную чистоту звездного неба?.. А после этой благодарности, или молитвы, можно спокойно уснуть до утра и снова возблагодарить Создателя... ибо он дал тебе эту бедную, полную трудов и забот, но спокойную и честную жизнь навсегда...

— Навсегда! — повторила Волчица с тяжелым вздохом, опустив голову на грудь и пристально глядя перед собой. — Ибо это правда, господь бог милостив, когда дает нам такое счастье довольствоваться столь малым...

— А теперь скажите, — тихонько продолжала Лилия-Мария, — скажите, не должны ли мы благодарить, как господа бога, нашего благодетеля, который даст вам эту счастливую жизнь в трудах и заботах вместо постыдной жизни, которую вы ведете на грязных улицах Парижа?

Слово «Париж» внезапно вернуло Волчицу к действительности.

И в душе ее произошло странное превращение.

Наивная картина суровой и скромной жизни, этот простой рассказ, освещенный ласковым огнем домашнего очага или веселыми, золотистыми лучами солнца, пропитанный запахами леса или ароматом диких цветов, этот рассказ произвел на Волчицу гораздо более глубокое и сильное впечатление, чем все высоконравственные увещевания и проповеди.

Да, слушая Лилию-Марию, Волчица от всей души желала стать неутомимой хозяйкой, верной супругой, добродетельной и преданной матерью.

Внушить хотя бы на мгновение этой вспыльчивой, опустившейся, порочной женщине любовь к семье, чувство долга, вкус к труду, признательность к Создателю — и все это, всего лишь обещая ей то, что бог дает всем: солнце в небе и лесную тень, и то, что человек получает за свои труды: хлеб и кров над головой, — разве это не было прекрасной победой Лилии-Марии?

Самый строгий моралист, самый яростный проповедник, смогли бы они достигнуть большего своими укорами и предсказаниями, угрожая самыми страшными наказаниями человеческими и карами небесными?

Гнев и боль пронзили Волчицу, когда она вдруг вернулась к действительности из страны грез и

счастья, куда ее впервые увлекла Лилия-Мария. Но это чувство свидетельствовало, что Певунья добилась своей цели.

Чем безнадежнее смотрела Волчица после этих сладостных миражей на свою горькую участь, тем очевиднее была победа Певуньи. Несколько мгновений Волчица молча думала, затем вскинула голову, провела рукой по лбу и вскочила на ноги с угрожающим видом.

— Хватит! Довольно! Я была права, когда опасалась тебя и не хотела слушать... потому что это может плохо кончиться для меня! Зачем ты со мной так говорила? Чтобы посмеяться надо мной? Чтобы помучить меня? И только потому, что я сдуру сказала тебе, что хотела бы жить в лесу с моим парнем? Да кто ты такая? Зачем выворачиваешь мне душу? Ты сама не знаешь, что ты сделала, несчастная! Теперь я все время буду думать об этом доме в лесу, о детях, об этом счастье, которого мне не видать никогда! И если я не смогу забыть твоих слов, моя жизнь станет пыткой, адом... И во всем виновата ты... да, ты одна виновата!

— Тем лучше! — ответила Лилия-Мария. — Тем лучше.

— Ты сказала — тем лучше? — воскликнула

Волчица, грозно сверкая глазами.

— Да, тем лучше, потому что, если ваша теперешняя жизнь покажется вам адом, вы предпочтете другую, ту, о которой я вам говорила.

— Как я могу ее предпочесть, если она не для меня? К чему жалеть, что я уличная девка, если мне суждено подохнуть уличной девкой? — воскликнула Волчица с яростью, схватив своей сильной рукой маленькую ручку Певуньи. — Отвечай! Отвечай! Почему ты заставила меня мечтать о том, чего я никогда не получу?

— Стремиться к честной, трудовой жизни — значит быть достойной такой жизни, сказала я, — ответила Лилия-Мария, не пытаясь высвободить свою руку.

— Ах, так? Что мне она даст?

— Поможет увидеть, как ваши мечты станут действительностью, — ответила Лилия-Мария так серьезно и убежденно, что Волчица снова покорилась и от удивления отпустила руку Певуньи. — Послушайте меня, Волчица, — продолжала Лилия-Мария голосом, полным сочувствия. — Неужели вы думаете, что я настолько жестока, что могла бы пробуждать в вас эти надежды, если бы не была уверена, что, заставляя вас краснеть за вашу прошлую жизнь, не помогу вам выбраться

из этой трясины?

— Вы?.. Вы можете это?

— Я?.. Нет... Но кто-то другой, кто велик и добр и всемогущ, как бог...

— Всемогущ, как бог?

— Послушайте еще, Волчица... Три месяца назад я была таким же падшим созданием, как вы, несчастная и всеми покинутая. Однажды тот, о ком я говорю со слезами признательности, — и Лилия-Мария отерла глаза, — пришел ко мне. Он не испугался моей грязи, но обратился ко мне со словами утешения... первыми за всю мою жизнь! Я рассказала ему о моих страданиях, нищете, позоре, я ничего от него не скрыла, так же как и вы сейчас, когда рассказывали о своей жизни. Он меня выслушал с добротой и не стал меня порицать — он меня пожалел. Он не упрекнул меня за мое падение, а стал расхваливать спокойную и чистую жизнь в деревне...

— Как вы мне сейчас?

— И чем прекраснее казалось мне будущее, которое он обещал, тем отвратительнее была мне моя тогдашняя подлая жизнь.

— Господи, точно так же со мной!

— Да, и, так же как вы, я говорила: «К чему все это? К чему показывать рай той, кто обречена

умереть в аду?..» Но я напрасно отчаивалась... ибо тот, о ком я говорю, подобен богу в своей высшей доброте и справедливости и не способен поманить ложной надеждой несчастное создание, которое ни у кого не просило ни жалости, ни счастья, ни надежды.

— А для вас? Что он сделал для вас?

— Он относился ко мне как к больному ребенку. Я дышала, как вы, гнилыми испарениями, он отправил меня туда, где воздух живителен и свеж: я жила среди уродов и преступников — он поручил меня заботам людей, похожих на него, которые очистили мою душу, возвысили разум, потому что всем, кто его любит, он, подобно богу, передает искру своей небесной мудрости. Да, Волчица, если мои слова волнуют вас, если мои слезы заставили плакать и вас, это потому, что меня вдохновляет его дух и разум! Если я говорю о счастливом будущем, которого вы достигнете через раскаяние, это потому, что я могу обещать его вам от его имени, хотя он еще и не знает о моем обязательстве. И наконец, если я говорю вам: надейтесь! — это потому, что он всегда слышит голос тех, кто стремится к добру... Ибо господь послал его на землю, чтобы мы поверили в провидение...

Пока Лилия-Мария говорила, лицо ее сделалось сияющим и вдохновенным, бледные щеки окрасил легкий румянец, прекрасные глаза светились нежным светом, и красота ее была так лучезарна и благородна, что Волчица, и без того взволнованная этим разговором, смотрела на, свою подругу с почтительным изумлением.

— Господи, где я? — воскликнула она. — Может, я сплю? Ничего такого никогда не слышала, никогда не видела! Нет, этого не бывает! Да кто же вы, наконец? Я же говорила, что вы не такая, как мы все! Но как же это? Вы умеете так хорошо говорить... вы многое можете... вы знаете больших людей... как же вы очутились здесь, в тюрьме, среди нас? Значит, значит... чтобы нас искушать? Значит, вы для добра такая же... как дьявол для греха и зла?

Лилия-Мария собиралась ответить, когда ее позвала госпожа Арман, чтобы отвести к маркизе д'Арвиль.

Волчица никак не могла прийти в себя. Надзирательница сказала ей:

— Мне приятно, что появление Певуньи в тюрьме сделало счастливее вас и ваших подружек... Я знаю, что вы собрали деньги для этой несчастной Мон-Сен-Жан; это хорошо и милосердно, Вол-

чица. И это вам зачтется... я была уверена, что вы гораздо лучше, чем хотите казаться. За ваше доброе дело я, наверное, смогу намного сократить вам срок заключения.

Госпожа Арман удалилась в сопровождении Лилии-Марии.

Не следует удивляться красноречию Лилии-Марии: ее удивительные способности быстро проявились и расцвели благодаря воспитанию и обучению, которые она получила на ферме Букеваль.

И к тому же юная девушка черпала силы в своем собственном прошлом, в своем опыте.

Чувства, которые она пробудила в сердце Волчицы, пробудил в ней Родольф примерно в таких же обстоятельствах.

Она поверила, что в ее подруге по несчастью сохранились добрые чувства, и постаралась обратить ее к честной жизни, доказав ей, как Родольф на примере фермы Букеваль, что это в ее интересах, представив это превращение в самых радужных и привлекательных красках...

Заметим по этому поводу, что нам кажутся неразумными и недейственными обычные способы, какими пытаются внушить безграмотным и нищим отвращение ко злу и любовь к добру.

Чтобы направить их на путь истинный, мы без конца угрожаем им карами земными и небесными, без конца гремим мрачными орудиями возмездия, — тюремными ключами, колодками, каторжными цепями. И в самом конце, в ужасающем сумраке, мы им показываем нож гильотины, сверкающий в отблесках неугасимого адского пламени.

Как видим, устрашение все время играет свою чудовищную и жуткую роль.

Тому, кто сотворил зло, грозят бесчестье, тюрьма и муки.

И это справедливо. Но тому, кто творит добро, воздает ли общество почетными наградами, славными отличиями?

Нет..

А где же благодетельные и необходимые поощрения, которые могли бы подвигнуть на самоотверженность, порядочность и честность огромную массу ремесленников, всегда обреченных на тяжкий труд, лишения и почти всегда на беспросветную нищету?

Их нет.

Глядя на эшафот, на который поднимается величайший злодей, спросим себя: а где пьедестал для величайшего человека, творящего добро?

Его нет.

Странный, фатальный символ! Мы представляем себе правосудие богиней с повязкой на глазах; в одной руке — карающий меч, в другой — весы, на которых взвешиваются доводы защиты и обвинения.

Но это не облик правосудия.

Это облик закона, вернее человека, который карает или милует по своему усмотрению

Правосудие держало бы в одной руке шпагу, а в другой — корону, чтобы одной рукой поражать злодеев, а другой — увенчивать праведников.

Тогда бы народ увидел, что злодеев ждет страшная кара, а праведных — блистательный триумф. А сейчас он в простоте и наивности тщетно вопрошает: если одним — суды, тюрьмы, галеры и эшафот, то что же другим?

Народ видит, что карающее правосудие состоит из людей твердых, честных и просвещенных, которые отыскивают, разоблачают и наказывают преступников.

Но он не видит праведного правосудия, из людей твердых, честных и просвещенных, которые бы отыскивали и вознаграждали достойных

людей[96].

Все говорит ему: трепещи!

И ничто не говорит ему: надейся!

Все ему угрожает...

И ничто его не утешает.

Государство тратит каждый год миллионы на бесполезные наказания за преступления. На эти огромные средства оно содержит узников и стражников, часовых и надсмотрщиков, эшафоты и палачей.

Может быть, это необходимо. Пусть будет так.

Но сколько тратит государство на вознаграждения добрых людей?

Ничего. И это еще не все.

Как мы это покажем, когда наше повествование приведет нас в мужские тюрьмы, великое

---

[96] Notes: 96

Через несколько дней после того, как были написаны эти строки, мы перечитывали «Мемуары с острова Св. Елены», бессмертную книгу, которая мне кажется образцом практической философии. И заметили один отрывок, который до сих пор ускользал от нашего внимания. «Я часто мечтал, — это говорит император, — что когда закончатся великие военные события и будут подведены все итоги, я смогу заняться внутренними делами и тогда спокойно и неторопливо отыщу и выберу хотя бы десяток истинных филантропов, этих славных людей, которые живут только ради добра и возможности его осуществлять. Я бы тайно разослал их во все концы империи, чтобы они видели все и отдавали отчет обо всем лично мне; они бы стали соглядатаями истины, они бы приходили прямо ко мне, были бы моими исповедниками, моими духовными наставниками, и мои решения, принятые вместе с ними, стали бы моими тайными благодеяниями. Моей главной обязанностью, после надлежащего отдыха, стало бы коренное улучшение условий

жизни общества, осуществляемое с вершины моего полновластия, вплоть до заботы о благоденствии отдельных личностей».
(Мемуары, т V, с. 100, изд. 1824 г.)

множество самых честных ремесленников были бы счастливы безмерно, если бы в материальном отношении оказались на месте заключенных, которым всегда обеспечена приличная еда, постель и надежный кров.

Неужели эти честные, скромные люди после всех жестоких и долгих испытаний, когда они подобно гранильщику Мо-релю жили по двадцать лет в бесконечных трудах и нищете, не поддаваясь искушению и соблазнам, неужели они не имеют права на те же блага, которыми пользуются преступники и негодяи?

Неужели они не заслуживают того, чтобы общество обратило на них внимание, могло бы если не вознаградить их во имя человечности, то хотя бы поддержать на их мучительно трудном пути, по которому они мужественно идут всю жизнь?

Разве великий благодетель, будь он трижды скромен, скрывается более тщательно, чем вор или убийца? Но ведь даже воров и убийц в конце концов находят.

Увы, все это утопия, но в ней есть кое-что утешительное.

Представьте себе общество, в котором помимо уголовных судов есть суды добродетели.

Следователь обнаруживает благородные по-

ступки и представляет их для всеобщего признания и благодарности, как сегодня представляют суду преступления для неумолимого наказания.

Вот вам два примера, два правосудия. Скажите, какое более благотворно и поучительно, какое принесет самые положительные результаты?. Человек убил человека, чтобы его ограбить.

Еще до рассвета в отдаленном квартале Парижа устанавливают гильотину и отсекают убийце голову перед кучей подонков, которые смеются над судьей, осужденным и палачом.

Это последний ответ нашего общества.

Это самое страшное преступление против нашего общества, потому что, видите ли, это высшая мера наказания... самый страшный и самый назидательный урок, который можно преподать народу...

Единственный... потому что нет альтернативы кровавой плахе.

Увы, общество не может предложить в противовес этому жуткому зрелищу утешительную картину добра и благодеяний. Но продолжим наши утопические мечтания.

Может быть, все изменится, если народ каждый день будет видеть, как государство высоко оценивает и вознаграждает добродетель?

Если бы он видел повседневно, как высший суд, уважаемый и почитаемый, восхваляет перед многочисленной толпой достоинства какого-нибудь бедного, но честного ремесленника, рассказывая о его долгой и безупречной жизни, о его трудолюбии и бережливости, разве это не способствовало бы всеобщему стремлению к добру?

Этот высший суд мог бы сказать бедняге: «Двадцать лет вы трудились без отдыха, страдали, как никто другой, боролись с неудачами и все же смогли воспитать ваших детей по заветам прямоты и чести... Несомненные достоинства высоко отличают вас, поэтому мы вас прославляем и вознаграждаем. Бдительное, справедливое и всемогущее общество никогда не забывает ни зла, ни добра. Оно каждому воздает по заслугам... Государство выдает вам пенсию, чтобы вы не знали нужды. Окруженные вниманием и уважением, вы можете в покое и достатке окончить вашу жизнь, которая должна стать примером для остальных... Так мы вознаграждаем и будем вознаграждать всех, кто, подобно вам, на протяжении многих лет неуклонно стремился к добру и выказал свои высокие и редкие моральные достоинства. Вашему примеру последуют многие... надежда облегчит им годы тяжких испытаний,

на которые обрекла их судьба. Вдохновленные спасительным порывом, они будут с удвоенным усердием бороться с трудностями, исполняя свой долг, чтобы когда-нибудь их отметили Среди всех и вознаградили, как вас...»

Мы спрашиваем: какое из этих двух зрелищ — кровавая казнь преступника или вознаграждение праведника — окажется более благотворным и более плодотворным?

Несомненно, многие святоши возмутятся от одной только мысли, что следует поощрять низменными материальными благами самое что ни на есть возвышенное в мире — добродетель!

Они найдут против этого множество возражений, более или менее философских, платонических, теологических, но главным образом экономических, вроде следующих:

«Добро само вознаграждается добром».

«Добродетель не имеет цены...»

«Чистая совесть — сама по себе наивысшая награда».

И наконец, последнее, победное, окончательное возражение:

«Вечное блаженство ждет праведников на том свете, и одно это должно подвигать их к добру».

На это мы можем ответить: устрашая и наказы-

вая преступников, наше общество, по-видимому, не очень-то рассчитывает на божественное отмщение, которое настигнет их на том свете.

Таким образом общество предвосхищает окончательное решение божьего суда.

Не дожидаясь неотвратимого судного часа, архангелов в сверкающих доспехах, с гремящими трубами и огненными мечами, общество скромно обходится... жандармами.

Повторим еще раз.

Чтобы устрашить злодеев, мы как бы материализуем или низводим до человеческого понимания неотвратимо грядущие кары господни...

Но почему бы не воздать добрым людям на земле то, что им обещано на небесах?

Но забудем все эти утопии, безумные, абсурдные, глупые и неосуществимые, — как и полагается быть настоящим утопиям.

Жизнь, какая она есть, превосходна! Если не верите, порасспросите тех, кто с тупым взглядом и громким хохотом нетвердым шагом выбирается на улицу после веселой пирушки!

Глава X.
ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА

Певунья вслед за надзирательницей вошла в маленькую приемную, где ожидала Клеманс; юная узница была уже не так бледна, щеки ее слегка порозовели после разговора с Волчицей.

— Госпожа маркиза была тронута вашим прекрасным поведением, — сказала г-жа Арман, обращаясь к Певунье. — Поэтому она пожелала вас видеть и, может быть, поможет вам выйти отсюда до истечения срока.

— Благодарю вас, — сказала Лилия-Мария и осталась наедине с Клеманс.

Та была поражена чистым выражением лица своей подопечной, ее скромностью и природным изяществом и невольно вспомнила, что Певунья во сне произнесла имя Родольфа, и надзирательница полагала, что несчастная узница страдает от глубокой и тайной любви.

Клеманс была совершенно уверена, что великий герцог Родольф был здесь ни при чем, но тем не менее не могла признать, что красота Певуньи достойна внимания даже принца.

При виде своей покровительницы, чье лицо, как мы уже говорили, выражало искренность и доброту, Лилия-Мария сразу прониклась к ней доверием и симпатией.

— Дитя мое, — сказала Клеманс, — госпожа Арман очень хвалила ваш добрый характер и примерное поведение, но жаловалась, что вы ей совсем не доверяете.

Лилия-Мария молча опустила голову.

— Одежда крестьянки, в которой вас задержали, ваше молчание о том, где вы были до того, как вас привели сюда, — все говорит, что вы скрываете от нас какие-то обстоятельства.

— Сударыня...

— Я не имею никаких прав на ваше доверие, бедная моя девочка, и не хочу задавать вам стеснительных вопросов. Меня уверили, что, если я попрошу выпустить вас из тюрьмы, мне не будет отказано в этой милости. Однако прежде чем просить за вас, я хотела бы знать, что вы собираетесь делать, на что рассчитываете в будущем. Чем бы хотели вы заняться... после освобождения? Если вы решились следовать по праведному пути, на который вы вернулись, в чем я не сомневаюсь, — доверьтесь мне. Я помогу вам достойно зарабатывать на жизнь...

Певунья была растрогана до слез участием маркизы. Сначала она заколебалась, но потом сказала:

— Вы снизошли до меня, сударыня, вы проявили такую доброту, что я, наверное, должна прервать молчание, которое хранила до сих пор о моем прошлом, нарушить клятву, которая мне это запрещала.

— Клятву?

— Да, я поклялась не говорить судьям или тем, кто служит в этой тюрьме, как и почему я сюда попала. Но если вы дадите мне обещание...

— Какое обещание?

— Сохранить мою тайну. Благодаря вам я смогу, не нарушая при этом моей клятвы, успокоить достойных людей, которые несомненно очень тревожатся за меня.

— Можете рассчитывать на мою скромность: я не скажу ни слова больше, чем вы позволите.

— О, благодарю вас! Я так боялась, что мои благодетели могут принять мое молчание за неблагодарность!

Нежный голос Лилии-Марии, ее почти изысканные выражения снова удивили г-жу д'Арвиль.

— Не скрою от вас, — сказала она, — ваши манеры, ваша речь поразили меня до крайности.

При таком тонком, на мой взгляд, воспитании, как могли вы...

— Пасть так низко? Вы это хотели сказать, сударыня? — с горечью проговорила Певунья. — Увы, это воспитание я получила совсем недавно. И обязана им моему великодушному благодетелю, который, как и вы, сударыня, не зная меня, даже не имея тех добрых сведений обо мне, которые сообщили вам, все-таки сжалился надо мной...

— Кто же он, ваш благодетель?

— Я этого не знаю, сударыня...

— Вы его не знаете?

— Говорят, что его узнают по неиссякаемой доброте. По счастью, я встретилась ему на его пути.

— И где же вы его встретили?

— Однажды ночью, в квартале Сите, — ответила Певунья, опуская глаза. — Один человек хотел меня ударить; мой благодетель храбро защитил меня; так мы встретились первый раз.

— Он человек... из простых?

— Когда я его увидела впервые, мне так и показалось. Одежда, речь... Но потом...

— Что было потом?

— То, как он со мной говорил, глубокое почтение всех людей, которым он меня поручил, — все доказывало, что он нарочно принял облик одного

из гуляк, посещающих квартал Сите.

— Но с какой целью?

— Я не знаю...

— Как же звали этого таинственного благодетеля, вы хоть это знаете?

— О да, — с восторгом ответила Певунья. — И слава богу, потому что я могу без конца благословлять это имя... Моего спасителя звали господин Родольф...

Клеманс покраснела до корней волос.

— У него не было другого имени? — живо спросила она у Лилии-Марии.

— Не знаю... На ферме, куда он меня отвез, все называли его господин Родольф.

— Сколько ему лет?

— Он еще молод, сударыня.

— И красив?

— О да, красив и благороден... как его душа. Благодарное и страстное выражение Лилии-Марии, когда она произносила эти слова, почему-то глубоко задело г-жу д'Арвиль.

Непреодолимое и необъяснимое предчувствие подсказывало ей, что речь шла о принце.

«Надзирательница была права, — думала Клеманс, — Певунья влюбилась в Родольфа... Это его имя произносила она во сне».

По какой странной случайности встретились принц и эта несчастная девушка?

Почему Родольф отправился переодетым в Сите?

Маркиза не находила ответа на эти вопросы.

Однако она вспомнила, как Сара когда-то злобно и лживо рассказывала ей о так называемых чудачествах Родольфа и его любовных похождениях... В самом деле, как объяснить, почему он вытащил из трясины порока это создание удивительной красоты и редкой душевности?

Клеманс обладала благородными качествами, но она была женщина и глубоко любила Родольфа, хотя и решилась навсегда похоронить в своем сердце эту тайну.

Не думая о том, что речь несомненно шла об одном из тех благодеяний, которые Родольф обычно совершал анонимно; не думая о том, что она, наверное, путает любовь с чувством искренней признательности; и наконец, не думая о том, что Родольф мог не заметить этого нежного чувства, маркиза, в первом порыве горечи и ревности, невольно отнеслась к Певунье как к сопернице.

Гордость ее возмутилась от того, что она краснела, что вопреки себе признавала соперницей такое жалкое и недостойное создание.

Поэтому она заговорила сухим тоном, который жестоко отличался от благожелательной доброты ее прежних слов:

— Как же случилось, мадемуазель, что ваш благодетель позволил отправить вас в тюрьму? И вообще, как вы здесь очутились?

— Боже мой, сударыня, — скромно сказала Лилия-Мария, пораженная внезапной переменой ее тона. — Я чем-нибудь вам не угодила?

— А чем вы могли мне не угодить? — высокомерно спросила маркиза.

— Мне показалось... что вы говорили со мной добрее.

— В самом деле, мадемуазель? Вы считаете, что я должна взвешивать каждое мое слово? Но поскольку я согласилась принять в вас участие... мне кажется, я имею право порасспросить вас кое о чем...

Но, едва произнеся эти жестокие слова, Клеманс тут же пожалела о них, и по многим причинам.

Прежде всего, по своему великодушию, а затем — потому что она подумала, что такая суровость к сопернице только помешает ей выведать то, что ей так хотелось бы знать.

И в самом деле, только что открытое и доверчивое лицо Певуньи сразу стало испуганным и

недоверчивым.

Как цветок-недотрога при первом грубом прикосновении сворачивает свои нежные лепестки и замыкается, сердце Лилии-Марии болезненно сжалось.

Стараясь не возбуждать ее подозрений слишком резкой переменой тона., Клеманс заговорила мягко и проникновенно:

— В самом деле я не понимаю, почему ваш благодетель, которого вы так хвалите, дозволил заключить вас в тюрьму. Каким образом, после того как вы вернулись на путь истинный, вас арестовали ночью в том месте, где вам запрещено появляться? Все это, честно признаться, мне непонятно... Вы говорите о клятве, которая до сих пор запрещала вам говорить, но что эта за страшная клятва?..

— Я говорила правду.

— Я в этом уверена; достаточно увидеть вас, услышать ваш голос., чтобы понять, что вы не способны лгать. Однако в вашем случае есть нечто непонятное, таинственное, и это возбуждает и усиливает мое нетерпение и любопытство: только этим объясняется моя излишняя резкость... Ну полно, признаюсь, я виновата... у меня нет никаких прав на вашу откровенность, толь-

ко искреннее желание помочь вам, но вы сами обещали рассказать мне о том, чего не говорили никому. Я очень тронута, бедное дитя мое, этим доверием, и поверьте, я его не обману. Обещаю вам свято хранить вашу тайну, если вы мне ее откроете, и обещаю сделать все возможное, чтобы вы смогли достичь вашей цели.

Благодаря этому довольно ловкому маневру, да простится нам эта банальность, г-жа д'Арвиль смогла вернуть доверие Певуньи, которую испугал ее резкий тон.

Лилия-Мария, в своей невинности, давно упрекнула себя, что неправильно поняла маркизу, чьи слова ее обидели.

— Простите меня, — сказала она Клеманс. — Я должна была сразу рассказать вам все, что вы хотели знать. Но вы спросили меня, как звали моего спасителя, и я не могла не рассказать о нем... Для меня это такое счастье!

— Тем лучше! Это только доказывает, что вы ему искренне признательны. Но по какой причине вы покинули добрых людей, у которых он вас несомненно устроил? Может быть, с этим связана ваша клятва молчания?

— Да, сударыня. Но благодаря вам я, думаю, могу теперь, не нарушая слова, успокоить моих благо-

детелей относительно моего исчезновения...

— Говорите, бедное дитя мое, я слушаю.

— Месяца три назад господин Родольф отвез меня на ферму в четырех или пяти лье от Парижа.

— Он сам вас туда отвез?

— Да, сам. Он поручил меня одной даме, столь же доброй, как и достойной, которую я скоро полюбила как родную мать... Она и деревенский кюре, по совету господина Родольфа, занялись моим образованием...

— А сам Родольф... он часто приезжал на ферму?

— Нет... всего три раза, пока я оставалась там.

Клеманс не смогла скрыть радостного вздоха.

— И когда он приезжал повидаться с вами, вы были... счастливы?

— О да! Для меня это было больше чем счастье... чувство признательности, преклонения, восхищения и робости.

— Вы робели?

— Да. Между ним и мною... между ним и всеми другими... было такое расстояние...

— Каков же был его титул?

— Я не знаю, был ли у него титул, сударыня.

— Но вы же говорили о расстоянии между ним и всеми остальными!

— Ах, сударыня, его возвышает над всеми его благородство, бесконечное милосердие ко всем, кто страждет... надежда и вера, которые он внушает всем. Даже самые отъявленные злодеи содрогаются, когда слышат его имя... Они страшатся его, но в то же время почитают... Но простите меня, сударыня, что я опять говорю о нем... Я должна умолкнуть. Все равно я не смогу описать вам того, на кого можно только молиться в молчании.» Это все равно, что пытаться описать словами величие господа бога...

— Однако такое сравнение...

— Может быть, оно святотатственно, сударыня... Но разве можно оскорбить творца, сравнивая его с тем, кто внушил мне понятие о добре, кто поднял меня из бездны и кто, наконец, дал мне новую жизнь?

— Я не порицаю вас, дитя мое, я понимаю ваши благородные преувеличения. Но как же вы покинули эту ферму, где вы должны были жить так счастливо?

— Увы, не по доброй воле, сударыня!

— Кто же вас заставил?

— Однажды вечером, несколько дней назад, — отвечала Лилия-Мария, все еще содрогаясь от этих воспоминаний, — я возвращалась из дома

нашего деревенского кюре, когда на меня набросилась злая женщина, которая мучила меня все мои детские годы... и ее сообщник, затаившиеся за поворотом овражной дороги. Они схватили меня, заткнули рот и увезли в фиакре.

— С какой же целью?

— Не знаю, сударыня. Мои похитители, я полагаю, исполняли приказ какой-то могущественной особы.

— И что же последовало за вашим похищением?

— Едва фиакр тронулся, злая женщина по прозвищу Сычиха закричала: «У меня с собой флакончик серной кислоты, сейчас оболью личико этой Певуньи, чтобы никто ее не узнал!»

— Какой ужас!.. Несчастная девочка!.. Кто же тебя спас?

— Сообщник этой женщины... слепец по прозвищу Грамотей.

— Он встал на твою защиту?

— Да, сударыня. В этот раз и еще потом. Тогда Грамотей силой заставил ее выбросить в окошко фиакра бутылочку с серной кислотой. Это было его первое доброе дело, хотя он и помогал похитить меня... Ночь была непроглядная... Часа через полтора карета остановилась, наверное, где-то

на большой дороге, которая пересекает равнину Сен-Дени. Здесь нас ждал всадник. «Ну, что? — спросил он. — Она в наших руках наконец?» — «Да, в наших, — ответила Сычиха, все еще разъяренная, потому что ей помешали изуродовать меня. — Если хотите избавиться от этой крошки, есть хороший способ: я ее положу на дорогу, чтобы колеса нашей телеги проехали ей по голове... и все будет так, будто это несчастный случай!»

— Но это ужасно!

— Увы, Сычиха была вполне способна сделать то, о чем говорила. К счастью, этот человек на коне ответил, что не желает, чтобы мне причинили малейшее зло; надо только продержать меня два месяца в таком месте, откуда я не смогу ни выйти, ни написать никому. Тогда Сычиха предложила отвезти меня к человеку по кличке Краснорукий, хозяину таверны на Елисейских полях: у него есть много комнат в подвале, и любая послужит мне надежной тюрьмой. Так говорила Сычиха. Человек на коне согласился с ее предложением. А потом пообещал мне, что через два месяца заключения у Краснорукого мне обеспечат такое будущее, что я не стану и жалеть о ферме Букеваль.

— Какая удивительная тайна!

— Этот человек дал Сычихе деньги, пообещал еще, когда меня увезут от Краснорукого, и ускакал галопом. Наш фиакр покатился дальше к Парижу. Когда мы уже подъезжали к городской заставе, Грамотей сказал Сычихе: «Ты хочешь запереть Певунью в одном из подвалов Краснорукого. Но ты знаешь, что они совсем рядом с рекой и зимою вода всегда затапливает подвалы... Значит, ты хочешь ее утопить?» — «Да», — ответила Сычиха.

— Господи боже мой, но что вы сделали этой страшной женщине?

— Ничего, сударыня, но с раннего детства она всегда ненавидела меня... Грамотей ответил ей: «Я не хочу, чтобы Певунью утопили; она не поедет к Краснорукому». Сычиха была так же удивлена, как и я, услышав эти слова в мою защиту. Она пришла в ярость, клялась, что притащит меня к Краснорукому, что бы ни говорил Грамотей. «Попробуй! — ответил он. — Я держу Певунью за руку и не отпущу, а тебя задушу, если попробуешь подойти к ней». — «Но что же ты собираешься с ней делать? — закричала Сычиха. — Надо же, чтобы она исчезла на два месяца и чтобы никто об этом не знал!» — «Есть один выход, — ответил Грамотей. — Сейчас мы поедем на Елисейские поля. Остановим фиакр поблизости от поли-

цейского участка. Ты пойдешь к Краснорукому. Сейчас около полуночи, он сидит в своем кабаке. Ты приведешь его. Он возьмет Певунью, отведет ее в участок и заявит, что эта девка из кварталов Сите шлялась рядом с его заведением. Таким девчонкам дают по три месяца, когда их цапают на Елисейских полях. А поскольку Певунья все еще в списках полиции, ее арестуют и посадят в Сен-Лазар, а там ее будут сторожить не хуже, чем в погребе у Краснорукого». — «Но Певунья не даст себя арестовать, — возразила Сычиха. — В участке она сразу расскажет, что мы ее похитили, она нас выдаст! И даже если ее посадят в тюрьму, она напишет своим покровителям, и все откроется». — «Нет, она пойдет в тюрьму по доброй воле, — ответил Грамотей, — и она поклянется не выдавать нас никому, пока будет сидеть в Сен-Лазаре и после; мне она обязана — я не позволил тебе изуродовать ее, Сычиха, и не позволил утопить ее в подвале Краснорукого. Но если, дав клятву молчать, она ее нарушит, мы предадим всю ферму Букеваль огню и зальем ее кровью!» Затем Грамотей обратился ко мне: «Решай! Поклянись, как я тебе сказал, иды отделаешься двумя месяцами тюрьмы. Иначе я отдам тебя в руки Сычихе, и она отведет тебя в подвал

Краснорукого, где тебя утопят. Так что решайся! Я знаю, если дашь клятву, ты ее сдержишь»

— И вы поклялись?

— Увы, сударыня, я так боялась, что Сычиха меня изуродует или утопит в этом подвале... Это было так страшно! Я предпочла бы другую, менее гадкую, смерть и не стала бы ее избегать.

— Какие мрачные мысли, в вашем-то возрасте! — сказала госпожа д'Арвиль, с удивлением глядя на Певунью. — Когда вы выйдете отсюда и вернетесь к вашим благодетелям, разве вас не ждет счастье? Разве ваше раскаяние не сотрет ваше прошлое?

— Можно ли стереть прошлое? Можно ли забыть прошлое? Может ли раскаяние убить память? — воскликнула Лилия-Мария с таким отчаянием, что Клеманс содрогнулась.

— Все грехи искупаются, бедное мое дитя!

— А воспоминания обо всей этой грязи? Они становятся все мучительнее и страшнее, по мере того как очищается душа, как возрождается надежда. Увы, чем выше ты поднимаешься, тем глубже кажется бездна, из которой ты вырвалась...

— Неужели вы отказываетесь от всякой надежды на искупление, на прощение?

— На прощение людей? Нет, сударыня. Ваша доброта доказывает, что люди могут снизойти к тем, кого мучат угрызения совести.

— Значит, только вы относитесь без жалости к самой себе?

— Другие могут не знать, простить, забыть, кем я была, но я, сударыня, не смогу этого забыть никогда!

— И порой вам хочется умереть?

— Да, порой, — ответила Певунья с горькой улыбкой. Немного помолчав, она добавила: — Только порой, иногда...

— Однако вы боялись, что эта отвратительная женщина изуродует вас, значит, вы дорожите своей красотой, бедная девочка? Это значит, что жизнь вас еще привлекает. А потому не отчаивайтесь, будьте храброй!

— Может быть, это слабости с моей стороны, но, если бы я была красива, как вы говорите, я бы хотела умереть красивой, произнося имя моего благодетеля...

Глаза маркизы наполнились слезами.

Лилия-Мария произнесла последние слова так просто, ее ангельское лицо, бледное и удрученное, ее несмелая улыбка так соответствовали этим словам, что нельзя было усомниться в ис-

кренности ее печального пожелания.

Маркиза д'Арвиль обладала достаточной тонкостью, чтобы не почувствовать нечто неотвратимое и роковое в мыслях Певуньи:

«Я никогда не забуду, кем я была...»

Навязчивая идея, неизгладимые воспоминания беспрестанно угнетали и терзали Лилию-Марию.

Клеманс устыдилась, что могла хоть минуту сомневаться в бескорыстном великодушии принца и поддалась нелепой ревности к несчастной Певунье, которая так искренне и наивно выражала признательность своему благодетелю.

Странная вещь: нескрываемое восхищение этой бедной узницы Родольфом как бы усилило глубокую любовь Клеманс, которую она должна была всегда скрывать.

Чтобы избавиться от этих мыслей, она спросила:

— Надеюсь, в будущем вы не станете судить себя так строго? Но вернемся к вашей клятве: теперь я понимаю ваше молчание. Вы не хотели выдавать этих негодяев?

— Хотя Грамотей и помогал при моем похищении, он дважды защитил меня... Я не хотела быть неблагодарной.

— И вы согласились стать соучастницей этих

чудовищ?

— Да, сударыня... Я так испугалась! Сычиха сходила за Красноруким, он отвел меня к полицейскому участку и сказал, что я прогуливалась перед его кабаком; я ничего не отрицала, меня арестовали и привели сюда.

— Но ведь ваши друзья на ферме, наверное, с ума сходят от беспокойства!

— Увы, сударыня, я сначала была так напугана, что не подумала о том, что эта клятва помешает мне их успокоить... Сейчас я об этом сожалею... Но сейчас, — не правда ли? — я могу, не нарушая слова, попросить вас написать госпоже Жорж на ферму Букеваль, чтобы она за меня не тревожилась, не говоря при этом, где я, ибо я обещала об этом молчать...

— Дитя мое, все эти предосторожности станут излишними, если по моей просьбе вас помилуют и отпустят? Завтра вы вернетесь на ферму, не нарушив вашей клятвы. А позднее вы посоветуетесь с вашим благодетелем, обязаны ли вы выполнять обещание, вырванное у вас угрозами.

— Вы полагаете, что... благодаря вашей доброте я смогу скоро выйти отсюда?

— Вы этого заслуживаете, и я уверена, мне удастся вам помочь, и послезавтра вы сможете

сами успокоить ваших благодетелей.

— Ах, сударыня, чем я заслужила столько милостей? Как вас благодарить?

— Продолжайте вести себя так же достойно, как сейчас... Мне только жаль, что я не смогу позаботиться о вашем будущем — это счастье принадлежит вашим друзьям...

Внезапно вошла г-жа Арман с огорченным лицом.

— Госпожа маркиза, — сказала она неуверенно, — мне очень жаль, но я обязана известить вас...

— Что вы хотите сказать?

— Вас ждет внизу герцог де Люсене... Он только что от вас.

— Господи, вы меня пугаете! Что случилось?

— Я не знаю, сударыня, но господин де Люсене должен сообщить вам, как он говорит, нечто печальное и неожиданное. Он узнал от госпожи герцогини, своей супруги, что вы находитесь здесь, и поспешил сюда...

— Печальное и неожиданное? — повторила про себя г-жа д'Арвиль. И вдруг закричала в отчаянии: — Моя дочь? Моя дочь... Не может быть! Скажите все, прошу вас!

— Я ничего не знаю, сударыня.

— О, сжальтесь, сжальтесь! Отведите меня

скорее к герцогу! — воскликнула г-жа д'Арвиль, устремившись к дверям, и г-жа Арман последовала за ней.

— Несчастная мать! — прошептала Певунья, провожая ее взглядом. — О нет, это невозможно!.. Неужели ее постиг такой страшный удар, как раз когда она проявила ко мне столько доброты? Нет, и еще раз нет, — это невозможно!

Глава XI.
ДРУЖБА ПОНЕВОЛЕ

А теперь мы поведем читателя в дом на улице Тампль: происходит это в день самоубийства г-на д'Арвиля, в три часа пополудни. Господин Пипле — один у себя в швейцарской: добросовестный и неутомимый труженик, он старательно чинит сапог, который, увы, не раз и не два уже падал на пол, и все это — из-за последней и самой наглой выходки Кабриона.

Физиономия у высоконравственного привратника крайне унылая и еще более печальная, нежели обычно.

Как солдат, который чувствует себя униженным из-за понесенного поражения и грустно проводит рукой по едва затянувшейся ране, г-н Пипле время от времени испускает тяжкий вздох, прекращает работу и проводит дрожащим пальцем вдоль поперечной вмятины: ее оставила на цилиндре — предмете гордости привратника — нахальная рука Кабриона.

И тогда все горести, все тревоги, все опасения Альфреда Пипле пробуждаются с новой силой, и

он начинает размышлять о постоянных и просто немыслимых преследованиях, которым подвергает его этот бездарный художник, этот мазила.

Господин Пипле не обладал ни широким кругозором, ни глубоким умом, он не был одарен ни живым воображением, ни поэтическим складом души, но зато он обладал здравым смыслом и отличался весьма солидным и логическим, хотя и несколько прямолинейным рассудком.

На свою беду, в силу природной склонности к слишком уж прямолинейным суждениям, он не мог постичь эксцентрических и сумасбродных выходок, которые на языке живописцев именуются шаржами. Г-н Пипле силился обнаружить разумные, мыслимые причины невыносимого поведения Кабриона и потому задавал себе множество неразрешимых вопросов.

Порою он, как новый Паскаль, испытывал головокружение, пытаясь проникнуть умственным взором в ту бездонную пропасть, которую адский дух художника вырыл у него, Альфреда Пипле, под ногами.

Не один раз, уязвленный в своих лучших чувствах, злополучный привратник старался взять себя в руки — к этому его побуждал непоколебимый скепсис г-жи Пипле: она считалась с одними

лишь фактами и с пренебрежением отвергала все его попытки углубиться в их скрытые причины; Анастази грубо утверждала, будто необъяснимое поведение Кабриона по отношению к ее мужу — всего лишь глупая шутка!

Господин Пипле, человек рассудительный и серьезный, не мог принять подобное толкование, но только жалобно стонал, видя слепоту своей жены; его мужское достоинство восставало при одной мысли, что он мог стать игрушкой, жертвой столь пошлой затеи: фарса... Он был глубоко убежден, что неслыханное поведение Кабриона было связано с каким-то тайным и темным заговором, а наружное легкомыслие живописца служило лишь покровом для всех этих козней.

Мы уже сказали, что, стремясь разгадать сию зловещую тайну, человек, столь гордившийся своим цилиндром, вновь и вновь прибегал к присущей ему железной логике.

— Я готов дать голову на отсечение, — бормотал этот суровый муж, ставивший перед собою все новые и новые вопросы, — я готов дать голову на отсечение, но никогда не соглашусь с тем, будто Кабрион столь яростно и упорно преследует меня из одного только желания просто-напросто подшутить надо мною: ведь шутки шутят «на пуб-

лику». А в последний раз этот зловредный субъект действовал без свидетелей, действовал в одиночку и, как всегда, под покровом тьмы; он тайком забрался в мою скромную обитель и запечатлел у меня на лбу свой отвратительный поцелуй. И вот я спрашиваю любого беспристрастного человека: «С какой целью он это сделал?» Нет, то была не просто бравада... ведь никто ничего не видел, не совершил он этого и ради удовольствия... законы природы тому противоречат; совершил он это и не из дружбы... ибо на всем свете у меня есть лишь» один враг, а именно: он. Стало быть, нужно признать, что здесь таится какая-то тайна, и мой разум не в силах проникнуть в нее! Но тогда, к чему ведет его дьявольский план, который он уже давно взлелеял и проводит в жизнь с упорством, какое меня пугает! Так вот, всего этого я никак понять не могу, а невозможность сорвать покров тайны изнуряет и подтачивает меня изнутри!

Вот во власти каких тягостных раздумий пребывал г-н Пипле в ту минуту, когда мы представляем его читателю.

Достопочтенный привратник только бередил свои кровоточащие раны, печально проводя рукой по вмятине на своем цилиндре, когда чей-то пронзительный голос, доносившийся откуда-то

с верхних этажей, произнес следующие слова, гулко прозвучавшие в лестничной клетке:

— Скорей! Скорей, господин Пипле! Поднимитесь наверх... И не мешкая!

— Голос этот мне незнаком, — проговорил Альфред Пипле после минутного размышления.

И он уронил на колени левую руку с надетым на нее сапогом, который тачал.

— Господин Пипле, да поторапливайтесь же! — настойчиво повторил все тот же голос.

— Нет, голос мне положительно незнаком. Он принадлежит мужчине, и человек этот зовет меня... я могу это точно утверждать. Однако это еще не резон для того, чтобы я покинул швейцарскую... Оставить ее без присмотра... бросить ее в отсутствие своей супруги... Никогда! — решительно воскликнул Альфред. — Никогда!!!

— Господин Пипле! — еще настойчивее прозвучал голос. — Да поднимитесь же быстрей... Госпоже Пипле дурно!

— Анастази!.. — завопил Альфред, вставая со стула. Потом он вновь опустился на место и сказал самому себе:

«Да, я просто малое дитя... ничего такого быть не может, моя жена вот уже час, как ушла из дома! Впрочем, она ведь могла и вернуться, а я

того не заметил? Правда, это не в ее правилах, но я вынужден признать, что такое возможно».

— Господин Пипле, да поднимитесь же, наконец, я держу вашу супругу в объятиях!

— Как?! Моя жена в чьих-то объятиях! — воскликнул г-н Пипле, мигом вскочив с места.

— Один я не в силах распустить шнуровку на корсете госпожи Пипле! — продолжал незнакомый голос.

Слова эти произвели на Альфреда почти магическое действие, он побагровел — все его целомудрие возмутилось.

— Незнакомый и отвратительный голос утверждает, будто собирается распустить шнуровку на корсете моей Анастази! — завопил он. — Я протестую! Я запрещаю это делать!

И привратник опрометью кинулся вон из швейцарской; однако на пороге он остановился.

Господин Пипле находился теперь в одном из тех ужасных, прямо-таки критических и необычайно драматических положений, которые нещадно эксплуатируют поэты. С одной стороны, долг удерживал его в швейцарской, с другой стороны, целомудрие и супружеская привязанность властно призывали его подняться на верхние этажи дома.

Он все еще пребывал в ужасном замешательстве, когда снова послышался роковой голос:

— Стало быть, вы не идете, господин Пипле?! Тем хуже... Я разрезаю шнуровку, правда, закрыв при этом глаза...

Эта новая угроза заставила привратника решиться.

— Сударь! — крикнул он и, не помня себя, выбежал из швейцарской. — Заклинаю вас честью, суддаррь, не разрезайте шнуровку. Не прикасайтесь к моей супруге... Я уже поднимаюсь к вам...

И Альфред устремился вверх по темной лестнице, в смятении позабыв запереть дверь в швейцарскую.

Как только он покинул свое убежище, какой-то человек быстро вошел туда, схватил со стола сапожный молоток, вскочил на кровать и с помощью заранее приготовленных четырех кнопок прикрепил кусок картона, который был у него в руках, к стене — в глубине алькова, где стояло ложе г-на Пипле; после чего незнакомец скрылся.

Все это он проделал так ловко, что привратник, который почти тотчас же вспомнил, что оставил дверь в швейцарскую отпертой, быстро спустился по лестнице, запер дверь, положил ключ в карман и снова поднялся наверх, даже

не заподозрив, что кто-то посторонний входил в его жилище. Приняв все эти меры предосторожности, Альфред вновь устремился на помощь Анастази, крича во всю мочь.

— Суддарь, не разрезайте шнуровку... я уже поднимаюсь... я уже тут... и я поручаю мою супругу вашему чувству приличия!

Однако почтенному привратнику предстояло в тот день переходить от удивления к изумлению.

Едва он успел снова преодолеть первые ступеньки лестницы, как услышал голос жены, причем доносился ее голос не с верхнего этажа, а из крытого прохода.

Еще более визгливо, чем обычно, Анастази кричала:

— Альфред! Зачем ты ушел из швейцарской! И где ты только шатаешься, старый волокита?

Как раз в эту минуту г-н Пипле собирался ступить правой ногой на площадку второго этажа; он просто окаменел, повернул голову и, глядя вниз вдоль лестницы, разинул рот, вытаращил глаза, а его нога так и застыла в воздухе.

— Альфред!!! — опять послышался голос г-жи Пипле.

— Анастази стоит внизу... стало быть, она не была наверху и ей там не стало дурно!.. — пробор-

мотал г-н Пипле, послушно следуя своей твердой и неумолимой логике. — Но тогда... кому же принадлежал этот не знакомый мне мужской голос? Кто угрожал распустить шнуровку на ее корсете? Значит, то был какой-то обманщик? Значит, он жестоко играл моею тревогой?.. Но какую он преследовал цель? Нет, тут происходят совершенно невероятные вещи... Не важно! «Исполняй свой долг, и будь что будет...» Сейчас я отвечу моей супруге, а потом поднимусь до самого верха, проникну в эту тайну и разберусь, чей же это был голос.

Не на шутку встревоженный, г-н Пипле спустился по лестнице и оказался лицом к лицу со своей женой.

— Так это ты?! — вырвалось у него.

— Конечно, я, а кто же еще?! Кто, по-твоему, это мог быть?

— Так это ты? Зрение меня не обманывает?

— Вот оно как?! Да что, собственно, тут происходит? Почему ты вытаращил на меня глазищи? Глядишь с таким видом, будто хочешь меня проглотить!..

— Дело в том, что твое присутствие позволяет мне понять: здесь такое... такое творится...

— Что еще здесь творится? Послушай, дай-ка

мне лучше ключ от швейцарской! И почему ты оставил ее без присмотра? Я возвращаюсь из конторы дилижансов, уходящих в Нормандию, а ездила я туда в фиакре — отвозила чемодан господина Брадаманти, он почему-то не хочет, чтобы знали о том, что он нынче вечером уезжает, а этому негоднику Хромуле он не верит... и правильно делает!

Произнеся эту фразу, г-жа Пипле взяла из рук мужа ключ, отперла швейцарскую и вошла туда; ее супруг плелся следом. Не успела достойная чета уйти с лестницы, как некий человек осторожно спустился вниз и быстро прошмыгнул незамеченным мимо швейцарской.

То был владелец мужского голоса, который вызвал столь сильное беспокойство у Альфреда Пипле.

Господин Пипле тяжело опустился на стул и с волнением проговорил:

— Анастази... мне что-то не по себе; здесь такое... такое происходит...

— Ну вот, опять ты заладил свое; но ведь всегда и везде что-нибудь да происходит! Что это с тобой? Ну-ка, рассказывай... Смотри, да ты весь в поту, вымок до нитки... Ты что, камни таскал?.. Господи, ведь с него, с моего старичка, пот просто

льет!

— Да, я вспотел, как в бане... и тому есть веская причина... — С этими словами г-н Пипле провел ладонью по вспотевшему лицу. ^ Потому как тут происходят такие вещи, что и свихнуться недолго...

— Ну что там еще? И никогда-то ты не можешь посидеть спокойно. Все время носишься как угорелый, а ведь тебе надо было только тихо-мирно сидеть на стуле да присматривать за швейцарской.

— Анастази, вы просто несправедливы ко мне... когда говорите, что я мечусь как угорелый. Если я и мечусь... то ведь из-за вас.

— Из-за меня?!

— Вот именно... Я старался предотвратить оскорбление, после которого мы бы оба краснели и рыдали... Я покинул свой пост, который полагаю столь же священным, как будку часового...

— Мне хотели нанести оскорбление? Мне?

— Нет, не то чтобы вам... коль скоро оскорбление, которым вам угрожали, должно было совершиться где-то там, наверху, а вас, оказывается, и дома не было... но только...

— Шут меня побери, если я хоть что-нибудь понимаю из того, что ты мне тут поешь! Послушай,

Альфред, да ты и впрямь голову потерял... Видишь ли... я начинаю думать, что на тебя помрачение нашло... словно тебя по голове чем-то огрели... и всему виною — этот негодяй Кабрион, разрази его господь!.. После его давешней шутки я тебя не узнаю, вид у тебя какой-то пришибленный... Неужели этот изверг всю жизнь будет для нас кошмаром?

Не успела Анастази произнести эти слова, как произошло нечто невероятное.

Альфред по-прежнему сидел на стуле, повернув голову к алькову, где стояла его кровать.

Швейцарская была освещена тусклым светом зимнего дня и неярко горевшей лампой. И вот, в бликах этого неясного света, г-ну Пипле — в ту самую минуту, когда его супруга произнесла имя Кабриона, — показалось, что в полутемном алькове возникло неподвижное и насмешливое лицо живописца.

Да, то был Кабрион в своей остроконечной шляпе: длинные волосы обрамляли его худое лицо, на губах играла дьявольская улыбка, подбородок его украшала козлиная бородка, а взгляд, как всегда, завораживал...

И тут г-ну Пипле показалось, ему вдруг почудилось, что он бредит; Альфред провел рукою по

глазам... он решил, что стал жертвой миража...

Но то был не мираж...

То, что ему представилось, было суровой действительностью.

Перед ним было ужасное видение! Туловище отсутствовало, виднелась лишь одна голова — ее живое воплощение возникло в полутемном алькове...

При виде этой головы г-н Пипле резко откинулся на стуле и замер, не произнеся ни слова; он только поднял правую руку и указывал испуганным жестом на жуткое видение, так что, когда г-жа Пипле повернулась к мужу, чтобы понять причину его испуга, она, несмотря на свою обычную выдержку, также испытала страх.

Отступив на два шага, Анастази с силой стиснула руку Альфреда и воскликнула:

— Кабрион!!!

— Да!.. — пробормотал г-н Пипле хриплым, почти замогильным голосом и закрыл глаза.

Растерянность обоих супругов делала честь таланту художника, который великолепно воспроизвел на картоне черты Кабриона.

Когда первое удивление прошло, Анастази, точно разъяренная львица, кинулась к кровати, взобралась на нее, и не без некоторой дрожи,

сорвала картон со стены, к которой он был прикреплен.

Свой доблестный поступок эта новоявленная амазонка сопроводила, словно воинственным кличем, своим излюбленным восклицанием:

— Вот и вся недолга!

Альфред, все еще не открывая глаз, вытянул вперед руки, но по-прежнему сидел не шевелясь — так он всегда поступал в критические минуты своей жизни. Только судорожное покачивание его цилиндра говорило время от времени о все еще продолжавшемся сильном душевном волнении.

— Да открой же свои глазыньки, милый мой старичок, — проговорила, торжествуя победу, г-жа Пипле, — все это пустяки... всего лишь рисунок... портрет этого негодяя Кабриона!.. Гляди, как я его топчу! — И Анастази, пылая негодованием, швырнула злополучный портрет на пол и принялась топтать его ногами, восклицая: — Вот точно так же я хотела бы расправиться с этим проходимцем, предстань он передо мною во плоти! — Затем, подняв портрет с пола, она прибавила: — Погляди-ка, сейчас на нем видны следы моих подошв... Да погляди же!

Альфред отрицательно замотал головой и не

промолвил ни слова; он только жестом попросил жену убрать подальше ненавистный ему образ.

— Я в жизни не встречала такого наглеца! Ведь это еще не все... Внизу негодяй написал красными буквами: «Кабрион — своему доброму другу Пипле, другу на всю жизнь», — прочла привратница, поднося портрет к свету.

— «Своему доброму другу... другу на всю жизнь!..» — горестно прошептал Альфред.

И он воздел руки, словно призывая небо в свидетели новой и оскорбительной насмешки Кабриона.

— Но, кстати сказать, как все это произошло? — спросила Анастази у мужа. — Ведь утром, когда я перестилала твою постель, никакого портрета тут наверняка не было... Уходя, ты унес ключ от швейцарской с собою, стало быть, никто не мог сюда войти, пока тебя не было. Каким же образом, еще раз спрашиваю я, мог этот портрет здесь оказаться?.. Ах, вот оно что: может, ты сам ненароком повесил его, любезный мой старичок?

При этом чудовищном предположении Альфред подскочил на стуле; он открыл глаза, и они угрожающе засверкали.

— Я... я... повесил у себя в алькове портрет этого изверга, человека, который уже не ограничи-

вается тем, что весь день торчит поблизости и преследует меня? Человека, который преследует меня теперь и ночью во сне, как и наяву, негодяя, повесившего тут свой мерзкий портрет? Вы, видно, хотите, Анастази, превратить меня в буйнопомешанного?..

— Ну и что? Что из того? Разве не мог ты, добиваясь спокойствия, помириться с Кабрионом, пока меня тут не было?.. Ничего дурного я в этом не вижу!

— Я мог помириться с Кабрионом?.. О господи, слышишь ли ты?!

— Но тогда... Ведь подарил же он тебе свой портрет в знак нежной дружбы... Ведь это так, не отпирайся...

— Анастази!

— Ну, а коли подарил, то ты, надо признаться, капризен, как юная красотка.

— Жена моя!..

— Однако, в конце концов, кто же, как не ты, повесил на стену этот портрет?

— Я?! Боже! Великий боже!

— Но кто ж тогда это сделал?

— Вы, сударыня...

— Я?!

— Да, именно вы! — завопил г-н Пипле, не

помня себя от гнева. — Я вынужден думать, что это сделали вы. Нынче утром я все время сидел спиной к кровати и мог ничего не заметить.

— Да послушай, миленький ты мой старичок...

— Говорю я вам, что, кроме вас, некому было это проделать... разве только тут замешался сам дьявол... потому как я не выходил из швейцарской, а когда стал подниматься наверх, подчиняясь зову незнакомого мне мужского голоса, в руках у меня был ключ. И я тщательно запер дверь за собою, вы ведь сами ее только что отперли... Попробуйте сказать, что «нет».

— Ей-богу, все так оно и было!

— Значит, вы признаете?..

— Я признаю только то, что ничего не понимаю... Это какая-то злая шутка, и, говоря по правде, ее ловко проделали.

— Какая еще шутка! — воскликнул г-н Пипле, охваченный яростным негодованием. — Ах! Опять вы за свое: это, мол, всего лишь шутка! А вот я, я вам говорю, что за всем этим кроются самые ужасные козни... Нет, нет, все это неспроста! Тут хорошо обдуманный план... вернее, заговор... Бездну искусно прикрывают ковром из цветов, мне хотят голову заморочить, чтобы я не мог различить пропасть, в которую меня собираются

спихнуть... Остается только одно: прибегнуть к защите закона... По счастью, господь бог не лишил еще Францию своего покровительства.

И г-н Пипле направился к двери.

— Куда это ты собрался, милый мой, старичок?

— Я иду к комиссару полиции... подам ему жалобу, а портрет этот покажу в доказательство того, как меня преследуют и притесняют.

— Но на что, собственно, ты хочешь жаловаться?

— На что я собираюсь пожаловаться? То есть как это на что?! Мой враг, мой самый злобный враг идет на любые жульнические проделки... пытается вынудить меня смириться с тем, что над моим супружеским ложем висит его портрет, а власти предержащие не возьмут меня под защиту?.. Дай-ка мне этот гнусный портрет, Анастази, дай мне его в руки... только прежде переверни его... а то мне смотреть на него противно! Этот мерзавец не посмеет отпереться... он ведь своей рукой намалевал: «Кабрион — своему доброму другу Пипле, другу на всю жизнь». Подумать только: на всю жизнь!.. Да, он именно так все и задумал... Он и преследует-то меня, с тем чтобы отравить мне жизнь... и в конце концов он своего добьется... Я вынужден жить в постоянной

тревоге! Я буду думать, что он– это исчадье ада — всегда находится тут! Под полом, в толще стен, на потолке!.. Ночью он станет наблюдать, как я сплю в объятиях моей супруги, а днем станет стоять позади меня со своей дьявольской усмешкой... А кто может поручиться, что и сейчас, в эту самую минуту, он не притаился где-нибудь тут... не затаился, как ядовитое насекомое? А ну-ка поглядим! Где ты, изверг? Отвечай, где ты! — в ярости завопил г-н Пипле, судорожно вращая головой, словно пытаясь обшарить взглядом все закоулки своего жилья.

— Я здесь, дружище! — послышался вкрадчивый голос, так хорошо знакомый Альфреду голос Кабриона.

Слова эти, казалось, доносились из глубины алькова; но объяснялось все тем, что художник владел искусством чревовещания, на самом деле адский живописец стоял снаружи, возле двери в швейцарскую, смакуя во всех подробностях описанную выше сцену. Произнеся эти слова, он осторожно удалился, но — как читатель вскоре узнает — оставил некий предмет, который сделался причиной удивления, гнева и тягостных раздумий его злосчастной жертвы.

Госпожа Пипле, как всегда, сохранила мужество

и присутствие духа; она внимательно осмотрела пространство под кроватью, обошла все самые укромные уголки швейцарской, но нигде ничего не обнаружила; затем она столь же тщательно осмотрела крытый проход, но и там ее поиски не увенчались успехом; г-н Пипле, сраженный этим последним ударом, вновь тяжело опустился на стул, почти оцепенев от отчаяния.

— Нигде никого нет, Альфред, — объявила Анастази, как обычно сохраняя здравый смысл и трезвость суждений, — этот негодяй просто прятался за дверью и, пока мы искали его в швейцарской, он преспокойно удрал. Но терпенье! Раньше или позже я его поймаю... и пусть он тогда поостережется, проходимец эдакий! Уж я его хорошенько угощу своей метлою!

В эту минуту дверь отворилась, и в швейцарскую вошла г-жа Серафен, экономка нотариуса Жака Феррана.

— Добрый день, госпожа Серафен, — сказала Анастази. Желая скрыть от постороннего человека свои домашние огорчения, почтенная привратница с самым любезным и приветливым видом спросила: — Чем могу вам служить?

— Прежде всего, скажите мне, госпожа Пипле, что означает ваша новая вывеска?

— Наша новая вывеска?

— Ну да, эта дощечка с надписью.

— Какая еще дощечка с надписью?

— Ну, та, черная с красными буквами, она прибита перед дверью в ваш крытый проход.

— То есть где она прибита? Со стороны улицы?..

— Ну да, со стороны улицы, над самой вашей дверью.

— Любезная госпожа Серафен, я что-то вас не понимаю, я никак в толк не возьму, о чем вы толкуете. Скажи, милый мой старичок, а ты что-нибудь понимаешь?

Альфред по-прежнему хранил молчание.

— Кстати, вывеска касается именно господина Пипле, — объявила г-жа Серафен, — он-то, должно быть, все мне объяснит.

Привратник издал какой-то глухой, невнятный вздох и молча продолжал терзать свой злополучный цилиндр.

Эта немая сцена означала: г-н Пипле признался, что он не может ничего объяснить другим, ибо сам тщетно пытается ответить себе на множество вопросов, ни на один из которых он пока ответить не в силах.

— Не обращайте на него внимания, госпожа

Серафен, — вмешалась Анастази. — У бедного моего Альфреда спазмы желудка, потому-то он так и сидит неподвижно... Но что это за дощечка с надписью, о которой вы толкуете?.. Быть может, ее повесил ликерщик, что живет по соседству?

— Да нет же, нет! Говорю вам, что эта небольшая дощечка прибита над самой вашей дверью.

— Послушайте, да вы что, смеетесь?

— И вовсе я не смеюсь, я только что видела ее собственными глазами, когда к вам входила. На ней написано крупными буквами: «Пипле и Кабрион оказывают дружеские и прочие услуги. Обращаться к привратнику».

— Ах ты господи!.. И все это написано над нашей дверью?! Ты слышишь, Альфред?

Господин Пипле посмотрел на г-жу Серафен с совершенно потерянным видом; он ничего не понимал, больше того — не хотел ничего понимать.

— И все это... написано на дощечке... прямо на улице? — опять спросила г-жа Пипле, пораженная новой наглостью художника.

— Конечно, ведь я сама только что прочла. И тогда я подумала; «Вот странная история! Ведь господин Пипле занимается сапожным ремеслом, должно быть, он вывесил такое объявление и

извещает прохожих о том, что он вкупе с неким Кабрионом оказывает «дружеские услуги»... Что же все это означает?.. Тут кроется что-то непонятное... Но так как на дощечке написано: «Обращаться к привратнику», господин Пипле, верно, мне все объяснит... Глядите, глядите, — вдруг воскликнула г-жа Серафен, прерывая свою речь, — вашему мужу, кажется, дурно... осторожно, скорее! Он сейчас упадет навзничь!

Госпожа Пипле торопливо подхватила мужа, едва не потерявшего сознание.

Последний удар был слишком силен для него; человек в цилиндре чуть не лишился чувств и успел только пробормотать:

— Презренный! Он меня публично опозорил!!!

— Я же сказала вам, госпожа Серафен, что у Альфреда ужасные желудочные спазмы, а тут еще этот ужасный сорванец, который донимает и допекает его своими булавочными уколами... Мой бедный, мой милый старичок этого не выдержит! По счастью, у меня есть капелька абсента, быть может, это поставит его на ноги...

И действительно, благодаря этому проверенному лекарству г-жи Пипле Альфред мало-помалу пришел в себя; но, увы, едва вернувшись к жизни, он вновь подвергся жестокому испытанию.

Какой-то человек средних лет, прилично одетый, с лицом столь простосердечным, а вернее глупым, что в этом парижском ротозее невозможно было заподозрить способность к какой-либо задней мысли, а уж тем более к мысли коварной, отворил застекленную створку двери и с заинтересованным видом спросил:

— Я только что прочел вывеску, прибитую над ведущим к вам крытым проходом, на ней написано: «Пипле и Кабрион оказывают дружеские и прочие услуги». Будьте любезны и скажите на милость, что это значит? Ведь вы, если не ошибаюсь, здешний привратник?

— Что все это значит?! — завопил г-н Пипле громовым голосом, давая наконец выход негодованию, которое он так долго сдерживал. — Это значит, что господин Кабрион гнусный обманщик! Понимаете, суддаррь?!

При этой внезапной и яростной вспышке гнева посетитель невольно попятился.

Альфред, не помня себя от бешенства, побагровел, высунулся из швейцарской и судорожно вцепился обеими руками во внутреннюю филенку двери; позади него смутно вырисовывались фигуры г-жи Серафен и Анастази: они были едва различимы в полутьме.

— Зарубите себе на носу, суддаррь, — кричал г-н Пипле, — что я не поддерживаю никаких отношений с эти проходимцем Кабрионом, а уж дружеских отношений — и подавно!

— Да вы, должно быть, уже давно не высовывали носа из дому, старый сморчок, коль скоро являетесь сюда и задаете дурацкие вопросы! — язвительно прибавила г-жа Пипле, высовывая из-за спины мужа свою обозленную физиономию.

— Сударыня, — с достоинством ответил посетитель, благоразумно отступая еще на шаг, — объявления вывешивают для того, чтобы их читали. Вы их вывешиваете, а я их читаю, так что я — то в своем праве, а вот у вас нет никакого права говорить мне грубости!

— Да вы сами — ходячая грубость... старый скаред! — резко ответила Анастази, осклабившись.

— Это вы грубиянка!

— Альфред, дай-ка мне твой шпандырь, я хочу снять мерку с рожи этого господина... Я отучу его ходить сюда шутки шутить!.. Он, видно, забыл, сколько ему лет, старый невежа!

— Приходишь к вам, чтобы разобраться в вашем же объявлении, а в ответ слышишь брань! Это вам даром не пройдет, сударыня!

— Послушайте, суддаррь... — простонал злопо-

лучный привратник.

— Послушайте, сударь, — подхватил посетитель, в свою очередь выходя из себя, — водите дружбу с кем хотите, хоть с вашим Кабрионом, но, черт побери, не афишируйте это огромными буквами, не мозольте ими глаза прохожим! А посему я почитаю своим долгом заявить вам, что вы неотесанный мужлан, и я принесу на вас жалобу полицейскому комиссару.

И, не помня себя от гнева, злополучный посетитель удалился.

— Анастази, — пробормотал Пипле жалобным голосом, — я всего этого не переживу, я чувствую, что ранен насмерть... и нет у меня никакой надежды спастись от гибели. Ты сама видишь: отныне мое имя открыто связано с именем этого негодяя. Он осмелился публично объявить, будто нас связывают узы дружбы, и люди верят ему; я говорю... я утверждаю... я торжественно заявляю, что это чудовищно... этому нет названия... это какая-то дьявольская выдумка! И надо со всем этим покончить раз и навсегда... чаша моего терпения переполнилась... одному из нас — либо ему, либо мне — суждено пасть в этой борьбе!

И, преодолев свою обычную апатию, г-н Пипле принял героическое решение, схватил портрет и

бросился к двери.

— Куда ты собрался, Альфред?

— К комиссару полиции! По дороге я сорву эту мерзкую дощечку с надписью; держа ее и портрет в руках, я крикну комиссару: «Защитите меня! Отомстите за меня! Избавьте меня от этого Кабриона!»

— Прекрасно сказано, милый мой старичок! Встряхнись, расшевелись хорошенько! Да, если ты сам не сумеешь снять дощечку, попроси ликерщика помочь тебе, пусть он возьмет свою приставную лестницу. Мерзавец Кабрион! О, попадись он мне, я, коли смогу, поджарю его на своей плите и с удовольствием полюбуюсь на его муки. Да, есть люди, которым отрубают голову гильотиной, хотя они заслуживают того меньше, чем он. Ах, негодяй, хотела бы я видеть, как его, этого прощелыгу, повезут на Гревскую площадь!

Однако Альфред в столь крайних обстоятельствах все же выказал возвышенную кротость. Несмотря на все обиды, на весь тот вред, который причинил ему Кабрион, привратник проявил великодушие и жалость к коварному живописцу.

— Нет, нет, — заявил он, — если б я даже мог, я не стал бы требовать его головы!

— А вот я стала бы... стала бы... И тем хуже для

него. И вся недолга! — воскликнула свирепая Анастази.

— Нет, — снова повторил Альфред, — я не люблю крови. Но я вправе потребовать, чтобы его, злодея, приговорили к пожизненному заключению, это необходимо для моего покоя, это нужно для моего здоровья... И закон должен пойти мне навстречу... в противном случае я покину Францию... мою прекрасную Францию! Вот к чему все это приведет...

И Альфред Пипле, уйдя в свое горе, торжественно покинул швейцарскую: в эту минуту он походил на величавую жертву античного рока.

Глава XII.
СЕСИЛИ

Прежде чем предложить читателю присутствовать при разговоре г-жи Серафен и г-жи Пипле, мы хотим предупредить его, что Анастази, ни в коей мере не сомневавшаяся в добродетелях богобоязненного нотариуса, все же решительно осуждала суровость, которую он выказал по отношению к Луизе Морель и Жермену. Естественно, что привратница распространяла свое недоброжелательство и на г-жу Серафен; однако, будучи весьма тонким политиком, г-жа Пипле по причинам, о которых мы скажем позже, старательно скрывала свою неприязнь к домоправительнице Жака Феррана и потому встретила ее как нельзя более сердечно.

Громко осудив недостойное поведение Кабриона, г-жа Серафен воскликнула:

— Ах да! Что такое происходит с господином Брадаманти? Вчера вечером я написала ему — и никакого ответа; нынче утром приходила к нему сама — и не застала его дома... Надеюсь, сейчас мне больше повезет.

Госпожа Пипле изобразила на лице живейшую досаду.

— Ах! Вот беда-то, вот незадача! — воскликнула она.

— Вы о чем?

— Господин Брадаманти еще не возвращался.

— Да это ни в какие ворота не лезет!

— Надо прямо сказать, не везет вам, милая моя госпожа Серафен, да и только!

— Но мне просто необходимо с ним побеседовать!

— Все понимаю, но, как говорится, не судьба!

— А вдобавок ко всему, мне всякий раз нужно придумывать предлог для того, чтобы прийти сюда; потому что, если господин Ферран проведает, что я знакома с таким шарлатаном, он — вы ведь знаете, до чего благочестив... до чего щепетилен мой хозяин — сами понимаете... какой скандал он мне закатит!

— Ну совсем как мой Альфред: он так добродетелен, так добродетелен, что своей тени боится.

— А вы не знаете, когда вернется господин Брадаманти?

— Он сегодня кому-то встречу назначил — то ли на шесть, то ли на семь вечера; и велел сказать той особе, какую он ожидает, чтобы она еще раз

пришла, если его дома не будет. Так что заходите вечерком, и вы его наверняка застанете.

Мысленно Анастази прибавила: «Как бы не так! Уже через час он будет на дороге в Нормандию».

— Стало быть, я вечером опять приду, — сказала г-жа Серафен, с трудом подавляя досаду. Затем она снова заговорила: — Я еще вот о чем хотела вам сказать, любезная госпожа Пипле. Вы, конечно, слышали о том, что произошло с этой распутницей Луизой, которую все мы считали порядочной девушкой.

— Не говорите, не говорите, — ответила г-жа Пипле с сокрушенным видом, возводя очи горе, — у меня просто волосы дыбом встали.

— Так вот, я хотела вам сказать, что мы пока остались без служанки, и, ежели вы вдруг услышите о какой-нибудь благоразумной девице, работящей, честной и порядочной, будьте так любезны и пришлите ее ко мне. Нынче ведь так трудно найти неиспорченную девушку, что приходится обращаться в двадцать мест, пока подыщешь такую.

— Уж будьте благонадежны, госпожа Серафен. Коли я услышу о подходящей девице, я тотчас же вам сообщу... Знаете, ведь и хорошие места так же редки, как и хорошие служанки.

Здесь Анастази опять мысленно прибавила: «Как же, так я и пришлю тебе какую-нибудь бедную девушку, чтобы она жила впроголодь в вашем логове! Твой хозяин слишком скуп и слишком зол: подумать только, донес сразу на двоих — и на несчастную Луизу, и на бедного Жермена».

— Мне незачем вам говорить, — продолжала г-жа Серафен, — до чего у нас тихий и мирный дом; всякая юная девица только выиграет, если поступит к нам в услужение, ведь только потому, что эта Луиза оказалась от природы порочной, она так скверно кончила, несмотря на все благие намерения и отеческие советы господина Феррана.

— Само собой разумеется. Так что вы уж положитесь на меня: как только услышу где-нибудь о подходящей для вас девице, тут же и пришлю ее к вам.

— Да вот еще что, — продолжала г-жа Серафен, — господин Ферран очень хочет, чтобы у нашей служанки не было бы родных, ведь тогда, сами понимаете, у нее не будет повода уходить из дома и она станет меньше подвергаться опасности пойти по дурной дорожке; так что, ежели найдется какая-нибудь сиротка, мой хозяин предпочтет ее

другим... Во-первых, потому, что это будет благим делом, а затем потому, что, как я уже вам сказала, не имея родных и близких, она ни под каким благовидным предлогом не сможет отлучаться из дому. Да, эта негодница Луиза дала хороший урок господину нотариусу... сами понимаете, милая госпожа Пипле! Вот почему он теперь так осторожен при выборе служанки. Подумать только, эдакий скандал в столь чинном и благочестивом доме, как наш... Какой ужас! Итак, до вечера; я зайду тогда к господину Брадаманти, а потом загляну и к тетке Бюрет.

— До вечера, госпожа Серафен, думаю, что вы наверняка застанете господина Брадаманти.

Госпожа Серафен удалилась.

— До чего ей приспичило повидать Брадаманти! — проговорила г-жа Пипле. — И что ей от него нужно? А ведь он-то нипочем не хочет с нею встретиться до своего отъезда в Нормандию! Я ужасно боялась, что она так отсюда и не уберется, эта Серафенша, а между тем господин Брадаманти ждет к себе даму, которая уже приходила к нему вчера вечером. Мне так и не удалось ее толком рассмотреть; но на сей раз я уж расстараюсь и хорошенько ее разгляжу, поступлю так, как поступила намедни с любовницей нашего

двухгрошового майора. Что-то он давно сюда носа не кажет! Чтоб как следует проучить его, я сожгу дрова... да, сожгу все дрова этого недоделанного заморыша! Подумаешь! Платит жалкие двенадцать франков, а наряжается в халат из блестящего шелка... Больно ему это помогает!.. Но кто она все-таки такая, дама, что приходила к господину Брадаманти?! Из господ она или из простых? Мне не терпится разведать, потому что я ведь любопытна, как сорока: ничего не поделаешь, такой уж у меня нрав... Постой-ка... Мне пришла в голову одна мысль... Просто замечательная мысль — уж теперь-то я узнаю имя этой дамочки! Надо будет непременно попробовать... Но кто это сюда идет? А, лучший из моих жильцов. Привет вам, господин Родольф! — воскликнула г-жа Пипле, вытягиваясь по стойке «смирно» и поднося левую ладонь к своему парику.

И в самом деле то был Родольф; он еще не знал о смерти г-на д'Арвиля.

— Добрый день, госпожа Пипле, — сказал он, входя. — Что, Хохотушка дома? Мне нужно с нею поговорить.

— Она? Да эта милая кошечка всегда дома! Ведь у нее полно работы. Ни минуты без дела не сидит!..

— А как здоровье госпожи Морель? Она хоть немного приободрилась?

— Да, господин Родольф. Шут меня побери, благодаря вам или неведомому покровителю, чью волю вы исполняете, она и ее дети теперь просто счастливы! Они чувствуют себя точно рыба в воде: у них ведь есть и огонь в очаге, и чистый воздух, и мягкие постели, и хорошая пища, за ними сиделка ходит, не говоря уж о нашей Хохотушке: она хоть и трудится целый день, как прилежный бобер — и при этом сама нуждается, — а все равно с них глаз не спускает, уж вы мне поверьте!.. А потом тут от вас приходил лекарь, черный-пречерный, он осматривал госпожу Морель... Ха, ха, ха! Знаете, господин Родольф, я при виде его сама себе сказала: «Вот оно как! Верно, он лекарь угольщиков, этот черномазенький-то! Он может преспокойно щупать у них пульс, не боясь перепачкать руки!» Но это не важно, дело ведь не в цвете кожи, а врач он, что ни говори, видать, хороший: прописал какой-то отвар жене Мореля, и ей враз полегчало.

— Бедная женщина! Она, должно быть, все грустит?

— О да, господин Родольф... Что ж вы хотите? Муж-то у нее тронулся... а к тому же и дочка

в тюрьме. Понимаете, Луиза... Для матери это такое горе! Для любого порядочного семейства это просто ужасно... А как я подумаю, что только недавно мамаша Серафен, экономка нотариуса, приходила сюда и рассказывала мне всякие гадости о бедняжке Луизе! Не приготовь я горькую пилюлю для этой Серафенши, я бы так этого не оставила; но покамест я ее злоречие стерпела и даже виду не подала. Подумать только: набралась нахальства и явилась сюда выведать, не знаю ли я какой-нибудь молодой девушки, чтобы определить ее на место Луизы к этому скареду Жаку Феррану! Ведь он же такой скаред и пройдоха! Представьте себе, они хотели бы взять в служанки какую-либо сиротку, коли им такая попадется. И знаете почему, господин Родольф? Они толкуют, что у сиротки, мол, нет родных и близких, а потому ей не надо будет отлучаться из дому, чтобы повидать их, и можно, дескать, быть спокойнее на ее счет. Но только дело вовсе не в том, это просто отговорка. А истинная-то правда состоит в том, что они хотят прибрать к рукам бедную девушку, которая ничего-то и сказать не сможет потому, как ей и посоветоваться не с кем. Вот они и урежут ей жалованье, оберут бедняжку за милую душу. Ну разве я не права, господин

Родольф?

— Да... да... — ответил тот с озабоченным видом.

Узнав, что г-жа Серафен ищет сиротку, чтобы определить ее взамен Луизы в служанки к нотариусу, Родольф увидел в таком стечении обстоятельств средство — и, пожалуй, самое надежное — для того, чтобы покарать Жака Феррана. Пока г-жа Пипле говорила, он мысленно мало-помалу изменял ту роль, какую прежде предназначал Сесили, ибо Родольф видел в ней важное орудие для справедливой кары, которой он собирался подвергнуть палача Луизы Морель.

— Я и не сомневалась, что вы будете одного мнения со мной, — продолжала г-жа Пипле. — Да, повторяю, они хотят заполучить к себе одинокую девушку, чтобы надуть ее с жалованьем; так что я уж лучше околею, но никого к ним не пошлю. Кстати, никого подходящего я и не знаю... но если бы даже знала какую-нибудь девицу, то помешала бы ей пойти в это жуткое логово. Не правда ли, господин Родольф, ведь я совершенно права?

— Госпожа Пипле, хотите ли вы оказать мне огромную услугу?

— Боже милостивый! Господин Родольф, что я должна сделать? Броситься в огонь, облить мой

парик кипящим маслом? Либо вы предпочитаете, чтобы я кого-нибудь покусала? Говорите же... Я вся к вашим услугам... И сама я и мое сердце — мы ваши покорные рабы... если только речь не идет о том, чтобы наставить рога Альфреду...

— Успокойтесь, госпожа Пипле... Дело вот в чем состоит... Мне нужно пристроить на место одну сиротку... Она иностранка... никогда не бывала в Париже, и я бы хотел определить ее в служанки к господину Феррану...

— Господи, да у меня просто дух перехватило! Как? В этот вертеп, к этому старому скареду?

— И все-таки это место служанки... Если молодая девица, о которой я вам толкую, там не приживется, она позднее оттуда уйдет... Но, по крайней мере, сейчас она сразу же начнет зарабатывать себе на жизнь... и я буду спокоен на ее счет.

— Конечно, как знаете, господин Родольф, вам виднее, но только я вас предупредила... И ежели, несмотря ни на что, вы считаете, будто место это ей подходит... дело, как говорится, хозяйское. А потом мне надо быть справедливой к нотариусу: если тут многое говорит «против», то многое говорит и «за»... Он жаден как пес, упрям как осел, да и святоша, каких мало, все это так... Но зато

он человек честный, таких не скоро найдешь... Жалованье он ей положит самое скудное, но платить будет все до гроша... Пища у них там прескверная... но кормят все же каждый день. В этом доме ей придется работать как ломовой лошади, но зато это такой дом, где от скуки мухи дохнут... и нет опасности, что молодая девушка там что-нибудь эдакое выкинет... Случай с Луизой — дело особое.

— Госпожа Пипле, я хочу доверить вам одну тайну, и я полагаюсь на вашу порядочность.

— Честное слово Анастази Пипле, урожденной Галлимар, так же верно, как то, что есть господь бог на небесах... как то, что мой Альфред всегда ходит в зеленом сюртуке... Я стану молчать как рыба.

— Вы ничего не должны говорить даже господину Пипле!..

— Клянусь вам головой милого моего старичка... если только дело тут чистое...

— Ах, госпожа Пипле!..

— Ну, коли так, то мы его вокруг пальца обведем, он у нас ничегошеньки не узнает; вы только поймите: ведь он у меня как полугодовалый младенец, до того он наивный да бесхитростный.

— Я вам верю, госпожа Пипле. Слушайте же.

— Все, что вы мне скажете, лучший из моих жильцов, останется между нами на всю жизнь, до гробовой доски... Так что выкладывайте смелее.

— Девица, о которой я с вами говорю, согрешила...

— Ну, это дело знакомое!.. Не выйди я в пятнадцать лет замуж за Альфреда, я бы, пожалуй, раз пятьдесят, а может, и сотню раз согрешила! Ведь я такая, как есть, была точно порох... точно бесенок какой, клянусь вам, как порядочная женщина. Хорошо, что мой Пипле укротил меня своей добродетелью... А то бы я такого натворила... и все из-за мужчин! Я это к тому говорю, что, коли ваша девица всего один разок согрешила... это еще дело поправимое.

— Я и сам так думаю. Девица эта жила в служанках в Германии, в доме моих родных, сын моей родственницы соблазнил бедняжку и склонил ее ко греху. Понимаете?

— И вся недолга!.. Чего уж тут не понять... Мне все ясно, как будто это со мною самой случилось.

— Разъяренная мамаша выгнала служанку; но молодой человек оказался таким сумасбродом, что тоже покинул родительский дом и привез несчастную девушку в Париж.

— Чего ж вы хотите... Знамо дело, молодость!..

— После этого безрассудного поступка вскоре начались раздумья, раздумья тем более здравые, что те небольшие деньги, какие у него были, быстро растаяли. Мой юный родственник обратился ко мне за помощью; я согласился дать ему денег на дорогу домой, к матери, но при том условии, что он оставит свою девицу здесь, а уж я постараюсь ее как-нибудь пристроить.

— Я бы не сделала большего для родного сына... если б мой муженек соблаговолил подарить мне наследника...

— Я в восторге, что вы одобряете мое решение, госпожа Пипле; но трудность состоит в том, что эта девица не имеет поручителей, а к тому же она иностранка, вот почему устроить ее на хорошее место очень трудно... Если вы согласитесь сказать госпоже Серафен, что один ваш родственник, обосновавшийся в Германии, прислал к вам эту девушку и рекомендовал ее, возможно, нотариус и возьмет ее в услужение, а мне это доставит двойное удовольствие. Сесили ведь только случайно оступилась, и она наверняка исправится, попав в столь благонамеренный дом, как дом господина Феррана... Главным образом по этой-то причине я и хотел бы, чтобы она поступила служанкой к нотариусу. Незачем говорить, что рекомендован-

ная вами... особой, столь уважаемой...

— Полно, господин Родольф!..

— Особой, столь уважаемой...

— Ах, полноте, лучший из моих жильцов...

— Что девица эта, рекомендованная вами, будет конечно же принята госпожой Серафен, в то время как, если ее порекомендую я...

— Все понятно... То же получится, если я порекомендую куда-нибудь славного молодого человека. Ладно, идет! Это дело по мне... Теперь уж Серафенша попалась!.. И вся недолга!.. Тем лучше, ведь у меня зуб против нее; ручаюсь вам за успешный исход этого дела, господин Родольф! Уж я вотру ей очки, скажу, что давным-давно моя двоюродная сестра, урожденная Галлимар, поселилась в Германии; и вот я вдруг получила известие, что она померла, ее муж тоже, а их дочка, ставшая сиротой, со дня на день свалится мне на голову.

— Превосходно... Вы сами и отведете Сесили к господину Феррану, а с госпожой Серафен больше об этом не разговаривайте. И так как вы уже лет двадцать не видались со своей кузиной, то ни за что не отвечаете, ведь после ее отъезда в Германию вы не имели о ней никаких известий.

— Все так, ну а как быть, коли эта девица ника-

кого языка, кроме немецкого, не знает?

— Она прекрасно говорит по-французски. Вдобавок я научу ее, как вести себя; так что пусть вас ничто больше не заботит, вы только настоятельно порекомендуйте ее госпоже Серафен... Впрочем, я вот о чем подумал, пожалуй, нет... ничего ей не говорите, а то она, чего доброго, подумает, будто вы хотите навязать ей свою волю... Знаете, ведь как получается: когда о чем-нибудь очень просишь, как раз в этом-то тебе и отказывают...

— Кому вы это говорите?! Именно потому я всегда давала отпор своим ухажерам. А вот если бы они ничего не домогались... тогда уж не знаю...

— Да, так часто выходит... А потому ничего не предлагайте госпоже Серафен, дождитесь, пока она сама опять к вам обратится. А тогда вы ей скажете только то, что Сесили — сирота, иностранка, что она еще очень молода, очень красива, что она для вас была бы непосильным бременем, что вы к ней очень мало привязаны, потому что были в ссоре с ее матерью, вашей кузиной, и что вы отнюдь не в восторге от подарочка, который вам неожиданно преподнесли...

— Господи боже! До чего ж вы хитры!.. Но будьте спокойны, мы с вами составляем славную пару!

Послушайте, господин Рододьф, да мы ведь друг друга просто с полуслова понимаем... Мы оба... Как подумаю, будь вы моим сверстником в те годы, когда я сама была как порох... то, ей-богу, уж и не знаю... А вы?

— Тсс!.. Если господин Пипле...

— Ах да, конечно! Он у нас шуток совсем не понимает! Да, вы ведь еще не знаете... о новой гнусной каверзе Кабриона?.. Я вам позднее все расскажу... А что до вашей девицы, то будьте благонадежны... Готова биться об заклад, что заставлю Серафеншу саму попросить меня, чтоб я прислала к ним свою родственницу в услужение.

— Если у вас это получится, любезная госпожа Пипле, то у меня уже приготовлены сто франков, Я человек небогатый, но...

— Да вы что, смеетесь надо мной, господин Родольф? Неужто вы думаете, что я возьму у вас деньги?! Господи боже!.. Да ведь я вовсе не из корысти, а только из одной дружбы... Сто франков!!!

— Но посудите сами: если эта девушка долго пробудет на моем попечении, она будем мне стоить гораздо больше этой суммы... Знаете, сколько денег за несколько месяцев набежит?..

— Я возьму ваши сто франков лишь из уважения к вам, господин Родольф. Но как мне все-таки повезло, что вы поселились в нашем доме! Да я готова кричать на всех перекрестках, что вы — самый лучший из жильцов... Смотрите-ка, фиакр!.. Конечно, это дамочка господина Брадаманти... Она уже вчера приходила, да только я ее как следует не разглядела... Перед тем как пропустить, я повожу ее за нос, чтоб хорошенько разглядеть; к тому же я придумала, как узнать ее имя... Сейчас вы увидите меня в деле... Это вас позабавит.

— Нет, нет, госпожа Пипле, меня не занимает ни внешность, ни имя этой дамы, — возразил Родольф, отступая в глубь швейцарской.

— Сударыня! — крикнула Анастази, бросаясь наперерез входившей женщине. — Куда это вы направляетесь, сударыня?

— Я иду к господину Брадаманти, — отвечала дама, явно раздосадованная тем, что ей помешали пройти.

— Его нет дома...

— Быть того не может, он сам назначил мне встречу.

— Его нет дома...

— Вы ошибаетесь...

— И вовсе я не ошибаюсь... — ответила при-

вратница, искусно вертя головой, чтобы получше разглядеть незнакомую даму. — Господин Брадаманти вышел из дому, вышел, говорю я вам, вышел — и все тут!.. Вернее сказать, он дома, да только для одной особы...

— Ну так вот! Эта особа — я... Не выводите меня из терпения... позвольте пройти.

— А как вас зовут, сударыня?.. Я проверю, такое ли у вас имя, как у той особы, какую господин Брадаманти позволил мне пропустить к нему. Ну, а коли имя у вас другое... то вы пройдете только через мой труп.

— Господин Брадаманти назвал вам мое имя? — воскликнула незнакомка, и в голосе ее прозвучали не только удивление, но и тревога.

— Да, сударыня...

— Какая неосторожность! — пробормотала молодая женщина.

Затем, после короткого замешательства, она, едва сдерживая нетерпение, негромко прибавила, как будто опасалась, что ее могут услышать:

— Извольте! Меня зовут госпожа д'Орбиньи. При этом имени Родольф затрепетал.

Ведь именно так звали мачеху госпожи д'Арвиль. Выступив из полумрака, он сделал шаг вперед и при свете дня и тускло горевшей лампы

без труда узнал эту женщину, чью внешность Клеманс подробно ему описывала.

— Госпожа д'Орбиньи? — переспросила привратница. — Да, именно это имя назвал мне господин Брадаманти. Можете подняться к нему, сударыня.

Мачеха г-жи д'Арвиль быстро прошла мимо двери швейцарской

— И вся недолга! — воскликнула г-жа Пипле с торжествующим видом. — Ловко я подловила дамочку!.. Теперь я знаю ее имя — ее зовут д'Орбиньи... Ну как? Недурен мой способ, а, господин Родольф? Да что это с вами? О чем это вы задумались?

— Эта дама уже приходила к господину Брадаманти? — спросил Родольф у привратницы.

— Да, вчера вечером, как только она ушла, господин Брадаманти и сам тотчас куда-то ушел, должно быть, отправился заказывать себе место в дилижансе, который нынче уходит; вчера же, вернувшись домой, он попросил меня отвезти сегодня утром его чемодан на почтовую станцию, потому как он не больно-то доверяет этому негоднику Хромуле.

— А вы часом не знаете, куда собрался господин Брадаманти?

— Он едет в Нормандию, по Алансонской дороге. Родольф тут же вспомнил, что поместье Обье, принадлежащее г-ну д'Орбиньи, находится в Нормандии.

Сомнений больше не было: шарлатан направляется к отцу Клеманс и наверняка с самыми зловещими намерениями.

— То, что господин Брадаманти скоро уезжает, здорово разозлит Серафеншу, — проговорила г-жа Пипле. — Она просто из себя выходит, до того ей не терпится повидать господина Брадаманти, а вот он этого изо всех сил избегает: он мне строго-настрого наказал не говорить ей, что он уедет нынче в шесть вечера; так что, когда она опять сюда явится, то, как говорится, поцелует пробой! Тогда-то я с ней и потолкую о вашей девице. Кстати, как ее звать-то... Сисе?

— Сесили...

— А, это все равно как Сесиль, только на конце «и». Пожалуй, лучше все-таки записать ее имя на клочке бумаги и вложить записку в мою табакерку, а то я могу и забыть это чертово имя... Сиси... Каси... Сесили... Ладно, теперь запомнила!

— А сейчас я поднимусь к Хохотушке, — сказал Родольф выходя из швейцарской.

— Как будете обратно идти, господин Родольф,

надеюсь, зайдете поздороваться с бедным моим старичком?.. Этот изверг Кабрион опять принялся за свои дурацкие шутки...

— Будьте уверены, госпожа Пипле, я не останусь равнодушен к неприятностям вашего супруга.

И Родольф, необычайно обеспокоенный визитом г-жи д'Орбиньи к Полидори, поднялся по лестнице к Хохотушке.

Глава XIII.
ПЕРВОЕ ГОРЕ ХОХОТУШКИ

Комната Хохотушки, как всегда, блестела радующей глаз чистотою; стоявшие на камине большие серебряные часы в футляре из самшита показывали четыре; сильные холода уже миновали, и бережливая работница не топила печь. Из окна виднелся лишь клочок голубого неба, он проглядывал сквозь беспорядочное нагромождение кровель, мансард и высоких труб — по другую сторону улицы они закрывали горизонт.

Внезапно солнечный луч, словно заблудившись, проскользнул между двумя скатами крыши и на несколько мгновений озарил ярким блеском плиточный пол в комнате молодой девушки.

Хохотушка работала, сидя у окна; ее очаровательный нежный профиль выделялся на фоне чуть пламенеющих прозрачных стекол, и головка ее походила на бледно-розовую камею.

Блики света пробегали по ее темным волосам, стянутым на затылке в тугой узел, они оттеняли ее будто выточенные из слоновой кости маленькие трудолюбивые руки, в них с непостижимой

быстротой мелькала игла.

Длинные складки коричневого платья, поверх которого был надет обшитый кружевцем зеленый фартучек, ниспадали на соломенное кресло, где сидела девушка; две прелестные ножки, как всегда со вкусом обутые, опирались на край невысокого табурета, стоявшего перед ней.

Подобно знатному вельможе, который из прихоти забавляется порою тем, что укрывает стены скромной хижины блестящими драпировками, заходящее солнце на минуту осветило эту скромную комнату тысячью беглых огней; солнечные лучи переливались золотистыми блестками на занавесях из серовато-зеленого набивного кретона, искрились на полированной мебели орехового дерева, сверкали на плиточном полу, отчего он стал походить на красную медь, и зажгли золотой ореол вокруг клетки для птиц, принадлежавших гризетке.

Но, увы! Несмотря на веселые проделки солнечного луча, обе пташки — и кенар и канарейка — с тревожным видом порхали в клетке и, против обыкновения, не пели.

Дело в том, что Хохотушка, против обыкновения, тоже не пела.

А если не пела девушка, не щебетали и птич-

ки.

Почти всегда радостная утренняя песня Хохотушки как бы вызывала к жизни и песни канареек: они, более ленивые от природы, не покидали своего гнездышка в столь ранний час.

А уж тогда рождался задорный вызов, начиналось состязание звонких и ясных рулад, жемчужных и серебристых, — и не всегда птицам удавалось одерживать победу.

В тот день Хохотушка не пела... ибо впервые в жизни она испытывала неподдельное горе.

До сих пор зрелище нищеты в семействе Морелей часто трогало ее до слез, но такого рода картины чересчур привычны для людей из бедных сословий и потому они не слишком долго ранят душу.

Почти каждый день девушка помогала этим беднякам, насколько позволяли ей силы; она искренне вместе с ними оплакивала их горькую участь, но, возвращаясь к себе, она ощущала некоторое удовлетворение... Хотя ее не на шутку огорчала судьба этих бедолаг, она радовалась тому, что выказывает к ним глубокое участие.

И уже очень скоро природная веселость ее нрава вновь обретала над нею обычную власть... Отнюдь не из эгоизма, а только потому, что Хохо-

тушка сравнивала свою жизнь с жизнью соседей, она, возвращаясь из ужасного логова Морелей к себе в комнатку, чувствовала себя счастливой, и ее мимолетная грусть быстро рассеивалась.

Эта быстрая смена настроений не была сущностью ее натуры; в силу трогательной душевной деликатности гризетка почитала своим долгом принимать деятельное участие в судьбе людей, более несчастных, чем она, она нуждалась в этом для того, чтобы без угрызений совести наслаждаться своим мирным существованием, без сомнения, весьма ненадежным, которым она была, кстати, всецело обязана постоянному труду; надо заметить, что ее собственная жизнь — по сравнению с ужасающей нуждою семейства гранильщика алмазов — казалась Хохотушке почти роскошной. — «Для того чтобы распевать песни, не испытывая при этом угрызений совести, ибо рядом с тобой живут люди, достойные всяческой жалости, — простодушно говорила гризетка, — надо проявлять к ним все то милосердие, на какое ты способна».

Прежде чем рассказать читателю о причинах первого горя Хохотушки, мы хотим сразу же успокоить его и полностью убедить в добродетельности этой юной девушки.

Нам, увы, приходится здесь употребить слово «добродетель», слово важное, помпезное и торжественное, слово, которое почти всегда рождает представление о тяжких жертвах, о мучительной борьбе со страстями, о суровых размышлениях, о конечном смысле дел земных.

Но добродетельность Хохотушки была совсем иного рода.

Ей не приходилось ни с чем бороться и ни о чем размышлять.

Она просто прилежно работала, смеялась и пела.

Ее благоразумие, как она сама откровенно признавалась Родольфу, зависело прежде всего от... отсутствия свободного времени... Ей просто некогда было предаваться любви.

Всегда веселая, трудолюбивая, склонная к порядку во всем, она обнаружила, что порядок, труд и веселый нрав, даже помимо воли, защищали, поддерживали и спасали ее.

Быть может, эти нравственные устои сочтут слишком легковесными, слишком доступными и слишком незамысловатыми; но дело в общем-то не в причине, важен конечный результат.

Разве так уж важно, как расположены корни растения, если на нем распускаются чистые, яр-

кие и благоуханные цветы?..

В связи с нашими пока еще утопическими надеждами на то, что общество станет подбадривать, поддерживать и вознаграждать тех работников, которые выделяются среди других своими социальными достоинствами, мы уже говорили о том, что необходимо «опекать» добродетель: об этом, как и о многом другом, уже задумывался император Наполеон.

Предположим, что эта мысль, благодетельная мысль великого человека, воплотилась в жизнь!..

И один из настоящих филантропов, коим император поручил отыскивать добродетель, обнаружил бы Хохотушку.

Предоставленная самой себе, лишенная благих советов и поддержки, подверженная всем тем опасностям, которыми чревата бедность, всем соблазнам, на которые так падки юные и красивые девушки, эта прелестная гризетка осталась чистой и целомудренной; да, честная, наполненная усердным трудом ее жизнь могла бы служить примером и назиданием для других.

Разве эта девушка, почти ребенок, не заслуживала бы — нет, не награды, не вспомоществования, — но хотя бы нескольких ласковых слов

одобрения и похвалы, слов, которые укрепили бы в ней чувство собственного достоинства, подняли бы ее в собственных глазах и побудили бы ее вести себя так же добродетельно и в будущем?

Ибо тогда она знала бы, что за ней наблюдают, что внимательный и заботливый взор сулит ей покровительство на трудной стезе, по которой она шествует с таким мужеством и ясностью духа!

Ибо тогда она знала бы: если вдруг наступит такой день, когда у нее не будет работы или недуг будет угрожать ее скромному, полному забот существованию, ее жизни, которая всецело зависит от усердного труда и требует здоровья, то небольшая помощь — а ведь она заслужила ее своими достоинствами — поддержит ее в тяжелую пору.

Без всякого сомнения, раздадутся возгласы о том, что попечительство такого рода, коим следовало бы одарить людей, особенно достойных сочувствия вследствие их безупречного поведения, невозможно осуществить.

Однако нам кажется, что общество уже решило сходную задачу.

Разве уже не создана полиция нравов для наблюдения за жизнью и поведением людей, — с целью, впрочем, весьма похвальной, — кото-

рая должна следить за поведением субъектов, опасных для общества в силу совершенных ими прежде дурных поступков?

Так отчего бы обществу не учредить также наблюдение и за высоконравственным поведением людей добродетельных?

А теперь покинем область утопий и возвратимся к причинам, вызвавшим первое горе Хохотушки.

Если не считать Жермена, простодушного и серьезного молодого человека, то другие соседи нашей гризетки поначалу сочли присущие ей от природы дружелюбие и приветливость, то, что она охотно оказывала различные небольшие услуги, попыткой привлечь к себе внимание; но довольно скоро эти господа были вынуждены — с удивлением и досадой — понять, что они могут обрести в лице Хохотушки любезную и веселую спутницу для воскресных прогулок, услужливую и милую соседку, но отнюдь не любовницу.

Их удивление и досада, на первых порах весьма ощутимые, мало-помалу уступили место восхищению перед открытым и обаятельным нравом гризетки. Затем, как она сама совершенно справедливо сказала Родольфу, ее соседи стали уже гордиться тем, что могут по воскресеньям от-

правляться на прогулку, ведя под руку красивую девушку, которая была к ним очень внимательна (Хохотушку не слишком заботили правила хорошего тона) и не стоила им почти ничего: она лишь участвовала в их скромных развлечениях, чья ценность благодаря ее присутствию и веселости возрастала.

К тому же эта славная девушка так легко довольствовалась малым!.. В дни безденежья она вместо обеда с веселой улыбкой уплетала горячую лепешку, вгрызаясь в нее своими белоснежными зубками, так что любо было смотреть! После чего с удовольствием прогуливалась по бульварам или просто по людным улицам в обществе своих кавалеров.

Если наши читатели прониклись хотя бы некоторой симпатией к Хохотушке, они согласится с тем, что только очень уж глупый или совершенно неотесанный человек мог отказаться от таких незамысловатых воскресных развлечений со столь приятной спутницей, которая к тому же, не имея никаких прав на ревность, отнюдь не препятствовала своим кавалерам отдыхать от ее строгости, утешаясь с менее суровыми красотками!

Один только Франсуа Жермен никогда не питал

надежд на более короткие отношения с молодой девушкой; душевная чистота и врожденная деликатность позволили ему с первого же дня знакомства с нею понять, какую прелесть может таить в себе та своеобразная дружба, которую предложила она ему.

Однако то, что должно было непременно случиться, случилось: Жермен без памяти влюбился в свою соседку, но так и не решился хотя бы словом обмолвиться о своей любви.

Он не был склонен подражать своим «предшественникам», которые, окончательно поняв тщету своих поползновений, утешились, подыскав себе других близких подружек и сохранив при этом доброе согласие со своей строгой соседкой. Поэтому Жермен наслаждался целомудренной близостью с прелестной девушкой: он проводил возле неё не только воскресные дни, но и все свободные вечера. И в эти долгие часы Хохотушка неизменно бывала весела и чуть шаловлива, а Жермен оставался нежным, предупредительным, но серьезным, а часто даже немного грустным.

Грусть эта была его единственным недостатком, по мнению Хохотушки; с врожденным благородством его манер не шли ни в какое сравнение смехотворные притязания коммивояжера,

г-на Жиродо, или безумные выходки художника Кабриона; однако Жиродо в силу своего неиссякаемого красноречия и Кабрион в силу своей столь же неиссякаемой веселости одерживали верх над Жерменом, чья нежная серьезность не слишком нравилась его соседке.

Вот почему Хохотушка до сих пор не отдавала явного предпочтения ни одному из трех своих поклонников. Но она не была лишена здравого смысла и понимала, что один только Жермен обладает необходимыми качествами для того, чтобы составить счастье рассудительной женщины.

Изложив все это, мы расскажем теперь читателю, почему Хохотушка была так печальна и почему ни она сама, ни ее канарейки в тот день не пели.

Свежее и круглое личико девушки слегка побледнело; большие черные глаза, обычно веселые и блестящие, чуть потускнели и подернулись грустью; черты лица выдавали непривычную для нее усталость. Дело в том, что Хохотушка провела за работой часть ночи.

Время от времени она печально поглядывала на распечатанное письмо, лежавшее возле нее на столе; письмо это прислал ей Жермен, и вот что в

нем можно было прочесть:

«Тюрьма Консьержери.

Мадемуазель!

Уже само то место, откуда я вам пишу, скажет вам о размерах моего несчастья. Меня посадили в тюрьму как вора... Я виновен в глазах всех окружавших меня людей, и тем не менее я отваживаюсь вам писать!

Мне было бы невыносимо тяжело думать, что вы тоже станете считать меня человеком опустившимся и преступным. Умоляю вас, не осуждайте меня, пока не прочтете это письмо... Если и вы меня оттолкнете... этот последний удар окончательно сразит меня.

Вот что со мною произошло.

С некоторых пор, как вы знаете, я уже не жил на улице Тампль; но от бедняжки Луизы я знал, что семейство Морелей, чьей судьбе мы оба — и вы и я — так сочувствовали, нуждалось все больше и больше. Увы! Моя жалость к этим обездоленным и погубила меня! Я ни в чем не раскаиваюсь, но мой жребий так жесток!..

Вчера вечером я допоздна засиделся в нотариальной конторе г-на Феррана: я был занят срочной работой. В той комнате, где я трудился, стоит письменный стол, мой хозяин запирает

туда каждый вечер счета, которые я привожу в порядок. Вчера он был как будто чем-то встревожен и возбужден; он сказал мне: «Не уходите до тех пор, пока не закончите работу над всеми этими счетами, а потом положите их в письменный стол, ключ я вам оставлю». С этими словами он вышел и отправился к себе.

Сделав все, что было нужно, я отпер ящик стола, чтобы сложить туда бумаги; машинально глаза мои остановились на распечатанном письме, лежавшем там, и я увидел в нем имя гранильщика алмазов Мореля.

Признаюсь, поняв, что речь идет об этом бедолаге, я допустил нескромность и прочел письмо; из него я узнал, что на следующий день этого труженика арестуют по требованию г-на Феррана, который предъявил ко взысканию вексель Мореля на сумму в тысячу триста франков; прикрываясь чужим именем, нотариус решил упрятать несчастного в тюрьму.

Письмо было от ходатая по делам моего патрона. Я слишком хорошо знаю, как обстоят дела в семье Мореля, и мне было понятно, каким страшным ударом будет арест главы семейства для его близких: ведь он их единственный кормилец!.. Я был и огорчен и возмущен. На свою беду, я уви-

дел в том же ящике стола раскрытую шкатулку, в ней лежали две тысячи франков золотом... В эту самую минуту я услыхал, что по лестнице поднимается Луиза; не задумываясь над серьезными последствиями моего поступка, я решил воспользоваться благоприятным случаем и взял из шкатулки тысячу триста франков... Остановив Луизу, я сунул ей в руку эти деньги и сказал: «Завтра рано утром вашего отца должны арестовать за неуплату в срок тысячи трехсот франков, возьмите их и спасите отца, но никому не говорите, что деньги вы получили от меня... Ведь господин Ферран дурной и злобный человек!..»

Вы сами видите, мадемуазель, что побуждения у меня были самые добрые, однако поступок мой был преступным: я ничего от вас не скрываю... А теперь вот что я могу сказать в свое оправдание.

Уже давно — благодаря бережливости — я скопил и поместил у одного банкира скромную сумму в полторы тысячи франков. Неделю тому назад он сообщил мне, что срок хранения этих денег подошел к концу и что, если я не хочу дольше держать свои сбережения у него, я могу получить их в любое, время.

Стало быть, я располагал большей суммой, чем та, которую я взял из шкатулки нотариуса.

Я хотел на следующее утро получить в банке свои полторы тысячи франков; однако кассир приходит в банк только в полдень, а Мореля собирались взять под стражу на рассвете. Вот почему мне надо было дать ему возможность уплатить по векселю с самого утра; правда, я мог бы вызволить его из тюрьмы днем, но все равно его бы до этого арестовали и увели из дому на глазах у жены, а для нее такой удар мог бы оказаться губительным. Больше того, гранильщику пришлось бы заплатить немалую сумму — за судебные издержки, связанные с его арестом и освобождением. Вы, конечно, понимаете, что всех этих бед не произошло бы, если бы я взял из шкатулки тысячу триста франков, а я ведь надеялся, что смогу положить их назад утром — еще до того, как г-н Ферран появится в своей конторе и что-либо обнаружит. К несчастью, я ошибся.

Я вышел из конторы нотариуса, уже немного остыв от гнева, который вместе с чувством жалости побудил меня действовать. Теперь я понимал всю опасность своего положения, тревога терзала меня: я ведь хорошо знал суровый нрав нотариуса, а он ведь мог после моего ухода возвратиться в контору, отпереть ящик стола и обнаружить пропажу; а в его глазах, да и в глазах всех людей,

то была кража.

Эти мысли мучили меня, и, хотя был уже поздний вечер, я поспешил к банкиру, надеясь упросить его тотчас же выдать мне мои деньги: я бы нашел убедительные доводы для столь необычной просьбы; затем я вернулся бы в контору г-на Феррана и положил бы в шкатулку взятую мной сумму.

Однако по злосчастному стечению обстоятельств банкир еще два дня тому назад уехал в Бельвиль, где у него был загородный дом: он разбивал там сад. Со все возрастающей тревогой я дождался рассвета и помчался в Бельвиль. Но все складывалось неудачно, все было против меня: банкир только что уже уехал в Париж; я поспешил к нему — и вот наконец деньги у меня в руках! Я кинулся в контору г-на Феррана, но все уже обнаружилось.

Но все это — только часть моих невзгод. Дело в том, что теперь нотариус обвиняет меня в том, будто я украл у него еще и полторы тысячи франков кредитными билетами, они, по его словам, лежали в том же ящике письменного стола, где и две тысячи франков золотом. Это гнусное обвинение, это низкая ложь! Я признаю себя виновным в первом хищении; но клянусь вам всем самым

святым на свете, что ни в какой другой краже я неповинен. Никаких кредитных билетов я и в глаза не видал; в ящике лежали только две тысячи франков золотом, из них-то я и взял тысячу триста франков, которые утром принес обратно в контору.

Такова истина, мадемуазель; надо мной тяготеет тяжкое обвинение, и все же я уверен, что вы меня достаточно хорошо знаете и поймете, что я не способен лгать... Однако верите ли вы мне? Увы! Как сказал г-н Ферран, тот, кто украл небольшую сумму, способен украсть и сумму более значительную, и такой человек не заслуживает доверия.

Мадемуазель, я всегда видел, как вы добры и как глубоко вы сочувствуете несчастным; я знаю, как вы честны и прямодушны, и я надеюсь, что ваше сердце, что ваша душа помогут вам постичь правду. Ни о чем больше я не прошу... Только отнеситесь с доверием к моим словам, и вы поймете, что я равно заслуживаю и порицания и жалости, ибо, повторяю, намерения у меня были самые благие, но меня погубило ужасное стечение обстоятельств, предвидеть которое было невозможно.

Ах, мадемуазель! До чего я несчастен! Если б

вы только знали, среди каких людей я вынужден находиться до того дня, когда меня будут судить!

Вчера меня привезли в так называемый дом предварительного заключения при префектуре полиции. Я не в силах передать вам, что я почувствовал, когда, поднявшись по лестнице, очутился перед какой-то дверью с железным оконцем; меня втолкнули в камеру и дверь тотчас же снова заперли на ключ.

Я был до того взволнован, что сначала ничего не мог разглядеть. Теплый тошнотворный воздух пахнул мне в лицо; -потом до моего слуха донесся гул голосов, он перемежался взрывами зловещего хохота, яростной бранью и грубыми песенками; я неподвижно стоял у двери, уставившись в каменные плитки пола, не решаясь ни поднять глаза, ни шагнуть вперед: мне казалось, что все внимательно изучают меня.

На самом же деле никто на меня и внимания не обращал: одним узником больше или меньше — этих людей мало заботит. Наконец я отважился поднять голову. Господи боже! Какие отвратительные физиономии! Все заключенные были в рваной одежде, в каких-то грязных лохмотьях. Все они казались воплощением нищеты и порока. Их там было человек сорок или пятьдесят, одни

сидели, другие стояли, а иные лежали на грубых скамьях, вделанных в стены; здесь находились бродяги, воры, убийцы — словом, все те, кто был взят под стражу накануне днем или ночью.

Когда они все же заметили меня, я испытал горькое утешение, поняв, что они не считают меня одним из «своих». Кое-кто молча уставился на меня с нахальной усмешкой; потом они зашептались на каком-то непонятном мне языке. А немного погодя самые развязные подошли ближе, принялись хлопать меня по плечу и требовать денег, чтобы отметить, как они говорили, мое прибытие.

Я протянул им несколько монет, надеясь купить себе этим спокойствие; но этих денег им показалось мало, и они потребовали еще; я ответил отказом. Тогда несколько человек окружили меня, осыпая бранью и угрозами; они уже собирались наброситься на меня, но, по счастью, в камеру вошел привлеченный шумом надзиратель. Я пожаловался ему; он потребовал, чтобы мне возвратили деньги, которые я перед тем был вынужден отдать, и сказал, что если я хочу, то за небольшую плату меня переведут в одиночную камеру в другом отделении тюрьмы. Разумеется, я с благодарностью согласился и расстался на-

конец со всеми этими злодеями; на прощание они пригрозили мне, что впоследствии со мной рассчитаются: мы непременно, говорили они, еще свидимся, и уж тогда меня уложат на месте.

Надзиратель отвел меня в одиночную камеру, где я провел оставшуюся часть ночи.

Оттуда я и пишу вам, мадемуазель. Тотчас же после допроса меня перевезут в другую тюрьму, она называется Форс, и боюсь, что я опять встречусь там с некоторыми из тех людей, что находились со мной в доме предварительного заключения.

Надзиратель, тронутый моим горем и моими слезами, обещал переслать вам это письмо, хотя такого рода поблажки строго-настрого запрещены.

Я жду от вас, мадемуазель, последней услуги во имя нашей старой дружбы, если только вы теперь не стыдитесь наших былых дружеских отношений.

Надеюсь, что вы соблаговолите выполнить мою просьбу, и потому подробно изложу ее.

Вместе с этим письмом вам передадут маленький ключ и короткую записку для привратника того дома, где я жил, — это дом номер одиннадцать на бульваре Сен-Дени. В ней я сообщаю

ему, что вы можете распоряжаться всем, что мне принадлежит, и прошу его выполнять все ваши просьбы и распоряжения. Он проводит вас в мою комнату. Будьте так добры и отоприте мой секретер ключиком, который я вам посылаю; вы увидите там большой конверт, в нем лежат разные бумаги и письма, я прошу сохранить их для меня; одно из этих писем адресовано вам, вы увидите это по надписи на конверте. Другие бумаги также имеют к вам отношение, они написаны в более счастливую пору моей жизни. Не сердитесь, я не думал, что вам придется с ними познакомиться. Прошу вас также взять ту небольшую сумму денег, что лежит в секретере, равно как и атласный мешочек, в котором хранится косынка из оранжевого шелка — она была на вас в одну из последних наших воскресных прогулок, и вы подарили мне ее на память в тот день, когда я уехал из дома на улице Тампль.

Я хотел бы также, чтобы — за исключением нескольких пар белья, которые вы, надеюсь, перешлете мне в тюрьму Форс, — вы поручили продать мебель, а также принадлежащие мне носильные вещи: оправдают ли меня или осудят, я так или иначе буду опозорен и мне придется покинуть Париж. Куда я направлюсь? Какими

средствами буду располагать? Один бог знает.

Госпожа Бувар, которая уже продавала некоторые мои вещи, а кое-что из них и сама покупала, быть может, всем этим займется; она женщина честная, и, если она согласится, это избавит вас от множества лишних хлопот, а я — то уж знаю, как для вас дорого время.

Я уплатил за комнату вперед и потому прошу вас вручить только небольшую сумму привратнику.

Простите, мадемуазель, что я обременяю вас всеми этими поручениями, но вы единственный человек на свете, к которому я могу и решаюсь обратиться.

Я бы мог попросить об этой услуге одного из клерков г-на Феррана, с которыми я достаточно хорошо знаком; но я боюсь их нескромности: как я уже сказал, некоторые из моих бумаг и писем касаются вас; другие имеют отношение к печальным событиям моей собственной жизни.

Ах! Поверьте, мадемуазель, если вы исполните мои просьбы и тем самым подтвердите свою былую дружескую привязанность ко мне, это послужит единственным утешением в том огромном несчастье, которое так угнетает меня; несмотря ни на что, я уповаю: вы не ответите

мне отказом.

Я прошу у вас также позволения хотя бы изредка писать вам... Для меня так важно, так дорого иметь право изливать душу и поверять свое тяжкое горе вам, чье сердце было благосклонно ко мне!

Увы! Ведь я так одинок, я один в целом свете, и никому нет дела до меня. Одиночество уже давно тяготило меня, ну а теперь — вы и сами понимаете!..

И все-таки я человек честный... Совесть моя чиста, я никогда никому не причинял вреда, я всегда — даже с риском для жизни — выказывал отвращение ко всему дурному... Вы сами в этом убедитесь, прочтя бумаги, которые я прошу вас сохранить для меня... Но кто поверит моим словам? Г-на Феррана все уважают, он уже давно пользуется репутацией человека редкой порядочности, у него есть все основания обвинять меня... И он меня уничтожит... Я заранее покоряюсь своей участи.

И еще одно, мадемуазель: если вы мне верите, то, надеюсь, не будете испытывать ко мне презрение, вы станете жалеть меня и хотя бы изредка вспоминать о своем друге, искреннем друге. И тогда, если вам станет жаль меня, очень

жаль... быть может, вы окажетесь столь великодушны и когда-нибудь придете повидать меня... в воскресенье (господи, сколько сладостных воспоминаний будит во мне это слово!). Да, быть может, вы придете как-нибудь в воскресенье в тюрьму и решитесь войти в залу для свиданий... Но нет, свидеться с вами в таком месте... нет, я на это никогда не отважусь... Впрочем, вы ведь так добры... что...

Я вынужден прервать свое письмо и отослать его вам вместе с ключом и запиской для привратника, я ее сейчас спешно набросаю. Надзиратель сказал, что меня скоро поведут на допрос к следователю... Прощайте, прощайте, мадемуазель... не отталкивайте меня. Ведь я надеюсь только на вас, на вас одну!

Франсуа Жермен.

P. S. Если вы надумаете мне ответить, адресуйте ваше письмо в тюрьму Форс».

Теперь читателю понятна причина первого горя Хохотушки. Добрая девушка была до глубины души потрясена невзгодами Жермена, о которых она до сих пор даже не подозревала. Она сразу же поверила в правдивость рассказа злосчастного сына Грамотея.

Чуждая мелочных правил морали, она даже

находила, что ее бывший сосед сильно преувеличивает свою вину. Для того чтобы спасти несчастного отца семейства, он взял без разрешения деньги, которые мог и хотел возвратить. В глазах гризетки этот поступок Жермена свидетельствовал о его великодушии.

В силу одного из тех противоречивых движений души, что так свойственны женщинам, особенно женщинам ее класса, эта юная девушка, которая прежде испытывала к Жермену, как и к другим своим соседям-мужчинам, всего лишь сердечное и дружеское расположение, вдруг почувствовала к нему нежность.

Как только она узнала, что он несчастен, несправедливо обвинен и брошен в тюрьму, мысль о нем вытеснила из ее памяти даже воспоминание о его прежних соперниках.

Нет, Хохотушка еще не испытывала любви к Жермену, речь шла скорее об искренней душевной привязанности, полной сострадания и преданности: то было совсем новое, не знакомое ей чувство, и оно еще больше усиливалось из-за неотделимой от него горечи.

Таково было душевное состояние Хохотушки, когда Родольф осторожно постучал в дверь и затем вошел к ней в комнату.

Глава XIV.
ДРУЖБА

Добрый день, соседка, — сказал Родольф, — надеюсь, я вам не помешал?

— Нет, что вы, сосед. Напротив, я рада вас видеть, ведь у меня большое горе.

— В самом деле, я вижу, что вы бледны и, кажется, даже плакали.

— Мало сказать, плакала!.. И есть из-за чего! Бедный Жермен! Вот, лучше прочтите сами. — И Хохотушка протянула Родольфу письмо злополучного узника. — У меня просто сердце разрывается! Вы мне как-то говорили, что Жермен вам не безразличен... Так вот, теперь самое время доказать это, — прибавила девушка, пока Родольф внимательно читал письмо. — Знаете, этот мерзкий господин Ферран исходит злобой и с ожесточением набрасывается на всех, кто его окружает. Сперва он накинулся на Луизу, а теперь изливает свою злость на Жермена. О, я от природы вовсе не злая, но если бы с ним, с этим нотариусом, стряслась беда, я, признаюсь, очень обрадовалась бы. Обвинить такого честного и

порядочного юношу в том, будто он украл полторы тысячи франков! Жермен украл?! Да ведь он же — сама честность!.. А потом, он такой аккуратный, такой добрый, он даже мухи ни обидит и всегда такой грустный... Господи, мне так его жаль: ведь он сейчас в тюрьме, среди злодеев! Ах, господин Родольф! С сегодняшнего дня я знаю, что на жизнь не всегда можно смотреть сквозь розовые очки!

— А что вы намерены делать, соседка?

— Что я намерена делать?.. Хочу выполнить все, о чем меня просит Жермен, и как можно скорее... Я бы уже давно ушла из дома, если бы не срочный заказ, я должна его закончить и тотчас же отвезти на улицу Сент-Оноре, а оттуда я пойду туда, где жил Жермен, отопру его комнату и разыщу бумаги, о которых он пишет. Я даже проработала часть ночи, чтобы выиграть таким способом несколько часов. И ведь мне надо еще столько успеть, кроме этого заказа, надо еще многое привести в порядок, со многим управиться. Прежде всего, госпожа Морель просит, чтобы я навестила в тюрьме Луизу. Должно быть, этого не так просто добиться, но я уж как-нибудь расстараюсь... На беду, я даже не знаю, к кому обращаться...

— Я уже об этом подумал...

— Вы, сосед?

— Вот разрешение, держите.

— Какое счастье! А вы не можете исхлопотать мне такое же разрешение на свидание с бедным Жерменом?.. То-то бы он обрадовался!

— Вы получите возможность повидаться и с ним.

— О, большое спасибо, господин Родольф!

— И вам не страшно будет пойти в тюрьму?

— Ну, конечно, в первый раз сердце у меня будет бешено колотиться... Но какое это имеет значение. Ведь когда у Жер-мена все было хорошо, разве не старался он всегда предупреждать и выполнять все мои желания, разве не водил он меня и в театр и на прогулки, разве не читал мне по вечерам книжки, разве не сколачивал ящики для цветов, не натирал воском пол в моей комнате? Ну а теперь, когда он попал в беду, настала моя очередь. Правда, я человек маленький, я мало что могу сделать, но зато все, что смогу, непременно сделаю, он уж может на меня положиться; теперь-то он убедится, настоящий я друг или нет. Послушайте, господин Родольф, одно только меня огорчает — его недоверчивость. Подумать только; он решил, что я способна презирать его! Это я — то? Я вас спрашиваю: а почему, за что?

Старый скряга, нотариус, обвинил его в краже, но мне-то какое дело!.. Ведь я хорошо знаю, что это ложь! Письмо Жермена мне все объяснило, он ни в чем не виноват. Это ясно как день, я ни за что не поверю, что он хоть капельку виновен! Да стоит только на него поглядеть, получше его узнать — и ты сразу же поймешь, что он ничего дурного не сделает. Только такой злобный человек, как господин Ферран, может облыжно обвинять Жермена!

— Браво, соседка! Мне по душе ваш гнев!

— Знаете, мне бы так хотелось быть мужчиной, я пошла бы тогда к этому мерзкому нотариусу и сказала ему: «Ах, так! Вы утверждаете, будто Жермен вас обокрал? Тогда получайте то, что вам причитается, старый лгун! Уж этого у вас никто вовек не отберет! И — трах! Трах! Трах!» Я хорошенько поколотила бы его.

— Вижу, вы скоры на суд и на расправу, — проговорил Родольф с улыбкой, видя благородное волнение Хохотушки.

— Но ведь все это возмущает меня до глубины души. И, как говорит в своем письме Жермен, все будут на стороне его патрона, все будут против бедного юноши, потому что нотариус богат, его все уважают, а Жермен — всего лишь бедный ма-

лый, нет у него ни покровителей, ни заступников, вот разве только вы придете к нему на помощь, господин Родольф, вы ведь знакомы с важными господами, а они помогают несчастным. Нельзя ли что-нибудь сделать для Жермена?

— Надо, чтобы он дождался суда. А после того, как его, надеюсь, полностью оправдают, уверяю вас, он убедится, что многим его судьба вовсе не безразлична. Только вот что, соседка, я уже по опыту знаю: на вашу скромность можно положиться...

— О да, господин Родольф, я никогда не была болтлива.

— Вот и прекрасно! Нужно, чтобы никто не знал — и сам Жермен тоже, — что у него есть надежные друзья... и они его в беде не оставят...

— Правда? Но если б он знал, сколько бы мужества ему это прибавило!

— Без сомнения. Но он, чего доброго, не сможет об этом умолчать. А тогда господин Ферран, перепугавшись, будет начеку, его подозрительность возрастет, а так как он человек весьма изворотливый, его трудно будет уличить, а уж это было бы куда как досадно! Ведь нужно не только доказать невиновность Жермена, но и сорвать личину с оклеветавшего его человека.

— Я все понимаю, господин Родольф.

— Такое же положение и у Луизы; я и принес вам разрешение повидаться с нею для того, чтобы вы попросили ее никому не говорить о том, в чем она мне открылась; она знает, о чем речь.

— Можете не сомневаться, я все ей скажу, господин Родольф.

— Одним словом, Луиза не должна никому жаловаться в тюрьме на ненависть хозяина к ней, это очень важно. Но от адвоката, который придет к ней от моего имени, чтобы условиться о том, как он будет ее защищать, ей ничего скрывать не следует. Смотрите же, в точности передайте ей мои советы.

— Будьте спокойны, сосед, я ничего не забуду, память у меня, как говорится, добрая. Но что это я толкую о доброте! Это вы — сама доброта и само великодушие! Как только кто-нибудь окажется в беде, вы уже тут как тут.

— Я уже сказал вам, соседка, что сам я всего-навсего скромный коммивояжер; но когда я где-нибудь встречаю честных и порядочных людей, которые заслуживают покровительства, я рассказываю о них важной и милосердной особе: человек этот полностью мне доверяет, и он приходит к ним на помощь. Вот и весь секрет.

— А где вы теперь сами живете, после того как уступили свою комнату семейству Морелей?

— Я поселился... в меблированных комнатах.

— О, мне бы это было не по душе! Жить там, где до тебя уже кто-то жил, — это все равно, как если бы кто-нибудь посторонний все время жил вместе с тобою.

— Ну, я ведь там только ночую, так что...

— Согласна, это уже не так противно. И все-таки, господин Родольф, это не для меня. Моя комнатка доставляет мне столько радости! Я жила в ней тихо и скромно, но зато спокойно и никогда не думала, что на меня может свалиться такое горе. И вот, пожалуйста... Нет, я даже передать вам не могу, какой удар нанесла мне беда, случившаяся с Жерменом. Правда, я и раньше видела, в какой нужде живут Морели, да и другие тоже, достойные жалости; но в конце концов нищета — это нищета, она всем беднякам грозит, ее ждут, и потому она никого не застанет врасплох, и каждый помогает соседу, как может. Нынче в нужде — один, завтра — другой. По-моему, если сохранять бодрость духа и веселый нрав, всегда выйдешь из трудного положения. Но когда видишь, как бедного малого, доброго и порядочного человека, вашего давнего друга, сажают в тюрьму вместе со

злодеями, обвинив его в краже!.. Ах, конечно же, господин Родольф, по правде говоря, тогда у тебя руки опускаются, мне и в голову не приходило, что такое горе возможно, и оно переворачивает всю душу.

При этих словах большие глаза Хохотушки наполнились слезами.

— Мужайтесь! Мужайтесь, соседка! Когда вашего друга оправдают, обычная веселость к вам вернется.

— Ох! Разумеется, его должны оправдать. Достаточно будет судьям прочесть письмо, которое он мне прислал, и они сразу все поймут, не правда ли, господин Родольф?

— Письмо Жермена и впрямь такое безыскусственное и трогательное, что в его правдивость сразу веришь; кстати, позвольте мне снять с него копию, она понадобится для успешной защиты Жермена.

— Конечно же, господин Родольф. Если бы я не писала как курица лапой, несмотря на все уроки, что мне давал славный Жермен, я бы сама переписала письмо для вас, но почерк у меня такой скверный, такой неразборчивый, а потом я столько ошибок делаю!..

— Я попрошу вас только доверить мне это пись-

мо до завтрашнего дня.

— Вот оно, любезный сосед, но вы будете очень осторожны, не правда ли? Я сожгла все любовные записочки, которые мне присылали господин Кабрион и господин Жиродо в первую пору нашего знакомства: они украшали свои письма пылающими сердцами и голубками, надеялись, что я клюну на их льстивые речи; но это бедное письмецо Жермена я непременно сохраню, и другие его письма тоже, если он будет мне писать. Ведь правда, господин Родольф, то, что он обращается ко мне с просьбой о небольших услугах, говорит в мою пользу?

— Разумеется, это доказывает, что вы — самая замечательная подруга, о какой можно только мечтать. Но вот я о чем подумал: зачем вам ехать одной на квартиру господина Жермена? Хотите, я составлю вам компанию?

— С огромным удовольствием, сосед. Ведь оглянуться не успеешь — и наступит ночь, а вечером я очень не люблю быть одна на улице; уж не говорю о том, что мне нужно еще отвезти платье в мастерскую возле Пале-Рояля. Боюсь только, забираться так далеко будет для вас утомительно, да вы, чего доброго, и соскучитесь.

— Вовсе нет... Мы наймем фиакр.

— Правда?! О, как было бы приятно прокатиться в карете, не будь у меня так горько на душе! А горе меня, должно быть, сильно гложет: ведь в первый раз с тех пор, как я тут живу, я за весь день ни разу не запела. И пташки мои ничего понять не могут. Бедняжки! Они-то ведь не знают, в чем дело; два или три раза папаша Пету уже начинал свою песню, чтобы побудить и меня запеть; я хотела было тоже запеть ему в ответ. Но куда там! Через минуту я уже расплакалась. Тогда и Рамонетта подала голосок, но я не в силах была ответить и ей.

— Какие странные имена вы придумали для ваших птиц: папа Пету и Рамонетта...

— Что верно, то верно, господин Родольф. Но ведь мои пташки скрашивают мое одиночество, они — мои лучшие друзья; а дала я им имена тех славных людей, которые скрашивали мне детство; они тоже были мне самыми лучшими друзьями; я уж не говорю о сходстве между ними и канарейками: ведь папа Пету и мама Рамонетта были всегда веселы и пели как божьи пташки.

— Ах да, теперь я припоминаю, ведь именно так звали ваших приемных родителей.

— Да, любезный сосед; я и сама понимаю, что называть так птиц смешно, но ведь это мое дело.

Кстати, как раз поэтому я убедилась, что у Жермена очень доброе сердце.

— Каким образом?

— Видите ли, господин Жиродо и господин Кабрион... особенно, Кабрион... постоянно подшучивали и насмехались над именами моих пташек; подумать только, говорили они: назвать кенара «папа Пету»! Господин Кабрион просто не слезал с этой темы, все время зубоскалил, без конца. Ну, будь это петух, толковал он, тогда, пожалуйста, в добрый час, можно было назвать его «Пету». И не смешно ли называть канарейку Рамонеттой: ведь это напоминает гордое испанское имя «Рамона»! В конце концов он до того меня разозлил, что я два воскресенья подряд отказывалась ходить с ним на прогулку, потому что решила его проучить; я ему твердо сказала, что, если он снова примется за свои шуточки, которые меня так огорчают, я никогда никуда с ним ходить не буду.

— Какое мужественное решение!

— Да, оно мне не легко далось. Знаете, господин Родольф, я всегда ждала воскресных дней, как всякая верующая ждет Спасителя. Ведь так тоскливо сидеть одной у себя в комнате, когда стоит хорошая погода! Но все равно: я решила,

что лучше пожертвовать воскресной прогулкой, чем опять выслушивать насмешки господина Кабриона над тем, что я глубоко почитаю. Спору нет, если бы не та причина, о какой я вам рассказала, я бы и сама предпочла назвать милых моих пташек по-иному... Знаете, мне так нравится одно имя — Колибри... Так вот, я отказалась от этого красивого имени, потому что никогда не стану звать моих птичек иначе, я буду звать их только папа Пету и Рамонетта! Иначе мне будет казаться, что я забываю моих славных и добрых родителей, что я от них отступаюсь, не правда ли, господин Родольф?

— Вы правы, вы совершенно правы. Ну а Жермен, он не потешался над этими именами?

— Напротив. Они только в первый раз показались ему странными, как и всем остальным; и это понятно. Но когда я привела ему свои резоны — кстати сказать, я приводила их и господину Кабриону, — у Жермена слезы выступили на глазах. И в тот самый день я сказала себе: «У господина Жермена очень доброе сердце. У него только один недостаток — он всегда такой грустный». И знаете, господин Родольф, на беду, я его этим укоряла. Но тогда-то я не понимала, как это можно все время грустить, зато теперь я это слишком хо-

рошо понимаю... Ну вот моя работа и закончена, сверток завязан, можно его нести. Не подадите ли вы мне мою шаль, сосед? Ведь на дворе еще не так холодно, чтобы надевать пальто.

— Мы поедем в экипаже; я довезу вас до места, а потом привезу обратно домой.

— Ах да, правда, так мы быстрее доедем и быстрее вернемся, много времени сбережем.

— Но вот я о чем подумал: если вы станете в тюрьмы ходить, это будет в ущерб вашей работе.

— А вот и нет, вовсе нет! Я уже все прикинула. Во-первых, есть же воскресенья, и я буду навещать Луизу и Жермена в воскресные дни, это заменит мне прогулки и развлечения; а потом на неделе я еще разок или два буду приходить к ним в тюрьму, на это у меня будет уходить по три часа, не так ли? Ну вот, чтобы управиться, я каждый день стану работать на час больше, буду ложиться не в одиннадцать вечера, а в полночь и сберегу тем самым часов семь, а то и восемь в неделю, их-то я употреблю на то, чтобы навестить Луизу и Жермена. Как видите, я гораздо богаче, чем кажется, — прибавила Хохотушка с улыбкой.

— А вы не боитесь, что будете слишком уставать?

— Подумаешь, привыкну! Ко всему привыкают.

А потом, ведь это не навек же.

— Вот ваша шаль, милая соседка. Сегодня я буду вести себя скромнее, чем вчера, и не стану прикладываться губами к вашей очаровательной шейке.

— Ах, сосед, одно дело вчера, отчего было не пошутить и не посмеяться! Но сегодня все совсем другое. Осторожно, не уколите меня.

— Смотрите-ка, булавка согнулась.

— Не беда! возьмите другую, там, в подушечке для булавок. Ах! Я совсем позабыла, не окажете ли вы мне еще одну услугу, сосед?

— Приказывайте, соседка.

— Пожалуйста, очините хорошенько мне перо, то, что побольше: воротившись домой, я напишу письмецо бедному Жермену, сообщу, что все его поручения выполнены. Он завтра рано утром получит от меня эту весточку, и настроение у него будет получше.

— А где у вас перья лежат?

— Вон там, на столе, а перочинный нож — в ящике. Погодите, я зажгу свечу, а то уже смеркается.

— Ну, для того, чтобы очинить перо, это не помеха.

— Все равно, мне надо получше завязать чеп-

чик. Хохотушка чиркнула серной спичкой и зажгла огарок,

воткнутый в начищенный до блеска подсвечник.

— Черт побери, у вас, я вижу, стеариновая свеча, соседка! Какая роскошь.

— Я так редко зажигаю ее, что она обходится мне не дороже сальной свечи, а копоти куда меньше.

— Стало быть, не дороже?

— Да нет же, господи! Я ведь покупаю огарки на вес, и полфунта хватает мне чуть ли не на год.

— Однако что-то я не вижу у вас никаких приготовлений к обеду, — заметил Родольф, старательно чинивший перо, пока гризетка, стоя перед зеркалом, старательно завязывала свой чепчик.

— А мне нисколько есть не хочется. Утром я выпила чашку молока с хлебом, вечером выпью другую, с меня и довольно.

— А вы не хотите без всяких церемоний пообедать со мною, после того как мы побываем в доме Жермена?

— Большое спасибо, сосед, но у меня так тяжко на душе... В другой раз я с удовольствием пообедаю с вами. Знаете что: накануне того дня, как

Жермену выйти из тюрьмы, я сама напрошусь на обед, а потом вы поведете меня в театр.

— Условились, соседка; поверьте, я не забуду о нашем уговоре. Но сегодня вы решительно отказываетесь?

— Да, господин Родольф, ведь я буду слишком унылой спутницей, не говоря уж о том, что обед отнял бы у нас слишком много времени. Подумайте сами... ведь именно сейчас мне никак нельзя попусту тратить время, у меня нет теперь и пятнадцати свободных минут.

— Ну что ж, в таком случае я отказываюсь от этого удовольствия... но только на сегодня.

— Возьмите мой сверток, сосед, и проходите вперед, я запру дверь.

— Вот вам отменное перо. А теперь давайте ваш сверток.

— Будьте осторожны, не помните его, ведь там тафта, а на ней остаются складки; держите сверток одной рукой и сильно не сжимайте. Вот так хорошо, идите же, я вам посвечу.

Родольф начал спускаться по лестнице, теперь уже Хохотушка шла впереди.

Проходя мимо швейцарской, они оба увидели г-на Пипле: он приближался к ним из глубины крытого прохода, руки у него бессильно висели

вдоль тела; в одной руке привратник держал вывеску, извещавшую прохожих о его тесной дружбе с Кабрионом, а в другой нес портрет окаянного художника.

Отчаяние Альфреда было столь беспросветно, что он шел, уронив голову на грудь, так что видна была только широкая тулья его цилиндра.

При виде привратника, который, понурившись, шел прямо на Родольфа и Хохотушку, можно было сказать, что он похож на барана или на бравого бретонского чемпиона по борьбе, готовящегося к схватке.

И тут на пороге швейцарской показалась Анастази; заметив мужа, она закричала:

— Ах ты, милый мой старичок, наконец-то ты дома! Что ж тебе сказал комиссар полиции? Альфред, Альфред! Будь повнимательнее, ты, того и гляди, врежешься в лучшего из моих жильцов и выколешь себе глаза! Извините, господин Родольф, этот негодяй Кабрион все сильнее и сильнее терзает моего Альфреда. Я уверена, кончится тем, что он сведет с ума бедного моего старичка!!! Альфред, да ответь же, наконец!

Услышав милый его сердцу голос, г-н Пипле вскинул голову: на его лице были написаны горечь и скорбь.

— Так что ж тебе сказал комиссар? — снова спросила Анастази.

— Анастази, нам придется собрать наши скромные пожитки, прижать к груди наших друзей, сложить чемоданы и покинуть Париж... Францию... мою прекрасную Францию! Потому что отныне, будучи уверен в своей безнаказанности, этот изверг станет преследовать меня везде и всюду... во всех департаментах королевства...

— Выходит, комиссар?!

— Комиссар! — завопил в яростном негодовании г-н Пипле. — Комиссар!.. Он рассмеялся мне прямо в лицо...

— Рассмеялся тебе прямо в лицо?.. Тебе, человеку, у которого такой внушительный вид, что, если не знать твоих достоинств и добродетелей, тебя можно принять за набитого дурака!!!

— Так вот: несмотря на то, что я самым почтительным образом изложил ему множество претензий и жалоб на этого окаянного Кабриона... этот муниципальный чиновник со смехом... да, со смехом... я даже осмеливаюсь сказать, с неприличным смехом поглядел на вывеску и на портрет, которые я принес как вещественные доказательства, и сказал мне в ответ: «Послушайте, милейший, ваш Кабрион престранный субъект,

шутник дурного тона; не обращайте же внимания на его глупые шутки. Я от души советую вам посмеяться над всем, что произошло, потому как тут есть над чем посмеяться!» — «Посмеяться над тем, что произошло, суддарь! — воскликнул я. — Вы мне советуете над всем этим посмеяться!..

Но ведь меня гложет горе... Этот проходимец отравляет мне жизнь... Он афиширует нашу мнимую дружбу, он меня с ума сведет... Я требую, чтобы его взяли под стражу, чтобы его выслали... хотя бы за пределы моего квартала...» — Тут комиссар улыбнулся и вежливенько указал мне на дверь... Я хорошо понял его жест, и вот я здесь.

— Никудышный, совсем никудышный чиновник!.. — взорвалась г-жа Пипле.

— Все кончено, Анастази... все кончено... надеяться нам больше не на что! Во Франции нет больше правосудия... меня самым безжалостным образом принесли в жертву!..

Закончив свою речь, г-н Пипле с остервенением швырнул вывеску и портрет Кабриона в глубь крытого прохода...

Родольф и Хохотушка, пользуясь темнотой, чуть заметно улыбнулись, видя столь бурное отчаяние г-на Пипле.

Анастази изо всех сил старалась успокоить

своего супруга, а лучший из ее жильцов, выразив в нескольких словах свое сочувствие привратнику, покинул дом на улице Тампль вместе с Хохотушкой; на улице оба уселись в фиакр, чтобы отправиться в дом, где жил Франсуа Жермен.

Глава XV.
ЗАВЕЩАНИЕ

Франсуа Жермен жил на бульваре Сен-Дени, в доме номер одиннадцать. Мы напоминаем читателю, который, без сомнения, об этом забыл, что г-жа Матье, промышлявшая бриллиантами — мы говорили о ней в связи с гранильщиком алмазов Морелем, — проживала в том же доме, что и Жермен.

Во время долгой поездки с улицы Тампль на улицу Сент-Оноре, где жила владелица портняжной мастерской, куда девушка хотела сперва отвезти готовый заказ, Родольф имел возможность еще лучше оценить прелестную натуру юной гризетки. Как и все добрые от природы и преданные своим ближним люди, Хохотушка не отдавала себе отчета в том, как деликатно и великодушно ее поведение, — она считала его совершенно естественным.

Родольфу было бы легко и просто щедро обеспечить настоящее и будущее Хохотушки, что позволило бы ей по велению сердца навещать и утешать в тюрьме Луизу и Жермена и не думать

о том, что ей предстоит тратить много времени, урывая его от своего упорного труда — единственного источника ее существования; однако принц опасался, что он этим уменьшит заслугу самоотверженной гризетки, сделав ее жертву слишком уж легкой; твердо решив вознаградить редкостные и чудесные достоинства, которые ему открылись в ней, Родольф не хотел раньше времени прекращать это новое и занимавшее его испытание.

Надо ли говорить, что, если бы здоровье юной девушки могло хоть в какой-то мере пошатнуться из-за чрезмерной работы, которую она мужественно взваливала на себя для того, чтобы еженедельно посвящать несколько часов дочери гранильщика и сыну Грамотея, Родольф немедленно пришел бы на помощь той, кому покровительствовал.

С глубоким и радостным волнением он изучал характер девушки, такой веселой от природы и еще не привыкшей к истинному горю: даже теперь мгновенные вспышки ее веселости порой прорывались наружу.

Приблизительно через час, когда они уже побывали на улице Сент-Оноре, фиакр остановился на бульваре Сен-Дени возле довольно неказистого

дома номер одиннадцать.

Родольф помог девушке выйти из экипажа; она заглянула к привратнику и передала записку Жермена, не забыв вручить этому стражу порядка предназначенное ему вознаграждение. Благодаря приветливости и любезному обхождению, сына Грамотея везде любили. Собрат г-на Пипле был сильно огорчен, узнав, что их дом лишается такого порядочного и вежливого жильца. Именно так он и выразился.

Вооружившись свечой, гризетка присоединилась к своему спутнику; привратник должен был подняться наверх несколько позже, чтобы выслушать последние распоряжения.

Комната Жермена находилась на пятом этаже. Подойдя к двери, Хохотушка сказала Родольфу, протягивая ему ключ:

— Возьмите, сосед... и отоприте, пожалуйста, дверь; у меня ужасно руки дрожат... Вы станете надо мной смеяться, но как подумаю о том, что бедный Жермен никогда сюда больше не вернется... мне чудится, что я вхожу в комнату покойника...

— Будьте благоразумны, соседка, выкиньте из головы такие мысли.

— Я, конечно, не права, но ничего с собой поде-

лать не могу!

Проговорив эти слова, девушка смахнула слезинку. Родольф не был так взволнован, как его спутница, но тем не менее и он испытывал тягостное чувство, входя в это скромное жилище.

Зная, каким гнусным преследованиям подвергали и, быть может, продолжают подвергать Жермена сообщники Грамотея, Родольф догадывался, сколько печальных вечеров провел злополучный юноша в своем одиноком убежище.

Девушка поставила свечу на стол.

Комната молодого человека была обставлена очень просто; в ней стояли кушетка, комод, секретер орехового дерева, стол и четыре стула с соломенными сиденьями; на окнах висели белые холщовые занавески, такими же занавесками был задернут и альков; единственным украшением комнаты можно было назвать стоявший на камине графин и — рядом с ним — стакан.

По измятой постели можно было догадаться, что Жермен, в ночь накануне ареста, видимо, отдыхал на ней прямо в одежде, и всего несколько минут.

— Бедный малый! — грустно сказала девушка, с интересом разглядывая обстановку комнаты. — Сразу видно, что он больше не жил по соседству

со мной... Тут все прибрано, но не чувствуется заботливой женской руки, везде полно пыли, занавеси продымлены, стекла в окнах тусклые, пол не навощен... Ах, как непохожа эта комната на ту, где он жил, на улице Тампль: та была, пожалуй, не лучше, но зато выглядела куда веселее, потому что там, как у меня самой, все блестело чистотою...

— Ну, это понятно: ведь вы были рядом и вовремя давали ему добрые советы.

— Да посмотрите же! — воскликнула девушка, показывая на смятую постель. — Он, должно быть, не ложился спать в ту последнюю ночь, так его терзала тревога. Гляньте-ка, а вот и забытый им носовой платок, он еще влажный от слез. Это сразу заметно...

Хохотушка взяла платок и прибавила:

— Жермен хранил косыночку из оранжевого шелка, которую я подарила ему на память, когда мы оба были счастливы; а я сохраню этот носовой платок в память о его невзгодах; уверена, что он на меня за это не рассердится.

— Напротив, он будет просто счастлив, ведь это же говорит о вашей привязанности к нему.

— Ну, а теперь пора подумать о вещах более серьезных: я быстро соберу узелок с бельем — оно,

должно быть, лежит в комоде — и отнесу к нему в тюрьму; мамаша Бувар — я приведу ее сюда завтра — позаботится об остальном... Но прежде всего я хочу отпереть секретер, надо ведь взять бумаги и деньги, которые Жермен просит меня сохранить.

— Я тоже об этом подумал, — проговорил Родольф. — Кстати, Луиза Морель вернула мне тысячу триста франков золотом, которые ей вручил Жермен, чтобы покрыть долг ее отца; но я уже раньше уплатил по векселю, эти деньги у меня с собой, и они принадлежат Жермену, так как он вернул эту сумму нотариусу; я хочу передать эти деньги вам, вы присоедините их к тем, которые он поручил вам хранить.

— Как вам будет угодно, господин Родольф; и все же я предпочла бы не иметь у себя дома такой крупной суммы: теперь столько воров развелось!.. Бумаги еще куда ни шло... за них бояться нечего, а вот деньги, держать их у себя просто опасно...

— Пожалуй, вы правы, соседка; хотите, я возьму на себя заботу обо всех этих деньгах? Если Жермену что-нибудь понадобится, вы мне только сообщите — я дам вам свой адрес, — и я немедленно пришлю вам такую сумму, какую он просит.

— Знаете, сосед, я не решалась попросить вас оказать мне именно эту услугу; так будет гораздо лучше, я отдам вам на хранение и те деньги, что выручу от продажи мебели а вещей. А теперь давайте поищем эти бумаги, — сказала молодая девушка, отпирая секретер и выдвигая несколько ящичков. — Ах, должно быть, вот они. Видите, большой конверт. Боже мой! Взгляните сами, господин Родольф, какая грустная на нем надпись.

И девушка прочла взволнованным голосом:

— «В том случае, если я умру насильственной смертью или по какой-нибудь иной причине, прошу того, кто отопрет секретер, отнести все эти бумаги в дом номер семнадцать по улице Тампль мадемуазель Хохотушке, модистке». Могу я распечатать конверт, господин Родольф?

— Разумеется, ведь Жермен написал вам, что среди бумаг, лежащих в конверте, есть и письмо, адресованное вам.

Девушка сломала сургучную печать; в большом конверте лежало несколько листков бумаги и писем, на одном из небольших конвертов была надпись: «Мадемуазель Хохотушке».

Вот что гризетка в нем прочла:

— «Мадемуазель, когда вы станете читать это письмо, меня уже не будет на свете... Если, как я

того опасаюсь, я умру насильственной смертью, попав в западню вроде той, какую я недавно избежал, некоторые сведения, собранные вместе в тетрадке, озаглавленной «Заметки о моей жизни», помогут напасть на след убийц».

— Ах, господин Родольф! — воскликнула девушка, переставая читать. — Теперь меня больше не удивляет, почему он всегда был такой грустный! Бедный Жермен! Его все время терзали такие ужасные мысли!

— Да, он, видимо, был всем этим сильно удручен; но, поверьте, самые мрачные для него дни уже миновали.

— Увы! Я так этого хочу, господин Родольф! Но ведь Жермен теперь в тюрьме..., и его обвиняют в воровстве.

— Будьте спокойны: как только его невиновность будет доказана, ему больше не придется жить в одиночестве, он найдет вокруг себя много друзей. Во-первых, это будете вы, а затем — его горячо любимая мать, с которой он был разлучен с самого детства.

— Его мать? А разве мать Жермена жива?

— Да... Она долго считала, что сын для нее навсегда потерян. Судите сами, как она будет рада, когда вновь свидится с ним, полностью

оправданным от гнусного обвинения, которое выдвинули против него! Вот почему у меня есть все основания сказать вам, что самые мрачные, самые горькие дни для Жермена уже позади. Но ничего не говорите ему о матери. Я доверил вам эту тайну потому, что вы так великодушно интересуетесь судьбой Жермена, и надо, чтобы к вашей преданности не примешивалось, по крайней мере, слишком сильное беспокойство за его будущее.

— Я вам так благодарна, господин Родольф! Будьте уверены: я свято сохраню эту тайну.

И она снова начала читать вслух письмо Жермена:

— «Если вы захотите, мадемуазель, бросить хотя бы беглый взгляд на эти заметки, вы увидите, что всю свою жизнь я был очень несчастен... за исключением лишь того времени, когда я жил рядом с вами... То, о чем я никогда бы не решился сказать вам, вы прочтете в тетрадке, которую я назвал: «Единственные дни, когда я был счастлив».

Почти каждый вечер, расставаясь с вами, я доверял бумаге утешавшие меня мысли, которые внушала мне ваша приязнь, и только они одни скрашивали мою горестную жизнь. То, что у вас

было лишь дружеским расположением, у меня было любовью. Я скрывал от вас эту мою любовь до той самой минуты, когда я становлюсь для вас только печальным воспоминанием. Мой жребий был так ужасен, что я никогда бы не заговорил с вами о своем чувстве: хотя оно глубоко и искренне, оно могло бы навлечь на вас беду.

Теперь мне остается высказать свое последнее желание, и я уповаю на то, что вы его исполните.

Я наблюдал, с каким достойным восхищения мужеством вы трудитесь и как много требуется благоразумия и умеренности, чтобы жить на скудный заработок, который стоит вам таких усилий; часто, ничего вам не говоря, я трепетал при одной мысли, что какой-нибудь недуг, вызванный непосильной работой, может поставить вас в ужасное положение, о чем я без дрожи и помыслить не мог. Мне очень радостно думать, что я могу, по крайней мере, избавить вас от грозящих вам невзгод и, быть может, даже... от нищеты, о чем вы по молодости и беззаботному нраву, к счастью, не задумываетесь».

— Что он хочет всем этим сказать, господин Родольф? — с удивлением спросила Хохотушка.

— Читайте дальше... сейчас мы поймем.

— «Я знаю, как скромно вы живете, и потому да-

же небольшая сумма послужит вам подспорьем в трудные времена; я человек совсем не богатый, но благодаря бережливости скопил на черный день полторы тысячи франков, поместив их у одного банкира: это все, чем я располагаю. В моем завещании, которое вы найдете в этом конверте, я осмеливаюсь отказать их вам; примите же этот дар от вашего друга, от вашего брата... которого больше нет в живых».

— Ах, господин Родольф! — воскликнула девушка, обливаясь слезами и протягивая принцу письмо Жермена. — Мне так больно от этих его слов. Добрый Жермен! Он еще заботится о моем будущем! Ах, господи! Какое же у него чуткое сердце, какая прекрасная душа!

— Да, он достойный и славный молодой человек! — подхватил с волнением Родольф. — Но успокойтесь, дитя мое: благодарение богу, Жермен не умер; а это заранее составленное им завещание зато помогло вам узнать, как сильно он вас любил и любит...

— Подумать только, господин Родольф, — продолжала Хохотушка, вытирая слезы, — а я — то об этом и не догадывалась! В начале нашего знакомства мои соседи — господин Жиродо и господин Кабрион — все время толковали о своей, как они

выражались, пламенной страсти; но, поняв, что это ни к чему не ведет, они мало-помалу перестали говорить мне о своих чувствах; а вот Жермен, напротив, никогда не говорил о своей любви. Когда я предложила ему мою дружбу, он охотно согласился, и с той поры мы жили как настоящие друзья, как добрые товарищи. Но знаете... теперь-то я могу вам чистосердечно признаться, господин Родольф, я ничего не имела бы против, если бы Жермен, как и другие, сказал бы, что он меня любит.

— И, по правде сказать, вас... немного удивляло, что он этого не говорил?

— Да, господин Родольф, я думала, все дело в том, что он постоянно грустит...

— И немного сердились на то, что он всегда такой грустный?

— Да, то был его единственный недостаток, — простодушно призналась гризетка, — но теперь-то я его прощаю... Теперь я даже сержусь на себя за то, что упрекала его в этом.

— Ну понятно: ведь вы теперь знаете, что, к несчастью, у него было много причин для печали, а потом... вы ведь сейчас уже понимаете, что, несмотря на его постоянную грусть... он вас по-настоящему любил, не так ли? — спросил Родольф,

улыбаясь.

— Это правда... когда тебя любит такой славный малый, ведь это очень лестно... не правда ли, господин Родольф?

— И в один прекрасный день вы, быть может, разделите его чувство.

— Конечно, все может статься, господин Родольф! Мне так жаль бедного Жермена. Я мысленно ставлю себя на его место... Если в ту минуту, когда бы я чувствовала себя всеми забытой и заброшенной, всеми презираемой, какой-нибудь настоящий друг выказал бы ко мне еще большую нежность, чем я ожидала, я была бы так счастлива! — Немного помолчав, девушка со вздохом прибавила: — Но, с другой стороны, мы ведь оба... люди бедные, и полюбить друг друга было бы, пожалуй, для нас неразумно. Знаете, господин Родольф, пока я не хочу об этом думать, возможно, я и обманываюсь в своем чувстве; но одно я скажу наверняка: до тех пор, пока Жермен останется в тюрьме, я буду делать для него все, что смогу. Ну, а когда он выйдет на волю, у нас будет достаточно времени понять, что я к нему испытываю: любовь или только дружбу; и если это любовь, ничего не поделаешь, сосед... стало быть, между нами будет любовь... Но сейчас мысль об этом

будет мне только мешать, я не буду знать, как себя вести... Однако уже темнеет, господин Родольф, соберите, пожалуйста, все бумаги, а я тем временем приготовлю для него немного белья. Ах, я и забыла про мешочек, где лежит оранжевая косыночка, которую я подарила Жермену. Он, должно быть, в ящике. Да, вот он! Поглядите, до чего красивый, с вышивкой! Бедный Жермен, он хранил мою косыночку, точно святыню какую! Я хорошо помню тот день, когда в последний раз ее надевала, а потом подарила ему... Он был до того рад, до того рад!..

В эту минуту в дверь постучали.

— Кто там? — спросил Родольф.

— Мне бы надо потолковать с мадамой Матье, — послышался в ответ высокий и хриплый голос, причем по произношению было понятно, что голос этот принадлежит простолюдину.

Как помнит читатель, г-жа Матье была посредницей ювелира.

Характерные интонации говорившего пробудили какие-то смутные воспоминания у Родольфа. Желая во всем этом разобраться, он взял со стола свечу и направился к двери. Отворив ее, он оказался нос к носу с одним из завсегдатаев кабака Людоедки, которого мгновенно узнал:

неизгладимая, роковая печать порока лежала на безбородой, почти юношеской физиономии пришедшего. То был Крючок.

Да, то был Крючок — мнимый кучер фиакра, который вез Грамотея и Сычиху по изрытой ухабами дороге в Букеваль, Крючок, убивший мужа злополучной молочницы, которая натравила на Певунью работников фермы в Арнувиле.

То ли негодяй позабыл черты лица Родольфа, которого он только раз мельком видел в кабаке Людоедки, или то обстоятельство, что Родольф был теперь одет по-другому, помешало Крючку узнать победителя Поножовщика, но он не выразил ни малейшего удивления, увидев его.

— Что вам угодно? — спросил Родольф.

— Да, тут вот письмо для мадамы Матье... Я должен передать ей в собственные руки, — ответил Крючок.

— Она тут не живет, ее квартира напротив.

— Спасибо, сударь, мне сказали, что ее дверь налево, стало быть, я ошибся.

Родольф не помнил имени посредницы, хотя о ней дважды упоминал при нем гранильщик Морель. Поэтому у него не было никакого резона заинтересоваться женщиной, к которой Крючок явился с письмом. Тем не менее, хотя принц ни-

чего не знал о преступлениях этого злодея, лицо проходимца выдавало столь порочный нрав, что Родольф остался на пороге, желая узнать, что это за особа, которой Крючок принес письмо.

Едва Крючок постучал в дверь, расположенную прямо напротив жилища Жермена, дверь эта приотворилась, и г-жа Матье, толстая бабища лет пятидесяти на вид, показалась в проеме со свечою в руках.

— Вы и есть мадама Матье? — спросил Крючок.

— Да, это я.

— Вам тут письмо, и нужен ответ...

С этими словами злодей шагнул было вперед, чтобы войти в квартиру; однако она жестом приказала ему остановиться, распечатала письмо, по-прежнему держа свечу в руке, прочла его и ответила с довольным видом:

— Передайте, что я согласна, милейший, приду и прихвачу с собой то, о чем просят. Буду в то же время, что и в прошлый раз. Передайте от меня привет... той даме...

— Ладно, сударыня... Не забудьте только, что мне полагаются чаевые...

— Ну, об этом попроси тех, кто тебя прислал, они побогаче меня.

И торговка захлопнула дверь.

Убедившись, что Крючок спускается по лестнице, Родольф вернулся в комнату Жермена.

Злоумышленник застал на бульваре человека с отвратительной и свирепой физиономией: тот ждал его у какой-то лавки.

Хотя прохожие могли услышать их разговор, правда, ничего в нем толком не поняв, Крючок был так доволен, что не удержался и сказал своему приятелю:

— Пойдем-ка тяпнем купоросу, Николя: хряпка влипла вглухую... она пришлендает к Сычихе, и тетка Марсиаль пособит нам выпотрошить из нее сиротские погремушки, а потом мы закинем жмурик в твою лайбу![97]

— Ну, в таком разе смываемся[98]: мне надо быть в Аньере пораньше; боюсь, что мой братец Марсиаль что-то пронюхал.

И оба злоумышленника, закончив свой разговор, непонятный тем, кто мог бы его услышать, пошли по направлению к улице Сен-Дени.

Несколько минут спустя Хохотушка и Родольф

---

[97] Notes: 97

Пойдем выпьем водочки, Николя; старуха угодила в смертельную западню... она придет к Сычихе, и тетка Марсиаль поможет нам отнять у нее драгоценные камни, а потом мы снесем труп в твою лодку.

[98] Notes: 98

Бежим.

вышли из дома, где жил Жермен, снова сели в фиакр и возвратились на улицу Тампль.

Фиакр остановился.

В тот самый миг, когда дверцы экипажа отворились, Родольф при свете масляной лампы, горевшей у ликерщика, увидел своего верного Мэрфа: тот ждал его у крытого прохода.

Появление эсквайра неизменно означало, что произошло нечто неожиданное и важное, ибо только он один всегда знал, где можно найти принца.

— Что случилось? — нетерпеливо спросил Родольф, пока Хохотушка собирала свертки, лежавшие в фиакре.

— Ужасная беда, ваше высочество!

— Ради бога, говори скорее, в чем дело?

— Маркиз д'Арвиль...

— Мэрф, ты пугаешь меня!

— Нынче утром он завтракал с друзьями... Все шло прекрасно... Он был весел, как никогда, и вдруг роковая неосторожность...

— Да кончай же... кончай!

— Он вертел в руках пистолет, не зная, что тот заряжен...

— Маркиз тяжело ранен?

— Ваше высочество...

— Ну, что же?..

— Произошло нечто ужасное.

— Что именно?

— Маркиз мертв!..

— Кто? Д'Арвиль?! Это и впрямь ужасно! — воскликнул Родольф таким душераздирающим голосом, что Хохотушка, выходившая из фиакра со свертками в руках, вскрикнула:

— Господи боже! Что с вами, господин Родольф?

— Я только что сообщил своему другу весьма печальную новость, — сказал Мэрф молодой девушке, ибо принц был так подавлен, что не мог произнести ни слова.

— Стало быть, случилась большая беда? — с тревогой спросила девушка.

— Да, очень большая беда, — подтвердил эсквайр.

— Ах, это просто ужасно! — проговорил Родольф после короткого молчания. Потом, вспомнив о Хохотушке, он прибавил: — Простите меня, дитя мое... но я не могу проводить вас наверх... Завтра... я пришлю вам свой адрес и разрешение на встречу с Жерменом в тюрьме... А вскоре я и сам с вами увижусь.

— Ах, господин Родольф, поверьте, что я прини-

маю близко к сердцу горе, обрушившееся на вас... Спасибо, что вы меня проводили... До скорого свидания, не правда ли?

— Да, дитя мое, до скорого свидания.

— Спокойной ночи, господин Родольф, — с грустью прибавила Хохотушка, исчезая в крытом проходе вместе со свертками, приготовленными ею в комнате Жермена.

Принц и Мэрф сели в фиакр, и он отвез их на улицу Плюме.

Родольф поспешно написал Клеманс следующее письмо:

«Сударыня!

Я только что узнал о неожиданном ударе, обрушившемся на вас, этот прискорбный случай лишает меня одного из лучших друзей; я не в силах передать, до какой степени столь горестное известие ошеломило меня,

И все же мне необходимо поговорить с вами о делах, не относящихся к этому ужасному происшествию... Мне стало известно, что ваша мачеха несколько дней пробыла в Париже, а сегодня вечером уезжает в Нормандию, прихватив с собой Полидори.

Вы, без сомнения, понимаете, какая опасность угрожает поэтому вашему отцу. Позвольте же

дать вам совет, который я полагаю благотворным. После страшного несчастья, случившегося нынче утром, в обществе все прекрасно поймут, что вам необходимо на некоторое время покинуть столицу... Так что послушайтесь меня и уезжайте, немедленно уезжайте в Обье, нужно, чтобы вы попали туда если не раньше вашей мачехи, то, по крайней мере, одновременно с ней. Будьте спокойны, сударыня: издалека, как и вблизи, я неустанно забочусь о вас... и гнусные козни вашей мачехи будут разрушены...

Прощайте, сударыня; я наспех пишу вам эти строки... Душа моя обливается кровью, когда я вспоминаю о вчерашнем вечере: ведь я оставил маркиза... таким спокойным, таким счастливым, каким я его уже давно не видал...

Примите, сударыня, уверения в моей самой глубокой и самой искренней преданности...

Родольф».

Последовав совету принца, г-жа д'Арвиль через три часа после получения этого письма была уже вместе с дочерью на дороге в Нормандию.

В том же направлении из особняка Родольфа выехала почтовая карета.

К несчастью, из-за волнений, вызванных столь роковыми обстоятельствами, и вследствие своего

поспешного отъезда

Клеманс забыла сообщить принцу о том, что встретила Лилию-Марию в тюрьме Сен-Лазар.

Возможно, читатель помнит, что накануне Сычиха явилась к г-же Серафен и угрожала рассказать о том, что Певунья жива, при этом она утверждала (и на сей раз она говорила правду), что ей известно, где сейчас находится юная девушка.

Читатель, должно быть, помнит и то, что после этого разговора нотариус Жак Ферран, страшась разоблачения своих преступных действий, понял: в его насущных интересах — добиться исчезновения Певуньи, ибо, если станет известно, что она жива, это может навсегда его скомпрометировать.

Вот почему он написал Брадаманти, одному из своих сообщников, что просит того прийти к нему, дабы вместе с ним разработать коварный план, жертвой которого должна была стать Певунья.

Брадаманти, занятый не менее срочными делами мачехи г-жи д'Арвиль, у которой были свои зловещие резоны для того, чтобы увезти этого шарлатана в имение г-на д'Орбиньи, — Брадаманти, без сомнения, считавший, что ему выгоднее

оказать услугу своей старинной приятельнице, не откликнулся на приглашение нотариуса и, так и не повидав г-жу Серафен, отправился в Нормандию.

Гроза собиралась над головою Жака Феррана: на следующий день Сычиха снова пришла и снова повторила свои угрозы, а чтобы доказать, что она вовсе не шутит, старуха объявила нотариусу, что девочка, от которой в свое время избавилась г-жа Серафен, ныне находится в тюрьме Сен-Лазар под именем Певуньи и что, если он не уплатит в течение трех дней десяти тысяч франков, она, Сычиха, вручит юной девушке бумаги, из которых та узнает, что в детстве ее поручили заботам Жака Феррана.

По своему обыкновению, нотариус все нахально отрицал и выгнал Сычиху, обозвав ее наглой лгуньей; однако на самом деле он поверил ей и был напуган опасностью, которую таили ее угрозы.

Благодаря своим многочисленным связям нотариус получил возможность убедиться (в тот самый день, когда Певунья беседовала с г-жой д'Арвиль), что юная девушка действительно находится в тюрьме Сен-Лазар, что она ведет себя там примерно и потому ее со дня на день собираются

выпустить на свободу.

Вооружившись этими сведениями, Жак Ферран разработал дьявольский план, но он понимал, что привести его в исполнение сможет только с помощью Брадаманти; вот почему г-жа Серафен так настойчиво, хотя и безуспешно пыталась застать дома этого шарлатана.

Узнав в тот же вечер об отъезде Брадаманти, нотариус, которого сильный страх и чувство опасности побуждали действовать, не теряя времени, вспомнил о семействе Марсиалей, этих речных пиратов, живущих возле Аньера: к ним-то Брадаманти в свое время советовал нотариусу отправить Луизу, с тем чтобы безнаказанно от нее избавиться.

Сознавая, что ему непременно нужен сообщник для того, чтобы привести в исполнение свои зловещие планы в отношении Лилии-Марии, Жак Ферран принял самые хитроумные предосторожности, чтобы не скомпрометировать себя в том случае, если его новое преступление совершится, и на следующий же день после отъезда Брадаманти в Нормандию послал г-жу Серафен к Марсиалям.

Глава XVI.
ОСТРОВ ЧЕРПАЛЬЩИКА

Следующие сцены происходят вечером того же дня, когда г-жа Серафен, выполняя распоряжение нотариуса Жака Феррана, отправилась к Марсиалям, речным пиратам, жившим на косе небольшого острова на Сене, неподалеку от городка Аньер.

Глава семьи Марсиалей, как в свое время и его отец, кончил жизнь на эшафоте; после него осталась вдова с четырьмя сыновьями и двумя дочерьми.

Средний сын был вскоре приговорен к пожизненной каторге... Так что из всего многочисленного семейства на острове Черпальщика (позднее мы расскажем, почему в округе так именовали это логово) теперь жили: сама тетка Марсиаль; трое ее сыновей: старшему — любовнику Волчицы — было двадцать пять лет, второму брату — двадцать, а самому младшему двенадцать лет; две ее дочери — восемнадцати и девяти лет.

Такие семьи, где гнездится ужасная наследственная тяга к преступлению, встречаются, увы,

слишком часто. Иначе и быть не может.

Будем неустанно повторять: общество думает о каре и никогда не заботится о предотвращении зла.

Одного преступника приговаривают к пожизненным каторжным работам... Другому отрубают голову... У обоих осужденных остаются маленькие дети.

Будет ли общество проявлять заботу об этих сиротах? О сиротах, которых оно само же и породило, лишив их отца всех гражданских прав или обезглавив его?

Станет ли оно заботливым опекуном, предупреждающим беду, заменив того человека, которого закон объявил гнусным изгоем, или вместо того человека, которого казнили по воле закона?

Нет... Ядовитый гад уничтожен, стало быть, уничтожен и яд, который он источал, — полагает общество.

Оно ошибается.

Яд разложения столь неуловим, столь едок, столь заразен, что он почти всегда передается по наследству; однако, если вовремя начать с ним бороться, от него можно исцелить.

Какое странное противоречие!..

Вскрытие покойника показало, что человек

умер от заразной болезни. Приняв предупредительные меры, можно уберечь его потомков от опасного недуга, жертвой которого он стал...

Нечто подобное происходит и в области морали...

Если будет доказано, что преступник передает почти всегда своему сыну зародыш ранней порочности, сделают ли для спасения души этого юного существа то, что врач делает для спасения его тела, когда обнаруживают наследственный физический порок?

Нет...

Вместо того чтобы лечить несчастного, ему предоставят разлагаться вплоть до самой смерти...

И подобно тому, как простой народ считает, что сын палача непременно станет палачом, будут считать, что сын преступника непременно станет преступником...

И порожденную эгоистическим безразличием общества испорченность будут считать следствием роковой и неумолимой наследственности.

Так что если вопреки зловещим обстоятельствам и ходячим представлениям ребенок, которого закон превратил в сироту, даже и вырастет по случайности трудолюбивым и честным

человеком, то в силу поистине варварского предрассудка его все равно будут отмечать клеймом родительского позора. И, став мишенью незаслуженного осуждения, бедняга с великим трудом найдет себе работу...

Вместо того чтобы прийти к нему на помощь, вместо того чтобы спасти его от отчаяния, а главное, от опасного злопамятства окружающих, от горького сознания несправедливости, которое порою толкает людей самых добрых и великодушных к бунту, ко злу, общество заявит: «Ну и пусть склоняется ко злу... поживем — увидим... Разве нет в моем распоряжении каторжных работ, тюремных надзирателей и палачей?»

Таким образом, для того, кто (случай столь же редкий, сколь и достойный уважения) сохранил нравственную чистоту вопреки отвратительным примерам, нет никакой поддержки, нет никакой опоры!

Таким образом, для того, кто с самого рождения пребывает в обстановке царящего в семье порока, кто с раннего детства уже испорчен, никакой надежды на исцеление нет! «Почему же нет? Я исцелю этого человека, которого само же и сделало сиротой, — отвечает общество, — но только исцелю его в свое время... исцелю его на

собственный манер... и лишь позднее. Для того чтобы выжечь язву, чтобы иссечь нарыв, надо, чтобы они созрели».

Стало быть, нужно, чтобы преступник «дозрел»!..

«Тюрьма и каторга — вот мои лазареты... А в неизлечимых случаях у меня есть нож гильотины. Что до лечения «моего» сироты, то я об этом подумаю, — говорит общество, — но проявим терпение, дадим хорошенько созреть зародышу унаследованной тяги к преступлению, зародышу, который зреет в недрах его существа, дадим ему окрепнуть, дадим ему пустить корни и произвести глубокие разрушения.

Итак, терпение и еще раз терпение. Когда наш подопечный прогниет до самого нутра, когда преступление будет, так сказать, сочиться из всех его пор, когда крупная кража или убийство приведут его на позорную скамью подсудимых, на которой в свое время сидел его отец, вот тогда-то мы станем лечить этого наследника зла так же, как мы некогда лечили того, кто передал ему в наследство зловещий «дар». На каторге или на эшафоте сын отыщет отцовское место, оно еще не успело остыть...»

Да, в подобных случаях общество рассуждает

именно так.

И оно же еще удивляется, оно возмущается, оно приходит в ужас, видя, что тяга к воровству и убийству роковым образом передается из поколения в поколение.

Мрачная картина, которую мы сейчас нарисуем — она называется «Речные пираты», — имеет своей целью показать, что может произойти в семье, унаследовавшей тягу к преступлению, когда общество не пытается — законным либо иным способом — предохранить несчастных сирот, порожденных законом, от ужасных последствий жестокой расправы, учиненной над их отцом.

Читатель извинит нас за то, что мы предваряем очередной эпизод нашего повествования таким вступлением.

Вот почему мы так поступаем.

По мере того как мы продолжаем публиковать эту книгу, ее нравственные цели подвергаются столь яростным и, по нашему мнению, столь несправедливым нападкам, что нам, надеемся, будет позволено изложить здесь свою главную мысль, мысль весьма серьезную и честную, которая до сих пор нас поддерживала и помогала идти вперед.

Многие люди — вдумчивые и деликатные — с

возвышенными взглядами пожелали придать нам мужества и поддержать наше начинание, они соблаговолили выразить свое лестное для нас ободрение, а потому мы чувствуем себя обязанными в интересах этих знакомых и незнакомых друзей еще раз ответить на необдуманные, но упорные обвинения, которые, как нам стало известно, раздавались даже в стенах Законодательного собрания.

Объявлять нашу книгу крайне безнравственной — значит, как нам кажется, косвенно объявлять крайне безнравственными взгляды людей, которые делают нам честь, выражая свое живейшее сочувствие.

Так вот, для оправдания этого сочувствия, равно как и ради воодушевляющей нас цели, мы попытаемся доказать с помощью только одного примера, выбранного из множества других, что этот наш труд вовсе не лишен возвышенных и вполне применимых в жизни идей.

Год тому назад, в одной из первых частей этой книги, мы нарисовали образцовую ферму, созданную Родольфом для того, чтобы поддержать, обучить и вознаградить по заслугам честных и работящих, но бедных земледельцев.

По этому поводу мы говорили:

«Честные, но обездоленные люди заслуживают, по крайней мере, такого же участия, как и люди, преступившие закон; между тем существует много благотворительных обществ, чья цель — опекать несовершеннолетних преступников, отбывших положенное наказание; однако до сих пор еще не создано ни одно благотворительное общество, готовое прийти на помощь беднякам, чье поведение всегда было примерным... Выходит, надобно, просто необходимо совершить какой-нибудь проступок или преступление... чтобы получить помощь со стороны упомянутых выше благотворительных обществ, которые, впрочем, весьма полезны и заслуживают всяческого одобрения».

И тогда мы вложили в уста одного из крестьян фермы в Букевале такие слова:

«Весьма человечно и милосердно не позволять отчаиваться людям дурным; но надо было бы также подавать надежду и людям хорошим. Однако если честный малый, сильный и работящий, у которого появится желание творить добро, жить и поступать как положено, придет на эту ферму бывших несовершеннолетних воров, то его непременно спросят: «Любезный, а ты хоть когда-нибудь воровал или бродяжничал?» — «Нет»,

— ответил он. «Ну, в таком случае здесь для тебя места нет».

Такое кричащее противоречие уже поразило умы, гораздо более возвышенные, нежели наш скромный ум. Благодаря этим людям то, на что мы до сих пор смотрели как на утопию, на почти несбыточную мечту, уже претворяется в жизнь.

Под эгидой одного из наших самых уважаемых современников — графа Порталиса — и под умелым руководительством истинного филантропа с великодушным сердцем и ясным практическим умом — г-на Аллье — недавно было создано благотворительное общество; цель его: прийти на помощь бедным, но честным молодым людям в департаменте Сены и найти применение их силам в земледельческих колониях.

Одного только этого примера, на наш взгляд, достаточно, чтобы понять нравственный смысл нашего труда.

Мы необычайно горды и необыкновенно счастливы, ибо выяснилось, что мы разделяем идеи, устремления и надежды основателей этой новой формы благотворительности, ибо мы считаем себя одним из самых безвестных, но зато и самых убежденных защитников двух великих истин: «Долг общества — предупреждать зло и не только

поддерживать, но и вознаграждать добро».

Раз уж мы заговорили об этой новой форме милосердия и благотворительности, которая зиждется на справедливой и высоконравственной мысли и должна привести к плодотворному и спасительному деянию, станем же уповать на то, что основатели этого важного начинания подумают, быть может, о том, чтобы заполнить другой пробел, распространив свое попечительство или хотя бы свою публично выраженную заботу и внимание на детей, чьи отцы были казнены или приговорены к наказанию, связанному с поражением в правах, что равносильно гражданской смерти, на тех детей, которые стали сиротами вследствие строгости закона.

Те из этих злосчастных детей, которые уже достойны заботы общества в силу их чистых устремлений и бедности, заслуживают и его особого внимания, ибо их положение мучительно, тяжко и полно опасностей.

Да, мучительно, тяжко и полно опасностей!

Скажем еще раз: почти всегда становясь жертвой недоброжелательства окружающих, семья осужденного преступника тщетно ищет себе работу и, стремясь избежать всеобщей неприязни, часто приходит к необходимости покинуть наси-

женное место, где она могла все же хоть как-то существовать.

И тогда, раздраженные несправедливостью, заклейменные наравне с преступниками за проступки, в которых они неповинны, лишенные порой всякой возможности вести честную жизнь, эти изгои, если они до тех пор все-таки оставались людьми порядочными, оказываются на грани нравственного падения.

Если же они, напротив, уже испытали тлетворное влияние порока, разве не следует попытаться их спасти, пока еще не поздно?

Присутствие сирот, порожденных законом, среди других детей, собранных благотворительным обществом, о котором мы недавно упоминали, будет, помимо всего прочего, полезным и для тех и для других... Оно покажет всем, что если преступник непременно должен быть наказан, то его близкие не только не утрачивают уважения окружающих, но даже заслуживают еще большего уважения, когда благодаря своему мужеству и добродетели они стирают позорное пятно со своего имени.

Могут сказать, что законодатель желал сделать кару еще более ужасной, наказывая не только самого преступника, но и обрекая в будущем на

страдания его ни в чем не повинного сына.

Но это было бы слишком жестоко, безнравственно и безрассудно.

И разве не было бы, напротив, высоконравственно сказать народу:

«Преступление не должно почитаться наследственным грехом. Позорное пятно, лежащее на семье преступника, может быть стерто».

Мы решаемся уповать на то, что мысли эти покажутся достойными внимания вновь созданного благотворительного общества.

Без сомнения, горько сознавать, что государство покамест ничего не делает для решения этих животрепещущих вопросов, которые прямо затрагивают весь социальный организм.

Но как может быть иначе?

На одном из последних заседаний Законодательного собрания один из депутатов, пораженный, по его словам, нищетой и страданиями бедных классов, предложил — наряду с иными средствами — помочь делу, учредив дома для инвалидов, куда будут помещать нуждающихся в этом работников.

И вот этот план, без сомнения, недостаточно продуманный во всех подробностях, но зато проникнутый высокой филантропической идеей и

достойный самого серьезного рассмотрения, ибо он затрагивает важнейший вопрос жизненных судеб тружеников, этот план — подумать только! — «был встречен громким и веселым смехом присутствующих».

Высказав все это, перейдем к продолжению нашего повествования.

Возвратимся к острову Черпальщика и к речным пиратам.

Родоначальник семейства Марсиалей, который первым обосновался За умеренную арендную плату на этом маленьком острове, был черпальщиком.

Черпальщики, как и сплавщики леса, как работники, разбирающие старые плоты и лодки на доски и бревна, весь день работают по пояс в воде — этого требует их занятие. Одни вылавливают плывущие по реке бревна. Другие разбирают на части отслужившие свой век плоты и барки. С работой в воде, как и у людей только что названных профессий, связан и труд черпальщиков, но задачи у них совсем иные.

Черпальщик, входя в воду, старается зайти как можно дальше от берега и при этом зачерпывает своей ручной драгой речной песок, смешанный с илом; затем он ссыпает его в большие деревянные

корыта и промывает, как руду или золотоносный гравий, извлекая таким способом множество различных металлических обломков и осколков — железных, медных, чугунных, свинцовых, оловянных; осколки эти — остатки всякого рода металлических предметов и утвари. Нередко черпальщики обнаруживают в песке даже кусочки золотых и серебряных украшений, принесенных течением Сены, куда они попали либо из сточных канав, по которым в половодье бегут быстрые ручьи, либо с тающим снегом и льдом — его сгребают зимой на улицах и сбрасывают в реку.

Мы не знаем, по каким причинам этих тружеников, как правило, людей честных, мирных и работящих, окрестили грозным именем «речных пиратов».

Папаша Марсиаль, первый житель этого прежде необитаемого островка, был черпальщиком, вот почему люди, жившие в этих местах на берегу реки, и назвали островок «островом Черпальщика».

Дом речных пиратов был расположен в южной части этого клочка суши.

При свете дня можно было прочесть вывеску, раскачивавшуюся над дверью их жилища:

МЕСТО
ДРУЖЕСКИХ ВСТРЕЧ ЧЕРПАЛЬЩИКОВ.
ДОБРОЕ ВИНО,
ОТМЕННЫЙ МАТЛОТ И ВКУСНОЕ ЖАРКОЕ.

Здесь можно получить напрокат ялики и лодки для прогулок по реке.

Как видит читатель, к своим явным и тайным занятиям глава этого окаянного семейства присоединил еще профессию кабатчика, рыбака и человека, дающего лодки напрокат.

Вдова этого злоумышленника, кончившего свои дни на эшафоте, продолжала держать кабак; всякого рода темные личности: бродяги, не помнящие родства, беглые каторжники, бродячие комедианты и дрессировщики животных, кочующие шарлатаны — проводили здесь воскресные и даже будние дни, развлекаясь на собственный лад.

Марсиаль, любовник Волчицы, старший из сыновей, наименее преступный из всех, занимался незаконной рыбной ловлей, а при необходимости выступал как наемный боец, защищая, разумееся за плату, слабого против сильного.

Другой из братьев, сообщник Крючка в задуман-

ном ими убийстве г-жи Матье, хотя и считался черпальщиком, на самом деле был настоящим речным пиратом: промышлял он на самой Сене и по берегам ее.

Наконец, Франсуа, младший сын казненного, возил в лодке тех, кто изъявлял желание прокатиться по реке.

Упомянем еще для порядка об Амбруазе Марсиале: он, как было уже сказано, находился на каторге за ночную кражу со взломом и покушение на убийство. Старшая дочь, прозванная Тыквой, помогала матери на кухне и прислуживала посетителям кабачка; ее сестра Амандина, которой было всего девять лет, также в меру своих сил помогала по хозяйству...

В описываемый нами вечер на дворе было темным-темно; тяжелые и плотные темно-серые облака, гонимые ветром, позволяли видеть сквозь неровные узкие просветы клочки темно-синего неба, на котором мерцали звезды.

Очертания острова, обсаженного высокими, уже лишенными листьев тополями, выступали в темноте на фоне мглистого неба и белесой, почти прозрачной реки...

Дом с неровными коньками на кровле уже совершенно окутан мраком; светятся только

два окна на первом этаже; их стекла рдеют; эти красные блики отражаются, точно языки пламени, в прибрежных волнах, омывающих причал, который находится неподалеку от дома.

Цепи, которыми лодки привязаны к колышкам, зловеще позвякивают, и это печальное позвякивание сливается с порывами северного ветра, что свистит в голых кронах тополей, и глухим рокотом речных валов...

Несколько членов семьи сидят на кухне.

Это просторная комната с низким потолком; против двери расположены два окна, под ними тянется длинная плита; налево высится печь, справа видна лестница, ведущая на верхний этаж; рядом с этой лестницей — вход в большую залу, где расставлены столики для завсегдатаев кабачка.

При свете лампы, в бликах пылающего в очаге огня поблескивает множество медных кастрюль и прочей кухонной утвари: кастрюли висят вдоль стен либо стоят на полках рядом с горшками и котелками всех размеров; посреди кухни виден большой стол.

Вдова казненного сидит возле очага в окружении трех своих детей.

На вид этой высокой и худой женщине лет

сорок пять. Она — во всем черном; траурный платок, концы которого стянуты на лбу, закрывает ее волосы и пересекает плоский, мертвенно бледный лоб, уже прорезанный морщинами; у нее длинный, прямой, заостренный на конце нос, над запавшими щеками выступают скулы, бледная желтушная кожа испещрена глубокими оспинками; концы рта всегда опущены, и это придает еще более жесткое выражение этому холодному, зловещему лицу, неподвижному, как мраморная маска. Уже поседевшие брови приподняты над блеклыми голубыми глазами.

Она занята шитьем, как и обе ее дочери.

Старшая дочь, сухопарая и высокая, очень похожа на мать. У нее такая же бесстрастная, суровая и злая физиономия, такой же тонкий нос и строгий рот, такой же тусклый взгляд... Вот только цвет лица у нее другой — землистый и желтый, как айва, потому-то ее и прозвали Тыквой. Она не носит траура: на ней коричневое платье; из-под черного тюлевого чепца высовываются гладко зачесанные на прямой пробор редкие волосы, светло-рыжие, почти белесые.

Франсуа, самый младший из братьев Марсиаль, примостившись на скамеечке, чинит иглицей браконьерскую сеть: ловить такой сетью рыбу в

Сене категорически воспрещено.

Несмотря на загар, от которого его лицо потемнело, кожа у этого мальчика прекрасная; густая грива рыжих волос покрывает его голову; щеки у него круглые, губы полные, лоб выпуклый, взгляд живой и проницательный; он не похож ни на мать, ни на старшую сестру; вид у него скрытный и вместе с тем настороженный, сквозь падающие на лоб волосы он то и дело искоса, с явным опасением поглядывает на мать либо обменивается с младшей сестрою, Амандиной, понимающим и дружеским взглядом.

Амандина сидит рядом с братом, она спарывает метки с украденного накануне белья. Ей всего девять лет, и она так же похожа на брата, как ее сестра похожа на мать; черты лица у Амандины тоже не отличаются правильностью, но они более тонкие, чем у Франсуа. Хотя вся кожа на ее лице усыпана веснушками, она необыкновенно свежа; у нее, как и у брата, полные ярко-алые губы; рыжие волосы мягкие, шелковистые и блестящие, глаза хотя и небольшие, но ярко-синие и ласковые.

Когда Амандина встречается взглядом с Франсуа, она молча указывает ему на дверь; уловив этот знак, он только вздыхает, затем быстрым и

незаметным жестом призывает сестру ко вниманию и старательно отсчитывает своей иглой десять петель на рыболовной сети...

На иносказательном языке обоих детей это означает, что их брат Марсиаль вернется домой лишь в десять часов вечера.

Наблюдая за двумя молчаливыми женщинами со злыми лицами и за двумя бедными детьми, встревоженными, испуганными и не смеющими раскрыть рта, сразу догадываешься, что перед тобою — два палача и две их жертвы. Заметив, что Амандина на мгновение прервала работу, Тыква сказала ей грубым голосом:

— Скоро ты спорешь метки с этой рубахи?..

Девочка молча опустила голову; действуя пальцами и ножницами, она принялась торопливо спарывать красную бумажную нитку, которой были вышиты буквы на полотне.

Через минуту Амандина робко обратилась к вдове, протягивая ей рубашку.

— Мама, я уже кончила, — сказала она.

Ничего не промолвив в ответ, та бросила девочке другую рубаху.

Амандина не успела вовремя подхватить ее, и рубаха упала на пол. Старшая сестра твердой, как дерево, ладонью сильно ударила бедняжку по

руке и крикнула:

— Дуреха несчастная!!!

Амандина вновь уселась на свое место и усердно взялась за работу; при этом она обменялась с Франсуа взглядом, в котором сверкнули слезы.

В кухне опять воцарилась гробовая тишина.

Снаружи ветер по-прежнему завывал, раскачивая вывеску кабачка.

Этот унылый скрежет и глухое бульканье воды в котле, стоявшем возле огня, только и были слышны в кухне.

Дети с тайным страхом следили за матерью, все еще не произносившей ни слова.

Вдова и вообще-то была молчалива, но в тот вечер ее долгое безмолвие и то, что она все время сжимала и покусывала губы, говорили о том, что она с трудом сдерживает гнев и, можно сказать, дошла до белого каления.

Огонь в печи угасал — дрова догорели.

— Франсуа, подбрось полено! — крикнула Тыква. Мальчик, чинивший браконьерскую сеть, пошарил за печью и ответил:

— Дров больше нет...

— Ступай в дровяник, — приказала Тыква.

Франсуа что-то пробормотал, но не сдвинулся с места.

— Ах, так! Франсуа, ты меня слышишь? — злобно спросила Тыква.

Вдова казненного положила на колени салфетку, с которой спарывала метки, и с угрозой посмотрела на сына.

Тот сидел, не поднимая головы, но угадал, можно сказать, почувствовал страшный взгляд матери, устремленный на него... Боясь увидеть ее ужасное лицо, мальчик не шевелился.

— Ах, так! Ты что, оглох, Франсуа? — свирепо спросила Тыква. — Мать, ты видишь?

Казалось, старшей сестре нравилось обвинять брата и сестру в непослушании и навлекать на них кару, к которой неумолимо прибегала мать.

Амандина незаметно коснулась локтем руки брата, молча побуждая его послушаться Тыкву.

Франсуа по-прежнему не трогался с места.

Старшая сестра посмотрела на мать, словно призывая ее наказать виновного; та поняла ее.

Своим длинным костлявым пальцем она показала на прочный и гибкий ивовый прут, стоявший в углу возле печки.

Тыква откинулась назад, взяла это орудие наказания и протянула прут матери.

Франсуа внимательно следил за движениями матери; внезапно он вскочил и одним прыжком

оказался вне досягаемости грозного прута.

— Ты, видно, хочешь, чтобы мать задала тебе хорошую трепку? — крикнула Тыква.

Вдова, по-прежнему сжимая прут в руке, все сильнее закусывала свои бескровные губы и пристально смотрела на мальчика, не произнося ни слова.

По легкому дрожанию рук Амандины, сидевшей опустив голову, по тому, как у нее вдруг покраснела шея, можно было понять, что девочка, хотя и привыкшая к подобным сценам, боялась расправы, ожидавшей брата.

Франсуа отбежал в дальний угол кухни; он, казалось, был одновременно и напуган и обозлен.

— Берегись, негодник, мать вот-вот поднимется с места, и — тогда уже будет поздно! — прошипела старшая сестра.

— Мне все равно, — отозвался мальчик, побледнев. — Пусть уж лучше меня снова поколотят, как позавчера... но в дровяной сарай я не пойду... особенно... ночью...

— Это еще почему? — спросила Тыква, окончательно выходя из себя.

— Мне там страшно... страшно, — ответил Франсуа, не сумев подавить невольную дрожь.

— Тебе там страшно, болван?.. А чего ты бо-

ишься? Франсуа помотал головой, но ничего не ответил.

— Будешь ты говорить или нет?.. Чего ты боишься?

— Я и сам не знаю... Но только мне страшно...

— Да ты туда сто раз ходил, еще только вчера вечером...

— А вот теперь больше не пойду...

— Гляди, мать уже встает с места!..

— Тем хуже! — закричал мальчик. — Пусть она меня поколотит, пусть изобьет до полусмерти, но пойти в дровяник она меня не заставит... тем более... ночью...

— Да скажи наконец толком, в чем дело? — потребовала Тыква.

— Ладно, скажу! Дело в том, что...

— Ну, так в чем дело?

— Дело в том, что там кто-то есть...

— Там кто-то есть?

— Да, он там зарыт... — прошептал Франсуа, вздрагивая.

Вдова казненного, несмотря на свою обычную невозмутимость, не смогла сдержать внезапной дрожи; задрожала и ее старшая дочь; можно было подумать, что обеих женщин одновременно ударило электрическим током.

— В дровяном сарае кто-то зарыт? — спросила Тыква, пожимая плечами.

— Да, зарыт, — ответил Франсуа так тихо, что слова его были едва слышны.

— Лгун!.. — завопила Тыква.

— А я тебе говорю, слышишь, я тебе говорю, что когда я вчера складывал дрова, то вдруг увидал в углу сарая кость... мертвеца... она чуть высовывалась из-под земли, а земля там вокруг мокрая... — настаивал Франсуа.

— Слышишь, что он болтает, мать? Да он просто сдурел, — прошептала Тыква, выразительно посмотрев на вдову. — Ведь это баранья кость, я сама ее туда положила для будущей стирки.

— Нет, это была не баранья кость, — испуганно твердил мальчик, — это была кость покойника... кость мертвеца... это его нога торчала из-под земли, я ее хорошо разглядел.

— И ты, конечно, тут же разболтал о своей замечательной находке твоему братцу... твоему дружку Марсиалю, не так ли? — спросила Тыква со свирепой иронией.

Франсуа ничего не ответил.

— Скверный мальчишка, легавый![99] — в яро-

---

[99] Notes: 99
Доносчик.

сти завопила Тыква. — Этот маленький негодяй труслив, как заяц, он, чего доброго, добьется того, что все мы угодим под нож дяди Шарло, как наш отец!

— Коли ты зовешь меня легавым, — в отчаянии закричал Франсуа, — я теперь все расскажу моему брату Марсиалю! Я ему еще ничего не говорил, потому что его с тех пор не видел... но когда он нынче вечером придет... я...

Мальчик замолчал, не решаясь продолжать: мать уже подходила к нему, как всегда бесстрастная, но непреклонная.

Хотя вдова постоянно горбилась, она была очень высокого роста, особенно для женщины; держа в одной руке прут, она другой рукою схватила сына за плечо и, несмотря на слезы и мольбы перепуганного Франсуа, тщетно пытавшегося освободиться, потащила его за собой и заставила подняться по лестнице, видневшейся в глубине кухни.

— Через несколько мгновений сверху — сквозь потолок — донесся неясный шум, послышались рыданья и крики.

Прошло несколько минут, и шум прекратился.

Вдова казненного снова вошла в кухню.

Сохраняя обычную невозмутимость, она по-

ставила ивовый прут на место, за печью, и, не произнося ни слова, опять принялась за работу.

Часть VI

Глава I.
РЕЧНОЙ ПИРАТ

После короткого молчания вдова казненного сказала дочери:

— Пойди и принеси дров; ночью мы приведем в порядок дровяной сарай... когда вернутся Николя и Марсиаль.

— Марсиаль? Стало быть, вы и ему хотите рассказать, что...

— Принеси дров, — повторила вдова, резко обрывая дочь.

Тыква, привыкшая подчиняться этой железной воле, зажгла фонарь и вышла.

Когда она растворила дверь, стало видно, что снаружи царит непроглядная тьма, в кухню ворвался треск и хруст высоких тополей, терзаемых ветром, послышалось звяканье цепей, которыми были привязаны лодки, донеслись свист северного ветра и рев реки.

Все эти грозные звуки навевали тоску.

Во время предыдущей сцены Амандина, глубоко взволнованная судьбой Франсуа, которого она нежно любила, не решалась ни поднять глаза,

ни осушить слезы, которые тонкими струйками стекали ей на колени. Сдерживаемые рыдания душили ее, она старалась унять их, как старалась унять и громкие удары сердца, трепетавшего от страха.

Слезы застилали ей взгляд. Она торопливо спарывала метку с рубашки, которую ей кинула мать, и поранила ножницами руку; из ранки капала кровь, но бедная девочка меньше думала о боли, чем о наказании, которое угрожало ей за то, что она испачкала кровью рубашку, над которой трудилась. К счастью, вдова, погруженная в глубокое раздумье, ничего не заметила.

Тыква возвратилась, неся корзину, полную дров. Поймав взгляд матери, она утвердительно кивнула головой.

Это должно было означать, что нога мертвеца в самом деле высовывалась из-под земли...

Вдова еще сильнее поджала губы и продолжала работать, но теперь она, казалось, еще быстрее орудовала иглой.

Тыква раздула огонь, заглянула в кипящий чугунок, стоящий в углу плиты, и опять уселась возле матери.

— А Николя все не идет! — воскликнула она. — Как бы эта старуха, что приходила утром и

назначила ему встречу с каким-то господином, по поручению Брадаманти, не втянула его в какую-нибудь скверную историю. Она так странно глядела исподлобья и ни за что не хотела ни назвать себя, ни сказать, откуда она пришла.

Вдова молча пожала плечами.

— Вы думаете, Николя ничего не угрожает, матушка? А вообще-то вы, пожалуй, правы... Старуха просила его быть к семи вечера на набережной Бийи, прямо против пристани, и ждать там человека, который хочет с ним поговорить: вместо условного знака он назовет имя Брадаманти. И то сказать, ничего опасного в такой встрече нет. А Николя, может, потому задерживается, что, должно быть, прихватил чего по дороге, как позавчера, когда он слямзил[100] это вот белье, унес его из лодки зазевавшейся прачки.

Тыква при этом показала рубашки, с которых Амандина спарывала метки потом, обратившись к девочке, она спросила:

— А ты знаешь, что такое слямзить?

— Это значит... взять... — ответила девочка, не поднимая глаз.

— Это значит украсть, дуреха! Понятно?

---

[100] Notes: 100
Украл

Украсть...

— Да, сестрица...

— А когда умеют так ловко красть, как это делает Николя, то всегда какой-никакой барыш достается... Белье, которое он вчера стибрил, нам впрок пойдет, а обойдется даром, только метки спороть придется, не так ли... матушка? — прибавила Тыква с громким смехом, обнажая при этом свои лошадиные зубы, такие же желтые, как ее физиономия.

Вдова осталась холодна к этой шутке.

— Кстати, насчет того, чтобы обогатить наше хозяйство, причем задарма, — продолжала Тыква, — мы, должно быть, сможет это сделать в другой лавочке. Вы, верно, знаете, какой-то старик поселился несколько дней назад в загородном доме господина Гриффона, ну, того лекаря из парижской больницы: его дом стоит на отлете, в сотне шагов от берега, прямо против печи для обжига гипса.

Вдова едва заметно качнула головой.

— Николя вчера толковал, что теперь можно будет обделать одно выгодное дельце, — опять заговорила Тыква. — А я нынче утром убедилась, что и там наверняка есть чем поживиться: надо только послать Амандину побродить вокруг

дома, на девчонку никто внимания не обратит, подумают, что она там играет, а она тем временем все подробно разглядит и потом нам перескажет, что видела. Слышишь, что я говорю?. — строго прибавила Тыква, посмотрев на Амандину.

— Да, сестрица, я туда схожу, — ответила девочка, задрожав всем телом...

— Ты вечно говоришь: «Я все сделаю», а потом ничего не делаешь, притворщица! В тот раз, когда я велела тебе взять пятифранковую монету в конторке бакалейщика, пока я разговаривала с ним в другом конце лавки, сделать это было куда как просто: детей-то ведь никто не опасается. Почему ты меня ослушалась?

— Сестрица, у меня... просто духу не хватило... я никак решиться не могла...

— А в тот день, когда ты стащила косынку из короба разносчика, пока он торговал в кабачке, у тебя духу хватило? И он, дуреха, ничего не заметил.

— Сестрица, ведь это вы меня заставили... косынку-то я взяла для вас, а потом, косынка ведь не деньги.

— А тебе-то какая разница?

— Ну как же?! Взять косынку не так дурно, как деньги взять.

— Смотри какая честная! Это Марсиаль учит тебя быть такой порядочной? — спросила Тыква со злобной усмешкой. — Ты, должно, все ему пересказываешь, доносчица! Уж не думаешь ли ты, что мы боимся, как бы он нас не выдал, твой Марсиаль?.. — Затем, обратившись к матери, Тыква прибавила: — Поверь, матушка, все это плохо для него кончится... Он тут свои порядки установить хочет. Николя на него злится, просто в ярость приходит, да и я тоже. Марсиаль настраивает Амандину и Франсуа против нас, да и против тебя... Разве можно такое терпеть?..

— Нельзя... — буркнула вдова резко и жестко.

— Он таким сделался особенно с той поры, как его Волчица угодила в тюрьму Сен-Лазар, совсем бешеный стал, на всех злобится. А мы-то при чем, что его... полюбовница в тюрьме оказалась? Да когда ее выпустят, она бесперечь сюда заявится... ну, а я уж ее привечу... как подобает встречу... хоть она из себя такую храбрую строит...

Немного подумав, вдова сказала дочери:

— Так тебе кажется, можно будет облапошить того старика, что в доме лекаря живет?

— Да, матушка...

— Но он же с виду просто нищий!

— Знаешь, он благородного происхождения.

— Благородного происхождения?

— Да, и к тому же у него в кошельке золотых монет полно, хоть он всюду пешком ходит и домой всегда возвращается тоже пешком — с дубинкой заместо кареты.

— А почем ты знаешь, что у него золото есть?

— Я как-то была на почте в Аньере, узнавать ходила, нет ли весточки из Тулона...

При этих словах, напомнивших вдове о том, что один из ее сыновей на каторге, та нахмурилась и подавила вздох. Тыква между тем продолжала:

— Я ждала своей очереди, и тут вошел старик, что живет у лекаря, я его сразу признала по белой бороде и волосам, брови же у него черные, а лицо — цвета самшита. На вид он крепкий орешек... И, несмотря на возраст, должно быть, решительный старик... Он спросил у почтовой служащей: «У вас нет письма из Анже на имя графа де Сен-Реми?» — «Есть тут одно письмо», — ответила она. «Да, это мне, вот мой паспорт». Пока она изучала его бумаги, старик, чтоб заплатить за доставку, вытащил из кармана кошель зеленого шелка. Я враз углядела, что там сквозь петли золотые блестят: они кучкой лежали, величиной с яйцо... у него было не меньше сорока или пятидесяти луидоров! — воскликнула Тыква, и глаза ее загорелись

от алчности. — А при том одет он как последний бедняк. Видно, один из тех старых скупердяев, что деньгами набиты... Вот что я вам еще скажу, матушка: теперь мы его имя знаем, и это может пригодиться... чтобы проникнуть к нему, когда Амандина разузнает, есть ли в доме прислуга...

Громкий лай прервал речь Тыквы.

— А, собаки залаяли, — сказала она, — верно, лодку заслышали. Это Николя или Марсиаль...

При имени Марсиаля на личике Амандины появилось сдержанное выражение радости.

Прошло несколько минут томительного ожидания, и все это время девочка не сводила нетерпеливого и тревожного взгляда с двери; затем она с огорчением увидела, что на пороге показался Николя, будущий сообщник Крючка.

Физиономия у Николя была одновременно отталкивающей и свирепой; небольшого роста, тщедушный и щуплый, он мало походил на человека, способного заниматься опасным и преступным ремеслом. На беду, какая-то дикая нравственная энергия заменяла этому негодяю недоставшую ему физическую силу.

Поверх синей рабочей блузы Николя носил что-то вроде куртки без рукавов из козлиной шкуры с длинной коричневой шерстью; войдя в

кухню, он швырнул на пол слиток меди, который с явным трудом нее на плече.

— Доброй ночи и с доброй поживой, мать! — закричал он глухим и хриплым голосом, освободившись от своей ноши. — Там у меня в ялике еще три такие чушки да тюк разного тряпья и сундук, набитый черт знает чем, я ведь не полюбопытствовал его отпереть. Может, меня и надули... сейчас поглядим!

— Ну, а как тот человек с набережной Бийи? — спросила Тыква.

Мать все это время молча смотрела на сына.

Николя ничего не ответил, он только сунул руку в карман своих штанов, пошарил там и стал позвякивать многими, видимо, серебряными монетами.

— Ты все это у него отобрал?! — воскликнула Тыква.

— Нет, он сам выложил мне двести франков и посулил еще восемь сотен, когда я... Ну, ладно, хватит!.. Сперва выгрузим все из моей лодки, а уж потом станем языком молоть... Марсиаль дома?

— Нет, — ответила сестра.

— Тем лучше! Припрячем добычу, пока его нет... Так он ничего знать не будет...

— Ты его боишься, трус? — съязвила Тыква.

— Боюсь его?.. Кто — я? — И Николя пренебрежительно пожал плечами. — Я боюсь только, как бы он нас не продал, вот и все. А так мне чего его бояться? Жулик[101] с хорошо отточенным языком всегда при мне!

— О, когда его тут нет... ты вечно бахвалишься... но как только он появляется на пороге, сразу прикусываешь язык.

Николя, казалось, пропустил мимо ушей эти слова и сказал:

— Быстрее! Пошли быстрее к лодке!.. А где Франсуа, мать? Пусть он нам тоже поможет.

— Матушка задала ему трепку, а потом заперла наверху; он нынче ляжет спать без ужина, — ответила Тыква.

— Ладно! Только пускай он все-таки сойдет вниз и подсобит нам разгрузить ялик, не так ли, мать? Я, он и Тыква — мы все за один раз притащим.

Вдова молча указала пальцем на потолок; Тыква поняла ее жест и отправилась за Франсуа.

Морщины на сумрачном лице вдовы слегка разгладились после прихода Николя; она любила его больше, чем Тыкву, но, как сама говорила, все же меньше, чем того сына, что был теперь

---

[101] Notes: 101
Нож.

на каторге в Тулоне: материнская любовь этой свирепой женщины зависела от степени преступности ее детей!

Столь извращенное чувство во многом объясняет, почему вдова была так мало привязана к своим младшим отпрыскам: они не проявляли дурных наклонностей этим же объяснялась ее неприязнь, даже ненависть к Марсиалю, старшему сыну; хотя его образ жизни назвать безупречным было нельзя, но по сравнению с Николя, Тыквой и его братом-каторжником, он был человек честный.

— Где же ты промышлял нынче вечером? — спросила вдова у Николя.

— Возвращаясь с набережной Бийи, где я увиделся с тем господином, который назначил мне встречу, я углядел возле моста Инвалидов галиот, что пришвартовался к набережной. Было уже совсем темно, и я сказал себе: «В каютах света нет... матросы, должно быть, на берегу». Подплываю ближе... Встреть я на палубе кого-нибудь, я бы попросил у него обрывок веревки — треснувшее весло обвязать... Вхожу в каюту... никого... Тогда я хватаю все, что можно — тюк с тряпьем и большой сундук, а с палубы, прихватываю четыре медных слитка; мне пришлось дважды взбирать-

ся на галиот, груженный железом и медью... Ну вот и Франсуа с Тыквой. Пошли скорей к лодке!.. Слушай, Амандина, иди-ка и ты с нами, понесешь разное тряпье. Ведь прежде чем делить добычу... надо ее притащить...

Оставшись одна, вдова занялась приготовлениями к ужину для всей семьи: она расставила на столе бутылки, стаканы, фаянсовые тарелки и приборы из серебра.

Как раз в ту минуту, когда она со всем управилась, вернулись ее дети, нагруженные поклажей.

Маленький Франсуа нес на плечах два медных слитка и сгибался в три погибели под их тяжестью; Амандина была наполовину скрыта ворохом ворованного белья и платья, который она пристроила у себя на голове; шествие замыкал Николя: с помощью Тыквы он тащил сундук из неструганого дерева, а поверх него приладил четвертый слиток меди.

— Сундук, сундук!.. Сперва распотрошим сундук! — вопила Тыква, горя от дикого нетерпения.

Слитки меди полетели наземь.

Николя вооружился топориком, висевшим у него на поясе, он просунул крепкое железное острие под крышку сундука, поставленного

посреди кухни, чтобы легче было к нему подступиться.

Красноватое и подрагивающее пламя очага освещало эту сцену дележа; со двора все сильнее доносилось завывание ветра.

Так и не сняв своей куртки из козьей шерсти, Николя присел на корточки возле сундука и тщетно пытался приподнять крышку, изрыгая при этом поток ужасных ругательств, ибо крепкая крышка не поддавалась его отчаянным усилиям,

Глаза Тыквы горели от алчности, щеки пылали в предвкушении зрелища награбленных вещей; она опустилась на колени возле окаянного сундука и всей тяжестью навалилась на топорище, чтобы увеличить силу рычага, которым орудовал ее брат.

Вдову отделял от них широкий стол; будучи высокого роста, она перегнулась через него и также склонилась над украденным сундуком; взгляд ее горел от лихорадочного вожделения.

И наконец — какое жестокое и вместе с тем, к несчастью, обычное человеческое свойство! — двое детей, чьи врожденные добрые инстинкты часто одерживали верх над проклятым влиянием отвратительного и порочного семейного окружения, двое детей, забыв о своей совестливости и о

своих страхах, также уступили роковому любопытству и соблазну...

Прижавшись друг к другу, с горящими глазами, едва дыша, Франсуа и Амандина с таким же нетерпением жаждали узнать, что же таится в этом сундуке, их также раздражала медлительность, с какой возился с крышкой Николя.

Наконец злополучная крышка треснула и раскололась на части.

— Ах!.. — вырвался радостный вопль из уст взволнованной и обрадованной семьи.

И все, начиная с матери и кончая маленькой Амандиной, отталкивая друг друга, со свирепой жадностью накинулись на взломанный сундук. Без сомнения, он был послан из столицы какому-нибудь торговцу новинками в прибрежный городок, ибо в нем было множество штук различных материй для женщин.

— Нет, Николя не надули! — завопила Тыква, разворачивая штуку шерстяного муслина.

— Нет, — подхватил разбойник, в свою очередь распаковывая тюк с косынками и шейными платками, — я оправдал свои расходы...

— Да тут материи из Леванта... их станут раскупать, как хлеб... — пробормотала вдова, в свой черед копаясь в сундуке.

— Скупщица краденого из дома Краснорукого, что живет на улице Тампль, возьмет все материи, — прибавил Николя, — а папаша Мику, содержатель меблированных комнат в квартале Сент-Оноре, займется краснухой[102].

— Амандина, — чуть слышно сказал Франсуа своей младшей сестренке, — какой славный шейный платочек выйдет из тех красивых шелковых платков... которые Николя держит в руке!

— И хорошенькая косыночка тоже получится, — с простодушным восторгом откликнулась девочка.

— Надо признаться, тебе повезло, Николя, что ты забрался на этот галиот, — проговорила Тыква. — Гляди-ка, красота какая!.. Теперь вот пошли шали... они сложены по три штуки вместе... и все чистый шелк... Посмотри же, матушка!

— Тетка Бюрет заплатит не меньше пятисот франков за все сразу, — сказала вдова, внимательно оглядев ткани.

— Ну, стало быть, настоящая цена этому товару не меньше тысячи пятисот франков, — заметил Николя. — Но, как говорится, кто краденое скупает, сам... вором бывает. Ну, тем хуже, я тор-

---

[102] Notes: 102
Медью.

говаться не привык... как всегда, так и на этот раз сваляю дурака и уступлю товар за ту цену, что назначит тетка Бюрет, да и папаша Мику тоже; ну он хотя бы друг.

— Это роли не играет, он такой же жулик, как и все, этот старый торговец скобяным товаром; но мерзавцы-перекупщики знают, что нам без них никуда, — вмешалась Тыква, драпируясь в шаль, — и они этим-то и пользуются.

— Ну, там больше ничего нет, — сказал Николя, пошарив по дну сундука.

— Теперь надо все обратно уложить, — заметила вдова.

— Эту шаль я оставлю себе, — заявила Тыква.

— Оставишь себе... оставишь себе!. — неожиданно закричал Николя. — Ты оставишь ее себе, если я ее тебе отдам... Вечно ты все себе требуешь... госпожа Бесстыжая...

— Смотри-ка!.. А ты, стало быть, ничего не берешь... воздерживаешься!

— Я-то?.. Ну, коли я что стырю, то при этом своей шкурой рискую; ведь не тебя, а меня замели бы, если бы сцапали на том галиоте...

— Ладно! Держи свою шаль, плевать я на нее хотела! — разъярилась Тыква, швыряя шаль в сундук.

— Дело не в шали... я не о том говорю; да и не скупердяй я вовсе, чтобы какую-то там шаль жалеть: одной больше, одной меньше, тетка Бюрет даст за товар ту же цену, она ведь все гамузом покупает, — продолжал Николя. — Но заместо того, чтобы сказать «я оставлю себе эту шаль», ты могла попросить меня чтоб я тебе ее отдал... Да уж ладно, бери ее себе... Бери, говорю... а не то я швырну ее в огонь, чтоб чугунок быстрей закипел.

Слова брата умерили гнев Тыквы, и она взяла шаль уже без злости.

Николя, как видно, охватил приступ великодушия, ибо, оторвав зубами кусок шелковой ткани, он порвал его пополам и бросил по лоскуту Амандине и Франсуа, которые с жадной завистью смотрели на фуляр.

— А вот это для вас, мальцы! Этот лоскут придаст вам вкус к воровству. Ведь, как говорится, аппетит приходит во время еды. А теперь ступайте-ка спать... мне надо с матерью потолковать; ужин вам потом наверх принесут...

Дети радостно захлопали в ладоши и с торжествующим видом помахали в воздухе ворованным фуляром, который им дали.

— Ну что, дурачки? — спросила Тыква. — Ста-

нете вы теперь слушаться Марсиаля? Разве он вам хоть когда дарил такие красивые вещицы, как эти?

Франсуа и Амандина переглянулись и молча понурили головы.

— Да отвечайте же, — резко повторила Тыква. — Марсиаль когда-нибудь делает вам подарки?

— Конечно... нет!.. Он нам никогда ничего не дарил, — сказал Франсуа, с удовольствием разглядывая свой шейный платок из красного шелка.

Но Амандина чуть слышно прибавила:

— Наш братец Марсиаль не делает нам подарков... потому что ему не на что их купить...

— Коли бы он воровал, у него было бы на что, — резко сказал Николя, — Не правда ли, Франсуа?

— Да, братец, — ответил Франсуа. Потом он прибавил: — Ох, до чего же красивый фуляр!.. А какой получится из него воскресный галстук!

— А для меня выйдет такая славная косыночка! — подхватила Амандина.

— Я уж не говорю о том, что дети того рабочего, что обжигает в печи гипс, придут в ярость, когда вы пройдете мимо в своих обновках, — вмешалась Тыква. И она внимательно вгляделась в лица детей, чтобы понять: уловили они злобный смысл ее слов?

Эта ужасная девица старалась пробудить в детях тщеславие, чтобы с его помощью задушить последние остатки совестливости в злосчастных малышах.

— Дети обжигальщика гипса, — заметила она, — будут выглядеть рядом с вами просто нищими, они лопнут от зависти, потому что вы в этом красивой шейном платке и косынке будете походить на детей зажиточных господ!

— Смотри-ка! И то правда, — подтвердил Франсуа. — Теперь, когда я знаю, что дети обжигальщика гипса придут в ярость при виде моего нового галстука, какого у них нет, он мне доставит еще больше удовольствия... Ты согласна, Амандина?

— Я просто довольна, что у меня будет красивая косыночка... вот и все.

— В таком разе ты так навсегда и останешься дурехой! — с презрением заявила Тыква. Затем, взяв со стола краюху хлеба и кусок сыра, она подала их детям и сказала: — А теперь отправляйтесь спать... Вот вам фонарь, только поосторожнее там с огнем, не забудьте погасить фонарь перед тем, как заснете.

— Да, вот еще что! — прибавил Никодя. — Запомните хорошенько: коли вы, на свою беду, проговоритесь Марсиалю о сундуке, о медных

слитках и о материях, я задам вам такую. таску, что вы света белого невзвидите! А к тому же отберу у вас и фуляр.

После того как дети ушли, Николя с помощью сестры упрятал тюк с материей, сундук со штуками полотна и медные слитки в небольшом погребе: туда можно было попасть, спустясь из кухни по нескольким ступенькам, начинавшимся неподалеку от очага.

— Ну, мать! Принеси-ка чего-нибудь выпить, только пусть винцо будет покрепче да получше!.. — крикнул негодяй. — Тащи-ка запечатанные бутылки да доброй водки!.. Я все это вполне заработал... Подавай на стол ужин, Тыква; а Марсиаль погрызет оставшиеся от нас кости, с него и этого довольно... А теперь потолкуем о господине с набережной Бийи, потому как завтра или послезавтра надо будет быстро провернуть одно дельце, ежели только я хочу заполучить денежки, которые он мне пообещал... Я тебе все это сейчас расскажу, мать... Но дай же выпить, черт побери!!! Неси сюда выпивку, нынче я пирую!

И Николя стал вновь бренчать пятифранковыми монетами, лежавшими у него в кармане; потом, отбросив далеко в сторону свою меховую куртку и шапку из черной шерсти, он уселся за

стол перед огромным блюдом с бараньим рагу; рядом стояли тарелка с куском холодной телятины и миска с салатом.

Когда Тыква принесла вино и водку, вдова, по-прежнему невозмутимая и мрачная, также присела к столу: справа от нее оказался Николя, слева — Тыква; против нее оставались незанятыми места для Марсиаля и обоих детей..

Разбойник вытащил из кармана длинный и широкий каталонский нож с прочной рукояткой из рога и острым лезвием. Оглядев это смертоносное оружие со свирепым и довольным видом, он сказал матери:

— Мой жулик всегда режет на славу!.. Передайте мне хлеб, мамаша!..

— Кстати о ноже, — сказала Тыква. — Франсуа увидел эту штуку в дровянике.

— Ты это про что? — спросил Николя, не поняв, о чем речь.

— Он обнаружил там ногу...

— Человечью? — вскинулся Николя.

— Да, — подтвердила мать, кладя кусок мяса в тарелку сына.

— Вот так штука!.. А ведь яма-то была глубокая, — отозвался злодей, — но прошло много времени, и земля, должно, осела...

— Надо будет нынче же ночью бросить останки в реку, — вмешалась вдова.

— Да, так будет надежнее, — откликнулся Николя.

— Привяжем покойнику булыжник на шею, а для этого возьмем обрывок заржавевшей цепи от лодки, — сказала Тыква.

— Не так глупо придумано!.. — проговорил Николя, наливая себе вина; затем, подняв бутылку, он обратился к вдове: — Чокнитесь с нами, мамаша, это вас малость развеселит. Вдова отрицательно покачала головой, отодвинула свой стакан и спросила у сына:

— Ну, а что с этим господином с набережной Бийи?

— Вот оно как было дело... — ответил Николя, продолжая есть и пить. — Причалив к пристани, я привязал свой ялик и поднялся на набережную; часы на военной пекарне в Шайо пробили семь, темно было, хоть глаз выколи. Я прогуливался вдоль парапета с четверть часа и тут услышал, что кто-то тихонько идет сзади; я замедлил шаг; какой-то человек, с ног до головы закутанный в плащ, покашливая, подходит ко мне; я останавливаюсь, останавливается и он... Все, что я могу сказать о его физиономии, — это то, что носом он

уткнулся в плащ, а шляпу надвинул на глаза.

(Мы напоминаем читателю, что этот таинственный незнакомец был нотариус Жак Ферран; решив отделаться от Лилии-Марии, он в то же утро спешно отправил г-жу Серафен к Марсиалям, которых надеялся сделать орудием своего нового преступления.)

— «Брадаманти», сказал мне этот господин, — продолжал свой рассказ Николя, — ведь таков был пароль, о котором мы уговорились со старухой, чтобы мне узнать нужного человека.

— «Черпальщик», — отвечаю я, опять же, как было условлено.

— Вас зовут Николя? — спрашивает он.

— Именно так, сударь.

— А лодка у вас есть?

— У нас их целых четыре, господин хороший, ведь такое у нас ремесло: мы из поколения в поколение лодочники и черпальщики. Чем могу вам служить?

— Вот что надо бы сделать... если вы не струсите...

— А чего нам трусить, сударь?

— Вам придется понаблюдать за тем, как кто-то будет тонуть из-за несчастного случая... но только придется этому несчастному случаю помочь... Вы

меня поняли?

— Ах, вот оно что, сударь, стало быть, надо, чтобы кто-то нахлебался воды из Сены, словно бы по неосторожности? Ну что ж, мне это подходит... Но так как блюдо-то лакомое, к нему дорогая приправа потребуется.

— Сколько надо будет... за двоих?

— За двоих?.. Стало быть, двоим придется отведать бульона из реки?

— Да...

— Пятьсот франков с головы, сударь... так что совсем не дорого!

— Согласен на тысячу франков...

— Только денежки вперед, господин хороший.

— Две сотни вперед, а остальные — потом...

— Вы мне что, не доверяете, сударь?

— Не доверяю! Ведь вы можете прикарманить мои двести, франков, не выполнив своего обещания.

— Ну а вы, сударь, когда дело будет сделано и я попрошу у вас остальные восемьсот монет, можете мне сказать в ответ: «Спасибо, сейчас сбегаю за ними!»

— В таких делах без риска не обойтись; ну так как: подходит вам это или нет? Двести франков наличными, а послезавтра на этом же месте, в

девять вечера, я вам заплачу остальные восемьсот франков.

— А как вы узнаете, заставил ли я этих двоих нахлебаться речной водицы?

— Не беспокойтесь, узнаю... это уж моя забота... Значит, по рукам?

— По рукам, сударь.

— Вот вам двести франков... А теперь слушайте внимательно: вы узнаете старую женщину, что приходила к вам домой сегодня утром?

— Узнаю, сударь.

— Завтра или послезавтра, самое позднее, она снова к вам пожалует, часа в четыре пополудни; она станет вас ждать на берегу напротив вашего острова, с ней вместе будет белокурая девушка; старуха подаст вам знак, помахав платком.

— Так, сударь.

— Сколько нужно времени, чтобы доплыть от берега до вашего острова?

— Добрых двадцать минут.

— У вас какие лодки, плоскодонки?

— Дно у них ровное, как ладонь, сударь.

— Вы заранее незаметно приладите на дне одной из лодок люк с крышкой, так, чтобы его можно было быстро открыть, вода хлынет в отверстие, и лодка мигом пойдет ко дну.... Вам все

понятно?

— А то как же, сударь! Ну и хитры же вы! У меня как раз есть старая, полусгнившая лодка, я хотел пустить ее на дрова... вот она и подойдет для этой последней поездки.

— Итак, вы отплываете с вашего острова в этой лодке с задраенным люком; следом за вами плывет другая лодка, надежная, на веслах там сидит кто-либо из вашей семьи. Вы пристаете к берегу, сажаете к себе в лодку старуху и белокурую девушку и направляетесь обратно к острову; однако, на нужном расстоянии от берега, вы наклоняетесь и делаете вид, будто вам надо что-то там привести в порядок, открываете люк, а сами быстро прыгаете в другую лодку, что плывет рядом с вами; между тем как старуха и юная блондинка...

— Хлебают водицу из одной и той же чашки... так оно и получится, сударь!

— И вы уверены, что вам никто не помешает? А ну как появятся на реке завсегдатаи вашего кабачка?

— Не тревожьтесь, сударь. В этот предвечерний час, а особливо зимой, к нам никто не заходит... Это у нас, как говорится, мертвый сезон; ну а коли вдруг кто и появится, это делу не помешает,

напротив... ведь все они — надежные друзья.

— Превосходно! Впрочем, вы ничем не рискуете: решат, что лодка потонула, потому что изветшала, а старуха, которая приведет к вам девушку, исчезнет вместе с нею. Наконец, для того, чтобы увериться в том, что обе утонули... вследствие несчастного случая, вы можете, если они появятся на поверхности реки или если они уцепятся за борт второй лодки, вы можете, говорю я, изо всех сил попытаться им помочь и...

— И помочь им... пойти ко дну. Заметано, сударь!

— Надо также, чтобы эта прогулка по реке произошла после захода солнца, чтобы, когда они окажутся в воде, вокруг уже было совсем темно.

— Нет, сударь, так дело не пойдет; если будет мало света, как мы узнаем, что обе женщины уже вдоволь нахлебались водицы или им надо ее еще добавить?

— Это верно... Что ж, тогда несчастный случай произойдет перед самым закатом.

— В добрый час, сударь. Скажите, а старуха не может чего-нибудь заподозрить?

— Нет. Сев в лодку, она шепнет вам на ухо: «Надобно утопить малышку; перед тем как лодка пойдет ко дну, вы мне подайте знак, чтобы я мог-

ла спастись вместе с вами». Вы ответите старухе таким тоном, чтобы усыпить все ее подозрения.

— Так, чтобы она была уверена, что везет блондиночку похлебать водицы...

— И сама нахлебается вместе с нею.

— Лихо вы все это придумали, сударь.

— Главное, смотрите, чтобы старуха ничего не заподозрила!

— Не бойтесь, господин хороший, она все проглотит, как ложку меда.

— Ну ладно, желаю удачи, любезный! Я вами доволен, быть может, вы мне еще понадобитесь.

— К вашим услугам, сударь!»

— После этого, — продолжал злодей, окончив свой рассказ, — я распрощался с человеком в плаще, снова сел в свою лодку и, по пути, проплывая мимо галиота, заграбастал ту славную добычу, что мы только-только разобрали.

Из рассказа Николя становится понятно, что нотариус хотел, прибегнув к двойному преступлению, разом избавиться и от Лилии-Марии, и от г-жи Серафен, заставив старуху угодить в ту же самую западню, которая, как она думала, была расставлена для одной только Певуньи.

Надо ли повторять, что, с полным основанием опасаясь, как бы Сычиха с минуты на минуту не

рассказала Лилии-Марии, что та в раннем детстве была брошена г-жой Серафен, Жак Ферран был крайне заинтересован в том, чтобы заставить молодую девушку исчезнуть навсегда, ибо ее жалоба могла причинить ущерб его богатству и сильно повредить его репутации.

Что же касается г-жи Серафен, то, принося ее в жертву, нотариус избавлялся таким образом от одного из своих сообщников (другим его сообщником был Брадаманти), которые могли бы погубить его, правда, погибнув при этом и сами; но Жак Ферран полагал, что могила сохранит его тайны надежнее, чем чувство самосохранения этих людей.

Вдова казненного и Тыква внимательно слушала рассказ Николя, который прерывал его только обильными возлияниями. Вот почему он говорил со все большим возбуждением.

— Это еще не все, — похвалялся он, — я тут затеял еще одно дельце вместе с Сычихой и Крючком с Бобовой улицы. Это знатная затея, и мы все лихо обдумали; если наш план не сорвется, пожива будет на славу, скажу не хвастаясь. Мы решили выпотрошить одну торговку драгоценностями, у нее порою в плетеной сумке, которую она носит с собой, бывает брильянтов тысяч на пятьдесят.

— На пятьдесят тысяч франков! — воскликнули мать и дочь, и глаза у них загорелись от алчности.

— Да... уж никак не меньше. Краснорукий с нами в доле. Вчера он уже пригласил к себе эту торговку, написал ей письмо, а мы с Крючком отнесли его писульку на бульвар Сен-Дени. Ну и ловкач же этот Краснорукий! Так как у нега деньжата водятся, его никто не остерегается. Чтобы заманить торговку; он уже продал по ее просьбе брильянтов на четыреста франков. Так что она не побоится прийти под вечер в его кабачок на Елисейских полях. Мы там хорошенько спрячемся. Тыква тоже с нами пойдет, будет стеречь мою лодку на Сене, у берега. Коли понадобится отвезти торговку — живую или мертвую, — вот и удобный экипаж готов, да такой, что следов после себя не оставляет. Да уж, придумка так придумка! У этого прощелыги Краснорукого, как говорится, ума палата!

— А я никогда не доверяла твоему Краснорукому, — заявила вдова. — Особливо после этой истории на Монмартре, когда твой брат Амбруаз угодил в Тулон, а Краснорукий вышел сухим из воды.

— Потому как против него улик не нашлось

— он ведь до того хитер!.. Но чтобы он продал других... Нет, никогда!

Вдова только покачала головой с таким видом, будто она лишь наполовину была убеждена в «порядочности» Краснорукого.

Немного подумав, она сказала:

— Мне больше по душе это дело с набережной Бийи, что намечено на завтрашний или послезавтрашний вечер... ну, когда надо утопить двух женщин... Вот только Марсиаль будет нам помехой... как всегда...

— Когда наконец дьявол избавит нас от твоего Марсиаля?.. — заорал Николя, уже сильно захмелевший, и с яростью вонзил свой длинный нож в крышку стола.

— Я уже говорила матушке, что он у нас в печенках сидит, что так дольше продолжаться не может, — подхватила Тыква. — До тех пор пока он будет здесь торчать, из малышей толка не будет...

— А я вам говорю, что с него, негодяя, станется в один прекрасный день донести на нас! — крикнул Николя. — Видишь ли, мать... вот если б ты меня послушала... — прибавил он со зверским выражением лица и многозначительно поглядел на вдову, — все бы и устроилось....,

— Есть и другие средства.

— Лучше моего средства не найдешь! — настаивал злодей.

— Пока еще... нет, — ответила вдова так решительно, что Николя прикусил язык: он всецело находился под влиянием матери, зная, что она так же зла и преступна, как он сам, но гораздо более решительна и властна.

Между тем вдова прибавила:

— Завтра утром он навсегда уедет с острова.

— Это почему? — в один голос спросили Тыква и Николя.

— Он скоро придет; затейте с ним ссору... только действуйте смелее, открыто... до сих пор вы ни разу еще не отважились на это... но ведь вас будет двое, да и я вам помогу... Только нож в ход не пускать... я не хочу крови... его надо избить, но не ранить.

— Ну а потом, ну а затем, мать? — спросил Николя.

— Потом... мы с ним потолкуем... Мы потребуем, чтобы он убрался с острова завтра же... а не то такие потасовки будут происходить каждый вечер... Я его хорошо знаю, постоянные драки ему не по душе. До сих пор мы его почти не трогали, оставляли в покое.

— Да, но ведь он упрям как мул; он, может, все-таки захочет остаться тут из-за детей... — сказала Тыква.

— Да, он законченный негодяй... и дракой его не испугаешь, — прибавил Николя.

— Одной дракой не запугаешь... — согласилась вдова. — Но если потасовки будут каждый день, изо дня в день... такого ада он не выдержит... и уступит...

— А коли не уступит?

— Тогда есть у меня еще одно надежное средство заставить его убраться этой же ночью, самое позднее завтра утром, — сказала вдова со странной усмешкой.

— Правда, мать?

— Да, только я предпочла бы испугать его постоянными драками; ну а коли ничего не выйдет... тогда прибегну к тому средству.

— А ежели и то средство не поможет? — спросил Николя.

— Всегда есть крайнее средство, а уж оно-то всегда помогает, — ответила вдова.

Внезапно дверь распахнулась, и вошел Марсиаль.

Ветер снаружи завывал с такой силой, что сидевшие в кухне не услышали лая собак, воз-

вещавшего о приходе старшего сына вдовы казненного.

Глава II.
МАТЬ И СЫН

Не подозревая о дурных намерениях своих родичей, Марсиаль медленно вошел в кухню. Несколько слов, сказанных Волчицей в ее разговоре с Лилией-Марией, уже дали читателю некоторое представление о странном образе жизни этого человека. Будучи от природы добрым малым, не способным совершить по-настоящему низкий или предосудительный поступок, Марсиаль тем не менее вел не слишком-то правильную жизнь. Он ловил рыбу, нарушая все правила и установления, а его сила и отвага внушали такой страх инспекторам по рыболовству, что они закрывали глаза на то, что он браконьерствовал на реке.

Помимо этого, можно сказать, не вполне законного промысла, Марсиаль прибегал к занятию уже и вовсе не дозволенному.

Храбрый, вызывавший страх у окружающих, он охотно участвовал — причем не столько из жадности, сколько от сознания своей силы и мужества — в кулачных боях и драках на дубинках, защищая тех, чьи противники были сильнее;

надо добавить, что Марсиаль весьма придирчиво и справедливо отбирал своих «подопечных», которых защищал с помощью мощных кулаков: как правило, он принимал сторону слабого человека, обиженного более сильным.

Лицом любовник Волчицы походил на Франсуа и Амандину; он был среднего роста, коренастый и широкоплечий; его густые рыжие волосы, подстриженные ежиком, спускались на довольно широкий лоб пятью клинышками; густая, жесткая и короткая борода, широкоскулые щеки, крупный, резко очерченный нос, синие глаза, отважный взгляд — все это придавало его мужественному лицу выражение необыкновенной решительности.

На голове у него была клеенчатая шляпа; несмотря на холодную пору года, он носил поверх куртки и штанов из грубого, сильно поношенного бумажного велюра только вылинявшую голубую блузу. В руке у него была большая суковатая дубинка, которую он положил рядом с собою на буфет.

Крупная кривоногая такса черного окраса с красноватыми подпалинами вошла в кухню вслед за Марсиалем; но она остановилась на пороге, не решаясь подойти ни к огню, ни к со-

трапезникам, уже сидевшим за столом: опыт подсказывал старому Миро (там звали пса — давнего спутника Марсиаля в его браконьерских занятиях), что он, как и его хозяин, симпатиями в этой семье не пользовался.

— А где же дети?

С этими словами Марсиаль присел к столу.

— Дети находятся там, где находятся, — язвительно ответила Тыква.

— Мать, а где дети? — снова спросил — Марсиаль, пропустив мимо ушей ответ сестры.

— Они спать пошли, — сухо ответила вдова.

— А они что же, не ужинали, мать?

— Слушай, ты, а какое тебе до этого дело? — грубо крикнул Николя, хватив перед этим большой стакан вина для храбрости, ибо характер и сила брата были ему хорошо известны.

Марсиаль обратил внимание на грубый выпад Николя не больше, чем на вызывающий ответ Тыквы, и снова обратился к матери:

— Мне не по душе| что детей уже отправили спать.

— Тем хуже... — сказала в ответ вдова.

— Вот именно, тем хуже!.. Потому что я люблю, чтобы за ужином они сидели возле меня.

— А нам они надоели, потому мы их и вы-

проводили! — заорал Николя. — А коли тебе не нравится, ступай и разыщи их!

Удивленный Марсиаль кристально поглядел на брата. Потом, как видно, решив, что ссориться ни к чему, он молча пожал плечами, отрезал толстый ломоть хлеба и кусок мяса.

Такса между тем подошла тс Николя, держась, правда, на почтительном расстоянии; злодей, разозленный презрительным равнодушием брата и надеясь вывести его из терпения, обидев собаку, с такой силой ударил Миро ногою, что пес жалобно завизжал.

Марсиаль побагровел, судорожно сжал в руке нож и грохнул кулаком по столу; но, все еще сдерживаясь, он кликнул собаку и ласково сказал ей:

— Пойди сюда, Миро.

Такса улеглась у ног своего хозяина. Такая сдержанность разрушала планы Николя; он хотел вывести брата из терпения, чтобы завязать ссору. И потом он прибавил:

— А я, я вообще не люблю собак... не желаю я, чтобы твой пес оставался на кухне!..

Ничего не ответив, Марсиаль налил себе стакан вина и стал медленно пить.

Обменявшись быстрым взглядом с Николя, вдова молча подбодрила его и сделала ему знак

продолжать враждебные выпады против Марсиаля, рассчитывая, как мы уже говорили, что бурная ссора приведет к полному разрыву с ним и заставит его уйти из дома.

Николя встал с места, взял возле очага ивовый прут, которым вдова избила Франсуа, и, подойдя к таксе, больно стегнул ее, проговорив:

— Пошел вон отсюда, Миро!

До этого дня Николя не раз, но всегда осторожно и исподтишка задевал Марсиаля, но никогда еще он не осмеливался вести себя так нагло и с такой настойчивой враждебностью.

Возлюбленный Волчицы, догадываясь, что с какой-то непонятной целью его хотят вывести из себя, удвоил свою сдержанность.

Услышав визг собаки, которую ударил Николя, Марсиаль встал, отворил дверь из кухни, выпустил таксу наружу и снова вернулся к столу.

Это необъяснимое терпение, так мало отвечавшее обычно вспыльчивому нраву Марсиаля, озадачило его недоброжелателей... Они были изумлены и переглядывались с непонимающим видом.

Марсиаль, казалось, оставался совершенно чужд происходящему, он с высокомерным видом продолжал есть и хранил глубокое молчание.

— Тыква, убери вино, — приказала вдова дочери.

Та поспешно кинулась выполнять это приказание, но Марсиаль сказал:

— Погоди... я еще не кончил ужинать.

— Тем хуже! — прошипела вдова и сама убрала бутылку со стола.

— Ах, так!.. Тогда другое дело!.. — сказал возлюбленный Волчицы.

Он налил себе большой стакан воды, выпил, прищелкнул языком и объявил:

— До чего ж хороша водичка!

Столь непоколебимое хладнокровие распалило ненависть Николя, уже сильно возбужденного обильными возлияниями; тем не менее он еще побаивался начать открытую атаку, хорошо зная недюжинную силу своего брата; внезапно он закричал, в восторге от собственной выдумки:

— Ты хорошо поступил, подчинившись нашему обращению с твоей таксой, Марсиаль; тебе надо бы взять такое поведение за обычай; потому как ты подготовься к тому, что мы пинками выгоним твою полюбовницу, как только что выгнали твою собаку.

— Да, да... ежели, на свою беду, Волчица, выйдя из тюрьмы, вздумает заявиться сюда, — подхва-

тила Тыква, догадавшись о намерениях Николя, — я сама надаю ей знатных оплеух!

— Ну а я заставлю ее нырнуть в тину возле лачуги, что стоит на остроконечном берегу острова, — подхватил Николя. — А коли она вынырнет на поверхность, я опять загоню ее в ил пинками моих башмаков... твою стерву...

Эта брань, адресованная Волчице, которую Марсиаль любил с дикой страстью, взяла верх над его мирными намерениями; он нахмурил брови, вся кровь бросилась ему в лицо, жилы на его лбу набухли и напоминали теперь веревки; и все же у него хватило самообладания, и он только сказал брату слегка задрожавшим от сдержанного гнева голосом:

— Слушай, поберегись... ты ищешь ссоры, а получишь такую выволочку, какой не ждешь...

— Я получу выволочку... от тебя?

— Да, от меня... и я угощу тебя почище, чем в прошлый раз.

— Как, Николя! — с деланным удивлением язвительно Спросила Тыква. — Разве Марсиаль тебя поколотил?.. Подумать только! Матушка, вы слышите?.. Теперь меня больше не удивляет, что Николя так его боится.

— Он меня поколотил... потому что напал сзади!

— крикнул Николя, побелев от ярости.

— Лжешь; это ты на меня напал исподтишка, и я тебе задал трепку, а потом мне тебя стало жаль; но если ты еще раз посмеешь говорить такие гадости о моей возлюбленной... слышишь, о моей возлюбленной... тогда уж пощады не жди... У тебя долго не пройдут синяки и следы от побоев.

— А если я захочу поговорить в таком духе о Волчице? — спросила Тыква.

— Я дам тебе пару затрещин для начала, ну а коли ты опять примешься ее оскорблять... я тебя так отдую...

— Ну а если о ней заговорю я? — медленно спросила вдова.

— Вы, матушка?

— Да... я.

— Вы? — переспросил Марсиаль, изо всех сил стараясь сдержаться. — Вы?

— Ты и меня поколотишь, не так ли?

— Нет, но если вы будете дурно говорить о Волчице, я вздую Николя; ну, а так, как знаете... это ваше дело... да и его тоже.

— Это ты-то, ты меня поколотишь!!! — в ярости завопил злодей, размахивая своим грозным каталонским ножом.

— Николя... оставь нож! — крикнула вдова,

быстро поднимаясь с места, чтобы схватить сына за руку, но тот, опьянев от вина и гнева, вскочил, грубо оттолкнул мать и кинулся на старшего брата.

Марсиаль стремительно отступил назад, схватил свою толстую суковатую дубинку, которую он, войдя в кухню, положил на буфет, и занял оборонительную позицию.

— Николя, брось нож! — повторила вдова.

— Да не мешайте вы ему! — закричала Тыква, схватив топорик черпальщика.

Николя, все еще размахивая своим ужасным ножом, выжидал удобной минуты, чтобы наброситься на брата.

— Я тебя предупреждаю, — вопил он, — что тебя и твою дрянь Волчицу я истреблю, а сейчас начну с тебя... Ко мне, матушка... ко мне, Тыква! Остудим-ка его, слишком долго мы терпели!

Сочтя, что удобный момент для нападения наступил, этот разбойник кинулся на брата, выставив вперед нож.

Марсиаль, опытный боец на дубинках, быстро отскочил в сторону, поднял дубинку, и она с быстротой молнии, описав в воздухе восьмерку, с размаху опустилась на правое предплечье Николя; сила эта неожиданного и болезненного удара

была такова, что тот выронил нож.

— Негодяй... ты сломал мне руку! — завопил Николя, схватившись левой рукой за правую, повисшую вдоль тела как плеть.

— Не бойся, не сломал, я почувствовал, как дубинка отскочила, — спокойно ответил Марсиаль, отшвырнув ударом ноги нож, отлетевший под стойку.

Затем, воспользовавшись болью, которую испытывал Николя, Марсиаль схватил брата за шиворот, резко отпихнул его назад и потащил к двери в небольшой погреб, о котором мы уже упоминали; отворив эту дверь одной рукой, он другою втолкнул Николя, ошеломленного этим внезапным нападением, в темный погреб и захлопнул дверь.

Затем, вернувшись к обеим женщинам, Марсиаль схватил Тыкву за плечи и, несмотря на ее ожесточенное сопротивление и на то, что она топориком слегка поранила его руку, не обращая внимания на ее дикие вопли, запер сестру в низкой зале кабачка, примыкавшей к кухне.

После чего, обратившись к матери, которая не пришла еще в себя при виде этого столь же ловкого, сколь и неожиданного маневра своего старшего сына, Марсиаль холодно сказал ей:

— Ну, а теперь, мать, потолкуем вдвоем.

— Ладно! Согласна... потолкуем вдвоем!.. — громко сказала вдова, и ее обычно бесстрастное лицо оживилось, мертвенно-бледная кожа слегка порозовела, обычно тусклые глаза загорелись мрачным огнем: гнев и ненависть придали ее физиономии ужасный вид. — Ладно, потолкуем вдвоем!.. — продолжала она с угрозой в голосе. — Я ждала этой минуты, ты наконец-то узнаешь обо всем, что у меня на душе.

— И я, я тоже выскажу вам все, что у меня на душе.

— Проживи еще хоть сто лет, но этой ночи ты не забудешь, так и знай...

— Да, я ее не забуду!.. Брат и сестра собирались меня укокошить, а вы ничего не сделали, чтобы помешать им... Но мы еще поглядим: ладно, говорите... что вы имеете против меня?

— Что я имею против тебя?..

— Вот именно...

— После гибели твоего отца... ты вел себя трусливо и подло!

— Я?

— Да, ты трус!.. Вместо того чтобы жить с нами и поддерживать нас, ты отправился в Рамбулье и браконьерствовал в тамошних лесах с этим про-

давцом дичи, с которым ты спознался в Берси.

— Останься я тут, с вами, я был бы сейчас на каторге, как Амбруаз, или мог бы вот-вот туда угодить, как Николя; я не хотел стать таким вором, как все вы... потому-то вы меня и ненавидите.

— А каким ремеслом ты занимаешься? Воруешь дичь, воруешь рыбу, только воруешь, не подвергая себя опасности, воруешь трусливо!..

— Рыба, как и дичь, никому не принадлежит; нынче они — у одного, завтра — у другого, надо только суметь их поймать... Нет, я не ворую... А что до того, трус ли я...

— Ну да, ты за деньги избиваешь людей, тех, кто послабее тебя!

— Потому что они сами избивали тех, кто слабее их.

— Трусливое ремесло... ремесло для труса!..

— Есть более достойные занятия, это правда; да только не вам меня судить!

— Отчего же ты тогда не взялся за эти более достойные занятия, вместо того чтобы заявляться сюда, бездельничать и жить на мой счет?

— Я приношу вам рыбу, которую мне удается поймать, и все те деньги, что мне удается заработать!.. Это немного, но этого хватает на жизнь... я вам ничего не стою... Я попробовал было сделать-

ся слесарем, чтобы 'зарабатывать побольше... но когда человек с самого детства привык бродяжничать, проводить время на реке или в лесу, прижиться в другом месте трудно; с этим ничего не поделаешь... такой уж- мой удел... А потом, — прибавил сумрачно Марсиаль, — мне всегда было по душе жить одному на реке или в лесу... Там никто не приставал ко мне с расспросами. А всюду в других местах только и говорят о моем отце, и мне приходится отвечать, что он погиб на гильотине! Судачат о моем брате-каторжнике! О моей сестре-воровке!

— Ну а что ты говоришь о своей матери?

— Я говорю...

— Что же именно?

— Я говорю, что она умерла.

— И хорошо делаешь; я и в самом деле как умерла... Я отрекаюсь от тебя, трус! Твой брат на каторге! Твой дед и твой отец храбро кончили жизнь на эшафоте, смеясь в лицо священнику и палачу! Вместо того чтобы отомстить за них, ты дрожишь от страха!..

— Отомстить за них?

— Да, вести себя, как подобает истинному Марсиалю, плевать на нож дяди Шарло и на его красный плащ и кончить свою жизнь как твой

отец и твоя мать, как твой брат и сестра...

Хотя Марсиаль и привык к свирепой экзальтации своей матери, он не мог подавить дрожь.

Когда вдова казненного произносила последние слова, лицо ее было ужасно.

Она опять заговорила со все возрастающей яростью:

— Да, ты трус! И не просто трус, но вдобавок и болван! Захотел быть честным!!! Честным? Но разве тебя не будут вечно презирать и гнать как сына убийцы, как брата каторжника! А ты, вместо того чтобы копить в душе месть и ненависть, ты предаешься страху! Вместо того чтобы кусать недругов, ты спасаешь свою шкуру! Когда они послали твоего отца на гильотину... ты нас бросил... трус! А ты ведь хорошо знал, что мы не можем уехать с этого острова и переселиться в город, потому что нам вслед улюлюкали, в нас швыряли камнями как в бешеных псов! О, они нам за это заплатят, понятно?! Они нам за все заплатят!!!

— Я не испугаюсь не только одного противника, но даже десятка противников, но позволять, чтобы все свистели и улюлюкали тебе вслед, потому что ты сын убийцы и брат каторжника... ну нет, на это я не согласен! Это не по мне... я предпочел уйти в леса и браконьерствовать там вместе с

продавцом дичи Пьером.

— Вот и оставался бы там... в своих лесах.

— Я вернулся потому, что у меня тут одно дело с полевым сторожем, а главное — из-за детей..., потому как они теперь в таком возрасте, что дурной пример может и их заставить пойти по дурной дорожке.

— А тебе-то что до этого?

— А то, что я не хочу, чтобы они стали такими же проходимцами, как Амбруаз, Николя и Тыква...

— Просто ушам своим не верю!

— А если они останутся одни со всеми вами, им не избежать общей участи. Я стал было учиться ремеслу, чтобы заработать деньги и забрать с собою детей, увезти их с этого острова... но в Париже все знают... и там я оставался сыном погибшего на гильотине... братом каторжника... мне пришлось всякий день вступать в драки... и я в конце концов от этого устал.

— А вот быть честным ты не устал... тебе это до того нравилось!.. Вместо того чтобы собраться с духом и вернуться к нам, чтобы стать таким, какими станут дети... вопреки твоей воле... да, вопреки твоей воле... Ты думаешь увлечь их своей рыбной ловлей... но мы тут, начеку... Франсуа уже

наш... почти наш... нужен подходящий случай, и он вступит в шайку...

— А я вам говорю, что нет...

— Сам убедишься, что да... уж я в таких делах разбираюсь... В его душе уже живет порок, вот только ты мешаешь... А что до Амандины, то как только ей исполнится пятнадцать лет, она пойдет по известной дорожке... Да, в нас швыряли камнями! Да, нас гнали как бешеных псов!.. Но они еще увидят, что такое наша семья, все мы, кроме тебя, трус, ибо здесь только тебя одного нам приходится стыдиться[103].

— Очень жаль.

— А так как, оставаясь с нами, ты можешь испортиться... завтра ты отсюда уйдешь и никогда больше не появишься...

---

[103] Notes: 103

Эти ужасные доводы, х сожалению, вовсе не преувеличены. Вот что можно прочесть в превосходном докладе г-на де Бретиньера о положении в исправительной колонии в Метрэ (заседание от 12 марта 1842 г.):

«Гражданское состояние содержащихся в колонии тоже важно отметить: среди них насчитывается тридцать два незаконнорожденных, тридцать четыре ребенка, которых родители бросили, сочетавшись новым браком, у пятидесяти одного воспитанника родители в тюрьме, у ста двадцати четырех родители не подвергались судебным преследованиям, но ведут нищенский образ жизни.

Эти цифры весьма красноречивы и поучительны: они позволяют понять не только последствия, но и причины, и оставляют надежду остановить рост зла, источники которого таким образом установлены.

Количество преступных родителей способствует тому порочному воспитанию, которое получили дети, опекаемые подобными «наставниками». Приученные ко злу своими родителями, дети совершали дурные поступки, повинуясь их приказам и следуя дурным примерам. Подвергаясь судебному преследованию, они покорно разделяют судьбу своих близких; отправляясь с ними в тюрьму, они как бы состязаются в пороке, и поистине необходимо, чтобы в этих грубых и исковерканных натурах, чудом сохранялись отблески божественной благодати, чтобы семена честности не заглохли в их душах».

Марсиаль с удивлением посмотрел на мать; после короткого молчания он спросил:

— Вы и затеяли за ужином ссору со мной, чтобы этого добиться?

— Да, чтобы показать тебе, что тебя ожидает, если ты, против нашей воли, захочешь тут остаться. Тебя ждет ад... слышишь... сущий ад!.. Каждый день будут ссоры, тумаки, потасовки, и мы не будем одни, как сегодня вечером; нам на помощь придут друзья... ты и недели не выдержишь...

— Вы надеетесь меня запугать?

— Просто я говорю тебе, как это будет...

— Мне все равно... я остаюсь...

— Ты останешься здесь?

— Да.

— Против нашей воли?

— Против вашей воли, против воли Тыквы, против воли Николя, против воли всех прощелыг его пошиба!

— Ну знаешь... мне просто смешно.

В устах этой женщины со зловещим и свирепым лицом слова эти прозвучали устрашающе.

— Я вам повторяю, что останусь тут до тех пор, пока не найду способа зарабатывать на жизнь в другом месте, а тогда заберу отсюда детей; будь я один, мне бы долго думать не пришлось: я вер-

нулся бы в леса; но из-за них мне понадобится время... чтобы подыскать работу, какую я ищу... А покамест я остаюсь.

— Ах, так! Ты остаешься... до тех пор, пока сможешь забрать детей?

— Вы в самую точку попали!

— Собрался забрать отсюда детей?

— Как только я им скажу: идемте со мной, они не только пойдут, но побегут за мной, уж в этом-то я ручаюсь.

Вдова пожала плечами, а потом опять заговорила:

— Слушай: я тебе только что сказала, что проживи ты хоть сотню лет, ты этой ночи не забудешь; так вот, я тебе сейчас объясню почему; но прежде повтори: ты твердо решил не уходить отсюда?

— Да, да! Тысячу раз «да»!

— Скоро ты скажешь «нет» и прибавишь: «тысячу раз «нет»! Слушай же внимательно... Ты знаешь, чем занимается твой брат?

— Подозреваю, но знать этого не хочу...

— Так знай, он ворует...

— Тем хуже для него.

— И для тебя тоже...

— А я — то при чем?

— Он ворует по ночам, часто со взломом, а за

это полагается каторга; коли его поймают, нас всех отправят туда же как укрывателей и скупщиков краденого, тебя тоже осудят; заметут всю семью, и дети окажутся на улице, там они быстро научатся ремеслу твоего отца и деда, научатся еще скорее, чем дома.

— Меня арестуют как укрывателя краденого и вашего сообщника? А на каком основании?

— Все знают, как ты живешь: браконьерствуешь на реке, бродяжничаешь, у тебя дурная слава, и живешь ты вместе с нами; кого ты убедишь, кто тебе поверит, будто ты не знал, что мы воруем и укрываем краденое?

— А я докажу, что не знал.

— Да мы сами объявим тебя своим сообщником.

— Объявите сообщником? Почему?

— В отплату за то, что ты пожелал остаться тут против нашей воли.

— Только что вы хотели запугать меня одним способом, теперь хотите добиться этого по-другому; но у вас ничего не выйдет, я докажу, что никогда не воровал. И я остаюсь.

— Ах, ты остаешься! Ну, тогда слушай дальше. Помнишь, что у нас тут происходило в прошлом году в рождественскую ночь?

— В рождественскую ночь? — переспросил Марсиаль, роясь в воспоминаниях.

— Подумай... подумай хорошенько...

— Нет, ничего я не припоминаю...

— Разве ты не помнишь, что Краснорукий привел сюда в тот вечер хорошо одетого господина, которому почему-то надо было скрываться?..

— Да, теперь я припоминаю; я ушел к себе наверх спать, а он остался с вами ужинать... Ночь он провел в доме, а на рассвете Николя отвез его в Сент-Уэн...

— А ты уверен, что Николя отвез его в Сент-Уэн?

— Вы мне сами утром так сказали.

— Стало быть, в рождественскую ночь ты был дома?

— Ну был... и что из того?

— В ту ночь... человек этот, у которого было много денег с собой, был убит в нашем доме.

— Убит?.. Здесь?..

— Сперва ограблен: потом убит и зарыт в нашем дровянике.

— Быть того не может! — крикнул Марсиаль, побледнев от ужаса и не желая поверить в это новое преступление его родных. — Вы просто хотите меня запугать. Еще раз повторяю: быть

того не может!

— А ты расспроси своего любимчика Франсуа, спроси его, что он обнаружил нынче утром в дровяном сарае?

— Франсуа? А что он такое обнаружил?

— Он увидел, что из-под земли высовывается человечья нога... Возьми фонарь, сходи туда и сам во всем убедишься.

— Нет, — проговорил Марсиаль, вытирая холодный пот со лба, — нет, не верю я вам... Вы это говорите для того, чтобы...

— Чтобы доказать тебе, что ежели ты против нашей воли останешься тут, то можешь в любую минуту попасть под стражу как соучастник в ограблении и убийстве; ты был в доме в рождественскую ночь; мы скажем, что ты помог нам в этом деле. Как ты докажешь противное?

— Господи! Господи! — пробормотал Марсиаль, закрыв лицо руками.

— Ну, а теперь ты уйдешь? — спросила вдова с язвительной усмешкой.

Марсиаль был ошеломлен: к несчастью, он больше не мог сомневаться в том, что мать сказала ему правду; бродячая жизнь, которую он вел, то, что он жил в столь преступной семье, и в самом деле должно было навлечь на него самые

ужасные подозрения, и подозрения эти могли превратиться в твердую уверенность в глазах служителей правосудия, если бы мать, брат и сестра указали на него как на своего сообщника.

Вдова наслаждалась тем, как был подавлен ее сын.

— У тебя, правда, есть способ избежать неприятностей: донеси на нас сам!

— Стоило бы так сделать... но я этого не сделаю... и вы это хорошо знаете.

— Потому-то я тебе все и рассказала... Ну, а теперь ты уберешься отсюда?

Марсиаль попробовал разжалобить эту мегеру; глухим голосом он сказал:

— Мать, я не верю, что вы способны на убийство...

— Это как тебе угодно, но убирайся отсюда.

— Я уйду, но только с одним условием.

— Никаких условий!

— Вы отдадите детей обучаться какому-нибудь ремеслу... далеко отсюда... в провинции...

— Дети останутся здесь...

— Скажите, мать, когда вы сделаете их похожими на Николя, на Тыкву, на Амбруаза, на моего отца... что это вам даст?

— А то, что они станут нам помогать в нужных

делах... нас и так уже слишком мало... Тыква неотлучно находится со мной, помогает обслуживать посетителей кабачка. Николя работает один: хорошенько получившись, Франсуа и Амандина будут ему добрыми помощниками, в них ведь тоже швыряли камнями, в них, в малышей... так что пусть и они мстят!

— Скажите, мать, вы ведь любите Тыкву и Николя, не так ли?

— И что из этого?

— Если дети станут им подражать... если ваши и их преступления раскроют...

— Дальше!

— Они ведь взойдут на эшафот, как и отец...

— Ну, говори дальше, говори!

— И ожидающая их судьба вас не страшит?!

— Их судьба будет такой же, как и моя, не хуже и не лучше... Я ворую, и они воруют; я убиваю, и они убивают; кто возьмет под стражу мать, возьмет под стражу и детей... Мы разлучаться не станем. Коли наши головы слетят с плеч, они упадут в одну и ту же корзину... и тогда мы простимся друг с другом! Нет, мы не отступим; в нашей семье только один трус, это ты, и мы тебя прогоняем... убирайся отсюда!

— Но дети! Дети!

— Дети вырастут! Говорю тебе, что, если бы не ты, они бы уже сейчас были с нами, Франсуа уже почти готов на все, а когда ты уйдешь, Амандина быстро наверстает упущенное время...

— Мать, я умоляю вас, согласитесь отправить детей подальше отсюда, пусть их обучат какому-нибудь ремеслу.

— Сколько раз повторять тебе, что их хорошо обучают здесь?!

Вдова казненного произнесла последние слова с такой непреклонностью, что Марсиаль утратил последнюю надежду смягчить эту душу, выкованную из бронзы.

— Ну, коли так, — сказал он отрывисто и решительно, — теперь хорошенько выслушайте меня в свой черед, мамаша... Я остаюсь.

— Ха-ха-ха!

— Я останусь, но не в этом доме... тут меня укокошит Николя или отравит Тыква; но так как в другом месте мне покамест жить не на что, я вместе с детьми поселюсь в лачуге на краю острова; дверь там крепкая, да я ее еще закреплю... Находясь там, да вдобавок хорошо забаррикадировавшись, имея под рукой мое ружье, дубинку и пса, я никого не боюсь. Завтра утром я заберу отсюда детей; днем они будут возле меня — либо

в лодке, либо в лесу; а ночью мы будем спать все вместе в этой лачуге; пропитание мы станем добывать себе рыбной ловлей; и так будет до тех пор, пока я найду способ их пристроить, а я его найду...

— Ах, вот что ты надумал!

— Ни вы, ни мой братец, ни Тыква не можете этому помешать, не так ли?.. Если ваши кражи и убийство обнаружат, пока я еще буду на острове... тем хуже, но я готов на риск! Я объясню, что я возвратился сюда и остался тут ради детей, для того чтобы помешать вам превратить их в негодяев... Пусть меня даже судят... Но разрази меня гром, если я уеду с острова или если дети хотя бы еще один день останутся в этом доме!.. Да, я вам бросаю вызов, вам и вашим сообщникам: попробуйте-ка прогнать меня с острова!

Вдова хорошо знала решительный нрав Марсиаля; дети не только побаивались старшего брата, но и любили его; так что они без колебаний пойдут за ним туда, — куда он захочет. Что же касается его самого, хорошо вооруженного, готового на все, постоянно остающегося начеку, — ведь он весь день будет в своей лодке, а ночь будет проводить, укрывшись и хорошо забаррикадировавшись в своей лачуге на берегу, — то

ему нечего будет опасаться злобных намерений своих родичей.

Таким образом, план Марсиаля мог успешно осуществиться... Однако у вдовы было множество причин, чтобы помешать этому.

Во-первых, подобно тому, как честные ремесленники порою смотрят на своих многочисленных детей как на источник благосостояния, потому что те помогают им в работе, вдова рассчитывала на то, что дети будут помогать семье совершать преступления.

Во-вторых, то, что она говорила о своем желании мстить за мужа и за сына, было правдой. Некоторые люди, выросшие, состарившиеся и закореневшие в преступной деятельности, отваживаются на открытый бунт против общества, вступают с ним в жестокую борьбу и считают, что, совершая новые преступления, они таким способом мстят за кару, пусть даже справедливую, которая обрушилась на них самих или на их близких.

И наконец, в-третьих, зловещим намерениям Николя в отношении Лилии-Марии, а затем и в отношении г-жи Матье присутствие Марсиаля могло серьезно помешать. Вдова надеялась добиться немедленного разрыва между семьей

и Марсиалем, либо вызвав ссору между ним и Николя, либо объяснив Марсиалю, что если он будет упорствовать в своем решении оставаться на острове, то рискует прослыть сообщником в нескольких уже совершенных его родными преступлениях.

Столь же хитрая, сколь и прозорливая, вдова, убедившись в ошибочности своих расчетов, поняла, что следует прибегнуть к вероломству для того, чтобы заманить сына в кровавую западню... После продолжительного молчания она вновь заговорила с притворной горечью:

— Теперь мне понятен твой план, сам ты на нас доносить не хочешь, но ты собираешься добиться, чтобы это сделали дети.

— Я собираюсь?

— Они ведь знают теперь, что в сарае зарыт какой-то человек; знают они и то, что Николя только что совершил кражу... Если их отдать в обучение ремеслу, они там все разболтают, нас арестуют, мы все угодим в тюрьму... ты, кстати, тоже: вот что получится, коли я тебя послушаюсь и позволю тебе увезти отсюда детей... А ты еще утверждаешь, что не хочешь нам зла!.. Я не прошу тебя любить меня, но не торопи, по крайней мере, час нашей гибели.

Смягчившийся тон вдовы заставил Марсиаля поверить, что его угрозы оказали на нее благотворное влияние — и он попал в расставленную ему ужасную западню.

— Я знаю детей, — продолжал он, — и я уверен, что, если не разрешу им ничего говорить, они никому ничего не скажут... К тому же, так или иначе, я все время буду с ними и отвечаю за то, что они будут молчать.

— Разве можно отвечать за детей, за их болтовню... особливо в Париже, где все так болтливы и любопытны!.. Я хочу, чтобы они оставались тут не только для того, чтобы помогать нам в делах, но и для того, чтобы они не могли нас продать.

— А разве они не ходят иногда в соседний городок или в Париж? Кто им помешает там разговориться... если им того захочется? Вот если бы они были далеко отсюда, пожалуйста, в добрый час! Все, о чем бы они ни рассказали, никакой опасностью грозить не будет...

— Далеко отсюда? А где именно? — спросила вдова, в упор глядя на сына.

— Вы только позвольте мне их увезти... а куда, вас не касается...

— А на что ты будешь жить, да и они тоже?

— Мой прежний хозяин, владелец слесарной

мастерской, славный человек; я ему скажу все что надо, и, может, он даст мне взаймы немного денег, ради детей; тогда я смогу отдать их в обучение куда-нибудь подальше отсюда. Мы уедем через два дня, и вы больше никогда о нас не услышите...

— Нет, все-таки... я хочу, чтобы они остались со мной, так я буду спокойнее за них.

— Ну, тогда я завтра же устраиваюсь в лачуге на берегу в ожидании лучшего... Я ведь тоже упрям, вы мой нрав знаете!..

— Да, хорошо знаю... Ох, как бы я хотела, чтобы ты оказался далеко отсюда! И чего ты только не остался у себя в лесу?

— Я вам предлагаю избавиться сразу и от меня и от детей...

— Стало быть, ты оставишь тут Волчицу? А ты ее вроде так любишь?.. — внезапно сказала вдова.

— А вот это уж мое дело, я знаю, как поступить, у меня есть своя задумка...

— Если я позволю тебе увезти Амандину и Франсуа, обещаешь, что вашей ноги никогда в Париже не будет?

— Не пройдет и трех дней, как мы уедем и считай что умрем для вас.

— По мне, уж лучше так, чем видеть, что ты тут торчишь, и все время опасаться детей... Ладно уж, коли надо на что-то решиться, забирай детей... и убирайся с ними как можно скорее... чтоб мои глаза вас больше вовек не видели!

— Решено?!

— Решено. А теперь отдай мне ключ от погреба, я хочу выпустить оттуда Николя.

— Нет, пусть он сперва как следует протрезвится; я отдам вам ключ завтра утром.

— А как с Тыквой?

— Это другое дело; выпустите ее, когда я поднимусь к себе; мне на нее глядеть противно...

— Ступай... И хоть бы ты поскорее провалился в преисподнюю!

— Это все, что вы мне хотите сказать на прощание?

— Да, все...

— К счастью, это наше последнее прощание.

— Самое последнее... — пробурчала вдова.

Марсиаль зажег свечу, отворил дверь кухни, свистнул свою собаку, которая с радостным визгом прибежала со двора и последовала за своим хозяином на верхний этаж.

— Ступай, наши счеты с тобой покончены! — прошептала вдова, погрозив кулаком вслед сыну,

который поднимался по лестнице. — Но ты того сам захотел.

Затем с помощью Тыквы, которая разыскала и принесла связку отмычек, вдова отомкнула дверь погреба, где сидел Николя, и выпустила своего сынка на свободу.

Глава III.
ФРАНСУА И АМАНДИНА

Франсуа и Амандина спали в небольшой комнате, расположенной прямо над кухней, в конце коридора, куда выходило несколько других комнат, служивших общими залами для завсегдатаев кабачка.

Разделив на двоих свой скудный ужин, дети, вместо того чтобы потушить фонарь, как приказала им вдова, бодрствовали, оставив дверь полуоткрытой, чтобы не пропустить минуты, когда их брат Марсиаль пройдет мимо, направляясь в свою комнату.

Пристроенный на хромоногой скамеечке, фонарь отбрасывал слабый свет сквозь свой прозрачный рожок.

Грубо оштукатуренные стены комнатушки, убогое ложе для Франсуа и старая детская кроватка, ставшая уже слишком короткой для Амандины, груда нагроможденных друг на друга стульев и скамей, разбитых и расколотых шумными посетителями таверны острова Черпальщика, составляли жалкое убранство этого чулана.

Амандина, сидя на краю кровати, старательно завязывала на лбу косынку из фуляра, украденного Николя, которую он ей подарил.

Франсуа, опустившись на колени, держал осколок зеркала перед лицом сестренки, а она, повернув голову набок, старательно завязывала огромный бант, который она соорудила, стянув на лбу два кончика косынки, торчавшие, как рожки.

Франсуа с таким вниманием и восторгом любовался головным убором Амандины, что на миг отвел в сторону осколок зеркала, так что девочка не могла разглядеть в нем свое личико и головку.

— Приподними зеркало повыше, — сказала Амандина, — а то я теперь совсем себя не вижу... Так, так... хорошо...

подержи еще немного... вот я и кончила... А сейчас погляди! Как по-твоему, идет мне этот убор?

— О, так идет! Так идет!.. Господи! До чего же хорош этот бант... Ты мне сделаешь такой же для моего галстука, ладно?

— Конечно, сделаю, прямо сейчас... но позволь мне прежде немного пройтись по комнате. А ты пойдешь передо мной... пятясь назад, и будешь держать зеркало повыше... чтобы я видела себя

на ходу...

Франсуа старательно выполнил этот нелегкий маневр, к величайшему удовольствию Амандины, она просто наслаждалась, шагая с торжественным и радостным видом, увенчанная огромным бантом и рожками из фуляра.

При других обстоятельствах ее кокетство могло бы показаться просто наивным и простодушным, но теперь оно казалось почти преступным, ибо было связано с кражей, о которой и Франсуа и Амандине было хорошо известно. Вот вам еще одно доказательство того, с какой ужасающей легкостью дети, покамест ни в чем не повинные, портятся, даже сами не подозревая о том, когда они живут постоянно в преступной атмосфере и преступном окружении.

К тому же единственный наставник этих злосчастных детей — их брат Марсиаль — и сам был отнюдь не безгрешен; как мы уже говорили; он был не способен совершить кражу, а уж тем более убийство, но тем не менее сам вел бродяжническую и беспорядочную жизнь. Без сомнения, преступления членов его семьи возмущали Марсиаля; он нежно любил обоих детей и защищал их от дурного обращения; он старался вырвать их из-под тлетворного влияния семьи; но так как

сам он не опирался на строгие требования нравственности, строжайшей нравственности, то его советы недостаточно оберегали его подопечных от следования дурным примерам. Дети отказывались совершать некоторые дурные поступки не столько из честности, сколько из желания слушаться Марсиаля, которого они искренне любили, а также из нежелания подчиняться требованиям матери, которую они ненавидели и боялись.

Что же касается понимания того, что справедливо, а что несправедливо, то они были бесконечно далеки от такого понимания; каждый день сталкиваясь с отвратительными поступками и проступками, совершавшимися у них на глазах, дети к ним привыкли, ибо, как мы уже говорили, этот сельский кабачок посещали человеческие отбросы, самые дурные представители простонародья, здесь происходили отвратительные оргии и гнусные дебоши; а Марсиаль, ярый враг воров и убийц, довольно безразлично относился к этим непристойным сатурналиям.

Поэтому, хотим мы сказать, представление о нравственности у обоих детей, особенно у Франсуа, были весьма расплывчаты, зыбки и хрупки; этот подросток был в том опасном возрасте, когда

растущий человек колеблется между добром и злом и может в любую минуту погибнуть или ступить на стезю спасения... — До чего тебе идет эта красная косынка, сестрица! — воскликнул Франсуа. — Как она хороша! Когда мы пойдем играть на песчаную площадку перед печью для обжига гипса, тебе надо непременно надеть ее, это здорово разозлит детей обжигальщика, они ведь всегда кидают в нас камнями и называют ублюдками казненного... А я, я тоже надену свой красный шейный платок, он ведь так красив! И мы крикнем им в ответ: «Ну и что ж! Зато у вас нет таких славных вещиц из шелка, как у нас!»

— А скажи, Франсуа, — заговорила Амандина, немного подумав, — если б они знали, что моя косынка и твой галстучек украдены, они ведь тогда стали бы обзывать нас воришками?..

— Ну знаешь, пусть только попробуют назвать нас ворами!..

— Понимаешь, когда про тебя говорят неправду... то на это внимания не обращаешь... Но сейчас...

— Раз Николя сам подарил нам эти два лоскута фуляра, стало быть, мы их не украли.

— Так-то оно так, но он-то их стащил на корабле, а наш братец Марсиаль говорит, что воровать

нельзя...

— Но ведь воровал-то Николя, так что мы тут ни при чем.

— Ты так думаешь, Франсуа?

— Конечно...

— И все же, мне кажется, было бы лучше, если б тот, кому они принадлежали, сам их нам дал... А ты как считаешь, Франсуа?

— А по мне, все равно... Нам сделали подарок, и он теперь наш.

— Так ты в этом уверен?

— А то как же! Да, да, будь спокойна!..

— Ну тогда... тем лучше: мы не сделали того, что наш братец Марсиаль не велит, и у меня красивая косынка, а у тебя шейный платок.

— Скажи, Амандина, а если бы Марсиаль узнал про тот головной платок, что Тыква на днях велела тебе взять из короба бродячего торговца, когда он повернулся к тебе спиной?

— О Франсуа, зачем ты об этом вспоминаешь! — воскликнула бедная девочка со слезами на глазах. — Мой братец Марсиаль мог бы перестать нас любить... понимаешь... и оставил бы нас тут совсем одних...

— Да ты не бойся... разве я стану ему об этом хоть когда-нибудь говорить? Я просто для смеха

сказал...

— О, не смейся над этим, Франсуа; ты знаешь, как я тогда горевала! Но что мне было делать? Ведь сестрица щипала меня до крови, а потом она так страшно... так страшно таращила на меня глаза... У меня и то два раза духа не хватило, я уж подумала, что так и не решусь никогда... А бродячий торговец ничего и не заметил, и сестре достался головной платок. Ну, а если б меня поймали, Франсуа, меня бы ведь в тюрьму посадили...

— Но тебя не поймали, а не пойманный — не вор.

— Ты так думаешь?

— Черт побери, конечно!

— А как, должно быть, плохо в тюрьме!

— А вот и нет... напротив...

— То есть как напротив, Франсуа?

— Слушай! Ты ведь знаешь этого колченогого верзилу, что живет в Париже, у папаши Мику, который скупает краденое у Николя... этот папаша Мику содержит в Париже меблированные комнаты в Пивоваренном проезде.

— Ты говоришь о хромом верзиле?

— Ну да, помнишь он приезжал сюда поздней осенью, приезжал от имени папаши Мику, а с

ним вместе были дрессировщик обезьян и две какие-то женщины.

— Ах да, да; этот хромой верзила потратил так много, так много денег!

— Еще бы, он ведь платил за всех... Помнишь наши прогулки по реке... это я ведь тогда сидел на веслах в лодке... а дрессировщик обезьян взял с собою шарманку в лодку и там крутил ее, помнишь, какая музыка была?!

— А потом, вечером, какой они устроили красивый бенгальский огонь, Франсуа!

— Да, этого колченогого верзилу скрягой не назовешь! Он дал мне десять су на чай, только мне!!! Вино он пил всегда из запечатанных бутылок; им всякий раз подавали к столу жареных цыплят; он прокутил не меньше восьмидесяти франков!

— Так много, Франсуа?

— Можешь мне поверить!..

— Стало быть, он такой богатый?

— Вовсе нет... он гулял на те деньги, что заработал в тюрьме, откуда только-только вышел..

— И все эти деньги он заработал в тюрьме?

— Ну да... а потом он говорил, что у него еще семьсот франков осталось; а когда больше денег не останется... он провернет хорошенькое дельце.., а коли его заметут... то он этого не боится,

потому как он вернется в тюрьму, а там у него остались дружки, они вместе кутили... а еще он сказал, что у него нигде не было такой хорошей постели и вкусной кормежки, как в тюрьме... там четыре раза в неделю дают хорошее мясо, всю зиму топят, да еще выходишь оттуда с кругленькой суммой... а ведь вокруг столько незадачливых работников, которые подыхают с голоду и от холода, когда у них нет работы...

— Он так вот прямо и говорил, этот хромой верзила, а, Франсуа?

— Я своими ушами слышал... я ведь говорил тебе, что сидел на веслах, когда они катались по реке, он все это рассказывал Тыкве и тем двум женщинам, а они прибавляли, что так живут и в женских тюрьмах, из которых они только-только освободились.

— Но тогда получается, Франсуа, что воровать не так уж плохо, раз так хорошо в тюрьме живется?

— Конечно! Знаешь, я и сам не понимаю, почему в нашем доме один только Марсиаль говорит, что воровать дурно... может, он ошибается?

— Все равно надо ему верить, Франсуа... он ведь так нас любит!

— Любить-то он нас любит, это верно... когда

он тут, нас никто не смеет колотить... Будь он дома нынче вечером, мать не наградила бы меня колотушками... Старая дура! До чего она злая!.. Ох как я ее ненавижу... мне так хочется поскорее вырасти, уж я бы ей вернул все тумаки, которыми она нас осыпает... особенно тебя, ты-то ведь послабее меня...

— О, замолчи, замолчи, Франсуа... меня просто страх берет, когда ты говоришь, что хотел бы поколотить нашу мать! — воскликнула бедная девочка, заливаясь слезами и обнимая брата за шею и нежно целуя его.

— Нет, ты мне вот что скажи, — заговорил Франсуа, нежно отстраняя Амандину, — отчего мать и Тыква всегда так злятся на нас?

— Я и сама не понимаю, — ответила девочка, вытирая глаза тыльной стороною кисти. — Может, потому, что нашего брата Амбруаза отправили на каторгу, а нашего отца казнили на эшафоте, они так несправедливы к нам...

— А мы-то чем виноваты?

— Господи, конечно, мы-то не виноваты, но что поделаешь?

— Клянусь, если мне всегда, всегда придется получать трепку, я в конце концов соглашусь воровать, как им того хочется... Ну что я выигрываю

оттого, что не краду?

— А Марсиаль, что он скажет?

— Ох, если бы не он!.. Я бы давно согласился стать вором, знаешь, как тяжко, когда тебя то и дело колотят; кстати, нынче вечером мать была до тою зла... разъярилась, как ведьма... В комнате было темно, совсем темно... она ни слова не говорила... только держала меня за шею своей ледяной рукою, а другой рукой изо всех сил колотила... и вот тут мне и показалось, что глаза у нее сверкают как угли...

— Бедный ты мой Франсуа... и все из-за того, что ты сказал, будто видел кость мертвеца в дровяном сарае.

— Да, его нога торчала там из-под земли, — проговорил Франсуа, вздрогнув от страха, — я готов дать руку на отсечение.

— Может, там когда-нибудь было кладбище, как ты думаешь?

— Все может быть... но тоща скажи, почему мать пригрозила, что она меня до полусмерти изобьет, если я расскажу об этой кости покойника нашему брату Марсиалю?.. Видишь ли, скорее кого-нибудь убили в драке и решили закопать в сарае, чтобы никто про это не узнал.

— Пожалуй, ты прав... помнишь, такая беда

чуть было не случилась у нас на глазах.

— Когда это?

— Ну в тот раз, когда Крючок ударил ножом этого высокого мужчину, такого костлявого, такого костлявого, такого костлявого, что его за деньги показывали.

— А, помню... они еще называли его ходячим скелетом; мать тогда разняла их... а не то Крючок мог бы и укокошить этого сухопарого дылду! Видала ты, как у Крючка на губах появилась пена, а глаза чуть не вылезли на лоб?..

— О, этот Крючок, не задумываясь, готов из-за любого пустяка пырнуть человека ножом. Да, он отчаянный забияка!

— Он такой молодой и уже такой злой, правда, Франсуа?

— Ну, Хромуля еще моложе, а будь он посильнее, он был бы еще большим злыднем.

— Да, да, он очень злой!.. Несколько дней назад он меня поколотил, потому что я не захотела играть с ним.

— Он тебя поколотил?.. Ладно... Пусть только сюда еще раз явится...

— Нет, нет, Франсуа, он это так, в шутку, смеха ради.

— Ты правду говоришь?

— Да, чистую правду.

— Ну, тогда другое дело... а не то бы я... Но вот чего я не понимаю: откуда у этого мальчишки всегда столько денег? Вот кому везет! Когда он заявился сюда как-то с Сычихой, он показал мне две золотые монеты по двадцать франков. И с каким насмешливым видом он нам сказал: «И у вас бы водились деньжата, не будь вы такими чурбаками».

— А что это значит — быть чурбаками?

— На его жаргоне это значит быть дурнями, болванами.

— Ах, вот оно что.

— Сорок франков... золотом... сколько бы я на эти деньги славных вещей накупил... А ты, Амандина?

— О, я бы тоже.

— Что бы ты, к примеру, купила?

— Знаешь, — начала девочка, в задумчивости опустив голову, — раньше всего я купила бы хорошую куртку для нашего брата Марсиаля, теплую, чтобы он не мерз у себя в лодке.

— Ну, а для себя?.. Для себя самой?

— Мне бы так хотелось маленького Иисуса из воска с крестиком и барашком, такого, какого продавец гипсовых фигурок продавал в то вос-

кресенье... помнишь, на церковной паперти в Аньере?

— Кстати, как бы кто-нибудь не рассказал матери или Тыкве, что нас видали в церкви!

— Это верно, мать ведь раз и навсегда запретила нам входить в церковь!.. А жаль, потому как там, внутри, до того красиво... правда, Франсуа?

— Да... а до чего там хороши серебряные подсвечники!

— А изображение пресвятой девы... у нее такой добрый вид...

— А какие там красивые лампы... ты заметила? А яркая скатерть на большом столе, там, в глубине, где священник служил мессу с двумя своими дружками, одетыми как и он... они еще Подавали ему вино и воду.

— Скажи, Франсуа, помнишь, в прошлом году, в праздник Тела господня, мы видели с тобой, как по мосту шли маленькие девочки, кажется, они шли, как говорят, к причастию. И все они были под белыми вуалями!

— И у всех в руках были пышные букеты!

— А какими нежными голосами они пели! И держались за шнуры своей хоругви!..

— А как сверкала на солнце эта расшитая серебром хоругвь!.. Она стоила, должно быть, кучу

денег!..

— Боже мой, как все это было красиво! Правда, — Франсуа?

— Еще бы! А у мальчишек, что шли к причастию, на рукавах были банты из белого атласа... А свечи, что они несли, были снизу закутаны в шитый золотом красный бархат.

— И эти мальчики, хоть и совсем маленькие, тоже несли хоругвь, правда, Франсуа? Ах, боже мой! А мать в тот день меня поколотила, когда я у нее спросила, почему мы не участвуем в этом шествии, как другие дети!

— Вот тогда-то она и запретила нам заходить в церковь по дороге в соседний городок или в Париж, «разве только они согласятся стащить оттуда кружку для пожертвований или обшарить карманы нескольких прихожан, пока они слушают службу», — прибавила тогда Тыква, смеясь и скаля свои желтые зубы. Вот скотина проклятая!

— О, что до этого... пусть меня убьют, но я ни за что не стану воровать в церкви! Правда, Франсуа?

— Ну, воровать там или где еще, какая разница, если уж ты на это решишься!

— Так-то оно так! Только меня сомнение берет... там красть страшнее, я бы ни за что не посмела...

— Это почему? Из-за священников, что ли?

— Нет, скорее из-за пресвятой девы, у нее такой нежный и добрый вид.

— Что тебе-то до этого? Не съест же тебя богородица, дуреха ты этакая!

— Это так... но все-таки я бы не смогла... И это не моя вина.

— Кстати, о священниках, Амандина; помнишь, однажды Николя наградил меня двумя увесистыми оплеухами за то, что я, когда встретил на площади священника, поклонился ему? Я видел, что все ему кланяются, вот я и поклонился; я не думал, что дурно поступаю.

— Да, но тогда почему-то и наш братец Марсиаль сказал, как и Николя, что нам совсем необязательно кланяться священникам.

В эту минуту Франсуа и Амандина услышали в коридоре, чьи-то шаги.

Марсиаль после разговора с матерью, считая, что Николя просидит под замком в погребе до утра, спокойно шел в свою комнату.

Заметив луч света, пробивавшийся сквозь полуприкрытую дверь комнаты, где спали дети, он вошел к ним.

Дети бросились к нему навстречу, он нежно их обнял.

— Как? Вы еще не улеглись, болтунишки?

— Нет, братец, мы ждали, когда вы пойдете к себе в комнату, чтобы пожелать вам доброй ночи, — ответила Амандина.

— А потом мы слышали, что внизу очень громко разговаривали... и вроде как ссорились, — прибавил Франсуа.

— Да, мы там свели кое-какие счеты с Николя... — сказал Марсиаль. — Но это пустяки... А вообще-то я доволен, что вы еще на ногах, я вам хочу сообщить хорошую новость.

— Нам, братец?

— Именно вам. Вы рады будете, если уйдете отсюда и вместе со мной поедете в другое место, далеко-далеко?

— О да, конечно, братец...

— Да, братец.

— Тем лучше! Дня через два или три мы все втроем уедем с острова.

— Как хорошо! — воскликнула Амандина, радостно захлопав в ладоши.

— А куда мы поедем? — спросил Франсуа.

— Потом узнаешь, ишь какой любопытный... да это и не важно куда именно мы поедем, главное, ты обучишься доброму ремеслу... и сразу же станешь зарабатывать себе на жизнь... Это уж

как пить дать.

— И я больше не буду ходить с тобой на рыбную ловлю, братец?

— Нет, мой мальчик, я отдам тебя в учение к столяру или слесарю; ты ведь у нас ловкий и сильный; коли будешь стараться и усердно работать, уже через год сумеешь кое-что зарабатывать. Погоди, что это с тобой?.. Чего ты приуныл?

— Дело в том... братец... я...

— Ну, говори, выкладывай.

— Дело в том, что мне больше по душе не расставаться с тобой, ловить вместе с тобою рыбу... чинить твои сети, а не обучаться какому-то ремеслу.

— Ты так считаешь?

— Конечно! Сидеть весь день взаперти в мастерской, это до того уныло, а потом быть учеником так скучно...

Марсиаль молча пожал плечами.

— Стало быть, по-твоему, лучше лениться, бездельничать и шататься как бродяга? — сурово спросил он, помолчав. — А потом заделаться и вором...

— Нет, братец, но я бы хотел жить вместе с тобой где-нибудь в другом месте, но жить так, как мы живем здесь, вот и все...

— Ну да, вот именно: спать, есть, ходить для развлечения на рыбную ловлю, как богач какой-нибудь, не так ли?

— Да, это мне больше по вкусу...

— Может быть, но тебе придется полюбить другое занятие... Видишь ли, бедный ты мой Франсуа, сейчас самое время забрать тебя отсюда; а то ты и сам не заметишь, как станешь таким же прощелыгой, как все наши родичи... Мать, видно, права... Боюсь, что ты уже малость приохотился к пороку... Ну а ты что скажешь, Амандина, разве тебе не хочется научиться какому-нибудь ремеслу?

— Очень хочется, братец... Я бы охотно чему-нибудь обучилась, мне это гораздо больше по душе, чем оставаться тут. Я буду так рада уехать вместе с вами и с Франсуа!

— Но что у тебя на голове, девочка? — спросил Марсиаль, заметив пышный убор Амандины.

— Это фуляр, мне его дал Николя...

— И мне тоже он дал, — гордо похвастался Франсуа.

— А откуда взялся этот фуляр? Я бы очень удивился, если б узнал, что Николя купил эти вещицы вам в подарок.

Дети опустили головы и ничего не ответили.

Мгновение спустя Франсуа, собравшись с духом, сказал:

— Николя нам дал их; а где он их взял, мы не знаем, правда, Амандина?

— Нет... нет... братец, — пролепетала Амандина, вспыхнув и не решаясь поднять-глаза.

— Не лгите, — сурово сказал Марсиаль.

— А мы и не лжем, — дерзко возразил Франсуа.

— Амандина, девочка моя... скажи правду, — мягко настаивал Марсиаль.

— Ну ладно! Если по правде сказать, — робко заговорила Амандина, — эти красивые вещицы лежали в сундуке с материей, его вечером привез Николя в своей лодке.

— Значит, он украл этот сундук?

— Я думаю, что да, братец... он утащил его с галиота.

— Вот видишь, Франсуа, значит, ты солгал! — сказал Марсиаль.

Мальчик понурился я ничего не ответил.

— Дай-ка мне твою косынку, Амандина; давай и ты свой шейный платок, Франсуа.

Девочка сняла косынку с головы, в последний раз полюбовалась пышным бантом, который при этом не развязался, и подала косынку Марсиалю, подавив горестный вздох.

Франсуа медленно достал из кармана шейный платок, и, как и сестра, протянул его старшему брату.

— Завтра утром, — сказал Марсиаль, — я верну и то и другое Николя; вам не нужно было брать эти лоскуты, ребята: коли пользуешься краденым — это все равно, что сам крадешь.

— А жаль все-таки, они так красивы — косынка и шейный платок, — пробормотал Франсуа.

— Когда обучишься ремеслу и станешь зарабатывать деньги своим трудом, ты купишь себе такие же красивые вещицы. Ну ладно, а теперь пора спать, малыши.

— Вы на нас не сердитесь, братец? — робко спросила Амандина.

— Нет, нет, девочка, ведь это не ваша вина... Вы живете среди прощелыг и, сами того не понимая, поступаете как они... Когда вы окажетесь среди честных людей, вы будете тоже поступать как честные люди; и вы скоро среди них окажетесь... черт меня побери!.. Ладно, доброй ночи!

— Доброй ночи, братец! Марсиаль обнял обоих детей. Они снова остались вдвоем.

— Что это с тобой, Франсуа? У тебя такой унылый вид! — сказала Амандина.

— Еще бы! Ведь брат отобрал у меня такой

красивый шейный платок! А потом, ты разве не слышала?

— Ты о чем?

— Он хочет увезти нас куда-то и отдать там в обучение ремеслу...

— А тебе это не нравится?

— Нет, не нравится...

— Тебе больше по душе оставаться здесь, где тебя всякий день колотят?

— Да, меня колотят, но я, по крайней мере, не работаю, весь день я провожу в лодке: либо рыбу ловлю, либо просто играю или катаю клиентов по реке, а те иногда мне и на чай дают, как тот колченогий верзила; и это, знаешь, куда приятнее, чем с утра до вечера сидеть взаперти в какой-нибудь мастерской и работать как лошадь.

— Но разве ты не слыхал?.. Ведь братец сказал нам, что если мы тут еще долго останемся, то станем просто прощелыгами!

— Подумаешь! А мне это все равно... ведь дети в округе и так называют нас воришками или последышами казненного... А потом, все время работать — до того скучно...

— Но, братец, нас ведь здесь каждый день бьют!

— А бьют-то нас потому, что мы слушаемся

Марсиаля, а не их...

— Он с нами такой добрый!

— Добрый-то он добрый, я с этим не спорю... и я ведь его люблю... При нем с нами не смеют дурно обращаться... он нас водит гулять... все это так... но и только... он ведь нам никогда ничего не дарит...

— Конечно... Но ведь у него самого ничего нет... все, что он зарабатывает, он отдает матери за еду и кров.

— А вот у Николя, у того всегда кое-что есть... Понятное дело, коли мы слушались бы его, да и мать тоже, они бы так не портили нам жизнь... дарили б нам разные наряды, как сегодня... они бы нас не боялись... и мы были бы всегда с деньгами, как Хромуля.

— Но, господи боже, ведь для этого пришлось бы воровать, а знаешь, как это огорчило бы нашего брата Марсиаля!

— Ну и что? Тем хуже!

— Как ты можешь такое говорить, Франсуа!.. А потом, коли нас поймают, нас ведь посадят в тюрьму.

— А по мне, что в тюрьме сидеть, что в мастерской весь день торчать — все одно... А кстати, колченогий верзила говорил, что там весело...

в тюрьме.

— Ну, а то, сколько мы горя принесем Марсиалю... ты об этом, видно, и не думаешь? Ведь он сюда ради нас вернулся и остается в доме; будь он один, он бы долго не раздумывал и вернулся бы в свои любимые леса, опять стал бы браконьером.

— Вот пусть и забирает нас с собой в эти леса, — заявил Франсуа, — так будет всего лучше. Я там буду вместе с ним, я ведь люблю его и не стану работать в мастерских, меня при одной мысли о них тоска берет.

Разговор между Франсуа и Амандиной внезапно прервался.

Снаружи дверь в их комнату заперли, дважды повернув ключ в замке.

— Нас заперли! — закричал Франсуа.

— Ах ты, господи... А почему это, братец? Что они собираются с нами сделать?

— Может, это Марсиаль сделал?

— Послушай... послушай... как лает его собака!.. — воскликнула Амандина, навострив слух.

Прошло несколько мгновений, и Франсуа сказал:

— По-моему, они колотят молотком по его двери... может, они хотят ее выломать?

— Да, да, а собака Марсиаля все лает и лает...

— Послушай, Франсуа! А теперь вроде как куда-то гвозди заколачивают... Боже мой! Боже мой! Мне страшно. Что же они там делают с братцем? Теперь его собака уже не лает, а громко воет.

— Амандина... а теперь ничего не слыхать... — заметил Франсуа, подходя к двери.

Дети, затаив дыхание, с тревогой прислушивались.

— А сейчас они затопали от комнаты Марсиаля, — тихо сказал Франсуа, — я слышу шаги в коридоре.

— Давай-ка ляжем в постель; мать нас убьет, коли увидит, что мы еще на ногах, — со страхом сказала Амандина. — Нет... — продолжал Франсуа, все еще напряженно прислушиваясь. — Вот они опять прошли мимо нашей двери... а теперь быстро сбегают по лестнице.....

— Господи! Господи! Да что ж это все означает?..

— Ага, а теперь они отворяют дверь в кухне...

— Ты так думаешь?

— Да, да... я слышал, как она скрипнула...

— А собака Марсиаля все воет и воет... — сказала Амандина, прислушиваясь...

И вдруг она закричала:

— Франсуа, наш братец Марсиаль нас зовет...

— Марсиаль?

— Да... Разве ты не слышишь?.. Разве не слышишь?..

И в самом деле, несмотря на обе плотно прикрытые двери, ушей Франсуа и Амандины достиг звучный голос Марсиаля: из своей комнаты он звал обоих детей.

— Господи, а мы-то не можем к нему пойти... нас ведь заперли, — сказала Амандина, — ему хотят причинить зло, раз уж он нас зовет...

— Ох, уж что до этого: если б я мог им как-нибудь помешать, — решительно выкрикнул Франсуа, — я бы непременно им помешал, пусть бы даже они меня резали на куски!..

— Но ведь Марсиаль не знает, что нас заперли на ключ; как бы он не подумал, что мы не хотим прийти к нему на помощь; крикни ему, Франсуа, что нас заперли в комнате!

Мальчик хотел было последовать совету сестры, как вдруг сильный удар потряс снаружи ставень небольшого окна комнатушки, где были заперты дети.

— Они сейчас влезут в окно и убьют нас! — испуганно закричала Амандина; в страхе она бросилась на свою постель и закрыла лицо обеими руками.

Франсуа, хотя он испугался, как и сестра, неподвижно застыл на месте. Однако после упомянутого нами сильного удара ставень не открылся; гробовая тишина царила теперь в доме.

Марсиаль больше не звал детей.

Немного успокоившись и движимый сильным любопытством, Франсуа решился осторожно приотворить окошко, и теперь он старался разглядеть сквозь щели в ставне, что же происходит снаружи.

— Будь осторожен, братец, — прошептала Амандина, услышав, что Франсуа отворил окно, она приподнялась на своем ложе. -> Ты что-нибудь там видишь? — спросила она.

— Нет... ночь такая темная.

— И не слышишь ничего?

— Нет, ветер так громко свистит.

— Тогда прикрой... прикрой же окно!

— Ага! А вот теперь я что-то разглядел.

— Что ж именно?

— Я вижу свет фонаря... он светит то тут, то там.

— А у кого он в руках?

— Я различаю только свет... Вот он приближается... теперь слышны голоса.

— Кто бы это мог быть?

— Слушай... слушай... это Тыква.

— А что она говорит?

— Говорит, чтобы крепче держали лестницу.

— Ах, теперь я понимаю! Когда они тащили большую лестницу, она упиралась в наш ставень, от этого и был такой шум.

— А теперь я больше ничего не слышу.

— А что они с этой лестницей делают?

— Больше ничего не могу разглядеть...

— А что-нибудь слышишь?

— Нет...

— Боже мой, Франсуа! Может, они для того потащили лестницу... чтобы залезть через окно в комнату нашего брата Марсиаля?!

— Вполне возможно.

— А что, если ты чуть-чуть отодвинешь ставень и посмотришь...

— Не решаюсь.

— Ну совсем капельку...

— Нет уж, нет. Коли мать заметит!..

— Такая темень стоит, что никакой опасности нет. Франсуа нехотя выполнил просьбу сестренки, приоткрыл

слегка ставень и стал смотреть.

— Ну, что там, братец? — спросила Амандина: преодолев свои страхи, она встала с постели и на

цыпочках подошла к брату.

— При свете фонаря, — сказал мальчик, — я вижу Тыкву, она стоит внизу и держит лестницу... они прислонили эту лестницу к окну Марсиаля.

— А дальше?

— Николя взбирается по лестнице со своим топориком в руке, топорик блестит на свету...

— Ах, вы еще не спите и шпионите за нами! — внезапно послышался громкий голос вдовы: она снаружи грозно прикрикнула на Франсуа и Амандину.

Войдя на минуту в кухню, мать увидела луч света, пробивавшийся сквозь полуотворенный ставень.

Бедные дети забыли погасить фонарь в своей комнатушке.

— Сейчас я к вам поднимусь — и вы от меня не уйдете, доносчики!

Вот какие события происходили на острове Черпальщика накануне того дня, когда г-жа Серафен должна была привезти туда Лилию-Марию.

Глава IV.
МЕБЛИРОВАННЫЕ КОМНАТЫ

Пивоваренный проезд, проезд темный и малоизвестный, хотя он и находится в центре Парижа, упирается одним концом в улицу Траверсьер-Сент-Оноре, а другим — в подворье Сен-Гийом. Посреди этой улочки — сырой, грязной, сумрачной и унылой, куда никогда не проникают лучи солнца, — возвышается дом с меблированными комнатами (их в просторечии именуют «меблирашками» по причине дешевой платы).

На дрянной вывеске можно прочесть: «Меблированные комнаты и квартиры»; справа от темного крытого прохода видна была дверь, она вела в лавку, не менее темную, где обычно пребывал содержатель меблированных комнат.

Человека этого, чье имя не раз уже упоминалось обитателями острова Черпальщика, звали Мику: числился он торговцем старыми скобяными товарами, но он тайно скупал и прятал краденые металлические изделия и сами металлы: золото, свинец, медь и олово.

Сказать, что папаша Мику поддерживал дело-

вые и дружеские отношения с семьей Марсиалей, — значит должным образом охарактеризовать его нравственный облик.

Существует, между прочим, некое весьма любопытное и вместе с тем устрашающее явление: это своего рода таинственное общение и связь между Почти всеми злоумышленниками столицы. Общие тюрьмы — огромные центры, куда стекаются и откуда затем растекаются волны социального разложения и развращенности, которые малопомалу наводняют Париж, оставляя после себя окровавленные обломки и развалины.

Папаша Мику — толстяк лет пятидесяти, с порочным и хитрым лицом, прыщеватым носом и всегда красными от возлияний щеками; на голове у него красуется потертая шапка из выдры, он вечно кутается в старый зеленый каррик.

Над небольшой чугунной печкой, возле которой папаша Мику греется, можно заметить прикрепленную к стене доску с цифрами; на ней висят ключи от комнат, жильцы которых в данный момент отсутствуют. Стеклянная витрина, выходящая на улицу и забранная железными прутьями, забелена снизу, так что с улицы нельзя разглядеть (и тому есть свои причины) то, что делается в лавке.

В этом просторном помещении также царит почти полный мрак; на потемневших и сырых стенах висят ржавые цепи различной толщины и длины; весь пол почти сплошь завален грудами обломков железа и чугуна.

Троекратный стук в дверь, видимо условный, привлек к себе внимание содержателя меблированных комнат, а одновременно скупщика и укрывателя краденого.

— Войдите! — крикнул он. На пороге показался человек.

Это был Николя, сын вдовы казненного.

Он был очень бледен; выражение его лица было еще более зловещим, чем накануне вечером, и вместе с тем было заметно, что он старался изобразить притворную и шумную веселость в завязавшемся затем разговоре (сцена эта происходила на следующий день после драки этого злодея со своим братом Марсиалем).

— Ах, это ты, дружище! — радушно сказал содержатель меблирашек.

— Конечно, папаша Мику; я приехал обделать с вами небольшое дельце.

— В таком случае притвори дверь... поплотнее притвори дверь...

— Дело в том, что моя собака и небольшая

моя тележка остались там, снаружи... а в ней — товар.

— Что ж ты мне привез? Должно, свинчатки?[104]

— Нет, папаша Мику.

— Ну уж, конечно, и не металлическую мелочь со дна реки, ты ведь в последнее время совсем обленился, совсем своим делом не занимаешься... так, может, это железяки?[105]

— Да нет же, папаша Мику; это краснушка...[106] там у меня четыре слитка... И весят они не меньше полутораста фунтов: мой пес их с трудом дотащил сюда.

— Неси-ка сюда свою краснушку; мы все сейчас взвесим.

— Вам придется мне помочь, папаша Мику, а то у меня рука сильно болит.

И при воспоминании о драке со старшим братом на лице у злодея появилось одновременно выражение злобы и жестокой радости, как будто его месть уже увенчалась успехом.

---

[104] Notes: 104
Листы свинца, которые воры сдирают с кровель.

[105] Notes: 105
Железо.

[106] Notes: 106
Медь.

— А что у тебя с рукой, малый?

— Так, пустяки... вывихнул.

— Надо раскалить железо на огне, опустить его в воду и сунуть руку в эту почти кипящую жидкость; так поступаем мы, торговцы старым железом... прекрасное средство!

— Спасибо, папаша Мику.

— Ладно, пошли за твоей краснущкой; так и быть, я помогу тебе, лентяй!

Они дважды ходили за слитками: вытащили их из небольшой тележки, куда был впряжен огромный дог, и притащили в лавку.

— Это ты здорово придумал с тележкой! — пробормотал папаша Мику, устанавливая деревянные чаши огромных весов, подвешенных к потолочной балке.

— Да, когда мне нужно что-нибудь привезти, я ставлю тележку и усаживаю моего дога в лодку, а причалив к берегу, запрягаю его. Кучер фиакра, пожалуй, проболтаться может, а мой пес — никогда.

— А дома у вас все благополучно? — осведомился скупщик краденого, взвешивая медные слитки. — Как мать, как сестра, обе здоровы?

— Да, папаша Мику.

— И дети тоже?

— Дети тоже. А где, кстати, ваш племянник Андре?

— Не говори! Он вчера знатно кутил; Крючок и этот колченогий верзила привели его сюда только под утро; а теперь он с поручением отправился... на главный почтамт пошел, знаешь, на улицу Жан-Жака Руссо. Ну а твой брат Марсиаль, все такой же дикарь?

— Ей-богу, ничего не знаю о нем.

— Как это, ничего не знаешь о нем?!

— Не знаю, и все, — ответил Николя, напуская на себя безразличный вид, — мы его уже два дня не видали... Может, он опять ушел в леса и там браконьерствует, если только его лодка... она такая старая... не пошла ко дну посреди реки и он не утонул вместе с нею.

— Ну, ты-то, бездельник, не больно горевал бы, ведь ты своего брата терпеть не можешь?

— Это правда... мы с ним на вещи по-разному смотрим. Ну, сколько фунтов медь потянула?

— Глаз у тебя верный... в слитках, малый, сто сорок фунтов.

— Стало быть, с вас причитается?..

— Ровно тридцать франков.

— Тридцать франков, когда медь идет по двадцать су за фунт? И за все про все — тридцать

франков?!

— Ну, так и быть, положим тебе тридцать пять франков, — и не пыхти, а то я пошлю ко всем чертям твою медь, твоего пса и тебя вместе с твоей медью, псом и тележкой!

— Но, папаша Мику, уж больно вы меня надуваете; это уж ни в какие ворота не лезет!

— Коли ты мне докажешь, каким образом ты эту медь заполучил, я уплачу тебе по пятнадцать су за фунт.

— Всегда одна и та же песня... Все вы друг друга стоите, да, вы все просто шайка грабителей! Разве можно так бессовестно друзей обирать?! Но это еще не все: если я у вас кое-что оптом закуплю, вы мне, по крайней мере, скидку сделаете?

— Это уж как положено. А что тебе нужно? Цепи или крюки для твоих яликов?

— Нет, мне нужны четыре или пять листов очень прочного железа, таких, чтоб можно было сделать двойные ставни.

— У меня есть как раз то, что тебе нужно... Такой крепкий лист, что и пулей из пистолета не пробьешь.

— Да, именно такое железо мне и надобно!..

— А размер какой?

— Размер?.. Семь или восемь квадратных фу-

тов.

— Ладно! А еще что тебе понадобится?

— Три железных бруса длиной в три или четыре фута и двухдюймовой толщины.

— Я на днях тут разломал оконную решетку, прутья от нее подойдут тебе, как перчатка нужного размера... Ну, говори дальше.

— Два прочных шарнира и крепкую задвижку, чтоб можно было при необходимости быстро открыть или закрыть люк размером в два квадратных фута.

— Ты хочешь сказать: опускную дверцу?

— Нет, крышку люка...

— Не понимаю, для чего тебе может понадобиться такая крышка?

— Вполне возможно... зато я понимаю.

— В добрый час: тебе остается только выбрать — у меня тут куча шарниров. Ну, а чего ты еще хочешь?

— Больше ничего.

— Ну, для меня это плевое дело.

— Приготовьте для меня товар немедля, папаша Мику, я все заберу на обратном пути; тут мне надо еще кое-что успеть.

— Опять поедешь с тележкой? Скажи-ка, балагур, что это за тюк в ней лежит? Должно быть,

еще какая-нибудь вкусная снедь, которую ты где-то ловко прихватил? Ты ведь у нас известный лакомка!

— Золотые слова, папаша Мику; но только вы этого не едите. Не заставьте меня дожидаться моих скобяных товаров, я должен вернуться на остров не позже полудня.

— Не беспокойся, сейчас только восемь утра; коли ты недалеко собрался, можешь через час приехать, все будет готово — и деньги и товар... Выпьешь стопочку?

— Не откажусь... тем более что с вас причитается!.. Папаша Мику достал из старого шкафа бутылку водки,

треснутый стакан, чашку без ручки и налил себе и Николя.

— За ваше здоровье, папаша Мику!

— За твое, малый, и за живущих с тобою дам!

— Благодарствую!.. Ну, а как идут дела в вашем меблированном заведении? Как всегда, хорошо?

— Дела идут ни шатко ни валко... Как обычно, есть несколько постояльцев, к которым вот-вот может нагрянуть полиция... но они платят щедро, как и положено.

— Это почему же?

— Ты что, дурачок?! Иногда я пускаю постояль-

цев так же, как беру товар... у этих-то паспортов не спрашиваю, как не спрашиваю накладных у тебя.

— Понятно!.. Но если вы у меня берете товар по дешевке, то с этих берете за постой хорошую цену.

— Приходится выкручиваться, ведь многим рискуешь... Есть у меня кузен, знаешь, он владелец прекрасной гостиницы на улице Сент-Оноре, а жена его — знатная портниха, на нее работают два десятка швей — кто в мастерской, а кто — на дому.

— Скажите-ка, старый волокита, там, должно быть, есть такие крали...[107]

— Еще бы! Я встречал там двух или трех, когда они приносили готовые заказы... Ну знаешь, они до того хороши! Особенно одна, молоденькая, она на дому шьет, она вечно смеется, ее даже прозвали Хохотушкой... Клянусь господом богом, сынок, просто досада берет, что мне не двадцать лет!

— Остыньте малость, папаша, а то я закричу: «Пожар!»

— Но она девушка честная, мой мальчик... уж такая честная...

---

[107] Notes: 107
Красотки.

— Вот дура-то! Ну да ладно... так вы сказали, что ваш кузен...

— Да, он знает толк в своем деле; а так как он того же пошиба, что и эта молоденькая Хохотушка...

— Тоже честный?

— Вот именно!

— Ну и дурень!

— Он принимает на постой только таких людей, у кого паспорта и все бумаги в порядке. Ну, а коли является к нему такой, у которого не все ладно, он посылает этих субъектов ко мне, зная, что я не так придирчив и на многое смотрю сквозь пальцы.

— И эти-то платят, как положено в их положении?

— А как же иначе!

— Но ведь те, у кого бумаги не в порядке, должно быть, скокари?[108]

— Необязательно. Да вот, кстати, кузен прислал ко мне несколько дней назад двух постояльцев... Черт меня побери, только я никак не пойму, в чем тут дело... Еще по одной?!

— Идет... питье что надо!.. Ваше здоровье, папаша Мику!

---

[108] Notes: 108
Воры.

— И твое, мой мальчик! Так вот, как я тебе уже сказал, на днях кузен прислал ко мне постояльцев, в которых я никак не разберусь. Представь себе мать и дочь, пришли они в поношенной одежке, все свои пожитки несли в старой шали, сразу понятно было, что с деньгами у них не густо. Так вот, хоть они, судя по всему, люди совсем никудышные, у них даже бумаг никаких нет и сняли они комнату на две недели... так вот, с тех пор как они тут живут, они с места не трогаются, будто сурки какие; и у них никто не бывает, ни одного мужчины не было, сынок... и все-таки, доложу тебе, не будь они такие худые да бледные, я бы сказал, что обе женщины что надо, особливо дочка! Ей лет пятнадцать или шестнадцать от силы... она такая беленькая, как... кролик, а глазищи — вот такие!.. Черт побери, до того хороши у нее глаза, до того хороши!

— Ну, я вижу, вы опять загорелись!.. А чем они занимаются, две эти женщины?

— Говорю тебе, что я сам ничего не понимаю... По виду они обе — женщины порядочные, а вот бумаг-то у них почему-то нет... Да, вот еще что: они получают откуда-то письма без адреса... Их фамилий на конверте нет.

— Как это?

— А вот так! Нынче утром они послали моего племянника Андре на главный почтамт, куда приходят письма до востребования, и велели ему спросить, нет ли письма, адресованного госпоже «Икс Зет». Письмо должно прибыть из Нормандии, из городка по названию Обье. Они все это на листке написали, чтоб Андре мог получить письмо, дав все эти разъяснения. Сам видишь, это птицы невысокого полета, раз уж они вместо имени пишут «Икс» или «Зет». И все-таки ни разу к ним мужчины не приходили.

— Смотрите, они вам за комнату не заплатят.

— Ну, такого старого воробья, как я, на мякине не проведешь! Я пустил их в комнату без камина и положил плату в двадцать франков за две недели, причем денежки потребовал вперед. Может, они чем больны, потому как вот уже два дня из комнаты не выходят. Но только несварением желудка они не страдают, потому как еще ни разу плиту не разжигали, не понимаю даже, что они едят, с тех пор как въехали. Но я опять тебе повторяю: бумаг-то никаких нет, а мужчин к себе не водят...

— Ну, коли у вас все постояльцы такие, папаша Мику...

— Знаешь, одни уезжают, другие приезжают; и

ежели я пускаю на постой тех, у кого паспорта нет, то живут у меня я люди солидные. Вот, к примеру, среди моих постояльцев сегодня два коммивояжера, один почтальон, дирижер оркестра из кафе для слепых да еще одна дама, что ренту получает, все они люди порядочные; они-то и поддержат репутацию моих меблированных комнат, ежели комиссар полиции вздумает поближе к моему заведению присмотреться... Это, так сказать, не ночные постояльцы, а постояльцы, живущие при свете солнца.

— Когда его лучи проникают в ваш проезд, папаша Мику.

— Да ты шутник, как я погляжу!.. Выпьем еще по одной?

— Охотно, только по последней, мне надо спешить... Кстати, Робен, этот колченогий верзила все еще живет у вас?

— Да, его комната наверху... рядом с комнатушкой матери и дочери. Он кончает проматывать деньги, заработанные в тюрьме... и, сдается, их у него уже немного осталось.

— Смотрите-ка, остерегайтесь! Ведь он, по-моему, в бегах.

— Я и сам это знаю, но никак от него избавиться не могу. По-моему, он какое-то дело замышляет;

этот мальчишка Хромуля, сын Краснорукого, приходил вчера вечером вместе с Крючком, они его разыскивали... Боюсь, как бы он не повредил моим почтенным постояльцам, этот окаянный Робен; так что, когда его двухнедельный срок кончится, я его вышвырну вон, скажу, что его комната заказана для какого-нибудь посланника или для мужа госпожи Сент-Ильдефонс, которая на ренту живет.

— Она на ренту живет?

— Еще бы! Занимает три комнаты и еще одну, что на фасад выходит, скажешь, мало? И всю мебель в них обновили, а еще она мансарду снимает для своей горничной... платит за все восемьдесят франков в месяц... деньги вносит вперед ее дядя, она ему уступает одну из комнат внизу, когда он приезжает сюда из своей деревни! Только я думаю, что деревня эта расположена, как бы тебе сказать, скорее на улице Вивьенн или на улице Сент-Оноре, во всяком случае, где-нибудь в этих местах.

— Ну, это дело знакомое!.. Она живет на ту ренту, что ей выплачивает этот старикан.

— Помолчи-ка! Вот как раз ее горничная идет! Женщина, уже в возрасте, в белом переднике сомнительной чистоты, вошла в лавку скупщика

краденого.

— Чем могу вам служить, госпожа Шарль?

— Папаша Мику, что, ваш племянник дома?

— Нет, он уехал с поручением на главный почтамт; должен вот-вот вернуться.

— Господин Бадино хотел бы, чтобы он немедля отнес вот это письмо по указанному адресу; ответа не надо, но дело очень спешное.

— Через четверть часа он уже будет на пути туда, госпожа Шарль.

— Только пусть поторопится.

— Будьте благонадежны. Горничная вышла.

— Что ж, она всем вашим постояльцам прислуживает, папаша Мику?

— Нет, что ты, дурачок! Это горничная госпожи Сент-Ильдефонс, той, что на ренту живет. А господин Бадино и есть ее дядя, он как раз вчера из своей деревни пожаловал, — сказал содержатель меблированных комнат, разглядывая письмо. Потом, прочтя адрес, он, прибавил: — Погляди сам, какие у него знакомства! Я говорил тебе, что это люди солидные и почтенные, он пишет какому-то виконту.

— Вот это да! — Держи, а вернее смотри: — «Господину виконту де Сен-Реми, улица Шайо... Весьма спешно... Передать в собственные руки».

Я полагаю, когда поселяешь у себя таких дам, что живут на ренту, а их дядья вдобавок пишут виконтам, можно смотреть сквозь пальцы на тех нескольких постояльцев, что ютятся на верхнем этаже дома. Не так ли?

— Я тоже так думаю. Ну ладно, до скорого свидания, папаша Мику. Я привяжу моего пса возле вашей двери и тележку оставлю; то, что мне надо отнести, я донесу пешком... Приготовьте же мне товар и мои деньги, чтобы я сразу мог и уехать.

— Будь спокоен: четыре прочных железных листа по два квадратных фута каждый, три железных бруска длиной в три фута и два шарнира для твоего люка. И зачем только тебе такой люк, не пойму; впрочем, это дело твое... Я ничего не забыл?

— Нет, а к тому еще мои денежки.

— Конечно, и деньги тоже... Но, скажи на милость, перед уходом я хочу тебя спросить... пока ты тут у меня сидел... я наблюдал за тобою...

— Ну и что?

— Не знаю, как лучше выразиться... но вид у тебя такой, будто что-то с тобой происходит.

— Со мной?

— С тобой.

— Да вы что, тронулись? Если со мной что и

происходит... то это потому... что я есть хочу.

— Хочешь есть... хочешь есть... возможно... но я бы сказал, что ты прикидываешься веселым, а внутри у тебя сидит что-то такое, что свербит и точит... точно блоха, как говорится, не оставляет твою молчунью[109] в покое... и, видать, тебя это крепко тревожит, у тебя, должно, на сердце кошки скребут, а ведь ты у нас не тихоня какой...

— Повторяю вам, папаша Мику, что вы малость в уме тронулись, — сказал Николя, невольно вздрагивая.

— Вот видишь, ты вроде бы сейчас вздрогнул.

— Я дернулся потому, что у меня рука болит.

— Ну, коли так, не забудь моего рецепта, он тебя враз вылечит.

— Спасибо, папаша Мику... до скорого свидания. И злодей вышел из лавки.

Скупщик краденого, запрятав медные слитки позади стойки, начал собирать различные предметы, заказанные Николя; в эту минуту в лавке появился какой-то человек.

Это был мужчина лет пятидесяти, с тонким лицом и проницательным взглядом, его физиономию обрамляли седые и очень густые

---

[109] Notes: 109
Совесть

бакенбарды, глаза его были скрыты очками в золоченой оправе; одет он был довольно изысканно: широкие рукава его коричневого пальто с обшлагами из черного бархата позволяли увидеть, что он был в перчатках светло-желтого цвета; его сапоги были, видимо, накануне тщательно натерты блестящим лаком.

То был г-н Бадино, дядюшка жившей на ренту г-жи Сент-Ильдефонс, чье социальное положение служило предметом гордости для папаши Мику и гарантировало ему безопасность.

Читатель помнит, быть может, что г-н Бадино, бывший стряпчий, изгнанный из своей корпорации, был теперь ловким мошенником и умелым ходатаем по различным сомнительным делам; вместе с тем им пользовался как шпионом барон фон Граун, и дипломат этот добывал с его помощью немало весьма точных сведений о большом числе действующих лиц нашего повествования.

— Госпожа Шарль только что передала вам письмо с просьбой отнести его, — сказал г-н Бадино содержателю меблированных комнат.

— Да, сударь... Мой племянник сейчас вернется, и он мигом отнесет письмо.

— Нет, верните мне это послание... я передумал и сам отправлюсь к виконту де Сен-Реми, — прого-

ворил г-н Бадино, напыжившись и подчеркнуто напирая на эту аристократическую фамилию.

— Вот ваше письмо, сударь... Других поручений у вас не будет?

— Нет, папаша Мику, — ответил г-н Бадино с покровительственным видом, — но я должен кое в чем вас упрекнуть.

— Меня, сударь?

— Да, и упрекнуть весьма строго.

— В чем же дело, сударь?

— А вот в чем. Госпожа де Сент-Ильдефонс весьма дорого платит вам за ваш второй этаж; моя племянница принадлежит к числу тех квартиронанимателей, коим надлежит оказывать высочайшее уважение; она с полным доверием въехала в этот дом; ее раздражает шум экипажей, и она рассчитывала жить здесь в тиши, как за городом.

— Так оно и есть; у нас тут совсем как в деревушке... Вы ведь можете это оценить, ведь вы и сами, сударь, живете в деревне... а у нас тут как в настоящей деревушке...

— Деревушка? Хорошенькое дело! Да у вас тут просто адский шум стоит!

— И все-таки более спокойного дома, чем мой, не найдешь; над госпожой Сент-Ильдефонс живет

дирижер оркестра из кафе слепых и еще некий коммивояжер... А чуть подальше — еще один коммивояжер. Кроме того, там...

— Речь идет не об этих людях, они ведут себя тихо и мирно, они люди вполне порядочные, и моя племянница с этим не спорит; но вот на пятом этаже живет колченогий верзила, его госпожа де Сент-Ильдефонс повстречала вчера на лестнице, он был пьян как сапожник и что-то рычал, как дикарь; у нее, у бедняжки, даже голова закружилась, до того она была перепугана... Ежели вы полагаете, что с подобными постояльцами ваш дом походит на мирную деревушку...

— Сударь, клянусь вам, я только жду подходящего случая, чтобы выставить этого хромоногого верзилу за дверь; он уплатил мне за две недели вперед, если б не это, я бы давно его выставил вон.

— Не следовало пускать его на постой.

— Но, кроме него, я полагаю, госпоже вашей племяннице не на что жаловаться; тут у нас живет еще почтальон с соседней почты, он, я бы сказал, принадлежит к сливкам порядочного общества; а еще выше, рядом с комнатой этого верзилы, поселилась мать с дочерью, они сидят у себя дома тихо, как безобидные сурки.

— Повторю еще раз: госпожа де Сент-Ильдефонс жалуется только на колченогого верзилу; этот плут — позор для вашего дома! Предваряю вас, что, если вы оставите его в числе постояльцев, он разгонит всех порядочных людей.

— Уж я его выставлю, будьте благонадежны... я и сам за него не держусь.

— И хорошо сделаете... не то другие не станут держаться за ваши меблированные комнаты.

— А уж это мне ни к чему... Так что, сударь, считайте, что хромоногого верзилы здесь уже нет, он пробудет тут всего-то четыре дня.

— И это долго, слишком долго; впрочем, дело ваше... При первой же его выходке моя племянница покинет ваш дом.

— Будьте благонадежны, сударь.

— Ведь выставить его — в ваших же интересах, любезнейший. Это вам же на пользу пойдет... больше я повторять не буду, — сказал г-н Бадино с покровительственным видом.

С этими словами он удалился.

Надо ли нам пояснять, что упомянутые папашей Мику мать и ее юная дочь, что жили так замкнуто и одиноко, были жертвами алчности нотариуса Жака Феррана?

А теперь мы поведем читателя в жалкую ком-

натушку, где они обретались.

Глава V.
ЖЕРТВЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ

Когда злоупотребление доверием карается, средний срок наказания таков: два месяца тюрьмы и штраф в размере двадцати пяти франков. (Статьи 406 и 408 уголовного кодекса). Мы попросим читателя представить себе комнатушку на пятом этаже унылого дома в Пивоваренном проезде.

Бледный свет тусклого дня едва проникает в эту узкую комнату сквозь небольшое одностворчатое оконце с потрескавшимися грязными стеклами; выцветшие обои, давно уже пожелтевшие, местами отстают от стен; в углах растрескавшегося потолка висит густая паутина. На полу не хватает нескольких половиц, и это позволяет разглядеть то тут, то там брусья и дранку, которые поддерживают пол.

Стол некрашеного дерева, стул, старый чемодан без замка и походная кровать с деревянным изголовьем, на которой лежит тонкий тюфяк, покрытый простынями из грубой серой ткани и

потертым одеялом из коричневой шерсти, — вот и все убранство этой меблирашки.

На стуле сидит баронесса де Фермон.

На кровати лежит ее дочь Клэр Де Фермон (так звали обеих жертв Жака Феррана).,

Располагая только одной кроватью, мать и дочь ложились N на нее по очереди и делили таким способом ночные часы.

Слишком много тревог, слишком много волнений терзали мать, и поэтому, она нечасто поддавалась сну; но ее дочь обретала, по крайней мере, на этом жалком ложе несколько минут отдыха и забытья.

В это время она как раз спала.

Ничего не могло быть трогательнее и вместе с тем печальнее зрелища этой нищеты, на которую алчность нотариуса обрекла обеих женщин, прежде привыкших к скромным радостям безбедного существования и окруженных в своем родном городе уважением, которое внушает окружающим почтенная и почитаемая семья.

Госпоже де Фермон на вид лет тридцать шесть; ее бледное лицо выражает одновременно благородства и мягкость; черты ее, прежде говорившие о незаурядной красоте, ныне говорят о страдании; ее черные волосы разделены прямым пробором

и стянуты на затылке узлом; горе уже посеребрило отдельные пряди волос. На ней — траурное платье, уже чиненное в некоторых местах; в эти минуты г-жа де Фермон, подперев лоб рукою, опирается локтем о жалкое изголовье кровати, на которой спит ее дочь, и смотрит на девушку с невыразимой грустью.

Клэр не больше шестнадцати лет; чистый и нежный профиль ее осунувшегося, как и у матери, лица выделяется на фоне грубой серой ткани, из которой сшита подушка, набитая опилками.

Кожа этой юной девушки уже утратила свою необычайную свежесть; ее большие черные глаза закрыты, на впалых щеках, точно густая бахрома, лежат длинные, тоже черные ресницы. Некогда влажные розовые губы теперь бледны и сухи, — полуоткрывшись, они позволяют разглядеть ее ослепительно белые зубы; грубое прикосновение шершавых простынь и шерстяного одеяла оставили красные полосы на нежной шее, на плечах и на руках юной девушки: так на мраморе порой выступают розовые прожилки.

Время от времени легкий трепет сводит вместе ее тонкие бархатистые брови — возможно, в эти мгновения ее преследует тягостный кошмар. Лицо ее, на котором уже лежит печать какой-то

болезни, выражает страдание, это свидетельствует о том, что в недрах несчастной зреет грозный недуг, его зловещие симптомы нетрудно угадать.

Уже давным-давно г-жа де Фермон не дает воли слезам; она устремила на дочь горячечный взгляд сухих глаз: такой, без единой слезинки, взгляд говорит о лихорадочном состоянии, которое медленно и тайно подтачивает ее. С каждым днем г-жа де Фермон, как и ее дочь, все больше ощущает томительную слабость и растущее изнеможение — предвестники исподволь развивающейся, но пока еще скрытой серьезной болезни; но, боясь напугать Клэр, а главное не желая, если можно так выразиться, напугать самое себя, она изо всех сил борется, против начальных проявлений пожирающего ее недуга..

Движимая такими же великодушными мотивами, Клэр, страшась встревожить мать, старается скрыть свои страдания. Обе эти несчастные женщины, которых гложет одно и то же горе, видимо, поражены одной и той же болезнью.

В разгаре обрушившихся на человека невзгод наступает такая пора, когда будущее рисуется столь ужасным, что даже самые энергические натуры, не решаясь взглянуть прямо в лицо своим бедам, закрывают глаза и стараются обмануть

себя безрассудными иллюзиями.

Именно в таком положении были г-жа де Фермон и ее дочь.

Чтобы дать представление о терзаниях этой женщины, угнетавших ее в те долгие часы, когда она неотступно смотрела на свою задремавшую дочь, думая о прошлом, настоящем и будущем, мы должны описать возвышенные и святые муки матери, муки скорбные, исполненные отчаяния, способные свести с ума: в них сплетаются волшебные' воспоминания, зловещие страхи, грозные предчувствия, горестные сожаления, губительный упадок духа, взрывы бессильного гнева против виновника всех постигших ее бед, тщетные мольбы, жаркие молитвы и, наконец... наконец, устрашающие сомнения во всемогущей справедливости того, кто остается глух к воплю, рвущемуся из самой глубины материнской души... этому священному воплю, чей отзвук должен бы достичь небес, ибо мать вопиет: «Пожалей мою дочь!»

— Как ей, должно быть, сейчас холодно, — говорила несчастная мать, слегка прикасаясь своей озябшей рукой к заледеневшим рукам своего ребенка, — она совсем закоченела. А какой-нибудь час тому назад она вся горела... У нее лихорадка!..

К счастью, она об этом не подозревает... Господи боже, ведь ей так холодно!.. Ведь одеяло это такое тонкое... Я прикрыла бы ее сверху моей старой шалью... но, если я сниму эту шаль с двери, на которую ее повесила... эти пьяные мужланы начнут, как вчера, подглядывать в замочную скважину или в щели рассохшейся двери...

Господи, какой ужасный этот дом!

Знай я, что тут за постояльцы... до того, как внесла плату за две недели вперед... мы бы тут ни за что не остались... но ведь я ничего не знала... Когда у тебя нет никаких бумаг, тебя гонят из приличных меблированных комнат. А как мне было догадаться, что мне. может когда-нибудь потребоваться мой паспорт?.. Когда мы выехали из Анже в собственной карете... ибо я полагала неприличным, чтобы моя дочь путешествовала в почтовом дилижансе... разве могла я предположить, что...

В эту минуту ее жалобы были прерваны взрывом ярости:

— Но ведь это же настоящая подлость... только потому, что этот нотариус вздумал меня обобрать, ныне я доведена до самой ужасной крайности, и я ничего не могу сделать, не могу бороться с ним! Ничего не могу сделать!.. Но нет... Будь у меня

деньги, я могла бы обратиться в суд; обратиться в суд... чтобы услышать, как будут смешивать с грязью имя моего доброго и благородного брата... чтобы услышать, что он, разорившись, наложил на себя руки и сделал это после того, как промотал, растратил все мое состояние и состояние моей дочери... Судиться... для того чтобы услышать, будто он довел нас до крайней нищеты!.. О нет, никогда! Никогда! И все же, если память о моем брате священна, то ведь и жизнь и будущее моей дочери для меня тоже священны... но ведь у меня нет никаких доказательств, уличающих нотариуса, и я только вызову бесполезный, ненужный скандал...

— И что самое ужасное, самое ужасное, — продолжала она после короткого молчания, — это то, что порою, разгневанная и раздраженная нашим ужасным жребием, я решаюсь обвинять моего брата... признавать, что нотариус, быть может, прав, обвиняя моего брата... как будто, если я стану проклинать двух людей, а не одного, это облегчит мои муки... но я почти тотчас сама возмущаюсь собственными предположениями — несправедливыми, отвратительными,

направленными против лучшего, честнейшего из братьев! Ох, этот окаянный нотариус! Он даже

и не подозревает обо всех ужасных последствиях совершенного им воровства... Он-то думал, что крадет только деньги, а на самом деле он подверг жестокой муке души двух женщин... двух женщин, которых он обрек умирать на медленном огне... Увы! Да, я не отваживаюсь и никогда не отважусь рассказать моей бедной девочке о моих тягостных опасениях, потому что я не могу так безжалостно огорчить ее... но я сама так страдаю... меня, треплет лихорадка... меня поддерживает только энергия отчаяния; я чувствую, что во мне зреет зародыш болезни... быть может, опасной болезни... да, я чувствую, как она приближается... она все ближе и ближе... все в груди у меня горит, голова раскалывается... Эти симптомы гораздо серьезнее, просто я не хочу в этом сознаться даже самой себе... Господи боже!.. А ну как я совсем разболеюсь... если тяжко заболею... если мне суждено умереть!.. Нет! Нет! — воскликнула с волнением г-жа де Фермон. — Я не хочу умирать... Покинуть мою Клэр... шестнадцатилетнюю девочку... без всяких средств к существованию, одинокую, брошенную в Париже... разве это мыслимо?.. Нет? Я вовсе не больна, в конце концов, что я такое испытываю?.. У меня небольшой жар в груди, голова тяжелая, все это — результат горя, бес-

сонницы, холода, тревог; любой на моем месте испытал бы упадок сил... Но в этом нет ничего серьезного. Ладно, ладно, главное — не поддаваться слабости... господи боже! Если предаваться столь мрачным мыслям, ко всему прислушиваться в себе... можно и в самом деле заболеть... а мне как раз сейчас самое время болеть!.. Не так ли?! Нужно немедля искать работу для себя и для Клэр, потому что тот человек, что давал нам раскрашивать — гравюры...

Мгновение помолчав, г-жа де Фермон с негодованием продолжала:

— О, как это было отвратительно!.. Давать нам эту работу ценой позора для Клэр!.. Безжалостно отнять у нас столь хрупкое средство к существованию только потому, что я не согласилась, чтобы девочка одна приходила к нему работать по вечерам!.. Но, может быть, мы найдем какую-нибудь работу в другом месте, ведь я умею шить и вышивать... Да, но, когда никого не знаешь, это так трудно!.. Ведь только недавно я пыталась, но тщетно... Когда живешь в такой дыре, то, понятно, не внушаешь доверия; а ведь те небольшие деньги, что у нас еще остались, скоро кончатся... И что тогда?.. Что делать?.. Что с нами будет?.. Ведь у нас ничего не останется... совсем ничего...

ни гроша не останется... А я же была богата!.. Не стану обо всем этом думать... от таких мыслей у меня голова кругом идет... я с ума схожу... Главная моя вина в том, что я слишком упорно об этом думаю, а необходимо отвлечься, и я постараюсь... Эти мрачные мысли и привели к тому, что я заболела... Нет, нет, я вовсе не больна... Я даже думаю, что меня уже меньше лихорадит, — прибавила несчастная мать, щупая у себя пульс.

Но увы! Пульс у нее бился неровно, прерывисто, с бешеной скоростью, и, ощутив это лихорадочное биение сквозь свою сухую, холодную кожу, она отбросила всякие иллюзии.

Мрачное и тяжелое отчаяние охватило ее, но, совладав с ним, она с горечью проговорила:

— Всемогущий господь! За что ты нас караешь? Разве мы хоть когда-нибудь совершили что-либо дурное? Разве моя дочь не была истинным образцом чистоты и набожности? Разве ее отец не был живым олицетворением честности? Разве я всегда не выполняла достойно свой долг жены и матери? Почему ты дозволил этому негодяю сделать нас своими жертвами?.. Меня, а особенно мою несчастную девочку!..

Когда я думаю, что, если бы этот нотариус нас не обобрал, то я бы нисколько не тревожилась за

судьбу моей. дочери... Мы бы жили сейчас в своем доме, не беспокоясь о будущем, мы бы только с глубокой печалью и скорбью оплакивали смерть моего несчастного брата; года через два или три я бы начала думать о замужестве Клэр, и я нашла бы человека, достойного ее, такой добрей, очаровательной и красивой!.. Разве любой не посчитал, бы себя счастливым, получив ее руку?.. Я ведь собиралась, выговорив себе небольшой пенсион, который позволил бы мне жить рядом с нею, дать ей в приданое все, чем я располагала, ведь у меня было не меньше ста тысяч экю, и я была бы бережлива; а когда юная девушка, такая красивая и такая воспитанная, как мое милое дитя, приносит мужу в приданое больше ста тысяч экю...

Затем, словно по контрасту, г-жа де Фермон с горечью возвратилась в мыслях к печальной действительности и воскликнула точно в бреду:

— Но ведь это просто немыслимо! Из-за злой воли какого-то нотариуса я покорно смиряюсь с тем, что моя дочь обречена на самую ужасную нищету!.. А ведь у нее были все права на безоблачное счастье... Если закон оставляет подобное преступление без кары, я этого так не оставлю; ибо, если судьба доводит меня до полного отчаяния и если я не нахожу никакого средства

выбраться из того ужасного положения, в которое меня поставил этот негодяй, я сама не знаю, что я сделаю... я, я сама способна буду убить его, этого низкого человека. А потом пусть делают со мною, что хотят... все матери будут на моей стороне... Да... Но моя дочь?.. Что будет с нею? Разве могу я покинуть ее, оставить одну-одинешеньку? Вот в чем ужас... Вот почему я не хочу умирать... Вот почему я не могу убить этого человека. Что будет с нею? Ведь ей всего шестнадцать лет... Она так молода, она чиста и невинна, как ангел... и при этом так красива... Полная заброшенность, нищета, голод... все эти беды... соединившись вместе, могут помутить разум столь юного существа... и тогда на краю какой бездны может она оказаться?! О, это ужасно... чем больше я вдумываюсь в это слово «нищета», тем больше устрашающих угроз я в нем нахожу. Нищета... нищета жестока ко всем, но, быть может, особенно жестока она для тех, кто прожил свою жизнь в довольстве. И вот чего я не могу простить себе: как это, столкнувшись с такими ужасными бедами, я не в силах победить свою злосчастную гордость! Лишь в том случае, когда моя дочь останется буквально без куска хлеба, я решусь просить милостыню... Но ведь это же подло и низко с моей стороны!

И г-жа де Фермон прибавила с сумрачной горечью:

— Этот нотариус обрек меня на нищенство, стало быть, я обязана считаться с существующим положением; теперь мне уже не до щепетильности, не до разборчивости, все это осталось в прошлом; теперь же мне нужно просить милостыню и для себя и ради дочери; да, если я не подыщу работу... мне придется решиться на то, чтобы молить о милосердии посторонних, ибо так пожелал этот нотариус. Без сомнения, и для того, чтобы успешно просить милостыню, нужна определенная сноровка, умение, но это приходит с опытом; я этому научусь; ведь это такое же ремесло, как и всякое другое, — прибавила несчастная женщина душераздирающим голосом. — И мне кажется, что у меня есть все, чтобы разжалобить сердобольных: ужасные беды, мной не. заслуженные, и дочь шестнадцати лет... не девочка, а ангел... сущий ангел; но надо суметь, надо отважиться рассказать об этих «преимуществах», и я добьюсь успеха.

— А вообще-то на что, я собственно, жалуюсь? — воскликнула г-жа де Фермон с мрачным смехом. — Материальное благосостояние — вещь непрочная, преходящая... Нотариус, по крайней мере,

заставит меня заняться каким-нибудь ремеслом.

Некоторое время она молчала, погрузившись в раздумье; потом снова заговорила, но уже немного спокойнее:

— Я часто думала о том, чтобы подыскать себе какое-нибудь место; я, например, завидую горничной той дамы, что живет на втором этаже; получи я это место, быть может, на свое жалованье я смогла бы удовлетворить насущные потребности Клэр... быть может, с помощью этой дамы мне удалось бы подыскать какую-нибудь работу и для дочери... она останется жить тут... Таким образом мы не расстанемся. Какое счастье... если бы все это так устроилось!.. О нет, нет, нет, это было бы чересчур прекрасно... такое бывает только во сне! А потом, чтобы занять это место, надо, чтобы эту горничную уволили... и, может, тогда ее судьба будет столь же плачевной, как и наша судьба. Ну и что же?! Тем хуже, тем хуже... Разве нотариус проявил щепетильность, обирая меня? Прежде всего — судьба моей дочери. Надо подумать, каким образом войти в доверие к даме со второго этажа. И каким образом устранить ее служанку? Ведь это место было бы для нас неожиданной удачей!

Два или три сильных удара в дверь заставили

задрожать г-жу де Фермон и разбудили ее дочь.

— Боже мой! Мама, что случилось? — воскликнула Клэр, рывком приподнимаясь на своем ложе.

Девушка неожиданно и инстинктивно обвила руками шею матери, а та, испугавшись не меньше дочери, прижала ее к груди, со страхом глядя на дверь.

— Мамочка, что же случилось? — повторила Клэр.

— Я и сама не знаю, дитя мое... Успокойся... это пустяки... просто постучали в дверь... может быть, это принесли нам с почты письмо до востребования...

В эту минуту трухлявая дверь снова заходила ходуном: по ней кто-то изо всех сил молотил кулаками.

— Кто там? — дрожащим голосом спросила г-жа де Фермон. В ответ послышался чей-то грубый, резкий и хриплый голос:

— Да вы что, оглохли, соседки? Эй, слышите... соседки?.. Эй!..

— Что вам угодно, сударь? Я вас не знаю, — проговорила г-жа де Фермон, стараясь унять дрожь в голосе.

— Меня звать Робен... я ваш сосед... дайте-ка мне

огоньку, трубку разжечь... да пошевеливайтесь там! Открывайте побыстрее!

— Боже мой! Ведь это хромой верзила, он вечно пьян, — тихо сказала мать дочери.

— Ах, так!.. Дадите вы мне огня, а то я все в щепки разнесу... разрази меня гром!

— Сударь, у меня нет огня...

— Тогда у вас есть серные спички... они у каждого имеются... отоприте... не.то...

— Сударь... идите к себе.....

— Стало быть, не хотите отворить... Считаю; раз... два...

— Я попрошу вас удалиться, или я позову на помощь...

— Считаю: раз... два... три... ну, что? Не хотите отворить? Ну тогда я все разнесу!.. Ух, держитесь!..

И негодяй с такой силой бухнул по двери, что она поддалась: жалкая задвижка, на которую была заперта дверь, треснула.

Обе женщины испустили испуганный вопль.

Преодолевая владевшую ею слабость, г-жа де Фермон бросилась навстречу злодею, который уже ступил одной ногою в комнату, и преградила ему путь.

— Сударь, это низко! Я не позволю вам войти! — крикнула несчастная мать, изо всех сил удер-

живая полуотворенную дверь. — Я стану звать на помощь.

Говоря так, она дрожала при виде этого человека с отвратительным, распухшим от пьянства лицом.

— Чего это вы? Чего это вы? — возразил он. — Разве не должны соседи оказывать друг другу услуги? Надо было отворить дверь, и я бы ее не вышиб.

Затем с тупым упорством пьяницы он прибавил, покачиваясь на ногах, одна из которых была короче другой:

— Я желаю войти и войду... и не уйду, пока не разожгу свою трубку.

— Да нет же у меня ни огня, ни спичек. Ради бога, сударь, идите к себе.

— Неправду вы говорите, вы это придумали для того, чтобы я не мог поглядеть на девчонку, что в кровати лежит. Вчера вы заткнули все щели в двери. Она у вас миленькая, я хочу на нее поглядеть... Берегитесь... Я вам сейчас физиономию расквашу, если вы не дадите мне войти... Говорю я вам, что непременно посмотрю на малышку в постели и разожгу свою трубку... а не то я у вас все сокрушу! А заодно и вас саму!..

— На помощь!.. Господи боже, на помощь! —

закричала г-жа де Фермон, чувствуя, что дверь поддается: хромой верзила изо всех сил нажал на нее плечом.

Оробев от этого крика, Робен попятился и погрозил г-же де Фермон кулаком, прибавив:

— Погоди, ты мне за все это заплатишь... Нынче же ночью я вернусь и прищемлю тебе язык, так что ты больше вопить не сможешь...

И колченогий верзила, как его называли на острове Черпальщика, ушел, изрыгая проклятия и угрозы.

Госпожа де Фермон, опасаясь, как бы он не вернулся, и видя, что задвижка сломана, с трудом подтащила к двери стол, забаррикадировав вход.

Клэр была так напугана и потрясена этой ужасной сценой, что без сил упала на свое убогое ложе во власти нервического приступа.

Госпожа де Фермон, позабыв о собственных страхах, бросилась к дочери, заключила ее в объятия, дала ей выпить немного воды; ее заботы и ласки привели бедняжку в чувство.

Мало-помалу девушка пришла в себя, мать ей сказала:

— Успокойся... Не надо тревожиться, бедное мое дитя... Этот злой человек уже ушел.

Затем несчастная мать воскликнула с негодо-

ванием и невыразимой болью:

— К тому же первопричина всех наших мук и терзаний — этот отвратительный нотариус!..

Клэр оглядывалась вокруг с удивлением и страхом.

— Успокойся же, дитя мое, — продолжала г-жа де Фермон, нежно обнимая дочь, — этот негодяй ушел.

— Боже мой, мамочка, а ну как он снова поднимется и войдет? Ты ведь сама убедилась: ты звала на помощь, и ведь никто не пришел... Умоляю тебя, уйдем из этого дома... Я тут умру от страха.

— Господи! Как ты дрожишь!.. У тебя сильный жар.

— Нет, нет, — ответила юная девушка, стремясь успокоить мать. — Это пустяки, меня лихорадит от испуга, и скоро пройдет... Ну а ты, ты-то как себя чувствуешь? Протяни мне свои руки... Боже мой, они у тебя просто пылают! Теперь я вижу, что ты больна, только хочешь, это от меня скрыть.

— Не думай так, девочка, я себя прекрасно чувствовала! И просто переволновалась, когда к нам вломился этот человек; я спала на стуле глубоким сном и проснулась одновременно с тобой...

— И все же, мамочка, у тебя такие красные глаза... такие красные, да они просто горят!

— Ах, дитя мое, ты ведь сама понимаешь: когда спишь, сидя на стуле, отдых совсем не тот!

— Скажи правду, ты не больна?

— Да нет же, уверяю тебя... А ты как?

— И я не больна; я только все еще дрожу от страха. Умоляю тебя, мамочка, уйдем из этого дома.

— И куда мы денемся? Ты ведь знаешь, с каким трудом нам удалось подыскать даже эту жалкую комнатушку... ведь у нас, на беду, нет с собой никаких бумаг, а потом, не забудь: мы уплатили за две недели вперед, и нам этих денег не вернут... а их у нас осталось очень мало... так мало... что мы должны на всем экономить, на чем только можно.

— Может быть, господин де Сен-Реми пришлет нам на днях ответ?

— Я на это больше уже не надеюсь... Ведь я уже так давно ему написала!

— Он, должно быть, не получил твоего письма... Отчего ты не напишешь ему еще раз? Ведь отсюда до Анже не так уж далеко, и ответ от него скоро придет.

— Бедная ты моя девочка, разве ты не знаешь, сколько душевных сил мне это уже стоило?

— Чем ты рискуешь, мама? Он ведь хоть и брюзга, но такой добрый! Разве не был он одним из

самых старинных друзей моего отца? И потом он, как-никак, наш родственник...

— Но он ведь и сам беден; у него очень скромное состояние. Может быть, он потому нам и не отвечает, что не хочет причинить лишнее горе, своим отказом.

— Мамочка, а вдруг он не получил нашего письма?

— Ну а если он получил его, девочка?.. Одно из двух: либо он сам в столь стесненных обстоятельствах, что прийти нам на помощь не может... либо он не испытывает к нам больше никакого интереса: а тогда зачем подвергать себя возможному отказу и новому унижению?

— Мужайся, мама, ведь у нас остается еще одна надежда... Может быть, нынешнее утро принесет нам добрые вести...

— Ответ от господина д'Орбиньи?

— Вот именно... Я прочла черновик посланного вами письма: вы так трогательно... так просто... так правдиво говорили о постигшем нас несчастье, что он, наверное, почувствовал к нам жалость. По правде говоря, что-то мне подсказывает, что напрасно вы впадаете в отчаяние, не надеетесь на графа.

— Но у него так мало резонов заинтересоваться

нашей судьбой! Правда, в былые времена он знал твоего отца, и я часто слышала, как мой бедный брат говорил о господине д'Орбиньи как о человеке, с которым он состоял в очень добрых отношениях, это было до того, как господин д'Орбиньи уехал из Парижа в Нормандию вместе со своей молодой женой...

— Вот это-то как раз и позволяет мне надеяться; у него молодая жена, уж она-то нам непременно посочувствует... А потом, в деревне можно делать столько нужных вещей! Я думаю, что он, например, может взять вас к себе домоправительницей, а я стану работать в бельевой... Ведь господин д'Орбиньи очень богат, дом у него большой, и там всегда много разных дел.

— Так-то оно так, но у нас мало прав на его сочувствие!..

— Ведь мы же так несчастны!

— Ты права, для людей, по-настоящему милосердных, это и в самом деле очень важно.

— Будем уповать на то, что господин д'Орбиньи и его жена именно таковы!

— В конце концов, если нам станет ясно, что ждать от него нечего, я преодолею ложный стыд и напишу герцогине де Люсене...

— Это той самой даме, о которой нам так часто

говорил господин де Сен-Реми, и он постоянно расхваливал ее доброе сердце и ее великодушие?

— Да, она дочь князя де Нуармон. Господин де Сен-Реми знал ее еще совсем ребенком, он даже смотрел на нее почти как на собственное дитя. потому что он был очень близок с князем. У госпожи де Люсене должны быть многочисленные знакомства, быть может, она сумеет подыскать мне, да и тебе тоже, какое-нибудь место.

— Без сомнения, мама; но я понимаю твою щепетильность, ты же ее совсем не знаешь, в то время как мой отец и мой бедный дядюшка были немного знакомы с господином д'Орбиньи.

— Ну, а в том случае, если и госпожа де Люсене ничем не сможет нам помочь, я могу прибегнуть к последнему средству.

— Какому же, мамочка?

— Правда, это очень слабая... даже почти безрассудная надежда! Но отчего не попробовать?.. Ведь сын господина де Сен-Реми...

— Разве у господина де Сен-Реми есть сын? — воскликнула Клэр, с удивлением перебивая мать.

— Да, девочка, у него есть сын.

— Но он о нем никогда, не упоминал... и тот никогда не приезжал в Анже...

— Это верно; но некоторым причинам, о которых ты ничего не знаешь, господин де Сен-Реми, уехав из Парижа лет пятнадцать тому назад, с тех пор ни разу не видел своего сына.

— Сын целых пятнадцать лет не видел своего отца... Господи, разве такое возможно?..

— Увы! Сама видишь, что да... Я тебе вот что скажу: сын господина де Сен-Реми очень богат и очень часто бывает в свете...

— Он очень богат?.. А отец его беден?

— Все свое состояние молодой человек унаследовал от матери...

— Но какое это имеет значение... как же он позволяет, чтобы его отец...

— Его отец ничего бы не принял от сына.

— А почему?

— Я и на этот вопрос не могу тебе ответить, милая моя девочка. Но я не раз слышала, как мой бедный брат говорил о том, что люди очень хвалят этого молодого человека за его великодушие и щедрость... Если он молод и великодушен, стало быть, он добр... Так что, узнав от меня, что мой муж был близким другом его отца, быть может, он пожелает принять в нас участие и постарается найти для нас какую-нибудь работу или место. У него многочисленные связи в высшем свете, и

это будет ему нетрудно сделать.

— А потом, может быть, мы через него узнаем, не уехал ли его отец, господин де Сен-Реми, из Анже до того, как вы послали ему письмо; тогда станет понятно и его молчание.

— Я думаю, дитя мое, что отец и сын не поддерживают друг с другом никаких отношений. Но, в конце концов, попытаться можно...

— Разве что вы за это время получите благоприятный ответ от господина д'Орбиньи... Я повторяю вам, что, сама не знаю почему, помимо собственной воли, меня не оставляет надежда.

— Однако, дитя мое, я написала ему уже несколько дней назад, рассказала о причинах постигшей нас беды, и в ответ — ничего... все еще ничего... Письмо, отправленное с почты до четырех часов дня, должно прийти в Обье на следующее утро. Прошло пять дней, и мы могли бы уже получить ответ...

— Быть может, перед тем как ответить тебе, он думает, каким образом он может оказаться нам полезен.

— Да услышит тебя господь бог, дитя мое!

— По-моему, все объясняется так просто, мама... Если бы он не мог ничего для нас сделать, он бы тотчас же тебя об этом известил.

— Да, а если он и мог бы, но не хочет ничего для нас сделать...

— Ах, мамочка... разве так может быть? Не соизволить даже ответить и оставлять нас в неизвестности четыре дня, а то и целую неделю!.. Ведь когда человек несчастен, он всегда надеется...

— Увы! Дитя мое, порою приходится сталкиваться с полным безразличием к бедам, о которых толком ничего не знают!

— Но ваше письмо...

— Разве может он, получив мое письмо, представить себе те тревоги и страдания, какие ежеминутно терзают нас; разве может мое письмо обрисовать ему нашу злосчастную жизнь, все те унижения, которым мы подвергаемся, разве может он понять из него, какое ужасное существование ведем мы в этом отвратительном доме, тот страх, который мы только что испытали?.. И может ли, наконец, мое письмо живописать ему то страшное будущее, какое нас ожидает, если... Но ладно... дитя мое... не будем говорить об этом... Господи боже... ты дрожишь... тебе холодно...

— Нет, мамочка... не обращай внимания; но скажи мне, предположим, что та небольшая сумма денег, что лежит в этом чемодане, уже истрачена, что мы остались совсем без средств...

неужели может случиться, что в таком богатом городе, как Париж... мы обе с тобой умрем с голоду и от нищеты... из-за отсутствия работы и только потому, что один злой и дурной человек отобрал у тебя все, чем ты располагала?..

— Молчи, мое бедное дитя...

— Нет, скажи, наконец, мама, неужели это возможно?..

— Увы!

— Но ведь всеведущий и всемогущий господь не может совсем нас покинуть. Ведь мы ни разу в жизни ничем не оскорбили его.

— Умоляю тебя, девочка, не предавайся столь мрачным мыслям... Мне гораздо приятнее видеть, как ты надеешься на лучшее, хотя, быть может, и без особых оснований... Послушай, утешь меня лучше твоими радужными иллюзиями; ты ведь знаешь... я так легко, слишком легко падаю духом...

— Да! Да! Будем уповать на лучшее... это гораздо легче. Племянник содержателя меблированных комнат непременно вернется сегодня с почты с письмом для нас... Придется опять заплатить ему за услугу из ваших скудных средств... и это по моей вине. Если бы вчера и сегодня я не была так слаба, мы бы сами пошли на почту, как третьего

дня... но вы не хотели оставлять меня одну в этом доме на время вашего отсутствия.

— Но как же я могла это сделать, дитя мое?.. Посуди сама..., только что... этот негодяй высадил дверь, а что было бы, будь ты в комнате одна!

— Ох, мамочка, молчи, при одной мысли об этом мне становится страшно...

В эту минуту кто-то громко постучал в дверь.

— О небо!.. Это он! — воскликнула г-жа де Фермон, все еще не оправившаяся от страха.

И она изо всех сил придвинула стол вплотную к двери. Ее испуг прошел, когда она услышала голос папаши Мику:

— Сударыня, мой племянник Андре вернулся с почтамта... Он принес письмо, где вместо адреса стоят буквы «Икс» и «Зет»... оно пришло издалека... Восемь су стоят почтовые расходы, а потом комиссионные... всего двадцать су.

— Мамочка... письмо из провинции, мы спасены... оно либо от господина де Сен-Реми, либо от господина д'Орбиньи! Милая мама, ты не будешь больше страдать, ты перестанешь тревожиться за, меня, ты будешь счастлива?.. Господь справедлив... Он и впрямь всеблагой!.. — воскликнула юная девушка, и луч надежды озарил ее нежное и очаровательное личико.

— О сударь, благодарю вас... дайте письмо... дайте его поскорее! — воскликнула г-жа де Фермон, торопливо отодвигая стол и приотворяя дверь.

— С вас двадцать су, сударыня, — повторил скупщик краденого, показывая бедной женщине столь вожделенное письмо.

— Я сейчас заплачу вам, сударь.

— Ах, сударыня, я это так, к слову... особой спешки нет... Мне надо подняться на чердак и на крышу; минут через десять я вернусь и на обратном пути получу с вас деньги.

Он протянул письмо г-же де Фермон и ушел.

— Письмо из Нормандии... На почтовой марке стоит штемпель «Обье»... Оно от господина д'Орбиньи! — вскричала г-жа де Фермон, внимательно разглядывая письмо; на конверте стояло: «Госпоже Икс Зет... до востребования, Париж»[110].

— Ну что, мамочка, я была права?.. Боже мой, как колотится у меня сердце!

— Так или иначе в этом письме заключен наш

---

[110] Notes: 110

Госпожа де Фермон, написав это письмо в доме, где она прежде жила, и не зная в то время, где она сможет поселиться, просила г-на д'Орбиньи ответить ей письмом до востребования, но так как паспорта у нее не было, то для этого, чтобы получить письмо на почте, она указала вместо адреса эти инициалы: это было достаточно для получения адресованного ей письма. (Примеч. автора)

счастливый или несчастный жребий... — проговорила г-жа де Фермон взволнованным голосом, указывая на письмо.

Дважды она подносила дрожащую руку к сургучной печати, не решаясь сломать ее.

Она никак не могла собраться с духом.

Кто возьмется описать ужасную тревогу, во власти которой пребывают те, кто подобно г-же де Фермон ожидает прочесть в письме строки, рождающие надежду или повергающие в отчаяние.

Горячечное, лихорадочное волнение игрока, который поставил на карту свои последние золотые монеты, и, тяжело дыша, с воспаленным взглядом ожидает окончательного решения своей участи — своей гибели или спасения, — это сильнейшее волнение может дать некоторое понятие об ужасной тревоге, владевшей несчастной женщиной.

В одно мгновение душа такого человека возносится в мир радужных надежд или погружается в смертельное отчаяние. В зависимости от того, полагает ли он себя спасенным или отвергнутым, несчастный то и дело переходит от одного чувства к другому, противоположному: от несказанного ощущения радости и признательности к великодушному человеку, который сжалился

над его горестной судьбой, к мучительной злобе против равнодушного эгоиста.

Когда речь идет о попавших в беду достойных людях, те, кто часто оказывает помощь, будут, вероятно, оказывать ее всегда... а те, кто всегда отказывает в помощи, будут, быть может, оказывать ее часто, если и те и другие будут знать или будут видеть, какую несказанную радость или какую ужасную боль может принести несчастным надежда на доброжелательную поддержку или же боязнь пренебрежительного отказа... словом, отношение к ним.

— Какая непростительная слабость! — воскликнула г-жа де Фермон, печально улыбнувшись и присев на постель, где лежала ее дочь. — Повторю еще раз: наша судьба заключена в этом письме, бедная моя Клэр... — И она указала на конверт. — Я просто горю желанием узнать, что в нем заключено, и не решаюсь. Если там отказ, то, увы, незачем спешить...

— Ну а если там обещание помощи, мамочка... Если в этом маленьком, с виду ничем не примечательном письме содержатся добрые и утешительные слова, которые успокоят наши тревоги за будущее, если нам обещают скромное место в доме господина д'Орбиньи, то разве каж-

дая потерянная минута не означает потерянный миг счастья?

— Ты права, девочка, но если там, напротив...

— Нет, матушка, вы ошибаетесь, я уверена в хорошем. Когда я вам говорила, что господин д'Орбиньи так долго не отвечал вам, то это объяснялось тем, что он хотел удостовериться в возможности твердо вас обнадежить... Позвольте мне взглянуть на письмо; я уверена, что смогу угадать по одному лишь почерку на конверте, что в нем: хорошие или дурные вести... Да, теперь я уверена, — сказала Клэр, взяв письмо из рук матери, — достаточно посмотреть на этот красивый почерк, безо всяких завитушек, прямой и твердый, и сразу понимаешь, что писал человек верный и великодушный, привыкший приходить на помощь страждущим...

— Умоляю тебя, Клэр, не строй безрассудных надежд, не то у меня совсем не хватит духа распечатать это письмо.

— Боже мой, милая моя матушка, да я, и не распечатывая его, могу сказать вам, что в нем примерно сказано; послушайте: «Сударыня, ваша судьба и судьба вашей дочери вполне достойны нашего участия; вот почему я прошу вас соблаговолить приехать ко мне, если вы хотите взять на

себя обязанности моей домоправительницы...»

— Пощади меня, девочка, я снова и снова умоляю тебя... не строй безрассудных надежд... Пробуждение от волшебных грез будет чересчур ужасным... Ну ладно, больше мужества, — проговорила г-жа де Фермон, беря письмо из рук дочери и готовясь сломать наконец сургучную печать.

— Больше мужества? Для вас, пожалуйста! — воскликнула Клэр с улыбкой, охваченная порывом доверия, столь естественным в ее возрасте. — Я в нем не нуждаюсь; я заранее уверена, что в письме — добрые вести. Подождите, хотите, я сама распечатаю письмо? И прочту вам его вслух?.. Дайте мне конверт, милая моя трусишка...

— Да, пожалуй, так будет лучше, держи... Но нет, нет, пусть уж лучше я прочту сама.

И г-жа де Фермой с замиранием сердца сломала сургучную печать.

Ее дочь, также глубоко взволнованная, несмотря на кажущуюся уверенность, едва дышала.

— Читай вслух, мама, — попросила она.

— Письмо довольно короткое; написано оно графиней д'Орбиньи, — сказала г-жа де Фермон, взглянув на подпись.

— Тем лучше, это добрый знак... Видишь, мамочка, эта прелестная молодая дама захотела

тебе ответить сама.

— Сейчас все узнаем.

И г-жа де Фермой дрожащим голосом прочла нижеследующие строки:

«Сударыня!

Граф д'Орбиньи уже некоторое время серьезно болен и потому не мог в мое отсутствие ответить на ваше письмо...»

— Видишь, мама, значит, он не виноват.

— Слушай, слушай дальше!

«Возвратившись сегодня утром из Парижа, я спешу написать вам, сударыня, посоветовавшись перед тем с г-ном д'Орбиньи относительно вашей просьбы. Он весьма смутно припоминает те отношения, какие, по вашим словам, существовали между ним и вашим братом. Что касается имени вашего мужа, то оно действительно знакомо г-ну д'Орбиньи, однако он не может вспомнить, при каких обстоятельствах он его слышал, и от кого именно. Мнимое мошенничество, в котором вы столь легкомысленно обвиняете г-на Жака Феррана, который,

к нашему великому счастью, является нашим нотариусом, по мнению г-на д'Орбиньи, ужасная клевета, последствия которой вы, без сомнения, дурно рассчитали. Как и я сама, сударыня, мой муж хорошо знает этого весьма почтенного и благочестивого человека, на которого вы столь безрассудно нападаете, и восторгается его необыкновенной честностью. Вот почему я вынуждена сообщить вам, сударыня, что г-н д'Орбиньи, разумеется глубоко сочувствуя затруднительному положению, в котором вы оказались, но не постигая истинных причин ваших невзгод, не считает для себя возможным оказать вам какую-либо помощь.

Соблаговолите, сударыня, принять выражение сожаления г-на д'Орбиньи по этому поводу, а также мои заверения в самых добрых чувствах к вам.

Графиня д'Орбиньи».

Мать и дочь в горестном изумлении уставились друг на друга: они не в силах были произнести ни слова.

В эту минуту папаша Мику постучал в дверь

и сказал:

— Сударыня, могу ли я войти и получить деньги за почтовый сбор и комиссионные услуги? Всего двадцать су.

— Ах да, разумеется! Такая добрая весть стоит, чтобы мы заплатили за нее столько, сколько мы проедаем за два дня, — ответила г-жа де Фермон с горькой улыбкой. Оставив письмо на постели дочери, она подошла к старому чемодану без замка, наклонилась и открыла крышку.

— Нас обокрали! — воскликнула несчастная женщина с испугом. — Теперь у нас нет ничего, больше ничего, — прибавила она упавшим голосом.

И г-жа де Фермон в изнеможении оперлась на чемодан.

— Что ты такое говоришь, мама?.. А сумочка с деньгами?..

Госпожа де Фермон быстро выпрямилась, вышла из комнаты, и, обратившись к скупщику краденого, который продолжал, топтаться на пороге, крикнула:

— Сударь, в этом чемодане лежала моя сумочка с деньгами...

При этих словах глаза ее засверкали, а на щеках выступил лихорадочный румянец от возмуще-

ния и испуга.

— И сумочку эту, — продолжала она, — у меня украли позавчера, когда мы вместе с дочерью отлучались на час... Эти деньги нужно разыскать, слышите? Ведь вы отвечаете за сохранность нашего имущества.

— Вас обокрали?! Вот выдумка! Мой дом славится своей честностью, — грубо и нагло ответил владелец меблированных комнат. — Вы все это придумали, чтобы не заплатить мне за почтовый сбор и за доставку письма.

— Я повторяю вам, сударь, что эти деньги, — все, чем я располагала, и меня обокрали; нужно отыскать их, или я подам жалобу. И я ни с чем не посчитаюсь, я ни перед чем не остановлюсь... имейте это в виду, я вас предупреждаю.

— Вам только и подавать жалобу! Да ведь у вас и бумаг-то никаких нет... Ступайте же, жалуйтесь на здоровье! Ступайте немедля... Я вам сам укажу куда!..

Несчастная женщина была сражена.

Она не могла даже выйти из дому и оставить одну свою дочь: бедная девочка лежала в постели совершенно без сил: она все еще не оправилась от испуга: утром ее до полусмерти напугал хромой верзила, а сейчас ее привели в ужас угрозы

скупщика краденого.

Между тем папаша Мику продолжал:

— Все это притворство; у вас не было никакой сумочки с серебром, как не было и сумочки с золотом; просто вы не хотите уплатить мне за доставку письма, не правда ли? Ладно! Мне все равно... Когда вы будете проходить мимо моей двери, я сорву у вас с плеч эту старую черную шаль... Она сильно выцвела, но уж двадцать-то су она, во всяком случае, стоит.

— Ах, сударь! — воскликнула г-жа де Фермон, обливаясь слезами. — Помилосердствуйте, пожалейте нас... ведь эта скромная сумма серебром — это все, что у нас с дочерью оставалось; господи, и вот ее украли, и теперь у нас не осталось ничего... слышите, ничего... Мы просто-напросто умрем с голода!..

— Да я — то что могу поделать, как я могу помочь?! Если вас и вправду обокрали... и унесли ваше серебро (мне в это что-то не верится), то ваши денежки уже давно, как говорится, плакали!

— Господи боже! Господи боже!

— Молодчик, который обстряпал это дело, вряд ли будет таким добрым малым, чтобы пометить ваши серебряные монеты и держать их у себя, чтобы его с ними сцапали; не думаю, чтобы это

мог сделать кто-либо из постояльцев, потому как еще нынче утром я говорил дяде дамочки со второго этажа, что у нас тут тихо, как в деревушке; так что, коли вас обокрали, это и впрямь беда. Можете подать сто тысяч жалоб, но не получите ни одного сантима... ничего вы не добьетесь... это я вам говорю... можете мне поверить... Эй-эй! — крикнул папаша Мику, прерывая свою речь. — Да что это с вами?.. Вы побледнели как мел... Будьте поосторожнее!.. Мадемуазель, вашей матушке дурно!.. — прибавил скупщик краденого, быстро подойдя к несчастной женщине и в последнюю минуту подхватив ее: сраженная последним ударом, она лишилась чувств; лихорадочная энергия, которая так долго поддерживала г-жу де Фермон, оставила ее при новом испытании.

— Мамочка!.. Что с тобою? Боже мой! — воскликнула Клэр, все еще лежавшая в постели.

Скупщик краденого, еще достаточно сильный, несмотря на то, что ему уже стукнуло пятьдесят, охваченный чувством мимолетной жалости, подхватил г-жу де Фермон на руки, толкнул коленом дверь, мешавшую ему войти в комнату, и сказал, обращаясь к Клэр:

— Мадемуазель, простите, что я вхожу к вам, когда вы лежите в постели, но приходится: мне

нужно отвести вашу матушку... она без чувств... но это, должно быть, недолго продлится.

Увидя входящего мужчину, Клэр испустила крик ужаса и закуталась с головой в одеяло.

Папаша Мику усадил г-жу де Фермой на стул, стоявший возле походной кровати, и ушел, оставив дверь полуотворенной, ибо задвижку от нее сломал хромоногий верзила.

Через час после этого последнего потрясения серьезная болезнь, уже давно подтачивавшая г-жу де Фермой и угрожавшая ее жизни, наконец проявилась.

Вся в жару, в лихорадке, в страшном бреду, несчастная женщина легла в постель своей совершенно растерявшейся дочери, а та — одна-одинешенька, почти столь же больная, как и ее мать, без гроша в кармане, без средств к существованию трепетала от страха, боясь, что в любую минуту в комнату может ворваться злодей, живший на той же лестничной площадке.

Глава VI.
УЛИЦА ШАЙО

Мы опередим на несколько часов г-на Бадино, который торопился попасть из Пивоваренного проезда в дом виконта де Сен-Реми. Виконт, как мы уже говорили, жил, на улице Шайо; он один занимал небольшой очаровательный особняк, окруженный двором и садом, в пустынном квартале, хотя и расположенном по соседству с Елисейскими полями — самым модным местом для прогулок парижан.

Нет смысла перечислять все те преимущества, которые г-н де Сен-Реми, весьма склонный к любовным похождениям, извлекал из местоположения своего жилища, столь умело выбранного им. Скажем только, что любая женщина могла очень быстро попасть к нему, пройдя через небольшую калитку обширного сада; калитка эта выходила во всегда безлюдный переулок, соединявший улицу Марбеф с улицей Шайо.

Наконец, благодаря поистине чудесной случайности одно из самых превосходных садоводств столицы также имело редко используемый выход

в тот же переулок; таким образом, таинственные посетительницы г-на де Сен-Реми в случае неожиданной и непредвиденной встречи были всегда вооружены вполне благовидным и, так сказать, буколическим предлогом, объяснявшим, почему они оказались в этом роковом переулке.

Они могли бы сказать, что направлялись к знаменитому садовнику-цветоводу за букетом редких цветов, ибо он по праву славился своими замечательными теплицами.

Эти прелестные посетительницы, впрочем, солгали бы лишь наполовину: у самого виконта, щедро одаренного истинным вкусом к изысканной роскоши, была собственная прекрасная теплица, тянувшаяся вдоль переулка, о котором мы уже упомянули; маленькая, скрытая кустами дверь выходила в этот очаровательный зимний сад, который упирался прямо в будуар (да простят нам это старомодное слово), расположенный в нижнем этаже особняка.

Да будет нам позволено сказать без всякой метафоры, что женщина, переступавшая этот опасный порог, чтобы попасть к г-ну де Сен-Реми, шла навстречу своей гибели по цветущей тропе; ибо; особенно зимою, эта очаровательная аллея была окаймлена пышными кустами красивых и

благоуханных цветов.

Госпожа де Люсене, ревнивая, как и всякая страстная женщина, потребовала у виконта ключ от этой маленькой двери.

Если мы чуть подробнее остановимся на общем характере этого необычного жилища, то должны будем заметить, что оно, так сказать, отражало, как в зеркале, одно из тех постыдных существований, которых с каждым днем становится, к счастью, все меньше и меньше, но о которых стоит упомянуть, как о странных приметах описываемой эпохи; мы хотим поговорить о существовании тех мужчин, которые играют в жизни женщин ту роль, какую играют в жизни мужчин куртизанки; за отстуствием более точного определения мы назовем таких людей, если нам это будет позволено, мужчинами-куртизанками.

В этом отношении внутреннее убранство особняка г-на де Сен-Реми представляло собою довольно любопытное зрелище.

Но прежде всего надо сказать, что особняк этот был разделен на две совершенно различные половины.

В нижнем этаже виконт принимал женщин.

На втором этаже принимал своих партнеров по

карточной игре, сотрапезников, людей, с которыми он вместе охотился, словом, тех, кого именуют приятелями...

Поэтому в нижнем этаже была расположена спальня: здесь все было в золоте, в зеркалах, в цветах, атласе и кружевах; рядом находились небольшая гостиная для музицирования, тут можно было увидеть арфу и фортепьяно (г-н де Сен-Реми был отличный музыкант) и кабинет, где висели картины и были собраны различного рода редкости; будуар соседствовал с теплицей; кроме того, была здесь и крошечная уютная столовая на две персоны, где можно было мигом накрыть на стол и убрать со стола; имелась здесь и ванная — законченный образец восточной изысканной роскоши, а помимо всего, была тут и небольшая библиотека, частично подобранная по каталогу библиотеки, которую Ламеттри составил для Фридриха Великого.

Незачем говорить, что все эти комнаты, обставленные с редким вкусом, с поистине сказочной роскошью, были украшены малоизвестными полотнами Ватто, никому не ведомыми холстами Буше, скульптурными группами статуэток из не покрытого глазурью фарфора и терракоты; «а подставках из яшмы или брекчии стояли ко-

пии изящных статуэток из белого мрамора: их подлинники хранятся в музее Лувра. Прибавьте к этому, что летом все как бы обрамлялось зелеными кустами и цветниками густого сада, безлюдного, полного цветов, населенного певчими птицами, освежаемого ручейком быстро бегущей воды: перед тем как оросить зеленую лужайку, она обрушивалась на нее с высоты черного утеса и сверкала как полоса серебристого газа, а затем, блеснув как перламутровая пластина, терялась в прозрачном водоеме, где плавали и резвились белые лебеди.

Когда же опускалась теплая ясная ночь — сколько было трепетной тени, благоухания, загадочной тишины в купах источающих аромат деревьев, чья густая листва служила нерукотворным балдахином, словно сплетенным из тростника и индийских циновок!

Зимой же, напротив, все, кроме застекленной двери, что вела в теплицу, все было плотно заперто: прозрачные шелка занавесей, сеть отделанных кружевом драпировок придавали слабому дневному свету какой-то таинственный оттенок; на столиках, секретерах и комодах — всюду виднелись вазы с экзотическими растениями: они походили на огромные чаши, отливавшие

золотом и эмалью.

В этом безмолвном убежище, наполненном пряно пахнувшими цветами, сладострастными полотнами художников, вы как бы дышали атмосферой любви, пьянящей атмосферой, переполнявшей душу и чувства жгучим томлением.

Наконец, чтобы полностью воздать должное этому дому, напоминавшему античный храм, воздвигнутый для любви либо в честь обнаженных богинь Древней Греции, добавим, что в нем жил молодой и красивый человек, элегантный и утонченный, то остроумный, то нежный, то романтичный, то любострастный, то насмешник, сумасброд и весельчак, то полный очарования и прелести, прекрасный музыкант, одаренный тем вибрирующим голосом, полным страсти, слушая который женщины ощущают глубокое волнение... почти физическое возбуждение, словом, человек, прежде всего влюбленный... всегда влюбленный... Таким был виконт де Сен-Реми.

В Афинах его бы, без сомнения, боготворили, безмерно обожали, обожествляли как нового Алкивиада; но в наши дни в описываемую нами эпоху виконт был всего лишь презренным изготовителем подложных векселей, всего лишь жалким мошенником.

Второй этаж особняка г-на де Сен-Реми, напротив, являл собою жилище мужчины-холостяка.

Именно здесь он принимал своих многочисленных друзей, причем все они принадлежали к высшему обществу.

Тут вы не встретили бы ничего кокетливого, ничего, отмеченного печатью женственности: простая и строгая обстановка, вместо украшений — дорогое и красивое оружие; портреты скаковых лошадей, которые принесли виконту множество великолепных золотых и серебряных кубков, стоявших на столиках и подставках; курительная комната и гостиная, где играли в карты или метали кости, соседствовали с убранной до блеска столовой, где восемь персон (число приглашенных строго соблюдается, когда речь идет об изысканном обеде) не один раз высоко оценивали искусство повара и превосходные вина из собственного погреба виконта; затем составлялась партия в вист, игра часто принимала весьма нервический характер, ибо ставки поднимались до пятисот и даже шестисот луидоров; а в иные дни гости — каждый в свой черед — шумно постукивали стаканчиком для игральных костей.

Теперь, когда мы описали две различные половины особняка г-на де Сен-Реми, читатель,

надеемся, соблаговолит последовать за нами в, так сказать, более низменные пределы — иными словами, войдет в каретный двор и поднимется по маленькой лестнице, что вела в весьма комфортабельные покои Эдвардса Паттерсона, ведавшего конюшней виконта де Сен-Реми.

Сей знаменитый coachman[111] пригласил в тот день к себе на завтрак г-на Буайе, доверенного камердинера виконта. Очень хорошенькая служаночка-англичанка удалилась, принеся перед тем чайник, и двое мужчин остались вдвоем.

Эдвардсу было на вид лет сорок; никогда еще более искусный и толстый кучер не отягощал сиденье более внушительной округлой частью тела, не обрамлял белым париком более багровую физиономию и не держал с большей элегантностью в кулаке левой руки вожжи запряженной в карету четверни. Столь же превосходный знаток лошадей, как Татерсейл из Лондона, не уступавший в молодости столь опытному кучеру, как прославленный и уже пожилой Чиффни, Эдвардс был сущей находкой для виконта де Сен-Реми, ибо тот обрел в его лице — а такое редко встречается — не только прекрасного кучера, но и

---

[111] Notes: 111
Кучер (англ.).

человека, умеющего великолепно тренировать скаковых лошадей; виконт держал их в своей конюшне, чтобы иметь возможность заключать выгодные пари.

Эдвардс, когда он не восседал в своей нарядной, расшитой золотом коричневой ливрее на сиденье кареты, украшенной гербами виконта, сильно смахивал на почтенного английского фермера; в таком обличье мы и представим его читателю, присовокупив, однако, что, несмотря на добродушную и румяную физиономию Эдвардса, опытный наблюдатель мог бы угадать в нем безжалостное и дьявольское коварство барышника.

Его гость, г-н Буайе, доверенный камердинер г-на де Сен-Реми, был высокий и сухощавый человек с гладкими седыми волосами, полысевшим лбом, проницательным взглядом, с холодным, скрытым и сдержанным выражением лица; он употреблял в своей речи изысканные выражения, отличался весьма учтивыми манерами, держался весьма непринужденно, кое-что почитывал, придерживался консервативных взглядов в политике и мог с честью исполнять партии первой скрипки в любительском квартете; время от времени он величественным жестом брал понюшку

табака из своей золотой, отделанной тонким жемчугом табакерки... после чего небрежно разглаживал тыльной стороной кисти, не менее ухоженной, чем у его хозяина, складки на своей сорочке из тонкого голландского полотна.

— Знаете ли вы, любезный мой Эдвардс, — объявил Буайе, — что ваша служаночка вполне сносно справляется со своими обязанностями домоправительницы почтенного дома?

— Право же, она очень милая девица, — ответствовал Эдвардс, который превосходно говорил по-французски, — и я возьму ее в мое собственное заведение, если я все же решусь обзавестись таковым; кстати, раз уж мы оказались вдвоем, любезный мой Буайе, потолкуем о наших делах, вы ведь знаете в них толк?

— Да, я кое в чем разбираюсь, — скромно ответил Буайе, беря очередную понюшку табака. — Когда занимаешься делами других людей, то, само собой разумеется, кое-чему непременно научишься.

— Я хотел бы получить от вас очень важный для меня совет; именно для этого я пригласил вас к себе на чашку чая.

— Весь к вашим услугам, любезный мой Эдвардс.

— Вы знаете, что, помимо тренировки скаковых лошадей, я условился с господином виконтом о том, что буду полностью ведать его конюшней — и животными и людьми, — иными словами, восемью лошадьми и пятью или шестью грумами и подручными, получая за все это двадцать четыре тысячи франков в год. «Сколько, по-вашему, стоят по самой дешевой цене мои лошади и экипажи?» — спросил господин де Сен-Ре-ми. «Господин виконт, восемь лошадей не могут быть проданы дешевле, чем по три тысячи франков каждая (и это так, Буайе, ибо за пару лошадей для фаэтона заплатили пятьсот гиней), так что всего получится за лошадей двадцать четыре тысячи франков. Что касается экипажей, у нас их четыре, положим за все двенадцать тысяч франков, прибавим эти деньги к тем двадцати четырем тысячам, что выручим за лошадей, получится тридцать шесть тысяч франков». — «Превосходно! — продолжал господин виконт, — купите у меня все оптом за эту сумму, при одном условии: помимо причитающихся вам двадцати четырех тысяч франков вы оставите себе остальные двенадцать тысяч, но зато в течение полугода вы будете по-прежнему ухаживать за лошадьми, ведать людьми и экипажами, но все это останется на этот срок в моем

распоряжении».

— И вы благоразумно согласились на эту сделку, Эдвардс? Ведь предложение вам было сделано, можно сказать, золотое.

— Конечно, через две недели установленные шесть месяцев истекут, и я вступаю во владение и лошадьми и экипажами.

— Чего уж проще. Акт был составлен господином Бадино, стряпчим господина виконта. Так в каком же моем совете вы нуждаетесь?

— Как мне лучше поступить? Продать лошадей и экипажи в связи с отъездом господина де Сен-Реми, а продать их будет легко, и за хорошую цену, потому что он известен как лучший знаток лошадей в Париже; или же мне стоит самому заняться торговлей лошадьми, завести собственную конюшню, ведь начало уже положено? Что вы мне посоветуете?

— Я советую вам поступить так же, как поступлю я сам.

— А именно?

— Я ведь нахожусь в таком же положении, как и вы.

— Вы?

— Господин виконт ненавидит заниматься всякого рода мелочами; когда я поступил к нему на

службу, у меня были кое-какие сбережения, вместе с отцовским наследством составилась сумма в шестьдесят тысяч франков; я ведал расходами по дому, как вы ведали конюшней, и все эти годы господин виконт платил мне жалованье, даже не проглядывая счета; приблизительно в то же время, что и вы, я обнаружил, что хозяин задолжал мне двадцать тысяч франков и тысяч шестьдесят мы остались должны поставщикам; и тогда господин виконт предложил мне, как он предложил вам, чтобы рассчитаться с долгами, приобрести у него всю обстановку особняка, включая столовое серебро, кстати, очень красивое, очень дорогие полотна разных живописцев и все остальное; оптом мы оценили имущество в сто сорок тысяч франков. Уплатить мне и поставщикам надо было восемьдесят тысяч франков, таким образом, оставалось еще шестьдесят тысяч, я обязался употребить их все до последнего сантима на стол, жалованье прислуге и прочие нужды, но больше ни на что; таково было условие заключенной нами сделки.

— Ибо на этих расходах вы кое-что зарабатывали.

— Разумеется, ибо я сговорился с поставщиками, что уплачу им деньги только после продажи

имущества, — сказал Буайе, втягивая носом добрую понюшку табака, — Так что к концу этого месяца...

— Вся обстановка будет принадлежать вам, так же, как лошади и эпипажи — мне.

— Конечно, господин виконт тоже не остался внакладе: он сохранил возможность продолжать все последнее время вести любезный его сердцу образ жизни... то есть жить как вельможа и одновременно оставить с носом своих кредиторов: ведь за обстановку, столовое серебро, лошадей, экипажи — за все было уплачено им наличными деньгами, когда он достиг совершеннолетия, а теперь все это стало нашей собственностью — вашей и моей.

— Стало быть, господин виконт будет разорен?

— Он сумел разориться всего за пять лет...

— А унаследовал господин виконт?..

— Жалкий миллион франков наличными деньгами, — ответил с явным пренебрежением г-н Буайе, беря очередную понюшку табака. — Прибавьте к этому миллиону примерно двести тысяч долгу, так что сумма получается подходящая... Все это я вам рассказываю, любезный мой Эдвардс, потому что я собирался сдавать внаем англичанам весь этот превосходно обставленный

особняк, как он есть: с бельем, хрусталем, фарфором, столовым серебром, теплицей; думаю, что многие из ваших соотечественников согласились бы на весьма высокую плату.

— Еще бы! А почему вы раздумываете?

— Понимаете, вещи могут упасть в цене, такой риск существует! И потому я решил продать дом со всей обстановкой. Господин виконт слывет таким знатоком антикварной мебели и произведений искусства, что принадлежащее ему имущество пойдет чуть ли не по двойной цене: таким образом, я положу в карман кругленькую сумму! Поступайте как я, Эдвардс, продайте, продайте все и не вздумайте на вырученные деньги пускаться в биржевые спекуляции; вы ведь прославленный кучер виконта де Сен-Реми, вас всякий захочет заполучить к себе; кстати, как раз вчера мне говорили о хотя еще и несовершеннолетнем, но уже дееспособном кузене герцогини де Люсене: этот юный герцог Монбризон возвратился из Италии со своим наставником и намерен обустроить свой дом. У него добрых двести пятьдесят тысяч земельной ренты, любезный мой Эдвардс, слышите: двести пятьдесят тысяч годовой ренты... Вот с таким капитальцем он вступает в самостоятельную жизнь. Ему

двадцать лет, он человек доверчивый и полный иллюзий, ему не терпится начать тратить деньги, он расточителен, как принц... Я знаком с его дворецким, могу сказать вам это по секрету, он даже предложил мне место главного камердинера; глупец, вздумал мне покровительствовать!

И г-н Буайе, пожав плечами, шумно втянул в нос очередную понюшку табака.

— Вы надеетесь его выжить оттуда?

— Черт побери! Он либо наглец, либо просто болван. Он хочет взять меня к себе, ибо полагает, что ему незачем меня бояться! Не пройдет и двух месяцев, как я займу его место.

— Двести пятьдесят тысяч ливров земельной ренты! — заметил раздумчиво Эдварде. — И хозяин еще совсем молодой человек... Да, это место стоящее...

— Говорю вам, что там многое можно сделать. Я переговорю о вас со своим покровителем, — сказал г-н Буайе с нескрываемой иронией. — Поступайте туда на службу, ведь такое состояние, как у герцога, имеет крепкие корни, там можно надолго закрепиться. Это ведь не жалкий миллион господина виконта; такие деньги что снежный ком: под лучами парижского солнца он быстро тает — и всему конец! Я сразу же понял,

что буду здесь, так сказать, перелетной птицей; и в общем-то жаль, потому что служить в нашем доме было почетно, и до последней минуты я буду служить господину виконту со всем уважением и почетом, какого он заслуживает.

— Любезный мой Буайе, право же, я вам весьма благодарен и принимаю ваше лестное предложение; но я вот о чем подумал: а не предложить ли мне молодому герцогу приобрести конюшню господина виконта? Она ведь в полном порядке, можно сказать, на ходу, ее знает и ею восхищается весь Париж.

— И то верно, вы можете совершить выгодное дельце.

— А почему бы и вам не предложить этот особняк, так прекрасно обставленный и украшенный? Где он лучше-то найдет?

— Черт побери, Эдвардс, я всегда знал, что вы человек умный, меня это не удивляет, но, признаюсь, вы мне подали превосходную мысль! Надо нам обратиться к господину виконту, он человек славный и не откажется замолвить за нас словечко перед молодым герцогом; он скажет ему, что, уезжая в Герольштейн в составе миссии, к которой он причислен, он хочет разом избавиться от своего дома и имущества. Послушайте:

сто шестьдесят тысяч франков за прекрасно обставленный особняк, двадцать тысяч франков за столовое серебро и картины, пятьдесят тысяч франков за лошадей и экипажи, все это составит двести тридцать тысяч франков; по-моему, это замечательное предложение для богатого молодого человека, который желает обустроиться наилучшим образом; он потратит в три раза больше, чтобы приобрести столь элегантный, столь изысканный особняк со всеми службами! Потому что, надо признаться, Эдварде, никто лучше господина виконта не знает толк в роскошной жизни.

— Какие у него лошади!

— А какая вкусная еда! Годфруа, его повар, уйдет отсюда в сотню раз более искусным, чем пришел: господин виконт давал ему превосходные советы, он наделил его такой утонченностью!

— Помимо всего прочего, говорят, что господин виконт замечательный игрок!

— Восхитительный!.. Он выигрывает огромные суммы с еще большей невозмутимостью, чем проигрывает... А между тем я никогда не видел человека, который проигрывал бы деньги с большей выдержкой.

— А женщины, Буайе, а женщины! Уж вы бы могли многое о них порассказать, ведь вы один-

то и вхожи в покои, расположенные в первом этаже...

— У меня свои секреты, как и у вас, мой милый.

— У меня?

— Когда господин виконт играл на скачках, разве не было у вас при этом своих тайн? Я не хочу подвергать сомнению честность жокеев ваших противников... Однако ходили разные слухи...

— Тише, любезный мой Буайе: истинный джентльмен никогда не бросает тень на репутацию жокея своего противника, если тот, проявив слабость, прислушался к его посулам...

— Так же, как человек порядочный никогда не бросает тень на репутацию женщины, которая была особенно любезна с ним; а потому, повторяю, будем хранить свои тайны, вернее сказать, тайны господина виконта, мой дорогой Эдвардс.

— Да, кстати... а что он собирается делать сейчас?

— Он едет в Германию в хорошей дорожной карете, имея в кармане семь или восемь тысяч франков, которые ему удастся наскрести. О, я не тревожусь за судьбу господина виконта, он из тех людей, которые, как говорится, даже падая, всегда удерживаются на ногах...

— А он не ждет никакого наследства?

— Никакого, потому что его отец человек небогатый.

— Его отец?

— Вот именно...

— Разве отец господина виконта не умер?..

— Он был жив, во всяком случае, еще месяцев пять или шесть тому назад; господин виконт писал ему по поводу каких-то фамильных бумаг...

— Но он ведь тут никогда не появлялся?

— На то есть своя причина: вот уже пятнадцать лет, как отец господина виконта живет в провинции, в городе Анже.

— Но разве господин виконт не навещает его?

— Кого? Своего отца?

— Ну да.

— Никогда... никогда. Ни разу он к нему не ездил!

— Они что же, в ссоре?

— То, что я вам сейчас расскажу, — не тайна, я узнал обо всем от бывшего доверенного слуги князя де Нуармона.

— Отца госпожи де Люсене?. — спросил Эдварде, лукаво и многозначительно поглядев на собеседника; однако г-н Буайе, верный своей обычной сдержанности и корректности, сделал вид, что

ничего не заметил, и холодно продолжал:

— Герцогиня де Люсене и в самом деле дочь князя де Нуармона; отец господина виконта был близким приятелем князя; герцогиня в ту пору была совсем еще юной девушкой, и граф де Сен-Реми очень ее любил, он обращался с ней так фамильярно, как будто она была его дочерью. Все эти подробности известны мне из рассказа Симона, доверенного слуги князя; я могу говорить обо всей этой истории не обинуясь, потому что история, которую я хочу вам поведать, была в свое время на устах у всего Парижа. Несмотря на то, что отцу господина виконта уже шестьдесят лет, он человек железной воли, он храбр как лев, а его честность можно смело назвать легендарной: он не располагал почти что ничем, когда женился по любви на будущей матери господина виконта, довольно богатой молоденькой особе: она располагала миллионом франков, и мы с вами имели честь наблюдать, как эти деньги буквально растаяли на наших глазах.

При этих словах г-н Буайе поклонился.

Эдвардс последовал его примеру.

— Брак этот был поначалу весьма счастливым; но в один прекрасный день отец господина виконта, как говорили, совершенно случайно

обнаружил эти окаянные письма, из которых явствовало, что во время одной из его отлучек — это произошло года через три или четыре после свадьбы — его супруга прониклась нежной страстью к какому-то польскому графу.

— С этими поляками такое часто случается. Когда я служил у маркиза де Сенваля, госпожа маркиза... дама неистовая...

Господин Буайе прервал своего собеседника.

— Любезный мой Эдвардс, вам надлежит знать об узах родства, связывающих знатные семейства, и лишь потом говорить; в противном случае вы можете попасть в весьма неловкое положение.

— Каким образом?

— Маркиза де Сенваль — сестра герцога де Монбризона, поступить на службу к которому вы желаете...

— Вот чертовщина!

— Судите сами, что произошло бы, если бы вы стали говорить о ней такие вещи в присутствии завистников или доносчиков: вы бы и суток не остались в доме герцога...

— Вы совершенно правы, Буайе... я постараюсь разузнать обо всех нужных фамильных связях...

— Я продолжаю... Итак, отец господина виконта обнаружил после двенадцати или пятнадцати

лет счастливого брака, что жена изменила ему с польским графом. К несчастью либо, напротив, к счастью, господин виконт родился ровно через девять месяцев после того, как его отец... а точнее, граф де Сен-Реми возвратился домой после своей роковой отлучки, так что, несмотря на все весьма основательные предположения, он так и не мог окончательно увериться в том, что господин виконт — плод прелюбодеяния. Тем не менее граф немедленно разошелся с женой, не пожелал взять ни одного су из ее состояния, которое она принесла ему в приданое, и уехал жить в провинцию, располагая всего лишь восемьюдесятью тысячами франков; но послушайте дальше, и вы поймете всю злобность его дьявольского характера. Хотя оскорбление было нанесено ему за пятнадцать лет до того, как он об этом узнал, и срок давности вроде бы истек, отец господина виконта в сопровождении господина де Фермона, одного из его родичей, пустился на поиски поляка-соблазнителя и настиг его в Венеции после того, как почти полтора года разыскивал его чуть ли не во всех городах Европы.

— Каков упрямец!..

— Он злобен, как демон, говорю я вам, любезный мой Эдвардс... В Венеции и состоялся

кровопролитный поединок, в ходе которого поляк был убит. Все произошло по всем правилам; однако отец господина виконта выказал, как говорят, такую свирепую радость, увидя, что поляк смертельно ранен, что его родичу, господину де Фермону, пришлось буквально силой увести его с места поединка, ибо граф, по его словам, хотел самолично убедиться в том, что его враг испустит дух у него на глазах.

— Что за человек! Что за человек!..

— После этого граф возвратился в Париж, отправился к своей бывшей жене и сообщил ей, что он только что убил ее поляка; затем он снова уехал к себе в провинцию. С тех пор он ни разу не видел ни ее, ни сына, он безвыездно жил в Анже, и живет он там, как говорят, точно сущий бирюк на те средства, что еще сохранились у него от тех восьмидесяти тысяч франков, значительную часть из которых он, сами понимаете, поистратил, гоняясь за пресловутым поляком. В Анже он ни с кем не видится, кроме жены и дочери его родственника де Фермона, который умер несколько лет назад. Вообще-то семья де Фермонов — злосчастная семья, ибо брат госпожи де Фермон, по слухам, несколько месяцев тому назад пустил себе пулю в лоб.

— А что с матерью господина виконта?

— Он потерял ее уже давно. Вот почему господин виконт, достигнув совершеннолетия, получил в свое распоряжение состояние матери... Но ведь вы сами убедились, дражайший Эдвардс, что, промотав это наследство, господин виконт ни на какое другое рассчитывать не может. Вряд ли что-нибудь ему достанется от отца...

— Который, помимо всего прочего, его, как видно, терпеть не может.

— Он ни разу не пожелал с ним свидеться после сделанного им оскорбительного открытия, тем более что он, без сомнения, убежден, что господин виконт — сын поляка.

Беседа этих почтенных людей была прервана появлением выездного лакея гигантского роста: он был в тщательно напудренном парике, хотя было всего одиннадцать часов утра.

— Господин Буайе, — сказал великан, — господин виконт уже дважды звонил в колокольчик.

Буайе был, видимо, расстроен тем, что он пренебрег своими обязанностями, он поспешно поднялся с места и последовал за слугою с такой торопливостью и с таким подчеркнутым почтением, словно не он был настоящим владельцем особняка своего хозяина.

Глава VII.
ГРАФ ДЕ СЕН-РЕМИ

Прошло часа два после того, как Буайе, расставшись с Эдвардсом, вернулся, чтобы выслушать распоряжения виконта де Сен-Реми, когда отец виконта постучал в двери особняка на улице Шайо.

Граф де Сен-Реми был человек высокого роста, еще очень подвижный и крепкий, несмотря на свои годы; его загорелое смуглое лицо резко контрастировало с белоснежной бородою и волосами; густые черные брови почти прикрывали проницательные, глубоко посаженные глаза. Мизантроп по натуре, он словно из какого-то вызова носил потрепанное платье, однако весь его облик говорил о внутреннем достоинстве и горделивом спокойствии, и это внушало уважение к нему.

Двери в дом его сына растворились, и граф вошел. Швейцар в пышной коричневой ливрее, шитой серебром, со старательно напудренным париком, в шелковых чулках, показался на пороге своей хорошо обставленной швейцарской, которая не больше походила на закопченное

логово четы Пипле, чем модная бельевая лавка походит на каморку бедной портнихи.

— Господин де Сен-Реми у себя? — отрывисто спросил граф.

Швейцар вместо ответа с презрительным удивлением посмотрел на белую бороду, поношенный сюртук и видавшую виды шляпу незнакомца, стоявшего перед ним с тяжелой дубинкой в руке.

— Господин де Сен-Реми у себя? — нетерпеливо повторил свой вопрос граф, возмущенный наглым поведением лакея.

— Господина виконта нет дома.

Процедив эти слова, собрат г-на Пипле собрался уже захлопнуть дверь и недвусмысленным жестом предложил незнакомцу уйти.

— Я подожду, — ответил граф.

И шагнул вперед.

— Эй, приятель! Приятель! Так не входят в благородный дом! — крикнул швейцар, кинувшись за графом и схватив его за руку.

— Как, негодяй! — вскричал старик, с угрожающим видом поднимая свою дубинку. — Ты смеешь прикасаться ко мне!..

— Я осмелюсь и на большее, если вы тотчас же не удалитесь. Я ведь сказал вам, что господина виконта нет дома, а потому убирайтесь вон.

В эту минуту Буайе, привлеченный громкими голосами, показался на крыльце дома.

— Что здесь за шум? — осведомился он.

— Господин Буайе, этот человек хочет непременно войти, хотя я сказал ему, что господина виконта дома нет.

— Хватит! — резко сказал граф, обращаясь к Буайе, подошедшему ближе, — я хочу видеть своего сына... Если его нет, я подожду...

Мы уже говорили, что Буайе знал о том, что у его хозяина есть отец, известный своей нелюдимостью: будучи к тому же недурным физиономистом, Буайе ни на мгновение не усомнился в том, что перед ним граф де Сен-Реми; он склонился в почтительном поклоне и сказал:

— Если господин граф соблаговолит за мною последовать, то я весь к его услугам...

— Ступайте вперед, — проговорил граф де Сен-Реми и последовал за Буайе, повергнув в глубокое изумление швейцара.

Следуя по пятам за камердинером, граф поднялся на второй этаж, здесь он вместе со своим провожатым прошел через рабочий кабинет Флорестана де Сен-Реми (отныне мы будем называть виконта по имени, чтобы читатель не спутал его с отцом), и тот наконец ввел графа в находив-

шуюся по соседству небольшую гостиную: она располагалась прямо над будуаром, помещавшимся на первом этаже.

— Господину виконту пришлось отлучиться сегодня утром, — сказал Буайе, — если господин граф возьмет на себя труд подождать его, то я думаю, что он скоро возвратится.

С этими словами камердинер вышел из комнаты.

Оставшись один, граф равнодушным взглядом обвел гостиную; но внезапно он вздрогнул, щеки у него побагровели, на лице отразилось сильное волнение, а черты его лица исказились от гнева.

Он увидел портрет своей бывшей жены... матери Флорестана де Сен-Реми.

Старик скрестил руки на груди, опустил голову, словно желая прогнать это видение, и быстро зашагал из угла в угол.

— Как странно! — вырвалось у него. — Эта женщина уже давно умерла; я убил ее любовника, а моя рана все так же болит, все так же мучительна, как в первый день... Как видно, жажда мести все еще не угасла во мне, моя угрюмая нелюдимость, из-за которой я живу одиноко, вдали от мира, все еще не излечила мою душу от нанесенного мне оскорбления. Да, смерть сообщника этой

недостойной женщины смыла мой позор в глазах общества, но не изгладила его из моей памяти.

«О! Я чувствую, что моя ненависть не проходит потому, что я все время думаю: меня обманывали целых пятнадцать лет! Целых пятнадцать лет я окружал почетом и уважением ничтожную женщину, которая самым низким образом обманула меня. Все те годы я любил ее сына, сына, рожденного ею в грехе, так, как будто он был моим собственным ребенком... ибо отвращение, которое мне ныне внушает этот Флорестан, со всей очевидностью подтверждает, что он — плод супружеской измены!

И тем не менее у меня нет полной уверенности в том, что он — дитя незаконной страсти; вполне возможно, что он все-таки мой сын... и порою эта возможность нестерпимо терзает меня...

Ну, а если бы он оказался моим сыном?! Тогда то, что я его совершенно покинул, та отчужденность, которую я неизменно выказывал к нему, мой отказ видеться с ним — все это просто непростительно. Впрочем, он богат, молод, счастлив; чем я мог быть ему полезен?.. Да, но его сыновняя нежность могла бы, возможно, смягчить горе, причиненное мне его матерью!»

Таковы были мысли графа. После короткого

раздумья он пожал плечами и произнес вслух:

— К чему эти бессмысленные и безрассудные предположения?! Они только вновь бередят мои раны, но ни к чему не ведут! Надо быть мужчиной и преодолеть нелепое и мучительное волнение, которое я испытываю при мысли, что я вот-вот вновь увижу того, кого целых десять лет я любил, кого я просто боготворил, кого я обожал как сына, моего сына! Да, я вновь увижу его, его, отпрыска того человека, которого я с нескрываемой радостью поверг на землю своею шпагой, того человека, чья кровь текла потоком, наполняя меня радостью!.. А они помешали мне насладиться его агонией... видом его смерти!.. О! Откуда им было знать, что это значит — быть раненным так жестоко, как был ранен я!.. А ко всему еще — думать, что мое имя, навсегда окруженное почетом и уважением, затем столь часто произносили с наглой усмешкой... как произносят имя обманутого мужа!.. Думать, что мое имя... имя, которым я всю жизнь так гордился, ныне носит сын того человека, у которого я готов был вырвать сердце... О! Я и сам не понимаю, как это я не схожу с ума при одной этой мысли!.

И граф де Сен-Реми, продолжая в волнении шагать по комнате, машинально приподнял

портьеру, которая отделяла гостиную от рабочего кабинета Флорестана, и прошелся по кабинету.

Через какую-нибудь минуту после того, как он вышел из гостиной, небольшая дверь, искусно скрытая обоями, тихонько отворилась, и г-жа де Люсене, закутанная в большую шаль из зеленого кашемира, в простенькой шляпке черного бархата вошла в гостиную, которую только что покинул граф.

Поясним причины столь неожиданного появления герцогини.

Накануне Флорестан де Сен-Реми назначил на следующее утро свидание герцогине. Она, как мы уже сказали, получила от него в свое время ключ от маленькой калитки, выходившей в переулок, и потому, как обычно, прошла через теплицу, рассчитывая найти Флорестана в его покоях на нижнем этаже. Не найдя его там, герцогиня решила (так уже не раз бывало), что виконт пишет какое-нибудь письмо у себя в кабинете... Потайная лестница вела из будуара на второй этаж. Г-жа де Люсене безбоязненно поднялась по ней, полагая, что г-н де Сен-Реми запретил, как он всегда поступал в таких случаях, кого бы то ни было принимать.

На беду, угрожающий визит г-на Бадино вы-

нудил Флорестана поспешно уйти из дому, и он совсем позабыл о свидании, которое назначил г-же де Люсене.

Не видя никого, герцогиня уже собиралась переступить порог кабинета, как вдруг портьера, отделявшая кабинет от гостиной, заколебалась и герцогиня оказалась лицом к лицу с отцом Флорестана.

Она не смогла сдержать испуганного возгласа.

— Клотильда! — воскликнул ошеломленный граф. Близкий друг князя де Нуармона, отца г-жи де Люсене, граф де Сен-Реми знал ее совсем юной девушкой и даже еще ребенком, вот почему он в былое время запросто называл ее по имени.

Герцогиня застыла как изваяние, с изумлением глядя на белобородого и дурно одетого старика, чьи чертам были, однако, ей смутно знакомы.

— Вы, Клотильда! — повторил граф с горьким упреком. — Вы... здесь у моего сына!

Эти последние слова воскресили неясные воспоминания г-жи де Люсене: она узнала наконец отца Флорестана и воскликнула:

— Господин де Сен-Реми!

Положение было столь ясное и недвусмысленное, что герцогиня, чей решительный и вместе с тем эксцентричный нрав хорошо известен чита-

телю, пренебрегла возможностью прибегнуть ко лжи, чтобы объяснить графу, почему она оказалась в покоях Флорестана; рассчитывая на почти отеческую привязанность, которую тот некогда к ней испытывал, она протянула ему руку и сказала тем ласковым, сердечным и одновременно дерзким тоном, который был присущ только ей одной:

— Знаете что... не браните меня... ведь вы мой самый старинный друг; вспомните, ведь лет двадцать назад вы называли меня своей милой Клотильдой...

— Да... именно так я вас и называл... но...

— Я уже заранее знаю все, что вы мне хотите сказать, однако вам известен мой девиз: «То, что есть — есть... А чему быть, того не миновать!..»

— Ах, Клотильда!.. Клотильда!..

— Избавьте меня от ваших упреков, лучше позвольте мне сказать о той радости, какую я испытываю, вновь свидясь с вами; ведь ваше присутствие напоминает мне о стольких вещах... мой бедный отец... мои навсегда ушедшие пятнадцать лет... Ах! Какое счастье, когда тебе всего пятнадцать лет!

— Именно потому, что ваш отец был мне другом, я...

— О да, — подхватила герцогиня, прерывая г-на де Сен-Реми, — он вас так любил! Помните, он называл вас, смеясь, «человеком прямых путей»... Вы вечно повторяли ему: «Вы слишком балуете Клотильду... будьте осторожны», а он, обнимая меня, отвечал вам: «Я и сам знаю, что балую ее, и мне надобно торопиться баловать ее еще больше, ибо очень скоро свет похитит ее у меня, чтобы баловать в свой черед». Он был так добр и так хорош, мой отец! Господи, какого друга я потеряла в его лице!.. — В прекрасных глазах герцогини де Люсене блеснула слеза; затем, вновь протянув руку графу де Сен-Реми, она произнесла взволнованным голосом: — Нет, правда, я счастлива, я так счастлива опять увидеть вас; вы пробудили столько воспоминаний, таких дорогих, таких милых моему сердцу!..

И г-н де Сен-Реми, хотя он давно и хорошо знал ее своеобразный и решительный нрав, был смущен той непринужденной легкостью, с какой Клотильда отнеслась к щепетильному положению, в котором она оказалась; легко сказать: встретить в доме своего любовника его отца!

— Если вы в Париже уже не первый день, — продолжала г-жа де Люсене, — как нехорошо, что вы даже не пришли повидать меня сразу; ведь

так приятно было бы поговорить о прошлом... ибо, признаюсь, я уже приближаюсь к тому возрасту, когда так радостно сказать старому другу: «А помните, как...»

Положительно, герцогиня не говорила бы с более невозмутимой беспечностью, если бы граф пришел к ней с утренним визитом в особняк герцога де Люсене!

И все-таки г-н де Сен-Реми не удержался и строго произнес:

— Вместо того чтобы беседовать о прошлом, нам было бы уместнее потолковать о настоящем... ведь мой сын может вернуться с минуты на минуту... и...

— Нет, — возразила Клотильда, прерывая графа, — не бойтесь, у меня есть ключ от калиточки в теплице, а к тому же о приходе виконта всегда предупреждают, позвонив в колокольчик, как только он приближается к калитке, выходящей на улицу; услышав колокольчик, я тут же исчезну столь же таинственно, как и появилась, и не помешаю вашей радости от свидания с Флорестаном. Какой сладостный сюрприз вы ему готовите... ведь вы так давно совсем покинули его!.. Кстати, это я, скорее, могла бы во многом вас упрекнуть.

— Упрекнуть меня?.. Но в чем?..

— Конечно, могла бы... Какого наставника, какую нравственную опору имел он, вступая в свет? А ведь множество практических дел требуют советов отца... Так что, говоря откровенно, совсем начистоту, очень дурно, что вы...

И тут герцогиня де Люсене, уступая своему причудливому нраву, невольно остановилась и, громко рассмеявшись, сказала графу:

— Вы должны признать, что положение складывается по меньшей мере странное, весьма пикантно, что не вы мне, а я вам читаю наставления!

— Это и в самом деле странно; но я не заслуживаю ни ваших похвал, ни ваших укоров, я пришел к сыну... но пришел сюда не ради него... Он в таком возрасте, когда уже не нуждается в моих советах.

— Что вы хотите этим сказать?

— Вы должны знать, по каким причинам я ненавижу свет, а особенно столичный свет, — сказал граф, и в голосе его прозвучали мучительные и напряженные интонации. — Вот почему должны были возникнуть особые обстоятельства, обстоятельства, чрезвычайно важные для того, чтобы я уехал из Анже, а главное, пришел в этот дом...

Но я был вынужден преодолеть свое отвращение и повидать всех тех, кто мог бы мне помочь или дать полезный совет в том деле, которое необыкновенно важно для меня.

— О, в таком случае, — воскликнула г-жа де Люсене с трогательной горячностью, — прошу вас, полностью располагайте мной, если я хоть чем-нибудь могу быть вам полезна! Нужно ли за кого-нибудь походатайствовать? Господин де Люсене пользуется немалым влиянием, ибо в те дни, когда я езжу обедать к моей двоюродной бабушке госпоже де Монбризон, он принимает в нашем доме и кормит обедом многих депутатов; такие вещи без важных резонов не делаются: связанные с этим хлопоты и неудобства должны ведь приносить хоть какую-нибудь пользу... я бы сказала так: приобретаешь известное влияние на тех людей, которые ныне сами пользуются влиянием. Повторяю еще раз: если мы можем чем-нибудь вам услужить, располагайте нами целиком и полностью. Кстати, у меня есть еще юный кузен, молодой герцог де Монбризон, он — пэр Франции и связан со всеми пэрами, его сверстниками. Возможно, и он. что-либо сможет сделать. В таком случае, надейтесь и на него, я вам ручаюсь. Словом, повторяю, располагайте и

мною, и всеми моими родными, а вы ведь знаете, что я — настоящий и преданный друг!

— Да, я это знаю... и не отказываюсь от вашей поддержки... хотя... — Послушайте, мой милый Альцест, ведь все мы принадлежим к светскому обществу, так будем же вести себя как светские люди; здесь ли мы находимся или находились бы в другом месте, какое это имеет значение, я думаю, что это не относится к тому делу, которое вас занимает, а теперь оно сильно занимает и меня, поскольку оно касается вас. Поговорим же о нем, и поговорим основательно... я на этом настаиваю...

С этими словами герцогиня подошла к камину, оперлась на него и протянула поближе к огню самую прелестную ножку на свете, которая у нее, видимо, озябла.

С удивительным тактом герцогиня де Люсене воспользовалась представившимся случаем, чтобы больше не говорить о виконте и побудить графа де Сен-Реми поделиться с нею тем, чему он явно придавал столь важное значение...

Клотильда вела бы себя совершенно по-иному в присутствии матери Флорестана: тогда бы она с радостью и гордостью долго рассказывала бы своей собеседнице, как ей, Клотильде, дорог сын

графини.

Несмотря на весь свой ригоризм и суровость, граф де Сен-Реми невольно поддался влиянию этой, если так можно выразиться, дерзкой прелести молодой женщины, которую он хорошо знал и любил, когда она была совсем еще девочкой, и он почти совсем забыл, что беседует с любовницей своего сына.

Как, впрочем, не заразиться поучительным примером поведения человека, попавшего в крайне неловкое положение, но, казалось, не придающего или не желающего придавать значения трудности тех обстоятельств, в которых он оказался?

— Возможно, вам неизвестно, Клотильда, — сказал граф, — что уже очень давно я постоянно живу в Анже?

— Нет, я это знаю.

— Несмотря на то, что я искал полнейшего уединения, я все-таки выбрал именно этот город, потому что там проживал один мой родственник, господин де Фермон, после постигшего меня ужасного несчастья он вел себя по отношению ко мне как брат. Он сопровождал меня в поездках по всем городам Европы, где я рассчитывал настичь того человека, которого жаждал убить, он был

даже моим секундантом во время дуэли...

— Да, и дуэли жестокой; отец в свое время мне подробно все рассказал, — с грустью откликнулась г-жа де Люсене. — Но, к счастью, Флорестан ничего не знает об этом поединке... и о причинах, что привели к нему...

— Мне не хотелось, чтобы он перестал уважать свою мать, — ответил граф, подавляя невольный вздох... Потом он продолжал свой рассказ: — Несколько лет тому назад господин де Фермон скончался в Анже, он умер у меня на руках, оставив жену и дочь; несмотря на мой угрюмый и нелюдимый нрав, я не могу не любить их, потому что нигде на свете вы не встретите более благородных и прекрасных созданий. Я жил один в отдаленном городском предместье; но, когда приступы моей черной меланхолии на время отпускали меня, я посещал госпожу де Фермон и ее дочь, и мы беседовали, вспоминая того, кого безвозвратно потеряли. Как и при его жизни, я вновь обретал и укреплял душевное равновесие в мирном общении с этой семьей, которой я уже давно отдал всю ту привязанность, на какую еще был способен. Брат госпожи де Фермон жил в Париже; он взял на себя заботу о делах и об имуществе сестры после кончины ее мужа и

поместил у какого-то нотариуса сто тысяч экю — все состояние вдовы. Через некоторое время на госпожу де Фермон обрушилась новая ужасная беда; ее брат, господин де Ренвиль, наложил на себя руки: случилось это приблизительно восемь месяцев тому назад. Я как только мог утешал ее. Едва оправившись от горя, она уехала в Париж с тем, чтобы привести в порядок свои денежные дела, Через некоторое время я узнал, что по ее просьбе распродали скромную обстановку того дома, который она нанимала в Анже, и вырученную сумму употребили на уплату оставшихся после ее отъезда долгов. Встревоженный всем этим, я навожу справки и узнаю, что, по неясным слухам, эта несчастная женщина и ее дочь живут в крайней нужде, ибо они оказались, без сомнения, жертвами какого-то банкротства. Если госпожа де Фермон и могла на кого-то рассчитывать в столь крайних обстоятельствах, то лишь на меня... однако я не получил от нее ни малейшей весточки. Только утратив связи с этой близкой и милой моему сердцу семьей, я по-настоящему оценил, как они важны и дороги для меня. Вы не можете себе представить все те страдания, все те тревоги, какие терзали меня после отъезда госпожи де Фермон и ее дочери... Ведь муж одной

и отец другой был для меня как брат... так что мне необходимо было во что бы то ни стало разыскать обеих женщин, понять, почему, совершенно разорившись, они не обратились ко мне за помощью, даже зная, что я небогат; вот я и приехал в Париж, поручив в Анже одному человеку поставить меня в известность, если он по случайности узнает что-либо новое о несчастных.

— И что же?

— Как раз вчера я получил письмо из Анже... нового ничего нет. Приехав в столицу, я начал поиски... прежде всего я отправился в тот дом, где прежде жил брат госпожи де Фермой. Там мне сказали, что они проживают на набережной канала Сен-Мартен.

— А что вы узнали по этому адресу?

— Что они там некоторое время действительно жили, но потом съехали, а куда — неизвестно. К сожалению, до сих пор все мои попытки найти их оказались тщетными. После долгих, но бесплодных поисков, не желая вовсе потерять надежду, я и решил прийти сюда: быть может, госпожа де Фермон, которая но непонятным причинам не обратилась ко мне ни за помощью, ни за поддержкой, решила прибегнуть к помощи моего сына, сына лучшего друга ее покойного мужа.

Без сомнения, эта последняя надежда была почти ни на чем не основана... но я не хотел ничем пренебречь, стремясь отыскать эту бедную женщину и ее дочь.

— По правде говоря, было бы весьма странно, если бы речь шла о тех же самых особах... к которым проявила интерес и участие госпожа д'Арвиль...

— О каких особах вы говорите? — осведомился граф.

— Скажите, вдова, о которой вы рассказывали, еще молода, не правда ли? И у нее очень благородное лицо?

— Разумеется; но что вы о ней знаете?

— А ее дочери, которая мила, как ангел, всего лет шестнадцать?

— Да... да...

— И зовут ее Клэр?

— О, пощадите! Скажите мне, где они?

— Увы! Этого-то я не знаю.

— Не знаете?

— Вот как все произошло... Одна дама моего круга, госпожа д'Арвиль, приехала ко мне и спросила, не знаю ли я некой вдовы, у которой есть дочь Клэр; брат этой вдовы недавно покончил с собой. Госпожа д'Арвиль обратилась ко мне пото-

му, что ей на глаза попалась записка со словами: «Написать госпоже де Люсене». Собственно, это была даже не записка, слова эти она прочла в конце чернового наброска письма, которое эта несчастная женщина послала неизвестной нам особе, прося о помощи.

— Она хотела написать вам... но почему именно вам?

— Сама не знаю... Я ведь с нею незнакома.

— Но она-то, она-то вас знала! — воскликнул граф де Сен-Реми, которому в голову пришла неожиданная мысль.

— Почему вы так думаете?

— Сотни раз она слышала, как я рассказывал о вашем отце, о вас; о вашем прекрасном и великодушном сердце. И, погибая от нужды, она решила прибегнуть к вам.

— И в самом деле, это можно объяснить и так...

— Ну, а госпожа Д'Арвиль... как мог попасть к ней в руки черновик того письма?

— И этого я не знаю; все, что мне известно, — это то, что, не имея точных сведений о том, где находятся несчастная мать и ее дочь, госпожа д'Арвиль, я полагаю, напала на их след.

— В таком случае, я надеюсь на вас, Клотильда: познакомьте меня с госпожой д'Арвиль, я должен

увидеть ее уже сегодня.

— Невозможно! Ее муж недавно стал жертвой ужасного случая: он вертел в руках пистолет, думая, что тот не заряжен; неожиданно раздался выстрел, и несчастный был убит на месте.

— Ах! Это ужасно!

— Маркиза тотчас же уехала из Парижа, она решила провести первое время траура у своего отца, в Нормандии.

— Клотильда, заклинаю вас, напишите ей сегодня же, расспросите ее обо всем, что она знает; коль скоро она прониклась сочувствием к этим бедным женщинам, скажите ей, что в моем лице она обретет самого ревностного помощника; мое единственное желание — поскорее разыскать вдову моего друга, я хочу разделить с нею и с ее дочерью те небольшие средства, которыми я еще располагаю. Отныне они — моя единственная семья.

— А вы все тот же, как всегда, преданный и великодушный! Можете смело положиться на меня, я сегодня же напишу госпоже д'Арвиль. А куда мне адресовать вам письмо?

— В Аньер, до востребования.

— Снова ваши причуды! Отчего вы остановились там, а не в Париже?

— Я ненавижу Париж из-за тех воспоминаний, которые с ним связаны, — отвечал г-н Сен-Реми с сумрачным видом. — Мой старый врач, господин Гриффон, с которым у меня сохранились добрые отношения, владеет небольшим загородным домом на берегу Сены, возле Аньера; зимой он там не живет и предложил мне там обосноваться; это, собственно говоря, одно из столичных предместий; я бы мог, набегавшись за день в поисках моих пропавших друзей, возвращаться туда вечером и быть в полном одиночестве, что мне по душе... Вот я и принял его предложение.

— Стало быть, я напишу вам в Аньер; кстати, я уже сейчас могу сказать вам одну вещь, которая, быть может, сослужит вам службу, ее сообщила мне госпожа д'Арвиль... Причина разорения госпожи де Фермон — мошеннические проделки некоего нотариуса, у которого хранилось все состояние вашей родственницы... Этот человек отрицает, что эти деньги были переданы ему на хранение.

— Вот негодяй!.. А как его зовут?

— Господин Жак Ферран, — ответила герцогиня, давясь от смеха.

— До чего же вы странное существо, Клотильда! Ведь речь идет не просто о серьезных, а весьма

печальных событиях, а вы смеетесь! — с удивлением и досадой воскликнул граф.

И в самом деле, г-жа де Люсене, вспомнив о любовном признании нотариуса, не могла удержаться от взрыва веселости.

— Простите меня, друг мой, — проговорила она, — дело в том, что этот нотариус — человек весьма своеобразный... и о нем рассказывают такие смешные истории... Но, говоря серьезно, если репутация порядочного человека, которой он пользуется, заслужена им не больше, чем репутация человека благочестивого... (а я заявляю, что он ею пользуется не по праву), то наш нотариус просто проходимец каких мало!

— Где он живет?

— На улице Сантье.

— Я нанесу ему визит... То, что вы мне о нем сказали, подтверждает некоторые мои сомнения.

— Какие сомнения?

— Подробно разузнав об обстоятельствах смерти брата бедной моей приятельницы, я был почти что склонен поверить, что этот несчастный человек не наложил на себя руки... он погиб от руки убийцы.

— Великий боже! А что заставило вас предположить, что совершено преступление?

— Тут есть много резонов, но сейчас было бы слишком долго рассказывать вам о них; я прощаюсь с вами... Не забывайте же о том, что вы предложили мне помощь от своего имени и от имени господина де Люсене...

— Как?! Вы уходите... даже не повидав Флорестана?

— Встреча с ним была бы для меня очень мучительна, вы сами должны это понять... Я решился на нее единственно из надежды что-либо узнать от него о госпоже де Фермой: мне не хотелось пренебречь ни одной самой малой возможностью разыскать ее; а теперь прощайте...

— Боже! Вы просто безжалостны!

— Разве вы этого не знали?..

— Я знаю другое: никогда еще ваш сын так не нуждался в ваших советах...

— Это еще почему? Разве он не богат, разве он не счастлив?..

— Да, он богат и счастлив, но он совершенно не разбирается в людях! Он безумно расточителен, потому что доверчив и великодушен, он всегда, везде и во всем ведет себя как вельможа, и я боюсь, что его добротой злоупотребляют. Если бы вы только знали, какое у него благородное сердце! Я ни разу не отваживалась отчитывать его

за непомерные траты и безалаберность, прежде всего потому, что я и сама не менее сумасбродна, а потом... по разным другим причинам; но вы, напротив, вы могли бы...

Госпожа де Люсене не успела закончить фразу.

Внезапно послышался голос Флорестана де Сен-Реми.

Он поспешно вошел в кабинет, примыкавший к гостиной; резким движением запер за собою дверь и произнес с тревогой в голосе, обращаясь к человеку, вошедшему вместе с ним:

— Но это просто немыслимо!..

— Повторяю вам, — раздался в ответ ясный и пронзительный голос г-на Бадино, — повторяю вам, что если вы не поторопитесь, то в четыре часа дня вас арестуют... Ибо ежели до этого времени наш приятель не получит деньги, он подаст жалобу в канцелярию прокурора, а вы ведь знаете, что такого рода подлог ведет... прямо на каторгу... мой милый виконт!..

Глава VIII.
ТРУДНЫЙ РАЗГОВОР

Невозможно описать взгляд, которым обменялись г-жа де Люсене и отец Флорестана, услышав эти грозные слова: «...ведет...прямо на каторгу!» Граф побледнел как полотно; он оперся о спинку стула, ноги у него подкосились. Его имя, окруженное почетом благородное имя... опозорено ныне человеком, которого он всегда считал плодом супружеской измены!

Когда первые минуты оцепенения прошли, пылавшее гневом лицо старика, угрожающий вид, с которым он направился к двери кабинета, выражали столь ужасную и непоколебимую решимость, что герцогиня де Люсене схватила его за руку и тихим голосом, в котором слышалась глубокая убежденность, сказала:

— Он не виновен... клянусь вам!.. Молчите и слушайте дальше...

Граф остановился. Ему так хотелось поверить тому, что говорила герцогиня!

Она же и в самом деле была уверена в честности Флорестана.

Для того чтобы спокойно принимать все новые и новые жертвы этой женщины, столь безрассудно щедрой и великодушной, жертвы, которые одни только и могли уберечь его от ареста и преследований Жака Феррана, виконт убедил г-жу де Люсене, в том, что он был обманут каким-то негодяем, всучившим ему в уплату фальшивый вексель, и теперь его, виконта, могли заподозрить в сообщничестве с этим мошенником, ибо он пустил этот вексель в оборот.

Герцогиня де Люсене знала: Флорестан неосторожен, расточителен, безалаберен; но она никогда, ни на одну минуту не считала, что он способен не только на низкий или подлый поступок, но даже на малейшее проявление нечистоплотности или непорядочности.

Дважды давая ему взаймы крупные суммы денег, когда он попадал в весьма затруднительное положение, она хотела оказать ему дружескую помощь, и виконт ни разу не брал у нее денег без обещания вскоре же возвратить их, ибо, по его словам, ему самому были должны вдвое большие суммы.

Внешняя роскошь жизни, которую он вел, позволяла этому верить. К тому же г-жа де Люсене, уступая порыву своей природной доброты,

думала только о том, чтобы быть полезной Флорестану, в его словах она ни разу не усомнилась; разве мог бы он в противном случае брать в долг такие большие деньги?! Ручаясь за честность Флорестана, умоляя старого графа дослушать до конца беседу его сына с незнакомцем, герцогиня полагала, что речь может идти о том, что доверчивостью виконта злоупотребили и что он сможет полностью оправдать себя перед отцом.

— Повторяю еще раз, — продолжал Флорестан изменившимся голосом, — этот Пти-Жан просто подлец! Он уверил меня, что у него нет больше векселей, помимо тех, что я получил из его рук частью вчера и частью три дня назад... Я полагал, что этот чертов вексель пущен в оборот, что по нему придется платить месяца через три, в Лондоне, в банке «Адамс и Компания».

— Да, да, — снова послышался пронзительный голос Бадино, — я знаю, милейший виконт, что вы весьма ловко обстряпали это дельце; ваш подлог должен был обнаружиться тогда, когда вы были бы уже далеко отсюда... Но вы вознамерились провести человека, более умелого, чем вы.

— Эх! Нашли время, когда поучать меня, жалкий вы человек!.. — в ярости закричал Флорестан. — Ведь вы же сами свели меня с тем. субъектом,

который всучил мне эти векселя!

— Вот что, дражайший мой аристократ, — холодно ответил Бадино, — поспокойнее!.. Вы ловко подделываете подписи на коммерческих бумагах, и это чудесно, но это не резон обращаться с вашими друзьями со столь неприятной фамильярностью. Если вы еще позволите себе такой тон... я ухожу — и выпутывайтесь из этой истории как знаете...

— А вы полагаете, что можно сохранить хладнокровие в моем положении?.. Если то, что вы мне говорите, правда, если он подаст сегодня жалобу в канцелярию прокурора, я пропал...

— Так я ведь именно об этом вам и толкую, разве что... вы снова прибегнете к помощи вашего очаровательного провидения с голубыми глазами...

— Это невозможно...

— Ну, тогда делать нечего, покоритесь судьбе. Разумеется, это досадно, ведь вексель-то последний... из-за каких-то жалких двадцати пяти тысяч франков... отправиться дышать южным воздухом... в Тулон... Это не то что неловко, а просто глупо, бессмысленно! И как только столь умелый человек, как вы, дал загнать себя в тупик?

— Господи, что же делать? Что делать?.. Ведь

все, что вы видите тут, мне больше не принадлежит, у меня нет даже двадцати луидоров.

— Ну а ваши друзья?

— Эх! Я уже должен всем, у кого можно было взять в долг; вы что, считаете меня таким глупцом, который ждал бы до сегодняшнего дня и не обратился бы к ним?

— Это верно, прошу прощения... Погодите, давайте потолкуем спокойно, это лучший способ прийти к разумному решению. Только что я хотел объяснить вам, как вас обошел еще больший ловкач, чем вы. Но вы не захотели меня выслушать.

— Ладно, говорите, если это чему-нибудь путному послужит.

— Подведем некоторые итоги; месяца два назад вы мне сказали: «У меня есть на сто тридцать тысяч франков векселей, все они долгосрочные и из разных банков; любезный Ба-дино, отыщите средство пустить их в оборот...»

— Ладно!.. Говорите дальше!..

— Не торопите меня... Я попросил у вас разрешения посмотреть эти векселя... И вот не знаю уж, какое смутное чувство подсказало мне, что все эти векселя фальшивые, хотя подделаны они мастерски. Признаюсь, я никогда не подозревал, что вы обладаете столь явным каллиграфическим

талантом; однако, занимаясь судьбой вашего состояния с тех пор, как вы лишились всякого состояния, я знал, что вы совершенно разорены. Ведь через мои руки прошел акт, по которому ваши лошади, экипажи, обстановка особняка принадлежали отныне Буайе и Эдвардсу... Так что с моей стороны не было нескромным весьма удивиться, увидев, что вы обладаете коммерческими векселями на столь внушительную сумму. Ведь так?

— Избавьте меня от рассказа о своем удивлении и переходите к делу...

— Извольте... У меня достаточно опыта или осторожности... чтоб никогда прямо не вмешиваться в дела подобного сорта; а посему я вас направил к третьему человеку, и он, будучи не менее проницателен, чем я, сразу же заподозрил, что вы хотите сыграть с ним дурную шутку.

— Быть этого не может: если бы он считал эти векселя подложными, он бы не стал их учитывать.

— Сколько он вам отсчитал наличными за эти векселя на сто тридцать тысяч франков?

— Наличными я получил двадцать пять тысяч франков, а на остальную сумму он выдал мне другие векселя...

— И много ли вы получили по ним денег?..

— Ни гроша, вы ведь сами знаете: векселя-то оказались дутые... но ведь двадцатью пятью тысячами он все-таки рискнул!

— До чего вы еще молоды, милейший виконт! Вы обещали мне сто луидоров комиссионных, и я, разумеется, поостерегся сообщить этому третьему лицу об истинном состоянии ваших дел... Он предполагал, что вы еще человек с деньгами, к тому же он знал, что вас боготворит знатная дама, очень богатая, которая никогда не покинет вас в трудную минуту; так что он почти уверен, что уж свои денежки он всегда вернет, хотя бы мировой сделкой; конечно, он рисковал, без сомнения, остаться в убытке, но зато он рассчитывал и много заработать, и его расчет оказался верным; ибо третьего дня вы как миленький отсчитали ему сто тысяч франков, чтобы выкупить фальшивый вексель на пятьдесят восемь тысяч, а вчера вручили тридцать тысяч франков за другой такой же вексель... Правда, на сей раз он удовольствовался тем, что получил с вас только сумму, указанную в векселе. Каким образом вы раздобыли вчера эти тридцать тысяч франков? Черт меня побери, если я знаю! Ибо вы у нас человек единственный в своем роде... Так что, сами видите, что вы

купили последний вексель на двадцать пять тысяч франков, таким образом он получит с вас сто пятьдесят пять тысяч франков за те двадцать пять тысяч франков, что он вам первоначально вручил, вот почему я почел себя вправе сказать, что вас обошел больший ловкач, чем вы сами.

— Но почему он сказал мне, что этот последний вексель, который он сегодня предъявляет к оплате, пущен им в оборот?

— Да чтобы вас не спугнуть; он ведь вам уже раньше говорил, что оба векселя, за исключением того, который был на пятьдесят восемь тысяч франков, пущены им в оборот;., но когда вы заплатили за первый вексель, вчера появился на свет второй, а сегодня, — третий.

— Негодяй!..

— Послушайте, один знаменитый правовед сказал: «Каждый за себя и каждый про себя...» Мне очень нравится этот афоризм. Но поговорим хладнокровно: то, как ведет себя Пти-Жан, доказывает (кстати, между нами говоря, я не буду удивлен, если окажется, что, несмотря на свою репутацию человека благочестивого, Жак Ферран с ним в доле и принимает участие в этой спекуляции), так вот, его поведение доказывает, повторяю я, что, разохотившись после ваших пер-

вых платежей, Пти-Жан спекулирует сейчас на вашем последнем векселе, как он спекулировал на двух предыдущих, ибо он уверен, что друзья не допустят того, чтобы вы предстали перед судом присяжных. Так что вы должны уяснить себе, не слишком ли вы злоупотребили их добротой и не ободрали ли вы их как липку, удастся ли вам выжать из них еще малую толику золота. Ибо, если через три часа вы не раздобудете двадцать пять тысяч франков, благороднейший виконт, вы окажетесь в остроге.

— Когда вы наконец перестанете твердить мне об этом без передышки?!

— Дело в том, что, прислушиваясь к моим словам, вы, быть может, согласитесь попробовать выдернуть еще одно, последнее перо из крылышка этой щедрой и великодушной герцогини...

— Повторяю вам, об этом и думать нельзя... Найти за три часа еще двадцать пять тысяч франков после всех тех жертв, на которые она пошла ради меня... нет, было бы безумием на это надеяться.

— Для того, чтобы вам понравиться, счастливейший из смертных, можно пойти на все, даже на невозможное...

— Эх, да она уже и так делала все возможное и невозможное... попросить у своего мужа сто

тысяч франков и получить их! Нет, такого рода чудеса дважды не повторяются. Вот что, любезный Бадино, до сих пор у вас не было оснований на меня жаловаться... я всегда был щедрым с вами, попытайтесь получить хотя бы недолгую отсрочку у этого мерзавца, у Пти-Жана!.. Вы ведь знаете, я неизменно нахожу способ вознаградить того, кто мне служит; покончив с этим окаянным делом, я вступаю на новое поприще... и вас я не обижу.

— Пти-Жан столь же непоколебим, сколь вы безрассудны.

— Я безрассуден...

— Попробуйте-ка лучше вызвать у вашей великодушной подружки сочувствие к вашему ужасному жребию... Какого черта! Расскажите ей прямо и откровенно все как есть; не повторяйте опять, что вы стали жертвой мошенников, а признайтесь, что мошенником стали вы сами.

— Никогда я не признаюсь ей в этом, позор ужасный, а пользы — никакой.

— Вы предпочитаете, чтобы она завтра узнала обо всем из «Судебной газеты»?

— В моем распоряжении есть еще три часа, я могу бежать.

— А куда вы направитесь без денег?! Напротив

же, судите сами: выкупив этот последний фальшивый вексель, вы окажетесь в великолепном положении: у вас не останется ничего, кроме долгов. Послушайте, обещайте мне, что вы еще раз потолкуете с герцогиней. Вы ведь тертый калач! Вы сумеете пробудить к себе сочувствие, несмотря на все ваши проступки; в худшем случае вас станут немного меньше уважать или уж на самый худой конец вовсе перестанут уважать, но вылезти из затруднения вам помогут. Послушайте, повторяю, потолкуйте еще разок с вашей прелестной приятельницей; а я тем временем побегу к Пти-Жану, я сделаю все; что в моих силах, чтобы выторговать у него час или два отсрочки.

— Дьявольщина! Мне предстоит испить до дна чашу позора!

. — Ступайте же! Желаю удачи, будьте нежны, страстны, очаровательны; я иду к Пти-Жану и буду ждать вас там до трех часов... позднее никак нельзя... ведь канцелярия прокурора закрывается в четыре часа пополудни...

С этими словами г-н Бадино вышел из кабинета.

Когда дверь за ним закрылась, послышался голос Флорестана: с глубоким отчаянием он повторял:

— Боже мой! Боже мой! Боже мой!

Во время этого разговора, который обнажил перед графом всю низость его сына, а перед г-жой де Люсене — всю низость человека, которого она слепо любила, оба они стояли, не шевелясь, едва дыша, подавленные этим ужасным открытием.

Немыслимо передать немое красноречие горестной сцены, действующими лицами которой были молодая красавица и старый граф: больше уже не оставалось никаких сомнений в том, что Флорестан совершил преступление. Протянув руку в направлении кабинета, где находился его сын, старик усмехнулся с горькой иронией и уничтожающе посмотрел на г-жу де Люсене, словно желая сказать: «Вот человек, ради которого вы забыли всякий стыд, тот, кому вы приносили бесчисленные жертвы! Вот тот человек, которого я, по вашим словам, покинул, за что вы меня осуждали!..»

Герцогиня поняла этот немой упрек; под гнетом стыда она на мгновение опустила голову.

Она получила ужасный урок...

Затем мало-помалу жестокая тревога, исказившая черты лица г-жи де Люсене, уступила место надменному негодованию. Непростительные грехи этой светской женщины искупались, по

крайней мере, ее самозабвенной любовью, ее отважной преданностью, ее щедростью и великодушием, открытым ее нравом и ее неумолимым отвращением ко всему низкому, подлому и трусливому.

Еще достаточно молодая, красивая и утонченная, она не испытывала чувства унижения от того, что ее возлюбленный эксплуатировал ее чувство, но теперь, когда ее любовь к Флорестану мгновенно испарилась, эта высокомерная и решительная женщина не чувствовала по отношению к нему ни ненависти, ни гнева; мгновенно, без какого-либо постепенного перехода невыносимое отвращение, ледяное презрение убили ее чувство, прежде такое сильное; отныне она уже не была возлюбленной, которую недостойно обманул ее возлюбленный, она вновь превратилась в светскую женщину, которая внезапно обнаружила, что человек ее круга оказался мошенником, совершившим подлог, и потому его следует выгнать вон.

Если даже предположить, что какие-либо обстоятельства и могли бы смягчить и как-то извинить бесчестный поступок Флорестана, г-жа де Люсене не стала бы принимать их в расчет; по ее мнению, человек, преступивший законы

чести вследствие порочности, увлечения или слабости, больше для нее не существовал; честь, порядочность были для нее вопросом жизни.

Единственное горестное чувство, владевшее герцогиней, было понимание того, какое ужасное впечатление произвело на графа, старого ее друга, столь неожиданное и тяжкое открытие.

Вот уже несколько мгновений он, казалось, ничего не видит и не слышит; вперив глаза в портьеру, опустив голову, бессильно уронив руки, он мертвенно побледнел; время от времени судорожный вздох вздымал его грудь.

Такое оцепенение у человека решительного и энергичного было более страшно, нежели самый яростный взрыв гнева.

Госпожа де Люсене с тревогой наблюдала за ним.

— Мужайтесь, друг мой, — сказала она графу тихим голосом. — Ради вас... ради меня самой... ради этого человека... я знаю, как мне следует теперь поступить.

Старик пристально посмотрел на нее; затем, словно выведенный из своей оцепенелости сильным потрясением, он вскинул голову, на его лице появилось угрожающее выражение, и, забыв, что сын может услышать его, он воскликнул:

— И я тоже знаю, как мне надлежит поступить ради вас, ради себя самого и ради этого человека...

— Да кто это там? — раздался удивленный голос Флоре-стана.

Госпожа де Люсене, боясь встретиться с виконтом, исчезла в маленькой потайной двери и поспешно сбежала по укрытой от посторонних глаз лестнице.

Флорестан, все еще продолжая вопрошать, кто находится в гостиной, и не получая ответа, откинул портьеру и вошел туда. И оказался с глазу на глаз с графом.

Длинная белая борода настолько изменила облик г-на де Сен-Реми, он был так бедно одет, что сын, не видавший отца уже несколько лет, сперва не узнал его: подойдя к графу, он спросил с угрожающим видом:

— Что вы тут делаете?.. Кто вы такой?

— Я — муж этой женщины! — отвечал г-н де Сен-Реми, указывая на портрет покойной графини.

— Отец! — в страхе воскликнул Флорестан, отпрянув: он вспомнил лицо графа, чьи черты уже давно позабыл.

Стоя с грозным видом, пылающим от гнева

взглядом, покрасневшим от негодования челом, отбросив назад свои белоснежные волосы, скрестив руки на груди, граф подавлял, буквально испепелял своего сына, а тот, опустив голову, не решался поднять глаза.

Однако г-н де Сен-Реми по какой-то тайной причине сделал над собой невероятное усилие, чтобы сохранить самообладание, и не выдать владевший им гнев.

— Отец! — повторил Флорестан дрожащим голосом. — Вы все время были здесь?..

— Да, я был здесь...

— И все слышали?..

— До последнего слова.

— Ах! — горестно воскликнул виконт, закрывая лицо руками.

Наступило короткое молчание.

Флорестан, сначала донельзя удивленный и огорченный неожиданным появлением отца, уже вскоре подумал, как человек предприимчивый, о той пользе, какую он может извлечь из столь невероятного стечения обстоятельств.

«Еще не все потеряно, — сказал он себе. — Появление моего отца — это перст судьбы. Он теперь знает все и не захочет, чтобы его имя было опозорено; он человек небогатый, но уж двадцать

пять тысяч франков у него, конечно, найдутся. Поведем игру осторожно... Проявим ловкость, изобразим порыв отчаяния, глубокое волнение... тогда можно будет оставить в покое герцогиню, а я буду спасен!»

Затем, придав чертам своего очаровательного лица выражение глубокой печали и уныния, выдавив из глаз слезы раскаяния, придав своему голосу дрожащие нотки, он самым патетическим тоном воскликнул, в отчаянии ломая руки:

— Ах, отец!.. Я до того несчастен!.. Увидеть вас после стольких лет разлуки... и в такую минуту!., Разумеется, я кажусь вам виновным, таким виновным! Но соблаговолите выслушать меня, умоляю вас; позвольте мне не оправдаться перед вами, но хотя бы объяснить мое поведение... Согласны ли вы на это, отец?..

Граф де Сен-Реми не ответил ни слова; лицо его оставалось бесстрастным; он опустился в кресло, на спинку которого перед тем опирался, и, сидя в нем, подпирая ладонью подбородок, молча смотрел на своего сына.

Если бы Флорестан знал причины, переполнявшие душу его отца ненавистью, яростью и жаждой мести, то, испуганный наружным спокойствием графа, он, без сомнения, не сделал бы

попытки обмануть отца, как обманывал простака Жеронта.

Однако, не подозревая о зловещих подозрениях, связанных с тайной его рождения, ничего не зная об измене своей матери, Флорестан был уверен в успехе задуманного им обмана, полагая, что главное — разжалобить своего отца, человека хотя и нелюдимого, но весьма гордого своим родовым именем, а уж тогда тот пойдет на крайние жертвы, лишь бы не допустить того, чтобы имя это было опозорено.

— Отец, — робко начал Флорестан, — позвольте же мне попытаться, не снимая с себя вины, объяснить вам, в силу каких невольных увлечений, я почти что против собственной воли дошел до... постыдных деяний... которых я не отрицаю...

Виконт принял упорное молчание отца за молчаливое согласие и продолжал:

— Когда я, к несчастью, лишился матери... моей бедной матери, которая меня так любила... мне было всего двадцать лет... Я был совершенно одинок... не у кого было спросить совета... не у кого было искать поддержки... Я обладал весьма значительным состоянием... С детства привыкнув жить в роскоши... я уже не мог обходиться без нее... она стала для меня необходимой. Я и не

подозревал, как трудно достаются людям деньги, я тратил их без счета и без меры... К несчастью... я говорю, к несчастью, это-то меня и погубило, мои траты, мои самые безрассудные траты были замечены и оценены как проявление элегантности... Обладая хорошим вкусом, я затмевал людей, которые были в десять раз богаче меня... Первые успехи опьянили меня, и я стал законодателем в роскоши, подобно тому как становятся человеком военным или государственным мужем; да, я любил роскошь не потому, что пошло кичился ею, я полюбил ее так, как живописец любит свои полотна, как поэт любит свои стихи; как всякий артист, я ревностно относился к своему творчеству: а моим творчеством была... роскошь. Я жертвовал всем ради того, чтобы ее умножить, я хотел, чтобы моя роскошь была красива, величественна, чтобы она проявлялась во всем, чтобы одна вещь в моем доме гармонировала с другой... начиная с моей конюшни и кончая моими трапезами, начиная с моего платья и кончая убранством моего особняка. Я жаждал, чтобы вся моя жизнь была образцом непогрешимого вкуса и элегантности. Как всякий артист, я, наконец, жаждал аплодисментов толпы и восторгов людей из высшего общества; и этого столь редкого

успеха я достиг...

Пока Флорестан говорил, черты его лица мало-помалу утрачивали лицемерное выражение, глаза его горели от искреннего восторга. Теперь он говорил правду: поначалу его и в самом деле увлек не столь часто встречающийся дар постигать красоту роскоши.

Виконт внимательно посмотрел на отца, и ему почудилось, что лицо графа слегка смягчилось.

Он продолжал со все возрастающим возбуждением:

— Я стал оракулом и знатоком моды, моя похвала или осуждение приобрели силу закона; меня ставили в образец, мне подражали, меня прославляли, мною восторгались — все это происходило в высшем свете Парижа, другими словами, Европы, всего мира... Женщины разделяли всеобщее увлечение мною, самые очаровательные дамы спорили между собой, кому выпадет удовольствие присутствовать на празднествах, которые я давал для избранных гостей, везде и всюду неизменно восторгались несравненной элегантностью этих приемов, отличавшихся безукоризненным вкусом... ни один миллионер не мог не только затмить меня, но даже сравниться со мной; наконец, я превратился

в человека, которого нарекли «королем моды»... Этот титул все вам объяснит, если вы понимаете его смысл и значение...

— Я отлично понимаю... и я уверен, что на каторге вы изобретете необыкновенно элегантный и изящный способ носить кандалы... Способ этот уже скоро станет модным среди всех обитателей каторги, и его назовут... способом Сен-Реми, — сказал старик с кровоточащей иронией... И тут же прибавил: — А ведь Сен-Реми — это и мое имя!..

Он умолк, продолжая сидеть все в той же позе: подперев подбородок рукою.

Флорестану потребовалось немалое самообладание, чтобы стерпеть боль от раны, нанесенной ему столь едким сарказмом.

Он продолжал уже более спокойным и смиренным тоном:

— Увы! Отец, я ведь не из кичливой гордости рассказываю вам о моих былых успехах... ибо, повторяю вам, именно этот успех и погубил меня... Человек изысканный, вызывавший зависть и лесть, человек, перед которым заискивали не какие-нибудь прихлебатели, жаждавшие поживиться крохами с моего стола, а люди, чье положение в обществе было гораздо более высоким, чем мое, люди, перед которыми у меня было

только одно преимущество — элегантность... а ведь элегантность, изящество играют в мире роскоши ту же роль, что непогрешимый вкус — в искусстве... я не выдержал испытания успехом, и голова у меня пошла кругом... Я перестал считать деньги: я понимал, что растрачу свое состояние за несколько лет, но не задумывался над этим. Разве мог я отказаться, от этой блестящей лихорадочной жизни, где одни удовольствия сменялись другими, одни утехи следовали за другими, после одного праздника затевался другой, меня пьянили наслаждения, мне кружили голову восторги... О, если, бы вы только знали, отец, какое это ощущение, когда тебя всюду встречают... как героя дня!.. Когда, входя в гостиную, ты слышишь восторженный шепот, которым встречают тебя... ты слышишь, как одна из женщин говорит другой: «Это он... вот он!..» О, если б вы только знали это...

— Я знаю, — холодно сказал граф, обрывая сына, — я знаю... — Не меняя позы, он прибавил: — Да, несколько дней назад на городской площади собралась толпа; внезапно послышался громкий шепот... похожий на тот, которым вас встречают там, где вы появляетесь, затем взоры всех собравшихся, особенно женщин, остановились на очень

красивом малом... совсем так, как они останавливаются на вас... и женщины эти показывали друг дружке на него, приговаривая: «Это он... вот он...» — совсем так, как приговаривают они, видя вас...

— Но кто же был этот человек, скажите, отец?

— Это был мошенник, которого за подлог вели в железном ошейнике к позорному столбу.

— Ах! — воскликнул Флорестан, с трудом подавляя ярость. Затем, изобразив глубокую, но притворную скорбь, он прибавил: — Отец, вы просто безжалостны ко мне... что же я еще могу вам сказать? Ведь я не пытаюсь отрицать свои поступки... я только стремлюсь объяснить вам роковые увлечения, которые к ним привели. Так вот! Можете обрушить на меня самый жестокий сарказм, я все-таки попытаюсь дойти до конца в своей исповеди и постараюсь добиться того, чтобы вы поняли то лихорадочное возбуждение, которое погубило меня, ибо тогда вы, быть может, пожалеете меня... Да, ибо жалеют ведь безумца... а я был тогда безумцем... Зажмурив глаза, я отдавался блестящему вихрю удовольствий, увлекая с собой самых очаровательных женщин, самых приятных мужчин. Как же я мог остановиться? Это все равно, что сказать поэту, изнемогающему под тяжестью творчества, поэту, чей гений раз-

рушает его здоровье: «Остановитесь, хотя вы и охвачены неистовым вдохновением!» Нет, я... я не мог остановиться, не мог отказаться от королевства, которое сам и создал, уйти оттуда с позором, разоренным и осмеянным, чтобы раствориться в никому не известной черни; позволить восторжествовать надо мною завистникам, которым я до тех пор успешно противостоял, которых я подавлял и сокрушал!.. Нет, нет, сделать этого я не мог!.. Во всяком случае, по своей воле. И вот наступил роковой день, когда в первый раз у меня не оказалось свободных денег. Я был просто изумлен, как будто такой день не должен был непременно наступить. Однако у меня еще оставались мои лошади, мои экипажи, обстановка этого особняка... Расплатившись с долгами, предварительно все распродав, я мог бы сохранить какие-то жалкие шестьдесят тысяч франков... быть может... Что бы я стал делать со столь мизерной суммой? И тогда, отец, я сделал первый шаг по стезе бесчестия... Я пока еще оставался честным... я истратил только то, что мне принадлежало; но начиная с того дня я стал делать долги, которые — это было очевидно — уплатить не смогу... Я продал все, что мне принадлежало, двум из моих слуг, чтобы рассчитаться с ними и получить возможность

еще полгода, не возвращая долги кредиторам, наслаждаться роскошью, которая всегда опьяняла меня... Чтобы уплачивать карточные проигрыши и продолжать мои безумные траты, я начал брать деньги у ростовщиков; затем, чтобы расплатиться с этими ростовщиками, я брал в долг у друзей, а чтобы расплатиться с друзьями, стал брать взаймы у своих возлюбленных. Исчерпав все эти возможности, я оказался над пропастью... Из честного человека я превратился в авантюриста... Но я еще не сделался преступником... И тут я заколебался... я хотел было решиться на отчаянный шаг... участвуя в нескольких поединках, я уже знал, что не страшусь смерти... и я решил покончить с собой!..

— Ах, даже так?.. В самом деле? — осведомился граф со свирепой иронией.

— Отец, вы мне не верите?

— Такое решение было принято либо слишком рано, либо слишком поздно! — прибавил граф, по-прежнему не меняя позы и сохраняя бесстрастный вид.

Флорестан, думая, что ему удалось разжалобить отца, рассказав ему о своих планах самоубийства, счел необходимым усилить впечатление от этой сцены театральным эффектом.

Он отпер шкафчик, достал оттуда небольшой флакон зеленоватого стекла и поставив его на столик, сказал графу:

— Некий шарлатан-итальянец продал мне этот яд...

— И. этот яд... был приготовлен... для вас? — спросил старик, по-прежнему подпирая подбородок рукой.

Флорестан понял истинный смысл этих слов.

На сей раз на лице его отразилось неподдельное негодование, ибо он сказал правду.

В один прекрасный день ему и в самом деле взбрело в голову покончить с собой; но то была лишь мимолетная фантазия! Люди его пошиба слишком трусливы, чтобы решиться хладнокровно и без свидетелей принять смерть, которой они, защищая свою дворянскую, а вернее, светскую честь, смотрели в лицо во время дуэли.

Вот почему он воскликнул, на этот раз не обманывая графа:.

— Да, я пал очень низко... но все же не до такой степени, отец. Этот яд я хранил для себя!

— И под конец испугались? — осведомился граф, не меняя позы.

— Признаюсь, я отступил перед этим крайним решением; ведь еще не все было потеряно: лю-

ди, которым я задолжал деньги, были богаты и могли подождать. Ведь я был ещё молод, у меня были нужные связи, я надеялся если не восстановить утраченное состояние, то, по крайней мере, добиться известного положения в обществе, определенной независимости, которая могла бы поддержать мой престиж... Многие мои друзья, быть может, даже менее способные, чем я, сделали быструю карьеру на дипломатическом поприще. А я ведь не лишен некоторого честолюбия... Стоило мне только пожелать, и я был зачислен в состав посольской миссии, направлявшейся в княжество Герольштейн... К несчастью, через несколько дней после этого назначения карточный долг одному человеку, которого я ненавидел, поставил меня в крайне затруднительное положение... я уже использовал все свои возможности... И тогда мне в голову пришла роковая мысль. Будучи уверен в собственной безнаказанности, я совершил низкий поступок... Как видите, отец, я ничего от вас не скрыл... я признаю всю отвратительность моего поведения, я не пытаюсь ни в чем преуменьшить свой позор... У меня остаются два выхода, и я готов принять любой из них... Первый выход — покончить, с собой... но таким образом оставить ваше имя за-

пятнанным, ибо, если я сегодня же не выкуплю за двадцать пять тысяч франков этот окаянный вексель, жалоба будет подана, скандал разразится, и — живой или мертвый — я буду опозорен. Есть и другой выход, отец: броситься в ваши объятия... и умолять вас: «Спасите своего сына, спасите ваше достойное имя от позора...» А я клянусь вам завтра же уехать в Африку, поступить на военную службу простым солдатом и либо встретить там свою смерть, либо возвратиться к вам в один прекрасный день, доблестью искупив свое позорное прошлое... Я говорю вам сейчас, отец, чистую правду... Оказавшись в столь крайних и безысходных обстоятельствах, иного выхода я для себя не вижу... Решайте же... либо я умру, покрытый позором, либо благодаря вам... я буду жить, чтобы исправить свой проступок... Все, что я говорю, — отнюдь не угрозы и не пустые слова запутавшегося юноши, слышите, отец... Мне двадцать пять лет, и у меня достанет мужества либо покончить с собой... либо стать солдатом, потому что идти на каторгу я не хочу...

Граф встал с места.

— Я не желаю, чтобы имя мое было опозорено, — холодно сказал он Флорестану.

— Ах, отец. Вы мой спаситель! — с жаром вос-

кликнул виконт.

Он уже готов был броситься в объятия графа, но тот ледяным жестом остановил этот порыв.

— Вас, кажется, ждут до трех часов дня... у того человека, в чьих руках находится подложный вексель?

— Да, отец... а сейчас уже два часа...

— Пройдем к вам в кабинет... дайте мне перо и бумагу.

— Вот они, отец. Старик быстро написал:

«Я обязуюсь заплатить в десять часов вечера двадцать пять тысяч франков, которые должен мой сын.

Граф де Сен-Реми».

— Вашего кредитора интересуют только деньги; вопреки угрозам мое обязательство заставит этого человека согласиться на новую отсрочку; пусть он побывает у господина Дюпона, моего банкира, в доме номер семь по улице Ришелье; там ему подтвердят надежность этого документа.

— О, дорогой отец!.. Каким образом смогу я когда-нибудь...

— Вы будете ждать меня нынче вечером... в десять часов, я принесу вам деньги... Пусть ваш

кредитор ждет меня тут...

— Да, отец; а послезавтра я отправлюсь в Африку... Вы убедитесь, способен ли я быть неблагодарным?! Возможно, позднее, когда я смою свой позор, вы согласитесь принять мою признательность.

— Вы мне ничем не обязаны; я уже сказал, что отныне мое имя больше никогда не будет опозорено, и оно не будет опозорено, — холодно ответил граф де Сен-Реми.

Взяв свою дубинку, лежавшую на письменном столе, он направился к двери.

— Отец, протяните мне, по крайней мере, вашу руку! — воскликнул Флорестан умоляющим тоном.

— Здесь, сегодня вечером, в десять часов, — ответил граф, не подавая руки сыну.

С этими словами он вышел.

— Спасен!.. — вскричал Флорестан, и лицо его засияло. — Спасен!

Затем, после минутного размышления, он прибавил:

— Почти спасен... Ну, это не важно, одно к одному., Быть может, вечером я признаюсь ему и в другой истории. Он уже сделал первый шаг... И не захочет остановиться на полпути, вступив на

столь благородную стезю, ибо его первая жертва окажется бесполезной, если он не пойдет и на вторую... А потом, стоит ли ему это рассказывать?.. Никто о том никогда не узнает!.. В самом деле, если ничто не раскроется, я сохраню деньги, которые он даст мне для покрытия этого последнего долга... Мне с трудом удалось растрогать его, этого окаянного старика!!! Едкость его саркастических фраз заставила меня усомниться в его благих намерениях; однако моя угроза покончить с собой, боязнь увидеть опозоренным свое имя заставили его решиться; да, именно по этому больному месту и надо было его ударить... Он, без сомнения, не так уж беден, как это может показаться с первого взгляда... Если у него была сотня тысяч франков, то он ее, конечно, приумножил, соблюдая такую бережливость... Повторю еще раз: его приход — это перст судьбы... Вид у него свирепый, но думаю, что, в сущности, он человек добродушный... А теперь поспешим к этому сутяге!

Виконт позвонил в колокольчик. На пороге показался Буайе.

— Как же это вы не предупредили меня о том, что в доме находится мой отец? Вы проявили непростительную небрежность...

— Я дважды пытался обратиться к господи-

ну виконту, когда он вошел в сад с господином Бадино; однако господин виконт, должно быть, поглощенный разговором со своим собеседником, махнул рукой, давая мне понять, чтобы я его не беспокоил... Я не позволил себе настаивать... Я был бы глубоко огорчен, если бы господин виконт счел меня виновным в небрежности.

— Ну ладно... Прикажите Эдвардсу без промедления запрячь в кабриолет пару рысаков.

Буайе склонился в почтительном поклоне.

Когда он выходил из кабинета, в дверь постучали.

Буайе с немым вопросом посмотрел на виконта.

— Войдите! — крикнул Флорестан.

Второй камердинер вошел в комнату, держа в руке небольшой позолоченный поднос.

Буайе принял у него из рук поднос с ревностной услужливостью и с почтительной поспешностью направился к виконту.

Тот взял с подноса довольно объемистый конверт, запечатанный черной восковой печатью.

Слуги неслышно вышли из кабинета.

Флорестан вскрыл конверт. В нем лежали двадцать пять тысяч франков в казначейских билетах... Никакой записки не было.

— Положительно, сегодня необыкновенно удачный день! — воскликнул виконт. — Спасен! На этот раз безусловно и полностью спасен!.. Побегу к ювелиру... а впрочем, — сказал он себе, — быть может... Нет, обождем... против меня не может возникнуть и тени подозрения... Стоит сохранить эти двадцать пять тысяч... Черт побери! До чего ж я глуп, что усомнился в своей счастливой звезде!.. В ту самую минуту, когда она, казалось, померкла, она вдруг загорается еще ярче!.. Но откуда появились эти деньги? Почерк на конверте мне незнаком... поглядим на печать... на вензель... Ну да, да... я не ошибся: буква «Н» и буква «Л»... Это она, Клотильда!..

Но как она могла узнать?.. И ни одного словечка... Это весьма странно! Но зато своевременно!.. Ах, господи боже! Теперь я вспомнил... Ведь на сегодняшнее утро я назначил ей свидание... Угрозы этого Бадино выбили меня из колеи... И я забыл о Клотильде... Подождав меня внизу, она, должно быть, ушла?.. Без сомнения, этот конверт с деньгами — деликатный способ напомнить мне, что она боится, не забываю ли я о ней, озабоченный денежными затруднениями. Да, это косвенный упрек в том, что я не обратился за помощью к ней, как обычно... Добрая Клотильда! Всегда

остается самой собой!.. Щедра и великодушна как королева! Как досадно, что я дошел с ней до денежных просьб... ведь она еще так хороша! Да, порою я об этом жалею... но ведь я прибегаю к ее помощи лишь в самых крайних случаях... Меня нужда заставляет.

— Кабриолет господина виконта подан, — объявил, входя в кабинет, Буайе..

— Кто принес это письмо? — спросил у него Флорестан.

— Не знаю, господин виконт.

— Действительно, я спрошу об этом внизу. Но, скажите, на первом этаже меня никто не ждет? — прибавил Флорестан, выразительно взглянув на камердинера.

— Сейчас там больше никого нет, господин виконт. «Стало быть, я не ошибся, — подумал Флорестан, — Клотильда не дождалась меня и ушла».

— Не соблаговолит ли господин виконт уделить мне две минуты? — спросил Буайе.

— Говорите, но поторопитесь.

— Эдвардс и я слышали, что герцог де Монбризон хотел бы обзавестись собственным особняком; не будет ли господин виконт так добр и не предложит ли он герцогу свой особняк со

всей обстановкой и конюшню, которая в полном порядке... Для меня и для Эдвардса тем самым представился бы весьма удобный случай сбыть все с рук, а для самого господина виконта, быть может, это прекрасный случай объяснить, почему он вдруг решил все распродать.

— Черт побери, а вы ведь совершенно правы, Буайе... я и сам предпочту такую сделку... Я увижусь с Монбризоном и поговорю с ним. Каковы ваши условия?

— Господин виконт отлично понимает... что нам хотелось бы как можно лучше воспользоваться его щедростью.

— И получить больше того, что вы заплатили... Это ясно как день! Что ж, поглядим... Ваша цена?

— За все про все двести шестьдесят тысяч франков, господин виконт.

— И сколько же вы заработаете на этом с Эдвардсом?..

— Около сорока тысяч франков, господин виконт...

— Неплохо! Впрочем, куда ни шло... Ведь, в конце концов, я доволен вами обоими... и если бы я составлял завещание, то именно такую сумму отказал бы вам и Эдвардсу.

И виконт вышел из кабинета, чтобы отпра-

виться сначала к своему кредитору, а затем к герцогине де Люсене: он ведь не подозревал, что эта дама слышала весь его разговор с Бадино.

Глава IX.
ОБЫСК

Особняк герцога де Люсене был одним из, можно сказать, королевских жилищ Сен-Жерменского предместья, которые казались особенно грандиозными, ибо занимали огромную территорию; современный дом без труда уместился бы в лестничной клетке любого из этих дворцов, и можно было бы возвести целый квартал на том пространстве, которое они занимали.

В уже описанный нами день, часов в девять вечера, обе створы громадных ворот особняка распахнулись, чтобы пропустить во двор великолепную двухместную карету: красиво описав круг в огромном дворе, кабриолет этот остановился перед широким крыльцом, пройдя которое можно было попасть в первую прихожую.

Пока два резвых и сильных скакуна перебирали ногами, постукивая копытами по звонким плитам двора, гигантского роста выездной лакей отворил дверцу, украшенную гербами; молодой человек легко выпрыгнул из блестящего экипажа и быстро взбежал по пяти или шести ступеням

крыльца.

Этот молодой человек был виконт де Сен-Реми.

Выйдя от своего кредитора, который, удовольствовавшись обязательством, подписанным отцом Флорестана, согласился на новую отсрочку и пообещал прийти за деньгами на улицу Шайо в десять вечера, виконт де Сен-Реми решил заехать к г-же де Люсене, чтобы поблагодарить ее за новую услугу, которую она ему оказала; не встретившись с герцогиней утром, он приехал к ней в особняк с победоносным видом, рассчитана я застать ее prima sera[112], в час, когда она обычно принимала его.

По тому, как поспешно Сидевшие в передней два лакея кинулись отворять застекленную дверь, едва узнав экипаж Флорестана, по необычайно почтительному виду, с которым остальные слуги торопливо вставали с места, когда мимо проходил виконт, наконец, по еще некоторым неприметным, но многозначительным признакам нетрудно было угадать, что прибыл второй, а вернее сказать, настоящий хозяин дома.

Когда герцог де Люсене возвращался к себе с зонтом в руке, обутый в огромного размера

---

[112] Notes: 112
Ранним вечером (ит.).

башмаки (он терпеть не мог выезжать днем из дому в экипаже), слуги встречали его столь же почтительно; однако от глаз внимательного наблюдателя не укрылась бы заметная разница в выражении лиц прислуги, когда она встречала мужа герцогини или ее возлюбленного.

Такую же торопливую любезность выказали и находившиеся в гостиной камердинеры, когда туда вошел Флорестан; в ту же минуту один из них сопроводил его во внутренние покои, чтобы доложить о его приходе г-же де Люсене.

Никогда еще виконт не ощущал себя до такой степени в зените славы, никогда еще он не чувствовал себя более непринужденно, более самоуверенно, никогда еще у него не был столь победительный вид...

Победа, которую он одержал утром над своим отцом, новое доказательство привязанности со стороны герцогини де Люсене, радость от сознания того, что он таким чудесным образом выпутался из того ужасного положения, в которое попал, возродившаяся вера в свою счастливую звезду — все это придавало его красивому лицу выражение отваги и превосходного расположения духа, а это еще более усиливало его очарование; словом, никогда еще виконт не

чувствовал себя так безмятежно.

И по-своему он был прав.

Никогда его тонкая и гибкая фигура не отличалась столь непринужденной осанкой; никогда еще чело его не было столь ясным, а взгляд столь высокомерным; никогда еще его гордости до такой степени не льстила мысль: «Весьма знатная дама, владычица этого дворца, принадлежит мне, она буквально у моих ног... Еще этим утром она приходила в мой дом и ждала меня там...»

Проходя через три или четыре гостиных, что вели в небольшой будуар, где обычно находилась в этот час герцогиня, Флорестан предавался этим тешившим его самолюбие тщеславным мыслям. Бросив на ходу последний взгляд в висевшее на стене зеркало, он окончательно укрепился в самом высоком о себе мнении.

Камердинер, распахнув обе створки двери, ведущей в гостиную герцогини, громко возвестил:

— Господин виконт де Сен-Реми!

Нет возможности передать удивление и гнев герцогини!

Она думала, граф не скрыл от своего сына, что она тоже слышала его разговор с Бадино.

Мы уже сказали: поняв всю степень низости Флорестана, г-жа де Люсене внезапно и мгновен-

но избавилась от любви к нему, и ее прежнее чувство уступило место ледяному презрению.

Помимо того, мы сказали: несмотря на все свое легкомыслие и все свои грехи, герцогиня де Люсене сохранила в чистоте и нетронутости свое представление о прямоте, чести, рыцарской верности, о силе характера и требовательности к себе, которыми должен обладать мужчина; в самих ее недостатках было что-то возвышенное, в самих ее пороках присутствовала некая добродетель: относясь к любви столь же раскованно, как к ней относятся мужчины, она гораздо больше, чем они, была способна на истинную преданность, великодушие, мужество, а главное, испытывала отвращение и ужас перед любым проявлением низости.

Госпожа де Люсене собиралась ехать на светский раут; поэтому, хотя она еще не надела своей бриллиантовой диадемы, одета она была с присущим ей вкусом и элегантностью; на ней было роскошное платье, она открыто и смело ярко румянила щеки до самых век, как это было принято при королевском дворе, красота ее, особенно заметная на свету, ее стройная фигура, фигура богини, ступающей по облакам, делали еще более впечатляющим присущий ей гордый вид знат-

ной светской дамы, которым мало кто обладал в высшем свете, и, следуя своему капризу или прихоти, она могла быть дерзкой до невероятия...

Надменный и решительный нрав герцогини де Люсене нам уже известен: пусть же читатель представит теперь ее негодующее лицо и разгневанный взор, которым она встретила виконта; он между тем, приблизившись к ней, как всегда элегантный и улыбающийся, сказал с доверительной, исполненной любви улыбкой:

— Моя дорогая Клотильда...! как вы добры! Как вы...

Виконт не успел закончить фразу.

Герцогиня продолжала сидеть в кресле не шевелясь; но ее нетерпеливый жест, ее разгневанный взор выразили такое презрение — равнодушное и вместе с тем уничтожающее, — что Флорестан запнулся и замер на месте...

Он не мог произнести ни слова, не мог сделать ни шага вперед.

Никогда еще он не видел г-жу де Люсене такой. Он не мог поверить, что перед ним та самая женщина, которая всегда была с ним ласкова, нежна, темпераментна и покорна; ибо нет на свете женщины более смиренной и готовой на все, чем женщина с характером, остающаяся наедине с

человеком, которого она любит и которому полностью подчиняется.

Когда первая минута удивления миновала, Флорестан устыдился собственной слабости; обычная его дерзость взяла верх. Сделав шаг по направлению к герцогине де Люсене, он попытался завладеть ее рукой и сказал с особенной лаской в голосе:

— Боже мой! Клотильда, что случилось?.. Никогда еще ты не была так хороша и вместе с тем...

— Ах! Ваша наглость переходит всякие пределы! — вос кликнула герцогиня, отпрянув с таким отвращением и высокомерием, что Флорестан снова замер; он был ошеломлен и растерян.

Затем, взяв себя в руки и собравшись с духом, он спросил:

— Объясните мне, по крайней мере, Клотильда, причину столь внезапной перемены! Что я вам сделал дурного?.. В чем я провинился перед вами?

Ничего не ответив, г-жа де Люсене, как принято выражаться, смерила его с головы до ног таким оскорбительным и презрительным взглядом, что кровь прилила к лицу Флорестана и он воскликнул, не помня себя от гнева:

— Я знаю, сударыня, что вы обычно резко об-

рываете свои связи... Вы что же, решили порвать со мной?

— Какая нелепая претензия! — ответила герцогиня с сардоническим взрывом смеха. — Знайте, сударь, что, когда лакей обкрадывает меня... я не порываю с ним... я выгоняю его вон...

— Милостивая государыня!..

— Довольно, — отрывистым и оскорбительным тоном отрезала герцогиня, — ваше присутствие для меня нестерпимо! Что вам тут нужно? Разве вы не получили деньги?

— Стало быть, это правда... Я верно угадал... Эти двадцать пять тысяч франков...

— Посланы вам для того, чтобы вы могли выкупить ваш последний подложный вексель! Имя вашей семьи будет спасено от позора. Вот и все... а теперь ступайте отсюда...

— Ах, поверьте...

— Мне очень жаль этих денег, они могли бы оказать поддержку многим честным людям... но следовало позаботиться о том, чтобы избежать позора для вашего отца, да и для меня.

— Стало быть, Клотильда, вы все знали?.. О, значит, теперь мне остается только одно: умереть! — воскликнул Флорестан с пафосом, изображая крайнюю степень отчаяния.

В ответ на его трагическую фразу герцогиня бесцеремонно расхохоталась и прибавила, между двумя взрывами шумной веселости:

— Боже мой! Никогда не думала, что низость может быть столь смешна!

— Милостивая государыня!.. — воскликнул Флорестан, и лицо его исказилось от ярости.

Обе створки дверцы с шумом распахнулись, и камердинер возгласил:

— Господин герцог де Монбризон!

Несмотря на все свое самообладание, Флорестан с огромным трудом старался скрыть гнев и злобу, которые человек более искушенный, чем юный герцог, конечно, заметил бы.

Герцогу де Монбризону едва исполнилось восемнадцать лет.

Представьте себе очаровательное, почти девичье лицо, ослепительно белую кожу с легким румянцем, белокурые волосы, нежно очерченный подбородок, на котором едва пробивался первый пушок нарождавшейся бороды; прибавьте ко всему этому большие карие глаза, чуть застенчивый, но живой взгляд, тонкую и гибкую талию, почти такую же, как у герцогини де Люсене, и вы, быть может, представите себе портрет молодого герцога, походившего на самого прелестного

Керубино, какого только доводилось графине де Альмавива и ее служанке наряжать в женский чепчик, вдоволь налюбовавшись белизной его шеи, отливавшей слоновой костью.

Виконт де Сен-Реми то ли из слабости, то ли из дерзости все же решил остаться в гостиной...

— Как это мило, Конрад, что вы вспомнили обо мне сегодня вечером! — проговорила герцогиня де Люсене приветливо и нежно, протягивая руку юному герцогу.

Молодой человек собрался было обменяться рукопожатием со своей кузиной, но Клотильда слегка приподняла руку и весело сказала ему:

— Лучше поцелуйте мне руку, кузен, ведь вы еще в перчатках.

— Простите меня великодушно, кузина... — пробормотал юноша и припал губами к очаровательной обнаженной руке, которую протянула ему герцогиня.

— Что вы собираетесь делать нынче вечером, Конрад? — спросила г-жа де Люсене, не обращая никакого внимания на хранившего молчание Флорестана.

— Да ничего особенного, кузина; уйдя от вас, я поеду в клуб.

— Ни в коем случае: вы будете сопровождать

герцога де Люсене и меня к госпоже де Сенваль, она сегодня принимает; и она уже несколько раз просила меня ей вас представить.

— Дорогая кузина, я буду счастлив подчиниться вашему желанию.

— Кроме того, говоря откровенно, не по душе мне, что вы уже хотите приобрести привычку ездить в клуб; что за прихоть? У вас ведь есть все основания рассчитывать, что вас будут охотно принимать и даже усиленно приглашать на светские приемы и вечера... И вам следует там почаще бывать.

— Я готов, дорогая кузина..

— А так как я вам гожусь почти что в бабушки... мой милый Конрад, я буду постоянно на этом настаивать. Вы, правда, уже дееспособны, но полагаю, что вам еще долго будет нужно заботливое попечение, и вам придется примириться с тем, что опекать вас буду я.

— С великой радостью, почту за счастье, кузина! — с живостью воскликнул юный герцог.

Невозможно описать немую ярость, охватившую Флорестана, который по-прежнему стоял прислонившись спиной к камину.

Ни герцог, ни Клотильда не обращали на него ни малейшего внимания. Зная, как быстро

герцогиня де Люсене принимает решения, он предполагал, что у нее достанет презрения к нему и отваги на то, чтобы тотчас же, прямо в его присутствии, начать открыто кокетничать с юным герцогом де Монбризоном.

Но он был неправ; герцогиня питала к своему кузену почти что материнскую привязанность: ведь он родился чуть ли не у нее на глазах. Однако юный герцог был так красив, он, казалось, был так обрадован любезным и теплым приемом, оказанным ему его знатной кузиной, что ревность или, скорее, гордость приводила Флорестана в отчаяние; сердце его болезненно сжималось, его терзала зависть к Конраду де Монбризону, этому красивому и богатому аристократу, который с таким блеском вступал — в жизнь, полную удовольствий, развлечений и пьянящих успехов, в ту самую жизнь, которую он, Флорестан, разочарованный, презираемый, обесчещенный и опозоренный, покидал навсегда.

Виконт де Сен-Реми обладал, если можно так выразиться, мужеством, идущим от головы: в припадке гнева или из тщеславия он мог отважиться на дуэль; но, по природе человек ничтожный и безнадежно испорченный жизнью, он не обладал тем душевным мужеством, которое

может преодолеть дурные склонности или, по крайней мере, придает человеку силы избежать позора, добровольно наложив на себя руки.

Яростно негодуя на адское презрение, которое выказывала по отношению к нему герцогиня, полагая, что юный герцог де Монбризон станет его преемником, виконт де Сен-Реми решил потягаться дерзостью с г-жой де Люсене, а если потребуется, то и затеять ссору с Конрадом.

Герцогиня, возмущенная наглостью Флорестана, даже не смотрела в его сторону; а юный герцог де Монбризон, с обожанием глядевший на кузину, невольно позабыл о правилах приличия: он даже не поздоровался и не сказал ни слова виконту, с которым был знаком.

Господин де Сен-Реми направился к Конраду, стоявшему к нему спиной, слегка притронулся к его руке и промолвил сухим, полным иронии тоном:

— Добрый вечер, милостивый государь... приношу тысячу извинений, что до сих пор не заметил вашего прихода.

Герцог де Монбризон, понимая, что он и в самом деле поступил неучтиво, стремительно обернулся и сердечно сказал виконту:

— Сударь, я и вправду смущен... Но я позволю

себе надеяться, что моя кузина, послужившая невольной причиной моей рассеянности, соблаговолит простить мне невнимательность, проявленную к вам... и...

— Конрад, — проговорила герцогиня, выведенная из себя наглостью Флорестана, который не только не уходил, но еще и вел себя вызывающе, — Конрад, полноте; не нужно никаких извинений... в них нет необходимости.

Господин де Монбризон, полагая, что герцогиня в шутливой форме упрекает его за слишком формальное извинение, весело сказал, обращаясь к виконту:

— Я не стану настаивать на дальнейших объяснениях, сударь, раз уж моя кузина мне это запрещает... Как видите, ее опека надо мной уже началась.

— И опека эта такой малостью не ограничится, дорогой герцог, уж будьте уверены. И вот в предвидении этого — я уверен, что герцогиня поспешит облечь свое покровительство в нечто более осязаемое, — повторяю, в предвидении этого мне пришло в голову сделать вам одно предложение...

— Вы хотите сделать мне какое-то предложение, сударь? — спросил Конрад, уже несколько

задетый сардоническим тоном Флорестана.

— Именно вам... дело в том, что я через несколько дней уезжаю в княжество Герольштейн с дипломатической миссией, в состав которой я включен... И хотел бы отделаться от своего особняка со всей его обстановкой и с конюшней, которая в полном порядке. Вы же, со своей стороны, должны достойным образом обустроиться... — При этих словах виконт нагло посмотрел на герцогиню де Люсене. — Ведь это было бы весьма пикантно... не правда ли, высокочтимая госпожа герцогиня?

— Я вас что-то плохо понимаю, сударь, — проговорил г-н де Монбризон, удивляясь все больше и больше.

— Я вам скажу, Конрад, почему вы не можете принять предложение, которое вам только что сделали, — сказала Клотильда.

— А почему герцог не может принять мое предложение, высокочтимая госпожа герцогиня?

— Милый мой Конрад, то, что вам предлагают купить, уже продано другим людям... понимаете... так что вас ждут большие неприятности: вас ограбят, как в темном лесу.

Флорестан в ярости кусал губы.

— Берегитесь, сударыня! — воскликнул он.

— Как? Угрозы... здесь... Вы забываетесь, сударь! — крикнул юный герцог.

— Полноте, Конрад, не обращайте внимания, — сказала г-жа де Люсене с невозмутимым спокойствием, беря конфету из бонбоньерки. — Человек чести не должен и не может компрометировать себя, имея дело с этим господином. Если он настаивает, я вам сейчас объясню почему.

Готов был разразиться ужасный скандал, но в это время обе створки двери распахнулись, и в гостиную вошел герцог де Люсене, вошел, по своему обыкновению, шумно, стремительно и бурно.

— Как, моя дорогая, вы уже готовы? — спросил он, обращаясь к жене. — Да это чудо какое-то... просто поразительно!.. Добрый вечер, Сен-Реми, добрый вечер, Конрад... Ах, перед вами несчастнейший человек... другими словами, я не сплю, я не ем, я до такой степени отупел, что и передать не могу... Бедняга д'Арвиль, какой ужасный случай!

И герцог де Люсене плюхнулся на кушетку с подлокотниками и далеко отшвырнул свою шляпу с жестом отчаяния; затем, положив левую ногу на колено правой, он, по своему обыкновению, ухватился правой рукой за носок левого башмака, продолжая издавать горестные возгласы.

Волнение Конрада и Флорестана понемногу улеглось, так что г-н де Люсене, кстати сказать, человек на редкость рассеянный и ненаблюдательный, ничего не заметил.

Герцогиня де Люсене, отнюдь не от замешательства — она была из тех женщин, которых, как известно читателю, нельзя никогда и ничем смутить, — но потому, что присутствие Флорестана становилось для нее все более неприятным и нестерпимым, обратилась к мужу:

— Мы можем ехать, когда вам будет угодно, я хочу представить Конрада госпоже де Сенваль.

— Нет, нет, нет! — завопил герцог, выпуская свою ногу из руки и хватая одну из подушек, лежавших на кушетке.

Он из всех сил ударил по злосчастной подушке кулаками, к великому изумлению Клотильды, которая от неожиданного вопля мужа даже немного подскочила в кресле.

— Господи, милостивый государь, что с вами? — спросила она. — Вы меня смертельно напугали.

— Нет! — повторил герцог, отпихивая подушку; затем он резко вскочил с места и заходил по гостиной, размахивая руками. — Я не могу, никак не могу смириться с мыслью, что этот бедный д'Арвиль умер. А вы, Сен-Реми?

— Случай и в самом деле ужасный! — согласился виконт, который, внутренне горя ненавистью и гневом, тщетно пытался поймать взгляд юного герцога де Монбризона.

Однако Конрад после последних слов своей кузины, не из недостатка мужества, но из гордости, упорно не хотел встречаться глазами с человеком, столь страшно опозоренным.

— Помилосердствуйте, милостивый государь, — сказала герцогиня, обращаясь к мужу и вставая с кресла, — не стоит сожалеть о господине д'Арвиле столь шумно, а главное., столь причудливо... Прошу вас, позвоните и вызовите сюда моих слуг.

— Нет, вы только подумайте, — проговорил г-н де Люсене, ухватившись за шнурок сонетки, — ведь еще три дня тому назад он был совершенно здоров и полон жизни... а сегодня, что осталось от него сегодня?! Ничего... ничего!!! ничего!!!

Произнеся три последних слова, герцог с такой силой дергал за шнурок сонетки, продолжая жестикулировать рукой, что тот оторвался от пружины, упал на канделябр, где горели свечи, и опрокинул две из них; при этом одна из свечей упала на камин, разбив прелестную небольшую чашку из старинного севрского фарфора, а другая

покатилась по лежавшему перед камином ковру из горностая: вспыхнувшее пламя поспешно затоптал ногою Конрад.

В ту же минуту два камердинера, встревоженные неистовым звоном, торопливо вбежали в гостиную и увидели, что герцог де Люсене так и сидит, держа в руке шнурок от сонетки, а герцогиня звонко хохочет, глядя на стремительный полет свечей, а герцог де Монбризон вторит ее веселому смеху.

Один только виконт де Сен-Реми не смеялся.

Герцог де Люсене, привыкший к такого рода происшествиям, причиной коих бывал он сам, сохранял полную невозмутимость; он швырнул шнурок от сонетки одному их слуг и сказал:

— Заложить карету герцогини.

Перестав смеяться, Клотильда заметила:

— Право же, сударь, только вы одни способны вызвать смех по столь прискорбному поводу.

— Прискорбному!.. — воскликнул герцог. — Скажите лучше, ужасному... скажите лучше, устрашающему! Знаете, со вчерашнего дня я только и думаю, сколько есть людей, даже из числа моих родственников, которые, по моему мнению, могли бы с большим основанием умереть вместо этого бедняги д'Арвиля. Например,

мой племянник д'Анберваль, которого трудно вынести из-за его ужасного заикания; или же, того лучше, ваша тетушка Меренвилль, которая нам все уши прожужжала жалобами на свои нервы, на свою мигрень, которая при этом каждодневно, не в силах дождаться обеда, пожирает целый котелок паштета, как какая-нибудь привратница! Вы разве так уж сильно привязаны к вашей тетушке Меренвилль?

— Послушайте, милостивый государь, да вы просто с ума сходите! — воскликнула герцогиня, пожимая плечами.

— Но ведь это же сущая правда, — настаивал герцог, — пусть уж лучше умрут два десятка безразличных вам людей вместо одного вашего друга... Вы согласны со мной, Сен-Реми?

— Безусловно.

— Помните ту старинную историю о портном? Ты знаешь эту историю о портном, Конрад?

— Нет, не знаю, кузен.

— Ты тотчас же поймешь, почему я о ней вспомнил. Некоего портного осудили на казнь через повешение; во всем городке больше портных не было. Как поступают горожане? Они пришли к судье и сказали ему: «Господин судья, у нас в городе только один портной, а башмачников трое; если

вам все равно, повесьте лучше одного их них вместо портного, нам хватит и двух башмачников». Ты понимаешь смысл этой истории, Конрад?

— Понимаю, кузен.

— А вы, Сен-Реми?

— Я тоже.

— Карета госпожи герцогини! — возгласил один из слуг.

— Ах, так! Но почему вы не надели ваши бриллианты? — неожиданно спросил у жены герцог де Люсене. — К этому платью они бы очень подошли!

Виконт де Сен-Реми вздрогнул.

— Ведь мы так редко выезжаем в свет вместе, — продолжал герцог де Люсене, — и вы могли бы доставить мне удовольствие, надев их. До чего они прекрасны, эти бриллианты... Вы видели бриллианты герцогини, Сен-Реми?

— Да... господин виконт хорошо знаком с моими бриллиантами, — ответила Клотильда. Потом она прибавила: — Подайте мне руку, Конрад...

Господин де Люсене последовал за герцогиней вместе с виконтом де Сен-Реми, который едва сдерживал гнев.

— А разве вы не поедете с нами к Сенвалям, виконт? — спросил герцог.

— Нет... это невозможно, — поспешно ответил тот.

— Послушайте, Сен-Реми, госпожа де Сенваль — еще одна особа... да что я говорю, одна... их там двое... и я охотно бы пожертвовал обоими, ибо ее муж тоже внесен в мой список.

— Какой список?

— Список людей, чья смерь была бы для меня совершенно безразлична, если 'бы д'Арвиль остался с нами.

В первой гостиной герцог де Монбризон помогал герцогине надеть ее длинную накидку; обратившись к нему, г-н де Люсене сказал:

— Раз уж ты едешь с нами, Конрад... пусть твой экипаж следует за нашим... Разве только вы все же поедете к Сенвалям, Сен-Реми, тогда я сяду вместе с вами... и расскажу вам еще одну славную историю, она ничуть не хуже истории о портном.

— Благодарю вас, герцог, — сухо сказал виконт де Сен-Реми, — но сопровождать вас на прием я не могу.

— В таком случае, до свидания, мой милый... А вы что, поссорились с моей женой? Смотрите-ка, она садится в экипаж, даже не простившись с вами.

И в самом деле, карета герцогини подкатила к крыльцу, и молодая женщина с легкостью поднялась в нее.

— А вы, кузен? — спросил Конрад, ожидавший из учтивости, пока герцог сядет в карету.

— Садитесь же! Садитесь! — сказал герцог де Люсене, задержавшись на крыльце, — он любовался красивыми лошадьми, запряженными в экипаж виконта.

— Это и есть ваши гнедые, Сен-Реми?

— Да.

— А до чего живописен ваш толстый Эдвардс... Какой у него осанистый вид!.. Поистине настоящий кучер из благородного дома!.. Вы только поглядите, как ловко он держит вожжи в руке!.. Надо отдать вам должное, виконт, я бы сказал: «Один только этот чертов Сен-Реми умудряется обладать всем самым лучшим».

— Госпожа де Люсене и ее кузен ждут вас, дорогой герцог, — с горечью сказал виконт де Сен-Реми.

— Вероятно, черт побери... я веду себя как грубиян!.. До свидания, Сен-Реми... Ах, совсем забыл, — проговорил герцог де Люсене, останавливаясь посреди крыльца, — если у вас не будет более интересного занятия, приезжайте к нам завтра

обедать: лорд Дадли прислал мне из Шотландии куропаток, вернее, тетеревов. Представляете, это такие громадины... Условились, не правда ли?

И герцог присоединился наконец к своей жене и Конраду.

Виконт де Сен-Реми остался на крыльце один, провожая взглядом отъехавший экипаж.

Тем временем подъехал его собственный кабриолет.

Он поднялся в экипаж, бросил взгляд, полный гнева, ненависти и отчаяния, на этот особняк, куда он так часто входил, точно хозяин, и откуда его с позором изгнали.

— Домой! — резко бросил он.

— В особняк! — крикнул выездной лакей Эдвардсу, захлопывая дверцу кабриолета...

Читатель понимает, какие горестные и унылые мысли одолевали виконта де Сен-Реми по дороге домой.

Когда экипаж подъехал к дому, Буайе, поджидавший хозяина в крытой галерее, сказал:

— Господин граф уже наверху, он ожидает там господина виконта.

— Превосходно...

— Там также находится тот человек, которому господин виконт велел прийти к десяти часам

вечера; это господин Пти-Жан...

— Хорошо, хорошо.

«Господи, ну и вечерок выдался!» — подумал Флорестан, поднимаясь на второй этаж, где его ожидал отец; он застал графа в гостиной, где происходила их утренняя беседа.

— Тысяча извинений, отец! Простите, что я не попал домой до вашего прихода... но я...

— Человек, в чьих руках находится подложный вексель, здесь? — спросил старик, обрывая сына.

— Да, отец, он ждет внизу.

— Пусть поднимется сюда...

Флорестан позвонил в колокольчик; на пороге показался Буайе.

— Попросите господина Пти-Жана подняться сюда.

— Слушаюсь, господин виконт, — сказал Буайе и вышел из кабинета.

— Как вы добры, отец, что не забыли о своем обещании.

— Я всегда помню о том, что обещал...

— Как несказанно я вам благодарен!.. Не знаю, как я смогу выказать эту...

— Я не хотел, чтобы мое имя было обесчещено, — прервал его граф. — И оно не будет обесчещено...

— Да, не будет!.. Да, оно не будет обесчещено, я клянусь вам, отец...

Граф посмотрел на сына со странным выражением лица и повторил:

— Да, мое имя не будет обесчещено!

Потом он прибавил с сардонической усмешкой:

— А вы почему в этом так уверены? Разве вы прорицатель?

— Нет, но в своей душе я читаю твердую решимость в этом.

Отец Флорестана ничего не ответил.

Он ходил из угла в угол гостиной, сунув обе руки в карманы своего длинного редингота. Ой был очень бледен.

— Господин Пти-Жан, — доложил Буайе, вводя в комнату человека с хитрым, гнусным и корыстным лицом.

— Где этот вексель? — спросил граф.

— Вот он, сударь, — ответил Пти-Жан (подставное лицо нотариуса Жака Феррана), протягивая вексель графу.

— Тот ли это вексель? — спросил старик у своего сына, показывая ему документ.

Кинув взгляд на вексель, Флорестан сказал:

— Да, тот самый, отец.

Граф вытащил из кармана своего камзола двадцать пять тысяч франков казначейскими билетами, протянул их сыну и приказал:

— Уплатите!

Флорестан вручил деньги Пти-Жану и взял у него из рук вексель со вздохом облегчения.

Пти-Жан тщательно вложил банковые билеты в потрепанный бумажник и откланялся.

Граф де Сен-Реми вышел вместе с ним из гостиной, а Флорестан тем временем старательно разрывал вексель на клочки.

— По крайней мере, у меня остались еще двадцать пять тысяч франков от Клотильды, — проговорил он. — Если ничто не откроется... эти деньги — пусть слабое, но все-таки утешение. Но, подумать только, как она обращалась со мной!.. Да, кстати, что такого мог сказать мой отец Пти-Жану?

Скрип ключа в двери заставил виконта вздрогнуть.

Его отец возвратился в гостиную.

Теперь он был еще бледнее, чем прежде.

— Мне показалось, отец, что кто-то запер на ключ дверь в мой кабинет?

— Да, это я запер ее.

— Вы, отец? А зачем? — с изумлением спросил

Флорестан.

— Я вам сейчас скажу.

Граф уселся в кресло, передвинув его так, чтобы сын не мог уйти по потайной лестнице, что вела на первый этаж.

Не на шутку встревоженный, Флорестан обратил вдруг внимание на зловещее выражение лица графа де Сен-Реми и теперь с опаской следил за каждым его движением и жестом.

Он не мог объяснить, в чем дело, но испытывал смутный страх.

— Нынешним утром, когда вы меня увидели, у вас мелькнула одна-единственная мыслв: «Отец ни за что не позволит опозорить свое имя, он заплатит... если мне удастся ловко притвориться и убедить его в моем раскаянии».

— Ах, неужели вы можете подумать...

— Не прерывайте меня... Но я не попался на удочку; в вас нет ни стыда, ни сожаления, ни угрызений совести, вы порочны до глубины души, у вас в жизни не было ни проблеска порядочности; вы не начали воровать, пока вы обладали средствами для удовлетворения ваших потребностей, это именуют честностью богачей вашего пошиба; потом на свет явились бестактные поступки, вслед за ними — поступки низкие

и, наконец, пришел черед преступлению: вы совершили подлог. Но это только начальная пора вашей жизни... и она может показаться прекрасной и чистой по сравнению с тем образом жизни, какой вас ожидает впереди...

— Да, так случится, если я не изменю своего поведения, согласен; но я изменю его, клянусь вам в этом, отец.

— Вы ни в чем не изменитесь...

— Однако...

— Повторяю: вы ни в чем не изменитесь... Изгнанный из того круга, где вы до сих пор вращались, вы очень скоро станете преступником, подобно тем мерзавцам, среди которых вы непременно окажетесь: так что вы непременно станете вором... а если вам это понадобится, то и убийцей. Вот что вас ждет впереди.

— Я стану убийцей?! Я?!

— Да, вы, ибо вы подлец и трус!

— Я дрался на нескольких поединках и при этом доказал...

— А я говорю вам, что вы трус! Вы предпочли бесчестие смерти! И наступит такой день, когда вы для того, чтобы ваши новые преступления не выплыли на свет, пойдете на то, чтобы отнять жизнь у другого человека. Но это не должно про-

изойти, я не желаю, чтоб это могло произойти. Я появился в самое время, чтобы спасти, по крайней мере, свое имя от публичного позора. С этим пора покончить.

— Что это значит, отец... покончить? Что вы этим хотите сказать?! — воскликнул Флорестан, которого все больше и больше пугало грозное выражение лица графа и его все возраставшая бледность.

Внезапно в дверь кабинета громко постучали; Флорестан направился было в кабинет, чтобы отпереть дверь и тем самым положить конец разговору с отцом, который приводил его в ужас, но граф железной рукой схватил его за плечо и удержал на месте.

— Кто там стучит? — спросил граф.

— Именем закона, отворите!.. Отворите!.. — раздался в ответ чей-то голос.

— Стало быть, это был еще не последний подложный вексель? — негромко спросил г-н де Сен-Реми, грозно взглянув на сына.

— Это был последний... клянусь вам, отец, — ответил Флорестан, тщетно стараясь освободиться от мощной руки графа.

— Именем закона... Отворите!.. — снова послышался голос.

— Что вам угодно? — спросил граф.

— Я комиссар полиции; я пришел произвести обыск в доме виконта де Сен-Реми, которого обвиняют в краже бриллиантов... У господина Бодуэна, ювелира, есть веские доказательства. Если вы не отопрете добром, сударь... я вынужден буду распорядиться взломать дверь.

— Уже вор! Значит, я не ошибся, — едва слышно проговорил граф. — Я пришел, чтобы убить вас... но слишком поздно.

— Убить меня?! — вскричал виконт.

— Вы достаточно позорили мое имя; пора с этим покончить; у меня с собой два пистолета... либо вы сами пустите себе пулю в лоб... либо я сам вас застрелю и скажу, что вы покончили с собой в отчаянии, дабы спастись от позора.

И граф с пугающим хладнокровием достал свободной рукою пистолет из своего кармана и протянул сыну, сказав:

— Довольно! Если вы не трус, пора покончить счеты с жизнью!

После новых и столь же тщетных попыток вырваться из рук графа, его сын в ужасе отпрянул и смертельно побледнел.

По ужасному и неумолимому взгляду отца он понял, что рассчитывать на его жалость не

приходится.

— Отец! — в отчаянии воскликнул он.

— Вам надо умереть!

— Я глубоко раскаиваюсь в содеянном!

— Слишком поздно!.. Вы слышите?! Они уже ломятся в дверь!

— Я искуплю все свои поступки!

— Они сейчас войдут! Стало быть, мне придется самому вас убить?

— Пощадите меня!

— Дверь уже поддается!.. Ты сам этого хотел!..

И граф приставил дуло своего пистолета к груди Флорестана.

Шум, доносившийся в гостиную, и в самом деле говорил о том, что дверь в кабинет продержится недолго.

Виконт понял, что погиб.

Но внезапно отчаянное решение промелькнуло у него в голове; он больше не вырывался из рук отца и сказал ему с показной твердостью и решимостью:

— Вы правы, отец... дайте мне ваш пистолет. Я достаточно обесчестил свое имя, жизнь, которая ждет меня впереди, действительно ужасна, нет смысла бороться за нее. Давайте пистолет. И вы увидите, трус ли я или нет. — Он протянул руку

за пистолетом. — Но скажите, по крайней мере, хоть одно слово, одно слово утешения, жалости, скажите мне его на прощанье, — прибавил Флорестан.

Дрожащие губы, бледность, искаженное отчаянием лицо — все выдавало ужасное волнение, владевшее в эту минуту виконтом.

«А что, если он все-таки мой сын?! — со страхом подумал граф, не решаясь передать пистолет Флорестану. — Но, если это мой сын, я тем меньше должен колебаться перед тем, как принести его в жертву».

Дверь в кабинет теперь непрерывно трещала, не оставалось сомнений, что она вот-вот будет взломана.

— Отец... они сейчас войдут... О, теперь я наконец понимаю, что смерть для меня — благодеяние... Спасибо... спасибо... но протяните мне хотя бы руку и простите меня.

Несмотря на всю свою твердость, граф невольно содрогнулся и сказал взволнованным голосом:

— Я вас прощаю.

— Отец... дверь сейчас распахнется... ступайте к ним навстречу... пусть, по крайней мере, на вас не падет подозрение... А потом если они войдут сюда, то помешают мне покончить с собой...

Прощайте...

В соседней комнате послышались шаги нескольких человек.

Флорестан приставил к груди дуло пистолета.

Выстрел раздался в то самое мгновение, когда граф, стремясь избежать ужасного зрелища, отвернулся и бросился вон из гостиной; обе половины портьеры сошлись за ним.

При звуке выстрела, при виде смертельно бледного и совершенно потерянного графа, полицейский комиссар замер на месте и жестом запретил своим помощникам переступать порог гостиной.

Предупрежденный Буайе о том, что виконт заперся в кабинете с отцом, полицейский чиновник все понял и с уважение отнесся к огромному горю старика.

— Умер!!! — с болью воскликнул граф, закрывая лицо руками — Умер!!! — повторил он в изнеможении. — Но это было необходимо, лучше смерть чем позор... И все-таки это ужасно!

— Милостивый государь, — печально произнес полицейский комиссар после короткого молчания, — избавьте самого себя от горестного зрелища, покиньте этот злополучный дом... Сейчас мне предстоит выполнить уже иной долг, еще

более тягостный, чем тот, что привел меня сюда.

— Вы правы, сударь, — ответил граф де Сен-Реми. — Что касается человека, ставшего жертвой этого мошенничества, передайте ему, пожалуйста, чтобы он обратился к господину Дюпону, банкиру.

— Его контора на улице Ришелье?.. Он всем хорошо известен, — ответил полицейский комиссар.

— В какую сумму оцениваются похищенные бриллианты?

— Они стоили около тридцати тысяч франков, милостивый государь; человек, их купивший и обнаруживший, что они украдены, заплатил эту сумму... вашему сыну.

— Столько я могу еще заплатить. Пусть ювелир придет послезавтра к моему банкиру, и я с ним все улажу.

Полицейский комиссар поклонился.

Граф вышел из кабинета.

После его ухода полицейский чиновник, глубоко потрясенный этим неожиданным происшествием, медленно направился к гостиную, вход в которую был закрыт портьерой.

С волнением он приподнял ее.

— Никого!.. — воскликнул он, опешив; внима-

тельно оглядев гостиную, он не нашел в ней ни малейших следов трагического происшествия, которое вроде бы только что случилось.

Затем, обнаружив небольшую дверь, искусно скрытую обоями, он кинулся к ней.

Дверь была заперта снаружи — со стороны потайной лестницы.

— Ну и хитрец!.. Именно через эту дверь он сбежал! — с досадой воскликнул полицейский.

Виконт в присутствии отца приставил пистолет прямо к сердцу, но затем весьма ловко чуть-чуть сдвинул его, и пуля пролетела под мышкой; после чего он, не теряя времени, исчез.

Полицейские старательно, самым тщательным образом обыскали весь дом, но Флорестана нигде не обнаружили.

Пока его отец и полицейский комиссар разговаривали друг с другом, виконт быстро сбежал по лестнице, прошел через будуар и теплицу, а затем по пустынной улице добежал до Елисейских полей.

Зрелище столь низкой развращенности человека, живущего среди роскоши, — зрелище весьма прискорбное.

Мы это знаем.

Однако из-за отсутствия разумных и прочных

устоев богатым классам также роковым образом присущи свои беды, свои пороки и свои преступления.

На каждом шагу мы встречаемся с таким удручающим явлением, как безрассудная и бесплодная расточительность, какую мы только что описали, и она непременно ведет в конечном счете к разорению, утрате уважения окружающих, к низости и позору.

Да, повторяем, это жалкое и вместе с тем зловещее зрелище... его можно сравнить разве что со зрелищем цветущей нивы, которую бессмысленно опустошила стая хищных зверей...

Спору нет, наследство, частная собственность священны и неприкосновенны, и такими они должны оставаться.

Богатство, накопленное человеком или полученное им в наследство, должно невозбранно принадлежать ему, даже если оно своим блеском ослепляет глаза людей бедных и страждущих.

Еще долго будет существовать страшное несоответствие, которое существует ныне между положением миллионера Сен-Реми и ремесленника Мореля.

Но именно потому, что такое неизбежное несоответствие освящено и охраняется законом, те,

кто обладает огромным богатством, обязаны пользоваться им, следуя правилам нравственности, как и те, кто обладает только честностью, смирением, мужеством, как и те, кто ревностно трудится.

С точки зрения здравого смысла, прав человека и, разумеется, в интересах всего общества крупное состояние должно стать неким полученным в наследство денежным вкладом, который доверен разумным, умелым, сильным и великодушным людям, и они должны одновременно приумножать и расходовать свое состояние таким образом, чтобы все то, что, по счастью окажется согрето его яркими и благотворными лучами, оживало, становилось лучше и плодоносило.

Порою так и бывает, но лишь в редких случаях.

Сколько молодых людей, подобно виконту де Сен-Реми, становятся в двадцать лет обладателями весьма внушительного состояния либо поместья, и они безрассудно растрачивают свое состояние, предаваясь безделью, становясь рабами скуки или порока (а порой и низости), только потому, что не знают, как лучше употребить свое богатство с пользой и для самих себя и для

окружающих!

Другие богачи, напуганные непрочностью благ земных, самым отвратительным образом копят деньги.

Наконец, иные, зная, что деньги, не пущенные в оборот, постепенно тают, предаются безнравственным и азартным биржевым спекуляциям, которым власти споспешествуют и покровительствуют; при этом спекуляторы неизбежно становятся либо плутами, либо жертвами обмана.

А разве может быть иначе?

Кто наставляет неопытную молодежь? Кто учит ее хотя бы начаткам бережливости индивидуальной, которая в конечном счете оборачивается бережливостью всего общества?

Никто не учит.

Богач со своим богатством, как и бедняк со своей бедностью, живет в нашем обществе, он предоставлен самому себе.

Общество не заботит ни избыток средств у одного, ни нужда другого.

Никто не думает о том, что нравственность необходима богачу ничуть не меньше, чем бедняку.

Но разве не власть имущие должны выполнять

великую и благородную задачу?

Проникшись, наконец, искренним сочувствием и жалостью к неимущим, ко все возрастающей нужде тружеников, которые пока еще сохраняют покорность, уничтожив гибельную конкуренцию между всеми и каждым, приступив, наконец, к решению неотложной проблемы упорядочения условий труда, власть имущие подадут тем самым благодетельный пример сочетания интересов труда и капитала.

Но этот союз труда и капитала должен быть честным, разумным и справедливым, он должен обеспечить благосостояние ремесленника, не нанося при этом ущерба имуществу богача... и тогда вновь созданные узы доброжелательства и благодарности скрепят этот союз и навсегда сохранят мир и спокойствие в государстве...

Какие грандиозные последствия ожидают нас, если все это воплотить в жизнь!

Кто же из богачей станет тогда колебаться в выборе между бесчестными и губительными возможностями биржевой спекуляции, мрачными утехами скопидомства, безрассудным тщеславием разорительного мотовства — и разумным использованием своего богатства, одновременно плодотворным и благодетельным, в результате

чего распространится благосостояние, укрепится нравственность, воцарится счастье и радость во многих семьях.

Глава X.
ПРОЩАНИЕ

... Поверил — увидал — и плачу...
Вордсворт

На следующий день после описанного нами вечера, когда граф де Сен-Реми был так низко обманут своим сыном, в тюрьме Сен-Лазар, в час отдыха заключенных, происходила трогательная сцена.

В тот день, когда узниц вывели на прогулку, Лилия-Мария сидела на скамейке возле водоема во внутреннем дворе тюрьмы: скамейка эта уже получила название Скамьи Певуньи, и по молчаливому уговору другие заключенные не занимали это место, где Певунья любила сидеть, ибо благотворное влияние молодой девушки за последние дни еще больше возросло.

Певунья любила эту скамью, стоявшую возле самого водоема, ибо невзрачный бархатистый мох, покрывавший закраины этого водоема, напоминал ей зелень полей, а прозрачная вода, наполнявшая его, напоминала ей небольшую речку, что протекала в Букевале.

Для печального взгляда заключенного пучок травы уже олицетворяет луг, а один цветок — целую клумбу...

Полностью поверив ласковым обещаниям г-жи д'Арвиль, Лилия-Мария вот уже два дня ожидала, что ее освободят из тюрьмы.

Хотя у нее не было никаких оснований для тревоги, но ее выход из тюрьмы почему-то задерживался, и молодая девушка, привыкшая к постоянным невзгодам, не решалась поверить, что она скоро будет на свободе...

После того как Лилия-Мария вновь оказалась в обществе этих падших созданий, чья речь ежеминутно оживляла в ее душе неискоренимое воспоминание о давнем позоре, свойственная ей грусть стала еще более тягостной.

Но дело было не только в этом.

Была еще одна причина, которая рождала в ней смятение и горькие размышления, почти пугала ее: то была страстная экзальтация, сопровождавшая ее признательность Родольфу.

Странная вещь! Молодая девушка как будто сознавала всю глубину своего падения именно потому, что сознание это напоминало ей о том, что отделяло ее от этого человека, чье величие казалось ей почти нечеловеческим, человека,

обладавшего одновременно необычайной добротой... и могуществом, пугавшим злодеев...

Несмотря на то, что, боготворя Родольфа, Лилия-Мария вместе с тем питала к нему глубочайшее уважение, "она иногда, увы, со страхом думала, не принимает ли ее обожание характер любви, столь же тайной, сколь и глубокой, столь же целомудренной, сколь и тайной, столь же безнадежной, сколь и целомудренной!

Бедная девочка с особенной силой почувствовала, что в ее сердце поселилось столь огорчавшее ее чувство во время разговора с г-жой д'Арвиль, которая сама питала к Родольфу сильную страсть, о чем он не подозревал.

После ухода маркизы, после ее столь обнадеживавших обещаний Лилия-Мария, казалось бы, должна предаваться радости, думая о скорой встрече со своими друзьями из Букеваля, о том, что ей предстоит увидеться вскоре и с Родольфом...

Но нет, она не испытывала радости.

Ее сердце болезненно сжималось. К ней все время возвращались воспоминания о резких словах, о высокомерных испытующих взглядах маркизы д'Арвиль, которыми она встретила восторг, охвативший несчастную узницу, когда та заговорила

о своем благодетеле.

Словно по какому-то необъяснимому наитию Певунья частично проникла в тайну г-жи д'Арвиль.

«Моя восторженная благодарность г-ну Родольфу задела эту молодую даму, такую красивую и занимающую такое высокое положение в обществе, — говорила себе Певунья. — Теперь мне понятна горечь, прозвучавшая в ее словах: они говорили о ревности, смешанной с презрением ко мне...

Подумать только! Она ревнует ко мне! Стало быть, — она его любит... но, значит, и я тоже его люблю?.. Выходит, мое сердце невольно сыграло со мной предательскую шутку?..

Мне любить его... — мне... навеки опозоренной, неблагодарной и несчастной... о, если бы это и впрямь случилось... лучше смерть, во много раз лучше смерть.;.»

Поспешим сказать, что бедное дитя, всячески терзавшее себя, преувеличивало характер своего чувства, которое ей казалось любовью.

К ее глубочайшей признательности Родольфу присоединялось невольное восхищение его обаянием, его красотой, его силой, всеми теми качествами, что выделяли его среди остальных

людей; и невозможно представить себе что-либо более чистое и возвышенное, чем ее восторженное преклонение перед Родольфом, но оно оборачивалось сильным и страстным чувством, ибо физическая красота всегда влечет к себе.

И, наконец, голос крови, чье значение столь часто отрицают, голос крови — немой, неведомый или нераспознанный — порою начинает властно звучать в душе человека; порывы страстной нежности, которая влекла Лилию-Марию к Родольфу и которая так пугала ее, ибо, не зная о том, что он ее отец, она неверно понимала ее причины, повторяем, эти порывы нежности были следствием таинственной симпатии родственных натур; порывы эти столь же необъяснимы, но и столь же явственны, как фамильное сходство...

Одним словом, если бы Лилия-Мария узнала, что Родольф ее отец, она легко объяснила бы самой себе то влечение к нему, которое она испытывала; и тогда бы, осведомленная обо всем, она без всяких угрызений совести любовалась бы красотой своего отца.

Вот чем следует объяснить угнетенное состояние бедной девочки, хотя она, казалось бы, должна была радоваться, ожидая, что вот-вот выйдет на свободу из тюрьмы, как ей пообещала

г-жа д'Арвиль.

Итак, Лилия-Мария, печальная и задумчивая, сидела на скамье возле водоема, машинально наблюдая за веселой игрой нескольких бесстрашных птичек, которые то и дело садились на каменные закраины водоема. Она ненадолго прервала свою работу: юная девушка обшивала каймой детскую распашонку.

Надо ли говорить читателю, что распашонка эта составляла часть приданого для новорожденного, которое готовили Мон-Сен-Жан ее подруги по заключению: они сделали это после трогательного призыва Лилии-Марии.

Несчастная дурнушка, которой покровительствовала Певунья, сидела у ног юной девушки; трудясь над крошечным чепчиком, будущая мать время от времени бросала на свою покровительницу взгляд, исполненный одновременно благодарности, робости и преданности... так смотрит верный пес на своего хозяина.

Красота, прелесть и очаровательная мягкость Лилии-Марии не только вызывали глубокое уважение у этой униженной женщины, но и привлекали ее.

Всегда есть нечто святое в душевных порывах даже самого опустившегося человека, когда в

сердце его впервые пробуждается признательность; а ведь до сих пор никто еще не вызывал у Мон-Сен-Жан столь благоговейного чувства пылкой благодарности; чувства, совершенно, не знакомого ей.

Прошло несколько минут, Лилия-Мария слегка вздрогнула, вытерла слезу и снова усердно принялась за работу.

— Стало быть, вы даже в час отдыха не хотите прекратить работу, мой добрый ангел-хранитель! — сказала Мон-Сен-Жан Певунье.

— Но ведь я не дала денег на покупку приданого для ребенка... потому я и должна внести свою долю трудом... — ответила молодая девушка.

— Вашу долю! Господи, твоя воля... Но без вас вместо этого доброго полотна, вместо этой теплой фланели мне пришлось бы закутывать моего малыша в грязные лохмотья, что валяются во дворе... Я очень благодарна моим товаркам, они были так добры ко мне... это правда... но вы! О, вы!.. Как мне все вам высказать? — прибавила несчастная женщина, подбирая слова и силясь получше выразить свою мысль. — Постойте, — вдруг сказала она, — видите, вон солнце... Не правда ли, вон солнце...

— Да, Мон-Сен-Жан, говорите, я вас слушаю,

— ответила Лилия-Мария, наклоняя свою очаровательную головку к безобразному лицу своей собеседницы.

— Господи боже... Да вы станете смеяться надо мной, — с грустью продолжала Мон-Сен-Жан, — я хочу вам получше все сказать... и не знаю как...

— Все равно говорите, говорите.

— У вас такой добрый, такой ангельский взгляд! — проговорила несчастная узница в каком-то восторге. — Он придает мне смелости... Да, у вас такие добрые глаза... Знаете, я все же попробую сказать, что хотела; вон солнце, не так ли? Оно так славно светит и греет, от этого в тюрьме становится все веселее, на него так приятно смотреть и чувствовать его ласковые лучи, правда?

— Конечно...

— Но вот что я думаю... солнце... оно ведь не само появилось на небе, и если я благодарна ему, то я еще больше должна быть благодарна...

— Тому, кто его создал, не правда ли, Мон-Сен-Жан?.. Вы совершенно правы... Ему мы должны молиться, боготворить его... Он — это бог.

— Все так... об этом-то я и думаю! — с радостью воскликнула несчастная. — Все так: я должна благодарить своих товарок, но вам я должна молиться, вас я должна боготворить, Певунья,

потому как вы сделали их добрыми ко мне, а ведь раньше-то они были злые.

— Нет, благодарить надо бога, а не меня, Мон-Сен-Жан.

— Нет, нет... вас, вас надо благодарить... я это вижу... Вы были ко мне добры, а уж потом, с вашей помощью, стали добры ко мне и другие.

— Но если я так добра, как вы говорите, Мон-Сен-Жан, то ведь такой меня сделал господь бог, стало быть, его-то и надо благодарить.

— Ах, да, конечно... может, и так... коли вы так говорите, — нерешительно произнесла несчастная узница, — Если вам это приятно... пусть так и будет... в добрый час...

— Да, милая моя Мон-Сен-Жан... молитесь ему почаще... Это будет самым лучшим доказательством, что вы меня хоть немного любите...

— Люблю ли я вас, Певунья! Боже мой! Боже мой!!! Но разве вы не помните, что вы говорили другим арестанткам, которые хотели меня избить? «Ведь вы не только ее бьете... вы бьете также и ее ребенка...» Так вот!.. То же самое и я скажу: я люблю вас не только за себя, я люблю вас также за моего ребенка...

— Спасибо, большое спасибо, Мон-Сен-Жан, мне доставляют радость ваши слова.

И Лилия-Мария взволнованно протянула руку своей собеседнице.

— Какая у вас красивая маленькая ручка, прямо как у феи!.. До чего она беленькая, до чего крошечная! — воскликнула Мон-Сен-Жан, попятившись; она как будто боялась прикоснуться своими красными и не слишком чистыми руками к этой прелестной руке.

Тем не менее, немного поколебавшись, она почтительно прикоснулась губами к тонким пальчикам Лилии-Марии; затем, внезапно опустившись на колени, она принялась пристально разглядывать ее с глубоким, сосредоточенным вниманием.

— Подойдите ближе и сядьте сюда... рядом со мною, — сказала ей Певунья.

— Ох нет, даже не просите... ни за что... никогда...

— Но почему?

— Дисциплина и уважение, как в свое время говаривал мой бравый Мон-Сен-Жан: солдаты сидят отдельно, и офицеры отдельно, каждый со своей ровней.

— Да вы с ума сошли... Между нами нет никакой разницы...

— Никакой разницы... Господи, твоя воля! И вы

говорите такое, когда я своими глазами вижу, какая вы есть, вы ведь красивы, как королева; послушайте, ну что вам мешает?.. Позвольте уж мне остаться на коленях, мне так хочется насмотреться на вас, я буду смотреть на вас, как все это время... Конечно... как знать? Хоть я такая некрасивая, настоящее страшилище, может, мой ребеночек будет похож на вас... Говорят, иногда, когда долго смотришь на кого-нибудь... случается и такое.

Потом, повинуясь щепетильности и деликатности, которая могла показаться неправдоподобной в женщине подобного пошиба, видимо, боясь унизить или задеть Лилию-Марию своею странной просьбой, Мон-Сен-Жан печально прибавила:

— Нет, нет, я это в шутку сказала, не бойтесь, Певунья... Я не позволю себе больше глядеть на вас с такой тайной мыслью... если только вы сами мне не разрешите... Мой ребеночек будет таким же безобразным, как я... ну и что из того?.. Я его из-за этого меньше любить не стану: бедный, злосчастный мой малыш, он, как говорится, не просил рожать его... И если он выживет... что с ним будет? — прибавила она с сумрачным и подавленным видом. — Увы! Да... Что будет с ним, господи боже?

При этих, словах Певунья затрепетала.

В самом деле, что ожидало ребенка этой несчастной, униженной женщины, опустившейся, нищей, всеми презираемой?.. Какая судьба была уготована ему?.. Что ожидало его в будущем?!

— Не надо так думать, Мон-Сен-Жан, — возразила Лилия-Мария. — Вы должны уповать на то, что ваш ребенок встретит на своем пути людей добрых и милосердных.

— Ох, во второй-то раз так не повезет, вы уж мне поверьте, Певунья, — с горечью сказала Мон-Сен-Жан, качая головой, — я вот вас встретила... такую, как вы есть... и это такой счастливый случай... И, знаете, не в обиду будь вам сказано, я предпочла бы, чтоб такое счастье выпало не мне, а ему, моему ребеночку. Вот мое заветное желание... и это все, что я могу ему дать.

— Молитесь, усердно молитесь... И бог вас услышит.

— Ладно, я стану молиться, если вам это доставит удовольствие, Певунья, может, это и впрямь принесет мне счастье; правда, я бы никогда не поверила, коли мне сказали бы: вот Волчица тебя колотит, ты для всех, как говорится, козел отпущения, на тебе все зло срывают, а вот най-

дется такой ангелочек, он спасет тебя, его милый добрый голосок окажется сильнее всех, сильнее самой Волчицы, а кто не знает, до чего она сильная и злая!..

— Так-то оно так, но ведь Волчица стала очень добра к вам, когда она подумала о том, что вас надо жалеть вдвое больше всякой другой.

— Ох, и то правда... Но ведь это благодаря вам, и я этого никогда не забуду... Но скажите мне, Певунья, почему она, Волчица, на другой же день попросила, чтоб ее перевели в другое отделение тюрьмы... а ведь она, хоть у нее и бывают приступы ярости, вроде бы без вас уже обходиться не могла?

— Да, она немного норовиста...

— Чудно все это... Одна женщина из того отделения тюрьмы, где сейчас сидит Волчица, говорит, что Волчица-то совсем переменилась...

— В чем же она переменилась?

— Она теперь никого не задевает, никому не угрожает, а все сидит такая печальная-печальная... и все прячется по углам; а коли с ней заговаривают, поворачивается спиной и ничего не отвечает... Вот диво-то: она ведь все время орала, а теперь сидит как немая... А потом, та женщина сказала мне еще одну вещь... да только

в это я не верю.

— Что ж она сказала?

— Она говорит, что видела, как Волчица плакала... Ну, чтоб Волчица плакала, того быть не может.

— Бедная Волчица! Это из-за меня она решила перейти в. другое отделение тюрьмы... Я, сама того не желая, причинила ей горе, — со вздохом сказала Певунья.

— Да как вы могли хоть кому-нибудь причинить горе, вы, мой добрый ангел-хранитель...

В эту минуту надзирательница, г-жа Арман, вошла во внутренний двор тюрьмы.

Поискав глазами Лилию-Марию, она направилась к ней, улыбаясь с довольным видом.

— У меня добрые новости, дитя мое...

— О чем вы говорите, сударыня? — спросила Певунья, вставая.

— Ваши друзья о вас не забыли, они получили разрешение на то, чтобы выпустить вас на волю... Господин начальник тюрьмы только что получил об этом уведомление.

— Возможно ли это, сударыня? Ах, какое счастье! Боже мой!..

Волнение Лилии-Марии было столь сильным, что она побледнела, приложила руку к сильно

бьющемуся сердцу и без сил вновь опустилась на скамью.

— Успокойтесь, дитя мое, — сказала ей г-жа Арман ласково, — к счастью, такие потрясения не опасны.

— Ах, сударыня, я так вам благодарна!..

— Без сомнения, это маркиза д'Арвиль добилась вашего освобождения... Там пришла какая-то пожилая дама, ей поручено отвезти вас к особам, которые проявляют к вам большой интерес... Подождите меня, я сейчас вернусь за вами, мне надо только зайти в мастерскую и сказать там несколько слов.

Трудно описать выражение уныния, которое появилось на лице Мон-Сен-Жан, когда та узнала, что ее добрый ангел-хранитель, как она называла Певунью, вот-вот покинет тюрьму. .

Горе этой несчастной женщины было вызвано не столько боязнью, что ее опять превратят в козла отпущения другие арестантки, сколько болью от того, что ей придется расстаться с единственным существом, которое впервые проявило какой-то интерес к ее судьбе.

Мон-Сен-Жан, которая по-прежнему сидела возле скамьи, ухватилась обеими руками за космы своих всклокоченных волос, беспорядочно

выбивавшихся из-под старого черного чепца, словно хотела их выдернуть с корнем; потом это неистовое проявление горя уступило место изнеможению, голова ее бессильно упала на грудь, и она замерла в неподвижности, не произнося ни слова, как и прежде, закрыв лицо руками и упершись локтями в колени.

Несмотря на ту радость, которую Лилия-Мария ощутила, узнав, что ее выпускают из. тюрьмы, она невольно вздрогнула, вспомнив, что Сычиха и Грамотей заставили ее поклясться, что она не будет сообщать своим благодетелям о своей прискорбной судьбе.

Но эти зловещие мысли быстро оставили Лилию-Марию, уступив место радостной надежде вновь увидеть Букеваль, г-жу Жорж, Родольфа, которому она хотела рассказать о Волчице и Марсиале и попросить помочь им; теперь ей даже казалось, что восторженное чувство, которое она испытывала к своему благодетелю, чувство, за которое она корила себя, не будучи подогреваемо горем и одиночеством, уляжется, как только она вновь вернется к своим мирным сельским занятиям, которые ей так нравилось делить со славными и простыми обитателями фермы.

Удивленная молчанием своей соседки по за-

ключению, молчанием, о причинах которого она и не подозревала, Певунья слегка притронулась к плечу несчастной арестантки и сказала:

— Мон-Сен-Жан, коль скоро я выхожу на волю... не могу ли я быть вам чем-нибудь полезна?

Почувствовав прикосновение руки Певуньи, несчастная арестантка вздрогнула всем телом, уронила руки на колени и повернула к молодой девушке свое лицо, залитое слезами.

Такое сильное горе выражало это лицо, что Мон-Сен-Жан даже перестала казаться дурнушкой.

— Боже мой... что с вами? — спросила Певунья. — Отчего вы так горько плачете?

— Ведь вы, вы уходите! — прошептала несчастная, и голос ее прервался от рыданий. — А я как-то и думать забыла, что раньше или позже наступит такой день, когда вы выйдете на свободу... и я вас больше никогда... никогда не увижу... ни разочка...

— Поверьте, я всегда буду помнить о вашей дружбе, Мон-Сен-Жан.

— Господи боже, господи боже!.. Подумать только, ведь я вас уже так полюбила... Когда я вот тут сидела, у ваших ног, прямо на земле... мне казалось, что я спасена... что мне больше нечего

бояться. Я говорю все это совсем не потому, что другие арестантки, может, снова начнут награждать меня тумаками, я к этому привыкла, жизнь у меня всегда была нелегкая... Но мне под конец стало казаться, что мне повезло, когда я встретилась с вами, что вы принесете счастье моему ребеночку, уже потому только, что вы сжалились надо мной... Знаете, это сущая правда: когда ты привык к тому, что с тобой дурно обращаются, ты больше, чем другие, ценишь доброту... — Новый взрыв рыданий прервал ее речь, потом она воскликнула: — Ладно, все кончено... в самом деле... Ведь это должно было случиться не сегодня, так завтра... Я сама виновата, что думать об этом забыла... Все кончено... Ничего больше не осталось... ничего...

— Ну что вы! Мужайтесь, я буду вспоминать о вас так же, как и вы обо мне.

— Ох, тут уж нечего говорить: пусть меня режут на куски, но я от вас вовек не отступлюсь и никогда вас не забуду! Даже когда стану старой-престарой, все равно у меня перед глазами будет стоять ваше красивое ангельское личико. Первое, чему я научу своего ребеночка, — это произносить ваше имя, Певунья, потому как он только по вашей милости не помрет от холода...

— Послушайте, Мон-Сен-Жан, — сказала Лилия-Мария, глубоко тронутая привязанностью несчастной арестантки, — я не могу ничего обещать для вас самой... хоть я и знакома с очень милосердными людьми; но для вашего ребенка... Это дело другое... Он-то ведь ни в чем не виноват, и люди, о которых я вам только что сказала, быть может, захотят взять его на воспитание, если только вы согласитесь с ним разлучится...

— Мне с ним разлучиться?.. Никогда, нет, никогда! — воскликнула Мон-Сен-Жан с необыкновенным волнением. — Что же тогда со мной будет, ведь я уже так к нему привязалась.

— Но... как вы сумеете вырастить и воспитать его? Неважно, кто у вас родится — девочка или мальчик, надо, чтобы ваш ребенок вырос честным, а для этого...

— Надо, чтобы он ел честно заработанный хлеб, не так ли, Певунья? Я и сама об этом думаю, в том теперь вся моя гордость; я всякий день говорю себе: когда выйду отсюда на волю, ни за что больше не примусь за прежнее занятие, не стану под мостом стоять... Лучше уж стану тряпичницей, пойду улицы подметать, но зато буду честной; я должна так поступить если не для себя, то для моего ребеночка, коли уж мне выпала честь родить

его... — прибавила Мон-Сен-Жан с гордым видом.

— А кто станет присматривать за ребенком, когда вы на работу уйдете? — спросила Певунья. — Не лучше ли будет, если, как я надеюсь, это окажется возможным, отдать его на воспитание добрым людям, живущим в деревне? Девочка вырастет хорошей работницей на ферме, а мальчик сделается хорошим землепашцем. А вы время от времени будете навещать своего ребенка, и в один прекрасный день вам, может, удастся забрать его к себе или поселиться с ним: в деревне ведь жизнь такая дешевая!

— Но как же мне с ним разлучиться, как мне с ним разлучиться?! Ведь он будет моей единственной радостью, больше-то меня никто на свете не любит!

— Надо больше думать о ребенке, а не о себе, бедная вы моя Мон-Сен-Жан; дня через два или три я напишу госпоже Арман, и, если моя просьба по поводу вашего ребенка увенчается успехом, вам не придется больше говорить, думая о нем, так, как вы недавно говорили, что меня очень опечалило: «Увы, господи боже, что станется с моим ребеночком?»

Надзирательница, г-жа Арман, прервала разговор двух узниц; она пришла за Лилией-Марией.

Мон-Сен-Жан снова разразилась рыданиями и оросила горючими слезами руки молодой девушки; потом она упала на скамью и застыла в тупом оцепенении, даже не думая о том, что Лилия-Мария только что пообещала ей позаботиться о ребенке.

— Бедное создание! — воскликнула г-жа Арман, выходя из внутреннего двора тюрьмы вместе с Лилией-Марией. — Ее глубокая признательность к вам заставила меня переменить к лучшему свое мнение о ней самой.

Узнав об освобождении Певуньи, другие арестантки не только не завидовали тому, что ей так повезло, но, напротив, радовались за нее; несколько женщин окружили Лилию-Марию и сердечно распрощались с нею, от чистого сердца поздравляя ее с тем, что она так скоро выходит на волю.

— Что ни говори, — заметила одна из арестанток, — а эта молоденькая блондиночка заставила нас пережить немного радости... когда мы раскошелились на приданое для ребеночка Мон-Сен-Жан. В тюрьме долго будут об этом вспоминать.

Когда Лилия-Мария в сопровождении надзирательницы покинула здание тюрьмы, г-жа Арман

сказал ей:

— Теперь, дитя мое, ступайте на склад, сдайте там арестантскую одежду и опять наденьте ваше платье, платье крестьяночки, оно хоть и простенькое, но так вам к лицу; прощайте, я уверена, что вы будете счастливы, ведь вам покровительствуют люди почтенные, достойные всяческого уважения, и вы теперь покидаете наше заведение, с. тем чтобы больше никогда сюда не вернуться... Но... смотрите-ка... кажется, я совсем расчувствовалась, — продолжала г-жа Арман, чьи глаза наполнились слезами, — я не в силах скрыть, до чего я к вам привязалась, милая вы моя девочка! — Заметив, что и у Лилии-Марии глаза увлажнились, надзирательница прибавила: — Надеюсь, вы на меня не сердитесь, что я невольно опечалила вас перед самым освобождением?

— Ах, сударыня... разве не благодаря вашему хорошему отзыву обо мне молодая знатная дама, которой я обязана своей свободой, проявила интерес к моей судьбе?!

— Да, и я просто счастлива, что я так поступила; предчувствие меня не обмануло...

В эту минуту зазвонил колокол.

— Работа в мастерских опять начинается, мне

надо спешить туда... Прощайте, еще раз прощайте, милое мое дитя!..

И г-жа Арман, взволнованная не меньше, чем Певунья, нежно обняла молодую девушку; затем она приказала одному из тюремных служащих:

— Проводите барышню на вещевой склад.

Через четверть часа Лилия-Мария, одетая в то самое крестьянское платье, в котором мы видели ее на ферме в Букевале, входила в тюремную канцелярию, где ее ждала г-жа Серафен.

Экономка Жака Феррана приехала за несчастной девочкой, чтобы отвезти ее на остров Черпальщика.

Глава XI.
ВОСПОМИНАНИЯ

Жак Ферран легко и быстро добился освобождения Лилии-Марии из тюрьмы, ибо для этого нужно было простое административное распоряжение.

Узнав от Сычихи, что Певунья находится в тюрьме Сен-Лазар, он немедля обратился к одному из своих постоянных клиентов, человеку весьма уважаемому и влиятельному, и сказал тому, что некая молодая девушка, поначалу сбившаяся с пути, но теперь искренне раскаявшаяся, заключена в тюрьму Сен-Лазар, и потому возникла опасность, что, общаясь с другими арестантками, она может поколебаться в принятом ею благоразумном решении. Об этой юной девице весьма похвально отзываются люди весьма респектабельные, которые хотят заняться ее судьбой, после того как она выйдет из тюрьмы, прибавил Жак Ферран. А потому он очень просит своего высокочтимого и влиятельного клиента, просит во имя нравственности и религии, а также для того, чтобы эта несчастная ступила на стезю

добродетели, добиться ее освобождения.

Наконец, нотариус, стремясь обеспечить себе безопасность на случай последующих разысканий, настоятельно и убедительно просил своего клиента не упоминать, что именно он, Жак Ферран, умолял его совершить это благое дело; просьба эта, приписанная скромности нотариуса в вопросах благотворительности, ибо он был известен, как человек благочестивый и весьма почтенный, была строжайшим образом выполнена: с просьбой об освобождении Лилии-Марии упомянутый выше клиент нотариуса обратился от своего имени; добившись этого, он послал Жаку Феррану распоряжение выпустить на свободу Певунью, с тем чтобы тот переслал его покровителям молодой девушки.

Вручив бумагу начальнику тюрьмы, г-жа Серафен прибавила, что ей поручено проводить Певунью в дом тех людей, что принимают участие в ее судьбе.

После прекрасного отзыва о Лилии-Марии, который надзирательница дала маркизе д'Арвиль, в тюрьме никто не сомневался, что юная арестантка обязана своим освобождением именно вмешательству маркизы.

Так что домоправительница нотариуса не мог-

ла никоим образом вызвать недоверие у своей жертвы.

Госпожа Серафен, как и приличествовало обстоятельствам, изо всех сил старалась походить на добрую женщину; надо было быть очень опытным наблюдателем, чтобы разглядеть скрытое коварство, фальшь и жестокость, которые таились под ее лицемерной улыбкой и в ее вкрадчивом взгляде.

Несмотря на всю свою злодейскую сущность, которая сделала г-жу Серафен доверенным лицом и сообщницей во всех преступлениях ее хозяина, она против воли была поражена трогательной красотой и прелестью юной девушки, которую сама же, когда та была ребенком, предала в руки Сычихи... и которую теперь вела на верную гибель...

— Ну что ж, милая барышня, — сказала г-жа Серафен медоточивым голосом, — вы, должно быть, очень довольны, что выходите на волю из тюрьмы?

— О да, сударыня, и я, без сомнения, обязана этим покровительству госпожи д'Арвиль, которая была ко мне так добра...

— Вы не ошиблись... но идемте... мы и так уже задержались... а дорога у нас впереди не близкая.

— Мы ведь поедем на ферму в Букеваль, к госпоже Жорж, не так ли, сударыня? — спросила Певунья.

— Да... разумеется, мы поедем в деревню... к госпоже Жорж, — ответила экономка нотариуса, стремясь не допустить и тени сомнения у Лилии-Марии. Затем она прибавила, придав своему лицу выражение лукавого добродушия; — Но это еще не все... Прежде чем вы свидитесь с госпожой Жорж, вас ожидает небольшой сюрприз; идемте... там, внизу, нас ждет фиакр... Какой вздох облегчения вырвется из вашей груди, когда вы выйдете отсюда на волю... милая барышня!.. Ну, пошли, пошли... Ваша покорная слуга, господа.

И г-жа Серафен, поклонившись письмоводителю и его помощнику, вышла из канцелярии вместе с Певуньей.

Их сопровождал тюремный сторож, которому было поручено отворять ворота.

Когда последние ворота закрылись за обеими женщинами, они оказались в широком проходе, выходившем на улицу Фобур-Сен-Дени; и тут они столкнулись с молодой девушкой, которая, без сомнения, спешила на свидание с кем-то из заключенных.

Это была Хохотушка... Хохотушка, как всегда

быстрая и проворная; простенький, хотя и кокетливый, свежевыглаженный чепец, украшенный лентами вишневого цвета; которые так чудесно подходили к ее гладко причесанным на пробор черным волосам, необыкновенно мило обрамлял ее красивую мордашку; белоснежный воротник ниспадал на длинное коричневое платье из шотландки. На руке у нее висела соломенная сумка; благодаря ее легкой и осторожной походке ботинки со шнуровкой на толстой подошве были совсем чистые, хотя она пришла, увы, издалека.

— Хохотушка! — воскликнула Лилия-Мария, узнав свою старинную подружку по заключению[113] и по загородным прогулкам.

— Певунья! — в свою очередь вскричала гризетка.

И обе юные девушки бросились в объятия друг к дружке.

Трудно было бы представить себе более очаровательное зрелище, чем нежная встреча этих двух столь непохожих внешне девушек, которым едва исполнилось шестнадцать лет: обе были

---

[113] Notes: 113

Читатель, быть может, помнит, что, рассказывая о первых годах своей жизни Родольфу, во время их разговора в кабачке Людоедки, Певунья упоминала о Хохотушке, которая, будучи таким же заброшенным и бездомным ребенком, как она сама, жила вместе с нею до пятнадцати лет в исправительном доме. (Примеч. автора).

прелестны, хотя и лица и красота у них были различные.

Одна — блондинка с огромными печальными глазами, с профилем редкой чистоты, с чуть побледневшим в тюрьме лицом, немного грустным, но ставшим за последнее время более одухотворенным; она походила на одну из тех очаровательных поселянок Грёза, которые отличаются удивительно свежим колоритом и почти прозрачным ликом... словом, то было невыразимое сочетание мечтательности, доброты и грации...

Другая — пикантная брюнетка, с круглыми румяными щечками, красивыми черными глазами, простодушным смехом, оживленной физиономией; она являла собою восхитительный образ юности, беззаботной и веселой, редкий и трогательный образец доброты и снисходительности, глубокой порядочности, сохраненной несмотря на трудную жизнь, и радости, не уничтоженной ежедневным нелегким трудом.

Обменявшись невинными ласками, обе подружки теперь не отрываясь смотрели одна на другую.

Хохотушка просто сияла, обрадованная этой встречей... Певунья была явно смущена.

При виде Хохотушки Певунья вспомнила о тех редких счастливых и покойных днях, которые предшествовали ее первому грехопадению.

— Так это ты... какая радость! — восклицала гризетка.

— Боже мой, ну конечно, какая приятная неожиданность!.. Мы так давно не виделись с тобой... — отвечала Певунья.

— Ах, теперь я больше не удивляюсь тому, что уже полгода не встречала тебя... — снова заговорила Хохотушка, заметив, что Певунья одета как крестьяночка. — Ты, стало быть, живешь в деревне?

— Да... с некоторых пор, — ответила Лилия-Мария, опуская глаза.

— И ты, как и я, навещала кого-то в тюрьме?

— Да... я приходила... я только что повидала кое-кого, — ответила Лилия-Мария, запинаясь и покраснев от стыда.

— А теперь возвращаешься к себе? Должно быть, это далеко от Парижа? Миленькая ты моя Певунья... ты все такая же добрая, я узнаю твой нрав... Помнишь ту бедную женщину, что рожала, а ты отдала ей свой тюфяк, белье и те деньги, что у тебя оставались, а ведь мы собирались потратить их в деревне... Ты уже тогда бредила

деревней, дорогая моя поселяночка.

— А ты не больно-то любила деревню, Хохотушка; но по доброте сердечной ради меня ездила со мною за город.

— Нет, и для себя тоже... потому что ты всегда была такая серьезная, но стоило тебе попасть в лес или на лужок, и ты становилась такой счастливой, такой веселой, такой сумасбродной, что при одном взгляде на тебя я испытывала огромное удовольствие!.. Но позволь еще поглядеть на тебя. Как тебе идет этот красивый круглый чепец! Ты в нем просто прелесть! В самом деле тебе на роду написано ходить в чепчике поселянки, а мне — в чепчике гризетки. Значит, ты живешь теперь так, как тебе хотелось, и должна быть довольна своей судьбой... Впрочем, меня это не удивляет... Когда я перестала тебя встречать, я подумала: «Моя милая, славная Певунья не создана для жизни в столице, ведь она настоящий лесной цветок, как в песне поется, а такие цветы в Париже не приживаются, тамошний воздух для них вреден... Так что Певунья, должно быть, нашла себе приют у каких-нибудь добрых людей в деревне». Ведь так оно и получилось, не правда ли?

— Да... — ответила Лилия-Мария, вновь покраснев.

— Но только... я в одном должна тебя упрекнуть.

— Меня? А в чем?

— Ты должна была меня предупредить... ведь так, сразу, не расстаются... ты бы хоть весточку о себе подала.

— Я... я уехала из Парижа так поспешно, — ответила Певунья, смущаясь все больше и больше, — что просто не могла...

— О, я на тебя не сержусь, я слишком рада тому, что снова вижу тебя... В самом деле, ты правильно поступила, уехав из Парижа, знаешь, тут так трудно жить спокойно; я уж не говорю, что бедная и одинокая девушка, такая, как мы с тобой, может, сама того не желая, пойти по дурной дорожке... Когда тебе даже посоветоваться не с кем... и заступиться за тебя некому... а мужчины все время обещают тебе золотые горы; ну, и бедность, сама знаешь, иногда бывает так трудно сносить... Послушай, ты помнишь эту миленькую Жюли, она была такая хорошенькая? И Розину помнишь, блондинку с черными глазами?

— Да... я их обеих помню.

— Так вот, милая моя Певунья! Их обеих обманули, а потом бросили, и, переходя от одной беды к другой, они в конце концов опустились и стали

такими дурными женщинами, каких держат в этой тюрьме...

— Ах, боже мой! — воскликнула Лилия-Мария; она густо покраснела и опустила голову.

Хохотушка, не поняв истиной причины этого возгласа своей подружки, продолжала:

— Они, конечно, виноваты и, если хочешь, достойны презрения, не спорю; но, видишь ли, добрая моя Певунья, нам с тобой выпало счастье остаться порядочными и честными: тебе — потому что ты поселилась в деревне в обществе славных крестьян, а мне — потому что у меня просто времени не было заниматься любовными интрижками... Обожателям я предпочитала моих птиц, и вся моя отрада состояла я том, что, прилежно трудясь, я могла, поселиться в очень миленькой квартирке... Нельзя быть слишком строгими к другим; господи боже, кто знает... может, несчастный случай, низкий обман или нищета во многом объясняют дурное поведение Розины и Жюли... и, окажись мы на их месте, мы ведь тоже могли бы поступить как они!..

— О, я их совсем не обвиняю... — с горечью сказала Лилия-Мария. — Мне их очень жаль...

— Ну ладно, ладно, мы ведь очень спешим, милая барышня, — сказала г-жа Серафен, нетер-

пеливо протягивая руку к своей жертве.

— Сударыня, позвольте нам побыть еще немного вместе, я ведь так давно не видела мою милую Певунью, — жалобно сказала Хохотушка.

— Так ведь уже поздно, девочки мои; уже три часа, а путь нам предстоит долгий, — ответила г-жа Серафен, весьма недовольная встречей двух подружек; потом она прибавила: — Ладно, я даю вам еще десять минут...

— Ну а ты, — сказала Лилия-Мария, беря руки Хохотушки в свои, — у тебя ведь такой легкий характер; ты по-прежнему весела? По-прежнему всем довольна?..

— Еще несколько дней назад я была и весела и довольна, но сейчас...

— У тебя какое-нибудь горе?

— У меня? Ах да, ты ведь меня хорошо знаешь... я всегда была беззаботна и весела... И нрав у меня не переменился, но, к несчастью, не все люди такие, как я... И коли у других горе, то я горюю вместе с ними.

— Ты все такая же добрая...

— А как же иначе!.. Представь себе, я прихожу сюда повидать одну бедную девушку, мою соседку... она кроткая, как овечка, а ее несправедливо обвиняют, и, знаешь, мне так ее жаль; зовут ее

Луиза Морель, она дочка честного и порядочного работника, он даже помешался, так сильно горевал.

При имени Луизы Морель, одной из жертв нотариуса, г-жа Серафен вздрогнула и внимательно посмотрела на Хохотушку.

Лицо гризетки ей было совсем незнакомо; тем не менее экономка Жака Феррана стала внимательно прислушиваться к разговору обеих девушек.

— Бедняжка! — воскликнула Певунья. — Как она, должно быть, рада, что ты не позабыла ее в беде!

— Но это еще не все, просто какое-то злосчастное невезение; ведь сюда я пришла издалека... и была я в другой тюрьме... в мужской...

— Ты ходила в мужскую тюрьму?

— Ах господи, да, там у меня есть еще один подопечный, и он все время грустит... вот видишь мою соломенную сумку (и Хохотушка показала ее подруге), так я разделила ее на две половинки, и каждая половинка для одного из них: нынче я принесла Луизе немного чистого белья, а перед тем кое-что отнесла бедному Жермену... моего подопечного так зовут; послушай, как только я вспоминаю, что у меня сегодня там произо-

шло, мне плакать хочется... Это глупо, я и сама понимаю, что плакать там нельзя, но я уж так устроена.

— А почему тебе плакать хочется?

— Понимаешь, Жермен до того убивается, что его посадили в тюрьму вместе со злоумышленниками, он до того подавлен, что ему все не мило, он совсем ничего не ест и тает прямо на глазах... Я это заметила и подумала: «У него вовсе нет аппетита, сделаю-ка я ему какое-нибудь лакомство из тех, что ему так нравились, когда мы еще были соседями, может, оно ему и тут по вкусу придется...» Когда я говорю «лакомство», ты не подумай, что это какая-нибудь диковинка, просто я купила спелые желтые яблоки, протерла их с сахаром и молока прибавила; все это я налила в очень хорошенькую чашку, чистую-пречистую, и отнесла ему в тюрьму, я сказала, что сама приготовила это кушанье, потому как то было его любимое блюдо, прежде, когда было все хорошо, понимаешь? Я думала, он хоть немного поест... Ну, так вот...

— Что же случилось?

— Есть ему все равно не захотелось, но он вдруг как расплачется, когда узнал эту чашку, я из нее часто пила при нем молоко, и у него ручьем полились слезы... а ко всему еще я и сама, как ни

сдерживалась, под конец разревелась. Видишь, как мне не везет: хотела сделать как лучше... утешить его, а еще больше опечалила.

— Да, но знаешь, должно быть, эти слезы были ему приятны!

— Все равно, мне-то ведь хотелось его хоть немного утешить! Но я тебе рассказываю о нем, а толком не объяснила, кто он такой; это мой бывший сосед... он самый честный и порядочный человек на свете, такой мягкий, такой робкий, ну совсем как девушка; я всегда любила его как верного товарища, как брата.

— О, теперь я понимаю, почему его горе стало и твоим горем.

— Еще бы! Но сейчас ты поймешь, какое у него доброе сердце. Я уже собиралась уходить и, как всегда, спросила у него, какие будут поручения, а чтобы его немного развеселить, прибавила, что я ведь теперь веду его хозяйство и стараюсь быть прилежной и аккуратной, чтобы сохранить за собой это место. И тогда он, улыбнувшись через силу, попросил меня принести ему тот роман Вальтера Скотта, который он мне когда-то читал по вечерам, пока я работала; роман этот называется «Айвен...», «Айвенго», да, да, именно так. Я очень любила эту книгу, и он дважды прочел ее

мне вслух... Бедный Жермен! Он ведь был такой внимательный и услужливый...

— Ему хотелось вспомнить о той счастливой поре его жизни...

— Конечно, потому он и попросил меня пойти в тот же самый кабинет для чтения, но не брать там на время, а купить для него те несколько томиков, которые он читал мне вслух... Да, именно купить... А ты сама посуди, какая это для него жертва, ведь он так же беден, как мы с тобой.

— Да, у него чудесное сердце! — с волнением воскликнула Певунья.

— Видишь, и тебя это растрогало, как и меня, когда он попросил меня об этом, миленькая моя Певунья. Но, понимаешь, чем больше мне хотелось расплакаться, тем старательнее я улыбалась, потому как разреветься во время посещения заключенного, которого ты хотела развеселить, — это уж слишком!.. И вот, чтобы скрыть подступавшие слезы, я стала вспоминать разные смешные положения, в какие попадал старик еврей, один из персонажей этого романа; в свое время они нас обоих очень забавляли... Но чем больше я говорила, тем печальнее он смотрел на меня, а в глазах у него стояли большие-пребольшие слезы. Ну и конечно же, сердце у меня просто

разрывалось; я изо всех сил удерживала слезы, но через четверть часа и сама расплакалась; когда мы прощались, он разрыдался, а я мысленно твердила себе, сердясь на собственную глупость: «Если я так и дальше буду утешать и веселить его, то мне незачем к нему приходить, а ведь я все время обещаю самой себе, что заставлю его смеяться». И видишь, что получается на деле!

При имени Жермена, другой жертвы нотариуса, г-жа Серафен навострила уши.

— А что он такого натворил, этот молодой человек? Почему его упрятали в тюрьму? — спросила Лилия-Мария.

— Он! — воскликнула Хохотушка, мгновенно переходя от умиления к негодованию. — Он-то ничего дурного не сделал, но его преследует один старый изверг, нотариус... Тот самый, что засадил в тюрьму и Луизу.

— Ту самую Луизу, которую ты сегодня навещала?

— Вот именно; она была служанкой у нотариуса, а Жермен был у него кассиром... Слишком долго тебе рассказывать, в чем этот человек несправедливо обвиняет Жермена... Но одно я могу тебе твердо сказать: этот злодей точно взбесился и терзает несчастных Луизу и Жермена,

а ведь они не сделали ему ничего дурного... Но немного терпения — и каждый еще получит по заслугам...

Хохотушка произнесла последние слова с таким выражением лица, что г-жа Серафен встревожилась. До сих пор она не вмешивалась в разговор девушек, но тут вдруг сказала Лилии-Марии вкрадчивым голосом:

— Милая барышная, уже поздно, нам пора идти... нас ведь ждут. Я понимаю, что рассказ вашей подружки вас сильно занимает, ибо я сама, хоть и не знаю ни юной девушки, ни молодого человека, о которых идет речь, сильно огорчена. Господи боже! Неужели возможно, что есть такие злобные люди! А как, кстати., зовут этого мерзкого нотариуса, о котором вы говорили, барышня?

У Хохотушки не было причин опасаться г-жи Серафен. Тем не менее, помня о настоятельных советах Родольфа, который велел ей соблюдать особую сдержанность и никому не говорить о том, что он тайно покровительствует Жермену и Луизе, девушка пожалела, что у нее вырвались слова: «Немного терпения — и каждый еще получит по заслугам».

— Этого злого человека зовут Жак Ферран, сударыня, — ответила Хохотушка и, чтобы поправить

некоторую свою нескромность, весьма ловко прибавила: — И с его стороны особенно дурно мучить Луизу и Жермена, потому что никому до них дела нет... кроме меня... ну, а я — то что могу для них сделать?!

— Беда, да и только! — воскликнула г-жа Серафен. — А я было подумала, когда вы сказали: «Немного терпения...», что вы надеетесь на какого-нибудь покровителя, который пришел бы на помощь несчастным и защитил бы их от этого злодея-нотариуса.

— Увы, вовсе нет, сударыня, — прибавила Хохотушка, чтобы окончательно рассеять подозрения, возникшие у г-жи Серафен, — сами подумайте, кто будет настолько великодушен, чтобы встать на сторону этих злосчастных молодых людей и выступить против такого богатого и влиятельного человека, как этот господин Ферран?

— О, есть люди достаточно великодушные, чтобы встать на их защиту! — воскликнула Певунья после недолгого размышления, и в голосе ее прозвучала с трудом сдерживаемая восторженность. — Да, я знаю человека, который считает своим долгом защищать тех, кто страдает, и человек, о котором я говорю, надежный защитник людей честных и грозный противник злодеев.

Хохотушка с удивлением поглядела на Певунью; она уже собиралась сказать, подумав о Родольфе, что она тоже знает человека, который смело принимает сторону слабого против сильного; но, продолжая следовать советам своего соседа (она ведь так называла принца Родольфа), гризетка ответила своей подружке:

— Правда? Ты знаешь такого великодушного человека, который готов прийти на помощь бедным людям?

— Да, знаю... и хотя я уже прибегала к его жалости и к его благотворительности, умоляя помочь некоторым людям, я уверена, что, если бы он только знал о незаслуженном несчастье Луизы и господина Жермена... он бы спас их и покарал их преследователя... потому что его доброта и его справедливость так же неисчерпаемы, как у самого господа бога...

Госпожа Серафен с изумлением посмотрела на свою жертву.

— Эта девочка, видно, гораздо опаснее, чем мы думали! — прошептала она. — И если бы мне было позволено проявить к ней жалость, то ее слова делают неизбежным «несчастный случай», который должен нас от нее избавить.

— Миленькая Певунья, раз у тебя есть такой

добрый знакомый, умоляю тебя, попроси его помочь моей славной Луизе и моему Жермену, потому как они не заслужили своего печального удела, — сказала Хохотушка, подумав, что ее друзья только выиграют, если вместо одного защитника у ник будет два.

— Будь спокойна, обещаю тебе сделать все, что смогу, для твоих подопечных; я расскажу о них господину Родольфу, — проговорила Лилия-Мария.

— Господину Родольфу?! — с нескрываемым удивлением воскликнула Хохотушка.

— Именно ему, — ответила Певунья.

— Какому господину Родольфу?.. Коммивояжеру?

— Я не знаю, чем он занимается... Но почему ты так удивилась?

— Потому что я тоже знаю одного господина Родольфа.

— Быть может, этот не тот, кого я знаю.

— Поглядим. Расскажи мне о своем: каков он на вид.

— Он молодой!..

— Мой тоже.

— Лицо у него такое благородное и доброе...

— И у моего тоже... Но, господи, твой совсем

такой, как и мой! — вскричала Хохотушка, все больше и больше удивляясь.

Потом она прибавила:

— Он что, брюнет с маленькими усиками?

— Да.

— Скажи, наконец, он такой высокий и худощавый?.. И у него такая гибкая талия... и вид у него совсем такой, как нужно... для коммивояжера... Ну как, похож твой на моего?

— Нет сомнения, этот тот самый, — сказала Певунья. — Только одно вот меня удивляет: почему ты думаешь, что он коммивояжер?

— Ну, что до этого, то я уверена... он мне сам сказал.

— Так ты с ним знакома?

— Знакома ли я с ним? Да ведь он мой сосед.

— Кто? Господин Родольф?

— Его комната находится на пятом этаже, рядом с моей.

— Его комната?.. Его?..

— А что тут удивительного? Все очень просто; он ведь зарабатывает всего тысячу пятьсот или тысячу восемьсот франков в год; и поэтому может снимать только недорогое жилье... Правда, образцом бережливости его не назовешь, он даже толком не знает, во что обходится его платье...

Вот каков мой любезный сосед...

— Нет, нет, это не тот... — сказала Лилия-Мария после некоторого раздумья.

— Ах так? А что твой — чудо какой бережливый?

— Видишь ли, Хохотушка, тот, о котором я тебе говорю, — сказала Лилия-Мария с восторгом, — такой всесильный... все произносят его имя с любовью и почтением... даже его внешность волнует и подавляет... Так и хочется опуститься перед ним на колени, до того он добр и величествен...

— Ну, тогда я не знаю, милая Певунья; пожалуй, я, как и ты, скажу: это не тот; мой господин Родольф и не всесилен, и вовсе не подавляет; он просто очень славный малый, всегда веселый, и на колени перед ним никто не становится; напротив, он совсем простой, потому что предложил даже помочь натереть пол у меня в комнате, я уж не говорю о том, что он собирался пригласить меня на воскресную прогулку... Так что, сама видишь, никакой он не знатный человек. Но о чем только я говорю! Как ты понимаешь, мне сейчас не до прогулок! И Луиза, и мой бедный Жермен в тюрьме, и, пока они не выйдут на волю, никаких развлечений у меня не будет.

Вот уже несколько мгновений Лилия-Мария

о чем-то напряженно думала: она вдруг припомнила, что, когда впервые познакомилась с Родольфом в кабачке Людоедки, и вид его, и речь были совсем такие, как у завсегдатаев низкопробных кабаков. А может быть, он играл перед Хохотушкой роль коммивояжера?

Но для чего ему надо было так преображаться?

Видя, что Певунья задумалась, гризетка снова заговорила:

— Не ломай надо всем этим голову, милая моя Певунья: раньше или позже мы непременно узнаем, знакомы ли мы с одним и тем же господином Родольфом; когда ты увидишь своего, заговори с ним обо мне, а когда я увижу моего, расспрошу его о тебе; таким образом мы сразу же узнаем, один и тот же это человек или нет.

— А где ты живешь, Хохотушка?

— На улице Тампль, в доме номер семнадцать.

«Вот что весьма странно и что нужно непременно разузнать, — подумала г-жа Серафен, внимательно прислушивавшаяся к. разговору подружек. — Этот таинственный и всесильный господин Родольф, который выдает себя за коммивояжера, живет по соседству с этой молоденькой работницей; кстати, она, как видно, знает гораздо больше, чем говорит; и этот защитник

угнетенных живет также в одном доме с Морелем и Брадаманти... Ладно, ладно, если гризетка и мнимый коммивояжер будут впредь мешаться в дела, которые их не касаются, мы будем знать, где их найти».

— Как только я поговорю с господином Родольфом, я тебе напишу, — сказала Певунья, — и сообщу свой адрес, чтобы ты могла мне ответить; но повтори мне твой адрес, боюсь, что я его не запомнила.

— Постой-ка, а ведь у меня с собой как раз те карточки, которые я оставляю своим клиенткам, — сказала Хохотушка, протягивая Лилии-Марии маленькую карточку, на которой великолепным круглым почерком было написано: «Мадемуазель Хохотушка, модистка, улица Тампль, дом номер семнадцать». — Написано так, будто отпечатано в типографии, правда? — прибавила гризетка. — Это еще бедный Жермен написал их для меня, эти карточки, в лучшие времена. Господи, какой он был добрый, какой внимательный!.. Послушай, могут сказать, что я, как нарочно, заметила и оценила все его достоинства только теперь, когда он так несчастен... И сейчас я все время упрекаю себя, что так долго ждала, чтобы полюбить его...

— Стало быть, ты его любишь?

— Ах, бог мой, конечно, люблю!.. Должен же у меня быть повод для того, чтобы приходить к нему в тюрьму... Согласись, что я странное существо, — прибавила Хохотушка, подавляя вздох и смеясь сквозь слезы, как сказал поэт.

— Ты, как и прежде, добра и великодушна, — сказала Певунья, нежно пожимая руки своей подружки.

Госпожа Серафен, без сомнения, сочла, что уже достаточно много узнала из разговора двух девушек; поэтому она довольно резко сказала Лилии-Марии:

— Идемте, идемте, милая барышня, нам пора; уже поздно, а мы и так потеряли добрых четверть часа.

— Какая она брюзга, эта старуха!.. Не нравится мне ее лицо, — чуть слышно сказала Хохотушка Певунье. Затем, уже громко, она прибавила: — Когда ты опять попадешь в Париж, милая моя Певунья, не забудь обо мне: твой приход доставит мне такое удовольствие! Я буду просто счастлива провести с тобой целый день, покажу тебе мое гнездышко, мою комнату, моих пташек!.. Да, у меня есть певчие птички... это моя роскошь.

— Я постараюсь приехать и повидать тебя, но в любом случае напишу тебе; ну ладно, Хохотушка,

прощай, прощай... Если б ты только знала, как я рада, что встретила тебя!

— Я тоже... но, надеюсь, видимся мы не в последний раз, а потом мне не терпится узнать, тот ли самый человек твой господин Родольф или другой... Напиши мне об этом поскорее, прошу тебя.

— Да, да, напишу... Прощай, Хохотушка.

— Прощай, моя миленькая, моя славная Певунья.

И юные девушки снова нежно обнялись, стараясь скрыть свое волнение.

Хохотушка направилась в тюрьму, чтобы проведать Луизу; она могла это сделать благодаря разрешению, которое получил для нее Родольф.

Лилия-Мария поднялась в фиакр вместе с г-жой Серафен, которая приказала кучеру ехать в Батиньоль и высадить их у заставы.

Короткая проселочная дорога вела от этого места почти прямо к берегу Сены, неподалеку от острова Черпальщика.

Лилия-Мария не знала Парижа и потому не могла заметить, что экипаж ехал по совсем другой дороге, чем та, что вела к заставе Сен-Дени. Только когда фиакр остановился в Батиньоле, она сказала г-жа Серафен, предложившей ей выйти из экипажа:

— Но мне кажется, сударыня, что это не та дорога, что ведет в Букеваль... А потом, как же мы дойдем пешком отсюда до фермы?

— Я только одно могу вам сказать, милая барышня, — с напускной сердечностью ответила экономка нотариуса. — Я выполняю распоряжения ваших благодетелей... и вы их очень огорчите, если не решитесь последовать за мною.

— О, сударыня, не думайте так, пожалуйста! — воскликнула Певунья. — Вы посланы ими, и я не вправе ни о чем спрашивать... Я слепо пойду вслед за вами; вы мне только скажите, хорошо ли себя чувствует госпожа Жорж?

— Как нельзя лучше!

— А господин Родольф?

— Он себя чувствует тоже превосходно.

— Значит, вы его знаете, сударыня? Но только что, когда я говорила о нем с Хохотушкой, вы не проронили об этом ни слова.

— Потому что я не должна была ничего говорить... Вам понятно? Мне даны строгие приказания...

— Это он вам их дал?

— До чего ж она любопытна, эта милая барышня, до чего любопытна! — сказала со смехом домоправительница нотариуса.

— Вы совершенно правы, сударыня; простите мне эти лишние вопросы. Раз мы идем пешком туда, куда вы меня ведете, — прибавила Лилия-Мария, чуть улыбнувшись, — значит, я скоро узнаю то, что мне так хочется узнать.

— В самом деле, милая барышня: через каких-нибудь четверть часа мы будем на месте.

Экономка Жака Феррана и Певунья, оставив позади последние дома Батиньоля, шли теперь по поросшей травой дороге, окаймленной кустами орешника.

День был ясный и теплый; правда, по небу медленно плыли облака, позлащенные закатом: солнце уже клонилось к западу и бросало теперь косые лучи на холмистый берег, по другую сторону Сены.

По мере того, как Певунья приближалась к реке, ее бледные щеки чуть порозовели; она с наслаждением вдыхала чистый живительный воздух полей.

Ее нежное личико выражало такое трогательное удовольствие, что г-жа Серафен сказала девушке:

— Вы, кажется, очень довольны, милая барышня?

— О да, сударыня... ведь я вот-вот увижу госпо-

жу Жорж, а быть может, и господина Родольфа... Я хочу попросить его помочь нескольким очень несчастным беднякам... и, надеюсь, он облегчит их участь... Как же мне не радоваться?! Если даже мне и было грустно, то скоро моя грусть рассеется... А потом, вы только поглядите... какое веселое над нами небо с чуть розовеющими облаками! А до чего зеленая трава... просто не по сезону! А там, внизу, за ивами, видите реку... какая она широкая... Господи, в ней отражается солнце, и она так блестит, что просто ослепляет... вода, можно сказать, отливает золотом... совсем недавно так же блестела на солнце вода в маленьком водоеме во дворе тюрьмы... Бог не забывает о несчастных арестантах... Он посылает и им луч солнца, — прибавила Лилия-Мария, и на лице у нее появилось выражение благоговейной признательности.

Затем, ощутив чувство свободы, такое сильное у вышедших на волю узников, она воскликнула в порыве наивной радости:

— Ах, сударыня, видите... там, посреди реки, прелестный маленький остров, обсаженный ивами и тополями, а на нем — беленький домик у самой воды... как, должно быть, здесь чудесно летом, когда деревья покрыты зеленеющей листвой... какая, верно, тут царит тишина, какая

свежесть и аромат!

— Право, — проговорила г-жа Серафен со странной улыбкой, — я просто в восторге, что вам так нравится этот островок.

— А почему, сударыня?

— Потому что мы туда и направляйся.

— На этот остров?

— Да. А почему вас это удивляет?

— Меня и вправду это немного удивляет...

— А если вы встретите там своих друзей?

— Что вы говорите!

— Ваших друзей, собравшихся вместе, чтобы отпраздновать ваше освобождение из тюрьмы? Разве не будет это для вас очень приятным сюрпризом?

— Возможно ли это?! И госпожу Жорж... и господина Родольфа?..

— Послушайте, милая барышня, с вами я чувствую себя как беззащитное дитя... у вас такой тихий, невинный вид, а на самом деле вы заставляете меня говорить то, что мне говорить не положено.

— Значит, я опять их увижу... О, сударыня, сердце у меня так колотится!

— Не спешите, пожалуйста, идите медленнее, мне понятно ваше нетерпение, но я с трудом

поспеваю за вами... милая вы моя сумасбродка...

— Простите меня, сударыня, мне так не терпится скорее попасть туда.

— Это вполне понятно... Я вас за это не упрекаю, напротив...

— Теперь дорога круто пошла вниз, и очень она неровная, не хотите ли опереться на мою руку, сударыня?

— Отказываться не стану, милая барышня... вы ведь молоды и проворны, а я уже старенькая.

— Обопритесь же на мою руку сильнее, сударыня, не бойтесь, меня это не утомит...

— Спасибо милая барышня, ваша помощь мне вот как нужна! Здесь такой крутой спуск... Но вот мы и вышли на ровную дорогу.

— Ах, сударыня, неужели я и вправду увижу госпожу Жорж? Не могу в это поверить!

— Еще немного терпения. Через каких-нибудь четверть часа вы ее увидите и тогда в это поверите!

— Одного я только не могу понять, — прибавила Лилия-Мария, на мгновенье задумавшись, — почему это госпожа Жорж ждет меня тут, а не у нас на ферме?

— По прежнему она все такая же любопытная, эта милая барышня, все такая же любопытная...

— Как нескромно я себя веду, не правда ли, сударыня? — с улыбкой спросила Певунья.

— Признаться, меня так и подмывает рассказать, что за сюрприз готовят вам друзья...

— Сюрприз? Они готовят мне сюрприз, сударыня?

— Послушайте, оставьте же меня в покое, милая проказница, вы еще, чего доброго, принудите меня заговорить против воли...

Мы покинем теперь г-жу Серафен — и ее жертву на дороге, ведущей к реке.

А сами поспешим попасть на остров Черпальщика за несколько минут до того, как они перед ним появятся.

Глава XII.
ЛОДКА

— Что это? Вы уже уезжаете?
— Уехать! И больше не слышать
ваших благородных речей!
Нет, клянусь небом! Я остаюсь здесь...
(Вольфганг, сц. Вторая)

Ночью вид у острова, где жило семейство Марсиалей, был зловещий; но при ярком свете солнца это окаянное место казалось как нельзя более веселым.

Окаймленный ивами и тополями, почти целиком покрытый густою травой, среди которой змеились тропинки, сверкавшие желтым песком, остров этот был богат фруктовыми деревьями; имелся на нем и небольшой огород. Посреди фруктового сада можно было разглядеть лачугу, крытую соломенной кровлей, в ней-то и хотел поселиться Марсиаль вместе с Франсуа и Амандиной. В этой стороне остров заканчивался остроконечным выступом, превращенным в свайный мол и укрепленным толстыми столбами, с тем чтобы препятствовать оползням.

Перед домом, стоявшим неподалеку от пристани, помещалась беседка; летом она была увита хмелем и диким виноградом и служила достаточно уютным прибежищем, где стояли столики для посетителей кабачка.

К одной стороне дома, выкрашенного белой краской и покрытого черепичной крышей, примыкал дровяной сарай с чердаком — он как бы служил небольшим флигелем, гораздо более низким, чем сам дом. В верхней части этого флигеля можно было различить окно: сейчас оно было плотно прикрыто ставнями, обитыми листами железа; снаружи ставни эти были закреплены двумя поперечными железными перекладинами, плотно сидевшими в стенах благодаря прочным железным скобам.

На воде покачивались три ялика, привязанные к сваям небольшой пристани.

Присев на корточки в одном из яликов, Николя проверял, легко ли приподнимается люк, который он приладил на днище ялика.

Стоя на скамье перед беседкой, Тыква, приложив ко лбу руки козырьком, смотрела вдаль, в ту сторону, откуда должны были появиться г-жа Серафен и Лилия-Мария, направлявшиеся к берегу, откуда они должны были добраться до острова.

— Пока что никого не видать, ни старухи, ни девчонки, — сказала Тыква, слезая со скамьи и обращаясь к Николя. — Получится, как вчера! Только даром прождем. Если они не подойдут за полчаса, придется уехать, не дождавшись их; дело, затеянное у Краснорукого, куда важнее, а он нас ждет. Торговка драгоценностями должна прийти к нему на Елисейские поля к пяти часам вечера. А нам надо поспеть туда до нее. Нынче утром Сычиха снова нам об этом напомнила...

— Ты права, — ответил Николя, выбравшись из лодки. — Черт бы побрал эту старуху, заставляет столько времени ждать себя безо всякого толку! Люк ходит как по маслу. Но из-за нее мы можем оба дела упустить...

— К тому же Краснорукий в нас нуждается — вдвоем-то они не управятся.

— Это верно; ведь, пока все это будет происходить, надо, чтобы Краснорукий находился перед кабачком, на стреме, а Крючок не так силен, чтобы без посторонней помощи затолкать торговку в подвал... ведь она, тетка эта, брыкаться станет.

— А помнишь, Сычиха с усмешкой говорила нам, что она в этом подвале держит Грамотея... он там у нее вроде как на всем готовом живет!

— Нет, он в другом подвале. Тот, где он сидит,

гораздо глубже, и когда вода в реке поднимается, она заливает подвал.

— Он там, должно, совсем одичал, Грамотей-то! Подумать только: сидит там один-одинешенек, да к тому же слепой!

— Ну, будь он зрячим, все равно он ничего бы не увидел: там темно, как в устье печи.

— Так или иначе, когда он, для развлечения, пропоет все романсы да песенки, какие знает, время для него потянется куда как долго.

— Сычиха говорит, что он там развлекается, охотясь на крыс, а их в подвале видимо-невидимо.

— Скажи, Николя, раз уж речь зашла о тех, кто дичает от скуки и тоски, — продолжала Тыква со злобной улыбкой, показав пальцем на забитое листами железа окно, — тот, кто там сидит, должно быть, желчью исходит!

— Ба!.. Дрыхнет, наверное... С утра он больше не стучит, да и пес его перестал лаять.

— Может, он придушил собаку, чтобы съесть ее. Ведь уже два дня они там, верно, подыхают от голода и от жажды.

— Это уж их забота... Если Марсиалю это нравится, пусть еще, сколько хочет, протянет. А когда он кончится... мы скажем, что умер он от болезни,

так что все пройдет без сучка без задоринки.

— Ты так думаешь?

— Не думаю, а уверен. Этим утром мать по дороге в Аньер встретила папашу Феро, рыбака; он удивился, что уже два дня не встречает своего дружка Марсиаля, а мать ему и сказала, что Марсиаль в постели лежит, он так тяжело заболел, что нет надежды на выздоровление. Папаша Феро проглотил эту весть как миленький... он о том и другим расскажет, и, когда Марсиаль кончится, это никого не удивит.

— Да, но он ведь не сразу помрет, это еще долго протянется.

— Ничего не поделаешь! Другого-то способа от него избавиться у нас не было. Он, Марсиаль, коли его разозлить, до того свирепеет! А ко всему он зол как дьявол и силен как бык; и он ведь держался настороже, к нему и подойти-то было опасно; а теперь, когда дверь его крепко заколочена, что он может сделать? И окно, сама знаешь, зарешечено на славу.

— Видишь ли... он мог бы выломать брусья... выдолбив перед тем штукатурку своим ножом, он так бы и сделал, но я влезла на лестницу и все руки искромсала ему топориком, била его по пальцам всякий раз, когда он принимался

за дело.

— Выходит, ты на своем посту не зевала! — сказал злодей, осклабившись. — Стало быть, ты знатно позабавилась!

— Надо же было дать тебе время заколотить ставни железом, которое ты привез от папаши Мику.

— То-то он, верно, бесился... наш милый братец!

— Он скрежетал зубами как одержимый; два или три раза он пробовал спихнуть меня с лестницы, просовывал сквозь прутья решетки свою дубинку и колотил ею изо всех сил; да только одна рука у него была занята, и выломать решетку он не мог. А нам того и надо было.

— Хорошо еще, что у него в комнате нет печной трубы!

— И что дверь там крепкая, а руки у него изранены! Не будь того, он, пожалуй, проделал бы дыру в полу.

— Ну, там ведь балки крепкие, как бы он сквозь них пролез? Нет, нет, нам нечего бояться, он оттуда не выберется: ставни снаружи обиты железом и закреплены двумя железными перекладинами, дверь снаружи заколочена трехдюймовыми гвоздями. Так что гроб его так же прочен, как дубовый

или свинцовый!

— Скажи-ка, а что, как Волчица выйдет из тюрьмы и явится сюда разыскивать своего милого, как она его называет?..

— Ну и что ж! Мы ей скажем: ищи!

— Кстати, если бы мать не заперла этих скверных ребят, они бы способны были, как крысы, прогрызть дверь и вызволить Марсиаля! Этот негодник Франсуа зол как черт с тех пор, как мы — а он об этом догадывается — замуровали старшего брата.

— Вот оно что! Тогда нельзя оставлять их в комнате наверху, когда мы уйдем с острова! Ведь их окошко не зарешечено; достаточно им выйти наружу и...

В эту минуту крики и плач, доносившиеся из дома, привлекли внимане и Тыквы и Николя.

Они увидели, что дверь из кухни, до тех пор притворенная, с шумом захлопнулась; минуту спустя бледное и зловещее лицо вдовы показалось в зарешеченном окне.

Своей худой рукою тетка Марсиаль сделала знак Тыкве и Николя подойти ближе.

— Слышишь, какой там шум? Готов биться об заклад, что Франсуа опять буянит, — сказал Николя. — Ну и негодяй же наш братец Марсиаль!

Не будь его, этот мальчишка недолго бы нам противился. Ну, я пошел, а ты гляди в оба! И коли увидишь, что две бабы подходят к берегу, сразу же кликни меня.

Тыква снова залезла на скамью и смотрела, не приближаются ли г-жа Серафен и Певунья; Николя вошел в дом.

Бедная Амандина стояла на коленях посреди кухни и, обливаясь слезами, просила мать сжалиться над Франсуа;

Не помня себя от ярости, мальчик отступил в угол и угрожающе размахивал топориком Николя; видимо, на сей раз он твердо решил отчаянно сопротивляться воле матери.

Как всегда невозмутимая, как всегда, храня молчание, вдова указала Николя на вход в погреб, находившийся под кухней; дверь в погреб была полуоткрыта, и мать знаком велела своему сыну запереть туда Франсуа.

— Нет, меня там не запрут! — закричал мальчик, чьи глаза сверкали, как у дикой кошки. — Нет, — решительно повторил он, — вы хотите уморить нас голодом, меня и Амандину, как и нашего брата Марсиаля.

— Мама... ради бога, позволь нам остаться в нашей комнатке, наверху, как вчера, — упрашивала

девочка умоляющим тоном, молитвенно сложив ладони... — в этом мрачном и темном погребе нам будет слишком страшно.

Вдова посмотрела на Николя с нетерпеливым видом, она словно бы упрекала его в том, что он все еще не выполнил ее приказа; затем снова повелительным жестом указала на Франсуа.

Увидя, что брат подходит к нему, мальчик, с отчаянием размахивая топориком, крикнул:

— Если меня попробуют запереть в погребе, не важно кто — мать, брат или Тыква, — тем хуже для вас... Я ударю топориком, а он ведь острый!

Как и вдова, Николя понимал, что необходимо непременно помешать детям прийти на помощь Марсиалю в то время, когда никого другого в доме не будет; надо было также скрыть от них страшную сцену, которая должны была вскоре произойти, ибо из их окна наверху видна была река, в которой злодеи собирались утопить Лилию-Марию.

Но Николя был столь же труслив, сколь свиреп; боясь получить удар опасным топориком, которым размахивал его младший брат, он не решался приблизиться к Франсуа.

Вдова, которую выводила из себя нерешительность сына,

схватила Николя за плечо и резко подтолкнула его к Франсуа.

Однако Николя снова попятился и крикнул:

— Если он меня поранит, что я тогда буду делать, мамаша? Вы ведь прекрасно знаете, что мне вскоре понадобятся обе руки, а я все еще чувствую боль после удара дубинкой, который мне нанес этот мерзавец Марсиаль.

Вдова только презрительно пожала плечами и шагнула к Франсуа.

— Не подходите ко мне, матушка! — вне себя от ярости завопил мальчишка. — А не то вы заплатите мне за все колотушки, на которые вы не скупились для меня и Амандины.

— Братец, позволь лучше им запереть нас. О господи, не смей бить нашу мать! — воскликнула в испуге Амандина.

Вдруг Николя увидел лежавшее на стуле большое шерстяное одеяло, которым пользовались, когда гладили белье; он схватил его, сложил вдвое и ловко накинул на голову Франсуа; мальчик, несмотря на свои судорожные усилия, не мог выпутаться из одеяла и воспользоваться топориком, который держал в руке.

Тогда-то Николя кинулся к нему и с помощью матери отнес брата в погреб.

Амандина все еще стояла на коленях посреди кухни; увидя, что брата тащат в погреб, она быстро поднялась с колен и, преодолевая владеющий ею страх, сама направилась в это мрачное убежище. Дверь за братом и сестрой захлопнулась, и ее заперли двойным поворотом ключа.

— Это по вине мерзавца Марсиаля дети теперь будто взбесились и так злятся на нас! — воскликнул Николя.

— С самого утра из его комнаты не слышно ни звука, — сказала с задумчивым видом вдова и вздрогнула, — ничего не слыхать...

— Это доказывает, мать, что ты хорошо поступила, когда намедни сказала папаше Феро, этому рыбаку из Аньера, что Марсиаль вот уже два дня не встает с постели, что он так тяжело болен, что вот-вот околеет. Так что, когда все будет кончено, это никого не удивит.

Наступило короткое молчание; казалось, вдова пытается отогнать от себя какую-то мучительную мысль; потом она вдруг спросила:

— Сычиха приходила сюда, пока я была в Аньере?

— Да, мать, приходила.

— А почему она не осталась, чтобы вместе с нами поехать к Краснорукому? Я ей не доверяю.

— Ну да вы никому не доверяете, мать: сегодня — Сычихе, вчера — Краснорукому.

— Краснорукий разгуливает на воле, а мой сын Амбруаз томится в Тулоне, а ведь кражу-то они совершили вместе.

— И что вы все время об этом твердите?.. Краснорукий выпутался потому, что он известный пройдоха, вот и все. Сычиха тут не осталась, потому что у нее на два часа дня была назначена встреча возле Обсерватории, она должна была свидеться с тем высоким господином в трауре, по просьбе которого она выкрала из деревни какую-то девчонку, а Грамотей и Хромуля ей помогали; чтобы обстряпать это дельце, высокий господин в трауре нанял фиакр, а на козлах сидел Крючок. Вот я вам что скажу, мать: бояться того, что Сычиха нас выдаст, нечего, потому как она рассказывает нам о своих ловких проделках, а мы про наши дела при ней ни гу-гу! Так что будьте спокойны, матушка, как говорится, ворон ворону глаз не выклюет. А денек сегодня должен быть удачный; подумать только: ведь у торговки драгоценностями часто бывает в сумке на двадцать, а то и на тридцать тысяч бриллиантов, не пройдет и двух часов, и мы посадим ее в подвал у Краснорукого!.. Вы только прикиньте: одних

бриллиантов тысяч на тридцать!

— Ну а пока мы будем управляться с этой торговкой, где будет Краснорукий? На улице перед кабаком! — сказала вдова подозрительно.

— А где, по-вашему, он должен быть? А если кто пойдет к кабачку, разве не должен он его отвадить и помешать войти туда, где мы будем обделывать свое дело?..

— Николя! Николя! — вдруг закричала Тыква, остававшаяся на своем посту. — Появились две женщины...

— Скорее, скорее, мать, берите свою шаль; я отвезу вас на тот берег, по крайней мере, хоть это будет сделано.

Вдова сняла свою траурную косынку и надела чепец из черного тюля. Потом она завернулась в большую шаль из шотландки в серую и белую клетку, заперла дверь на кухню, а ключ положила за ставень на первом этаже; после чего последовала за сыном на пристань.

Почти против воли она, перед тем как покинуть остров, бросила долгий взгляд на окно комнаты Марсиаля, нахмурила брови и плотно сжала губы; при этом она снова сильно вздрогнула и чуть слышно прошептала:

— Это по его вине, по его собственной вине...

— Николя, ты их видишь?! Там, внизу, на склоне холма, одна одета как крестьянка, а другая как городская! — воскликнула Тыква, указывая рукой на берег реки.

Госпожа Серафен и Лилия-Мария спускались по узкой тропинке, огибавшей довольно крутой и высокий откос, откуда была видна печь для обжига гипса.

— Подождем условного знака, а то как бы не опростоволоситься, — ответил Николя.

— Ты что, слепой! Разве ты не признал толстуху, что позавчера к нам приходила! Гляди, она в той же оранжевой шали. А как торопится эта молоденькая крестьяночка! Вот дуреха-то, она, видно, не подозревает о том, что ее ждет.

— Да, теперь я признал толстуху. Пошли, дело идет на лад, дело идет на лад! Да, вот мы как с тобой уговоримся, Тыква, — прибавил Николя. — Я усажу старуху и девчонку в ялик с люком, а ты поплывешь за мной на другом ялике, след в след, и смотри — греби повнимательнее, чтоб я мог одним прыжком перескочить в твою лодку, как только я открою люк и мой ялик пойдет ко дну.

— Не бойся, я не впервой на веслах сижу, ведь так?

— Да я не боюсь потонуть, ты-то ведь знаешь,

как я плаваю! Но, коли я вовремя не перескочу в твою лодку, бабы, барахтаясь в воде, чтобы не утонуть, еще, чего доброго, уцепятся за меня... А это уж спасибо! Не хочу я наглотаться воды вместе с ними.

— Старуха машет носовым платком, — сказал Тыква. — Они уже у самой воды.

— Давайте, давайте, мать, садитесь в лодку, — сказал Николя, отчаливая. — Когда они обе увидят, что вы в моей лодке приплыли, они ничего бояться не станут... А ты, Тыква, прыгай в другой ялик и греби получше, сестра. Ах да, прихвати-ка мой багор и положи его рядом с собой, он острый, как копье, и может мне пригодиться. Ну, в путь! — прибавил разбойник, положив в лодку Тыквы длинный багор с острым железным наконечником.

Через минуту оба ялика, в одном из которых сидели Николя и его мать, а в другом — Тыква, причалили к берегу, где г-жа Серафен и Лилия-Мария уже ожидали их несколько минут.

Пока Николя привязывал свою лодку к колу, воткнутому к землю, г-жа Серафен подошла к нему и чуть слышным шепотом проговорила:

— Скажите, что госпожа Жорж нас ждет.

Затем, уже громко, домоправительница нота-

риуса прибавила:

— Мы немного опоздали, мой милый?

— Да, сударыня: госпожа Жорж уже несколько раз про вас спрашивала.

— Вот видите, милая барышная, госпожа Жорж нас ожидает, — проговорила г-жа Серафен, поворачиваясь к Певунье, которая, несмотря на доверие, каким она прониклась, почувствовала, как у нее сжалось сердце при виде зловещих лиц вдовы, Тыквы и Николя.

Но, услышав имя г-жи Жорж, она успокоилась и ответила:

— И мне тоже не терпится увидеть госпожу Жорж; хорошо, что добираться на остров нам недолго.

— А как она будет довольна, эта милая дама! — воскликнула г-жа Серафен. Потом, обратившись к Николя, она попросила: — Вот что, молодой человек, подгоните вашу лодку еще ближе к берегу, чтобы нам удобнее было сесть в нее. — И, снова понизив голос, она прибавила: — Надо непременно утопить девчонку; если она всплывет на поверхность, снова погрузите ее в воду.

— Сказано — сделано! А вы сами не бойтесь: как только я подам знак, протяните мне руку. Она в одиночку пойдет ко дну, для этого все готово, а

вам страшиться нечего, — так же тихо ответил Николя.

Затем со свирепым безразличием, ибо его не тронули ни красота, ни молодость Лилии-Марии, он протянул девушке руку.

Слегка опершись на нее, Певунья вошла в лодку.

— Теперь ваш черед, любезная дама, — сказал Николя г-же Серафен.

И протянул руку старухе.

Было ли это предчувствие, недоверчивость или просто страх, что она не успеет перебраться из лодки, где сидели Николя и Певунья, когда суденышко пойдет ко дну, но домоправительница Жака Феррана, попятившись, сказала Николя:
— Пожалуй, я лучше сяду в лодку той барышни.
И она уселась рядом с Тыквой.

— В добрый час, — ответил Николя, обменявшись выразительным взглядом с сестрою.

И, упершись веслом в берег, он сильно оттолкнул лодку.

Дождавшись, пока г-жа Серафен устроится возле нее, Тыква оттолкнула от берега свою лодку.

Неподвижно стоя на берегу, сохраняя полную невозмутимость и полное равнодушие ко всему происходящему, вдова, задумавшись и целиком

уйдя в свои мысли, упорно не сводила глаз с окна в комнате Марсиаля, которое можно было различить сквозь ветви тополей.

Тем временем оба ялика, в первом из которых сидели Певунья и Николя, а во втором — г-жа Серафен и Тыква, медленно отплывали от песчаного берега.

Часть VII

Глава I.
КАКОЕ СЧАСТЬЕ — СВИДЕТЬСЯ ВНОВЬ!

Прежде чем рассказать читателю о развязке драмы, которая происходила в лодке с подъемным люком, принадлежавшей Марсиалям, мы вернемся немного назад. Через несколько минут после того, как Лилия-Мария покинула в сопровождении г-жи Серафен тюрьму Сен-Лазар, вышла на свободу и Волчица.

Благодаря хорошим отзывам г-жи Арман и начальника тюрьмы, которым хотелось вознаградить ее за доброту, проявленную к Мон-Сен-Жан, любовницу Марсиаля выпустили на волю досрочно.

Надо сказать, что в душе этой испорченной, опустившейся и неукротимой женщины произошла необыкновенная перемена к лучшему.

Мысленно рисуя себе картину мирной, хотя трудной и одинокой жизни, о которой ей говорила Певунья, Волчица теперь с отвращением думала о той жизни, которую, она вела прежде.

Удалиться в глубь лесов вместе с Марсиалем — такова была отныне ее единственная цель, ее

навязчивая мысль, против которой восставали, но тщетно, ее прошлые дурные инстинкты; эта странная женщина неотвязно думала о возможных пе ременах, после того как, желая избежать все возраставшего влияния на нее со стороны Певуньи, попросила перевести ее в другое отделение тюрьмы.

Для того чтобы добиться столь быстрого и искреннего «обращения» Волчицы, которое стало еще более надежным и упрочилось, после того как Волчица преодолела свои дурные привычки, Лилия-Мария, следуя своему наивному здравому смыслу, рассуждала приблизительно так:

«Волчица, женщина решительная и сильная, страстно любит Марсиаля; поэтому она должна с радостью встретить возможность переменить ту позорную жизнь, которой она впервые начала стыдиться, и всецело посвятить себя заботам о том крутом и нелюдимом человеке, чьи вкусы и наклонности она хорошо изучила, человеке, искавшем одиночества не только потому, что оно было ему по душе, но и потому, что он хотел избавиться от всеобщего презрения, каким была окружена его отвратительная семья».

Опираясь на эти простые соображения, возникшие у нее во время разговора с Волчицей,

девушка сумела повлиять на дерзкий нрав своей собеседницы, страстно любившей Марсиаля, й ей удалось преобразить эту падшую женщину в женщину достойную и порядочную... Ибо разве не была владевшая отныне Волчицей мечта выйти замуж за Марсиаля и удалиться вместе с ним в глубь лесов, чтобы жить там своим трудом, не боясь лишений, разве не была уже эта мечта мечтой порядочной женщины?

Уверовав в ту поддержку, которую, по словам Певуньи, окажет новобрачным неизвестный благодетель, Волчица спешила теперь сделать столь заманчивое предложение своему возлюбленному, немного страшась в глубине души его отказа: ведь Певунья, заставив ее покраснеть и устыдиться прошлой жизни, одновременно объяснила Волчице, в каком ложном положении та находилась, будучи всего лишь любовницей Марсиаля.

Оказавшись на воле, Волчица думала только об одном: о встрече со своим милым, как она говорила. Уже несколько дней она не получала от него никаких известий. Надеясь застать его на острове Черпальщика, она решила, что если даже не встретит его там, то дождется его возвращения: а потому она, не торгуясь, наняла кабриолет

и попросила как можно быстрее доставить ее к Аньерскому мосту, по которому она и проехала за четверть часа до того, как г-жа Серафен и Певунья, которые шли от заставы пешком, вышли к берегу реки неподалеку от печи для обжига гипса.

В тех случаях, когда Марсиаль не приезжал за нею на лодке, чтобы отвезти ее на остров, Волчица обращалась к старому рыбаку по имени Феро, который жил возле самого моста.

В четыре часа пополудни кабриолет остановился в самом начале небольшой улочки городка Аньер. Волчица уплатила пять франков кучеру, одним прыжком выскочила из экипажа и поспешила к жилищу папаши Феро, рыбака и лодочника.

Волчица успела сменить тюремную одежду на собственную: она была теперь в платье из мериносовой шерсти темно-зеленого цвета, в красной кашемировой шали с разводами и тюлевом чепце, украшенном лентами; ее вьющиеся волосы были только слегка приглажены. Ей так не терпелось как можно скорее увидеть Марсиаля, что она одевалась не столько старательно, сколько поспешно.

Всякая другая женщина после долгой разлуки, без сомнения, не пожалела бы времени, чтобы

выглядеть красивее во время первого свидания, но Волчицу мало интересовали все эти «тонкости», требовавшие времени. Прежде всего ей было важно увидеть своего милого: это неудержимое стремление было вызвано не только ее страстной любовью, которая часто приводит почти в исступление женщин такого рода, но также и властной потребностью рассказать Марсиалю о том благотворном решении, которое она приняла после разговора с Лилией-Марией.

Волчица довольно быстро дошла до дома рыбака.

Сидя на пороге, папаша Феро, старик с совершенно белыми волосами, чинил свои рыбацкие сети. Заметив его, Волчица еще издали крикнула:

— Вашу лодку, папаша Феро, скорее, скорее!..

— Ах, это вы, барышня. Добрый день... Давненько мы вас тут не видали.

— Да, верно, но готовьте свою лодку... быстро... и едем на остров!..

— Ах, вот оно что! Ну, это просто судьба, милая вы моя, — нынче это никак невозможно.

— Это еще почему?

— Мой малый взял ялик и отправился в Сент-Уэн, там сегодня молодые состязаются в гребле...

На всей реке, вплоть до пристани, не осталось ни одной лодки...

— Черт побери! — крикнула Волчица, топнув ногой и сжимая кулаки. — Это, как нарочно, для меня придумали!

— Верно!.. Даю вам слово, я очень огорчен, что не могу отвезти вас на остров... Потому как он, видать, очень плох...

— Очень плох! Кто? Марсиаль? — воскликнул Волчица, схватив папашу Феро за воротник. — Марсиаль болен?

— А вы разве не знаете?

— Марсиаль болен?

— Именно он; но вы мне блузу порвете. Сохраняйте спокойствие.

— Он болен? А давно?

— Дня два или три как он хворает.

— Быть того не может! Он бы мне написал.

— Как бы не так! Он так тяжко болен, что и писать не может.

— Так тяжко болен, что и писать не может?! А он где, на острове? Вы знаете наверняка?

— Сейчас вам все расскажу... Представьте себе, нынче утром я повстречал вдову Марсиаль. Обычно я, как только ее увижу на улице, то, сами понимаете, перехожу на другую сторону, потому

как не по душе мне ее общество; так вот...

— Но что мой милый, что мой милый? Где он?

— Не торопитесь. Столкнувшись с вдовою носом к носу, я на сей раз не мог уклониться от разговора; у нее всегда такой злобный вид, что оторопь берет, а я этого не выношу. «Вот уже два дня, как я не видел вашего Марсиаля, — сказал я ей. — Он что, в город уехал?» В ответ она уставилась на меня своими глазищами... такими глазищами... что, будь это не глаза, а пистолеты, она бы сразила меня наповал, как кто-то сказал.

— У меня все внутри кипит! Ну а дальше? Дальше? Папаша Феро немного помолчал, потом прибавил:

— Постойте-ка, любезная девица, раньше пообещайте мне сохранить все в тайне, тогда я вам расскажу, что знаю.

— Это о моем милом?

— О нем. Ведь Марсиаль добрый малый, хоть голова у него дурная; и коли с ним случится беда по вине это старой мерзавки, его мамаши, или по вине его негодяя брата, это будет куда как досадно.

— Но что с ним происходит? Что мать и брат с ним сделали? И где он сейчас? Говорите, говорите же!

— Ладно, куда ни шло! Но вы опять ухватились за мою блузу! Отпустите ворот! Если вы меня будете все время перебивать и рвать на мне одежду, я никогда не кончу свой рассказ, и вы ничего не узнаете.

— Ох, где только набраться терпения! — воскликнула Волчица, гневно топая ногой.

— А вы никому не передадите того, что я вам расскажу?

— Нет! Нет! Нет!

— Честное слово?

— Папаша Феро, меня из-за вас удар хватит!

— Ох, что за девица, что за девица! Голова у нее совсем дурная! Ну ладно, вот что было дальше. Во-первых, надо вам сказать, что Марсиаль все чаще и чаще ссорится со своими родичами, и, коли они выкинут с ним какую плохую шутку, меня это не удивит. Вот почему мне так досадно, что ялика моего нынче нет, потому как надеяться, что они вас на остров отвезут, нечего. Ни Николя, ни эта мерзавка Тыква вас туда не доставят.

— Я это и сама хорошо знаю. Но что все-таки вам сказала мать моего милого? Он что же, на острове заболел?

— Да не сбивайте вы меня, вот как все было, нынче утром я и говорю вдове: «Вот уже два дня,

как я не видел Марсиаля, а ялик его стоит на приколе; он что, в город уехал?» В ответ на это она злобно на меня поглядела и отвечает: «Он болен, лежит дома, на острове, да болен так тяжко, что, должно, не поднимется». Ну, я говорю сам себе: «Как это так? Всего три дня тому назад я...» Что такое? Куда вы?! — воскликнул папаша Феро, прерывая свой рассказ. — Да куда вы?! Куда вас черт понес?!

Решив, что жизни Марсиаля угрожают его родственники, Волчица, потеряв голову от страха за него и охваченная яростью, не дослушала старого рыбака и пустилась во всю прыть вдоль Сены.

Для того чтобы читатель хорошо понял следующую сцену, необходимы некоторые топографические данные.

Остров Черпальщика расположен ближе к левому берегу реки, нежели к правому, где сели в лодки г-жа Серафен и Певунья.

Волчица находилась на левом берегу Сены.

Остров Черпальщика не слишком холмист, однако он по всей своей длине покрыт пригорками, что с одного берега не увидишь того, что происходит на противоположном берегу, а уж тем более на противоположном берегу реки. Вот почему -возлюбленная Марсиаля не видела, как Певунья

садилась в лодку, а достойные члены семейства Марсиалей не могли видеть Волчицу, когда она подбегала к противоположному берегу Сены.

Напомним, кстати, читателю, что загородный дом доктора Гриффона, где временно поселился граф де Сен-Реми, стоял на склоне косогора, возле отлогого берега реки, куда, не помня себя от волнения, примчалась Волчица.

Она проскочила, не заметив их, мимо обоих мужчин, которые, ошеломленные ее потерянным видом, обернулись и долго смотрели ей вслед. Два эти человека были граф де Сен-Реми и доктор Гриффон.

Узнав о том, что ее милому грозит опасность, Волчица, не долго думая, понеслась что было сил к тому месту, где он сейчас находился и где над его жизнью нависла угроза. Но чем больше она приближалась к реке против острова, тем яснее понимала, что попасть на остров Черпальщика ей будет очень трудно. Как ей уже говорил старый рыбак, рассчитывать на лодку, принадлежащую какому-нибудь постороннему человеку, она не могла, а никто из членов семейства Марсиалей перевозить ее на остров не стал бы.

Задыхаясь, с пылающим лицом, со сверкающим взглядом, она остановилась на том месте берега,

откуда была всего ближе до остроконечной косы острова, который, как бы описав дугу, меньше всего был удален от левого берега Сены.

Сквозь лишенные листвы тополя и ивы, росшие на острове, Волчица разглядела крышу дома, где, быть может, умирал в эти минуты Марсиаль.

Завидев эту кровлю, она испустила свирепый вопль, сорвала с головы чепец, сбросила наземь платье и осталась в одной только нижней юбке, а затем бесстрашно бросилась в реку, прошла несколько шагов по дну, пока вода не достигла ее горла, а потом, перестав чувствовать под ногами дно, быстро поплыла по направлению к острову.

Она являла собой зрелище человека, исполненного дикой энергии.

С каждым мощным взмахом руки длинные густые волосы Волчицы, растрепавшиеся благодаря ее быстрым движениям, развевались вокруг ее головы, как грива, отливавшая медью.

Если бы не горящий взгляд, устремленный к дому Марси-алей, не искаженные черты ее лица, выдававшие ужасную тревогу, можно было бы подумать, что возлюбленная браконьера играет с волнами — до того легко, свободно и даже горделиво плыла эта женщина. Ее крепкие белые руки, на которых татуировка говорила о предмете ее

любви, руки, обладавшие почти мужской силой, мощно рассекали воду, и она взлетала брызгами и скатывалась жемчужными каплями с ее широких плеч и высокой груди; в эти минуты Волчица походила на мраморный бюст, наполовину погруженный в воду.

Внезапно с противоположного берега острова Черпальщика донесся отчаянный крик, говоривший об ужасной, безнадежной агонии.

Волчица вздрогнула и замерла.

Потом, держась одной рукой на воде, она другой рукою отбросила за спину свои густые волосы и прислушалась.

До нее снова донесся крик, но уже более слабый, прерывистый, умолявший о помощи: то был крик погибавшего человека.

А затем вновь наступила гробовая тишина.

— Мой милый!!! — закричала Волчица и яростно поплыла вперед.

Она была в такой тревоге, что ей показалось, будто она узнала голос Марсиаля.

Граф и доктор, мимо которых Волчица пробежала с невероятной быстротой, не смогли догнать ее, чтобы призвать к благоразумию.

Они достигли того места на берегу, которое находилось прямо против острова, как раз в ту

самую минуту, когда послышались один за другим два ужасных крика.

И остановились столь же испуганные, как Волчица. Видя, что молодая женщина бесстрашно борется с волнами, оба воскликнули:

— Несчастная утонет!

Но опасения их были напрасны.

Возлюбленная Марсиаля плавала как выдра; еще несколько сильных взмахов рук, и смелая женщина достигла острова!

Она поднялась на ноги и, для того чтобы выйти на сушу, ухватилась за одну из свай, которые образовали на оконечности острова нечто вроде выступавшего в реку мола; вдруг мимо этих выступавших из воды свай медленно проплыло тело какой-то девушки, одетой в крестьянское платье; именно платье и удерживало ее на поверхности воды.

Движением, более быстрым, чем мысль, Волчица одной рукой стремительно схватила утопленницу за край платья, держась другою рукой за одну из свай. Она с такой силой притянула к себе тонувшую девушку, которую пыталась спасти, что несчастная, проплывавшая мимо свай, на мгновение исчезла под водой, хотя в этом месте можно было достать до дна ногами.

Обладавшая недюжинной силой и ловкостью, Волчица вытащила на поверхность реки Певунью (ибо это была она), которую, однако, не узнала, и взяла ее в свои сильные руки, как берут малого ребенка; потом она сделала несколько шагов по дну реки и положила недвижимую девушку на покрытый травою берег острова.

— Мужайтесь! Мужайтесь! — крикнул Волчице граф де Сен-Реми, видевший, как и доктор Гриффон, смелый поступок молодой женщины. — Мы пройдем по Аньерскому мосту, сядем в лодку и поспешим вам на помощь.

И двое мужчин бегом направились к мосту.

Однако Волчица не расслышала их слов.

Повторим, что с правого берега Сены, где еще находились Николя, Тыква и достойная их мамаша после того, как совершилось отвратительное преступление, было нельзя увидеть то, что происходило на противоположной стороне острова вследствие его холмистой поверхности.

Лилия-Мария, которую от резкого движения Волчицы затянуло на несколько мгновений под свайный мол, ненадолго погрузилась в воду, так что убийцы ее не видели и сочли, что их жертва утонула, а река поглотила ее.

Через несколько минут вниз по течению про-

плыл еще один труп женщины, но Волчица этого не заметила.

То был труп домоправительницы нотариуса.

Коварная женщина умерла, погибла...

Николя и Тыква, не меньше Жака Феррана, были заинтересованы в том, чтобы свидетельница и сообщница совершенного ими нового преступления исчезла навсегда: поэтому, когда лодка с подъемным люком пошла ко дну вместе с Певуньей, Николя перепрыгнул в ялик, где сидели Тыква и г-жа Серафен; при этом он так сильно раскачал это суденышко, что домоправительница нотариуса покачнулась; воспользовавшись этим, злодей столкнул ее в воду и прикончил ударом багра.

Тяжело дыша, в полном изнеможении Волчица, опустившись на колени на траву рядом с Певуньей, медленно собиралась с силами и вглядывалась в лицо той, кого она только что вырвала из лап смерти.

Пусть читатель представит себе, как она была ошеломлена, узнав в утопленнице свою подружку по тюрьме.

Подружку, которая оказала столь быстрое и столь благотворное влияние на ее судьбу...

Волчица была так потрясена, что на миг даже

забыла о Марсиале.

— Певунья! — воскликнула она.

И, нагнувшись, опираясь на руки и на колени, с растрепанными волосами, в одежде, с которой струилась вода, Волчица не сводила глаз с несчастной девочки, которая почти без дыхания лежала перед ней на траве. Смертельно бледная, безжизненная, с полуоткрытыми, но невидящими глазами, с прилипшими к вискам прекрасными белокурыми волосами, с посиневшими губами, с уже окоченевшими ручками Певунья казалась мертвой...

— Певунья! — повторила Волчица. — Какой невероятный случай! А я — то спешила к моему милому, чтобы рассказать ему о том добре, что она мне сделала, и той боли, что она мне причинила, о ее словах и о ее обещаниях, о том решении, которое я приняла! Бедная девочка, я вновь нахожу ее, но уже мертвую! Но нет, нет! — воскликнула Волчица, еще больше наклоняясь к Лилии-Марии и почувствовав, что бедняжка чуть слышно дышит. — Нет! Господи! Господи боже! Она еще дышит, я спасла ее от верной смерти... Мне еще ни разу в жизни не приходилось никого спасать. Ах, как это приятно, как это согревает душу. Да, но что с моим милым? Надо ведь и его

спасать. Быть может, он сейчас хрипит и задыхается перед смертью. Мамаша и брат могут его убить. Но не могу же я оставить здесь эту бедную девушку, отнесу ее, пожалуй, в дом Марсиалей, пусть вдова окажет ей первую помощь, а меня проведет к ее старшему сыну: не то я там все сокрушу, всех перебью. Ох, нет для меня ни матери, ни сестры, ни брата, коль скоро дело касается моего милого!

И, разом поднявшись с земли, Волчица подхватила Певунью на руки.

С этой легкой ношей она бросилась бежать к дому Марсиалей, не сомневаясь, что вдова с дочерью, несмотря на всю их злобу, не оставят без помощи Лилию-Марию.

Когда возлюбленная Марсиаля достигла возвышенной части острова, откуда видны были оба берега Сены, Николя, его мать и сестра ушли уже далеко.

Уверившись, что совершенное ими двойное убийство увенчалось успехом, они торопливо направились в кабачок Краснорукого.

В те же самые минуты какой-то человек, притаившись во впадине, за печью для обжига гипса, незримо присутствовал при ужасной сцене и, также уверившись, как Николя, что преступле-

ние удалось, незаметно скрылся.

Человек этот был нотариус Жак Ферран!

Одна из лодок Николя покачивалась на воде, ее удерживал кол, к которому она была привязана, возле того места на берегу Сены, где уселись в ялики Певунья и г-жа Серафен.

Едва Жак Ферран выбрался из-за печи для обжига гипса и направился обратно в Париж, как граф де Сен-Реми и доктор Гриффон, торопливо пробежавшие по Аньерскому мосту, поспешили сюда, надеясь попасть на остров в лодке Николя, которую они заметили еще издали...

К великому своему удивлению, добежав до дома Черпальщика, Волчица обнаружила, что входная дверь заперта.

Уложив в беседке Певунью, которая все еще не пришла в себя, возлюбленная Марсиаля подошла вплотную к дому. Она хорошо знала, где расположено окно в комнату ее милого; каково же было ее удивление, когда она увидела, что ставни на этом окне забиты листами железа, а снаружи листы эти закреплены железными перекладинами!

Частично угадав правду, Волчица испустила хриплый и громкий крик и принялась звать во всю мочь:

— Марсиаль, милый мой!..

Ей никто не ответил.

Испуганная этим гробовым молчанием, Волчица начала кружить вокруг дома, как кружит настоящая волчица, почуявшая запах своего самца и стремящаяся отыскать вход в логово, где он находится.

Время от времени она продолжала громко звать:

— Мой милый, где ты? Милый, ты меня слышишь?!

В бессильной ярости она раскачивала решетку на кухонном окне, стучала кулаками о стену... расшатывала дверь.

Потом она вновь испустила дикий вопль.

Несколько негромких ударов по внутренней стороне ставня на окне в комнату Марсиаля прозвучали в ответ на вопли Волчицы.

— Он там! — радостно закричала она, разом остановившись под окном своего возлюбленного. — Он там! Если понадобится, я ногтями сорву эти железные листы, но во что бы то ни стало раскрою ставни.

Проговорив эти слова, она увидела высокую лестницу, прислоненную к полуотворенному ставню в зале нижнего этажа; Волчица с силой ухватилась за лестницу, и при этом с подоконни-

ка упал на землю оставленный вдовою ключ.

— Если я смогу отворить ее, — проговорила Волчица, вставляя ключ в замочную скважину входной двери, — я смогу подняться в комнату моего милого. Смотри-ка, отпирается! — радостно воскликнула она. — Значит, мой милый спасен!

Войдя в кухню, Волчица с удивлением услышала крики обоих детей, запертых в погребе; услыхав неожиданный шум, они звали на помощь.

Вдова, полагая, что никто не приедет на остров и не войдет в дом во время ее отсутствия, удовольствовалась тем, что заперла дверь в погреб, где томились Франсуа и Амандина, а ключ оставила в замочной скважине.

Освобожденные Волчицей, брат и сестра быстро выбежали из погреба.

— О, Волчица! Спасите нашего братца Марсиаля, они хотят уморить его! — закричал Франсуа. — Вот уже два дня, как они законопатили его в комнате.

— Но они его хоть не изранили?

— Нет, нет, думаю, что нет.

— Стало быть, я вовремя подоспела! — крикнула Волчица, кинувшись вверх по лестнице.

Потом, поднявшись на несколько ступенек, она

остановилась и крикнула:

— А о Певунье я и позабыла! Амандина, быстро раздуй огонь в печи; вы оба с братом перенесите сюда и положите возле очага бедную девочку, она тонула, но я ее спасла. Она лежит в беседке. Франсуа, подай-ка мне колун, топор, на худой конец железный прут, я хочу выломать дверь моего милого.

— Валяется тут колун для колки дров, да только он слишком тяжел для вас, — ответил мальчик, с трудом таща по полу огромный молот с заостренным концом.

— Слишком тяжел?! — воскликнула Волчица и стремительно подхватила тяжелую железную громадину, которую в другое время, быть может, с трудом бы приподняла.

Затем она вновь побежала вверх по лестнице, перепрыгивая через четыре ступеньки, и продолжала повторять детям:

— Бегите, бегите скорей, разыщите девушку и положите ее возле огня.

Буквально в два прыжка Волчица оказалась в глубине коридора, куда выходила дверь комнаты Марсиаля.

— Мужайся, мой милый, твоя Волчица здесь! — крикнула она. И, приподняв обеими руками

колун, обрушила сильный удар на застонавшую дверь.

— Они забили дверь снаружи гвоздями. Сперва вытащи эти гвозди, — донесся до нее слабый голос Марсиаля.

Опустившись на колени, Волчица с помощью заостренного конца колуна, собственных ногтей, которые она поломала, и пальцев, которые ободрала, не без труда вытащила гвозди из дверного косяка и из пола.

Наконец дверь распахнулась.

И Марсиаль, бледный, с окровавленными руками, без сил упал на протянутые к нему руки Волчицы.

Глава II.
ВОЛЧИЦА И МАРСИАЛЬ

Наконец-то я тебя вижу, держу тебя в своих объятиях, я тебя... — воскликнула Волчица, нежно обнимая и крепко сжимая своими сильными руками Марсиаля, и в голосе ее звучала радость и свирепая жажда обладания. Затем, поддерживая своего милого, почти неся его на руках, она помогла бедняге опуститься на скамью, стоявшую в коридоре.

Несколько минут Марсиаль чувствовал ужасную слабость, он был растерян и пытался прийти в себя после страшного потрясения, которое лишило его последних сил и привело в полное изнеможение.

Волчица спасла своего возлюбленного в ту минуту, когда он, совершенно подавленный, впавший в отчаяние, чувствовал приближение смерти: он погибал не столько от голода, сколько от недостатка воздуха, который не проникал в небольшую комнату, где не было очага, а значит, и вытяжной трубы, не было никаких щелей, ибо, движимая жестокой предусмотрительностью,

Тыква заткнула старыми тряпками все
самые незаметные щели, имевшиеся на двери, так что помещение оказалось герметически закупоренным.

Трепеща от счастья и еще не улегшейся тревоги, с мокрыми от слез глазами, Волчица, опустившись на колени, напряженно ловила каждое выражение, сменявшееся на лице Марсиаля.

Он же, казалось, мало-помалу возрождался, возвращался к жизни, вдыхая всей грудью чистый и целебный для него воздух.

Несколько раз вздрогнув всем телом, он поднял отяжелевшую голову, испустил глубокий вздох и открыл глаза.

— Марсиаль, это я, твоя Волчица! Как ты себя чувствуешь?

— Уже лучше, — ответил он слабым голосом.

— Господи боже! Чего тебе дать? Воды? Или, может уксуса принести?

— Нет, нет, — ответил Марсиаль, который дышал все легче и легче. — Мне нужен только воздух только воздух, один только воздух, ничего, кроме воздуха!

Волчица, рискуя порезать руки, выбила кулаками все четыре оконных стекла: она не смогла открыть окно, ей мешал сделать это стоявший

там тяжелый стол.

— Вот теперь я дышу, теперь я дышу, и в голове у меня проясняется, — сказал Марсиаль, постепенно приходя в себя.

Затем, будто только сейчас сообразив, какую услугу оказала ему возлюбленная, он воскликнул с выражением несказанной благодарности:

— Без тебя я бы помер, славная моя Волчица!

— Ладно... ладно... а как ты сейчас-то себя чувствуешь?

— Все лучше и лучше.

— А есть хочешь?

— Нет, я еще для этого слишком слаб. Знаешь, больше всего я страдал от недостатка воздуха. Под конец я уже задыхался, совсем задыхался... это просто ужасно.

— Ну а теперь?

— Я вновь оживаю, точно из могилы выхожу, и выхожу из нее благодаря тебе.

— Но погляди на свои руки, на свои бедные руки! Они все изрезаны!.. Да что они с тобой сделали, господи боже!

— Николя и Тыква не решились вторично в открытую напасть на меня, вот они и замуровали меня в моей комнате, чтобы я тут околел с голоду. Я хотел помешать им забить железом ставни, и

тогда моя сестрица стала бить меня по пальцам топориком!!!

— Изверги! Они пытались уверить людей, будто ты помираешь от тяжкой болезни; твоя мать уже распустила слух, что ты в безнадежном состоянии. И это сделала твоя мать, мой милый, твоя родная мать!..

— Послушай, не говори мне о ней, — с горечью попросил Марсиаль.

Потом, впервые заметив, что вся одежда на Волчице мокрая и одета она как-то странно, он воскликнул:

— Да что с тобой приключилось? С волос у тебя стекает вода, ты в одной нижней юбке... И она насквозь промокла!

— Какая разница! Главное, что я тебя спасла, спасла!

— Да объясни мне, где ты так промокла?

— Я знала, что ты в опасности... а лодки найти не могла...

— И ты добралась до острова вплавь?!

— Да. Но погляди на свои руки, позволь я их поцелую. Тебе, должно, очень больно... Вот изверги!.. И меня тут, рядом, не было!

— Ох, до чего ты у меня славная, моя Волчица! — воскликнул с чувством Марсиаль. — Ты самая

храбрая и самая славная среди всех славных и храбрых женщин!

— А разве ты не говорил всегда: «Смерть подлецам и трусам!»

И Волчица показала на свою руку, где были вытатуированы эти ничем не смываемые слова.

— Да, ты у меня отважная и неустрашимая! Но тебе холодно, ты вся дрожишь.

— Дрожу, да только не от холода.

— Все равно... Войди в комнату, возьми там плащ Тыквы и закутайся в него.

— Но...

— Я так хочу.

В одно мгновение Волчица закуталась в плащ из шотландки и тут же возвратилась к Марсиалю.

— Подумать только: ради меня... ты ведь могла утонуть! — повторил Марсиаль, с восхищением глядя на нее.

— Да нет же... там чуть было не утонула молоденькая девушка, и я у самого острова спасла ее.

— Стало быть, ты еще и ее спасла? А где же она?

— Внизу, с детьми; они там ухаживают за ней.
— А кто она такая, эта девушка?

— Господи боже! Если б ты только знал, какой

случай, счастливый случай нас свел! Эта одна из моих товарок по тюрьме Сен-Лазар, она такая необыкновенная, знаешь...

— А чем же она необыкновенная?

— Представь себе, что я ее вместе и любила и ненавидела, потому как она сразу поселила в моей душе и счастье и гибель...

— Она?

— Да, и это с тобой связано.

— Со мной?

— Послушай, Марсиаль... — Волчица запнулась, но потом прибавила: — Знаешь, но нет, нет... я никогда не решусь.

— Да в чем дело-то?

— Я тебя вот о чем спросить хотела... Я и приехала, чтоб тебя повидать и чтоб спросить, потому что, уезжая из Парижа, я ведь не знала, что ты в опасности.

— Ну, ладно. Говори дальше.

— Да я не решаюсь...

— Не решаешься после всего того, что ты для меня сделала?!

— Вот именно потому. Выйдет так, будто я хочу получить награду...

— Хочешь получить награду! Разве я не обязан тебе многим? Разве ты не выхаживала меня в

прошлом году, не сидела возле моей постели дни и ночи?

— Но ты ведь мой милый!

— Именно потому, что я твой милый и всегда им буду, ты и должна говорить со мной совершенно открыто.

— Ты всегда будешь моим милым, Марсиаль?

— Всегда! И это так же верно, как то, что меня зовут Марсиаль. Для меня в целом свете не будет другой женщины, кроме тебя, знай это, Волчица! То, что ты была такой-сякой, это никого, кроме меня, не касается... ведь я люблю тебя, а ты — меня, и я обязан тебе жизнью. Только за то время, что ты в тюрьме пробыла, я стал другим. Во мне многое переменилось!.. Я тут долго думал и решил, что ты больше не будешь такой, как была.

__ Что ты этим хочешь сказать?

— Не хочу я больше с тобой расставаться, но не хочу больше расставаться также с Франсуа и Амандиной.

— С твоим младшим братом и сестренкой?

— Да, с ними; отныне я должен быть для них, можно сказать, как отец. Понимаешь, это накладывает на меня обязанности, мне надо остепениться, потому как я должен о них заботиться. Из них хотели вырастить злодеев, законченных

злодеев, и, чтобы их спасти, я их отсюда увезу.

— А куда?

— Я еще и сам толком не знаю; но скажу наверняка — далеко от Парижа.

— А что будет со мной?

— С тобой? А ты тоже поедешь с нами.

— Поеду с вами?! — воскликнула Волчица, остолбенев от радости: она не могла поверить в такое счастье. — И я больше с тобой не расстанусь?

— Нет, моя славная Волчица, никогда! Ты поможешь мне воспитать этих ребятишек... Я тебя хорошо знаю; коли я скажу тебе: «Я хочу, чтобы моя милая, бедная сестрица Амандина выросла честной девушкой, поговори-ка с ней обо всем, хорошенько объясни ей что к чему», то я уверен, что ты будешь для нее хорошей матерью.

— Ох, спасибо тебе, Марсиаль, большое спасибо!

— Мы станем жить как честные работники; будь спокойна, работа для нас найдется, и мы будем работать не покладая рук. По крайней мере, эти дети не станут негодяями, как их отец и мать, а меня больше не будут обзывать сыном и братом людей, кончивших свой век под ножом гильотины, а по тем улицам, где знали тебя, я ходить не

стану... Но что с тобой? Что с тобой такое?

— Марсиаль, мне кажется, я схожу с ума...

— Сходишь с ума?

— Да, от радости.

— Почему это?

— Потому что, видишь ли, это слишком хорошо!

— Ты о чем?

— О том, что ты мне только что сказал... Ох, знаешь, все это слишком хорошо... Разве только то, что я спасла Певунью, принесло мне счастье... Да, верно, так и случилось.

— Да объясни мне наконец толком, что с тобой такое?

— Ведь то, что ты мне предложил, Марсиаль, я сама тебе предложить хотела. Понимаешь, Марсиаль?!

— Ты о чем?

— Я сама хотела тебя попросить!..

— Уехать из Парижа?..

— Да... — быстро сказала Волчица. — И уйти жить с тобою в леса... где у нас был бы небольшой чистенький домик и дети, которых я бы любила всей душой! Знаешь, как бы я их любила?! Так, как может Волчица любить детей от своего милого! А потом, если б ты только согласился, — сказала,

затрепетав от волнения, Волчица, — я бы стала теперь называть тебя не своим милым... А своим мужем... потому как без этого мы не получим того места, — с живостью прибавила она.

Марсиаль в свой черед с удивлением посмотрел на Волчицу: ее последние слова были ему непонятны.

— О каком месте ты толкуешь?

— О месте лесного обходчика...

— И я его получу?

— Да...

— А кто мне даст его?

— Покровители той молодой девушки, которую я спасла.

— Да они меня и знать не знают!

— Но я — то ей все про тебя рассказала... и она похлопочет за нас перед своими покровителями.

— Ну а что ты ей про меня наговорила?

— Сам понимаешь, ничего дурного!

— Славная ты моя Волчица...

— А потом, знаешь, в тюрьме быстро начинаешь доверять друг другу; а эта девушка была такая милая, такая добрая, что я, сама того не желая, вдруг почувствовала, что меня так и тянет к ней; да я и сразу догадалась, что она не из «наших».

— А кто ж она такая?

— Этого я не знаю, ничего я в этом не пойму, но за всю свою жизнь я никогда таких, как она, не видала и речей таких не слыхала; она, точно колдунья, сразу узнает, что у тебя на сердце; когда я ей сказала, как сильно тебя люблю, она из-за одного этого проявила сочувствие к нашей судьбе... Она заставила меня устыдиться моей прошлой жизни не потому, что говорила мне резкие слова, ты ведь знаешь, на меня такие слова не действуют, просто она говорила о том, как хороша честная трудовая жизнь, жизнь нелегкая, но спокойная, такая, когда я смогу жить с тобою в глуши лесов, как тебе по душе. Но только она сказала, что, вместо того чтоб быть браконьером, ты станешь лесным обходчиком, а я перестану быть твоей любовницей... а буду тебе настоящей женой, а потом у нас появятся красивые детишки, и они будут выбегать тебе навстречу, когда ты по вечерам будешь возвращаться домой с обхода вместе с собаками и с ружьем за спиной, ну, а потом мы станем ужинать на полянке перед нашей хижиной на свежем ночном воздухе, под сенью высоких деревьев, а потом ляжем спать, довольные и счастливые... Ну что тебе еще сказать?.. Я против воли слушала ее, как слушают волшебную сказку. Если б ты только знал... она

так хорошо... так хорошо говорила... что все, что она описывала, я видела как наяву... Будто и не спала, а видела чудесные сны.

— Ах да, верно! Это была бы славная и хорошая жизнь! — воскликнул Марсиаль, подавляя вздох. — Понимаешь, Франсуа еще не совсем испортился, но он, бедняга, так долго жил с Николя и Тыквой, что для него вольный лесной воздух подошел бы больше, чем городской. Амандина помогала бы тебе по хозяйству; ну, а уж я был бы таким лесным обходчиком, какого не часто встретишь: недаром же я был известным браконьером... А ты бы хозяйничала в доме, славная моя Волчица... и потом, как ты говоришь, и дети были бы с нами... чего бы нам еще не хватало?.. Знаешь, когда привыкнешь к своему лесу, чувствуешь себя там как дома. Можешь там целый век прожить, и он промелькнет, как один день... Но, послушай, что это я так размечтался? Знаешь, не стоило тебе говорить мне о такой жизни... кроме сожалений, это ни к чему не ведет.

— Я тебя не прерывала... потому как то же самое, что ты мне сейчас сказал, я говорила там Певунье...

— Как это?

— А вот так! Слушая все ее волшебные сказки,

я ей отвечала: «Вот беда, что все эти воздушные замки, как вы сами говорите, в жизни не встречаются, Певунья!» И знаешь, что она мне сказала в ответ, Марсиаль? — спросила Волчица, и глаза ее вспыхнули от радости.

— Нет, не знаю.

— Она сказала: «Пусть Марсиаль на вас женится, вы оба пообещаете вести честную жизнь, и место, которого вы так жаждете, я изо всех сил постараюсь для вас получить».

— Она пообещала для меня место лесного обходчика?

— Да... именно для тебя...

— Но ты верно говоришь, это просто чудный сон. Если для того, чтобы получить это место, надо только жениться на тебе, славная ты моя Волчица, я бы на тебе завтра и женился, будь у меня только на что жить; потому как с нынешнего дня... ты уже мне жена... понимаешь, моя настоящая жена.

— Марсиаль... я и вправду тебе жена?

— Моя настоящая, моя единственная жена, и я хочу, чтобы ты звала меня своим мужем... как будто мы уже в мэрии побывали.

— О, стало быть, Певунья была права... Знаешь, как это приятно сказать: «Мой муж!» Марсиаль,

ты увидишь, какова твоя Волчица в хозяйстве, какова она в работе, ты все это увидишь...

— Ну а это место... Ты действительно веришь?..

— Бедная милая Певунья, коли она ошибается... только в том, что другие захотят нам помочь... Но у нее был такой вид, будто она всем сердцем верит в то, что говорит... Кстати, только что, когда я выходила из тюрьмы на волю, надзирательница мне сказала, что покровители Певуньи, люди очень знатные, добились ее освобождения как раз сегодня; это доказывает, что ее благодетели — люди влиятельные и что она сдержит свое обещание.

— Ах! — вдруг закричал Марсиаль, вставая. — Не знаю, о чем мы только с тобой думаем!

— Что такое?

— Эта молодая девушка... она ведь там, внизу, может, она помирает... нам надо бы ей помочь, а мы тут сидим да разговариваем...

— Не тревожься, Франсуа и Амандина там, возле нее; они бы поднялись наверх, случись там что-нибудь, угрожай ей опасность. Но вообще-то ты прав, пойдем к ней; я хочу, чтобы ты сам на нее поглядел, поглядел на ту, что, может быть, принесет нам счастье.

И Марсиаль, опираясь на руку Волчицы, начал

медленно спускаться на первый этаж.

Прежде чем они оба войдут на кухню, мы расскажем читателю о том, что произошло, после того как Лилия-Мария была поручена заботам детей.

Глава III.
ДОКТОР ГРИФФОН

Франсуа и Амандина только-только успели перенести Лилию-Марию в кухню и уложить ее возле очага, когда граф де Сен-Реми и доктор Гриффон, которые приплыли на остров в лодке Николя, вошли в дом. Пока дети раздували огонь и подбрасывали в очаг вязанки тополиных ветвей, которые пламя быстро охватывало, весело разгораясь, доктор Гриффон оказывал бездыханной девушке первую помощь.

— Бедняжке на вид не больше семнадцати лет! — воскликнул глубоко растроганный граф.

Потом он спросил, обращаясь к доктору:

— Что вы скажете, друг мой?

— Удары пульса едва различимы; но странная вещь: кожа у нее на лице совсем не посинела, как это обычно происходит, когда человек задыхается, погрузившись в воду, — ответил врач с поразительным хладнокровием, задумчиво глядя на Певунью.

Доктор Гриффон был человек высокого роста, худой, бледный и совершенно лысый, только на

затылке у него росли два редких кустика черных волос, которые он старательно зачесывал на виски; лицо со впалыми щеками, изборожденное морщинами от усиленных занятий, было холодное, умное и сосредоточенное.

Обладая огромными познаниями и незаурядным опытом, широко практикующий врач, пользовавшийся громкой известностью и стоявший во главе крупного лазарета (мы еще встретимся с ним позднее), доктор Гриффон имел только один недостаток: он, если можно так выразиться, совершенно отвлекался от больного и занимался лишь болезнью; молод или стар был пациент, богат или беден, была ли то женщина или мужчина — это его мало интересовало, он думал только о том, любопытен ли данный недуг, с точки зрения науки; одно лишь это его занимало.

Вообще все люди существовали для него только как пациенты.

— Какое у нее прелестное личико!.. До чего она хороша, несмотря на чудовищную бледность! — вскричал граф де Сен-Реми, внимательно глядя на Певунью с нескрываемой грустью. — Видали ли вы хоть когда-нибудь такие нежные, такие чистые черты лица, любезный доктор?.. И она так молода... так молода!..

— Возраст тут не имеет никакого значения, — отрывисто ответил доктор Гриффон, — так же, как не имеет значения и то, попала ли вода в легкие, хотя когда-то это считалось смертельным... Но это грубое заблуждение; впрочем, опыты Гудвина... превосходные опыты знаменитого Гудвина это блистательно доказали.

— Но послушайте, доктор...

— Да ведь это же совершенно достоверный факт... — ответил доктор Гриффон, целиком поглощенный своим любимым ремеслом. — Чтобы установить наличие посторонней жидкости в легких, Гудвин несколько раз погружал в чан, наполненный чернилами, собак и кошек; он держал их там несколько мгновений, а потом вытаскивал еще живыми; затем, немного погодя, он препарировал этих славных животных... И что же? Препарировав их, он убедился, что чернила проникли к ним в легкие, однако наличие посторонней жидкости в органах дыхания не привело к смерти его четвероногих пациентов.

Граф знал, что доктор в глубине души человек прекрасный, но неистовая страсть к познанию часто заставляла его казаться жестким, даже почти жестоким.

— Есть ли у вас, по крайней мере, хоть какая-

нибудь надежда? — нетерпеливо спросил граф де Сен-Реми.

— Конечности у пациентки совсем ледяные, — ответил врач, — так что надежды остается очень мало.

— Господи! Умереть в таком юном возрасте... бедная девочка!.. Это просто ужасно.

— Зрачок неподвижен... расширен... — невозмутимо продолжал врач, приподнимая краем пальца холодное как лед веко Лилии-Марии.

— Странный вы человек! — воскликнул граф, с трудом сдерживая негодование. — Ведь вас можно счесть безжалостным, а между тем вы бодрствовали над моим ложем целые ночи напролет... Да будь я вам родным братом, вы и тогда бы не выказывали ко мне большую преданность.

Доктор Грифон, продолжая оказывать помощь Певунье, ответил графу, даже не взглянув на него и не изменяя своей обычной флегматичности:

— Черт побери, неужели вы полагаете, что можно каждый день встретиться с лихорадкой, сопровождаемой расстройством координации движений, с такой на редкость осложненной и столь любопытной для изучения лихорадкой, как та, которой вы болели?! Это был великолепный медицинский случай!.. Вы слышите, любезный

друг, просто великолепный! Ступор, бред, судороги в сухожилиях, внезапные обмороки, да знаете ли вы, что ваша драгоценная лихорадка отличалась множеством самых неожиданных симптомов? Вас даже поражал — а это уж такое редкое, я бы сказал, редчайшее явление! — временный и частичный паралич, если вам угодно знать... Да ради одного этого ваша болезнь имела право на мое пристальное и заботливое внимание: ведь вы поставили передо мной труднейшую и великолепнейшую задачу! Ибо, откровенно говоря, мой любезный друг, у меня теперь только одно заветное желание: встретить еще хотя бы раз такую великолепную лихорадку... Но такой редкостной удачи два раза в жизни не бывает!

Выслушав столь необычную тираду, граф только нетерпеливо пожал плечами.

Как раз в эту минуту в кухню, опираясь на руку Волчицы, спустился Марсиаль; его подруга, как помнит читатель, надела поверх своей вымокшей одежды плащ Тыквы, сшитый из шотландки.

Пораженный бледностью возлюбленного Волчицы и заметив его руки, покрытые запекшейся кровью, граф воскликнул:

— Кто этот человек?

— Мой муж... — ответила Волчица, посмотрев

на Марсиа-ля с неописуемой добротой и величайшей гордостью.

— У вас замечательная и неустрашимая жена, сударь, — сказал граф Марсиалю, — я сам видел, как она с редким мужеством спасала эту бедную девочку.

— О да, сударь, у меня добрая и неустрашимая жена, — ответил Марсиаль, сделав ударение на последнем слове, в свой черед посмотрев на Волчицу одновременно с нежностью и страстью. — Да, она неустрашима и отважна!.. Ведь она и мне спасла жизнь!..

— Вам тоже? — с удивлением спросил граф.

— Поглядите на его руки, на его бедные израненные руки! — воскликнула Волчица, вытирая слезы, которые смягчили дикий блеск ее глаз.

— Да, это ужасно! — вырвалось у графа. — У бедняги изрублены руки... Взгляните, пожалуйста, доктор.

Немного повернув голову и посмотрев через плечо на многочисленные порезы, которыми Тыква исполосовала руки Марсиаля, доктор Гриффон сказал молодому человеку:

— Сожмите и разожмите кулак. Марсиаль не без труда проделал это.

Доктор пренебрежительно пожал плечами,

продолжая хлопотать над Певуньей, и сказал как бы с сожалением:

— Ничего серьезного в этих ранах нет... ни одно из сухожилий не повреждено, через неделю пациент сможет свободно действовать руками.

— Это правда, сударь?! Мой муж не останется калекой? — с благодарностью в голосе вскричала Волчица.

Доктор, не говоря ни слова, отрицательно покачал головой.

— Ну а что с Певуньей, сударь? Она останется в живых, не правда ли? — снова спросила Волчица. — О, она непременно должна жить — и я, и мой муж так ей обязаны!.. — Потом, повернувшись к Марсиалю, она прибавила: — Бедная девочка, видишь, она совсем такая, как я тебе рассказывала... и она, быть может, станет причиной нашего счастья; ведь это она подала мне мысль пойти к тебе и сказать тебе то, что я сказала... Подумать только, и вот по воле случая я спасла ее... и возле твоего дома!..

— Она наше доброе провидение... — проговорил Марсиаль, потрясенный красотою Певуньи. — Какое у нее ангельское личико! Ох, она ведь будет жить, правда, господин доктор?

— Ничего определенного я не могу сказать, —

отвечал врач. — Но скажите, может она остаться в этом доме? Будет ли тут за ней надлежащий уход?

— Здесь? — крикнула Волчица. — Да ведь здесь убивают!

— Помолчи! Помолчи! — произнес Марсиаль.

Граф и доктор с удивлением посмотрели на Волчицу.

— Этот дом на острове пользуется дурной славой в округе... так что эти слова меня вовсе не удивляют, — тихо сказал граф де Сен-Реми, наклоняясь к доктору.

— Стало быть, вы были жертвой насилия? — спросил граф у Марсиаля. — Вам тут нанесли эти раны?

— Все это пустое, сударь... Здесь у меня возникла ссора... Потом она перешла в драку... Вот меня и поранили... Но эта молоденькая крестьянка тут оставаться не может, — добавил он с сумрачным видом, — в этом доме не останусь ни я сам... ни моя жена... ни мой младший брат и сестренка, которых вы видите... Мы собираемся оставить остров и никогда сюда больше не вернемся.

— Ох, какое счастье! — хором воскликнули дети.

— Тогда как же нам поступить? — спросил

доктор, глядя на Певунью. — Нечего и думать о том, чтобы перевезти пациентку в Париж в том состоянии прострации, в котором она пребывает. Но вот что, ведь мой дом отсюда в двух шагах; моя садовница и ее дочь будут для нее превосходными сиделками... Раз эта чуть не задохнувшаяся утопленница вызывает в вас участие, мой дорогой Сен-Реми, вы будете следить, чтобы за ней заботливо ухаживали, а я стану наведываться и осматривать ее каждый день.

— А вы еще разыгрываете роль безжалостного человека! — воскликнул граф. — На самом же деле у вас самое великодушное сердце, как вы только что нам доказали...

— Если пациентка скончается, а это вполне возможно, мне предстоит сделать весьма интересное вскрытие, оно позволит подтвердить лишний раз утверждение Гудвина.

— То, что вы говорите, просто ужасно! — возмутился граф.

— Для того, кто умеет читать, как положено врачу, труп человека, — это книга, благодаря которой учишься спасать жизни больных, — невозмутимо ответил доктор Гриффон.

— В конце концов вы творите добро, — с горечью сказал г-н де Сен-Реми, — и это главное. Бог

с ней, с причиной, лишь бы благодеяние совершалось! Бедная девочка, чем больше я смотрю на нее, тем большее участие она вызывает во мне.

— И она его заслуживает, сударь! — восторженно воскликнула Волчица, подходя ближе.

— Вы ее знаете? — спросил граф.

— Знаю ли я ее, сударь? Ей, должно быть, я буду обязана всем счастьем моей будущей жизни; спасая ее, я сделала для нее меньше, чем она сделала для меня.

И Волчица со страстной любовью взглянула на своего мужа; отныне она больше не называла Марсиаля «своим милым.

— Да кто ж она такая? — снова спросил граф.

— Сударь, она — сущий ангел, она лучше всех на свете. Да, и хоть одета она как крестьянка, нет такой богатой женщины, нет такой знатной дамы, которая говорила бы так хорошо, как она. А ее нежный голосок звучит как райская музыка. Она благородная девушка, и мужественная, и такая добрая!

— А каким образом она упала в воду?

— Вот этого-то я и не знаю, сударь.

— Стало быть, она не крестьянка?

— Крестьянка? Да вы только поглядите на ее белые, маленькие ручки, сударь.

— И то правда, — сказал граф де Сен-Реми. — Тут какая-то тайна!.. Но как ее зовут, как ее фамилия?

— Послушайте, — прервал этот разговор доктор, — надобно перенести пациентку в лодку.

Полчаса спустя Лилия-Мария, которая все еще не пришла в себя, была перенесена в дом врача; ее уложили в хорошую постель и поручили материнскому попечению садовницы г-на Гриффона, к которой присоединилась и Волчица.

Доктор Гриффон пообещал графу де Сен-Реми, который проникался все большим и большим участием к Певунье, возвратиться в тот же вечер, чтобы осмотреть ее.

Марсиаль вместе с Франсуа и Амандиной уехал в Париж, но Волчица не захотела оставить Лилию-Марию до тех пор, пока бедняжка не будет вне опасности.

Остров Черпальщика опустел.

Мы вскоре встретимся с его зловещими обитателями у Краснорукого, где они должны были увидеться с Сычихой, для того чтобы вместе с нею убить г-жу Матье.

Но до этого мы поведем читателя на свидание, которое Том, брат Сары, назначил ужасной мегере, сообщнице Грамотея.

Глава IV.
ПОРТРЕТ

... Полуженщина, полузмея...
(Вольфганг, действие I, сцена II)

Томас Сейтон, брат графини Сары Мак-Грегор, нетерпеливо прогуливался по бульвару, неподалеку от Обсерватории, когда наконец увидел приближавшуюся Сычиху. Отвратительная старуха была в белом чепце, ее плечи и спину окутывала большая красная клетчатая шаль; кончик круглого и острого, как бритва, стилета величиной с гусиное перо высовывался сквозь дно большой соломенной сумки, которую она несла в руке, и потому любой человек мог заметить грозное острие этого смертоносного оружия, принадлежавшего Грамотею.

Однако Том Сейтон не обратил внимания на то, что Сычиха была вооружена.

— Часы на башне Люксембургского дворца пробили три раза, — прохрипела старуха. — Надеюсь, я не опоздала... пришла тютелька-в-тютельку.

— Идемте, — сказал ей в ответ Томас Сейтон.

Идя впереди Сычихи, он миновал несколько

пустырей, вошел в какую-то безлюдную улочку, расположенную против улицы Кассини, остановился посреди этого проезда, перегороженного турникетом, открыл небольшую калитку, сделал знак Сычихе следовать за ним и, пройдя вместе с нею несколько шагов по густо усаженной деревьями аллее, сказал старухе:

— Ждите меня здесь.

И исчез.

— Только бы он не заставил меня прождать его тут слишком долго, — пробормотала Сычиха, — я ведь должна встретиться в пять часов у Краснорукого с Марсиалями, чтобы укокошить торговку драгоценностями. Да, кстати, а как там мой чингал?[114] Ах негодник! Он высунул свой нос в окошечко, — прибавила старуха, видя, что кончик стилета высунулся из плетеной соломенной сумки. — Вот, не надела я на него пробку, он и безобразничает...

Вытащив из сумки стилет, снабженный деревянной рукояткой, она аккуратно уложила его опять в сумку так, чтобы он не был виден.

— Это оружие Громилушки, — проговорила она. — Как он только не выпрашивал его у ме-

---

[114] Notes: 114
Кинжал.

ня, говорил, что чингал ему необходим, чтобы убивать крыс, они, мол, просто изводят его в подвале!.. Бедные зверьки! Ведь у них чаще всего лишь одна потеха — донимать этого безглазого старика! Ничего, ничего, пусть они его малость погрызут!.. И я не хочу, чтобы он причинял им вред, этим славным крысятам, потому и не отдаю ему чингал... К тому же он мне самой, может, скоро понадобится, чтобы сподручней управиться с этой торговкой... У нее на тридцать тысяч бриллиантов!.. Немало на долю каждого придется! Да, денек, видать, будет удачный... не то что в прошлый раз, когда я к этому разбойнику-нотариусу ходила и надеялась изрядно пощипать его. Ах, черт побери! Сколько я его ни стращала, сколько ни говорила, что, коли он не даст мне денег, я донесу в полицию о том, что его горничная через посредство Турнемина отдала мне Певунью, когда та совсем маленькая была, он совсем не испугался. Обозвал меня старой лгуньей и выставил за дверь... Ладно, ладно! Я напишу письмо без подписи тем людям на ферме, где жила Воровка, и расскажу им, что Жак Ферран бросил девочку еще малым ребенком... Может, они знают ее родных, и, когда Певунья выйдет из тюрьмы Сен-Лазар, этому прохвосту-нотариусу жарко станет... Но

кто-то идет. Смотрите-ка... да ведь это та самая бледная дамочка, что была переодета мужчиной в тот вечер в кабачке Людоедки, она туда приходила вместе с этим высоким господином, что просил меня здесь обождать, а позднее мы их обоих ограбили вместе с Громилушкой в старых развалинах, возле собора Парижской богоматери, — прибавила Сычиха, заметив, что в конце аллеи показалась Сара Мак-Грегор. — Видать, они опять что-то задумали; ведь мы, должно быть, для этой дамочки выкрали Певунью с фермы. Ну что ж, коли она хорошо заплатит за новое дельце, мне это вполне подходит.

Подойдя ближе с Сычихе, которую Сара видела впервые после описанной нами сцены в кабаке Людоедки, она поглядела на старуху с тем чувством презрения и брезгливости, какое испытывают люди определенного круга, когда им приходится вступать в сделку с проходимцами, которые бывают нужны им либо как сообщники, либо как послушные орудия.

Томас Сейтон, который всегда был деятельным помощником и пособником своей сестры в ее преступных замыслах, хотя он и считал их в общем-то бесполезными, теперь решил отказаться и дальше играть столь постыдную роль; тем не

менее он согласился в последний раз помочь сестре установить прямые связи с Сычихой; однако он объявил Саре, что не станет принимать участие в новых кознях, которые они задумают совершить.

Поняв, что ей не удастся вернуть Родольфа, разрушая те узы и привязанности, которые, как она полагала, дороги ему, графиня надеялась теперь, как мы уже говорили, обмануть его с помощью недостойного плутовства, успех которого мог бы помочь ей осуществить ту давнюю мечту, которую лелеяла эта упрямая и жестокая женщина.

Речь шла о том, чтобы убедить Родольфа, будто дочь, которую родила от него Сара Мак-Грегор, не умерла, и найти девушку, какую можно было выдать за эту его дочь.

После короткого молчания Сара сказала Сычихе:

— Ловки ли вы, решительны и не болтливы?

— Я ловка, как обезьяна, решительна, как дог, и нема, как рыба, вот какова я, Сычиха, и такой сотворил меня дьявол, чтобы я могла получше служить вам, коли потребуется... так что я на все способна... — со смехом ответила старуха. — Надеюсь, что мы лихо завладели для вас юной крестьянкой, кстати, она сидит сейчас в тюрь-

ме Сен-Лазар и пробудет там еще добрых два месяца.

— Сейчас не о ней речь, а совсем о других вещах...

— Как вам будет угодно, милая дамочка! Важно только, чтоб вслед за тем, о чем вы меня попросите, появились бы денежки. А уж тогда-то нас с вами водой не разольешь!

Сара Мак-Грегор не могла скрыть гримасу отвращения.

— Должно быть, вы знаете, — спросила она, — каких-нибудь простых людей... людей обездоленных?

— Ну, таких-то в нашем городе побольше, чем миллионеров... только выбирай! Слава богу, нищих в Париже богато!

— Мне нужна бедная сиротка, и, главное, такая, что лишилась родителей в раннем детстве. Но этого мало: надо, чтобы у нее было красивое личико, добрый нрав и чтобы было ей не больше семнадцати лет.

Старуха с удивлением посмотрела на Сару.

— Я думаю, такую сиротку отыскать нетрудно, — продолжала графиня, — ведь есть столько подкидышей...

— Ах, вот что вам нужно! Но скажите, милая

дамочка, вы, должно, совсем позабыли про Певунью... А ведь она-то как раз вам и нужна!

— Что это еще за Певунья!

— Та самая девчонка, которую мы выкрали для вас с фермы в Букевале!

— Да не о ней теперь речь, я ведь вам уже сказала!

— Да вы меня выслушайте, а главное вознаградите за добрый совет; вам ведь нужна сиротка, кроткая, как овечка, и красивая, как ясный день, и надо, чтоб ей было не больше семнадцати лет, ведь так?

— Вот именно...

— Ну так вот! Возьмите себе Певунью, когда она выйдет на волю из тюрьмы Сен-Лазар; вам ведь просто повезло, она как будто нарочно для вас создана, потому как ей было всего шесть лет, когда этот проходимец Жак Ферран, а тому уже десять лет, передал мне ее на воспитание да еще добавил тысячу франков в придачу — только бы от нее избавиться... Ведь тогда Турнемин, что сейчас на каторге в Рошфоре, ее ко мне и привел... и сказал, что от этой девчонки хотят избавиться или на худой конец распустить слух, будто она померла...

— Жак Ферран... вы так сказали? — воскликнула

Сара столь изменившимся голосом, что Сычиха даже попятилась и опешила. — Нотариус Жак Ферран, — снова заговорила Сара, — поручил вашим заботам этого ребенка... и...

Она не в силах была продолжать.

Волнение графини было слишком сильно; она протянула к Сычихе руки, которые судорожно подергивались; изумление и радость исказили черты ее лица.

— Никак не пойму, чего это вы так всполошились, милая моя дамочка, — сказала старуха. — А ведь это все проще простого... Десять лет тому назад Турнемин, старый мой кореш, мне сказал: «Хочешь взять к себе шестилетнюю девчонку, от которой хотят избавиться? Будет ли она жить или околеет, это не важно; зато заработаешь тысячу франков; а с девчонкой делай что хочешь...»

— С тех пор прошло десять лет?! — воскликнула Сара.

— Ровно десять...

— Это была белокурая девочка?

— Уж такая белокурая...

— И с голубыми глазами?

— С голубыми глазами, а вернее сказать, со светло-синими, как васильки.

— И это та самая... что жила на ферме?..

— Мы упрятали ее в тюрьму Сен-Лазар... Надо сказать, я не думала, что встречу ее в деревне... Воровку-то...

— О господи! Господи! — воскликнула Сара, упав на колени, воздев руки и возведя глаза к небу. — Воистину пути твои неисповедимы... Я простираюсь ниц перед твоим промыслом. О, неужели такое счастье возможно?.. Нет, нет, я все еще не могу в это поверить... это было бы чересчур прекрасно... нет, быть не может!..

Потом, быстро поднявшись с колен, графиня сказала Сычихе, которая смотрела на нее в полной растерянности:

— Пойдемте...

И Сара пошла впереди старухи быстрым шагом.

Дойдя до конца аллеи, она поднялась на несколько ступенек, что вели к застекленной двери в кабинет, пышно обставленный дорогой мебелью.

Сычиха уже собиралась было последовать за графиней, но та жестом приказала ей оставаться снаружи.

Потом Сара громко позвонила в колокольчик.

На пороге показался слуга.

— Меня ни для кого нет дома... и пусть никто

сюда не заходит... понятно?.. Ни один человек...

Слуга вышел из комнаты. Сара для верности закрыла дверь на задвижку. Сычиха слышала приказание, которое графиня отдала слуге, и видела, как та задвинула задвижку.

Потом графиня повернулась к старухе и сказала:

— Входите побыстрее и закройте за собой дверь.
Сычиха вошла в кабинет.

Торопливо отперев секретер, Сара достала оттуда ларец из черного дерева, отнесла его на письменный стол, стоявший посреди комнаты, и сделала знак Сычихе подойти поближе.

В ларце было несколько ящичков, стоявших один на другом: в них лежали великолепные драгоценности.

Графиня так торопилась добраться до самого дна ларца, что поспешно швыряла на стол футляры, в которых красовались изумительные ожерелья, браслеты, диадемы; украшавшие их рубины, изумруды и бриллианты переливались множеством огней.

Сычиха была ослеплена этим богатством.

Она была вооружена, она была наедине с графиней в запертой комнате; убежать затем из этой комнаты не стоило труда, риска не было

никакого...

Адская мысль зародилась в мозгу этой чудовищной женщины. Однако, для того чтобы осуществить новое злодеяние, нужно было осторожно достать из сумки кинжал и подойти вплотную к графине, не вызвав у нее подозрения.

С коварством дикой кошки, которая, крадучись, хищно подбирается к своей добыче, старуха воспользовалась тем, что Сара была целиком занята поисками, и незаметно обошла вокруг стола, отделявшего ее от намеченной жертвы.

Сычиха уже начала было осуществлять свое вероломное намерение, но вдруг ей пришлось застыть на месте.

Графиня вытащила с самого дна шкатулки какой-то медальон, нагнулась над столом, протянула Сычихе дрожащую руку и сказала:

— Поглядите на этот портрет.

— Да это же Воровка! — крикнула старуха, пораженная удивительным сходством. — Ведь на этом портрете та самая девочка, которую мне доверили; так и вижу ее, она была совсем такая, когда ее привел ко мне Турнемин... У нее были длинные вьющиеся локоны, я их тут же обстригла и выгодно продала, черт побери!..

— Вы ее узнаете? Это именно она? О, заклинаю

вас, только не обманывайте... только не обманывайте меня!

— Говорю вам, милая дамочка, что это Воровка, она тут совсем как живая, — проговорила Сычиха, стараясь незаметно еще ближе подойти к графине. — Даже сейчас она еще похожа на этот портрет... Коли вы на нее поглядите, просто рот разинете от удивления!

У Сары не вырвался ни горестный крик, ни крик ужаса, когда она узнала, что ее дочь на протяжении десяти лет жила в нищете, всеми покинутая...

Она не испытала ни малейших угрызений совести, вспомнив, что ведь она сама жестоким образом вырвала бедную девочку из того мирного убежища, куда ее поместил Родольф.

Эта бесчеловечная мать даже не стала расспрашивать Сычиху с естественной в подобных обстоятельствах тревогой об ужасном прошлом своего ребенка.

Нет! Честолюбие уже давно задушило в душе графини даже подобие материнского чувства и материнской нежности.

Сейчас ее охватила не радость от того, что нашлась ее дочь, нет, она теперь с новой силой предавалась надежде на то, что ей наконец удаст-

ся осуществить свою давнюю горделивую мечту, которую она лелеяла всю жизнь...

Родольф проявил участие к несчастной девочке, он, даже не зная ее, обогрел и приласкал... Что ж будет, когда он узнает, что она... его дочь!!

Ведь он свободен... а она, Сара, теперь вдова...

Перед глазами Сары уже сверкала корона великой герцогини.

Между тем Сычиха, передвигаясь мелкими шажками, наконец подошла к одному из концов стола и уже отвесно пристроила свой кинжал в соломенной сумке, его рукоятка теперь чуть высовывалась наружу... так что сжать ее в руке ничего не стоило...

Старуха была теперь всего лишь в нескольких шагах от графини.

— Умеете ли вы писать? — неожиданно спросила Сара.

И, отодвинув рукой ларец и драгоценности, она открыла бювар, лежавший перед чернильницей.

— Нет, сударыня, писать я не обучена, — на всякий случай ответила Сычиха.

— Тогда писать я буду сама под вашу диктовку... Расскажите мне подробно обо всех обстоятельствах, при которых вам передали в руки эту маленькую девочку.

И, усевшись в кресло, стоявшее перед письменным столом, Сара взяла перо и поманила к себе Сычиху. Единственный глаз старухи зловеще засверкал. Наконец-то... она стояла возле самого кресла графини! Сара, склонившись над столом, приготовилась писать.

— Я стану читать вам вслух то, что вы расскажете, читать буду медленно и раздельно, — проговорила графиня, — а вы меня поправите, если я в чем-нибудь ошибусь.

— Ладно, сударыня, — сказала Сычиха, следя за малейшими движениями Сары.

Затем она скользнула правой рукой в свою соломенную сумку, чтобы незаметно ухватиться за рукоятку кинжала.

Графиня начала писать:

« — Я заявляю, что...»

Но тут она остановилась и, повернувшись к Сычихе, которая уже нащупала рукоятку своего кинжала, спросила:

— А когда именно вручили вам эту девочку?

— В феврале тысяча восемьсот двадцать седьмого года.

— А кто ее к вам привел? — снова спросила графиня, все так же глядя на Сычиху.

— Пьер Турнемин, он теперь на каторге в Рош-

форе... А ему самому девочку отдала госпожа Серафен, экономка нотариуса.

Графиня снова начала писать, а потом вслух прочитала:

« — Я заявляю, что в феврале тысяча восемьсот двадцать седьмого года, человек по имени...»

Сычиха достала свой кинжал...

Она уже подняла его, готовясь ударить свою жертву в спину, между лопатками...

Но тут Сара снова обернулась.

Сычиха, боясь, что ее застанут врасплох, поспешно опустала правую руку с кинжалом за спинку кресла, в котором сидела графиня, и нагнулась к ней, чтобы ответить на новый вопрос.

— Я позабыла, как зовут того человека, что привел к вам девочку, — сказала Сара.

— Пьер Турнемин, — ответила Сычиха.

— Пьер Турнемин, — повторила графиня, продолжая писать, — тот, что ныне находится на каторге в Рошфоре, привел ко мне девочку, которую ему вручила экономка господина...

Окончить фразу графине не удалось.

Сычиха, тихонько освободившись от своей соломенной сумки, которая бесшумно скользнула к ее ногам, набросилась на графиню столь же стремительно, сколь яростно, левой рукой она

схватила Сару за шею и придавила ее лицо к столу, а правой рукою вонзила ей кинжал в спину, между лопатками...

Это ужасное нападение было совершено с такой быстротой и неожиданностью, что графиня не успела издать ни крика, ни стона.

Она так и осталась сидеть в кресле, уткнувшись лбом в крышку стола. Перо выпало из ее руки.

— Точно таким же ударом Громилушка... укокошил того старичка на улице Руль, — пробормотала чудовищная старуха. — Еще одна, которая никогда больше не заговорит... Ее счеты с жизнью покончены.

Сычиха, торопливо собрав драгоценности и побросав их в свою соломенную сумку, в спешке не заметила, что ее жертва еще дышит.

Совершив ограбление и убийство, отвратительная старуха отперла застекленную дверь и быстро пошла по аллее, обсаженной зеленеющими деревьями, затем проскользнула в небольшую калитку, что вела на безлюдную улицу, и миновала пустыри.

Возле Обсерватории она наняла фиакр, который отвез ее на Елисейские поля, к Краснорукому. Читатель уже знает, что вдова Марсиаль, Николя, Тыква и Крючок назначили Сычихе встречу в

этом притоне для того, чтобы ограбить и убить там г-жу Матье.

Глава V.
АГЕНТ СЫСКНОЙ ПОЛИЦИИ

Читатель уже знаком с кабачком «Кровоточащее сердце», который расположен на Елисейских полях, неподалеку от проспекта Кур-ла-Рен, в одном из широких оврагов, что находился по соседству с этим излюбленным местом для прогулок парижан еще несколько лет тому назад. Обитатели острова Черпальщика еще не появились. После отъезда Брадаманти, который, как мы уже знаем, отправился вместе с мачехой маркизы д'Арвиль в Нормандию, Хромуля вернулся жить к своему отцу.

Стоя на страже на верхней ступеньке лестницы, колченогий мальчишка должен был подать знак о приходе Марсиалей условным возгласом; тем временем Краснорукий доверительно беседовал с агентом сыскной полиции, неким Нарсисом Борелем: читатель, быть может, помнит, что мы встречали его в кабачке Людоедки, куда он пришел, чтобы арестовать двух злодеев, обвиненных в убийстве.

Это был человек лет сорока, коренастый и силь-

ный, краснощекий, с острым и проницательным взглядом; лицо у него было гладко выбрито, для того чтобы ему легче было менять свой внешний вид, что было необходимо во время его сопряженных с опасностью действий, ибо ему часто приходилось соединять способность преображаться, свойственную актерам, с мужеством и энергией солдата для того, чтобы суметь поймать тех или иных преступников, с которыми ему приходилось бороться, прибегая и к хитрости, и к решительности. Словом, Нарсис Борель был одним из самых действенных и полезных орудий того провидения в миниатюре, как скромно и непритязательно именуют полицию.

Но вернемся к той беседе, какую вели Нарсис Борель и Краснорукий... Она, судя по всему, носила весьма оживленный характер.

— Да, вас обвиняют в том, что, пользуясь своим двойственным положением, — говорил агент сыскной полиции, — вы безнаказанно принимаете участие в кражах, которые совершает шайка самых опасных злоумышленников; вы, ничтоже сумняшеся, сообщаете ложные сведения о них сыскной полиции... Берегитесь, Краснорукий, если это подтвердится, с вами поступят безо всякого снисхождения.

— Увы! Я знаю, что меня обвиняют в подобных вещах, и это очень для меня огорчительно, любезный господин Нарсис, — отвечал Краснорукий, придавая своей лисьей мордочке выражение лицемерного сожаления. — Но надеюсь, что нынче мне наконец воздадут должное и мою добросовестность признают безо всяких оговорок.

— Поживем — увидим!

— И как только можно подозревать меня?! Разве я не доказывал много раз свою преданность? Разве не я, скажите прямо, помог вам в свое время арестовать на месте преступления Амбруаза Марсиаля, одного из самых опасных злоумышленников Парижа? Потому как верно говорят: порода, она всегда себя окажет, а порода этих Марсиалей, должно, вывелась в аду, и, если господь бог соизволит, она туда и отправится.

— Все это хорошо, даже превосходно, но ведь Амбруаза-то предупредили, что его собираются арестовать, и не явись я на час раньше того времени, которое вы мне указали, он бы от меня улизнул.

— Неужто вы полагаете, господин Нарсис, что я его тайно предупредил о вашем приходе?

— Я твердо знаю одно: этот разбойник в упор выстрелил в меня из пистолета: к счастью, пуля

попала мне в руку.

— Конечно, господин Нарсис, спору нет, что ваше занятие не обходится без таких незадач.

— Ах, вы называете это незадачей!

— Вот именно, потому как этот негодяй наверняка собирался влепить вам пулю прямо в грудь!

— Целил ли он в руку, в грудь или в голову — не в этом дело, я не о том толкую; в каждом ремесле есть свои неприятности.

— Но зато и свои удовольствия, господин Нарсис, и свои удовольствия! Возьмем, к примеру, такой случай: человек такой смышленый, такой ловкий, такой храбрый, как вы... долгое время выслеживает целую шайку преступников, он преследует их, обходя квартал за кварталом, притон за притоном, и делает это с помощью такой надежной ищейки, как ваш покорный слуга, Краснорукий; и вот наконец человек этот, следуя за ними по пятам, загоняет их в мышеловку, из которой ни одному злодею не удастся ускользнуть; признайтесь, господин Нарсис, что такое дело доставит большое удовольствие... истинную радость охотнику... Не говоря уж о той пользе, какую поимка этой шайки принесет правосудию, — с важностью прибавил содержатель кабачка «Кровоточащее сердце».

— Я готов буду согласиться с вами, если ищейка окажется надежной, но только сильно боюсь, что это не так.

— Ах, господин Нарсис, неужто вы думаете...

— Я думаю, что, вместо того чтобы указывать нам верный путь, вы забавляетесь тем, что сбиваете нас с дороги, и таким образом злоупотребляете тем доверием, каким пользуетесь. Каждый день вы обещаете помочь нам захватить эту шайку... но этот счастливый день так никогда и не наступает.

— Ну а коли он наступит именно сегодня, господин Нарсис, в чем я совершенно уверен, и коли я помогу вам заграбастать сразу и Крючка, и Николя Марсиаля, и вдову, и ее дочь, и Сычиху в придачу, тогда вы признаете, что улов будет что надо? Тогда-то вы перестанете меня подозревать?

— Тогда перестану. Больше того, вы окажете нам настоящую услугу, потому что у нас есть очень сильные, почти достоверные подозрения о преступной деятельности этих людей, но веских доказательств, к сожалению, нет.

— Так что небольшая, но надежная улика, которая позволит их замести и разом спутать все их карты, будет вам куда как полезна, господин

Нарсис?

— Без всякого сомнения... А вы можете меня заверить, что это не вы подтолкнули их на задуманное ими преступление?

— Я тут ни при чем, клянусь честью! Сама Сычиха явилась и предложила мне заманить сюда торговку драгоценностями: эта чертова одноглазая баба выведала у моего мальчишки, что гранильщик алмазов Морель, что живет на улице Тампль, работает над настоящими драгоценными камнями, а не над фальшивыми, к тому же Сычиха узнала, что тетка Матье часто носит в своей сумке драгоценные камни на знатную сумму... Я притворился, что принимаю предложение Сычихи собраться тут вместе с Марсиалями и Крючком, с тем чтобы вы могли накрыть сразу всю шайку.

— А куда подевался Грамотей, этот опаснейший преступник, наделенный богатырской силой и жестокостью, он ведь всегда действовал заодно с Сычихой? И принадлежал к числу завсегдатаев кабачка Людоедки.

— Грамотей?.. — переспросил Краснорукий, прикидываясь удивленным.

— Ну да, каторжанин, бежавший из Рошфора: его настоящее имя Ансельм Дюренель, и его при-

говорили к пожизненному заключению. Теперь нам стадо известно, что он изуродовал себе лицо, чтобы стать неузнаваемым... Вы о нем ничего не знаете?

— Ничего... — не моргнув глазом, ответил Краснорукий, у которого были свои резоны для этой лжи, ибо Грамотей был заточен в одном из подвалов под кабачком.

— Есть все основания предполагать, что Грамотей совершил несколько новых убийств. Очень важно было бы поймать его.

— Вот уже месяца полтора о нем ничего не слышно.

— Недаром вас упрекают в том, что вы потеряли его след.

— Все время упреки! Всегда упреки, господин Нарсис!..

— Ну, упрекают-то вас не без причины... А что вы можете сказать о контрабанде?..

— Неужто я должен знать все о людях определенного пошиба! И о контрабандистах тоже? И это для того, чтобы наводить вас на их след?.. Донес же я вам о той трубе, по которой перекачивали спиртное, она тянулась от заставы Трон вплоть до дома на улице...

— Все это я знаю, — сказал Нарсис Борель, пре-

рывая Краснорукого, — но вы ведь доносите на одного злоумышленника, а позволяете скрыться доброму десятку таких же и продолжаете безнаказанно заниматься темными делишками... Я не сомневаюсь, что вы, как хороший теленок, двух маток сосете, по известной поговорке.

— Ах, господин Борель... не такой я жадный, чтоб заниматься таким бесчестным делом...

— Но это еще не все; на улице Тампль, в доме номер семнадцать, живет некая женщина по фамилии Бюрет, та, что деньги под заклад дает: так вот, ее обвиняют в том, что она скупает у вас краденое.

— Да что я — то могу поделать, господин Нарсис? Люди до того злы, чего хочешь про тебя наговорят!.. Скажу еще раз: мне приходилось иметь дело со многими людьми, с завзятыми негодяями, я даже прикидываюсь, что я один из них... даже хуже, чем они, а все для того, чтобы они мне доверяли... но знаете, как я страдаю, что мне приходится вести себя как они... у меня просто душа разрывается... а все потому, что я верно и преданно вам служу, понимаете... а то бы я нипочем не стал заниматься такими делами...

— Бедный вы мой... мне от всей души жаль вас.

— Вот вы смеетесь, господин Нарсис... Но коли

вы верите этим россказням, почему вы не устроили облаву у мамаши Бюрет, да и в моем доме обыск не произвели?..

— Сами знаете почему... потому что мы не хотим спугнуть преступников, которых вы обещаете предать в наши руки бог знает с каких пор.

— Я вам выдам их, господин Нарсис; часа не пройдет, как их всех схватят и повяжут... и труда на это большого не потребуется, потому как среди них три бабы; а что касается Крючка и Николя Марсиаля, то они свирепы как тигры, да трусливы как зайцы.

— Тигры ли они или зайцы, — ответил Нарсис Борель, приподнимая длинные полы своего сюртука и показывая на рукоятки двух пистолетов, торчавших из карманов его панталон, — у меня есть, чем их укротить.

— И все-таки вы поступите разумно, коли прихватите с собой парочку ваших людей, господин Нарсис, потому как, когда этих злодеев загонишь в угол, они порою просто сатанеют.

— Я поставлю двух своих людей в вашем небольшом низком зальце, рядом с той комнатой, куда вы пригласите пройти торговку бриллиантами... при первом же крике я войду в одну дверь, а мои люди — в другую.

— Тогда не мешкайте, потому как вся шайка вот-вот соберется, господин Нарсис.

— Ладно, пойду расставлю по местам своих людей. Только бы это не пришлось делать даром, как в прошлые разы.

Беседу их прервал условленный свист, который должен был служить сигналом.

Краснорукий подошел к окну, чтобы увидеть, о чьем приближении его предупреждает Хромуля.

— Смотрите-ка, вот и Сычиха пожаловала. Ну что? Теперь-то вы мне верите, господин Нарсис?

— Да, кое о чем это говорит, но дело-то еще не кончено; словом, поглядим, что будет дальше. Ну, я побежал расставлять своих людей по местам.

И агент сыскной полиции выскользнул в боковую дверь.

Глава VI.
СЫЧИХА

От торопливого шага, от злобного лихорадочного возбуждения после совершенного грабежа и убийства, от которого она еще не пришла в себя, отвратительная физиономия Сычихи побагровела, а ее единственный зеленый глаз сверкал дикой радостью.

Хромуля следовал за ней вприпрыжку, припадая на ногу.

В ту минуту, когда старуха спускалась с нижних ступенек лестницы, сын Краснорукого, движимый злобным озорством, наступил на волочившийся по земле подол ее платья.

Неожиданная задержка заставила старуху споткнуться. Не сумев удержаться на лестнице, она упала на колени, выставив перед собою обе руки и невольно выпустив драгоценную соломенную сумку, из которой выпал золотой браслет, украшенный изумрудами и отборным жемчугом...

Сычиха, которая при падении содрала кожу с пальцев, торопливо подняла браслет, что не укрылось от проницательного взгляда Хромули;

потом она встала на ноги и вне себя от ярости набросилась на хромого мальчишку, который подошел к ней и лицемерно спросил:

— Ах, господи боже! У вас что, нога подвернулась?

Ничего не ответив Хромуле, Сычиха схватила его за волосы, нагнулась к его лицу и изо всех сил укусила мальчика в щеку; кровь так и брызнула из-под зубов.

Странное дело! Несмотря на свой злобный нрав, несмотря на то, что Хромуля почувствовал ужасную боль, он не издал ни крика, ни жалобы...

Он только вытер кровь с лица и сказал, принужденно смеясь:

— Я предпочел бы, чтоб в следующий раз вы меня так крепко не целовали, Сычиха...

— Злой мальчишка, макака ты этакая, зачем ты нарочно наступил на подол моего платья?.. Хотел, чтоб я упала?

— Я? Да что вы такое говорите?.. Клянусь, что я это сделал не нарочно, любезная моя Сычиха. Разве когда-нибудь ваш Хромуля хотел причинить вам боль?.. Он вас слишком для этого любит; вы можете его, сколько хотите, колотить, грубо с ним обходиться, кусать его, все равно он привязан к вам, как щенок привязан к своему хозяину,

— сказал мальчишка вкрадчивым и медовым голоском.

Обманутая притворством Хромули, Сычиха поверила в его слова и ответила:

— В добрый час! Коли я тебя напрасно укусила, это зачтется тебе в другой раз, когда ты того заслужишь, маленький разбойник... Ну ладно, да здравствует радость!.. Нынче я зла не помню... Где твой папаша, этот плут?

— Он дома... Хотите, чтобы я за ним пошел?..

— Не надо. Марсиали уже пожаловали?

— Пока еще нет...

— Стало быть, у меня есть времечко заглянуть к Чертушке; мне нужно с ним поговорить, с этим безглазым стариком...

— Вы спуститесь в подвал к Грамотею? — спросил Хромуля, с трудом скрывая охватившую его дьявольскую радость.

— А тебе-то что до этого?

— Мне?

— Да, тебе. Ты меня спросил об этом с каким-то странным видом.

— Потому что я думаю об одной довольно странной вещи.

— Это еще о какой?

— Думаю, что хорошо бы вам принести ему

колоду карт для развлечения, — ответил Хромуля с усмешкой, — это его малость развеселит... А то что у него за игры? Его только крысы кусают! Игра-то, может, и беспроигрышная, да под конец, должно, надоедает.

Сычиха громко расхохоталась этой жестокой шутке и сказала хромому мальчишке:

— Я тебя люблю как мать, макака ты этакая!.. Не знаю ни одного мальчишки более испорченного, чем ты... Ступай и принеси свечу, посветишь мне, когда я буду спускаться в подвал к Громилушке... и дверь там отворить поможешь... Ты ведь знаешь, что одной мне не под силу с ней управиться?

— Нет, дудки! Там, в подвале, слишком темно, — сказал Хромуля, отрицательно покачав головой.

— Что? Что? Ты злой как бес — и трусишь? Хотела бы я на это поглядеть... ступай, да побыстрее, и скажи отцу, что я скоро буду... что я на минуту зашла к Чертушке... потолковать об оглашении к нашей свадьбе... Эхе-хе, — пробормотала чудовищная старуха, осклабясь, — слушай-ка, да поторопись же, ты будешь у нас дружкой на свадьбе и, коли станешь хорошо себя вести, получишь мою подвязку...

Хромуля с недовольным видом отправился за свечой.

Ожидая его, Сычиха, все еще опьяненная успешной кражей, засунула правую руку в свою соломенную сумку и стала перебирать лежавшие там драгоценности.

Она и хотела-то спуститься в подвал к Грамотею, чтобы на время припрятать там свое сокровище, а вовсе не для того, чтобы, по обыкновению, насладиться муками своей очередной жертвы..

Мы вскоре расскажем читателю, почему с согласия Краснорукого Сычиха водворила Грамотея в тот самый подвал, куда в свое время этот злодей затолкал Родольфа.

Хромуля с подсвечником в руке появился на пороге кабачка.

Сычиха вошла вслед за ним в низкую комнату, где находился широкий люк с двумя дверцами, нам уже знакомый.

Сын Краснорукого заслонял огонек свечи ладонью; он шел перед старухой и начал медленно спускаться по каменной, очень крутой лестнице; ее нижняя ступенька почти упиралась в толстую дверь, ведущую в подвал, который чуть было не сделался могилой Родольфа.

Дойдя до нижней ступеньки, Хромуля притворился, будто он не решается идти дальше вместе

с Сычихой.

— Ну чего ты, скверный копуша!.. Ступай вперед, — потребовала старуха, обратившись к нему.

— Черт побери!.. Тут такая темень... а потом вы так торопитесь, Сычиха. Знаете, что я вам скажу?.. Послушайте, я, пожалуй, лучше вернусь наверх... держите-ка подсвечник.

— А как я управлюсь с дверью, болван?! Я ведь одна, без твоей помощи, не смогу отворить дверь в подвал! Ступай, ступай вперед.

— Нет... мне чересчур страшно.

— Смотри-ка, я за тебя сейчас примусь... берегись!..

— Ну, коли вы еще и грозитесь, я пошел наверх... И Хромуля сделал несколько шагов назад.

— Ну ладно! Слушай... будь молодцом, — снова заговорила Сычиха, подавив гнев, — и я тебе кое-что подарю...

— В добрый час! — отозвался Хромуля, снова спускаясь вниз. — Коли вы будете говорить со мной в таком тоне, вы можете из меня хоть веревки вить, мамаша Сычиха.

— Спускайся, спускайся побыстрее, я очень спешу...

— Идет! Только вы мне пообещайте, что позво-

лите малость подразнить Грамотея.

— В другой раз... нынче у меня времени нет.

— Да недолго, чуть-чуть; дайте мне его только немного побесить...

— Говорю тебе: в другой раз... Я ведь сказала тебе, что сегодня мне недосуг, я наверх спешу.

— А зачем тогда вам открывать дверь в его покои?

— Это тебя не касается. Ну что, скоро ты там? Может, Марсиали уже собрались в кабачке, а мне с ними потолковать надобно... Будь же славным мальчиком, и ты не пожалеешь... иди сюда.

— Знаете, видать, я вас сильно люблю, Сычиха... вы со мной делаете все, что хотите, — сказал Хромуля, медленно приближаясь к старухе.

Тусклый, колеблющийся свет горевшей в подсвечнике свечи слабо освещал темный коридор, черная тень отвратительного мальчишки вырисовывалась на позеленевшей от сырости, потрескавшейся стене.

В конце этого прохода сквозь полутьму можно было различить низкий выщербленный свод, ведущий в подвал, и толстую дверь на ржавых железных петлях; из окружающей тьмы ярким пятном выступали белый чепец и красная клетчатая шаль Сычихи.

После долгих усилий старухи и хромого мальчишки дверь, скрипя на ржавых петлях, отворилась.

Облако сырого пара вырвалось из этой мрачной пещеры, мрачной, как ночь.

Подсвечник, стоявший на земле, отбрасывал блики на первые ступеньки каменной лестницы, ведущей в подвал, ее последние ступеньки полностью терялись во мраке.

Громкий вопль, вернее, дикий рев донесся из глубины подвала.

— Ах! Вот и Чертушка здоровается со своей мамашей, — со злобной иронией прохрипела Сычиха.

И она начала спускаться по ступенькам, чтобы спрятать свою соломенную сумку в каком-нибудь темном закоулке.

— Я хочу есть! — закричал Грамотей, и голос его задрожал от ярости. — Видно, меня решили уморить, как бешеного пса!

— Ты проголодался, котик? — спросила Сычиха, громко расхохотавшись. — Ну что ж!.. Пососи свой большой палец...

Послышалось звяканье цепи, которую сильно натянули... Потом донесся долгий яростный вздох.

— Берегись! Берегись! Не то сделаешь больно своей ножке, как на ферме в Букевале. Бедный ты мой папочка! — вмешался хромой мальчишка.

— А ведь он прав, этот сорванец! Веди себя спокойно, Громилушка, — продолжала старуха. — И кольцо, и сама цепь выкованы на славу, безглазый ты старик, — они ведь куплены у папаши Мику, а он продает добрый товар. Ты ведь сам во всем виноват; зачем было позволять, чтоб тебя связали во сне! А там уж остались пустяки: надеть кольцо на столб, а цепь тебе на ногу и водворить тебя сюда... здесь ведь свежо... и ты тут лучше сохранишься, старый франт!

— Одно только плохо: он тут, пожалуй, мохом обрастет, — вставил Хромуля.

Из подвала снова донеслось звяканье цепи.

— Эй! Эй! Чертушка, что ты скачешь, как майский жук, привязанный за лапку?! — сказала старуха. — Так и кажется, что я это вижу...

— Майский жук, скок! Скок! Скок! Грамотей — твой муженек! — пропел хромоногий мальчишка.

Этот стишок еще больше развеселил Сычиху. Засунув свою сумку в щель в рассевшейся стене, тянувшейся вдоль лестницы, она спросила, выпрямляясь:

— Ты что-нибудь видишь, Чертушка?..

— Ни черта он не видит, — сказал Хромуля.

— А ведь он прав, этот мальчишка! Ну так вот, слушай меня, Громилушка: незачем тебе было, на обратном пути с фермы, валять дурака, добряка из себя строить... незачем было мешать мне обезобразить Воровку, плеснув ей в лицо серную кислоту! Ты тогда вдруг вспомнил о своей молчунье[115]; она, мол, в тебе почему-то заговорила! Я и поняла, что доброе тесто, из которого ты был слеплен, стало скисать, что тебя на честность потянуло... а отсюда только шаг до доноса... и в один прекрасный день ты на нас накапаешь[116], и нас слопают... вот тогда-то, безглазый...

— Вот сейчас безглазый старик тебя и слопает, Сычиха, потому что он оголодал! — крикнул хромой мальчишка, изо всех сил толкнув старуху в спину.

Не ожидавшая этого толчка, Сычиха упала вперед, разразившись ужасным проклятием.

Слышно было, как она покатилась вниз по каменной лестнице.

— Куси... куси... куси!.. Сычиха теперь в твоих

---

[115] Notes: 115
Совесть.

[116] Notes: 116
Донесешь.

руках, Чертушка... Набросься-ка на нее, старик! — завопил Хромуля.

Потом, схватив соломенную сумку, лежавшую под камнем, куда засунула ее старуха, он быстро вскарабкался по лестнице, громко крича со свирепым смехом:

— Ну как, Сычиха? По-моему, этот толчок стоит предыдущего? На сей раз ты уж меня до крови не укусишь. Ах! Ты думала, что я не затаил на тебя зла?.. Нет уж, спасибо... у меня до сих пор кровь идет.

— Я держу ее... Эх, я крепко держу ее! — донесся из глубины подвала голос Грамотея.

— Ну, коли ты ее держишь, доход пополам! — ответил, оскалившись, Хромуля.

И он остановился на верхней ступеньке лестницы.

— Помогите! — закричала Сычиха сдавленным голосом.

— Спасибо тебе, Хромуля, — вновь послышался хриплый голос Грамотея, — спасибо!

Затем донесся его громкий вздох, выражавший устрашающую радость.

— Знаешь, я прощаю тебе все то зло, что ты мне причинил... — снова раздался голос Грамотея. — И в награду... ты сейчас услышишь, Хромуля, как

поет Сычиха! Навостри-ка уши и слушай песню этой птицы, что накликает смерть.

— Браво!.. Я занял место в передней ложе, — откликнулся хромой мальчишка, усаживаясь на верхней ступеньке лестницы.

Глава VII.
В ПОДВАЛЕ

Хромуля, сидевший на верхней ступеньке лестницы, высоко поднял подсвечник, стараясь осветить ужасающую сцену, которая разыгрывалась в глубине подвала; однако там царил слишком густой мрак, и слабый свет не мог его рассеять. Сын Краснорукого ничего не мог разглядеть. Борьба между Грамотеем и Сычихой была яростной, но приглушенной не слышно было ни слова, ни крика.

Лишь время от времени из подвала доносилось шумное дыхание или подавленный стон, что всегда сопровождает трудные и долгие усилия.

Хромуля, как мы уже сказали, сидевший на каменной ступеньке, принялся размеренно стучать ногами, как это делают зрители, которым не терпится дождаться начала спектакля; затем он испустил крик, характерный для завсегдатаев райка в третьестепенных театрах:

— Эй вы, там!.. Давайте занавес... Начинайте пьесу... Пусть зазвучит музыка!..

— Ох, я тебя крепко держу, не вырвешься, —

прохрипел Грамотей на дне подвала, — и ты...

Отчаянная попытка Сычихи вырваться прервала его фразу. Она отбивалась с необычайной силой, какую придает человеку страх смерти.

— Громче... ничего не слыхать! — крикнул хромой мальчишка.

— Можешь сколько угодно кусать мне руки, я тебя крепко держу, — снова донесся голос Грамотея.

Затем, когда ему, без сомнения, удалось скрутить Сычиху, он прибавил:

— Так-то оно лучше... А теперь слушай меня...

— Хромуля, позови сюда отца! — закричала Сычиха, задыхаясь. — На помощь!.. На помощь!.. — прохрипела она сдавленным голосом.

— Выгнать вон старуху! Она мешает слушать, — ответил хромой сорванец, покатываясь со смеху. — Долой клаку!

Вопли Сычихи не могли быть никем услышаны, ибо они едва доносились из глубокого подземелья.

Злополучная негодяйка, убедившись, что она не может ждать помощи от сына Краснорукого, решилась на последнюю попытку:

— Хромуля, пойди за отцом, и я отдам тебе свою сумку; в ней полно драгоценностей... я ее спрята-

ла под камнем в стене...

— Какая щедрость! Благодарю вас, сударыня... Да твоя сумка уже давно у меня в руках! Слышишь, как там позвякивают твои камешки?.. — спросил Хромуля, покачивая сумкой. — Но вот что тебе скажу: дай-ка мне немедля горячую лепешку за два су, и я пойду поищу отца!

— Пожалей меня, и я...

Больше ничего Сычиха сказать не сумела.

Снова наступило гробовое молчание.

Хромой мальчишка опять начал размеренно стучать ногами по каменной ступеньке лестницы, где он сидел на корточках, сопровождая свой стук выкриками:

— Так вы все не начинаете? Эй! Давайте, занавес, а не то я вам задам жару!.. Пьесу!.. Музыку!..

— Этаким манером, Сычиха, ты меня не одолеешь и не оглушишь своими криками, — вновь послышался через несколько минут голос Грамотея: ему, как видно, удалось заткнуть рот старухе. — Ты отлично понимаешь, — продолжал он медленно, осипшим голосом, — что я не собираюсь с тобой сразу покончить. Пытка за пытку! Ты довольно заставила меня страдать. Мне надо с тобой долго говорить, о многом рассказать, а уж потом я тебя порешу... да... у нас будет долгий

разговор... страшный для тебя... вот какая тебя ждет агония, слышишь?

— Эй, старик, только без глупостей! — закричал, приподнимаясь, хромоногий мальчишка. — Ты уж как следует ее проучи, но большого вреда ей не причиняй. Вот ты сказал, что убьешь ее... Но ведь это только для вида? Не так ли? Я очень привязан к моей Сычихе. Я ведь дал ее тебе, можно сказать, взаймы, так что верни ее в целости... не угробь ее... Я не хочу, чтоб мою Сычиху укокошили... Смотри, а не то я за отцом пойду.

— Будь спокоен, она получит только то, что заслужила... Я преподам ей полезный урок... — раздался голос Грамотея: он хотел успокоить Хромулю, боясь, что мальчишка и в самом деле пойдет искать помощи для Сычихи.

— Ну, тогда в добрый час. Браво! Наконец-то пьеса начинается, — проговорил сын Краснорукого; он не думал, что Грамотей и в самом деле решил прикончить отвратительную старуху.

— Давай потолкуем с тобой, Сычиха, — заговорил Грамотей ровным голосом. — Прежде всего, видишь ли... после того сна, что я видел на ферме в Букевале, когда у меня перед глазами прошли все мои преступления, после этого сна, от которого я чуть в уме не тронулся... и, верно,

еще окончательно тронусь, потому что, когда сидишь один в кромешном мраке, как я, все мысли против воли возвращаются к этому сну... И вот во мне произошла странная перемена... Да... я ужаснулся своей былой жестокости. Во-первых, я не позволил тебе изуродовать Певунью, но то были еще пустяки... Посадив меня на цепь в этом подвале, заставив меня мучиться от голода и от холода, но тем самым избавив от того наваждения, в котором ты меня держала... ты оставила меня наедине с моими ужасными мыслями.

Ох! Тебе не понять, что значит быть одному... всегда одному... да еще с черной завесой перед глазами, как мне говорил неумолимый человек, покаравший меня...

Понимаешь... это так ужасно!

Ведь в этом самом подвале я набросился на него, чтобы убить... и тот же самый подвал стал местом моих мук... И будет, вероятно, моей могилой... Говорю тебе, это просто ужасно. Все, что мне этот человек предсказывал, сбылось. Он мне сказал: «Ты злоупотреблял собственной силой... впредь ты станешь игрушкой тех, кто слабее тебя».

Так оно и случилось.

Он сказал мне: «Отныне, отрезанный от внешнего мира, ты останешься наедине с постоянным

воспоминанием о твоих былых преступлениях, и наступит день, когда ты в них раскаешься».

И день этот наступил... одиночество очистило меня...

А я никогда бы не поверил, что такое возможно.

Вот еще одно доказательство того, что... я теперь не такой злодей, каким был раньше: я испытываю огромную радость от того, что ты в моих руках, что ты здесь, исчадие ада... но моя цель не в том, чтобы отомстить тебе за мои муки... а в том, чтобы отомстить тебе за тех, кто стал нашими жертвами. Да я просто выполню долг... когда своими руками покараю тебя, мою сообщницу.

И какой-то внутренний голос говорит мне, что, попади ты мне в руки раньше, много крови... много крови не пролилось бы по твоей вине.

Я ныне прихожу в ужас, думая об убийствах, которые совершил, и все-таки... не покажется ли это тебе странным? Безо всякой боязни, полный уверенности в своей правоте, я скоро убью тебя самым страшным, самым изощренным способом... Скажи... скажи... тебе это понятно?

— Браво!.. Прекрасно сыграно... безглазый старик! Это задевает за живое! — завопил Хромуля, хлопая в ладоши. — Но ведь ты все это говоришь

так, для смеха?

— Конечно, для смеха, — послышался в ответ хриплый голос Грамотея. — Вот что, Сычиха, надо мне наконец объяснить тебе, как я мало-помалу стал раскаиваться. Это признание будет жутким, черствая женщина, но оно докажет также, почему я должен быть беспощаден к тебе, совершая над тобою месть во имя тех, кто был нашими жертвами. Мне надо поторопиться... Радость от того, что ты здесь, в моих руках... горячит мне кровь... она сильно бьет мне в виски... совсем так, как это бывает, когда я думаю о том жутком сне, и мой ум мешается... Может, это приближается один из тех приступов, которым я теперь подвержен... но у меня хватит времени дать тебе почувствовать, что твоя страшная смерть приближается, вот почему я заставлю тебя выслушать меня до конца.

— Здорово сказано! — крикнул Хромуля. — Сычиха, теперь твой черед подать реплику! Ты что, роли своей не знаешь? Пусть тогда пекарь[117] подскажет тебе слова, старая!

— Ох, напрасно ты вырываешься и пробуешь меня укусить, — донесся голос Грамотея после короткого молчания, — все равно тебе не осво-

---

[117] Notes: 117
Дьявол.

бодиться... Ты мне прокусила пальцы до самой кости... Но, если ты не перестанешь дергаться, я вырву тебе язык...

Продолжим наш разговор.

Все время оставаясь один, один во мраке, где стояла гробовая тишина, поначалу я испытывал приступы бессильной ярости... бешеной, но бессильной... Впервые голова у меня пошла кругом. Да... я не спал, но видел все тот же сон... понимаешь? Все тот же сон... Старичок с улицы Руль... Женщина, которую мы утопили... Торговец скотом... И ты... паришь надо всеми этими призраками...

Говорю тебе, это было ужасно.

Я ведь слепой... И мои мысли принимают определенную форму, обрастают плотью, и они непрестанно предстают передо мною такими, будто я их вижу, будто могу пощупать руками... Они воссоздают черты моих жертв. Да если бы мне и не снился этот жуткий сон, все равно мой рассудок, который постоянно погружен в воспоминания, был бы помрачен этими видениями... Без сомнения, когда ты лишен зрения, преследующие тебя, как наваждение, мысли возникают в мозгу точно живые образы... Однако... иногда, когда я, охваченный страхом, покорно взираю

на эти призраки... мне начинает казаться, что грозные видения вроде бы немного жалеют меня... Они расплываются, меркнут и исчезают... И тогда мне чудится, будто я просыпаюсь после кошмарного сна... Но я ощущаю себя таким слабым, таким подавленным, таким разбитым... И ты, пожалуй, не поверишь... да еще вдобавок рассмеешься, Сычиха, я плачу... Слышишь? Я плачу... Чего же ты не смеешься? Смейся же... Смейся!..

Из груди Сычихи вырвался сдавленный и глухой стон.

— Да, — продолжал Грамотей, — я плачу, потому что я мучаюсь... И ярость тут не поможет. Я говорю себе: «Завтра, и послезавтра, и всегда я буду во власти тех же самых бредовых видений и того же самого мрачного уныния...»

Какая невыносимая жизнь! Ох, какая невыносимая жизнь!

Ох, отчего я не предпочел смерть, почему я согласился, чтобы меня заживо погребли в этой бездне, которую постоянно углубляют мои собственные мысли! Слепой, одинокий, лишенный свободы... Кто и что может отвлечь от терзающих меня угрызений совести? Никто... ничто... Когда призраки ненадолго перестают проноситься взад и вперед по черной завесе, стоящей у меня перед

глазами, начинаются другие муки... Это раздирающие душу мысли. Я говорю себе: «Останься я честным человеком, я бы сейчас был на свободе, я жил бы спокойно и счастливо, окруженный любовью и уважением своих близких... А вместо того я слеп и посажен на цепь в этом подземном узилище, я весь во власти моих прежних сообщников».

Увы! Сожаление об утраченном счастье — это первый шаг к раскаянию.

А когда к раскаянию присоединяется сознание искупления, жестокого и страшного искупления... которое переворачивает всю твою жизнь, превращая ее в бесконечную бессонницу, наполненную галлюцинациями, несущими возмездие, или размышлениями, исполненными отчаяния... тогда, быть может, человеческое прощение приходит на смену угрызениям совести и жажде искупления.

— Остерегись, старик! — закричал хромой мальчишка. — Ты повторяешь слова из чужой роли, из роли господина Моэссара... Мы их уже слыхали! Слыхали!

Но Грамотей не стал даже прислушиваться к выкрику сына Краснорукого.

— Тебя удивляет, что ты слышишь от меня

такие речи, Сычиха? Продолжай я упиваться воспоминаниями о своих кровавых преступлениях или о жизни на каторге, во мне так и не произошла бы столь благодетельная перемена. Я это хорошо понимаю. Но о чем мог я думать, когда сидел здесь, слепой, одинокий, терзаемый угрызениями совести, которые оживали во мне? О новых преступлениях? Но как их совершить? О побеге? Но как его осуществить? Ну, а если бы мне даже удалось бежать... куда бы я пошел?.. Что бы стал я делать, очутившись на воле?

Нет, отныне мне предстоит жить вечно в полном мраке, жить, мучась раскаянием и терзаясь из-за страшных, ужасных призраков, которые преследуют меня...

И тем не менее все-таки... слабый луч надежды... вдруг пронизывает окружающий меня мрак... минутный покой утишает мои страдания... Да... порою мне удается заклясть преследующих меня призраков, противополагая им воспоминания о моем честном и мирном прошлом, обращаясь мыслью к первой поре моей молодости, к моему детству...

Видишь ли, по счастью, даже самые закоренелые преступники могут, по крайней мере, припомнить несколько прожитых ими мирных

лет, когда они еще ни в чем не были повинны, и они могут противопоставить эти годы своим последующим годам, преступным и кровавым. Ведь никто не рождается злодеем... Даже люди самые порочные в детстве были еще чистыми и даже добрыми... они тоже знали сладостные дни, свойственные этому волшебному возрасту... Так что я, повторяю тебе, ощущаю горькое утешение, говоря себе: «Ныне я окружен всеобщим отвращением и ненавистью, но ведь было такое время, когда и меня любили, когда обо мне заботились, ибо я был добр и никому не причинял вреда...»

Увы! Когда мне это удается... я мысленно обращаюсь к далекому прошлому... ведь только в воспоминаниях о нем я нахожу некоторое утешение...

Последние слова Грамотей произнес гораздо менее грубым и резким тоном; этот неукротимый человек был, казалось, сильно взволнован. Затем он прибавил:

— Видишь ли, все эти мысли так благотворно влияют на меня, что ярость моя проходит... мужество... сила... стремление покарать тебя слабеет... нет, не стану я проливать твою кровь...

— Браво, старик! Вот видишь, Сычиха, он угрожал тебе понарошку!.. — закричал Хромуля,

хлопая в ладоши.

— Нет, не стану я проливать твою кровь, — снова повторил Грамотей, — ведь это было бы опять убийство... а с меня хватит и трех призраков... а потом, как знать?.. Быть может, однажды и ты тоже раскаешься?

Говоря все это, Грамотей машинально чуть-чуть разжал руки, что дало Сычихе известную свободу движений.

Она немедленно воспользовалась этим, схватила кинжал, который спрятала после попытки убить Сару за корсажем, и нанесла сильный удар Грамотею, чтобы избавиться от него.

Злодей испустил пронзительный крик от сильной боли.

Его свирепая ненависть к Сычихе, жажда мести, ярость, все кровожадные инстинкты внезапно пробудились в нем; он пришел в неистовство от этого неожиданного нападения, и ужасный взрыв гнева помутил его разум, который и так был поколеблен всем пережитым.

— Ах, ехидна!.. Я почувствовал твой ядовитый зуб! — завопил он голосом, дрожащим от бешенства, изо всех сил стиснув Сычиху, которая надеялась освободиться из его железных объятий. — Ты гнездилась в этом подвале... ползала по

нему?.. — прибавил он, уже не помня себя. — Но я сейчас раздавлю тебя... змея или сова... Ты, должно, ждала, когда появятся призраки... Да, да, кровь уже бешено стучит у меня в висках... в ушах стоит звон... голова идет кругом... они, верно, вот-вот появятся... Да, я не ошибся... Ох, вот и они... они приближаются из кромешного мрака. До чего они бледны... а их кровь течет и дымится... Тебя это пугает... ты вырываешься... Ну ладно! Будь спокойна, ты их не увидишь, этих призраков... нет... нет ты не увидишь их... мне тебя жаль... и я ослеплю тебя... И ты будешь, как и л, безглазой...

Грамотей ненадолго умолк.

Сычиха испустила такой чудовищный вопль, что хромой мальчишка подпрыгнул на каменной ступеньке и вскочил на ноги.

Отчаянные вопли Сычихи, казалось, усилили до предела слепую ярость Грамотея.

— Пой... — говорил он приглушенным голосом, — пой, Сычиха... пой свою песнь смерти!.. Ты должна быть счастлива, ты ведь больше не видишь призраков трех убитых нами людей... старичка с улицы Руль... женщины, которую мы утопили... торговца скотом... А я, я их вижу, они приближаются... они прикасаются ко мне... Ох! Как им, должно быть, холодно... Ах!..

Последние проблески разума угасли в этом злодее, их потушил его ужасающий крик, крик буйнопомешанного...

Теперь Грамотей больше ничего не говорил, он больше не рассуждал; он действовал и рычал как дикий зверь, отныне он подчинялся только свирепому инстинкту: он истреблял ради истребления!

В кромешном мраке подвала происходило что-то ужасное.

Оттуда доносился только странный топот, непонятное шарканье, время от времени его прерывал глухой шум, могло показаться, что ящик с костями ударяют о камень, и ящик этот, который пытаются расколоть, подпрыгивает и падает наземь.

И каждый удар сопровождался пронзительными, прерывистыми стонами и дьявольским хохотом.

Потом послышалось предсмертное хрипение... как видно, началась агония.

И после этого не слышно было ни стонов, ни воплей.

Лишь по-прежнему доносился непонятный яростный топот... глухие удары... какой-то хруст...

Но вскоре раздался далекий шум шагов и чей-то голос прозвучал под сводом, ведущим в подвал... В начале подземного прохода вспыхнули какие-то огоньки.

Оцепеневший от ужаса Хромуля, который оказался свидетелем мрачной сцены, разразившейся в подвале, — он при ней присутствовал, хотя и не видел ее, — заметил, что несколько человек с фонарями в руках торопливо спускаются по лестнице. В одну минуту в подвал ворвались несколько агентов сыскной полиции во главе в Нарсисом Борелем, следом за ними туда вбежали солдаты Национальной гвардии.

Хромого мальчишку схватили на первых ступеньках лестницы, ведущей в подвал, он держал в руке соломенную сумку Сычихи.

Нарсис Борель в сопровождении своих помощников первым вошел в подвал, где находился Грамотей.

Все они замерли на месте при виде отвратительного зрелища.

Прикованный цепью, охватывавшей его ногу, к огромному камню, лежавшему посреди подвала, Грамотей — ужасный, чудовищный, со всклокоченной гривой нечесаных волос, с длинной бородою, с пеною на губах, одетый в окровав-

ленные лохмотья, — кружил как бешеный зверь вокруг этого камня, волоча за обе ноги труп Сычихи, голова которой была страшно изуродована, разбита и расплющена. Только после долгой и яростной борьбы удалось вырвать у него из рук кровавые останки его сообщницы и после этого связать его самого.

Преодолев упорное сопротивление Грамотея, полицейским удалось перенести его в низкую залу кабачка Краснорукого, просторную полутемную залу, с одним-единственным окном.

В ней уже сидели в наручниках и под охраной Крючок, Николя Марсиаль, его мать и сестра.

Их арестовали в ту самую минуту, когда они набросились на г-жу Матье и пытались ее придушить.

Сейчас она приходила в себя в соседней комнате.

Лежавший на полу Грамотей, которого с трудом удерживали два агента сыскной полиции, был легко ранен в руку Сычихой; но он, видимо, окончательно помешался, ибо пыхтел и ревел как бык, которого собираются прикончить. Время от времени по его телу проходила судорога, и он приподнимался, вырываясь из рук державших его людей.

Крючок сидел, понурившись, его обычно бледное лицо было теперь свинцового цвета, губы побелели, свирепые глаза уставились в одну точку, длинные прямые и черные волосы падали на воротник синей блузы, разорванной, когда он пытался сопротивляться; он сидел на скамье, руки его, перехваченные в запястье стальными наручниками, неподвижно покоились на коленях.

Совсем юношеский вид этого негодяя (ему едва исполнилось восемнадцать лет), правильные черты его безбородого, однако уже испитого и порочного лица делали еще более отвратительной печать разврата и преступления, которой была уже отмечена его жалкая физиономия.

Он не шевелился и не произносил ни слова.

И невозможно было догадаться, говорила эта внешняя невозмутимость о подавленности или о хладнокровной энергии; он часто дышал и время от времени вытирал закованными руками холодный пот со лба.

Рядом с ним сидела Тыква; ее чепец был разорван, рыжеватые волосы, схваченные на затылке шнурком, свисали позади головы редкими и растрепавшимися прядями. Она была не столько подавлена, сколько разгневана, ее пожелтевшие и впалые щеки чуть порозовели; Тыква с пре-

зрением смотрела на брата, который в полной прострации сидел на стуле напротив.

Предчувствуя, какая его ждет судьба, этот разбойник ушел в самого себя, он повесил голову, колени его дрожали и стукались друг о друга, злодей был во власти ужаса; зубы его судорожно клацали, и он глухо стонал.

Одна только мамаша Марсиаль, вдова казненного, стоявшая прислонясь к стене, не утратила свойственной ей отваги. Высоко подняв голову, она смотрела вокруг себя твердо и непоколебимо; лицо ее, походившее на медную маску, не выражало ни малейшего волнения...

Однако, увидев Краснорукого, которого препроводили в ту же самую низкую залу, после того как он присутствовал при тщательном обыске, который комиссар полиции и его письмоводитель самолично произвели в доме, однако — повторим — при виде Краснорукого черты лица вдовы против ее воли исказились: небольшие глаза, обычно тусклые, загорелись, как у разъяренной гадюки; губы побелели, и она вытянула вперед закованные руки... Затем, словно пожалев об этом молчаливом выражении гнева и бессильной ярости, она подавила волнение, и на лице ее вновь появилось выражение холодного спокойствия.

Пока комиссар полиции с помощью письмоводителя составлял протокол, Нарсис Борель, довольно потирая руки, с удовлетворением поглядывал на захваченных им злоумышленников; эта важная акция избавляла Париж от шайки опасных преступников; вынужденный признать полезную роль, которую сыграл в этом деле Краснорукий, он не удержался и бросил на кабатчика выразительный взгляд, полный признательности.

Вплоть до суда отец Хромули должен был разделить участь выданных им людей и вместе с ними сидеть в тюрьме; как и все они, он был в наручниках; он даже больше, чем остальные дрожал, разумеется притворно, вид у него был подавленный, он изо всех сил гримасничал, стремясь придать своей лисьей мордочке выражение отчаяния, и временами испускал жалобные вздохи. Краснорукий то и дело обнимал Хромулю, как будто эти отцовские ласки приносили кабатчику некоторое утешение.

Хромоногий мальчишка был совершенно равнодушен к проявлениям родительской нежности: он только что узнал, что впредь до особого распоряжения ему предстоит отправиться в тюрьму для малолетних преступников.

— Ох, какое это горе — расстаться с моим милым сынишкой! — восклицал Краснорукий, притворяясь разнеженным и растроганным. — Оба мы несчастнее всех, мамаша Марсиаль... ибо нас разлучают с нашими детьми.

Вдова не могла дольше сохранять хладнокровие; она не сомневалась в том, что их предал именно Краснорукий, она это заранее предчувствовала и поэтому крикнула:

— Я знала, что это ты продал моего сына, который сейчас в Тулоне... Вот тебе, Иуда!.. — При этих словах она плюнула в лицо кабатчику. — А теперь ты продаешь нас, наши головы... Ну и пусть! Пусть все поглядят на то, как надо умирать... на то, как умирают настоящие Марсиали!

— Да... мы не испугаемся Курносой, — прибавила Тыква, охваченная диким возбуждением.

Вдова с уничтожающим презрением взглянула на Николя и сказала дочери:

— Этот трус опозорит нас на эшафоте!

Несколько минут спустя вдова и Тыква в сопровождении двух агентов полиции сели в фиакр, который должен был доставить их в тюрьму Сен-Лазар.

Крючок, Николя и Краснорукий были препровождены в тюрьму Форс.

Грамотея отправили в камеру предварительного заключения при тюрьме Консьержери, где имелись помещения, куда временно помещали умалишенных.

Глава VIII.
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

... Дурные люди, которые причиняют зло другим, сами не знают, что оно часто оказывается более жестоким, чем им хотелось.

Шиллер.
Валленштейн, действие второе

Через несколько дней после того, как была убита г-жа Серафен, умерла Сычиха и в трактире Краснорукого была арестована шайка злоумышленников, Родольф пришел в дом семнадцать на улице Тампль.

Мы уже говорили о том, что, решив помериться хитростью с Жаком Ферраном, разоблачить его тайные преступления, принудить нотариуса их исправить и страшным образом покарать этого негодяя, если тот с помощью присущей ему ловкости и лицемерия сумеет избежать возмездия закона, Родольф приказал доставить в Париж из немецкой тюрьмы креолку — недостойную жену негра Давида.

Эта женщина, столь же красивая, сколько порочная, и столь же очаровательная, сколько опасная, прибыла в столицу накануне, получив предварительно подробные указания от фон Грауна.

Читатель уже знает из последнего разговора Родольфа с г-жой Пипле, что она весьма искусно предложила г-же Серафен взять Сесили в услужение вместо Луизы Морель; домоправительница нотариуса охотно приняла это предложение и обещала переговорить об этом с Жаком Ферраном, что она и сделала, всячески расхвалив Сесили своему хозяину утром того дня, когда ее самое утопили возле острова Черпальщика.

Родольф пришел для того, чтобы узнать, как прошло первое знакомство Сесили с нотариусом.

К своему величайшему удивлению, он, войдя в швейцарскую, обнаружил, что, хотя уже было одиннадцать часов утра, г-н Пипле еще лежит в постели, а Анастази стоит возле его ложа и собирается поить его каким-то отваром; привратник, однако, не шевелился и ничего не отвечал жене, его лоб и глаза были скрыты огромным хлопчатобумажным колпаком; решив, что муж еще не проснулся, Анастази задернула полог его кровати; обернувшись, она увидела Родольфа.

Немедля, по своей привычке, она стала навытяжку и поднесла свою левую ладонь к парику.

— Я вся к вашим услугам, лучший из моих жильцов, — сказала она. — Знаете, я совершенно потеряна, ошеломлена и нахожусь в полном изнеможении. В нашем доме такое творится... не говоря уж о том, что Альфред со вчерашнего дня не встает с постели.

— А что с ним такое?

— Об этом можно и не спрашивать!

— Но что все-таки случилось?

— Да все то же самое. Этот изверг все больше и больше терзает Альфреда, он сведет его с ума, у меня уже просто руки опускаются...

— Опять Кабрион?!

— Опять он.

— Да он просто сатана!

— В конце концов я в это поверю, господин Родольф: дело в том, что этот мерзавец все время угадывает, когда меня нет дома... Только я шагну за порог, а он уж тут как тут и подкрадывается к моему милому старичку, а тот-то ведь беззащитен, как малое дитя. Еще вчера, когда я уходила к нотариусу, к господину Феррану... Кстати, и там немало новостей.

— Ну, а что Сесили, — с живостью спросил Ро-

дольф, — я как раз и пришел осведомиться...

— Подождите, лучший из моих жильцов, не сбивайте меня; я должна столько... столько вещей вам рассказать... что, коли вы меня перебьете, я совсем запутаюсь.

— Хорошо... я вас слушаю.

— Прежде всего о том, что в нашем доме делается: представьте себе, арестовали тетку Бюрет.

— Это ту, что ссужает деньги под залог, она, кажется, на третьем этаже живет?

— Господи боже, она самая! У нее, видимо, было еще немало других занятий! Она ведь не просто процентщица была, а еще и темными делишками промышляла: краденое укрывала, ворованное покупала, закладов не возвращала, одних улещала да ублажала, других же развращала да совращала. И все-то у нее, у мошенницы, складно выходило! А всего хуже, что ее старого хахаля, Краснорукого-то, нашего главного квартиросъемщика, тоже под стражу взяли... Говорю вам, весь наш дом просто ходуном ходит, вот оно что!

— Краснорукого... тоже арестовали?

— Да, его прямо в собственном кабачке на Елисейских полях сцапали; там всех замели, даже его сыночка Хромулю, этого скверного колченогого мальчишку... Говорят, у него там кучу убийств

совершили, там целая шайка злодеев собиралась; Сычиху, одну из подружек тетки Бюрет, придушили, и, не подоспей вовремя полиция, они бы прикончили мамашу Матье, торговку бриллиантами, ту, что работу Морелю давала, этому бедняку... Видали, какие новости!

— Краснорукого взяли под стражу! Сычиху убили! — удивленно прошептал Родольф. — Эта ужасная старуха заслужила такой участи, по крайней мере, теперь бедняжка Лилия-Мария отомщена.

— Да, вот что у нас здесь произошло... не считая новой подлой выходки этого Кабриона, я вам сейчас расскажу, что проделал этот разбойник... Вы сами убедитесь, до чего он обнаглел! Когда арестовали тетку Бюрет и мы узнали о том, что наш главный квартиронаниматель Краснорукий тоже попался, я сказала моему дорогому старичку: «Сбегай-ка немедля к домовладельцу и сообщи ему, что Краснорукий угодил в тюрьму». Альфред и ушел. Часа через два он возвращается... ни жив ни мертв и дышит как загнанная лошадь.

— А что с ним произошло?

— Сейчас узнаете, господин Родольф! Представьте себе, шагах в десяти от нас тянется длинная белая стена; и вот мой старичок, выйдя

из дома, ненароком поглядел на эту стену... и что же он там увидел? Крупными буквами углем там было написано: «Пипле — Кабрион». Оба имени были соединены жирной чертой; эта черта, соединяющая моего Альфреда с этим проходимцем Кабрионом, больше всего задела моего старичка. Словом, надпись эта выбила его из колеи. Прошел он еще шагов десять, и что вы думаете? На больших воротах такая же надпись: «Пипле — Кабрион»! И опять между ними черная черта! Пошел он дальше, и вот, господин Родольф, чуть ли не на каждом шагу видит, что на домах, на воротах — повсюду красуются те же имена: Пипле и рядом — этот окаянный Кабрион! У бедного моего Альфреда просто искры из глаз посыпались! Ему казалось, что все прохожие оглядываются на него; от стыда он надвинул свою шляпу на лоб и на глаза. Затем он направился на бульвар, надеясь, что этот проходимец Кабрион писал свои гадости только на улице Тампль. Как бы не так!.. На домах, стоящих вдоль бульвара, везде, где только было можно, виднелась надпись: «Пипле — Кабрион до самой смерти»!! Наконец мой бедный Альфред с трудом доплелся до жилья владельца нашего дома, мой бедный муж был настолько не в себе, что целых четверть часа что-то

лепетал, бормотал, запинался и мямлил, стоя перед домовладельцем, который, понятно, ничего не понял из того, о чем говорил ему мой супруг; потеряв терпение, домовладелец обозвал моего старичка болваном и приказал ему прислать меня для объяснений. Ладно! Альфред вышел от него и направился домой уже другой дорогою: он не хотел больше видеть своего имени, начертанного на стенах рядом с именем Кабриона... Но не тут-то было!..

— Что? Ему опять попалась на глаза надпись: «Пипле — Кабрион»?

— Вы как в воду глядели, лучший из моих жильцов! И потому мой злополучный супруг вернулся домой ни жив ни мертв, он был до того растерян и подавлен, что решил бежать из страны. Когда он мне все рассказал, я, как могла, успокоила его и ушла, повела мадемуазель Сесили знакомиться с нотариусом... а уж потом я намеревалась заглянуть к нашему домовладельцу... И вы думаете, что на этом конец? Как бы не так! Не успела я выйти за дверь, как Кабрион, дожидавшийся, когда я уйду из дома, набрался нахальства и прислал сюда двух мерзавок, и эти наглые бабы принялись терзать Альфреда... Знаете, у меня просто волосы дыбом встают... но я вам немного

погодя все расскажу... а теперь лучше покончим с нотариусом.

Стало быть, я села в фиакр с мадемуазель Сесили, как вы мне посоветовали... Она была в своем красивом костюме немецкой крестьяночки; я собиралась сказать господину Феррану, что она в нем приехала и у нее не было времени купить себе другое платье.

Хотите верьте, хотите нет, господин Родольф, но я повидала на своем веку немало красивых девиц; да я и сама в пору ранней молодости была хоть куда, но я никогда не встречала девицы — я и о себе молодой говорю, — которой Сесили не могла бы дать сто очков вперед... Самое главное, во взгляде ее огромных черных глаз, этих дьявольских глаз... есть что-то... есть что-то... словом, что-то эдакое непонятное, но, можно сказать наверняка, взгляд этот сражает тебя наповал... Ну и глазищи у нее!

Вот что я вам скажу: мой Альфред — вне подозрения! Но, когда она в первый раз на него поглядела, он стал красный, как свекла, бедный мой старичок!.. И потом целый час ерзал на стуле, как будто на крапиве сидел; а потом он мне признался, что уж и сам не знает почему, но взгляд Сесили напомнил ему о тех диких историях,

какие ему рассказывал этот бесстыжий Брадаманти, вгоняя в краску моего добродетельного старичка, моего застенчивого Альфреда...

— Ну а что нотариус? Что нотариус?

— Я как раз об этом-то и хочу вам рассказать, господин Родольф. Приехали мы к господину Феррану часов в семь вечера; я попросила привратника передать его хозяину, что пришла госпожа Пипле со служанкой, о которой ему, должно быть, говорила госпожа Серафен, она-то и велела с нею прийти. И тут привратник тяжко вздыхает и спрашивает меня, знаю ли я о том, что приключилось с госпожой Серафен? Я говорю, что ничего про это не знаю... Ах, господин Родольф, вот вам еще одна потрясающая история!

— А что именно произошло?

— Серафенша поехала за город с какой-то своей родственницей и потонула.

— Утонула?.. Отправилась за город зимой?! — спросил с удивлением Родольф.

— Господи боже, господин Родольф, говорю вам, что она потонула... И меня это скорее удивляет, чем огорчает; ведь после беды, что случилась с бедняжкой Луизой, на которую Серафенша донесла, я ее, эту Серафеншу, терпеть не могла! Так что, признаюсь, я сказала себе: «Она потонула, туда ей

и дорога! Она потонула... ну и что?.. Я из-за этого не помру...» Уж такая я есть!

— А что господин Ферран?

— Привратник сперва сказал мне, что вряд ли я смогу повидать его хозяина, но все же попросил меня обождать у него в швейцарской; а через минуту он явился за мной; мы прошли двором и потом оказались в какой-то комнате на первом этаже.

Там догорала восковая свеча, больше никакого света не было. Сам нотариус сидел в углу, возле очага, где чадили полупотухшие головешки... Прямо не комната, а берлога! Я прежде никогда не видала господина Феррана... Боже правый! До чего ж он дурен! Если бы такой, как он, предложил бы мне трон в Аравии, лишь бы я согласилась наставить рога моему Альфреду...

— А как вам показалось, нотариус был поражен красотою Сесили?

— Разве что поймешь по его лицу, когда он в зеленых очках... Но такой старый святоша вряд ли хорошо разбирается в женщинах. Однако, когда мы обе вошли в комнату, он вроде бы подскочил на стуле; верно, удивился при виде эльзасского костюма Сесили: потому как она в своих коротких юбочках и синих чулках с красными стрелками,

облегавших ее стройные ножки, походила на крестьянок, что торгуют метелочками, только она в тысячу раз лучше! Черт побери, какие у нее икры!.. А точеные щиколотки!.. А крошечные ступни!.. Словом, нотариус при виде ее просто оторопел.

— Должно быть, его поразил причудливый костюм Сесили?

— Надо думать! Но приближалась решающая минута. Хорошо, что я припомнила то изречение, о котором вы мне как-то говорили, это меня и выручило.

— О каком изречении идет речь?

— Помните, вы сказали: «Если один чего-нибудь хочет, другой нипочем не согласится, а если один чего-либо не хочет, другой непременно сделает». И тогда я сама себе сказала: «Надо мне помочь лучшему из моих жильцов избавиться от его немки, уговорив хозяина Луизы. Ладно, смелее! Надо только хорошенько притвориться». И вот, не дав нотариусу дух перевести, я ему и говорю:

«Вы уж нас простите, сударь, за то, что моя племянница одета так, как в ее краях одеваются; но она только приехала, другого наряда у нее нет, а мне не на что ей другое платье купить, тем более что и смысла нет. Мы и пришли к вам только

потому, что вы госпоже Серафен сказали, будто согласны повидать Сесили, потому как я о ней хорошо отзывалась. Но только я не думаю, что Сесили вам подойдет».

— Очень хорошо, госпожа Пипле, — заметил Родольф.

«Почему это ваша племянница мне не подойдет?» — спросил нотариус: он по-прежнему сидел в углу возле очага и смотрел на нас поверх очков.

«Потому что Сесили уже начала скучать по родным местам, сударь. Она здесь всего третий день, а уже хочет вернуться назад, говорит, что согласна даже просить милостыню на большой дороге, торгуя метелочками, как ее односельчанки».

«А вы, ее родственница, согласитесь на это?» — спросил меня нотариус.

«Так-то оно так, сударь, я и вправду ей родня; но только она хоть и сирота, но ей уже двадцать лет, и она вольна поступать как ей вздумается».

«Полноте! Вольна поступать как ей вздумается! В ее возрасте надо слушаться родных», — резко сказал господин Ферран.

И тут Сесили принялась хныкать, вся дрожа, она прижалась ко мне: как видно, нотариус нагнал на нее страху...

— А что же господин Ферран? — спросил Родольф.

— Он все что-то бормотал, а потом сказал ворчливым голосом: «Покинуть на произвол судьбы девицу в таком возрасте, да это значит — желать ее гибели! Хорошенький выход придумали: пусть, мол, она возвращается в Германию, прося милостыню по дорогам! И вы, ее тетка, соглашаетесь на это?..»

«Хорошо, хорошо! — сказала я про себя. — Ты сам лезешь вперед, скряга, уж теперь-то я всучу тебе Сесили, не будь я Анастази Пипле!»

«Я и вправду ей тетка, — ответила я тоже ворчливо, — но меня родство с ней не радует, у меня и без нее хлопот полон рот! По мне, уж лучше, чтоб она вернулась восвояси, не будет у меня на шее сидеть. Черт бы побрал родственников, которые присылают нам такую вот взрослую девицу, не научив ее, как надо жить!»

И тут Сесили, которая вроде бы что-то хотела сказать, вдруг залилась слезами... А нотариус прочистил горло, как проповедник, и громко заговорил:

«Вы отвечаете перед господом богом за эту девицу, которую провидение вручило вам как дар, и будет преступлением толкнуть ее на гибельный

путь! Я согласен помочь вам в богоугодном деле: если ваша племянница пообещает мне быть работящей, честной и богобоязненной, особенно если она твердо пообещает никогда и ни под каким видом не отлучаться из дому, я тогда проявлю к ней жалость и возьму ее к себе в услужение».

«Нет, нет, лучше уж я вернусь домой», — проговорила сквозь слезы Сесили.

«Да, ее опасное коварство по-прежнему при ней... — подумал Родольф. — Вот адское создание! Но я вижу, что она превосходно поняла то, что ей наказывал барон фон Граун».

Вслух принц спросил:

— А что, господин Ферран был, верно, недоволен упрямством Сесили?

— Да, господин Родольф; он сперва что-то пробурчал, а потом резко сказал:

«Дело не в том, что вы считаете для себя лучшим, мадемуазель, вы должны поступать так, как должно, и делать то, что приличествует. Господь бог не оставит вас, если вы будете вести себя достойно и станете исполнять все религиозные обряды. Жить вы будете в моем доме, дом этот весьма строгий, но богобоязненный; если тетушка вас в самом деле любит, она воспользуется моим предложением; сначала я вам положу

скромное жалованье, но, если вы своим благонравием и рвением заслужите большего, позднее, быть может, я его увеличу».

«Дело идет на лад! — сказала я себе. — Наш нотариус попался. Вот я и всучила тебе Сесили, старый скряга, бессердечный старик! Ведь Серафенша сколько лет у тебя служила, а ты даже и не вспоминаешь о том, что она только позавчера потонула...» А вслух я сказала:

«Спору нет, сударь, место у вас завидное, но что поделаешь, коли девчонка по родным краям скучает...»

«Поскучает и перестанет, — говорит мне в ответ нотариус. — Ну вот что, решайтесь... говорите прямо: «да» или «нет»? Ежели вы согласны, приводите ко мне завтра вашу племянницу в это же время, и она тотчас же поступит ко мне в услужение... Привратник объяснит ей все, что надо будет делать... Ну а что до жалованья, то я на первых порах положу ей двадцать франков в месяц, и питаться она здесь будет».

«Ах, сударь, накиньте хотя бы еще пять франков!..»

«Нет, там видно будет... Если я буду ею доволен, тогда поглядим... Но только я вас заранее предупреждаю, что племянница ваша никуда из дому

выходить не будет, и к ней пусть никто сюда не является».

«Ох ты, господи! Да кто к ней может сюда прийти, господин хороший? Кроме меня, она никого в Париже не знает, а мне надо дом сторожить; я и так с трудом освободилась, чтобы ее к вам привести; так что вы и меня здесь больше не увидите, она теперь для меня как посторонняя будет, вроде бы она и не приезжала в Париж из своей стороны. Ну а чтоб она никуда из дому не выходила, то это проще простого: пусть она и дальше щеголяет в своем эльзасском костюме, в таком виде она не посмеет выйти на улицу».

«Вы совершенно правы, — говорит мне в ответ нотариус. — А к тому же вполне благопристойно для юной девицы быть одетой так, как одеваются у нее на родине... Пусть она остается одетой, как и положено эльзаске».

«Ну вот что, — сказала я Сесили, которая, понурившись, продолжала хныкать, — надо тебе решаться, моя милая: хорошее место в таком почтенном доме не каждый день найдешь; ну а коли ты откажешься, тогда устраивайся как хочешь, я больше твоими делами заниматься не стану».

И тут Сесили с тяжелым вздохом, скрепя сердце

отвечает, что она согласна остаться в доме у нотариуса, но, если и через две недели ее будет точить тоска по родным краям, она уйдет и вернется восвояси.

«Я вас силком удерживать не намерен, — говорит господин Ферран, — мне нетрудно подыскать себе служанку. Вот вам задаток, и пусть ваша тетушка приведет вас сюда завтра вечером».

Сесили продолжала хныкать. Я взяла у нотариуса задаток для нее: этот старый скаред дал всего сорок су, и мы возвратились сюда.

— Превосходно, госпожа Пипле! — воскликнул Родольф. — Я своего обещания не забыл, вот обещанные вам деньги за то, что вы пристроили эту злополучную девицу и избавили меня от забот о ней.

— Подождем до завтрашнего вечера, лучший из моих жильцов, — сказала г-жа Пипле, не беря протянутые ей Родольфом деньги, — а ну, как господин Ферран возьмет да и передумает, когда я завтра вечером приведу к нему Сесили...

— Не допускаю, что он вдруг передумает, — возразил Родольф. — Кстати, а где сейчас Сесили?

— Сидит в комнате, что находится рядом с квартирой отставного майора; она, как вы ей наказали, никуда не выходит; на вид она такая

послушная, что твоя овечка, хотя глаза у нее... Ах! Какие у нее глаза!.. Да, кстати, об этом майоре, вот уж, доложу вам, каверзник, каких мало! Он тут сюда заявился, когда его мебель перевозили, и сказал мне, что если будут приходить письма на имя госпожи Венсан, то это письма для него и надо их переслать ему на улицу Мондови, в дом номер пять. Хороша птица! Каков хитрец: велит писать ему на имя какой-то женщины!.. Но это еще не все, у него хватило нахальства спросить у меня, куда делись его дрова!.. «Ваши дрова?! Может, вы еще спросите, куда подевалась ваша роща?» — переспросила я. Ну да, после него и вправду остались две жалких повозки дров... но каких дров? Почти все сырые да трухлявые, ведь этот скупердяй сухих дров почти не покупал, деньги берег!.. А еще кочевряжится! «Мои дрова»! А я ему и выложила: «Сожгла я ваши дрова, чтобы ваши пожитки не отсырели! Коли бы не я, на вашей расшитой ермолке шампиньоны выросли, да и на вашем халате зеленом тоже, на том самом, в каком вы часто щеголяете, ожидая свою дамочку, да только напрасно наряжались, она ведь насмехалась над вами...»

Глухой и жалобный стон Альфреда заставил г-жу Пипле прервать свою речь.

— Вот мой милый старичок голос подает, должно, проснулся... Вы позволите мне к нему подойти, лучший из моих жильцов?

— Разумеется... Но потом я хочу еще кое о чем вас спросить...

— Ну, как ты себя чувствуешь, милый? — спросила г-жа Пипле у мужа, отодвигая полог. — Видишь, вот и господин Родольф, он уже знает о новой гнусной выходке Кабриона и от всего сердца жалеет тебя.

— Ах, сударь! — воскликнул привратник, с трудом поворачивая голову и глядя на Родольфа. — На сей раз мне не оправиться, изверг поразил меня в самое сердце. Надо мной теперь насмехается весь Париж... На стенах чуть ли не всех домов столицы можно прочесть мое имя... соединенное с именем этого негодяя. Всюду написано «Пипле — Кабрион», и наши имена соединяет жирная черта... Понимаете, сударь... длинная и жирная черта... Подумать только; в глазах жителей столицы Европы я... мое имя теперь нераздельно с именем этого окаянного озорника!

— Господин Родольф об этом уже знает, но чего он не знает так это твоего вчерашнего приключения с теми двумя здоровенными девками, этими мерзавками!

— Ах, сударь, — заговорил Альфред жалобным тоном, — этот изверг приберег напоследок самую чудовищную гнусность, она уже переходит все границы.

— Послушайте, любезный господин Пипле, расскажите-ка мне подробнее о вашей новой беде.

— Все, чем он меня до сих пор донимал, не идет ни в какое сравнение с этой его выходкой... Он, сударь, дошел до предела... Он прибегнул к самым постыдным приемам... Не знаю, хватит ли у меня сил рассказать обо всем вам... Смущение, стыд будут останавливать меня на каждом шагу.

Господин Пипле с трудом приподнялся на своем ложе, стыдливо прикрыл грудь отворотами своего шерстяного жилета и начал свой рассказ такими словами:

— Супруга моя перед этим куда-то вышла; я был поглощен горестными размышлениями по поводу того, что мое имя было опозорено — ведь оно написано рядом с именем этого негодяя на стенах чуть ли не всех домов столицы; и вот, чтобы немного отвлечься, я принялся подбивать подметки на паре сапог — я уже раз двадцать брался за них и откладывал в сторону из-за того, что мой палач постоянно преследовал меня. Я присел к столу и вдруг увидел, что дверь швей-

царской отворяется и входит какая-то женщина.

Она была в плаще с капюшоном; я из учтивости приподнялся со стула и поднес ладонь к своему цилиндру. И в эту минуту вторая женщина, на которой тоже был плащ с капюшоном, входит в швейцарскую и запирает за собой дверь.

Немного удивленный такой бесцеремонностью, а также тем, что обе женщины хранили полное молчание, я снова встаю со стула и впять подношу ладонь к шляпе... И тут, сударь, нет, нет, я никогда не решусь продолжать... Моя стыдливость восстает против этого...

— Послушай, старый святоша... мы ведь тут все мужчины... рассказывай дальше.

— И тогда, — вновь заговорил Альфред, красный как рак, — их плащи внезапно падают на пол, и что я вижу? Передо мной стоят не то сирены, не то нимфы, безо всякой одежды, если не считать туники из листьев, с венками, тоже из листьев на голове; я просто окаменел. И тогда они обе приближаются, протягивают ко мне руки, чтобы обнять меня и ввергнуть...[118]

— Мерзавки! — вспылила Анастази.

— Заигрывание этих бесстыдниц, — продолжал

---

[118] Notes: 118

То были две танцовщицы из театра Порт-Сен-Мартен, приятельницы Кабриона, в балетных трико.

привратник, охваченный целомудренным негодованием, — глубоко возмутило меня; и, следуя своей привычке, которой я неизменно придерживаюсь во всех самых трудных обстоятельствах моей жизни, я сидел не шевелясь на своем стуле; и тогда, воспользовавшись тем, что я словно бы остолбенел, обе сирены, шагая точно под музыку, стали приближаться ко мне, дрыгая ногами и описывая в воздухе круги руками... Я по-прежнему сидел не шелохнувшись. А они подошли ко мне совсем вплотную и... обняли меня.

— Мерзавки... Вздумали обнимать человека в летах, да к тому же еще и женатого! — возмутилась Анастази. — Ах, будь я при этом... с метлою в руках... я бы им показала, как ходят под музыку и дрыгают ногами... Потаскухи несчастные!

— Когда я почувствовал, что они меня обнимают, — продолжал Альфред, — у меня кровь в жилах остановилась... Мне показалось, что я умираю... И тут одна из сирен... самая нахальная, такая высокая блондинка, склонилась ко мне на плечо, сорвала с меня шляпу и обнажила мне голову, все это она проделала, приплясывая и описывая круги руками. А ее подружка, ее сообщница, вытащила из-под окутывавшей ее листвы ножницы, собрала в толстую прядь волосы, те,

что еще росли у меня на затылке, и все их обрезала, слышите, сударь, все, без остатка... и тоже при этом приплясывала; а потом она пропела, притоптывая ногой: «Это — для Кабриона... Это — для Кабриона!»

Наступила пауза, прерываемая жалобными вздохами привратника. Потом он продолжал свой рассказ:

— Наглое насилие надо мной продолжалось... я в отчаянии поднял глаза и увидел, что к застекленной двери швейцарской снаружи прижалась адская физиономия Кабриона: на голове у него была остроконечная шляпа, а козлиная его бородка чуть растрепалась... И он смеялся, смеялся... Он был до того противный! Чтобы не видеть этой отвратительной образины, я прикрыл глаза... А когда я их снова открыл, все исчезло... Я по-прежнему сидел на стуле... с обнаженной головою и совсем без волос! Вы теперь сами видите, сударь, что Кабрион этот с помощью коварства добился своей цели. Сколько он при этом выказал упорства и наглости, к каким средствам прибегал! Боже правый... И этот человек пытался выдать меня за своего друга!.. Сперва он написал тут на вывеске, будто мы оказываем дружеские и прочие услуги. Но, не довольствуясь этим... он

добился того, что ныне наши имена красуются рядом — он соединил их жирной чертой — чуть ли не на всех домах столицы. И теперь в Париже не осталось ни одного человека, который может усомниться в том, что меня связывает тесная дружба с этим проходимцем; мало того, негодяй пожелал завладеть моими волосами, и он их получил... все до последнего волоска, они достались ему благодаря плутовству этих бесстыжих сирен. И теперь, сударь, сами видите, что мне остается только одно: покинуть Францию... мою прекрасную Францию... где я надеялся всегда жить и умереть.

С этими словами Альфред откинулся на спину и в отчаянии сложил руки.

— Напротив, милый мой старичок! — воскликнула г-жа Пипле. — Теперь, заполучив твои волосы, изверг оставит тебя в покое.

— Оставит меня в покое! — возопил привратник, судорожно подскочив в постели. — Да ты плохо его знаешь, он ведь ненасытен. Кто может догадаться, чего еще ему понадобится от меня?

На пороге привратницкой показалась Хохотушка; ее появление прервало поток жалоб г-на Пипле.

— Не входите, пожалуйста, мадемуазель! —

крикнул г-н Пипле, сохраняя верность своей целомудренной чувствительности. — Я лежу в постели, в ночном белье.

Сказав это, привратник натянул простыню до самого подбородка. Хохотушка послушно остановилась на пороге.

— А я как раз собирался зайти к вам, соседка, — сказал Родольф, обращаясь к девушке. — Будьте добры минуту подождать меня. — Затем, повернувшись к Анастази, он прибавил: — Не забудьте, пожалуйста, отвести Сесили к господину Феррану.

— Будьте спокойны, лучший из моих жильцов, в семь часов вечера она будет уже на месте. Теперь ведь жена Мореля уже выходит из комнаты, я попрошу ее постеречь в мое отсутствие швейцарскую: Альфред отныне не захочет ни за какие коврижки остаться один.

Глава IX.
СОСЕД И СОСЕДКА

Розовое личико Хохотушки с каждым днем бледнело все больше; ее прелестная мордашка, до сих пор такая свежая и круглая, теперь начала мало-помалу удлиняться; пикантная физиономия Хохотушки, обычно такая оживленная и сияющая, стала еще серьезнее и печальнее с того дня, когда гризетка повстречалась с Лилией-Марией у ворот тюрьмы Сен-Лазар.

— Как я рада вас видеть, сосед, — сказала девушка Родо-льфу, когда они вышли из швейцарской г-жи Пипле. — Знаете, мне надо вам столько рассказать.

— Прежде всего, соседка, скажите, как вы себя чувствуете? Сейчас поглядим внимательно на ваше красивое личико... по-прежнему ли оно румяно и весело? Увы, нет! Я вижу, что вы сильно побледнели... Не сомневаюсь, что вы слишком много работаете...

— О нет, господин Родольф, поверьте, я уже теперь приноровилась к тому, что приходится больше трудиться... А вид у меня такой просто

от горя. Господи боже, ведь всякий раз, как я повидаю бедного Жермена, я грущу все сильнее и сильнее.

— Он что, все так же подавлен?

— Еще больше, чем прежде, господин Родольф. И самое прискорбное вот что: все, что я делаю для того, чтобы его утешить, обращается против меня... такая уж у меня судьба. — При последних словах слезы заволокли большие черные глаза Хохотушки.

— Объясните мне все подробнее, соседка.

— Ну вот, к примеру, вчера: я пошла повидать его и захватила с собой книгу, он просил меня, раздобыть ее, потому что это — роман, мы его вместе читали в радостные дни, когда были соседями. И вот при виде этой книги Жермен залился слезами... меня это не удивляет, это так понятно. Конечно же!.. Он вспомнил о тех мирных и таких чудесных вечерах, которые мы проводили в моей уютной комнатке, сидя вдвоем у камелька, и мысленно сравнил их со своей ужасной жизнью в тюрьме... Бедный Жермен, как все это жестоко!

— Успокойтесь, милая соседка, — сказал Родольф молодой девушке. — Я вам уже говорил, что, когда Жермен выйдет из тюрьмы и его невиновность будет всеми признана, он встретится со

своей матерью и друзьями и очень скоро забудет — рядом с ними и с вами — о той поре, когда он подвергался тяжким испытаниям.

— Я понимаю, господин Родольф, но покамест он так терзается. И потом, это еще не все...

— А что же еще?

— Дело в том, что он ведь единственный порядочный человек среди всех этих злоумышленников, и они его терпеть не могут, потому что он не хочет с ними водиться. Надзиратель, который сторожит в приемной зале, а он очень славный человек, сказал мне, что надо убедить Жермена не держаться так гордо, это, мол, в его собственных интересах... Он должен сблизиться с этими злодеями, пусть постарается... но только Жермен того не может, это, как говорится, сильнее его, и я вся дрожу, боюсь, что они со дня на день могут дурно с ним обойтись... — Хохотушка внезапно остановилась, смахнула слезу и прибавила: — Но что это я, все о себе да о себе? Совсем забыла, что хотела поговорить с вами о Певунье.

— О Певунье? — с удивлением спросил Родольф.

— Позавчера, когда я ходила навестить Луизу в тюрьме Сен-Лазар, я ее встретила.

— Кого? Певунью?

— Да, господин Родольф.

— В тюрьме Сен-Лазар?

— Она выходила из ворот с какой-то старой дамой.

— Быть того не может! — воскликнул пораженный Родольф.

— Уверяю вас, сосед, что это была именно она.

— Должно быть, вы ошиблись.

— Нет, нет! Хоть она и была одета как крестьянка, я ее тотчас узнала; она по-прежнему красивая, только бледная, и вид у нее такой же милый и грустный, как прежде.

— Стало быть, она в Париже... А я об этом не знаю! Нет, не могу этому поверить. А что она делала в тюрьме Сен-Лазар?

— Верно, как и я, пришла кого-нибудь проведать; я не успела ее подробнее расспросить; старая дама, что с ней была, такая брюзга и все куда-то торопилась... Значит, вы ее тоже знаете, нашу Певунью, господин Родольф?

— Разумеется.

— Выходит, больше сомневаться ни к чему, значит, она мне именно с вас говорила.

— Обо мне?

— Да, о вас, сосед. Представьте себе, когда я ей рассказала о беде, что стряслась с Луизой и Жер-

меном, такими добрыми и такими честными, которых преследует этот злющий Жак Ферран, — конечно, я удержалась и не сказала ей, что вы ими обоими интересуетесь, так как вы мне запретили об этом говорить, — так вот, Певунья мне объявила, что если бы одна великодушная особа, с которой она, Певунья, знакома, узнала бы о злосчастной и незаслуженной судьбе бедных моих узников, то особа эта наверняка пришла бы им на помощь. А я у нее спросила, как имя этой особы, в ответ она назвала ваше имя, господин Родольф.

— Тогда это она, именно она...

— Сами понимаете, мы обе были очень удивлены таким открытием, вернее сказать, сходством имен; и потому мы пообещали написать друг дружке, одного ли того же Родо-льфа мы знаем... И сдается, что вы, сосед, один и тот же Родольф.

— Да, я интересовался судьбой этой бедной девочки... Но то, что вы мне рассказали, то, что вы встретили ее в Париже, так меня поразило, что, если бы вы не привели мне таких подробностей о вашей встрече с нею, я по-прежнему считал бы, что вы заблуждаетесь... Однако прощайте, соседка... то, что я узнал от вас о Певунье, заставляет меня откланяться... Оставайтесь и дальше

столь же осторожной, никому не говорите о том, что неизвестные друзья в свой срок окажут покровительство и Луизе и Жермену. Эту тайну необходимо сохранять сейчас больше, чем когда-либо раньше. Кстати, а как поживает семейство Мореля?

— Все он» чувствуют себя с каждым днем лучше, господин Родольф, сама госпожа Морель уже поднялась на ноги, а дети просто на глазах поправляются. Все они обязаны вам своим благополучием, да и самой жизнью... Вы были так щедры к ним, так великодушны!.. А как себя чувствует сам Морель, как его здоровье?

— Гораздо лучше... Как раз вчера я справлялся о нем; время от времени у него наступает просветление, и теперь появилась твердая надежда, что его вылечат от безумия... Мужайтесь, милая соседка, и до скорого свидания... Вы ни в чем не нуждаетесь? Вам хватает тех денег, что вы зарабатываете?

— О да, господин Родольф; я ведь прихватываю теперь часть ночи, и мне это совсем не трудно, ведь я все равно почти не сплю.

— Увы, бедная вы моя! Боюсь, что папа Пету и Рамонетта не слишком много поют, если они ждут, чтобы вы первая запели...

— Вы не ошибаетесь, господин Родольф; я и мои пташки, мы теперь совсем не поем. Господи, вы, пожалуй, станете надо мной смеяться, господин Родольф, но все равно я скажу: по-моему, они понимают, что мне так грустно!.. Да, и они теперь не встречают меня веселым щебетаньем, а встречают теперь такой нежной, такой жалобной трелью, как будто хотят утешить меня. Не правда ли, я просто сумасшедшая, что этому верю, господин Родольф?

— Вовсе нет. Я уверен,. что птички — ваши добрые друзья, и они вас так любят, что замечают ваше горе.

— И то правда, мои милые маленькие пташки такие умные! — простодушно сказала Хохотушка, очень обрадовавшись, что сосед поддержал ее веру в то, что канарейки, скрашивающие ее одиночество, так умны и прозорливы.

— Тут сомнений быть не может: чувство признательности всех делает умнее. А теперь прощайте... Вернее, до скорого свидания, соседка, надеюсь, уже недалек тот день, когда ваши красивые глаза опять станут веселыми, такими веселыми, что папе Пету и Рамонетте нелегко будет за вами угнаться.

— Как хорошо, если это окажется правдой,

господин Родольф! — воскликнула Хохотушка, подавив тяжкий вздох. — Прощайте же, сосед.

— Прощайте, соседка, до скорой встречи.

Родольф никак не мог уразуметь, почему г-жа Жорж, не предупредив его, отвезла в Париж Лилию-Марию или позволила девушке поехать туда одной: он спешил возвратиться к себе, чтобы послать нарочного в Букеваль.

В ту минуту, когда принц очутился на улице Плюме, он увидел, что у дверей его особняка остановилась почтовая карета: это вернулся из Нормандии Мэрф.

Эсквайр поехал туда, как мы уже говорили, для того, чтобы разрушить зловещие планы мачехи г-жи д'Арвиль и ее сообщника Брадаманти.

Глава X.
МЭРФ И ПОЛИДОРИ

Лицо у сэра Вальтера Мэрфа сияло. Выйдя из кареты, он отдал слугам принца пару пистолетов, снял свой длинный дорожный сюртук и, не тратя времени на то, чтобы переодеться, последовал за Родольфом, который, не скрывая нетерпения, направился в свои апартаменты.

— Хорошие новости, ваше высочество, хорошие новости! — воскликнул эсквайр, оставшись вдвоем с Родольфом. — С негодяев сорвана маска, господин д'Орбиньи спасен... Вы вовремя послали меня туда... Опоздай я всего на час, и новое преступление совершилось бы!

— А как госпожа д'Арвиль?

— Она просто светится от радости, что вновь обрела нежную привязанность отца, она несказанно рада, что, последовав вашим советам, прибыла вовремя для того, чтобы вырвать его из лап неминуемой смерти.

— Стало быть, Полидори...

— Был и на этот раз достойным сообщником мачехи госпожи д'Арвиль. Но какое чудовище

эта мачеха! А как хладнокровна!.. Как дерзка!.. Ну а уж этот Полидори!.. Ах, ваше высочество, вы как-то сказали, что хотите поблагодарить меня за то, что вы именуете доказательствами моей преданности вам...

— Я всегда говорил о доказательствах твоей дружбы, мой славный Мэрф...

— Так вот, ваше высочество, никогда, никогда еще моя дружба к вам не подвергалась более трудному испытанию, чем в сложившихся там обстоятельствах, — сказал эсквайр полусерьезным и полушутливым тоном.

— Что ты хочешь этим сказать?

— То, что я щеголял в костюме угольщика, то, что я претерпел, бродя по улицам Сите, и tutti quanti[119] мои деяния — ничто, просто ничто, ваша светлость, по сравнению с той поездкой, какую я только что совершил в обществе этого окаянного Полидори.

— Что я слышу? В обществе Полидори?..

— Да, я привез его с собой...

— Привез с собой?

— Вот именно... Судите сами, какой у меня был спутник... Целых двенадцать часов мне пришлось

---

[119] Notes: 119
Все остальные (ит.).

пробыть рядом с человеком, которого я презираю, которого я ненавижу больше, чем кого-либо другого на свете. Уж лучше путешествовать в обществе змеи... самой ненавистной для меня твари.

— А где Полидори сейчас?

— Он в доме на аллее Вдов... под хорошей и надежной охраной...

— И что же, он не противился и послушно поехал с тобой?

— Нет, совсем не противился... Я предоставил ему выбор: быть на месте арестованным французскими властями или стать моим узником на аллее Вдов. Он без колебаний предпочел второе.

— Ты совершенно правильно поступил, лучше, чтобы он был тут, у нас под руками. Ты просто золотой человек, мой милый старый Мэрф... Но расскажи мне о своей поездке. Мне не терпится узнать, как тебе удалось изобличить эту недостойную женщину и ее столь же недостойного сообщника.

— Это оказалось куда как просто: я лишь в точности следовал вашим указаниям, и мне удалось устрашить и раздавить этих гнусных людишек. В сложившихся обстоятельствах вы, ваше высочество, как всегда, были на высоте: вы спасли людей

порядочных и покарали злодеев. Поистине вы подобны благодетельному провидению!..

— Сэр Вальтер, сэр Вальтер, вспомните о льстивых речах барона фон Грауна, — сказал Родольф улыбаясь.

— Ладно, пусть так, ваше высочество. Я приступаю к рассказу, а еще лучше будет, если вы соблаговолите сначала прочесть вот это письмо маркизы д'Арвиль, из него вы узнаете обо всем, что произошло до моего приезда, который привел в полное замешательство Полидори.

— Где это письмо? Давайте его сюда скорее.

Мэрф вручил Родольфу письмо маркизы и прибавил:

— Как было между нами условлено, я не стал провожать госпожу д'Арвиль в дом ее отца, а слез раньше и остановился в гостинице, вернее, на постоялом дворе, он находится в нескольких шагах от замка: там я должен был дожидаться часа, когда понадоблюсь госпоже маркизе.

Родольф с нетерпением и нежным вниманием принялся за чтение письма. Вот что в нем было написано:

«Ваше высочество!

Я и так у вас в неоплатном долгу, от-

ныне я вам обязана еще и жизнью моего отца!..

Я буду излагать только факты; они вам скажут лучше меня, как безмерна моя благодарность вам, она переполняет меня до самой глубины души.

Поняв всю важность советов, которые вы мне передали через сэра Вальтера Мэрфа, нагнавшего меня по дороге в Нормандию вскоре после того, как я выехала из Парижа, я постаралась как можно скорее попасть в замок Обье.

Уж не знаю почему, но физиономии встретивших меня людей показались мне зловещими; я не увидала среди них ни одного из наших старых слуг, живших в доме; меня никто не знал, и мне пришлось назвать себя. Я узнала, что отец уже несколько дней серьезно болен и что моя мачеха только что привезла врача из Парижа.

Сомнений больше не было: речь шла о докторе Полидори.

Я хотела, чтобы меня тут же проводили к отцу, и спросила, где сейчас старый камердинер, к которому отец был силь-

но привязан. Оказалось, что некоторое время тому назад этот человек покинул замок; об этом мне сообщил дворецкий, проводивший меня в предназначенные мне покои; после этого он сказал, что пойдет предупредить о моем приезде мою мачеху.

Владело ли мною предубеждение, была ли я во власти заблуждения? Но мне чудилось, что мой приезд был нежелательным для теперешних отцовских слуг. Все в замке казалось мне каким-то мрачным, даже зловещим. В том расположении духа, в котором я пребывала, человек старается ничего не упустить и сделать правильные выводы. Я замечала повсюду следы беспорядка и нерадивости, могло показаться, что все вокруг решили не уделять должного внимания жилищу, ибо его вскоре предстояло покинуть.

Мое беспокойство, моя тревога возрастали с каждой минутой.

Кое-как устроив дочь и ее гувернантку в моей комнате, я уже собиралась отправиться к отцу, как вдруг вошла моя мачеха.

Несмотря на присущее ей двуличие и свойственное ей самообладание, она, как мне показалось, была ошеломлена моим внезапным приездом.

— Господин д'Орбиньи не ожидал вашего визита, сударыня, — сказала она мне. — Он в таком тяжелом состоянии, что такого рода сюрприз может оказаться для него гибельным. Вот почему я полагаю необходимым оставить его в неведении и не сообщать ему о вашем появлении; ведь он не сможет понять, чем вызван ваш приезд, и...

Я не дала ей закончить фразу.

— Произошло огромное несчастье, сударыня, — ответила я. — Умер господин д'Арвиль... Он стал жертвой роковой неосторожности. После этого ужасного происшествия я не могла оставаться в своем доме в Париже, и я хочу провести первое время траура возле своего отца.

— Стало быть, вы теперь вдова!.. Какое неслыханное везение! — воскликнула моя мачеха с яростью.

Вы ведь знаете обстоятельства моего злосчастного брака, который эта жен-

щина устроила, чтобы отомстить мне, и потому вашему высочеству будет понятна вся жестокость ее возгласа.

— Именно потому, что я опасаюсь, как бы и вам, сударыня, не выпало на долю столь неслыханное везение, я и приехала сюда, — сказала я ей, быть может, и немного неосторожно. — Я хочу видеть своего отца.

— Сейчас это совершенно невозможно, — ответила она, побледнев, — встреча с вами будет для него опасной встряской.

— Если мой отец так серьезно болен, — воскликнула я, — как могло случиться, что меня об этом не известили?

— Такова была воля самого господина д'Орбиньи, — ответила мне мачеха.

— Я вам не верю, сударыня, и хочу сама убедиться в правдивости ваших слов, — сказала я и сделала шаг к двери.

— Повторяю вам, что ваше неожиданное появление может нанести вашему отцу непоправимый вред, — воскликнула она, встав передо мной и преграждая мне путь. — Я не позволю вам войти в покои господина д'Орбиньи, прежде чем я не

сообщу ему о вашем приезде со всеми предосторожностями, каких требует его состояние.

Я была в ужасной растерянности, ваше высочество. Мое неожиданное появление и в самом деле могло причинить опасное волнение отцу; но моя мачеха, обычно такая хладнокровная, отличавшаяся таким самообладанием, теперь, казалось, была настолько испугана моим присутствием, у меня были столь веские основания сомневаться в том, что она искренне заботится о здоровье моего отца, человека, за которого она вышла замуж из алчности, и, наконец, присутствие в замке доктора Полидори, убийцы моей матери, — все это переполняло меня ужасом, и, понимая, что мое появление может стать причиной сильного волнения отца, я больше не колебалась, сознавая, что его жизни грозит опасность, и только я могу его спасти.

— Я хочу немедленно видеть отца, — сказала я мачехе.

И хотя она вцепилась мне в руку, я направилась к двери...

Потеряв над собой власть, эта женщина попыталась вторично, чуть не силой помешать мне выйти из комнаты... Ее невероятное упорство удвоило мою тревогу, и я вырвалась из ее рук. Зная, где расположены покои отца, я опрометью кинулась туда и вошла...

О ваше высочество! Никогда в жизни я не забуду представшее мне зрелище и то, что затем последовало...

Мой отец изменился до неузнаваемости; он сильно исхудал, был бледен, и черты его лица выражали сильное страдание; он полулежал в большом кресле, откинув голову на подушку...

Возле камина, совсем рядом с моим отцом, стоял доктор Полидори; сиделка поднесла ему чашку, и он уже собирался накапать в нее несколько капель какой-то жидкости из небольшого хрустального флакона, который был у него в руке.....

Длинная рыжая борода придавала его физиономии особенно зловещий вид. Я вошла так стремительно, что у Полидори вырвался удивленный жест, он обменялся выразительным взглядом с моей

мачехой, которая поспешно вошла в комнату следом за мной, и, вместо того чтобы подать моему отцу приготовленное питье, он поставил флакон на камин.

Подчиняясь инстинкту, в котором я до сих пор не могу отдать себе отчета, я быстро завладела флаконом.

Тут же заметив удивление и страх, овладевший моей мачехой и Полидори, я мысленно поздравила себя с тем, что так поступила. Мой отец, ошеломленный моим приходом, казалось, был этим возмущен, чего, впрочем, я ожидала. Полидори бросил на меня свирепый взгляд; несмотря на присутствие сиделки и моего отца, я боялась, что этот негодяй, поняв, что его преступление вот-вот раскроется, может дойти до крайности.

Я поняла, что в этот решающий миг мне необходима поддержка; я позвонила, в комнату быстро вошел какой-то слуга; я попросила его передать моему камердинеру — тот был заранее мною предупрежден, — чтобы он отправился на постоялый двор и принес мне несколько нужных мне вещей; сэр Вальтер Мэрф

знал: для того чтобы не вызвать подозрений у моей мачехи в том случае, если мне придется послать за ним в ее присутствии, я прибегну к такому условному знаку.

Изумление моего отца и моей мачехи было так велико, что слуга вышел из комнаты раньше, чем они успели произнести хотя бы одно слово; и тогда я успокоилась: через несколько минут должен был появиться рядом со мною сэр Вальтер Мэрф.

— Что все это значит? — спросил у меня отец слабым голосом, но тон у него был властный и разгневанный. — Вы приехали сюда, Клеманс... без моего приглашения... Затем, не успев появиться в моих покоях, вы завладеваете флаконом, в котором содержится микстура, прописанная мне врачом... Объясните мне ваше сумасбродство!..

— Выйдите из комнаты, — приказала моя мачеха сиделке. Та послушно удалилась.

— Успокойтесь, друг мой, — продолжала моя мачеха, обращаясь к моему

отцу. — Вы ведь знаете, что малейшее волнение может причинить вам вред. Коль скоро ваша дочь пожаловала сюда против вашей воли и ее присутствие вам неприятно, обопритесь о мою руку, я провожу вас в маленькую гостиную; а тем временем наш славный доктор объяснит госпоже д'Арвиль, до какой степени ее поведение неосторожно, чтобы не сказать более...

И она бросила многозначительный взгляд на своего сообщника.

Я угадала намерения моей мачехи. Она хотела увести отца, оставить меня наедине с Полидори: в возникших крайних обстоятельствах он применил бы, без сомнения, силу, чтобы вырвать у меня флакон, который мог послужить неопровержимой уликой, явным доказательством его преступных замыслов.

— Вы совершенно правы, — сказал мой отец, обращаясь к моей мачехе. — Раз меня преследуют даже в моем собственном доме, не уважая моей воли, я уйду и освобожу место назойливым людям.

И, с трудом поднявшись, отец оперся на

руку моей мачехи и сделал несколько шагов, направляясь в маленькую гостиную.

В ту же минуту Полидори двинулся ко мне; я, не теряя времени, подошла к отцу и сказала ему:

— Я хочу объяснить вам свое неожиданное появление, объяснить, почему я, как вам кажется, странно себя веду... Со вчерашнего дня — я вдова... И со вчерашнего дня мне известно, что ваша жизнь под угрозой, отец.

Он, сгорбившись, передвигался с трудом. При этих моих словах отец остановился, с усилием выпрямился и, с глубоким удивлением посмотрев на меня, воскликнул:

— Вы овдовели?.. Моя жизнь под угрозой?! Что все это значит?

— Кто осмелился угрожать жизни господина д'Орбиньи, сударыня? — с вызовом спросила моя мачеха.

— Да, от кого исходит эта угроза?.. — подхватил Полидори.

— От вас, сударь, и от вас, сударыня, — ответила я.

— Какое ужасное, какое отвратитель-

ное обвинение!.. — воскликнула моя мачеха и шагнула ко мне.

— Я докажу то, что сказала... — ответила я.

— Но ведь это страшное обвинение!. — вырвалось у моего отца.

— Я сию же минуту покину этот дом, коль скоро на меня возводят здесь столь неслыханную клевету! — вскричал Полидори с деланным негодованием человека, чья честь оскорблена.

Поняв, какая ему угрожает опасность, он, без сомнения, хотел спастись бегством.

В ту самую минуту, когда он отворял дверь, на пороге появился сэр Вальтер Мэрф и преградил путь шарлатану».

Родольф прервал чтение письма, протянул руку эсквайру и сказал ему:

— Превосходно, старый друг, твое появление должно быть, сразило негодяя.

— Вы нашли точное слово, ваше высочество... Он стал мертвенно бледным... попятился на два шага, ошеломленно глядя на меня; казалось, он был раздавлен... И в самом деле: встретить меня в такую минуту в сердце Нормандии!.. Ему, должно

быть, почудилось, что он видит страшный сон... Но вернитесь к письму, ваше высочество, и вы увидите, что эта окаянная графиня д'Орбиньи в свой черед была сражена благодаря тому, что вы мне своевременно сообщили о том, что она нанесла визит этому шарлатану Брадаманти-Полидори, пришла к нему домой на улицу Тампль... Ибо, что ни говори, ведь действовали-то вы... вернее сказать, я был всего лишь орудием, послушным вашей мысли... и клянусь вам: никогда еще вы столь удачно и столь своевременно не заменяли провидение — а оно порою запаздывает, — как в сложившихся обстоятельствах.

Родольф только улыбнулся и вновь стал читать письмо г-жи д'Арвиль.

> «При виде сэра Вальтера Мэрфа Полидори буквально окаменел; моя мачеха переходила от удивления к изумлению, а мой отец, сильно взволнованный всем происходящим и ослабевший от болезни, без сил опустился в какое-то кресло. Сэр Вальтер Мэрф запер на два поворота ключа дверь, в которую вошел; затем он остановился перед другой дверью, что вела в соседнюю комнату, с тем чтобы по-

мешать доктору Полидори ускользнуть через нее, и, обратившись к моему отцу, самым почтительным образом сказал ему:

— Тысяча извинений, граф, за ту вольность, что я себе позволил; но побудила меня так действовать крайняя необходимость, продиктованная защитой ваших интересов; вы сейчас поймете, в чем дело... Меня зовут Вальтер Мэрф, это может подтвердить вам стоящий здесь негодяй, который при виде меня дрожит всем телом; я советник его высочества великого герцога — правителя Герольштейна.

— Это верно, милостивый государь... — пролепетал охваченный страхом Полидори, обращаясь к графу д'Орбиньи.

— Но в таком случае, сударь... что привело вас в мой дом? Что вам угодно? — спросил мой отец.

— Сэр Вальтер Мэрф, — ответила я отцу, — приехал сюда вместе со мной, чтобы изобличить негодяев, чьей жертвой вы чуть было не стали.

Затем я протянула сэру Вальтеру хрустальный флакон и сказала:

— По счастливому наитию я завладела этим флаконом в ту самую минуту, когда доктор Полидори собирался влить несколько капель содержащейся в нем жидкости в питье, которое он приготовился дать моему отцу.

— Врач из соседнего городка исследует в вашем присутствии содержимое этого флакона, который я вручаю вам, граф, — сказал сэр Вальтер Мэрф, — и если будет установлено, что он содержит сильный и медленнодействующий яд, то у вас больше не останется сомнений в том, какой опасности вы подвергались; к великому счастью, вас избавила от этой опасности нежная привязанность вашей дочери.

Мой бедный отец смотрел поочередно то на свою жену, то на доктора Полидори, то на меня, то на сэра Вальтера с потерянным видом; черты отца выражали неизъяснимую тревогу. По его удрученному лицу можно было угадать, какая ужасная борьба надрывала его душу. Он, без сомнения, изо всех сил противился охватывавшим его ужасным подозрениям, он страшился, что ему придется

признать все коварство, все злодейство моей мачехи; наконец, закрыв лицо руками, он воскликнул:

— Господи боже, боже правый!.. Все, что я услышал, ужасно... невероятно... невозможно! Быть может, я просто вижу кошмарный сон?!

— Нет, это не сон!.. — с вызывающей дерзостью закричала моя мачеха. — Все это кошмарная действительность: вы выслушали жестокую клевету, ее заранее измыслили для того, чтобы погубить злосчастную женщину, единственное преступление которой — стремление посвятить вам всю жизнь! Пойдемте, пойдемте мой друг, мы не останемся здесь ни минуты, — прибавила она, обращаясь к моему отцу, — надеюсь, ваша дочь не посмеет удержать вас силой, помимо вашей воли...

— Да, да, уйдем, — ответил мой отец, не помня себя, — все, что я услышал, — неправда, не может быть правдой, я не хочу больше ничего слышать, мой ум мешается, ужасные подозрения могут поселиться в моем сердце, и они отравят

те немногие дни, что мне еще остались, и ничто не сможет утешить меня, если я поверю столь отвратительным козням.

Мой отец так сильно страдал, он был в таком отчаянии, что мне захотелось во что бы то ни стало положить конец этой столь жестокой для него сцене. Сэр Вальтер Мэрф догадался об этом; однако он хотел, чтобы истина целиком и полностью открылась и чтобы справедливость восторжествовала; вот почему он сказал, обращаясь к моему отцу:

— Еще только несколько слов, граф! Я понимаю, что вам будет очень тяжело и больно узнать о том, что женщина, которая, как вы полагали, была из чувства признательности привязана к вам, на самом деле — лицемерное чудовище; но я уповаю на то, что вы почерпнете некоторое утешение в искренней привязанности вашей дочери, а она неизменно питала и питает ее к вам.

— Это переходит всякие границы! — в ярости завопила моя мачеха. — По какому праву вы, сударь, и вы, сударыня, возводите на меня столь ужасную клевету? На

какие доказательства вы опираетесь? Вы утверждаете, что в этом флаконе яд?.. Я отрицаю это, сударь, и буду отрицать до тех пор, пока вы не докажете обратного; ну а если даже доктор Полидори по ошибке смешал два разных лекарства, из-за чего они стали вредными, то по какому праву вы обвиняете меня в том, будто я того желала... обвиняете меня в том, что я его сообщница... что я хотела... О нет, нет, я даже не могу произнести этого слова... Одна мысль о таком плане уже преступна! Я снова повторяю, сударь, я требую, чтобы вы предоставили доказательства — и вы, милостивая государыня, также, — опираясь на которые вы осмелились возвести на меня столь ужасную клевету!.. — закончила моя мачеха с невероятной наглостью.

— Да, какие у вас есть доказательства?! — воскликнул мой несчастный отец. — Нужно положить конец мукам, которым вы меня подвергаете.

— Я бы не пришел сюда, не имея веских доказательств, граф, — ответил сэр Вальтер, — и эти доказательства будут сейчас

подтверждены ответами находящегося тут негодяя.

Затем сэр Вальтер обратился по-немецки к доктору Полидори, который успел уже немного оправиться, но, услышав обращенные к нему слова эсквайра, снова и окончательно потерялся.»

— Что ж ты такое ему сказал? — спросил Родольф у сэра Вальтера Мэрфа, отвлекаясь он чтения письма.

— Я сказал ему несколько веских слов, ваше высочество. Вот к чему они сводились: «С помощью бегства ты избежал наказания, к которому тебя приговорило правосудие великого герцогства; ныне ты живешь в Париже, на улице Тампль, под фальшивым именем некоего Брадаманти; всем известно, каким отвратительным ремеслом ты промышляешь; ты отравил первую жену графа д'Орбиньи; три дня тому назад госпожа д'Орбиньи побывала у тебя дома и привезла тебя сюда для того, чтобы отравить своего мужа. Его высочество находится сейчас в Париже, в руках у него есть доказательства всего того, о чем я тебе только что сказал. Если ты скажешь всю правду и тем изобличишь эту презренную женщину, ты можешь рассчитывать не на помилование, конечно, но

на смягчение кары, которой ты заслуживаешь; ты последуешь за мной, вернее, поедешь со мной в Париж, я поселю тебя в надежном месте, и ты там пробудешь до тех пор, пока его высочество не решит твою судьбу. Если же ты откажешься следовать за мною, тебя ждет одно из двух: либо его высочество потребует и добьется твоей высылки из Франции в Герольштейн, либо я немедленно пошлю в соседний город за полицейским чиновником, передам ему флакон с ядом, тебя тут же возьмут под стражу, затем произведут обыск в твоей квартире в доме семнадцать на улице Тампль, а ты ведь хорошо знаешь, что там найдут немало компрометирующих тебя вещей, и французское правосудие займется тобой... Так что выбирай...»

Мои разоблачения, обвинения и угрозы, как он понимал, вполне обоснованные, тут же возымели действие, они просто сразили этого негодяя, который не ожидал ни того, что я так осведомлен, ни того, что я захвачу его на месте преступления. Надеясь на смягчение ожидавшей его участи, он без колебаний согласился принести в жертву свою сообщницу и сказал мне в ответ: «Спрашивайте, я скажу всю правду относительно этой женщины».

— Хорошо, очень хорошо, славный мой Мэрф, меньшего я от тебя и не ожидал.

— Пока я разговаривал с Полидори, черты лица мачехи госпожи д'Арвиль исказились до неузнаваемости от страшного испуга, хотя она и не понимала по-немецки. Но по все возраставшей подавленности своего сообщника, по тому, с каким умоляющим видом он на меня посмотрел, она поняла, что он полностью в моей власти. В смертельной тревоге она пыталась встретиться взглядом с Полидори, чтобы подбодрить его и убедить все сохранить в тайне; однако он старательно отводил глаза.

— А что же граф?

— Он испытывал невыразимое волнение; он изо всех сил судорожно впивался пальцами в подлокотники своего кресла, по лбу его струился пот, он тяжело дышал и не сводил с меня пристального пылающего взора. Им владела не менее мучительная тревога, чем та, что терзала его жену. Письмо госпожи д'Арвиль расскажет вам, ваше высочество, чем закончилась эта тягостная сцена.

Глава XI.
КАРА

Родольф снова начал читать письмо г-жи д'Арвиль.

«Поговорив несколько минут по-немецки с Полидори, сэр Вальтер Мэрф обратился к шарлатану уже по-французски:
— А теперь отвечайте. Верно ли, что эта дама, — спросил сэр Вальтер, указывая на мою мачеху, — когда первая жена графа заболела, ввела вас в его дом в качестве врача?

— Да, это сделала она... — ответил Полидори.

— Верно ли то, что, желая помочь осуществлению ужасных планов этой дамы... вы пошли на преступление и прописывали смертельные дозы лекарств графине д'Орбиньи, чья болезнь поначалу была вовсе не опасной?

— Да, — подтвердил Полидори.

Из груди моего отца вырвался горестный стон, и он сперва воздел обе руки, а

затем бессильно уронил их.

— Это гнусная ложь! — закричала моя мачеха. — Все это низкие выдумки, они стакнулись, чтобы погубить меня.

— Помолчите, сударыня! — властно сказал сэр Вальтер Мэрф.

Потом он снова обратился к Полидори:

— Правда ли, что три дня тому назад эта дама приходила к вам на квартиру, в дом номер семнадцать по улице Тампль, где вы живете под чужим именем как некий господин Брадаманти?

— И это правда.

— Не предложила ли вам эта дама приехать сюда для того, чтобы умертвить графа д'Орбиньи, как вы умертвили в свое время его жену?

— Увы! Я не в силах это отрицать, — пробормотал Полидори.

При столь ужасном признании мой отец поднялся с кресла с угрожающим видом: негодующим, жестом он указал моей мачехе на дверь; потом, раскрыв мне свои объятия, прерывающимся голосом воскликнул:

— Во имя твоей злосчастной матери

прости меня! Прости!.. Я заставил ее много страдать... Но, клянусь тебе, я не причастен к преступлению, которое свело ее в могилу...

И, прежде чем я успела тому помешать, мой отец опустился на колени.

Когда сэр Вальтер и я подняли моего отца с пола, он был в обмороке.

Я позвонила слугам; сэр Вальтер взял доктора Полидори под руку и вышел вместе с ним; на пороге он оглянулся и сказал моей мачехе:

— Послушайте меня, сударыня, и не позже, чем через час, оставьте этот дом: в противном случае я передам вас в руки правосудия.

Презренная женщина вышла из комнаты; легко догадаться, ваше высочество, что она была во власти страха и ярости.

Когда мой отец пришел в себя, все происшедшее показалось ему страшным сном. Как это ни печально, но мне пришлось рассказать ему о первых подозрениях, возникших у меня в связи с преждевременной смертью матери, подозрениях, которые, когда я узнала от вас,

ваше высочество, о прошлых преступлениях доктора Полидори, превратились в уверенность.

Мне пришлось также рассказать отцу, как меня преследовала из ненависти моя мачеха, преследовала вплоть до моего замужества, и о том, какие у нее были цели, когда она принудила меня выйти замуж за маркиза д'Арвиля...

Если раньше мой отец питал непростительную слабость к этой женщине, которой он слепо верил, то теперь, все узнав, он не чувствовал к ней ни малейшей жалости; в отчаянии он обвинял себя в том, что оказался чуть ли не сообщником этой чудовищной женщины, предложив ей руку после смерти моей матери: он хотел, чтобы ее отдали под суд; но я объяснила ему, что это вызовет отвратительный скандал, что процесс над ней принесет ему много волнений и неприятностей; я уговорила его просто прогнать ее навсегда, обеспечив самым необходимым для жизни, ибо она носит его имя.

Лишь с большим трудом удалось мне

склонить отца ограничиться этим умеренным наказанием, и он поручил мне самой изгнать ее из замка. Как вы сами понимаете, такое поручение было для меня весьма тягостно; я подумала, что, быть может, сэр Вальтер возьмет эту миссию на себя... Он согласился».

— Черт побери, я с радостью согласился на это, ваше высочество, — сказал Мэрф Родольфу. — Что может быть приятнее того, когда тебе предоставляется возможность дать, как говорится, «последнее причастие» злодею...

— А что сказала эта женщина? — спросил Родольф.

— Госпожа д'Арвиль была так добра, что попросила отца назначить этой презренной женщине пенсион в размере ста луидоров; я посчитал, что это уже не доброта, просто слабость: довольно того, что решили не предавать в руки правосудия столь опасную негодяйку! Я отправился к графу, й он полностью согласился с моими доводами; было решено, что презренная получит на все про все двадцать пять луидоров, с тем чтобы она могла подыскать себе какое-нибудь занятие или работу. «А каким таким ремеслом, какой такой работой могу я, графиня д'Орбиньи, заняться?»

— нагло спросила меня эта женщина. «Черт побери, это уж ваша забота, — ответил я. — Вы ведь можете стать сиделкой или гувернанткой. Но только послушайте меня и подыщите себе самую скромную и незаметную профессию, ибо, если у вас хватит смелости назвать свое имя, имя, которое вы заполучили с помощью преступления, всякий удивится, почему это графиня д'Орбиньи оказалась в столь незавидном положении; станут наводить справки, и сами понимаете, к каким приведет последствиям ваше безумное решение ворошить прошлое. Так что уж лучше заберитесь в какую-нибудь глушь, пусть о вас поскорее забудут; станьте госпожой Пьер или госпожой Жак и постарайтесь раскаяться, если только вы на это способны».

«И вы полагаете, сударь, — сказала она мне с заранее обдуманным театральным эффектом, — что я не потребую тех благ, на которые мне дает право мой брачный контракт?» — «Ну, разумеется, сударыня! — ответил я. — Что может быть справедливее! Было бы просто недостойно со стороны господина д'Орбиньи не выполнить своих брачных обетов и не оценить должным образом всего того, что вы совершили, а главное, того, что вы собирались совершить... ради него... Начни-

те тяжбу... Непременно начните, обратитесь за помощью к правосудию; не сомневаюсь, что оно примет вашу сторону, а не сторону вашего супруга...» Через четверть часа после нашей беседы эта тварь уже была по пути в соседний город.

— Ты совершенно прав: весьма тягостно оставлять почти безнаказанной столь гнусную мегеру, — заметил Родольф. — Но скандальный процесс... А ведь старый граф и так очень слаб... Нет, об этом нельзя было и думать.

Родольф вновь обратился к письму г-жи д'Арвиль.

> «Мне довольно легко удалось убедить отца покинуть замок Обье в тот же день: слишком печальные воспоминания терзали бы его здесь. Хотя его здоровье и пошатнулось, поездка, которая займет несколько дней, развлечет его, а это вместе с переменой воздуха должно быть для него благотворно; так сказал врач, который заменил доктора Полидори, я не откладывая вызвала этого врача из соседнего города. Отец пожелал, чтобы он исследовал содержимое флакона, не сказав ему, в чем дело, врач ответил,

что может сделать это только у себя, пообещав, что через два часа он сообщит результат исследования. По его заключению, несколько доз этого зелья, изготовленного с адским умением, могут через определенный промежуток времени привести к смерти пациента, причем никаких следов отравления не останется, будут только симптомы распространенной болезни, врач даже назвал ее.

Через несколько часов, ваше высочество, я уезжаю отсюда вместе с отцом и дочерью в Фонтенбло; мы там пробудем некоторое время, а затем по желанию моего отца возвратимся в Париж, но жить будем не в моем доме: мне ведь нестерпимо оставаться в нем после прискорбного несчастного случая, который там произошел.

Как я уже говорила вам в начале моего письма, ваше высочество, последние события доказывают, в каком я долгу перед вами, ибо ваша забота обо мне поистине неистощима!.. Вы вовремя предупредили меня об опасности, вы помогали мне своими советами, меня так поддержал ваш

друг — милейший и мужественный сэр Вальтер Мэрф... Благодаря всему этому мне удалось избавить отца от неминуемой опасности, и теперь я не сомневаюсь в том, что он полностью вернет мне свою любовь и нежность...

Прощайте, ваше высочество! Я не в силах сказать вам больше... Душа моя переполнена чувствами, охвачена волнением, я не смогу вам выразить все то, что я испытываю.

Д'Орбиньи — д'Арвиль

Я спешно распечатываю это письмо, ваше высочество, для того, чтобы исправить забывчивость, которая повергает меня в смятение. Следуя вашим возвышенным советам, побуждавшим меня к благодеяниям, я отправилась в тюрьму Сен-Лазар проведать томящихся там узниц; там мне встретилась злосчастная девочка, которой вы так сочувствуете... Ее ангельская кротость, ее почтительное смирение приводят в восторг почтенных женщин, надзирающих за поведением заключенных... Я понимаю, что, известив вас о том, что Певунья (таково, если не ошибаюсь, ее прозвище) находится в этой тюрьме, я дам вам возможность

безотлагательно добиться ее освобождения; эта бедная девочка сама расскажет вам, в силу каких зловещих обстоятельств ее похитили из того убежища, куда вы поместили ее, и заточили в эту тюрьму, где она заставила окружающих по достоинству оценить ее душевную чистоту.

Позвольте мне также напомнить вам, ваше высочество, о двух несчастных женщинах, матери и дочери, которых обобрал нотариус Ферран... Мне так хочется оказать им необходимое покровительство. Но где они теперь? Нет ли у вас хотя бы каких-нибудь сведений о них? Прошу вас, окажите милость, постарайтесь отыскать их след, с тем чтобы по возвращении в Париж я могла бы заплатить нравственный долг: ведь я дала себе обет всемерно помогать несчастным!..»

— Стало быть, Певунья уехала с фермы в Букевале, ваше высочество? — воскликнул Мэрф, не менее удивленный, чем Родольф, этим неожиданным известием.

— Мне только сегодня сказали, что видели, как она выходила из ворот тюрьмы Сен-Лазар, — ответил Родольф. — Я просто теряюсь в догадках: молчание госпожи Жорж смущает и тревожит меня... Бедненькая Лилия-Мария! Какие новые невзгоды обрушились на нее? Надобно тотчас же

послать нарочного на ферму, пусть он садится на лошадь и не мешкая доставит мое письмо госпоже Жорж: я попрошу ее немедленно приехать в Париж; попроси, пожалуйста, барона фон Грауна получить пропуск для посещения тюрьмы Сен-Лазар... Госпожа д'Арвиль пишет мне, что Лилия-Мария попала в эту тюрьму. Впрочем, нет, — произнес Родольф после короткого раздумья, — ее там уже нет, ведь Хохотушка встретила ее, когда бедная девушка выходила из тюремных ворот в сопровождении какой-то пожилой женщины. Кто бы это мог быть? Госпожа Жорж? А если то была не она, то куда же направлялась Певунья? И кто все-таки ее сопровождал?[120]

— Терпение, ваше высочество. Еще до вечера вы будете знать, что произошло; а завтра надо будет порасспросить этого окаянного Полидори; он сказал мне, что должен рассказать вам о каких-то важных делах, но рассказать он хочет об этом вам одному...

— Мне тяжело и противно с ним встречаться, — печально сказал Родольф, — ведь я не видел этого

---

[120] Notes: 120

Читатель помнит, что г-жа Жорж, обманутая посыльным Сары, который сказал ей, что Родольф распорядился увезти Лилию-Марию из Букеваля, не тревожилась за свою подопечную и со дня на день ждала ее приезда.

человека с того самого рокового дня... когда я...

Родольфу трудно было продолжать, он умолк и закрыл лицо руками.

— Эх, черт побери! Для чего вашему высочеству соглашаться на просьбу Полидори? Пригрозите ему французским правосудием или высылкой в Герольштейн, и он струсит и откроет мне то, что хочет открыть только вам.

— Ты прав, милый мой друг, ибо встреча с этим негодяем еще больше оживит ужасные воспоминания, с которыми связано столько непоправимых горестей... начиная со смерти моего отца и кончая гибелью моей маленькой дочери... Не знаю, чем это объяснить, но, по мере того как я становлюсь старше, мне все больше недостает этой девочки... Как бы я ее боготворил! Как мне был бы дорог и бесценен этот плод моей первой любви, моих первых и чистых верований, вернее сказать, моих юношеских иллюзий!.. Я излил бы на этого очаровательного невинного ребенка всю ту нежную привязанность, которой недостойна его отвратительная мать; и потом, мне кажется, что эта милая девочка, о которой я так мечтал, с ее прекрасной душой, с ее очаровательными достоинствами, утешала бы меня в моем горе, избавила бы меня от угрызений совести, которые,

увы, связаны со зловещими обстоятельствами ее появления на свет...

— Господи, я с огорчением замечаю, ваше высочество, что все эти бесплодные и жестокие сожаления приобретают все большую власть над вашим разумом.

После короткого молчания Родольф сказал Мэрфу:

— Я могу теперь сделать тебе одно признание, старый мой друг: я люблю... Да, я люблю всем сердцем одну женщину, достойную самой глубокой, самой почтительной и преданной привязанности... И вот, с той поры, как мое сердце вновь открыто для самой нежной любви, с тех пор, как я вновь способен испытывать самое сладостное чувство, я еще сильнее ощущаю боль из-за утраты дочери... Казалось, я мог опасаться, что новая сердечная привязанность ослабит горечь моих сожалений от этой утраты... Но нет: моя способность любить только возросла... Мне кажется, что я стал теперь лучше, стал милосерднее, а потому мне больше, чем когда-либо прежде, больно оттого, что я не могу обожать и лелеять свою дочь...

— Все это так понятно, ваше высочество! Простите меня за смелое сравнение: подобно тому, как некоторые люди бывают веселы и благожела-

тельны во хмелю, вы, полюбив, стали еще добрее и великодушнее.

— Тем не менее моя ненависть к злодеям также стала сильнее; мое отвращение к Саре усиливается, без сомнения, из-за того горя, какое мне принесла смерть дочери. Я хорошо себе представляю, что эта дурная мать пренебрегала девочкой, что, когда моя женитьба развеяла ее тщеславные надежды, она, движимая своим безжалостным эгоизмом, должно быть, передала ребенка чужим и корыстолюбивым людям, и моя дочь, возможно, погибла, потому что о ней совсем не заботились... Тут есть и моя вина... Я тогда недостаточно осмыслил и оценил степень священного долга, который накладывает на человека отцовство... Когда я внезапно понял истинную сущность характера Сары, я должен был не мешкая отобрать у нее свою дочь и заботиться о девочке с любовью и нежностью. Я обязан был предвидеть, что графиня всегда будет и останется бесчеловечной матерью... Так что, как видишь, во всем этом есть и моя вина, и моя вина...

— Ваше высочество, горе помрачает ваш разум. Разве могли вы после всех известных вам зловещих событий... промедлить хотя бы один лишний день, ведь вы же были вынуждены немедленно

отправиться в долгую поездку... Она была как...

— Как искупление! Ты прав, мой друг, — сказал удрученный Родольф.

— А вы ничего не слыхали о графине Саре после вашего отъезда, ваше высочество?

— Ничего. После гнусного оговора, дважды едва не погубившего госпожу д'Арвиль, я не имел о графине никаких известий... Ее присутствие в Париже мне тягостно, мысль об этом неотступно преследует меня; мне чудится, что мой злой гений где-то здесь, рядом, что мне угрожает какая-нибудь новая беда.

— Терпение, ваше высочество, терпение... По счастью, въезд в Германию ей запрещен, а ведь Германия уже ждет нас.

— Да... Мы скоро туда уедем. Но, по крайней мере, за время моего короткого пребывания в Париже я исполнил священный обет, данный себе самому, я сделал еще несколько шагов по достойной одобрения стезе, идти по которой ради искупления мне повелела августейшая и милосердная воля... Как только сын госпожи Жорж будет оправдан и выпущен на волю; как только мать заключит его наконец в свои объятия; как только Жак Ферран будет уличен в своих преступлениях и наказан; как только я упрочу

положение и будущее всех порядочных и трудолюбивых людей, которые своим смирением, мужеством и честностью заслужили мое сочувствие, — мы тотчас же возвратимся в Германию; тогда я, по крайней мере, смогу считать, что мое пребывание во Франции не было бесплодным.

— Особенно если вам удастся сорвать маску с этого отвратительного Жака Феррана, ведь он, можно сказать, краеугольный камень, вернее, движущая сила множества преступлений, ваше высочество!

— Хотя цель и оправдывает средства... хотя в борьбе с таким законченным негодяем излишняя щепетильность неуместна, я иногда жалею, что привлек Сесили для того, чтобы воздать ему по заслугам и наказать его.

— Она, кажется, должна приехать с минуты на минуту?.

— Она уже приехала.

— Сесили уже здесь?

— Да... Но я не пожелал ее видеть; фон Граун дал ей самые подробные указания, и она пообещала в точности придерживаться их.

— Сдержит ли она свое обещание?

— Ее очень многое к тому обязывает; прежде всего, она надеется на смягчение собственной

участи и боится, что ее могут тотчас же отослать в Германию, в ту тюрьму, где она была; фон Граун не будет спускать с нее глаз, и при первой же выходке Сесили ее вышлют туда, откуда привезли.

— Это верно; ведь она тут находится, можно сказать, в бегах; как только узнают, за какие преступления она была приговорена к пожизненному заключению, ее немедленно препроводят в Германию.

— И еще одно: если бы даже собственный интерес не принуждал Сесили служить нашим планам, поставленная перед ней задача может быть выполнена только с помощью хитрости, коварства и дьявольской привлекательности, а потому она должна быть в восторге — и, по словам барона фон Грауна, она действительно в восторге — оттого, что ей представился случай употребить те отвратительные качества, которыми она так щедро наделена.

— Скажите, ваше высочество, а она все так же хороша собой?

— Фон Граун находит, что она стала еще привлекательнее, чем прежде; по его словам, он был просто ослеплен ее красотою, особенно пикантна она в эльзасском наряде, который сама себе выбрала. Барон говорит, что огненный взгляд

этой чертовки по-прежнему оказывает какое-то магическое действие.

— Знаете, ваше высочество, я никогда не был, как говорится, вертопрахом, человеком без душевного благородства и нравственных устоев... Так вот! Встреть я в двадцать лет эту Сесили и даже знай о том, что она женщина опасная и порочная до мозга костей, я бы не поручился за свой рассудок, если бы долго находился под огнем ее больших черных глаз, которые сверкают на ее хотя и бледном, но пылком лице... Да, клянусь небом, боюсь даже подумать о том, куда бы увлекла меня столь пагубная страсть.

— Меня это не удивляет, достойный мой друг, потому что я хорошо знаю эту женщину. Скажу тебе больше: барон фон Граун был просто испуган той прозорливостью, с какой Сесили мгновенно поняла, а вернее угадала, что ей надлежит сыграть перед нотариусом роль женщины, одновременно вызывающей и почти целомудренной.

— Но удастся ли ее ввести к нему в дом так легко, как вы надеетесь, уповая на рекомендации госпожи Пипле? Люди такого склада, как Жак Ферран, ведьма подозрительны!

— Я рассчитывал, и не без оснований, на то, что при виде Сесили он не устоит и его недоверчи-

вость будет побеждена.

— Он уже видел ее?

— Да, вчера. Судя по рассказу госпожи Пипле, он, без сомнения, был очарован нашей креолкой, потому что тут же решил взять ее в услужение.

— В таком случае, ваше высочество, наша игра выиграна.

— Надеюсь; дикая алчность и свирепое сластолюбие толкнули палача Луизы Морель на самые отвратительные преступления... Это же самое сластолюбие и эта же самая алчность приведут к тому, что он понесет жестокую кару за свои злодеяния... а кара эта, что самое главное, пойдет на пользу его жертвам... ибо ты ведь знаешь, к чему должны привести все усилия креолки.

— Сесили!.. Сесили!.. Никогда еще столь дурная женщина, никогда еще женщина, столь испорченная и опасная, никогда еще женщина со столь черной душою не служила воплощению в жизнь столь высоконравственного плана, достижению столь справедливой цели!.. Ваша светлость, а как отнесся ко всему этому Давид?

— Он все одобрил; он всей душой презирает Сесили, она внушает ему ненависть и отвращение, но теперь он смотрит на нее как на орудие справедливого возмездия. «Если эта окаянная

женщина, причинившая мне столько зла, — сказал он мне, — может рассчитывать на некоторое сострадание, то лишь в том случае, если она поможет жестоко покарать этого негодяя, Феррана, сделавшись для него безжалостным демоном».

В дверь осторожно постучал привратник. Мэрф вышел из комнаты и тотчас же вернулся с двумя письмами в руках: одно из них было адресовано Родольфу.

— Это весточка от госпожи Жорж, — воскликнул принц, пробежав глазами письмо.

— Что она пишет, ваше высочество?.. Как Певунья?..

— Сомнений больше нет, — ответил Родольф, дочитав письмо до конца. — Опять какой-то мрачный заговор. Вечером того дня, когда бедная девочка исчезла с фермы и госпожа Жорж собиралась сообщить мне об этом, какой-то человек, приехавший верхом, сказал, что он прибыл по моему приказанию, чтобы успокоить ее; он прибавил, что мне известно о неожиданном исчезновении Лилии-Марии и что через несколько дней я сам привезу ее обратно на ферму. Несмотря на это, госпожа Жорж тревожится за судьбу своей подопечной, ибо не получает от меня никаких известий; она сгорает от желания что-либо

узнать о своей милой дочери, как она называет бедную девочку.

— Как все это странно, ваше высочество.

— С какой целью могли похитить Лилию-Марию?

— Ваше высочество, — внезапно сказал Мэрф, — по-моему, тут дело не обошлось без графини Сары.

— Сары? А почему ты так думаешь?

— Сопоставьте это происшествие с тем, что она оговорила госпожу д'Арвиль...

— А ведь ты, пожалуй, прав! — воскликнул Родольф в озарении. — Это очевидно... теперь я понимаю... да, всегда один и тот же расчет... Графиня упорно надеется, что если ей удастся разрушить все мои привязанности, то она тем самым заставит меня почувствовать потребность в сближении с ней. Ее надежды столь же безрассудны, как и отвратительны. Однако надо положить конец гнусному преследованию с ее стороны. Она нападает не только на меня, но и на всякого, кто заслуживает уважения, сочувствия, жалости! Немедленно пошли барона фон Грауна к графине, пусть он ей официально заявит, что у меня есть полная уверенность в том, что она причастна к похищению Лилии-Марии и если она не

даст всех необходимых сведений для того, чтобы разыскать бедную девочку, я буду беспощаден и поручу барону фон Грауну прибегнуть к помощи правосудия.

— Судя по письму госпожи д'Арвиль, Певунья находится в тюрьме Сен-Лазар.

— Да, она там находилась, но Хохотушка утверждает, что видела ее на свободе, перед входом в тюрьму. Тут кроется какая-то тайна, и надо проникнуть в нее.

— Я немедленно передам ваши распоряжения барону фон Грауну, ваше величество; позвольте мне только перед этим распечатать это письмо; его прислал мне из Марселя доверенный человек, я просил его позаботиться о Поножовщике, он должен был помочь бедному малому уехать в Алжир.

— И что же? Поножовщик уехал туда?

— Ваше высочество, произошло нечто странное!

— Что именно?

— Поножовщик долго ждал в Марселе, пока какое-нибудь судно отправится в Алжир; с каждым днем он становился все тревожнее и печальнее, а в тот день, когда судно должно было отплыть, он вдруг заявил, что предпочитает возвратиться

в Париж.

— Как странно!

— Хотя мой доверенный человек, как было заранее условлено, хотел вручить Поножовщику весьма значительную сумму денег, тот взял лишь столько, сколько необходимо для того, чтобы добраться до столицы; из письма следует, что Поножовщик вот-вот появится в Париже.

— Ну, тогда он сам и объяснит нам, почему переменил свое решение; а теперь не мешкая направь фон Грауна к графине Мак-Грегор, а сам поезжай в тюрьму Сен-Лазар и все разузнай там о Лилии-Марии.

Через час барон фон Граун возвратился от графини Сары Мак-Грегор.,

Вопреки обычному своему хладнокровию дипломат был сильно взволнован; как только привратник проводил его к Ро-дольфу, тот заметил, что барон очень бледен.

— Ну что, барон?.. Отчего вы бледны?.. Вы видели графиню?

— Ах, ваше высочество!..

— Да что случилось?

— Ваше высочество, приготовьтесь выслушать весьма неприятное известие.

— В чем все-таки дело?..

— Графиня Мак-Грегор...

— Продолжайте!..

— Ваша светлость, прошу покорнейше простить меня, но я вынужден сообщить вам о столь непредвиденном, столь зловещем событии, столь...

— Графиня умерла?

— Нет, ваше высочество... Но почти нет надежды на то, что она останется в живых... Ее ранили ударом кинжала.

— Это и впрямь ужасно! — воскликнул Родольф, почувствовав невольную жалость к Саре, несмотря на всю свою неприязнь к ней. — А кто совершил это преступление?

— Это неизвестно, ваше высочество. Покушение на убийство сопровождалось кражей, злоумышленник проник в покои графини и унес множество драгоценностей.

— А как все же она сейчас себя чувствует?

— Ее положение почти безнадежно, ваше высочество... Она до сих пор еще без сознания... Брат ее подавлен и потрясен.

— Надо будет каждый день справляться о состоянии здоровья графини, мой милый барон...

В эту минуту вошел Мэрф, возвратившийся из тюрьмы Сен-Лазар.

— Узнай печальную новость, — сказал ему Родольф, — графиню Сару чуть не убили... Ее жизнь в серьезной опасности.

— Ах, ваше высочество! Хотя она во многом виновата, но трудно не пожалеть ее.

— Да, подобный конец просто страшен!.. А что с Певуньей?

— Она была вчера выпущена на свободу, ваше высочество, и полагают, что по заступничеству госпожи д'Арвиль.

— Быть того не может! Напротив, сама госпожа д'Арвиль просит меня предпринять необходимые шаги и добиться освобождения этой несчастной девочки из тюрьмы.

— Все это так, ваше высочество... И тем не менее, какая-то пожилая женщина, вполне респектабельная на вид, явилась в тюрьму Сен-Лазар с распоряжением выпустить Певунью на волю. И они вместе покинули тюрьму.

— То же самое мне рассказывала и Хохотушка; но кто такая эта пожилая женщина, которая пришла в тюрьму за Лилией-Марией? Куда они направились вдвоем? Что означает эта новая тайна? Возможно, графиня Сара могла бы кое-что разъяснить, но она теперь в таком состоянии, что ничего нам сказать не может. И может случиться,

что она унесет этот секрет с собой в могилу!

— Но кое-какой свет на все происшедшее мог бы пролить, без сомнения, ее брат Томас Сейтон. Он всегда был ближайшим советником графини.

— Сестра его умирает; речь, видимо, идет о каких-то очередных кознях, так что он ничего говорить не станет. Но вот что, — прибавил Родольф по размышлении, — нужно непременно узнать имя того, кто был заинтересован в том, чтобы Лилия-Мария вышла из тюрьмы; тогда мы непременно что-нибудь выясним.

— Это правильно, ваше высочество.

— Постарайтесь разузнать, кто это мог быть, и как можно скорее повидайте этого человека, дорогой барон. Если вам самому это не удастся, привлеките к розыскам вашего господина Бадино, не пренебрегайте ничем, но во что бы то ни стало обнаружьте след бедной девочки.

— Ваше высочество, вы можете полностью рассчитывать на мое рвение.

— Право же, ваше высочество, быть может, это к лучшему, что Поножовщик возвращается в Париж; его услуги могут быть нам весьма полезны... в предстоящих поисках, — заметил Мэрф.

— Ты говоришь вполне резонно, да, теперь я буду с нетерпением ожидать приезда в столицу

моего славного спасителя; я никогда не забуду, что обязан ему жизнью.

Глава XII.
КОНТОРА НОТАРИУСА

Несколько дней прошло с тех пор, как Жак Ферран взял к себе в услужение Сесили. Мы поведем читателя в уже знакомое ему место — в контору нотариуса; был тот час, когда письмоводители завтракают. В тот день произошло нечто неслыханное, из ряда вон выходящее, чудесное! Вместо скудного и малоаппетитного рагу, которое каждое утро приносила служащим — а то были люди молодые — покойная г-жа Серафен, посреди стоявшего в центре комнаты стола в старой картонной коробке красовалась огромная холодная индейка, а вокруг нее лежали два свежих мягких хлеба, головка голландского сыра и стояли три запечатанные бутылки вина; старая свинцовая чернильница, наполненная солью и молотым перцем, служила солонкой; таково было меню трапезы.

Каждый из письмоводителей, вооружившись ножом и волчьим аппетитом, ждал часа, когда можно будет приступить к этому пиру, с жадным нетерпением; некоторые из молодых людей да-

же усердно работали челюстями, хотя жевать пока еще было нечего; при этом они проклинали запаздывавшего старшего письмоводителя, без которого, соблюдая иерархию, нельзя было приступить к завтраку.

Прогресс, а вернее, столь радикальная перемена в обычном рационе служащих конторы Жака Феррана говорила о том, что в доме царит полное смятение.

Нижеследующая беседа, в высшей степени беотийская (если нам будет позволено употребить это слово, которое приобрело популярность по милости весьма остроумного писателя[121]), позволит несколько прояснить столь важные обстоятельства.

— Перед вами индюшка, которая при своем появлении на свет никак не ожидала, что ей когда-либо придется украсить собой завтрак письмоводителей нашей нотариальной конторы.

— Точно так же патрон этой конторы при своем появлении на свет... в качестве нотариуса никак не ожидал, что ему придется отвалить на завтрак своим письмоводителям целую индейку.

---

[121] Notes: 121
Луи Денуайе.

— Потому как что ни говори, а индейка эта принадлежит нам, — завопил мальчишка-рассыльный с вожделением записного гурмана.

— Милый мой рассыльный, ты забываешься, дружок: эта птица останется для тебя незнакомой, вернее сказать, чужестранкой!

— А как истинный француз, ты должен ненавидеть чужестранцев.

— Все, что можно для тебя сделать, — это дать тебе поглодать ее лапы.

— Ведь они — прекрасная эмблема той скорости, с какой ты разносишь бумаги нашей конторы.

— А я — то надеялся, что мне хоть ее скелет достанется, — пробормотал рассыльный.

— Конечно, его можно было бы пожаловать тебе... но у тебя нет на это права: получится то же самое, что получилось с хартией тысяча восемьсот четырнадцатого года, которая так и осталась всего лишь скелетом свободы, которую обкорнали! — заявил писец, игравший в нотариальной конторе роль Мирабо.

— Ну уж коли речь зашла о скелете, — вмешался кто-то из молодых людей с грубой бесчувственностью, — то к месту вспомнить о скелете мамаши Серафен, упокой господи ее душу! Ведь с тех пор,

как она утонула во время загородной прогулки, мы больше не обречены хлебать ее варево, что равносильно бессрочным каторжным работам.

— И вот уже почти неделю патрон вместо того, чтобы пичкать нас скудным завтраком...

— Щедро выдает каждому по сорок су в день.

— Именно потому я и говорю: упокой господи душу мамаши Серафен!

— И то верно: при ней патрон бы в жизни не отвалил нам по сорок су в день.

— Это огромная сумма!

— Сумма просто баснословная!

— Во всем Париже не сыщешь другую такую контору...

— Не сыщешь во всей Европе!

— Во всей вселенной нет другой такой конторы, где простому писцу выдают по сорок су на завтрак!

— Кстати, о госпоже Серафен... Кто из вас видел служанку, которую взяли на ее место?

— Эту эльзаску, которую привела сюда однажды вечером привратница того дома, где жила бедная Луиза? Об этом мне сказал наш привратник.

— Вот именно.

— Нет, я ее еще не видал.

— И я не видел.

— Черт побери! Да ее и невозможно увидеть, ведь патрон просто взбесился, он делает все, чтоб помешать нам даже приблизиться к флигельку во дворе!

— Теперь ведь порядок в конторе поддерживает привратник, он сам же тут и убирает... Как же ты увидишь эту красотку?!

— Ну так вот! Я ее видел!

— Ты?

— Каким образом?

— А какая она из себя?

— Высокая? Маленькая?

— Молодая? Или старая?

— Заранее готов побиться об заклад, что мордашка у нее не такая миловидная, как у бедной Луизы... Славная была девочка!

— Слушай-ка! Коли ты ее видел, новую служанку, скажи хоть, какова она на вид?

— Я не то чтоб ее хорошо разглядел... я видел, вернее сказать, только ее чепчик, надо признать, прехорошенький!

— Ах, вот оно что! Ну и что у нее за чепчик?

— Чепчик у нее бархатный, вишневого цвета; такие чепчики носят продавщицы метелочек...

— Эти эльзаски? Ну понятно, раз она эльзаска.

— Стоп, стоп, стоп...

— Шут вас побери! Чему вы удивляетесь? «Обжегшись на молоке, дуют на воду...»

— Ах, вот и Шаламель заговорил! Ну, ответь: какое отношение имеет эта твоя поговорка к чепчику эльзаски?

— Ровно никакого.

— Зачем же ты ее изрекаешь?

— Потому что «за добро добром платят», а еще потому, что «всякий бездельник — друг человека».

— Ну вот: коли Шаламель начал сыпать своими глупыми поговорками, в которых ни складу ни ладу, это займет не меньше часа. Слушай, расскажи-ка нам лучше все, что ты знаешь об этой новой служанке?

— Позавчера я проходил по дорожке возле флигеля; она стояла, облокотившись на подоконник, перед одним из окон первого этажа.

— Кто «она»? Дорожка?

— Перестань чепуху молоть! Служанка стояла. Снизу стекла в окне были очень грязные, и рассмотреть эльзаску я не мог; но посредине стекла были почище, так что, я увидел ее вишневого цвета чепчик и густые черные кудри, черные как смоль, мне показалось, что она причесана на манер римского императора Тита.

— Готов биться об заклад, что наш патрон вряд ли разглядел сквозь свои зеленые очки столько, сколько ты умудрился разглядеть! Он ведь из тех людей, о которых говорят: останься он вдовоем с женщиной на Земле — и род людской прекратится!

— Ничего удивительного: «Хорошо смеется тот, кто смеется последний», тем более что «точность — вежливость королей».

— Боже правый! До чего утомителен этот Шаламель, когда он сыплет своими поговорками!

— Черт побери! «Скажи мне, с кем ты водишься, и я скажу тебе, кто ты!»

— Уф! До чего красиво!

— А я вот что думаю: по-моему, наш патрон из-за своего суеверия все больше тупеет.

— Может, им овладело раскаяние, и потому он выдает каждому из нас по сорок су на завтрак...

— Скорее он просто свихнулся.

— Или заболел.

— Мне уже несколько дней кажется, что у него какой-то потерянный вид.

— Да, его что-то почти совсем не видно... Раньше он, нам на горе, появлялся у себя в кабинете ни свет ни заря и все время чего-то от нас требовал, а теперь по два дня в контору носа не кажет.

— Оттого-то старший письмоводитель просто завален работой.

— И мы нынче утром, того и гляди, околеем с голоду, дожидаясь его!

— Да, в нашей конторе большие перемены!

— Представляете, как был бы удивлен этот бедняга Жермен, узнай он о том, что у нас происходит. «Вообрази, дружище, — сказал бы я ему, — патрон выдает каждому из нас по сорок су на завтрак». — «Ни за что не поверю, того быть не может», — услышал бы я в ответ. — «Еще как может! Патрон сказал об этом мне самому, Шаламелю». — «Ты что, смеешься?» — «Да совсем не смеюсь! Вот как все это было: первые два или три дня после смерти мамаши Серафен мы вообще без завтрака сидели; с одной стороны, это было неплохо — по крайней мере, не хлебали ее варево! Но, с другой стороны, нам приходилось тратить свои денежки на еду. Но сколькь-то мы терпели, говоря себе: «У патрона нет теперь ни домоправительницы, ни служанки, когда он опять прислугу заведет, мы опять начнем давиться по утрам отвратительной похлебкой». Ну так вот! Ничего подобного, мой милый Жер-мен: патрон опять завел служанку, а наш завтрак так и остался погребенным в реке забвения! И тогда меня, как говорится, послали

парламентером к патрону изложить ему жалобы наших желудков. Когда я пришел к нотариусу, он о чем-то беседовал со старшим письмоводителем. «Не буду я вас больше кормить по утрам, — проворчал он угрюмо, думая о чем-то своем, — у моей новой служанки нет времени возиться с вашим завтраком». — «Но ведь было условлено, сударь, что вы обязаны давать нам еду по утрам». — «Ладно, покупайте себе что-нибудь на завтрак, а я вам буду давать на это деньги. Сколько вам понадобится? Сорок су на каждого хватит?» — прибавил он, все глубже и глубже погружаясь в свои мысли. Он сказал «сорок су», но мог с таким же успехом сказать и «сто су» либо «двадцать су»! «Да, — поспешил я ответить, — сорока су хватит!» — «Идет! — ответил он. — Старший письмоводитель будет выдавать вам деньги, а я с ним сочтусь». С этими словами патрон захлопнул дверь у меня перед носом. Согласитесь, господа, что Жермен будет просто поражен щедростью нашего патрона.

— Жермен скажет, что патрон, должно быть, употребил много спиртного.

— Вернее, злоупотребил спиртным!

— Шаламель, уж лучше сыпь поговорками, но не занимайся игрою слов!

— Нет, серьезно: я думаю, что патрон болен. За

последнюю неделю он стал просто неузнаваем: щеки у него так ввалились, что в них твой кулак войдет!

— А уж до чего он стал рассеян! На это стоит поглядеть. Вчера он приподнял на лоб свои очки, чтобы пробежать глазами какой-то счет, так вот, глаза у него были красные и светились как горящие угли.

— Ну что ж, он был в своем праве, ведь «добрый счет дружбе не помеха»!

— Не мешай мне говорить. Поверьте, господа, все это весьма странно. Я подаю ему бумагу, а он сидит не поднимая головы.

— Кто? Патрон? Да, все это и впрямь куда как странно. Отчего это он сидел не поднимая головы? Верно, кипел от гнева, если только его привычки, как ты утверждаешь, круто не переменились.

— Ох, до чего ты несносен, Шаламель! Говорю тебе, что я подал ему бумагу вверх ногами.

— Вот он, должно быть, разворчался!

— Как бы не так! Да он этого просто не заметил; просидел, уставившись на бумагу, минут десять, так и сверлил ее своими глазищами, а потом вернул мне ее... пробормотав: «Все правильно!»

— И он все время держал ее вверх ногами?

— Все время...

— Стало быть, он ее не читал?

— Черт побери, конечно! Разве только он умеет читать снизу вверх...

— Вот диковина!

— У него был до того хмурый вид и вместе с тем такой жалкий, что я не решился ничего сказать и вышел из его кабинета с таким видом, как будто ничего не случилось.

— А со мной дня четыре тому назад вот что было: я сидел в рабочем кабинете старшего письмоводителя; и тут приходит какой-то клиент, за ним второй, потом третий, всех их пригласил к такому-то часу патрон. Они долго ждут, затем теряют терпение; по их просьбе я стучу в дверь, ведущую в кабинет нотариуса; никто не отвечает, тогда я толкаю дверь и вхожу...

— Ну и что же?

— Господин Ферран скрестил руки на письменном столе и положил на них свою плешивую голову, зрелище, надо сказать, было малопривлекательное... и в такой позе он сидел не двигаясь.

— Спал, что ли?

— Я тоже так подумал. Подошел к нему поближе и сказал: «Сударь, там собрались клиенты, которым вы велели прийти...» Он даже не пошевелился. «Сударь!..» — говорю я опять. Никакого

ответа. Тогда я легонько тронул его за плечо, а он как выпрямится, словно его бес укусил! При этом его большие зеленые очки съехали на самый кончик носа, и я увидел... Вы мне ни за что не поверите...

— Так что ты все-таки увидел?

— Слезы у него на глазах...

— Шутишь?!

— Ну, тут ты, брат, перехватил!

— Это наш патрон плакал? Ни в жизнь не поверю!

— Если он когда и заплачет... то лишь тогда, когда рак свистнет!

— Или когда куры вместо обычных яиц начнут золотые нести!

— Та-та-та! Можете и дальше чепуху болтать, а только я все своими глазами видел.

— Патрон плакал?

— Говорят вам, плакал! А потом он пришел в ярость оттого, что я его в таком состоянии застукал; он торопливо поправил свои очки и как завопит: «Ступайте!.. Ступайте!..» — «Однако, сударь...» — «Ступайте вон!..» — «Сударь, там собрались клиенты, вы их сами на этот час пригласили и...» — «Нет у меня времени, пусть они убираются ко всем чертям, да и вы вместе с

ними!» И тут он вскочил с таким угрожающим видом, будто собирался вытолкать меня за дверь: я дольше ждать не стал, выскользнул из кабинета и отправил всех клиентов восвояси, вид у них при этом был весьма недовольный, ну это понятно... но, желая спасти честь нашей конторы, я сказал им, что патрон заболел, что у него... коклюш.

Эту занимательную беседу служащих нотариальной конторы прервало появление старшего письмоводителя; он вошел запыхавшись, его встретили приветственными возгласами, и все взгляды мигом обратились на холодную индюшку; в этих взглядах явно читались нетерпение и алчность.

— Не в обиду будь вам сказано, ваша милость, но вы заставляете чертовски долго вас ждать, — заявил Шаламель.

— Берегитесь! — поддержал его еще кто-то. — В следующий раз... наш аппетит не будет столь послушным!

— Ах, господа, моей вины тут нет... Я волновался и злился не меньше вашего... Но даю вам честное слово: наш патрон свихнулся!

— Ну, а я вам что говорил!

— Но позавтракать-то нам это не помешает?!

— Скорее, напротив!

— Мы и с полным ртом поговорить сумеем.

— Даже еще сподручнее будет говорить! — закричал рассыльный.

А Шаламель, старательно разрезавший индюшку, сказал старшему письмоводителю:

— С чего вы взяли, что наш патрон тронулся?

— Мы и сами подумали, что он малость не в себе, когда он положил нам по сорок су на завтрак... ежедневно.

— Признаюсь, что это меня удивило так же, как и вас, господа. Но то была мелочь, сущая мелочь по сравнению с тем, что только сейчас произошло.

— А что такое стряслось?

— Неужели наш злосчастный патрон дойдет до такого сумасбродства, что будет отправлять нас обедать в ресторан «Синий циферблат»?

— А потом мы за его счет станем ходить в театр?

— А после театра в кофейню, чтобы скоротать вечерок за кружкой пунша?

— А потом...

— Господа, можете потешаться сколько вам угодно, но сцена, при которой я только что присутствовал, вовсе не располагает к шуткам, она скорее вселяет страх.

— Понятно. Расскажите нам поподробнее об этой сцене.

— Да, вот именно, — вмешался Шаламель, — не приступайте покамест к завтраку, потому что мы все обратились в слух.

— Кажется, не только в слух, но позволительно сказать — и в челюсти, дети мои! Я понимаю, куда вы клоните: пока я стану рассказывать, вы будете работать челюстями... и покончите с индюшкой раньше, чем я с моей историей. Терпение, оставим мою историю на десерт.

Голод ли пришпоривал молодых писцов или любопытство, сказать не беремся; но они с такой быстротой занялись гастрономической операцией, что старший письмоводитель смог приступить к своему повествованию почти тотчас же.

Боясь, как бы нотариус не застал их врасплох, в соседней комнате поставили на часах рассыльного, на долю которого щедро выделили скелет и лапы индюшки.

Вот что рассказал старший письмоводитель своим сотоварищам:

— Прежде всего... вам следует знать, что привратника уже несколько дней сильно тревожило состояние здоровья нашего патрона: привратника

ник, как известно, ложится спать поздно, и вот он несколько раз замечал, что господин Ферран среди ночи выходит в сад, невзирая на холод и дождь, и прохаживается там большими шагами. Однажды привратник осмелел, вышел из швейцарской и спросил у нотариуса, не нужно ли ему чего. Патрон велел ему отправляться спать таким тоном, что с тех пор привратник сидел смирно, что он и делает всякий раз, когда Жак Ферран выходит ночью в сад, а происходит это чуть ли не каждый день, причем поступает он так в любую погоду.

— А может быть, наш патрон просто лунатик?

— Это маловероятно... Но такого рода ночные прогулки говорят о его сильном волнении... Теперь перехожу к моей истории... Перед тем как идти к вам, я на минуту заглянул в кабинет патрона, чтобы дать ему на подпись несколько бумаг... Взявшись за дверную ручку, я смутно услышал какой-то разговор. Я остановился перед дверью... и различил два или три глухих возгласа... они походили скорее на приглушенные стоны. С минуту я поколебался, а потом вошел в кабинет... Дело в том, что я боялся, не произошло ли какое-нибудь несчастье... Итак, я открыл дверь...

— И что?

— Что я увидел? Патрон стоял на коленях... прямо на полу...

— На коленях?

— Прямо на полу?

— Вот именно... Он стоял на коленях прямо на полу... Голову он закрыл руками... а локтями упер-ся в сиденье стоявшего в углу старого кресла...

— Так все же проще простого... Какие мы ду-раки! Он ведь известный ханжа, вот и решил лишний раз помолиться.

— Ну, коли так, то это была весьма странная молитва! Были слышны только сдерживаемые стоны, да еще время от времени он бормотал сквозь зубы: «Боже мой... боже мой... боже мой!..», словно был в полном отчаянии. А потом... вот что самое странное... Судорожным движением н поднес руки к груди, как будто хотел расцарапать ее ногтями, при этом рубашка его распахнулась, и я отчетливо увидел на его волосатой груди небольшой красный бумажник, он висел у него на шее... на стальной цепочке...

— Вот так штука... вот так штука... Ну и что из того?

— А то, что, увидя все это, я никак не мог ре-шить: оставаться мне в кабинете или уйти.

— Надо признаться, и я на вашем месте был бы

в нерешительности, не знал бы, какой политики придерживаться.

— Я застыл на месте... в полном замешательстве, и вдруг наш патрон поднимается и разом поворачивается в мою сторону; в зубах у него был старый носовой платок в клеточку... очки его остались лежать в кресле... Нет... нет, господа, я в жизни не видел у человека такого выражения лица: он походил на помешанного. Я в страхе попятился... Клянусь, я был не на шутку испуган! И тогда он...

— Схватил вас за горло?

— Не угадали. Сперва он уставился на меня с потерянным видом; потом выронил носовой платок, который, без сомнения, разорвал в клочья, когда скрипел зубами, и с воплем кинулся ко мне в объятия, отчаянно крича: «Господи, до чего я несчастен!»

— Что за выходка?!

— Вот тебе и выходка! Ну ладно!.. Но, признаюсь, когда он поднял голову, напоминавшую обтянутый кожей череп, и произнес эти слова... таким душераздирающим голосом... я бы даже сказал, почти певучим и нежным голосом...

— Нежным голосом... ну, знаете... нет на свете такой трещотки, нет такой осипшей совы, чье

уханье не покажется нежной музыкой по сравнению со скрипучим голосом нашего патрона!

— Все это, возможно, и так, но тем не менее в ту минуту голос его звучал так жалобно, что я был растроган, тем более что господин Ферран обычно не склонен давать волю своим чувствам. «Сударь, — начал я, — поверьте...» — «Перестань! Перестань! — ответил он, не дав мне договорить. — Становится легче, когда можешь кому-нибудь признаться, как сильно ты страдаешь...» Он явно принимал меня за кого-то другого.

— Патрон обратился к вам на «ты»? В таком разе вы должны поставить нам две бутылки бордоского вина:

«Когда патрон на «ты» с тобой,
Плати за выпивку, друг мой»

Так гласит поговорка, а это — дело святое! Ведь поговорки выражают народную мудрость.

— Послушайте, Шаламель, да оставьте наконец свои ребусы! Понимаете, господа, когда я услышал, что патрон говорит мне «ты», я тут же понял, что он либо обознался, либо в лихорадочном жару. Я высвободился из его объятий и сказал ему: «Успокойтесь, сударь!.. Успокойтесь!.. Это я, старший письмоводитель». Тут он тупо уставился

на меня.

— В добрый час! Наконец-то вы говорите правду.

— Глаза у него блуждали. «Что?! Как вы сказали?.. — воскликнул он. — Это вы тут?.. А чего вы хотите?..» И при каждом новом вопросе он проводил ладонью по лбу, как будто стремился разогнать туман, обволакивавший его мозг.

— Туман, обволакивавший его мозг... Вы говорите как по писаному... Браво! Послушайте, наш глубокоуважаемый старший письмоводитель, этак мы с вами скоро сочиним целую мелодраму:

Когда ты о душе сказал так хорошо и прямо,

Садись и сочиняй скорее мелодраму!

— Да помолчи наконец, Шаламель!

— Что же все-таки творится с нашим патроном?

— Ей-богу, ничего понять не могу! Но одно могу сказать совершенно твердо: когда к нему вернулось самообладание, он запел совсем поиному. Господин Ферран грозно нахмурил брови и быстро заговорил, не давая мне даже времени ответить: «Что вы тут делаете? Давно ли вы

здесь находитесь?.. Выходит, я не могу спокойно побыть в своем кабинете? Меня и тут окружают лазутчики! Что я говорил? Что вы услышали? Отвечайте... Отвечайте же!» При этом у него был такой злобный вид, что я поторопился сказать: «Я ничего не слышал, сударь, я только что вошел». — «Вы меня не обманываете? Вы не лжете?» — «Нет, сударь». — «Ну ладно! А что вам угодно?» — «Вы должны подписать несколько бумаг, сударь». — «Давайте их сюда». И он принимается подписывать, подписывать одну бумагу' за другой... даже не читая. Так он подмахнул с полдюжины нотариальных актов, он, который обычно своего росчерка не поставит, не прочитав бумагу, можно сказать, по складам, по буковкам, да еще не раз, а два — с первой строки и до последней. Время от времени рука его останавливалась, казалось, им владеет навязчивая идея, а потом он опять принимался быстро-быстро, почти судорожно выводить свою подпись. Когда все было подписано, он предложил мне убираться к себе; выйдя из его кабинета, я услышал, как он стал спускаться по лесенке, ведущей во двор.

— Я снова возвращаюсь к своему вопросу... Что с ним все-таки творится?

— Господа, а может, он так горюет по госпоже

Серафен?

— Как бы не так! Станет он о ком-нибудь горевать? Он-то!

— Я еще вот о чем подумал: привратник мне говорил, что священник из церкви Благовещения и его викарий несколько раз приходили сюда, чтобы повидать патрона, однако он их не принял. Это просто поразительно! Не принял их, а ведь они раньше отсюда просто не вылезали!

— А меня совсем другое занимает; хотел бы я узнать, какой именно работой занимались во флигеле столяр и слесарь?

— А ведь они там провозились целых три дня.

— А потом, однажды вечером, туда отнесли какую-то мебель, ее привезли в большом крытом фургоне.

— Ей-богу, господа! Я не в силах разгадать сию тайну, как сказал Лебедь из Камбрэ!

— А может быть, его мучит совесть из-за того, что он упек Жермена в тюрьму...

— Кого мучит совесть? Это его-то?! Нет, нашего патрона так просто не проймешь, он крепкий орешек, как говаривал Орел из Мо!

— Ну и шутник же этот Шаламель!

— Кстати, о Жермене; бедняга хлебнет горя в тюрьме, там появилось такое пополнение...

— Ты о чем?

— Я прочел в «Судебной газете», что в одном из подземных кабаков на Елисейских полях захватили шайку воров и убийц...

— Да, такие кабаки — сущие вертепы...

— Так вот, эту шайку злодеев отправили в тюрьму Форс.

— Бедный Жермен! Он угодил в славную компанию!

— В тюрьму, где томится Луиза Морель, тоже прибудет пополнение; говорят, что в эту шайку входило целое семейство воров и убийц: от отца и до сына... от матери до дочери...

— Понятно: преступниц из этой шайки отправят в тюрьму Сен-Лазар, где отбывает заключение Луиза.

— Быть может, кто-нибудь из членов этой шайки и заре-. зал графиню, что живет возле Обсерватории, она одна из клиенток нашего патрона. Он постоянно отправляет меня осведомляться о здоровье этой графини! Сдается, оно его сильно занимает. Надо отдать ему справедливость, тут он сохранил ясность рассудка... Еще вчера он опять посылал справиться о самочувствии графини Мак-Грегор.

— Ну и что ты узнал?

— Там все по-прежнему: сегодня надеются, назавтра приходят в отчаяние, никогда толком неизвестно, доживет ли она до вечера или нет; позавчера совсем уже перестали надеяться, а вот вчера сказали, что смутная надежда все-таки есть; ее состояние осложняется тем, что у нее мозговая горячка.

— А тебя впустили в дом? Ты видел комнату, где было совершено покушение на убийство?

— Как бы не так!.. Меня дальше калитки не пустили, а привратник у них не из разговорчивых, от него ничего толком не узнаешь...

— Господа... внимание, будьте осторожны! Сюда идет патрон! — закричал рассыльный, вбегая в комнату со скелетом индюшки в руках.

И молодые люди тотчас же поспешили каждый к своему столу, склонились над бумагами и застрочили перьями, а мальчишка-рассыльный в мгновение ока сунул обгрызенный скелет индюшки в картонную коробку с папками для дел.

На пороге и в самом деле появился Жак Ферран.

Он был без своего обычного головного убора — старого колпака из черного шелка, и его рыжие волосы, кое-где перемежавшиеся седыми прядями, в беспорядке падали на обе щеки; жилы,

выступавшие на плешивой голове, казалось, разбухли от крови, курносое лицо с запавшими щеками было мертвенно бледным. Различить выражение глаз, скрытых под большими зелеными очками, было невозможно, но все черты его физиономии были так искажены, что становилось понятно: этого человека пожирает какая-то страсть!

Он медленно пересек помещение нотариальной конторы, ничего не сказав своим служащим, даже не заметив, чем они заняты, затем вошел в комнату старшего письмоводителя, также пересек ее, вошел в свой кабинет, не задержался и там, почти тотчас же спустился по лесенке, ведущей во двор.

Проходя, Жак Ферран не прикрыл за собой ни одной двери, и писцы могли сколько угодно удивляться необъяснимым и весьма странным переменам в поведении своего патрона, который, поднявшись по одной лестнице, почти тотчас же спустился по другой, ни на минуту не остановившись ни в одной из комнат, которыми он машинально проходил.

Глава XIII.
ЛЮБОСТРАСТНЫМ НЕ БУДЬ...

Однако, вместо того чтобы придерживаться того светлого и чистого, что можно обрести в той обители умов и сердец, создаваемой дружбой, я уступал мерзкому влиянию собственной похоти, я покорялся жажде сладострастия, столь сильной в тогдашнем моем возрасте, и вожделение точно туман окутывало меня, помрачая очи моего разума. ... Я неумеренно предавался плотским утехам, и жар грубых страстей сжигал мое сердце, безжалостно испепеляя все, что было во мне крепкого и сильного. ... Когда я смотрел на моих сотоварищей, которые бахвалились своим распутством и получали тем большее удовольствие, чем низменнее был их разврат, я испытывал чувство стыда из- за того, что не мог похвастаться подвигами такого рода.

(Исповедь блаженного Августина, книга II,

главы II и III)

Стояла темная ночь.

Глубокая тишина, которая царит во флигеле, где живет Жак Ферран, время от времени нарушается завыванием ветра и шумом дождя, что потоками низвергается на землю. Эти заунывные звуки еще сильнее подчеркивают угрюмое одиночество этого жилища.

В одной из спален, расположенной на втором этаже, с большим комфортом заново обставленной и украшенной огромным пушистым ковром, перед камином, где ярко пылает огонь, стоит молодая женщина.

Странная вещь! Посреди двери, старательно запертой на засов, — дверь эта проделана в стене, противоположной той, где стоит кровать, — замечаешь небольшое окошечко в пять или шесть квадратных дюймов, которое можно открыть и изнутри и снаружи.

Лампа с абажуром отбрасывает мягкий свет на стены комнаты, оклеенной обоями гранатового цвета; полог на кровати, занавески на окне, равно как и покрывало на широкой софе, сшиты из дамасского шелка и шерсти того же — гранатового — цвета.

Мы так подробно описываем эти приметы

известной роскоши, которая совсем недавно появилась в жилище нотариуса, ибо роскошь эта свидетельствует о полном и решительном изменении в привычках Жака Феррана, до тех пор отличавшегося отвратительной скупостью и спартанской нетребовательностью во всем, что относилось к уюту (особенно если дело касалось других).

На фоне этих гранатовых обоев, одновременно яркого и теплого оттенка, вырисовывается силуэт Сесили, которую мы попытаемся описать.

Высокая и необыкновенно гибкая, креолка находится в самом расцвете молодости. Ее сильные и красивые плечи, ее пышные бедра еще больше подчеркивают необычайно тонкую, хотя и округлую талию; легко поверить в то, что Сесили вполне может воспользоваться вместо пояса своим ожерельем.

Ее эльзасский костюм одновременно и скромен и кокетлив, он отличается причудливой театральностью, но она-то как нельзя лучше служит тому эффекту, который Сесили и намеревалась произвести.

Спенсер из черного казимира, полуоткрытый на высокой груди, довольно длинный, но с короткими рукавами, плотно охватывавший спину,

был обшит пурпурной шерстяной нитью на обшлагах и украшен двумя рядами маленьких пуговиц из чеканного серебра. Короткая мериносовая юбка оранжевого цвета, которая на первый взгляд кажется слишком широкой, тем не менее прекрасно облегает ее поистине скульптурные бедра и позволяет видеть до половины прелестные колени креолки: на ней алые чулки с синими стрелками, такие чулки можно увидеть на полотнах старых фламандских мастеров, которые столь охотно показывают каждому подвязки на ногах своих дебелых матрон.

Никогда еще ни один художник не мог даже мечтать о такой изумительной линии ноги, какая была у ножек Сесили! Сильные, с тонкой щиколоткой и округлой икрой, они оканчивались миниатюрной стопой, изящно обутой в крошечный башмачок из черного сафьяна с золотыми застежками.

Сесили, чуть перегнувшись влево, стоит против зеркала, которым увенчан камин... Большой вырез ее спенсера позволяет увидеть стройную шею и полную, но упругую грудь ослепительной белизны.

Креолка сняла свой чепчик вишневого цвета, чтобы сменить его перед сном на легкий

шелковый платок; при этом открылись ее великолепные, густые, иссиня-черные волосы, разделенные прямым пробором и вьющиеся от природы; они ниспадают по ее щекам до того места, где шея уходит в плечи.

Нужно хорошо знать, с каким неподражаемым вкусом креолки повязывают вокруг головы платки ослепительно ярких цветов для того, чтобы наглядно представить себе очаровательный ночной головной убор Сесили: легкая ткань в красную, голубую и оранжевую полоску весьма пикантно контрастировала с ее черными кудрями, выбивавшимися из-под платка и обрамлявшими множеством шелковистых завитков ее бледные, но круглые и налитые соками щеки...

Закинув за голову полные руки, Сесили кончиками своих точеных словно из слоновой кости пальчиков завязывала на затылке широкий бант, чуть сдвинув его налево, почти к самому уху.

Черты лица у Сесили таковы, что, раз увидев, их невозможно забыть.

Надменный, чуть выпуклый лоб венчает безупречный овал ее лица; у нее матово бледная кожа, свежая и атласная, как лепестки у камелии, слегка позолоченные солнечным лучом; большие, нет, огромные глаза поражают каким-то

необыкновенным выражением, ибо громадные черные и блестящие зрачки занимают почти все глазное яблоко, оно лишь чуть виднеется в уголках глаз, затененных веками, которые украшены густыми и длинными ресницами; у нее четко очерченный подбородок; прямой и тонкий нос заканчивается двумя вздрагивающими ноздрями; они раздуваются при малейшем волнении; рот у нее одновременно вызывающий и нежный, алые губы необыкновенно свежи.

На этом бледном лице особенно заметны огромные сверкающие глаза и влажные ярко-красные губы, блестящие как смоченный коралл.

Скажем прямо: эта высокая креолка, довольно полная, но статная, сильная и гибкая, как пантера, являла собою воплощение грубой чувственности, какая расцветает только под палящим солнцем тропиков.

Разумеется, все слыхали разговоры о темнокожих женщинах, общение с которыми гибельно для европейцев, об этих обольстительных вампирах: они опьяняют свою жертву, прельщают ее своими ужасными чарами, высасывают из нее до последней капли золото и кровь, так что злополучному мужчине остается только одно — глотать свои слезы и глодать свое сердце, как

выражаются в народе.

Такой женщиной и была Сесили.

Надо сказать, что ее отвратительные инстинкты некоторое время сдерживала сильная привязанность к Давиду, и она дала им волю уже в Европе, где под влиянием цивилизованного общества и умеренного климата они несколько смягчились и проявлялись уже по-иному.

В отличие от себе подобных женщин, которые свирепо набрасываются на жертву и стремятся как можно скорее отнять состояние и саму жизнь у злополучного человека, попавшего в их сети, Сесили завораживала своего поклонника гипнотическим взглядом и мало-помалу затягивала его в огненный вихрь страсти, которую, казалось, излучала; затем, убедившись, что он окончательно потерял голову и совершенно изнемог под бременем невыносимых мук, порожденных неутоленным желанием, она с удовольствием и каким-то изощренным и жестоким кокетством доводила его до исступления; затем, следуя своему природному инстинкту, она буквально пожирала его, сжимая в своих смертоносных объятиях.

И это было еще ужаснее.

Голодный тигр, который одним прыжком на-

стигает свою жертву и с ревом разрывает ее на части, внушает меньший ужас, чем змея, которая молча завораживает жертву, мало-помалу высасывает из нее кровь, обвивается вокруг бессильной жертвы, сжимая ее, как тисками, неумолимо, хотя и медленно, дробит ее мышцы и кости, ощущает, как та трепещет под ее укусами, и словно бы насыщается не только кровью своей добычи, но и ее муками.

Как мы уже говорили, Сесили вскоре после приезда в Германию была развращена ужасным распутником; затем, втайне от Давида, любившего ее со слепым обожанием, некоторое время околдовывала и соблазняла мужчин, пользуясь своей опасной привлекательностью; однако уже вскоре произошел громкий скандал, и все похождения Сесили были преданы гласности; обнаружились столь отвратительные подробности, что эту женщину приговорили к пожизненному заключению.

Прибавьте к этим тлетворным чертам натуры Сесили гибкий ум, коварство, вкрадчивость и незаурядные способности, позволившие ей за какой-нибудь год с легкостью овладеть французским и немецким языками: она не только бегло говорила на них, но даже изъяснялась с, видимо,

присущим ей от природы красноречием; вообразите себе порочность, достойную распутных императриц Древнего Рима, отвагу и мужество, не покидавшие ее ни при каких обстоятельствах, дьявольскую злобу, и вы представите себе, какова была новая служанка Жака Феррана — женщина, которая без колебаний решилась проникнуть в это волчье логово.

Но странное дело! Узнав от барона фон Грауна о том, какую вызывающую, но платоническую роль ей предстоит сыграть в доме нотариуса, поняв, что, обольщая Жака Феррана, она должна помочь свершиться справедливому мщению, Сесили дала себе слово сыграть эту роль с любовью, а вернее с ужасной ненавистью, какой она прониклась к нотариусу, узнав о мерзком насилии, которое он совершил в отношении несчастной Луизы, и почувствовав при этом искреннее негодование; рассказать обо всем этом креолке пришлось для того, чтобы она была настороже и была готова дать отпор сдобренным лицемерием побуждениям и попыткам этого изверга.

Теперь мы полагаем необходимым сказать несколько слов о том, как отнесся Жак Ферран к предстоявшему появлению Сесили в его доме.

Когда г-жа Пипле привела молодую женщину

к нотариусу и сказала, что Сесили — сирота, до которой ей мало дела, что она ее опекать не собирается, Жак Ферран был даже не столько поражен красотою креолки, сколько загипнотизирован ее неотразимым взглядом; этот завораживающий взгляд с первой же минуты зажег жгучий огонь в крови нотариуса и помутил его разум.

Ибо, как мы уже говорили, отмечая безрассудную дерзость его речей во время разговора с герцогиней де Люсене, человек этот, обычно прекрасно владевший собой, хладнокровный; коварный и хитрый, забывал о своих холодных расчетах, о своей осторожности и скрытности, когда демон сладострастия овладевал его помыслами.

А ко всему, у него не было никаких оснований остерегаться попечений г-жи Пипле.

После своего разговора с привратницей г-жа Серафен предложила нотариусу взять в услужение взамен Луизы некую одинокую девицу, за которую она ручается... Жак Ферран принял это предложение своей домоправительницы, надеясь безнаказанно воспользоваться в своих целях шатким положением новой служанки, у которой не было никаких покровителей.

Словом, не имея никаких поводов для подозри-

тельности, Жак Ферран находил в ходе последних событий новые резоны для спокойствия.

Все отвечало его тайным желаниям.

Смерть г-жи Серафен избавила его от опасной сообщницы.

Смерть Певуньи (а он был уверен, что она умерла) избавляла от, можно сказать, живой улики, свидетельствующей о его давнем преступлении.

Наконец, благодаря смерти Сычихи и неожиданной гибели графини Мак-Грегор (она находилась в безнадежном положении) он мог отныне не бояться двух этих женщин, чьи разоблачения и угрозы могли оказаться для него пагубными...

Поэтому, повторяем: даже тени подозрения не закрадывалось в душу Жака Феррана, и ничто не могло поколебать того неожиданного и неотразимого впечатления, которое произвела на него Сесили, как только он ее увидел; вот почему он с жадностью ухватился за возможность завлечь в свой дом, в свое уединенное жилище, мнимую племянницу г-жи Пипле.

Особенности характера, наклонностей и прежних поступков Жака Феррана, уже хорошо известные читателю, вызывающая красота креолки, которую мы, как могли, описали, а также еще некоторые обстоятельства, о которых мы

скажем ниже, помогут читателю понять, как мы надеемся, почему нотариус внезапно воспылал неистовой страстью к Сесили, этой прельстительной и опасной женщине.

Ко всему еще уместно добавить, что если женщины такого рода отталкивают и отвращают от себя людей с нежными и возвышенными чувствами, то они производят неизгладимое впечатление, оказывают просто колдовское влияние на людей с грубой чувственностью, таких, как Жак Ферран, и полностью подчиняют их себе.

Подобные сладострастники с первого взгляда угадывают, что перед ними такие женщины, ибо они с первой же минуты к ним вожделеют; роковая власть таких женщин влечет сластолюбцев к ним, и уже вскоре таинственные чары, гипнотическое влияние налагают на них оковы и заставляют падать к ногам их чудовищного идеала; ибо только эти женщины и могут утишить нечистый жар, сжигающий души рабов похоти.

Таким образом, неотвратимый рок, суливший справедливое возмездие, неумолимо притягивал и толкал нотариуса к Сесили. Он ступал на стезю грозного искупления.

Свирепое сластолюбие побудило Жака Феррана совершить гнусное преступление, безжалостно, с

яростью преследовать семью честных бедняков, обрекая ее на нищету, на безумие, на гибель...

Именно сладострастие должно было стать ужасной карой для этого великого преступника.

Ибо замечено, что в силу некой роковой справедливости нередко извращенные, противоестественные страсти несут в себе возможность наказания...

Возвышенная любовь, если даже на нее не отвечают взаимностью, находит известное утешение в нежной дружбе, в чувстве уважения, которым женщина, достойная обожания, неизменно вознаграждает любящего ее человека, если она не может ответить ему более нежным чувством. Если такая награда и не утишает горе злосчастного возлюбленного, если его отчаяние столь же неисцелимо, как и его любовь, он может, по крайней мере, открыто признаваться в своей несчастной любви и даже гордиться ею...

Но чем можно вознаградить дикую страсть, плотское влечение, которое доходит до неистовства?

Прибавим, что такое плотское влечение столь же неумолимо властвует над грубыми натурами, сколь неумолимо властвует над натурами возвышенными высокая любовь...

Нет, не только глубокая и всепоглощающая любовь возникает внезапно, ослепляя и порабощая человека, не только она сосредотачивает все его помыслы, все его порывы на владычице его сердца и делает невозможным для него любую другую привязанность, решает всю его дальнейшую судьбу.

Грубая плотская страсть тоже может достичь невероятной силы, как это случилось с Жаком Ферраном; и тогда все те проявления, которые сопутствуют единственной, всепоглощающей, непреодолимой и возвышенной любви, сопутствуют и грубой страсти; но в первом случае они высоконравственны и чисты, а во втором случае — низменны и безнравственны.

Хотя Жаку Феррану и не суждено было добиться успеха и вкусить наслаждение, прекрасная креолка остерегалась полностью лишить его надежды; но ее смутные и двусмысленные обещания, которыми она баюкала нотариуса, так тесно переплетались с ее жестокими капризами, что служили для него источником лишних терзаний и еще сильнее скрепляли раскаленные цепи, которые приковывали его к соблазнительнице.

Если читателя удивляет, что нотариус, человек столь решительный и властный, до сих пор не

прибегнул ни к силе, ни к коварству для того, чтобы преодолеть обдуманное заранее сопротивление Сесили, то он, читатель, забывает о том, что креолка ничуть не походила на бедную Луизу. К тому же на следующий же день после своего появления в доме нотариуса креолка, как мы сейчас расскажем, стала играть совсем другую роль, чем та, с помощью которой она проникла в его жилище: дело в том, что Жака Феррана мнимая служанка долго дурачить бы не могла.

Подробно узнав от барона фон Грауна о судьбе Луизы и о тех отвратительных средствах, благодаря которым злосчастная дочь гранильщика алмазов Мореля сделалась добычей этого сладострастника, Сесили предприняла все меры предосторожности, с тем чтобы уже в первую ночь своего пребывания в доме нотариуса почувствовать себя в полной безопасности.

Вечером, когда она впервые осталась наедине с Жаком Ферраном, он, боясь ее спугнуть, сделал вид, что даже не смотрит в ее сторону, и отрывистым тоном велел Сесили отправляться спать; тогда она простодушно призналась ему, что по ночам боится воров; однако, прибавила креолка, она очень сильна, решительна и готова защитить себя.

— А чем вы собираетесь защищаться? — спросил нотариус.

— А вот чем... — ответила Сесили, достав из широкой шерстяной накидки, в которую она куталась, небольшой остро отточенный кинжал, вид которого заставил Жака Феррана призадуматься.

Тем не менее, поверив в то, что его новая служанка боится только воров, нотариус проводил Сесили в предназначенную для нее комнату (то была бывшая комната Луизы). Внимательно оглядев все кругом, креолка, дрожа и опуская глаза, сказала, что все из того же страха она просидит всю ночь на стуле, потому что, как она убедилась, на двери нет ни задвижки, ни запора.

Жак Ферран уже был полностью под властью ее чар, но, боясь испортить дело, зародив подозрения у Сесили, он ворчливо сказал молодой женщине, что она просто взбалмошная дура, если так страшится воров; однако он пообещал ей, что на следующий день к двери приделают задвижку.

В ту ночь креолка так и не легла спать.

На следующее утро нотариус вошел к ней в комнату, чтобы познакомить Сесили с кругом ее обязанностей. Он решил в первые несколько

дней, прибегнув к лицемерию, проявить сдержанность в отношении своей новой служанки для того, чтобы внушить ей доверие; однако, пораженный красотой Сесили, которая при свете дня показалась ему еще более привлекательной, он потерял голову, ослепленный овладевшим им вожделением, и, запинаясь, стал расхваливать гибкий стан и красоту Сесили.

Наделенная редкой проницательностью, креолка уже с первой встречи с нотариусом поняла, что он очарован ею; выслушав его пылкие комплименты, она внезапно решила отказаться от притворной скромности и, как говорится, сбросить маску.

Вот почему она приняла весьма дерзкий вид.

Жак Ферран продолжал вновь и вновь восторгаться прелестным лицом и тонкой талией своей новой служанки.

— Поглядите на меня внимательнее, — решительно сказала ему Сесили. — Хотя я и одета как эльзасская крестьянка, разве я хоть сколько-нибудь похожу на прислугу?

— Что вы хотите этим сказать?! — воскликнул нотариус.

— Посмотрите на эту руку... — продолжала молодая женщина. — По-вашему, она привыкла к

тяжелой работе?

И она показала Жаку Феррану свою белую, красивую руку, с тонкими, будто точеными пальцами и розовыми отполированными ногтями; только чуть более темные лунки говорили о том, что рука эта принадлежит темнокожей.

— Ну, а эта нога принадлежит, по-вашему, служанке?

И она выставила очаровательную ножку, обутую в кокетливый башмачок; нотариус впервые обратил внимание на эту прелестную ножку и теперь пожирал ее глазами, отводя от нее взгляд только для того, чтобы полюбоваться красивым лицом Сесили.

— Я сказала своей тетке Пипле то, что меня устраивало; она ничего не знает о моей прошлой жизни и потому поверила, что я попала в столь трудное положение... из-за смерти моих родителей; но вы, надеюсь, достаточно прозорливы и вряд ли разделите ее заблуждение, мой любезный хозяин?

— Кто же вы на самом деле?! — воскликнул Жак Ферран, донельзя удивленный такими речами.

— Это моя тайна... По хорошо известным одной только мне причинам мне пришлось покинуть Германию, переодевшись крестьянкой: я долж-

на некоторое время оставаться в Париже: мне придется здесь прятаться, и чем незаметнее, тем лучше. Тетка, думая, что я сильно нуждаюсь, предложила мне место служанки в вашем доме, она рассказала мне, что у вас ведут уединенную жизнь, и предупредила, что мне не будет позволено никуда отлучаться... Я тотчас же согласилась. Сама того не подозревая, она предупредила мое самое большое желание. Ну кто станет искать меня здесь, кто может меня тут обнаружить?!

— Стало быть, вы скрываетесь?! А что вы такого натворили, что вам приходится скрываться?

— Возможно, за мной числятся кое-какие интимные грешки... но и это — моя тайна.

— А каковы ваши дальнейшие намерения, мадемуазель?

— Они все те же. Если бы не ваши красноречивые похвалы по поводу моей гибкой талии и моей неописуемой красоты, я бы в жизни не сделала вам таких признаний... впрочем, ваша првницательность раньше или позже позволила бы вам многое угадать... А потому послушайте меня внимательно, любезный мой хозяин: я приняла на время положение, а вернее, роль служанки, к тому меня вынуждают обстоятельства... у меня достанет мужества довести эту роль до конца, я

приму все связанные с этим последствия... я буду прислуживать вам добросовестно, с рвением и буду выказывать вам должное уважение — все это для того, чтобы сохранить место служанки... иными словами, надежное и никому не известное убежище. Но при первой же вашей попытке любезничать со мною, при малейшей вольности с вашей стороны я немедленно уйду от вас, не потому, что я недотрога... надеюсь, ничто во мне не говорит о преувеличенной стыдливости...

И Сесили бросила на нотариуса взгляд, говоривший о такой нескрываемой чувственности, что он содрогнулся до самой глубины души.

— Нет, я отнюдь не недотрога, — продолжала креолка с вызывающей улыбкой, показывая при этом свои ослепительно белые зубы. — Избави бог! Когда меня охватывает любовная страсть, вакханки кажутся скромными монашенками по сравнению со мной... Но будьте справедливы... и вы согласитесь с тем, что ваша недостойная служанка готова добросовестно выполнять свои обязанности... Отныне вам известна моя тайна, или, по крайней мере, часть моей тайны. Быть может, вы случайно захотите вести себя как человек любезный и галантный? Вы находите, что я слишком хороша для прислуги? Не хотите ли

поменяться ролями и стать моим рабом? Ну что ж! Говоря откровенно, я предпочла бы такую возможность... но при одном непременном условии: я никуда и никогда не буду отлучаться из дому, а вы будете относиться ко мне только по-отечески... это не помешает вам говорить мне, что вы находите меня очаровательной: в том будет состоять награда за вашу преданность и скромность...

— И это будет единственная награда? Одна-единственная? — пробормотал Жак Ферран.

— Да, единственная... разве только одиночество и демон соблазна сведут меня с ума... Впрочем, это невозможно, потому что вы будете рядом и, так как вы человек святой, вы станете отгонять нечистого.

— Поэтому решайте, — продолжала Сесили, — но только никаких полумер... либо я буду служить вам, либо вы будете служить мне! В противном случае я покину ваш дом... попрошу тетку подыскать мне другое место... Все это, должно быть, кажется вам очень странным, согласна... Но если вы принимаете меня за авантюристку... без всяких средств к существованию, вы глубоко ошибаетесь... Я хотела, чтобы тетка была моей слепой сообщницей и ни о чем не подозревала, я оставила ее в убеждении, что я так бедна, что

даже не могу купить себе другую одежду... Однако вы сами можете убедиться в том, что мой кошелек отнюдь не пуст; вот поглядите: в нем есть и золото... и бриллианты... — Сказав это, Сесили показала нотариусу объемистый кошелек из красного щелка, полный золотых монет, среди которых поблескивали драгоценные камни. — К сожалению, никакие деньги на свете не помогут мне отыскать такое надежное убежище, как ваш дом, такое уединенное, ибо вы живете столь уединенно... Поэтому примите одно из двух моих предложений, этим вы окажете мне услугу. Как видите, я всецело полагаюсь на вас; ведь сказать вам: «Я вынуждена скрываться» — все равно, что сказать: «Меня разыскивают»... Но уверена в том, что вы меня не выдадите, даже если и найдете способ выдать меня...

Это столь романтическое признание, это неожиданное изменение в облике Сесили внесло полную смуту в сознание Жака Феррана.

Кто же эта женщина? Почему она скрывается? Только ли случай привел ее в его дом? Если же, напротив, она проникла сюда с какой-то тайной целью, то что это за цель?

Это странное приключение породило в уме нотариуса немало различных предположений,

но ему и в голову не могла прийти истинная причина того, почему креолка появилась в его доме. Ведь у него не было, вернее, он полагал, что у него нет иных врагов, кроме жертв его сладострастия или алчности; ну, а все они находились в столь бедственном положении, были так обездолены и несчастны, что он не мог допустить, будто кто-либо из них мог расставить ему западню, использовав Сесили как приманку.

И к тому же: с какой целью могли они расставить ему такую западню?

Нет, внезапное преображение креолки зародило лишь одно опасение в мозгу Жака Феррана: он подумал, что эта женщина, явно скрывающая правду, возможно, просто авантюристка, которая, считая его богачом, проникла в дом для того, чтобы обмануть его, использовать в собственных интересах и, если ей это удастся, женить на себе.

Однако, хотя его скаредность и жадность были возмущены при этой мысли, он с трепетом обнаружил, что эти его подозрения, эти раздумья пришли слишком поздно... он мог, правда, одним только словом успокоить свою тревогу, приказав этой женщине покинуть его дом.

Но произнести это слово он уже не хотел...

Все эти беспокойные мысли разве только на

несколько мгновений вырвали его из состояния жгучего восторга, почти исступления, в каком он пребывал, пожирая глазами эту женщину, которая была так красива и чья чувственная красота просто порабощала его... С первого же дня знакомства он был околдован ею, полностью оказался в ее власти.

Он уже любил ее, неистово любил... на собственный лад...

Уже одна мысль о том, что эта обольстительная красавица может покинуть его дом, была для него нестерпима: он уже ощущал приступы свирепой ревности при одной мысли, что Сесили может щедро оделить какого-нибудь другого мужчину дарами своего сладострастия, в чем она отказывает ему, и, возможно, будет отказывать всегда; и Жак Ферран находил мрачное утешение, говоря себе:

«Пока она будет безвыходно находиться в моем доме, никто другой не сможет ею обладать».

Дерзкие речи этой женщины, ее пламенные взгляды, вызывающая вольность ее манер убедительно подтверждали, что она и в самом деле была отнюдь не недотрога. И это обстоятельство, наполнявшее смутной надеждой нотариуса, еще больше укрепляло власть Сесили над ним.

Одним словом, сладострастие Жака Феррана заглушало в нем голос холодного рассудка, и он слепо погружался в поток разнузданного вожделения, уносивший его навстречу гибели.

Было условлено, что Сесили будет служанкой только для вида: это поможет избежать скандальных кривотолков; больше того, чтобы еще надежнее обеспечить безопасность его «гостьи», нотариус решил не нанимать другой прислуги, он согласился обслуживать и ее, и себя самого собственными силами; соседний трактирщик будет доставлять еду, вместо завтрака служащие конторы станут получать наличные деньги, а привратник будет поддерживать чистоту в служебных помещениях. Помимо того, Жак Ферран пообещал немедленно же обставить комнату, отведенную Сесили во втором этаже, по ее вкусу; она предложила было взять расходы на себя... но он отказался и потратил на мебель, две тысячи франков...

Такая неслыханная щедрость говорила о неслыханной силе владевшей им страсти.

С этого дня для негодяя началась ужасная жизнь.

Запершись в своем уединенном доме, недоступный для всех, все сильнее подпадая под ярмо

своей неистовой страсти, отказавшись от попыток проникнуть в тайну этой странной женщины, Жак Ферран из господина Сесили превратился в ее раба; он сделался ее лакеем, сам прислуживал ей за трапезами, сам убирал ее комнату.

Предупрежденная бароном фон Грауном о том, что Луиза была захвачена врасплох потому, что ее опоили каким-то снотворным зельем, креолка пила только совершенно прозрачную воду и употребляла только такую пищу, в которую нельзя было ничего подсыпать; тщательно обследовав отведенную ей комнату, она убедилась, что в стенах нет потайной двери.

Впрочем, нотариус довольно скоро понял, что Сесили — не такая женщина, которую можно захватить врасплох или которой можно пытаться безнаказанно овладеть силой. Она была сильна, ловка и вооружена опасным кинжалом; так что только бешеное исступление могло толкнуть человека на какую-либо отчаянную попытку насилия, но она была готова дать отпор любой угрозе, избежать малейшей опасности...

Однако, для того чтобы окончательно не обескуражить нотариуса и не дать ослабеть его страсти, креолка порою делала вид, что ее трогают его заботы и что ей льстит безмерная власть над ним.

И тогда, намекая, что в силу его безраздельной преданности и самоотречения он, возможно, заставит ее забыть о том, как он стар и безобразен, коварная женщина не без удовольствия рассказывала ему, прибегая к самым дерзким и зажигательным выражениям, какими несказанными дарами сладострастия она опьянила бы его, если бы каким-либо чудом сама воспылала к нему страстью.

Слушая такие речи молодой и красивой женщины, Жак Ферран иногда чувствовал, что его ум мешается... соблазнительные картины повсюду преследовали и сжигали его; и в памяти нотариуса невольно представала отравленная туника Несса — этот античный символ нестерпимых мук.

Оказавшись во власти невыносимых страданий, он терял силы, аппетит, сон.

Случалось, по ночам, невзирая на холод и дождь, он выходил в сад и быстро шагал там взад и вперед, стараясь таким способом утихомирить, притушить опалявший его внутренний жар.

В другие ночи этот любострастный старик долгими часами не сводил горящего взора, со спящей креолки; дело в том, что, движимая адской снисходительностью, она позволила ему проделать

окошечко в двери, что вела к ней в комнату, и окошечко это часто, весьма часто оставалось открытым, ибо цель Сесили заключалась в том, чтобы постоянно пришпоривать животную страсть этого человека, остававшуюся неудовлетворенной, и нотариус приходил в отчаяние, близкое к помешательству, а это должно было помочь ей выполнить полученный приказ...

Судя по всему, роковая минута приближалась.

С каждым днем все неотвратимее становилась кара, ожидавшая Жака Феррана, кара, соразмерная совершенным им преступлениям...

Негодяй испытывал адские муки. Поглощенный своей нечистой страстью, совсем потерявший голову, утративший самообладание, забросивший самые важные дела, переставший заботиться о поддержании своей репутации человека строгих правил, человека серьезного и благочестивого (правда, репутацией этой он пользовался отнюдь не по праву, он снискал ее, долгие годы прибегая к притворству и хитрости), нотариус приводил теперь в изумление своих служащих явным душевным расстройством, он вызывал недовольство своих постоянных клиентов, потому что отказывался принимать их, он грубо отдалил от себя священников, которые бы-

ли прежде обмануты его лицемерной святостью и не уставали на все лады восхвалять его.

Жак Ферран то впадал в полную прострацию, исторгавшую у него слезы, то им овладевали приступы яростного гнева; когда его неистовство достигало высшего предела, он, оставаясь в одиночестве, рычал по ночам как дикий зверь; эти приступы бешенства заканчивались болезненным ощущением полной разбитости, но и это патологическое оцепенение не приносило ему покоя, он испытывал такой упадок сил, что не мог ни о чем думать; его постоянно терзал жгучий огонь в крови, гибельный для человека в летах, не дававший ему ни минуты отдыха или передышки... Его душа, его мозг, его чувства, казалось, были охвачены адским пламенем...

Как мы уже говорили, Сесили, стоя перед зеркалом, совершала ночной туалет.

Услышав легкий шум, доносившийся из коридора, она даже не повернула голову в сторону двери.

Глава XIV.
ОКОШЕЧКО

Несмотря на шум, донесшийся до Сесили из-за двери, она продолжала спокойно заниматься своим ночным туалетом; достала из-под корсажа, куда он был засунут наподобие корсетной пластинки, кинжал длиною в пять или шесть дюймов, в ножнах из черной шагреневой кожи; рукоятка кинжала была из черного дерева, украшенного серебряной нитью, то была довольно непритязательная рукоятка, но зато, как говорится, подогнанная «по руке».

Это было отнюдь не игрушечное оружие, не роскошная безделушка.

Сесили вытащила кинжал из ножен и с величайшей осторожностью положила его на мраморную крышку камина; лезвие у этого кинжала из дамасской стали великолепной закалки было треугольное, все его грани — искусно заточены; острым, как игла, кончиком лезвия можно было легко проткнуть монету, и он бы при этом даже не затупился...

Кинжал был пропитан сильным и стойким

ядом, так что малейший укол лезвия был смертельным.

Когда Жак Ферран однажды усомнился в том, что оружие это и в самом деле столь опасно, креолка в его присутствии проделала опыт in anima vili[122], иными словами, на злосчастной собачонке, жившей в доме: молодая женщина слегка уколола ее в нос, и бедное животное растянулось на полу, погибло в ужасных конвульсиях.

Положив кинжал на камин, Сесили сбросила свой спенсер из коричневого сукна, обнажив при этом плечи, грудь и руки словно женщина в бальном наряде.

По обычаю многих темнокожих женщин, Сесили не носила корсета, его заменял ей второй корсаж из плотного полотна, тесно облегавший стан; ее оранжевая юбка была прикреплена к этому своего рода белому лифу с короткими рукавами и очень открытому, все это вместе взятое создавало некий костюм, гораздо менее строгий, чем спенсер, и чудесно сочетавшийся с ярко-красными чулками и шелковым платком, кокетливо завязанным вокруг красивой головы креолки. Ее руки и плечи были удивительно

---

[122] Notes: 122
На подопытном животном (лат.)

совершенной формы, две маленькие ямочки и черная бархатистая родинка придавали им еще большее очарование.

Чей-то долгий вздох привлек к себе внимание Сесили.

Она улыбнулась, обвивая один из своих точеных пальцев прядью вьющихся волос, выбившейся из-под ее шелкового платка.

— Сесили!.. Сесили!.. — произнес чей-то грубый, но одновременно жалобный голос.

И тут же в узком окошечке показалось курносое и мертвенно-бледное лицо Жака Феррана; в темноте зрачки его сверкали.

Сесили, до тех пор молчавшая, начала тихонько напевать какую-то креольскую песенку.

Слова этой песни были нежны и выразительны. Хотя молодая женщина пела негромко, звуки ее низкого контральто покрывали шум сильного дождя и резкие порывы ветра, от которых старый дом, казалось, вздрагивал до основания.

— Сесили!.. Сесили!.. — повторил нотариус умоляющим тоном.

Креолка разом перестала петь, быстро повернула голову с таким видом, будто она только теперь услышала голос Жака Феррана, и небрежной походкой подошла к двери.

— Как, любезный хозяин! — Она смеха ради называла так нотариуса. — Оказывается, вы здесь!

Легкий акцент придавал еще большее очарование ее звонкому и чуть резкому голосу...

— О, как вы хороши в таком наряде! — пробормотал сладострастник.

— Вы находите? — кокетливо спросила креолка. — Правда ведь, что этот шелковый платок очень подходит к моим волосам?

— С каждым днем вы мне кажетесь все краше и краше!

— А как вам нравится моя рука? Вы часто видели такую белизну?

— Изыди!.. Изыди, исчадие ада!.. — в ярости крикнул Жак Ферран.

Сесили звонко расхохоталась.

— Нет, нет, я больше не в силах так страдать... О, если бы я не страшился смерти, — глухим голосом проговорил нотариус, — но умереть — значит больше вас не видеть, а ведь вы так хороши!.. Уж лучше я буду страдать, но зато любоваться вами.

— Любуйтесь сколько вашей душе угодно... окошечко для того и служит... и также для того, чтобы мы могли с вами беседовать, как два добрых друга... и этим скрашивать наше одиночество... хотя, по правде говоря, я от него не слишком

страдаю... Ведь вы такой славный господин!.. Вот какие опасные признания я могу вам делать из-за запертой двери...

— Окаянная дверь!.. А вы не хотите ее отпереть? Вы ведь убедились в том, как я послушен! Сегодня вечером я мог попытаться войти к вам в комнату, но я того не сделал.

— Послушны-то вы послушны, но этому есть две причины... Во-первых, вы прекрасно знаете, что треволнения бродячей жизни заставили меня обзавестить кинжалом... я с ним никогда не расстаюсь, рука у меня крепкая, и я хорошо владею этой ядовитой драгоценностью, ее лезвие острее, чем зуб гадюки... Во-вторых, вам хорошо известно, что в тот день, когда у меня появятся основания жаловаться на вас, я навсегда покину этот дом, а вы останетесь тут столь же или даже сильнее влюбленным в меня... потому что вы оказали мне честь, мне, вашей недостойной служанке, — и полюбили меня.

— Вы говорите «моей служанке»! Да это я ваш слуга, ваш раб... осмеянный и презираемый...

— В общем-то это, пожалуй, правда...

— И вас это нисколько не трогает?

— Меня это немного развлекает... Ведь дни... а особенно ночи... тянутся так долго!..

— О, будь ты проклята!

— Нет, говоря серьезно, у вас такой потерянный вид, лицо у вас так искажено, что мне это даже льстит... Правда, это довольно жалкая победа, но ведь здесь никого другого, кроме вас, нет...

— Выслушивать такое!.. И не иметь возможности ничего изменить... и только исходить бессильной яростью!

— Господи, куда девался ваш хваленый ум!!! Быть может, никогда еще я не говорила вам ничего более нежного...

— Насмехайтесь, насмехайтесь...

— Да я вовсе не насмехаюсь... Никогда еще я не встречала человека ваших лет... который был бы так сильно влюблен... и, надо признаться, что человек молодой и красивый не был бы способен на столь бешеную страсть. Ведь юный Адонис, восторгаясь вами, на самом деле восторгается самим собой... он любит, я бы сказала, лишь кончиками губ... а потом, осчастливить его... что может быть проще! Он воспримет это как должное... даже благодарности настоящей не почувствует... Совсем другое дело осчастливить такого человека, как вы, любезный мой господин... О, для него это было бы равносильно обладанию небом и землей, он бы считал, что исполнились его самые

безумные мечты, самые невероятные надежды! Ведь если бы кто-нибудь вам сказал: «Сударь, вы страстно любите Сесили; если я захочу, она через мгновение будет вашей», — разве не сочтете вы, что человек этот обладает сверхъестественной силой, легендарным могуществом?.. Разве не так, мой дорогой господин?

— О, так, так...

— Вот видите! Так вот, если б вы сумели по-настоящему убедить меня в силе вашей страсти, мне, быть может, пришла бы в голову странная фантазия, сыграть перед самой собой роль этого всемогущего человека и выступить вашим ходатаем... Понимаете?

— Я понимаю только одно: вы опять насмехаетесь надо мною... насмехаетесь, как всегда, без всякой жалости!

— Все может быть... в одиночестве порой рождаются самые невероятные фантазии!..

До сих пор в голосе Сесили слышались сардонические нотки; но последние слова она произнесла задумчиво и серьезно, сопроводив их таким долгим и красноречивым взглядом, что нотариус затрепетал.

— Замолчите! И не смотрите на меня так! — взмолился он. — Вы сведете меня с ума... Уж

лучше скажите прямо: «Никогда!» Тогда я смогу, по крайней мере, ненавидеть вас, прогнать вас из моего дома! — воскликнул Жак Ферран, невольно цепляясь за смутную надежду. — Да, тогда бы я ничего от вас не ждал. Но горе мне, горе!.. Теперь я уже достаточно знаю вас и потому, против собственной воли, продолжаю надеяться, что в один прекрасный день вы от нечего делать или из высокомерной прихоти, быть может, даруете мне то, на что я не могу рассчитывать, ибо вы не любите меня... Вы говорите, что я должен убедить вас в силе моей страсти... Господи, неужели вы не замечаете, до чего я несчастен?! Я ведь делаю все для того, чтобы вам угодить... Вы хотите жить скрытно, недоступно для любопытных взглядов — и я прячу вас от этих взглядов, даже с серьезным риском для моей репутации; потому что в конечном счете так и не знаю, кто вы такая; но я уважаю вашу тайну, я никогда с вами о ней даже не заговариваю... Когда я попробовал расспросить вас о прошлом... вы не захотели мне отвечать...

— Ну что ж! Признаю, что была неправа; и сейчас я хочу дать вам доказательство полного моего доверия к вам, мой любезный господин! Выслушайте мою исповедь.

— Еще одна горькая для меня насмешка, не

так ли?

— Нет... я говорю совершенно серьезно... Нужно, чтобы вы, по крайней мере, знали о прошлой жизни той, кому вы так великодушно оказываете гостеприимство. — И Сесили прибавила с притворным раскаянием и самым жалобным тоном: — Я дочь бравого солдата, брата госпожи Пипле, которая доводится мне теткой; я получила воспитание гораздо лучшее, чем у людей моего круга; меня соблазнил, а затем оставил богатый молодой человек. И тогда, стремясь избежать гнева моего старика отца, весьма щепетильного в вопросах чести, я бежала из своей родной страны... — И тут, разразившись смехом, Сесили прибавила: — Вот, полагаю, весьма трогательная и, главное, весьма правдоподобная история моих заблуждений, о таких историях мы часто слышим. Удовлетворите ею свое любопытство в ожидании иных более пикантных признаний.

— Я и не сомневался, что речь пойдет об очередной жестокой шутке, — сказал нотариус, сдерживая ярость. — Вас ничто не может растрогать... ничто... Что же поделать? По крайней мере, рассказывайте хоть что-нибудь. Я служу вам как последний лакей, ради вас я пренебрегаю самыми важны-. ми для меня делами, я уже тол-

ком не понимаю, что делаю..., я стал предметом удивления и насмешек для моих служащих... мои постоянные клиенты опасаются поручать мне вести их дела... Я порвал отношения с несколькими благочестивыми особами, с которыми прежде часто виделся... я даже, подумать не решаюсь о том, что обо мне говорят, чем объясняют полную перемену в моих привычках... И вы, не знаете, нет, вы не знаете, к каким ужасным последствиям для меня может привести моя безумная страсть к вам... Разве все это не говорит о моей преданности, о тех жертвах, какие я приношу?.. Вам угодно иметь еще другие доказательства?.. Скажите какие! Может быть, вам нужно золото? Меня считают более богатым, чем на самом деле... но я готов...

— А что прикажете делать мне сейчас с вашим золотом? — спросила Сесили, прерывая нотариуса и пожимая плечами. — Для того чтобы жить в этой комнате, золото не нужно... Не больно-то вы изобретательны!

— Но разве моя в том вина, что вам нравится сидеть здесь как в тюрьме... Или вам не подходит сама эта комната? Вы хотели бы жить в более роскошном покое? Говорите... Приказывайте...

— А зачем? Я еще раз спрашиваю вас: зачем?

О, вот если бы я поджидала тут дорогого мне человека... пылающего любовью, которую он внушает и которую разделяет сам, тогда бы я жаждала золота, шелков, цветов, изысканных духов с необыкновенным ароматом; все дивные предметы роскоши, все самое пышное, самое чудесное понадобилось бы мне для того, чтобы служить рамкой для моей пламенной любви, — сказала Сесили с такой страстью в голосе, что нотариус вздрогнул всем телом.

— Ну так что ж! Все эти предметы роскоши... достаточно вам сказать лишь слово и...

— Зачем они мне? Для чего они мне? К чему рама, если нет картины?.. А обожаемый мною человек... где его найти, где... дорогой мой господин?

— Да, это-правда!.. — с горечью воскликнул Жак Ферран. — Ведь я стар... я уродлив... я могу вызвать у вас только брезгливое отвращение... Эта женщина обливает меня презрением... она жестоко играет мною... а у меня нет сил прогнать ее... У меня достанет сил только на то, чтобы страдать.

— Ох, до чего несносный плакса! Ох, глупец, способный только на слезливые жалобы! — воскликнула Сесили сардоническим и презрительным тоном. — Он умеет только одно: стенать и прихо-

дить в отчаяние... а между тем он уже десять дней сидит взаперти рядом с молодой женщиной... находится наедине с нею в уединенном доме...

— Но ведь эта женщина пренебрегает мною... но ведь эта женщина вооружена кинжалом... но ведь эта женщина запирается у себя в комнате на ключ!.. — в бешенстве завопил нотариус.

— Ну и что? Победи пренебрежение этой женщины; заставь ее выронить кинжал из рук; убеди ее отпереть дверь, которая вас разделяет... добейся этого не грубой силой... и тогда она окажется бессильна перед тобой...

— Как же мне этого добиться?

— Силой твоей страсти!..

— Силой страсти... Но как мне зажечь в ней ответную страсть, господи?

— Я вижу, что ты всего лишь заурядный нотариус и святоша в придачу!.. Ты просто жалок... Неужели я должна учить тебя, как действовать?! Ты уродлив — стань грозным, и тогда о твоем уродстве забудут. Ты стар — будь сильным и энергичным, и тогда о твоем возрасте забудут... Ты внушаешь отвращение — научись внушать страх. Да, тебе не дано быть гордым скакуном, который победоносно ржет в табуне кобылиц, с нетерпением ждущих его, не будь же, по крайней

мере, глупым верблюдом, который опускается на колени и ждет, пока его навьючат... Стань тигром... старым тигром, который ревет над окровавленной добычей и тем хорош... и потому тигрица из глубины пустыни отвечает на его зов...

Слушая эти речи, не лишенные дерзости и природного красноречия, Жак Ферран не мог сдержать дрожь: он был потрясен свирепым, почти что диким выражением лица Сесили; грудь молодой женщины бурно вздымалась, ноздри ее раздувались, рот был хищно оскален, и она не сводила с нотариуса пламенного взгляда своих огромных черных глаз.

Никогда еще Сесили не казалась ему такой красивой...

— Говорите, говорите еще, — воскликнул он в экстазе, — на сей раз вы не насмехаетесь, вы говорите серьезно... О, если б я только мог!..

— Хотеть — значит мочь, — отрывисто сказала креолка.

— Но...

— Но, скажу я тебе, хотя ты и стар, хотя ты и отвратителен... я бы согласилась оказаться на твоем месте, потому что мне бы представилась тогда возможность соблазнить молодую, красивую и

страстную женщину, ибо одиночество отдавало ее мне во власть, женщину, которая все знает и все умеет... женщину, которая на такое способна... И я бы уж соблазнила ее! А затем, когда моя цель была бы достигнута, все то, что прежде было против меня, с той поры обратилось бы мне на пользу... С какой гордостью, с каким торжеством я могла бы сказать себе: «Мне удалось заставить ее забыть и о моем возрасте, и о моем уродстве! Любовь, которую она мне выказывает, рождена не жалостью, не извращенной прихотью, она завоевана моим умом, моей отвагой, моей настойчивостью и энергией... ее вызвала, наконец, моя безмерная страсть к этой женщине... Да, пусть отныне сюда являются юные красавцы, полные прелести и очарования, эта прекрасная молодая женщина, которую мне удалось покорить многими доказательствами моей пылкой и безграничной страсти, даже не поглядит на них; нет, она и не посмотрит в их сторону, ибо она знает, что эти изнеженные щеголи не поступятся даже узлом на своем шейном платке, даже прядью своих волос ради того, чтобы послушно выполнить любое ее самое фантастическое желание... зато я, если она, к примеру, бросит свой носовой платок в пылающий огонь, по первому ее знаку

брошусь в раскаленную печь и, как старый тигр, буду рычать от радости...»

— Да, я так и поступлю!.. Попробуйте, попробуйте! — вскричал Жак Ферран вне себя от волнения.

Сесили еще ближе подошла к окошечку в двери и, устремив на нотариуса пристальный и пронизывающий взгляд, продолжала:

— Ибо эта молодая женщина будет твердо знать, что если ей в голову придет самый необыкновенный каприз, то юные красавцы прежде всего станут думать о своих деньгах, коль скоро они у них есть, либо — за неимением денег — о своих низменных интересах... в то время как ее старый тигр...

— Ни на что не посмотрит... он... слышите, ни на что не посмотрит... Состояние... честь... он готов будет всем пожертвовать, всем!..

— Это правда? — спросила Сесили, прикоснувшись своими очаровательными пальцами к костлявым и поросшим волосами пальцам Жака Феррана; просунув свои руки между прутьями решетки, которой было забрано окошечко, он судорожно вцепился в них.

Он впервые почувствовал, впервые ощутил, до чего свежа гладкая кожа креолки...

Жак Ферран побледнел еще больше, из его груди вырвался хриплый стон.

— Разве может эта молодая женщина не воспылать страстью? — спросила Сесили. — Ведь если она взглядом укажет своему старому тигру на ее врага... и скажет: «Ударь его», — то он...

— То он тут же ударит! — завопил Жак Ферран, стараясь прижаться своими пересохшими губами к пальцам креолки. — Чтобы овладеть тобой, — закричал негодяй, — я готов совершить даже преступление...

— Подожди, господин... — внезапно сказала Сесили, отдергивая руку, — лучше уходи... я больше не узнаю тебя... до сих пор ты мне казался уродливым, но теперь... уходи, уходи.

С этими словами она резко повернулась и отошла от двери.

Коварная креолка сумела придать своему жесту и своим словам невероятное правдоподобие; взгляд ее казался одновременно изумленным, разгневанным и пылким, он как нельзя более естественно выражал ее досаду, вызванную тем, что она на минуту позабыла о безобразной внешности Жака Феррана, и злополучный сладострастник почувствовал себя во власти неистовой надежды; он еще сильнее вцепился в

прутья решетки, которой было забрано окошечко, и закричал:

— Сесили, куда ты?.. Вернись... вернись... приказывай что хочешь, я стану твоим тигром!..

— Нет, нет, господин... — отвечала креолка, все дальше и дальше уходя от двери. — Лучше, для того чтобы отогнать беса, который искушает меня, я спою одну из песен, что поют в моих родных краях... Ты слышишь меня, господин?.. Ветер на дворе усилился, буря свирепствует... в такую ночь двум возлюбленным особенно приятно и радостно сидеть рядышком у очага, где весело потрескивают дрова!!

— Сесили... вернись!.. — жалобно молил Жак Ферран.

— Нет, нет, позднее... когда я смогу это сделать, не опасаясь самой себя... но свет этой лампы меня слепит... от сладостной неги мои веки смыкаются... Я и сама не понимаю, что за волнение владеет мной... уж лучше я побуду в полумраке... мне кажется, то будет сумрак наслаждения... сумрак истомы...

Произнеся эти слова, Сесили подошла к камину, погасила лампу, сняла со стены висевшую там гитару, поворошила кочергой головни. Отсветы огня, горевшего в камине, освещали просторную

комнату.

Припав к узкому окошечку, Жак Ферран не шевелился; вот какая картина открывалась его взору.

Посреди освещенного круга, образованного дрожащими языками пламени, Сесили полулежала на широкой софе, обитой узорчатым гранатовым шелком, медленно перебирая струны гитары и извлекая из них мелодичные звуки; вся ее поза выражала негу и отрешенность.

Пламя, пылавшее в камине, отбрасывала красные блики на лицо и на фигуру креолки, довольно ярко освещая ее; в остальной части комнаты царил полумрак.

Пусть читатель, для того чтобы лучше представить себе эту картину, вспомнит о том, какой таинственный, почти фантастический вид приобретает комната, в которой пламя очага борется с огромными тенями, подрагивающими на стенах и на потолке...

На улице ураган бушевал все сильнее, свист и рев ветра был слышен в доме.

Беря аккорды на своей гитаре, Сесили не сводила гипнотического взгляда с Жака Феррана, а он как завороженный пожирал ее глазами.

— Вот что, мой господин, — сказала креолка,

— послушайте песню, что поют в наших краях; там не умеют слагать рифмованные стихи, у нас в ходу речитатив, как его называют знатоки, и после каждой паузы возникает певучая мелодия, она сопровождает всякий куплет; песня получается непритязательная, даже порою наивная, но я уверена, что она вам понравится, господин... Та песня, что я спою, зовется «Влюбленная женщина», это она говорит, это она поет...

И Сесили начала свою песню: она скорее декламировала, чем пела, и слова играли большую роль, нежели мелодия.

Нежные и волнующие аккорды гитары служили ей аккомпанементом.

Вот эта песнь креолки:

«Везде цветы, всюду цветы.

Мой возлюбленный вот-вот придет! Я дрожу, я трепещу от счастья.

Солнце, не свети так ярко, сладострастью больше подходит полумрак.

Благоухают цветы, но их свежему аромату мой любимый предпочитает мое жаркое дыхание...

Дневной свет не ранит его очей, ибо он смежит веки под моими поцелуями...

Приди же, ангел мой! Приди... грудь моя бурно вздымается, кровь в моих жилах кипит...

Приди... приди... приди...»

Слова эти, произнесенные с таким нетерпеливым жаром, словно креолка обращала их к невидимому любовнику, сопровождались чарующей мелодией, она как бы усиливала их; прелестные пальцы Сесили извлекали из гитары, инструмента, как известно, не слишком громкого, вибрирующие звуки, удивительно нежные и гармоничные.

Взволнованное лицо Сесили, ее влажные, затуманенные негою глаза, которые она не сводила с нотариуса, казалось, выражали томление и жажду желанной встречи.

Слова любви, опьяняющая мелодия, пламенные взгляды, чувственная красота креолки, ночная тишина — все это вместе взятое до такой степени возбуждало Жака Феррана, что разум его помутился.

Теряя над собой власть, он воскликнул:

— Сжалься... Сжалься надо мной, Сесили!.. Голова у меня идет кругом!.. Остановись, не то я умру!.. О, хоть бы мне сойти с ума!..

— А теперь послушайте второй куплет, господин, — сказала креолка, вновь тронув струны.

И она продолжала с еще большей страстью свою песню:

«Будь мой любимый рядом и коснись он рукою моего обнаженного плеча, такая острая дрожь пройдет по моему телу, что мне почудится, будто я сейчас умру.

Будь он рядом со мной... и коснись он своими кудрями моей щеки, прежде бледная щека заалеет как роза...

Моя всегда бледная щека вспыхнет...

Душа души моей, будь ты здесь... мои пересохшие уста, мои жадные губы не вымолвят ни слова...

Жизнь жизни моей, будь ты здесь, я, даже изнемогая от любви... не попрошу пощады...

Тех, кого я люблю так, как люблю тебя... я убиваю страстью...

О ангел мой! Приди... Грудь моя бурно вздымается, кровь моя в жилах кипит...

Приди... приди... приди...»

Первую строфу своей песни Сесили исполнила со сладострастной негой, во вторую строфу, особенно в ее последние слова, она вложила все неистовство дикой страсти.

Казалось, музыка бессильна была передать овладевшее креолкой бурное и пылкое желание; она вдруг отшвырнула в сторону гитару... и, приподнявшись на софе, протянула руки к двери, за которой стоял Жак Ферран, и безумным, почти умирающим голосом прошептала:

— О, приди же... приди... приди...

Эти полные страсти слова Сесили сопроводила таким огненным взглядом, что описать его мы не в силах... Из груди Жака Феррана вырвался дикий вопль:

— Смерть!.. Смерть тому, кого ты станешь так любить... к кому ты станешь обращаться с какими пылкими речами! — закричал он, колотясь о дверь в приступе ревности и — бешеной страсти. — Возьми все мое состояние... возьми саму жизнь... но прежде даруй мне хотя бы минуту всепоглощающего сладострастия... которое ты рисуешь огненными словами.

Гибкая, как пантера, Сесили одним прыжком оказалась у двери; наклонившись к окошечку,

она с непостижимым притворством сделала вид, будто из последних сил борется с охватившей ее страстью и заговорила едва слышным голосом, трепеща и словно сдерживая волнение:

— Ничего не поделаешь!.. Я вынуждена тебе признаться... я сама вся горю… пламенные слова этой песни воспламенили меня. Я ни за что не хотела подходить к этой двери... и вот я здесь, возле нее... помимо собственной воли... потому что в моем мозгу звучат слова, которые ты недавно произнес: «Если ты скажешь «ударь»... я ударю...» Стало быть, ты и впрямь так любишь меня?

— Чего ты хочешь?.. Золота?.. Всего моего золота?..

— Нет... мне и своего хватит...

— Есть ли у тебя враг? Я убью его,

— У меня нет врагов...

— Хочешь стать моей женой? Я тотчас женюсь на тебе...

— Я замужем!..

— Так чего же ты хочешь? Господи боже!.. Чего же ты все-таки хочешь?..

— Докажи мне, что тобою владеет слепая, неистовая страсть ко мне, что ты готов для нее всем пожертвовать!..

— Я готов! Я пожертвую всем... всем!.. Но что

мне надо сделать?

— Я сама не знаю... Но в какой-то миг блеск твоих глаз ослепил меня... Если ты сейчас, немедленно, дашь мне доказательство неистовой любви, которая способна взволновать женщину до глубины души, наполнить ее исступленным восторгом, я не знаю, на что я готова пойти!.. Поторопись же! Ведь я капризна, и завтра настроение, владеющее мной сейчас, возможно, пройдет бесследно.

— Но какое доказательство я могу тебе дать немедленно, здесь? — завопил негодяй, ломая руки. — Какая жестокая мука! Доказательство! Скажи, какое доказательство тебе нужно?

— Да ты просто глупец! — ответила Сесили, отходя от окошечка и изображая на лице досаду, презрение и гнев. — Видно, я ошиблась! Я-то думала, что ты способен дать мне непреложное доказательство своей любви! Доброй ночи!.. Жаль, конечно...

— Сесили!.. О, не уходи, вернись!.. Но что должен я сделать? Подскажи... В голове у меня мутится... что мне делать? Что мне делать?

— Думай! Ищи!..

— Господи боже! Господи боже!..

— Я-то была готова уступить соблазну, если бы

ты сам того захотел... Больше такой случай не повторится...

— Но скажи, наконец... Должен же человек сказать, чего он хочет! — вне себя от отчаяния крикнул нотариус.

— Угадай...

— Объясни хоть что-нибудь, намекни... прикажи!..

— Эх! Если б ты меня действительно хотел так страстно, как ты утверждаешь... ты б нашел средство убедить... Доброй ночи...

— Сесили!

— Я сейчас захлопну окошечко... вместо того, чтобы отворить дверь...

— Сжалься!.. Послушай...

— На миг мне показалось, что голова у меня закружилась от страсти... Но теперь этот порыв прошел... Все угасло, в моей душе опять воцарился мрак... В ту минуту я думала только о том, что ты мне безмерно предан... и готова была отодвинуть засов... но, нет, нет... ты сам не захотел... О, ты даже не понимаешь, как много ты потерял... Прощай, святой человек...

— Сесили... послушай... останься... я придумал, я нашел! — воскликнул Жак Ферран после недолгого молчания с таким взрывом радости, который

невозможно передать.

У прохвоста голова шла кругом.

Туман, рожденный порочной страстью, помрачил его рассудок; охваченный слепой и бешеной похотью, он потерял всякую осторожность, перестал владеть собою, даже инстинкт самосохранения покинул его...

— Ну что же? Так в чем доказательство твоей любви? — спросила креолка.

Она подошла было к камину и взяла лежавший на нем кинжал, но при последних словах нотариуса медленно вернулась к окошечку; фигура ее была слабо освещена горевшим в камине огнем...

Незаметно от Жака Феррана она набросила на дверь железную цепочку, висевшую на двух крюках; один из них был прочно вделан в филенку двери, другой — в косяк.

— Послушай, — заговорил нотариус хриплым и прерывающимся голосом, — послушай... Если я отдам тебе во власть свою честь... все свое состояние... даже саму жизнь... прямо здесь... тотчас же... тогда ты поверишь в то, что я тебя страстно люблю? Достаточно ли тебе будет такого доказательства моей безумной страсти? Ответь!

— Ты предашь мне во власть свою честь... свое

состояние... саму свою жизнь!.. Ничего не понимаю...

— Если я открою тебе ужасную тайну, такую, что может привести меня на эшафот, тогда ты станешь моей?

— Стало быть, ты... преступник? Да ты смеешься надо мной... А как же твоя хваленая, твоя строгая нравственность?

— Чепуха, ложь!..

— А твоя хваленая честность?

— Тоже ложь...

— А твоя всем известная святость?

— И это ложь...

— Выходит, ты слывешь святым, а на самом деле — ты демон?! Ты просто бахвалишься... Нет, не может человек так ловко лукавить, не может он обладать такой волей, таким холодным умом и такой энергией, не может он быть так дерзок и отважен, чтобы суметь снискать такое доверие и такое уважение окружающих..... Каким же адским презрением к людям должен обладать такой человек, если он осмелится бросить столь дерзкий вызов обществу!

— Я именно такой человек... Мне свойственно подобное презрение к людям, и я — бросил столь дерзкий вызов обществу! — воскликнул Жак

Ферран, этот изверг, с пугающей гордостью.

— Жак!.. Жак!.. Не говори таких вещей! — пронзительным голосом закричала Сесили, чья грудь бурно вздымалась от притворного волнения. — Ты сведешь меня с ума...

— Возьми мою голову за свои ласки!.. Согласна?

— Ах! Наконец-то я слышу голос истинной страсти!.. — вырвалось у креолки. — Подожди... Вот мой кинжал... Ты обезоружил меня...

Жак Ферран просунул руку между прутьев решетки, которой было забрано окошко, осторожно взял из рук Сесили смертоносное оружие и швырнул его в глубь коридора.

— Сесили... Значит, ты мне веришь? — вскричал он не помня себя.

— Верю ли я тебе?! — воскликнула креолка, с силой сжимая своими прелестными ручками судорожно сведенные костлявые руки нотариуса. — Да, я верю тебе... потому что у тебя опять такой взгляд, какой был недавно, и этот взгляд завораживает меня... Твои глаза горят диким, свирепым огнем... Жак... я люблю такие твои глаза!

— Сесили!!

— Ты, должно быть, говоришь правду...

— Говорю ли я правду?! О, ты сама в этом убе-

дишься!

— Твое чело так грозно... Твое лицо устрашает... Послушай, ты вселяешь страх и восторг, как разъяренный тигр... Но ты ведь говоришь правду, не так ли?

— Говорю тебе: я совершал преступления!

— Тем лучше... раз, признаваясь в них, ты доказываешь этим свою страсть ко мне...

— А что, если я тебе все расскажу?

— Я все приму как должное... Коль скоро ты так слепо,так отважно вверяешься мне, Жак, то уже не идеального возлюбленного из моей песни стану я призывать... Это тебе... тебе, мой тигр... тебе скажу я: «Приди... приди... приди...»

Произнеся эти слова с деланной страстью и жаром, Сеси-ли подошла близко, совсем близко к окошечку, и Жак Ферран ощутил на своем лице горячее дыхание креолки, а к его поросшим волосами пальцам неожиданно прикоснулись ее крепкие и свежие губы; старый сатир вздрогнул, как от электрического тока.

— О, ты будешь моей!.. Я стану твоим тигром! — завопил он. — А потом, если захочешь, можешь осрамить меня, можешь добиться, чтобы мне отрубили голову... Моя честь, моя жизнь отныне принадлежат тебе.

— Твоя честь?

— Да, именно честь! Слушай же... Десять лет тому назад мне доверили маленькую девочку и вручили двести тысяч франков, предназначенных для нее. Я бросил ребенка на произвол судьбы, затем мне удалось состряпать фальшивое свидетельство о ее смерти, так что для всех она слыла мертвой, а деньги я присвоил себе...

— Какой смелый и дерзкий поступок!.. Кто бы мог ожидать такого от тебя?

— Слушай дальше. Я ненавидел своего кассира... Однажды вечером он взял из моего стола немного золота, которое вернул на следующий день; но, для того чтобы погубить этого злосчастного простофилю, я обвинил его — в том, будто он украл у меня солидную сумму. Мне поверили, и его заключили в тюрьму... Теперь ты видишь, что моя честь в твоих руках?

— О!.. Ты и впрямь любишь меня, Жак, да, ты любишь меня... Раз ты доверяешь мне такие тайны!.. Значит, моя власть над тобой так велика?! Но я не останусь неблагодарной... Подставь мне свою голову, где зародились такие дьявольские планы... я хочу поцеловать твой лоб...

— О! — воскликнул нотариус вне себя от восторга. — Если даже здесь, рядом, воздвигнут эшафот...

я не отступлю... Но слушай еще... Девочка, которую я в свое время бросил на произвол судьбы, недавно вновь встретилась на моем пути... Это встревожило меня... и я приказал убить ее...

— Ты?.. Но как?.. Каким образом?.. Где это произошло?..

— Это было несколько дней тому назад... возле Аньерского моста... есть такой остров... остров Черпальщика... там некий Марсиаль утопил ее в лодке с подъемным люком... Тебе достаточно этих подробностей? Теперь-то ты мне веришь?

— Ты просто дьявол!.. Исчадье ада!.. Ты меня пугаешь, и вместе с тем меня влечет к тебе... ты будишь во мне страсть... Какой же ты обладаешь властью!

— Слушай, слушай дальше... Некоторое время назад один человек доверил мне большие деньги — сто тысяч экю... Я заманил его в ловушку... и пустил пулю в лоб... А потом доказал, что то было самоубийство. Когда его сестра попросила меня вернуть ей его вклад, я заявил, что не получал никаких денег от него... Так что отныне я целиком в твоей власти... Отвори же дверь!

— Жак... Слышишь: я тебя обожаю!.. — воскликнула креолка с деланным восторгом.

— О, пусть меня ждет тысяча смертей, я их не

боюсь! — завопил нотариус в упоении, какое невозможно описать. — Да, ты была права... Будь я молод и красив, я не мог бы испытать такой радости, такого торжества... Где ключ?! Дай мне ключ!.. И отодвинь засов...

Креолка вынула ключ из запертой изнутри двери и протянула его Жаку Феррану в окошечко, при этом она потерянно прошептала:

— Жак... я теряю рассудок!..

— Наконец-то ты моя! — закричал сладострастник, зарычав от страсти, и торопливо повернул ключ в замке.

Однако дверь не отворилась: ее держал засов.

— Иди же ко мне, мой тигр!.. Иди... — проговорила Сеси-ли умирающим голосом.

— Засов... отодвинь засов!.. — закричал Жак Ферран.

— А что, если ты меня обманываешь? — вдруг воскликнула креолка. — Что, если все твои тайны придуманы, и ты просто потешаешься надо мной?!

Нотариус оцепенел, он был ошеломлен. Ведь он уже считал, что его нечистые желания близки к осуществлению, и эта последняя задержка привела его в исступление.

Он стремительно поднес руку к груди, распах-

нул жилет, с яростью сорвал с шеи стальную цепочку, на которой висел небольшой бумажник красной кожи, схватил его и показал Сесили; при этом он проговорил хриплым, задыхающимся голосом:

— Этого бумажника достаточно для того, чтобы мне отрубили голову. Отодвинь засов, и я вручу тебе эту роковую улику...

— Давай сюда бумажник, мой старый тигр... — вскричала Сесили.

С грохотом отодвинув засов левой рукою, она правой выхватила у нотариуса бумажник...

Жак Ферран выпустил его из рук только тогда, когда почувствовал, что дверь под его нажимом поддалась...

Увы, дверь поддалась, но лишь приоткрылась, всего на полфута: ее удерживала в таком положений цепочка, укрепленная на крюках.

При этом неожиданном препятствии сластолюбец всем телом навалился на дверь; от его отчаянных усилий дверь заходила, но не распахнулась.

Сесили с быстротой молнии, зажав бумажник зубами, отворила окно, выбросила во двор свой плащ и с невероятной ловкостью и проворством спустилась вниз, с помощью веревки с узлами, ко-

торую она заблаговременно привязала к перилам балкона; она мгновенно достигла земли, точно выпущенная из лука легкая и стремительная стрела... Затем она торопливо закуталась в плащ и помчалась к швейцарской, где ночью никого не было; проникнув туда, она дернула за шнур от входной двери и очутилась на улице; здесь она прыгнула в ожидавший ее экипаж: с того самого дня, когда креолка поселилась в доме Жака Феррана, каждый вечер, по распоряжению барона фон Грауна, на всякий случай в двадцати шагах от жилища нотариуса стояла наготове карета...

Запряженные в нее две сильные лошади тотчас пустились вскачь.

Прежде чем Жак Ферран сумел обнаружить бегство Сесили, она уже достигла соседнего бульвара...

А теперь вернемся к этому извергу.

Сквозь полуоткрытую дверь ему не было видно окно, которым креолка воспользовалась для того, чтобы подготовить и осуществить свой побег...

С яростью нажав на дверь своим широким плечом, нотариус сорвал цепочку, еще державшую дверь...

Он стремительно ворвался в комнату...

И никого там не обнаружил...

Веревка с узлами еще покачивалась на перилах балкона, высунувшись из окна, он увидел ее...

А затем, при свете луны, выглянувшей из-за туч, разогнанных сильным ветром, он различил, что в дальнем углу двора, возле крытого прохода, распахнута калитка.

Жак Ферран сразу же обо всем догадался.

У него оставался последний проблеск надежды.

Полагаясь на свою силу, он решительно перешагнул через перила балкона и в свой черед спустился во двор при помощи все той же веревки и поспешно выбежал на улицу.

Улица была пуста...

На ней никого не было видно.

Только издали доносился стук колес экипажа, быстро увозившего креолку.

Сперва нотариус подумал, что то был какой-то задержавшийся до ночи экипаж, и не придал никакого значения услышанному им стуку колес.

Но почти тотчас же он понял, что это уезжала неизвестно куда Сесили, увозя с собою неоспоримую улику его преступлений!..

Понял он и то, что у него нет никаких шансов разыскать ее.

При этой ужасной мысли он без сил опустился

на стоявшую у входа в дом каменную тумбу.

Жак Ферран долго просидел на ней в неподвижности — молча и словно окаменев.

Он сидел с блуждающим взором, вытаращив глаза, стиснув зубы, в углах его рта выступила пена: сам того не сознавая, он терзал ногтями свою грудь, из которой сочилась кровь...

Мысли его мешались, ему чудилось, что он летит в бездонную пропасть.

Когда нотариус стряхнул наконец свое оцепенение и встал, ноги у него подкашивались, он зашагал, тяжело ступая и пошатываясь; все кружилось у него перед глазами, как у пьяного, не успевшего протрезвиться человека...

С силой захлопнув калитку, что вела на улицу, он возвратился во двор...

Тем временем дождь прекратился.

Но ветер по-прежнему дул, и свистел, и гнал по небу тяжелые, серые облака, которые заволакивали луну, но не полностью гасили ее блеск, и тусклый свет падал на стены дома.

Холодный ночной воздух немного освежил и успокоил Жака Феррана; надеясь унять сжигавший его внутренний огонь, он углубился в мокрые аллеи сада и быстро зашагал, то и дело спотыкаясь; время от времени он подносил к

своему лбу сжатые кулаки...

Шагая наудачу, он дошел до конца какой-то аллеи, она упиралась в полуразрушенную теплицу.

Внезапно он наткнулся на кучу свежевскопанной земли.

Он машинально посмотрел себе под ноги и увидел измазанное кровью белье.

Жак Ферран оказался возле той ямы, которую вырыла Луиза Морель, чтобы похоронить в ней своего мертвого ребенка...

Ее ребенка... который был также ребенком нотариуса...

Несмотря на всю свою черствость, несмотря на владевшую им ужасную тревогу, Жак Ферран задрожал от страха.

Было во всем этом что-то роковое...

Он подвергся жестокой каре за свое сладострастие... И вот случай привел его к могиле невинного младенца... младенца, который был несчастным плодом совершенного им насилия и его чудовищного любострастия!..

При других обстоятельствах Жак Ферран, не задумываясь, наступил бы на эту могилу и прошел дальше с присущим ему чудовищным равнодушием, но, исчерпав всю свою дикую энергию в только что описанной нами сцене, он вдруг

почувствовал внезапную слабость и ужас...

На лбу его выступил холодный пот, колени задрожали, ноги подкосились, он рухнул на землю возле разверстой могилы и долго лежал без движения.

Глава XV.
ТЮРЬМА ФОРС

... Необъяснимая ошибка! Несправедливая
ошибка! Ужасная ошибка!
(Вольфганг, книга вторая)

Подробное описание нижеследующих сцен, возможно, приведет к тому, что нас упрекнут в том, будто мы нарушаем целостность нашего повествования, включая в него эпизодические картины; однако нам кажется, что именно сейчас, когда важные вопросы, связанные с порядками в исправительных тюрьмах, вопросы, неотделимые от общественного порядка вообще, вот-вот не то чтобы будут разрешены (наши законодатели конечно же воздержатся от этого), но будут, по крайней мере, широко обсуждаться, повторяю, нам кажется вполне уместным описать внутреннюю жизнь тюрьмы — этого своеобразного чистилища, этого зловещего порождения цивилизации.

Одним словом, мы сочли достаточно интересным, набросать несколько портретов заключен-

ных, принадлежавших к различным сословиям, и рассказать о том, какие семейные и иные отношения связывают их с внешним миром, от которого этих людей отделяют прочные тюремные стены.

А потому, надеемся, нам простят то, что мы позволили себе сгруппировать вокруг некоторых действующих лиц нашей книги, уже знакомых читателям, несколько второстепенных персонажей: с их помощью нам легче будет изложить некоторые критические соображения, глубже, полнее познакомить читателя с тюремной жизнью.

Войдем же в тюрьму Форс.

Нет ничего мрачного, ничего зловещего во внешнем виде этого дома, где содержат заключенных; находится он в квартале Марэ, на улице Короля Сицилии.

Посреди первого тюремного двора устроено несколько куртин, засаженных кустарником; из земли уже выглядывают и зеленеют ранние цветы — примулы и подснежники; крыльцо, увенчанное проволочной сеткой, увитой узловатыми лозами дикого винограда, ведет в одну из семи или восьми крытых галерей, предназначенных для прогулки заключенных.

Внушительные здания, образующие тюремные

дворы, сильно смахивают на солдатскую казарму либо на фабрику, которую поддерживают в идеальном порядке.

Сложены эти тюремные здания из белого камня, у них большие и широкие окна, куда свободно проникает чистый и свежий воздух. Плиты и булыжник, которым вымощены внутренние дворы, чисто подметены. В нижних этажах расположены просторные помещения, где зимой тепло, а летом прохладно, в дневное время заключенные здесь работают, обедают, беседуют между собой.

В верхних этажах находятся просторные спальни, потолки в них высокие — высота стен от десяти до двенадцати футов, — плиточный пол вымыт до блеска; вдоль стен — два ряда железных кроватей, на каждой помимо соломенного тюфяка лежит толстый и мягкий матрас, подушка в виде валика, простыни из белого полотна и теплое шерстяное одеяло...

При виде этого заведения, отвечающего требованиям известного уюта и гигиены, каждый человек невольно испытывает сильное изумление, ибо мы привыкли думать, что тюрьмы — это какие-то унылые и мерзкие бараки, темные и грязные.

Но это заблуждение.

Если есть на свете что-либо унылое, мерзкое и темное, то эго те трущобы, вроде жилища гранильщика алмазов Мореля, в которых множество бедных и честных тружеников влачат жалкое существование; изможденные, исхудалые, эти люди вынуждены уступать свое убогое ложе бедной жене и с отчаянием мириться с тем, что их бледные, хилые и полуголодные лети дрожат от холода на смрадной соломенной подстилке.

А как разительно отличаются друг от друга по своему внешнему виду обитатели этих двух разных жилищ!

Вечно озабоченный повседневными нуждами своей семьи, с трудом сводя концы с концами, отчаянно борясь с конкуренцией таких же бедолаг, как он, из-за которой его заработок все время уменьшается, трудолюбивый ремесленник мыкает горе, надрывается, не знает ни передышки, ни отдыха, он прерывает свой изнурительный труд лишь тогда, когда буквально валится от усталости. А наутро после тяжелого сна, напоминающего скорее болезненное забытье, он снова оказывается лицом к лицу с теми же заботами, теми же гнетущими мыслями о дне сегодняшнем и теми же тревогами за завтрашний день.

Закаленный в горниле порока, равнодушный

к своему прошлому, вполне довольный жизнью, которую он ведет, уверенный в будущем (он может «упрочить» его новым правонарушением или преступлением), конечно, жалеющий о том, что он лишился свободы, но обретающий достаточное возмещение за это, благодаря известным удобствам, которыми он пользуется, знающий, что он выйдет из тюрьмы с солидной суммой денег в кармане, которую заработает в заключении благодаря умеренному и не слишком утомительному труду, пользующийся если не уважением своих сотоварищей по камере, то своеобразным почтением с их стороны, рожденным его цинизмом и испорченностью, арестант, напротив, поражает своей постоянной беззаботностью и веселостью.

Спросим еще раз: чего ему, собственно, не хватает?

Разве не находит он в тюрьме удобное убежище, мягкую постель, хорошую пищу, высокий заработок[123], легкий труд, а главное — и это важнее всего — подходящую для него компанию,

---

[123] Notes: 123

Да, заработок у арестанта высокий, если иметь в виду, что, находясь на полном довольствии, он получает от пяти до десяти су в день. Много ли найдется рабочих, которые могут ежедневно откладывать такую сумму?!

компанию, повторяем, где уважение к нему находится в прямой зависимости от тяжести его злодеяний.

Закоренелый преступник не знает, таким образом, ни голода, ни холода. И что ему до того, что он внушает людям порядочным отвращение и ужас?!

Он этих людей не видит, он их не знает.

Его преступления приносят ему славу, он черпает в них силу и влияние, которым пользуется в среде злодеев, среди коих живет в будет жить.

Так что бояться стыда ему не приходится.

Вместо благодетельных замечаний и укоров, которые могли бы заставить его покраснеть и почувствовать раскаяние за прошлые злодеяния, он слышит дикие похвалы, и они побуждают его и впредь красть и убивать.

Не успев оказаться в тюрьме, он уже вынашивает планы будущих преступлений.

И это вполне логично.

Если его снова выследят и возьмут под стражу, он найдет в тюрьме возможность отдохнуть в относительном комфорте, обретет он там также веселых и дерзких сотоварищей по разгулу и преступлению...

Ну а если кто-либо из правонарушителей ме-

нее испорчен, чем остальные, может быть, хотя бы он подвержен угрызениям совести? Отнюдь нет, ибо он служит предметом жестоких шуток и насмешек, его встречают громким и злобным улюлюканьем, осыпают страшными угрозами.

Наконец — случай настолько редкий, что он давно уже стал исключением из правила, — предположим, что некий заключенный выходит на свободу из тюрьмы, этого жуткого чистилища, с твердым намерением вернуться на стезю добра, проявляя для этого чудеса усердия в работе, мужество, терпение и честность, допустим, что ему даже удалось скрыть свое позорное прошлое, но достаточно случайной встречи с кем-нибудь из его сотоварищей по заключению, чтобы тут же рухнули с таким трудом возведенные леса, которые должны были помочь ему построить новое существование.

И произойдет это вот почему.

Оказавшийся на свободе закоренелый преступник тут же предложит своему раскаявшемуся дружку принять участие в выгодном «деле»; тот, несмотря на опасные угрозы своего бывшего приятеля, отказывается участвовать в готовящемся злодеянии; и тотчас же анонимный донос раскрывает перед обществом прошлую жизнь

злосчастного человека, который хотел во что бы то ни стало скрыть свои былые преступления и искупить свой грех достойным поведением.

И тогда, вновь окруженный презрением окружающих или, во всяком случае, недоверием тех, в ком он уже вызвал сочувствие своим упорным трудом и честностью, опять попав в нужду, озлобленный проявленной к нему несправедливостью, обезумев от невзгод, уступая мало-помалу роковым и зловещим соблазнам, человек этот, уже почти совсем исправившийся, снова — и теперь уже навсегда — окажется на дне пропасти, из которой он с таким трудом выбрался.

В нижеследующих сценах мы попытаемся показать чудовищные и неизбежные последствия от пребывания арестантов в общих камерах.

После долгих веков, отмеченных варварством, после гибельных колебаний ныне, кажется, начинают понимать, что неразумно помещать в безмерно порочную атмосферу тех людей, которых чистый и целебный воздух мог бы еще спасти.

Сколько веков потребовалось для того, чтобы понять: собирая вместе зараженных опасными пороками людей, неизбежно способствуют распространению заразы, и болезнь становится

неизлечимой.

Сколько веков потребовалось для того, чтобы понять: есть лишь одно лекарство против быстро распространяющейся заразы, которая угрожает общественному организму.

Это одиночное заключение!..

Мы будем почитать себя счастливыми в том случае, ежели голос наш будет пусть даже не принят во внимание, но хотя бы услышан в хоре тех голосов, гораздо более красноречивых и весомых, которые совершенно справедливо и с похвальной настойчивостью требуют безоговорочно и неукоснительно применять систему одиночного заключения.

Быть может, когда-нибудь наступит такой день, когда общество поймет наконец, что зло — вовсе не хроническая, неизлечимая болезнь, а явление в общем-то случайное, что преступление — почти всегда результат извращения таких наклонностей и порывов человека, которые по природе своей не таят опасности для других, однако становятся опасными из-за невежества, эгоизма или нерадивости властей, ибо тогда они искажаются и перерождаются; а ведь душевное здоровье, равно как и здоровье телесное, всецело зависит от соблюдения всесторонней гигиены;

она-то предохраняет от всякого рода недугов или исцеляет от них.

Господь бог дарует всем и каждому различные устремления, а порою и непомерные аппетиты, жажду уюта и комфорта; общество же должно позаботиться о равновесии интересов своих членов и об удовлетворении их потребностей.

Каждый человек получает в удел от природы силу, добрую волю и здоровье, и он имеет право, высочайшее право на справедливо оплачиваемый труд, который должен обеспечить его, по крайней мере, самым необходимым, должен дать ему возможность оставаться здоровым и сильным, деятельным и работоспособным... тогда он будет добрым и честным, ибо жизнь его будет счастливой.

Там, где царит нищета и невежество, возникает пагубная обстановка, рождающая людей с извращенным нравом и опустошенной душой. Оздоровите эти клоаки, внедрите образование, обеспечьте людей работой и справедливой оплатой за нее, вознаграждайте их по заслугам, и очень скоро люди, больные и телом и душой, возродятся для добра, а ведь добро — залог здорового духа и основа нравственности.

А теперь мы поведем читателя в тюрьму Форс, в

залу, где происходят свидания с заключенными.

Это довольно темное помещение, разделенное в длину на две равные части узким коридором, огороженным с обеих сторон железными решетками.

Одна из двух этих частей залы сообщается с внутренними помещениями тюрьмы: она предназначена для заключенных.

Другая примыкает к тюремной канцелярии: она предназначена для людей с воли, которым разрешено свидание с арестантами.

Эти встречи и разговоры осуществляются через двойной ряд упомянутых выше решеток в присутствии надзирателя: он сидит в конце узкого коридора, образованного этими железными сетками.

Внешний вид заключенных, собравшихся в тот день в приемной зале, дал бы немало пищи для размышлений всякому любителю контрастов: некоторые из арестантов кутались в лохмотья, другие, судя по одежде, принадлежали к рабочему сословию, иные представляли здесь буржуазию.

К различным сословиям принадлежали и посетители, пришедшие повидать заключенных; кстати сказать, то были главным образом женщины.

Как правило, у арестантов гораздо менее грустный вид, чем у посетителей; как это ни покажется странным и даже страшным, но из опыта известно, что у людей, которые провели три или четыре дня в общей камере, трудно обнаружить следы горя или стыда!

Даже те, кого поначалу пугает это отвратительное общение, довольно быстро привыкают к нему; где уж им устоять против заразы: оказавшись в окружении опустившихся субъектов, слыша только ругань и проклятия, они вступают на стезю свирепого соперничества и потому ли, что хотят добиться уважения своих сотоварищей по камере, состязаясь с ними в цинизме, или потому, что стараются найти забвение в этом, если так позволено выразиться, «нравственном дурмане», новички почти всегда выказывают столько же испорченности и вызывающей веселости, как и завсегдатаи тюрьмы.

Но вернемся в залу для свиданий с заключенными.

Несмотря на громкий гул, создававшийся многими голосами, одновременно звучавшими в узком коридоре, ибо арестанты и посетители все время разговаривают друг с другом, и те и другие в конце концов приноравливались и умудрялись

разговаривать между собой: для этого им необходимо было ни на мгновение не отвлекаться и ни в коем случае не прислушиваться к тому, что говорят соседи, так что велась некая тайная беседа двух людей, а вокруг громко обменивалось словами множество других пар, при этом каждый должен был прислушиваться к своему собеседнику и пропускать мимо ушей то, что говорилось вокруг.

Среди заключенных, вызванных в залу для встречи с посетителями, был и Николя Марсиаль, устроившийся поодаль от того места, где сидел надзиратель.

Мрачная подавленность, в которой пребывал этот злодей, когда его взяли под стражу, уступила теперь место циничной самонадеянности.

Отвратительное и разлагающее влияние соседей по тюремной камере уже принесло свои плоды.

Если бы этого негодяя сразу же посадили в одиночную камеру, он, не успев оправиться от уныния, в которое его привел неожиданный арест, оставшись наедине со своими мыслями о совершенных им преступлениях, напуганный ожиданием неизбежной кары, без сомнения, испытывал бы если не раскаяние, то, уж во всяком

случае, благодетельный для него страх, и ничто бы не отвлекало этого арестанта от подобных мыслей.

А кто может сказать, какое благотворное влияние способны оказать на человека, преступившего закон, постоянные размышления о совершенных им злодеяниях и неизбежная мысль об ожидающем его наказании?..

И совсем другое дело, если этот правонарушитель окажется в гуще закоренелых злодеев, в чьих глазах малейший признак раскаяния рассматривается как трусость или, того хуже, как предательство, и «отступника» ждет суровая расплата; ибо эти злодеи до такой степени очерствели душой, настолько подозрительны и недоверчивы, что смотрят как на доносчика на всякого человека (если такой окажется в их среде), который угрюм и печален, потому что сожалеет о совершенном им проступке или преступлении, не разделяет их дерзкой беспечности и сторонится их, избегает общения с ними.

Оказавшись, как мы уже сказали, в гуще злоумышленников, Николя Марсиаль, хорошо и давно знакомый по рассказам своих дружков с тюремными нравами, одолел охватившую его при аресте слабость и постарался поддержать

репутацию своей фамилии, хорошо знакомой ворам и убийцам.

Несколько заключенных, уже не в первый раз имевших дело с правосудием, знали его отца, кончившего жизнь на эшафоте, другие знали его брата-каторжника; и потому эти ветераны преступного мира встретили Николя с неприкрытым интересом, затем взяли его под свое покровительство.

Братский прием, оказанный сыну вдовы Марсиаль убийцами и ворами, привел его в восторг; похвалы, раздававшиеся со всех сторон по адресу его преступной семьи, опьяняли Николя. Он довольно быстро забыл, очутившись в преступной компании, о том, что его ожидало в будущем, и вспоминал о своих прошлых преступлениях только для того, чтобы хвастаться ими и таким способом вырастать в глазах своих сотоварищей по камере.

Вот почему Николя Марсиаль держал себя теперь достаточно нагло, в то время как по физиономии его посетителя можно было догадаться, что того гложет растерянность и тревога.

Этим посетителем был папаша Мику, скупщик краденого и содержатель меблированных комнат в Пивоваренном проезде, в чьем доме были

вынуждены поселиться г-жа де Фермон и ее дочь — жертвы преступной алчности Жака Феррана.

Папаша Мику хорошо понимал, какое наказание грозит ему за то, что он много раз покупал по дешевке ворованные вещи, которые приносили ему Николя Марсиаль и многие другие.

С тех пор как сын вдовы был арестован, скупщик краденого оказался, можно сказать, во власти этого преступника, ибо тот мог указать на него как на человека, постоянно скупавшего у него ворованное. И хотя это обвинение трудно было подтвердить бесспорными уликами, оно тем не менее было весьма опасно для папаши Мику и угрожало ему серьезными неприятностями; именно поэтому, когда какой-то вышедший на свободу заключенный передал ему требования Николя, папаша Мику поторопился их выполнить.

— Ну, что новенького? Как идут у вас дела, папаша Мику? — спросил злодей.

— Я весь к вашим услугам, мой милый, — отвечал скупщик краденого с поспешностью. — Как только ко мне пришел присланный вами человек, я тотчас же...

— Постойте-ка! С чего это вы вдруг перестали говорить мне «ты», папаша Мику? — прервал его

речь Николя с язвительной усмешкой. — Может, вы меня теперь презираете... потому как я попал в беду?..

— Да нет, дружок, я никого не презираю... — ответил скупщик краденого, которому вовсе не хотелось подчеркивать свою былую близость с негодяем.

— Ладно! Тогда, как и раньше, говорите мне «ты», а то я подумаю, что вы уже не питаете ко мне прежней дружбы, а это причинит мне большое горе.

— В добрый час... — проговорил папаша Мику со вздохом. — Так что я немедля занялся твоими небольшими поручениями...

— Вот это совсем другие речи, папаша Мику... в душе я всегда знал, что вы не забываете старых друзей. Принесли мне табачку?

— Я передал два фунта табаку в тюремную канцелярию, мой милый.

— Надеюсь, высшего сорта?

— Самого наилучшего...

— А окорок прихватили?

— Он уже тоже в канцелярии вместе с четырехфунтовым белейшим хлебом; и к этому я прибавил еще небольшой сюрприз для тебя, ты, верно, его не ожидал... я принес еще полдюжи-

ны крутых яиц и добрую головку голландского сыра...

— Вот это я называю: поступать по-дружески! А вино не забыли?

— Там тебя уже ждут шесть запечатанных сургучом бутылок, но только, знаешь, тебе будут выдавать лишь по одной бутылке в день.

— Ничего не поделаешь!.. Придется с этим примириться.

— Надеюсь, ты мной доволен, дружок?

— А то как же! Очень доволен и буду доволен и впредь, папаша Мику, потому как этот окорок, этот сыр, эти яйца и это вино у меня быстро уйдут, я их мигом проглочу... но, как кто-то сказал, только жратва у меня кончится, другая сейчас же появится благодаря папаше Мику, он опять принесет мне чем полакомиться, потому как я с ним хорош.

— Как?! Ты хочешь, чтобы я еще?!..

— Я хочу, чтобы через денька два или три вы немного пополнили мой запас провизии, папаша Мику.

— Черт меня побери, если я это сделаю! — возмутился папаша Мику. — Хватит с тебя и одного раза.

— Хватит и одного раза? Ну нет! Окорок и вино

хороши каждый день, вы и сами это знаете.

— Не спорю, только я не брался закармливать тебя вкусными вещами!

— Ах, папаша Мику! Нехорошо это, несправедливо отказывать в окороке мне, человеку, который не раз приносил вам свинчатку.

— Замолчи, несчастный! — с испугом пробормотал скупщик краденого.

— Нет уж! Я призову в свидетели дворника[124]. Я скажу ему: «Представьте себе, папаша Мику...»

— Ладно, ладно! — закричал скупщик краденого, поняв с испугом, что Николя, разозлившись, чего доброго, злоупотребит той властью, которую ему дает их сообщничество. — Я согласен... Когда управишься с едой, какую я тебе принес, я пополню твои запасы.

— Вот это дело... Это справедливо... И не забудьте послать кофе моей мамаше и Тыкве, они сидят в тюрьме Сен-Лазар; дома они привыкли каждое утро выпивать по чашке кофе... Не хочется лишать их этого удовольствия.

— Как? Еще и кофе! Да ты разорить меня хочешь, прохвост!

— Как вам будет угодно, папаша Мику... Не бу-

---

[124] Notes: 124
Судью.

дем больше об этом говорить... Пожалуй, я лучше спрошу у дворника...

— Хорошо, будет им кофе, — прервал его скупщик краденого. — Но чтоб тебя черти взяли!.. Будь проклят тот день, когда я с тобой познакомился!

— А вот я, папаша Мику, я, напротив, сейчас особенно рад, что с вами в свое время познакомился! Я почитаю вас как кормильца, как отца родного!

— Надеюсь, у тебя больше нет ко мне поручений? — с горькой улыбкой спросил скупщик краденого.

— Как же... есть... передайте, пожалуйста, моей мамаше и сестре, что если я и оробел малость при аресте, то теперь больше не дрожу, я теперь так же смело настроен, как и они обе.

— Непременно передам. Это все?

— Погодите-ка. Я забыл вас вот о чем попросить: принесите мне две пары теплых шерстяных чулок... Вы ведь не хотите, чтобы я тут простуду подхватил.

— Я хочу, чтобы ты околел!

— Спасибо, папаша Мику, всему свой черед; но это будет позже, а сегодня мне совсем другое нравится... Я хочу пожить в свое удовольствие. Если они не укоротят меня, как укоротили отца... я еще поживу на славу!

— Да, ничего не скажешь, хороша твоя жизнь...

— Не хороша, а просто замечательна! С тех пор как я сюда попал, я живу, что твой король! Если б здесь имелись лампионы и бенгальский огонь, их бы зажгли в мою честь, когда стало известно, что я сын знаменитого Марсиаля, который кончил свои дни на эшафоте...

— Трогательно до слез! Таким родством можно гордиться.

— А что? Ведь сколько есть разных там герцогов да маркизов... Почему же у нашего брата не может быть своей собственной знати?! — проговорил злодей со свирепой иронией.

— Конечно... Ведь дядя Шарло раздает вам на Королевской площади ваши дворянские грамоты...

— Ну уж, конечно, не священник... И вот что я вам еще скажу: в тюрьме хорошо тому, кто принадлежит к грандам[125], тогда ему ото всех почет, а не то на тебя смотрят как на последнего человека. Стоит только поглядеть, как тут обращаются с теми, кто не принадлежит к воровскому миру, да к тому же еще и важничает... Знаете, в нашей камере оказался человек по фамилии Жермен, этакий юнец чистюля; так вот он ото всех нос

---

[125] Notes: 125
Крупным ворам

воротит, он нас, видите ли, презирает! Но только пусть он свою шкуру побережет! Он все скрытничает, а у нас в камере думают, что он доносчик... Коли окажется, что это так, ему уж пересчитают ребра... для острастки.

— Ты сказал: Жермен? Фамилия этого молодого человека Жермен?

— Да... а вы что, его знаете? Выходит, он из нашего мира? Ну тогда, несмотря на дурацкий вид...

— Знать-то я его знаю... но если он тот Жермен, о котором мне рассказывали, то за ним кое-что числится...

— Что именно

— Тот Жермен чуть было не угодил в западню, которую не так давно ему расставили Волосатый и колченогий верзила.

— А почему это?

— Этого я не знаю. Они говорили, что где-то в провинции Жермен этот продал[126] кого-то из

---

[126] Notes: 126

Предал, донес. Читатель, вероятно, помнит, что Жермен, из которого один из приятелей его отца, Грамотея, хотел сделать преступника, отказался участвовать в ограблении банкира в городе Нанте: служивший у него Жермен предупредил своего хозяина об этом преступном замысле, а сам бежал в Париж. Некоторое время спустя он повстречал в столице того злодея, чьим сообщником не захотел стать в Нанте. Негодяй начал выслеживать Жермена, и тот чуть было не попал в расставленную ему западню. Стремясь избежать дальнейших опасностей, Жермен съехал из дома на улице Тампль и никому не сообщил свой новый адрес.

их шайки.

— Я так и думал... Конечно — доносчик. Ну что ж! Его отделают как надо, этого легавого! Я шепну пару слов своим дружкам... Это их раззадорит. А что, колченогий верзила все еще нагоняет страху на ваших жильцов?

— Слава богу, я наконец-то избавился от этого проходимца! Ждите его к вам не сегодня, так завтра.

— Вот здорово! Тогда уж мы похохочем и повеселимся вволю! Уж этот не станет воротить нос!

— Да, уж весело будет, коли он встретит тут Жермена... Будь уверен, этому молодчику достанется на орехи... если он — тот самый...

— А почему зацапали колченогого верзилу?

— Он подбил на кражу одного арестанта, который только-только вышел на волю и хотел заняться честным трудом. Как бы не так! Колченогий верзила ловко втравил его в сомнительное дело. Он испорчен до мозга костей, этот прохвост! Я уверен, что это он взломал чемодан двух женщин, что живут у меня в комнатенке на пятом этаже.

— Каких женщин? Ах да!.. Вспомнил: это мать и дочь... и дочка вас сильно распалила, старый разбойник! Вы все твердили, до чего она хороша.

— Они уже больше никого распалять не будут: в этот час мать, думаю, уже померла, а дочь еле дышит. У меня останется двухнедельная плата за жилье — они мне вперед заплатили, но черт меня побери, если я потрачу хотя бы грош на их похороны! У меня и без того большие убытки, уж не говорю о лакомствах, которые ты просишь приносить тебе и твоей семье: сам понимаешь, это сильно помогает моим доходам! Да, везет мне в этом году...

— Ах! Ах! Ах! До чего вы любите жаловаться, папаша Мику! А между тем у вас денег куры не клюют. Ну ладно, я вас больше не задерживаю!

— И то хорошо!

— Вы расскажете мне, что новенького у моей мамаши и Тыквы, когда опять принесете мне провизию?

— Да... уж придется...

— Ах, чуть было не забыл... хорошо, что вы еще не ушли... Купите мне заодно новый картуз из шотландского бархата с помпоном, а то мой совсем износился.

— Тебе еще и картуз понадобился?! Ты что, потешаешься надо мной?

— Нисколько, папаша Мику, мне нужен картуз из шотландского бархата. Это моя давняя мечта.

— Ты, видно, задумал разорить меня?

— Напрасно вы кипятитесь, папаша Мику. Просто скажите: «да» или «нет». Ведь я вас не принуждаю... но хватит...

Немного подумав, скупщик краденого вспомнил, что он во власти Николя Марсиаля, и поспешно встал, опасаясь, что, если его визит затянется, негодяй потребует у него еще чего-нибудь.

— Ладно... получишь свой картуз, — пробурчал он. — Но берегись: если ты не уймешься и еще чего-нибудь запросишь, я тебе ничего не дам. И будь что будет! Ты на этом потеряешь не меньше меня.

— Не беспокойтесь, папаша Мику, я не вымогатель какой и не заставлю вас петь не своим голосом, чтоб вы не сорвали его; это будет досадно: вы так здорово умеете лазаря петь!

Скупщик краденого вышел, с возмущением передернув плечами, а надзиратель велел отвести Николя Марсиаля в его камеру.

В ту самую минуту, когда папаша Мику выходил из приемной залы для свиданий с заключенными, в нее вошла Хохотушка.

Надзиратель, человек лет сорока, был отставной солдат с обветренным и смелым лицом; одет он был в форменную куртку и синие панталоны,

на голове у него чуть набекрень сидела фуражка; на воротнике куртки и на ее отворотах были вышиты серебром две звезды.

При виде гризетки он заулыбался, и на его физиономии появилась приветливая и доброжелательная улыбка; ему всегда нравились ласковая забота и трогательная доброта девушки, то, как она встречала Жермена, едва только тот появлялся в приемной для свидания с нею.

Надо сказать, что и Жермен мало походил на других арестантов; его сдержанность, мягкость и постоянная грусть вызывали сочувствие к нему у служащих тюрьмы; впрочем, они остерегались открыто выражать свое сочувствие, опасаясь, что, узнав о нем, его отвратительные сотоварищи по заключению станут еще хуже относиться к Жермену, а ведь они, как мы уже говорили, и так смотрели на него с подозрением и неприязнью.

На улице дождь лил потоками; однако Хохотушка, надев башмаки на деревянной подошве и вооружившись зонтом, мужественно вступила в борьбу и с ветром и с дождем.

— Какая отвратительная погода, милая барышня! — воскликнул надзиратель добродушным тоном. — Не всякий решится выйти из дому в такой ливень!

— Когда всю дорогу думаешь о том, какое удовольствие доставит бедному арестантику твой приход, тогда, сударь, не обращаешь внимания на дурную погоду!

— Мне незачем спрашивать, к кому вы пришли и кого хотите повидать...

— Конечно... А как он поживает, мой милый Жермен?

— Я вам вот что скажу, милая барышня: я много заключенных повидал. Все они грустят поначалу, грустят день, второй, а потом мало-помалу привыкают и ведут себя как все остальные... Больше того, случается, что тот, кто первое время особенно убивался, затем нередко веселится больше других... Но господин Жермен не такой, у него с каждым днем вид все более удрученный.

— Это-то меня сильнее всего огорчает.

— Когда я несу службу во дворе, куда выводят на прогулку заключенных, я краем глаза слежу за ним: и он вечно один... Я уже вам говорил, постарайтесь уговорить его не сторониться уж до такой степени своих сотоварищей по камере... Надо, чтобы он с ними заговаривал, отвечал, когда к нему обращаются, а то ведь кончится тем, что они все его люто возненавидят... Мы-то наблюдаем за порядком во внутренних дворах,

когда арестантов выводят на прогулку, но долго ли до беды...

— Ах! Господи боже! Скажите, сударь, ему теперь грозит опасность?

— Да нет, ничего определенного... но только эти злодеи видят, что он не их пошиба, и они его терпеть не могут, потому что он человек порядочный и держится особняком.

— Я ему столько раз говорила, столько раз просила вести себя так, как вы сказали, сударь, стараться разговаривать хотя бы с теми, кто не так зол... Но это сильнее его, не может он одолеть свое отвращение к ним...

— Неправ он... ох как неправ! Долго ли начать ссору, а там и до драки дойдет.

— Боже мой! Боже мой! А нельзя его как-нибудь отделить от других?

— Два или три дня назад я заметил, что заключенные вынашивают какие-то замыслы против него, и я тогда же посоветовал ему попроситься в другое отделение тюрьмы, где есть одиночные камеры.

— Ну а он что?

— Я только об одном не подумал... много одиночных камер теперь как раз ремонтируют — у нас ведь тюрьму в порядок приводят; а остальные

одиночные камеры все заняты, свободных нет.

— Нет ведь эти злые люди могут убить Жермена! — воскликнула Хохотушка со слезами на глазах. — А если у него случайно найдутся покровители, смогут они что-нибудь для него сделать, сударь?

— Нет, ничего другого не придумаешь: надо найти способ выхлопотать для него отдельную камеру, хотя бы за плату.

— Увы!.. Стало быть, он погиб, раз уж другие арестанты так взъелись на него...

— Успокойтесь, барышня, мы уж постараемся получше за ними следить... Но только повторяю вам еще раз, милая барышня... посоветуйте ему держаться проще, поближе сойтись с другими... Ведь только первый шаг труден!

— Я уж всеми силами постараюсь внушить ему это, сударь! Но для человека порядочного и чистосердечного это куда как трудно... Ну как ему сблизиться с такими людьми?!

— Из двух зол надо выбирать меньшее. Ладно, пойду и скажу, чтобы привели господина Жермена. Впрочем, обождите, — прибавил надзиратель, передумав. — Я вижу, что остались всего два посетителя... они скоро уйдут... а других нынче не будет... ведь пробило уже два часа... Чуть позднее

я велю привести господина Жермена... и вы с ним потолкуете спокойно... Когда вы останетесь вдвоем, я могу впустить его в коридор, тогда между вами будет одна решетка вместо двух, а это куда приятнее.

— Господи, сударь, до чего вы добры... как я вам благодарна!

— Тсс!.. Еще кто-нибудь вас услышит, и сразу появятся завистники. Садитесь пока что в сторонке, на скамью, и как только этот мужчина и та женщина уйдут, я пошлю за господином Жерменом.

Надзиратель направился на свой пост внутри коридора. А Хохотушка с грустью уселась на самый краешек скамьи, предназначенной для посетителей.

Пока гризетка ожидает прихода Жермена, мы хотим, чтобы читатели послушали разговоры, которые ведут заключенные, оставшиеся в зале для свиданий, с посетителями, после того как оттуда ушел Николя Марсиаль.

Часть VIII

Глава I.
ОСТРОСЛОВ

Подле Крючка стоял арестант лет сорока пяти, хилый, тщедушный, с тонким и умным лицом, жизнерадостным и насмешливым, с огромным, почти беззубым ртом; когда он говорил, губы его кривились то влево, то вправо, как свойственно людям, привыкшим обращаться к уличной толпе; курносый, с огромной, почти совсем плешивой головой, он носил старый жилет из серого сукна и выцветшие дырявые брюки в заплатах: голые, покрасневшие от холода ноги, неряшливо завернутые в тряпки, были обуты в деревянные башмаки.

Его звали Фортюне Гобер, по прозвищу Острослов; в прошлом фокусник, он уже отбыл срок за изготовление фальшивых монет, а ныне был обвинен в том, что бежал с места ссылки и совершил кражу со взломом.

Пробыв всего несколько дней в тюрьме Форс, Гобер, ко всеобщему удовольствию, стал исполнять роль рассказчика.

Теперь такие лица встречаются редко, но в

прошлые годы каждая камера имела своего рассказчика, который за небольшую плату помогал арестантам коротать бесконечные зимние вечера, и тогда заключенные не ложились спать сразу при наступлении сумерек.

Любопытно отметить, что в душах этих несчастных возникает потребность в вымышленных и волнующих историях; и что удивительно для нас: порочные до мозга костей, воры, убийцы особенно любят сюжеты, где выражены благородные, героические чувства, истории, в которых выведен беспомощный, великодушный герой и где доброта торжествует над темными силами.

Точно так же падшие женщины любят простодушные, трогательные, элегические романы и почти всегда отвергают чтение непристойных произведений.

Врожденный инстинкт доброты, желание мысленно отрешиться от того унижения, которое им приходится терпеть, не вызывают ли они в душах несчастных женщин симпатии к одним рассказам и отвращение к другим?

Итак, Гобер отлично излагал героические истории, где униженный, после множества приключений, в конце концов побеждает своего преследователя. Гобер к тому же обладал чув-

ством юмора, его реплики отличались едкостью и шутливостью — отсюда и возникла кличка «Острослов».

Он только что вошел в приемное помещение.

Напротив него, по ту сторону решетки, стояла женщина лет тридцати пяти, бледная, с приятным и привлекательным лицом, бедно, но опрятно одетая. Она горько плакала, вытирая слезы платком.

Гобер смотрел на нее ласково и в то же время нетерпеливо.

— Послушай, Жанна, — обратился он к ней, — брось это ребячество, вот уже шестнадцать лет, как мы с тобой не виделись, если ты все время будешь закрывать платком глаза, мы никогда друг друга не узнаем...

— Дорогой брат, бедный Фортюне... Я задыхаюсь от слез... Не могу говорить...

— Какая же ты смешная! Перестань. Ну что с тобой?

Его сестра перестала рыдать, вытерла слезы и, глядя на него с изумлением, сказала:

— Что со мной? Как! Я снова вижу тебя в тюрьме, когда ты уже отсидел пятнадцать лет!..

— Правда, сегодня исполнилось полгода, как я вышел из центральной тюрьмы в Мелене... Я не

навестил тебя в Париже, потому что пребывание в столице мне запрещено...

— И снова взят!.. Боже мой! Что же ты опять натворил? Почему покинул Боженси, где ты находился под надзором? — Почему?.. Надо спросить, почему я туда поехал.

— А, понимаю.

— Жанна, слушай, нас разделяет решетка, но представь себе, что я тебя целую, обнимаю, как это должно бы быть, когда не видишь сестру целую вечность. Теперь поговорим.

Один арестант из Мелена, по имени Хромой, сообщил мне, что в Боженси проживает его знакомый, бывший каторжник; он принимает к себе на фабрику свинцовых белил вышедших на волю... Знаешь, что представляет собой работа на этой фабрике?

— Нет.

— Хорошее занятие, через месяц любой заболевает свинцовой болезнью. Из троих рабочих — один умирает, другие, не скрою, тоже умрут, но живут пока в свое удовольствие, пируют год, полтора... К тому же работа неплохо оплачивается, не то что в иных местах. Ребята, родившиеся в рубашке, живут два-три года, но это уже долгожители. Да, на этой работе умирают, но она не

такая уж тяжелая.

— Фортюне, зачем же ты стал трудиться там, где умирают?

— А что же я должен был делать? Когда я находился в Мелене, в тюрьме, как фальшивомонетчик, мне не могли найти занятие по моим силам, ведь я — фокусник и был не сильнее блохи, потому мне поручили изготовлять игрушки для детей. Один парижский фабрикант считал, что выгодно, чтобы куклы, игрушечные трубы, деревянные сабли мастерили арестанты. За пятнадцать лет я столько наточил, насверлил, навырезал игрушек, что их хватило бы для малышей целого парижского квартала... в особенности было много труб... и трещоток... Услышав эти звуки, целый батальон заскрежетал бы зубами, горжусь этим. Отбыв свой срок в тюрьме, я прослыл мастером двухгрошовых труб. Мне разрешили избрать поселение за сорок лье от Парижа; оставался единственный заработок — делать игрушки... Даже если бы все в поселке от мала до велика начали дуть в мои трубы, то и тогда я не оправдал бы свои расходы; не мог же я заставить всех жителей трубить с утра до вечера, меня бы приняли за авантюриста.

— Боже мой... ты всегда шутишь...

— Лучше смеяться, чем плакать. В конце кон-

цов, убедившись, что невдалеке от Парижа могу заработать на жизнь, только лишь занимаясь изготовлением игрушек, отправился в Боженси, чтобы работать на фабрике белил. Это такое пирожное, от которого распирает желудок, и... готово, над вами поют за упокой. Пока не подох — можно жить и зарабатывать; это ремесло мне нравится не меньше, чем воровское; чтобы воровать, у меня не хватало ни смелости, ни силы, а тут совершенно неожиданно подвернулось дело, о котором я тебе рассказал.

— Даже если бы ты был смелым и сильным, так просто воровать бы не стал.

— Так считаешь?

— Да, ведь ты совсем неплохой человек, случайно связался с жуликами, тебя ведь силой втянули в компанию.

— Да, дорогая, но вот видишь, пятнадцать лет в Централе... так закоптят человека, что он становится как эта трубка, хотя вошел туда чистым, какой она была новая. Выйдя из Мелена, я чувствовал себя слишком трусливым, чтобы заниматься воровством

— Но ты же занялся смертельно опасным делом? Мне кажется, Фортюне, ты совсем не такой скверный, каким представляешься.

— Послушай, хоть я и был очень хилым, но черт знает почему подумал, что натяну нос этому свинцу, что болезнь меня не одолеет, пройдет мимо, словом, что я стану одним из опытных мастеров фабрики. Выйдя на волю, я стал транжирить накопленные денежки, которые заработал в тюрьме за свои рассказы.

— А, это те истории, которые мы когда-то слышали, они так нравились нашей маме, помнишь?

— Да! Славная была женщина, разве она не подозревала, что я в Мелене?

— Нет, думала, что ты уехал на острова...

— Как тебе объяснить, сестричка: все свои шутки я унаследовал от отца, ведь он готовил меня в фокусники, я помогал ему на представлениях, глотал паклю, изрыгал огонь, стало быть, не мог коротать время с сыновьями пэров Франции и встречался лишь с голытьбою. Что до Боженси, то, выйдя из Мелена, я промотал все свои денежки. Когда пробудешь пятнадцать лет в клетке, захочется же подышать свежим воздухом, порезвиться, хоть я и не гурман, но белила могли раз и навсегда меня доконать; зачем тогда копить деньги, я тебя спрашиваю! Наконец я прибываю в Боженси, почти без гроша в кармане, разыскиваю

Волосатого, друга Верзилы, хозяина фабрики. Благодарю покорно! Фабрика белил исчезла с лица земли; бывший каторжник закрыл ее — там в течение года умерло одиннадцать человек. И я остался в этом городе изготовлять игрушки, имея в качестве рекомендации свидетельство об освобождении. Я искал работу по силам, а силенок-то у меня не было; ты понимаешь, как меня принимали; то назовут вором, то негодяем, то бежавшим из тюрьмы, и, где бы я ни появлялся, каждый держался за карманы, стало быть, я не мог избежать голодной смерти в этой дыре, где должен был прожить целых пять лет. Поняв что к чему, я убежал с места ссылки и направился в Париж, чтобы там заняться своим ремеслом; у меня не было средств нанять карету с четырьмя лошадьми, потому весь путь прошел пешком, побираясь и страшась жандармов, как собака палки; мне посчастливилось, и я благополучно добрался до Отея; изнуренный, адски голодный, одетый, как видишь, не нарядно. — И Гобер с ухмылкой взглянул на свои лохмотья. — В кармане у меня не было ни гроша, меня могли задержать как бродягу. А тут, черт побери, представился случай... Хоть я и трус, но бес меня попутал...

— Тише, брат, — сказала сестра, боясь, чтоб тю-

ремщик, хотя и находившийся довольно далеко от Гобера, не услышал столь опасного признания.

— Ты боишься, что нас подслушают, — возразил он, — не беспокойся, я не скрываю, меня захватили на месте преступления, ничего не мог отрицать, во всем сознался, знаю, что меня ждет, получу сполна.

— Боже мой, — плача, произнесла сестра. — Как ты хладнокровно рассуждаешь...

— Ну а если я буду говорить гневно, какой от этого толк? Послушай, будь умницей, неужели это я должен утешать тебя, а не ты меня?

Жанна, вздохнув, вытерла слезы.

— Что касается моего дела,– продолжал Гобер, — то под вечер я подходил к Отею совсем обессиленный: хотел войти в Париж ночью; уселся подле живой изгороди, чтобы отдохнуть и подумать о будущем. Размышляя, уснул; какой-то шум разбудил меня; уже стемнело; я прислушался... оказалось, по дороге, за изгородью, идут мужчина и женщина. Он спрашивает: «Ты думаешь, нас могут обворовать? Разве мы не оставляли дом без присмотра?» — «Да, но у нас в комоде тогда не хранилось сто франков», — ответила жена мужу. «А кто об этом знает, глупая», — возразил муж.

«Ты прав», — сказала она, и они удалились. Честное слово, такой случай нельзя было упускать, ведь никакой опасности. Я подождал немного, вышел на дорогу и вижу в двадцати шагах отсюда маленький крестьянский дом, в котором, несомненно, хранилось сто франков, ведь здесь на дороге только и была одна хибарка. Я решаю: «Мужайся, старина, вокруг никого, темная ночь, если нет собаки (ты знаешь, я всегда боялся собак), дело сделано». К счастью, собаки не оказалось. Для верности я стучу в дверь, никто не отвечает... Это придаст мне уверенности. Ставни окон были закрыты, я раздвигаю их палкой, пролезаю через окно в комнагу; в печи догорает огонь, он светит мне; я вижу комод, ключа нет, тогда щипцами открываю ящик и под кучей белья обнаруживаю в чулке деньги; больше ничего не беру, прыгаю из окна и падаю... угадай куда... Вот удача!..

— Бог ты мой, да говори же!

— На спину полевого сторожа, который в это время возвращался в деревню.

— Боже мой!

— Луна взошла; он меня заметил, когда я лез через окно, и схватил. Такой парень, как он, мог бы повалить десять таких, как я... Я слишком труслив, чтобы оказать сопротивление. Чулок был у

меня в руке, он услышал звон монет, схватил его и положил в свою сумку, а меня заставил идти с ним в Отей. Мы прибыли к мэру в сопровождении жандармов и мальчишек, затем вернулись к дому и стали поджидать хозяев. Они вернулись, дали показание... Не было никакой возможности отрицать, я во всем сознался и подписал протокол; мне надели наручники, и марш...

— И вот ты опять в тюрьме... быть может, надолго?

— Послушай, Жанна, не хочу обманывать тебя, дорогая, лучше уж скажу тебе сразу...

— Что еще такое, о боже!..

— Подожди, не волнуйся!

— Говори же!

— Так вот, речь идет теперь не о тюрьме!

— А что?

— За воровство ночью, со взломом, за то, что влез через окно в жилой дом, — я рецидивист... Адвокат мне объяснил, получу пятнадцать либо двадцать лет каторги и буду выставлен к позорному столбу. Это точно как в аптеке.

— На каторгу! Но ты такой хилый, ты умрешь там, — рыдая, воскликнула несчастная женщина.

— А если бы я стал работать на фабрике белил?

— Но каторга, боже ты мой, каторга!

— Это тюрьма на открытом воздухе, придется ходить в красной куртке вместо коричневой; и потом, я всегда горел желанием видеть море... Разве мне подходит быть парижским ротозеем, а?

— А позорный столб... несчастный!.. Стоять там среди презирающей тебя толпы... О боже мой, дорогой брат!

И несчастная вновь разрыдалась.

— Ладно, Жанна, будь умницей... надо потерпеть только четверть часа, притом, кажется, сидя... К тому же разве я не привык видеть толпу? Когда показывал фокусы, вокруг меня всегда была куча народа, представлю себе, что я фокусник, а если станет невтерпеж, то закрою глаза, и мне будет казаться, что никто меня не видит.

Рассуждая с такой развязностью, несчастный не пытался проявить циничную бесчувственность к преступлению, а стремился утешить и успокоить сестру своим поддельным равнодушием.

Человеку, привыкшему к тюремным нравам, у которого всякий стыд неминуемо потерян, каторга действительно представляется лишь сменой обстановки, сменой куртки, как с ужасающей правдивостью говорил Гобер, это лишь «куртка другого цвета».

Большинство арестантов центральных тюрем даже предпчитают каторгу, их влечет шумная жизнь, которую там ведут осужденные, они часто готовы совершить даже убийство, чтобы попасть в Брест или Тулон. Это понятно, и до каторги их труд был таким же тяжелым.

А условия труда честных портовых рабочих — тот же ад. Они начинают и кончают работу в те же самые часы; а логово, в котором отдыхают от непомерной усталости, порой бывает не лучше, чем казарма ссыльного.

«Но они свободны!» — возразят мне.

«Да, свободны... один день в неделю!.. воскресенье — отдых, как и у арестантов».

«Но они не чувствуют стыда, позора?»

А что такое стыд, позор для отверженных, которые ежедневно закаляют душу в адском горниле, которые проходят через все стадии подлости в этой школе, где они взаимно влекут друг друга к гибели, где наиболее опасные преступники считаются наиболее уважаемыми людьми?

Таковы последствия современной системы наказаний.

Многие преступники охотно идут в тюрьму! Каторги... добиваются!..

— Двадцать лет неволи. Боже мой! Боже мой!

— повторяла бедная сестра Гобера.

— Успокойся же наконец, Жанна, мне дадут столько, сколько я смогу выдержать; я слишком слаб для исполнения тяжелых работ. Если там не будет, как в Мелене, фабрики игрушек, мне дадут легкую работенку, например, в больнице, я ведь покладистый человек, добрый малый, буду рассказывать, как рассказываю здесь, и заставлю начальников и товарищей уважать меня, тебе я пошлю разрисованные кокосовые орехи и соломенные шкатулки для племянников и племянницы. Что поделаешь, бутылка открыта — надо пить.

— Написал бы хоть мне, что приезжаешь в Париж, я попыталась бы тебя приютить, бездомного.

— Черт возьми, я, конечно, собирался пойти к тебе, но хотел явиться не с пустыми руками, кстати, вижу, что ты тоже живешь не ахти как. Да, а что твои дети, муж?

— Не говори мне о нем

— Все бражничает? Жаль, ведь он неплохой работник.

— Много горя доставил мне... поверь, у меня хватает своих бед, а тут еще твое несчастье...

— А что муж?

— Три года, как он покинул меня, продал все домашние вещи, оставил меня и детей без гроша... Соломенный тюфяк — вот вся наша мебель.

— Почему ты мне не дала знать?

— Не хотела тебя огорчать.

— Бедная Жанна! Как же ты живешь с тремя детьми?

— Да, хлебнула горя; работала сдельно бахромщицей, изнемогала совсем, соседки помогали, смотрели за детьми, когда я уходила; а потом, хоть мне и не везло, улыбнулось счастье, да не удалось им воспользоваться, муж помешал...

— Что такое?

— Фабрикант-басонщик рассказал одному клиенту о моем муже, который оставил меня без гроша, продал всю домашнюю утварь, что я работаю из последних сил, чтобы вырастить детей; однажды, возвратившись домой, вижу, появилась хорошая кровать, мебель, белье — все это сделал добрый клиент фабриканта.

— Добрый клиент!.. Бедная сестра!.. Почему ты не сообщила о своей нужде! Я бы не транжирил деньги, а послал бы тебе.

— Я.на свободе, а ты за решеткой, и я стала бы просить у тебя...

— Именно у меня; я был сыт, жил в тепле за

чужой счет; заработок оставался, но, зная, что зять настоящий мастер, а ты трудолюбивая хозяйка, я, ни о чем не думая, транжирил денежки с открытым ртом и закрытыми глазами.

— Мой муж был хорошим работником, это верно, но у него помутился разум; а мне помогли, и я воспряла духом, моя старшая дочь стала немного зарабатывать; мы были счастливы, не знали, что ты в Мелене. Работа ладилась, дети были одеты, ни в чем не нуждались, это придавало мне силу... мужество... Даже удалось отложить тридцать пять франков, и вдруг явился муж. Год с ним не встречалась; видя, что у нас появилась мебель, мы прилично одеты, он, не стесняясь, поселился у нас, оставил работу, забрал мои деньги, пьянствовал, а когда я жаловалась, избивал меня.

— Негодяй!

— К тому же он привел в квартиру гулящую девку, жил с ней; пришлось все терпеть. Наконец, стал продавать мебель, я, видя, что дело плохо, иду к адвокату, спрашиваю его, как поступить, ведь он опять ограбит квартиру, оставит нам соломенный тюфяк.

— Как поступить! Очень просто! Надо было вышвырнуть его.

— Но я не имела права. Адвокат сказал, что муж

может располагать всем имуществом как глава семьи и жить, не работая; это, конечно, несчастье, но я должна подчиниться. Однако же то, что его любовница находится под одной с нами крышей, дает мне право на развод и на раздел имущества, так у них принято говорить... Тем более что у меня есть свидетели, которые покажут, что муж избивал меня; я могу подать на него в суд, но, чтобы добиться развода, нужно, по крайней мере, триста — четыреста франков. Ты представляешь себе? Это все, что я могу заработать за год! Где можно одолжить сумму?.. И потом, одолжить — еще можно, но нужно и возвратить... Пятьсот франков, сразу... целое состояние.

— Есть, однако, простое средство собрать пятьсот франков, — с горечью сказал Гобер, — голодать целый год... питаться воздухом и работать... Удивительно, что адвокат не дал тебе такого совета.

— Ты все шутишь...

— Нет, — с негодованием воскликнул Гобер. — Это подло... чтоб закон грабил бедных. Что ж происходит? Ты честная, уважаемая мать семейства, работаешь изо всех сил, чтобы достойно воспитать детей. Твой муж отъявленный негодяй, он бьет тебя, живет на твой счет, пропивает в кабаке заработанные тобою деньги. Ты обра-

щаешься в суд... добиваешься защиты, хочешь прогнать лодыря, пожирающего твой хлеб и хлеб твоих детей... А законники отвечают: «Да, вы правы, ваш муж мерзкий шалопай, правосудие вас поддержит, но вам это будет стоить пятьсот франков». Пятьсот франков!.. Сумма, на которую ты с семьей можешь жить в течение года!.. Понимаешь, Жанна, ясно одно, есть, как говорится, два рода людей: те, кто повешены, и те, кто заслуживает виселицы.

Хохотушка, одинокая и задумчивая, сидя молча, слышала все, что говорила бедная женщина, которой она горячо сочувствовала. Она решила рассказать об этом Родольфу, как только повстречает его, и не сомневалась, что он поможет Жанне.

Глава II.
СОПОСТАВЛЕНИЕ

Хохотушка, увлеченная рассказом Жанны о ее печальной судьбе, не сводила с женщины глаз; она попыталась сесть к ней поближе, как вдруг в приемную вошел новый посетитель и, вызвав одного из арестантов, за которым тотчас же пошли, уселся на скамью между Жанной и гризеткой. Хохотушка, увидев этого человека, отодвинулась от него с удивлением и страхом.

Она узнала в нем полицейского, исполнявшего приказ Феррана об аресте Мореля как должника.

Это напомнило Хохотушке имя нотариуса, упорно преследовавшего Жермена, и ее печаль, которая несколько померкла, пока она слушала трогательные и мучительные признания сестры Гобера, еще более усилилась.

Гризетка прислонилась к стене и погрузилась в свои тягостные размышления.

— Послушай, Жанна, — продолжал Гобер, веселое и насмешливое лицо которого вдруг помрачнело, — я не силач и не храбрец, но если б оказался в вашем доме, когда муж так обижал

тебя, ему бы несдобровать... Но ведь ты сама вела себя с ним глупо...

— Что я могла поделать?.. Волей-неволей приходится терпеть то, чему не можешь противиться! Все, что можно было продать, муж продал, все, вплоть, до воскресного платья моей доченьки, и на эти деньги ходил в кабак со своей любовницей.

— Но почему ты отдавала ему заработанные тобой деньги?.. Почему не прятала их?

— Прятала, но он избивал меня... и я вынуждена была их отдавать... уступала даже потому, что не могла выносить побои; мне казалось, что в конце концов он так изобьет меня, что я долго не смогу работать. А вдруг он сломает мне руку, что тогда будет?.. Кто позаботится о моих детях, накормит их? Если мне придется лежать в больнице, они за это время умрут с голода. Теперь тебе ясно, почему я предпочла отдавать деньги мужу? Чтобы не быть искалеченной... не способной трудиться.

— Бедная женщина! Вот беда!.. Люди болтают о мучениках, а как раз ты-то и есть мученица! — Я никому не делала зла, хотела только работать, заботиться о муже, о детях. Но что поделать, на свете есть счастливые и несчастные, добрые и злые люди.

— Да, и удивительно, как счастливы добряки!.. Но ты наконец совсем избавилась от своего негодяя мужа?

— Надеюсь, ведь он ушел, продав все, вплоть до деревянной кровати и колыбели малышей... Но когда я подумаю о том, что он замышляет еще более страшное...

— Что еще?

— Задумал-то не он, а эта скверная гадина, любовница, его Подстрекает. Потому и говорю тебе об этом. Однажды он мне сказал: «Если в семье есть хорошенькая дочь и ей исполнилось пятнадцать лет, только дураки не воспользуются ее красотой».

— А, понимаю, он продал платье, а теперь хочет продать и тело!..

— Когда он сказал это, поверь, Фортюне, я остолбенела, но, сказать по правде, после моих упреков он покраснел от стыда; но тут его любовница вмешалась в наш спор и заявила, что отец имеет полное право распоряжаться дочерью, и я одернула эту мерзавку, а он избил меня; после этого я больше их не видела.

— Послушай, Жанна, уголовники, осужденные на десять лет, не совершали таких преступлений, как твой муж... в конце концов, они грабили лишь

посторонних... а твой — отъявленный прохвост!

— Вообще-то он по натуре не злой, понимаешь, он свел в кабаках знакомство с дрянной компанией, которая сбила его с толку.

— Да, он не обидит ребенка, но взрослого — это другой разговор...

— В конце концов, что ж поделаешь? Надо смириться с той жизнью, которую даровал нам господь... Во всяком случае, муж ушел от нас, мне нечего бояться, что он меня прибьет, и я воспряла духом... Денег, чтобы купить матрас, у нас не было, он» прежде всего нужны на жизнь, на оплату квартиры, а мы вдвоем с Катрин зарабатываем в день сорок су, двое младших не могут еще работать... у нас нет матраса, мы спим на соломенном тюфяке, солому собрали на нашей улице у дверей упаковщика.

— А я прокутил свои сбережения, прокутил!..

— Что же делать... Ты не мог знать о моей нужде, я тебе ничего не говорила; к тому же мы с Катрин стали работать еще больше...' Бедная девочка, если бы ты знал, какая она честная, трудолюбивая и добрая! Все время глядит на меня, угадывает, что она должна сделать; ни на что не жалуется, однако... в свои пятнадцать лет уже повидала много горя! Ах, ты знаешь, Фортюне, иметь такую

дочь — большое утешение, — сказала Жанна, утирая слезы.

— Я вижу, она вся в тебя... хорошо, что ты довольна хоть этим...

— Знаешь, я страдаю за нее, о себе и не думаю; веришь ли, вот уже два месяца она работает без отдыха; каждую неделю ходит стирать белье на баржу у моста Менял, платят за это три су в час; день-деньской она работает по дому, крутится как белка в колесе... Что и говорить, она рано познала горе, я понимаю, всякое бывает в жизни, а ведь другие люди всем довольны... Меня огорчает, Фортюне, что я ничем не могу помочь тебе. Однако ж постараюсь...

— Брось.' Ты думаешь, я соглашусь принять от тебя что-нибудь? Я сам потребую с каждой пары ушей платить мне по сантиму за мои балясы, а если расскажу повесть — потребую по два су... тебе пригодится. Слушай, а почему ты не наймешь меблированную комнату?.. Тогда твой муж не смог бы ничего продать.

— Комнату? Ты подумай, ведь нас четверо, плата двадцать су в день, а что останется на жизнь? Мы платим пятьдесят франков в год за квартиру.

— Ладно, ты права, — сказал Фортюне с желчной иронией, — работай, выматывай силы,

приводи в порядок дом; как только заработаешь немного денег, муж снова тебя ограбит... и в один прекрасный день продаст твою дочь, как продал вашу одежду.

— Нет, ему не удастся... пусть лучше убьет меня... Несчастная моя Катрин!

— Тебя не убьет, а Катрин продаст! Он твой муж, не так ли? Он глава семьи, как тебе объяснил адвокат, до тех пор, пока вы не будете разведены по закону, а раз у тебя нет пятисот франков, чтобы заплатить за развод, то ты должна покориться; муж имеет право увести дочь куда захочет... Коли он и его полюбовница пожелают погубить девушку, придется ей познакомиться с улицей.

— Боже мой! Но если возможен такой позор, значит... нет правосудия?..

— Правосудие, — произнес Гобер, язвительно рассмеявшись, — это как мясо... слишком дорого, чтоб его ели бедные люди... А вот если речь идет о том, чтобы выслать их в Мелен, поставить к позорному столбу или отправить на каторгу, другое дело... тогда вершат суд бесплатно... Голову рубят тоже бесплатно... все бесплатно... Будьте любезны, возьмите билет, — произнес Гобер в свойственном ему ироническом тоне, — вам не будет стоить ни десяти су, ни двух су, ни одного

су, ни сантима... Нет, господа, сущие пустяки, платить ничего не надо... доступно каждому; надо подставить лишь голову... стрижка и завивка за счет государства... Вот вам бесплатное правосудие... Но чтоб суд вступился за честную мать и ее семью, помешал подлецу мужу избивать и грабить ее, превратить дочь в продажную женщину — такой суд будет стоить пятьсот франков... Моя бедная Жанна, тебе придется от него отказаться.

— Послушай... Фортюне, — сказала несчастная мать, заливаясь слезами, — ты меня убиваешь...

— Я тоже убит горем, думая о твоей судьбе, твоей семье... понимая, что я ничем не могу помочь... Кажется, я всегда смеюсь... но не ошибайся на этот счет. Понимаешь, Жанна, у меня смех бывает разный: иногда — веселый смех, а иногда — печальный... Не хватает силы и смелости быть злым, гневным, ненавидящим, как другие... у меня все это превращается в шутку. Но мои трусость и слабость не позволили мне стать более скверным человеком, чем я есть. А тут такой случай: эта одинокая избушка, где не было даже кошек, а главное, собак, вот и попытался украсть. К тому же луна светила во все лопатки; ведь темной ночью, когда я один, на меня находит дьявольский страх!..

— В чем я всегда была убеждена, Фортюне, что ты на самом деле лучше, чем о себе думаешь. Вот почему и надеюсь, что судьи пожалеют тебя.

— Пожалеют? Выпущенного на свободу рецидивиста? Рассчитывай на это! Впрочем, я на них не сержусь: что здесь быть, что в каком другом месте, мне все равно; к тому же ты права, я не злой... а злых ненавижу по-своему: высмеиваю их; чтобы понравиться слушателям, привожу такие истории, в которых жестокие люди, глумящиеся над униженными, в конце концов наказаны... вот я и в жизни веду себя так, как это описывается.

— Неужели они любят такие истории, эти люди, среди которых ты живешь... бедный брат? Никогда бы этому не поверила.

— Послушай! Если я им буду рассказывать о каком-то парне, который ворует и убивает для своего удовольствия и в конце концов попадается, они не станут меня слушать, но если речь идет о женщине, или о мальчике, или, к примеру, о таком бедняге, как я, — а ведь на меня достаточно дунуть, чтобы я свалился, — и меня преследует «мерзкий тип», только для того, -чтобы поиздеваться, стремясь похвалиться своей силой, тогда они топочут от радости, если узнают, что мерзавец получил наконец по заслугам... У меня

есть забавная повестушка «Сухарик и Душегуб», она приводила в восторг арестантов меленской тюрьмы, здесь ее никто не знает. Обещал сегодня рассказать, но нужно, чтобы мне хорошо заплатили, и тогда я все отдам тебе... К тому же «Сухарика» я запишу для твоих детей... Он изрядно позабавит их; «Сухарика» можно читать даже монахиням, так что не смущайся.

— Слушай, дорогой Фортюне, меня немного успокаивает то, что ты не столь несчастен, как другие.

— Конечно, если бы я был таким, как Жермен — наш арестант, я навредил бы себе. Бедный малый... боюсь, как бы ему не пустили кровь... нависла угроза... вечером готовится расправа...

— Боже мой, его хотят избить? Ты, Фортюне, по крайней мере, не вмешивайся!

— Не такой я дурак! Мне бы здорово всыпали... Прохаживаясь по камере, я слышал, что они намерены сделать: собираются заткнуть ему рот кляпом, а чтобы надзиратель не заметил... хотят окружить его, а один из арестантов будет громко читать газету или книгу... остальные сделают вид, что слушают...

— Но почему они так его ненавидят?

— Потому что он сторонится всех, ни с кем не

разговаривает, на «всех смотрит с отвращением, они и решили, что он шпион. Глупо, конечно, напротив, он дружил бы с арестантами, если бы хотел наушничать. К тому же с виду он вполне порядочный господин, и это их раздражает. Во главе заговора староста, по прозвищу Скелет. Он атлет по сравнению с беднягой Жерменом, их жертвой. Я не стану вмешиваться, даю тебе слово; пусть сами разбираются. Видишь, Жанна, нельзя быть мрачным в тюрьме... сразу начинают тебя подозревать, я же никогда не ходил в подозрительных. Ну вот, достаточно поговорили, тебе пора домой, ты ведь теряешь время здесь со мной... Я-то могу балагурить сколько угодно, а ты — другое дело. Приходи... повидаться, ты знаешь, всегда буду рад. До свидания.

— Брат... побудь еще немного, прошу тебя...

— Нет, нет, тебя ждут дети... Надеюсь, ты им не сказала, что их дядя сидит в тюрьме?

— Они думают, что ты на островах; когда-то и наша мать считала, что ты там. Так, по крайней мере, я могу говорить с ними о тебе.

— В добрый час... ну, ладно, иди.

— Послушай, хоть я и не богата, но так тебя не оставлю; ты ведь мерзнешь, голые ноги, дрянной жилет... Мы с Катрин подберем тебе одежонку.

Фортюне, нам так хочется помочь тебе...

— Чем? Одеждой? У меня одежды полные чемоданы. Когда они прибудут, я смогу одеться как принц... Послушай, хоть улыбнись. Не хочешь? Ну ладно, серьезно, я не отказываюсь, после того как «Сухарик» наполнит мою копилку... Я тебе все отдам... Прощай, милая Жанна, как только ты придешь, не будь я Остролов, если не заставлю тебя улыбнуться. Ну, иди, я и так слишком тебя задержал.

— Брат... послушай же!..

— Дружище, — обратился Гобер к тюремщику, сидевшему в другом конце коридора, — свидание кончилось, иду к себе. Довольно поговорили.

— Ах, Фортюне... нехорошо... так выпроваживать меня, — сказала Жанна.

— Наоборот, очень хорошо. До свидания, расскажи завтра детям, что видела меня во сне, что я живу на островах и просил их целовать. Прощай.

— До свидания, Фортюне, — сказала бедняжка вся в слезах, глядя, как ее брат возвращается в камеру.

Хохотушка, после того как полицейский сел возле нее, не могла слышать разговор Фортюне и Жанны, но она не спускала с нее глаз, намереваясь, по крайней мере, узнать адрес бедной

женщины, чтобы иметь возможность рассказать о ней Родольфу.

Тем временем Жанна поднялась со скамьи, чтобы выйти на улицу, и гризетка подошла к ней и робко заговорила:

— Сударыня, не желая подслушивать ваш разговор, я все же узнала, что вы — бахромщица?

— Да, мадемуазель, — слегка удивленно ответила Жанна. Она сразу почувствовала расположение к Хохотушке, увидев ее изящную фигуру и прелестное лицо.

— Я портниха, шью платья, — продолжала гризетка, — теперь, когда бахрома и позументы в моде, заказчицы часто просят меня отделать ими платье; я подумала, что будет дешевле обратиться за бахромой к вам, а не в лавку, ведь вы работаете на дому, к тому же я могла бы платить вам больше, чем платит фабрикант.

— Верно, мадемуазель, если я сама буду покупать шелк, мне будет выгоднее работать... вы очень добры, что подумали обо мне, я просто поражена...

— Послушайте, сударыня, буду откровенна: я поджидаю здесь человека, которого хочу увидеть; мне не с кем было разговаривать, и я молча сидела подле вас, до того как между нами устроился

этот господин, и, поверьте, невольно услышала ваш разговор с братом и узнала о вашей беде, о ваших детях; я подумала: бедные должны помогать друг другу. И вот, узнав, что вы бахромщица, я решила, что смогу кое-чем вам помочь. В самом деле, если вам это подходит, вот мой адрес, дайте мне ваш, и, когда появится заказ, я смогу вас найти.

И Хохотушка вручила сестре Фортюне адрес. Жанна, растроганная поступком гризетки, искренне ответила ей:

— Ваше лицо не обмануло меня, не подумайте, что я хвастаюсь, но вы похожи на мою дочь, вот почему, когда вы вошли, я внимательно смотрела на вас. Благодарю вас. Если вы обратитесь ко мне, то останетесь довольны моей работой, все будет сделано на совесть... меня зовут Жанна Дюпор... я живу на улице Барийери, дом один.

— Номер один... легко запомнить. Благодарю вас.

— Это я должна благодарить вас, мадемуазель, так трогательно с вашей стороны... вы так добры, что сразу же подумали о том, как мне помочь. Еще раз признаюсь, я просто поражена...

— Но это вполне понятно, госпожа Дюпор, — сказала Хохотушка, мило улыбаясь. — Поскольку

я похожа на вашу дочь Катрин, мое предложение не должно вас удивлять.

— Как вы милы... дорогая моя, ведь благодаря вам я выйду отсюда не такой печальной, чем полагала, и, быть может, мы здесь еще не раз встретимся, ведь мы навещаем заключенных.

— Да, сударыня, — со вздохом произнесла Хохотушка.

— Тогда до встречи, во всяком случае, я на это надеюсь... Хохотушка, — произнесла Жанна, бросив беглый взгляд на адрес гризетки.

«Ну вот, — подумала Хохотушка, направляясь к скамье, — теперь я знаю адрес этой бедной женщины, и конечно же Родольф заинтересуется ею, когда узнает, до чего она несчастна, ведь он всегда говорил: если вы встретите кого-либо, испытывающего нужду, обращайтесь ко мне...»

И Хохотушка села на свое прежнее место, с нетерпением ожидая, когда закончится свидание соседа, чтобы можно было вызвать Жермена.

Теперь несколько слов о предшествующей сцене.

К сожалению, надо признать, что возмущение несчастного брата Жанны Дюпор было справедливым... Да... говоря, что закон слишком дорог для бедных, он сказал правду.

Судебное разбирательство по гражданским делам слишком дорого для ремесленников, которые едва сводят концы с концами, получая за свою работу мизерную плату.

В самом деле, если мать или отец, принадлежащие к классу отверженных, пожелают добиться раздельного жительства, на которое они имеют полное право...

Получат ли они такое право?

Нет.

Так как ни один рабочий не в состоянии истратить четыреста — пятьсот франков для оплаты обременительных расходов по судопроизводству. А ведь бедняк ничего не видит, кроме своего очага; хорошее или плохое поведение главы рабочей семьи — это не только моральная сторона дела, это вопрос хлеба насущного...

Судьба простой женщины, какую мы попытались здесь представить, заслуживает не меньшего интереса и внимания, нежели судьба богатой дамы, муж которой плохо с ней обращается или изменяет ей. Несомненно, нельзя видеть муки без сострадания.

Но, если сверх того несчастная мать должна заботиться о голодных детях, разве не чудовищно то, что бедность ставит ее вне закона, предает эту

беззащитную женщину, всецело подчиняет ее и ее семью произволу мужа, лентяя и развратника.

И эта чудовищная несправедливость существует поныне.

И любой рецидивист при данных обстоятельствах, как и в других условиях, ссылаясь на закон и логику, мог бы опровергать беспристрастность судебных органов, именем которых он осужден.

Нужно ли говорить, как опасно для общества поощрять такие суждения?

Каковы же будут влияние, моральный авторитет этих законов, применение которых полностью подчинено денежному интересу?

Разве гражданское правосудие так же, как и правосудие по уголовным делам, не должно быть доступно для всех?

Когда речь идет об очень бедных людях, которые не могут прибегнуть к правосудию, чтобы обезопасить себя, не должно ли общество за свой счет предоставить им возможность применения закона, оберегающего честь и покой семьи?

Но оставим эту женщину, которая на всю жизнь обречена быть жертвой грубого произвола мужа, потому что она слишком бедна для того, чтобы по закону добиться развода.

Поговорим о брате Жанны Дюпор.

Он вышел на свободу из развращающей тюрьмы и оказался среди честных людей, отбыв наказание и искупив свою вину.

Какие меры предусмотрело общество для того, чтобы оградить его от новых преступлений?

Никаких...

Дало ли оно ему возможность начать трудовую жизнь, чтобы не пришлось жестоко карать его, как карают рецидивистов?

Нет...

Пагубное влияние ваших тюрем настолько известно, и его так боятся, что тот, кто выходит на свободу, где бы он ни появлялся, вызывает среди окружающих лишь страх, презрение и ужас; будь он даже самым честным человеком, он нигде не найдет работы.

Кроме того, ваш унизительный надзор определяет ему место в небольших поселках, где его прошлая жизнь сразу становится известной, поэтому он не может заняться никаким промыслом, лишь в исключительных случаях администраторы работных домов предоставляют бывшим заключенным работу.

Если освобожденный арестант имел мужество преодолеть дурное искушение, тогда он займется гибельным для его здоровья ремеслом, о котором

мы уже повествовали, — изготовлением химических продуктов, обрекающих на смерть тех, кто принимается за этот опасный труд[127], или же, если у него хватит сил, он начнет добывать песчаник в лесу Фонтенбло, ремесло, от которого смерть наступает в среднем через шесть лет.

Условия жизни вышедшего на волю заключенного более нестерпимы, более изнурительны, более трудны, нежели те, в которых он находится до пребывания в тюрьме. Перед ним возникают всяческие препятствия, неожиданные преграды, он живет, презираемый всеми, и зачастую терпит бедность и нужду.

И если он не выдержит тяжесть нависшего над ним рока и повторно совершит преступление, то суд наказывает его во много раз более жестоко, чем за первый проступок.

Явная несправедливость... потому что созданные вами условия толкают его на это повторное преступление.

Ведь не требуется даже доказывать, что ваша система наказаний, вместо того чтобы испра-

---

[127] Notes: 127

Утверждают, что открыт способ, предохраняющий здоровье несчастных рабочих, занятых в этой ужасной промышленности. См.: «Описание нового способа производства свинцовых белил». Рукопись представлена в Академию наук г-ном Ж.-Н. Ганнал.

лять, развращает людей.

Вместо того чтобы улучшать нравы, она их ухудшает...

Вместо того чтобы исцелять моральный недуг, она превращает его в неизлечимую болезнь.

Суровое наказание, применяемое по вашему варварскому закону к рецидивистам, несправедливо, потому, что рецидив — неуловимое следствие вашего уголовного кодекса.

Суровая кара преступников-рецидивистов была бы справедливой и логичной, если бы тюрьмы оздоровляли, улучшали нравы заключенных, если бы по истечении срока наказания человеку была бы предоставлена хоть какая-то возможность честно трудиться...

Нас удивляют несуразности закона, но что же мы скажем, если сопоставим некое правонарушение с явным преступлением? При этом сопоставлении мы коснемся неизбежных последствий данных акций, а также поразительной несоразмерности наказании, применяемых к правонарушителям и преступникам.

Рассказ арестанта, к которому пришел полицейский, представит нам этот удручающий контраст.

Глава III.
МЕТР БУЛЯР

Арестанту, появившемуся в приемной после того, как оттуда вышел Гобер, было лет тридцать. Рыжий, с улыбающимся румяным лицом, невысокого роста, что подчеркивало полноту его фигуры, этот узник был одет в длинный сюртук из мягкого серого сукна, схожего с цветом его брюк; красный бархатный картуз, как говорят, а-ля Перине-Леклер, дополнял его одежду; на ногах у него были отличные туфли, подбитые мехом. И хотя мода на брелоки давно прошла, на нем все же красовалась золотая цепь с часами, увешанная множеством печаток, вырезанных из ценных камней, а на толстых красных пальцах блестели перстни с довольно красивыми самоцветами. То был Буляр — судебный исполнитель, обвиненный в «злоупотреблении доверием».

Его собеседник, как мы уже говорили, был Пьер Бурден, один из полицейских чиновников коммерческого суда, ему было поручено арестовать гранильщика Мореля. Бурден подчинялся Буляру, который выполнял распоряжение Пти-Жана,

подставного лица Жака Феррана.

Бурден, низкорослый, но столь же тучный, как и судебный исполнитель, пышность которого ему импонировала, старался походить на него по мере своих возможностей. Как и патрон, он любил драгоценности; в тот день на нем была великолепная булавка с топазом и длинная золотая цепь, продернутая между петлями его жилета.

— Здравствуйте, дорогой Бурден, я был убежден, что вы явитесь на мой зов, — улыбаясь, сказал г-н Буляр писклявым голосом, совершенно не соответствующим его тучной фигуре и расплывшемуся лицу.

— Не откликнуться на ваш зов? — ответил полицейский чиновник. — На это я не способен, мой генерал.

Так, по-военному, Бурден называл судебного исполнителя, под началом которого служил; это обращение, фамильярное и почтительное, часто употреблялось в некоторых кругах служащих и гражданских чиновников.

— Я очень рад, что и в беде вы остались верны нашей дружбе, — весело и сердечно сказал метр Буляр, — и все же начал беспокоиться, письмо вам было послано три дня тому назад, а Бурдена нет как нет...

— Представьте себе, генерал, произошла целая история. Вы помните красавчика виконта с улицы Шайо?

— Сен-Реми?

— Именно. Помните, как он издевался, когда мы хотели его задержать?

— Он вел себя непристойно...

— Кому вы это говорите, я и Маликорн — мы были одурачены, разве можно так поступать?

— Конечно, невозможно, мой славный Бурден.

— К счастью, генерал, вот что произошло: красавчик виконт стал рангом выше.

— Стал графом?

— Нет, был жуликом, ныне — вор.

— Ну и ну!

— Его преследуют за бриллианты, которые он прикарманил. Между прочим, бриллианты принадлежали ювелиру, хозяину этого негодяя Мореля, гранильщика, мы было его схватили на улице Тампль, но вдруг высокий, стройный мужчина с черными усами заплатил за этого голодного бедняка и чуть было не спустил с лестницы меня и Маликорна.

— Ах да, вспоминаю... вы мне рассказывали об этом, мой милый Бурден... Это очень смешно. Но самое смешное то, что привратница дома

выплеснула вам на спину горячий суп.

— Вместе с миской, которая разлетелась у наших ног словно бомба. Старая ведьма!

— Это будет зачтено в вашем послужном списке. Ну а что красавчик виконт?

— Я вам сообщал, что Сен-Реми преследовали за кражу... после того как он заверил своего простодушного отца, что хотел застрелиться. Один из моих друзей, агент полиции, зная, что я долгое время гонялся за виконтом, осведомился у меня, не могу ли я навести на след этого франта, не знаю ли, где он может скрываться. Мне было известно место, где он находился, когда в последний раз хотели его арестовать, а он ускользнул, спрятался на ферме в Арнувиле, в пяти лье от Парижа. Но когда мы туда прибыли... было уже поздно... птичка упорхнула.

— К тому же говорят, что при содействии одной знатной дамы он уплатил... по этому векселю.

— Да, генерал... но это не имеет значения, я знал убежище, где прежде он уже прятался, решил, что он там, сообщил об этом полицейскому агенту, моему приятелю, и тот попросил помочь ему и привести его на ферму... Я согласился... почему не поехать за город?

— Где же виконт?

— Исчез! Побродив и пошарив вокруг фермы, мы вошли в дом, затем возвратились, несолоно хлебавши; вот почему я не мог явиться немедленно по вашему приказанию, генерал.

— Я был уверен, что вы не смогли прийти раньше, любезный друг.

— Но, простите за нескромность, какого черта вы-то здесь?

— Канальи, мой друг, целая шайка негодяев, которые из-за ничтожной суммы в шестьдесят тысяч франков подали жалобу против меня, доказывая, что я их ограбил, и, обвинив в злоупотреблении доверием, принуждают меня оставить мою должность...

— Неужели, генерал? Вот горе! Как... мы больше не будем работать под вашим началом?..

— Я на половинном жалованье, мой славный Бурден... А теперь буду в отставке...

— Но кто же эти злые люди?

— Представьте себе, что один из самых неистовых преследователей — вор, вышедший из тюрьмы, поручил мне востребовать какие-то несчастные семьсот франков, я востребовал, получил деньги, но растратил эту сумму, а также деньги многих других, в неудачных финансовых операциях, и все эти канальи подняли такой визг,

что был выдан ордер на мой арест, не более не менее как на злоумышленника.

— Как вам трудно приходится, генерал!.. Вам!

— Господи, конечно; но вот что любопытно: этот вор написал мне несколько дней тому назад, что деньги были у него отложены на черный день, черный день наступил (не знаю, что он под этим подразумевает) и что я отвечаю за преступления, которые он может совершить, стремясь избежать нужды.

— Да это поразительно, честное слово!

— Не правда ли? Ловко придумано... В свою защиту чудак склонен сказать это на суде... К счастью, закон не признает такого оправдания.

— Но, в конце концов, мой генерал, вас обвиняют только в злоупотреблении доверием, не так ли?

— Конечно! Вы что, считаете меня вором, Бурден?

— Да что вы, генерал! Я только хотел сказать, что в этом деле нет ничего серьезного: оно не стоит выеденного яйца.

— А что, у меня вид отчаявшегося человека?

— Вовсе нет! Вы никогда еще так хорошо не выглядели. В конце концов, если вас осудят, то это грозит вам двумя-тремя месяцами тюрьмы

и штрафом в двадцать пять франков. Я-то знаю закон.

— Этот срок... уверен, что проведу его в свое удовольствие в какой-нибудь частной лечебнице. У меня дружок — депутат.

— Ну, тогда... дело выиграно!

— Знаете, Бурден, я не могу удержаться от смеха: в каком дурацком положении окажутся те, кто заставил посадить меня сюда, ведь они не получат ни гроша из требуемых ими денег. Они принуждают меня продать мою должность. Это не имеет значения, я обязан вручить эту сумму моему предшественнику. Вот увидите, наши простофили окажутся в дураках, как говорит Робер Макэр.

— Я тоже так думаю, генерал. Тем хуже для них.

— Ну ладно, друг мой, поговорим о деле, которое заставило меня просить вас прийти сюда: речь идет о деликатной миссии — о женщине, — произнес Буляр с таинственным самодовольством.

— А, проказник генерал, узнаю вас! О ком же идет речь?

— Я особенно интересуюсь молодой актрисой из «Фоли Драматик»: плачу за ее квартиру, а она мне платит взаимностью, по крайней мере, я

так думаю; потому что, вы ведь знаете, дружок, отсутствующие часто бывают неправы. Я хотел бы знать, не совершаю ли ошибку: Александрина (ее зовут Александрина) просит у меня денег. Я никогда не был скуп с женщинами; но, послушайте, я не хочу остаться в дураках. Итак, прежде чем разыгрывать мота с этой милой подружкой, я хотел бы знать, заслужила ли она это своей верностью. Я знаю, что нет ничего более устаревшего, ничего более старомодного, чем верность; но у меня такой предрассудок. Вы мне окажете дружескую услугу, дорогой приятель, если сможете в течение нескольких дней понаблюдать за моей возлюбленной и дать мне знать, как себя вести, либо выведайте у привратницы Александрины, либо...

— Достаточно, мой генерал, — ответил Бурден, прерывая своего собеседника. — Это легче, чем выследить и поймать должника. Положитесь на меня, я узнаю, нарушает ли мадемуазель Александрина ваш договор; по-моему, это маловероятно, я не хочу вам что-либо советовать, генерал, но вы слишком красивый мужчина и слишком щедрый, чтобы женщины не обожали вас.

— Какой бы я ни был, но я не встречаюсь с ней,

мой милый, а это большая вина. Словом, я надеюсь на вас, чтобы узнать правду.

— Вам все будет известно, я отвечаю.

— Ах, дорогой друг, как благодарить вас?

— Полноте, генерал!

— Совершенно ясно, славный Бурден, что в этом деле ваш гонорар будет такой же, как за поимку преступника.

— Мой генерал, я не согласен; с тех пор как я работаю под вашим началом, разве вы не позволяли мне всегда стричь наголо должника, удваивать, утраивать суммы и требовать эти деньги так энергично, как будто они причитаются вам?

— Но, дорогой мой, это совсем другое дело, и я, в свою очередь, не согласен...

— Мой генерал, вы унизите меня, если не позволите преподнести вам в дар сведения о мадемуазель Александрине как знак моей преданности.

— Пусть будет так; я перестану состязаться с вами в щедрости. Впрочем, ваша преданность будет приятной наградой за то, что в наших деловых отношениях я всегда поступал снисходительно.

— Понимаю, генерал, но не могу ли я быть полезен в другом отношении? Вам, должно быть, ужасно плохо здесь, вам, который так ценит ком-

форт! Надеюсь, у вас отдельная камера?[128]

— Разумеется, я прибыл вовремя, так как получил последнюю свободную, другие ремонтируют — в тюрьме ведь ремонт. Я устроился как можно лучше в своей камере, мне здесь не скверно, есть печь, я велел принести хорошее кресло, три раза в день подолгу ем, потом перевариваю пищу, гуляю и сплю. Если не считать тревоги из-за Александрины, видите, меня нечего особенно жалеть.

— Но для такого гастронома, как вы, возможности тюрьмы весьма ограничены.

— А торговец съестным на моей улице, разве он создан, так сказать, не для меня? У меня там открытый счет, он посылает мне через день корзину с отменной едой, и, кстати, раз уж вы хотите оказать мне услугу, попросите его жену, эту славную маленькую госпожу Мишонно, которая, между прочим, весьма смазлива...

— Ну и озорник же вы, генерал!..

— Послушайте, дорогой друг, не думайте ничего плохого, — вальяжно ответил судебный исполнитель, — я просто хороший клиент и хороший сосед. Так, значит, попросите милую госпожу Мишонно положить мне завтра в корзину паш-

---

[128] Notes: 128

Подсудимые, которым это по карману, могут содержаться в отдельной камере.

тет из маринованного тунца... для разнообразия, сейчас как раз сезон, чудесная закуска, от нее очень хочется пить.

— Отличная идея!..

— А потом, пусть госпожа Мишонно опять пришлет мне корзину с вином: бургундским, шампанским и бордо. Скажите ей: так же, как в прошлый раз, она сразу поймет, что это значит, и пусть добавит еще две бутылки старого коньяка тысяча восемьсот семнадцатого года, и фунт кофе, чистого мокко, свежеподжаренного и смолотого.

— Я запишу дату коньяка, чтобы ничего не забыть, — сказал Бурден, вытаскивая из кармана записную книжку.

— Раз уж вы записываете, дорогой мой, будьте добры, запишите, что я прошу вас доставить сюда мой пуховик.

— Все будет точно исполнено, генерал, не волнуйтесь, я теперь тоже успокоился относительно вашего питания. А на прогулки вы ходите вместе с разбойниками-арестантами?

— Да, бывает очень весело, очень оживленно; выхожу после завтрака, иду то в один двор, то в другой и, как вы выражаетесь, якшаюсь со всяким сбродом. Там царят нравы регентства, нравы Поршерона! Уверяю вас, что, в сущности,

они славные люди; среди них есть очень забавные. Самые лютые собраны в так называемом Львином Рву. Ах, дорогой мой, какие страшные лица! Там есть один, которого прозвали Скелет; я никогда не видел ничего подобного.

— Какое странное прозвище!

— Это не прозвище, он и в самом деле тощий, худой и очень страшный! К тому же он еще староста камеры. Самый главный злодей... Он был на каторге, потом воровал и убивал; его последнее убийство такое ужасное, он хорошо знает, что будет казнен, но ему наплевать.

— Какой бандит!

— Все арестанты им восхищаются и дрожат перед ним. Я сразу попал к нему в милость, угостив его сигарой; он подружился со мной и учит меня воровскому жаргону. Я делаю успехи.

— А! А! Как смешно! Мой генерал изучает жаргон!

— Говорю вам, хохочу до упаду, эти парни меня обожают, некоторые со мной даже на «ты». Я не гордый, как тот барчук по имени ЖерМен, бедняга, у него даже нет средств на отдельную камеру, а корчит из себя большого барина и презирает всех арестантов.

— Но он должен восторгаться тем, что нашел

такого порядочного человека, как вы, может разговаривать с вами, если остальные ему так противны?

— Ну вот еще! Он, кажется, даже не заметил, кто я такой, но, если бы и заметил, я бы остерегся оказывать ему внимание. Все в тюрьме терпеть его не могут... Рано или поздно они сыграют с ним дурную шутку, и мне, черт возьми, вовсе не хочется разделять с ним вражду арестантов.

— Вы совершенно правы.

— Это лишило бы меня удовольствия, потому что моя прогулка с арестантами доставляет мне настоящее развлечение... Но только эти разбойники невысокого мнения обо мне, с моральной точки зрения... Понимаете, ведь я в предварительном заключении по обвинению в злоупотреблении доверием... Это ведь ерунда для таких парней... Вот они и смотрят на меня как на ничтожную личность, как говорит Арналь.

— Действительно, рядом с этими фанатиками преступления вы...

— Настоящий пасхальный ягненок, дорогой мой... Ну ладно! Раз вы так услужливы, не забудьте мои поручения.

— Будьте спокойны, генерал.

1) Мадемуазель Александрина.

2) Паштет из рыбы и корзинка с винами.

3) Старый коньяк тысяча восемьсот семнадцатого года, молотый кофе и пуховик... Все это вы получите... Больше ничего не надо?

— Ах, я забыл... Вы знаете, где живет Бадино?

— Маклер? Знаю.

— Так вот, будьте добры, скажите ему, что я рассчитываю на его любезность и надеюсь, что он найдет адвоката для ведения моего дела... Я не пожалею тысячи франков.

— Я увижу Бадино, будьте спокойны, генерал; сегодня вечером все ваши поручения будут исполнены, и завтра вы получите то, о чем вы меня просили. До скорой встречи, мужайтесь, генерал.

— До свидания, мой дорогой.

Собеседники покинули приемную: заключенный — выйдя в дверь на одном ее конце, а посетитель — на другом.

Теперь сопоставьте преступление Гобера, рецидивиста, с правонарушением господина Буляра, судебного пристава.

Сравните отправной момент преступлений, причину или необходимость, которая могла толкнуть их на это.-

Сопоставьте, наконец, ожидающие их наказания.

Выйдя из тюрьмы, внушая повсюду страх и неприязнь, человек не может заниматься своей профессией в той местности, где ему разрешено проживать; он решает приняться за дело, хотя и опасное для его жизни, но осилить которое он надеется; не получилось.

Тогда он оставляет место ссылки, возвращается в Париж, полагая, что там легче будет скрыть свое прошлое и найти работу. Он приходит туда изнуренный, умирая от голода; случайно узнает, что в соседнем доме лежат спрятанные деньги; уступает пагубному искушению, взламывает ставень, открывает шкаф, крадет сто франков и убегает.

Его арестовывают, сажают в тюрьму... Его судят, осуждают. Как рецидивиста его ожидает пятнадцать — двадцать лет каторжных работ и позорный столб. Он это знает.

Кара чудовищная, но он ее заслужил.

Собственность священна. Тот, кто ночью взламывает вашу дверь, чтобы завладеть вашим достоянием, должен быть жестоко наказан.

Напрасно обвиняемый будет ссылаться на отсутствие работы, на нищету, исключительные, трудные, невыносимые обстоятельства, на нужду, до которой дошел, он, освобожденный ка-

торжник. Что поделаешь, закон один. Общество для своего благополучия и процветания должно обладать безграничной властью и безжалостно карать смелые попытки завладеть чужим имуществом.

Да, этот отверженный, невежественный, опустившийся, этот закоренелый и презираемый всеми рецидивист заслужил свою кару.

Но чего заслуживает тот, кто, обладая разумом, богатством, образованием, окруженный всеобщим уважением, занимая официальное положение, украдет не для утоления голода, а для причуд роскоши или для того, чтобы испытать удачу в биржевой игре?

И украдет не сто франков, а сто тысяч... миллион?

И украдет не ночью, рискуя жизнью, а при свете дня, на глазах у всех?

Украдет не у неизвестного, хранящего свои деньги под замком, а у клиента, доверившего свое состояние честности официального лица, назначенного по закону, к которому клиент поневоле должен был обратиться.

Какого сурового наказания заслуживает тот, кто вместо кражи небольшой суммы вследствие острой нужды украдет ради роскоши значитель-

ную сумму?

Не будет ли жестокой несправедливостью налагать на него такое же наказание, какое определяется рецидивисту, дошедшему до крайней нужды, до кражи по необходимдоти?

«Ну, полноте!» — скажет закон.

Разве можно применять к хорошо воспитанному человеку то же наказание, как к какому-то бродяге? Да что вы!

Разве можно сравнивать правонарушение приличного человека с подлой кражей со взломом? Да что вы!

«Так в чем же дело? — ответит, например, г-н Буляр в согласии с законом. — Пользуясь возможностью, которую мне предоставляет моя контора, я получил для вас известную сумму денег; эту сумму я растратил, употребил по своему усмотрению, от нее не осталось ни гроша; но не думайте, что это нужда заставила меня пойти на растрату! Разве я нищий, нуждающийся? Слава богу, нет, у меня всегда было и есть столько денег, что я мог и могу жить широко. О, успокойтесь, я метил выше, тщеславнее... С вашими деньгами я смело бросился в ослепительные сферы биржевой игры; я мог удвоить, утроить эту сумму в свою пользу, если бы удача мне улыбнулась... к несчастью,

мне не повезло! Вы сами видите, что я потерял столько же, сколько и вы...»

«Разве эта растрата, — повторяет закон, — ловкая, ясная, быстрая и дерзкая, совершенная при свете дня, имеет что-нибудь общее с ночным грабежом, со взломом замков и дверей, с отмычками, с ломами, с дикими и грубыми инструментами несчастных воров самого низкого пошиба?

Преступления, совершаемые привилегированными лицами; не только переходят в другой разряд, но даже называются иначе».

Горемыка украл булку, разбив в лавке булочника оконное стекло, служанка стащила носовой платок или луидор у своих хозяев — это надлежащим образом квалифицируется как воровство с отягчающими вину и позорящими обстоятельствами и рассматривается судом присяжных.

И это справедливо, особенно в последнем случае.

Слуга, обворовав своего хозяина, преступен вдвойне, он является почти членом семьи, ему везде и в любой час открыты все двери в доме, и он бесчестно изменяет людям, доверием которых пользуется. Вот это то предательство закон и наказывает позорящим приговором.

Повторим еще раз: это справедливо и в право-

вом и в нравственном отношении.

Но удивительно то, что, когда ваши деньги похищает судебный исполнитель, должностное лицо, деньги, которые вы ему доверяете официально, то закон не только не подводит эту кражу под статью о домашнем воровстве или о воровстве со взломом, но даже не считает этот поступок воровством.

«Как?»

Конечно, нет! Воровство — такое грубое слово. От него несет зловонием... воровство... ужасно! Вот «злоупотребление доверием» — пожалуйста! Эта формула более деликатна, приличнее, больше подходит к общественному положению людей, совершающих... правонарушение! Потому что оно называется «правонарушением»...

И потом, еще одно важное различие. Преступление — слово тоже слишком грубое.

Преступление судит суд присяжных. Злоупотребление доверием — исправительная полиция. Вот верх справедливости! Вот верх правосудия!

Заметим вновь: слуга ворует луидор у своего хозяина, голодный разбивает витрину, чтобы украсть краюху хлеба... вот это — преступления... скорее в суд!

Должностное лицо растрачивает или ворует

миллион — это злоупотребление доверием... Достаточно того, что он предстанет перед судом исправительной полиции. А в действительности по законам права, разума, логики, нравственности и гуманности оправдывается ли это чудовищное различие в мерах наказания различием совершенных преступлений?

Чем домашнее воровство, тяжко и позорно наказуемое, отличается от нарушения доверия, за которым следует только суд исправительной полиции?

Не тем ли, что злоупотребление доверием ведет за собой почти всегда разорение целых семейств?

Что же такое злоупотребление доверием, если не домашняя кража, в тысячу раз отягощенная своими ужасающими последствиями и тем, что совершает его официальное должностное лицо?

Или иначе: в чем кража со взломом более преступна по сравнению с воровством, совершенным при злоупотреблении доверием?

Как! Можно ли утверждать, что измена присяге свято соблюдать доверие, оказанное вам обществом, менее преступна, чем воровство со взломом?

И все же такое осмеливаются утверждать.

Так гласит закон.

Да, чем серьезнее преступление, чем больше оно ставит под угрозу существование семей, чем больше оно нарушает безопасность и нравственные устои общества, тем легче оно наказывается.

Так что чем просвещеннее, образованнее, богаче и авторитетнее виновные, тем снисходительнее к ним закон.

Таким образом, закон применяет самую грозную меру наказания, самую позорную к тем отверженным, которые могли бы мы не говорим оправдать себя, но хотя бы упомянуть о невежестве, забитости и нищете, заставившими их совершить преступление.

Эта варварская несправедливость закона глубоко безнравственна. Беспощадно наказывайте бедняка, посягнувшего на чужую собственность, но также беспощадно наказывайте и должностное лицо, посягнувшее на собственность своих клиентов.

Чтоб мы больше не слышали адвокатских речей, извиняющих, защищающих и оправдывающих. Предусмотренная теперь ничтожная мера наказания — это все равно что оправдание виновных, совершивших гнусный грабеж. Пусть они

пользуются доводами, подобными следующим:

« — Мой клиент не отрицает, что растратил означенную сумму. Ему отлично известно, какое ужасное несчастье принесло уважаемому семейству его «злоупотребление доверием»; но что поделать! Авантюристический характер моего клиента побуждает его заключать различного рода рискованные коммерческие сделки, и, увлеченный спекуляцией, охваченный пылом ажиотажа, он не различает, что принадлежит ему, а что другим людям».

Мы утверждаем, что нет никакого различия между вором и растратчиком. Этот последний играет на бирже, возлагая надежду на выигрыш, стремясь стать еще богаче, доставлять себе еще больше наслаждений.

Обобщим эту мысль...

Мы желали бы, чтобы благодаря законодательной реформе злоупотребление доверием, совершенное должностным лицом, было бы определено как воровство и наказуемо в зависимости от похищенной суммы или как воровство в доме, или как воровство рецидивиста.

Компания, в которой работает должностное лицо, должна быть ответственной за суммы, похищенные ее служащим, облеченным доверием

и получающим жалованье.

В завершение приведем факты, не требующие комментариев.

Возникает лишь вопрос, живем мы в цивилизованном обществе или среди варваров?

В «Бюллетене суда» 17 февраля 1843 года по поводу апелляции, поданной судебным исполнителем, осужденным за злоупотребление доверием, сказано:

«Суд, рассмотрев обвинительные материалы первой судебной инстанции

и принимая во внимание, что мотивы преступления, изложенные обвиняемым перед судом, не отвергают и даже не смягчают установленный перед судом первой инстанции состав преступления,

считая доказанным, что обвиняемый, судебный исполнитель, в качестве доверенного лица взял денежные суммы трех своих клиентов и, когда клиенты затребовали эти суммы, прибегнул к обману и различного рода уловкам;

что в конце концов он похитил и растратил эти суммы, нанеся ущерб клиентам, злоупотребляя их доверием, и что он совершил правонарушение, которое карается по статьям 408 и 406 Уголовного кодекса... и т. д. и т. д.,

подтверждает приговор к двухмесячному тюремному заключению и штрафу в 25 франков».

В этой же газете, немного ниже, можно было в тот же день прочесть: «Пятьдесят три года каторжных работ».

«13 сентября ночью было совершено воровство со взломом в доме, где проживали супруги Брессон, торговцы вином, в деревне Иври.

Свежие следы доказывают, что к стене дома была приставлена лестница и один из ставней окна ограбленной комнаты, выходящего на улицу, был выломан. Большинство выкраденных предметов не представляло ценности: поношенная одежда, старые простыни, дырявые сапоги, кастрюли и к тому же две бутылки белой швейцарской водки. Обвинение, предъявленное некоему Телье, полностью доказано во время судебного процесса, и господин прокурор потребовал для обвиняемого самую суровую меру наказания в силу того обстоятельства, что обвиняемый был рецидивистом. Вот почему суд, доказав виновность по всем статьям без смягчающих вину обстоятельств, приговорил Телье к 20 годам принудительных работ и к позорному столбу».

Итак, для должностного лица — растратчика — два месяца тюрьмы...

Для рецидивиста — 20 лет каторги и позорный столб.

Что можно добавить к этим фактам? Они сами за себя говорят. Какие печальные и серьезные размышления (мы, по крайней мере, на это надеемся) должны они вызвать?

Верный своему обещанию, старый сторож отправился в камеру за Жерменом.

В то время как судебный исполнитель Буляр вошел в помещение тюрьмы, дверь в коридор отворилась, появился Жермен, и Хохотушка оказалась лицом к лицу со своим бедным другом, отделенная от него только легкой решеткой.

Глава IV.
ФРАНСУА ЖЕРМЕН

Черты Жермена не отличались правильностью, но такие интересные лица, как у него, встречаются редко; благородная осанка, стройная фигура, одежда простая, но опрятная (серые брюки, застегнутый доверху сюртук); все это бросалось в глаза в тюрьме, где страшная неряшливость входила в привычку у всех заключенных. Белые, чистые руки свидетельствовали о его уходе за собой, что еще усиливало враждебное отношение к нему, ибо моральная развращенность обычно сопровождается физической нечистоплотностью. Спадавшие на лоб вьющиеся длинные каштановые волосы, расчесанные на косой пробор согласно моде того времени, обрамляли его бледное, удрученное лицо; красивые голубые глаза выражали чистосердечие и доброту, а нежная и в то же время печальная улыбка свидетельствовала о доброжелательности и меланхолическом характере, так как, несмотря на свою молодость, он успел многое испытать.

Короче говоря, не было ничего трогательнее

этого страдающего, сердечного, покорившегося судьбе лица, а также не существовало ничего более честного, отзывчивого, чем сердце этого молодого человека. Отвергнув клеветнические поклепы Жака Феррана, можно сказать, что причина ареста Жермена доказывала его великодушие; совершив легкомысленный поступок, он, конечно, был виновен, но его можно было бы простить, вспомнив, что сын г-жи Жорж на следующее утро возвратил бы деньги, временно взятые в кассе нотариуса для того, чтобы спасти гранильщика Мореля.

Жермен слегка покраснел, когда увидел за решеткой приемной свежее, прелестное лицо Хохотушки.

Как всегда желая подбодрить своего друга, она старалась казаться веселой и оживленной, но бедная девушка плохо скрывала горе и волнение, внезапно охватывавшие ее, как только она входила в тюрьму. Она сидела на скамье по другую сторону решетки и держала на коленях соломенную сумку.

Старый сторож, вместо того чтобы остаться в приемной, устроился возле печки в конце зала и вскоре задремал.

Теперь Жермен и Хохотушка могли разговари-

вать свободно.

— Ну, посмотрим, господин Жермен, — проговорила гризетка, как можно ближе прижимаясь к решетке, чтобы лучше разглядеть черты своего друга, — посмотрим, останусь ли я довольна вашим лицом. Оно уже не такое грустное? Гм, вот оно какое. Берегитесь... я рассержусь на вас.

— Как вы добры!.. Сегодня опять пришли навестить меня.

— Опять? Что это — упрек?

— А разве я не обязан упрекнуть вас за то, что вы так внимательны ко мне, ко мне, который ничего не может сделать для вас, кроме как сказать спасибо?

— Заблуждаетесь, сударь, я не менее вас счастлива тем, что прихожу к вам. Значит, и я должна благодарить вас? Вот вы и попались, несправедливый вы человек! Следовало бы наказать вас за ваши дурные мысли и не дарить вам ту вещь, которую я принесла.

— Вновь внимание... Вы, право, чересчур меня балуете. Благодарю, простите, если я слишком часто употребляю это слово, которое вас сердит... все, что я могу сказать.

— Во-первых, вы не знаете, что я вам принесла.

— Разве мне не все равно?

— Мило, нечего сказать!..

— Что бы то ни было, оно от вас! Разве ваша трогательная доброта не вызывает чувства благодарности и...

— И чего? — проговорила Хохотушка, краснея.

— Преданности, — произнес Жермен.

— Скажите уж — почтительности, как обычно пишут в конце письма, — с раздражением заметила Хохотушка. — Вы меня обманываете, вы хотели сказать совсем не то... и вдруг запнулись...

— Уверяю вас...

— Вы меня уверяете... меня уверяете... а я вижу, как вы покраснели. Зачем скрытничать со мной?.. Разве я не ваш верный друг? Будьте откровенны, говорите мне все, — наивно произнесла гризетка, которая ждала признания Жермена, чтобы искренне поведать ему свою любовь.

Великодушное чувство зародилось у нее под влиянием несчастья, постигшего Жермена.

— Я вас уверяю, — со вздохом продолжал узник, — что ничего больше не хотел сказать. Я ничего не скрываю!

— Ну и лгун же вы! — произнесла Хохотушка, топнув ножкой. — Ладно. Вот видите, какой шерстяной шарф? Чтобы наказать вас за вашу

скрытность, я вам его не отдам... связала ведь для вас... Я подумала, что, должно быть, так холодно, так сыро в этих больших тюремных дворах, но ему с этим шарфом будет тепло... Ведь он такой зяблик.

— Как, вы сами связали?..

— Да, сударь, я знаю, что вы зяблик, — прервав его, сказала Хохотушка. — Я хорошо помню, как вы мерзли, но из деликатности не позволяли мне бросить лишнее полено в камин, когда проводили со мной вечера. У меня хорошая память!

— И у меня тоже... даже слишком! — взволнованно проговорил Жермен.

— Ну вот, вы опять загрустили, я ведь запретила вам так вести себя.

— Как я должен себя вести, зная о том, что вы сделали для меня с тех пор, как я попал в тюрьму? И вот сейчас ваше внимание, разве оно не благородно? Ведь я знаю, вам приходится работать по ночам для того, чтобы наверстать время, потраченное на свидание. Из-за меня вам слишком много приходится работать.

— Ну вот, вы еще будете жалеть меня за то, что я совершаю отличную прогулку, навещаю друзей, я так люблю ходить... До чего же забавно смотреть на витрины магазинов.

— Но ведь сегодня такой ветер, проливной дождь!

— Сегодня было очень интересно: вы не представляете себе, какие встречаются люди. Одни придерживают шляпу, чтоб ветер не сорвал ее с головы, другие, когда вырывается зонтик, гримасничают, закрывают глаза, в то время как дождь хлещет им в лицо. Сегодня утром всю дорогу была настоящая комедия... я надеялась, что рассмешу вас... А вы не хотите даже улыбнуться...

— Простите меня... я, право, не виноват... но я исполнен глубокой нежности. Этим я обязан вам. Когда я счастлив, я не бываю веселым... ничего не могу поделать...

Хохотушка хотя и продолжала мило кокетничать, но все же пыталась утаить тревожное чувство и потому завела разговор на другую тему.

— Вы утверждаете, что ничего не можете с собой поделать... Но есть препятствия, которые надо преодолеть, а вы уклоняетесь, хотя я вас просила, умоляла.

— Что вы имеете в виду?

— Ваше упрямство! То, что вы избегаете общения с заключенными... не разговариваете с ними. Надзиратель сказал мне, что вам нужно

преодолеть это чувство, а вы избегаете всех. Что ж вы молчите, ведь это правда! Дождетесь, что эти люди вам отомстят.

— Если бы вы представили себе, какой ужас они мне внушают... Вы не знаете, по каким причинам я избегаю их и ненавижу им подобных.

— Догадываюсь... Я читала дневник и письма, которые вы адресовали мне и за которыми я приехала к вам домой после вашего ареста; из них я узнала, каким опасностям вы подвергались, когда приехали в Париж, потому что в провинции вы отказались принимать участие в преступлениях негодяя, который вас воспитывал... узнала о последней ловушке, которую он вам подстроил; чтобы сбить его со следа, вы покинули улицу Тампль, сообщив лишь мне одной свой новый адрес... В этих же бумагах, — опустив глаза, добавила гризетка, — я прочла еще... что...

— О, вы об этом никогда бы не узнали, клянусь вам, если бы не обрушившееся на меня несчастье, — воскликнул Жермен. — Но, умоляю вас, будьте великодушны, простите мне безумство, забудьте его; когда-то я погружался в сказочные мечты, хотя они и были неосуществимы.

Хохотушка вновь пыталась вызвать у молодого человека признание, намекая на мысли, полные

нежности и страсти, которые он выразил в письмах и посвятил гризетке; потому что, как мы уже говорили, он всегда пылко и искренне любил ее, но, чтобы наслаждаться сердечной преданностью милой соседки, он скрывал свою любовь, называя ее дружбой.

Став в тюрьме еще более недоверчивым и робким, он не мог представить себе, что Хохотушка любит его искренне и самозабвенно, его, узника, опозоренного ужасным преступлением, в то время как раньше, до постигшего его несчастья, она, казалось, питала к нему лишь дружескую привязанность.

Видя, что ее не понимают, гризетка подавила вздох, не теряя надежды и ожидая более благоприятного момента, когда она сможет раскрыть перед ним глубину своего чувства.

И она смущенно продолжала:

— Господи! Я понимаю, что вы презираете общество этих людей, но это еще не причина, чтобы вызывать их гнев, подвергаться опасности.

— Поверьте, что, следуя вашему совету, я несколько раз пытался заговорить с некоторыми заключенными, казавшимися мне более приличными, но если бы вы знали, что это за люди, как они выражаются!

— Да, это правда, это должно быть ужасно...

— Видите ли, меня больше всего удручает еще то, что я привыкаю к их гнусным речам, которые невольно слышу весь день; да, теперь я мрачно слушаю мерзкие истории, в первые дни вызывавшие мое возмущение, и вот видите, начинаю сомневаться в себе, — с горечью воскликнул он.

— О, господин Жермен, что вы говорите?

— Если мы принуждены жить в таких страшных местах, наш разум в конце концов смиряется с преступными мыслями так же, как мы привыкаем к грубым словам вокруг нас. Господи! Да, я понял теперь, что можно, войдя сюда невинным, хотя и обвиненным, выйти отсюда развращенным.

— Да, но только не вы, к вам это не относится.

— Не только ко мне, но и к людям, в тысячу раз лучше меня. Увы, значит, те, кто сажает нас в тюрьму до суда, приговаривают нас к общению с гнусными людьми, не знают, как мучительно, как тягостно это общение. Они не представляют себе, что если долго дышать этим воздухом, он становится заразным... пагубным для чести человека!..

— Умоляю, не говорите так, вы глубоко огорчаете меня.

— Вы просили меня объяснить, почему я такой грустный... я не хотел делиться с вами, но это единственный способ отблагодарить вас за жалость ко мне.

— Моя жалость... моя жалость...

— Да, я ничего не буду скрывать от вас. Я с ужасом вижу... что не узнаю себя. Напрасно я презираю этих отверженных, избегаю встреч с ними, их присутствие, контакт с ними разлагает меня, как бы я ни противился. Я уверен, что они обладают роковой способностью заражать атмосферу, в которой живут... кажется, что в меня проникает тлетворный дух. Если бы меня оправдали, мне было бы стыдно общаться с честными людьми. Ныне я недоволен, что нахожусь среди арестантов, но я страшусь дня, когда вернусь к порядочным людям... И все это происходит потому, что я сознаю свою беспомощность.

— Беспомощность?

— Свою подлость.

— Вашу подлость? О боже, как несправедливо вы судите себя!

— Разве не подло и не преступно, когда отступаешь перед долгом и честностью? А со мной это и произошло.

— С вами?

— Да, явившись сюда... я не сомневался, что совершил преступление, хотя ему можно было найти оправдание. А теперь оно мне кажется менее серьезным, потому что я наслушался, как воры и убийцы, отличающиеся особой свирепостью, с циничным издевательством говорят о своих злодеяниях; я иногда ловлю себя на том, что завидую их смелому равнодушию и насмехаюсь над своим раскаянием, когда думаю о совершенном мною проступке, столь незначительном по сравнению с другими.

— Вы правы! Ваш поступок скорее доброе дело, чем преступление. Вы были уверены, что сможете на следующее утро вернуть сумму, взятую вами всего на несколько часов, чтобы спасти семью от разорения и, быть может, от смертельной опасности.

— Для чего бы я ни взял, — это в глазах закона и честных людей — воровство. Конечно, один повод к воровству извинительнее, чем другой, но, видите ли, это пагубный симптом, когда, чтобы оправдаться в собственных глазах, сопоставляешь себя с закоренелым преступником. Отныне я не могу сравнивать себя с честными людьми. С течением времени... я убеждаюсь, что совесть тупеет, костенеет... Завтра, может быть, украду, уже

не будучи уверенным, что смогу возместить сумму, которую украл с похвальной целью, но, даже если украду из жадности, я, конечно, буду считать себя невинным по сравнению с тем, кто убивает, чтобы украсть... И, однако, сейчас между мною и убийцей такое же расстояние, как между мной и безупречным человеком... Итак, потому что есть существа, в тысячу раз более опустившиеся, чем я, моя деградация в моих глазах уменьшается. Если прежде я мог сказать: я тоже честный человек, теперь я буду утешаться тем, что скажу: я менее всех преступен среди отверженных, в обществе которых мне всегда предстоит жить.

— Как — всегда? Ну а когда вы отсюда выйдете?

— Не важно: если я и буду оправдан, эти люди меня уже знают, по выходе из тюрьмы, встретив меня случайно, они будут разговаривать со мной как с арестантом. Поскольку справедливое обвинение, приведшее к суду, не будет известно всем этим несчастным, они станут угрожать мне тем, что разгласят мое прошлое. Вот видите, проклятые узы теперь уже неразрывно связывают меня с этими негодяями... Если бы я был в одиночном заключении до того дня, когда состоится суд, дело было бы иное, никто меня бы не знал и я не знал

бы никого и не терзался бы страхом, который парализует мои лучшие помыслы. К тому же, если б я думал лишь о своей вине, она бы возросла в моих глазах, а не уменьшилась; чем значительнее она бы мне казалась, тем более серьезно было бы искупление, которое я наложил бы на себя в будущем. Поэтому, чем больше вина, за которую прощен, тем больше добра я должен сделать в доступной мне сфере. Потому что один плохой поступок нужно искупить сотней хороших. Но подумаю ли я когда-нибудь, что должен искупить то, в чем сейчас едва раскаиваюсь... Послушайте... я чувствую... что подчиняюсь непреодолимому влиянию, против которого я долго боролся изо всех сил; меня воспитали для зла, и я уступаю своей судьбе: в конце концов, один, без семьи... не все ли равно, стану ли я честным человеком или преступником?.. А впрочем, мои намерения были добрыми и честными... Именно потому, что из меня хотели сделать негодяя, я убежденно говорил себе: никогда я не изменял чести, хотя для меня это было гораздо труднее, чем для любого другого... А теперь... Нет, это ужасно... ужасно... — воскликнул Жермен. И несчастный разразился таким душераздирающим плачем, что бедная Хохотушка не могла больше сдерживать волнение

и тоже залилась слезами.

Выражение лица Жермена было невыносимо печальным. Нельзя было оставаться равнодушным к отчаянью этого смелого юноши, боровшегося с роковой заразой, опасность которой угрожала ему и которую он благодаря своей деликатности еще преувеличивал.

Мы никогда не забудем слов человека редкого ума, двадцатилетний опыт работы которого в тюремном управлении придает особый вес его убеждению: «Если предполагать, что человек вошел в тюрьму по несправедливому обвинению, вошел совершенно невинным, то выйдет он из тюрьмы всегда уже менее честным, чем туда вошел; то, что можно было бы назвать цветком невинной честности, навсегда исчезает при одном соприкосновении с этой тлетворной атмосферой».

Скажем, однако, что Жермен благодаря глубокой порядочности долго и успешно боролся, что он скорее предчувствовал болезнь, нежели в действительности болел ею.

Боязнь увидеть свою ошибку не столь серьезной доказывает, что в тот час он чувствовал всю ее значительность; но все же смущение, страх, сомнения, жестоко волновавшие эту честную и

благородную душу, были тревожными признаками. приближения болезни.

Хохотушка, руководимая прямотой своего ума, женской проницательностью и инстинктом любви, угадала то, о чем мы только что говорили.

Хотя она была вполне уверена, что ее друг еще не утратил своей деликатности, она боялась, что, несмотря на высокую нравственность, Жермен однажды станет равнодушен к тому, что сейчас так жестоко его мучило.

Глава V.
ХОХОТУШКА

Как бы ни было незыблемым счастье, которым мы наслаждаемся, порою мы охвачены стремлением ощутить невыносимые муки для того, чтобы вслед за тем с благодарностью воспринять благородное величие самопожертвования.

(Вольфганг. Святой дух, книга 2)

Хохотушка, вытерев слезы, обратилась к Жермену, прислонившемуся к решетке, с трогательной, почти торжественной серьезностью. Такого тона он еще от нее не слышал.

— Послушайте, Жермен, быть может, я не ясно выражаюсь, не умею говорить так хорошо, как вы, но то, что я вам скажу, будет искренне и справедливо... Вы заблуждаетесь, утверждая, что одиноки и всеми покинуты...

— Только не думайте, что я забыл все, чем обязан вашему состраданию.

— Я не прерывала вас, когда вы говорили... но теперь, раз вы повторяете это слово, я должна сказать вам, что чувствую

к вам совсем не сострадание... объясню вам как умею... Когда мы были соседями, я вас любила как доброго брата, верного друга. Мы оказывали друг другу маленькие услуги, вместе проводили время по воскресеньям, из благодарности я пыталась быть непринужденной, веселой... и мы оба были довольны.

— Довольны? Нет... я...

. — Позвольте мне договорить... Когда вам пришлось покинуть дом, где мы жили, я была глубоко огорчена, такого чувства я не испытала бы по отношению к другим соседям.

— Неужто это правда!

— Я знала, что наши приятели-шалопаи очень скоро забудут меня, не то что вы, притом я общалась с ними лишь после того, как решительно заявила им, что наши отношения будут сугубо дружескими. В то время как вы сразу проявили ко мне глубокое уважение; посвящали мне все свое свободное время, выучили меня писать... давали полезные советы, оставались самым преданным моим соседом... и никогда ничего не ждали от меня... за свои труды... Более того, уезжая из дома, вы проявили полное доверие ко мне... вы открыли мне важную тайну, мне, молоденькой девушке, и я гордилась этим доверием! Вот почему, разлу-

чившись с вами, я часто вспоминала вас, позабыв других моих соседей. Это правда, вы знаете, я никогда не лгу.

— Неужели это так!.. Вы относились ко мне иначе — чем к другим?

— Конечно, ведь я не бессердечная. Да, я была убеждена, что нет на свете человека лучше Жермена; только он слишком серьезный; впрочем, будь у меня подруга, которая захотела бы выйти замуж и быть очень счастливой, я бы ей посоветовала выйти за Жермена; это был бы рай для милой хозяйки!

— Вы предназначили меня другой, — с грустью проговорил Жермен.

— Да, я радовалась бы, если бы, женившись, вы были счастливы, потому что относилась к вам как к доброму другу. Вот видите, я говорю вам все откровенно.

— Душевно благодарю, для меня большое утешение узнать, что вы предпочли меня другим.

— Вот так я относилась к вам до тех пор, пока вас не постигло несчастье. Тогда я получила ваше трогательное письмо, где вы рассказали мне о вашем поступке, который вы называли ошибкой, а я — прекрасным и добрым делом; тогда вы поручили мне пойти к вам на квартиру и взять

ваши дневники, из записей я поняла, что вы меня всегда любили, но не смели в этом признаться. Я знала, что вы позаботились о моем будущем, ведь болезнь, отсутствие заработка могли пагубно сказаться на моей жизни. На случай насильственной смерти — а вы могли ее бояться — вы завещали мне небольшую сумму, заработанную трудом и бережливостью...

— Да, ведь если бы я был жив, а вы остались без работы или заболели бы, то скорее обратились за помощью ко мне, чем к кому-либо другому? Не правда ли? Скажите, я не ошибался?

— Да, конечно! К кому же я, по-вашему, должна была обратиться?

— Мне приятно слышать эти слова, я нахожу в них утешение!

— Вы представить себе не можете, что я испытала, читая завещание, какое это печальное слово! Каждая строчка заключала в себе воспоминание обо мне, заботу о моем будущем; и все эти доказательства преданности я должна была узнать только после вашей смерти. Ну как же иначе? Такое поведение, не надо удивляться, внезапно порождает любовь; это так естественно... не правда ли, господин Жермен?

Девушка призналась в этом с трогательной

наивностью, устремив взгляд своих больших черных глаз на Жермена; но он вначале даже не понял ее признания, так как не мог представить себе, что Хохотушка его любит.

Слова эти были произнесены столь искренне, что они дошли до глубины души узника, и он, бледнея, воскликнул:

— Что вы говорите? Я боюсь... быть может, я... заблуждаюсь!..

— Повторяю, с той минуты, как я убедилась, что вы так добры ко мне, и увидела, как вы несчастны, я почувствовала, что полюбила вас; и если бы теперь моя подруга захотела выйти замуж, — сказала Хохотушка, улыбаясь и краснея, — я не стала бы советовать ей выйти за вас, господин Жермен.

— Вы меня любите!

— Я сама сказала, что люблю вас, ведь вы меня об этом не спрашиваете.

— Неужели это возможно?

— А ведь я уже два раза пыталась заставить вас уразуметь это! Что ж, этот господин не хочет понять моего намека, он принуждает меня признаться во всем. Быть может, я скверно поступила, но так как бранить меня за мою смелость можете только вы, мне уже не так страшно.

Затем взволнованно и серьезно она сказала ему:

— Вы сейчас показались мне таким удрученным и в таком отчаянии, что я не могла скрывать свое чувство, может быть, мое чистосердечное признание избавит вас от горьких переживаний. До сих пор я не смогла отвлечь вас и утешить, мои лакомства портят вам аппетит, от моих шуток вы плачете, но, быть может, на этот раз... Что с вами? — воскликнула Хохотушка, видя, что Жермен закрыл лицо руками. — Разве не жестоко так вести себя? Что бы я ни сделала, что бы ни сказала... вы по-прежнему несчастны; стало быть, вы слишком злой, себялюбивый человек! Можно подумать, что страдаете лишь вы и больше никто!..

— Увы, как мне горько! — с отчаяньем воскликнул Жермен. — Вы меня любите, тогда как я уже недостоин вас!

— Вы недостойны? Что вы говорите! В ваших словах — ни капли здравого смысла! Значит, и я была недостойна вашей дружбы, ведь я тоже была когда-то в тюрьме... но от этого я не перестала быть честной девушкой?

— Но вас взяли в тюрьму потому, что вы были бедным, покинутым ребенком, в то время как я! Боже, это огромная разница.

— Что касается тюрьмы, то тут нам нечего укорять друг друга! А вот я действительно честолюбива! В моем положении я имела право надеяться только на брак с рабочим. Ведь я — найденыш, у меня ничего нет, кроме маленькой комнаты и мужественного характера, и все-таки я отважно осмелилась предложить вам себя в жены!

— Увы, тогда это была моя сокровенная мечта, счастье моей жизни! Но теперь, когда надо мною тяготеет позорное обвинение, я злоупотребил бы вашим великодушием, вашим сочувствием. Нет, нет.

— Боже мой! — с болью и нетерпением воскликнула Хохотушка. — Я же вам говорила, что не жалею вас, а люблю. Только о вас и думаю, не могу ни спать, ни есть, ваше милое грустное лицо всюду меня преследует. Разве это жалость? Ваш голос, ваш взор проникают до глубины моего сердца. Я вижу теперь в вас столько нового, чего прежде не замечала, и это просто сводит меня с ума. Я люблю ваше лицо, ваши глаза, вашу осанку, ваш ум, ваше доброе сердце. Неужели все это — жалость? Я сама не понимаю, почему любила вас как друга, а теперь люблю как возлюбленного, почему была всегда сумасбродной и

веселой, когда питала к вам дружеские чувства, почему теперь всецело поглощена иной любовью? Не знаю! Почему раньше не замечала, что вы и красивый и добрый и что вас можно пылко любить? Не знаю, но догадываюсь, потому что я открыла, как сильно вы меня любили, как вы были благородны и преданы мне, тогда любовь всецело поглотила меня.

— Право, я слушаю вас, и мне кажется, что это сон!

— А я никогда не думала, что осмелюсь во всем вам признаться, меня побудило поступить так ваше отчаянье. Ну что ж, сударь, теперь, когда вы знаете, что я вас люблю как возлюбленного, как мужа, станете ли вы уверять меня, что это жалость?

Великодушные сомнения Жермена должны были наконец уступить место этому смелому и наивному признанию.

Мучительные переживания Жермена сменились неожиданной радостью.

— Вы меня любите! — воскликнул он. — Я верю вам, ваш тон, ваш взгляд — все меня убеждает в том, что это правда! Я не задаю себе вопроса, чем я заслужил такое счастье, я слепо ему отдаюсь... Всей моей жизни не хватит на то, чтобы распла-

титься с вами. Я глубоко страдал, но эта минута искупает все!

. — Наконец-то вы утешились. О, я была уверена, что добьюсь своего! — воскликнула Хохотушка в порыве искренней радости.

— И такое счастье наступило для меня теперь среди ужасов тюрьмы, когда все меня удручает...

Жермен не мог продолжать.

Эта мысль напомнила ему его реальное положение, и угрызения совести, на миг забытые, снова начали терзать его.

— Но ведь я арестант... я обвинен в воровстве, я буду осужден, быть может, обесчещен!.. Принять вашу бесценную жертву... воспользоваться вашим великодушным увлечением?.. О нет! Нет! Я не настолько низок!

— Что вы говорите?

— Я могу быть приговорен... к длительному тюремному заключению.

— Ну и что? — ответила Хохотушка спокойно и убежденно. — Когда узнают, что я честная девушка, нам разрешат обвенчаться в тюремной церкви.

— Но меня могут держать в тюрьме далеко от Парижа...

— Раз я буду вашей женой, я последую за вами,

поселюсь в том же городе, где будете вы, найду себе работу и буду вас навещать каждый день!

— Но я буду опозорен в глазах всех.

— Да ведь вы меня любите больше всех, не правда ли?

— Разве можно об этом спрашивать?..

— А тогда в чем же дело?.. Передо мною вы не опозорены, напротив, вы — жертва вашего доброго сердца.

— Но общество вас осудит, на вас будут клеветать, порицать ваш выбор.

— Общество! Это вы — для меня, а я — для вас. Пусть говорят!

— А потом, когда я выйду из тюрьмы, для меня начнется нищенская, необеспеченная жизнь; быть может, отвергнутый всеми,4 я никогда не найду работы... а вдруг, хоть об этом и думать ужасно, этот распад нравов, которого я так боюсь, коснется меня, какое будущее ждет вас тогда?

— Вы не станете скверным теперь, когда вы знаете, что я вас люблю, эта мысль даст вам силы бороться с дурным влиянием. Если даже по выходе на свободу вас отвергнут, вы будете убеждены в том, что остались честным человеком и ваша жена примет вас с любовью и благодарностью. Вас удивляют такие слова? Я сама поражена, не

знаю, откуда я беру все это, что говорю вам!.. Несомненно, все это говорится от души, это должно вас убедить... Если вы не желаете принять предложение, сделанное искренне, если вам не нужна преданность бедной простой девушки, которая...

Опьяненный счастьем, Жермен прервал Хохотушку.

— О да! Я согласен; да, я чувствую, что отказаться от некоторых жертв — это значит признать, что их недостоин. Я согласен, благородная и смелая девушка.

— Это правда? На этот раз правда?

— Клянусь вам... А кроме того, вы сказали мне нечто, поразившее меня до глубины души и придавшее мне мужество, которого мне не хватало.

— Какое счастье! Что ж я вам сказала?

— Что для вас я должен остаться честным человеком; это дает мне силу для борьбы с пагубным влиянием тюрьмы, я не боюсь теперь тлетворной атмосферы и сохраню достойным вашей любви сердце, принадлежащее вам!

— О Жермен! Как я счастлива! Если я сделала что-нибудь для вас, то как щедро вы меня вознаграждаете!

— Но все же, хотя вы и простили мою вину, я не забуду, что она тяжела, на мне лежит теперь

двойной долг, я должен искупить прошлое и заслужить то счастье, которым я вам обязан... Буду стараться делать добро, как бы я ни был беден, случай непременно представится.

— Увы! Боже мой! Это правда, всегда найдешь кого-нибудь, кто несчастнее тебя.

— Если нет денег...

— Тогда выступают слезы, как это случилось со мной, когда я узнала о несчастье семьи Морель.

— И это святая милостыня: милосердие души дороже всякого подаяния.

— Итак, вы согласны! Вы не возьмете свои слова обратно?

— Никогда, никогда, мой друг, моя супруга! Мужество вернулось ко мне, и я точно пробуждаюсь ото сна. Нет больше сомнений. Я чувствовал, что заблуждался, понял, к счастью, что сам обманывал себя. Мое сердце не могло бы так биться, если бы оно навсегда утратило благородные порывы.

— О Жермен, как вы прекрасны, когда говорите так! Как вы успокаиваете не только меня, но и самого себя! Теперь вы мне обещаете, правда? Теперь, когда моя любовь оберегает вас, обещайте, что не будете больше бояться говорить с этими злыми людьми, восстанавливать их против себя?

— Будьте спокойны!.. Видя, что я удручен, они винили меня в том, что я раскаиваюсь, а теперь они подумают, что я такой же циник, как и они.

— Правда! Они вас больше не станут подозревать, и я буду спокойна. Итак, будьте благоразумны... теперь вы принадлежите мне... я ваша жена.

В это время зашевелился надзиратель, он проснулся.

— Ну поцелуйте же меня, — тихо сказала Хохотушка. — Поспешите, мой супруг, это будет нашим венчанием.

И девушка, смущаясь, прикоснулась лбом к железной решетке.

Глубоко растроганный, Жермен прильнул губами к ее лицу.

Из глаз заключенного пролилась слеза, словно влажная жемчужина.

Трогательное благословение светлой, печальной и пленительной любви.

— Уже три часа, — поднимаясь, сказал надзиратель, — а посетители могут здесь быть до двух. Ну-с, милая барышня, — обратился он к гризетке, — ничего не поделаешь, надо уходить.

— О, благодарю, сударь, что вы оставили нас одних. Я внушила Жермену бодрость, он не будет

больше угрюмым, и ему нечего бояться злых арестантов. Не так ли, мой друг?

— Будьте покойны, — проговорил Жермен, — я теперь буду самым веселым арестантом в тюрьме.

— И в добрый час! Тогда на вас перестанут обращать внимание, — проговорил надзиратель.

— Я тут принесла Жермену шарф, — сказал Хохотушка, — должна я передать его в контору?

— Так полагается. Но раз я уже отступил от правил, допустим еще небольшое нарушение. Пусть уж будет день удач. Отдайте ему сами ваш подарок.

И надзиратель открыл дверь в коридор.

— Этот добрый человек прав. Сегодня действительно особый день, — сказал Жермен, принимая шарф из рук Хохотушки, которые он нежно сжал. — До свидания и до скорой встречи, я теперь не боюсь просить вас приходить возможно чаще.

— А я не буду ждать вашего позволения. До свидания, милый Жермен.

— До встречи, милая Хохотушка.

— Наденьте шарф и не смейте простужаться, здесь так сыро!

— Какой чудный шарф! Подумать только, что вы сами его связали для меня. Я никогда с ним не

расстанусь, — сказал Жермен, поднеся подарок к губам.

— Надеюсь, что сегодня у вас появится аппетит. Угодно вам принять от меня маленькое угощение?

— Еще бы, на этот раз я отдам ему должное.

— Думаю, что вы останетесь довольны, господин гурман. Вы расскажите мне, как оно вам понравилось. Еще раз благодарю вас, господин надзиратель, я ухожу сегодня счастливая и успокоенная. Да свидания, Жермен.

— До скорой встречи!

— До встречи навсегда...

Несколько минут спустя Хохотушка, взяв зонтик и галоши, покинула тюрьму в более веселом настроении, чем то, в каком она пришла сюда.

Во время разговора Жермена и гризетки во дворе тюрьмы произошла другая сцена, и мы поведем туда нашего читателя.

Глава VI.
ЛЬВИНЫЙ РОВ

Хотя внешний вид большой тюрьмы, построенной с соблюдением удобств и чистоты, которых требует гуманность, не представляет собою ничего мрачного, но пребывающие в ней арестанты производят удручающее впечатление. Жалость и грусть обычно охватывает вас, когда вы находитесь среди женщин. Невольно приходит на ум, что они совершили преступление не по своей воле, а только потому, что попали под губительное влияние первого совратившего их мужчины.

К тому же наиболее преступные женщины сохраняют в глубине души две святые струны, которых не могут порвать самые пагубные, самые неистовые страсти, — любовь и материнство. Говорить о любви и материнстве — значит согласиться с тем, что среди несчастных созданий чистый луч света порою может осветить глубокое нравственное падение.

Но у мужчин, которые отсидели в тюрьме, а затем выходят на волю, нет ничего подобного.

Это сгусток преступлений, это глыба бронзы,

которая раскаляется только на огне адских страстей.

Вот почему внешний вид преступников, наполняющих тюрьмы, вызывает чувство ужаса и отвращения.

И, только поразмыслив, вы испытываете сострадание и вместе с тем глубокое огорчение.

Да... глубокое огорчение, ибо, подумав, убеждаешься, что обитатели тюрьмы и каторги — кровавая жатва для палача — прорастает всегда среди тины невежества, нищеты и отупения.

Чтобы составить себе представление о царящих в тюрьме ужасах и кошмарах, пусть читатель последует за нами в «Львиный Ров».

Так называется один из дворов тюрьмы Форс.

Обыкновенно туда сажают самых закоренелых и опасных рецидивистов, обвиняемых в тягчайших преступлениях.

Но в виду начавшегося ремонта одного из зданий тюрьмы Форс власти вынуждены были временно поместить туда несколько не столь уж закоренелых преступников.

Этих последних, тоже осужденных судом присяжных, по сравнению с обычными арестантами Львиного Рва, можно было счесть добродетельными людьми.

Сцена, которую мы сейчас опишем, происходила при тусклом свете, в серый дождливый день, среди большого квадратного двора, обнесенного высокими белыми стенами с зарешеченными окнами.

В одном конце этого двора виднелась узкая дверь с окошечком; в противоположном — вход в зал с каменным полом — это было отапливаемое помещение с чугунной печью, вокруг которой стояли скамьи, а на них, непринужденно развалившись, вели беседу несколько арестантов.

Другие разгуливали по двору рядами по четыре-пять человек, держа друг друга под руку.

Надо было обладать суровой, мрачной кистью Сальватора Розы или Гойи, чтобы набросать различные типы нравственного и физического уродства, дать представление об отвратительной одежде этих несчастных, закутанных в большинстве случаев в рубище, ведь они находятся в предварительном заключении и, быть может, не виновны, потому им не выдают арестантской одежды. Правда, некоторые получают ее, потому что те лохмотья, в которых они пришли в тюрьму, стали такими грязными и смрадными, что после обязательного прохождения бани носить

их нельзя[129]. Тогда заключенные получают куртку и брюки из серого сукна.

Френолог, наблюдая осужденных, не преминул бы заместить истощенные лица, с плоским или вдавленным лбом, с жестоким или коварным взглядом, со злобным или тупым ртом, с огромным затылком; почти у всех было что-то устрашающе звериное.

Лукавые черты лица одного напоминали хитрую изворотливость лисы; иной кровожадный тип походил на хищную птицу, другой напоминал свирепого тигра, а иные выглядели просто тупыми животными.

Прогулка безмолвной толпы людей в глубине двора, похожего на квадратный колодец, с суровыми лицами, с нахальным и циничным смехом, оставляла на редкость мрачное впечатление.

Становилось страшно при мысли о том, что эта свирепая ватага через какое-то время будет вновь на свободе, в обществе, которому она объявила непримиримую борьбу.

Сколько замыслов кровавой мести, будущих

---

[129] Notes: 129

В целях гигиены арестованный при своем прибытии в тюрьму, а впоследствии два раза в месяц, посещает баню; потом его одежду подвергают, санитарной обработке. Для арестанта баня с горячей водой — неслыханная роскошь.

убийств постоянно зреют у этих людей под маской бесстыдства и порочности!!!

Опишем ряд броских типов Львиного Рва, а прочих оставим в тени.

Пока надзиратель, дядюшка Руссель, следил за гулявшими по двору преступниками, в большом зале происходил тайный сговор. Среди арестантов находились Крючок и Николя Марсиаль, о которых мы здесь только упомянем. Наиболее заметной фигурой, главой банды, решавшей все вопросы, был заключенный по прозвищу Скелет[130], его имя не раз упоминалось при описании событий на острове Черпальщика в семье Марсиаля.

Скелет был старостой или управителем зала, где стояла чугунная печь.

---

[130] Notes: 130

По поводу прозвища «Скелет» у меня возникло сомнение. В этом году один бедняга по имени Декюр был приговорен к тюремному заключению на один месяц только за то, что занимался бродяжничеством; он действительно демонстрировал на ярмарке подвижность своего скелета, так как сам отличался исключительной и пугающей худобой. Этот персонаж показался нам любопытным, мы им воспользовались; но прототип не имеет ничего общего с нашим вымышленным арестантом. Вот отрывок из допроса Декюра:

Председатель. Чем вы занимались в поселке Мэзон во время ареста? Д. Я исполнял всякие упражнения, чтобы потешить молодежь: придавал своему телу форму скелета, выставлял напоказ свои кости и мускулы, глотал мышьяк, сулему, жаб, пауков и вообще всех насекомых; могу также проглотить огонь и кипящее масло, промывая нутро. Ежегодно меня осматривают известные парижские врачи, такие, как господа

Дюбуа, Орфила; они заставляют меня исполнять различные упражнения и т. п.
«Судебный вестник».

Человек довольно высокого роста, лет сорока от роду, он оправдывал свою жуткую кличку тем, что был настолько худ, что даже трудно себе представить; пожалуй, по нему действительно можно было изучать кости человека.

Если лица его сотоварищей в какой-то степени напоминали тигра, ястреба или лисицу, то сдавленный, покатый лоб Скелета, его костлявые, плоские, выдвинутые вперед челюсти и безмерно длинная шея придавали ему удивительное сходство с головой змеи.

Это ужасное подобие усиливалось еще тем, что он был совершенно лысый, а из-под шероховатой кожи его лба, плоского, как у пресмыкающихся, проступали все линии, все выступы его черепа; что касается его безбородой физиономии, то представьте себе старый пергамент, наклеенный прямо на кости лица и натянутый от выступа скул до нижней челюсти, сочленение которой с черепом было отчетливо заметно.

Маленькие косые глаза сидели так глубоко в орбитах, а брови и скулы так выдавались, что под жилистым лбом, от которого отражался свет, виднелись две впадины, буквально заполненные мраком, вблизи казалось, что глаза совсем исчезали в глубине этих двух темных провалов,

двух черных дыр, которые придают такой мрачный облик голове Скелета. Длинные зубы, корни которых ясно обрисовывались под натянутой кожей костлявых и плоских челюстей, почти беспрестанно обнажались благодаря обычной судорожной усмешке.

Хотя мускулы этого человека обратились в нечто подобное сухожилиям, он обладал необыкновенной силой. Даже самые сильные люди с трудом выносили объятие его длинных рук с костлявыми пальцами.

Можно сказать, то было дьявольское объятие стального скелета.

Он носил синюю куртку, слишком короткую, обнажавшую (и он этим гордился) его узловатые кисти и часть руки до локтя, вернее сказать, две кости (да простят нам, что мы прибегаем к анатомии), две кости, обтянутые темноватой кожей, разделенные глубоким желобком, где тянулись вены, сухие и грубые, словно струны. Когда он клал руки на стол, казалось, как удачно выразился Гобер, что он кладет на стол набор для игры в кости.

Скелет провел пятнадцать лет на каторге за воровство и попытку совершить убийство, затем бежал и был вновь схвачен во время разбоя.

Последнее убийство отличалось зверской жестокостью, и преступник был убежден, что ему вынесут смертный приговор.

Сильный, энергичный, развращенный, Скелет оказывал исключительное влияние на подчиненных. Учитывая все это, начальник тюрьмы назначил его старостой камеры, то есть поручил ему надзор за порядком, благоустройством и чистотой их помещений и кроватей; Скелет превосходно исполнял свои функции, и ни один из арестантов не смел нарушить его приказания.

Странное и поразительное явление...

Смышленым начальникам тюрем после неудачных попыток назначить старостой кого-нибудь из тех, чье преступление было менее тяжким, пришлось отказаться от этого разумного выбора, отвечающего требованиям морали, и избрать наиболее закоренелого преступника, которого все боялись: именно такой мог навести порядок среди своих сообщников. Итак, — повторим еще раз, — чем больше мерзостей и цинизма проявляет преступник, тем более его уважают и считаются с ним.

Разве этот факт, подтвержденный практикой, не является бесспорным аргументом против порочного обычая — содержать заключенных в

общих камерах?

Разве не доказывает он силу порока, смертельно поражающего заключенных, которые в иных условиях могли бы обрести моральное оздоровление?

Именно так; к чему думать о раскаянье, об исправлении, когда придется прожить долгие годы, быть может, всю жизнь в этом аду, где завоевывает уважение лишь наиболее чудовищный преступник.

Разве неизвестно, что внешний мир, порядочное общество не существует для заключенных?

Равнодушный к моральным законам, арестант волей-неволей подчиняется произволу тюремного режима, а так как там судьбами вершат убийцы и воры, которых больше всего боятся и уважают, то любой узник стремится быть среди преступных вожаков.

Вернемся к Скелету, старосте камеры; он стоял среди арестантов, от него не отходили Крючок и Николя Марсиаль.

— Ты говоришь правду? — спросил Скелет у Марсиаля.

— Да, точно; дядя Мику все узнал от Верзилы, который хотел убить этого негодяя... за то, что он кого-то продал...

— Тогда сделать ему темную, и делу конец, — сказал Крючок.

— Скелет давно говорил, что с Жерменом нечего церемониться, надо завалить этого барана[131].

Староста вынул изо рта трубку и проговорил тихим голосом, таким хриплым, что его едва было слышно:

— Жермен задирает нос, он мешает нам, шпионит, ведь кто меньше говорит, тот больше слышит; надо было, чтоб его выкинули из Львиного Рва; если бы мы пустили кровь Жермену... его сразу и убрали бы.

— Ну и что... — возразил Николя, — что изменилось?

— Изменилось то, — ответил Скелет, — что если он продал, как говорит Верзила, то живым отсюда не уйдет!

— Туда ему и дорога! — сказал Крючок.

— Нужно проучить, — гневно заговорил Скелет. — Теперь нас преследуют не легавые, а провокаторы. По доносу отрубили головы Жаку и Готье... к вечной каторге приговорили Руссилона...

— А я, а моя мать, а Тыква? А мой брат в Тулоне? — воскликнул Николя. — Разве нас всех не продал

---

[131] Notes: 131
Доносчика, «наседку», предателя.

Краснорукий? Теперь это доказано; вместо того чтобы посадить с нами, его отправили в Рокетт! Испугались поместить сюда... он, негодяй, чувствовал, что ему несдобровать...

— А я? — сказал Крючок. — Разве Краснорукий не донес на меня?

— А разве меня не предал Жобер, — промолвил юный арестант тонким голосом, жеманно картавя, — человек, предложивший мне дело на улице Сен-Мартен?

Этот юноша, с высоким голосом, бледным, полным и женственным лицом, с лукавыми глазами, был странно одет: на голове у него был красный шелковый платок, завязанный в виде банта надо лбом и прижимавший к вискам две пряди белокурых волос; вместо галстука он носил белую шерстяную шаль с зеленым узором, завязанную на груди; его коричневая суконная куртка исчезала под узким поясом широких штанов из пестрой шотландской материи в клетку.

— Разве это не подлость!.. Разве можно поверить, что человек станет таким мерзавцем, — произнес жеманный юноша. — Я доверял Жоберу как никому на свете.

— Мне, Жавотта, точно известно, что он продал тебя, — ответил Скелет, который, казалось,

особенно покровительствовал этому заключенному. — Улика есть: с ним поступили как с Красноруким: не посадили к нам, а направили в Консьержери... Надо с этим кончать... расправиться со злодеем. Негодяи выдают себя за наших друзей, а сами на службе у полиции. Они полагают, что их шкура будет цела, потому что их сажают в другие тюрьмы, разлучив с теми, кого они предали...

— Верно!..

— Чтоб с этим покончить, арестанты должны относиться к доносчику как к смертельному врагу; не важно, предал ли он Пьера либо Жака, у нас либо в другой тюрьме, это в счет не идет, надо придушить его. Когда мы завалим четырех, другие задумаются, прежде чем выдать воров.

— Прав Скелет, — сказал Николя, — тогда надо начать с Жермена.

— Так и сделаем, — ответил Скелет. — Но подождем Хромого. Если он докажет, что Жермен шпион, тогда все... барашек больше не будет блеять, его завалят.

— А как же быть с надзирателем? — спросил преступник, которого Скелет называл Жаботтой.

— Я придумал... Нам поможет Острослов.

— Он? Да он же трус.

— И не сильнее блохи.

— Молчать, я сам знаю. Где он?

— Он вернулся из приемной, но его вызвали к тюремной крысе[132].

— А Жермен, он все еще в приемной?

— Да, с девицей, которая его навещает.

— Как только он вернется, смотрите в оба! Надо только подождать Гобера, без него не обойтись.

— Без Острослова?

— Конечно...

— А Жермена прикончим?

— Я беру это на себя.

— А как, ведь у нас отобрали ножи!

— А эти клещи хочешь попробовать? Подставляй горло, — заявил Скелет, показывая свои длинные, сухие и твердые, как кусок железа, пальцы.

— Ты задушишь его?

— Сожму немного.

— Но если узнают, что это ты?

— Ну и что? Разве у меня две головы, как у теленка, которого показывают на ярмарке?

— А ведь правда... голову рубят только один раз, а поскольку ты в этом уверен...

---

[132] Notes: 132
Адвокату.

— Более чем уверен; адвокат еще вчера мне об этом сказал. Пойман с рукой в мешке и с ножом в горле убитого. Ведь я — обратная кобылка[133], приговор заранее известен... Ладно, я отправлю свою голову посмотреть, что там в корзине у палача, правда или нет, что он надувает казненных и кладет опилки вместо отрубей, которые нам жалует правительство.

— Верно... Приговоренный к казни имеет право на отруби. Помню, моего отца так же обворовали... — подтвердил Марсиаль, разразившись свирепым смехом.

При этой омерзительной шутке все присутствовавшие расхохотались.

Ужасно! И мы ничего не преувеличиваем, напротив, еще смягчаем ужас обычных тюремных пересудов.

Повторяем, нужно все-таки дать представление, хотя бы поверхностное, о том, что говорится, что происходит в этих страшных пагубных школах цинизма, воровства, убийства.

Нужно, чтобы знали о том, с каким показным презрением говорят почти все закоренелые преступники о самых страшных наказаниях,

---

[133] Notes: 133
Вновь арестованный рецидивист.

которыми карает их общество.

Тогда, быть может, поймут, что необходимо изменить систему бесплодных наказаний, пагубных общений и заменить их единственным возмездием, которое может, как мы докажем ниже, устрашить самых закоренелых негодяев.

Собравшиеся в теплом зале арестанты громко засмеялись.

— Тысяча чертей! — заорал Скелет. — Я хотел бы, чтоб наши байки подслушали судьи, которые думают запугать нас гильотиной... Пусть придут к заставе Сен-Жак в день, когда состоится мой бенефис: они увидят, как я, поклонившись толпе, смело скажу: «Папаша Сансон, пожалуйста, дерните шнур!»

Новый взрыв хохота.

— Это длится сколько времени, сколько нужно, чтобы проглотить комок жевательного табака. Шарло дергает за веревку...

— И перед вами открыты двери в преисподнюю, — проговорил Скелет, покуривая трубку.

— Ну и сбрехнул, разве преисподняя есть?

— Болван! Я в шутку говорю... есть нож гильотины, есть голова, которую под нее кладут... вот и все. Теперь, когда я знаю свою дорогу и что мне

предстоит Обитель «Утоли моя печали»[134], я бы охотнее пошел туда сегодня, чем завтра, — с диким возбуждением заговорил Скелет. — Да, я хотел бы уже быть там, кровь подступает к горлу, когда подумаю о толпе, которая соберется, чтобы посмотреть на меня. Четыре-пять тысяч зевак столпятся на площади, будут толкаться, драться за лучшее место, будут снимать окна, стулья, словно хотят лицезреть какое-то шествие. Я уже слышу их голоса: «Сдается место! Сдается место!» Будут воинские части, пехота, кавалерия... и всякая всячина... и все это для меня, для Скелета: ведь для честного человека такого зрелища не устроят! Верно, друзья? Вот что придает бодрость. Даже такой трус, как Гобер, и тот пошел бы твердым шагом... ведь все, кто смотрят на вас, распаляют вам нутро... потом... мгновение... и ты лихо умираешь... это раздражает судей и честных людей и учит бандитов потешаться над курносой.

— Точно так, — заговорил Крючок, подражая циничному бахвальству Скелета, — нас хотят запугать тем, что палач разложит для нас свой товар, и баста.

— Наплевать на эту машинку, — поддержал

---

[134] Notes: 134
Гильотина.

Николя. — И тюрьма и каторга — невидаль какая; лишь бы мы все были друзьями. Будем веселиться, пока смерть не пришла!

— Было бы нестерпимо, — произнес юноша с жеманным голосом, — если бы нас навсегда разместили по отдельным камерам; говорят, что так и сделают.

— Ты что! — гневно завопил Скелет. — Не болтай... По камерам — в одиночку, даже не подумаю! Пусть лучше мне отрубят руки и ноги, чем оставаться одному в четырех стенах... не видеть моих парней, не побалагурить с ними. Нет! Предпочту каторгу Центральной тюрьмы; на «лужке»[135] ты на воздухе, видишь людей, приходишь, уходишь, болтаешь с друзьями. Вот что я скажу: пусть башка летит, а в отдельную камеру не сяду. Теперь я убежден, что мне конец, ведь верно? А ежели мне скажут: хочешь в пустехонькую камеру на год? Я суну шею под обрезальную машинку! Целый год без людей! Разве вытерпишь?.. О чем думать, когда ты ни с кем не встречаешься...

— А если бы тебя заперли в одиночке силой?

— Я бы там не остался... бежал бы, — заявил Скелет.

---

[135] Notes: 135
Каторга

— Ну а если б не смог... если б убедился, что нельзя бежать?

— Убил бы первого встречного, чтоб мне сняли голову.

— А если убийц вместо казни будут приговаривать к вечному заключению, что тогда?

Эти слова, казалось, поразили Скелета. Помолчав, он продолжал:

— Тогда я не знаю, что бы сделал... проломил бы башку о стену, умер бы с голода, только чтоб оставаться самим собой! Как! Один... Всю жизнь? Не надеясь на побег? Так не будет. Нет более отчаянного, чем я, могу зарезать человека за грош... ни за что... во имя чести... Думают, что я прикончил только двоих... но если б заговорили мертвые, то пять-то человек наверняка признали б мою работу.

Бандит расхвастался.

Хвастовство о совершенных убийствах — один из характерных черт лютых злодеев.

Один начальник тюрьмы говорил нам: «Если бы число убийств, которым бахвалятся эти несчастные, соответствовало действительности, то население сильно поредело бы».

— Я то же самое, — сказал Крючок, желая похвастаться, — они считают, что я уложил только

мужа молочницы из Сите, но я порешил и других — вместе с длинным Робером, которого казнили в прошлом году.

— Поверьте мне, — продолжал Скелет, — я не боюсь ни огня, ни дьявола, ну так вот, если б я сидел без дружков, уверенный, что никогда не смогу сбежать... дьявольщина... мне бы стало страшно...

— Почему? — спросил Николя.

— Потому что останусь наедине с собой, — отвечал староста.

— Значит, если бы тебе предстояло вновь убивать и если бы вместо каторги и гильотины существовало только одиночное заключение, ты бы не посмел убивать и грабить?

— Черт знает... да... возможно... — ответил Скелет (исторический факт).

Он говорил правду.

Трудно себе представить, какой дикий ужас внушает бандитам одна лишь мысль о возможности сидеть одному в камере, отрезанному от мира.

И не является ли страх преступника убедительным доказательством разумности такого рода наказания?

Но этого мало: строгая изоляция, устрашающая

убийц, быть может, волей-неволей повлечет за собой отмену гильотины. Вот каким образом.

Поколение преступников, заполнившее в настоящее время тюрьмы и каторги, воспримет применение одиночного заключения как чудовищную казнь.

Привыкшие к порочному образу жизни в общей массе преступников, которым мы посвятили сдержанный очерк, так как нам пришлось затушевать некоторые умопомрачительные факты, рецидивисты страшатся обособиться от мира подлецов, где они с легким сердцем искупали свои преступления; страшатся, что останутся наедине с воспоминаниями о прошлом... Они вознегодуют, подумав о столь страшном наказании.

Многие предпочтут смерть.

И, решив покончить с жизнью, они не остановятся перед убийством любого...

Удивительная вещь: среди десяти преступников, которые хотят лишить себя жизни, только бы не находиться в одиночестве, девять совершают убийство, добиваясь смертного приговора, и лишь один решается на самоубийство.

Итак, повторяем, эта уродливая статья варварского законодательства, несомненно, будет исключена из нашего кодекса...

Для того чтобы лишить убийц надежды найти забвенье в смерти, необходимо упразднить казнь.

Но вечное пребывание в одиночном заключении будет ли достаточно суровой карой за тяжкие преступления, такие, например, как отцеубийство? Некоторые уголовники совершают побег из строго охраняемых тюрем или в крайнем случае надеются убежать. Арестантов, о которых мы говорим, надо лишить не только надежды, но реальной возможности совершить побег.

Вот почему смертная казнь, преследующая цель избавления общества от опасных злодеев, лишь в исключительных случаях приводит к раскаянию; преступник лишен времени искупить содеянное злодеяние... Казнь, которую они принимают, — одни в бесчувственном состоянии, а другие с возмутительным цинизмом, — мы надеемся, будет заменена мучительным возмездием, которое предоставит преступнику полную возможность раскаяться... искупить вину и в то же время позволит закону сохранить жизнь, дарованную человеку богом. Ослепление лишает преступника возможности убежать из тюрьмы и нанести кому-либо вред.

Итак, смертная казнь, являющаяся его един-

ственной целью, будет в этом отношении справедливо заменена.

Ибо общество убивает не во имя возмездия.

Оно убивает не для того, чтобы заставить страдать, — из всех видов наказаний общество избирает наименее мучительное[136].

Оно убивает во имя собственной безопасности.

Разве нужно бояться ослепленного узника?

Наконец, вечная изоляция, смягченная общением с честными, набожными людьми, которые посвятят себя этой исцеляющей миссии, позволит убийце замолить грехи в течение долгих лет раскаяния и угрызений совести, возродить свою душу.

Шум и громкие радостные возгласы арестантов, совершавших прогулку по тюремному двору, прервали сговор. Николя вскочил и направился к дверям узнать причину непривычного оживления. Возвратясь в залу, он сообщил:

— Верзила прибыл!

— Верзила! — воскликнул староста. — А где

---

[136] Notes: 136

Мой отец, доктор Жан-Жозеф Сю, придерживался противоположного мнения; в опубликованных им содержательных наблюдениях он доказывает, что мозг после отсечения головы продолжает в течение некоторого времени функционировать. Эта вероятность заставляет содрогаться от ужаса.

Жермен? Еще не возвратился?

— Нет еще.

— Пора прийти! Я б вручил ему чек на гроб, — пригрозил староста.

Глава VII.
СГОВОР

Приход Верзилы, показания которого могли стать роковыми для Жермена, вызвал шумное оживление среди арестантов. Это был человек среднего роста и, несмотря на свое увечье и тучность, казался ловким и сильным... В лице его было что-то звериное: оно напоминало морду бульдога; вдавленный лоб, маленькие хищные глаза, отвисшие щеки, могучие челюсти. Нижняя челюсть с длинными зубами или, вернее, щербатыми клыками, выступала вперед, что еще более усиливало его поразительное сходство с этим животным. На нем была шапка из выдры и синее пальто с меховым воротником.

Верзила пришел в тюрьму в сопровождении молодого человека лет тридцати, со смуглым, загорелым лицом, которое не было таким жутким, как у других узников, хотя он старался казаться столь же решительным, как и его приятель. Порой он становился мрачным и на губах его появлялась горькая улыбка.

Верзила, можно сказать, очутился в кругу зна-

комых; он едва успевал отвечать на приветствия и радушные слова, которыми его осыпали со всех сторон.

— Наконец-то прибыл наш толстый весельчак... Вот хорошо, теперь порезвимся вдоволь.

— Нам тебя недоставало.

— Где ты там замешкался?

— Нет, я сварганил все, чтоб нагрянуть к дружкам... Не виноват, легавые не накрыли раньше.

— Верно, старина, сам себя не посадишь, но раз уж попал сюда... Время тянется, давай-ка побалагурим.

— Тебе повезло, у нас Острослов.

— И он здесь? Старый друг по Мелену! Здорово! Здорово! Он поможет нам скоротать время своими побасенками, а слушатели найдутся, сейчас прибудут новобранцы.

— Кто же?

— Только что в канцелярию... когда меня отправляли сюда, привели двух молодцов... Одного я не знаю... но другой, в синей шапочке и серой куртке, вроде бы знакомый, где-то я видел эту башку... Кажется, у Людоедки из «Белого кролика»... Здоровяк такой...

— Слушай, Верзила, ты помнишь, в Мелене я спорил с тобой, что и года не пройдет, как тебя

опять сгребут?

— Верно, ты выиграл, понимаешь, у меня было больше шансов стать вором, чем получить награду за добродетель. А ты... на чем погорел?

— Сбондил по-американски.

— Понятно, тот же способ?

— Да, все тот же. Иду по своей дорожке. Простая... Если бы мой напарник не был болваном, я не попал бы сюда... Ну да ладно, урок мне на пользу пойдет. Когда опять примусь за дело, буду осторожнее... Я задумал одно дельце...

— Смотри, вот и Кардильяк! — воскликнул Верзила при виде маленького человека, нищенски одетого, с гнусной физиономией, хитрой и злобной, похожего и на лису и на волка.

— Здорово, старина!

— Ах ты, черепаха! — весело ответил заключенный по имени Кардильяк. — Каждый день только и говорили: он придет, он не придет... А этот господин, словно милая бабенка, заставлял себя ждать...

— Ну конечно, конечно!

— Ну а за что ты попался, за что-нибудь стоящее?

— По правде сказать, за кражу со взломом. Прежде удавалось, а на этот раз не удалось... Дело

богатое... Кстати, надо будет им еще заняться... Но я и Франк погорели.

Верзила указал всем на своего сообщника.

— Да это Франк! — сказал Кардильяк. — А я и не узнал его, у него борода... Это ты? А я думал, что тебя избрали мэром поселка, ведь ты мечтал стать честным человеком.

— Я сдурил и был наказан, — вдруг. заговорил Франк. — Каждому греху — прощение... Полезно один раз... а теперь буду на каторге, пока не подохну. Берегитесь меня, когда выйду!

— В добрый час, хорошо сказано.

— Но что все-таки с тобой произошло, Франк?

— А то, что происходит с любым из нас, дураковатым, кто, выйдя на свободу, пожелал стать честным... Судьба ведь справедлива!.. Когда я вышел из Мелена, у меня было более девятисот франков...

— Это правда, — подтвердил Верзила, — все его несчастья потому, что он, выйдя из тюрьмы, хранил денежки, вместо того чтобы их прокутить. Теперь вы увидите, к чему ведет раскаяние... Окупает ли оно хоть расходы?

— Меня отправили под надзором в Этан, — продолжал. Франк, — я слесарь и работал у хозяина слесарной. Я сказал ему: «Меня освободили из

тюрьмы, знаю, что нашего брата не хотят нанимать, но вот вам девятьсот франков под залог, дайте мне какую-нибудь работу, хочу стать честным человеком».

— Черт побери! Такое могло прийти в башку только Франку!

— Да, с башкой у него всегда было неладно.

— Нанялся слесарем!

— Вот шутник!

— Послушайте и вы узнаете, чего он достиг.

— Я предложил накопленные денежки хозяину мастерской в залог, чтоб он дал мне работу. «Я не ростовщик, чтобы брать деньги под проценты, и арестанта в свою мастерскую не пущу. Мне приходится ходить по домам и открывать замки; я пользуюсь доверием. Если узнают, что среди моих рабочих есть каторжник, потеряю заказчиков. За порог, дружок!»

— Не правда ли, Кардильяк, он получил по заслугам?

— Конечно...

— Глупый парень, — с покровительственным видом обратился Верзила к Франку, — надо было сразу с этим кончать, поехать в Париж, спустить все до последнего гроша и потом волей-неволей начать воровать! Ведь-тогда у тебя возникли бы

неплохие замыслы.

— До каких пор ты мне будешь талдычить одно и то же? — с раздражением заговорил Франк. — Конечно, было глупо с моей стороны беречь деньги, все равно я ими не воспользовался. Жить под надзором в Этане было нелегко, там было всего четыре слесаря. Первый меня выдал; когда я обратился к другому, то получил тот же ответ... благодарю покорно. Всюду одна и та же песня.

— Видите, — друзья, к чему это ведет? Что там говорить? Мы прокляты навек!

— Вот и остался на мостовой в Этане. Прожил месяц-другой, — продолжал Франк, — денежки уплыли, работы никакой, хоть и был под надзором, я покинул город.

— Дурень, ты должен был сразу же так поступить.

— Явился в Париж, занялся своим ремеслом. Мой хозяин не знал меня, я сказал ему, что приехал из провинции, где считался мастером. Оставшиеся семьсот франков вручил маклеру, который выдал мне вексель. По истечении срока он мне ничего не возвратил. Я вручил вексель судебному исполнителю, тот добился выплаты, и я оставил деньги у него на черный день. Вот тогда-то я и встретил Верзилу.

— Понимаете, это я ускорил черный день, как вы увидите. Франк работал слесарем, изготовлял ключи. Подвернулось дело, он мог бы мне пригодиться. Я предложил ему быть сподручным: у меня были оттиски замков, он должен был изготовить ключи, это его специальность. Парень отказался... он хотел стать честным... Я подумал: надо ему все-таки удружить. Написал одно письмо без подписи его хозяину, несколько писем разослал владельцам таких же мастерских. Сообщил им, что Франк выпущен на свободу из тюрьмы. Хозяин выгнал его, а другие не стали с ним разговаривать. Он нанялся еще в одну мастерскую, но провел там всего неделю, и

, оттуда его прогнали. Да меняй он хоть десять мест, все равно я не оставил бы его в покое.

— А ведь я тогда не знал, что это ты донес на меня, — заметил Франк, — не то бы я тебе показал.

— Да ведь я не такой дурак. Сказал тебе, что уезжаю в Лонжюмо навестить дядю, а сам остался в Париже. Мне было известно все, что ты делаешь, от малыша Ледрю.

— В общем меня хозяин выгнал с последнего места работы как бродягу, заслужившего петлю. Итак, трудитесь, ведите себя спокойно, и вас спросят не о том, что вы делаете, нет, спросят, чем

вы занимались раньше. Очутившись снова без заработка, я подумал: хорошо, что есть деньги, на них можно пожить. Направляюсь к судебному исполнителю, а тот сбежал, все пропало, и я остался без гроша, даже не смог заплатить за квартиру. Представляете, как я бесился!.. В то время Верзила якобы прибыл из Лонжюмо. Он воспользовался моим положением. Я не знал, что делать, хоть вешайся. Убедился, что, если вором был, вором и останешься. Черт возьми, а Верзила стал так меня донимать...

— Что наш славный Франк перестал сопротивляться, — продолжил Верзила. — Он смело подчинился судьбе, принял участие в деле, а дело представлялось богатое. К несчастью, в тот момент, когда мы уже готовы были раскрыть рот, чтобы проглотить кусок, нагрянули легавые и нас замели. Ну что поделаешь, несчастный случай. Без такого в нашем ремесле не обойтись. Чудес на свете не бывает.

— И все же... если бы тот мерзавец не обокрал меня, я бы не очутился здесь, — гневно возразил Франк.

— Довольно тебе, не такая уж беда, — сказал Верзила. — Разве ты был счастлив, когда работал как вол?

— Я был на свободе.

— Да, по воскресеньям, и то, когда не было срочной работы, а остальные дни сидел, как собака на цепи, и не знал, будет ли работа завтра. Слушай, ты не умеешь ценить своего счастья.

— Ты меня этому научишь, — с горечью возразил Франк.

— В конце концов, надо быть справедливым: ты можешь обижаться. Досадно, что не удалось сварганить это дело. Богатая добыча, но еще не поздно: буржуа поуспокоятся, надо вновь к ним нагрянуть через месяц или два. Богатый дом, очень богатый. Я этим не смогу заняться, предстоит тюрьма, а вот если найду любителя, я ему уступлю этот подряд по дешевке. Отпечатки замков находятся у моей бабы, надо только опять сварганить ключи. Я все расскажу этому парню, и дело пойдет как по маслу. Куш хороший! Десять тысяч франков! Может, это тебя утешит, Франк?

Напарник Верзилы покачал головой и молча скрестил руки на груди.

Кардильяк взял Верзилу под руку, увел его в угол двора и, помолчав, спросил:

— Можно еще заняться тем делом, которое тебе не удалось закончить?

— Да, и через два месяца оно будет как новень-

кое.

— Ты можешь это доказать?

— Не сомневайся!

— Сколько ты за него хочешь?

— Сто франков на кон, и я сообщу пароль. Предъявишь его моей бабе, она выдаст тебе оттиск, затем сделаешь ключи. В случае удачи выплатишь ей пятую долю.

— Пойдет!

— Раз я буду знать человека, которому она вручила оттиск, он не надует, а если и надует, так я донесу. Вору будет хуже.

— Ты прав... но воры — люди честные, мы можем положиться друг на друга, иначе нельзя браться за дело...

Вот еще уродство ужасных тюремных нравов.

Этот негодяй рассуждал справедливо.

Редко случается, чтобы вор не сдержал слово, данное при подобной сделке. Такие преступные сговоры между ворами заключаются честно. Впрочем, это слово как-то неудобно здесь употреблять. Скажем лучше, что жестокая необходимость обязывает бандитов точно соблюдать договоренность, в противном случае невозможно было бы совершать грабежи и кражи, как это справедливо признал сообщник Верзилы.

За наводку арестанты берут деньги, там же, в тюрьме, договариваются, как совершить грабеж, и в этом мы видим еще одно из пагубных последствий содержания заключенных в общих камерах.

— Если ты говоришь правду, — сказал Кардильяк, — я могу взяться за это дело: улик против меня нет, я убежден, что меня оправдают. Через две недели состоится суд, и дней через двадцать я на свободе. Какое-то время пойдет на то, чтоб осмотреться, смастерить ключи, собрать нужные сведения... а через месяц-полтора можно будет... заняться этим дельцем.

— Да, а за это время хозяева придут в себя... Ведь раз воры побывали в одном доме, все уверены, что во второй раз они не осмелятся прийти сюда; ты это знаешь.

— Знаю. Берусь за это дело. Договорились.

— А чем ты мне заплатишь?.. Давай задаток.

— Смотри, вот моя последняя пуговица; когда их больше не будет, появится еще что-то, — сказал Кардильяк, вырывая одну из обтянутых материей пуговиц, украшавших его старый синий сюртук. Затем он сорвал ногтями обшивку пуговицы, и Верзила увидел, что вместо деревяшки в ней была монета в сорок франков. — Видишь, я могу запла-

тить тебе задаток, когда мы поговорим о деле.

— Тогда по рукам, старина, — сказал Верзила. — Раз ты скоро выходишь и у тебя есть средства для оплаты моего подряда, могу тебе предложить еще одну сделку; но это уж просто конфетка — кража с наводкой. Уже два месяца, как мы с моей шмарой задумали это дельце... а теперь оно совсем созрело. Представь себе, стоит дом в безлюдном месте, окна первого этажа выходят с одной стороны на пустынную улицу, с другой — в сад; два старика ложатся спать рано, с курами. Когда было неспокойно, они, боясь, что их ограбят, спрятали банку с монетами за обшивку стены... Это моя баба обнаружила след, когда болтала со служанкой. Поверь мне, за этот куш ты заплатишь больше, здесь рыжики как на подносе, только бери.

— Будь спокоен, договоримся... Я вижу, ты славно поработал после Централки.

— Да, мне повезло... Я сбондил всякого добра тысячи на полторы. Ловко обработал мать и дочь, что живут в Пивоваренном проезде, где и я.

— У скупщика, дядюшки Мику?

— Точно.

— А как поживает твоя жена Жозефина?

— По-прежнему ловкая проныра. Вела хозяйство у этих стариков, о которых я тебе рассказал.

Это она пронюхала про банку с рыжиками.

— Молодец!

— Я горжусь ею... А кстати, насчет проныр, ты хорошо знал Сычиху?

— Да, Николя мне рассказывал, что Грамотей ее искалечил, а потом сам сошел с ума.

— Я думаю, это потому, что он потерял зрение. Несчастный случай. Ну вот что, Кардильяк: раз ты хочешь взять мой подряд, я никому другому поручать не стану.

— Никому. Обо всем условимся вечером.

— Ну ладно, а как вы здесь живете?

— Веселимся до смерти.

— А кто староста?

— Скелет.

— Вот кому палец в рот не клади. Я встречал его у Марсиаля на острове Черпальщика... Мы там кутили с Жозефиной и Толстушкой.

— Кстати, Николя здесь.

— Я хорошо его знаю, дядя Мику мне говорил о нем. Он жаловался, что Николя брал на бога старого бродягу, я тоже от него что-нибудь да сгребу... Скупщики... для этого созданы.

— А вот и Скелет, легок на помине, — сказал Кардильяк, показывая на своего приятеля, старосту, появившегося в дверях.

— Новобранец, на перекличку! — обратился Скелет к Хромому.

— Здесь, — заявил тот, входя в зал вместе с Франком, которого он взял под руку.

Во время разговора Верзилы, Франка и Кардильяка Крючок, по приказу Скелета, пошел позвать человек двенадцать — пятнадцать из числа наиболее верных арестантов. Они, чтобы не вызывать подозрения надзирателя, входили в зал не все сразу, а поодиночке.

Остальные заключенные гуляли во дворе, некоторые, по совету Крючка, шумно вели себя, чтобы отвлечь внимание надзирателя от того, что происходило в зале, где собрались Скелет, Крючок, Николя, Франк, Кардильяк, Верзила и еще человек пятнадцать: все они с нетерпением ждали, что скажет староста.

Крючок, которому было поручено следить за надзирателем, стоял подле двери. Скелет, вынув трубку изо рта, спросил Верзилу:

— Знаешь ли ты молодого голубоглазого брюнета, Жермена, вроде бы честного парня?

— Жермен здесь! — злобно воскликнул Верзила.

— Ты его знаешь?

— Знаю ли я его?.. — ответил Верзила. — Друзья,

он «наседка»... говорю я вам... надо его проучить...

— Да, да, — закричали арестанты.

— Ты убежден, что он наушничал? — спросил Франк. — Не ошибаешься? Погубить невинного человека...

Эти слова не понравились Скелету; наклонившись к Хромому, он шепнул:

— Кто это?

— Знакомый, я с ним работал.

— Ты в нем уверен?

— Да, но он трус, рохля.

— Ладно, буду за ним следить.

— Расскажи, кого Жермен продал, — спросил один из заключенных.

— Рассказывай, Верзила, — повторил Скелет, не спуская глаз с Франка.

— Хорошо, — сказал Верзила, — один житель Нанта по имени Велю, выйдя на волю, воспитывал бездомного мальчика. Когда мальчуган вырос, Велю устроил его в Нанте на службу в контору банкира, надеясь при помощи Жермена сварганить одно дело, задуманное им уже много лет тому назад, а именно: подлог документа и ограбление банкира тысяч на сто франков. Сделать это предполагалось в два приема... Все уже

было готово. Велю надеялся на юнца как на себя; этот шалопай спал там, где находилась касса. Велю объяснил ему свой план. Жермен промолчал, потом сообщил все хозяину и в тот же вечер удрал в Париж.

Арестанты возмущенно зашептались, послышались угрозы в адрес Жермена:

— Это доносчик... Надо его покалечить...

— Я его задену... и затем прикончу...

— Надо раскроить ему рожу, чтоб потом его отправили в госпиталь.

— Молчать! — грозно закричал Скелет. Арестанты умолкли.

— Говори, — сказал староста Верзиле, продолжая курить.

— У Велю было два дружка. Они думали, что Жермен согласен участвовать в деле и поможет им. В ту же ночь они совершили нападение; но Жермен предупредил банкира, и тот зорко охранял дом. Один из приятелей Велю был пойман, когда он лез в окно, но сам Велю убежал... Он был разгневан предательством Жермена и тем, что не удалось схватить куш, и приехал в Париж. Вдруг, средь бела дня, встречает там юношу. Днем Велю боится что-либо предпринять, но он замечает, где Жермен живет, и ночью мы втроем окружили

Жермена... К несчастью, он от нас ускользнул... и удрал с улицы Тампль, где жил раньше; с тех пор мы не могли его найти, но раз он здесь... я требую...

— Не твое дело требовать, — властно заявил Скелет. Верзила замолчал.

— Этим займусь я, ты уступишь мне шкуру доносчика, я расправлюсь с ним, не зря меня зовут Скелетом. Я — живой труп... мне ведь приготовлена могила в Кламаре; ничем не рискуя, поработаю для наших ребят. Шпионы губят нас больше, чем легавые. Их переводят от нас в Рокетт, а из Рокетт отправляют в Консьержери. Они чувствуют себя в безопасности. Но не выйдет. Когда в каждой тюрьме убьют своего шпиона, не важно, где он предавал, другим будет неповадно... Я покажу пример... Так поступят и другие.

Арестанты, восхищавшиеся смелостью Скелета, столпились вокруг него. Даже Крючок, вместо того чтобы оставаться у двери, присоединился к ним и не заметил, как новичок вошел в зал.

На нем была серая куртка и надвинутый на лоб синий колпак, вышитый красной шерстью. Он вздрогнул, услышав имя Жермена, затем присоединился к толпе, окружавшей Скелета, всячески одобряя жестами и возгласами решение

старосты.

— Лихой молодец, Скелет, — сказал один из арестантов, — ну и башка у него!

— Он и самого дьявола не побоится!

— Настоящий мужчина!

— Если бы все арестанты были такими же молодцами... именно тогда мы стали бы судьями и казнили бы честных людей.

— Это было бы справедливо... Всякому свой черед...

— Да... но мы никак не договоримся.

— Все равно... он помогает всем ворам. Зная, что их ждет, доносчики перестанут наушничать.

— Ясное дело.

— Скелету ничего не стоит убить предателя, раз он уверен, что его дни сочтены.

— По-моему, жестоко убивать юношу, — возразил Франк.

— Как, почему, — гневно завопил Скелет, — разве мы не имеем права завалить предателя?

Поразмыслив, Франк сказал:

— Да, он и в самом деле наседка, так ему и надо.

Эти последние слова и показания Верзилы рассеяли сомнение, которое Франк вызвал у присутствующих.

Один лишь Скелет сомневался в том, удастся ли ему выполнить свое намерение.

— А что делать с надзирателем, Живой Труп? Так будем называть тебя, — усмехаясь, спросил Николя Скелета.

— Русселя задержат в другом месте.

— Нет, его уведут в сторону.

— Да...

— Нет.

— Молчать! — крикнул Скелет. Наступила полная тишина.

— Слушайте меня, — хриплым голосом заговорил староста. — Пока тюремщик будет в зале, нельзя его прикончить. У меня нет ножа, а если я стану душить, Жермен начнет кричать, будет отбиваться.

— Как же быть?

— А вот как: Острослов обещал рассказать сегодня историю про Сухарика. Начнется дождь, мы соберемся здесь, доносчик усядется в углу, на свое обычное место. Мы заплатим Гоберу несколько су, чтоб он стал рассказывать... Наступит обеденное время... Надзиратель, видя, что мы сидим спокойно и слушаем сказку о Сухарике, не побоится оставить нас одних, пойдет обедать. Как только он уйдет, у нас будет время, и когда надзи-

ратель вернется, доносчик уже отдаст богу душу... Я все беру на себя, справлялся не с такими... мне помогать не надо...

— Послушайте, — воскликнул Кардильяк, — в это время к нам всегда приходит судебный исполнитель. Если он войдет в зал послушать Гобера и увидит, что здесь душат Жермена, он завопит... Чиновник этот — дрянь, он сидит в отдельной камере, его надо остерегаться.

— Верно, — сказал Скелет.

— Судебный исполнитель? — воскликнул Франк. — Пристав, — с удивлением продолжал он, — а как его фамилия?

— Буляр.

— Я его знаю! — воскликнул Франк, сжав кулаки. — Это он ограбил меня.

— Судебный исполнитель? — спросил староста.

— Да, это он получил для меня семьсот франков и сгреб их.

— Ты его знаешь?.. Он тебя видел? — спросил Скелет.

— Конечно, знаю... К несчастью, я из-за него и попал в тюрьму.

Сообщение это Скелету было не по душе. Он подозрительно посмотрел на Франка, который

отвечал на вопросы своих друзей. Затем староста, наклонившись к Верзиле, тихо сказал:

— Этот тип передаст надзирателю о нашем сговоре.

— Нет, ручаюсь, не передаст, но он ничего не понимает, быть может, способен заступиться за Жермена. Лучше удалить его.

— Довольно, — сказал Скелет, а затем спросил Франка: — А ты не хочешь посчитаться с Буляром?

— Дайте мне волю, пусть только придет, я с ним поговорю.

— Он сейчас явится, подготовься.

— Я готов, за мной дело не станет, он свое получит.

— Станут драться, пристава отправят в камеру, а Франка — в карцер, — шепнул староста Верзиле, — и нас избавят от обоих.

— Какой ты мудрец, Скелет! Голова! — с восхищением произнес бандит.

Затем он громко спросил:

— Острослову сказали, что он должен отвлечь надзирателя и что мы прикончим доносчика?

— Нет. Он труслив и добродушен, если б узнал, то не стал бы рассказывать. А когда все произойдет, он поневоле смолчит.

Прозвучал звонок к обеду.

— Эй, воры, жрать! — объявил Скелет. — Сейчас придут Острослов и Жермен. Слушайте все: я Живой Труп, но и доносчик — тоже Живой Труп.

Глава VIII.
РАССКАЗЧИК

Новый арестант, о котором мы говорили, тот, что носил синий колпак и серую блузу, внимательно слушал и энергично одобрял заговор, угрожавший жизни Жермена.

Человек этот, атлетического сложения, вышел незамеченным из теплого зала с другими узниками и присоединился к толпе заключенных, толпившихся во дворе вокруг раздатчиков пищи, разносивших вареное мясо в медных тазах и хлеб в огромных корзинах.

Каждый арестант получал кусок вареной говядины без костей, из которых наутро был сварен жирный суп, и краюху хлеба, на вкус лучше солдатского[137].

Заключенные, у которых были деньги, могли

---

[137] Notes: 137

Таков тюремный режим питания: на завтрак арестант получает миску супа, либо мясного, либо постного, разбавленного бульоном. На ужин порцию мяса (четверть фунта) без костей либо порцию овощей из фасоли и картофеля, каждый день разнообразные овощи. Бесспорно, заключенные в силу гуманности должны иметь здоровую и обильную пищу... К тому же заметим, что большинство самых трудолюбивых рабочих, наиболее устроенных, питаются мясным супом и мясом не более десяти раз в год.

купить в столовой вино и там, как говорится, опрокинуть стаканчик.

Те узники, что, как, например, Николя, получали различные продукты с воли, потчевали своих друзей. В этот день сын казненного преступника пригласил на трапезу Скелета, Крючка и, по совету старосты, Гобера, для того чтобы уговорить его рассказывать про Сухарика и Душегуба. Ветчина, крутые яйца, сыр и белый хлеб — дары подневольной щедрости скупщика Мику — были разложены на скамейке, и Скелет спокойно приготовился отдать им должное, ничуть не мучаясь мыслями об убийстве, которое он собирался хладнокровно совершить.

— Пойди посмотри, не идет ли Острослов, поторопи-ка его, — обратился он к Николя. — Прежде чем покончить с Жерменом, я выпью и закушу. Не забудь сказать Верзиле, что надо натравить Франка на судебного исполнителя, чтоб освободить Львиный Ров от обоих.

— Не волнуйся, но если Франк не проучит судебного исполнителя, то это не по нашей вине...

И Николя вышел из теплого зала.

В это время на дворе появился метр Буляр, он курил сигару; его руки прятались в длинном сюртуке серого сукна, а голова — в фуражке с

козырьком, надвинутой на уши. На его румяном и пухлом лице сияла улыбка. Он увидел Николя, который сразу же начал высматривать Франка. Франк и Верзила обедали на скамье и не замечали пристава: они сидели к нему спиной.

Неукоснительно выполняя указания Скелета, Николя, увидев, что метр Буляр подходит к нему, сделал вид, что не замечает его, подошел к Франку и Верзиле.

— Здравствуйте, любезный, — обратился Буляр к Николя.

— А, добрый день, сударь, я вас не заметил. Вы, как обычно, прогуливаетесь?

— Да, мой милый, и сегодня, совершая прогулку, я преследовал двойную цель. Все вам объясню, но сначала, пожалуйста, сигары... Не стесняйтесь. Между друзьями, черт побери, не следует церемониться.

— Благодарю вас. Какая же двойная цель?

— Я вам объясню. Сегодня утром у меня отсутствует аппетит... и я решил, что, обедая среди веселых молодцов, видя, как они поглощают еду, может быть, и я проголодаюсь.

— Неглупо придумано... Но вот что, если вы хотите видеть двух молодчиков, которые лихо пожирают все, что им дают, — сказал Николя,

подводя Буляра к скамье Франка, который сидел спиной к нему, — посмотрите на эти морды; сразу почувствуете голод, как будто вы только что съели банку корнишонов.

— А, черт возьми, надо посмотреть на это чудо, — произнес метр Буляр.

— Эй, Верзила! — крикнул Николя. Верзила и Франк разом оглянулись.

Буляр был поражен и невольно разинул рот, узнав человека, которого он ограбил.

Франк, швырнув хлеб и мясо на скамью, в мгновение ока подскочил к метру Буляру и, схватив его за шею, воскликнул:

— Отдай деньги!..

— Как… что? Вы меня задушите… я… Друг мой, послушайте меня…

— Деньги, говорю! Хотя теперь уже поздно, из-за тебя я попал сюда.

— Но… я… но…

— Если попаду на галеры, это ты будешь виноват, потому что, не укради ты у меня деньги, я не стал бы воровать, был бы честным человеком, каким желал стать всегда.

Тебя-то оправдают. Тебе-то ничего не будет, но от меня не уйдешь, ты меня запомнишь! Ведь у тебя бриллианты и золото, а ты грабишь бедня-

ков. Негодяй! Вот тебе в рыло, получай... Ну что, хватит? Нет... на вот!

— Помогите! Помогите!.. — завопил Буляр, повалившись у ног Франка, который яростно его избивал.

Другие арестанты, весьма равнодушные к потасовке, окружили дерущихся, вернее избиваемого, так как Буляр, испуганный, запыхавшийся, не оказывал никакого сопротивления, только стремился защитить себя от ударов, наносимых врагом.

К счастью, на крик пристава прибежал надзиратель и оттащил его от Франка.

Метр Буляр, бледный, потрясенный, с подбитым глазом, встал и ринулся к проходной. На полу осталась лежать его фуражка.

— Откройте, — обратился он к надзирателю, — не хочу больше здесь быть. Помогите мне...

— А ты, за избиение господина, за мной, к начальнику тюрьмы, и на два дня в карцер, — заявил надзиратель, схватив Франка за шиворот.

— Плевать я хотел, зато он получил свое, — ответил Франк.

— Слушай, — тихо произнес Верзила, делая вид, что приводит в порядок одежду Франка, — ни слова о шпионе.

— Ладно, но если б остался здесь, то заступился бы за него, ведь убивать за такую вину человека... жестоко, но выдавать вас не стану!

— Не задерживайся! — сказал надзиратель.

— Ну вот, порядок: избавились от того и от другого... теперь возьмемся за Жермена, — заметил Николя.

В то время как Франка уводили со двора, появились Жер-мен и Гобер.

Жермена нельзя было узнать: лицо его, прежде печальное и унылое, сияло искренней радостью. С гордо поднятой головой он смотрел на всех довольный, уверенный в себе. Он был любим... отныне тюрьма ему не страшна.

Гобер следовал за ним со смущенным видом; он хотел заговорить с ним и наконец, сделав над собой усилие, легонько коснулся Жермена, прежде чем тот приблизился к арестантам, наблюдавшим за ним со скрытой ненавистью.' Намеченная жертва не могла от них ускользнуть.

Жермен вздрогнул, когда Гобер дотронулся до него, так как бывший фокусник, одетый в лохмотья, не внушал ему доверия. Но, вспомнив наставления Хохотушки, чувствуя себя счастливым и желая проявить учтивость, Жермен остановился и тихо спросил у Гобера:

— Что вам угодно?

— Поблагодарить вас!

— За что?

— За то, что ваша милая знакомая хочет помочь моей сестре.

— Не понимаю вас, — удивленно сказал Жермен.

— Все объясню. Я только что встретил в канцелярии надзирателя, дежурившего в приемной во время свидания с арестантами.

— А, да... это славный человек...

— Обыкновенно такого не встретишь среди тюремных надзирателей, но наш добрый папаша Руссель не похож на них... он заслуживает, чтобы его так называли... Сейчас он шепнул мне на одно ухо: «Фортюне, дорогой, хорошо ли вы знаете Жермена?» — «Да, его все ненавидят», — ответил я.

Подумав немного, Гобер продолжал:

— Простите за то, что я так отозвался о вас, не обращайте внимания... дослушайте до конца. «Да, — сказал я, — я знаю господина Жермена, которого ненавидит весь тюремный двор». — «И вы также?» — со строгим видом спросил меня наш страж. «Да что вы, я слишком труслив и слишком добродушен, чтобы к кому-нибудь питать ненависть, а тем более к Жермену, который

не кажется мне злым. Относятся к нему несправедливо». — «Ну, ладно, Гобер? Вы — молодец, охраняйте Жермена, ведь он оказал вам услугу». — «Каким образом?» — спросил я. А дядюшка Руссель в ответ: «Не вам, но все равно вы должны быть ему благодарны».

— Послушайте, я ничего не понимаю, — улыбаясь, сказал Жермен, — объясните, в чем дело.

— Вот и я также спросил Русселя, мол, объясните, ничего не понимаю. Тогда он мне разъяснил, что не Жермен, а его славная посетительница была так добра к моей сестре. Оказывается, ваша барышня слышала, как моя сестра во время свидания жаловалась мне на свою судьбу, и, когда бедная женщина выходила из приемной, эта милая незнакомка предложила ей посильную помощь.

— Добрая Хохотушка! — с нежностью произнес Жермен. — Она мне об этом не сказала ни слова!

— «Значит, я просто осел, — ответил я Русселю. — Вы правы: Жермен был добр ко мне, ведь его знакомая все равно что он, а моя сестра Жанна все равно что я, и даже больше, чем я».

— Бедняжка Хохотушка! — продолжал Жермен. — Это меня не удивляет, ведь у нее такое великодушное, сострадательное сердце!

— А потом Руссель мне сообщил, что он, не подавая вида, слышал разговор вашей барышни с моей сестрой и предупредил меня: мол, если не поможете Жермену, узнав, что против него заговор, то будете законченным подлецом, Гобер... Я же ответил ему, что в моей душе нет подлости и что раз подружка Жермена обещала поддержать мою сестру, честную и славную женщину... я сделаю все, что смогу, для Жермена... «Как можете, так и помогите, — ответил мне дядюшка Руссель. — Кстати, можете сообщить ему новость...»

— Что именно? — спросил Жермен.

— Завтра освобождается отдельная камера. Руссель просил меня предупредить вас об этом.

— Неужели это правда? О, какое счастье! — воскликнул Жермен. — Этот славный человек прав: вы сообщили мне хорошую новость.

— Честно говоря, я тоже так думаю. Убежден, что ваше место не с такими людьми, как мы, господин Жермен.

Затем Фортюне Гобер, стараясь, чтобы никто не заметил, шепнул Жермену:

— Видите, как они смотрят на нас: недовольны, что я с вами. Я уйду, будьте осторожны. Если к вам станут придираться, не отвечайте. Они будут искать повод, чтобы поссориться с вами, а затем

избить вас. Начнет Крючок. Остерегайтесь его. Я постараюсь успокоить их...

Гобер, сделав вид, будто он нашел что-то на полу, нагнулся, затем привстал и удалился.

— Благодарю вас, добрый вы человек. Я буду осторожен, — сказал Жермен.

Гобер знал лишь о том, что Жермена хотят избить, чтобы его перевели в другую камеру, но он ничего не знал об убийстве, которое замышлял Скелет. Ему не было известно и то, что арестанты рассчитывают воспользоваться его рассказом, чтобы отвлечь внимание надзирателя.

— Эй, лодырь, все болтаешь, — обратился Николя к Гоберу. — Оставь свою баланду, у нас тут пир, усаживайся.

— А где? В «Корзине цветов»? В ресторане «Ванька-Встанька»?

— Шут!.. Нет, в нашем зале. Стол накрыт... пир горой! У нас свинина, яйца, сыр... Я плачу.

— Меня устраивает, жаль только, что сестра будет внакладе, ее дети не часто видят мясо, разве что выпросят у мясника.

— Ладно, торопись, Скелет голоден. Он и Крючок сожрут все сами.

Николя и Гобер вошли в зал. Скелет, сидя верхом на скамье, где была разложена еда, ругался и

проклинал всех, ожидая радушного хозяина.

— Наконец-то, улита, где пропадал, что делал? — спросил бандит.

— Да он стоял с Жерменом, — ответил Николя, нарезая окорок.

— Разговаривал с Жерменом? — спросил Скелет, внимательно глядя на Гобера и не переставая пожирать еду.

— Да! — произнес Гобер. — Парень этот пороха не выдумает, даже крутых яиц, глупый он, этот Жермен! Я слышал, будто он шпионил в тюрьме. Так он ведь болван!

— Ты думаешь? — возразил Скелет, обращаясь к Николя и Крючку.

— Просто убежден, как и в том, что это окорок! Какого черта вы придумали, что он занимается слежкой? Он вечно один, ни с кем не разговаривает, и к нему никто не обращается, он бежит от нас как от чумы. Так что он может о нас сообщить? Впрочем, скоро он перейдет в одиночную камеру.

— Когда? — вскричал Скелет.

— Завтра он займет свободную камеру.

— Тебе понятно, надо спешить, завалить барана сегодня! Не то опоздаем, он будет спать в другой камере. Сегодня до четырех, а сейчас уже три

часа, — шепнул Скелет Николя, в то время как Гобер судачил с Крючком.

— Да, — воскликнул Николя, делая вид, что отвечает Скелету, — Жермен презирает нас.

— Наоборот, — возразил Гобер, — вы смущаете юношу, он чувствует себя перед вами как ничтожная тварь. Знаете, в чем он мне признался?

— Нет! В чем?.

— Он мне сказал: «Какой счастливый вы, Гобер, что смеете разговаривать со знаменитым (знаменитым — так и сказал) Скелетом на равных. Я очень хочу поговорить с ним, но мне он кажется таким почтенным, что, встреть я самого префекта полиции при всех его регалиях, я не почувствовал бы себя таким ничтожеством».

— Он тебе так и сказал? — возразил Скелет, делая вид, что верит этим словам и что он растроган тем, какое впечатление производит он на Жермена.

— Да, так и сказал! Это так же верно, как то, что ты — величайший бандит на свете!

— Тогда дело другое, — ответил Скелет. — Я с ним помирюсь. Крючок хотел затеять драку. Теперь он не станет к нему приставать.

— Это справедливо, — воскликнул Гобер, убежденный в том, что отвел нависшую над Жерменом

опасность. — Он славный малый, не станет ссориться с вами. Он ведь вроде меня — смел, как заяц.

— А все ж досадно, — заговорил Скелет, — мы хотели схлестнуться после обеда. Скучно будет коротать время.

— А верно, что мы будем делать после обеда? — сказал Николя.

— Если так, пусть Фортюне займет нас, расскажет какую-нибудь историю, и я не стану приставать к Жермену, — заявил Крючок.

— Ладно, согласен! — ответил Гобер. — Только с одним условием, иначе не буду рассказывать.

— Какое еще условие?

— Почтенная компания, среди которой много богачей, соберет в мою пользу двадцать су, — заговорил Гобер своим всегдашним тоном зазывалы. — Да, да, господа! Двадцать су! За то, чтобы услышать знаменитого Острослова, выступавшего среди самых знатных грабителей, самых известных бандитов Франции и Наварры, которого постоянно ждут в Бресте и Тулоне, куда он должен отправиться по приказу правительства. Двадцать су! Это — даром, господа!

— Ладно, потом отдадим тебе двадцать су.

— Потом? Нет, деньги вперед, — воскликнул

Гобер.

— Послушай! Неужели ты думаешь, что мы тебя обманем, не заплатив двадцать су? — с возмущением спросил Скелет.

— Совсем нет! Я всецело доверяю нашей братии. Это для того, чтобы поберечь ваши денежки, я требую двадцать су вперед.

— Честное слово?

— Да, господа, моей повестью вы будете так довольны, что не двадцать су, а двадцать франков, сто франков заплатите мне! Я спорить не буду и соглашусь их принять. Видите, сэкономите, если заранее дадите двадцать су!

— Ну и хвастун же!

— Я работаю только языком, нужно, чтоб он мне помогал. К тому же моя сестра и ее дети терпят нужду, а двадцать су для них кое-что значат.

— Почему твоя сестра не займется нашим делом и ребята тоже, если они уже большие? — возразил Николя.

— Не говорите мне об этом, она меня огорчает, позорит... ведь я слишком великодушен.

— Скажи лучше — слишком глупый, если помогаешь ей.

— Правда, я помогаю ей быть честной, а в ваших глазах это порок. Впрочем, она ни на что

больше не способна, жаль ее, что и говорить! Ну ладно, решено — я вам расскажу свою знаменитую историю «Сухарик и Душегуб», мне заплатят двадцать су, и Крючок не будет затевать драку с этим идиотом Жерменом, — заявил Гобер.

— Тебе соберут двадцать су, и Крючок не будет задевать этого идиота Жермена, — согласился Скелет.

— Итак, внимание, вы услышите нечто необыкновенное. Смотрите, идет дождь, и публика прибывает, дождь гонит ее сюда, зазывать никого не нужно.

И действительно, пошел дождь, арестанты сопровождаемые надзирателем, уходили с прогулочного двора, чтобы укрыться в теплом зале.

Мы уже говорили, что это был просторный зал, вымощенный плитами, с тремя окнами, выходившими на двор. Посреди зала стояла печь, подле которой уселись Скелет, Крючок, Николя и Гобер. По знаку старосты к ним присоединился и Верзила.

Жермен вошел одним из последних, увлеченный сладостной мечтой. Он направился к последнему окну зала и уселся на подоконник, занял свое обычное место. Никто на это место не претендовал, так как оно находилось вдалеке от

печи, вокруг которой собрались арестанты.

Мы уже говорили о том, что лишь человек пятнадцать считали Жермена провокатором и знали, что его сегодня должны убить.

Но вскоре все преступники услышали эту новость, и все они одобряли готовящуюся расправу. Негодяи в своей слепой жестокости считали это убийство законным возмездием и надежной гарантией против предателей.

Только Жермен, Гобер и надзиратель не знали, что должно произойти.

Всеобщее внимание привлекли к себе палач, его жертва и рассказчик; последний невольно лишил Жермена единственной защиты, которой он мог ожидать, так как почти наверняка надзиратель, видя, что все слушают рассказ Гобера, воспользуется этим временем, чтобы пойти пообедать.

И действительно, когда все заключенные собрались, Скелет обратился к надзирателю:

— Послушайте, старина, Острослов задумал отличное дело, он расскажет нам историю о Сухарике и Душегубе. Погода такая скверная, что во дворе нельзя оставить даже охранника, да он и не нужен, мы здесь спокойно будем слушать, а потом разойдемся по камерам.

— Хорошо, согласен. Когда он балагурит, вы ведете себя тихо... По крайней мере, мне незачем стоять у вас над душой.

— Ладно, — произнес Скелет, — но Острослов дорого запросил за рассказ... хочет двадцать су.

— Да двадцать су — это просто даром, — воскликнул Острослов. — Да, господа, совсем даром. Неужели, чтобы сберечь грош, вы лишите себя удовольствия послушать о приключениях бедного Сухарика, грозного Душегуба и негодяя Гаргуса... От рассказа сердце разрывается, волосы становятся дыбом. Итак, господа, неужели у вас не найдется четырех грошей иль попросту пяти сантимов, чтобы у вас разорвалось сердце и волосы стали бы дыбом?

— Кладу два су. Эй вы, неужели наша банда не пожелает развлечься? — спросил Скелет, многозначительно посмотрев на своих сообщников.

К великой радости Гобера, который собирал деньги для своей сестры, со всех сторон посыпались монеты.

— Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать! — объявил он. — Ну, господа капиталисты и банкиры, поднатужьтесь, не можете же вы остановиться на несчастном числе тринадцать? Нужно еще всего семь су, ничтож-

ная сумма — семь су! Как же, господа, все будут говорить, что шайка Львиного Рва не смогла собрать еще семь су, да, несчастных семь су! Ах, господа, люди подумают, что вы попали сюда случайно или что вы жмоты.

Резкий голос рассказчика и его шутки вывели Жермена из задумчивости и, вспомнив совет Хохотушки — быть более общительным, а также желая подать милостыню бедняку, который хотел оказать ему помощь, он встал и бросил к ногам рассказчика монету в десять су.

— Десять су, господа! Я говорил о капиталистах... почет и уважение господину: он ведет себя как банкир, как посол, для того чтобы вы были довольны. Да, господа, большую часть моего рассказа о Сухарике и Душегубе заслужил он, вы у него в долгу, и вы отблагодарите его! А три су сверх установленной платы станут моим вознаграждением за то, что я буду подражать героям, а не просто говорить, как говорю с вами. Этим вы обязаны богатому господину, которого вы должны обожать.

— Слушай, перестань ехидничать, приступай к делу! — заявил Скелет.

— Внимание, господа, — сказал Гобер, — нужно проявить справедливость к богачу, который дал

мне десять су; он, вслед за старостой, должен занять лучшее место.

Это предложение устраивало Скелета, он заорал:

— Верно, я, а затем он должны занять лучшие места. И Скелет с ухмылкой подмигнул своим сообщникам.

— Да, да, пусть он пересядет, — заорали они.

— Пусть займет место на первой скамейке.

— Видите, молодой человек... ваша щедрость вознаграждена, достопочтенное общество предлагает вам занять место в первом ряду, — сказал Гобер Жермену.

Полагая, что своей щедростью он и в самом деле добился благосклонности озлобленных арестантов, довольный тем, что исполняет указание Хохотушки, Жермен отнюдь не без сожаления оставил излюбленное место и приблизился к рассказчику.

Этот последний, вместе с Николя и Крючком, установив вокруг печи четыре или пять скамеек, стоявших в темном зале, высокопарно заговорил:

— Вот первые ложи! Особая почесть каждому сеньору, но прежде всего капиталисту. Теперь те, кто заплатил, сядут на скамейки, — весело доба-

вил рассказчик, убежденный в том, что Жермену сейчас благодаря его заботам ничего не угрожает. — А безбилетники пусть устраиваются на полу либо будут слушать стоя...

Итак, воспроизведем обстановку сцены.

Острослов находился возле печи и собирался рассказывать. Подле него расположился Скелет, пристально взирая на Жермена, и готовился схватить его, как только надзиратель уйдет из зала.

Невдалеке от Жермена, Николя, Крючка, Кардильяка и еще одной группы арестантов можно было заметить человека в серой блузе и синем колпаке, занимавшего место на последней скамье.

Большинство заключенных сидели на полу, некоторые стояли у стен, как бы представляя задний ряд, освещенный боковыми окнами, яркий свет от которых перемежался мрачной тенью, выделяя, словно на полотнах Рембрандта, столь непохожие друг на друга грубые черты их лиц.

Заметим к тому же, что надзиратель, который, не подозревая, что должен был своим уходом подать сигнал к убийству Жермена, уже находился у выхода.

— Ну что, начинать? — спросил Гобер Скелета.

— Эй, соблюдайте тишину! — заявил староста, а

затем, обращаясь к рассказчику, сказал: — Теперь начинай, тебя слушают.

Наступила глубокая тишина.

Глава IX.
СУХАРИК И ДУШЕГУБ

... Нет ничего нежнее, спасительнее, драгоценнее,
чем ваши слова; они чаруют, облагораживают...
(Вольфганг, 1, IV)

Прежде чем Гобер начнет свой рассказ, поведаем читателю, что в силу разительного контраста большинство арестантов, несмотря на их цинизм, любят трогательные истории — нам не хотелось бы называть их наивными, в которых, по законам неумолимого рока, униженный герой после бесчисленных приключений мстит тирану.

Мы далеки от мысли сопоставлять порочные натуры с людьми бедными, но достойными, и все же разве вы не знаете, как бурно приветствует публика в театрах на Больших Бульварах освобождение жертвы и какие грозные окрики адресует она злодеям и предателям?

Обычно с иронией относятся к проявлению народных симпатий к добрым, слабым, преследуемым и к неприязни по отношению к сильным,

несправедливым, жестоким.

Нам это представляется некоторым заблуждением.

Именно эти вкусы публики вызывают в нас отрадное чувство.

Бесспорно, что эти здоровые инстинкты могли бы послужить прочным моральным фундаментом для тех несчастных, которые в силу их невежества и бедности подвержены стихиям зла.

Мы всецело возлагаем надежду на неизменно здоровый инстинкт народа, публики, которая, несмотря на поклонение искусству, никогда бы не позволила, чтоб развязка драмы завершалась торжеством подлеца и казнью праведника.

Это обстоятельство многие презирают, подвергают насмешкам, нам же оно кажется весьма существенным, так как выявляет склонности, которые можно обнаружить у самых порочных натур, когда они, так сказать, находятся в покое, никто не подстрекает их и ничто не принуждает совершать какое-либо злодеяние.

Словом, раз люди, погрязшие в пороке, увлечены рассказом о возвышенных чувствах, то не должны ли мы верить, что всем им более или менее свойственна любовь к красоте, добру,

справедливости, но нищета, отупение душат эти божественные инстинкты, являются главной причиной падения нравов.

Не очевидно ли, что злыми люди становятся только потому, что они несчастны; избавьте человека от ужасных пут нищеты, улучшите условия его существования, и люди смогут вести праведный образ жизни.

Мы надеемся, что впечатление, которое произведет рассказ Гобера, позволит нам подтвердить некоторые наши мысли.

Все замолкли, и Гобер начал свою историю:

— Все это происходило много лет тому назад. Тогда еще в Париже был квартал, называемый Маленькая Польша. Известно ли вам, что это такое?

— Известно, — откликнулся заключенный в синем колпаке и серой куртке, — это были хибары, расположенные между улицами Роше и Пепиньер.

— Правильно, дружок, — сказал Гобер. — И хотя в квартале Сите отнюдь не дворцы, он по сравнению с Маленькой Польшей казался все равно что улицы Мира или Риволи; настоящие трущобы, впрочем, для грабителей место удобное, улиц не было, одни переулки, вместо домов — лачуги; мо-

стовых тоже не было, сплошная каша из грязи и навоза, и если бы экипажи там проезжали, то они не производили бы шума, но экипажей там не было. С утра и до вечера и в особенности с вечера до утра слышались вопли: «Караул, на помощь!», «Убивают!» Но полиция не обращала внимания. Чем больше было убитых в Маленькой Польше, тем меньше там оставалось преступников.

Народ кишмя кишел, правда, ювелиров и банкиров что-то не было видно, но зато там обитали клоуны, шуты, фигляры, дрессировщики. Среди них был один — страшный человек по прозвищу Душегуб, особенно жестоко он обращался с детьми. Имя свое он получил потому, что однажды разрубил пополам маленького шарманщика.

Когда Гобер начал рассказ, часы пробили четверть четвертого.

Обычно в четыре часа арестанты расходились по камерам; задуманное Скелетом преступление должно было произойти до этого времени.

— Э, проклятие, не уходит надзиратель, — шепнул староста Верзиле.

— Не беспокойся. Острослов разговорился, и дядюшка Руссель уйдет...

Гобер продолжал:

— Никто не знал, откуда взялся там Душегуб, одни говорили, что он итальянец, другие называли его цыганом, некоторые думали, что он турок или африканец; кумушки принимали его за волшебника, хотя в наше время волшебник кажется смешным, я готов присоединиться к мнению женщин. Считали так потому, что его всегда сопровождала рыжая обезьяна по кличке Гаргус, она была такая хитрая и злая, что поговаривали, будто в нее вселился бес. Мы еще познакомимся с этим зверем. Представляю вам Душегуба: лицо у него было темное, как сапог, волосы рыжие, как у обезьяны; глаза зеленые, язык черный, и вот поэтому многие верили, что он действительно волшебник.

— Черный язык? — переспросил Крючок.

— Черный, как чернила! — ответил Гобер.

— Почему?

— Потому, может, что, когда мать его носила в утробе, она говорила о негре, — сдержанно пояснил Гобер. — Внешнему облику Душегуба соответствовало и его ремесло; он содержал зверинец: черепахи, обезьяны, морские свинки, белые мыши, лисицы, сурки. Зверей водили напоказ савояры и другие бедные дети.

Утром Душегуб снаряжал мальчишек в дорогу,

каждый брал своего зверя и получал кусок хлеба... Они должны были просить милостыню, а их зверек исполнять при этом танец «Катрин». Тех из ребят, кто приносил менее пятнадцати су, он так избивал, что крики детей были слышны во всей округе.

Должен сказать, что в Маленькой Польше был один человек, его называли старостой, потому что он первым поселился в этом квартале и являлся мэром поселка, старшиной, мировым судьей или, скорее, военным судьей, разбиравшим все возникавшие ссоры; к нему во двор (он был владельцем винной лавки и трактира) приходили драться те, кто не мог понять друг друга и договориться. Будучи пожилым, староста тем не менее обладал силой Геркулеса, и все его боялись. В Маленькой Польше клялись только его именем; стоило ему сказать: «Это хорошо», и все повторяли: «Это очень хорошо», а скажет: «Скверно», и все твердят: «Скверно». В сущности, он был отличный малый, но суровый; когда, к примеру, сильный обижал слабого, тогда уж берегись!

Так как староста и Душегуб были соседи, то староста, слыша крики избиваемых детей, сказал Душегубу: «Если я еще раз услышу, что дети кричат, я заставлю горланить тебя, а так как глотка

у тебя здоровая, то буду колотить тебя до потери сознания».

— Староста — шутник, мне нравится староста, — сказал Синий Колпак.

— И мне тоже, — сказал дядюшка Руссель, подходя поближе к компании слушателей.

Скелет едва сдерживал свое гневное раздражение. Гобер продолжал:

— Благодаря старосте, пригрозившему Душегубу, в Маленькой Польше не стало слышно, как кричат дети по ночам; но бедные дети страдали не меньше, чем прежде, они теперь не кричали, когда хозяин бил их, так как боялись, что тогда он будет бить их еще сильнее. Пойти пожаловаться судье им и в голову не приходило. За то, что они приносили Душегубу пятнадцать су, он предоставлял им крышу, кормил их и одевал.

Кусок черного хлеба на ужин и на завтрак — вот и вся еда; никакой одежды он им не давал, а жили они вместе со зверями на чердаке, куда попасть можно было только по приставной лестнице через люк; спали на той же соломе, что и звери. Когда животные и дети забирались в это логово, Душегуб закрывал чердак на ключ и уносил лестницу.

Представьте себе, какой шум, какая возня начи-

налась впотьмах на этом чердачке, где ночевали обезьяны, морские свинки, лисицы, мыши, черепахи, сурки и дети. Душегуб спал в нижней комнате, а подле него сидела огромная обезьяна Гаргус, привязанная к ножке кровати. Когда на чердаке становилось слишком шумно, хозяин зверинца вставал в темноте, брал кнут, поднимался по лестнице, открывал люк и, ничего не видя, хлестал по первому попавшемуся.

В его распоряжении было пятнадцать ребят, и некоторые из этих простодушных детей приносили ему каждый день по двадцать су. После небольших затрат у него ежедневно оставалось по четыре франка или по сто су в день; на эти деньги он пьянствовал, потому что, заметьте, это был величайший пьянчуга на свете, он ежедневно напивался в стельку. Таков был его обычай, иначе, говорил он, у него весь день будет голова болеть. На свои доходы он покупал баранье сердце для Гаргуса, ведь большая обезьяна, словно хищник, пожирала сырое мясо.

Я вижу, что уважаемое общество ждет рассказа о Сухарике. Продолжаю...

— Послушаем, потом я пойду ужинать, — сказал надзиратель.

Скелет с желчной улыбкой переглянулся в

Верзилой.

— Среди детей, которым Душегуб поручил своих зверьков, находился бедный мальчик, прозванный Сухариком; у него не было ни отца, ни матери, ни сестры, ни брата, ни домашнего очага. Сухарик был совершенно одинок; он вовсе не желал появляться на свет, и, если бы и ушел оттуда, никто бы этого не заметил.

Сухариком его прозвали не случайно, подумайте сами: хилый, болезненный, на него больно было смотреть, ему давали семь-восемь лет вместо тринадцати, и не по чьей-то злой воле он так выглядел... а потому, что ел раз в два дня, да притом ел так мало, так мало да скверную пищу, что его едва можно было принять за семилетнего малыша.

— Бедный мальчуган, представляю его себе, — воскликнул Синий Колпак, — сколько таких детей... бродит по улицам Парижа... изнуренные голодом.

— Что ж, надо с детства привыкать переносить муки безотрадной жизни, — заметил опечаленный Гобер.

— Да брось балагурить, — резко оборвал Скелет, — надзирателю не терпится, ужин стынет!

— Ладно! Не важно, — возразил дядюшка Рус-

сель, — хочу послушать о Сухарике, очень уж интересно.

— Действительно интересно, — сказал Жермен, увлеченный рассказом.

— Благодарю за похвалу, добрый капиталист, — ответил Гобер, — она мне доставила больше радости, чем ваши десять су.

— Да будь ты проклят, — воскликнул Скелет, — долго будешь тянуть?

— Ладно, ладно, — отозвался Гобер и продолжал рассказ: — Однажды Душегуб нашел на улице Сухарика, полумертвого от голода и холода; лучше бы он не спасал его. Сухарик был слаб и боязлив, а это привело к тому, что мальчишки над ним насмехались, издевались; они его били и поступали с ним так жестоко, что будь он покрепче, то озлобился бы на всю жизнь.

Так ведь нет... Когда его били, он плакал, приговаривая: «Я никому не делаю зла, а все меня обижают... Это несправедливо... Как бы я хотел быть сильным и смелым». Вы думаете, что он угрожал: «Я отплачу всем, кто меня обижал»? Нет, он лишь говорил: «Если б я был сильным и смелым, я защищал бы слабых, ведь я сам слабый, а сильные обижают менял.

А так как он был тщедушен и не мог заступиться

за слабых, то всегда старался хотя бы не допускать, чтобы сильные звери пожирали хилых.

— Как это глупо, — произнес заключенный в синем колпаке.

— Самое смешное в том, что эта нелепость утешала Сухарика, когда его били... в сущности, сердце у него было доброе.

— Да конечно же, черт побери, не жестокое, — сказал надзиратель. — Все очень интересно.

Часы пробили половину четвертого. Палач Жермена и Верзила многозначительно переглянулись.

Время шло. Дядюшка Руссель не двигался с места, и арестанты, не такие лютые, как Скелет, казалось, позабыли о его зловещем намерении убить Жермена; они с жадностью слушали Гобера.

— Когда я говорю, что Сухарик не позволял сильным зверям пожирать слабых, — продолжал он, — вы, конечно, понимаете, что мальчик не совался к тиграм, львам, волкам и даже лисицам и обезьянам, которые жили в зверинце; он был слишком слаб; но как только он видел, к примеру, паука, притаившегося в паутине, чтобы поймать глупую муху, весело резвящуюся и никому не делавшую зла, Сухарик палкой разрывал паутину,

освобождал муху и давил паука, как настоящий Цезарь... Да, Цезарь, потому что он бледнел, как полотно, прикасаясь к мертвой твари; ему нужна была настоящая решимость, он ведь боялся даже майских жуков, а для того, чтобы привыкнуть к черепахе, которую каждое утро ему поручал хозяин, понадобилось много времени. Словом, Сухарик, преодолевая страх, внушаемый пауком, для того чтобы спасти мух, был...

— Был смел, отважен, как человек, который не боится волка и вырывает из его пасти барашка, — воскликнул арестант в синем колпаке.

— Либо как тот герой, который бы набросился на Душегуба и вырвал из его лап Сухарика, — произнес Крючок, захваченный этой историей.

— Верно, — продолжал Гобер. — Так что после такого подвига Сухарик уже не чувствовал себя столь несчастным, он, всегда печальный, вдруг начинал улыбаться, изображал смельчака, надевал шапку набекрень и с видом победителя напевал «Марсельезу». В такой момент никакой паук не осмелился бы и поглядеть на него.

Однажды в ручей свалился сверчок, он барахтался и тонул... Мальчик мгновенно выловил сверчка и положил на траву. Когда он смотрел, как сверчок шевелит лапками, а потом убегает,

вид у него был не менее гордый и счастливый, чем у пловца, спасшего своего десятого утопленника, с вознаграждением в пятьдесят франков за каждого. Однако за спасение сверчка Сухарик не получал ни денег, ни медалей, ни благодарностей, так же, как и за спасение мухи. Быть может, почтенное общество задаст мне такой вопрос: какого же черта Сухарик, которого все обижали, старался спасать сверчков и убивать пауков? Раз ему делали зло, то почему он не мстил за это по мере своих сил, например, позволял бы паукам пожирать мух, или не помогал бы тонущим сверчкам, или даже просто нарочно топил бы их... сверчков...

— Да, в самом деле, почему он не мстил таким образом? — спросил Николя.

— А какая была бы ему от этого польза? — сказал один из слушателей.

— Воздать за злом зло!

— Нет! Я считаю, что этот малыш, — заметил человек в синем колпаке, — спасая мух, быть может, думал: кто знает, вдруг и меня спасет кто-нибудь?

— Совершенно верно, — произнес Гобер. — Он как в воду смотрел, и я вам, уважаемые слушатели, сейчас об этом поведаю.

Хитрости у Сухарика не было ни на грош, он не видел дальше своего носа и часто говорил себе: «Душегуб — мой паук. Однажды, быть может, кто-нибудь сделает для меня то, что я делаю для бедных мушек, — разорвет эту паутину и освободит меня от его когтей...» Потому что до сих пор ни за что на свете он не решился бы сбежать от своего хозяина, он просто умер бы от страха. А все-таки, когда ему и его черепахе не повезло и вдвоем они собрали только три су и Душегуб страшно избил его, так, честное слово, мальчик не смог уже больше терпеть. Презираемый, гонимый всеми, он подкараулил момент, когда чердак был открыт, и, пока хозяин раздавал корм своим зверям, сполз вниз по лестнице...

— Вот так! — произнес кто-то.

— Но почему он не пожаловался старосте? — спросил Синий Колпак. — Тот рассчитался бы с Душегубом.

— Да, верно, но он не осмелился, был слишком робок и думал лишь о том, как бы спастись. К несчастью, Душегуб заметил его, схватил за шиворот и втащил на чердак. Сухарик с ужасом ожидал наказания, дрожал всем телом, потому что знал, что на этом его муки не кончатся.

Кстати, в связи с постигшей Сухарика бедой я

должен поведать об обезьяне Гаргусе, любимице хозяина; злобное животное ростом было выше Сухарика — представляете, какой это был рост. Теперь объясню вам, почему ее не показывали на улицах, как других зверей. Дело в том, что Гаргус был сильный и злобный зверь; из всех мальчиков лишь один овернец, здоровый и решительный парень, которому после многих схваток и драк с обезьяной удалось укротить Гаргуса, мог водить его на цепи, но все же очень часто они дрались между собой, и Гаргус иногда избивал своего вожака до крови.

Раздосадованный овернец однажды подумал: «Ну ладно, я отомщу тебе, мерзкая гадина!» В одно прекрасное утро, как обычно, он направился со зверем в город; купил для приманки бараньего сердца; в то время, когда обезьяна пожирала мясо, юнец прикрепил к концу цепочки веревку, обвил веревкой дерево, крепко завязал ее узлом и принялся палкой бить обезьяну, да так отдубасил, что у нее искры посыпались из глаз.

— А! Вот это здорово!

— Молодец овернец!

— Бей похлеще, паренек!

— Изматывай зверюгу Гаргуса, — вопили заключенные.

— И он колотил обезьяну изо всех сил. Надо было видеть, как обезьяна орала, скрежетала зубами, прыгала, рвалась в разные стороны, но парень знал свое дело: я тебе покажу... Вот тебе! К несчастью, обезьяны живучи, как кошки... Гаргус был столь же хитер, как и зол; видя, что дело плохо, обезьяна перестала биться и в самый разгар побоев развалилась под деревом, подергалась немного и притворилась мертвой, вытянувшись как бревно.

Овернец этого и добивался; решив, что обезьяна мертва, он убежал и больше уже не заявлялся к Душегубу. Подлый Гаргус, притаившись, наблюдал за юнцом; поняв, что никого нет и что овернца не видно, зверь перегрыз веревку, которая держала его на привязи. А бульвар Монсо, где он получил взбучку, находился невдалеке от Маленькой Польши. Гаргус знал дорогу и вскоре притащился к себе, едва волоча ноги. Хозяин пришел в ярость, увидев изуродованную обезьяну. Но этого мало; Гаргус воспылал такой ненавистью к мальчикам, что даже лютый Душегуб все же не решался больше поручать его кому-нибудь из ребят, опасаясь, как бы обезьяна не задушила или не загрызла мальчишку; да и все вожаки зверей, зная это, предпочли бы иметь дело с Душегубом,

нежели подойти поближе к Гаргусу.

— Ну, я должен идти обедать, — сказал надзиратель, направляясь к двери. — Острослов способен птицу с дерева сманить, чтоб она его слушала... Откуда он все это берет?

— Наконец-то смывается, — шепнул Скелет Верзиле. — Не могу сдержать себя, даже вспотел, всего трясет... вы только окружите осведомителя... остальное беру на себя...

— Слушайте рассказ, ведите себя прилично, — приказал Руссель, направляясь к дверям.

— Как послушные детки, — сказал Скелет, приближаясь к Жермену, в то время как Николя и Верзила по сговору направились туда же.

— Ах, дядюшка Руссель, — с укоризной проговорил Гобер, — вы уходите на самом интересном месте.

Скелет кинулся бы на Гобера, если б его не удержал Верзила.

— Неужели? На самом интересном? — спросил надзиратель, поверивший Острослову.

— Конечно, самое интересное впереди, — сказал сочинитель, — вы представить себе не можете, как много потеряете. Самое увлекательное только сейчас начнется.

— Не слушайте его, — сказал Скелет, едва сдер-

живая бешенство, — он сегодня разболтался, выдумал дурацкую историю...

— Моя история дурацкая? — уязвленный, отвечал самолюбивый Гобер. — Ах, так! Дядюшка Руссель... я прошу вас... останьтесь до конца... Подождите минут пятнадцать, ваш обед все равно остыл... Чем же вы рискуете? Я постараюсь рассказать покороче, чтобы вы смогли пойти поесть до нашего возвращения в камеры.

— Ладно, остаюсь, давай побыстрее, — сказал Руссель, занимая снова свое место.

— Умно делаете, что остаетесь, не бахвалясь говорю, ничего подобного никогда не услышите, конец истории вас потрясет; восторжествует Сухарик и обезьяна, к ним примкнут вожаки зверей и все жители Маленькой Польши. Это восхитительно, я не преувеличиваю.

— Хорошо, старина, но давай покороче, — сказал надзиратель, садясь к печке.

Скелет готов был всех задушить.

Теперь он сомневался, удастся ли ему совершить убийство.

Вот-вот наступит момент, когда арестанты пойдут спать, и Жермен будет спасен. Ведь он последний день находится в той камере, где сидел его лютый враг, как мы уже говорили, его

поместят в особую камеру.

Чувствуя общее волнение, вызванное трогательной историей, Скелет боялся, что арестанты перестанут равнодушно относиться к совершаемому убийству и не захотят быть его соучастниками.

Он мог бы помещать Гоберу продолжать рассказ, но исчезла бы последняя надежда, что Руссель уйдет до четырех, и тогда Жермен оказался бы вне опасности.

— Дурацкая моя история или нет, об этом уважаемое общество сможет само судить, — продолжал Острослов. — На свете не было зверя злее обезьяны Гаргус; она, как и ее хозяин, особенно ненавидела детей. Какое же Душегуб придумал наказание Сухарику за то, что он попытался бежать? Сейчас узнаете. Сперва он схватил мальчика и швырнул его на чердак, пригрозив; «Утром твои товарищи уйдут, ты попадешься мне в лапы и узнаешь, как я поступаю с теми, кто задумает бежать».

Вы представляете, какая это была страшная ночь для Сухарика. Он долго не смыкал глаз, все думал, что сделает с ним Душегуб; потом так и заснул. Ночью ему приснился кошмар. Вот послушайте... Ему казалось, что он превратился в одну

из тех бедных мух, которых он спасал когда-то от пауков, а теперь в свою очередь он сам попал в огромную, цепкую паутину, из которой, как ни старался, никак не мог вырваться; он увидел, как исподтишка подбирается к нему ужасное чудовище-паук с лицом его хозяина, с лицом Душегуба.

Мой бедный Сухарик снова попытался выпутаться из паутины, как ни бился, все больше запутывался в страшных сетях, как это бывает с бедными мухами. Но вот паук все ближе, ближе... вот он касается его... мальчик чувствует холодные, мохнатые лапы страшилища, которое притягивает его к себе, сжимает и хочет сожрать... Сухарику кажется, что он уже умер... но вдруг он слышит жужжание, ясное, пронзительное, и видит чудную золотую мушку, с тонким блестящим, как алмазная игла, жалом, яростно крутящуюся над пауком, и слышит голос (когда я говорю голос — вы представляете себе голос мухи), который обращается к нему: «Бедная, маленькая мушка... ты спасал многих мух, паук же...»

К несчастью, Сухарик внезапно проснулся и не видел, чем кончился сон; но все-таки он вначале почувствовал себя немного увереннее и подумал: «Быть может, золотая муха с бриллиантовым жалом убила паука? Если б я видел, чем кончился

сон!»

Но, как ни старался Сухарик утешить себя, обрести спокойствие, едва только рассвело, его с новой силой охватил страх, и он с испуга позабыл про сон; помнил только что-то страшное: огромная паутина, в которой он запутался, и паук в облике Душегуба. Вы представляете, как он дрожал? Еще бы! Судите сами, один, совсем один... и никто не хочет его защитить. Наступило утро, он увидел, как посветлело чердачное окошко, ужас его усилился, ведь уже совсем скоро он останется наедине с хозяином. Он стал на колени посреди чердака и, горько плача, умолял своих товарищей заступиться за него перед Душегубом или помочь ему бежать. Не тут-то было! Одни из страха, другие из равнодушия либо по злобе отказали бедному Сухарику помочь в беде.

— Вот мерзавцы! — воскликнул Синий Колпак. — У них каменные сердца!

— Верно, — заметил другой, — удивительно, что никто не хотел заступиться за несчастного малыша.

— Одинокого, беззащитного, — продолжал Синий Колпак, — ведь всегда жаль того, кто покорно подставляет башку палачу. Когда есть зубы, чтобы укусить, — это другое дело. Слушай, малыш,

где твои клыки? Оскаль их, малыш!

— Верно, — раздались голоса.

— Слушай! — с яростью обратился Скелет к Синему Колпаку. — Заткнешься ты наконец? Я приказал всем молчать! Я командую!

Вместо ответа Синий Колпак посмотрел в лицо Скелету и, как мальчишка, показал ему «длинный нос».

Синий Колпак сопроводил это такой забавной гримасой, что заключенные расхохотались, а некоторые, напротив, были ошеломлены смелостью арестанта, ведь старосту все очень боялись. Скелет, скрежеща зубами, пригрозил смельчаку:

— Ладно, я с тобой завтра рассчитаюсь.

— А счет буду вести я на твоей харе... вдоволь измордую... в долгу не останусь.

Боясь, что тюремщик так и не уйдет, если возникнет драка, Скелет постарался спокойно объяснить:

— Не в том дело. Здесь, в зале, я слежу за порядком, и все должны слушаться меня, ведь так?

— Так, так, — ответил надзиратель, — но не мешайте вы Гоберу; а ты продолжай, милый человек, только поспеши.

Глава X.
ТОРЖЕСТВО СУХАРИКА И ГАРГУСА

Сухарик, видя, что он всеми покинут, покорился горькой участи. Наступил день, мальчишки готовили зверей к походу. Хозяин открыл дверь,

вызвал по имени каждого, чтобы раздать по куску хлеба. Все спустились вниз; Сухарик, ни живой ни мертвый, забился в угол вместе со своей черепахой и не шевелился. Он смотрел, как уходили его товарищи, и многое бы дал, чтобы быть на их месте... Вот ушел и последний. Сердце еще чаще забилось у бедного мальчика; он надеялся, что, быть может, хозяин забыл про него. Но как бы не так! Вот он слышит грубый оклик Душегуба, стоявшего внизу возле лестницы: «Сухарик!»

«Я здесь, хозяин».

«Выходи, или я стащу тебя сам!»

И Сухарик почувствовал, что наступил конец. «Ну что ж, — подумал он, весь дрожа, вспоминая сон, — вот ты и попал в паутину, маленькая мушка, сейчас тебя сожрет паук».

Осторожно опустив на землю черепаху, как бы попрощавшись с нею, ведь он все же полюбил

ее, подошел мальчик к лестнице, чтобы сойти на землю, но Душегуб мигом, точно клещами, схватил его за ногу, тонкую, как веретено, и потянул так сильно, что Сухарик разом скатился со всех ступенек, ободрав лицо.

— Жаль, что староста Маленькой Польши не видел этого. Он бы показал Душегубу, — сказал Синий Колпак. — Вот когда важно быть сильным.

— Да, милый, к несчастью, старосты здесь не было... Душегуб хватает Сухарика за штаны и тащит его в свое логово, где сидит обезьяна, привязанная к кровати. Увидев мальчика, она стала прыгать, злобно скрежетать зубами, потом ринулась навстречу, словно желая сожрать Сухарика.

— Бедный Сухарик, как тебя спасти?

— Ну уж если попадешься в лапы обезьяны, мгновенно задушит.

— Гром и молния, меня лихорадит, — сказал Синий Колпак, — я не в состоянии убить даже блоху. Ну а вы, друзья?

— Честное слово, я тоже нет.

— И я.

На тюремных часах пробило без четверти четыре. Скелет, все более опасаясь, что времени не останется, и видя, что многие заключенные искренне растроганы, злобно пригрозил;

— Молчать у меня! Иначе он никогда не кончит, этот болтун, прекратите балагурить!

Стало тихо. Гобер продолжал:

— Вспомним, как мучительно трудно было Сухарику привыкнуть даже к черепахе, как дрожали от страха самые смелые ребята при одном имени Гаргуса, и представим себе ужас, который испытал Сухарик, увидев, что Душегуб тащит его прямо к чудовищу.

«Хозяин! Сжальтесь, помилуйте, больше никогда не буду, честное слово!» — дрожа как в лихорадке, бормотал бедный малыш, даже не понимая, что он такое натворил, в чем провинился. Но Душегуб и слушать не хотел... Несмотря на крики, на то, что мальчик отбивался, он поднес Сухарика к обезьяне, и она вцепилась в него своими мохнатыми лапами. В зале всех охватил трепет, слушатели напряглись.

— Ну и балбес бы я был, если б ушел раньше, — сказал надзиратель, подходя ближе к арестантам.

— Слушайте, слушайте, самое интересное впереди, — продолжал Гобер. — Как только Сухарик почувствовал холодные, волосатые лапы могучего зверя, схватившего его за шею, он решил, что все кончено, и, словно в бреду, стал кричать

так жалобно, что казалось, мог бы разжалобить и тигра. «Боже мой, да ведь это паук, которого я видел во сне... Золотая мушка, спаси меня!»

«Ты у меня замолчишь, негодяй... замолчишь!..» — грозился Душегуб, избивая его ногами. Он боялся, что крики услышат. Но вскоре бояться стало нечего, подумайте сами, бедный Сухарик уже не кричал и не отбивался, он стоял на коленях, белый как полотно, с закрытыми глазами, дрожа всем телом, как будто на дворе январский мороз; а обезьяна в это время била его, драла за волосы, царапала; временами она останавливалась, глядела на хозяина, точно желая узнать, что ей делать. Душегуб дико смеялся, притом так громко, что его смех заглушил бы и вопли мальчика, если б тот мог кричать. Казалось, это поощряло Гаргуса, еще более яростно нападавшего на мальчика.

— У, гад, — воскликнул Синий Колпак, — попалась бы ты мне, я бы схватил тебя за хвост и вертел колесом, а потом хрястнул башкой о мостовую.

— Ах, мерзавка, злая что твой дикарь.

— Да таких злых и не бывает!

— Как не бывает, — возразил Гобер, — а Душегуб? Посудите сами, вот что он потом сделал: отвязал от своей, кровати длинную цепь Гаргуса,

высвободил из обезьяньих лап мальчика, который был ни жив не мертв, и привязал его так, что на одной цепи оказался и Сухарик и Гаргус, скрепленные поясом, один подле другого.

— Вот так выдумка!

— Да, все же есть люди хуже зверей!

— Когда Душегуб устроил эту штуку, он сказал своей обезьяне, которая понимала его, ведь они почти не расставались: «Гаргус! Раньше тебя водили напоказ, а теперь ты будешь его водить, это твоя обезьяна. Ну-ка, вставай Сухарик, не то я науськаю на тебя Гаргуса».

Бедный Сухарик снова упал на колени, сложив руки, но говорить не мог, слышалось только, как он стучит зубами.

«Заставь же его ходить, Гаргус, а если не будет слушаться, поступай, как я».

С этими словами он осыпал мальчика ударами хлыста, а затем передал хлыст обезьяне,

Вы, конечно, знаете, что звери очень ловко подражают человеку. Гаргус в этом отношении особо отличался; он взял хлыст и начал так избивать мальчика, что тот вскочил на ноги; роста он был такого же, как и обезьяна. Затем Душегуб вышел из своей комнаты и спустился по лестнице, позвав Гаргуса; обезьяна быстро последовала

за хозяином, гоня перед собой мальчика, которого она продолжала избивать хлыстом, словно своего раба.

Так они прибежали на маленький двор за хибаркой Душегуба. Здесь-то Душегуб решил позабавиться. Он закрыл ворота и подал знак обезьяне, чтобы она бегала вокруг двора и подгоняла хлыстом мальчика. Обезьяна послушалась и принялась гонять Сухарика, осыпая его ударами, в то время как хозяин гоготал во все горло. Казалось, этой чудовищной шутки было бы достаточно? Так нет же, этого было мало; Сухарик пока что отделался царапинами, ударами хлыста и ужасным испугом, но вот что еще придумал коварный злодей: для того, чтобы натравить обезьяну на измученного мальчика, который и так был ни жив не мертв, Душегуб хватает Сухарика за волосы, делая вид, что хочет его укусить, и приближает его к Гаргусу, приговаривая; «Возьми его... возьми!..», а затем показывает зверю кусок бараньего сердца, как будто обещая — вот, мол, тебе награда.

Да, друзья, это было жуткое зрелище. Представляете себе огромную рыжую обезьяну с черной мордой; скрежеща зубами как одержимая, она неистово, почти в бешенстве бросается на бед-

няжку, который не в силах защититься, сразу падает животом вниз, прижав лицо к земле, чтоб она его не изуродовала. Видя это, обезьяна, забравшись на спину Сухарика, хватает его за шею и начинает грызть.

«О! Паук, паук...» — кричал сдавленным голосом Сухарик, уверенный в том, что наступил его конец.

Вдруг раздался стук в ворота: тук... тук!..

— А, староста, — с радостью воскликнули заключенные. — Наконец-то!

— Да, мои друзья, на сей раз это был староста. Он закричал: «Открывай, Душегуб! Не притворяйся глухим, ведь я тебя вижу».

Хозяин зверинца, принужденный ответить, бранясь, пошел открывать ворота мэру, который в свои пятьдесят лет обладал могучей силой, и, когда он был разгневан, шутить с ним не следовало.

«Что вам надо?» — спросил Душегуб, приоткрывая ворота.

«Я хочу поговорить с тобой», — ответил староста, силой врываясь в маленький двор. Затем, видя, что обезьяна все еще бьет Сухарика, он хватает ее за шею, намереваясь высвободить мальчика и отшвырнуть Гаргуса в сторону. Тут

замечает, что мальчик на одной цепи с обезьяной; тогда он гневно заявляет Душегубу: «Сейчас же освободи несчастного парнишку!»

— Вы представляете себе радость и изумление Сухарика, едва живого от страха, который вдруг почувствовал, что в самый последний момент он, словно чудом, спасен; поэтому он не мог не вспомнить золотую мушку из своего сна, хотя староста нисколько не был похож на муху: этакий здоровяк...

— Ну ладно, — сказал надзиратель, направляясь к дверям. — Сухарик спасен, я пойду ужинать.

— Спасен? — воскликнул Гобер. — Как бы не так! На этом мучения нашего Сухарика еще не кончились.

— Правда? — с удивлением спросили арестанты.

— А что с ним случилось? — спросил Руссель, подходя к арестантам.

— Постойте здесь и все узнаете, — ответил рассказчик.

— Острослов просто дьявол, он заставляет делать все, что захочет, ну ладно, немного побуду.

Скелет молчал, едва сдерживая гнев. Гобер продолжал:

— Душегуб, боявшийся старосты как огня, вор-

ча, освободил мальчика от цепи; вслед затем староста поддал обезьяну ногой, что она отлетела далеко в сторону. Взвизгнув и скрежеща зубами, она, как ужаленная, вскочила на крышу сарая, угрожая оттуда старосте.

«Почему вы бьете мою обезьяну?» — спросил Душегуб.

«Ты лучше спроси, почему я не бью тебя; разве можно так терзать ребенка? Ты что, уже с утра нализался?»

«Трезв, как и вы, готовлю номер с обезьяной, хочу показать публике — она и Сухарик будут представлять вместе. Занят своим делом, зачем вы вмешиваетесь?»

«Да, вмешиваюсь, это мое дело! Утром мимо меня проходили ребята, среди них не было Сухарика; я спросил, где он, смутившись, они ничего не ответили; ведь я тебя знаю, сразу догадался, что ты его бьешь, и не ошибся. Так знай — теперь каждое утро буду следить за ребятами и, если не увижу Сухарика, сейчас же явлюсь и убью тебя на месте, если увижу, что ты его бьешь».

«Что захочу, то и буду делать, — ответил Душегуб, раздраженный этой угрозой, — ты меня не тронешь! Убирайся вон, а если опять появишься, я тебе покажу...»

«Вот тебе, подлец! — И староста дал Душегубу пару таких затрещин, что можно было оглушить носорога. — Будешь знать, как разговаривать со старостой Маленькой Польши».

— Маловато он ему врезал, — сказал Синий Колпак, — на месте старосты я бы еще не так его измордовал.,

— И поделом ему, — воскликнул кто-то из арестантов.

— Таких извергов староста мог бы уложить и десяток, вот почему Душегубу пришлось проглотить обиду, но в нём бушевал гнев, в особенности из-за того, что его побили на глазах у мальчика. Он решил отомстить и придумал способ — такой мог прийти только величайшему злодею, каким и был хозяин зверинца. Пока он обдумывал эту дьявольскую месть, почесывая в затылке, староста предупреждал его:

«Запомни, если ты будешь продолжать мучить малыша, я тебя и твоих зверей вышвырну из Маленькой Польши, а если не уйдешь, натравлю на тебя народ. Тебя ведь здесь уже все ненавидят и устроят тебе такие проводы, что, ручаюсь, запомнишь на всю жизнь».

Желая осуществить свой дьявольский план, этот коварный злодей Душегуб сделал вид, что

не сердится на старосту, и заговорил льстивым голосом: «Клянусь, староста, зря вы меня били и напрасно думали, что я обижаю Сухарика, наоборот, повторяю вам, я готовил новый номер с обезьяной; это нелегкое дело, когда она сопротивляется, вот в этой потасовке и покусала малыша».

Пытливо взглянув на Душегуба, староста спросил:

«Ты говоришь правду? Если ты готовишь номер с обезьяной, почему же ты привязываешь ее к той же цепи, что и Сухарика?»

«Потому что малыш должен участвовать в этом представлении; вот что я хочу сделать: нарядить Гаргуса в красный фрак, надеть на него шляпу с перьями, как у швейцарского торговца лекарствами, посадить Сухарика в маленькое детское кресло, завязать ему на шее салфетку, и обезьяна будет брить его деревянной бритвой.

При этих словах Душегуба староста рассмеялся.

«Не правда ли, забавно?» — лукаво спросил Душегуб.

«Да, это, конечно, смешно, — согласился староста. — Говорят, что твоя обезьяна ловкая и хитрая бестия, она сможет исполнить подобную штуку».

«Наверняка, когда она посмотрит пять или шесть раз, как я делаю вид, будто брею Сухарика, она будет подражать мне, у нее будет большая деревянная бритва, нужно только, чтобы обезьяна привыкла к мальчику, потому-то я и посадил их на одну цепь».

«А все же почему ты выбрал именно Сухарика, а не другого мальчишку?»

«Потому что он меньше всех ростом. Когда он сядет в кресло, Гаргус будет возвышаться над ним; к тому же половину сбора я хотел отдать Сухарику».

«Если так, — сказал староста, поверив лжи хозяина зверинца, — я сожалею, что поколотил тебя; ну, потом сочтемся, пусть это будет аванс».

В то время как хозяин разговаривал со старостой, Сухарик стоял, чуть дыша, дрожал как осенний лист, умирая от желания броситься в ноги старосте и умолять увести его от хозяина зверинца. Но ему не хватило смелости, и, снова отчаявшись, он тихонько произнес; «Нет, видно, сон мой сбудется, я стану несчастной мухой, которую сожрет паук, напрасно я надеялся, что золотая мушка меня спасет».

«Слушай, дружок, раз хозяин обещает тебе половину сбора, ты должен набраться мужества и

привыкнуть к обезьяне... Это пустяки, ты перестанешь ее бояться, а если сбор будет хороший, тебе не придется жаловаться».

«Ему жаловаться! А разве тебе есть на что жаловаться?» — спросил хозяин, украдкой бросив на него столь грозный взгляд, что малыш готов был провалиться сквозь землю.

«Нет, нет... хозяин», — пробормотал Сухарик.

«Ну вот видите, жаловаться ему никогда ни на что не приходилось, — сказал Душегуб, — в конце концов я ему желаю только добра. Если Гаргус поцарапал его при первой встрече, этого больше не случится. Обещаю вам, я буду следить».

«В добрый час! Тогда все будут довольны».

«И в первую очередь Сухарик, — сказал Душегуб. — Говори, ты будешь доволен?»

«Да... да... хозяин», — обливаясь слезами, проговорил Сухарик.

«А чтобы ты не огорчался из-за своих царапин, я угощу тебя хорошим завтраком. Староста пришлет нам котлет с корнишонами, четыре бутылки вина и полбутылки водки».

«Мой погреб и кухня к твоим услугам».

По натуре староста был славный человек, но не отличался умом, он торговал вином, жареным мясом и не прочь был сбыть свой товар. Душе-

губ хорошо это знал и, делая такой заказ, был убежден, что староста уйдет довольный, успокоившись относительно судьбы Сухарика.

И вот бедный малыш вновь попал в лапы хозяина; как только староста повернулся спиной, Душегуб указал на лестницу и велел своей жертве забраться на чердак; мальчик не заставил повторять эти слова дважды и, дрожа от страха, поднялся по лестнице.

«Боже мой, теперь я погиб», — воскликнул он, бросаясь на кучу соломы рядом со своей черепахой и заливаясь горючими слезами.

Так он пролежал, рыдая, не меньше часа, как вдруг услышал хриплый оклик Душегуба; голос хозяина на этот раз показался ему необычным, и это еще более усиливало его страх.

«Давай вниз», — ругаясь, обрушился на него хозяин зверинца.

Малыш быстро спустился по лестнице, и, как только он ступил на землю, хозяин хватает его за шиворот и тащит в свою комнату, спотыкаясь на каждом шагу, потому что он-здорово надрался, был пьян вдрызг и едва держался на ногах, покачиваясь из стороны в сторону, язык у него не ворочался; но он молча свирепо посматривал на Сухарика, такого страха малыш еще не испыты-

вал никогда.

Гаргус сидел на цепи, прикрепленной к ножке кровати. Посреди комнаты стоял стул, на спинке которого висела веревка...

— «Са... садись сюда», — продолжал Острослов, подражая (до конца рассказа) косноязычному лепету Душегуба.

Сухарик, весь дрожа, уселся на стул, тогда Душегуб, так же молча, взял веревку и крепко привязал его к стулу, и не без труда, потому что, хотя хозяин зверинца еще различал предметы и что-то соображал, руки его действовали плохо. Наконец Сухарик был напрочно привязан к стулу.

«Боже мой! Боже мой! Теперь уж никто меня не спасет!» Бедняжка был прав, никто не мог и не должен был прийти, ведь староста ушел, уверенный в том, что малышу ничто не угрожает; Душегуб крепко-накрепко закрыл ворота, задвинул засов, никто не мог прийти на помощь Сухарику.

— Да, на этот раз, — сказали взволнованные слушатели, — ты пропал, Сухарик...

— Бедный малыш!

— Какая жалость!

— Если бы потребовались двадцать су для его спасения, я бы дал.

— Я тоже.

— Какой негодяй Душегуб!

— Что он с ним сделает? Фортюне продолжал:

— После того, как малыш был крепко привязан к стулу, хозяин ему сказал... — И тут рассказчик вновь стал подражать голосу пьяного: — «А... мерзавец... из-за тебя... меня бил староста... ты... умрешь...»

С этими словами он достал из кармана свеженаточенную бритву, открыл ее и схватил Сухарика за волосы.

Среди заключенных послышался ропот возмущения и ужаса; Острослов после паузы продолжал:

— Увидев бритву, мальчик стал кричать: «Пощадите, хозяин... пощадите... не убивайте меня!..»

«Кричи, кричи... пострел... ты не долго будешь кричать», — ответил Душегуб.

«Золотая мушка, золотая мушка! Спаси меня, — словно в бреду, призывал Сухарик, вспоминая свой сон, который так поразил его, — паук меня убьет!»

«А, так ты наз... ты называешь меня... пауком... — пробормотал Душегуб. — За это и за другие проступки ты умрешь... понимаешь... но... не от

моей руки... а то мне отрубят голову... я скажу... и докажу... что это... обезьяна; я уже все приготовил... а вообще не важно»,- проговорил Душегуб, едва держась на ногах.

Затем подозвал обезьяну, которая изо всех сил натягивала цепь, скрежетала зубами и посматривала то на хозяина, то на мальчика.

Держа Сухарика за волосы и показывая обезьяне бритву, Душегуб обратился к ней:

«Послушай, Гаргус, надо сделать вот так... — И мерзавец провел тупой стороной бритвы по шее мальчика. — Видишь... вот так!..»

И, повторяя несколько раз это движение, он учил обезьяну, как перерезать шею несчастной жертве.

Мерзкая обезьяна так свободно подражала тому., что ей показывали, это был такой хитрый и коварный зверь, что она сразу поняла, чего от нее хотел хозяин; взявшись левой лапой за подбородок, она откинула голову назад, а правой лапой провела по шее, сделав вид, что перерезает себе горло.

«Правильно... Гаргус... верно, — пробормотал Душегуб, спотыкаясь так, что чуть было не опрокинул стул вместе с Сухариком, — да... вот... я тебя сейчас освобожу... а ты ему по горлу. Правда,

Гаргус?»

Обезьяна в знак согласия заревела, заскрежетала зубами и протянула лапу к бритве, которую подал ей Душегуб.

«Золотая мушка, на помощь!» — слабым, умирающим голосом прошептал Сухарик, уверенный в том, что наступил его последний час.

Увы, он призывал на помощь золотую мушку, не рассчитывая и не надеясь, что она прилетит; но он произносил эти слова так же, как говорят, когда тонут: «Господи, помоги мне!»

И что же! Вышло совсем не так. Именно в эту минуту в. открытое окно влетела зеленая с золотым отливом мушка. Словно искорка, закружилась она в воздухе, и как раз в тот момент, когда Душегуб протянул бритву обезьяне, золотая мушка ловко бросилась в глаз жестокого убийцы.

Велико событие — муха в глазу, но когда она укусит, это больно, как укол булавки, вот почему Душегуб, едва державшийся на ногах, схватился за глаз и, потеряв равновесие от этого резкого движения растянулся во весь рост подле кровати, к которой была привязана обезьяна.

«Золотая мушка, благодарю тебя, ты спасла меня!» — воскликнул Сухарик. Он все еще сидел привязанным в кресле и все видел.

— А ведь верно, золотая муха спасла его от смерти, помешала Душегубу перерезать горло, — радостно воскликнули заключенные.

— Да здравствует золотая муха! — закричал Синий Колпак.

— Да здравствует золотая муха! — повторили несколько голосов.

— Да здравствует Острослов и его сказки! — сказал кто-то.

— Минуту внимания, — возразил рассказчик, — сейчас начнется самое увлекательное и самое страшное из той истории, которую я вам обещал.

Душегуб упал на землю, словно сраженный пулей, он был так пьян, мертвецки пьян, лежал словно чурбан... Ничего не сознавал. Падая, он чуть было не раздавил Гаргуса и не переломил ему заднюю лапу... Вы уже знаете, сколь зол был коварный и мстительный зверь. В лапах у него была бритва. Что же сделала обезьяна, увидев своего хозяина, плашмя лежавшего на полу, неподвижного, словно уснувший карп. Она набрасывается на него, садится ему на грудь, одной лапой хватает его за шею, а другой... раз... перерезает ему горло, выполнив все точно так, как учил ее Душегуб перерезать горло Сухарику.

— Браво!..

— Ловко сделано!..

— Да здравствует Гаргус! — восторженно закричали заключенные.

— Да здравствует золотая муха!

— Да здравствует Сухарик!

— Да здравствует Гаргус!

— И, представьте себе, друзья мои, — воскликнул Гобер, довольный своим успехом, — так же, как и вы, часом позже ликовала вся Маленькая Польша.

— Как же это могло произойти?

— Я вам уже сказал, что негодяй Душегуб, чтобы совершить злодеяние без всякой помехи, заложил ворота своего дома изнутри. Вечереет; мальчишки со своими зверями один за другим возвращаются домой, пришедшие первыми стучат, никто не отвечает. Когда все они собрались, то снова стали стучать, — все бесполезно. Один из них отправляется к старшине и говорит, что хозяин не открыл ворота. «Негодяй, видно, пьян в дымину, недавно я послал ему вина, надо выломать дверь, нельзя же детям оставаться ночью на улице».

Ударом топора взломали дверь, вошли в дом, и что же они видят? Гаргус на цепи сидит напротив хозяина и играет бритвой; бедняжка Сухарик,

до которого, к счастью, обезьяна не могла дотянуться, сидит на стуле привязанный, не смея взглянуть на труп хозяина, и смотрит, угадайте, на кого? На маленькую золотую муху, которая облетев вокруг мальчика, словно приветствуя его, села ему на руку.

Сухарик рассказал все, как было, старшине и собравшимся людям. Поистине то было словно чудо. Старшина воскликнул:

«Слава Сухарику! Слава Гаргусу, он убил этого лютого зверя! Душегуб убивал других, настал его черед».

«Да, да! — голосила толпа; ведь все ненавидели этого убийцу. — Слава Гаргусу, слава Сухарику!»

Наступила ночь, зажгли соломенные факелы, Гаргуса привязали к скамье, и четыре мальчика вынесли его на улицу, негоднице обезьяне все еще казалось, что ей недостаточно оказывают чести, и она приняла важный вид, скаля перед толпой зубы. За обезьяной шел старшина, он нес Сухарика на руках, его окружали мальчики со своими зверями: один нес лису, другой — сурка, третий — морскую свинку, некоторые играли на шарманке, угольщики из Оверни — на волынках; это было шумное зрелище, веселый праздник, трудно даже себе представить, какое это было

торжество! Вслед за музыкантами и поводырями шли жители Маленькой Польши, мужчины, женщины, дети; почти все держали в руках соломенные факелы и во все горло кричали: «Да здравствует Сухарик! Да здравствует Гаргус!» В таком порядке они обошли дом Душегуба. То было забавное зрелище: старые лачуги, лица людей, освещенные красноватым светом соломенных факелов. Что касается Сухарика, то как только его освободили, первым его делом было осторожно посадить золотую муху в бумажный фантик; во время триумфального шествия он радостно повторял: «Маленькие мушки, я хорошо поступал, спасая вас от пауков», потому что...

На этом месте рассказ Гобера был прерван.

— Эй, дядюшка Руссель, иди ужинать, через десять минут пробьет четыре, — раздался чей-то голос со двора.

— Ну что ж, рассказ подходит к концу, и я иду. Благодарю, дружище, ты доставил мне большое удовольствие, этим ты можешь похвалиться, — сказал надзиратель Острослову, направляясь к двери... Затем он остановился и произнес, повернувшись к арестантам: — Да, вот что, видите себя спокойно.

— Мы только узнаем конец, — задыхаясь от

гнева, сказал Скелет. Затем шепнул Верзиле: — К порогу, наблюдай за Русселем и, когда он выйдет со двора, крикни «Гаргус», и мы завалим наветчика.

— Так и будет, — сказал Верзила. Он проводил Русселя до дверей и стал следить за ним.

— Я уже говорил вам, — произнес Гобер, что Сухарик во время торжества непрестанно повторял: «Маленькая мушка...»

— Гаргус! — обернувшись, заорал Верзила. Он увидел, что надзиратель ушел со двора.

— Ко мне! Сухарик, я твой паук! — воскликнул Скелет и так стремительно ринулся на Жермена, что тот не успел ни шевельнуться, ни промолвить слово. Длинные пальцы Скелета сдавили ему горло, и он стал задыхаться.

Глава XI.
НЕЗНАКОМЫЙ ДРУГ

Раз ты хочешь быть пауком, то я буду золотой мушкой, проклятый Скелет! — послышался чей-то голос в тот момент, когда застигнутый врасплох Жермен упал на скамью, сраженный ударом лютого врага; теперь он всецело находился во власти бандита, который, придавив ему коленом-грудь, душил его.

— Да, я буду мухой, и еще какой! — повторил известный нам человек в синем колпаке; вслед за тем, отшвырнув трех или четырех арестантов, которые преграждали путь к Жермену, он набросился на Скелета и стал наносить ему мощные удары по голове и лицу, словно молотом по наковальне.

495

Синий колпак был не кто иной, как Поножовщик, избивая Скелета, он приговаривал:

— Так же со мной обошелся Родольф, и я навсегда запомнил его урок.

Внезапное нападение Синего Колпака на Скелета ошеломило заключенных, они не знали,

что делать, держать сторону Поножовщика или наброситься на него. Большинство из них под впечатлением рассказа Гобера радовались тому, что теперь, быть может, удастся спасти Жермена. Скелет, ошарашенный нападением, покачиваясь, словно бык под ударами мясника, невольно вытянул вперед руки, чтобы защитить себя от врага, и в этот же момент Жермен освободился из его объятий.

— Что с ним? На кого обозлилась эта подлюга? — вскричал Верзила и, бросившись на Поножовщика, пытался заломить ему руки за спину, а тот изо всех сил старался удержать Скелета. Защитник Жермена отбросил Верзилу в сторону.

Жермен, мертвенно бледный, задыхаясь, стоял на коленях, упираясь руками в скамью, и, казалось, не сознавал, что происходит вокруг него; Скелет придушил его так сильно, что он корчился от боли и едва дышал.

Придя в себя, Скелет с отчаянным усилием высвободился от Поножовщика и поднялся.

Задыхающийся, опьяненный злобой и яростью, он был страшен...

Мертвенно-бледное лицо залито кровью, верхняя губа приоткрыла зубы — настоящий волчий оскал.

Наконец голосом, дрожащим от гнева и усталости после жестокой борьбы, Скелет завопил:

— Душите гада... подлецы, продали меня, теперь доносчик смоется!

Поножовщик, воспользовавшись этой передышкой, быстро добрался до угла, куда он оттащил едва живого Жермена. Защищенный стеною, он оказался в выгодном положении и смог бы довольно долго выдерживать нападение арестантов; к тому же Поножовщик внушил к себе глубокое уважение, проявив мужество и геркулесову силу.

Гобер, испугавшись, во время стычки исчез, и никто не заметил его отсутствия.

Видя нерешительность большинства заключенных, Скелет скомандовал:

— Ко мне! Завалим обоих — большого и малого!

— Осторожно, — ответил Поножовщик, готовясь к борьбе, вытянув вперед руки и широко расставив свои крепкие ноги, — берегись, Скелет! Если ты хочешь стать Душегубом, то я буду Гаргусом, перережу тебе глотку.

— А ну, давай схлестнемся с ним, — заговорил Верзила. — Почему подлюга защищает осведомителя? Смерть предателю! Раз он заступник

Жермена, значит, предатель!

— Да!.. Да!

— Смерть доносчику! Смерть предателю!

Таковы были возгласы самых жестоких арестантов, а более человечные возражали:

— Нет! Пусть все расскажет! Да, он должен все объяснить!

— Нельзя убивать человека, да притом беспомощного, не зная, за что!

— Для этого надо быть Душегубом!

— Тем лучше, — завопил и Верзила, и сторонники Скелета ему подпевали.

— Пощады не будет шпиону!

— Смерть!

— К делу!

— Поможем Скелету!

— Да, да! Устроим темную Колпаку.

— Нет!.. Поможем Синему Колпаку!.. Измордуем Скелета! — заявили сторонники Поножовщика.

— Нет... пропади пропадом, Синий Колпак!

— К дьяволу Скелета!

— Вот молодцы, — воскликнул Поножовщик, обращаясь к арестантам, собравшимся вокруг него. — У вас доброе сердце, не хотите убивать беспомощного человека! На это способны лишь подлецы. Скелету все нипочем... Он обречен, вот

почему он заставляет вас убивать. Но если убьете Жермена, вам не поздоровится. Послушайте меня: Скелет хочет задушить юношу. Согласен! Но пусть попробует отнять его у меня, если он такой смелый. Встретимся с ним один на один и увидим, чья возьмет... Ведь струсит он, как Душегуб, не осмелится биться с сильным.

Твердость духа, суровое лицо Поножовщика, несомненно, оказывали покоряющее влияние на заключенных, вот почему большинство столпилось вокруг него и окружило Жермена; к Скелету примкнули его сообщники.

Вот-вот должна была начаться схватка, но в эту минуту послышались мерные шаги тюремной стражи. Гобер, воспользовавшись всеобщей суматохой, выскочил во двор, постучал в окошко проходной, с тем, чтобы сообщить о происходящем.

Появление солдат положило конец разыгравшейся драме. Жермена, Скелета и Поножовщика провели к начальнику тюрьмы. Первый должен был подать жалобу, а Скелет и Поножовщик ответить, почему они затеяли драку.

Жермен от страха и боли так ослаб, что вынужден был опираться на надзирателей, которые довели его до соседней с кабинетом начальника

комнаты; здесь ему стало дурно; на шее у него виднелись следы железных лап Скелета. Ведь еще несколько секунд — и жених Хохотушки был бы мертв.

Надзиратель, обязанный охранять приемное помещение и, как мы уже говорили, хорошо относившийся к Жермену, оказал ему первую помощь.

Жермен, придя в себя, пережив этот ужас, едва мог размышлять, но прежде всего он подумал о своем спасителе.

— Благодарю вас за вашу заботу, — сказал он надзирателю. — Без помощи этого отважного человека я погиб бы.

— Как вы себя чувствуете?

— Лучше... Мне кажется кошмаром то, что произошло.

— Ну, успокойтесь!

— А тот, кто меня спас, где он?

— У начальника. Рассказывает ему, как возникла драка... Да, кажется, если бы не он...

— Я был бы мертв. Скажите его имя... Кто он?

— Имя... Не знаю, прозвище Поножовщик; бывший каторжник.

— А преступление?.. Может быть, не такое тяжкое привело его сюда?

— Очень тяжкое! Кража со взломом, ночью в частном доме, — ответил надзиратель. — Наказание ему будет такое же, как и Гоберу: пятнадцать, двадцать лет принудительных работ и позорный столб, он же рецидивист.

Жермен вздрогнул; он предпочел бы быть благодарным не столь закоренелому преступнику.

— Ужасно! — воскликнул он. — И все же он стал защищать меня, не зная, кто я, такое мужество, такое благородство...

— Представьте себе, сударь, у них иногда пробуждаются добрые чувства. Важно, что вы теперь спасены; завтра вас переведут в отдельную камеру, а сегодня вы переночуете в лазарете, так распорядился начальник. Ну, сударь, мужайтесь! Тяжелые времена прошли, и, если милая посетительница придет к вам на свидание, вы сможете ее успокоить; когда же дадут отдельную камеру, вам нечего будет бояться. Только я советую не рассказывать ей о происшествии, она заболеет от страха.

— Что вы! Я ей ничего не скажу, но все же мне хотелось бы поблагодарить моего спасителя... Как бы он ни был виновен перед законом, тем не менее он спас мне жизнь.

— А вот он как раз выходит, начальник будет

теперь допрашивать Скелета. Сейчас я поведу их обоих: Скелета — в карцер, а Поножовщика — в Львиный Ров. Впрочем, он будет награжден за то, что сделал для вас, славный малый, решительный, сильный, таким надо быть, чтобы подчинять других. Скорее всего, он заменит Скелета и станет старшиной.

Поножовщик, пройдя по маленькому коридору, куда выходила дверь кабинета начальника, вошел в комнату, где находился Жермен.

— Подождите меня здесь, — сказал надзиратель, — я узнаю у начальника, что он решил со Скелетом, а затем приду за вами. Наш молодой человек совсем оправился, хочет вас поблагодарить, да и есть за что — без вас ему бы конец.

Надзиратель вышел.

Лицо Поножовщика просияло, он подошел к Жермену и радостно воскликнул:

— Черт побери! Как я доволен, очень доволен, что спас вас! — И он протянул руку Жермену.

Жермен невольно смутился, вначале слегка отошел, вместо того чтобы протянуть руку Поножовщику, но, вспомнив, что он обязан жизнью этому человеку, захотел победить в себе чувство брезгливости. Поножовщик заметил это, помрачнел и, тоже отступив, с горечью произнес:

— А так и должно быть, простите меня, сударь.

— Что вы, это я должен извиниться. Разве я не такой же узник, как и вы? Я должен постоянно помнить, что вы сделали для меня, вы спасли мне жизнь. Дайте руку, сударь... прошу вас.

— Благодарю... теперь это не имеет значения. Если бы вы сразу подали мне руку, я был бы доволен. Но, подумав, решил этого не делать. И хоть я такой же арестант, как и вы, но, — заявил он с мрачным видом, — прежде чем попасть сюда, я был...

— Надзиратель мне все рассказал, — прервал его Жермен, — тем не менее вы спасли мне жизнь.

— Я должен был так поступить, к тому же мне было приятно, ведь я знаю вас, господин Жермен.

— Вы меня знаете?

— Будь я вашим дядей, сказал бы: да, знал, накоротке, назвал бы племянником, — спокойно ответил Поножовщик, — и вы бы ошиблись, подумав, что я случайно попал в тюрьму. Если б я вас не знал... я бы не оказался здесь.

Жермен смотрел на Поножовщика с глубоким удивлением.

— Как? Только потому, что вы были со мной

знакомы?

— Именно поэтому я и стал заключенным...

— Я хотел бы вам верить, но...

— Но вы мне не верите.

— Я хочу сказать, что не понимаю, какое отношение я имею к тому, что вас посадили в тюрьму.

— Какое отношение?.. Самое прямое!

— Неужели это я навлек на вас такое несчастье?

— Несчастье?.. Наоборот... Это я вам обязан...

— Вы мне обязаны?

— Благодарю за то, что я побывал в тюрьме.

— По правде говоря, — сказал Жермен, проведя рукой по лбу, — страшное потрясение помутило мой разум, я не могу вас понять. Надзиратель сообщил мне, что вас посадили по обвинению в...

Жермен запнулся.

— В воровстве... черт возьми... в самом деле... да, в воровстве со взломом, ограблением, к тому же ночью! Полный набор! — со смехом воскликнул Поножовщик. — Все на месте, воровство высшего разряда!

Жермен, огорченный предельным цинизмом Поножовщика, не мог сдержать себя:

— Как вы, такой храбрый, столь великодуш-

ный, можете так говорить? Разве вы не знаете, на какое суровое наказание вы себя обрекли?

— Двадцать лет каторги и позорный столб! Знаем мы это! Я, стало быть, явный злодей, если обращаю все это в шутку? Но что поделаешь? Раз уж стал таким... И подумайте только, господин Жермен, что вы были причиной моих несчастий, — глубоко вздохнув, в шутливом тоне продолжал Поножовщик.

— Если вы мне объясните яснее, я пойму. Шутите, сколько вам заблагорассудится. Всю жизнь буду вам благодарен, — с грустью сказал Жермен.

— Не обижайтесь на меня, господин Жермен, — заговорил Поножовщик, — вам не нравится, что я, шутя, рассказываю о происшедшем. Ну ладно, будем дружками, быть может, вы от души подадите мне руку.

— Так и будет, хоть вы и совершили преступление, в котором сами признались; глядя на вас, сразу видишь, что вы смелый, откровенный человек. Я убежден, что вас обвинили несправедливо, быть может, есть улики — вот и все.

— Вы ошибаетесь, господин Жермен, — серьезно заговорил Поножовщик, и Жермен поверил ему. — Это правда, правда, как и то, что у меня

есть покровитель (Поножовщик снял колпак); он для меня то же самое, что господь бог для священников; да, я воровал ночью, был схвачен на месте преступления, и при мне были все украденные вещи.

— Так, значит, нужда... голод... довели вас до этой крайности.

— Голод?.. Да у меня в кармане хранилось сто двадцать франков, когда был арестован, остаток от ассигнации в тысячу франков, и к тому же — покровитель, я говорил вам о нем; кстати, он не знает, что я здесь, а то бы я ни в чем не нуждался. Но раз я упомянул своего покровителя, то знайте — это серьезно, понимаете, он достоин того, чтобы перед ним склонялись. Измордовав Скелета, я следовал его приемам; это его манера наказывать виновного. Но и воровством я занялся ради него... И то, что вы находитесь здесь, а не погибли от руки Скелета, — это тоже его дело.

— Кто же ваш покровитель?

— Он также и ваш.

— Мой?

— Да, господин Родольф вам покровительствует. Правда, надо называть его монсеньор... он по меньшей мере принц, но я привык называть его господин Родольф, и он мне это разрешает.

— Вы ошибаетесь, — удивленно заметил Жермен, — я не знаю никакого принца.

— Он вас знает. Вы понятия об этом не имеете. Это в его духе. Когда ему становится известным, что хороший человек попал в беду, он ему поможет, счастье свалится на того человека, словно снег на голову. Потерпите, и вы окажетесь счастливым.

— Поистине ваши слова меня поражают.

— Вы еще не раз будете удивляться. Кстати, о покровителе, некоторое время тому назад я оказал ему услугу, за это он вознаградил меня, не скажу как, не хочу вас утомлять, слишком долго рассказывать: он направил меня в Марсель, чтобы оттуда я отбыл в Алжир, где должен был отлично устроиться. Выезжаю из Парижа, счастливый, как разбогатевший нищий; все замечательно, но вскоре настроение изменилось. Представьте себе, я выехал в прекрасную погоду, светило солнце, на следующий день небо затянуло тучами, они стали свинцовыми, и, по мере того как я удалялся от города, вокруг становилось все мрачнее, и, наконец, наступил полный мрак. Вам понятно?

— Не совсем.

— Ну ладно! У вас когда-нибудь была собака?

— Какой странный вопрос!

— У вас когда-нибудь была любимая собака? Представьте себе, что она вдруг пропала.

— Нет, такого случая не было.

— Тогда объясню вам просто: находясь вдали от господина Родольфа, я был встревожен, как собака, потерявшая своего хозяина. Глупо было с моей стороны, но собака тоже бывает -глупой, что не мешает ей быть преданной, быть благодарной не только за лакомый кусок, но и помнить, как ее побили; а господин Родольф дал мне нечто большее, чем лакомый кусок. Господин Родольф — это все в моей жизни. До знакомства с ним я был грубым, диким, жестоким негодяем, он обратил меня в честного человека, сказав мне всего два слова... Но то было чудо...

— Какие же это слова? Что он вам сказал?

— Он пробудил во мне веру в то, что я человек, а не погибшая личность, что в моем сердце сохранились доброта и честь. Хотя я каторжник, но не вор! Осужден за убийство, — мрачно сказал Поножовщик, — но совершил -его в приступе ярости. Откуда мне, выросшему на парижской мостовой, брошенному отцом и матерью, иметь понятие о добре и зле, о всевышнем и о дьяволе, о силе и слабости человека? Едва мною овладевала злоба, я не знал иного средства успокоить ее, как

обнажить нож. Готов был зарезать кого угодно, превращался в бешеного зверя. А кто окружал меня? Негодяи и мошенники. Но это нисколько меня не смущало. Я был рожден на дне и продолжал барахтаться в грязи, даже не сознавая этого. Но когда господин Родольф сказал, что раз я не принялся за прежнее, а сделал попытку заработать себе кусок хлеба честным трудом, я еще не совсем потерян для добрых дел, что во мне есть твердость честного человека... Черт побери! Вы понимаете... Эти слова произвели на меня такое впечатление, как будто, ухватив за шиворот, меня высоко подняли над навозной кучей, в которой я топтался, и показали, мне, среди какой грязи я жил. Тогда я решил: благодарю! С меня довольно, мне пора выметаться отсюда. Тут мое сердце заколотилось, но не так, как во гневе, я поклялся оберегать свою честь, о которой говорил господин Родольф. Вам теперь ясно, господин Жермен, как это было: господин Родольф, со свойственной ему добротой, сказал мне, что я не такой скверный, как о себе думаю, он воодушевил меня, благодаря ему я стал лучше, чем был.

Слушая это признание, Жермен все более и более сомневался в том, что Поножовщик мог совершить кражу, в которой сам признавался.

Глава XII.
ОСВОБОЖДЕНИЕ

Нет, подумал Жермен, невозможно, чтобы человек, с таким воодушевлением говорящий о чести и благородстве, мог совершить кражу, в которой он цинично признается. Поножовщик, не замечая изумления Жермена, продолжал:

— В конце концов, если я предан господину Родольфу, как собака своему хозяину, то лишь потому, что он возвысил меня в моих собственных глазах. До встречи с ним я дрожал за свою шкуру, но он разворотил мне душу. Находясь вдали от него, я был мертв душою. Я как-то подумал: его подстерегает опасность, он встречается с таким отребьем — я-то хорошо знаю, — рискует головой; в этих обстоятельствах я, как верный пес, мог бы защитить моего благодетеля, сил у меня хватит. А он меня поучал: «Нужно быть полезным для всех, идите туда, где вы можете совершить добро». Я пытался было возразить: «Главное, господин Родольф, для меня — вы, и вам я готов служить». Но не посмел. Он решительно заявил: «Идите!» Я отправился. Но вот, дьявольщина, когда нужно

было сесть на корабль, покинуть Францию, пересечь море, потеряв надежду снова встретиться с ним... признаюсь, у меня не хватило мужества. Он приказал агенту, когда я направлюсь в Алжир, выдать мне денежные средства. Я же признался агенту: «Не могу выехать в Алжир по морю, на земле чувствую себя увереннее, намерен пойти в Париж пешком. Дайте мне немного денег, чтоб я смог туда добраться, у меня крепкие ноги. Господин Родольф может обращаться со мной, как ему угодно, пусть гневается, прогонит с глаз долой. Я все же его увижу, буду знать, с кем он встречается, а так как ему угрожает опасность, рано или поздно я, быть может, спасу его. Вот почему не могу уехать в другую страну. Чувствую, какая-то сила тянет меня к нему». Мне выдали деньги на дорогу, и я прибыл в Париж. Ничего я не боялся на свете, но, когда вернулся, меня охватил страх... Что скажу господину Родольфу в свое оправдание, как просить прощения за то, что возвратился? Наконец, подумав, решил, не съест же он меня, будь что будет... Отправился к его другу, лысому толстяку, благородному человеку. Вот дьявольщина! Встретив господина Мэрфа, я сказал ему: «Решается моя судьба, в горле пересохло, сердце разрывается». Я думал, что со мной обойдутся

грубо, ничего подобного. Благородный человек встретил меня, как будто мы только что расстались; он сказал, что господин Родольф примет меня сейчас же; затем он повел меня в кабинет к моему покровителю. Дьявольщина! Когда я впервые встретился с принцем, он, обладающий силой и добрым сердцем, страшный, как лев, кроткий, как дитя, носил рабочую куртку и избил меня так, что искры из глаз посыпались. Да будет благословен он! Верите, господин Жермен, зная его великодушие, я заплакал, как ребенок. И что же? Вместо того чтобы пожурить меня, господин Родольф серьезно сказал:

«Вы вернулись, друг мой?»

«Да, господин Родольф, простите, если ослушался, я не мог вас оставить. Дайте мне конуру на дворе, бросайте туда еду либо позвольте остаться здесь, я заработаю на кусок хлеба, но главное — не гневайтесь».

«Я не сержусь, вы пришли вовремя, мне нужна помощь».

«Неужели? Вы были правы, когда говорили, что есть кто-то на небесах, раз я появился в тот момент, когда вам понадобился. Что я должен сделать? Броситься с собора Парижской, богоматери?»

«Дело в том, что несправедливо обвинили в краже и посадили в тюрьму честного, скромного человека. Я встревожен за его судьбу, словно от мой сын, его зовут Жермен; застенчивый юноша находится среди злодеев, жизнь его в опасности. Вы знаете их нравы, и в тюрьме, наверное, сидят знакомые вам арестанты. Не смогли бы вы проникнуть туда и защитить несчастного юношу?»

— Кто ж этот благородный неизвестный человек, который принимает участие в моей судьбе? — спросил Жермен.

— Вы о нем узнаете. Во время разговора с Родольфом у меня возник план, такой остроумный, что я даже рассмеялся.

«Что с вами, друг?» — спросил он.

«Господин Родольф, я рад, что придумал способ спасти Жермена. У него будет покровитель, который защитит его, и никто не осмелится поднять на него руку».

«Это что же, один из ваших прежних друзей?»

«Да, господин Родольф, недавно его посадили в Форс, я узнал об этом, когда приехал в Париж; но нужны деньги». — «Сколько?» — «Тысяча франков». — «Возьмите». — «Благодарю, господин Родольф, через два дня я сообщу вам новости. Низкий поклон всей честной компании! Гром и

молния! Теперь мне сам черт не брат, раз я могу оказать услугу вам, охранять вас — в этом моя жизнь!»

— Теперь ясно, и это вызывает во мне ужас, — воскликнул Жермен. — Допустимо ли такое самопожертвование? Чтобы оказаться в тюрьме и защитить меня, вы совершили кражу? Всю жизнь меня будет мучить совесть!

— Подождите. Господин Родольф уверовал в меня, сказав, что я достойный и мужественный человек. Эти слова для меня — путеводная звезда, отныне я уже не тот человек, каким был.

— Ну а воровство? Если вы его не совершили, то как вы могли попасть сюда?

— Подождите-ка. В этом вся комедия; получив тысячу франков, я купил себе черный парик, сбрил бакенбарды, надел синие очки, засунул подушку за спину — получился горб; затем сразу же иду нанимать комнаты в первом этаже, в оживленном квартале. На улице Прованс нахожу подходящую квартиру, плачу задаток на имя Грегуара. На следующий день направляюсь на улицу Тампль, покупаю мебель для двух комнат, все в том же черном парике с горбом и в синих очках — это, чтобы меня сразу узнавали, — отправляю вещи на улицу Прованс, затем на бульваре Сен-

Дени, все еще наряженный горбуном, покупаю шесть серебряных приборов. Возвращаюсь домой, навожу порядок у себя в квартире, иду к дворнику и предупреждаю его, что сегодня не буду ночевать дома; уношу с собой ключ. Окна моих комнат были закрыты ставнями. Перед уходом я нарочно не накинул внутренний крючок одной из них. Когда наступила ночь, я снял парик, очки, свой «горб» и ту одежду, в которой совершал покупки и снимал квартиру; укладываю весь хлам в чемодан, отправляю его к Мэрфу с просьбой сохранить тряпье; покупаю куртку, синий колпак, железный ломик, а в час ночи прихожу на улицу Прованс и брожу перед моим домом: когда появится патруль, я взломаю ставни, влезу в окно и ограблю свою квартиру, и все только ради того, чтобы меня арестовали.

И тут Поножовщик рассмеялся.

— А! Понимаю... — воскликнул Жермен.

— Но, подумайте, какая незадача! Патруль долго не появлялся!.. Не раз я мог бы ограбить себя. Наконец, около двух ночи, слышу, что в конце улицы шагают солдаты. Я ломаю ставни, ударяю по стеклам, бью стекла, чтобы было побольше треска, влезаю в окно, прыгаю в комнату, хватаю ящик с серебром и кое-что из одежды...

К счастью, патруль услышал звон разбиваемых стекол и ускорил шаги, так что, вылезая через окно, я тут же был схвачен стражей. Стучат во входную дверь, привратник открывает, посылают за комиссаром, он приходит. Привратник сообщает, что две ограбленные комнаты сданы горбатому господину, брюнету в синих очках, по имени Грегуар; а у меня, как видите, светлая грива, настороженный взгляд зайца, сидящего в норе, я строен, как русский гвардеец на часах, вот почему меня не могли принять за горбатого, черноволосого человека в синих очках. Я во всем признался, меня арестовали, отвели в камеру предварительного заключения, а оттуда сюда; я появился в самый подходящий момент, чтобы вырвать из лап Скелета молодого человека, о котором господин Родольф сказал: «Я тревожусь о нем, как о родном сыне».

— Как мне благодарить вас за такую жертву! — воскликнул Жермен.

— Благодарить вы должны не меня, а господина Родольфа...

— Но почему он так заинтересован моей судьбой?

— Он вам об этом скажет, а может быть, и нет, потому что он часто делает добро, но когда его

спрашивают, почему он его делает, он резко отвечает: «Это вас не касается».

— А господин Родольф знает, что вы здесь?

— Я не так глуп, чтоб сообщать ему о своих планах, быть может, он бы не разрешил мне сыграть такую штуку... Скажу не бахвалясь, а штука-то вышла на славу?

— Вы действовали рискованно, и неизвестно, чем это кончится!

— Какой риск? Правда, я мог попасть не в ту тюрьму, где находитесь вы... Но я рассчитывал на помощь господина Родольфа, он настоял бы на моем переводе в тюрьму, где сидите вы, такой господин, как он, может все. Раз я попался, он, конечно, добился бы, чтоб вас обезопасить.

— А когда суд?

— Я попрошу господина Мэрфа прислать мне мой чемодан, снова надену черный парик, синие очки, сооружу горб и опять предстану Грегуаром перед привратником, который сдал мне квартиру, перед торговцами, у которых я покупал разные вещи... Ну а если суд пожелает увидеть вора, то я сброшу с себя все это, и станет ясно как божий день, что вор и обворованный и есть Поножовщик. Какого же черта могут со мной сделать, когда будет доказано, что я обворовал

самого себя?

— Теперь ясно, — уверенно произнес Жермен. — Но раз вы столь преданы мне, почему раньше ничего не сказали?

— Я сразу же узнал, что против вас возник заговор, мог о нем сообщить до или после того, как Гобер закончит свой рассказ, но доносить даже на подобных бандитов мне не по душе... понадеялся на свою удаль, чтоб вырвать вас из лап Скелета. К тому же, увидев этого разбойника, решил, что настал момент расправиться с врагом таким же способом, как когда-то меня проучил господин Родольф.

— А если б все преступники ополчились против вас, что вы смогли б сделать?

— Тогда я завопил бы, как орел клекочет, и призвал бы на помощь! Но хотелось самому сварганить это дельце, чтобы сказать господину Родольфу: это я защитил и буду защищать вашего юношу, не беспокойтесь.

В комнату внезапно вошел надзиратель.

— Господин Жермен, скорее к начальнику! Он желает поговорить с вами. А вы, Поножовщик, если согласны, направляйтесь в камеру — будете старшиной; вы справитесь с этой должностью, арестанты будут повиноваться такому молодцу.

— Меня устраивает, раз такой случай представился, лучше быть капитаном, нежели солдатом.

— Неужели и теперь вы откажетесь пожать мне руку? — искренне спросил Жермен.

— Нет, господин Жермен, не откажусь, думаю, что теперь могу позволить себе дружески подать вам руку.

— Мы еще увидимся. Отныне вы мой щит, мне нечего бояться, каждый день могу гулять.

— Не бойтесь, все будут перед вами лебезить, вот что я подумал: напишите господину Родольфу о том, что я вам рассказал, тогда он не будет волноваться, передайте, что я нахожусь здесь случайно, чтоб он не подумал, что я вор, а то ведь это, черт возьми, меня не устраивает...

— Будьте спокойны, сегодня же вечером напишу своему покровителю; завтра вы сообщите мне его адрес, и письмо будет отправлено. До свидания, еще раз благодарю вас, вы настоящий человек!

— До свидания, господин Жермен, пойду к своей ватаге оборванцев, ведь я теперь староста... Научу их ходить по струнке, кто не послушается, пусть пеняет на себя!

— Когда я думаю, что по моей вине вы должны будете жить среди этих негодяев!

— Ну что ж тут особенного? Ничем не рискую, они не посмеют напасть на меня. Господин Родольф меня научил. Никакая потасовка мне не страшна.

И Поножовщик последовал за надзирателем, а Жермен вошел в кабинет начальника.

Он был поражен, увидев там Хохотушку.

Хохотушка была бледна и взволнована, с влажными от слез глазами. И все же она улыбалась... Лицо ее выражало радость, ликование.

— У меня для вас хорошая новость, — объявил начальник Жермену. — Судебные власти объявили, что вы ни в чем не виноваты. За отсутствием виновности, в соответствии с гражданским кодексом, я получил приказ немедленно вас освободить.

— Что вы говорите, сударь? Неужели это возможно! Хохотушка хотела что-то сказать, но так волновалась, что не смогла промолвить ни слова, умоляюще сложив руки, она лишь утвердительно кивнула головой Жермену.

— Мадемуазель пришла сюда вслед за тем, как я получил приказ освободить вас, — продолжал начальник. — Она принесла мне рекомендательное письмо от весьма высокопоставленного лица. Прочтя его, я убедился, что она предана

вам; проявляла трогательную заботу во время вашего пребывания в тюрьме. Вот почему я охотно послал надзирателя разыскать вас, надеясь, что вы и мадемуазель будете счастливы, выйдя их этих стен.

— Это сон... так бывает только во сне, — сказал Жермен. — Какое благородство! Простите, огромная радость и изумление лишили меня дара речи, я не могу должным образом поблагодарить вас...

— Я так же, господин Жермен, не нахожу слов, — сказала Хохотушка, — судите сами о моем счастье: когда я рассталась с вами, меня встретил друг Родольфа, он ждал меня.

— Опять Родольф! — удивленно заметил Жермен.

— Да, теперь можно вам рассказать, тогда все станет ясно. Мэрф сообщил мне, что Жермен свободен. «Вот письмо к начальнику тюрьмы, — сказал он, — когда вы придете туда, у него уже будет приказ освободить Жермена, и вы сможете его увести». Я не верила своим ушам, однако же все так и вышло, взяла фиакр, приезжаю сюда... и теперь фиакр ждет нас.

Трудно описать счастье влюбленных, когда они вышли из тюрьмы Форс, и тот чудный вечер, который они провели в комнатке Хохотушки.

В одиннадцать часов Жермен вышел из дому, чтобы снять для себя скромную квартиру.

Изложим кратко практические и теоретические принципы, которые мы попытались оспорить, описав эпизод из тюремной жизни.

Мы были бы счастливы, если б нам удалось доказать: неразумность, вред и опасность содержания заключенных в общих камерах...

Несоразмерность, существующую в оценках и наказаниях различных преступлений (домашняя кража, кража со взломом) и некоторых правонарушений (злоупотребление доверием)...

Наконец, показать материальную неспособность бедных классов пользоваться гражданским кодексом.

Глава XIII.
НАКАЗАНИЕ

Мы вновь поведем читателя в контору нотариуса Жака Феррана.

Благодаря обычной болтливости его служащих, почти беспрерывно занятых обсуждением все более заметных странностей своего хозяина, мы расскажем о событиях, происшедших после исчезновения Сесили.

— Держу пари на сто су против десяти, что если дело так пойдет дальше, то наш метр более месяца не протянет, подохнет, как комар.

— Во всяком случае, после того как служанка, похожая на эльзаску, покинула его дом, он него остались только кожа да кости.

— Какая уж там кожа!

— Послушай-ка! Значит, он был влюблен в эльзаску, раз он так высох после того, как она уехала.

— Хозяин — влюблен? Просто смех!

— Напротив... Он, больше чем когда-либо, возится с попами!

— И примите еще во внимание, что наш кюре

— надо отдать ему справедливость, человек уважаемый, — уходя, сказал сопровождавшему его аббату (я сам это слышал): «Восхитительно! Жак Ферран — идеал милосердия и щедрости...»

— Так сказал кюре? Сам кюре? И чистосердечно?

— Что сказал?

— Что наш хозяин — идеал милосердия и щедрости, что во всем мире другого такого не сыскать...

— Я сам это слышал...

— Тогда я больше ничего не понимаю. Наш кюре считается, как говорят, настоящим пастырем, и заслуженно.

— Это так, о нем надо говорить серьезно и почтительно. Он добрый и милосердный, второй Синий Плащ[138], а когда такое говорят о человеке, этим все сказано.

— И сказано немало.

— Бедняки всей душой почитают его как истинного священника.

— Тогда я продолжу свою мысль. Когда кюре

---

[138] Notes: 138

Да будет позволено здесь упомянуть с глубоким уважением имя великого благодетеля господина Шампионэ; мы не имеем чести быть лично знакомым с ним, но все бедные люди Парижа отзываются о нем с исключительным уважением и признательностью.

что-нибудь говорит, ему надо верить, поскольку он не способен лгать; а все-таки поверить, что наш хозяин милосерден, великодушен, я никак не могу, хоть убейте.

— Здорово сказано, Шаламель! Здорово!

— В это можно поверить только как в чудо.

— Ферран великодушен! Да он способен с любого шкуру содрать.

— Но все же, господа, сорок су на завтрак он нам выдает!

— Ну и что? Это ничего не доказывает. Мелочь!

— Да, господа, а с другой стороны, старший клерк сказал, что патрон в течение трех дней перевел огромную сумму в банковские билеты и что...

— Что?

— Ну, расскажи!

— Тут кроется тайна.

— Тем более... Какая же тайна?

— Дайте слово, что никому не расскажете.

— Клянемся жизнью наших детей.

— Пусть моя тетка Мессидор станет продажной шлюхой, если я проболтаюсь хоть словом!

— А теперь вспомним, как торжественно говорил король Людовик Четырнадцатый венецианскому дожу, обращаясь к придворным:

Коль в тайну клерк был посвящен,
Ее вмиг выболтает он.[139]

— Да ну тебя, Шаламель, с твоими поговорками!

— Смерть Шаламелю!

— Пословицы выражают мудрость народа; потому я требую, чтобы ты открыл нам свою тайну.

— Довольно болтать... я поклялся старшему клерку сохранить это в тайне...

— Но он же не запретил тебе поведать тайну всему свету?

— Не бойся, отсюда это не выйдет, рассказывай!

— Да он сам сгорает от желания сообщить новость!

— Ну ладно! Хозяин продает контору. Кажется, уже продал.

— Вот это да!

— Вот так новость!..

— Ошеломительно!

— Поразительно!

— А теперь возникает вопрос: кто взвалит на себя дело, которое хозяин решил с себя спихнуть.

— Господи, как несносен этот Шаламель и его

---

[139] Notes: 139
Здесь и далее стихи в переводе В. Е. Васильева

вечные каламбуры!

— Откуда мне знать, кому он продает свою контору?

— Если он ее продает, значит, хочет вести праздную жизнь, задавать балы, развлекаться, как говорят в высшем свете.

— В конце концов, у него есть средства.

— И семья на нем не весит.

— Да уж наверняка есть на что. Старший клерк говорит, что у него больше миллиона, включая стоимость конторы.

— Больше миллиона, это неплохо.

— Говорят, он тайком играл на бирже вместе с майором Робером и выиграл много денег.

— И притом жил как скряга.

— Да, но уж если скряга начнет транжирить, он становится расточительнее любого мота.

— Я согласен с Шаламелем: теперь хозяин хочет пожить в свое удовольствие.

— Он совершит непростительную ошибку, если не предастся сладострастию, не погрузится в наслаждения Голконды... раз есть деньги... ибо, как сказал меланхоличный Оссиан в пещере Фингала:

Любой судья не прочь кутнуть. Ну что ж!

Есть деньги — есть и право на кутеж.

— К черту Шаламеля!

— Что за чушь!

— Да, но у хозяина совсем не тот вид, непохоже, чтобы он мог наслаждаться.

— Вид у него такой, что краше в гроб кладут!

— А кюре еще восхищается его милосердием!

— Ну так что же? Истинное милосердие прежде всего обращается на себя самого. Ты что, дикарь, не знаешь, чего требует от тебя всевышний? Если хозяин просит для себя милостыню в виде утонченных наслаждений... его долг себе их доставить... иначе он сам себе покажется ничтожеством...

— Больше всего меня удивляет его новый друг, который словно с неба свалился и ходит за ним как тень.

— Не говоря уже о том, что он уродлив...

— Рыжий, как морковка...

— Я готов подумать, что этот втируша появился на свет благодаря случайной ошибке господина Феррана на заре его молодости, ибо, как говорил Орел из Мо[140] в связи с пострижением в монахини обворожительной Лавальер:

---

[140] Notes: 140
Имеется в виду Людовик XIV.

С кем ни свяжись: будь молод он, будь стар —

Ребеночка тебе оставят в дар.

— Смерть Шаламелю!

— Правда... Он никому не дает слово сказать!

— Какая глупость! Утверждать, что новичок — сын патрона.! Да он старше нашего хозяина, сразу видно.

— Ну и что? Строго говоря, какое это имеет значение?

— То есть как! Что же, по-твоему, сын может быть старше отца?

— Господа, я подумал об исключительном, самом необычайном случае.

— Как же ты объясняешь?

— Очень просто: патрон появился на свет потому, что его друг в молодости согрешил и стал отцом Феррана, вместо того чтобы быть его сыном.

— К черту Шаламеля!

— Не слушайте его; он как начнет болтать, то и конца не видно.

— Верно то, что втируша ни на минуту не оставляет Феррана.

— Сидит с ним в кабинете безотлучно, едят они

вместе, один без другого шага не сделает.

— Я, кажется, уже встречал здесь этого гостя.

— А я его не видел.

— Скажите, господа, вы не заметили, что вот уже несколько дней, как здесь каждые два часа появляется мужчина с длинными светлыми усами и военной выправкой и вызывает этого незваного гостя через швейцара? Тот выходит поговорить с ним, а затем усач поворачивается кругом, как автомат, и уходит, чтобы через два часа появиться снова.

— Верно, я тоже это заметил... Мне казалось также, что, когда я уходил, я видел на улице несколько человек, которые наблюдали за нашим домом.

— Серьезно, здесь происходит что-то необычное.

— Поживем — увидим.

— Старший клерк, может быть, знает об этом больше, чем мы? Но он хитрит.

— А кстати, где он?

— Он у графини, которую пытались убить. Кажется, теперь она уже вне опасности.

— Графиня Мак-Грегор?

— Да, сегодня утром она срочно потребовала патрона к себе, но он вместо себя отправил стар-

шего клерка.

— Быть может, по поводу завещания?

— Нет, она ведь поправляется.

— Сколько теперь дел у нашего старшего клерка, ведь он же исполняет обязанности Жермена, работает кассиром!

— Кстати, о Жермене, получилась еще одна смешная история.

— А что?

— Патрон, чтобы освободили Жермена, заявил суду, что он сам, господин Ферран, допустил ошибку при подсчете и обнаружил деньги, которые требовал от Жермена.

— По-моему, это вовсе не смешно, а справедливо; помните, я всегда говорил, что Жермен не способен на кражу.

— Тем не менее для него было мучительно оказаться арестованным и сидеть в тюрьме.

— Я бы на его месте потребовал от Феррана возмещение.

— В самом деле, он должен восстановить его в должности кассира, чтобы доказать его невиновность.

— Да, но, быть может, Жермен этого не захочет.

— А что, он все там, в деревне, куда поехал,

выйдя из тюрьмы? Он нам сообщал, что порывает всяческие отношения с Ферраном.

— Наверное, там, потому что вчера я был в доме, где он жил, и мне сказали, что он еще в деревне и ему можно писать в Букеваль, через Экуен, на имя фермерши, госпожи Жорж.

— Господа, смотрите, карета! — сказал Шаламель, посмотрев в окно. — Вот чертовщина! Это не такая элегантная карета, как у знаменитого виконта. Помните блестящего кавалера Сен-Реми, приезжавшего с лакеем в ливрее, шитой серебром, и с толстым- кучером в белом парике? На сей раз это просто извозчичья пролетка.

— Минутку! А, черное платье!

— Женщина! Женщина! Ну-ка, поглядим!

— Господа, до чего неприлично для своего возраста этот пострел увлекается женщинами! Только о них и думает. В конце концов, придется посадить его на цепь, иначе он будет лохищать сабинянок прямо на улице, потому что, как говорит Фенелон в своем «Трактате о воспитании», предназначенном для дофина:

Прекрасный пол — прочь от божка-пострела!

С ним не шути. Он дерзок до предела?

— Смерть Шаламелю!

— Черт побери! Шаламель, вы сказали, черное платье. А я полагаю...

— Дурошлеп, это кюре!.. Смотри, в другой раз не ошибись!

— Кюре нашего прихода? Наш добрый аббат?

— Он самый, господа!

— Вот уж достойный человек!

— Не то что иезуиты!

— Конечно, и, будь все аббаты похожи на него, все прихожане стали бы благочестивыми.

— Тихо! Кто-то открывает дверь.

— Быстро по местам! Это он!

Клерки склонились над столами и стали с притворным старанием громко скрипеть перьями.

Бледное лицо священника было одновременно и добрым и серьезным, умным и внушающим доверие, в его взоре ощущалась кротость и ясность духа. Небольшая черная шапочка прикрывала тонзуру, его седые, в меру длинные, волосы ниспадали на воротник коричневой рясы.

Поспешим заметить, что благодаря своей наивной доверчивости благородный пастырь всегда оказывался одураченным ловким лицемером Жаком Ферраном.

— Дети мои! Ваш уважаемый патрон в своем

кабинете? — спросил кюре.

— Да, господин аббат, — ответил Шаламель, вставая и почтительно кланяясь. И он открыл аббату дверь в соседнюю с конторой комнату. Услышав громкий и нервозный разговор в кабинете Жака Феррана, аббат, не желая подслушивать, быстро подошел к двери и постучал.

— Входите, — послышался голос с сильным итальянским акцентом.

В комнате аббата встретили Полидори и Жак Ферран. Клерки, по-видимому, не ошибались, предсказывая скорую смерть своему патрону.

После исчезновения Сесили он стал почти неузнаваем.

Хотя лицо его крайне осунулось и стало мертвенно-бледным, на выдающихся скулах проступал лихорадочный румянец; нервная дрожь то прекращалась, то переходила в конвульсивные судороги; костлявые руки были сухие и горячие; за большими зелеными очками скрывались налитые кровью глаза, горевшие огнем пожирающей его лихорадки. Словом, мрачная маска его лица выдавала непрерывное смертельное разрушение.

Физиономия Полидори представляла полную противоположность лицу нотариуса. Нельзя

было представить ничего более холодно-насмешливого, чем выражение лица этого негодяя; густая шевелюра ярко-рыжих волос, перемежающихся несколькими поседевшими прядями, украшала его бледный, изборожденный морщинами лоб; острые пронзительные глаза, зеленые и прозрачные, как морская вода, были посажены очень близко к крючковатому носу; рот с тонкими втянутыми губами выражал злобу и сарказм. Полидори, весь в черном, сидел подле письменного стола Жака Феррана.

При виде кюре оба поднялись.

— Здравствуйте, ну как ваше здоровье, достойнейший господин Ферран? — заботливо спросил аббат. — Вам немного лучше?

— По-прежнему, господин аббат; лихорадка не проходит, терзает бессонница. Да будет воля божья!

— Да, господин аббат, — лукаво произнес Полидори, — какое благочестивое смирение! Мой бедный друг верен себе: облегчение своим страданиям он находит лишь в добрых делах.

— Я не заслуживаю таких похвал, извольте меня от них избавить, — с едва сдерживаемой ненавистью и злобой сухо произнес нотариус. — Только всевышний может быть судьей добра и

зла; я лишь ничтожный грешник.

— Все мы грешны, — мягко возразил аббат, — но мы лишены того милосердия, которым вы так отличаетесь, мой уважаемый друг. Редко встречаются люди, способные, как вы, всецело отречься от благ земных, чтобы еще при жизни по-христиански разделить свое достояние. Вы решительно настроены продать свою контору, с тем чтобы всецело предаться святой благотворительности?

— Два дня тому назад я продал свою контору, господин аббат; редкостная удача, благодаря некоторым уступкам мне удалось получить деньги сполна; эта сумма, добавленная к другим, необходима для основания заведения, о котором я вам говорил; окончательный план его мною уже выработан, и я готов вручить его вам.

— Ах, мой достопочтенный друг! — воскликнул аббат с глубоким и искренним восхищением. — Вы совершаете добрые дела... так просто... и, можно сказать, так естественно!.. Я повторяю, редко встречаются такие люди, как вы, они заслуживают всяческого благословения.

— Дело в том, что редко кто из людей соединяет в себе, как Жак, богатство и благочестие, разум и милосердие, — сказал Полидори с иронической

улыбкой, не замеченной аббатом.

При этой новой язвительной похвале у нотариуса невольно сжались кулаки, он бросил сквозь очки на Полидори взгляд, полный адской злобы.

— Видите, господин аббат, — поспешил сказать близкий друг Феррана, — у него все еще продолжаются эти конвульсивные припадки, от которых он не хочет лечиться... Он меня приводит в отчаяние... Он сам себе палач... Да, я смею сказать эти слова аббату: ты сам себя обрекаешь на смерть, мой бедный друг!..

При этих словах Полидори у нотариуса вновь начались конвульсии, но постепенно он успокоился.

Во время этого разговора и в особенности во время того, который последует ниже, человек, менее наивный, чем аббат, заметил бы в речах нотариуса известную принужденность, сдержанный гнев, так как нет надобности говорить, что воля, более сильная, чем воля нотариуса, словом, воля Родольфа, принуждала метра Феррана произносить слова и совершать поступки, диаметрально противоположные его натуре.

Порой, доведенный до крайности, нотариус, казалось, колебался и готов был восстать против всемогущего влияния невидимого авторитета, но

властный взгляд Полидори ставил предел этой нерешительности, и тогда нотариус, сосредоточив во вздохе бешенства самое злобное волнение, подчинялся ярму, которое не мог сбросить.

— Увы, господин аббат, — продолжал Полидори, который, казалось, поставил перед собой задачу изводить своего сообщника булавочными уколами, как говорят в просторечье, — мой бедный друг совсем не бережет свое здоровье... Скажите же ему то, что говорю я, чтоб он полечился, если не для себя, то для своих друзей и, во всяком случае, для тех обездоленных, надеждой и поддержкой которых он является...

— Довольно!.. Довольно!.. — пробормотал нотариус глухим голосом.

— Нет, не довольно, — с волнением заговорил аббат, — мы вам беспрестанно будем повторять, что вы принадлежите не только себе, что дурно с вашей стороны так пренебрегать здоровьем. Вот уже десять лет, как я знаком с вами, и я ни разу не видел вас больным, но за прошедший месяц вы стали неузнаваемы. Я еще более поражен тем, как вы изменились, потому что некоторое время я вас не видел. Уже при последнем нашем свидании я не мог скрыть моего изумления, но за эти несколько дней я замечаю, что вы изменились

еще сильнее: вы чахнете на глазах, вы нас сильно беспокоите... Умоляю вас, мой достопочтенный друг, подумайте о своем здоровье...

— Премного благодарен за ваше внимание, господин аббат, но, уверяю вас, мое здоровье не вызывает таких опасений, как вам кажется.

— Раз ты продолжаешь стоять на своем, — возразил Полидори, — я сам все расскажу господину аббату: он тебя любит, уважает, он глубоко почитает тебя; что же будет тогда, когда он услышит о твоих новых заслугах, когда он узнает истинную причину твоего истощения?

— А что еще? — спросил аббат.

— Господин аббат, — нетерпеливо возразил нотариус, — я пригласил вас сюда для того, чтобы сообщить вам о проектах исключительно важных, а не для того, чтобы выслушивать смехотворные похвалы, расточаемые мне моим другом.

— Ты знаешь, Жак, что тебе придется внимательно выслушивать все, что я говорю, — сказал Полидори, пристально взглянув на него.

Тот, опустив глаза, замолчал. Полидори продолжал:

— Вы, быть может, заметили, господин аббат, что первые признаки нервной болезни Жака

появились вскоре после ужасающего скандала, учиненного Луизой Морель в этом доме.

Нотариус задрожал.

— Значит, вы знаете о преступлении этой несчастной девушки? — с удивлением спросил аббат. — Я полагал, что вы приехали в Париж сравнительно недавно?

— Конечно, господин аббат, но Жак мне все рассказал как своему другу, как своему врачу, он был возмущен, узнав о преступлении Луизы, что, по его мнению, и вызвало нервное потрясение, от которого он теперь страдает. Но этого мало, мой бедный друг должен был, увы, пережить новые горести, которые, как видите, ухудшили его здоровье... Старая служанка, благодарная и душевно преданная ему в течение многих лет...

— Госпожа Серафен? — сказал аббат, прервав Полидори. — Я узнал о смерти этой несчастной, утонувшей вследствие пагубной неосторожности, и сочувствую горю господина Феррана! Так просто не забыть, что она честно служила ему десять лет, а подобная скорбь делает честь и хозяину и служанке.

— Господин аббат, умоляю вас, — сказал нотариус, — не говорите о моих добродетелях, вы смущаете меня... мне это неприятно.

— А кто же расскажет о тебе, ведь ты сам словом не обмолвишься, — добродушно возразил Полидори, — а вам, господин аббат, сейчас придется похвалить моего друга; вы, быть может, не знаете, какая служанка заменила Луизу Мораль и госпожу Серафен в доме Жака. Вы, наконец, не знаете, что он сделал для бедной Сесили — это имя его новой служанки.

Нотариус невольно вскочил со своего кресла, его глаза загорелись под очками; мертвенное лицо покрылось румянцем.

— Замолчи... замолчи!.. — воскликнул он, поднявшись. — Ни слова, запрещаю тебе говорить!

— Да что вы, успокойтесь, — кротко улыбаясь, сказал аббат, — о каком добродетельном поступке хочет нам поведать ваш друг? Что касается меня, то я всецело одобряю его нескромность... Я в самом деле не знал об этой служанке: через несколько дней после того, как она поступила в дом господина Феррана, он, чрезвычайно занятый, к моему огорчению, внезапно прервал наши встречи.

— Господин аббат, он не встречался с вами потому, что хотел утаить от вас замысел нового доброго дела. Вот почему, хотя он и возмущен в силу присущей ему скромности, придется ему

меня выслушать, а вы все узнаете, — улыбаясь, промолвил Полидори.

Жак Ферран замолчал и, опираясь локтями на свой письменный стол, закрыл лицо руками.

Глава XIV.
БАНК ДЛЯ БЕДНЫХ

Представьте себе, господин аббат, — продолжал Полидори, обращаясь к кюре, но подчеркивая каждую фразу ироническим взглядом в сторону Феррана, — да, представьте, что мой друг нашел в своей новой служанке Сесили — я уже называл ее имя — отменные достоинства... исключительную скромность... ангельскую доброту и, в особенности, удивительное благочестие... Но этого мало. Жак, с присущей его профессии наблюдательностью, вскоре заметил, что молодая женщина — потому что она была молода и прелестна, господин аббат, — не предназначена для роли обыкновенной служанки и что, придерживаясь строгих принципов целомудрия, она к тому же солидно образована и обладает разнообразными знаниями.

— Действительно, как странно, — сказал аббат, сильно заинтересованный, — я ничего не знал об этих обстоятельствах. Но что с вами, мой добрый Ферран? Вам, кажется, стало хуже?

— Да, — промолвил нотариус, вытирая холод-

ный пот со лба, так как для него было крайне мучительно сдерживаться, — у меня немного болит голова... ничего, пройдет. Полидори, пожав плечами, улыбнулся.

— Заметьте, господин аббат, — сказал он, — что Жак всегда чувствует себя скверно, когда становится известно какое-нибудь из его тайных благодеяний. Он такой лицемер, когда речь идет о совершаемых им добрых делах! К счастью; я здесь, и ему будет воздано по заслугам. Обратимся к Сесили. В свою очередь, она вскоре распознала великодушие сердца Жака, и, когда он стал расспрашивать ее о прошлом, она откровенно призналась, что, будучи иностранкой, без средств к существованию, доведенная до нищенского состояния неблаговидным поведением мужа, сочла даром судьбы попасть в святой дом столь почтенного человека, как Ферран. Узнав о стольких ее горестях... о ее покорности судьбе... о ее целомудрии... Жак, не колеблясь, написал на ее родину письмо с целью получить о ней некоторые сведения. Они весьма положительно характеризовали иностранку и всецело подтверждали все то, что она рассказала моему другу; тогда, убежденный, что совершает праведное дело, Жак благословил Сесили как отец, отправил ее на родину, вручив

ей такую сумму денег, которая обеспечила бы ее до лучших времен, когда она сможет найти себе более подходящее положение в жизни. Я больше не стану хвалить Жака: факты красноречивее моих слов.

— Отлично, прекрасно! — воскликнул умиленный аббат.

— Господин аббат, — сказал Жак Ферран сдержанным и глухим голосом, — я не хочу злоупотреблять вашим драгоценным временем, не будем больше говорить обо мне, умоляю вас, поговорим о проекте, из-за которого я пригласил вас сюда, с тем чтобы испросить ваше благосклонное содействие.

— Я вижу, что похвалы друга оскорбляют вашу скромность, займемся же вашими новыми благочестивыми планами, не будем говорить о том, что исходят они от вас; но прежде всего поговорим о порученном мне деле. Согласно вашему желанию я внес на свое имя во Французский банк сто тысяч экю, предназначенных для возврата долга, через ваше посредничество все это должен был сделать я. Вы предпочли, чтоб этот взнос не оставался у вас, хотя, как мне кажется, у вас он был бы в такой же надежной сохранности, как и в банке.

— Да, господин аббат, об этом меня просил

неизвестный должник, он поступает так ради спокойствия своей совести. Согласно его желанию, я должен был вручить эту сумму вам и просить вас передать ее вдове де Фермон, урожденной де Ренвиль (голос нотариуса слегка задрожал, произнося эти слова), когда эта дама придет к вам и предъявит удостоверение личности.

— Я исполню ваше поручение, — сказал аббат.

— Но это еще не все, господин аббат.

— Тем лучше, если другие поручения будут подобны этому, потому что, какова бы ни была причина, побудившая человека поступить так, меня всегда трогает добровольная уплата долга; это возвышенное решение, продиктованное только совестью, которое выполняется честно и добровольно, от всей души, всегда служит свидетельством искреннего раскаянья, а не бесплодного искупления.

— Господин аббат, ведь сто тысяч экю, возвращенные сразу, редкостный случай? Не так ли? Меня больше вас мучило любопытство, но оно было бессильно перед непоколебимой скромностью Жака. Я и поныне не знаю имени честного человека, совершившего этот благородный возврат денежных средств.

— Кто бы он ни был, — произнес аббат, — я

убежден, что он питает исключительное уважение к Феррану.

— Этого честного человека, — господин аббат, действительно я глубоко уважаю, — ответил нотариус с плохо скрываемой горечью.

— И это еще не все, господин аббат, — возразил Полидори, многозначительно глядя на Жака Феррана, — вы увидите, до какой степени великодушия дошел этот неизвестный должник, и, откровенно говоря, я сильно подозреваю, что наш друг немало способствовал пробуждению совести у этого человека и нашел способ ее успокоить.

— Каким образом? — спросил аббат.

— Что вы хотите этим сказать? — добавил нотариус.

— А славная и честная семья Морель?

— Ах да... действительно, я забыл, — глухим голосом произнес Жак Ферран.

— Представьте себе, — продолжал Полидори, — что этот должник, несомненно по совету Жака, не удовольствовался тем, что возвратил значительную сумму, а хочет еще... Но пусть говорит наш уважаемый друг... я не желаю лишать его удовольствия.

— Я вас слушаю, мой дорогой Ферран, — сказал священник.

— Вам известно, — начал Жак с лицемерным раскаяньем, постоянно прерываемым невольным возмущением той ролью, которую ему навязали; это возмущение проявлялось в том, что голос его искажался и он колебался перед тем, как произнести то или иное слово. — Вы знаете, господин аббат, что скверное поведение Луизы Морель... было таким тяжелым ударом для ее отца, что он сошел с ума. Большая семья этого ремесленника чуть не умерла с голода, лишившись единственного кормильца. К счастью, провиденье пришло к нему на помощь, и... лицо, пожелавшее возвратить долг, чьим посредником вы согласились быть, сочло, что не в полной мере искупило большое злоупотребление доверием. Этот человек спросил у меня, не знаю ли я достойной семьи, нуждающейся в помощи. Я должен был сообщить этому щедрому человеку о семье Морель; тогда, вручив мне необходимую сумму, меня попросили тотчас передать деньги вам, с тем чтобы вы оформили ренту в две тысячи франков на имя Мореля, которая может быть перечислена его жене и детям.

— Но, по правде говоря, — сказал аббат, — всецело принимая эту новую, несомненно, благородную миссию, я удивлен, почему вы сами

не пожелали ее исполнить.

— Неизвестное лицо полагает, и я разделяю его мнение, что добрые дела обретут дополнительную добродетель, будут, так сказать, освящены... если их исполнит человек такой благочестивый, как вы.

— На это я ничего не могу ответить, я оформлю ренту в две тысячи франков на имя Мореля, достойного и несчастного отца Луизы. Но я так же, как и ваш друг, считаю, что этот новый акт искупления был совершен не без вашего влияния.

— Я только указал на семью Мореля... ничего больше, прошу мне верить, — ответил Жак Ферран.

— А теперь, — заговорил Полидори, — вы узнаете, господин аббат, какой высоты филантропии достиг мой добрый Жак, затеяв благотворительное заведение, о котором мы с вами уже говорили; он прочтет нам окончательно разработанный план; деньги для создания фонда находятся здесь, в его классе; но вот вчера у него вдруг возникло сомнение; если он не осмелится вам об этом сообщить, то это сделаю я.

— Не надо, — возразил Жак Ферран, который иногда предпочитал оглушить себя собственной речью, нежели быть вынужденным молчать

и выслушивать иронические похвалы своего сообщника. — Вот в чем дело, господин аббат. Я подумал... что проявлю более христианское... смирение, если банк... будет основан не под моим именем.

— Но такое смирение чрезмерно, — воскликнул аббат. — Вы можете и должны законно гордиться основанием благотворительного фонда; ваше право, почти обязанность — связать его с вашим именем.

— Тем не менее я предпочитаю, господин аббат, держать имя основателя в тайне, я так решил... и рассчитываю на вашу доброту, надеясь, что вы, не называя моего имени, выполните последние формальности и выберете младших служащих для нашего учреждения. Я сохраняю за собой только право назначить директора и привратника.

— Если б даже для меня не было настоящим удовольствием содействовать вашему делу, это все-таки мой долг. Итак, я согласен.

— А сейчас, господин аббат, если вы пожелаете, мой друг прочтет вам план, который окончательно утвердил...

— Поскольку вы столь любезны, мой друг, — с горечью произнес Ферран, — читайте сами... Избавьте меня от этого неприятного труда... про-

шу вас.

— Нет, нет, — возразил Полидори, взглянув на нотариуса с сарказмом, который тот сразу заметил. — Для меня будет истинным удовольствием услышать из твоих уст выражение благородных чувств, побудивших тебя основать филантропический фонд.

— Ладно, буду читать я, — резко ответил нотариус, взяв с письменного стола какую-то бумагу.

Полидори, давний сообщник Феррана, хорошо знал преступления и тайные мысли этого негодяя; вот почему он не смог сдержать жестокой усмешки, наблюдая, как нотариус вынужден читать этот документ, продиктованный Родольфом. Как видно, принц, наказывая нотариуса, проявил поразительную логику.

За сладострастие он подверг его пытке сладострастием.

За жадность — жадностью.

За лицемерие — лицемерием.

Ибо, если Родольф избрал досточтимого аббата посредником по возврату долга и искуплению грехов Феррана, тем самым он хотел вдвойне наказать мерзавца за его лицемерие, с помощью которого он снискал наивное уважение и чистосердечную симпатию доброго аббата.

Что могло быть большим наказанием для этого мерзкого обманщика, закоренелого преступника, чем то, что его заставили наконец действительно проявить христианские добродетели, так часто симулируемые им в прошлом? И на этот раз он должен был в бессильном бешенстве заслужить похвалу уважаемого священника, которого он так долго дурачил.

Итак, Жак Ферран, как можно было предположить, прочел следующий проект со скрытым чувством злобы.

УЧРЕЖДЕНИЕ БАНКА БЕЗРАБОТНЫХ ТРУДЯЩИХСЯ

«Возлюбим друг друга», — сказал Христос.

Божественные слова содержат в себе зародыш всех обязанностей, добродетелей, благотворительных деяний.

Они вдохновили смиренного основателя данного учреждения.

Только Христу принадлежат совершенные им добрые дела.

Ограниченный в средствах, основатель стремился помочь возможно большему числу своих братьев.

Прежде всего он обращается к честным, трудолюбивым, обремененным семьей рабочим, которых безработица часто доводит до жестокой крайности.

Не унизительную милостыню предлагает он своим братьям, а беспроцентную ссуду.

Пусть этот заем, как он надеется, облегчит их участь в будущем, спасет от разорительных займов, которые они вынуждены брать до тех пор, пока не найдут работы, их единственного средства существования, с тем чтобы поддержать семью, единственными кормильцами которой они являются!

В качестве гарантий этого займа он требует у своих братьев только соблюдения чести и верности данному слову.

В первый год учредитель обеспечивает двенадцать тысяч франков годового дохода до тех пор, пока эта сумма не будет увеличена притоком вкладов в банк, и беспроцентные займы от двадцати до сорока франков, предоставляемые семейным, проживающим в VII округе; этот район выбран потому, что он заселен

главным образом трудящимися.

Упомянутые ссуды будут предоставляться только рабочим и работницам, имеющим справку о благонадежности их поведения, выданную владельцем предприятия с указанием причин и даты прекращения работы.

Предоставляемые ссуды должны возвращаться ежемесячно шестого либо двенадцатого числа — число выбирает должник, начиная со дня поступления на новую работу.

Должник подпишет простое обязательство соблюдать сроки возвращения взятой ссуды.

В качестве гарантии он должен иметь двух поручителей из числа своих товарищей, для того чтобы путем солидарности развить и расширить святость клятвенного обязательства[141].

Рабочий, не возвративший ссуды, так

---

[141] Notes: 141

Быть может, широкой публике неизвестно, что рабочий обычно с таким уважением относится к своему долгу, что ростовщики, предоставляя кредит на короткий срок за баснословный процент от 300 до 400%, не требуют никаких письменных обязательств, — и долг всегда полностью оплачивается. Эти мерзкие сделки совершаются главным образом на Центральном рынке и в его окрестностях.

же, как и его поручители, лишается права получения нового займа, ибо они нарушили священное обязательство, а главное — лишили своих братьев возможности пользоваться займом, так как не возвращенная ими сумма оказывается потерянной для банка бедных.

Напротив, если же одолженные суммы будут честно возвращены, это позволит из года в год расширять круг обеспечиваемых ссудой рабочих и увеличивать выдаваемую сумму; к тому же со временем станет возможным оказывать такие же благодеяния и в других округах.

Не унижать достоинства человека милостыней.

Не содействовать лени бесполезными дарами.

Возбуждать в среде трудящихся чувства собственного достоинства и чести, подлинной порядочности, присущие рабочему классу.

Окажем братскую помощь рабочему, который и так с трудом существует из-за низкой оплаты его труда и не может обрекать на голод и нужду самого себя

и свою семью, потому что он лишается заработка...

Таковы принципы, послужившие основанию нашего банка[142].

Слава только тому, кто сказал «Возлюбим друг друга»!

— Ах! — благоговейно воскликнул аббат, — какая милосердная идея! Я понимаю ваше волнение, когда вы читали столь трогательно простые слова!

Действительно, заканчивая чтение, голос Феррана изменился, его терпение и мужество были на исходе; но за ним следил Полидори, а потому он не смел и не мог нарушить ни малейшего приказания Родольфа.

Представьте себе ярость нотариуса, вынужденного столь щедро, столь милосердно распоряжаться своим состоянием в пользу класса, безжалостно им преследуемого в лице гранильщика Мореля.

— Не правда ли, господин аббат, ведь идея Жака

---

[142] Notes: 142

Наш проект, по поводу которого мы консультировались с некоторыми уважаемыми и образованными рабочими, бесспорно, далеко не совершенен, но мы предлагаем его вниманию лиц, проявивших интерес к рабочему люду, надеясь, что здоровое зерно, которое содержит в себе проект (мы смело можем утверждать это), будет развито и дополнено людьми более просвященными, нежели автор этой книги.

превосходна, — сказал Полидори.

— Да, сударь, мне часто приходится встречать нуждающихся людей, и я, как никто другой, в состоянии понять, какое важное значение будет иметь для бедных и честных безработных этот заем, который состоятельным людям, быть может, покажется очень скудной суммой. Увы! Сколько добрых дел могли бы они совершить, если б знали, что те небольшие средства, которые они расходуют, чтобы ублажить любую прихоть своей праздной жизни... что тридцать или сорок франков, которые им вовремя возвратят, правда, без процентов, могут обеспечить будущее, а иногда даже уберечь честь семьи, которую отсутствие заработка обрекает на неотступную нищету и нужду. Безработному бедняку всегда отказывают в кредите, а если ему и дают немного денег без залога, то при условии выплаты чудовищного ростовщического процента; взяв на неделю тридцать су, возвратить нужно сорок, да еще нелегко найти в кредит и эту скромную сумму. Даже займы ломбарда в иных обстоятельствах

можно получить почти за триста процентов[143]. Безработный ремесленник часто закладывает за сорок су свое единственное одеяло, которое в зимние ночи спасает его и всю семью от стужи... Но, — восторженно заявил аббат, — беспроцентный заем от тридцати до сорока франков, который можно возвращать по одной двенадцатой каждый месяц, если должник получит работу... ведь для честных рабочих это спасение, это надежда, жизнь!.. И как своевременно возвратят они свой долг! Ах, сударь, тут уж у вас не будет банкротства... Деньги, взятые в долг для того, чтобы обеспечить куском хлеба жену и детей, это священный долг!

— Как дороги тебе должны быть похвалы господина аббата, Жак! — воскликнул Полидори. — А

---

[143] Notes: 143

Мы приводим следующие факты из превосходного и красноречивого очерка, опубликованного г-ном Альфонсом Эскиросом в «Парижском обозрении» от 11 июля 1843 г. «Среднее число вещей, сдаваемых под залог в ломбард за 3 франка в VIII и XII округах Парижа, составляет по меньшей мере 500 франков в день. Рабочие, вынужденные довольствоваться столь мизерными средствами, получают в ломбарде лишь незначительную ссуду по сравнению с той нуждой, которую они испытывают. В настоящее время налог за ссуду в ломбарде достигает обычно 13%. Но этот процент возрастает в огромной пропорции, если ссуда выдается не на год, а на более короткий срок. Так как вещи, сдаваемые бедными людьми, как правило, являются предметами первой необходимости, то их приносят и выкупают в самые короткие сроки, вследствие чего некоторые вещи регулярно закладываются и выкупаются раз в неделю. Предположим, что при таких условиях выдана ссуда в 3 франка; тогда процент, выплачиваемый кредитору, будет исчислен

по таксе 294% за год. Денежные средства, собираемые ежегодно в кассу ломбарда, сразу же поступают на счет приютов, это очень значительная сумма. В бедственном 1840 году доходы ломбарда достигли суммы в 422215 франков. Нельзя отрицать, справедливо заключает г-н Эскирос, что эта сумма предназначена для благотворительных целей; собранная среди бедного люда, она возвращается к бедноте, но тем не менее возникает важный вопрос: «Неужели для того, чтобы оказать помощь бедным, следует обращаться только к бедным?» В заключение заметим, что г-н Эскирос, настойчиво добиваясь улучшения условий деятельности ломбарда, отдает должное ревностному усердию его директора г-на Делароша, осуществившего полезные реформы.

он еще больше будет расточать их тебе за то, что ты решил основать бесплатный ломбард.

— Каким образом?

— Конечно, господин аббат, Жак не забыл об этом начинании, ломбард будет добавлением к банку для бедных.

— Неужели это правда? — воскликнул аббат с восхищением, скрестив руки на груди.

— Продолжай, Жак, — сказал Полидори.

Нотариус стал быстро читать, так как эта сцена была для него невыносима.

— «Беспроцентная ссуда имеет целью помогать рабочим в самый тяжелый момент их жизни, когда они становятся безработными. Она будет предоставляться лишь тем трудящимся, которые лишены работы.

Но следует предвидеть и другие жестокие обстоятельства, которые могут возникнуть у работающего человека. Часто приходится временно оставлять работу по состоянию здоровья, из-за необходимости ухаживать за больной женой или ребенком или из-за принудительного выселения из квартиры; эти обстоя-

тельства лишают рабочего ежедневного заработка... Тогда он идет в ломбард и выплачивает за ссуду огромный процент либо обращается к частному заимодавцу, ссужающему его под баснословные проценты.

Стремясь, насколько это возможно, облегчить тяжелую участь своих братьев, основатель банка для бедных выделяет капитал в двадцать пять тысяч франков в год для залоговых ссуд не свыше десяти франков каждому лицу.

Получатели ссуд не оплачивают ни затрат на учреждение банка, ни процентов; они должны лишь доказать, что занимаются честным трудом, и представить справку хозяев предприятий об их нравственной безупречности.

По истечении двух лет невостребованные вещи поступают в продажу; суммы, оставшиеся от их цены сверх выданного под залог, поступают в банк, а владелец заложенной вещи получает пять процентов от стоимости.

Если в течение пяти лет он не востребовал этой суммы, то она поступает в

банк для бедных, будет присоединена к банковскому дебету и позволит последовательно увеличить количество ссуд[144].

Администрация и контора банка для бедных будет находиться на улице Тампль, № 17, в специально купленном доме, в самом населенном месте этого многолюдного квартала. Доход в десять тысяч франков будет предназначен для расхода и содержания администрации банка для бедных, директором которого пожизненно назначается...»

Но тут Полидори прервал нотариуса и сказал аббату.

— Вы сейчас убедитесь, господин аббат, что избрание директора этого банка доказывает, что Жак умеет исправлять невольно причиненное им зло. Вы знаете, что, к своему сожалению, допустив ошибку при подсчете, Ферран напрасно обвинил кассира в растрате денег, которые были потом обнаружены.

— Я не сомневаюсь...

— Так вот, именно честному юноше Франсуа

---

[144] Notes: 144

В некоторых княжествах Италии существует беспроцентный ломбард, институт благодеяния, весьма подобный нашему проекту.

Жермену Жак поручает пост директора и назначает жалованье в четыре тысячи франков. Ведь это же восхитительно... господин аббат?

— Меня теперь ничто не удивляет, вернее сказать, ничего не удивило до сих пор. Ревностная набожность, добродетели нашего достойного друга должны были рано или поздно привести к подобному результату. Пожертвовать всем своим достоянием для такого благородного дела — это превосходно, — сказал аббат.

— Более миллиона, господин аббат, — воскликнул Полидори. — Более миллиона, целое состояние, собранное постоянным трудом, бережливостью и честностью. И находились же мерзкие люди, способные обвинять Жака в скаредности. «Как, — говорили они, — его контора приносит ему пятьдесят или шестьдесят тысяч франков в год, а он живет, лишая себя всего!»

— Таким людям, — с воодушевлением промолвил аббат, — я ответил бы: в течение пятнадцати лет он жил как бедняк, с тем чтобы однажды щедро облегчить жизнь бедняков.

— Так будь счастлив и горд добрыми делами, которые ты совершил, — воскликнул Полидори, обращаясь к Феррану, мрачно и удрученно устремившему взгляд в одну точку и погрузившемуся

в глубокое раздумье.

— Увы, — печально объявил аббат, — не здесь, на земле, обретают награду за подобную добродетель, надо смотреть выше...

— Жак, — слегка касаясь плеча нотариуса, сказал Полидори, — кончай же свое чтение.

Нотариус вздрогнул, провел рукой по лбу, затем, обращаясь к аббату, сказал:

— Простите меня, но я думал... я думал об огромном расширении деятельности банка для бедных вследствие накопления возвратных сумм; если ежегодные ссуды будут вовремя возвращаться, и доходы, следовательно, не уменьшатся. В конце четвертого года в распоряжении банка будет пятьдесят тысяч экю для выдачи беспроцентных ссуд или ссуд под залог. Грандиозное дело... И я радуюсь своему решению, — добавил он со скрытой досадой, думая об огромной жертве, которую его заставляли принести.

Он продолжал:

— Я, кажется, остановился...

— На назначении Франсуа Жермена директором банка, — сказал Полидори.

Жак Ферран продолжал читать:

— «Десять тысяч франков в год предна-

значаются на расходы и на управление банком безработных, пожизненным директором которого будет Франсуа Жермен, а сторожем — нынешний привратник дома по фамилии Пипле.

Аббат Дюмон, которому будут вручены капиталы, необходимые для основания учреждения, сформирует высшую ревизионную комиссию, в состав которой войдут мэр и мировой судья округа; к ним, по их выбору, будут присоединяться лица, полезные для руководства банка бедных и для его развития, потому что учредитель счел бы себя в высшей степени вознагражденным за то малое, что он сделал, если бы и другие милосердные люди содействовали успеху его начинания.

Об открытии банка будет объявлено всеми возможными средствами оповещения.

В заключение учредитель повторяет — в том, что он сделал для своих братьев, нет никакой заслуги.

Его дело является лишь откликом на божественную мысль: «Возлюбим друг

друга».

— А ваше место будет в небесах подле того, кто произнес эти бессмертные слова! — с восторгом воскликнул кюре, пожимая руку Жака Феррана.

Нотариус едва держался на ногах. Не отвечая на поздравление, он поспешил вручить значительную сумму в казначейство, необходимую для основания банка и для выплаты ренты гранильщику Морелю.

— Осмелюсь полагать, — сказал наконец Жак Ферран, — что вы не откажетесь от этой миссии, вверенной вашему милосердию. Впрочем, некий иностранец... по имени Вальтер Мэрф... который дал мне кое-какие советы... при составлении этого проекта, облегчит вашу трудную задачу... и сегодня же придет к вам обсудить практические вопросы; он в вашем распоряжении, если сможет быть чем-либо полезным. Я прошу вас никому, кроме него, не говорить о моем начинании и держать все в глубокой тайне.

— Вы правы. «Богу известно, что вы сделали для своих ближних. Остальное не имеет значения. Я сожалею лишь о том, что могу только своим усердием участвовать в этом благородном учреждении. Оно будет таким же пылким, как неисчерпаемо ваше милосердие. Но что с вами,

вы побледнели... вам дурно?

— Да, немного, господин аббат, продолжительное чтение, волнение, вызванное вашей похвалой, недомогание, которое я испытываю вот уже несколько дней... Простите мою слабость, — сказал Ферран, с трудом садясь в кресло, — ничего серьезного, конечно, я просто выдохся.

— Быть может, вам лучше лечь в постель, позвать врача? — с живым участием произнес аббат.

— Я — врач, — объявил Полидори. — Состояние здоровья Жака Феррана требует тщательного ухода, я этим займусь.

Нотариус задрожал.

— Отдохните немного, и, я надеюсь, это придаст вам силу, — сказал кюре. — Я оставлю вас, но прежде я дам вам расписку в полученной сумме.

В то время как аббат писал расписку, Ферран и Полидори многозначительно переглянулись.

— Итак, воспряньте духом и не теряйте надежды, — сказал священник, вручая расписку Феррану. — Бог еще долго не позволит, чтобы один из лучших его слуг покинул жизнь, столь полезную, исполненную святой добродетели. Завтра я приду вас навестить. Прощайте, мой достойный друг... святой человек...

Аббат ушел.
Ферран и Полидори остались одни.

Часть IX

Глава I.
ЗАГОВОРЩИКИ

Как только аббат ушел, Жак Ферран разразился страшными проклятиями. Его долго сдерживаемые отчаяние и ярость выплеснулись с неистовством; весь дрожа, с искаженным лицом, блуждающими глазами, он метался по комнате как дикое животное на цепи. Полидори, соблюдая полное спокойствие, внимательно наблюдал за нотариусом.

— Гром и молния! — наконец воскликнул Жак Ферран, задыхаясь от гнева. — Мое состояние ушло на эту дурацкую благотворительность!.. Я, презирающий и ненавидящий человечество, я, живший только для обманов и грабежей, должен основывать благотворительные заведения... Принудить меня к этому... адскими средствами... Ну разве не дьявол твой хозяин? — закричал он в отчаянии, остановившись перед Полидори.

— У меня нет хозяина, — холодно ответил тот. — Так же, как и у тебя, все вершит судия...

— Повиноваться, как последний простофиля, любым приказам этого человека! — с возросшим

гневом закричал Жак Ферран. — А священник... над которым я часто насмехался, считая, что он, как и все, жертва моего лицемерия... Каждая его похвала, произносимая от чистого сердца, казалась мне ударом кинжала... И я должен сдерживать себя! Постоянно сдерживать себя!

— Иначе — эшафот...

— О, не иметь возможности избавиться от фатального наваждения! Притом я отдаю более миллиона... Вместе с домом мне остается сто тысяч франков, не больше. Чего еще можно требовать?

— Еще не все... Принц знает от Бадино, что твой доверенный Пти-Жан лишь подставное лицо в деле о ссудах под огромные проценты, предоставленных виконту Сен-Реми... что ты через Пти-Жана безжалостно обобрал Сен-Реми за его махинации. А деньги для уплаты процентов Сен-Реми одолжил у важной особы... Возможно, эти деньги тебе еще придется возмещать... Дело откладывается, потому что оно очень щекотливое.

— Скован... опутан цепями!

— Крепко, словно канатом.

— Ты... мой тюремщик... негодяй!

— Что поделаешь? По повелению принца все очень разумно: он наказывает преступление

— преступлением, соучастника — той же мерой наказания.

— Проклятие!

— К несчастью, ярость твоя бессильна!.. Ибо пока он мне не скажет: «Жак Ферран может покинуть свой дом», я буду следить за тобой, буду твоей тенью. Пойми: я так же, как и ты, заслуживаю эшафота. И если не выполню приказаний, которые я получил как твой надзиратель, не сносить головы и мне. Поэтому более неподкупного стража у тебя и быть не может... А бежать вместе — невозможно... Как только уйдем отсюда, попадем в руки людей, днем и ночью охраняющих и соседний дом — единственный выход в случае бегства.

— Я это знаю, черт побери!

— Поэтому покорись: бегство невозможно!.. Даже в случае удачи мы не сможем спастись: по нашим следам направят полицию; если же ты будешь послушен и повиноваться мне, тогда мы можем быть уверены, что нам не отрубят голову. Еще раз говорю — смиримся.

— Не приводи меня в отчаяние своим холодным рассудком, а то...

— А то что? Тебя я не боюсь, я вооружен, даже если ты нашел отравленный стилет Сесили, что-

бы пронзить меня...

— Замолчи!

— Ничего не выйдет... Ты знаешь, что каждые два часа я должен представлять кому следует сведения о твоем драгоценном здоровье... Это лучший способ следить за нами обоими... Если я не появлюсь, заподозрят, что я убит, тебя арестуют... Но, погоди, разве я тебя оскорбляю, считая способным на это преступление? Ты пожертвовал более миллиона, чтобы спасти жизнь, и будешь рисковать ради никчемной потехи убить меня из мести! Да нет же! Ты не настолько глуп!

— Ты знаешь, что я не могу тебя убить, и потому терзаешь меня, издеваешься надо мной, приводишь меня в отчаяние.

— Твое положение весьма забавно. Жаль, что не можешь видеть себя со стороны... Но, честное слово, все это очень смешно.

— Несчастье... безысходность... Куда ни взгляни, всюду разорение, бесчестие, смерть! Как раз теперь, когда я больше всего на свете боюсь... умереть. Проклятие — нам, всему миру!

— Твоя ненависть к людям гораздо глубже, чем любовь к ним... Ненависть ко всему миру. А любовь — только к Парижскому округу.

— Ну что ж... издевайся, изверг!

— Ты был бы доволен, если б я порицал тебя, ограничился лишь упреком?

— За что?

— Кто виноват, что нас накрыли? Зачем хранил мое письмо об убийстве, принесшем тебе сто тысяч экю? Ведь мы его объяснили как самоубийство.

— Почему? Негодяй! Разве я не дал тебе пятьдесят тысяч франков за соучастие в грабеже? А чтоб ты мне не угрожал доносом, я потребовал от тебя письмо. А если б ты меня выдал, то и тебе несдобровать было бы. Письмо оберегало жизнь мою и мое состояние. Вот почему я всегда заботливо носил его при себе.

— В самом деле, хитро: предав тебя, я наслаждался бы виселицей рядом с тобой... Однако твоя смекалка нас погубила, а я сделал так, что преступление не было раскрыто и мы не понесли наказание.

— Не наказаны... Разве ты не видишь?

— Кто мог подумать, что так повернется дело? Если бы все шло нормально, наше преступление должно было остаться безнаказанным — это сделал я.

— Ты?

— Да, когда мы застрелили человека... ты хотел

подделать его почерк и написать его сестре, что он совершенно разорен и в отчаянии покончил с собой. Ты думаешь, что умно поступил, не написав в письме о сумме, которую он тебе доверил. Это было верхом глупости... Сумма была известна его сестре, и она могла ее потребовать. Следовало, напротив, упомянуть о деньгах; и если бы случайно возникли сомнения в подлинности самоубийства, подозрение никак не могло бы пасть на тебя. Ведь трудно предположить, что, совершая убийство ради денег, которые человек тебе доверил, ты был бы так глуп, чтобы напомнить об этих деньгах в поддельном письме. И что же получилось? Поверили в самоубийство. Благодаря твоей безупречной репутации ты смог отрицать, что получил этот вклад. Поверили, что брат покончил с собой после растраты денег своей сестры. Преступление осталось безнаказанным.

— Но какое значение это имеет теперь? Ведь преступление раскрыто.

— А благодаря кому? Разве я виноват, что мое письмо оказалось обоюдоострым оружием? Почему ты был так ничтожен, так глуп, что предоставил эту ужасную улику в распоряжение коварной Сесили?

— Замолчи... не произноси это имя! — угрожа-

ющe воскликнул Жак Ферран.

— Хорошо... не хочу доводить тебя до припадка... но ты же видишь: если бы можно было рассчитывать лишь на обычное правосудие... наши взаимные предосторожности всецело бы оберегали нас... Но мы во власти того, кто вершит суд по особым законам.

— Я отлично это знаю...

— Он считает, что казнь преступника недостаточно искупает совершенное им зло. Имея веское доказательство, он может нас предать суду. И каков результат? Два трупа, пригодных лишь для удобрения кладбищенских растений.

— О да, принцу нужны слезы, скорбь, муки... этому дьяволу... Но я с ним даже не знаком, я не причинял ему зла. За что он так гневается на меня?

— Он утверждает, что ощущает на себе добро и зло, причиняемое другим людям, которых он наивно называет своими братьями... К тому же он знает тех, которым ты принес зло, наказывает тебя по своим законам.

— Но по какому праву?

— Жак, не будем говорить о правах: он может по сути снести тебе голову... И что же будет? Родителей у тебя нет... Государство конфискует

твои сокровища, обогатится за счет тех, кого ты ограбил. А вот если ты отдашь свое добро, чтобы искупить грехи, то... жизнь восторжествует... Гранильщик Морель, отец Луизы, которую ты обесчестил, сможет жить в довольстве с семьей... Мадам де Фермон, сестра Ренвиля, якобы покончившего с собой, получит свои сто тысяч экю; Жермен, которого ты ложно обвинил в воровстве, будет оправдан и получит почетную должность директора банка для бедных. Тебя заставили основать банк, чтобы искупить грехи и возместить ущерб, причиненный тобой обществу. Мы, подлецы, можем друг другу наедине в этом сознаться: честно говоря, тот, кто держит нас в своих когтях, убежден, что общество ничего не обрело бы от твоей смерти... Оно много получит, если оставит тебя в живых.

— Это и вызывает во мне гнев... Но не только это.

— Принц прекрасно все знает... Как он поступит с нами?

Не представляю себе... Он обещал нам жизнь, если мы будем неукоснительно выполнять его повеления... Он сдержит свое слово. Но если сочтет, что мы не всецело искупили совершенные преступления, то сделает так, что наша жизнь

станет горше смерти... Ты его еще не знаешь. Он убежден, что должен быть непреклонным, и трудно будет найти более свирепого палача, чем он. Наверное, сам дьявол ему служит, иначе откуда он мог узнать, что я натворил в Нормандии?.. Впрочем... у него в услужении не один дьявол... ибо эта Сесили!.. будь она проклята!

— Прошу, молчи, не произноси ее имя... это имя...

— Да, да, пусть молния поразит ту, которая носит это имя... Она нас погубила. Головы оставались бы на наших плечах, если бы не твоя безумная страсть к этой твари.

Вместо того чтобы вспылить, Жак Ферран пробормотал:

— Ты ее знаешь... эту женщину? Признайся! Ты когда-нибудь ее видел?

— Никогда... Говорят, она красива... Я слышал об этом...

— Красива! — ответил нотариус, пожимая плечами. — Знаешь, — продолжал он, и в голосе его слушалось глубокое отчаяние, — лучше молчи... не говори о том, чего не видел... Не вини меня за то, что я совершил... ты на моем месте сделал бы то же самое.

— Я? Превратить свою жизнь в игрушку для

женщины!

— Для такой женщины — да, и я вновь так же поступил бы... если б мог надеяться. А было время, когда я надеялся.

— Черт побери!.. Он все еще околдован, — изумленно произнес Полидори.

— Послушай, — продолжал нотариус тихим голосом, который иногда заглушали приступы безысходного отчаяния. — Слушай... ты ведь знаешь, как я люблю золото? Знаешь, что я совершил, чтобы им овладеть? Я считал деньги, видел, как они удваиваются благодаря моей скупости, терпел всевозможные лишения, но зато чувствовал себя владельцем сокровища... Вот в чем была моя радость, мое блаженство. Да, обладать, но не для того, чтобы тратить, не для того, чтобы наслаждаться, а для того, чтобы накоплять, — в этом была моя жизнь... Если бы мне сказали месяц тому назад: выбирай между своим состоянием и жизнью — я бы пожертвовал жизнью.

— Зачем же тебе сокровища, если ты собираешься умирать?

— Тогда спроси: для чего иметь, если не используешь то, что имеешь? Разве я, миллионер, вел жизнь богача? Нет, я жил как бедняк. Мне нравится владеть состоянием — ради обладания.

— Но, спрашиваю тебя еще раз, для чего владеть состоянием, если умираешь?

— Умереть, имея богатство... До последнего момента наслаждаться этой радостью, ничего не бояться: ни лишений, ни бесчестья, ни эшафота... Да, и говорить, положив голову на плаху: «Я владелец!» О! Понимаешь ли ты, приятнее умереть так, чем жить, мучительно сознавая, что лишился всего, собранного ценой таких мучений, таких опасностей! Говорить себе каждый час, каждую минуту: «У меня было более миллиона, я терпел самые тяжелые лишения, чтобы сохранить, чтобы умножить эти сокровища... Я бы мог в течение десяти лет его удвоить, утроить... а теперь у меня нет ничего... ничего». Это ужасно! Это означает умирать не каждый день, а каждое мгновение. Да, страшной агонии, которая будет тянуться, быть может, годы, я предпочел бы мгновенную смерть, которая наступит прежде, чем меня лишат моего богатства. И умру с возгласом: богач!

Полидори посмотрел на собеседника с глубоким удивлением.

— Перестаю тебя понимать. Зачем же ты тогда повиновался приказам человека, который по мановению ока мог лишить тебя жизни? Почему ты предпочел жизнь без твоего сокровища, если

она кажется тебе такой ужасной?

— Вот почему, — продолжал нотариус глухим голосом, — умереть — значит исчезнуть. А как же Сесили?

— И ты еще надеешься? — удивленно воскликнул Полидори.

— Я не надеюсь, я поглощен...

— Чем?

— Воспоминаниями.

— Ты ее никогда не увидишь, она предала тебя.

— Я по-прежнему люблю ее, более страстно, чем раньше... — воскликнул Жак Ферран, рыдая, что казалось неестественным при его мрачном спокойствии. — Да, — продолжал он в безумном возбуждении, — я люблю ее по-прежнему, и я хочу излить пылкое чувство, наслаждаться, сгореть в огне страстей. Ты не знаешь, та ночь, когда я увидел ее такой прекрасной, такой страстной, такой чарующей... ночь эта навсегда останется в моей памяти. Перед моим взором постоянно предстает сцена жгучего сладострастия. И даже когда я, обессилев, нахожусь в лихорадочной дремоте, я все время вижу ее пылкие очи. Они волнуют меня до глубины души. Я и теперь чувствую ее дыхание, слышу ее голос.

— Но это же страшные муки!

— Да, страшные! Но смерть! Но свести на нет эти воспоминания, живые как сама реальность, но отрешиться от них, нет, никогда! Они терзают и воспламеняют меня! Нет! Нет! Жить! Жить! Оставаться в бедности, презираемым, опозоренным, жить на каторге, но все-таки жить и мыслить. Эта демоническая личность овладела моим воображением.

— Жак, — без иронии воскликнул Полидори, — я видел много страданий, но подобных твоим никогда не встречал. Тот, кто держит нас в своей власти, не мог быть более безжалостным. Он обрек тебя на жизнь, вернее, на ужасные предсмертные муки. Ты признался мне, что в душе твоей все более и более возрастают волнения. Этого я не понимал ранее.

— Я не нахожу в этом ничего серьезного, просто упадок сил, последствие переживаний!.. Ведь они не опасны, не правда ли?

— Да нет же... но твое состояние здоровья требует предосторожности. Надо поберечь себя, отвлечься от некоторых мыслей, иначе все плохо кончится.

— Я поступлю как ты посоветуешь — только бы жить, не хочу умирать. О! Пастыри говорят

об осужденных на муки. Они никогда не придумают для них мучений, подобных моим. Страсть и алчность — две открытые раны, от которых я глубоко страдаю. Лишиться состояния ужасно, но и смерть для меня не менее страшна. Я хочу жить, и, хотя моя жизнь может стать сплошным кошмаром, я не смею призывать смерть, ибо смерть украдет мое роковое блаженство, этот мираж, приносящий мне образ Сесили.

— У тебя, по крайней мере, есть утешение, — сказал Полидори, к которому вернулось его обычное хладнокровие, — думать о благодеянии во искупление злодеяний.

— Ладно, издевайся, жарь меня на горячих углях... Ты хорошо знаешь, негодяй, что я ненавижу всех, тебе известно, что в моем искуплении находят утешение только слабоумные, а у меня оно вызывает ненависть и злобу к тем, кто меня к этому принуждает, и к тем, кто от этого выгадывает. Гром и молния! Подумать только, что в то время как я буду влачить ужасающую жизнь, существовать лишь для того, чтобы наслаждаться страданиями, которые испугали бы даже самых бесстрашных, эти ненавистные мне люди благодаря отнятому у меня богатству перестанут быть нищими; что эта вдова и ее дочь возблагодарят

бога за состояние, которое я им возвращаю; что этот Морель и его дочь будут жить в достатке; что Жермен обретет почетное и обеспеченное будущее! А священник! Он благословлял меня, когда мое сердце было полно ненависти и злобы... Я бы пронзил его кинжалом!.. О! Это уже слишком! Нет!. Нет! — воскликнул он, закрыв лицо руками. — У меня трещит голова, мысли начинают путаться... Я не смогу больше выдержать такие приступы бессильной ярости... эти бесконечные мучения... И все это ради тебя! Сесили! Знаешь ли ты, по крайней мере, что я так страдаю, знаешь ли ты, демон зла?

И Жак Ферран, обессиленный страшным возбуждением, тяжело дыша, упал в кресло, ломая руки, издавая глухой, невнятный вопль.

Этот приступ лихорадочной и отчаянной ярости не удивил Полидори.

Обладая солидным знанием медицины, он легко догадался, что причиной пожирающей Феррана лихорадки была ярость от потери состояния и безумная страсть к Сесили.

Но этого мало... В припадке, жертвой которого только что стал Жак Ферран, Полидори с тревогой усмотрел некоторые симптомы одной из самых страшных болезней, когда-либо пожирающих

человечество, грозную картину которых описали Паулюс и Арете, превосходные исследователи и моралисты.

Неожиданно раздался стук в дверь кабинета.

— Жак, — сказал Полидори, — Жак, возьми себя в руки... Кто-то пришел...

Нотариус не слышал его. Навалившись на свой письменный стол, он бился в конвульсиях.

Полидори открыл дверь и увидел бледного и взволнованного старшего клерка конторы. Тот воскликнул:

— Мне необходимо сейчас же поговорить с господином Ферраном.

— Тише... Ему сейчас очень плохо... Он не может вас выслушать... — вполголоса сказал Полидори и, выйдя из кабинета нотариуса, закрыл за собой дверь.

— Ах, господин, — воскликнул старший клерк, — вы ближайший друг господина Феррана, должны ему помочь, нельзя терять ни минуты.

— В чем дело?

— По приказанию господина Феррана я отправился передать графине Мак-Грегор, что сегодня он не сможет к ней прийти, как она того желала.

— Ну и что же?

— Эта дама, очевидно, выздоровела; она при-

гласила меня к себе и приказала угрожающим тоном: «Вернитесь и скажите Феррану, что если он не явится ко мне, то сегодня же будет арестован за подлог... так как девочка, которую он выдал за умершую, вовсе не умерла... Я знаю, кому он ее отдал, знаю, где она находится[145]».

— Это просто бред, — холодно ответил Полидори, пожимая плечами.

— Вы так думаете?

— Я в этом убежден.

— Сначала я тоже так подумал... но уверенность госпожи графини...

— Ее рассудок не совсем еще уравновешен после болезни... а безумцы всегда верят в свои представления.

— Конечно, вы правы, сударь, иначе я не могу объяснить себе угроз графини по адресу столь уважаемого человека, как господин Ферран.

— В этом нет здравого смысла.

— Я должен вам еще добавить, сударь: когда я покидал госпожу графиню, в комнату вбежала одна из служанок и сказала: «Его высочество будет здесь через час».

— Служанка так и сказала? — воскликнул По-

---

[145] Notes: 145

Читатель знает Сара думала, что Лилия-Мария заключена в тюрьму Сен-Лазар, об этом ей сказала Сычиха до того, как ранила ее.

лидори.

— Да, и я был очень удивлен, потому что не знал, о каком высочестве идет речь.

«Нет сомнения, это принц, — подумал Полидори. — Он у графини Сары, которую никогда не должен был больше видеть... Не знаю, почему, но мне не нравится это сближение... Оно может повредить нам». Затем, обращаясь к клерку, Полидори сказал:

— Повторяю, ничего серьезного: это безумное воображение больной. Впрочем, я сейчас же передам господину Феррану ваши новости.

А теперь мы проводим читателя к графине Саре Мак-Грегор.

Глава II.
РОДОЛЬФ И САРА

Мы проведем читателя к графине Мак-Грегор. В ее болезни наступил решающий кризис, прошел бред и облегчились страдания, которые в течение многих дней вызывали серьезные опасения. День клонился к концу... Сара сидела в большом кресле, поддерживаемая своим братом Томасом Сейтоном, и внимательно рассматривала себя в зеркале, которое держала служанка, стоявшая перед ней на коленях.

Это происходило в той гостиной, где Сычиха покушалась на ее жизнь.

Она была бледна, оттого на беломраморном лице особенно выделялись черные глаза и смоляные брови; на ней было широкое платье из белого муслина.

— Подайте мне коралловую повязку, — приказала она служанке слабым, но властным голосом.

— Бетти вам поможет. Вы устанете. Это так неблагоразумно, — сказал Трмас Сейтон.

— Повязку, повязку! — нетерпеливо повторяла Сара. Она взяла повязку и приложила ко лбу.

— Прикрепите ее и оставьте меня, — приказала она служанкам.

— Проведите господина Феррана в голубой салон... затем, — добавила она с едва скрываемой гордостью, — когда прибудет его королевское высочество великий герцог Герольштейнский, пригласите его ко мне. А теперь оставьте меня.

— Наконец-то! — воскликнула Сара, откинувшись в кресле и оставшись одна с братом. — Наконец-то я получу эту корону... мечту моей жизни... Значит, предсказание сбывается.

— Сара, успокойтесь, — сурово проговорил брат. — Вчера вы были при смерти; еще одно разочарование нанесет вам смертельный удар.

— Вы правы, Том... Разочарование было бы тяжелым, ибо моя надежда чуть не сбылась. Я смогла выдержать мои мучения только потому, что все время думала об одном: я должна воспользоваться поразительной новостью, которую мне сообщила эта женщина, когда пыталась меня убить.

— Вы это повторяли в бреду.

— Потому что только эта мысль и поддерживала мою угасающую жизнь. Возвышенная надежда! Я — владетельная принцесса... почти королева!.. — добавила она в упоении.

— Сара, оставьте безрассудные мечты... Пробуждение будет ужасным.

— Безрассудные мечты?.. Вот как! Когда Родольф узнает, что эта девушка сейчас в тюрьме Сен-Лазар[146] и что она ранее была под опекой нотариуса, который объявил о ее смерти, узнает, что она — наша дочь, вы думаете, что...

Сейтон прервал сестру.

— Я думаю, — сказал он с горечью, — что для монархов государственные интересы, политические соображения выше родственных привязанностей.

— Как мало вы верите в мою сообразительность!

— Принц — не тот наивный и страстный юноша, которого вы когда-то соблазнили; не те времена, сестрица.

Сара, слегка пожав плечами, ответила:

— Знаете, почему я хотела украсить волосы этой коралловой повязкой? Почему я надела белое платье? В первый раз, когда Родольф меня увидел при Герольштейнском дворе... на мне

---

[146] Notes: 146

Читатель не забыл, что Сычиха, перед тем как поразить Сару кинжалом, сказала, что Певунья все еще в тюрьме Сен-Лазар; она не знала, что в тот же день Жак Ферран отправил ее с г-жой Серафен на остров Черпальщика

было белое платье... а в волосах эта самая коралловая повязка.

— Как? — воскликнул Томас Сейтон, глядя на сестру с изумлением. — Вы хотите пробудить былые воспоминания? Не опасаетесь, что они могут вызвать враждебные чувства?

— Я знаю Родольфа лучше, чем вы... Несомненно, время и страдания изменили мое лицо, я уже не та молодая девушка, которую он безумно любил... и любил только меня одну... ведь я была его первой любовью... А такая любовь всегда оставляет в сердце мужчины неизгладимый след. Поверьте мне, братец, этот венец напомнит Родольфу былую любовь, прошедшую молодость. У мужчин такие воспоминания всегда вызывают нежность, благие порывы.

— Но эти нежные чувства смогут также напомнить мрачную драму вашей любви! Напомнить, как относился к вам отец принца и как вы после брака с графом Мак-Грегором упорно молчали, когда Родольф требовал у вас вашу дочь! Да, вашу дочь, о смерти которой вы ему сообщили в сдержанных тонах десять лет тому назад... Разве вы забыли, что с того времени принц ненавидит вас?

— Ненависть сменилась состраданием, когда

он узнал, что я при смерти... Он каждый день посылал барона де Грауна проведать меня.

— Из человеколюбия...

— А сейчас мне сообщили, что он придет сюда. Оказана великая честь, брат.

— Он подумал, что вы при смерти и что речь идет о последней воле умирающей, потому решил навестить вас. Вы неправильно поступили, вам надо было написать ему, что хотите сообщить важную новость.

— У меня есть причина вести себя именно так. Новость доставит ему огромную радость... И я вовремя воспользуюсь порывом его нежности... Именно сегодня, или никогда, он мне скажет: «Брак должен узаконить рождение нашей дочери». Если он так скажет, то его слово свято и сбудется надежда моей жизни.

— Только в том случае, если он даст вам такое обещание.

— Надо воспользоваться всеми средствами, чтобы он согласился совершить этот акт... Я знаю Родольфа, он меня ненавидит, хотя не могу понять почему. Я всегда относилась к нему благоразумно, как это и подобало мне.

— Быть может, но, питая ненависть к вам, он имел на то основание.

— Это несущественно. Когда он узнает, что дочь найдена, ненависть померкнет; он согласится на все, и если раньше его дочь влачила жалкое существование, то он сделает все возможное для того, чтобы она обрела полное счастье.

— Вполне возможно, что он обеспечит ей блестящее будущее... но это не значит, что он решит обвенчаться с вами, чтобы узаконить рождение дочери. Оба эти решения разделяет пропасть.

— Я уповаю на любовь отца к дочери.

— Несчастная девушка, несомненно, до сих пор жила в нищете, в унизительных условиях.

— Родольф тем более захочет возвысить ее, чтобы возместить все ее невзгоды!

— Но, подумайте, возвысить ее до сословия владетельных князей Европы... признать своей дочерью среди принцев, королей — титулованных родственников!

— Вы разве не знаете его странного характера, вспыльчивого и решительного? Его рыцарскую твердость по отношению ко всему, что повелевает долг?

— Но, возможно, эту несчастную девочку так развратила среда порока и нищеты, в которой она, вероятно, жила, что принц вместо влечения к ней...

— Да что вы говорите, — воскликнула Сара, прерывая брата, — разве она не такая же прелестная, очаровательная, какой была ранее, в детские годы? Родольф, даже не подозревая, что она его дочь, интересовался ею, хотел облегчить ее судьбу; ведь он послал ее на свою ферму в Букеваль, откуда мы ее похитили.

— Да, благодаря вашей неугомонной прихоти уничтожить всех, к кому принц был привязан, благодаря вашей безрассудной надежде когда-нибудь вернуть его себе...

— Не испытывая этой безумной надежды, я не узнала бы даже, жертвуя жизнью, что моя дочь жива... Разве, наконец, не от той женщины, которая увезла ее с фермы, я узнала о коварных проделках нотариуса Феррана?

— Досадно, что утром меня не пустили в тюрьму Сен-Лазар, где, как вам сказали, находится это несчастное дитя. Несмотря на мою настойчивость, я ничего не узнал, потому что у меня не было рекомендательного письма к начальнику тюрьмы. От вашего имени я написал префекту, но его ответ я получу, конечно, только завтра... а принц вот-вот сюда приедет... Очень жаль, повторяю, что вы не смогли сами представить ему вашу дочь... Лучше было бы дождаться ее выхода из

тюрьмы, а потом уже приглашать герцога сюда.

— Подождать! А разве я знаю, буду ли я в состоянии встретить его завтра? Быть может, только тщеславие придает мне бодрость духа.

— Но какие доказательства представите вы принцу? Поверит ли он вам?

— Он мне поверит, когда прочтет разоблачающие показания, написанные мною под диктовку Сычихи, когда она поразила меня кинжалом. Эти факты, к счастью, я запомнила. Он мне поверит, когда прочитает вашу переписку с этой Серафен и Жаком Ферраном, сообщение о мнимой смерти ребенка; он поверит, когда услышит признания нотариуса, напуганного моими угрозами. Ферран вскоре должен прибыть сюда; он убедится, когда увидит портрет нашей шестилетней дочери. Ведь на девочку, изображенную на портрете, как мне сказала Сычиха, и сейчас удивительно похожа эта девушка. Доказательств будет достаточно, чтобы убедить принца, что я говорю правду, и он присвоит мне звание королевы. О! Хоть один день, один час носить корону, и тогда я умру ублаженной.

Послышался шум экипажа, въезжавшего во двор.

— Это он... Родольф!.. — воскликнула Сара, об-

ращаясь к Томасу Сейтону. Тот быстро подошел к окну и отдернул портьеру:

— Да, принц... выходит из кареты.

— Оставьте меня одну, решительный момент наступил, — с неизменным хладнокровием объявила Сара, ибо чудовищное честолюбие, безжалостный эгоизм всегда были единственными побуждениями этой женщины. В чудесном воскрешении своей дочери она видела лишь средство для достижения постоянной цели своей жизни.

Помедлив немного, прежде чем покинуть комнату, Томас вдруг подошел к сестре и сказал:

— Может быть, лучше я скажу принцу, каким образом была спасена ваша дочь, которую считали умершей? Этот разговор был бы слишком опасен для вас... Вас могут убить и сильное волнение, и встреча с принцем после столь долгой разлуки, и воспоминания о том времени...

— Дайте вашу руку, брат, — сказала Сара.

Приложив к своему бесстрашному и спокойному сердцу руку Томаса Сейтона, она спросила с мрачной ледяной улыбкой:

— Разве вы чувствуете, что я взволнована?

— Нет... вовсе нет, сердце бьется ровно, — с изумлением проговорил Сейтон, — я-то знаю,

как вы умеете владеть собой. Но в такой момент, когда для вас решается вопрос о короне или о смерти... еще раз подумайте... Потеря этой последней надежды может быть смертельной для вас. Право, ваше спокойствие меня поражает.

— Почему вы удивлены, братец? Разве до сих пор вы не знали меня? Ничто... Да, ничто никогда не заставляло забиться это каменное сердце. Оно возликует лишь в тот день, когда на голову владелицы этого сердца возложат княжескую корону... Я слышу шаги Родольфа... Оставьте же меня.

— Но...

— Оставьте меня, — твердо приказала Сара, и таким решительным, таким властным тоном, что брат покинул комнату за несколько секунд до того, как вошел принц.

Когда Родольф входил в салон, его взгляд выражал жалость... но, увидев Сару в кресле и почти нарядно одетой, он удивился, и лицо его стало мрачным и недоверчивым.

Графиня, угадав его мысли, сказала нежным и слабым голосом:

— Вы думали, что я умираю... Вы пришли, чтобы услышать мои последние слова?

— Я всегда считал последнюю волю умирающих священной... Но если дело идет о чудовищном

обмане...

— Уверяю вас, — прервала Родольфа Сара, — я вас не обманывала... мне остается жить всего несколько часов... Простите мое легкомыслие... Я хотела избавить вас от печальной картины агонии... Я хотела умереть одетой как при нашей первой встрече. Увы! Наконец вы здесь, после десяти лет разлуки. О, благодарю вас, благодарю! Но и вы поблагодарите бога за то, что он повелел вам выслушать мою мольбу. Если бы вы не пришли, я унесла бы с собой тайну, от которой будет зависеть радость и счастье вашей жизни... Радость, смешанная с легкой грустью, счастье и слезы... Вы испытаете истинно человеческое чувство, за которое, наверно, не пожалеете отдать годы оставшейся жизни.

— Что вы хотите сказать? — спросил с удивлением принц.

— Да, Родольф, если бы вы не пришли... эту тайну я унесла бы с собой в могилу, свершилась бы моя последняя месть, и еще... нет, нет, у меня не хватило бы для этого смелости. Хотя вы заставили меня жестоко страдать, я разделила бы с вами счастье жизни... которым вы, более удачливый, будете долго, надеюсь, очень долго наслаждаться.

— Но о чем же идет речь?

— Услышав меня, вы не поверите той новости, которую я вам сообщу, вы не поймете, почему я так медлила сообщить ее вам, вы сочтете ее небесным чудом... Как это ни странно, я могу осчастливить вас, вы никогда не могли на это рассчитывать... и хотя дни моей жизни сочтены, я наслаждаюсь тем, что возбуждаю ваше любопытство... К тому же мне знакомо ваше сердце... Несмотря на твердость вашего характера, я опасаюсь немедля сообщить невероятную новость... Волнения, вызванные внезапной радостью, могут быть опасны...

— Ваша бледность все усиливается... вы едва сдерживаете себя, — сказал Родольф. — Как видно, речь идет о чем-то серьезном.

— Серьезном и важном, — трепетно повторила Сара.

Хорошо понимая значение тайны, которую графиня собиралась открыть Родольфу, она лишилась обычного хладнокровия и уравновешенности. Не в силах более сдерживать себя, она сказала:

— Родольф... наша дочь жива.

— Наша дочь!..

— Она жива, говорю я вам...

Эти слова, искренность, с которой они были произнесены, взволновали принца до глубины души.

— Наше дитя? — повторил он, быстро подойдя к креслу. — Сара, наш ребенок! Моя дочь!

— Она жива, и у меня есть неопровержимые доказательства. Я знаю, где она... Завтра вы ее увидите.

— Моя дочь! Моя дочь! — повторял Родольф, словно в оцепенении. — Возможно ли это? Она жива!

Затем им внезапно овладело сомнение, и снова опасаясь стать жертвой обмана Сары, он воскликнул:

— Нет, нет... это сон! Это невозможно!.. Вы меня обманываете. Хитрость, недостойная ложь!

— Родольф, выслушайте меня.

— Нет, я знаю ваше честолюбие, я знаю, на что вы способны, я догадываюсь, какую цель вы преследуете этим обманом!

— Ну хорошо! Вы правы... Я способна на все... Да, я хотела вас обмануть. Да, за несколько дней до того, как мне нанесли смертельный удар, я хотела найти незнакомую молодую девушку... и представить ее вам как нашу дочь... о которой вы так горько скорбите.

— Довольно, прошу вас! Довольно...

— Но после этого признания вы, быть может, мне поверите... или, скорее, будете вынуждены считаться с истиной.

— С истиной...

— Да, Родольф, повторяю, я хотела вас обмануть, заменить неизвестной молодой девушкой ту, которую мы оплакиваем, но бог захотел, чтобы в тот момент, когда я пыталась совершить это кощунство... мне нанесли смертельный удар.

— Вам... в тот самый момент!..

— Бог захотел, чтобы мне предложили для этого обмана... знаете, кого? Нашу дочь...

— Вы бредите?.. Ради бога.

— Это не бред, Родольф. В этой шкатулке вместе с бумагами и портретом вы найдете еще бумагу, запятнанную моей кровью, — вот вам доказательство.

— Вашей кровью?

— Женщина, перед тем как нанести мне удар кинжалом, сообщила это открытие — что наша дочь жива.

— Кто эта женщина? Откуда она узнала об этом?

— Ей отдали нашу девочку... еще совсем крошкой... после того, как ее объявили погибшей.

— Но эта женщина... Ее имя?.. Можно ли ей верить? Где вы с ней познакомились?

— Говорю вам, Родольф, тут кроется нечто роковое, предначертанное свыше. Несколько месяцев тому назад вы спасли одну девушку от нищеты и, отослали ее в деревню, не так ли?

— Да, в Букеваль.

— Ревность, ненависть ослепляли меня... Я приказала одной женщине похитить ее... Той самой, о которой я вам говорю...

— И несчастную девушку отправили в Сен-Лазар.

— Где она сейчас и находится.

— Ее уже там нет... Ах, вы не знаете, сударыня, какое ужасное зло совершили, похитив несчастную из убежища, куда я ее поместил... но...

— Она теперь на свободе, и вы еще говорите, что это несчастье!

— Алчные, жестокие люди были заинтересованы в ее гибели. Они утопили ее... Но отвечайте... Вы говорите, что...

— Моя дочь! — воскликнула Сара, поднявшись с кресла и оставаясь неподвижной, словно статуя.

— Что она говорит? Боже мой!

— Моя дочь, — повторяла Сара, лицо которой стало мертвенно-бледным. — Они убили мою

дочь!

— Певунья — ваша дочь!.. — повторил Родольф, отступив назад от ужаса.

— Певунья... да, это имя назвала мне Сычиха. Умерла... умерла! — повторяла Сара с неподвижным и полным отчаяния взглядом. — Они убили ее...

— Сара, — взволнованно произнес Родольф, — придите в себя, отвечайте. Певунья, которую вы приказали Сычихе похитить с фермы, была...

— Наша дочь!

— Она!!!

— И они убили ее!..

— О нет, нет, вы бредите — этого не могло быть, ошибаетесь... Вы не представляете себе, как это было бы ужасно... Сара! Очнитесь! Говорите со мною спокойно. Сядьте, не волнуйтесь. Бывает случайно внешне, сходство, которое вводит в заблуждение: люди так склонны верить в то, чего они желают. Я вас не упрекаю... но объясните мне, расскажите о причинах, которые заставляют вас думать, что убийство свершилось... Это невозможно... Нет, нет, этого не могло быть!

Немного помолчав, графиня собралась с мыслями и слабым голосом произнесла:

— Узнав о вашей женитьбе, я решила выйти

замуж и потому не могла оставить девочку у себя; ей было тогда четыре года...

— Но в то время я просил вас отдать ее мне... умолял вас, — воскликнул Родольф душераздирающим голосом, — и мои письма остались без ответа. В единственном письме вы сообщили мне о ее смерти.

— Я хотела отомстить вам за ваше презрение и потому не отдала вам ребенка... Это было недостойно. Но послушайте меня... я чувствую... жизнь на исходе, этот последний удар, и я...

— Нет! Нет! Я вам не верю, не хочу вам верить. Певунья... моя дочь! О господи, ты не допустил бы этого.

— Выслушайте меня... Когда ей было четыре года, мой брат поручил госпоже Серафен, вдове его старого слуги, воспитывать девочку до ее поступления в пансион. Деньги, предназначенные на то, чтобы обеспечить ее будущее, были помещены братом у нотариуса, известного своей безукоризненной честностью. Письма этого человека и госпожи Серафен, посланные в то время мне и моему брату, здесь, в этой шкатулке... Год спустя мне написали, что здоровье девочки пошатнулось, а еще через восемь месяцев — что она умерла, и прислали свидетельство о смерти. Как

раз в это время Серафен поступила в услужение к Жаку Феррану, после того как отдала нашу дочь женщине по прозвищу Сычиха при посредничестве одного негодяя, который сейчас на каторге в Рошфоре. Вот все, что я успела записать со слов Сычихи, как вдруг она нанесла мне удар ножом. Документ хранится здесь вместе с портретом нашей девочки, которой было тогда четыре года. Прочтите эти письма, записи, посмотрите на портрет; вы ведь видели несчастного ребенка... и можете судить...

Эти слова поглотили ее последние силы, и она, теряя сознание, опустилась в кресло.

Рассказ глубоко поразил Родольфа.

Иногда возникают неожиданные несчастья, такие жуткие, что даже трудно себе представить, но неумолимая реальность заставляет вас поверить. Родольф был убежден, что Мария погибла; но у него оставался лишь луч надежды — быть может, она была не его дочь.

С удивительным спокойствием, которое испугало Сару, он подошел к столу, открыл шкатулку и принялся читать письма, тщательно изучая приложенные к ним другие документы.

В этих письмах с почтовым штемпелем нотариус и г-жа Серафен сообщали Саре и ее брату о

детстве Марии и о денежных средствах, предназначенных ей.

Родольф не мог сомневаться в подлинности этой переписки.

Показания Сары подтверждались справками, о которых мы говорили в начале нашего повествования. Эти справки были наведены по распоряжению Родольфа. В них сообщалось, что некий Пьер Турнемин, тогда каторжник в Рошфоре, получил Марию из рук г-жи Серафен с тем, чтобы передать ее Сычихе... Сычихе, которую гораздо позже несчастная девочка узнала в присутствии Родольфа в кабаке Людоедки.

Родольф не мог больше сомневаться в том, что она и Певунья была одним и тем же лицом.

Свидетельство о смерти казалось подлинным, но Ферран сам признался Сесили, что этот фальшивый документ послужил для присвоения значительной суммы, в свое время положенной в виде пожизненной ренты на имя девушки, которую он заставил Марсиаля утопить на острове Черпальщика.

Во все возрастающей мучительной тревоге Родольф невольно убедился в том, что Певунья — его дочь, и она погибла.

К несчастью для него... ничто не могло опро-

вергнуть эти веские доказательства.

Прежде чем наказать Феррана за преступление, о котором тот сообщил Сесили, принц, живо интересуясь Певуньей, навел справки в Аньере и узнал, что действительно две женщины, старая и молодая, в крестьянской одежде, утонули, направляясь к острову Черпальщика, и что молва обвиняла в этом новом преступлении Марсиалей.

Заметим к тому же, что, несмотря на заботы доктора Гриффона, графа Сен-Реми и Волчицы, Мария, долго находившаяся в безнадежном состоянии, поправлялась с трудом и потому не смогла известить о себе ни госпожу Жорж, ни Родольфа.

При таком стечении обстоятельств принц ни на что не мог надеяться. У него оставалось лишь последнее сомнение.

Он взглянул на портрет, на который до сих пор боялся посмотреть.

Удар был страшный.

В очаровательном детском личике, уже наделенном божественной красотой херувима, он нашел поразительное сходство с чертами Лилии-Марии… Изящной формы прямой нос, благородный лоб, маленький рот, немного скорбный, потому что в письме, только что прочитанном

герцогом, г-жа Сера-фен сообщала Саре, что «девочка постоянно спрашивает о матери и очень грустит».

У нее были все те же большие глаза, чистой и нежной синевы, словно васильки, так Сычиха говорила Саре; в этой миниатюре она узнала черты той несчастной, которую преследовала еще ребенком, тогда ее называли Воровкой, а когда девушка выросла — Певуньей.

Взглянув на портрет, Родольф впал в отчаяние. Он закрыл лицо руками и, рыдая, без сил упал в кресло.

Глава III.
МЕСТЬ

Пока Родольф переживал свое горе, лицо Сары менялось на глазах.

Заветная мечта, вдохновлявшая ее до сих пор, не сбылась. Последняя надежда ускользнула навсегда.

Хотя ее здоровье несколько улучшилось, возникшее разочарование могло вызвать смертельный исход.

Откинувшись в кресле, вся дрожа, скрестив на коленях руки, с неподвижным взглядом, графиня в страхе ожидала, как поведет себя Родольф.

Зная необузданный характер принца, она предчувствовала, что за душевным переживанием, вызвавшим столько слез у этого непреклонного человека, последует ужасная вспышка гнева.

Вдруг Родольф поднял голову, вытер слезы, встал и, подойдя к Саре, молча, безжалостно уставился на нее, затем заговорил глухим голосом:

— Так должно было случиться... Я поднял шпагу на отца... и я наказан за это смертью моего ребенка... Справедливая кара за отцеубийство.

Выслушайте меня, сударыня.

— Отцеубийца! Вы! Боже мой! О, злосчастный день! Что же вы мне скажете?

— В этот последний час вы должны узнать, сколько зла причинило ваше неумолимое честолюбие, ваш свирепый эгоизм... Понимаете, вы, женщина без сердца и без совести? Понимаете, вы, преступная мать?

— Родольф, пощадите!..

— Для вас не будет пощады... Когда-то вы хладнокровно, безжалостно, в силу гнусного тщеславия использовали благородную и преданную любовь, которую вы притворно разделяли... Нет пощады для вас, восстановившей сына против отца. Вместо того чтобы неусыпно заботиться о своем ребенке, вы подкинули его продажным людям, чтобы выйти замуж за богача и удовлетворить свою алчность, так же, как вы когда-то ради своего необузданного честолюбия стремились женить меня на себе. Не будет вам пощады! Вы отказались отдать мне мое дитя. Ваше коварство — причина смерти моей дочери. Проклятие вам, злому гению моего рода!..

— О боже!.. Как он безжалостен... Оставьте меня!.. Оставьте меня!

— Слушайте!.. Вы помните последний день...

когда я вас видел... С тех пор прошло семнадцать лет. Вы больше не могли скрывать последствия нашего тайного союза, который я, как и вы, считал нерасторжимым... Я знал непреклонный характер своего отца... Он задумал женить меня, преследуя политические цели... Пренебрегая его негодованием, я сообщил ему, что вы моя жена перед богом и перед людьми... что скоро у нас будет ребенок — плод нашей любви... Отец страшно разгневался... Он не хотел верить моему браку... Такая дерзость казалась ему невозможной... Он пригрозил мне, что страшно рассердится, если я еще раз заговорю с ним о подобном безрассудстве... Но я, жертва ваших обольщений, любил вас тогда безумно... Я верил, что ваше безжалостное сердце билось только для меня. Я ответил отцу, что у меня никогда не будет другой жены, кроме вас. Услышав эти слова, отец вышел из себя, он обзывал вас самыми оскорбительными словами, кричал, что наш брак недействителен, и, чтобы наказать вас за вашу дерзость, грозил привязать вас к позорному столбу. Из-за моей безумной страсти и несдержанности характера я посмел запретить отцу, моему государю, так говорить о моей жене... и осмелился угрожать ему... Вне себя от оскорбления отец поднял на меня руку; ярость

меня ослепила, я обнажил шпагу... и бросился на него... Если бы не Мэрф, который появился неожиданно и отвел удар, я был бы настоящим отцеубийцей, каким намеревался стать. Вы понимаете... отцеубийцей... И это все, чтобы защитить вас... вас!

— Увы... я ничего не знала.

— Я пытался искупить свое преступление... напрасно... Удар, поразивший меня теперь, — возмездие за него.

— А разве я не страдала по воле вашего отца, который разрушил наш брак? Зачем обвинять меня в том, что я вас не любила... когда...

— Зачем? — воскликнул Родольф, прервав Сару и бросив на нее уничтожающий взгляд. — Знайте же и не удивляйтесь тому, какое отвращение вы мне внушаете! После роковой сцены, когда я угрожал отцу, я отдал свою шпагу и был подвергнут самому суровому одиночному заключению. Полидори, благодаря которому наш брак был заключен, арестовали, он сказал, что этот брак недействителен, что священник, который его освящал, не был священником и что вы, ваш брат и я, мы все были обмануты. Чтобы еще более отвести от себя гнев отца, Полидори передал ему одно из ваших писем к брату, перехваченное им,

когда Сейтон уехал в путешествие.

— Боже мой!.. И до этого дошло!

— Теперь вы можете понять мое презрение?

— О, довольно... довольно...

— В этом письме вы раскрыли ваши честолюбивые замыслы с возмутительным цинизмом... Вы говорили обо мне с надменным пренебрежением... Вы принесли меня в жертву вашей адской гордыне... Я был лишь орудием для достижения высокого положения, которое вам предсказали... Наконец, вы считали, что мой отец слишком задержался на этом свете...

— О, я несчастная! Сейчас я все понимаю...

— Защищая вас, я покушался на жизнь моего отца. Но когда на следующий день без слова упрека он показал мне это письмо... письмо, в каждой строчке которого раскрывалась чернота вашей души, мне оставалось только броситься на колени и просить прощения. С тех пор меня мучили неумолимые угрызения совести. Я покинул Германию ради длительных путешествий, стремясь искупить свою вину... Это искупление продлится до самой моей смерти. Вознаграждать добро, преследовать зло, утешать страждущих, постигнуть язвы человечества, чтобы попытаться спасти хотя бы несколько душ от гибели, — вот

цель, которую я себе поставил.

— Она благородна и священна, она достойна вас...

— Если я поведал вам об этом обете, — продолжал Родо-льф с презрением и горечью, — если я его выполняю в меру моих сил, где бы я ни был, это вовсе не из желания заслужить вашу похвалу. Недавно я приехал во Францию. Находясь в этой стране, я также преследую мои высокие цели. Желая оказать помощь несчастным, но честным людям, я хочу также глубже узнать среду людей, которых нищета унижает и развращает. Помощь, оказанная вовремя, несколько великодушных слов, нередко достаточны для того, чтобы вызволить их из бездны... Чтобы иметь возможность справедливо судить людей, я окунулся в их среду, стал говорить их языком. Однажды я впервые встретил... — Затем, не решаясь произнести ужасное признание, Родольф, немного помолчав, заговорил: — Нет... нет...

— Боже мой, кого вы встретили?

— Об этом вы скоро узнаете, — сказал он с язвительной иронией. — У вас появился живой интерес к прошлому, и я должен рассказать вам о событиях, предшествовавших моему возвращению во Францию. После долгих путешествий

я вернулся в Германию; стремясь исполнить волю отца... женился на прусской принцессе. Во время моего отсутствия вас изгнали из великого герцогства. Узнав позже, что вы вышли замуж за графа Мак-Грегора, я настойчиво требовал, чтобы вы вернули мне мою дочь, но вы не отвечали. Несмотря на все свои попытки, я так и не смог узнать, куда вы скрыли несчастную девочку. Если б она нашлась, мой отец щедро позаботился бы о ее участи... Десять лет тому назад вы мне сообщили в письме, что наша дочь умерла. Увы! Если бы бог захотел, чтобы она действительно умерла, тогда... я не знал бы неистребимой скорби, которая отныне будет отравлять мне жизнь.

— Теперь, — слабым голосом проговорила Сара, — меня больше не удивляет ваше презрение ко мне после того, как вы прочли это письмо. Я чувствую, мне не пережить последнего удара. Да! Гордость и честолюбие меня погубили. Под внешностью пылкой женщины скрывалось ледяное сердце, я представлялась преданной, чистосердечной; это было лишь притворство и эгоизм. Я не знала, почему вы презирали, ненавидели меня... Мои безумные надежды возродились с еще большей силой... С тех пор как мы оба овдовели и стали свободными, я снова поверила в пред-

сказание, которое обещало мне корону... И когда случай помог мне найти мою дочь, уговорила себя, что этот нежданный дар судьбы воплощает волю провидения. Я даже стала верить, что ваша ненависть ко мне отступит перед вашей любовью к дочери... и вы мне предложите руку, чтобы девочка заняла достойное положение в обществе.

— Ну что ж! Пусть ваша гадкая спесь получит наконец удовлетворение. Но вы будете и наказаны. Я был бы готов обвенчаться с вами, несмотря на глубокую ненависть, которую вы мне внушаете. Счастье моего ребенка слишком дорого мне. Однако мы бы жили раздельно. Зато наша дочь из полного ничтожества, в которое вы ее ввергли, заняла бы в свете подобающее ей блестящее положение...

— Так, значит, я не ошиблась! Увы!.. Слишком поздно!

— О, я знаю! Вы сожалеете не о смерти дочери, а о том, что не обрели высокого звания, к которому вы стремились с несокрушимым упорством. Итак, возникшая досада будет последним наказанием для вас!..

— Да, последним... Этого я не переживу...

— Но, прежде чем умереть, вы должны узнать, какой была жизнь вашей дочери с тех пор, как

вы ее покинули.

— Бедное дитя!.. Быть может, она была несчастна!..

— Помните ночь, когда вы отправились с вашим братом в притон на острове Сите?

— Помню... Но к чему этот вопрос?.. Ваш взгляд наводит на меня ужас.

— Направляясь в притон, вы видели на углу этих мерзких улиц... несчастные создания. Они... нет, не могу, — сказал Родольф, закрыв лицо руками, — не смею... Слова разрывают мне душу.

— Я тоже потрясена... Что еще, боже?

— Вы их видели, не правда ли? — с огромным усилием проговорил Родольф. — Этих женщин, позор всего женского пола? Ну вот, среди них... вы не заметили девушку лет шестнадцати, прекрасную, как ангел, сошедший с картины... Бедняжка, несмотря на гнусное окружение, куда ее бросили несколько недель тому назад, сохранила такое невинное, такое девственное и чистое лицо, что воры и убийцы, которые обращались к ней на «ты»... прозвали ее Лилией-Марией. Вы заметили... эту девушку? Отвечайте, вы, нежная мать!

— Нет... я ее не заметила, — мгновенно ответила Сара, чувствуя, что ее охватывает неодолимый страх.

— В самом деле? — язвительно произнес Родольф. — Странно... а я заметил. И вот при каких обстоятельствах... Слушайте внимательно. Однажды, занятый своими поисками, которые имели двойную цель[147], я очутился в Сите; недалеко от известного вам притона какой-то мужчина пытался избить одну из несчастных девиц, я отнял ее у грубияна... Вы не догадываетесь, кто была эта девушка... Отвечайте, вы, святая провидица... Не догадываетесь?

— Нет... Не догадываюсь... О, оставьте меня, оставьте...

— Эта несчастная была Лилия-Мария.

— Боже мой!

— И вы не знаете... кто она?.. Идеальная мать!

— Убейте меня... убейте...

— Это была Певунья... Ваша дочь!.. — яростно воскликнул Родольф. — Да, несчастная, которую я вырвал из рук каторжника, — мое дитя, мое... Родольфа фон Герольштейна! Во встрече с дочерью, которую я спас, не зная, что это моя собственная плоть и кровь, есть нечто роковое — и это награда тому, кто всегда стремился прийти на помощь ближнему, и в то же время — кара за

---

[147] Notes: 147
То есть найти след Жермена, сына г-жи Жорж.

отцеубийство...

— Мои минуты сочтены, но мне нет прощения, — прошептала Сара, без сил откидываясь на спинку кресла и закрывая лицо руками.

Родольф продолжал, с трудом владея собой и безуспешно стараясь подавить рыдания, время от времени заглушавшие его голос:

— Когда я избавил эту девушку от нависшей над ней угрозы, я был поражен нежным звучанием ее голоса и ангельски кротким выражением лица. Это невольно остановило мое внимание... С глубоким волнением я слушал наивный и горестный рассказ этого отверженного существа. Сударыня, жизнь вашего покинутого ребенка была полна нужды, горя и страданий. Вы должны знать о ее муках! В то время как вы, графиня, утопали в роскоши и мечтали лишь о герцогской короне... ваша дочь, совсем малютка, в лохмотьях по вечерам отправлялась просить милостыню на улицах, изнемогая от холода и голода... В зимние ночи она дрожала от стужи на соломенной подстилке в углу чердака, а потом, когда жестокой женщине, которая ее мучила, надоело угощать бедняжку тумаками... Знаете ли вы, что она сделала? Она вырвала ей зуб.

— О, скорее бы умереть!.. Какая жестокая му-

ка!..

— Нет, вы обязаны выслушать до конца. Ускользнув наконец из рук Сычихи, восьмилетняя девочка скиталась без куска хлеба и без крыши над головой; ее задержали как бродяжку и заключили в тюрьму. Представьте себе, это были лучшие дни жизни вашей дочери!.. Да, за тюремной решеткой она каждый вечер благодарила бога за то, что не страдает здесь от холода и голода, что ее больше не бьют. И именно в тюрьме она провела самые счастливые годы... В такие годы девушка обычно бывает окружена нежными заботами любящей матери. А вместо того, чтобы достичь своих шестнадцати лет окруженной любовью, вниманием, занятой благородными делами, ваша дочь знала лишь грубое безразличие тюремщиков. А затем жестокое и беспечное общество бросило ее, невинную, красивую и чистосердечную, в омут большого города. Несчастное дитя... покинутая... без поддержки, без советов, отданная на волю нищеты и порока!.. О! — воскликнул Родольф, уступив душившим его рыданиям. — Ваше сердце зачерствело, ваш эгоизм безжалостен, но даже вы бы заплакали... да... заплакали бы, слушая печальный рассказ девушки... Бедное дитя! Опозоренная, но не падшая,

целомудренная, несмотря на свое ужасное существование, которое было для нее страшным сном, потому что каждое ее слово выражало ужас перед этой жизнью, куда она была вовлечена роковым образом... О, если бы вы знали, сколько доброты, сколько благородных побуждений, сколько трогательного милосердия проявлялось в ней! Чтобы облегчить участь еще более несчастной, чем она сама, бедняжка истратила свои последние деньги, на которые она могла жить, не падая в бездну бесчестия, куда ее толкнула нужда... Да! Настал злосчастный день... Она пришла туда... без хлеба, без крова над головой; ужасные женщины встретили ее, изнуренную от слабости, от нужды, напоили ее и...

Родольф не мог спокойно говорить; он гневно воскликнул:

— И это была моя дочь! Моя дочь!

— Проклятие мне, — прошептала Сара, закрывая лицо руками, словно боясь взглянуть на дневной свет.

— Да, — вскричал Родольф, — будьте вы прокляты! Вы — причина всех этих ужасов... Вы бросили свою дочь... Будьте вы прокляты! Когда я вытащил ее из этого омута и поместил в тихое убежище, вы выкрали ее оттуда с помощью ваших гнусных

сообщников... Будьте вы прокляты! Вот почему она снова оказалась во власти Жака Феррана...

Назвав это имя, Родольф внезапно замолчал.

Он вздрогнул, как бы произнося это имя впервые. Дело в том, что он первый раз назвал имя Феррана после того, как узнал, что его дочь была жертвой этого изверга...

Черты лица принца исказились от ярости и ненависти.

Застывший в безмолвии, он, казалось, был сражен мыслью, что мучитель его дочери все еще жив.

Этот разговор взбудоражил Сару. Она была потрясена и испугана мрачным взглядом Родольфа. И вместе с тем ощущала, как возрастает охватившая ее слабость.

— Что с вами? — проговорила она дрожащим голосом. — Боже мой! Неужели недостаточно страданий?

— Нет... еще недостаточно! — проговорил Родольф, как бы отвечая на свои собственные мысли. — Я никогда не испытывал подобного... никогда! Какая жажда мести! Какая жажда крови... Какое осмысленное бешенство!.. Я не знал, что одна из его жертв — моя дочь, и думал: «Смерть негодяя никому не принесет пользы...

тогда как его жизнь будет полезной, но он должен искупить свои грехи, приняв условия, которые ему будут предложены...» Мне казалось справедливым обратить его на стезю милосердия, чтобы он смог искупить преступления... А жизнь человека, лишившегося золота, жизнь, искушаемая неистовой чувственностью, будет для него долгой и мучительной пыткой... Ведь мою дочь, ребенка, он бросил в бездну нищеты... А когда она стала девушкой, он подверг ее позору! Приказал ее убить! Я убью его!

И принц ринулся к выходу.

— Куда вы? Не покидайте меня! — закричала Сара, протягивая Родольфу руки. — Не оставляйте меня одну!.. Я умираю...

— Одну! Нет!.. Нет!.. Я оставлю вас с призраком погубленной дочери!

Сара вне себя опустилась на колени, испуская крик, как будто перед ней предстало страшное видение.

— Сжальтесь! Я умираю!

— Умирайте же, проклятая, — гневно ответил Родольф. — Теперь мне нужна жизнь вашего сообщника. Вы отдали дочь палачу!..

И Родольф приказал немедленно отвезти его к Феррану.

Глава IV.
НЕИСТОВСТВА ЛЮБВИ

В то время как Родольф направился к нотариусу, наступила ночь.

Флигель, где жил Жак Ферран, погрузился в глубокую темноту. Завывает ветер...

Идет дождь...

В такую же ненастную ночь Сесили, прежде чем навсегда покинуть дом нотариуса, довела до полного безумия его грубую страсть.

В спальне при тусклом свете лампы Ферран лежит на кровати в брюках и черном жилете; один рукав его рубашки засучен и запятнан кровью; перевязка из красной материи, виднеющаяся на его мускулистой руке, доказывает, что Полидори только что пустил ему кровь.

Полидори стоит подле кровати, одной рукой опираясь на ее изголовье, и, кажется, с тревогой вглядывается в черты своего сообщника.

Невозможно представить себе что-либо отвратительнее и страшнее лица Феррана, погруженного почти в бессознательное состояние, которое обычно наступает вслед за сильными

приступами болезни. Он дошел до последней степени маразма; тени алькова придают лиловатый оттенок его лицу, покрытому холодным потом; опущенные веки, наполненные кровью, так вздулись, что кажутся двумя красноватыми полукругами на его мертвенно-бледном лице.

— Еще один такой сильный приступ... и он мертв, — тихо произнес Полидори. — Аретей[148] сказал, что большинство тех, кто поражен этой странной и ужасной болезнью, погибают почти всегда на седьмой день... а вот уже прошло шесть дней... как адская креолка зажгла неугасимый огонь, пожирающий этого человека.

После молчаливого размышления Полидори отошел от кровати и стал медленно ходить по комнате.

— Только что, — проговорил он, останавливаясь, — во время приступа, который чуть было не вызвал смерть Жака, мне казалось, что я во власти сна, когда слышал, как он, задыхаясь, говорит в бреду о безумных галлюцинациях, возникших в его мозгу... Ужасная, ужасная болезнь!

---

[148] Notes: 148

Ибо чаще всего эти определенные признаки болезни возникают на седьмой день (Аретей). См. также перевод трактата Балдассара (Cas. med. lib. III, Salacitas nitro curftta). И еще замечательные страницы Амбруаза Паре о Satiriasis, характеризующие эту необыкновенно страшную болезнь, которая сходна с возмездием бога.

Она поочередно подвергает каждый орган каким-то явлениям, которые ставят в тупик науку... устрашают природу... Только что слух Жака обладал невероятной болезненной чуткостью, хотя я говорил с ним по возможности тихо, но мои слова так поражали его барабанные перепонки, что собственный череп казался ему колоколом, в котором огромный медный язык раскачивался при малейшем звуке и бил его по вискам с оглушительным грохотом и нестерпимой болью.

Полидори вновь остановился в раздумье у кровати Феррана.

На дворе бушевала буря; вскоре она разразилась дождем и сильным порывом ветра, со свистом врывавшимся во все окна ветхого дома...

Полидори, несмотря на свое изощренное коварство, был суеверен; предчувствия и необъяснимое беспокойство томили его; вой урагана, нарушавшего зловещую тишину ночи, внушал ему неопределенный страх, с которым он напрасно пытался бороться.

Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, он принялся рассматривать черты лица своего сообщника.

— Теперь, — сказал он, склоняясь к нотариусу, — его веки наливаются кровью... Можно

подумать, что густая кровь хлынула в них и там застоялась. Со зрением — так же, как и со слухом, — несомненно, произойдет что-то необычное... Какие страдания!.. Как они разнообразны!.. Сколь долго он мучается!.. Когда природа решает стать жестокой... — добавил он с горькой усмешкой, — играть роль палача, она превосходит самые свирепые выдумки людей. Так, при этой болезни, причина которой эротическое безумие, она подвергает каждое чувство нечеловеческим мукам, до предела обостряет чувствительность каждого органа, чтобы боли стали нестерпимыми.

В течение нескольких минут он созерцал черты лица своего сообщника, наконец содрогнулся с отвращением и, отпрянув от больного, произнес:

— О, эта маска ужасна... Лицо становится страшным, появляются морщины.

На дворе ураган бушевал с удвоенной силой.

— Какая буря, — продолжал Полидори, падая в кресло и опираясь головой на руки. — Какая ночь... Какая ночь! Нельзя представить себе более губительной для состояния Жака.

После долгого молчания он снова заговорил:

— Не знаю, предвидел ли принц, осведомленный об адском могуществе чар Сесили и все растущем напряжении чувств Жака, что у че-

ловека такой энергии и закалки сила пылкой и неутоленной страсти, осложненной какой-то бешеной жадностью, вызовет ужасающую нервную болезнь... но ведь этого последствия надо было ожидать, оно неминуемо...

— О да, — резко поднявшись, словно испуганный своими мыслями, сказал он, — принц, конечно, это предвидел... его редкому и широкому уму не чужда никакая наука. Его проницательный взгляд охватывает причины и следствия каждого явления... Безжалостный в своей справедливости, он, наверное, тщательно обдумал наказание Жака, основываясь на логическом и последовательном нарастании грубой страсти, возбужденной до бешенства.

После продолжительного молчания Полидори заговорил:

— Когда я вспоминаю прошлое... когда я вспоминаю честолюбивые замыслы, одобренные Сарой, в отношении молодого принца... Сколько событий! До какой степени нравственного падения я дошел, живя среди преступной мерзости? Я, стремившийся сделать из принца изнеженное существо, послушное орудие власти, о которой я мечтал! Я был воспитателем, а хотел стать министром... И несмотря на мои знания, на мой разум,

я, совершая преступление за преступлением, достиг последней степени подлости... И наконец, стал тюремщиком своего сообщника.

Полидори погрузился в мрачное раздумье, которое вновь привело его к мыслям о Родольфе.

— Я страшусь и ненавижу принца, — заметил он, — но я вынужден, дрожа, преклоняться перед силой его воображения, перед его всемогущей волей, которая всегда порывом устремляется за пределы исхоженных дорог... Какой странный контраст в его характере: он так великодушен, что замыслил основать банк для бедных безработных, и так свирепо жесток... чтобы спасти Жака от смерти лишь для того, чтобы ввергнуть его во власть мстительных фурий сладострастия!..

— Впрочем, ничто здесь не противоречит учению церкви, — заметил Полидори с мрачной иронией. — Среди фресок, которые Микеланджело написал на тему семи смертных грехов в своем «Страшном суде» в Сикстинской капелле, я увидел страшное наказание порока сладостра-

стия[149]; но даже отвратительные, дергающиеся в судорогах лица этих осужденных на муки грешников, которые извиваются от жалящих укусов змей, были менее страшными, нежели лицо Жака сейчас во время приступа... Он испугал меня!

И Полидори задрожал, как будто бы перед ним вновь предстало это потрясающее видение.

— О да! — с унынием и страхом продолжал он. — Принц неумолим... Феррану легче было бы положить голову на плаху, взойти на костер, подвергнуться колесованию, испытать расплавленный свинец, сжигающий тело, чем выносить муки, которые терпит этот несчастный. При виде его страданий меня охватывает ужас, когда я задумываюсь о своей судьбе. Как решат поступить со мной?.. Что ожидает меня — сообщника преступлений Жака?.. Быть его надзирателем — слишком мало для мести, которую задумал для меня принц... Он избавил меня от эшафота не для того, чтобы спасти мне жизнь... Быть может, вечная тюрьма ожидает меня в Германии...

---

[149] Notes: 149

«Микеланджело был поглощен своим сюжетом, восемь лет воображение его блуждало среди постоянных мыслей о дне, столь страшном для верующих. Возведенный в сан предсказателя и думая только о своем спасении, он захотел наказать самым потрясающим образом порок, распространенный тогда больше других. Изображение адских мук, как мне кажется, достигло божественных вершин этого жанра». (Стендаль. История живописи в Италии, т. 32, с. 345).

Лучше уж тюрьма, нежели смерть... Я мог лишь слепо отдаться в распоряжение принца... Это был единственный способ спасти себя... Порою, несмотря на его обещание, меня охватывает страх... Быть может, меня отдадут палачу... если Жак умрет! Соорудить для меня эшафот при его жизни — это означало бы предназначить его и для Жака, соучастника моих преступлений... но если он умрет?.. Однако же я знаю, слово принца свято... Но я сам столько раз нарушал божественные и человеческие законы... имею ли я право требовать исполнения данной мне клятвы?.. Ну да все равно!.. Я заинтересован в том, чтоб Жак не скрылся от суда, и в моих интересах продлить ему жизнь... Но симптомы его болезни усиливаются с каждой минутой... Только чудо могло бы его спасти... Что делать?.. Что делать?..

В это время ураган достиг своего апогея, сильный порыв ветра опрокинул старую полуразрушенную трубу, которая свалилась на крышу и на двор с грохотом, похожим на мощный удар грома.

Жак Ферран, внезапно очнувшийся от сковавшей его дремоты, пошевельнулся на кровати.

Смутный ужас все сильнее охватывал Полидори.

— Глупо верить в предчувствия, — взволнованно произнес он, — но эта ночь, как мне кажется, предвещает что-то мрачное.

Его внимание привлек глухой стон нотариуса.

— Он приходит в себя, — подумал Полидори, медленно приближаясь к кровати. — Быть может, начинается новый приступ...

— Ты здесь, — прошептал Жак Ферран, лежа на кровати с закрытыми глазами, — что это за шум?

— Труба обрушилась, — вполголоса, боясь слишком сильно поразить слух своего сообщника, ответил тот. — Кошмарный ураган потрясает дом до самого основания... страшная, страшная ночь...

Нотариус ничего не услышал, повернув голову, он проговорил:

— Ты здесь?

— Да... да... здесь... я ответил тихо, боясь причинить тебе боль.

— Нет, теперь твой голос не вызывает в моих ушах боли, они только что терзали меня... при малейшем шуме мне казалось, что гром разразился в моем черепе... однако же, несмотря на невыразимые страдания, я различал страстный голос Сесили, звавший меня...

— Опять адская женщина! Избегай призрака,

он убьет тебя.

— Призрак — моя жизнь! Он спасает меня.

— Послушай, безумец, именно виденье вызывает твой недуг. Твоя болезнь — это чувственное исступление, достигшее высшего напряжения. Прошу тебя, не предавайся вожделению, иначе смерть...

— Отрешиться от зримых видений! — взволнованно воскликнул Жак Ферран. — Никогда, никогда! Я боюсь лишь того, что моя мысль не сможет больше их вызывать... Но клянусь адом! Мое воображение неистощимо... чем чаще возникает этот чарующий образ, тем более реальным он становится... Когда боль утихает, тогда я могу что-то осознать и Сесили, этот демон, которого я обожаю и проклинаю, предстает передо мною.

— Какое неукротимое бешенство! Оно ужасает меня!

— Вот сейчас, — заговорил нотариус пронзительным голосом, упорно вглядываясь в темный угол алькова, — я вижу, как появляется неясный белый лик... там... там! — И он указал исхудавшим пальцем в сторону возникшего перед ним видения.

— Замолчи, несчастный.

— Ах, вот она!..

— Жак... это смерть.

— О, я ее вижу, — молвил Ферран, стиснув зубы, не отвечая Полидори. — Вот она! Как она прекрасна!.. Прекрасна!.. Как ее черные волосы в беспорядке разметались по плечам!.. А эти маленькие зубки в полуоткрытых устах... эти влажные алые уста! Какой жемчуг!.. О! Ее глаза, они то сверкают, то гаснут!.. Сесили! — воскликнул он с невыразимой страстью. — Сесили, я обожаю тебя!..

— Жак!.. Послушай... послушай!

— О, вечное проклятье... и вечно видеть ее так!..

— Жак! — с тревогой воскликнул Полидори. — Не напрягай свое зрение, глядя на этот призрак.

— Это не призрак!

— Берегись! Ведь только сейчас тебе представилось, что ты слышишь сладострастные песни этой женщины, — твои уши были внезапно поражены нестерпимой болью... Берегись!

— Оставь меня, — с гневом воскликнул нотариус, — оставь меня!.. Для чего же существует слух? Лишь для того, чтобы слышать ее... Зрение для того, чтобы ее видеть...

— Несчастный безумец, ты забываешь о муках, которые наступают потом!

— Я могу преодолеть муки ради видения! Я не испугался смерти, чтобы ощутить все наяву. Впрочем, какое это имеет значение? Этот образ для меня реальность! Сесили, как ты прелестна!.. Ты знаешь, чудовище, что ты упоительна... Зачем это соблазнительное кокетство, воспламеняющее меня!.. О, ненавистная фурия, ты, значит, хочешь, чтоб я умер?.. Отойди!.. Отойди... иначе я задушу тебя... — исступленно воскликнул нотариус.

— Но ты сам убиваешь себя, несчастный, — воскликнул Полидори, грубо встряхнув нотариуса, чтобы вывести его из состояния экстаза.

Напрасные усилия... Жак продолжал все так же пылко:

— О, дорогая королева, демон сладострастия! Никогда я не видел...

Откинувшись назад, нотариус резко закричал от боли.

— Что к тобой? — удивленно спросил Полидори.

— Погаси лампу, свет слишком яркий, я не могу его переносить... Он ослепляет меня...

— Как? — удивился Полидори. — Здесь только одна лампа, покрытая абажуром, свет совсем слабый...

— Я говорю тебе, что он становится все ярче...

Смотри... еще... еще... Это уж слишком... просто нестерпимо, — добавил Ферран, закрывая глаза; лицо его выражало глубокое страдание.

— Ты с ума сошел! Говорю тебе, комната едва освещена, только что я уменьшил свет; открой глаза, тогда увидишь!

— Открыть глаза! Но тогда я буду ослеплен потоком пылающего света, который врывается в эту комнату... Здесь, там, везде... снопы огненных лучей, тысячи ослепительных искр! — вскричал нотариус, привстав с кровати. Затем, испустив душераздирающий крик, он закрыл глаза руками. — Я ослеплен! Палящий свет проникает сквозь закрытые веки... он сжигает меня, пожирает... Ах! Теперь руки несколько затемняют глаза... Но погаси же лампу, она направляет режущий луч.

— Нет сомнений, — произнес Полидори, — его зрение поражено болезненной чувствительностью, как и его слух... затем возникнут галлюцинации... он погиб... Пустить ему кровь в таком состоянии значило бы убить его...

В комнате опять раздался пронзительный крик Жака Феррана:

— Палач! Погаси же лампу! Яркий свет пронизывает мои руки; они стали прозрачными... я чувствую кровь, циркулирующую в моих ве-

нах... Напрасно стараюсь опустить веки, горящая лава света проникает сквозь них, какая пытка! Я чувствую ослепляющие боли, словно мне в орбиты запускают острую раскаленную иглу. На помощь!.. О боже! На помощь! — воскликнул он, корчась в ужасных конвульсиях.

Полидори, испуганный неистовой силой припадка, поспешил погасить лампу.

И оба погрузились в глубокий мрак.

В этот момент раздался шум приближавшегося экипажа, который остановился на улице у ворот.

Глава V.
ПРИЗРАКИ

Комната, где находились Полидори и Жак Ферран, погрузилась во мрак, страдания больного стали понемногу утихать.

— Почему ты так долго не гасил лампу, — спросил Ферран, — для того ли, чтобы продлить мои адские мучения? О боже, как я страдал!..

— Теперь ты чувствуешь себя лучше?

— Сильное возбуждение, но это несравнимо с тем, что было недавно.

— Ведь я тебя предупреждал, что как только воспоминание об этой женщине затронет одно из твоих чувств, тотчас же это чувство поражается каким-то явлением, ставящим в тупик науку, которое верующие могли бы воспринять как страшное возмездие бога.

— Не говори мне о боге... — воскликнул мерзавец, заскрежетав зубами.

— Я заговорил о нем... чтобы ты помнил... Но раз ты дорожишь своей жизнью, как бы ничтожна она ни была... запомни раз навсегда, повторяю тебе, ты погибнешь во время одного из таких

приступов, если снова будешь их вызывать.

— Я дорожил жизнью... потому, что воспоминание о Сесили — моя жизнь...

— Но эти воспоминания изнуряют, поглощают все твои силы, убивают тебя!

— Я не могу, не хочу от них отказаться. Сесили необходима мне, словно кровь телу... Этот человек лишил меня богатства, но не смог похитить у меня страстного немеркнущего образа чаровницы; ее образ принадлежит мне, в любой, момент он возникает перед моим взором как преданный раб... она говорит по моему повелению, она смотрит на меня так, как я хочу, боготворит меня, воспламеняет, — воскликнул нотариус в приступе неистовой страсти.

— Жак, не возбуждай себя, помни о только что происшедшем.

Нотариус не слушал своего сообщника, который предвидел новые галлюцинации. В самом деле, Ферран с язвительным смехом продолжал:

— Отнять у меня Сесили? Значит, они не знают, что можно добиться невозможного, нужно лишь сосредоточить силу всех своих способностей на одном предмете. Вот, например, сейчас я поднимусь в комнату Сесили, куда не осмеливался заходить после ее отъезда... О, увидеть... кос-

нуться ее платьев... посмотреть в зеркало, перед которым она переодевалась... значит, увидеть ее самое! Да, внимательно всматриваясь в зеркало... я скоро увижу, как в нем появляется Сесили, это не иллюзия, не мираж, это будет она сама, я увижу ее там, как скульптор видит в глыбе мрамора созидаемую им статую... но, клянусь всем адским пламенем, в котором я сгораю, это будет не бледная и холодная Галатея.

— Куда ты? — вдруг спросил Полидори, услышав, что Жак Ферран встает с кровати. В комнате было совершенно темно.

— Иду к Сесили...

— Ты не пойдешь... Вид этой комнаты тебя погубит.

— Сесили ждет меня там, наверху.

— Ты не пойдешь, я держу тебя и не отпущу, — произнес Полидори, схватив нотариуса за руку.

Ферран, доведенный до последней степени истощения, не мог бороться с врачом, который держал его своей крепкой рукой.

— Ты хочешь помешать мне пойти к Сесили?

— Да, и к тому же в соседней комнате горит лампа; ты ведь знаешь — только что яркий свет поразил твое зрение.

— Сесили наверху... Она меня ждет... Я готов

пройти через раскаленную печь, чтобы соединиться с ней... Пусти меня... Она называла меня своим старым тигром. Берегись, у меня острые когти.

— Ты не выйдешь отсюда, скорее я привяжу тебя к кровати, как буйного безумца.

— Полидори, послушай, я не безумец, я в полном разуме, я отлично понимаю, что реальной Сесили наверху нет, но для меня призраки моего воображения столь же дороги, как реальный образ!..

— Молчи! — вдруг воскликнул Полидори, прислушиваясь. — Только что мне показалось, что у дверей остановился экипаж; я не ошибся, теперь я слышу голоса во дворе.

— Ты хочешь отвлечь меня от моих мыслей — слишком глупая ловушка.

— Я слышу их разговор, понятно тебе, и я, кажется, узнал...

— Ты хочешь меня обмануть, — сказал Ферран, прерывая врача, — я не дурак...

— Негодяй... слушай же, слушай, ну что, ты не слышишь?..

— Пусти!.. Сесили наверху, она зовет меня; не доводи меня до ярости. В свою очередь говорю тебе: берегись!.. Понял? Берегись!

— Ты отсюда не выйдешь...

— Берегись...

— Не уйдешь, я должен так поступить...

— Ты не пускаешь меня к Сесили, а я сделаю так, что ты умрешь... Так вот! — глухим голосом проговорил нотариус.

Полидори вскрикнул:

— Злодей! Поранил мне руку, а рана ничтожная, ты от меня не ускользнешь...

— Рана смертельна... ты поражен отравленным ножом Сесили; я всегда носил его с собой; яд начнет действовать. Ну что? Ты пустишь меня! Ведь ты сейчас умрешь... Не надо было задерживать меня, противиться встрече с Сесили... — произнес Ферран, на ощупь отыскивая дверь в темноте.

— О, — пробормотал врач, — рука не действует... чувствую смертельный холод... Колени трясутся... стынет кровь в жилах... кружится голова... На помощь!.. — воскликнул он, издавая последний вопль. — На помощь!.. Умираю!..

И он опустился наземь.

Вдруг раздался треск стеклянной двери, отворенной с такой силой, что разбились стекла, а затем послышался громкий голос и звук поспешных шагов Родольфа — все это казалось откликом на предсмертные крики Полидори.

Ферран, отыскав наконец в темноте задвижку, быстро открыл дверь соседней комнаты и ринулся туда с отравленным ножом.

В то же время с противоположной стороны в комнату, словно гений мщения, вошел грозный принц.

— Чудовище! — воскликнул Родольф, приближаясь к Феррану. — Это ты убил мою дочь! Ты будешь...

Принц не договорил, он в ужасе отступил от нотариуса...

Эти слова будто молнией поразили Феррана...

Бросив нож, закрывая глаза руками, несчастный с нечеловеческим воплем упал лицом на землю.

Вследствие явления, о котором мы говорили, полная темнота облегчила боль Феррана, но, когда он вошел в ярко освещенную комнату, у него начались столь головокружительные, нестерпимые муки, точно он попал в раскаленный поток света, который можно сравнить со светом солнечного диска.

Ужасное зрелище представляла собою агония этого человека; он исступленно корчился от боли, ногтями скреб паркет, как будто хотел вырыть в нем яму и избавиться там от жестоких мук,

вызванных пылающим светом.

Родольф, его слуга, привратник дома, которому пришлось довести принца до дверей комнаты, остановились, охваченные ужасом. Питая справедливую ненависть к нотариусу, Родольф все же почувствовал жалость, наблюдая глубокие страдания Феррана; он приказал перенести его на диван.

Сделать это было нелегко; боясь очутиться под прямым воздействием света, нотариус отчаянно отбивался, а когда он оказался в комнате, залитой светом, он вновь испустил крик, который заставил Родольфа оцепенеть от ужаса.

После новых и долгих мучений боли, ставшие невероятно сильными, прекратились.

Достигнув высшего напряжения, исход которого мог быть только смертельным, боль в глазах утихла, но, как обычно при нормальном ходе этой болезни, после приступа начались бред и галлюцинации.

Вдруг Ферран вытянулся и закостенел, точно при столбняке; его веки, упрямо закрывавшие глаза, внезапно открылись; вместо того чтобы избегать света, его взор обратился в сторону лампы; зрачки странным образом остановились и расширились; из них исходил фосфорический

свет. Казалось, что Жак Ферран в экстазе созерцает мир; его тело вначале оставалось совершенно неподвижным, только лицо беспрестанно и судорожно содрогалось.

В его безобразном лице, искаженном и изможденном, не оставалось ничего человеческого, казалось, что животная похоть, вытеснив разум, придала физиономии этого негодяя совершенно скотские черты.

Дойдя до последней степени безумия, во время бредовой галлюцинации он еще помнил слова Сесили, которая называла его своим тигром; постепенно он терял разум и вообразил себя этим хищником.

Бессвязные слова, которые он произносил, едва переводя дух, выражали расстройство его ума, странное отклонение от нормального восприятия вещей. Постепенно неподвижность его тела прошла, и он стал шевелиться, однако, резко повернувшись, упал с дивана; хотел встать и пойти, но у него не хватило сил, ему пришлось ползать и передвигаться, опираясь на руки и колени... направляясь то в одну, то в другую сторону... всецело подчиняясь возникавшим перед ним призракам, во власти которых он находился.

Он пристроился в углу комнаты, как тигр в

своем логове., Его неистовые хриплые крики, скрежет зубов, конвульсии мышц лба и лица, пылающий взгляд порой придавали ему сходство с этим свирепым зверем.

— Тигр... тигр... да, я тигр, — говорил он прерывающимся голосом, весь сжавшись в комок, — да, я тигр... Сколько крови!.. В моем логове... сколько истерзанных трупов... Певунья... брат этой вдовы... мальчик... сын Луизы... вот трупы... моя тигрица Сесили получит свое... — Затем, посмотрев на исхудавшие пальцы, на ногти, безмерно выросшие за время болезни, он молвил прерывающимся голосом: — О, мои когти... сильные и острые. Я старый тигр, но ловкий, смелый и могучий... никто не посмеет отбить от меня мою тигрицу Сесили... Ах, она зовет... зовет... — выпячивая вперед свою страшную морду, говорил он.

Затем, после короткого молчания, он вновь прижался к стене.

— Нет... Мне показалось, что я ее слышу... Ее там нет, но я ее вижу... О, вот она... Она зовет меня, она рычит, рычит там... Я здесь... Я здесь...

И Ферран на коленях и руках пополз на середину комнаты. Хотя силы его иссякли, он постепенно продвигался судорожными прыжками, потом остановился и стал внимательно

прислушиваться.

— Где же она?.. Где же она?.. Я приближаюсь к ней, а она удаляется... Ах... Вот она!.. Ждет меня... Иди... иди... рой песок, издавая жалобный рев... О, ее большие свирепые глаза... они стали тоскливыми, они умоляют меня... Сесили, твой старый тигр весь твой! — воскликнул он.

И последним усилием он приподнялся и встал на колени.

Внезапно, с ужасом откинувшись назад, опершись телом на пятки, с растрепанными волосами, с растерянным видом, с искривленными от страха губами, протянув вперед руки, он, казалось, начал ожесточенно бороться с каким-то невидимым призраком, произнося несвязные слова и крича прерывающимся голосом:

— Какой укус... На помощь... Суставы заледенели... Руки поломаны, я не могу его прогнать... Зубы острые... Нет, нет, о, только не глаза... На помощь... Черная змея... О, плоская голова... Огненные глаза. Она на меня смотрит... Это дьявол... Ах! Он меня узнал... Жак Ферран... В церкви... Святой человек... Всегда в церкви. Уходи... Я перекрещусь... Уходи...

И нотариус, приподнявшись, опираясь одной рукой о пол, другой старался -перекреститься.

Его мертвенно-бледный лоб покрылся холод-

ным потом. Глаза потеряли прозрачность... стали тусклыми, с бутылочно-зеленым оттенком.

Все признаки приближающейся смерти были налицо.

Родольф и другие свидетели этой сцены стояли молча, словно находясь во власти ужасного кошмара.

— А... — продолжал Жак Ферран, по-прежнему находясь на полу, — дьявол исчез... Я хожу в церковь... святой человек... молюсь... Не так ли? Не узнают... Ты думаешь? Нет, нет, соблазнитель... Конечно!.. Тайна? Ну ладно! Пусть они придут... эти женщины... все? Да... все... Если не узнают?..

И на мерзком лице этого мученика, проклятого за порок сладострастия, можно было видеть последние конвульсии чувственной агонии... Стоя на краю могилы, которую неистовая страсть разверзла пред ним, охваченный буйным бредом, он все еще старался вызвать образы смертоносного сладострастия.

— О, — продолжал он, задыхаясь, — эти женщины... эти женщины!.. Но тайна!.. Я святой человек!.. Тайна!.. А вот они!.. Трое... Их было три! Что говорит эта? Я Луиза Морель!.. Ах, да, Луиза Морель... Знаю... Я всего лишь девушка из народа... Смотри, Жак... Какой густой лес черных волос

рассыпался по моим плечам. Ты находил мое лицо красивым... На... бери... храни его. Что она дает мне?.. Свою голову, отрубленную палачом... Эту мертвую голову... Она смотрит на меня... Она говорит со мной, как Сесили... Нет... Я не хочу... Я не хочу... Дьявол... оставь меня... сгинь!.. сгинь! А вот другая женщина!.. О! Красавица!.. Красавица!.. Жак... Я — герцогиня... де Люсене... Взгляни на мою фигуру богини... мою улыбку... мой наглый взор... Приди, приди... Да... Я иду... Подожди!.. А эта... Вот она поворачивается ко мне лицом!.. О Сесили... Сесили... Да... Жак... Я — Сесили... Ты видишь три грации... Луиза... герцогиня и я... выбирай... Народная красота... аристократическая красота... дикая красота тропиков... С нами ад... Иди же!.. Иди!..

— Пусть в аду, но с вами!.. Да!.. — воскликнул Ферран, приподнимаясь на колени и протягивая руки, чтобы схватить возникшие призраки.

За последним конвульсивным порывом последовал смертельный удар.

Он сразу упал на спину, закостеневший и бездыханный, его глаза словно выкатились из орбит, искаженные черты лица дергались в судорогах, подобных тем, которые электрический ток вызывает на лице мертвеца. На губах появилась

кровавая пена, голос стал свистящим, хриплым, как у человека, заболевшего бешенством, так как последние симптомы этой ужасной болезни — страшной кары за порочное сладострастие — похожи на симптомы бешенства.

Жизнь этого чудовища угасла во время последнего кошмара, он лишь пробормотал:

— Темная ночь... темная... призраки... медные скелеты, накаленные докрасна... обнимают меня... жгут своими пальцами... Мое тело дымится, мой мозг горит... Свирепый призрак... Нет!.. Нет!.. Сесили!.. Огонь... Сесили!..

Таковы были последние слова Жака Феррана. Родольф, потрясенный, вышел из дома.

Глава VI.
БОЛЬНИЦА

Напомним, что Лилия-Мария, спасенная Волчицей, была перенесена в находившийся близ острова Черпальщика дом доктора Гриффона, одного из врачей гражданской больницы, куда мы и поведем читателя.

Ученый врач, получивший по протекции влиятельных людей назначение в этот госпиталь, рассматривал палаты больницы как площадку, где он испытывал на бедных курс лечения, который потом применял к богатым, причем никогда не предлагал им новых способов лечения, прежде чем несколько раз не повторит его in anima vili, как он выражался, с преступным варварством, к которому привела его слепая страсть к искусству врачевания и в особенности привычка и возможность безбоязненно испытывать на созданиях бога все причудливые затеи, все фантазии предприимчивых исследователей. Так, например, если доктор хотел убедиться в сравнительном действии нового метода лечения, довольно рискованного, с тем чтобы прийти к заключению о

пригодности той или иной системы:

Он избирал несколько больных... Часть их лечил по новому методу. Другую — по старому.

Некоторых больных он вообще никак не лечил, считая, что природа сама должна оказать свое воздействие...

После подобного рода опытов он подсчитывал, сколько больных из всей этой группы осталось в живых... Люди, подвергавшиеся этим страшным экспериментам, были, по правде говоря, не чем иным, как человеческими жертвами, принесенными на алтарь науки[150].

Доктор Гриффон даже не думал об этом.

В глазах этого светила науки, как говорят в наше время, больные его госпиталя являлись лишь объектом для изучения и экспериментирования;

---

[150] Notes: 150

Имя, которое я имею честь носить и которое мой отец, дед, двоюродный дед и прадед, один из первых эрудитов XVII в., прославили благодаря замечательным фундаментальным практическим и теоретическим трудам в различных областях медицины, не позволяет мне подвергать врачей малейшим нападкам или даже допускать хотя бы слабые намеки на неблаговидность их деятельности, но важность исследуемой мною проблемы и законный безграничный авторитет французской медицинской школы не препятствует мне. В образе доктора Гриффона я хотел изобразить человека, пользующегося уважением, но увлеченного своей профессией и экспериментами до такой степени, что он способен допустить серьезное злоупотребление правами врача, как бы забывая, что существует нечто более святое, чем наука, — Человечность.

и так как все-таки случалось, что эти опыты давали положительный результат или открытие обогащало науку, доктор простодушно торжествовал, словно генерал, одержавший победу, не придавая значения тому, сколько солдат полегло на поле брани.

Как только доктор Гриффон начал свою деятельность, он стал яростным врагом гомеопатии. Он считал этот метод абсурдным, пагубным и даже убийственным. Опираясь на свои убеждения и желая поставить гомеопатов, как говорится, на колени, он с рыцарской справедливостью предлагал им взять несколько больных, которых они могли лечить своим методом, заранее полагая, что из двадцати больных, подвергнутых их лечению, выживут не более пяти. Но письмо из Медицинской академии отвергло эти опыты, предложенные самим министерством по просьбе гомеопатического общества, и пресекло неуместное усердие, а доктор в силу профессиональных соображений не захотел противопоставлять личный авторитет решению, принятому высшей инстанцией медицинского мира. С такой же непоследовательностью, как и его коллеги, он продолжал утверждать, что дозы гомеопатов не оказывают воздействие на организм и являют-

ся исключительно вредными, не отдавая себе отчета в том, что, если доза не воздействует на организм, она не может считаться ядовитой; однако же предрассудки ученых столь же устойчивы, как и предрассудки обывателей.

Понадобились многие годы, прежде чем один добросовестный врач осмелился осуществить в одном из госпиталей Парижа опыты лечения малыми дозами и посредством гомеопатических шариков спасти сотни легочных больных, которых кровопускание отправило бы на тот свет.

Что касается доктора Гриффона, так бесцеремонно объявлявшего тысячную долю лекарственной нормы смертоносной, то он продолжал безжалостно пичкать больных йодом, стрихнином и мышьяком, доводя дозы до предела, который может выдержать организм, а вернее сказать, до смертельного похода.

Доктор Гриффон был бы поражен, если бы кто-либо возразил ему, произнеся следующие слова по поводу бесконтрольного, самовольного лечения его «подданных»:

«Подобный метод заставляет вспомнить с сожалением о варварских временах, когда на приговоренных к смерти производили те новые хирургические операции, которые опасались

делать прочим людям, так как эти операции еще не были испробованы и сравнительно недавно открыты. Если операция удавалась, осужденного миловали.

Сравнительно с вашим методом это варварство было милосердным.

Ведь несчастному, которого ждал палач, опыт предоставлял возможность спасти жизнь, а кроме того, он мог оказать неоценимую услугу и другим больным.

Гомеопаты, которых вы уничтожаете своими сарказмами, вероятно, на себе испытали лекарства, которые они рекомендуют в борьбе с болезнями. Многие из них погибли, производя эти благородные и смелые опыты, и их имена должны быть записаны золотыми буквами в списке мучеников науки.

Не к подобного ли рода экспериментам вы должны приучать своих учеников?

Но представлять им больного, лежащего в госпитале, как грубое существо, служащее для различных терапевтических упражнений, как пушечное мясо, предназначенное для того, чтобы выдержать первые залпы медицинской артиллерии, — это куда более опасно, чем стрелять из орудий, но испытывать рискованное лечение на

несчастных ремесленниках, для которых больница единственное убежище, если они тяжело заболевают... но пробовать метод, быть может, гибельный, на беспомощных, безоружных людях, которых нужда заставляет всецело довериться вам — единственной для них надежде, вам, отвечающему за их жизнь только перед богом... Знаете ли вы, что это значит — довести любовь к науке до бесчеловечности!

Как! Бедные труженики работают в мастерских., на полях, служат в армии; в этом мире сталкиваются только с нуждой и лишениями, и когда они, выбившись их сил, падают полумертвыми от изнеможения и страданий... неужели даже болезнь не убережет их от последней кощунственной эксплуатации?

Я обращаюсь к вашему сердцу, доктор, неужели то, что я сказал, покажется вам несправедливым и жестоким?»

Увы! Быть может, эти суровые слова и взволновали бы доктора Гриффона, но ни в коей мере не убедили бы его.

Человек так создан: полководец смотрит на своих солдат как на пешек в кровавой игре, называемой сражением.

И потјму что человек так создан, общество

обязано покровительствовать тем, кого судьба заставила нести на себе бремя человеческих страданий. И вот если мы раз и навсегда примем принципы доктора Гриффона (и мы их принимаем, не преувеличивая их значения), то больные его госпиталя ничем не будут гарантированы, лишены каких-либо средств зашиты от ученого варварства его опытов; ибо тут сказываются прискорбные недостатки в организации гражданских больниц.

На это обстоятельство мы здесь указываем, и крайне желательно, чтобы нас поняли.

Военные госпитали ежедневно посещает старший офицер, обязанный выслушивать жалобы больных солдат и, если они кажутся ему обоснованными, принимать соответствующие решения. Подобного рода строгий контроль, совершенно независимый от администрации и лечащих врачей, превосходен и всегда дает положительные результаты. К тому же нет медицинских учреждений, организованных лучше, чем военные госпитали. За солдатами там ухаживают с трогательным вниманием и к ним относятся, можно сказать, с состраданием и уважением. Почему бы контроль, аналогичный тому, который старшие офицеры осуществляют в военных госпиталях, не

ввести также в гражданских больницах, чтобы его исполняли лица, совершенно не подчиненные ни администрации, ни лечащим врачам; этим могла бы заняться комиссия, избранная среди мэров и их помощников, словом, среди чиновников парижского муниципалитета, занимающих должности, которых они так упорно добивались. Жалобы бедных больных (если они обоснованы) разбирались бы беспристрастно, в то время, как, мы это повторяем, подобного органа нет, не существует контроля медицинской службы. Такое положение кажется нам ненормальным.

Итак, когда двери палаты доктора Гриффона закрываются за больными, этот последний телом и душой уже принадлежит науке. Ни друг, ни равнодушный к нему человек отныне не услышат его жалоб.

Ему прямо объявляют, что, попав в госпиталь (из милосердия), он теперь всецело подчинен доктору, производящему эксперименты, и что больной и его болезнь должны служить объектом изучения, наблюдения, анализа, а также обучения студентов, ревностно слушающих доктора Гриффона.

И действительно, вскоре больной подвергает-

ся самому унизительному допросу, притом не наедине с врачом, который, как священник на исповеди, имеет право все знать, нет, больной должен громко отвечать жадной и любопытной толпе.

Да, в этом аду науки старик или молодой человек, девушка или пожилая женщина должны отрешиться от всякого чувства стыда и унижения, должны раскрывать самые интимные стороны жизни, подвергаться различным мучительным исследованиям — все это перед многочисленной аудиторией, — и почти всегда такое жестокое обращение ухудшает состояние больного.

Это негуманно и несправедливо; ведь раз больного принимают в больницу во имя святого милосердия, к нему должны относиться с состраданием и уважением, потому что в несчастии

человек сохраняет величие[151].

Если прочесть следующие строки, станет понятно, почему мы предпослали им некоторые размышления.

Нет более печального зрелища, нежели ночная картина большей больничной палаты, куда мы поведем нашего читателя.

Вдоль высоких и мрачных стен с зарешеченными, как в тюрьме, окнами тянутся два параллельных ряда кроватей, тускло освещенных мрачным светом лампы, подвешенной под потолком.

Атмосфера столь зловонна и тяжела, что новые больные привыкают к ней не без опасных последствий; это усиление страданий — своеобразная мзда, которую каждый вновь прибывший больной обязательно платит, попадая под мрачные

---

[151] Notes: 151

Здесь нет каких-либо преувеличений. Мы приводим фрагмент из статьи «Посещение больницы» (Конститюсьонель, 19 марта, 1836). Статья подписана буквой Z, начальной буквой фамилии знаменитого врача; его нельзя обвинить в искажении вопроса о состоянии гражданских больниц.

«При поступлении больного в больницу на дощечке пишут его фамилию, номер кровати, название болезни, возраст, профессию и адрес больного. Дощечку вешают в ногах или в изголовье; такая формальность вызывает глубокое волнение у тех, кто должен некоторое время находиться в приюте бедняков. Не считаете ли вы, что больной Жильбер в силу этого обстоятельства не смог выздороветь? Я наблюдал молодых людей, беспечных стариков, у которых разглашение характера заболевания, их фамилии вызывало глубокое переживание. Больной при поступлении в больницу претерпевает

тяжелое испытание. Судите сами о том, как он должен уставать, если в течение суток его последовательно расспрашивали: лечащий врач, врач — представитель администрации больницы, дежурный хирург, врач палаты, постоянный врач больницы и, наконец, на следующее утро, главный врач, кроме того, десять или двадцать прилежных учеников, практикующихся в клинике. Конечно, это обогащает опыт будущих врачей, сопутствует успеху медицины, но этот метод осложняет болезнь и, конечно, задерживает выздоровление больных.

Один из прошедших курс лечения утверждал: «Если б я даже предстал перед судом, меня и тогда не допрашивали бы столько раз за две недели; пятьдесят человек в течение дня мучили меня одними и теми же вопросами. Когда я поступил сюда, у меня был плеврит, но я очень боюсь, что ненасытное любопытство стольких людей превратит его в конце концов в воспаление легких».

Одна женщина призналась: «Меня обступают каждую минуту, спрашивают, сколько мне лет, какой у меня темперамент, какая талия, цвет волос, смуглая ли у меня кожа; спрашивают, что я ем, диету, о моих привычках, о здоровье моих предков, при каких обстоятельствах я родилась, о моем состоянии, положении в обществе, о моих самых интимных отношениях и о предполагаемых причинах переживаний; доходят до того, что судят о моем поведении, пытаются познать чувства, которые я должна тщательно скрывать в своем сердце, меня в чем-то подозревают, что заставляет меня краснеть». Затем она продолжала: «Выстукивают мою грудь в двадцати местах в присутствии всех, на ней делают пометки чернилами, чтобы фиксировать прогрессирующие процессы в моих внутренних органах. Современные врачи, заметила женщина, похожи на инквизиторов; выздороветь в наше время — все равно как в прошлые времена понести наказание, это крайне огорчительно».

Далее, после описания всех формальностей при обходе больных, господин Z замечает: доктор у постели выздоравливающих задерживается лишь минуту, но, чтобы добраться до новичков либо больных в тяжелом состоянии, ему необходимо протолкнуться через плотную массу студентов, которые караулят с утра свое место наблюдателя. Больной же молча лежит посреди любопытствующей публики и часто происходит так, что его здоровье резко ухудшается. Пациент поджидает врача с волнением и страхом, а врач обводит проницательным взглядом присутствующих, затем его взгляд загорается, он подходит к больному, душевное состояние которого в высшей степени тревожно»

своды больницы.

Спустя некоторое время у больного появляется мертвенная бледность, означающая, что он испытал первое воздействие этой тлетворной среды, что он, как мы бы сказали, акклиматизировался[152].

Итак, воздух в этой большой палате тяжелый, зловонный.

Ночная тишина нарушается то жалобными стонами, то глубокими вздохами страдающих лихорадочной бессонницей... Затем все смолкает, слышно лишь, как монотонно и размеренно качается маятник больших часов, отсчитывающих медленно тянущиеся минуты, кажущиеся такими долгими для тех, кто не спит от боли.

В одном конце палаты было почти совсем темно. Вдруг оттуда донесся какой-то шум, послышались торопливые шаги, дверь то открывалась, то закрывалась; появилась сестра милосердия в белом чепце и черном платье; у нее был светильник. Сестра приблизилась к одной из последних коек по правой стороне.

Некоторые больные, внезапно проснувшись, приподнялись на своих кроватях и стали внима-

---

[152] Notes: 152

Лишь в безотлагательном случае сложные хирургические операции проводятся тотчас по поступлении больного в больницу.

тельно наблюдать за происходящим.

Вскоре двухстворчатая дверь распахнулась. Вошел священник с распятием... Сестры преклонили колена.

Свет лампы создавал бледное сияние вокруг этой кровати, в то время как остальная часть палаты была погружена во мрак; можно было видеть склонившегося больничного священника, произносившего слова молитвы, слабый отзвук которой терялся в ночной тишине.

Четверть часа спустя священник накрыл изголовье простыней...

Потом вышел из палаты...

Одна из сестер поднялась, задернула над кроватью занавески и снова стала молиться возле своей подруги.

Вновь наступила тишина.

Одна из больных только что умерла...

Среди женщин, не спавших в это время и следивших за этой немой сценой, были три больных, имена которых уже упоминались в нашем повествовании.

Мадемуазель де Фермон, дочь несчастной вдовы, разоренной жадностью Жака Феррана.

Бедная прачка из Лотарингии, которой Лилия-Мария дала когда-то немного денег, и Жанна

Дюпор, сестра Гобера — рассказчика из тюрьмы Форс.

Мы знаем мадемуазель де Фермон и Жанну Дюпор. Что касается прачки из Лотарингии, то это была женщина лет двадцати, с приятными и правильными чертами лица, но крайне бледная и худая. У нее была чахотка в последней стадии; спасти ее не было надежды; она знала об этом и медленно угасала.

Кровати двух больных стояли близко друг к другу, поэтому они могли тихо разговаривать между собой, так что сестры их не слышали.

— Вот еще одна отдала богу душу, — произнесла женщина из Лотарингии, думая о покойной и говоря сама с собой. — Теперь она не страдает!.. Она по-настоящему счастлива!..

— Да, счастлива... если у нее нет детей, — заметила Жанна.

— Оказывается, вы не спите... соседка, — сказала уроженка Лотарингии. — Как вы себя чувствуете в эту первую ночь? Вечером, когда вы прибыли сюда, вас сразу уложили... Я не посмела говорить с вами, слышала, как вы рыдали.

— О да... горько плакала.

— Значит, у вас сильные боли?

— Да, но я терпеливо переношу их, рыдала от

горя, наконец заснула и спала, пока стук дверей меня не разбудил. Когда вошел священник и сестры опустились на колени, я поняла, что женщина умирает... Тогда я произнесла про себя Pater и Ave за нее...

— Я тоже... так как у меня та же болезнь, что и у покойной, не удержалась и воскликнула: «Теперь она больше не страдает, она счастлива!»

— Да, но, как я вам уже сказала... если у нее нет детей!..

— А у вас есть дети?

— Трое... — ответила, вздыхая, сестра Гобера. — А у вас?

— У меня была девочка... но я не смогла ее уберечь. Доченька была обречена заранее: я слишком мучилась во время беременности. Я служила прачкой на корабле, работала из последних сил. Но всему приходит конец. Когда у меня не стало сил, лишилась и хлеба. Меня прогнали из меблированной комнаты, где я жила. Не знаю, что бы со мной стало, если бы не одна бедная женщина. Она взяла меня к себе в подвал, где пряталась от своего мужа, который хотел ее убить. Вот там на соломе я и родила, но, к счастью, эта славная женщина была знакома с одной девушкой, и милосердной и красивой, как

ангел небесный. У этой девушки было немного денег, она-то и извлекла меня из подвала, даже сняла мне меблированную комнату, за которую она внесла плату на месяц вперед, купила еще плетеную колыбель для ребенка и сорок франков дала мне, да еще подарила мне немного белья. Благодаря ей я воспряла духом и снова принялась работать.

— Добрая, милая девушка... Послушайте, ведь я тоже случайно встретила такую же молодую работницу, очень услужливую. Я отправилась... на свидание к моему брату, который сидит в тюрьме... — помолчав, произнесла Жанна, — и встретила в приемной эту девушку. Услышав мой разговор с братом и узнав, что я в беде, она сама подошла ко мне и предложила по мере своих возможностей помощь, такая хорошая...

— Как это было мило с ее стороны!..

— Я согласилась; она дала мне свой адрес, а два дня спустя славная мадемуазель Хохотушка... ее зовут Хохотушка... достала мне заказ...

— Хохотушка! — воскликнула уроженка Лотарингии. — Как мир тесен...

— Вы ее знаете?

— Нет, но та девушка, которая так великодушно помогла мне, несколько раз называла имя Хохо-

тушки, они подруги...

— Ну ладно, — грустно улыбаясь, сказала Жанна, — раз мы лежим с вами рядом, мы тоже должны стать подругами, как наши благодетельницы.

— Вполне согласна. Меня зовут Аннетой Жербье, — сказала прачка из Лотарингии.

— А меня Жанной Дюпор, я бахромщица... Вот ведь как приятно встретить в больнице человека, не совсем чужого, в особенности когда попадаешь сюда впервые да еще переживаешь большое горе!.. Но я не хочу думать об этом!.. Скажите мне, Аннета, как звали молодую девушку, которая была так добра к вам?

— Ее звали Певунья. Беда моя, что с давних пор я с ней не встречалась... Она была прекрасна, как святая дева, с красивыми белокурыми волосами, голубыми нежными глазами... такими нежными, такими нежными... К несчастью, несмотря на ее помощь, моя бедная девочка умерла... Ей минуло всего лишь два месяца, она была слабенькая, едва дышала... — И несчастная мать вытерла слезу.

— У вас был муж?

— Я не была замужем... Занималась стиркой поденно в одном богатом доме у себя на родине. Я всегда была скромна, но позволила обмануть

себя сыну хозяйки, и тогда...

— А, да, я понимаю.

— Поняв свое положение, я не смогла оставаться в родном краю. Господин Жюль, сын хозяйки, дал мне пятьдесят франков на поездку в Париж, сказав, что будет высылать ежемесячно по двадцать франков на приданое для ребенка и на роды, но со времени моего отъезда из дому ничего больше я от него не получала, даже писем; однажды я написала ему, он мне не ответил... Больше я не осмелилась писать, поняв, что он и слышать обо мне не хочет...

— Слышать не хочет, а сам-то погубил вас. И он богат?

— У его матери большое состояние в Лотарингии, но что поделаешь? Я там не жила... Он меня забыл...

— Но, по крайней мере, ради своего ребенка он не должен был забывать вас.

— Наоборот, видите ли, из-за этого он и невзлюбил меня, потому что я была в положении и мешала ему.

— Бедная Аннета!

— Мне-то самой жаль моего ребенка, но для девочки лучше, что она умерла. Бедная дорогая крошка! Ей пришлось бы жить в полной нищете,

и с ранних лет она была бы сиротой... Ведь я — то долго не проживу...

— В вашем возрасте не следует об этом думать. Вы уже давно больны?

— Вот уже три месяца... Пресвятая дева, когда я должна была зарабатывать на жизнь для себя и ребенка, я стала работать вдвое больше, слишком рано возобновила стирку на корабле; зима была страшно холодная; я подхватила воспаление легких; в то время и умерла моя девочка. Ухаживая за ней, я не обращала на себя внимания... а потом еще это горе... Вот я и стала чахоточной, обреченной... как та актриса, которая только что умерла.

— В вашем возрасте всегда есть надежда.

— Актриса была всего на два года старше меня, но вот видите?

— Та, возле которой сидят сестры милосердия, была актрисой?

— О боже, да. Вот судьба... Она была хороша, как божий ясный день, у нее было много денег, экипажи, бриллианты, но, к великому несчастью, она заболела оспой, изуродовавшей ее; тогда наступило тяжелое время, нищета, и наконец она умерла в больнице. Она не была гордячкой, наоборот, была ласковой и приветливой со всеми больными... Никто никогда не приходил ее на-

вестить, но четыре или пять дней назад она нам сообщила, что написала одному своему другу, с которым встречалась в счастливую пору жизни и который ее очень любил; она хотела, чтобы он пришел, и просила, чтобы он взял ее труп из больницы, так как ей неприятно было думать, что после смерти ее будут вскрывать и резать на куски.

— А этот господин... приходил?

— Нет.

— О, как это гадко!

— Каждую минуту она спрашивала о нем, повторяя: «Он придет, да, он придет, наверняка...» И все же она умерла, не дождавшись его.

— Вероятно, ей было еще тяжелее умирать, раз он не пришел.

— О боже, да, потому что то, чего она так боялась, свершится. После богатой, счастливой жизни умереть здесь... Это грустно! Нам, по крайней мере, к нищенскому состоянию не привыкать, не одно, так другое...

— Кстати, — нерешительно продолжала Аннета, — я попросила бы вас об одной услуге.

— Говорите...

— Если я умру, прежде чем вы выйдете отсюда, а это так и будет, я хотела бы, чтобы вы востре-

бовали мой труп... У меня такой же страх, как у актрисы... Я спрячу здесь немного оставшихся у меня денег на похороны.

— Не думайте об этом!

— Но вы мне обещаете?

— Этого, даст бог, не случится.

— Но если все же случится, то благодаря вам меня не будет ожидать участь актрисы.

— Бедная женщина, была такая богатая, и пришлось умереть здесь!

— Не только одна актриса в этой палате была в прошлом богатой, сударыня.

— Называйте меня просто Жанной, как я вас Аннетой.

— Вы очень добры...

— А кто же еще... был богатым?

— Одна молодая девушка лет пятнадцати, которую привезли сюда вчера вечером, до вашего прихода. Она была так слаба, что ее пришлось доставить на носилках. Сестра сказала, что эта молодая особа и ее мать очень приличные люди, но они разорились...

— Ее мать тоже здесь?

— Нет, мать была так плоха, так плоха, что ее не решились переносить... Бедная девушка не хотела ее оставлять, но она лишилась чувств, и

этим воспользовались, чтобы забрать ее сюда... Это владелец скромных меблированных комнат, где они проживали, побоявшись, что они умрут у него, заявил в полицию.

— А где она?

— Смотрите... там... против вас...

— И ей пятнадцать лет?

— Да, самое большее.

— Как моей дочери, — сказала Жанна, не в силах удержаться от слез.

Глава VII.
ОБХОД

Жанна Дюпор, вспомнив о дочери, снова горько заплакала.

— Простите, — обратилась к ней опечаленная Аннета, — если я вас невольно огорчила, заговорив о ваших детях... Быть может, они тоже больны?

— Увы! Боже мой... Я не знаю, что с ними станет, если я пробуду здесь больше недели.

— А ваш муж?

Немного помолчав, Жанна продолжала, вытирая слезы:

— Раз мы подружились, Аннета, я могу поделиться с вами своим горем... как вы рассказали о своем... Мне станет легче... Мой муж был хорошим работником; он просто сошел с ума, покинул меня и детей, продал все, что у нас было; я снова стала работать; добрые люди помогли; я понемногу выпуталась из долгов, содержала семью как могла лучше, но вдруг возвратился муж с какой-то мерзкой женщиной, своей любовницей, для того чтобы забрать то, что у нас еще осталось,

и опять все надо было начинать сначала.

— Бедная Жанна, и вы не могли этому воспротивиться?

— Тогда надо было развестись по закону; но закон слишком дорог, как говорит мой брат. Увы, боже мой, вы вот сейчас поймете, что происходит, потому что закон недоступен для нас, бедных людей. Недавно я была у брата, он дал мне три франка, которые получил от арестантов за то, что рассказывал им разные истории.

— Сразу видно, что у всех в вашей семье доброе сердце, — сказала Аннета. Чувство такта не позволяло ей спрашивать, за что сидит в тюрьме брат Жанны.

— Я опять приободрилась, полагая, что теперь-то уж мой муж не скоро придет ко мне, раз о забрал все, что можно было взять. Но нет, я ошиблась, — с содроганием продолжала несчастная женщина. — Ему оставалось еще забрать мою дочь... мою бедную Катрин.

— Вашу дочь?

— Вы сейчас узнаете... узнаете... Три для тому назад я была занята работой, дети находились возле меня. Вошел муж. По его виду я сразу заметила, что он пьян.

«Я пришел за Катрин», — вот что он мне сказал.

Невольно я схватила дочь за руку и спрашиваю Дюпора: «Куда ты хочешь ее увести?» — «Это тебя не касается, ведь дочь моя. Пусть забирает свои вещи и следует за мной!» При этих словах я оцепенела, представляете себе, Аннета, эта гадкая женщина, любовница моего мужа... стыдно сказать, но... это так... она уже давно уговаривала его воспользоваться красотой нашей дочери... дочь молоденькая и хорошенькая. Но, скажите, что за чудовище эта женщина!

— О да, настоящая мерзавка!

«Увести Катрин? — ответила я Дюпору. — Никогда! Я знаю, что замышляет твоя мразь».

«Послушай, — сказал муж, губы которого побелели от гнева. — Не упрямься, а то убью тебя». Затем, взяв мою дочь за руку, он сказал: «Пошли, Катрин!» Девочка бросилась мне на шею, заливаясь слезами, закричала: «Я хочу остаться с мамой!» Видя это, Дюпор разъярился, схватил дочь, ударил меня в живот с такой силой, что я рухнула наземь... И когда я уже лежала на полу... знаете, Аннета, — заметила несчастная женщина, прерывая свой рассказ, — он ведь не такой злой, это потому, что был пьян... начал меня топтать... и обзывать скверными словами.

— Боже, можно ли быть таким жестоким!

— Мои бедные дети на коленях просили пощады. Катрин вместе с ними; тогда, отчаянно ругаясь, он сказал моей дочери: «Если ты не пойдешь со мной, я прикончу твою мать». Кровь шла горлом... Полумертвая, я не могла шевельнуться... Но все же крикнула Катрин: «Пусть лучше он убьет меня! Не уходи с отцом!» — «Так ты не замолчишь?» — заорал Дюпор и ударил меня ногой так, что я потеряла сознание.

— Какое несчастье, какое несчастье!

— Когда пришла в себя, увидела моих мальчиков, которые плакали.

— А ваша дочь?

— Ушла!.. — воскликнула несчастная мать, горестно рыдая. — Да... ушла... Дети сказали мне, что отец бил ее... угрожал, что убьет меня на месте. Ну что вы хотите? Бедная девочка растерялась... Она бросилась ко мне, обнимала меня, в слезах попрощалась с маленькими братьями... Потом муж ее утащил! Знаете, я уверена, что мерзавка ждала его на лестнице!.. — И вы не могли пожаловаться в полицию?

— На первых порах горевала лишь по Катрин... Но вскоре почувствовала сильную боль во всем теле, не могла ходить... Увы! Боже мой, чего я больше всего боялась, то и произошло. Да, я гово-

рила брату, что когда-нибудь муж меня изобьет... так зверски... мне придется лечь в больницу... Что будет тогда с моими детьми? И вот я здесь, в больнице, горюю: «Что станет с моими детьми?»

— Господи, неужели нет закона, оберегающего бедных?

— Слишком он дорог для нас, — с горечью произнесла Жанна. — Соседи побежали тогда за полицейским... Прибыл агент полиции. Мне было неприятно выдавать Дюпора... но пришлось. Я сказала, что мы поссорились: он решил увести мою дочь, я не соглашалась, тогда он меня толкнул... но это не важно... я лишь желаю, чтоб вернулась Катрин, боюсь, что мерзкая женщина, с которой живет муж, может ее совратить.

— И что ж вам ответил полицейский?

— Что муж имеет право увести дочь, так как он не в разводе со мной; конечно, случится несчастье, если дочь последует дурным советам и станет на путь разврата, но это только лишь предположение, нет оснований жаловаться на мужа. «Вы вправе, — сказал полицейский, — обратиться в суд и просить о разводе, а поведение мужа, его связь с другой женщиной — все это в вашу пользу, и его заставят отдать вам дочь. При иных обстоятельствах она может оставаться у

него». — «Но обращаться в суд! Боже мой, у меня нет средств, я должна кормить своих детей». — «А чем я могу помочь? Так обстоит дело», — заявил полицейский. Да, так обстоит дело, он прав, — рыдая продолжала она. — Значит, быть может, дочь станет уличной девкой! А если б я могла подать жалобу в суд, этого бы не случилось.

— ^ Ничего плохого не будет, ведь ваша дочь любит вас.

— Она так молода! В ее возрасте трудно постоять за себя, к тому же страх, грубое обращение, дурные советы, настойчивость с какой ее будут совращать! Мой брат предвидел, что нас, ожидает, он говорил: «Не зря ты боишься, что эта потаскуха вместе с твоим мужем захочет сгубить твою дочь. Ей придется познакомиться с улицей!» Господи, несчастная Катрин, такая нежная, любящая! Ведь я намеревалась в этом году возобновить ее причастие!..

— Да, вот это горе! А я жалуюсь на свою беду, — прервала свою собеседницу Аннета, вытирая слезы.

— Ради детей я готова была сделать все, но вынуждена была пойти в больницу. Хлынула кровь горлом, начался жар, ломило руки и ноги, и я не смогла работать. Может быть, здесь вылечат ме-

ня, тогда увижу детей, если не умрут с голода или их не посадят в тюрьму за попрошайничество. А если останусь здесь, то кто о них позаботится, кто их накормит?

— Ужасно! А у вас нет добрых соседей?

— Есть, но они такие же бедняки, как и я. У них пятеро детей. Не могут же они взять еще двоих. Но они мне обещали кормить детей в течение недели. Поэтому за неделю я должна обязательно вылечиться; буду здорова или нет, все равно отсюда уйду.

— А мне как раз пришло в голову, почему вы не подумали о доброй Хохотушке, с которой встретились в тюрьме? Она бы позаботилась о детях.

— Вспоминала ее, хотя ей тоже живется не легко. Просила соседку сообщить Хохотушке о моей беде; к несчастью, она уехала в деревню, собирается выходить замуж, так сказала привратница.

— Значит, через неделю... ваши бедные дети... Но нет, соседи не оставят их, у них не каменные сердца.

— Что они могут поделать? Сами не едят досыта, а тут еще должны отнять крохи у своих детей и отдать моим. Нет, нет, я должна поправиться и через неделю возвратиться домой... Просила об этом врачей, но они с насмешкой отвечали:

«Надо обратиться к главному врачу». Когда же появится главный врач?

— Тише! Мне кажется, он пришел. Во время обхода нельзя шуметь, — шепотом произнесла Аннета.

Пока женщины разговаривали, постепенно наступил рассвет.

Шумное оживление означало прибытие доктора Гриффона, который вскоре вошел в палату в сопровождении своего друга, графа дё Сен-Реми. Он проявлял, как нам известно, живой интерес к г-же де Фермон и ее дочери, но совершенно не ожидал встретить несчастную девушку в больнице.

Когда доктор Гриффон появился, его холодное суровое лицо, казалось, оживилось; окинув палату властным взором, он учтиво кивнул головой сестрам.

Аскетический облик старого графа де Сен-Реми выражал глубокую горечь. Его удручали тщетные попытки обнаружить следы г-жи де Фермон, подлая трусость виконта, который предпочел смерти позорную жизнь.

— Как вам здесь нравится? — самодовольно обратился Гриффон к графу. — Что вы думаете о моей больнице?

— По правде сказать, — ответил Сен-Реми, — не понимаю, почему я уступил вашему желанию, ведь нет ничего более невыносимого, чем зрелище этих палат, заполненных больными. Как только вошел сюда, я схватился за сердце.

— Ну что вы! Вскоре вы все забудете. Здесь философу предстает масса объектов для наблюдения, и, наконец, моему старому другу было бы непростительно не познакомиться с моей деятельностью, ведь вы еще ни разу не видели меня за работой. Я горжусь своей профессией! Разве я не прав?

— Конечно же правы. После курса лечения Лилии-Марии, которую вы спасли, я восхищен вами. Бедное дитя! Несмотря на болезнь, она сохранила свое очарование.

— Она явилась для меня любопытным объектом медицинской практики, я восхищен ею! Кстати, как она провела эту ночь? Вы ее видели утром перед отъездом из Аньера?

— Нет, но Волчица, которая преданно ухаживает за ней, сказала, что она спала прекрасно. Она может встать сегодня?

Подумав, доктор ответил:

— Да... Вообще, пока больной не выздоровеет, я боюсь подвергать его малейшему волнению,

малейшему напряжению. Но в данном случае я не вижу никаких препятствий к тому, чтобы она могла встать, написать письма.

— По крайней мере, она может предупредить тех, кто ею интересуется...

— Конечно... Да, кстати, вы ничего не знаете о судьбе госпожи де Фермон и ее дочери?

— Ничего, — со вздохом ответил Сен-Реми. — Мои непрерывные поиски не дали никаких результатов. У меня вся надежда на маркизу д'Арвиль. Говорят, она очень интересуется несчастной семьей. Быть может, она знает что-нибудь, что позволило бы мне напасть на правильный след. Три дня тому назад я заходил к ней, мне сообщили, что она должна вскоре приехать. Я написал ей письмо по этому поводу и просил ответить как можно скорее.

Во время беседы Сен-Реми и доктора Гриффона несколько групп студентов собрались вокруг большого стола, расположенного в середине зала; на столе лежала регистрационная книга, в которой студенты, прикрепленные к больнице, — их можно было узнать по длинным белым передникам, — расписывались в присутствии; многие студенты, усердные и старательные, прибывали, один за другим, увеличивая свиту доктора Гриф-

фона, который уже находился здесь в ожидании обхода больных.

— Вот видите, дорогой Сен-Реми, мой штаб достаточно велик, — с гордостью произнес доктор Гриффон, показывая на студентов, присутствующих на проводимых им практических занятиях.

— И эти молодые люди сопровождают вас при осмотре каждого больного?

— Они для этого и приходят сюда.

— Но все кровати палаты заняты женщинами.

— Ну и что?

— Присутствие такого количества мужчин должно их ужасно стеснять!

— Да что вы, больной — это бесполое создание.

— Быть может, в вашем представлении, но в их глазах целомудрие, стыд...

— Все эти красивые слова следует оставить за дверью, мой дорогой Альцест. Здесь мы начинаем изучение болезней, проводя опыты над живыми, а заканчиваем их в амфитеатре над трупами.

— Послушайте, доктор, вы прекрасный, честнейший из людей, я вам обязан жизнью, признаю ваши отменные достоинства, но привычка и любовь к вашему искусству воспитали в вас такие взгляды, против которых я решительно восстаю... Я оставляю вас... — сказал Сен-Реми, направляясь

к выходу из залы.

— Какое ребячество! — воскликнул доктор Гриффон, задерживая своего друга.

— Нет, нет, есть вещи, которые меня печалят и возмущают. Я предвижу, что присутствие на вашем обходе будет для меня пыткой. Я не уйду, хорошо, но я жду вас здесь, у стола.

— Что вы за щепетильный человек! Вы от меня не отделаетесь. Я понимаю, вам надоест ходить от больного к больному. Оставайтесь здесь. Я вас позову, чтобы показать два или три любопытных случая.

— Хорошо, раз вы так настаиваете, но для меня даже это будет сверх меры.

Пробило семь часов тридцать минут.

— Идемте, господа, — пригласил доктор Гриффон.

И он начал обход в сопровождении большой группы студентов.

Подойдя к первой кровати правого ряда, задернутой занавеской, сестра сообщила доктору:

— Доктор, больная номер один умерла сегодня ночью в четыре часа тридцать минут.

— Так поздно? Это меня удивляет. При вчерашнем осмотре я полагал, что она не переживет и нескольких часов. Тело не востребовали?

— Нет, доктор.

— Тем лучше: труп прекрасный, мы не станем делать вскрытие, я осчастливлю кого-нибудь.

Затем, обращаясь к одному из студентов, Гриффон сказал:

— Дорогой Дюнуайе, вы давно ждете объекта, вы записаны первым, вот вам труп!

— Ах, сударь, как вы добры!

— Я желал бы почаще вознаграждать ваше усердие, любезный друг. Но отметьте этот труп, станьте его владельцем... Не то найдется много молодцов, падких на добычу.

И доктор направился к следующему больному.

Студент при помощи скальпеля деликатно отметил буквы Ф и Д (Франсуа Дюнуайе) на руке умершей актрисы[153], чтобы стать владельцем трупа, как выразился доктор.

Обход продолжался.

— Аннета, — тихо спросила Жанна Дюпор свою соседку, — кто такие эти люди, что следуют за доктором?

---

[153] Notes: 153

Мы, как никто, убеждены в знаниях и гуманности старательной и просвященной молодежи, которая посвящает себя изучению искусства врачевания. Мы желали бы только, чтобы некоторые из их учителей чаще приводили бы примеры такта, сочувствия, милосердного внимания, которое может оказать спасительное влияние на настроение больных.

— Это студенты.

— О боже! И все они будут присутствовать, когда доктор будет расспрашивать меня и осматривать?

— К сожалению, да!

— Но у меня болит грудь... Меня будут осматривать при этих мужчинах?

— Да, конечно, это необходимо, они так хотят. Я горько плакала при первом осмотре, сгорая от стыда. Я сопротивлялась, мне пригрозили, что выпишут из больницы. Пришлось согласиться. Но это меня так потрясло, что болезнь резко ухудшилась. Судите сами, почти голая перед массой людей — крайне неприятно, не правда ли?

— Перед одним врачом, если необходимо, я понимаю, хотя тоже стыдно. Но почему же перед всеми?

— Они учатся, их обучают на нас... Что вы хотите? Мы для того и существуем... На этих условиях нас и приняли.

— Понимаю, — с горечью проговорила Жанна, — даром нам ничего не дают. Однако иногда можно этого избежать. Ведь если моя несчастная Катрин попадет в больницу, ее тоже пожелают осматривать в присутствии молодых людей... Нет, я за то, чтобы она умерла дома.

— Если она попадет сюда, ей придется исполнять все то, что делают другие, как вы и я; но тихо, — сказала Аннета, — соседка может нас услышать. Когда-то она была довольно состоятельной, жила со своей матерью. Вы представляете, как она будет смущена и несчастна, когда к ней подойдут врачи.

— Верно, господи, я дрожу при одной этой мысли. Бедное дитя!

— Тихо, Жанна! Доктор идет, — сказала Аннета.

Глава VIII.
МАДЕМУАЗЕЛЬ ДЕ ФЕРМОН

Поспешно осмотрев нескольких больных, не вызывавших его интереса, доктор Гриффон наконец подошел к Жанне Дюпор. При виде этих людей, жаждущих все постигнуть и всему научиться, несчастная женщина, дрожа от страха и стыда, плотно закуталась в свое одеяло.

Строгое задумчивое лицо Гриффона, его проницательный взгляд, его нахмуренные брови постоянно размышляющего человека, резкая, нетерпеливая и краткая речь еще более усилили ужас в душе Жанны.

— Новая пациентка, — произнес доктор, прочитав на дощечке запись больной.

Затем он бросил на Жанну испытующий взгляд.

Наступила глубокая тишина, в течение которой ассистенты, подражая метру, с любопытством взирали на больную.

Для того чтобы избежать мучительного волнения, вызванного присутствием студентов, Жанна с тревогой смотрела на врача.

После внимательного осмотра больной доктор, заметив желтоватый цвет глазного белка, показавшийся ему ненормальным, подошел ближе с пациентке и, пальцем приподняв веко, молча взглянул на глаз.

Несколько учеников, заметив нечто вроде немого приглашения профессора, стали поочередно осматривать глаз Жанны.

Затем доктор стал задавать вопросы:

— Ваше имя?

— Жанна Дюпор, — прошептала больная, все больше пугаясь.

— Возраст?

— Тридцать шесть лет с половиной.

— Громче. Где вы родились?

— В Париже.

— Ваше занятие?

— Швея-бахромщица.

— Вы замужем?

— Увы, да, мосье, — ответила Жанна, глубоко вздыхая.

— Сколько лет замужем?

— Восемнадцать лет.

— Дети есть?

Вместо ответа бедная мать, до того отвечавшая сдержанно, залилась слезами.

— Плакать не следует. Надо отвечать. Дети есть?

— Да, доктор, два мальчика и дочь шестнадцати лет. Последовал ряд вопросов, которые невозможно повторить

и на которые Жанна отвечала смущаясь, после суровых внушений доктора; несчастная женщина умирала от стыда, вынужденная громко говорить о таких вещах перед обширной аудиторией.

Доктор, всецело увлеченный наукой, не обращал ни малейшего внимания на глубокое смущение Жанны и продолжал опрос:

— Когда вы заболели?

— Четыре дня назад, — сказала Жанна, вытирая слезы.

— Расскажите нам, как возникла ваша болезнь?

— Сударь... дело в том... здесь столько людей... Я не смею...

— Ну вот еще, откуда вы явились, моя милая? — нетерпеливо произнес врач. — Вам, быть может, хочется, чтобы я устроил здесь исповедальню!.. Ну говорите... побыстрее...

— Господи, но ведь это семейные дела...

— Не волнуйтесь, мы здесь тоже в своей семье...

и в многочисленной семье, вот видите, — заметил светило науки, который в этот день был в веселом настроении. — Я жду, не задерживайте нас.

Все более и более смущаясь, запинаясь на каждом слове, Жанна продолжала:

— Я, сударь... поссорилась с мужем... по поводу моих детей... я хочу сказать, из-за моей старшей дочери... Он захотел ее увести... Я, вы понимаете, я не хотела отпускать дочь, потому что он живет с одной мерзкой женщиной, она может подать дурной пример моей дочери. Тогда мой муж, он был пьян... если бы не это... он бы не стал так поступать... Мой муж очень сильно меня толкнул... Я упала, а потом, некоторое время спустя, стала харкать кровью.

— Ну, так мы вам и поверили. Ваш муж толкнул вас, и вы упали... Не пытайтесь нас провести... Он не только толкнул вас... Он, должно быть, здорово ударил вас в живот, и не раз... Может быть, ногами топтал... Ну, отвечайте же! Говорите правду.

— О, сударь, уверяю вас, он был пьян... Иначе он не был бы таким озлобленным.

— Добрый или злой, пьяный либо трезвый, дело не в этом, дорогая моя, я ведь не следователь, я стараюсь узнать, как это произошло. Вас повалили на пол и в бешенстве топтали ногами,

не так ли?

— Увы! Это так, — сказала Жанна, заливаясь слезами, — а ведь ему на меня не приходилось жаловаться, я работаю, насколько хватает сил, и я...

— В области брюшины у вас, наверное, боли? Там вы ощущаете жар? — сказал доктор, прерывая Жанну. — Вы плохо себя чувствуете, у вас недомогание, вас тошнит?

— Да, доктор... Я обратилась сюда, когда стало невмоготу, иначе я не покинула бы детей... Я о них очень беспокоюсь, ведь у них, кроме меня, нет никого... И моя Катрин... Она больше всего меня волнует... Если бы вы знали...

— Покажите язык, — сказал доктор, вновь прерывая больную.

Это приказание так удивило Жанну, которой казалось, что она разжалобила доктора, поэтому она изумленно глядела на него.

— Посмотрим же ваш язык, который так хорошо вам служит, — улыбаясь, произнес доктор; затем он нажал на нижнюю челюсть Жанны.

После того как по предложению доктора студенты долго рассматривали и мяли язык пациентки, чтобы определить, насколько он сух и бледен, доктор на минуту задумался. Жанна, преодолев страх, дрожащим голосом заговорила:

— Сударь, я должна вам сказать... Соседи, такие же бедные, как и я, любезно согласились взять на свое попечение двоих моих детей, но только на неделю... Это уже и то много... К тому времени я должна вернуться домой... Вот почему, умоляю вас, ради бога, вылечите меня как можно скорее... или хоть подлечите... чтоб я могла встать и работать, у меня всего лишь неделя... потому что...

— Лицо бледное, полный упадок сил, но пульс достаточно наполненный, резкий и частый, — невозмутимо произнес доктор, указывая на Жанну. — Заметьте, господа. Чувство тяжести, жар в области брюшины: все эти симптомы несомненно указывают на кровоизлияние... быть может, осложненное воспалением печени, вызванным семейным горем, об этом свидетельствует и желтизна глазного яблока. Пациентка получила сильные удары в область желудка и брюшины. Кровавая рвота, несомненно, вызвана разрывом внутренних сосудов... В связи с этим я хочу обратить ваше внимание на одно любопытное явление, очень любопытное: вскрытие трупов умерших от травмы вроде той, которую получила эта пациентка, дает удивительно различные результаты. Часто заболевание, острое и очень тяжелое, уносит больного за несколько

дней, и на трупе не обнаруживается никаких следов протекавшей болезни. Иногда же селезенка, печень, поджелудочная железа позволяют видеть более или менее глубокие травмы... Быть может, пациентка, которую мы осматриваем, страдает от подобного рода травмы внутренних органов. Мы попробуем в этом убедиться, и вы сами все поймете, внимательно осмотрев больную.

Вслед за тем доктор Гриффон быстрым движением отбросил одеяло к изножью, и Жанна оказалась почти обнаженной.

Мы не смогли бы описать мучительную борьбу несчастной; она рыдала, умоляла доктора и всех присутствующих оставить ее в покое.

Но после того, как ей пригрозили: «Если вы не подчинитесь установленному порядку, вас выпишут из больницы» — угроза страшная для тех, кому больница служит единственным убежищем, — Жанна подчинилась осмотру, который длился бесконечно долго... так как доктор Гриффон анализировал и объяснял каждый симптом, а наиболее старательные ученики пожелали на практике проверить теоретические соображения доктора, чтобы самим составить представление о физическом состоянии пациентки.

По окончании этой жестокой сцены Жанна

была так потрясена, что у нее начался нервный припадок, и доктору Гриффону пришлось прописать ей новое лекарство. Обход продолжался.

Вскоре доктор Гриффон подошел к кровати Клэр де Фермон, которая так же, как и ее мать, стала жертвой жадности Жака Феррана. Еще один страшный пример последствий, вызываемых злоупотреблением доверием, явным преступлением, столь слабо наказуемым законом.

Клэр де Фермон в больничном чепце лежала в постели, положив голову на подушку. Несмотря на терзающую ее болезнь, на ее чистом и нежном лице виднелись следы утонченной красоты.

Всю ночь ее мучили острые боли, а теперь бедная девушка впала в состояние лихорадочной дремоты, и когда доктор со своей ученой свитой вошел в палату, она, несмотря на шум, не проснулась.

— Вот новая пациентка, господа, — сказал жрец науки, быстро прочитав карточку, поданную ему учеником. — Болезнь ее — затяжная нервная лихорадка... Черт возьми, — с глубоким удовлетворением воскликнул доктор, — если дежурный врач не ошибся в диагнозе, то это великолепно, я очень давно хочу получить больного затяжной лихорадкой... потому что среди бедных эта бо-

лезнь редко встречается. Нервные заболевания обычно возникают вследствие сильных потрясений в социальной жизни пациента, и чем выше положение субъекта, тем глубже это потрясение. К тому же это заболевание отличается особым характером. Оно было известно уже во времена античности, труды Гиппократа не оставляют на этот счет никаких сомнений; все дело в том, что эта лихорадка, как я уже сказал, бывает вызвана самым глубоким горем. Ну а горе старо как мир. Однако странная вещь, до восемнадцатого века эта болезнь не была точно описана ни одним ученым, и только Гюксхем, который в разных областях делает честь медицинской науке той эпохи, именно он, как я сказал, первый создал монографическое исследование по нервной лихорадке, труд, ставший классическим... и, однако, эта болезнь древнего происхождения, — смеясь, добавил доктор. — Так вот... она принадлежит к обширному роду болезней, известных под общим названием ferbis (лихорадка), и ее происхождение уходит в глубину веков. Но не будем слишком радоваться, посмотрим, в действительности ли счастливый случай представил нам образец удивительного недуга. Это вдвойне желательно, так как я уже очень давно хотел рекомендовать

фосфор для внутреннего употребления... Да, господа, — продолжал доктор, услышав в аудитории возгласы удивления, — да, господа, фосфор. Я хочу испробовать этот очень любопытный эксперимент; он очень смелый, но audaus fortuna jurat[154] а случай здесь представляется великолепный. Вначале посмотрим, появится ли на больной и главным образом на ее груди сыпь, столь симптоматичная, по словам Гюксхема, и вы сами, пальпируя пациентку, убедитесь, какие шероховатости тела эта сыпь вызывает. Но не будем делить шкуру неубитого медведя, — добавил жрец науки, взяв явно шутливый тон.

И он слегка потряс де Фермон, чтобы разбудить ее.

Девушка вздрогнула и открыла большие, запавшие от болезни глаза.

Можно представить себе ее изумление и ужас...

В то время как мужчины окружали ее кровать, не спуская с нее глаз, она почувствовала, что доктор срывает с нее одеяло и хватает в постели ее руку, чтобы пощупать пульс.

Девушка в ужасе, собрав все силы, закричала:

---

[154] Notes: 154
Смелость города берет (лат).

— Мама!.. На помощь!.. Мама!..

По воле провидения в тот момент, услышав крик, старый граф вскочил с кресла, так как он сразу узнал голос Клэр. Дверь палаты отворилась, и молодая дама в трауре стремительно вошла в зал в сопровождении директора больницы. Это была маркиза д'Арвиль.

— Умоляю вас, — в страшной тревоге обратилась она к директору, — проведите меня к мадемуазель де Фермон.

— Прошу вас следовать за мной, госпожа маркиза, — почтительно ответил директор. — Она занимает семнадцатую кровать в этой палате.

— Несчастное дитя здесь... — сказала г-жа д'Арвиль, вытирая слезы. — Ах, это ужасно!

Маркиза, следуя за директором, быстро приближалась к группе студентов, окружавших кровать Клэр, когда послышались слова возмущения. — Я говорю вам, что это гнусное убийство, доктор, вы ее убьете.

— Мой милый Сен-Реми, выслушайте же меня...

— Повторяю, что ваше поведение чудовищно. Я считаю Клэр де Фермон своей дочерью. Запрещаю вам приближаться к ней. Я сейчас же увезу ее из больницы.

— Но, дорогой друг, это исключительный случай нервной лихорадки... Я хотел попытаться применить фосфор... Единственная возможность... Позвольте, по крайней мере, мне лечить ее там, куда бы вы ее ни поместили, раз уж вы лишаете мою клинику столь важного для нас пациента.

— Если бы вы не были сумасшедшим... я бы счел вас чудовищем, — ответил граф де Сен-Реми.

Клеманс слушала эти слова с возрастающим страхом; но кровать была так плотно окружена студентами, что директору пришлось громко сказать:

— Господа, прошу предоставить место маркизе д'Арвиль.

При этих словах студенты поспешно расступились, с восхищением глядя на Клеманс, прелестное лицо которой стало румяным от волнения.

— Маркиза д'Арвиль! — воскликнул граф де Сен-Реми, резко отстраняя доктора и бросаясь к Клеманс. — Ах, это господь послал сюда своих ангелов. Маркиза, я знал, что вы заинтересовались судьбою двух несчастных. Вы были удачливее меня, вы их обнаружили, в то время как я по воле случая очутился здесь... чтобы присутствовать при сцене неслыханного варварства. Бедное ди-

тя! Посмотрите... посмотрите. И вы, господа, во имя ваших дочерей или сестер проявите жалость к молодой девушке, умоляю вас... Оставьте ее наедине с маркизой и добрыми монахинями. Когда она придет в себя... я велю увезти ее отсюда.

— Хорошо... я разрешу выписать ее, — заявил доктор, — но я последую за ней... Я от вас не отстану. Эта пациентка принадлежит мне... и, что бы вы ни предприняли... я буду ее лечить... Конечно, я не рискну испробовать фосфор, но, если потребуется, я буду проводить ночи возле нее... так же, как я проводил их возле вас, неблагодарный Сен-Реми... потому что эта лихорадка — столь же редкостный случай, как была ваша болезнь. У вас родственные натуры, и я имею право их изучать.

— Удивительный вы человек, откуда у вас столько знаний? — произнес граф, отлично сознавая, что он не сможет поручить лечение Клэр более искусному врачу.

— О бог мой, очень просто! — ответил доктор на ухо графу. — Я обладаю знаниями потому, что изучаю, произвожу опыты, часто рискую, подвергая лечению больных... Говорю серьезно. Итак, дадите ли вы мне лечить больную лихорадкой, ворчун вы эдакий?

— Да, но можно ли ее трогать с места?

— Конечно.

— Тогда... ради бога... удалитесь.

— Пойдемте, господа, — произнес жрец науки, — наша клиника лишится драгоценного объекта... но я вас буду держать в курсе дела. И доктор Гриффон в сопровождении слушателей продолжал обход, оставив Сен-Реми и г-жу д'Арвиль подле мадемуазель де Фермон.

Глава IX.
ЛИЛИЯ-МАРИЯ

Пока разыгрывалась сцена, о которой мы только что рассказали, лишившаяся чувств Клэр осталась на попечении взволнованной Клеманс и двух сестер; одна из них поддерживала голову девушки, а г-жа д'Арвиль вытирала платком холодный пот с ее лба. Глубоко взволнованный граф де Сен-Реми наблюдал эту трогательную картину, как вдруг у него возникла мрачная мысль; он подошел к Клеманс и тихо спросил:

— Маркиза, а где мать этой несчастной?

Маркиза повернулась к графу де Сен-Реми и с глубокой печалью ответила:

— У девочки... нет больше матери... Только вчера вечером, возвратившись в город, я узнала адрес госпожи де Фермон... и услышала о ее безнадежном состоянии. В час ночи я была уже у нее со своим врачом... Ах, сударь! Какая картина!.. Какая ужасная нищета!.. И никакой надежды спасти эту умирающую мать!

— О, какой тяжкой, вероятно, была ее агония, если она думала о своей дочери.

— Ее последние слова были: «Моя дочь!»

— Какая смерть... Боже мой... Такая преданная, такая нежная мать. Ужасно!

Одна из сестер милосердия прервала беседу де Сен-Реми и д'Арвиль:

— Мадемуазель очень слаба... Она в полузабытьи, быть может, скоро придет в себя... Потрясение надломило ее. Если вы, маркиза, решитесь остаться здесь... пока больная окончательно не придет в себя, я могу предложить вам свой стул.

— Благодарю, благодарю, — сказала Клеманс, усаживаясь подле кровати. — Я не оставлю мадемуазель де Фермон. Я хочу, чтобы она, по крайней мере, увидела дружеское лицо, когда откроет глаза... Затем я увезу ее с собой, поскольку врач, к счастью, находит, что ее можно перевезти, не опасаясь за ее здоровье.

— Ах, маркиза, будьте благословенны за доброе дело, — сказал де Сен-Реми. — Но простите меня, что я еще не представился вам; столько горя... столько волнений. Я граф де Сен-Реми, муж госпожи де Фермон был моим лучшим другом. Я жил в Анжере... уехал из этого города, беспокоясь, что не имел никаких известий об этих благородных и достойных дамах. До тех пор они проживали в нашем городе, но распространилась молва,

что они совершенно разорились. Положение их было тем более плачевным, что они всегда жили в достатке.

— Сударь... вы не знаете всего. Госпожа де Фермон была ограблена самым бессовестным образом.

— Быть может, своим нотариусом? Одно время я подозревал его.

— Человек этот — чудовище. Он совершил, увы, не одно преступление. Но, к счастью, — произнесла Клеманс, думая о Родольфе, — гений, посланный провидением, утвердил справедливость. Я смогла закрыть глаза госпоже де Фермон, успокоив ее насчет будущего ее дочери. Поэтому последние мгновения она не так терзалась.

— Она поняла, что у дочери будет поддержка в вашем лице, и бедная женщина, должно быть, умерла, не тревожась.

— Я не только всегда буду живо интересоваться мадемуазель де Фермон... но ее состояние будет ей возвращено.

— Ее состояние!.. Каким образом?.. Нотариус?..

— Его заставили возвратить сумму... присвоенную им посредством ужасного преступления.

— Преступления?..

— Этот человек убил брата госпожи де Фермон и

распустил слух, что несчастный покончил жизнь самоубийством, промотав состояние сестры...

— Это ужасно!.. Даже трудно поверить... Однако я всегда подозревал нотариуса, и у меня были смутные сомнения насчет самоубийства... Ведь Ренвиль был воплощением чести и верности. А где же деньги, которые нотариус возвратил?

— Они вручены почтенному кюре церкви Благовещения и будут переданы мадемуазель де Фермон.

— Маркиза, человеческому правосудию недостаточно возврата денег!.. Нотариуса ждет эшафот... потому что он совершил не одно убийство, а два... Смерть госпожи де Фермон, страдания, которые переносит ее дочь на больничной койке, — все это на совести негодяя, злоупотребившего доверием честных людей.

— Он совершил еще другое убийство, столь же ужасное, коварно подготовленное.

— Что вы говорите?

— Отделавшись от брата госпожи де Фермон и выдав это за самоубийство, чтобы безнаказанно действовать, он несколько дней назад расправился с одной несчастной девушкой, в смерти которой заинтересован, заставил утопить ее... уверенный, что ее гибель припишут несчастному

случаю.

Де Сен-Реми вздрогнул; он с удивлением смотрел на маркизу, думая о Лилии-Марии, затем воскликнул:

— Боже мой, какое странное совпадение!..

— О чем вы говорите?

— Об этой девушке!.. Где он хотел ее утопить?

— В Сене… близ Аньера, как мне говорили...

— Это она, она! — воскликнул де Сен-Реми.

— О ком вы говорите?

— О девушке, которую хотело погубить это чудовище...

— Лилия-Мария!!!

— Вы с ней знакомы?

— Бедное дитя... Я нежно ее любила... Ах, если бы вы знали, как она была хороша, как трогательна... Но какое отношение вы к ней имели?

— Доктор Гриффон и я, мы оказали ей первую помощь...

— Первую помощь? Ей?.. А где это происходило?

— На острове Черпальщика... когда ее спасли...

— Спасена? Лилия-Мария... спасена?

— Одна храбрая женщина, рискуя жизнью, вытащила ее из Сены... Но что с вами?

— Ах, граф, я все еще не смею верить такому

счастью... боюсь, что это ошибка... Умоляю вас, расскажите мне о ней... Как она выглядит?

— Восхитительной красоты... лицо ангела...

— Большие голубые глаза... белокурые волосы?

— Да...

— А когда ее хотели утопить?.. Она была с какой-то пожилой женщиной?..

— Она так ослабла, что только вчера смогла говорить, и рассказала нам, как все произошло... Действительно, ее сопровождала пожилая особа.

— Слава богу! — воскликнула Клеманс, пылко всплеснув руками. — Я могу сообщить ему, что та, которой он покровительствует, жива[155]. Какая радость для него, он в последнем своем письме сообщал мне об этой бедной девушке с таким глубоким огорчением!.. Простите меня, граф! Но если бы вы знали, какое счастье мне приносят ваши слова... Счастлива буду не только я, но еще один человек... который больше меня сострадал и покровительствовал Лилии-Марии! Но окажите милость, скажите, где она сейчас?

---

[155] Notes: 155

В это время Родольфу уже стало известно, что Певунья — его дочь (он считал ее умершей). Маркиза д'Арвиль, прибывшая только накануне, об этом не знала. За несколько дней до этого открытия принц в письме к ней сообщил о новых злодеяниях нотариуса, а также о том, что тот должен возвратить присвоенные им деньги. Благодаря заботам Бадино отыскали адрес г-жи де Фермон, проживавшей в Пивоваренном проезде, и Родольф сразу же известил об этом г-жу д'Арвиль.

— Близ Аньера... в доме одного из врачей больницы... доктора Гриффона. Несмотря на некоторые странности, огорчающие меня, он выдающийся врач. Именно к нему была доставлена Лилия-Мария, и с тех пор он усердно занимается ее лечением.

— Она теперь вне всякой опасности?

— Да, вот уже два-три дня. Сегодня ей разрешат написать ее покровителям.

— Нет, это я, граф, я позабочусь о том, чтобы известить ее друзей... я даже с радостью отвезу ее к тем людям, которые уверены, что она погибла, и горько оплакивают ее.

— Я понимаю их скорбь, сударыня, ибо, зная Лилию-Марию, невозможно оставаться равнодушным к этому ангельскому существу, а ее грация и нежность всецело побеждают каждого, кто приближается к ней... Женщина, которая ее спасла, и теперь день и ночь проводит у ее постели, так же, как она бодрствовала бы возле своего ребенка. Эта особа мужественная и преданная женщина, но такого крутого нрава, что ее прозвали Волчицей... Подумайте... Так вот, каждое слово, сказанное Лилией-Марией, ее волнует... Я видел, как она рыдала, кричала в отчаянии, когда во время тяжелого приступа доктор Гриффон чуть ли

не терял надежду спасти жизнь Лилии-Марии.

— Это меня не удивляет... я знаю Волчицу[156].

— Вы, маркиза? — изумленно заметил граф де Сен-Реми. — Вы знаете Волчицу?

— В самом деле, вы удивляетесь, — сказала маркиза, нежно улыбаясь. Клеманс была счастлива... по-настоящему счастлива... при мысли о том, как будет приятно поражен принц, когда она все ему расскажет.

Каково бы было ее упоение, если бы она знала, что приведет к Родольфу его дочь, которую он считал погибшей...

— Ах, граф, — обратилась она к де Сен-Реми, — сегодня такой чудный день... для меня... Я желала бы, чтобы он был столь же прекрасным для других. Мне кажется, что здесь должно быть много честных неимущих семей, нуждающихся в облегчении их участи, и было бы справедливо достойным образом отметить ту восхитительную новость, которую вы мне сообщили. — Затем, обратившись к сестре, которая только что дала де Фермон несколько ложек бульона, она спросила: — Ну что, сестрица, приходит она в сознание?

— Нет еще, сударыня... она очень слаба. Бедная

---

[156] Notes: 156

Во время посещения тюрьмы Сен-Лазар маркиза д'Арвиль слышала, как говорила о Волчице надзирательница Арман.

девушка! Пульс у нее едва прощупывается.

— Я подожду, пока ее можно будет перенести в мою карету... Но скажите мне, сестрица, среди всех этих несчастных больных не знаете ли вы таких, которые больше всего достойны сочувствия и жалости и которым я могла бы помочь, прежде чем уехать из больницы?

— Ах, сударыня, сам бог вас послал... — сказала монахиня, показывая на кровать сестры Гобера, — вот там лежит очень больная женщина, достойная глубокой жалости. Она попала сюда, когда совсем лишилась сил, и беспрерывно страдает, потому что вынуждена была покинуть двух маленьких детей, у которых, кроме нее, нет никого на свете. Только что она сказала доктору, что уйдет отсюда через неделю, даже если не выздоровеет, потому что соседи обещали поберечь ее детей только одну неделю... а после этого они больше не смогут их кормить.

— Проводите меня к ее кровати, прошу вас, сестра, — сказала маркиза д'Арвиль, вставая и следуя за монахиней.

Жанна Дюпор, едва придя в себя после сильного нервного приступа, виновником которого был доктор Гриффон, не заметила, как в палату вошла Клеманс д'Арвиль.

Каково же было ее удивление, когда маркиза, приподняв занавес ее кровати и взглянув на нее с состраданием и нежностью, сказала:

— Добрая мать, не тревожьтесь о ваших детях. Я о них позабочусь. Думайте лишь о том, чтобы скорее поправиться и вернуться к ним.

Жанна Дюпор решила, что это сон.

На этом самом месте, где доктор Гриффон вместе со своими прилежными студентами заставил ее вытерпеть жестокий осмотр, она увидела молодую женщину восхитительной красоты, которая обращалась к ней со словами жалости, утешения, надежды.

Волнение сестры Гобера было столь сильным, что она не смогла произнести ни слова; она только молитвенно сложила руки и с обожанием смотрела на незнакомую благодетельницу.

— Жанна, Жанна! — тихо сказала Аннета. — Отвечайте же этой доброй даме... — Затем Аннета добавила, обращаясь к маркизе: — Сударыня, вы ее спасаете! Она умерла бы от отчаяния, думая о своих детях, которых она уже представляла себе покинутыми. Не правда ли, Жанна?

— Прошу вас, успокойтесь, не тревожьте себя, — продолжала маркиза, сжимая в своих нежных и белых руках горячую руку Жанны Дюпор.

— Не волнуйтесь, если хотите, можете выйти из больницы сегодня же, вас будут лечить дома, вы ни в чем не будете нуждаться. Таким образом, вам не придется покидать любимых детей... Если квартира сырая, мрачная или слишком тесная, вам тотчас же найдут более удобную, и вы будете находиться в одной комнате, а дети в другой... Вам предоставят сиделку, которая будет следить и ухаживать за вами... А станете здоровой, если не найдется работы, то я предоставлю вам возможность подождать, пока вы ее подыщете. Отныне я позабочусь о будущем ваших детей!

— Ах, господи! Что я слышу?.. Значит, ангелы сходят с небес, как написано в церковных книгах, — произнесла дрожащая, растерянная Жанна Дюпор, едва осмеливаясь взглянуть на свою благодетельницу. — Почему столько доброты для меня? Чем я это заслужила?.. Это невозможно!.. Мне покинуть больницу, где я уже столько рыдала, столько страдала! Не расставаться больше с детьми... иметь сиделку!.. Да это ведь словно чудо небесное!

Бедная женщина была права.

Если бы все люди знали, как отрадно и легко, не прибегая к большим затратам, часто творить такие «чудеса»!

— Увы! Для обездоленных, покинутых, всеми отвергнутых, внезапное нежданное спасение, сопровождаемое доброжелательными словами, трогательной милосердной заботой, разве все это не похоже на чудо?..

Как смела Жанна Дюпор не то что надеяться на счастье, которое ей сулила г-жа д'Арвиль, но хотя бы даже мечтать о нем?

— Это не чудо, дорогая моя, — взволнованно ответила Клеманс. — То, что я делаю для вас, — заметила она, слегка краснея при мысли о Родольфе, — то, что я делаю для вас, вдохновлено великодушным человеком. Он научил меня помогать людям в беде... Его-то и следует благодарить и благословлять...

— Сударыня, я буду благословлять вас и ваших друзей, — сказала Жанна Дюпор, заливаясь слезами. — Простите, что я так плохо говорю, но я никогда не испытывала такой глубокой радости... Это впервые происходит со мною.

— Вот видишь, Жанна, — сказала растроганная Анне-та, — среди богатых тоже встречаются Хохотушки и Певуньи... Правда, возможности у них гораздо больше, но у них такие же добрые сердца.

Маркиза д'Арвиль с изумлением повернулась к

прачке, услышав, что она произносит эти имена.

— Вы знаете Певунью и молодую швею Хохотушку? — спросила Клеманс.

— Да, сударыня. Певунья, милый ангелок, в прошлом году сделала для меня то, что делаете вы для Жанны... но, конечно, насколько ей позволяли ее средства. Сударыня! Я с радостью говорю это и буду повторять всем! Певунья вытащила меня из подвала, в котором я на соломе родила ребенка... и добрый ангелок поселил меня и мою девочку в комнате, где была хорошая кровать и колыбель... Певунья потратила свои деньги только из милосердия, ведь она меня почти не знала и сама жила в бедности... Это прекрасно, не так ли? — восторженно произнесла Аннета.

— О да... Милосердие бедняка к бедняку — великое и святое дело, — молвила Клеманс с влажными от радостных слез глазами.

— То же самое было и с мадемуазель Хохотушкой. Она, несмотря на свой скудный заработок швеи, несколько дней тому назад оказала услугу Жанне.

— Какое странное совпадение!.. — размышляла Клеманс, все больше волнуясь, так как каждое из этих двух имен — Певунья и Хохотушка, напоминали ей добрые дела Родольфа. — А вы, дитя

мое, что я могу сделать для вас? — обратилась она к Аннете. — Я желала бы, чтобы эти имена, которые вы только что произнесли с такой благодарностью, принесли бы вам счастье.

— Спасибо, — сказала Аннета с грустной улыбкой, запечатлевшей ее покорность судьбе, — у меня был ребенок... Он умер. Я больна чахоткой, обречена, мне уже ничего не надо.

— Зачем такие мрачные мысли! В вашем возрасте... вы молоды, всегда есть надежда!

— О нет, сударыня. Я знаю свою судьбу... Я не жалуюсь! Еще сегодня ночью я видела, как в палате умирала больная чахоткой... Я умираю спокойно, не тревожьтесь за меня! А вас благодарю за доброту.

— Вы преувеличиваете, состояние вашего здоровья не так плохо!..

— Я не обманываюсь, я это чувствую, но раз вы столь добры... Такая дама, как вы, все может...

— Продолжайте... говорите, что вы хотите?

— Я просила Жанну об одной услуге, но благодаря богу и вам ее здесь не будет...

— Может быть, я смогу оказать вам эту услугу?

— Конечно, сударыня. Вам стоит только сказать одно слово сестрам либо доктору, и все устроится.

— Я скажу все, что надо, будьте спокойны... В чем дело?

— После того как я увидела актрису, которая умерла, боясь, что после смерти ее труп будет разрезан на части, я так же боюсь... Жанна обещала забрать мое тело и похоронить...

— Ах, это страшно! — воскликнула Клеманс, дрожа от ужаса. — Надо было прийти сюда, чтобы узнать, что бедняков даже за гробом преследуют горести и кошмары.

— Простите меня, — робко сказала Аннета, — это просьба огорчительна для такой благородной, богатой и счастливой дамы, как вы... мне не следовало просить вас об этом!

— Напротив, я вам благодарна, дитя мое. Теперь я узнала о неведомых мне страданиях, и этот урок не останется бесплодным... Будьте спокойны, хотя роковой момент наступит еще не скоро, но если это случится, будьте уверены, вы будете покоиться в святой земле!

— О, как я вам благодарна, — воскликнула Аннета, — если бы я посмела просить разрешения поцеловать вашу руку...

Клеманс поднесла свою руку к иссушенным губам Аннеты.

— Благодарю, сударыня. Теперь мне есть кого

любить и благословлять до конца моей жизни... Также Певунью... Не буду горевать о том, что произойдет со мной после смерти!

Такое полное отрешение от жизни, страх посмертной судьбы произвели тяжелое впечатление на маркизу; наклонившись к уху сестры, пришедшей сообщить, что Клэр де Фермон пришла в себя, она спросила, указав на кровать Аннеты:

— Состояние здоровья этой молодой женщины действительно безнадежно?

— Увы, да, Аннета обречена... Быть может, проживет неделю!

Полчаса спустя госпожа д'Арвиль в сопровождении графа де Сен-Реми увезла к себе молодую сиротку, скрыв от нее смерть матери.

В тот же день доверенный маркизы д'Арвиль, посетив убогое жилище Жанны Дюпор на улице Барийери и получив положительные отзывы об этой достойной уважения женщине, сразу же снял на набережной Эколь две большие, хорошо проветриваемые спальни и комнату, за два часа обставил мебелью эту скромную, но чистую квартиру и, воспользовавшись услугами агентства Тампль, в тот же вечер перевез туда Жанну Дюпор, где она встретила своих детей и опытную

сиделку.

Этому же доверенному лицу было поручено востребовать тело Аннеты после ее смерти и совершить погребение.

Сопроводив и устроив в своем доме мадемуазель де Фермон, госпожа д'Арвиль и граф де Сен-Реми отправились в Аньер, с тем чтобы забрать Лилию-Марию и отвезти ее к Родольфу.

Глава X.
НАДЕЖДА

Наступали первые дни весны, солнце светило ярче, небо было чистое, воздух теплый... Лилия-Мария, опираясь на руку Волчицы, испытывала свои силы, гуляя по саду небольшого дома доктора Гриффона.

Живительная теплота солнца и прогулка окрасили бледное и осунувшееся лицо девушки ярким румянцем; так как ее крестьянский наряд был порван, когда ей второпях оказывали первую помощь, то на ней теперь было темно-синее шерстяное платье прямого фасона, с шерстяным шнуром вокруг ее стройной и тонкой талии.

— Какое нежное солнце! — сказала она Волчице, остановившись у зеленых деревьев, окружавших с северной стороны каменную скамью. — Посидим немного здесь, Волчица?

— Разве вы должны меня спрашивать? — бойко ответила жена Марсиаля, пожимая плечами. Сняв с себя шелковую шаль, сложив в четыре раза, она постелила ее наземь и сказала: — Поставьте сюда ноги.

— Что вы, Волчица, — ответила Мария, слишком поздно заметившая намерение своей компаньонки, чтобы помешать ей, — мой друг, вы испортите шаль.

— Не спорьте!.. Земля сырая! — сказала Волчица и властным движением подложила шаль под маленькие ножки Марии.

— Как вы меня балуете.

— Вы этого не заслужили: не слушаете меня, а я хочу услужить вам... Не устали? Мы здесь долго бродим... В Аньере часы пробили полдень.

— Немного устала... но чувствую, что прогулка пошла на пользу.

— Вот видите... вы утомились. Разве не могли раньше сказать, что надо отдохнуть?

— Не браните меня, я даже не заметила, что утомлена. Так приятно ходить после того, как долго находишься в постели... видеть солнце, деревья, поля, а я думала, что больше уже никогда ничего подобного не увижу!

— Дело в том, что вы были двое суток в безнадежном состоянии. Бедная Мария, теперь вам можно сказать... не было надежды спасти вас.

— А потом, представьте себе, Волчица, когда я оказалась в реке... невольно вспомнила, что злая женщина, которая мучила меня в детстве, всегда

угрожала, что бросит меня рыбам. Да и позже она тоже намеревалась меня утопить[157]. Мне казалось, что это судьба, мне не удастся спастись.

— Бедная... В последний момент вам пришло на ум, что вы тонете?

— О нет! — произнесла Мария. — Когда я поняла, что тону... моя последняя мысль была обращена к тому, кого я считаю своим божеством; поняв, что я спасена, я также подумала о нем...

— Приятно делать вам добро... вы всегда это помните.

— Конечно! Отрадно погружаться в сон и просыпаться с чувством благодарности добрым людям.

— Потому-то все готовы пойти за вас в огонь и воду.

— Добрая Волчица... Послушайте, я радуюсь жизни в надежде осчастливить вас, исполнить мое обещание... вы помните, как мы строили воздушные замки в тюрьме Сен-Лазар?

— Для этого еще будет время. Вы теперь встали на ноги, и «я приложила руку»... как говорит мой муж.

— Я надеюсь, что граф де Сен-Реми известит меня, как только врач разрешит мне напи-

---

[157] Notes: 157

В одном из затопленных подвалов Краснорукого на Елисейских полях.

сать письмо госпоже Жорж! Она, должно быть, волнуется, быть может, и господин Родольф, — смущенно сказала Мария, вспоминая своего кумира. — Они ведь думают, что я погибла!

— Так же, как те, которые вас топили, бедная малютка. О, разбойники!

— Вы все-таки думаете, что это произошло не случайно?

— Случайно! Да, Марсиали называют такое... несчастным случаем. Когда я говорю о Марсиалях... то не имею в виду мужа... потому что он не из их породы, не похож на них так же, как никогда не будут похожи на них Франсуа и Амандина.

— Зачем они стремились погубить меня? Я никогда никому не делала ничего плохого... ни с кем не встречалась.

— Все равно... если Марсиали отъявленные преступники, они способны утопить любого; но они не настолько глупы, чтобы сделать это без выгоды для себя. Вдова сама призналась в тюрьме моему мужу... я в этом уверена.

— И он навещал свою мать, эту страшную женщину?

— Да. Ее не помилуют, так же как Николя и Тыкву. Раскрыто много преступлений, а подлец Николя, в надежде спасти свою шкуру, выдал

мать и сестру, рассказав об убийстве. Так что их всех казнят. Адвокат ни на что не надеется. Судьи говорят, чтоб другим не было повадно, нужно примерно наказать.

— Какой ужас! Почти всю семью!

— Да, если только Николя не сбежит. Он в той же тюрьме, где находится лютый бандит Скелет, который замышляет совершить побег с другими арестантами. Николя просил одного освобожденного известить об этом моего мужа, но муж был болен и не смог тогда повидать брата в тюрьме. Но когда он пришел туда, то Николя имел наглость передать моему мужу, что с минуты на минуту может сбежать и чтобы Марсиаль держал на этот случай у дядюшки Мику деньги и одежду, в которую он переоденется, чтобы его не узнали.

— Ваш Марсиаль такой добрый человек!

— Добрый он или нет, судите сами, но пусть дьявол заберет меня, если я позволю мужу помогать бандиту, который хотел его убить. Марсиаль не продает арестантов, готовых к побегу, и этого хватит... Впрочем, теперь, когда вы здоровы, милая Певунья, мы совершим путешествие по Франции. Я, мой муж, дети — ноги нашей не будет в Париже; для Марсиаля и так было тяжело слышать, как его называют сыном убийцы. Что

же будет, когда казнят его мать, брата и сестру?

— Подождите до тех пор, пока я не поговорю о вас с господином Родольфом, если мне удастся его увидеть. Вы совершили доброе дело, я благодарна вам и хочу что-либо сделать для вас. Иначе мне будет неприятно. Вы спасли мне жизнь... во время болезни заботливо ухаживали за мной.

— Это справедливо! Но я бы оказалась корыстной, если б разрешила вам просить за меня у ваших покровителей. Вы спасены... повторяю, что я сделала все возможное для вас.

— Милая Волчица, успокойтесь... дело не в корысти, я лично желаю отблагодарить вас.

— Послушайте, — вдруг молвила Волчица, — слышен шум кареты. Да, да... приближается, вот она! Вы заметили, как карета проехала мимо забора? В ней сидит женщина.

— О боже, — с волнением сказала Мария, — мне кажется, я ее знаю...

— Кто же это?

— Молодая прелестная дама, которую я встретила в тюрьме Сен-Лазар; она была очень добра ко мне.

— Разве она знает, что вы здесь?

— Не могу сказать, но она знает того человека, о котором я вам говорила, и он, если она захочет, а

она, я надеюсь, захочет, осуществит, наши мечты о воздушных замках, которые занимали наше воображение в тюрьме.

— Место лесника для моего мужа, избушку в лесу для нас, — вздыхая, произнесла Волчица. — Да ведь это чудо... слишком прекрасно, этого не будет.

Раздался шум шагов за деревьями; Франсуа и Амандина, благодаря стараниям графа де Сен-Реми не покинувшие Волчицу, прибежали и, запыхавшись, сообщили:

— Волчица, здесь знатная дама с графом де Сен-Реми, они хотят видеть Лилию-Марию.

— Я не ошиблась!

Почти в тот же момент появился Сен-Реми в сопровождении маркизы д'Арвиль.

Едва увидев Марию, маркиза подбежала к ней и, крепко обняв, сказала:

— Бедная, дорогая девочка... вы здесь... Ах! Спасена... Чудом спасена от жуткой смерти... С какой радостью я вновь вижу вас... Я, как и ваши друзья, считала вас мертвой... Мы так горевали!

— Я также очень счастлива видеть вас, я никогда не забывала вашей доброты ко мне, — с прелестной грацией и скромностью ответила Мария на нежные излияния маркизы.

— Ах, вы не представляете себе, как будут поражены, как безумно обрадуются ваши друзья, они горько вас оплакивали...

Мария взяла за руку отошедшую в сторону Волчицу и представила ее госпоже д'Арвиль:

— Раз мои благодетели рады тому, что я спасена, позвольте мне просить вас поблагодарить мою спутницу. Она, рискуя жизнью, спасла меня...

— Не волнуйтесь, дитя мое..... ваши друзья, узнав, кому они обязаны счастьем видеть вас, не обидят Волчицу.

Волчица покраснела, смутилась, боялась вымолвить слово маркизе д'Арвиль, — так поразило ее присутствие этой важной дамы; но она не смогла утаить своего изумления, слыша, что Клеманс произносит ее имя.

— Нельзя терять ни минуты, — продолжала маркиза. — Я хотела бы возможно скорее увезти вас, Мария; у меня в карете теплое пальто, шаль, идемте, дитя мое... — Затем она обратилась к графу: — Будьте любезны, сообщите мой адрес этой смелой женщине, с тем чтобы она завтра смогла попрощаться с Лилией-Марией. Вам придется навестить нас, — обратилась маркиза к Волчице.

— О, конечно же я приду, — ответила Волчица, — нужно же попрощаться с Певуньей. Я бы очень

горевала, если б не могла обнять ее в последний раз.

Несколько минут спустя госпожа д'Арвиль и Певунья уже были на пути к Парижу.

После смерти Жака Феррана, столь сурово наказанного за свои преступления, Родольф возвратился домой в невыразимо удрученном состоянии. Проведя мучительную бессонную ночь, он вызвал к себе сэра Мэрфа, чтобы сообщить верному другу потрясающую новость о Лилии-Марии.

Почтенный эсквайр был поражен, он лучше, чем кто-либо другой, мог понять принца и сочувствовать ему в его глубоком горе. Родольф, бледный, подавленный, с красными от слез глазами, только что рассказывал Мэрфу об этой страшной истории.

— Мужайтесь, — произнес эсквайр, вытирая слезы, так как, несмотря на свой флегматический характер, он тоже плакал. — Да, мужайтесь... вам нужно воспрянуть духом!.. Напрасны любые утешения... такое горе неизлечимо.

— Ты прав... То, что я ощущал вчера, ничто по сравнению с тем, что я чувствую сегодня...

— Вчера... вы были потрясены этим ударом;

но воздействие его будет с каждым днем все мучительнее и мучительнее... Значит, только мужество!.. Будущее печально... очень печально.

— К тому же вчера... презрение и ужас, внушенные мне этой женщиной... но пусть сжалится над ней всевышний!.. Теперь она предстала перед ним. И наконец, вчера же неожиданное открытие, ненависть, отвращение, столько неистовых страстей подавляли во мне порывы нежности и отчаяния, а сегодня я не могу удержаться, послушай, ты видишь... я бессилен, я плачу, прости меня. О мое дитя! Мое бедное дитя!..

— Плачьте, плачьте!.. Увы! Потеря невозвратима.

— А сколько ужасных мучений она должна была забыть, — с болью произнес Родольф, — после того, что она выстрадала... Подумай, какая судьба ее ожидала!

— Быть может, такой контраст был бы слишком резким для несчастной девушки, уже испытавшей столько горя?

— О нет... нет!.. Послушай... если бы ты знал, как осторожно поведал бы я ей о ее происхождении! Как постепенно подготовил бы ее. О, если бы дело шло только об этом, я бы не беспокоился и не был бы в затруднении. Опустившись на колени перед

ней, я бы сказал: ты была обижена, будь наконец счастлива, счастлива навсегда... Ты — моя дочь... Нет, это было бы слишком неожиданно... Я спокойно сказал бы ей: дитя мое, должен сообщить вам новость, которая вас очень удивит... представьте себе, что стало известно, кто ваши родители... ваш отец жив... и ваш отец — это я. — Тут принц вновь остановился. — Нет, нет, все еще слишком стремительно... Но это не моя ошибка, я не виноват, слова случайно слетают с моих уст, надо уметь сдерживать себя... ты понимаешь... мой друг, ты понимаешь... Быть подле дочери и сдерживать себя! — Охваченный новым приступом отчаяния, Родольф воскликнул: — Зачем эти бесплодные усилия! Я никогда не смогу ей что-либо сказать. Как это ужасно, ужасно подумать, ты понимаешь? Подумать о том, что дочь была со мной целый день... да, целый день, когда я свез ее на ферму;. и тогда передо мною раскрылось все величие ее ангельской натуры, святость ее души. Я наблюдал пробуждение чар боготворимой... и ничто не подсказало мне: ведь это твоя дочь... О слепец, варвар, безумец! Я не узнал ее. О, я был отцом, недостойным ее!

— Но...

— Ведь я мог никогда не расставаться с ней!

Почему не удочерил ее, я, который так оплакивал свою дочь! Почему, вместо того чтобы отправлять эту несчастную в деревню, я не оставил ее у себя? Теперь я бы мог заключить ее в объятья... Почему я этого не сделал? Потому, что мы легкомысленны! Верим в чудо лишь тогда, когда оно отсняло и навсегда исчезло. Вместо того чтобы сразу же предоставить почетное место в обществе этой восхитительной девушке, ведь она несмотря на одиночество отличалась глубоким умом и благородством. Она бы не смогла стать более совершенным созданием — имея за плечами происхождение и образование... Я же решил, что сделал для нее все, устроив на ферму, к добрым людям... Я столько же мог бы сделать для любой нищей, встретившейся на моем пути... Виноват я... Если бы я не поступил опрометчиво, она была бы жива... Теперь жестоко наказан... Плохой сын... Плохой отец!

Мэрф знал, что эти горести безутешны, он молчал. А Родольф продолжал свою исповедь:

— Я здесь не останусь. Париж для меня нестерпим... Завтра уезжаю...

— Вы правильно поступите.

— Мы совершим объезд. Я остановлюсь на ферме в Букевале... побуду несколько часов в

комнате, где моя дочь провела счастливые дни своей одинокой жизни. Там мы бережно соберем то, что осталось от нее... книги, которые она начала читать, тетради, в которых писала, одежду, которую носила, даже мебель и обои, точный рисунок которых я сделаю сам... А в Герольштейне, в парке, где сооружен памятник отцу, которого я оскорбил, я выстрою небольшой дом, где будет устроена мемориальная комната, там я буду оплакивать свою дочь... Памятник печали напомнит о моем преступлении против отца, комната — о возмездии, ниспосланном мне за смерть ребенка..... Решено, надо все подготовить, завтра утром...

Мэрф, желая развеять печаль принца, сказал:

— Все будет готово; только вы забыли, что завтра в Букевале состоится свадьба сына госпожи Жорж и Хохотушки... Вы не только обеспечили будущее Жермена и одарили богатым приданым его невесту... но вы им обещали присутствовать на свадьбе в роли свидетеля... Там они узнают имя своего благодетеля.

— Действительно, я забыл. Они теперь на ферме, а завтра я не могу поехать туда, пришлось бы присутствовать на празднике... но, признаюсь, у меня не хватит мужества.

— Счастье молодых людей, быть может, утешит вас.

— Нет, нет, горе нелюдимо и эгоистично... Поезжай завтра, извинись, ты будешь там вместо меня, вели госпоже Жорж собрать все вещи, принадлежавшие моей дочери... пусть начертят план комнаты и отправят его мне в Германию.

— Значит, вы уедете, не повидавшись с маркизой д'Арвиль?

При воспоминании о Клеманс Родольф вздрогнул... Искреннее чувство пылкой любви к маркизе никогда не покидало его, но сейчас он был погружен в поток мучительных переживаний, переполнивших его сердце... Испытывая сумбурные чувства, принц знал, что лишь пылкая привязанность госпожи д'Арвиль смогла бы облегчить постигшее его несчастье, и он упрекал себя за эту мысль, парализующую силу отцовского горя.

— Я уеду, не повидав госпожу д'Арвиль, — ответил Родольф. — Несколько дней тому назад я писал ей о том, что скорблю по Лилии-Марии. Когда она узнает, что Мария моя дочь, она поймет, что случилось несчастье, роковое возмездие, которое следует мужественно переносить в одиночестве, для того чтобы искупить вину, и оно

ужасно, это искупление, наложенное на меня судьбой, ужасно! Так как все это происходит на закате моей жизни!

Послышался легкий стук в дверь кабинета Родольфа, который привлек внимание Мэрфа.

Мэрф направился к двери.

На пороге адъютант принца шепотом сказал эсквайру несколько слов. Тот ответил кивком головы и обратился к Родо-льфу:

— Позвольте удалиться на минуту. Кто-то хочет поговорить со мною, дело касается вашего королевского высочества.

— Иди.

Едва лишь Мэрф вышел из кабинета, как Родольф, закрыв лицо руками, горько застонал.

— О, — воскликнул он, — мне невыносимо тяжело. Моя душа полна ненависти; мне тяжело даже переносить, присутствие лучшего друга... воспоминание о возвышенной и чистой любви меня преследует и возмущает, к тому же... это малодушно и недостойно, но вчера я с особой радостью узнал о смерти графини Сары... матери, погубившей мою дочь; с наслаждением вспоминаю мучительную агонию этого чудовища, которое обрекло на смерть мое дитя. Проклятие! Я пришел слишком поздно!.. — воскликнул он,

вскакивая с кресла. — Однако вчера мне не было так тяжко, хотя и вчера я знал, что дочь моя умерла... О да, но я не произносил тех слов, которые будут отныне отравлять всю мою жизнь. Я видел мою дочь, разговаривал с ней, восхищался всем тем, что составляло ее очарование. О, сколько времени я мог бы проводить на этой ферме. Когда вспоминаю о том, что посетил ее всего лишь несколько раз... А ведь мог бывать там каждый день... видеть дочь каждый день... Да что я говорю! Мог навсегда поместить ее в своем доме. Отныне буду вечно испытывать муки... Постоянно укорять себя!

Несчастный жестоко страдал, возвращаясь к скорбной мысли и не находя никакого утешения; ведь суть страдания состоит в том, что оно постоянно оживает, и мы беспрерывно обвиняем себя.

Вдруг дверь кабинета отворилась, появился Мэрф. Он был бледен, смущен. Принц спросил:

— Мэрф, что с тобой?

— Ничего...

— Ты очень бледен.

— Я просто поражен.

— Чем?

— Госпожа д'Арвиль...

— Госпожа д'Арвиль... Боже, несчастье!..

— Нет, нет, не волнуйтесь, она в приемной...

— Она здесь... в моем доме, это невозможно!

— Вот почему, монсеньор, я удивлен.

— Так поступить с ее стороны... Но что произошло, скажи ради бога?

— Не знаю... Я сам не могу понять...

— Ты что-то от меня скрываешь?

— Честное слово, монсеньор... честное слово... знаю только то, что мне сказала маркиза.

— Но что она сказала?

— «Сэр Вальтер, — и голос ее был взволнованный, но взгляд сиял радостью, — мое присутствие здесь, должно быть, вас немало удивит. Но бывают такие неотложные обстоятельства, что не думаешь о приличиях света. Соизвольте просить его высочество, чтобы он принял меня на несколько минут в вашем присутствии, потому что мне известно, что вы его лучший друг. Я могла бы просить его оказать мне милость и посетить меня, но тогда прошло бы не меньше часа, а принц, несомненно, будет мне благодарен за то, что я ни на минуту не отложила это свидание...» — добавила она с таким выражением, что я испугался.

— И все же, — произнес Родольф надрывным голосом, — я не понимаю твоего смущения... тво-

его волнения, здесь что-то другое... свидание...

— Клянусь честью, мне больше ничего не известно. Только эти слова потрясли меня. Почему? Не знаю... Но вы сами очень взволнованы, монсеньор.

— Я? — сказал Родольф, опираясь на свое кресло, чувствуя, что ноги его подкашиваются.

— Говорю вам, монсеньор, что вы так же потрясены, как и я. Что с вами?

— Если я даже и умру от этого удара... проси сюда госпожу д'Арвиль, — воскликнул принц.

В силу удивительного родства душ внезапный визит госпожи д'Арвиль пробудил у Мэрфа и Родольфа одну и ту же смутную и безумную надежду; но надежда эта казалась им столь зыбкой, что ни тот, ни другой не хотели себе в этом признаться. Госпожа д'Арвиль в сопровождении Мэрфа вошла в кабинет принца.

Глава XI.
ОТЕЦ И ДОЧЬ

Маркиза д'Арвиль, как мы уже упоминали, не подозревала, что Лилия-Мария была дочерью принца: радуясь тому, что приведет Певунью к ее покровителю, она оставила Марию в своей карете, не зная, пожелает ли Родольф встретить девушку и принять ее у себя. Но, увидев глубоко взволнованного Родольфа, мрачное выражение его лица, заметив влажные от слез глаза, Клеманс подумала, что его постигло несчастье, более жестокое, нежели смерть Певуньи; вот почему, забыв о причине своего визита, она воскликнула:

— Боже праведный! Монсеньор, что с вами?

— Разве вы не знаете?.. Ах, потеряна последняя надежда... Ваша настойчивость... разговор со мной, которого вы так решительно требовали... я надеялся...

— О, не будем говорить о том, зачем я сюда пришла, прошу вас... монсеньор, во имя моего отца, которому вы спасли жизнь...я имею полное право спросить, что повергло вас в такое отчаянье...

ваше уныние, бледность приводят меня в ужас, будьте великодушны, расскажите, монсеньор, сжальтесь, я глубоко встревожена...

— Зачем? Моя рана неисцелима...

— Такие слова приводят меня в ужас... монсеньор, объясните же... Сэр Вальтер... Боже, в чем дело?

— Ну хорошо... — сказал Родольф тихо, — после того как я известил вас о смерти Лилии-Марии... я узнал, что она — моя дочь...

— Лилия-Мария?.. Ваша дочь?.. — воскликнула Клеманс с неописуемым волнением.

— Да, когда вы сообщили, что желаете меня видеть... чтобы передать мне радостную весть, простите мою слабость... но отец, потерявший свою дочь, потрясенный горем... способен на самые безумные надежды. И я вдруг подумал... но нет, нет, теперь я вижу... я ошибся. Простите меня... я всего лишь ничтожный, потерявший разум человек.

Родольф, лишенный надежды, сменившейся полным разочарованием, снова упал в кресло, закрыв лицо руками.

Госпожа д'Арвиль стояла пораженная, едва переводя дыхание; она испытывала то радость, то страх от того, какое потрясающее впечатле-

ние может произвести на принца предстоящее сообщение; и, наконец, пылкую благодарность провидению, избравшему ее... да ее... объявить Родольфу, что его дочь жива и что она привезла ее к нему...

Клеманс, терзаемая такими сильными чувствами, не могла произнести ни слова...

Мэрф, разделявший какое-то время надежду принца, был удручен так же, как и Родольф.

Вдруг маркиза, забыв о присутствии Мэрфа и Родольфа, опустилась на колени и, сложив руки, убежденно воскликнула:

— Благодарю тебя, господи... Да будет благословенно имя твое... Да будет воля твоя, благодарю, что ты избрал меня... сообщить Родольфу: его дочь спасена!

Хотя эти слова были произнесены тихим голосом, но с искренностью и глубокой верой, они дошли до слуха Мэрфа и принца.

Родольф стремительно поднял голову в тот момент, когда Клеманс поднялась с колен.

Невозможно передать выражение лица принца, созерцавшего маркизу, восхитительные черты которой, отмеченные небесным озарением, сияли поразительной красотой.

Опершись одной рукой на мраморный столик,

а другой пытаясь успокоить биение своего сердца, она кивком головы ответила на обращенный к ней взгляд Родольфа.

— Где же она? — спросил принц, дрожа как осиновый лист.

— Внизу, в моей карете.

Если бы не Мэрф, внезапно преградивший путь Родольфу, то он потеряв голову ринулся бы вниз.

— Вы ее убьете, — воскликнул эсквайр, удерживая принца.

— Она лишь вчера встала после болезни. Во имя ее жизни будьте благоразумны, — добавила Клеманс.

— Вы правы, — едва сдерживаясь, произнес принц, — вы правы, я должен успокоиться, видеть ее сейчас мне не следует, подожду, пока я приду в себя. Да, это уж слишком, слишком, пережить все в один день!

Затем, протянув руку маркизе, он обратился к ней с излиянием сердечной благодарности.

— Я прощен... вы ангел моего искупления.

— Монсеньор, вы спасли моего отца. Богу было угодно, чтобы я возвратила вам вашу дочь, — ответила Клеманс. — Но я в свою очередь прошу простить меня за мою растерянность. Новость меня потрясла. Признаюсь вам, у меня не хвата-

ет мужества пойти к Марии, мой вид может ее испугать.

— Кто же ее спас? — воскликнул Родольф. — Видите, какой я неблагодарный, даже не спросил, как это произошло.

— Когда она тонула, ее вытащила из воды смелая женщина.

— Вы ее знаете?

— Завтра она придет ко мне.

— Я премного обязан ей, — сказал принц, — мы сумеем ее отблагодарить.

— Боже, я правильно поступила, оставив Марию в карете, — сказала маркиза, — эта сцена была бы для нее гибельной.

— Несомненно, — ответил Мэрф, — провидению было угодно так поступить.

— Я не знала, пожелает ли принц повидаться с ней, потому-то и решила вначале испросить у него совета.

— Теперь, — заявил принц, придя в себя и успокоив волнение, — уверяю вас, теперь я владею собой. Мэрф, приведите мою дочь.

Слова — мою дочь — были произнесены таким тоном, который мы не смогли бы выразить.

— Монсеньор, вы уверены в себе? — спросила Клеманс. — Будьте осторожны.

— О, не тревожьтесь, я знаю, что ей угрожает, и не стану подвергать ее опасности. Мой добрый Мэрф, умоляю тебя, иди, иди же!

— Не волнуйтесь, — сказал эсквайр, внимательно следивший за принцем, — когда она появится, герцог поведет себя как надо.

— Ну иди же, иди скорей, друг мой!

— Да, монсеньор, позвольте побыть еще минуту, у меня не каменное сердце, — произнес эсквайр, вытирая следы слез, — она не должна знать, что я плакал.

— Чудесный человек, — сказал Родольф, пожимая руку Мэрфа.

— Полноте, полноте... Я не хотел проходить через комнаты в слезах, как Магдалина.

Мэрф направился к двери, но вдруг остановился:

— Монсеньор, что я должен сказать ей?

— Да, что он должен сказать? — спросил принц у Клеманс.

— Что господин Родольф хочет ее видеть, я полагаю, больше ничего! Пусть так и скажет.

— Конечно, самое правильное сказать ей эти слова, — продолжал эсквайр, взволнованный так же, как маркиза. — Я просто скажу, что принц Родольф хочет ее видеть. Ей не придется до-

гадываться, что-либо предполагать, так будет правильно.

Мэрф стоял неподвижно.

— Сэр Вальтер, — обратилась к нему Клеманс, улыбаясь, — вы боитесь.

— Верно, маркиза, несмотря на мой высокий рост и полноту, я все еще колеблюсь.

— Друг мой, будь осторожен, — сказал Родольф, — если ты не уверен в себе, не спеши.

— Нет, нет, монсеньор, — сказал эсквайр, вытирая слезы. — Несомненно, в моем возрасте эта слабость кажется смешной. Не бойтесь ничего.

И Мэрф уверенной поступью, с бесстрашным лицом направился к карете.

Наступило молчание.

Клеманс, смущаясь, подумала о том, что она наедине с Родольфом. Принц приблизился к ней и почти робко произнес:

— Я хотел именно сегодня искренне признаться, потому что наступивший день весьма знаменателен. Впервые повстречавшись с вами, я полюбил вас. Я должен был скрывать свое чувство и скрывал его. Вы сегодня возвратили мне дочь, теперь решите, хотите ли вы стать ее матерью?

— Я, монсеньор? — ответила госпожа д'Арвиль. — Что вы говорите?

— Умоляю вас, не отвергайте меня; пусть этот момент станет счастливейшим в моей жизни, — искренне произнес принц.

Клеманс издавна страстно любила Родольфа, ей казалось, что это сон; признание Родольфа, признание, столь простое и трогательное, выраженное при таких обстоятельствах, доставило ей глубокую радость, но, смущаясь, она ответила:

— Монсеньор, я должна вам напомнить о различии званий, об интересах вашего княжества.

— Позвольте мне прежде всего считаться с интересами моего сердца, соблюдать интересы моей дочери, осчастливьте нас, да, осчастливьте ее и меня, сделайте, чтобы я, находившийся в одиночестве, без семьи, смог бы сказать... моя жена, моя дочь; наконец, сделайте так, чтобы и бедное дитя, не имевшее семьи, смогло бы сказать... мой отец, моя мать, моя сестра, ведь у вас есть дочь, она станет и моей дочерью.

— Ах, сеньор, на столь благородные слова можно ответить лишь слезами благодарности, — воскликнула Клеманс.

Затем, сдержавшись, она добавила:

— Монсеньор, сюда идут... ваша дочь!

— О, не отказывайте мне, — взмолился Родольф, — во имя моей любви, скажите... наша дочь.

— Хорошо, пусть будет наша дочь, — прошептала Клеманс в тот момент, когда Мэрф, открыв дверь, ввел Лилию-Марию в кабинет принца.

Девушка, выйдя из кареты маркизы, стоявшей у подъезда огромного особняка, прошла переднюю, полную выездных лакеев в нарядных ливреях, затем зал ожидания, где толпились слуги, миновала комнату, занятую охраной, и, наконец, оказалась в приемной, где находились камердинер и адъютанты принца в парадной форме. Можно представить себе удивление бедной девушки, не знавшей ничего более роскошного, нежели ферма в Букевале, когда она проходила по королевским апартаментам, сверкающим золотом, украшенным зеркалами, картинами.

Как только она появилась, госпожа д'Арвиль подбежала к ней, взяла за руку и, обняв, словно поддерживая, повела к Родольфу, который стоял подле камина не в силах пошевельнуться.

Мэрф, поручив Марию госпоже д'Арвиль, поспешил исчезнуть за портьерой огромного окна, чувствуя, что недостаточно уверен в себе.

При виде своего благодетеля, своего спасителя, своего бога... созерцавшего ее в безмолвном экстазе, Лилию-Марию, тоже потрясенную, охватила дрожь.

— Успокойтесь...дитя мое, — сказала ей маркиза, — вот ваш друг... господин Родольф, который ждал вас с нетерпением... Он очень тревожился за вас...

— О да, да... очень... очень... тревожился, — пробормотал Родольф, все еще не двигаясь с места; сердце его обливалось слезами при виде бледного и нежного лица дочери.

Вот почему, несмотря на свою решимость, принц вынужден был на мгновение отвернуться, чтобы скрыть, что он глубоко растроган.

— Послушайте, дитя мое, вы еще очень слабы, садитесь сюда, — сказала Клеманс, чтобы отвлечь внимание Марии; и она отвела ее к большому креслу из позолоченного дерева, в которое Певунья осторожно села.

Ее смущение все более и более усиливалось; она была подавлена, голос у нее пропал, она огорчалась потому, что до сих пор не могла вымолвить ни одного слова благодарности Родольфу.

Наконец: по знаку госпожи д'Арвиль, облокотившейся на кресло Марии и державшей ее руку в своей, принц тихонько приблизился к ним. Овладев собою, он обратился к Марии, повернувшей к нему свое очаровательное лицо:

— Наконец-то вы навеки соединены с ваши-

ми друзьями!.. Вы их теперь уже не покинете!.. Сейчас важно забыть все то, что было тяжелого в вашей жизни.

— Да, дитя мое, — добавила Клеманс, — лучший способ доказать, что вы нас любите, — забыть печальное прошлое.

— Верьте мне, господин Родольф... и вы тоже, если я невольно и вспоминаю прошлое, то лишь для того, чтобы сказать себе, что без вас... я по-прежнему была бы несчастной.

— Да, но мы сделаем так, чтобы у вас не возникали эти мрачные мысли. Вы будете окружены заботой, у вас не будет времени предаваться воспоминаниям, моя дорогая Мария, — продолжал Родольф, — вы ведь знаете, что это имя дал вам я... на ферме.

— Да, господин Родольф. А госпожа Жорж, которая позволила мне называть ее... моей матерью... как она поживает?

— Очень хорошо, дитя мое... Но я должен сообщить вам удивительную новость.

— Мне, господин Родольф?

— После того как я встретился с вами... выяснилось важное обстоятельство о... вашем происхождении.

— О моем происхождении?

— Стало известно, кто были ваши родители. Знают имя вашего отца.

Родольф произносил эти слова сквозь слезы. Мария, весьма взволнованная, обратила свой взор к нему, и принц смутился.

Другой случай, на этот раз комический, рассеял внимание Певуньи и помешал ей заметить взволнованность принца: почтенный эсквайр, все время не выходивший из-за портьеры и, казалось, внимательно рассматривавший сад, не мог удержаться и громко чихнул, потому что он плакал как ребенок.

— Да, моя дорогая Мария, — поспешила сказать Клеманс, — вашего отца знают, он здоров.

— Мой отец, — воскликнула Певунья с таким выражением, которое подвергло мужество Родольфа новому испытанию.

— И в один прекрасный день... — продолжала Клеманс, — быть может, скоро, вы его увидите. Вас, конечно, удивит его высокое положение и знатный род.

— А моя мать, увижу ли я ее?

— Ваш отец ответит на этот вопрос, дитя мое... будете ли вы рады увидеть его?

— О да, конечно, — сказала Мария, опустив глаза.

— О, как вы будете любить своего отца, когда узнаете его! — сказала маркиза.

— С того дня... для вас начнется новая жизнь, не так ли, Мария? — заметил принц.

— Нет, господин Родольф, — искренне ответила Певунья. — Моя новая жизнь началась с того дня, когда вы пожалели меня, отправили на ферму.

— Но ваш отец... вас обожает, — сказал принц.

— Его я не знаю... я всем обязана вам.

— Значит... вы... меня любите... столько же, быть может, даже больше, чем любили бы вашего отца?

— Я вас благословляю, и я вас чту как бога, господин Родольф, потому что вы сделали для меня столько, сколько может сделать один лишь бог! — взволнованно ответила Певунья, забыв свою обычную робость. — Когда эта дама заговорила со мной в тюрьме, я ей сказала то, что говорю всем... да, господин Родольф; встречая очень несчастных людей, я говорила им: надейтесь, господин Родольф помогает несчастным. Тем, кто колебался между добром и злом, я говорила: мужайтесь, будьте добрыми, господин Родольф вознаграждает добрых. Злым я говорила: берегитесь, господин Родольф наказывает злых. Наконец, когда я решила, что умираю, я подумала: бог смилостивится

надо мной, если господин Родольф нашел меня достойной его внимания.

Лилия-Мария, увлеченная порывом благодарности к своему благодетелю, преодолела страх, легкий румянец окрасил ее лицо, а ее прекрасные голубые глаза, обращенные к небесам как будто в молитве, сияли нежным блеском.

За возвышенными словами Марии на несколько минут наступило молчание; глубокое волнение охватило актеров этой драмы.

— Вижу, дитя мое, — заговорил Родольф, едва сдерживая свою радость, — что в вашем сердце я почти занял место вашего отца.

— Это не моя вина, господин Родольф, быть может, это скверно с моей стороны...но я сказала вам, что вас я знаю, но не знаю своего отца, — и она, смутившись, опустила голову, — к тому же вам известно мое прошлое... господин Родольф... несмотря на это вы облагодетельствовали меня; но мой отец ничего не знает... о моем прошлом. Быть может, он будет сожалеть, что нашел меня, — с содроганием заметила несчастная девушка, — и раз он, как вы сказали, такого высокого происхождения... он, конечно, будет стыдиться, краснеть за меня.

— Краснеть за вас! — воскликнул Родольф,

выпрямившись и гордо подняв голову. — Успокойтесь, бедное дитя, ваш отец создаст вам такое блестящее положение, такое высокое, что даже самые избранные среди великосветских аристократов будут отныне относиться к вам с глубоким уважением. Стыдиться вас!.. Нет... нет. Вслед за королевами, которым вы близки по крови... вы пройдете как равная среди самых благородных принцесс Европы!

— Монсеньор! — воскликнули одновременно Мэрф и Кле-манс, испуганные возбуждением Родольфа и возрастающей бледностью Марии, изумленно смотревшей на своего отца.

— Краснеть за тебя! — продолжал он. — О, если я когда-либо был счастлив и горд своим титулом принца, то только потому, что благодаря моему положению я могу возвысить тебя настолько, насколько ты была унижена... понимаешь ли ты, моя дорогая, моя обожаемая дочь?.. Потому что ведь это я твой отец!

И принц, не в силах более укротить свое волнение, упал на колени к ногам Марии, заливаясь слезами.

— Благодарение богу! — воскликнула Мария, сложив руки. — Мне было дозволено любить моего благодетеля так, как я любила его... Это мой

отец... я могу обожать его без угрызений совести... будьте благословенны, мой...

Она не смогла договорить... Потрясение было слишком сильным: Мария потеряла сознание, упав на руки принца.

Мэрф бросился к дверям передней и, открыв их, закричал:

— Доктора Давида... сейчас же... к его королевскому высочеству... там с кем-то плохо!

— Будь я проклят! Я убил ее, — восклинул Родольф, рыдая на коленях перед своей дочерью. — Мария... дитя мое... послушай меня, я твой отец... Прости меня, о, прости...я не смог больше хранить эту тайну. Я убил мою дочь... Господи! Я убил ее!

— Успокойтесь, — сказала Клеманс, — нет никакой опасности. Посмотрите, щеки розовые... это обморок, всего лишь обморок.

— Но ведь она едва оправилась... приступ может ее убить... Какое несчастье, о, горе мне!

В это время Давид, доктор-негр, поспешно вошел в комнату, держа в руке небольшую шкатулку и письмо, которое он вручил Мэрфу.

— Давид... моя дочь умирает... Я спас тебе жизнь... ты должен спасти мое дитя! — воскликнул Родольф.

Хотя и изумленный тем, что принц говорит о своей дочери, доктор бросился к Марии, которую г-жа д'Арвиль держала в объятиях, пощупал пульс девушки, положил ей руку на лоб и, повернувшись к Родольфу, который ждал приговора врача, сказал:

— Никакой опасности... Ваше высочество, успокойтесь.

— Ты говоришь правду... никакой опасности?..

— Да, монсеньор. Несколько капель эфира, и мадемуазель придет в себя.

— О боже... — воскликнул ошеломленный принц, на которого с изумлением смотрела Клеманс, еще не понимая, в чем дело.

— Монсеньор, — сказал Давид, все еще занятый возле Марии, — ее состояние не внушает тревоги... Но свежий воздух ей крайне необходим, следовало бы перенести кресло на террасу, открыть дверь в сад, обморок пройдет.

Мэрф тотчас побежал открыть застекленную дверь, выходившую на огромное крыльцо, образующее террасу; затем вместе с Давидом они осторожно перенесли кресло, в котором без чувств находилась Певунья.

Родольф и Клеманс остались одни.

Глава XII.
ПРЕДАННОСТЬ

— Ах, сударыня, — воскликнул Родольф, как только Мэрф и Давид удалились, — вы не знаете, кто такая графиня Сара, ведь это мать Лилии-Марии.

— О боже!

— Я думал, что она умерла!

Наступило глубокое молчание.

Маркиза д'Арвиль страшно побледнела, сердце у нее разрывалось.

— Вам неизвестно и то, — с горечью продолжал Родольф. — что эта властолюбивая женщина, признававшая лишь мое звание, побудила меня в молодости к союзу, впоследствии распавшемуся. Пожелав выйти за меня замуж, графиня причинила много бед своей дочери, отдав ее алчным людям.

— А! Теперь я понимаю вашу ненависть к ней.

— Вы поймете также, почему она хотела погубить вас посредством подлого оговора; обладая безграничным честолюбием, клевеща на тех, кто был мне дорог, она надеялась, что я возвращусь

к ней.

— Какой низменный расчет!

— И она еще живет на свете.

— Монсеньор, подобное огорчение недостойно вас!

— Вы не знаете, сколько зла она причинила людям! И ныне, когда я, найдя свою дочь... стремился вручить ее достойной матери. О нет... Эта женщина — демон мщения. Она преследует меня...

— Полноте, будьте мужественны, — сказала Клеманс, едва сдерживая слезы, — вы должны выполнить святой долг. Вы сами сказали в великодушном порыве отцовской любви, что отныне участь вашей дочери должна быть столь же счастливой, сколь несчастной она была в прошлом. Ваша дочь должна быть столь возвышена, как когда-то была унижена. Вот почему следует узаконить ее рождение... а для этого надо венчаться с графиней Мак-Грегор.

— Никогда этого не будет, никогда. Это значило бы вознаграждать вероломство, эгоизм, свирепое честолюбие бесчеловечной матери. Я признаю мою дочь, а вы, как я надеялся, ее удочерите, у вас она найдет материнское чувство.

— Нет, монсеньор, вы так не поступите, вы не оставите во мраке происхождение вашей дочери.

Графиня Сара знатного старинного рода; для вас это брак неравный, но он все же достойный. Благодаря этому браку ваша дочь будет законная, а не узаконенная. Таким образом, как бы ни устроилось ее будущее, она сможет гордиться своим отцом и открыто признавать свою мать.

— Но отказаться от вас, господи! Это невозможно. Вы даже не представляете себе, как прекрасна была бы совместная жизнь с вами и дочерью, — теми, кто мне дороже всего на свете.

— Но с вами будет дочь, монсеньор. Всемилостивый бог чудом возвратил ее вам. Считать ваше счастье неполным было бы с вашей стороны неблагодарностью.

— Вы любите меня меньше, нежели я вас.

— Считайте, что это так, монсеньор, и верьте мне: жертва во имя долга покажется вам не столь мучительной.

— Но если вы меня любите, если вы будете огорчаться так же, как я, вы будете глубоко страдать. Что останется вам в жизни?

— Милосердие, монсеньор, это восхитительное чувство, которое вы сумели пробудить в моем сердце... чувство это до сих пор заставляло меня забывать многие горести, и я обязана ему за многие сладостные утешения.

— Помилуйте, послушайте меня. Предположим, я женюсь на ней, принеся себя в жертву, разве я смогу жить подле этой женщины, которая внушает мне отвращение и презрение? Нет, нет, мы навсегда разъединены, никогда она не встретит мою дочь. Значит, Мария... лишится нежной матери.

— Ей останется нежный отец. После вашего брака она станет законной дочерью владетельного князя Европы, и, как вы уже говорили, ее положение будет таким же блестящим, каким мрачным оно было в прошлом.

— Вы безжалостны... А я так несчастлив!

— Смеете ли вы так говорить... вы, столь возвышенный, столь справедливый, столь благородно понимающий значение долга, преданности, самоотречения. Только что до совершившегося чуда, когда вы оплакивали смерть своей дочери душераздирающими рыданиями, если бы вам тогда предложили: произнесите ваше желание, одно-единственное, и оно будет исполнено, вы бы тогда воскликнули: моя дочь... О, моя дочь... да будет она жива! Это чудо свершилось, вам возвращена дочь... а вы считаете себя несчастным. О монсеньор, только бы Лилия-Мария не услышала ваши слова!

— Вы правы, — заметил Родольф после долгого молчания, — столько счастья, ниспосланного с небес... я его не заслужил... я исполню свой долг. Я не раскаиваюсь в своем колебании, ему я обязан тем, что оно раскрыло предо мной величие вашей души.

— Это вы возвеличили и возвысили мою душу. Все мною совершенные деяния славят вас так же, как все мои хорошие мысли внушены вами. Мужайтесь, как только Мария соберется с силами, совершите с ней путешествие. Приехав в Германию, в тихую и спокойную страну, она совершенно переродится, и прошлое покажется ей лишь печальным забытым сном.

— А как же вы, вы?

— Я... Теперь могу вам сказать искренне, потому что всегда думаю об этом с радостью и гордостью: моя любовь к вам будет ангелом-хранителем, якорем спасения, превратится в добродетель, станет олицетворением будущего. Все, что я буду делать хорошего, будет, совершено по любви и будет обогащать ее. Каждый день я буду писать вам, простите меня за это единственное требование, которое я себе разрешаю. Вы, монсеньор, будете мне иногда отвечать... сообщать новости о той, которую я однажды назвала своей доче-

рью, — произнесла Клеманс, не в силах сдержать слезы, — я сохраню ее в своем сердце; с годами, когда мы будем иметь право открыто признаться в святом чувстве, которое нас связывало... тогда, я вам клянусь именем вашей дочери, если вы пожелаете, я перееду в Германию, в тот же город, где будете жить и вы, чтоб нам больше не расставаться и прожить жизнь, хоть и не исполненную страстной любви, но, во всяком случае, прожить честно, достойно.

— Монсеньор, — воскликнул Мэрф, входя в комнату, — ниспосланная вам богом дочь пришла в чувство. Ее первым словом было: мой отец!.. Она хочет вас видеть...

Вскоре г-жа д'Арвиль покинула особняк принца, а он поспешно отправился к графине Мак-Грегор в сопровождении Мэрфа, барона Грауна и адъютанта.

Глава XIII.
СВАДЬБА

После того как Родольф сообщил Саре Мак-Грегор о гибели Лилии-Марии, она, подавленная этой новостью, которая разрушала все ее надежды, измученная поздним раскаянием, стала жертвой нервного потрясения и страшного бреда. Ее едва зарубцевавшаяся рана открылась, графиня потеряла сознание; подобное состояние продолжалось длительное время, и окружающие подумали, что наступает смерть. Однако, обладая сильной натурой, она перенесла жестокий приступ; луч жизни снова оживил ее.

Сидя в кресле, Сара, погруженная в удручающие размышления, казалось, сожалела о смерти, которая только что ей угрожала.

Внезапно в комнату графини вошел Томас Сейтон, с трудом сдерживая глубокое волнение; жестом он приказал двум служанкам Сары удалиться; она едва заметила присутствие брата.

— Как вы себя чувствуете? — спросил он.

— Все так же... чувствую сильную слабость... и временами мучительное удушье... Почему бог

не взял меня из этого мира во время последнего приступа.

— Сара, — помолчав, продолжал — Томас Сейтон, — вы теперь находитесь между жизнью и смертью... Сильное волнение могло бы вас погубить... но оно могло бы и спасти вас.

— Я не испытываю теперь никаких волнений, дорогой брат.

— Быть может...

— Я с равнодушием отнеслась бы к смерти Родольфа... призрак моей утонувшей дочери... по моей вине... здесь... постоянно здесь... предо мною... Это не волнение... а непрестанное угрызение совести. Во мне заговорило чувство матери после гибели дочери.

— Я предпочел бы видеть в вашем лице женщину, принесшую в жертву родную дочь в неистовом желании стать коронованной особой.

— Жестокие упреки принца заглушили мое намерение, во мне пробудилось материнское чувство... представив себе ужасные муки дочери.

— А если... — сказал Сейтон, взвешивая каждое слово, — если предположить, что свершится невозможное... что произойдет чудо: если б вы узнали, что ваша дочь жива, как бы вы перенесли эту весть?

— Увидев ее, я бы умерла от стыда и отчаяния.

— Оставьте эту мысль, вы были бы слишком опьянены торжеством вашего честолюбия! Потому что, будь ваша дочь жива, принц женился бы на вас, он вам говорил об этом.

— Если допустить столь безумное предположение, мне кажется, что я лишена была бы права на жизнь. Если б я стала женою принца, мой долг был бы освободить его... от недостойной жены... мою дочь — от бессердечной матери...

Томас Сейтон с каждой минутой все больше смущался. По поручению Родольфа, находившегося в соседней комнате, он должен был известить Сару о том, что Лилия-Мария жива, но не знал, как это сделать. Жизнь графини была столь зыбкой, что она могла умереть в любой момент; поэтому нельзя было медлить со свадьбой in extremis[158], которая должна была узаконить рождение Лилии-Марии.

Для этой печальной церемонии принц привез с собой священника и в качестве свидетелей — Мэрфа, барона Грауна; герцог де Люсене и лорд Дуглас, поспешно предупрежденные Сейтоном, должны были стать свидетелями графини, они

---

[158] Notes: 158
В последний момент (лат).

также прибыли как раз в это время.

Минуты уходили; но угрызения совести, усиленные материнской нежностью, вытеснили из сердца Сары безжалостные помыслы, поэтому задача Сейтона еще усложнилась. Он надеялся только на то, что сестра обманывала его или обманывала себя и что гордость этой женщины проявится, как только перед ней возникнет корона, о которой она издавна мечтала.

— Сестра моя... — начал Сейтон величаво и торжественно, — я мучаюсь ужасным сомнением... одно мое слово может вернуть вас к жизни... или убить вас...

— Я уже сказала... никакие волнения мне не страшны,.

— Однако одно... быть может...

— Какое?

— Если б речь шла о вашей дочери?

— Моя дочь умерла...

— А если она жива...

— Мы только что отвергли это предположение... Довольно, брат, с меня достаточно моих терзаний.

— А если это не предположение? Если по невероятной случайности... на которую мы не могли надеяться... ваша дочь была вырвана у смерти...

если она... жива?

— Вы доставляете мне мучения... не говорите со мною так.

— Ну хорошо! Да простит мне бог и да не осудит он вас... Ваша дочь жива...

— Моя дочь?

— Я предупредил ваших друзей, они будут свидетелями... Сбылось наконец ваше сокровенное желание... Предсказание сбылось... Отныне вы принцесса.

Сейтон произнес эти слова, устремив тревожный взгляд на сестру, стараясь уловить на ее лице малейший знак волнения.

К его великому удивлению, лицо Сары оставалось почти бесстрастным; она лишь прижала руки к сердцу, откинулась в кресле, подавив легкий возглас, который, казалось, был вызван внезапной и глубокой скорбью... Затем ее лицо снова стало спокойным.

— Что с вами сестра?

— Ничего... я поражена... неожиданная радость... Наконец мои желания всецело исполнены!..

«Я не ошибся! — подумал Сейтон. — Честолюбие берет верх... Она спасена...»

Затем, обращаясь к Саре:

— Вот видите, сестра! Что я вам говорил?

— Вы были правы... — заметила она с горькой улыбкой, догадываясь, на что намекал ее брат, — холодный расчет во мне опять подавляет чувства материнства...

— Вы будете жить! И любить свою дочь...

— Я в этом не сомневаюсь... Я буду жить... Вы видите, как я спокойна...

— И это спокойствие не притворно?

— Сраженная, обессиленная, могу ли я притворяться?

— Вы теперь понимаете, почему я только что так колебался?

— Нет, меня это удивляет... вы ведь знаете мое неукротимое желание... Где принц?

— Он здесь.

— Я хотела бы его увидеть... до церемонии... Затем она добавила с подчеркнутым равнодушием:

— Моя дочь, конечно, здесь?

— Нет... вы увидите ее несколько позже...

— В самом деле... есть еще время... Попросите, пожалуйста, принца...

— Сестра... я не знаю... вы как-то странно выглядите... мрачно.

— Вы хотите, чтобы я веселилась? Вы полагаете, что удовлетворенное чувство придает лицу нежное выражение?.. Попросите сюда принца!

Сейтон был невольно встревожен спокойствием Сары. На мгновение ему показалось, что она сдерживает слезы. Усомнившись, он открыл дверь и вышел.

— Теперь, — сказала Сара, — лишь бы мне повидать... и обнять мою дочь... я была бы спокойна... Этого нелегко достигнуть... Родольф, чтобы наказать меня, откажет мне в этом... О, я добьюсь своего... Да... добьюсь... Вот он...

Вошел Родольф и закрыл за собой дверь.

— Ваш брат сообщил вам? — холодно спросил принц.

— Все...

— Ваша... прихоть... удовлетворена?

— Да... удовлетворена...

— Пастор... и свидетели... здесь.

— Я это знаю...

— Они могут войти... я полагаю?

— Одно слово, монсеньор...

— Говорите...

— Я желала бы... видеть мою дочь...

— Невозможно...

— Я говорю, монсеньор, что я хочу видеть мою дочь!..

— Она понемногу выздоравливает... Утром испытала сильное потрясение... Эта встреча может

оказаться для нее гибельной...

— Но, по крайней мере... она обнимет свою мать...

— Зачем? Вы ведь стали принцессой...

— Я еще не стала ею... и я буду принцессой лишь после того, как обниму свою дочь...

Родольф с глубоким удивлением посмотрел на графиню.

— Как, — воскликнул он — вы отказываетесь от честолюбивых замыслов...

— Я предпочитаю... материнские чувства. Это вас удивляет, монсеньор?

— Увы!.. Да.

— Увижу ли я дочь?

— Но...

— Будьте осторожны, монсеньор, минуты, быть может, сочтены... Этот приступ, как говорит мой брат, может ли спасти меня, или погубить... теперь я собрала все свои силы, всю энергию, но достанет ли их для того, чтобы пережить это внезапное событие... Хочу видеть мою дочь... а если нет... отказываюсь от брака... Но если я умру... ее рождение не будет узаконено...

— Лилии-Марии здесь нет... надо ее привезти... из моего дома.

— Немедленно пошлите за ней... и я согласна

на все. Жить осталось мне совсем недолго, я уже говорила вам об этом. Венчание может состояться... пока Лилия-Мария едет сюда...

— Хотя ваше желание меня удивляет... но оно слишком похвально, чтобы я не пошел ему навстречу... Вы увидите Лилию-Марию... Я напишу ей.

— Здесь... на бюро, где я была ранена...

В то время как Родольф поспешно писал письмо, графиня вытерла холодный пот, струившийся у нее со лба; черты ее лица, до тех пор спокойные, изменились, выражая резкую боль; казалось, что Сара, перестав сдерживаться, отвлеклась от скрытого мучения.

Написав письмо, Родольф встал и обратился к графине:

— Я отправлю это письмо своей дочери с одним из моих адъютантов. Она будет здесь через полчаса... Могу я войти сюда с пастором и свидетелями?..

— Можете... или... пожалуйста, позвоните... не оставляйте меня одну... Поручите это Вальтеру... Он приведет свидетелей и пастора.

Родольф позвонил, появилась одна из камеристок Сары.

— Попросите моего брата прислать сюда Валь-

тера Мэрфа, — сказала графиня.

Камеристка удалилась.

— Этот союз будет печальным, Родольф... — с горечью сказала графиня. — Печальным для меня... Для вас он будет счастливым!

Принц отрицательно покачал головой.

— Он будет счастливым для вас, Родольф, ибо я его не переживу!

В эту минуту вошел Мэрф.

— Друг мой, — сказал ему Родольф, — отправь сейчас же с полковником это письмо моей дочери. Он привезет ее в моей карете... Попроси пастора и свидетелей прийти в соседнюю комнату.

— Боже мой, — воскликнула Сара умоляющим голосом, когда вышел эсквайр, — ниспошли мне сил, чтобы увидеть ее, продли мою жизнь до ее прихода!

— О, почему ж вы раньше не были такой трогательной матерью!

— Благодаря вам, по крайней мере, я поняла, что такое раскаяние, преданность, самопожертвование... Да, только что, когда мой брат известил меня, что наша дочь жива... позвольте мне сказать — наша дочь... мне не придется долго говорить так, я почувствовала страшное биение сердца, мне показалось, что наступает смерть.

Я утаила это, но я была счастлива... Рождение нашей дочери будет узаконено, а затем я умру...

— Не говорите так!

— О, на этот раз я вас не обманываю... вы увидите!

— И никаких признаков неуемного высокомерия, которое вас погубило! Почему по воле рока ваше раскаяние возникло так поздно?

— Да, поздно, но, клянусь вам, я глубоко и искренне раскаиваюсь. В этот торжественный момент я благодарю бога, уносящего меня из этого мира, потому что жизнь моя была бы для вас страшным бременем...

— Сара! Помилуйте...

— Родольф... последняя просьба... Вашу руку...

Принц, отвернувшись, протянул руку графине, которая взяла ее в свои.

— О, какие у вас холодные руки! — в испуге воскликнул Родольф.

— Да, я чувствую, что умираю! Быть может, бог подверг меня последнему наказанию... лишив возможности обнять мою дочь!

— О нет... нет... Он будет растроган вашим раскаянием...

— А вы, мой друг, вы растроганы?.. Вы меня прощаете?.. О, смилостивьтесь, скажите «да»!

Сейчас, когда наша дочь приедет сюда, если она приедет вовремя, вы не сможете меня простить при ней... Это означало бы раскрыть перед ней всю мою вину... Вы этого не пожелаете... Когда я буду мертва, вам не помешает, если она будет меня любить.

— Не тревожьтесь... она ничего не узнает!

— Родольф... простите. О, простите!.. Неужели вы не сжалитесь надо мной? Разве я теперь не глубоко несчастна?

— Да будет так! Пусть простит вас бог за зло, содеянное вами вашей дочери, как я прощаю вам зло, причиненное мне, несчастная женщина!

— Вы прощаете меня... от всего сердца?

— От всего сердца, — взволнованно сказал принц. Графиня в порыве радости и благодарности прижала руку Родольфа к своим слабеющим устам.

— Просите пастора, мой друг, и скажите ему, чтобы не уходил отсюда после бракосочетания... Я совсем ослабла!

Это была душераздирающая сцена: Родольф открыл двухстворчатые двери салона, вошел пастор в сопровождении Мэрфа, барона Грауна — свидетелей Родольфа, и герцога Люсене, лорда Дугласа — свидетелей графини; затем пришел

Томас Сейтон.

Все действующие лица этой мучительной сцены были серьезны, печальны и сосредоточены, даже герцог де Люсене забыл свою обычную живость.

Брачный контракт между его королевским высочеством Густавом Родольфом V, великим герцогом Герольштейнским и Сарой Сейтон оф Холсбери, графиней Мак-Грегор (контракт, объявляющий законным рождение Лилии-Марии) был составлен бароном Грауном; он был прочтен им и подписан супругами и их свидетелями.

Несмотря на раскаяние графини, когда пастор торжественно спросил Родольфа:

— Ваше королевское высочество, согласны ли вы взять в супруги Сару Сейтон оф Холсбери, графиню Мак-Грегор, — и когда принц громко и твердо объявил: — Да! — умирающий взгляд Сары оживился; на ее мертвенно-бледном лице скользнула улыбка победного торжества; это была последняя вспышка ее честолюбия, угасшая вместе с ней.

Во время столь печальной величественной церемонии никто не обмолвился ни словом. Вслед затем свидетели Сары герцог де Люсене и лорд Дуглас почтительно поздравили принца и

удалились.

По знаку Родольфа Мэрф и Граун последовали за ними.

— Брат мой, — тихо произнесла Сара, — попросите священника пойти с вами в соседнюю комнату, и пусть он будет так добр подождать там некоторое время.

— Как вы себя чувствуете, сестра? Вы очень бледны...

— Отныне я уверена, что буду жить... Разве я не великая герцогиня Герольштейнская? — с горькой улыбкой сказала она.

Оставшись наедине с Родольфом, Сара прошептала слабым голосом, в то время как черты ее лица страшно исказились:

— Силы меня покидают... Я чувствую, что умираю... Ее я не увижу!

— Нет, нет... увидите... успокойтесь, Сара... вы увидите ее.

— Я уже не надеюсь..... это напряжение... Нужна была сверхчеловеческая сила... мое зрение уже меркнет!

Быстро подойдя к графине и взяв ее руки в свои, принц прошептал:

— Сара, она сейчас придет... она не задержится...

— Бог не пожелает... ниспослать мне это последнее утешение.

— Сара, слушайте... Кажется, приближается карета... Да, это она... Вот ваша дочь!

— Родольф, вы не скажете ей... что я была плохой матерью! — медленно произнесла графиня, уже ничего не слыша.

Раздался стук кареты, едущей по мощеному двору.

Графиня ничего не замечала. Ее речь становилась все более бессвязной. Родольф со страхом склонился над ней, он увидел, что взгляд ее померк.

— Прости!.. Моя дочь... Видеть дочь! Прости... Хотя бы... после моей смерти пусть воздадут почести моему званию! — прошептала она наконец.

Это были последние внятные слова Сары. Несмотря на искреннее раскаяние, вновь проявилась навязчивая идея всей ее жизни.

Вдруг вошел Мэрф.

— Монсеньор... принцесса Мария...

— Нет, — живо воскликнул Родольф, — она не должна входить. Скажи Сейтону, чтобы он привел пастора.

Затем, показав на Сару, которая угасала в медленной агонии, принц произнес:

— Господь лишает ее высшего утешения — обнять дочь.

Полчаса спустя графиня Сара Мак-Грегор скончалась.

Глава XIV.
БИСЕТР

Прошло две недели после того, как Родольф, женившись на Cape in extremis, узаконил рождение Лилии-Марии. Наступил один из дней великого поста. Определив таким образом время действия, мы поведем читателя в Бисетр. Это огромное заведение[159] предназначено, как известно, для лечения умалишенных, а также является домом гражданских инвалидов и служит убежищем для семисот — восьмисот бедных стариков, достигших семидесятилетнего возраста, в высшей степени немощных.

Прибыв в Бисетр, вы прежде всего окажетесь среди обширного двора, засаженного высокими деревьями и зеленеющими между ними лужайками, в летнее время украшенными клумбами цветов. Нет ничего более отрадного, более спокойного, более здорового, чем этот парк, специально

---

[159] Notes: 159

Мы неустанно будем повторять, что на последней сессии палаты рассматривалась петиция, продиктованная самыми благородными чувствами и желаниями, в которой было изложено предложение об основании дома гражданских инвалидов для рабочих; петиция была отвергнута при всеобщем смехе членов палаты (см. «Монитор»).

предназначенный для немощных бедняков; зеленый массив окружает здания, во вторых этажах расположены просторные спальни с хорошими кроватями, здесь свежий воздух; в первом этаже, где царит исключительная чистота, находятся столовые: там обитатели Бисетра получают здоровую вкусную пищу, тщательно приготовленную благодаря заботливому попечительству администрации этого прекрасного заведения.

Попасть в такое убежище было бы мечтой одинокого труженика, вдовца или холостяка, который после долгих лет лишений и честного труда нашел бы там отдых и удобства, которыми он никогда в жизни не пользовался.

К несчастью, фаворитизм, в наши дни господствующий повсюду, овладел и денежными средствами Бисетра; большинство иждивенцев — прежние слуги господ, попавшие сюда благодаря протекции тех, у кого они в последнее время находились в услужении.

Нам это кажется возмутительным злоупотреблением. Конечно же, исключительно велика заслуга тех людей, которые в течение многих лет честно выполняли обязанности слуг, и они достойны благодарности, так как многие годы были верны своим господам, составляли иногда

единую семью с ними, но, как ни похвально было их поведение в прошлом, услугами этих людей пользовались их хозяева, и значит, они, а не государство, должны вознаградить бывших слуг.

Не будет ли справедливым, с точки зрения нравственности, чтобы места в Бисетре и других подобного рода заведениях по праву принадлежали труженикам, избранным среди тех, кто больше всего нуждается и кто доказал свое примерное поведение.

Для них, как бы ни было ограничено число этих мест, такие убежища, по крайней мере, являлись бы далекой надеждой, облегчавшей их повседневную нужду. Спасительная надежда, которая поддерживала бы в них стремление к добру, предвещая в будущем, конечно далеком, но, во всяком случае, осуществимом, покой и радость как вознаграждение за их заслуги. И так как они могли бы рассчитывать на эти убежища только при безупречном поведении, то волей-неволей повышался бы их нравственный уровень.

Не будет ли чрезмерным требовать, чтобы некоторые труженики, достигшие весьма преклонного возраста, несмотря на всякого рода лишения, могли бы надеяться когда-нибудь получить в Бисетре пищу, отдых, убежище для своей

изнуренной старости?

Конечно, эта мера исключает в будущем из состава живущих в Бисетре литераторов, ученых, художников преклонного возраста, у которых нет иного пристанища.

Да, в наши дни талантливые, знающие, умные люди, которые пользовались в свое время уважением, с большим трудом получают место среди старых слуг, попавших туда по протекции их хозяев.

Неужели было бы роскошью, если бы небольшому числу тех, кто способствовал славе, величию Франции, тех, чья репутация освящена мнением народа, неужели было бы излишним, чтобы в годы глубокой старости им было предоставлено скромное, но достойное убежище?

Быть может, это значило бы требовать слишком много, однако приведем один из тысячи примеров: было израсходовано восемь или девять миллионов франков на сооружение величественного здания «Мадлен»; но ведь это не собор и не церковь, на эти огромные средства можно было совершитm много добрых дел, основать, я полагаю, дом-приют на двести пятьдесят — триста человек, в прошлом замечательных ученых, поэтов, музыкантов, чиновников, врачей, адво-

катов и т. п., ибо все эти профессии представлены среди пансионеров Бисетра, здесь они нашли бы почетное убежище.

Несомненно, что это вопрос человечности, целомудрия, национального достоинства для страны, претендующей шествовать во главе прогресса искусств; вопрос разума цивилизации; но об этом не подумали...

Ибо Эжезипп Моро и многие другие редкие таланты умерли в больнице для бедных или в нищете...

Ибо благородные умы, которые сияли чистым, ярким светом, носят теперь в Бисетре халаты добропорядочных бедняков.

Ибо у нас нет, как в Лондоне, благотворительного заведения[160], в котором неимущий иностранец находит хотя бы на ночь крышу над головой, постель, кусок хлеба...

Ибо у рабочих, направляющихся на Гревскую площадь искать работу и ждать найма, нет даже навеса, чтобы укрыться от непогоды, подобного тем, под которыми на рынках стоит продающий-

---

[160] Notes: 160

Благотворительное общество, основанное в Лондоне одним из наших соотечественников, графом д'Орсэ, который продолжает руководить этим благородным и высокочтимым учреждением, не жалея средств и проявляя в этом деле глубокие познания.

ся скот[161]. Однако же Гревская площадь — это биржа труда, и на этой бирже совершаются только честные сделки; цель — наняться на тяжелую работу за мизерную плату, на нее рабочий купит свой горький хлеб.

Ибо...

Можно бесконечно перечислять все полезные сведения, принесенные в жертву «Мадлен», этой гротескной выдумке в стиле греческого храма, только в последнее время предназначенного для католической молитвы.

Но возвратимся в Бисетр и перечислим все службы этого заведения, укажем, что в описываемую нами эпоху приговоренные к смерти препровождались сюда после вынесения приговора. Вот почему в одной из одиночных камер

---

[161] Notes: 161

Нам известно ревностное усердие префекта Сены и префекта полиции, их неустанное желание помочь бедным и рабочим. Мы надеемся, что об этом предложении узнают и они и что их инициативы перед муниципальным советом положат этому конец. Расходы были бы минимальными, а благодеяние огромным. То же самое относится и к беспроцентным займам, предоставляемым в ломбарде, когда сумма займа не превышает трех или четырех франков.

Не следовало ли бы также, повторяем, снизить чрезмерные проценты. Как это получается, что Париж, богатейший город, не дает бедным классам права пользоваться теми льготами, которые им предоставляют, как я уже сказал, многие южные и северные города Франции, предлагая беспроцентный заем или заем с оплатой 3-4%. См. отличную работу Блэз «Статистика и организация ломбардов», книгу, в которой приводятся многие любопытные факты, даются искренние, красноре-

чивые и возвышенные оценки.

этой тюрьмы находились вдова Марсиаль и ее дочь Тыква в ожидании казни, назначенной на следующее утро; мать и дочь не желали подавать кассационную жалобу о помиловании.

Николя, Скелету и нескольким другим злодеям удалось бежать из тюрьмы Форс накануне их перевода в Бисетр.

Мы уже упомянули, что нет ничего более приятного для глаз, чем окрестности этого здания, когда вы, приехав из Парижа, входите сюда через Двор бедняков.

Стояла ранняя весна, вязы и липы едва зазеленели, обширные лужайки дышали свежестью, повсюду на клумбах пробивались подснежники, примулы, медвежьи ушки разнообразных ярких оттенков; лучи солнца золотили покрытые песком аллеи. Старые пансионеры, одетые в серые плащи, прогуливались либо разговаривали, сидя на скамьях; их безмятежные лица обычно выражали спокойствие, умиротворенность, душевный покой или какую-то блаженную беззаботность.

Пробило одиннадцать часов, и два фиакра остановились у Внешних ворот. Из первого экипажа вышла г-жа Жорж, Жермен и Хохотушка, а из другого — Луиза Морель и ее мать.

Как известно, прошло уже две недели со време-

ни женитьбы Жермена и Хохотушки. Читатель представит себе резвую веселость гризетки, полноту счастья, сиявшего на ее свежем лице, алые губы, открывающиеся лишь когда она смеялась, улыбалась или целовала г-жу Жорж, которую называла своей матерью.

Черты лица Жермена выражали более блаженное, более рассудительное, более серьезное довольство... в нем можно было обнаружить чувство глубокой признательности, обожания и поклонения этой прекрасной смелой девушке, утешавшей егов тюрьме и возродившей в нем мужество... о чем Хохотушка меньше всего вспоминала; как только Жермен заводил речь на эту тему, она заговаривала о другом, под тем предлогом, что эти воспоминания ее огорчают.

Хотя она стала госпожой Жермен, а Родольф вручил ей приданое в сорок тысяч франков, Хохотушка не пожелала, и ее муж был такого же мнения, сменить головной убор гризетки на шляпу. Конечно, скромность лишь подчеркивала невинное кокетство, ибо ничто не могло быть более грациозным, более изящным, нежели ее чепчик с тесемками, немного на крестьянский манер, с оранжевыми бантами слева и справа, подчеркивавшими черный цвет ее прекрасных

длинных волос, которые она завивала с тех пор, как у нее появилось время закручивать их на папильотки; воротничок с богатой вышивкой обхватывал прелестную шею новобрачной; шарф из французского кашемира такого же оттенка, как и банты на чепце, полускрывал ее стройную и тонкую талию, так как по старой привычке она не носила корсет (хотя теперь она имела время его зашнуровать), закрытое платье из розовой тафты нигде не морщилось, идеально схватывая ее стройную, изящную, точно у мраморной Галатеи, фигуру.

Госпожа Жорж любовалась своим сыном и Хохотушкой с глубоким, все возрастающим блаженством.

Луиза Морель, после тщательного расследования и вскрытия трупа ее ребенка, была освобождена из тюрьмы по решению уголовного суда. Красивые черты лица дочери гранильщика под влиянием пережитого горя изменились, приняли выражение нежной покорности и печали. Благодаря великодушию Родольфа и заботе врачей мать Луизы Морель, которая сопровождала ее, совершенно выздоровела.

На вопрос привратника о цели приезда в Бисетр госпожа Жорж ответила, что один из врачей

палаты для душевнобольных назначил ей и сопровождающим ее лицам свидание в половине двенадцатого. Госпоже Жорж было предложено подождать врача в его приемной или на большом дворе, усаженном деревьями, о котором мы уже говорили. Она предпочла двор и, опираясь на руку сына и продолжая разговор с женой гранильщика, стала прогуливаться по аллеям сада. Луиза и Хохотушка шли позади них.

— Как я рада встретиться с вами, дорогая Луиза, — сказала гризетка. — Как только мы прибыли из Букеваля, мы сразу же направились навестить вас на улице Тампль, я хотела подняться к вам, но муж меня не пустил, сказав, что для меня это слишком высоко: я ждала в фиакре. Ваш экипаж ехал вслед за нашим; и вот я впервые встречаю вас, после того как...

— После того как вы пришли в тюрьму утешить меня... Ах, мадемуазель Хохотушка, — растроганно воскликнула Луиза, — какое доброе сердце! Какое...

— Прежде всего, милая Луиза, — сказала гризетка весело, прерывая дочь гранильщика, чтобы избежать благодарности, — отныне я не мадемуазель Хохотушка, а госпожа Жермен; не знаю известно ли вам... я дорожу этим именем.

— Да... я знала... вы замужем... Но позвольте мне поблагодарить еще за то...

— Но наверняка неизвестно, милая Луиза, — возразила госпожа Жермен, снова прервав дочь Мореля, с тем чтобы изменить тему разговора, — что я замужем благодаря великодушию того, кто стал для всех нас истинным провидением, для вас и вашей семьи, для меня, для Жермена и его матери!

— Господин Родольф! О, мы благословляем его каждый день!.. Когда я вышла из тюрьмы, адвокат, пришедший ко мне от его имени, чтобы дать мне советы и подбодрить меня, сказал мне, что благодаря Родольфу, который уже так много сделал для нас, Ферран... — и несчастная не смогла произнести это имя без содрогания... — Ферран, чтобы умалить свою жестокость, обеспечил меня, а также моего бедного отца рентой, отец мой все еще здесь... но благодаря богу ему лучше и лучше...

— И он сегодня возвратится вместе с вами в Париж... если надежда этого достойного врача подтвердится.

— Да будет угодно небесам!..

— Да, так оно и будет... Ваш отец такой добрый, такой честный! И я уверена, что мы его увезем

отсюда. Врач теперь считает, что нужно чем-то ошеломить его, и внезапное свидание с людьми, которых он привык видеть до того, как потерял рассудок, должно привести к полному излечению... Я хоть и мало понимаю в этом, но мне кажется, что это наверняка так и будет...

— А я еще не могу в это поверить, мадемуазель...

— Госпожа Жермен... Госпожа Жермен... если это вас не затруднит, моя милая Луиза... Но, возвращаясь к тому, о чем я говорила вам, вы не знаете, что представляет собой господин Родольф?

— Он — добрый гений для несчастных.

— Так... а еще? Вы не знаете... Ну так вот, сейчас скажу...

Затем, обратившись к мужу, шагавшему впереди под руку с матерью и разговаривавшему с женой гранильщика, Хохотушка воскликнула:

— Не спеши так, мой друг... Ты утомишь нашу маму... к тому же я хочу, чтобы ты был поближе ко мне.

Жермен обернулся, немного замедлил шаг и улыбнулся Хохотушке, которая украдкой послала ему воздушный поцелуй.

— Какой он славный, мой милый Жермен! Не

правда ли, Луиза? И притом какой благородный... Какая красивая фигура! Правильно я решила, отдав ему предпочтение перед другими моими соседями — коммивояжером Жиродо и Кабрионом. Ах, господи! Кстати, о Кабрионе... Пипле и его жена, где же они? Врач сказал, что они тоже должны прийти сюда, потому что ваш отец часто произносил их имя...

— Сейчас придут... Они до меня вышли из дома.

— О, тогда не опоздают; что касается точности, то Пипле — это настоящие часы... Но поговорим о моей свадьбе, о господине Родольфе. Вы представляете себе, Луиза, что именно он отправил меня в тюрьму с уведомлением об освобождении Жермена. Вообразите себе, как мы были счастливы, когда вышли из этой проклятой тюрьмы. Мы пошли ко мне, и с помощью Жермена я приготовила обед... обед для настоящих гурманов. Правда, для нас это была не главная радость, мы все равно ничего не ели, ни он, ни я, мы были счастливы, очень счастливы. В одиннадцать часов Жермен ушел, мы условились встретиться на следующее утро. В пять часов я уже встала и принялась трудиться, так как за два дня у меня накопилось много работы. В восемь часов кто-то постучал,

я открыла дверь; кто же входит? Господин Родольф... Прежде все-. го я начала благодарить его от всего сердца за все то, что он сделал для Жермена; он не позволил мне договорить. «Милая соседка, — сказал он, — сейчас придет Жермен, вручите ему это письмо. Вы с ним возьмете фиакр и сразу же поезжайте в маленькую деревню Букеваль, близ д'Экуена, дорога на Сен-Дени. Прибыв туда, вы спросите госпожу Жорж... и получите большое удовольствие...» — «Господин Родольф, позвольте сказать, у меня еще один день пропадет, я не упрекаю вас, но получится три дня, как я ничего не делаю». — «Успокойтесь, милая соседка, вы найдете работу у госпожи Жорж; я вам предлагаю отличное занятие». — «Ну, если это так, то в добрый час, господин Родольф». — «До свидания, соседка, до свидания». — «До свидания, и благодарю вас, мой милый сосед!»

Он уезжает, приходит Жермен; я рассказываю ему, что произошло, господин Родольф не стал бы нас обманывать; мы садимся в экипаж, счастливые до безумия, мы-то накануне такие несчастные... Посудите сами... Мы приезжаем... ах, дорогая Луиза... Смотрите, я и теперь заливаюсь слезами... Эта госпожа Жорж, которую вы видите перед нами, она — мать Жермена.

— Его мать!!!

— Господи, да... его мать, у которой его похитили, когда он был еще ребенком; он и не надеялся больше ее увидеть. Представляете счастье обоих. После того как госпожа Жорж вдоволь наплакалась, обнимая своего сына, наступила моя очередь. Господин Родольф сообщил ей в письме лестные отзывы обо мне, так как, целуя меня, она сказала, что знает, как я отнеслась к ее сыну. «Если вы пожелаете, матушка, — обратился к своей матери Жермен, — Хохотушка будет также вашей дочерью». — «Хочу ли я, дорогие дети! От всего сердца; я отлично знаю, никогда ты не найдешь жены лучше и милее Хохотушки».

Вот мы и устроились на прекрасной ферме с Жерменом, его матерью, моими птицами, которых мы привезли туда, чтобы они, бедные маленькие птички, тоже были с нами. Хотя я и не люблю деревню, но время пролетело так быстро, как будто во сие; я работала лишь для своего удовольствия, помогала госпоже Жорж, совершала прогулки с Жерменом, пела, прыгала, просто с ума сойти...

Наконец день свадьбы был назначен; венчание состоялось две недели тому назад... Накануне кто приезжает к нам в красивой карете? Высокий

толстый мужчина, лысый, благородного вида, он привозит мне по поручению господина Родольфа свадебную корзину. Представляете себе, Луиза, большой сундук из розового дерева с надписями золотыми буквами на голубой фарфоровой дощечке: «Труд и благоразумие, любовь и счастье». Я открываю сундук, и что я в нем нахожу? Небольшие кружевные чепчики, какие я ношу, отрезы на платья, драгоценности, перчатки, этот шарф, роскошную шаль; словом, это было как в волшебной сказке.

— Действительно как в волшебной сказке, но по-настоящему доставило вам счастье... то, что вы добры, трудолюбивы.

— То, что я добрая и трудолюбивая... дорогая Луиза, это я не нарочно стараюсь... такой уж я родилась... тем лучше для меня... Но этого мало: на дне сундучка я обнаружила чудесный бумажник с надписью: «Соседке от соседа». Я открываю его, там лежат два конверта: один для Жермена, другой для меня; в конверте Жермена я нашла документ, в котором сказано, что он назначается директором банка для бедных с жалованьем в четыре тысячи франков; в моем конверте я нашла чек на сорок тысяч франков... оплачиваемый в государственном банке... Да, это было

мое приданое... Я хотела отказаться, но госпожа Жорж, которая вела беседу с высоким лысым господином, сказала мне: «Дитя мое, вы можете, вы должны принять чек; это вознаграждение за ваше благоразумие, за ваш труд... и за вашу преданность тем, кто страдает... Ибо, работая по ночам, рискуя заболеть и потерять единственные средства существования, вы шли утешать своих несчастных друзей...»

— О, это правда, — воскликнула Луиза, — во всяком случае, другой такой не найдешь... мадему... госпожа Жермен.

— В добрый час!.. Я сказал толстому лысому господину: «Все, что я делала, я делала для своего удовольствия», а он мне ответил: «Это не имеет значения, господин Родольф исключительно богат; ваше приданое — знак уважения, дружбы с его стороны; ваш отказ глубоко огорчит его; к тому же он будет присутствовать на вашей свадьбе во что бы то ни стало и заставит вас принять его дар».

— Какое счастье, что такое огромное богатство досталось столь милосердному человеку, как господин Родольф.

— Несомненно, он очень богат, но если бы он отличался только этим. Ах, милая Луиза, если бы

вы знали, что такое монсеньор Родольф!.. А я-то позволяла ему носить мои пакеты!!! Но потерпите... вы все узнаете... Накануне свадьбы... поздно вечером толстый высокий лысый господин приезжает на почтовых; господин Родольф не смог приехать... он заболел, но толстый лысый господин заменил его... Именно тогда, моя дорогая Луиза, мы узнали, что наш общий благодетель был... догадайтесь кем?.. Принцем!

— Принцем?

— Что я говорю, принц... Его королевское высочество, великий герцог, подобие короля... Это мне объяснил Жермен.

— Господин Родольф?

— Да, моя бедная Луиза! А я его попросила, чтобы он помог мне натереть пол в комнате!

— Принц... почти что король! Вот почему у него такая возможность делать добро людям.

— Представляете себе мое смущение, Луиза. Поэтому, узнав, что он почти король, я не осмелилась отказаться от приданого. Мы повенчались. Неделю спустя он передал нам — мне, Жермену и госпоже Жорж, что он будет очень рад, если мы нанесем ему свадебный визит; мы поехали к нему. Ну, конечно, вы понимаете, у меня сильно билось сердце; мы прибыли на улицу Плюме,

вошли во дворец, прошли по залам, переполненным лакеями в ливреях; господами в черных костюмах, с серебряными цепями на шеях и шпагами на боку; офицерами в нарядной форме; да что я говорю, а позолота, позолота повсюду так и сверкала, просто ослепительно. Наконец мы встретили в зале лысого господина и других знатных лип в парадных мундирах; лысый господин нас провел в большой кабинет, где мы встретили господина Родольфа... то есть принца, очень скромно одетого, вид у него был милый, такой простой, без всякой гордости... словом, он выглядел совсем как прежний господин Родольф, и я сразу почувствовала себя свободно и вспомнила, как я раньше просила его приколоть мне шаль, очинить карандаши, взять меня под руку во время прогулки.

— Вы уже не боялись? О, я бы дрожала от страха!

— Нет, я не боялась. После того как он с учтивостью встретил госпожу Жорж, и протянул руку Жермену, принц сказал мне, улыбаясь: «Ну что, соседка, как поживают папа Пету и Рамонетта?» — (это имена моих птиц); надо же быть таким любезным, чтобы вспомнить о них. «Я уверен, — добавил он, — что теперь вы и Жермен соперни-

чаете с вашими хорошими птичками, исполняя радостные песни?» — «Да, монсеньор (госпожа Жорж учила нас всю дорогу, меня и Жермена, что принца следует величать монсеньор). Да, монсеньор, мы очень счастливы, и наше счастье кажется нам еще отраднее и больше, потому что всем этим мы обязаны вам.» — «Это не мне вы обязаны, дети мои, а вашим замечательным достоинствам и достоинствам Жермена». И так далее, и так далее. Я не буду повторять всех его комплиментов. Вскоре мы расстались с этим сеньором с тоской в сердце, так как больше его не увидим. Он сказал нам, что через несколько дней возвращается в Германию, быть может,

он уже уехал; уехал или нет, мы всегда будем вспоминать его.

— Как должны быть счастливы его подданные, имея такого правителя!

— Судите сами! Он нам сделал столько добра, нам, совсем для него чужим. Я забыла вам сказать, что это происходило на ферме, где жила одна из моих приятельниц по тюрьме, добрая, честная девушка, к ее счастью, она тоже повстречалась с господином Родольфом, но госпожа Жорж наказала мне не напоминать об этом принцу; не знаю почему... Конечно, потому, что он не любит,

когда ему говорят о его добрых делах. Наверняка известно, что эта милая Певунья, оказывается, нашла своих родителей, которые увезли ее с собой, очень далеко отсюда; жаль только, что мне не удалось проститься с ней до ее отъезда.

— Да что вы, тем лучше, — с горечью произнесла Луиза, — она ведь так же счастлива...

— Милая Луиза, прости... я такая эгоистка! Это правда, я только и говорю о счастье... вам, у которой еще столько причин горевать.

— Если бы остался жив мой ребенок, — с грустью проговорила Луиза, прерывая Хохотушку, — это бы меня утешило; а теперь какой честный человек захочет на мне жениться, хотя у меня и есть средства?

— Напротив, Луиза, я считаю, что понять ваше положение может только порядочный человек; да, когда он узнает все, когда познакомится с вами, он будет только жалеть вас, \ будет вас уважать и будет уверен, что он встретит в вашем лице хорошую и достойную жену.

— Вы говорите, чтобы утешить меня.

— Нет, я говорю потому, что это правда.

— Во всяком случае, правда или нет, мне всегда отрадно вас слышать, и я благодарю вас. Но кто же это идет сюда? Смотрите, господин Пипле и

его жена! Боже, какой у него довольный вид, а ведь в последнее время он был такой несчастный из-за шуток Кабриона.

Действительно, супруги Пипле, улыбаясь, подходили к ним. Альфред в своей обычной шляпе, изумительном светло-зеленом, с иголочки, сюртуке, с вышитым по краям галстуком, в рубашке, огромный воротник которой наполовину закрывал его щеки; свободный жилет ярко-желтого цвета с широкими коричневыми полосами, черные, не слишком длинные брюки, ослепительной белизны туфли, начищенные яичным кремом; все это дополняло его забавный наряд. Анастази красовалась в малиновом шерстяном платье, на котором ярко выделялась темно-синяя шаль. Она горделиво выставляла напоказ свой только что завитой парик, держа в руке чепчик за его зеленые ленты, словно это был ридикюль.

Лицо Альфреда, обычно столь важное, сосредоточенное, а в последнее время столь удрученное, теперь сияло торжеством и блаженством; издалека увидев Луизу и Хохотушку, он кинулся к ним навстречу с возгласом:

— Освобожден... уехал!

— О боже, господин Пипле, — сказала Хохотушка, — какой у вас радостный вид, право, что

с вами?

— Уехал... Мадемуазель, вернее, госпожа, хочу я, могу я, должен же я сказать, что теперь вы точно похожи на Анастази благодаря замужеству, так же, как господин Жермен стал точно похож на меня.

— Вы исключительно любезны, господин Пипле, — улыбаясь, произнесла Хохотушка, — но, скажите все же, кто уехал?

— Кабрион, — воскликнул Пипле, вдыхая и выдыхая воздух с невыразимым удовлетворением, как будто он освободился от тяжелого груза. — Кабрион покинул Францию навсегда... совсем... навечно... наконец-то уехал.

— Вы убеждены в этом?

— Я видел своими глазами, как вчера он садился в дилижанс на Страсбург, вместе со всем багажом, со всеми вещами, с футляром от шляпы, муштабелем, ящиком для красок.

— Что он тут вам городит, мой милый старик? — спросила Анастази, запыхавшись от быстрой ходьбы, так как ей было трудно догонять бежавшего мужа. — Держу пари, что он говорил с вами об отъезде Кабриона. Он всю дорогу только об этом и твердил.

— Дело в том, Анастази, что я ног под собой

не чувствую от счастья. Раньше мне казалось, что моя шляпа на свинцовой подкладке; теперь можно сказать, что меня ветер уносит в небеса! И он больше не вернется... уехал... наконец... уехал!

— Этот негодяй! Слава богу!

— Анастази... пощадите уехавших... Счастье делает меня снисходительным: я скажу только, что это был мерзкий повеса.

— А как вы узнали, что он уезжает в Германию? — спросила Хохотушка.

— От одного друга, знакомого моего, лучшего из жильцов. Кстати, этого благородного человека вы знаете; благодаря хорошей рекомендации, которую он передал через вас, Альфред назначен привратником — сторожем ломбарда и благотворительного банка, основанного в нашем доме доброй душой, мне кажется, душа эта — господин Родольф, а сам он — благодетель, совершающий добрые дела.

— Вот и прекрасно, — заметила Хохотушка, — а мой муж назначен директором этого банка, конечно, также по милости господина Родольфа.

— Превосходно... — весело воскликнула госпожа Пипле. — Тем лучше! Приятнее иметь дело со знакомыми, чем с чужими, лучше видеть привычные лица, нежели новые. Но вернемся

к Кабриону, представьте себе, что какой-то высокий, толстый, лысый господин, пришедший к нам сообщить о назначении Альфреда сторожем, спросил у нас, не здесь ли жил некий весьма талантливый художник по имени Кабрион. Услышав имя Кабриона, мой милый старикан вскочил как ошпаренный и весь задрожал. К счастью, высокий толстый лысый господин продолжал: «Этот молодой художник уезжает в Германию; один богатый человек увозит его туда для работ, которые задержат его там на несколько лет... быть может, он навсегда останется за границей». В подтверждение этого господин сообщил моему старику день отъезда Кабриона и адрес почтово-пассажирской конторы.

— И я пережил нежданное счастье, прочитав в списке пассажиров: Кабрион, художник, выезжает в Страсбург и далее за границу.

— Отъезд был назначен на сегодняшнее утро.

— Я пришел в это время с моей супругой на почтовую станцию.

— Мы видели, как этот подлец поднялся на империал и уселся рядом с кондуктором.

— И, наконец, когда экипаж тронулся, Кабрион меня заметил, обернулся и закричал: «Я уезжаю насовсем... твой на всю жизнь!» К счастью, труба

кондуктора почти заглушила его последние слова и фамильярное обращение ко мне на ты, которое мне противно, но наконец... он, слава богу, уехал.

— И уехал навсегда, господин Пипле, — сказала Хохотушка, едва удерживаясь от смеха. — Но то, чего вы не знаете и что должно вас удивить... Господин Родольф был...

— Кем?

— Переодетым... его королевским высочеством.

— Полноте, это шутка, — сказала Анастази.

— Клянусь вам жизнью моего мужа, — серьезно заявила Хохотушка.

— Король моих жильцов... его королевское высочество, — воскликнула Анастази. — Да что вы!.. А я — то просила его посмотреть за моей швейцарской!.. Простите, простите... — И она машинально надела свой чепец, полагая, что так более прилично говорить о принце.

Альфред же, наоборот, несмотря на свою привычку не снимать шляпу, на этот раз снял ее, отвесил глубокий поклон отсутствующему принцу, воскликнув:

— Принц, его высочество, у нас в швейцарской!.. И он видел меня в нижнем белье, когда я лежал в постели благодаря недостойному поведению Кабриона!

В этот момент госпожа Жорж обернулась и сказала своему сыну и Хохотушке:

— Милые дети, вот и доктор.

Глава XV.
ГРАМОТЕЙ

Лицо доктора Гербена, человека зрелого возраста, было одухотворенное и умное, взгляд глубоко проницательный, а улыбка исключительно добрая.

Его от природы мелодичный голос становился ласковым, когда он обращался к душевнобольным; вот почему мягкость тона, благодушие его слов часто успокаивали обычную раздражительность этих несчастных. Он одним из первых применил при лечении безумия сострадание, доброжелательство, вместо ранее бытовавшего метода жестокого принуждения; никаких цепей, никаких побоев, обливаний, изоляций, все это только лишь в исключительных случаях.

Благодаря своему выдающемуся уму он понял, что навязчивая идея, безумие, бешенство обостряются при лишении свободы больных, при жестоком обращении с ними; и наоборот, когда они общаются друг с другом, то возникает множество отвлечений, неожиданных происшествий, которые не дают им возможности углублять свою

навязчивую идею, тем более губительную, что она обострилась бы, если б они находились в одиночестве и подвергались запугиванию.

Итак, опыт доказывает, что для умалишенных изоляция столь же губительна, сколь она полезна для уголовных преступников... умственное расстройство больных усиливается от пребывания в одиночестве, так же, как расстройство или, точнее, моральное разложение заключенных усиливается и становится неизлечимым при общении с такими же преступниками.

Бесспорно, пройдут годы, и современная система наказаний, с ее тюрьмами общего заключения, настоящей школы подлости, с ее каторгой, цепями, позорными столбами, эшафотами, покажется столь же дикой и жестокой, сколь старый метод лечения душевнобольных представляется нам ныне нелепым и ужасным...

— Доктор, — обратилась госпожа Жорж[162] к доктору Гербену, — я позволила себе сопровождать моего сына и невестку, хотя и не знаю господина Мореля. Положение этого прекрасного человека мне показалось столь интересным, что я

[162] Notes: 162

Мы знаем, что посещение душевно больных женщинами исключительно затруднено; приносим извинение читателю за вымысел, необходимый для нашего повествования.

не смогла воспротивиться желанию присутствовать с моими детьми при полном просветлении его ума, на что вы, как известно, рассчитываете; это должно произойти после испытания, которому вы его подвергнете.

— Во всяком случае, я рассчитываю, что присутствие дочери больного и лиц, которых он привык видеть, благоприятно скажется на его состоянии.

— Когда арестовали моего мужа, — с волнением заговорила госпожа Морель, указывая доктору на Хохотушку, — наша милая соседка помогла мне и моим детям.

— Мой отец также хорошо знал господина Жермена, который всегда оказывал нам добрые услуги, — добавила Луиза. Затем, обратив взор на Альфреда и Анастази, она продолжила: — Супруги Пипле — привратники нашего дома. Они по мере сил тоже помогали нашей семье в несчастье.

— Я благодарю вас, — сказал доктор Альфреду, — что вы потрудились и пришли сюда; но, судя по всему, этот визит оказался вам по душе!

— Сударь, — ответил Пипле, почтительно кланяясь, — люди должны оказывать помощь друг другу здесь, на земле... они братья... не говоря уже о том, что отец Морель достойнейший среди честных людей... до того, как он потерял разум

вследствие ареста его милой дочери Луизы.....

— А я даже сожалею, — заметила Анастази, — что миска, которую я выплеснула на плечи полицейских, была не с расплавленным свинцом, а с горячим супом... правда, старичок, да, с расплавленным свинцом?

— Я должен подтвердить, что моя жена была предана семье Мореля.

— Если вы не боитесь душевнобольных, — сказал доктор Гербен матери Жермена, — мы пойдем через несколько дворов, чтобы достичь крайнего здания, куда я попросил, кстати, привести Мореля, вместо того чтобы отправлять его на ферму, как мы обычно это практикуем.

— На ферму? — спросила госпожа Жорж. — Здесь имеется ферма?

— Это вас удивляет? Я понимаю. Да, у нас здесь есть ферма, получаемые с нее продукты — весьма значительное подспорье для нашего дома, а работники на ней — сами душевнобольные[163].

— Они там работают на свободе?

— Конечно, работа, тишина полей, природа — лучшее целебное средство... Один лишь надзиратель сопровождает их, и почти не было случая,

---

[163] Notes: 163

Эта ферма — замечательное заведение лечебного назначения — расположена невдалеке от Бисетра.

чтобы кто-нибудь бежал; они очень охотно идут туда и очень довольны... а небольшая плата, которую они зарабатывают, служит для улучшения условий их жизни... доставляет им маленькое удовольствие. Вот мы и пришли к воротам. — Затем, заметив легкое опасение на лице госпожи Жорж, доктор добавил: — Не бойтесь ничего... Через мгновенье вы будете столь же спокойны, как и я.

— Я следую за вами. Идемте, дети.

— Анастази, — тихо произнес Пипле, шедший со своей женой позади всей группы, — когда я подумаю, что, если бы адское преследование Кабриона продолжалось... твой Альфред сошел бы с ума и находился бы здесь среди этих несчастных, которых мы увидим в странных одеждах, закованных в цепи или сидящих в клетке, как хищные звери в зоологическом саду.

— Не говори мне о них, мой голубчик... Я слышала, что сошедшие с ума от любви становятся словно обезьянами, как только увидят женщину... Они кидаются к решеткам своих клеток, издавая ужасные крики... Для того чтобы их успокоить, сторожа бьют их хлыстом, поливают головы холодной водой, падающей с высоты в сто футов... но даже этого мало, чтобы их утихомирить.

— Анастази, не подходи к клеткам сумасшедших, — серьезно заявил Альфред, — может произойти несчастье!

— Было бы невеликодушным дразнить их, — с унынием заметила Анастази, — ведь наши чары превращают мужчин в безумных. Послушай, я пугаюсь, Альфред, когда думаю, что, если бы я отказалась дать тебе счастье, ты, быть может, сошел бы с ума от любви, как эти бешеные... наверное, так же ринулся бы к решеткам, как только увидел женщину, и стал бы рычать, бедняжка... ты, который ныне спасаешься от них, когда они тебя раздражают.

— Я щепетилен, но чувствую себя неплохо. Анастази, ворота открываются, боюсь... Мы сейчас увидим омерзительные лица, услышим звон цепей, скрежет зубов...

Как видно, супруги Пипле не слышали разговора доктора Гербена и поэтому разделяли народные предрассудки, и поныне существующие о больницах умалишенных, предрассудки, которые, впрочем, сорок лет тому назад являлись ужасающей действительностью.

Ворота двора открылись. Этот двор, образуя длинный четырехугольник, был засажен деревьями, в нем были расставлены скамейки, с

каждой стороны двора тянулись галереи причудливой архитектуры. На эти галереи выходили двери хорошо проветриваемых комнат. Человек пятьдесят душевнобольных в одинаковых серых халатах прогуливались, беседовали либо молчали в задумчивости, греясь на солнце.

Ничего общего с тем обычным представлением, которое существует у нас об эксцентрической одежде, об искаженных лицах умалишенных; нужно было обладать большим опытом, чтобы обнаружить на этих лицах признаки безумия.

По прибытии доктора Гербена большая группа радостных и взволнованных больных окружила его, они приветствовали доктора с трогательным выражением доверия и благодарности, а он с сердечностью отвечал им:

— Здравствуйте, здравствуйте, милые друзья. Некоторые из этих несчастных стояли вдалеке от доктора

и потому не могли подать ему руку, зато робко протянули руки тем, кто его сопровождал.

— Добрый день, друзья, — сказал Жермен, добродушно пожимая руки, что, казалось, крайне восхищало их.

— Сударь, — обратилась госпожа Жорж к доктору, — они сумасшедшие?

— Здесь наиболее буйные в нашем доме, — улыбаясь, ответил доктор. — День они проводят, общаясь друг с другом, только лишь на ночь их запирают в комнаты, открытые двери которых вы видите.

— Неужели эти люди настоящие сумасшедшие?.. А когда же они становятся буйными?..

— Прежде всего... в начале болезни, когда их приводят сюда; затем мало-помалу на них воздействует лечение, вид других больных их успокаивает, отвлекает от дурных мыслей, ласковое обращение их утешает, и сильные приступы возникают все реже и реже... Смотрите, вот один из наиболее буйных.

Это был могучий нервный мужчина лет сорока, с черноволосой шевелюрой, с проницательным взглядом, умным выражением лица. Он не спеша приблизился к доктору, с изысканной учтивостью, смущаясь, сказал:

— Доктор, я должен в свою очередь занимать слепого, гулять с ним; честь имею заметить вам, что вопиющей несправедливостью является то, что этого слепого лишают права встречаться со мной и заставляют его... (и сумасшедший с презрительной горечью улыбнулся) слушать глупую болтовню совершенно чужого (я думаю, что не

ошибаюсь), совершенно незнакомого идиота, не сведущего даже в начатках каких-либо знаний, тогда как беседы со мной развлекают слепого. Так, я бы рассказал ему, — быстро затараторил он, — я бы выразил свое мнение о поверхностях изотермических и прямоугольных, указав ему то, что уравнение со многими неизвестными, геометрическое начертание которых сведено к двум прямоугольным поверхностям, вообще говоря, не интегрируется вследствие его сложности. Я бы доказал ему, что сопряженные поверхности неизбежно становятся изотермами, и мы вместе установили бы, какие поверхности способны составить тройную изотермическую систему... если я не заблуждаюсь... сопоставьте это разумное времяпрепровождение с глупостями, которыми занимают слепого, — заявил умалишенный, переводя дух, — и скажите мне, разве это не убийство лишать его встреч со мной?

— Не думайте, что это измышления безумца, — тихо произнес доктор, — он оперирует иногда очень сложными вопросами геометрии, астрономии, с проницательностью, которая делала бы честь самым выдающимся ученым... Его знания огромны. Он говорит на всех живых языках; но, увы, его мучит желание познать все, и он гордится

этим. Ему представляется, что все человеческие знания воплощены лишь в нем и что, не выпуская его отсюда, мы погружаем человечество во мрак глубокого невежества.

Доктор громко ответил помешанному, который, казалось, ожидал ответа с почтительным волнением:

— Мой дорогой господин Шарль, ваше требование представляется мне в высшей степени справедливым, и этот бедный слепой, — кажется, он еще и немой, но, к счастью, не глухой, — будет наслаждаться безграничным обаянием речей, произносимых таким ученым мужем, как вы. Я займусь этим вопросом, и справедливость будет восстановлена.

— К тому же, задерживая меня здесь, вы лишаете вселенную всех человеческих знаний, приобретенных и усвоенных мною, — заявил больной, постепенно воодушевляясь и начиная жестикулировать с исключительным возбуждением.

— Полноте, успокойтесь, мой милый Шарль. К счастью, вселенная еще не заметила, кого ей недостает; как только она потребует, мы не замедлим удовлетворить ее желание, в любом случае, человек ваших способностей, ваших

знаний всегда сможет оказать великие услуги человечеству.

— Но ведь я для науки все равно что Ноев ковчег для природы, — воскликнул он с блуждающим взором, скрежеща зубами.

— Мне это известно, мой друг.

— Вы хотите скрыть от людей правду! — воскликнул он, сжимая кулаки. — Но тогда я вас разобью, как стекло, — заметил он с угрожающим видом; лицо его раскраснелось от гнева, а жилы так вздулись, что, казалось, готовы были разорваться.

— Ах, господин Шарль, — отвечал доктор, пристально и проницательно глядя на безумного и придавая своему голосу ласковый и льстивый тон, — я-то думал, что вы величайший ученый современности...

— И прошлого! — воскликнул безумец, сменяя свой гнев на гордость.

— Вы не позволили мне договорить, что вы являетесь величайшим ученым прошлых веков и современности...

— И будущего, — с гордостью добавил сумасшедший.

— О, несносный болтун, он постоянно прерывает меня, — улыбаясь, заметил доктор, похлопывая

его по плечу. — Разве можно сказать, что я не знаю, какое восхищение вы внушаете и какое уважение вы заслуживаете!.. Ну ладно, идемте к слепому... проводите меня к нему.

— Доктор, вы — славный человек; пойдемте, пойдемте, вы увидите, что его принуждают выслушивать, в то время как я смог бы рассказать ему изумительные вещи, — продолжал помешанный, совершенно успокоившись и шагая впереди доктора во вполне умиротворенном состоянии.

— Признаюсь вам, сударь, — сказал Жермен, приблизившись к матери и жене (он заметил, что они пришли в ужас, когда умалишенный неистово говорил и жестикулировал), — в какой-то момент я боялся вспышки безумия.

— Господи, прежде, как только возникло возбуждение, первый угрожающий жест этого несчастного, сторожа набросились бы на больного, связали бы его по рукам и ногам, стали бы его бить, поливать холодной водой, применять самые ужасные пытки, которые можно себе представить... Судите о воздействии такого метода лечения на энергичный и раздражительный организм, реакция которого тем сильнее, чем больше применяется принудительных мер. Тогда у больного начался бы буйный припадок,

перед которым безрезультатны насильственные меры, повторяясь все чаще, они приводили бы в отчаянье больного, и болезнь стала бы почти неизлечимой; в то время как, видите, если не подавлять внезапную вспышку безумия или рассеивать ее, пользуясь крайней неустойчивостью мысли больного, подобное явление наблюдается у большинства умалишенных, мимолетное возбуждение утихает столь же мгновенно, как и возникает.

— А кто же тот слепой, о котором он говорит? Это заблуждение его ума? — спросила госпожа Жорж.

— Нет, сударыня, это довольно странная история, — ответил доктор. — Слепой был взят в одном из притонов на Елисейских полях, где была арестована банда воров и убийц. Этого человека нашли закованным в цепи посреди подземного погреба, рядом с трупом женщины, так ужасно изуродованной, что нельзя было ее узнать.

— Ужасно... — задрожав, прошептала госпожа Жорж[164].

— Этот человек страшно уродлив, все его лицо изъедено серной кислотой. С тех пор как его при-

---

[164] Notes: 164

Родольф не поставил в известность госпожу Жорж о судьбе Грамотея после того, как этот последний бежал с каторги Рошфора.

везли сюда, он не произнес ни слова. Я не уверен, действительно ли он немой или притворяется немым. По странной случайности приступы безумия возникают у него ночью, во время моего отсутствия. К несчастью, все вопросы, с которыми к нему обращаются, остаются без ответа; нет никакой возможности узнать о его положении; его припадки вызываются яростью, причина которой неизвестна, ибо он постоянно молчит. Другие умалишенные проявляют к нему большое внимание, они водят его гулять и с удовольствием общаются с ним, увы, сообразно уровню своих знаний. Смотрите... вот и он...

Все лица, сопровождавшие доктора, в ужасе отступили при появлении Грамотея, это был он.

Он не был сумасшедшим, но подделывался под немого и безумного.

Он убил Сычиху не в припадке безумия, а в приступе лихорадки, которая возникла у него в первый раз в Букевале.

Вслед за арестом в кабаке на Елисейских полях, оправившись от внезапной горячки, Грамотей проснулся в одном из помещений дома предварительного заключения в Консьержери, куда его временно поместили как умалишенного. Услышав, что о нем говорят «буйный, сумасшедший»,

он решил продолжать играть эту роль и представился абсолютно немым, чтобы не выдать себя на допросах, если возникнут сомнения в его вымышленной душевной болезни.

Эта хитрость ему удалась. Отправленный в Бисетр, он симулировал от времени до времени сильные припадки безумия, всегда избирая ночи для их демонстрации, с тем чтобы избегнуть внимательного осмотра, производимого главным врачом. Дежурный хирург, разбуженный и вызванный второпях, обычно являлся к концу кризиса, когда больной уже приходил в себя.

Многие сообщники Грамотея, знавшие его настоящее имя и то, что он бежал с каторги Рошфор, не были осведомлены, кем он стал, и совсем не были заинтересованы доносить на него; поэтому установить его настоящее имя так и не смогли; он же надеялся навсегда остаться в Бисетре, продолжая изображать сумасшедшего и немого.

Да, это была единственная надежда, единственное желание этого человека, потому что отсутствие возможности наносить вред парализовало его жестокие инстинкты. Благодаря полному одиночеству, в котором он жил в подвале Краснорукого, угрызения совести, как известно, понемногу смягчили его каменное сердце.

Лишенный всяких связей с внешним миром, он сосредоточил свой разум на беспрерывном размышлении и воспоминаниях о совершенных преступлениях. Его мысли часто появлялись в виде образов, в виде картин, возникающих в его сознании, — так он объяснял Сычихе, — тогда перед ним не раз появлялись черты лица его жертв, но это не было безумие, это была сила воспоминаний, доведенная до высшей степени выразительности.

Таким образом, этот человек во цвете лет, атлетического сложения, которому предстояла еще долгая жизнь, этот человек, обладавший ясным умом, должен был проводить долгие годы среди умалишенных, притворяясь совершенно немым, либо, если бы его притворство обнаружили, ему грозил эшафот за совершенные им новые убийства или его приговорили бы к вечному заключению среди злодеев, к которым он питал глубокую ненависть, все возраставшую по мере того, как он раскаивался.

Грамотей сидел на скамье, лес седеющих волос покрывал его огромную, безобразную голову; облокотившись на колени, он поддерживал руками подбородок. Хотя эта отвратительная маска была лишена глаз, две дыры на лице заменяли ему нос,

а рот у него был бесформенный, его чудовищное лицо выражало глубокое неизлечимое отчаяние.

Душевнобольной юноша с печальным доброжелательным и нежным лицом стоял на коленях перед Грамотеем, держа его крепкие руки в своих руках, добродушно взирал на него и ласковым голосом беспрестанно повторял одни и те же слова: «Земляника... земляника... земляника...»

— И вот единственное, что может сказать слепому этот идиот, — с важностью произнес ученый безумец. — Если у него глаза закрыты, то глаза его духа несомненно открыты, и он был бы благодарен, если бы я нашел с ним контакт.

— Не сомневаюсь в этом, — заявил доктор, в то время как несчастный безумец меланхолическим взглядом с состраданием созерцал отвратительное лицо Грамотея, умиленно повторяя: «Земляника... земляника... земляника...»

— С тех пор как он прибыл сюда, этот несчастный сумасшедший произносит только эти слова, — пояснил доктор, обращаясь к госпоже Жорж, которая с ужасом смотрела на Грамотея. — Какой смысл он вкладывает в эти слова... единственные, которые он произносит... я не могу постигнуть...

— Боже мой, мама, — обратился Жермен к госпоже Жорж, — как удручен этот несчастный

слепой...

— Правда, дитя мое, — ответила госпожа Жорж, — у меня невольно сжимается сердце... Мне тяжело на него смотреть. О, как печально видеть человечество в облике этого мрачного субъекта!

Едва госпожа Жорж произнесла эти слова, как Грамотей задрожал; его изуродованное лицо побледнело так, что шрамы стали еще заметнее. Он поднял и быстро повернул голову в сторону матери Жермена; она не могла удержать крик ужаса, хотя и не знала, кто был этот несчастный.

Грамотей узнал голос своей жены и из слов госпожи Жорж убедился, что она разговаривает со своим сыном.

— Что с вами, мама? — воскликнул Жермен.

— Ничего, мой милый... но жест этого человека... выражение его лица... все это... меня напугало. Пожалуйста, извините мою слабость, — обратилась она к доктору. — Я почти сожалею, что, уступив любопытству, пошла сопровождать сюда моего сына.

— О, ведь это единственный раз!.. Об этом не стоит жалеть...

— Конечно же наша дорогая мама никогда не придет сюда, и мы тоже, не правда ли, милый Жермен, — сказала Хохотушка. — Здесь так груст-

но... просто сердце разрывается.

— Полноте, вы ведь маленькая трусиха. Не правда ли, доктор, — улыбаясь, сказал Жермен, — что моя жена трусиха?

— Признаюсь, — ответил доктор, — что вид этого несчастного слепого и немого меня удручает... — а я-то ведь видел многих несчастных.

— Какая рожица... а, милый старичок? — тихо сказала Анастази. — Вот что, слушай, по сравнению с тобою... все мужчины кажутся мне столь уродливыми, как и этот несчастный... Вот почему никто из мужчин не может похвастаться тем... ты понимаешь, мой Альфред?

— Анастази, это лицо я увижу во сне... точно... у меня будет кошмар...

— Мой друг, — обратился доктор к Грамотею, — как вы себя чувствуете?..

Грамотей безмолвствовал.

— Вы, значит, меня не слышите? — произнес доктор, легонько поглаживая его по плечу.

Грамотей ничего не отвечал, поник головой; вскоре... из его незрячих глаз покатилась слеза...

— Он плачет, — сказал доктор.

— Несчастный человек, — с состраданием добавил Жермен. Грамотей содрогнулся; он вновь услышал голос своего сына... Его сын чувствовал

к нему сострадание.

— Что с вами? Какое горе вас удручает? — сказал доктор. Грамотей молча закрыл лицо руками.

— Мы от него ничего не добьемся, — произнес доктор.

— Позвольте мне им заняться, я его утешу, — заметил ученый безумец с важным, претенциозным видом. — Я сейчас ему докажу, что всякого рода ортогональные поверхности, где все три системы являются изотермами: 1) системы поверхностей второго порядка; 2) системы эллипсоидов, вращающихся вокруг малой и большой осей; 3) те... нет, в самом деле, — продолжал безумец, восхищаясь и размышляя, — я расскажу ему о планетной системе.

Затем, обратившись к молодому сумасшедшему, все еще стоявшему на коленях перед Грамотеем, он произнес: «Катись отсюда со своей земляникой»...

— Мой мальчик, — обратился доктор к молодому больному, — нужно, чтобы каждый из вас в свою очередь сопровождал и занимал этого бедного человека... Позвольте вашему товарищу занять ваше место...

Молодой человек тотчас подчинился, поднялся, робко взглянул на доктора своими большими

голубыми глазами, почтительно поклонился, махнув рукой, попрощался с Грамотеем и удалился, жалобным голосом повторяя: «Земляника... земляника...»

Доктор, заметив, какое удручающее впечатление произвела эта сцена на госпожу Жорж, объяснил ей:

— К счастью, мы идем к Морелю, и, если моя надежда осуществится, ваша душа воссияет, когда вы увидите, как этот замечательный человек обрадуется, встретив свою жену и дочь.

И доктор удалился в окружении сопровождавших его лиц.

Грамотей остался один с ученым безумцем, который начал ему объяснять, к тому же с глубоким знанием этого вопроса и весьма красноречиво, величественное передвижение светил, бесшумно огибающих гигантское небесное пространство и обретающих ночью естественную форму... Но Грамотей не слушал его.

С глубоким отчаянием он размышлял о том, что больше никогда не услышит голоса ни сына, ни жены... Боясь, что он сможет навлечь на них несчастье, позор, страх, если бы стало известно его имя, он претерпел бы тысячу смертей, нежели пожелал бы открыться ям... Естественным и по-

следним утешением для него оставалось то, — что он на мгновенье внушил жалость своему сыну.

Невольно ему вспомнились слова Родольфа, которые тот сказал ему, прежде чем подверг его страшной каре: «Каждое твое слово теперь богохульство, каждое твое слово станет молитвой. Ты смел и жесток, потому что ты сильный, ты будешь нежен, смирен, потому что ты слаб. Твое сердце не доступно для раскаянья... но придет день, когда ты будешь оплакивать свои жертвы... Из человека ты превратился в жестокого зверя... но настанет день, и твой разум воспрянет благодаря раскаянью. Ты не пощадил даже тех, кого щадят дикие звери, свою самку и своих детенышей... после долгой жизни, посвященной искуплению твоих злодеяний, твоей последней молитвой будет обращение к богу, чтоб он ниспослал тебе нежданное счастье умереть в присутствии твоих жены и сына...»

— Теперь мы пройдем по двору идиотов и направимся к зданию, где находится Морель, — сказал доктор, выходя со двора, где они видели Грамотея.

Глава XVI.
МОРЕЛЬ-ГРАНИЛЫЩИК

Несмотря на тяжелое впечатление, произведенное на нее видом умалишенных, госпожа Жорж не удержалась от того, чтобы на минуту не остановиться, проходя мимо решетки двора, где были заперты неизлечимые больные. Несчастные существа! Они часто даже не обладают инстинктом животных, их происхождение почти всегда остается неизвестным: неведомые никому и даже самим себе, они шагают по жизни, лишенные чувств, мыслей, испытывая лишь самые ограниченные потребности...

Отвратительное порождение бедности и разврата, происходящее в глубине зловонных трущоб, является причиной потрясающего вырождения рода человеческого... происходящего в основном среди бедноты.

Если обычно умопомешательство не обнаруживается сразу же при поверхностом наблюдении за лицом душевнобольного, то идиотизм совсем нетрудно распознать по внешности его носителя.

Доктору Гербену не было необходимости обращать внимание госпожи Жорж на дикое слабоумие, тупую бесчувственность или идиотское изумление, которые придавали лицам этих несчастных отвратительное выражение — на них тяжело было смотреть. Почти все были одеты в длинные холщовые блузы, замусоленные и дырявые, так как, несмотря на постоянный надзор, невозможно помешать этим существам, лишенным разума и инстинкта, рвать, пачкать свою одежду, когда они ползают, катаются, как звери, в грязных дворах, где проводят целые дни[165].

Одни расположились по углам темного сарая, сидя на корточках, тесно прижимаясь друг к другу, как звери в берлоге, издавая протяжный и глухой крик.

---

[165] Notes: 165

Скажем по этому поводу, что видеть спальни и кровати, предназначенные для идиотов, невозможно без глубокого восхищения милосердными умами, которые занимались изучением условий гигиены. Когда подумаешь, что прежде эти несчастные валялись на грязной соломе, а теперь у них отличные кровати, которые поддерживаются в совершенной чистоте при помощи поистине, чудесных средств, можно только прославлять тех, кто посвятил себя улучшению условий жизни этих несчастных. Здесь нельзя ожидать благодарности, даже благодарности животного своему хозяину. Это добро, совершаемое для добра, во имя святого понятия — гуманность, и в силу этого оно еще более достойно и возвышенно. Стало быть, невозможно слишком преувеличивать заслуги администраторов и врачей Бисетра, достойно поддерживаемые высоким и справедливым авторитетом доктора Ферусса, который осуществляет общее наблюдение за больницами для умалишенных и которому общество обязано отличным законом о ду-

шевнобольных, основанным на его глубоких научных наблюдениях.

Другие стояли, прислонившись к стене, в неподвижном молчании пристально смотрели на солнце.

Тучный, бесформенный старик, сидя на деревянном стуле, с жадностью животного пожирал свой паек, злобно озираясь вокруг.

Некоторые быстро ходили по кругу на небольшом ограниченном пространстве. Это странное занятие продолжалось безостановочно на протяжении нескольких часов.

Другие, сидя на земле, непрестанно покачивались, последовательно наклоняясь вперед и назад, прекращая это монотонное головокружительное движение только для того, чтобы громко расхохотаться пронзительным и гортанным хохотом, свойственным идиотам.

Наконец, были и такие, которые в полной неподвижности открывали глаза лишь во время еды и оставались инертными, безжизненными, глухими, немыми и слепыми, так что ни один крик, ни один жест не свидетельствовал о том, что это живые люди.

Полное отсутствие словесного или духовного общения — наиболее мрачная черта сообщества идиотов. Умалишенные же, несмотря на бессвязность их речей и мыслей, разговарива-

ют, узнают и даже ищут друг друга, — а среди идиотов царит тупое равнодушие или жестокая неприязнь к себе подобным. Они совершенно лишены дара ясной речи; лишь порой издают дикий хохот или стоны и крики, в которых нет ничего человеческого. Лишь очень немногие из них узнают своих сторожей. И все же мы с восхищением повторяем, что они здесь лечатся, эти несчастные люди, которые, казалось бы, уже не принадлежат к человеческому роду и даже не могут быть причислены к животным, так как полностью лишены интеллектуальных способностей; их скорее следует отнести к семейству моллюсков, нежели к одушевленным существам, и они влачат такое жалкое существование всю свою иногда долгую жизнь. И все же для них-то и созданы хорошие условия, о которых они не имеют понятия.

Конечно, хорошо, что мы верны принципу человеческого достоинства в отношении тех несчастных существ, которые сохранили лишь внешний облик человека, но мы будем постоянно повторять, что следует подумать о достоинстве тех, кто полностью наделен разумом, усерден, деятелен, кто представляет собою живую силу нации; нужно внушить им мысль о величии их

труда, духовно поддержать их, вознаграждать тех, кто проявляет любовь к труду, честно и самоотверженно исполняет свои обязанности, наконец, не проявлять эгоистического благочестия, провозглашая: мы накажем здесь, на земле, бог вознаградит в небесах.

— Бедные люди! — сказала г-жа Жорж (она догнала доктора, взглянув в последний раз на идиотов). — Как печально, что невозможно их исцелить.

— Увы, никакой надежды, — ответил доктор, — в особенности в этом возрасте; ибо теперь благодаря прогрессу науки идиотов в детском возрасте воспитывают, и это, по крайней мере, несколько развивает частицу недоразвитого ума, которой они иногда бывают наделены. У нас здесь есть школа, руководители которой проявляют настойчивость, разумное терпение и добились значительных результатов: больных детей очень искусными средствами, применяемыми исключительно в этих случаях, воспитывают в моральном и физическом отношениях, и многие знают буквы, цифры, распознают цвет; учителя добились того, что больных учат хоровому пению, и, заверяю вас, есть какое-то странное очарование, трогательное и печальное, которое

испытываешь, слушая эти голоса, удивленные, жалобные, а иногда скорбные, обращенные к небесам, когда они поют псалом, все слова которого, хотя и французские, для них непонятны.

Вот мы и подошли к дому, где находится Морель. Я распорядился, чтобы сегодня утром его оставили одного, чтобы эта встреча с вами оказала на него решающее воздействие.

— А каков все же характер его безумия? — шепотом спросила у доктора г-жа Жорж, не желая, чтобы их разговор услышала Луиза.

— Ему кажется, что, если он не заработает тысячу триста франков в день для уплаты долга нотариусу Феррану, Луиза будет казнена за детоубийство.

— Ах, этот нотариус... чудовище, — воскликнула госпожа Жорж, осведомленная о злобе, которую питал нотариус к Жермену. — Луиза Морель, ее отец, и не только они — жертвы этого злодея. Он преследовал моего сына с безжалостным остервенением.

— Луиза Морель мне все рассказала, — ответил доктор. — Благодарение богу, этот негодяй умер. Соизвольте подождать меня здесь с вашими друзьями. Я пойду посмотрю, как себя чувствует Морель.

Затем, обратившись к дочери гранильщика:

— Прошу вас, Луиза, будьте внимательны, когда я закричу «Войдите!», тотчас входите, но одна... Когда я скажу второй раз «Войдите!» — другие присоединятся к вам...

— Сударь, у меня так тревожно на сердце, — сказала Луиза, вытирая слезы. — Бедный отец... если это испытание окажется бесполезным!..

— Надеюсь, что оно спасет его. Я с давних пор применяю этот метод. Не волнуйтесь, следуйте моим предписаниям.

И доктор, покинув сопровождавших его людей, вошел в комнату, решетчатые окна которой выходили в сад.

Благодаря отдыху, здоровому питанию, внимательному уходу лицо гранильщика Мореля уже не казалось бледным, впалым и истомленным болезнью. Полнота его лица, легкий румянец — все это доказывало, что он поправился; но печальная улыбка, некоторая неподвижность взгляда, часто останавливавшегося на каком-нибудь предмете, — все это напоминало, что его разум еще не находился в нормальном состоянии.

Когда вошел доктор, Морель, сидя согнувшись над столом и делая вид, что занимается своим ремеслом гранильщика, сказал:

— Тысяча триста франков... или... Луизу на эшафот... тысяча триста франков... Будем работать... работать... работать... работать...

Это отклонение от нормы, приступы которого наблюдались все реже и реже, всегда было первостепенным симптомом его умопомешательства. Увидев Мореля во власти его навязчивой идеи, доктор, вначале неприятно пораженный, вскоре решил воспользоваться этим обстоятельством. Он вынул из кармана кошелек, куда заранее положил шестьдесят пять луидоров, высыпал их на ладонь и внезапно обратился к Морелю, который, всецело увлеченный своей симуляцией работы, не заметил, как вошел доктор:

— Мой милый Морель... довольно работать... вы уже заработали тысячу триста франков, нужных вам для спасения Луизы... вот деньги.

И доктор высыпал на стол горсть золотых монет.

— Луиза спасена! — воскликнул гранильщик, быстро собирая монеты. — Я бегу к нотариусу.

И, вскочив на ноги, он ринулся к двери.

— Входите, — закричал доктор с напряженным волнением, так как мгновенное исцеление гранильщика могло зависеть от его первого впечатления.

Как только он произнес «входите», Луиза появилась на пороге в тот самый момент, когда ее отец выходил из камеры.

Морель, пораженный, отступил и выронил из рук золотые монеты.

В течение нескольких минут он в изумлении созерцал Луизу, еще не узнавая ее. В то же время, казалось, он пытался оживить свои воспоминания, затем, постепенно приблизившись к ней, стал смотреть на нее с беспокойным и тревожным любопытством.

Луиза, дрожа от волнения, едва сдерживала слезы, в то время как доктор, жестом обязывая ее молчать, внимательно и безмолвно наблюдал за изменявшимся выражением лица Мореля. Гранильщик, склонившись над своей дочерью, побледнел, обеими руками вытер пот с лица, затем, еще раз шагнув, хотел заговорить с ней, но его голос замер, бледность усилилась, и он, с удивлением оглядываясь вокруг, как будто просыпался от какого-то сна.

— Отлично... отлично... — шепотом сказал доктор Луизе, — хороший признак... когда я скажу «входите», бросайтесь к нему в объятья, называйте его отцом.

Гранильщик, сложив руки на груди, оглядел

себя с ног до головы, как бы желая опознать себя. Черты его выражали болезненную неуверенность, вместо того чтобы смотреть на свою дочь, он, казалось, хотел спрятаться от нее. Затем он заговорил тихим прерывистым голосом:

— Нет... нет!.. Это сон... Где я?.. Невозможно... это сон... это не она...

Увидев золотые монеты, разбросанные на полу, он продолжал:

— А это золото... я не помню... значит, я пробуждаюсь?.. Кружится голова... я не осмелюсь взглянуть... мне стыдно... это не Луиза...

— Входите, — громко объявил доктор.

— Папа... вы узнали меня наконец, я Луиза... ваша дочь, — вскричала она, заливаясь слезами и бросаясь в объятья гранильщика. В это время в комнату вошли жена Мореля, Хохотушка, госпожа Жорж, Жермен и чета Пипле.

— О господи, — заговорил Морель, руку которого ласково гладила Луиза, — где я? Что от меня хотят? Что случилось? Я не могу поверить...

Затем, помолчав, положил ладони на голову Луизы, пристально посмотрел на нее с растущим волнением и наконец воскликнул:

— Луиза!

— Он спасен! — произнес доктор.

— Мой муж... мой бедный Морель... — воскликнула жена гранильщика, подойдя к Луизе и Морелю.

— Моя жена, — сказал Морель, — моя жена и дочь!

— Я также, господин Морель, — сказала Хохотушка, — все ваши друзья пришли сюда, чтобы встретиться с вами.

— Да, все ваши друзья, видите, господин Морель, — добавил Жермен.

— Мадемуазель Хохотушка!.. господин Жермен!.. — сказал гранильщик, с удивлением узнавая всех присутствующих.

— И старые друзья из привратницкой тоже, — проговорила Анастази, в свою очередь приближаясь к гранильщику вместе с Альфредом, — вот они, Пипле... старики Пипле... друзья до гроба... смотрите-ка, папаша Морель... сегодня счастливый день.

— Старик Пипле и его жена!.. Столько друзей вокруг меня... Мне кажется, что уже давно... И... но... но, наконец... это ты, Луиза... не так ли? — пылко воскликнул Морель, сжимая в объятиях дочь. — Это ты, Луиза? Конечно же это ты!..

— Дорогой отец... да... это я... это моя мать... А вот здесь все ваши друзья... Вы больше никогда

нас не покинете... Вы не будете больше горевать... Мы заживем счастливо, все будем счастливы.

— Все счастливы... Но... постойте-ка, дайте вспомнить... Все счастливы... Мне все же помнится, что за тобой явились, чтобы увести тебя в тюрьму, Луиза.

— Да... папа... но я оттуда вышла... оправданная... Вот видите... я здесь, подле вас...

— Постойте... постойте... ко мне возвращается память...

И он с ужасом воскликнул:

— А нотариус?..

— Умер!.. Он умер... папа, — ответила Луиза.

— Умер!.. Он!.. Теперь... я верю вам... Мы сможем быть счастливы... Но где я?.. Почему я здесь?.. С какого времени... и почему?.. Не могу ясно припомнить...

— Вы были так серьезно больны, — ответил доктор, — поэтому вас поместили сюда... в деревню. У вас был очень сильный жар, вы бредили.

— Да, да... вспоминаю, что приключилось со мной перед самой болезнью; я разговаривал с дочерью и... кто же, кто же?.. Ах да, один великодушный человек, господин Родольф... спас меня от ареста. После того я, кажется, ничего не помню.

— Ваша болезнь осложнилась отсутствием памяти, — сказал доктор. — Встреча с вашей дочерью, вашей женой, друзьями возвратила вам память.

— А у кого я здесь нахожусь?

— У одного друга господина Родольфа, — поспешил ответить Жермен, — решили, что перемена климата благотворно подействует на вас.

— Прекрасно, — шепотом произнес доктор и, обратившись к сторожу, приказал: — Отправьте фиакр в конец сада, чтобы ему не пришлось проходить мимо больных и выходить через главную дверь.

Как иногда бывает со страдающими временным помешательством, Морель совершенно не помнил и не сознавал, что он был лишен разума.

Несколько минут спустя под руку со своей женой, с дочерью и ассистентом, которого доктор предусмотрительно послал сопровождать больного до Парижа, Морель сел в фиакр и покинул Бисетр, не подозревая, что его здесь лечили от душевной болезни.

— Вы полагаете, что этот бедняга совершенно излечился? — спросила г-жа Жорж доктора, который провожал ее до главных ворот Бисетра.

— Да, я так полагаю и поэтому решил отпустить

его в тот момент, когда он находится под благотворным влиянием встречи со своей семьей; я не осмелился бы сейчас разделять их. К тому же один мой ученик будет следить за ним и укажет ему курс лечения. Я буду навещать его ежедневно, пока он не выздоровеет окончательно, ибо не только я очень им интересуюсь, но, когда он появился в Бисетре, поверенный в делах герцога Герольштейнского поручил мне внимательно следить за его лечением.

Жермен и его мать многозначительно переглянулись.

— Благодарю вас, — сказала г-жа Жорж, — за доброту, с которой вы позволили мне посетить эту больницу, благодарю вас также за то, что мне пришлось присутствовать при этой трогательной сцене, которую вы, с присущими вам знаниями, предвидели и о которой вы нас предупреждали.

— Я же весьма счастлив, что достиг успеха, позволившего этому прекрасному человеку возвратиться в лоно своей любимой семьи.

Все еще взволнованные тем, что они видели, г-жа Жорж, Хохотушка и Жермен, а также чета Пипле отправились в Париж.

В то время, когда доктор Гербен возвращался в палаты больных, он встретил одного из чинов-

ников главной администрации Бисетра, который ему сказал:

— Ах, дорогой Гербен, вы не представляете себе, при какой сцене я присутствовал. Для такого исследователя, как вы, это послужило бы неисчерпаемым источником.

— Каким образом? Какая сцена?

— Вам известно, что у нас находятся две женщины, приговоренные к смерти, мать и дочь, наутро казнь.

— Да, конечно, знаю.

— Так вот, никогда в жизни я не видал больше отваги и хладнокровия, нежели у матери. Эта женщина — порождение ада.

— Это не вдова Марсиаль, которая так цинично вела себя на суде?

— Она самая.

— Что же еще она совершила?

— Она потребовала, чтобы до казни ее поместили в одной камере с дочерью. Исполнить ее просьбу согласились. Дочь ее, не столь ожесточенная, как мать, кажется, смягчилась с приближением рокового момента, в то время как дьявольская самоуверенность вдовы еще усиливается, если это возможно. Только что в их камере был тюремный священник, предложив-

ший им утешение религии. Дочь готова была его выслушать, но мать, ни на секунду не теряя своего ледяного хладнокровия, обругала ее и священника такими язвительными словами, что досточтимому кюре пришлось покинуть камеру, после того как он напрасно пытался заставить эту неукротимую женщину выслушать несколько слов святой молитвы.

— Накануне казни! Такая дерзость поистине ужасна, — заметил доктор.

— В общем, можно сказать, что всю эту семью преследуют силы античного рока. Отец был казнен, один из сыновей — на каторге, другой, приговоренный к смерти, недавно сбежал. Лишь старший сын и двое малышей избежали этой страшной заразы. Однако мать потребовала, чтобы этот старший сын, единственный порядочный человек из всего отвратительного рода, пришел утром выслушать ее последнюю волю.

— Какая это будет встреча!

— Вы не пожелаете присутствовать там?

— Откровенно говоря, нет. Вы знаете мое отношение к смертной казни, у меня нет необходимости созерцать это ужасное зрелище, чтобы вновь убеждаться в правильности моих взглядов. Если эта страшная женщина остается неукроти-

мой до последнего момента своей жизни, какой же плачевный пример она подает народу!

— Есть в этой казни обеих женщин нечто очень странное — это день, когда она будет происходить.

— А что?

— Сегодня день карнавала.

— Ну и что?

— Завтра казнь должна свершиться в семь часов утра. Значит, толпы ряженых, участвовавшие в ночном веселье, возвращаясь в Париж, обязательно встретятся с траурным кортежем.

— Вы правы, это будет омерзительный контраст.

— Не учитывая того, что к месту казни — воротам Сен-Жак — будет доноситься музыка из соседних кабачков, ведь, празднуя последний день карнавала, в кабаре танцуют до десяти или одиннадцати часов утра.

Наутро взошло яркое лучезарное солнце.

В четыре часа утра несколько отрядов пехоты и кавалерии окружили подходы к Бисетру.

Мы поведем читателя в камеру, где находились вдова казненного и ее дочь Тыква.

Часть X

Глава I.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ К КАЗНИ

В Бисетре мрачный коридор с решетчатыми окнами, расположенными почти вровень с землей, вел в камеру смертников.

Свет проникал в камеру лишь через форточку в верхней части двери, выходившей в едва освещенный коридор, о котором мы уже упоминали.

В этой каморке с низким потолком, с влажными позеленевшими стенами и полом, выложенным холодным, как в гробнице, камнем, были заперты мать Марсиаля и ее дочь Тыква.

Угловатое лицо вдовы, жестокое, бесстрастное и бледное, выделялось, словно мраморная маска, в полумраке, царившем в этом закутке. Лишенная возможности пошевелить руками, так как поверх ее черного платья была надета смирительная рубашка, представлявшая из себя длинный плащ из серого холста, стянутый за спиной, рукава которого зашиты снизу, образуя мешок, она хочет, чтобы с нее сняли хотя бы чепец, жалуясь на сильный жар в голове... Ее седые волосы рассыпались по плечам. Сидя на

краю кровати с опущенными на пол ногами, она пристально смотрит на свою дочь, отделенную от нее шириной камеры.

Тыква, также стиснутая смирительной рубашкой, полулежала, прислонясь к стене; голова ее была низко опущена на грудь, взгляд неподвижен, дыхание прерывисто.

Только легкая судорожная дрожь иногда заставляла ее стучать зубами; но черты лица оставались спокойными, несмотря на мертвенную бледность.

В конце камеры, подле двери, под открытой форточкой, сидит ветеран, с орденом на груди, у него суровое смуглое лицо, лысый череп, длинные седые усы. Он не сводит глаз с приговоренных.

— Здесь адский холод... а между тем мне жжет глаза... мучает жажда... все время хочу пить... — произнесла Тыква.

Затем, обращаясь к ветерану, сказала: — Воды, пожалуйста...

Старый солдат поднялся, наполнил из стоявшего на скамейке цинкового жбана стакан воды, подошел к Тыкве и поднес воду к ее рту, так как сама она из-за смирительной рубашки не смогла бы взять стакан в руки.

С жадностью выпив воду, она произнесла:

— Благодарю вас.

— Хотите пить? — обратился солдат к вдове. Та ответила отрицательным жестом. Солдат вернулся на свое место.

Снова воцарилось молчание.

— Который теперь час? — спросила Тыква.

— Скоро половина пятого, — ответил солдат.

— Через три часа, — с мрачной улыбкой, намекая на время казни, произнесла она, — через три часа...

Она не осмелилась договорить.

Вдова пожала плечами... Дочь поняла ее мысль и продолжала:

— Вы более мужественны, чем я... дорогая мама... никогда не падаете духом... вы...

— Никогда!

— Я это знаю... прекрасно понимаю... на вашем лице такое спокойствие, будто вы у печи в нашей кухне и заняты шитьем... О, давно прошло хорошее время!.. Очень давно!..

— Болтунья!

— Пусть так... вместо того, чтобы сидеть здесь и изнывать в думах... я готова говорить что угодно... болтать...

— Заговорить саму себя? Малодушная!

— Хоть бы и так, милая мама, ведь не все такие стойкие, как вы... Я изо всех сил старалась подражать вам; я не смела вслушиваться в молитву кюре, потому, что вы этого не желали... Хотя, быть может, я совершила ошибку... потому что, ведь... — с трепетом заметила обреченная, — после... кто знает... И это после... так близко… оно... через...

— Через три часа.

— Как вы хладнокровно это произносите, мама!.. Господи! Господи! Ведь это правда... подумать только, что мы здесь... вы и я... ведь мы же здоровые и не хотим умереть... и все-таки через три часа...

— Через три часа ты окончишь жизнь как подобает настоящим Марсиалям. Погрузишься во мрак... вот и все... Мужайся, дочь моя!

— Не следует говорить это бедняжке, — протяжно и внушительно заметил старый солдат. — Лучше бы вы разрешили ей получить утешение от священника.

Вдова с непримиримым презрением пожала плечами, даже не повернув голову в сторону достойного служаки, и продолжала:

— Не падай духом, дочь... мы покажем, что женщины более стойки, нежели мужчины... вместе с их священниками... Подлецы!

— Командир Леблон был самым смелым офицером Третьего стрелкового полка... Я видел его, изрешеченного пулями при взятии Сарагосы... Умирая, он крестился, — произнес старый гвардеец.

— Вы состояли при нем пономарем? — с диким хохотом спросила вдова.

— Я был его солдатом... — грустно отозвался ветеран, — и хотел лишь напомнить вам, что можно перед смертью... молиться и не быть трусом...

Тыква пристально уставилась на этого человека со смуглым лицом, типичного солдата времени Империи, глубокий шрам пересекал его правую щеку и терялся в длинных седых усах.

Простые слова старика, черты его лица и раны, красная орденская лента, которая, казалось, внушала представление о его отваге в сражениях, поразили дочь вдовы.

Она отказалась от напутствий священника только из-за ложного стыда, из-за боязни насмешек матери, а вовсе не в силу душевного ожесточения. В смутном и гаснущем сознании она невольно противопоставила кощунственным шуткам своей матери неколебимую веру солдата. Опираясь на его живое свидетельство, она решила про себя, что можно, не будучи ма-

лодушной, прислушиваться и к религиозным инстинктам, коль скоро их не отвергали признанные храбрецы.

— И в самом деле, — произнесла она с грустью, — почему я не пожелала выслушать священника? Почему считать это слабостью? Его молитвы отвлекли бы меня от... и потом... наконец... после... кто знает?

— Ну вот еще! — прервала вдова тоном сухого презрения. — Теперь уже не хватает времени... очень жаль... ты, верно, стала бы монахиней? Когда появится твой брат Марсиаль, ты немедленно превратишься в богомолку. Но он не придет, порядочный человек... хороший сын!

В тот момент, когда вдова произнесла эти слова, раздался шум тяжелого тюремного засова, и дверь отворилась.

— Уже, — закричала Тыква, рванувшись с кровати. — О господи! Казнь приблизили? Нас обманули!

И черты ее лица судорожно исказились.

— Тем лучше... если часы палача спешат... твое ханжество не будет меня позорить.

— Сударыня! — Тюремщик обратился к приговоренной тоном подобострастного сострадания, в котором как бы отдавалась дань приближению

смерти. — Ваш сын здесь... желаете его видеть?

— Желаю, — отозвалась вдова, не повернув головы.

— Входите, сударь, — сказал тюремщик. Марсиаль вошел.

Ветеран не покинул камеры, дверь которой для предосторожности оставалась открытой. Во мраке коридора, полуосвещенного наступающим днем и светильником, можно было видеть несколько солдат и надзирателей: одни сидели на скамье, другие стояли.

Марсиаль был так же бледен, как и его мать, черты его лица выражали тоскливую тревогу, невыразимый ужас, колени дрожали. Несмотря на преступления этой женщины, несмотря на бессердечье, которое она к нему всегда проявляла, он счел себя обязанным подчиниться ее последней воле.

Как только он вошел в камеру, вдова бросила на него проницательный взгляд и обратилась к нему с приглушенно-гневными словами, пытаясь пробудить и в душе своего сына возмущение.

— Ты видишь... что нам готовится... твоей матери... и сестре.

— Ах, матушка... это ужасно... но я ведь говорил вам, я предупреждал вас!

Вдова поджала бледные губы, сын не понимал ее; однако она продолжала:

— Нас убьют... как убили твоего отца...

— Господи! Господи! И я ничего не могу сделать... все кончено. Теперь... что вы от меня хотите? Почему меня не слушали... ни вы, ни моя сестра? Тогда бы не дошли до этого.

— Ах вот как... — ответила вдова с присущей ей язвительной иронией. — Ты находишь это вполне справедливым?

— Мама!

— Ты, кажется, даже доволен... можешь теперь говорить не лукавя, что твоя мать скончалась... Ведь тебе больше не придется за нее краснеть!

— Если бы я был плохим сыном, — резко ответил Марсиаль, возмущенный такой несправедливой жестокостью, — я не был бы здесь.

— Ты пришел... из любопытства.

— Я пришел... чтобы повиноваться вам.

— Ах, если бы я следовала твоим советам, Марсиаль, вместо того чтобы слушаться приказаний нашей матери... я не была бы здесь! — воскликнула душераздирающим голосом Тыква, уступая наконец глубокой тоске и ужасу, который она сдерживала, боясь матери. — Это ваша вина... будьте вы прокляты, мать!

— Отступница обвиняет меня... Ты должен радоваться, верно? — с усмешкой сказала вдова сыну.

Ничего ей не возразив, Марсиаль приблизился к Тыкве, у которой уже начинались судороги, и с состраданием сказал ей:

— Бедная сестра... теперь уж... слишком поздно...

— Никогда не поздно... быть негодяем! — произнесла мать с холодным бешенством. — О, какой род! Какая семья! К счастью, Николя бежал. К счастью, Франсуа и Амандина... ускользнут от твоих уговоров. Они уже достаточно распущенны... Нищета их доконает!

— Ах, Марсиаль, не выпускай их из виду, иначе они кончат бесславно, как я и мать. Им тоже отрубят голову, — воскликнула Тыква, издавая глухие стоны.

— Как бы он ни старался, — воскликнула вдова со свирепым воодушевлением, — порок и голод неизбежно одолеют... и когда-нибудь они отомстят за отца, мать и сестру.

— Ваша бесчеловечная надежда не осуществится, — возмущенно ответил Марсиаль. — Ни им, ни мне не придется бояться нужды. Волчица спасла девушку, которую Николя хотел утопить. Ее родные предложили нам либо наличными, либо

земельный участок в Алжире с небольшой суммой на обзаведение, по соседству с той фермой, которую они подарили одному человеку, тоже оказавшему им серьезные услуги. Мы предпочли имение. Дело не лишено опасности, но мы не боимся... ни я, ни Волчица. Завтра мы с детьми уезжаем и никогда в жизни не возвратимся в Европу.

— Это все правда, что ты сказал? — спросила вдова Марсиаль удивленным и раздраженным тоном.

— Я никогда не лгу.

— А сегодня лжешь, чтобы рассердить меня!

— Гневаться на то, что ваши дети будут обеспечены?

— Да! Из волчат пытаются сделать овечек. Значит, кровь отца, сестры, моя кровь не будет отомщена?!

— Сейчас ли говорить об этом?

— Я убивала, меня убьют... Мы квиты.

— Матушка, пора раскаяться...

Вдова снова разразилась зловещим смехом.

— Тридцать лет я совершаю преступления, а для раскаяния мне оставляют всего три дня? Затем смерть... Разве у меня есть на раскаяние время? Нет, нет, моя голова, даже падая, будет

скрежетать зубами от бешенства и ненависти.

— Брат, на помощь! Уведи меня отсюда! Сейчас они придут, — пролепетала Тыква слабеющим голосом; несчастная уже начала бредить.

— Умолкнешь ли ты, — воскликнула вдова, раздосадованная видом обезумевшей Тыквы. — Замолчи, наконец! О, какой позор... И это моя дочь!

— Матушка, матушка! — воскликнул Марсиаль, сердце которого разрывалось от этой ужасной сцены. — Зачем вы меня позвали?

— Потому что я надеялась внушить тебе смелость и ненависть... Но в ком нет одного, в том нет и другого, мерзавец!

— Матушка!

— Трус, трус, трус!

В этот момент в коридоре раздалась чья-то тяжелая поступь. Старый солдат вынул часы и посмотрел на них.

Восходящее солнце, ослепительное и лучезарное, образовало полосу золотистого света, проникшую через глухое окно в коридоре напротив камеры.

Дверь открылась, и в камеру хлынул яркий свет. В освещенное пространство надзиратели

внесли два кресла[166], затем секретарь суда взволнованным голосом сказал вдове:

— Сударыня, настало время...

Приговоренная поднялась, прямая, бесстрастная; Тыква испускала пронзительные вопли.

Вошли четверо мужчин.

Трое из них, одетые довольно небрежно, держали в руках небольшие связки тонкой, но очень прочной веревки.

Самый высокий среди них, одетый в приличный черный костюм, в круглой шляпе, при белом галстуке, вручил секретарю суда документ.

Это был палач.

В сопроводительной бумаге удостоверялось, что обе женщины, осужденные на смертную казнь, переданы палачу. С этого момента эти божьи создания поступали в его полное распоряжение, и отныне он всецело отвечал за них.

Вслед за взрывом отчаяния у Тыквы наступило тупое оцепенение. Помощники палача вынуждены были усадить ее на кровать и поддерживать там. Челюсти ее свело судорогой, и она едва смогла произнести несколько бессвязных слов. Она

---

[166] Notes: 166

Обычно «туалет» приговоренных происходит в приемной конторе но, поскольку там производили текущий ремонт, зловещими приготовлениями приходилось заниматься в камерах.

непрестанно водила вокруг тусклыми глазами, подбородок касался груди, и без поддержки она бы рухнула наземь, будто ворох тряпья.

Марсиаль, в последний раз поцеловав несчастную, стоял неподвижно, ошеломленно, не смея двинуться с места, как бы зачарованный этой ужасной сценой.

Упорная дерзость вдовы не покидала ее; с высоко поднятой головой она сама помогала снять с себя смирительную рубашку, стеснявшую ее движения. Сбросив этот холщовый балахон, она оказалась одетой в поношенное черное платье.

— Куда мне сесть? — спросила она твердым голосом.

— Будьте любезны, устраивайтесь в этом кресле, — сказал ей палач, указывая на одно из них, стоявшее при входе в камеру.

Так как дверь оставалась открытой, можно было увидеть в коридоре надзирателей, начальника тюрьмы, и несколько любопытствующих лиц из привилегированного сословия.

Вдова твердым шагом направилась к указанному ей месту, проходя мимо дочери, она остановилась, приблизилась к ней и растроганным голосом сказала:

— Дочь моя, обними меня.

При звуках материнского голоса Тыква очнулась, выпрямилась и с жестом, полным отвращения, вскричала:

— Если есть ад, то пропадите в нем пропадом!

— Дочь, обними меня, — настойчиво повторила вдова, делая еще шаг в ее сторону.

— Не приближайтесь! Вы погубили меня, — произнесла несчастная, отталкивая мать руками.

— Прости меня!

— Нет, нет, — судорожно воскликнула Тыква. И так как это напряжение исчерпало все ее силы, она почти без чувств упала на руки помощников палача.

Словно облако окутало неукротимое чело вдовы; на мгновение в ее жестоких глазах сверкнули слезы. В этот момент она встретила взгляд сына.

Должно быть, она колебалась, и, словно уступая в душевной борьбе, сотрясавшей ее душу, проронила:

— А ты?

Марсиаль, рыдая, бросился на грудь матери.

— Довольно! — сказала вдова, подавив свое волнение и высвободившись из объятий сына. — Он ждет. — И она указала на палача.

Затем стремительно прошла к своему креслу и села. Луч материнского чувства, осветивший

лишь на мгновение мрачную глубину ее души, внезапно померк.

— Сударь, — почтительно обратился ветеран к Марсиалю, участливо подходя к нему, — вам нельзя оставаться здесь, извольте удалиться.

Марсиаль, охваченный ужасом и страхом, машинально последовал за солдатом.

Помощники палача перенесли бесчувственную Тыкву и усадили в кресло, один из них поддерживал ее обмякшее тело, в то время как другой длинной веревкой крепко связывал руки за спиной, а ноги — у щиколоток так, что она могла двигаться лишь мелкими шагами.

Эта операция была и странной и ужасной; тонкая веревка, едва заметная в полумраке, которой эти молчаливые люди ловко и быстро связывали обреченную, казалось, сама собой тянулась из их рук так, словно пауки ткали сеть для намеченной ими жертвы.

Палач и его помощники с тем же проворством опутывали вдову; но черты ее лица нисколько не изменились. Время от времени она лишь непроизвольно покашливала.

Когда осужденная была полностью лишена возможности передвигаться, палач, вытащив из кармана длинные ножницы, учтиво сказал ей:

— Соизвольте наклонить голову.

Вдова наклонила голову, промолвив:

— Мы ваши верные клиенты, вы уже имели дело с моим мужем, а теперь очередь наша с дочерью.

Палач молча собрал в левую руку длинные седые волосы осужденной и начал их стричь очень коротко, в особенности на затылке.

— Выходит, что в моей жизни меня причесывали три раза, — с мрачной усмешкой продолжала вдова, — в день моего первого причастия, когда надевали вуаль; в день свадьбы, когда прикалывали флердоранж, и вот сегодня, не так ли, парикмахер смерти?

Палач молчал.

Так как волосы у вдовы были густые и жесткие, то стрижка их была произведена только наполовину, в то время как косы Тыквы уже лежали на полу.

Вдова еще раз внимательно окинула взглядом свою дочь.

— Вы не знаете, о чем я думаю? — спросила она, обращаясь к палачу.

Слышен был лишь звучный скрип ножниц да икота и хрип, то и дело вырывавшиеся из груди Тыквы.

В это время в коридоре появился почтенный священник, он подошел к начальнику тюрьмы и стал тихо разговаривать с ним. Этот святой пастырь хотел попытаться в последний раз смягчить душу вдовы.

— Я вспоминаю, — продолжала вдова через несколько секунд, видя, что палач ей не отвечает, — вспоминаю, что в пятилетнем возрасте моя дочь, которой вскоре отрубят голову, была таким прелестным ребенком, что сейчас это даже трудно представить. У нее были золотистые локоны, розовые щечки. Ну кто бы мог тогда предсказать, что...

Затем, задумавшись, она вновь разразилась хохотом и с выражением, не поддающимся описанию, проговорила:

— Судьба человеческая — какая комедия!

В этот миг последние пряди седых волос упали ей на плечи.

— Я закончил, — вежливо сказал палач.

— Благодарю!.. Поручаю вам моего сына Николя, — сказала вдова, — вы будете и его причесывать в ближайшие дни!

Один из надзирателей подошел к приговоренной и что-то шепнул ей.

— Нет, — решительно ответила она, — я уже

вам сказала — нет.

Священник услышал эти слова, обратив взор к небу, сложил руки и удалился.

— Сударыня, мы сейчас тронемся. Вы ничего не пожелаете глотнуть? — почтительно спросил палач.

— Благодарю... достаточно будет глотка сырой земли.

Произнеся эти последние саркастические слова, вдова встала и выпрямилась; ее руки были связаны за спиной; щиколотки соединены веревкой, едва позволявшей ей передвигаться. Хотя она шла уверенно и решительно, палач и его помощник услужливо пытались ей помочь; с нетерпеливым жестом, повелительно и грубо она крикнула:

— Не прикасайтесь ко мне, у меня крепкие ноги, и я хорошо вижу. Когда я взойду на эшафот, то все узнают, какой у меня сильный голос и произнесу ли я слова раскаяния...

И вдова в сопровождении палача и его помощника вышла из камеры в коридор.

Два другие помощника вынуждены были нести Тыкву в кресле; она была почти мертва. Пройдя длинный коридор, мрачный кортеж поднялся по каменной лестнице, выходившей на внешний

двор.

Солнце заливало своим оранжевым жарким светом верхушки высоких белых стен, окружавших тюрьму и выделявшихся на фоне безбрежного голубого неба; воздух был нежный и теплый; никогда еще, казалось, весенний день не был таким сияющим, таким великолепным.

В тюремном дворе дожидался пикет жандармов департамента, стоял наемный фиакр и длинная узкая карета с желтым кузовом, запряженная тройкой почтовых лошадей, которые нетерпеливо ржали, потряхивая колокольчиками.

Поднимались в эту карету, как в омнибус, через заднюю дверцу. Это сходство вызвало последнюю остроту вдовы:

— Кондуктор не скажет «Свободных мест нет»?

Потом она поднялась на подножку так быстро, насколько ей позволяли путы.

Бесчувственную Тыкву вынесли на руках и положили на скамейку, напротив ее матери; затем захлопнули дверцу.

Кучер фиакра дремал, палач принялся расталкивать его.

— Простите меня, хозяева, — сказал кучер, просыпаясь и тяжело слезая со своего сиденья. — Досталось мне в эту карнавальную ночь. Я

только что отвез в кабачок «Сбор винограда в Бургундии» ватагу переодетых грузчиков и грузчиц, распевавших «Тетка-простушка», когда вы меня наняли.

— Ну ладно. Следуйте за этой каретой... к бульвару Сен-Жак.

— Простите, хозяева... час тому назад ехал на праздник, а теперь к гильотине, вот ведь что получается.

Два экипажа, сопровождаемые нарядом жандармов, выехали через внешние ворота Бисетра и рысью помчались по дороге, ведущей в Париж.

Глава II
МАРСИАЛЬ И ПОНОЖОВЩИК

Мы описали сцену, разыгравшуюся перед казнью осужденных, во всей ее жуткой реальности — она нам представляется веским доказательством:

против смертной казни;

против способа, которым смертная казнь осуществляется;

против ложного мнения о том, что казнь может служить поучительным примером для толпы.

Туалет преступника — самая устрашающая часть смертной казни. Казнь лишена у нас религиозного обряда, без которого не должен быть исполнен приговор, определяемый законом во имя общественного порядка. И вот почему туалет преступника происходит в тайне от толпы.

В Испании, к примеру, совершенно иная церемония: осужденный проводит три дня в часовне, где постоянно перед собой он видит свой гроб; священники беспрерывно читают отходную смертникам, днем и ночью раздается похорон-

ный звон[167].

Вполне понятно, что подобного рода приобщение к приближающейся смерти может устрашить наиболее закоренелого преступника и оказать спасительное воздействие на толпу, теснящуюся у ограды погребальной часовни.

Кроме того, день казни становится днем всеобщего траура; колокола приходских церквей звонят по усопшему, приговоренного медленно ведут к месту казни. Это скорбная и мрачная церемония; гроб несут впереди, священники поют погребальные молитвы, шествуя рядом с осужденным; затем следуют религиозные братства, сборщики пожертвований; они просят у собравшихся денег для того, чтобы отслужить мессу за упокой души осужденного... Толпа никогда не остается глухой к этому призыву.

Несомненно, все это ужасно, однако в такой церемонии есть смысл, она показывает, что человека, создание божье, нельзя уничтожать в расцвете сил так же просто, как режут быков на бойне; она заставляет народ постичь — ведь толпа всегда судит о преступлении по степени наказания, — что убийство — это страшное зло-

---

[167] Notes: 167

Так это происходило в Испании во время моего пребывания там, в 1824- 1825 гг.

деяние, поскольку возмездие за него потрясает, ввергает в печаль и горе весь город.

Повторяем, подобное устрашающее зрелище может навести на размышления, внушить благотворный страх... и приоткрыть завесу над всем, что есть варварского в этом грозном акте.

Теперь мы спрашиваем, каким поучительным примером может послужить точно описанное нами приготовление к казни (исполняемое иногда не столь непристойно)?

Рано утром забирают осужденного, его связывают, бросают в закрытую карету, кучер настегивает лошадей, подъезжает к эшафоту, рычаг сработал, голова падает в корзину... в присутствии дико хохочущей, самой преступной черни!..

Еще раз спросим, какой можно извлечь пример из столь поспешной казни; какой она может вызвать страх?..

К тому же, так как казнь совершается, так сказать, без огласки, в весьма отдаленном месте, весь город ничего не знает об этом кровавом акте, ничто не оповещает общество, что в этот день «убьют человека», в театрах смеются и поют, публика беззаботно и шумно развлекается.

С точки зрения общества, религии, человечности — это событие должно волновать всех, все

должны знать, что совершается законное убийство человека во имя интересов всего общества...

Наконец, решительно скажем и всегда будем говорить: вот меч, а где же венец? Наряду с наказанием необходимо показать и вознаграждение... Если наутро после траура и смерти народ, накануне лицезревший кровь заядлого преступника, обагрившую эшафот, увидел бы поощрение и прославление добродетельного человека, то он страшился бы настолько же казни первого, насколько стремился бы следовать примеру второго; страх едва ли помешает преступлению и никогда не вызовет желание следовать добродетели.

Отдают ли люди себе отчет в том, какое впечатление производит казнь на самих преступников?

Они либо издеваются над ней с дерзким цинизмом... Либо принимают ее, лишившись сознания и сил от ужаса... Либо кладут голову на плаху с глубоким и искренним раскаяньем...

Итак, смертная казнь не может сурово наказать тех, кого она не страшит.

Она бесполезна для тех, кто душевно мертв.

Смертная казнь — слишком сильная мера наказания для тех, кто искренне раскаивается.

Повторяем: общество убивает преступника не для того, чтобы он страдал, не для того, чтобы подвергнуть его каре... Общество убивает его, с тем чтобы воздать ему в меру за его злодеяние... Оно убивает его во имя того, чтобы это наказание явилось поучительным примером для будущих убийц.

Мы же утверждаем, что казнь слишком варварский способ наказания, и не так уж она устрашает...

Мы считаем, что при тяжких преступлениях, таких, как отцеубийство, или других дерзких злодеяниях, ослепление и вечное одиночное заключение поставили бы преступника в такие условия, при которых он никогда не смог бы повредить обществу; и наказание было бы для него в тысячу раз страшнее и предоставило бы ему время для полного раскаяния и искупления.

Если кто-либо усомнился бы в нашем утверждении, мы смогли бы привести множество фактов, доказывающих, что закоренелые преступники испытывают неодолимый страх перед одиночным заключением. Разве неизвестно, что некоторые преступники совершали убийства, предпочитая эшафот одиночному заключению? Каким же они были бы охвачены ужасом, если

бы... ослепление и одиночная камера лишили бы их навсегда надежды бежать; надежды, которая никогда не покидает преступника и которую он порою осуществляет, находясь в одиночной камере в кандалах.

В этой связи мы полагаем, что отмена смертной казни явится одним из вынужденных следствий одиночного заключения: страх, ужас перед полной изоляцией от преступников, которые находятся в это же время в тюрьмах и на каторгах, так глубок, что большинство самых неисправимых арестантов предпочтут подвергнуться казни, нежели находиться в одиночной камере; в таком случае бесспорно придется отменить эшафот и тем самым лишить их последней страшной альтернативы.

Прежде чем продолжить наше повествование, скажем несколько слов об отношениях, сложившихся между Поножовщиком и Марсиалем.

Как только Жермен вышел из тюрьмы, Поножовщик легко доказал, что он обворовал самого себя, раскрыл следователю цель этой странной мистификации и был выпущен на свободу, отделавшись лишь вынесенным строгим порицанием.

В то время Родольф не смог разыскать Лилию-

Марию и отблагодарить за преданное служение Поножовщика, которому был обязан жизнью, и исполнить все сокровенные желания своего сурового друга. Родольф поместил его в отель на улице Плюме и обещал взять с собой в Германию. Мы уже упоминали о том, что Поножовщик питал к принцу слепую привязанность, верную любовь собаки к своему хозяину. Оставаться под той же крышей, что и принц, иногда встречаться с ним, с нетерпением выжидать случая пожертвовать собой ради его благополучия или благополучия его близких, этим ограничивались сокровенные желания Поножовщика, это было счастьем для него, предпочитавшего такой образ жизни любым деньгам или фермам в Алжире, которые Родольф предлагал ему в качестве вознаграждения.

Но когда принц вновь нашел свою дочь, все переменилось; несмотря на глубокую признательность человеку, который спас ему жизнь, он не мог увезти в Германию этого свидетеля позорного падения, происшедшего в жизни Марии... Однако, твердо решив исполнять все желания Поножовщика, Родольф вызвал его к себе в последний раз и сказал, что, надеясь на его привязанность, просит оказать ему новую услугу. Просиявший было при этих словах Поножовщик

сразу же помрачнел, услышав, что не только не поедет с принцем в Германию, но в тот же день должен покинуть отель, где проживал.

Бесполезно говорить о блестящем вознаграждении, которое принц предложил Поножовщику: ранее предназначенная ему сумма, контракт на покупку фермы в Алжире, а если он не захочет, то и больше... все будет предоставлено в его распоряжение.

Поножовщик, раненый в самое сердце, отказался и, быть может, впервые в жизни заплакал... Потребовалась исключительная настойчивость Родольфа, чтобы его спаситель согласился принять эти первые проявления благодарности.

На следующий день принц вызвал к себе Волчицу и Марсиаля; не сообщив им, что Лилия-Мария его дочь, он спросил, что может сделать для них; все их желания должны были быть исполнены. Видя их колебания и вспомнив, что говорила Лилия-Мария о примитивных вкусах Волчицы и ее мужа, он' предложил этой отважной семье значительную сумму либо половину этих денег и участок возделанной земли, расположенный рядом с фермой, которую он купил для Поножовщика. Сделав такое предложение, принц подумал о тем, что Марсиаль и Поножовщик, оба волевые,

энергичные, наделенные добрыми и здоровыми наклонностями, будут жить дружно, тем более что оба мечтали об уединенной жизни, один по причине своего прошлого, другой в силу преступлений своей семьи.

Он не ошибся. Марсиаль и Волчица с восторгом согласились принять дар; когда же они при посредничестве Мэрфа познакомились с Поножовщиком, все трое порадовались тому, что будут жить в Алжире по соседству.

Несмотря на свою глубокую печаль или, вернее, благодаря этой печали, растроганный сердечными излияниями четы Марсиалей, Поножовщик ответил им искренним доброжелательством.

Вскоре настоящая дружба объединила будущих колонистов; люди подобной закалки легко узнают друг друга, сходятся полюбовно... Вот почему супруги Марсиаль, несмотря на горячее усердие, проявленное ими, чтобы избавить своего нового друга от мрачного настроения, в основном надеялись отвлечь его предстоящим путешествием и будущей деятельной жизнью, ибо, прибыв в Алжир, они будут обязаны возделывать предоставленную им землю, так как прежние владельцы согласно условиям продажи будут пользоваться доходами с этой земли еще в тече-

ние одного года, с тем чтобы, когда она поступит в полное распоряжение новых владельцев, они бы и в дальнейшем наблюдали за ее эксплуатацией.

Договорившись об этих условиях, узнав о мучительном свидании, на которое должен явиться Марсиаль, чтобы выслушать последнюю волю своей матери, Поножовщик пожелал сопровождать своего друга до ворот Бисетра, где он поджидал его в фиакре, на котором они приехали сюда, а потом возвратились в Париж, после того как Марсиаль, потрясенный приготовлением к казни своей матери и сестры, покинул тюремную камеру.

Лицо Поножовщика совершенно изменилось, прежняя уверенность в себе, свойственная этой мужественной натуре, сменилась угрюмой подавленностью; даже его голос стал менее грубым, неведомая в прошлом душевная боль надломила, подкосила этого энергичного человека.

Он с состраданием смотрел на Марсиаля.

— Не падайте духом, — говорил ему Поножовщик, — вы сделали все возможное, что может сделать такой славный малый... С этим покончено... Подумайте о вашей жене, о детях, о которых вы позаботились, чтобы они не стали нищими, как ваши мать и отец. И, наконец, сегодня вече-

ром мы уедем из Парижа, чтобы больше туда не возвращаться, и вы никогда не услышите разговоров о том, что вас огорчает.

— Все равно, поймите меня... прежде всего ведь это моя мать, моя сестра.

— Но, увы, что ж поделать, все кончено... а когда все кончено... надо смириться, — сказал Поножовщик, подавляя вздох.

После некоторого молчания Марсиаль искренне признался:

— Я ведь тоже должен был бы утешать вас, славный вы человек... все время грустите.

— Все время, Марсиаль.

— Но... я и жена... мы надеемся, что, когда вы уедете из Парижа... вы успокоитесь...

— Да, — подумав, сказал Поножовщик, невольно вздрогнув, — если я уеду из Парижа...

— Так ведь... мы сегодня вечером уезжаем.

— То есть вы... вы уезжаете сегодня вечером...

— А как же вы, вы что, передумали?

— Нет...

— Так что же?

Поножовщик вновь замолчал, затем с усилием продолжил:

— Послушайте, Марсиаль... Вы, конечно, удивитесь... но лучше я скажу вам все... Если со мной

что-либо случится, то это докажет, что предчувствие меня не обмануло.

— В чем же дело?

— Когда господин Родольф... спросил нас, согласны ли мы вместе поехать в Алжир и жить там по соседству, я не хотел вас обманывать... ни вас, ни вашу жену. Я вам сказал... кем я был...

— Не будем больше об этом говорить, вы уже были наказаны... вы такой хороший, такой славный, храбрый... Но я понимаю, вы предпочитаете жить вдалеке, как и мы... благодаря нашему благодетелю... чем остаться здесь... какими бы зажиточными и честными мы ни были, все равно нас всегда могут попрекнуть, вас — за совершенное злодеяние, которое вы искупили и, однако, в котором вы до сих пор раскаиваетесь... Меня — за преступления моих родителей... а я за них не могу отвечать. Но и для вас и для нас... прошлое есть прошлое... давнее прошлое... Будьте спокойны... мы рассчитываем на вас, а вы можете полагаться на нас.

— Для вас, как и для меня... быть может, прошлое забыто, но, как я уже говорил господину Родольфу... понимаете, Марсиаль... есть кто-то там, высоко... а ведь я убил человека...

— Это большое несчастье; но в тот момент вы

не осознавали, что делаете... вы впали в безумие, вы были словно сумасшедший, и потом, наконец, вы спасли жизнь другим... и эта заслуга должна быть вам зачтена...

— Послушайте, Марсиаль... я вам рассказываю о своем несчастье... вот почему... Когда-то мне часто снился сон... я видел... сержанта, которого убил... Но вот уже давным-давно... сон не повторяется... а сегодня ночью он мне опять приснился...

— Случайность...

— Нет, этот сон предвещает, что сегодня со мной случится несчастье.

— Вы ошибаетесь, мой друг...

— У меня возникло предчувствие, что из Парижа я не уеду...

— Нет, вы заблуждаетесь... Переживаете разлуку с нашим благодетелем... волновались и сегодня, провожая меня в Бисетр... там было страшно... все это подействовало на вас в эту ночь; поэтому и сон... повторился...

Поножовщик грустно покачал головой.

— Сон приснился мне как раз накануне отъезда господина Родольфа... он уезжает сегодня...

— Сегодня?

— Да... вчера я послал к нему рассыльного в отель... боясь пойти туда сам... он запретил мне

являться... Мне сказали, что принц уедет в одиннадцать часов утра... через заставу Шарантон... вот почему, прибыв в Париж... я сразу направлюсь туда... попытаюсь увидеть его... в последний раз... в последний!..

— Он такой добрый, и вполне понятно, что вы любите его.

— Любить его! — с глубоким волнением произнес Поножовщик. — Видите ли, Марсиаль... я готов спать на полу, есть черный хлеб... быть его псом... но быть рядом с ним, я больше ничего не просил... но это слишком... Он не пожелал.

— Господин Родольф был столь великодушен к вам!

— Не за это я так люблю его... а за то, что он во мне признал настоящего человека, честного... Это случилось в то время, когда я вел себя как дикий зверь, презирал себя, как последнюю каналью... а он дал мне понять, что во мне осталось еще что-то хорошее, раз вина искуплена, я раскаялся. Испытывая нужду, я работал вовсю, чтобы честным трудом себя обеспечить... Я никому не делал зла, но все считали меня законченным бандитом, а это не могло меня подбодрить.

— Верно, ведь, чтобы поддержать человека, направить его на истинный путь, достаточно

сказать ему лишь несколько добрых слов, это позволит ему воспрять духом.

— Не так ли, Марсиаль? Вот почему, когда господин Родольф сказал мне такие слова, черт побери, поверьте, мое сердце наполнилось гордостью. С тех пор я готов пройти огонь и воду, лишь бы совершить доброе дело... пусть только представится случай... люди убедятся... и благодаря кому все это?..Благодаря монсеньору Родольфу.

— Раз вы стали настоящим человеком, вы не должны обращать внимание на дурное предчувствие. Ваш сон ничего не означает.

— Потом увидим. Я не желаю несчастья... для меня нет более страшного, чем то, которое уже со мной случилось... Никогда не увижу больше... господина Родольфа! А я надеялся всегда быть при нем... Разумеется, я знал бы свое место; я был бы там, где он, преданный ему душой и телом, всегда готовый... Ну все равно, быть может, он ошибся... Послушайте, Марсиаль, я по сравнению с ним червь земляной... так вот, случается, что самые ничтожные люди оказываются полезными самым великим... Если так случится, я ему никогда не прощу, что он отстранил меня.

— Кто знает, быть может, вы еще встретитесь с ним...

— О нет! Он сказал: «Дорогой мой, ты должен пообещать мне, что не будешь стремиться видеть меня, этим ты окажешь мне большую услугу». Вы понимаете, Марсиаль, я пообещал... и, клянусь, сдержу слово... но это жестоко.

— Как только мы приедем туда, вы успокоитесь. Мы будем работать, будем жить вместе в тиши как добрые фермеры, лишь иной раз обменяемся несколькими выстрелами с арабами... Тем лучше! Нам это подходит, мне и жене; она ведь у меня храбрая, верно?

— Если речь идет о выстрелах, так это мое дело, Марсиаль, — заявил не столь уже удрученный Поножовщик. — Ведь я холостяк, в прошлом — солдат...

— А я — браконьер!

— Но вы... У вас жена и двое детей, которым вы как родной отец... А у меня одна моя шкура... И если она стала непригодной для защиты господина Родольфа, то я ею больше не дорожу. Итак, если придется повоевать, это мое дело.

— Это будет наше общее дело.

— Нет, мое... гром и молния!.. Ко мне, бедуины!

— В добрый час, я рад слышать то, что вы говорите сейчас, а не те ваши слова... Послушай, друг... мы будем жить как братья, и вы сможете

говорить с нами о ваших горестях, если вы еще не перестанете горевать, ведь я тоже страдаю. Я надолго запомню этот день, поверьте... Невозможно видеть свою мать, свою сестру... так, как видел их я... чтобы постоянно не возвращаться к мыслям о них... Мы с вами во многом похожи, поэтому нам будет хорошо вместе. Мы не струхнем перед опасностью, ни вы, ни я, и станем наполовину фермерами, наполовину солдатами... Там есть на кого охотиться... и поохотимся. Если вы пожелаете жить в одиночестве, будете жить у себя, а мы по соседству... или же — вместе. Мы воспитаем детей честными людьми, а вы станете им как бы дядей... потому что мы станем братьями. Подходит вам такая жизнь? — сказал Марсиаль, протягивая руку Поножовщику.

— Да, она мне по душе, дорогой Марсиаль... в конце концов, как говорится, либо тоска меня убьет, либо я ее убью...

— Она вас не убьет... будем стариться там, в нашей пустыне, и всякий вечер будем говорить: «Брат... спасибо господину Родольфу...» Это будет наша молитва за него.

— Послушайте, Марсиаль... вы проливаете бальзам на мою душу.

— В добрый час... а этот дурацкий сон... надеюсь,

вы о нем больше не будете думать?

— Постараюсь.

— Да, вот что!.. Приходите за нами в четыре часа! Дилижанс уходит в пять.

— Договорились... Но вскоре мы прибудем в Париж, я остановлю фиакр, пойду пешком к Шарантонской заставе, там подожду господина Родольфа, посмотрю на него, когда он будет проезжать.

Фиакр остановился, Поножовщик вышел.

— Не забудьте... в четыре... мой дорогой друг, — воскликнул Марсиаль.

— В четыре!..

Поножовщик забыл, что вчера был карнавал; вот почему, когда он проходил по внешней стороне бульвара, чтобы попасть к Шарантонской заставе, он был крайне изумлен, увидев зрелище, странное и отвратительное.

Глава III.
ПЕРСТ БОЖИЙ

Люди выходили из предместья Гласьер, скопляясь на подступах к заставе, чтобы попасть затем на бульвар Сен-Жак, где должна была происходить казнь. Поножовщик невольно был унесен в сторону плотной толпой.

Хотя уже наступил день, вдали раздавалась доносившаяся из харчевен музыка оркестра, в которой особенно выделялись броские звуки корнет-а-пистонов.

Только кисть Калло, Рембрандта или Гойи могла бы передать странный, отвратительный, почти фантастический вид этого сборища. Почти все мужчины, женщины и дети были в старых маскарадных костюмах, а те, которые не смогли позволить себе этой роскоши, облачились в яркие лохмотья; некоторые молодые люди напялили на себя разодранные и заляпанные грязью женские платья; лица у всех были изможденные от разврата и пороков или покрыты пятнами от пьянства и сияли дикой радостью от предвкушения того, что после мерзкой ночной оргии увидят казнь

двух женщин, для которых уже был сооружен эшафот[168].

Грязная и зловонная накипь Парижа, эта огромная толпа состояла из бандитов и проституток, которые добывают свой хлеб насущный преступлениями... и каждый вечер, пресыщенные, возвращаются в свои логова[169].

Внешний бульвар в этом месте сильно суживался, поэтому скопившаяся толпа полностью перекрыла движение. Несмотря на свою атлетическую силу, Поножовщик, стиснутый людской массой, был вынужден остановиться. Он покорился судьбе. Ему сообщили, что принц выехал с улицы Плюме в десять часов, значит он проедет Шарантонскую заставу около одиннадцати, а пока еще не было семи.

Поножовщик часто общался с подонками, из которых состояло это сборище, но в данный момент, находясь среди них, он испытывал непреодолимое отвращение. Наконец ватага дотащила его до одной из харчевен, каких множество на

---

[168] Notes: 168

Казнь Норбера и Депре была в этом году, на третьей неделе великого поста, на следующий день после четверга.

[169] Notes: 169

Как утверждает Фрежье, замечательный историк опасных слоев общества, в Париже существует около 30000 человек, живущих исключительно воровством.

бульварах, и сквозь окна, откуда неслись оглушительные звуки духового оркестра, он невольно увидел необыкновенное зрелище.

В огромном зале, часть которого занимали музыканты, подле столов, заваленных объедками, разбитыми тарелками, опрокинутыми бутылками, дюжина пьяных мужчин и женщин в масках с увлечением танцевала бешеный и непристойный танец, называемый «шаю». Некоторые посетители таких заведений обычно начинают танцевать шаю лишь в конце какого-нибудь празднества, когда муниципальные стражи, следящие за порядком, уже уходят.

Среди отвратительных танцоров, участвовавших в этой сатурналии, Поножовщик обратил особое внимание на две пары, которым усердно аплодировали из-за вызывающей непристойности их движений, жестов и выкриков.

В первой паре танцевал мужчина, замаскированный под медведя. На нем были куртка и штаны из вывороченной черной овчины. Голову медведя, конечно, было бы трудно носить на плечах, поэтому она была заменена чем-то вроде мохнатого капюшона, который целиком закрывал лицо; две прорези на уровне глаз, широкая щель на месте рта позволяли ему видеть, гово-

рить и дышать...

Этот человек в маске, один из заключенных, сбежавших из тюрьмы Форс (среди которых находились также Крючок и двое убийц, арестованных в кабаке у Людоедки в начале нашего рассказа), — Николя Марсиаль, сын и брат двух женщин, эшафот для которых был воздвигнут поблизости... Негодяй поддался уговорам одного из своих товарищей — отпетого бандита, также бежавшего из тюрьмы, и с отчаянной жестокостью, наглым бахвальством появился в маске на карнавале, чтобы насладиться разгулом его последнего дня.

С ним танцевала женщина в костюме маркитантки; на ней была помятая кожаная шляпа неопределенного коричнево-серого цвета, с рваными лентами, нечто вроде старомодного камзола из красного сукна, по-гусарски украшенного тремя радами медных пуговиц, зеленая юбка и панталоны из белого коленкора; ее черные волосы беспорядочно падали на лоб, истощенное и испитое лицо свинцового цвета дышало наглостью и бесстыдством.

Вторая пара танцоров была не менее отвратительна.

Мужчина очень высокого роста в маске Робера

Макера до неузнаваемости измазал сажей свое костлявое лицо, его левый глаз закрывала широкая повязка, а белок правого, выделяясь на фоне почти черного лица, делал его еще более безобразным. Нижняя часть лица Скелета (вы, конечно, его узнали) исчезала в высоком галстуке из старой красной шали. Согласно традиции на нем была изношенная серая шляпа, плоская, грязная и без дна, зеленый фрак в лохмотьях и штаны темно-красного цвета, со множеством заплат, завязанные у лодыжек бечевками; этот убийца виртуозно подчеркивал самые гротескные и циничные па непристойного танца, выбрасывая свои длинные ноги, твердые, как железо, направо, налево, вперед, назад, сгибая и разгибая их с такой силой и упругостью, как будто их приводили в движение стальные пружины.

Достойной его партнершей в этом гнусном зрелище была потаскуха высокого роста, с наглым и пьяным лицом, одетая грузчиком — в полицейской шапке набекрень, натянутой на напудренный парик с длинным хвостом; на ней были куртка и штаны из потертого зеленого бархата, стянутые в талии оранжевым шарфом, концы которого болтались за спиной.

Отвратительная мужеподобная старуха, Лю-

доедка из кабака, сидела на скамейке и держала на коленях клетчатые пальто, принадлежавшие плясуньям, которые соперничали друг с другом в прыжках и бесстыдных позах, танцуя со Скелетом и Николя Марсиалем.

Среди других танцоров выделялся мальчишка, наряженный дьяволом: в черном трико, слишком широком и большом для него, и в коротких красных штанах, на лице у него гримасничала отвратительная зеленая маска. Несмотря на свою хромоту, это маленькое чудовище было необыкновенно ловким; его ранняя развращенность не уступала, а может быть, даже превосходила развращенность его мерзких партнеров; он изощрялся в непристойных прыжках перед толстухой в костюме пастушки, которая взрывами смеха поощряла бесстыдство своего танцора.

Так как никакого обвинения Хромуле (вы также его узнали) не было предъявлено и Краснорукий был на время оставлен в тюрьме, мальчишку, по просьбе отца, приютил Мику, скупщик краденого, живший в Пивоваренном проезде, на которого никто из его сообщников пока не донес.

Мы попытаемся обрисовать и второстепенных действующих лиц этой картины, чтобы представить все, что есть самого низкого, са-

мого постыдного, самого чудовищного в этом гульбище праздного, наглого, кровожадного и безбожного сброда, который становится все более и более враждебным социальному порядку и к которому мы, заканчивая этот рассказ, хотим привлечь внимание мыслителей...

Пусть эта последняя кошмарная сцена послужит предупреждением о неминуемой опасности, непрестанно угрожающей обществу.

Да, стоит задуматься о том, что сплоченность и вызывающее тревогу увеличение этой прослойки воров и убийц — своего рода живой протест против порочности наших репрессивных законов и в особенности — против отсутствия предупредительных мер, превентивного законодательства, широкого распространения учреждений, имеющих целью наблюдение и улучшение с детства нравов этого сборища негодяев, покинутых на произвол судьбы или развращенных ужасающими примерами. Повторяем, эти обездоленные существа, созданные богом не хуже и не лучше других людей, развращаются, безнадежно растлеваются в тине нищеты, невежества и грубости, в которую они попадают с самого рождения.

* * *

Еще более возбужденные смехом, аплодисментами толпы, прильнувшей к окнам, действующие лица этой отвратительной оргии, о которой мы рассказываем, потребовали у оркестра сыграть последний галоп.

Музыканты, жаждущие закончить столь утомительный для их легких концерт, уступили всеобщему желанию и энергично сыграли залихватский и стремительный танец.

При громких звуках духового оркестра возбуждение танцующих удвоилось, все пары обнялись, сдвинулись с места и, следуя за Скелетом и его партнершей, завели адский хоровод, испуская дикие вопли.

Густая пыль, поднятая с пола яростным топотом, образовала рыжеватое облако над водоворотом обнявшихся и бешено вертящихся мужчин и женщин.

Хотя все они были пьяны от вина и от собственных криков, но то было уже не опьянение, а исступление, неистовство; им не хватало места... Скелет, задыхаясь, заорал:

— Посторонитесь!.. К дверям!.. Вываливайте на бульвар...

— Туда... Туда... — закричала толпа, сгрудившаяся у окон, — пройдемся галопом до заставы Сен-Жак!

— Как раз придем вовремя, когда будут укорачивать двух сук!

— Палачу — двойная работа, вот невидаль!

— Под музыку корнет-а-пистонов...

— Мы станцуем кадриль висельников!

— Во главе пойдет женщина без головы! — закричал Хромуля.

— Это развеселит жмуриков.

— Я приглашаю вдову...

— А я — дочку...

— То-то палач порадуется...

— Он попляшет на обрезальной машинке с подручными.

— Смерть стервятникам! Да здравствуют карманники, бандиты! — завизжал Скелет..

Насмешки Скелета, его каннибальские угрозы, сопровождаемые скабрезными песнями, крики, свист, гиканье усилились, когда его шайка создала стремительным натиском широкий проход среди плотной толпы.

Свалка была ужасная, слышны были рев, проклятия, взрывы смеха, и во всем этом не было ничего человеческого.

Внезапно шум достиг апогея благодаря двум обстоятельствам.

Вдалеке, на повороте бульвара, показалась карета с приговоренными в сопровождении кавалерийского эскорта; все сборище кинулось в этом направлении, испуская звериные вопли.

В это время со стороны бульвара Инвалидов к толпе приблизился всадник, галопом скакавший к Шарантонской заставе. На нем была голубая куртка с желтым воротником, обшитая по всем швам двойным серебряным валуном; в знак глубокого траура его штаны и ботфорты были черные, фуражка, также с широкой серебряной полосой, была обвязана черным крепом. На шорах уздечки и хомуте с бубенцами видны были гербы суверенного княжества Герольштейн.

Всадник пустил лошадь шагом, но так как продвигаться ему становилось все труднее, он вынужден был остановиться и оказался в потоке знакомой нам черни. Хотя он кричал «Берегись!» и вел коня с величайшей осторожностью, толпа стала на него кричать, осыпать оскорблениями и угрозами.

— Что он, этот тип, нам на спины, что ли, хочет въехать на своем верблюде?

— Сколько на нем серебра наляпано! — вос-

кликнул из-под зеленой маски Хромуля.

— Если он будет нам мешать, стащим его с седла.

— Давайте спорем галуны с куртки и переплавим их, — кричал Николя.

— А если ты хоть пикнешь, распорем тебе брюхо, холуй ты этакий... — добавил Скелет, обращаясь к гонцу и хватая уздечку лошади; толпа стала такой плотной, что бандит отказался от своего намерения пройтись галопом до заставы.

Всадник, крупный и решительный мужчина, крикнул Скелету, замахнувшись на него рукояткой хлыста:

— Отпусти уздечку, а то дам по роже...

— Ах ты, поганая образина! Ты мне еще угрожаешь?

— Ну и что... я ехал шагом, просил, чтобы посторонились, не задерживали. Прибывает карета его высочества... слышны удары хлыстов... Посторонись...

— А что мне до его высочества! — крикнул Скелет. — Я его укокошу, если захочу, еще ни разу не убивал важных господ... надо попробовать.

— Долой господ! Да здравствует Хартия! — закричал Хромуля, и, напевая стихи из «Парижанки»: «Вперед, пойдем мы против пушек!»,

внезапно схватил ногу всадника, повис на ней всей своей тяжестью, так что тот покачнулся в седле. Эта дерзость была наказана крепким ударом рукояткой хлыста по голове Хромули. Но чернь сразу же с яростью набросилась на всадника; напрасно он вонзал шпоры в бока лошади, чтобы пробиться вперед и ускользнуть, он не смог этого сделать, не смог даже вытащить свой охотничий нож.

Его выбили из седла, повалили на землю, среди криков и свиста всадника несомненно бы убили, если б не подъехала карета Родольфа и не отвлекла на себя тупую злобу негодяев.

Некоторое время карета принца, запряженная четверкой лошадей, продвигалась только шагом, и один из выездных лакеев, в трауре (по случаю кончины Сары), стоявший на запятках, осторожно спустился, держась за дверцу. Кучера кричали: «Берегись!», и карета осторожно продвигалась вперед.

Родольф и его дочь были в глубоком трауре; он смотрел на нее с любовью и нежностью; небольшой капор из черного крепа еще более подчеркивал ослепительную белизну очаровательного лица Лилии-Марии, блеск ее белокурых волос; казалось, что голубое небо этого южного

дня отражалось в ее больших глазах, лазурь которых никогда еще не была такой прозрачной и обворожительной...

Когда отец смотрел на Лилию-Марию, она нежно улыбалась, и лицо ее выражало спокойствие и счастье, но когда он отводил взор, оно становилось задумчивым, с оттенком какой-то затаенной грусти.

— Ты на меня не сердишься, что я рано тебя разбудил... хотел выехать заблаговременно, — проговорил Родольф, улыбаясь.

— О нет, отец, сегодня такое прекрасное утро.

— Видишь ли, я решил, что наше путешествие будет более интересным, если мы отправимся пораньше... и ты не так устанешь... Мэрф, мои адъютанты и карета с твоими служанками присоединятся к нам на первой остановке, где ты сможешь отдохнуть.

— Мой добрый отец, это из-за меня... это я всегда доставляю вам столько хлопот...

— О мадемуазель... не упрекайте меня... я не могу думать ни о чем другом... — проговорил принц, улыбаясь; затем с глубоким чувством продолжал: — Я так тебя люблю..... Позволь поцеловать...

Мария наклонилась к отцу, Родольф поцеловал ее очаровательный лоб.

Это произошло в тот момент, когда карета подъехала к толпе и потому стала продвигаться очень медленно. Родольф, удивленный, опустил стекло и по-немецки спросил у шедшего рядом лакея:

— Ну что там, Франц?.. В чем дело? Что за шум?

— Ваше высочество, огромная толпа, лошади не могут проехать.

— А почему собралась толпа?

— Ваше высочество...

— Ну?

— Ваше высочество...

— Говори же!

— Ваше высочество... только что услышал: говорят, там сейчас на площади казнят...

— Это ужасно! — воскликнул Родольф, откидываясь в глубину кареты.

— Что с вами, отец? — с беспокойством спросила Мария.

— Ничего... ничего... моя девочка.

— Но угрожающие крики... Слышите? Они приближаются... Боже мой, что же это такое?

— Франц, прикажи кучерам повернуть и ехать до Шарантона по другой дороге... — сказал Родольф.

— Ваше высочество, слишком поздно... мы уже среди толпы... Лошадей остановили... опасные

люди...

Лакей не мог больше говорить. Ватага, готовая на все, подстрекаемая кровожадным бахвальством Скелета и Николя, внезапно с воплями окружила карету. Несмотря на сопротивление и угрозы кучеров, лошадей остановили, и Родольф увидел сквозь дверцы кареты ужасные, беснующиеся, угрожающие лица, среди которых был и Скелет; бандит подошел к дверце.

— Отец, берегитесь! — закричала Мария, обнимая Родольфа.

— Вы-то и будете высочество? — проговорил Скелет, просовывая свою безобразную морду в карету.

Если бы с ним не было дочери, Родольф при такой наглости дал бы волю своему гневу, но сейчас он сдержанно ответил:

— Что вам угодно?.. Почему вы нас останавливаете?

— А вот так, захотел и остановил, — ответил Скелет, положив свои костлявые руки на край дверцы. — Всему свой черед... Вчера ты давил негодяев... сегодня негодяи уничтожат тебя, попробуй только пошевельнуться.

— Отец... мы пропали! — прошептала Мария.

— Успокойся... я понимаю... — сказал принц,

— сегодня последний день карнавала... Эти люди пьяны... я от них отделаюсь.

— Надо заставить его выйти... вместе со своей шлюхой, — кричал Николя, — как они смеют давить нас, бедных людей!

— Мне кажется, вы изрядно выпили и хотите повторить, — проговорил Родольф, вытаскивая из кармана кошелек. — Держите... вот вам... не задерживайте больше карету. — И он бросил им кошелек.

Хромуля схватил его на лету.

— Вот как! Ты собрался путешествовать, карманы-то у тебя полные; а ну не скупись, а не то прикончу. Мне терять нечего... Я требую — среди бела дня — жизнь или кошелек... Вот комедия! — орал пьяный Скелет в кровожадном возбуждении.

И он рывком открыл дверцу кареты.

Терпение Родольфа истощилось; беспокоясь за Марию, которую все более охватывал ужас, и думая, что решительные действия испугают пьяного негодяя, он выскочил из кареты, чтобы схватить Скелета за горло... Тот быстро ускользнул, вытащил из кармана кинжал и бросился на Родольфа.

Мария, увидев кинжал бандита, занесенный

над ее отцом, пронзительно закричала, вышла из кареты и обхватила руками отца...

И ей и Родольфу пришел бы конец, если бы не Поножовщик, который в начале этой схватки узнал ливрею принца и сумел ценой нечеловеческих усилий пробиться к Скелету.

В тот момент, когда бандит замахнулся на принца ножом, Поножовщик одной рукой удержал его руку, а другой схватил его за шиворот и отбросил назад.

Пораженный неожиданным нападением сзади, Скелет успел обернуться, узнал Поножовщика и воскликнул:

— А, это ты, гад, давно ли из тюрьмы... на этот раз не уйдешь!

Он яростно кинулся на Поножовщика и пронзил его грудь кинжалом... Поножовщик... зашатался, но не упал... поддержали люди.

— Идет стража! Там стража! — раздались несколько испуганных голосов.

Тут вся плотная масса людей — свидетелей убийства Поножовщика, опасаясь быть замешанной в преступлении, рассеялась, как по волшебству, разбежавшись в разные стороны...

Скелет, Николя Марсиаль и Хромуля также исчезли...

Подошел караул в сопровождении курьера — ему удалось улизнуть в тот момент, когда толпа бросила его и окружила карету принца; на арене этой мрачной сцены остались лишь Родольф, его дочь и залитый кровью Поножовщик.

Два выездных лакея принца посадили его на землю и прислонили к дереву.

Все это произошло мгновенно, невдалеке от харчевни, откуда вышли Скелет и его шайка.

Принц, бледный и взволнованный, обнимал потерявшую сознание Марию; кучера приводили в порядок сбрую, порванную во время этой свалки.

— Поторопитесь, — приказал принц слугам, помогавшим Поножовщику, — перенесите его в харчевню... А ты, — обратился он к кучеру, — во весь опор скачи в гостиницу к доктору Давиду; он там будет до одиннадцати часов... ты застанешь его в гостинице.

Минуту спустя лошади понеслись галопом, а двое слуг перенесли Поножовщика в подвал, где происходила оргия и где теперь еще оставались несколько женщин, принимавших в ней участие.

— Бедная моя девочка, — обратился Родольф к дочери, — я устрою тебя в этом доме... там ты меня подождешь... не могу доверять лакеям жизнь

смелого человека — моего спасителя.

— Отец! Прошу вас... — испуганно воскликнула Мария, схватив Родольфа за руку, — не оставляйте меня... Я умру от страха... пойду с вами.

— Тебе будет тяжело смотреть!

— Ведь благодаря ему вы будете жить для меня, отец... позвольте хотя бы вместе с вами повидать вашего друга. Облегчить его муки.

Принц колебался: он понял, что Мария панически боится остаться одна в этом вертепе, ему пришлось взять ее с собой в комнату, где находился Поножовщик.

Хозяин харчевни с находившимися здесь женщинами (среди них была и Людоедка из кабака) положили раненого на матрас и пытались остановить кровотечение, обернув рану полотенцем.

Когда Родольф вошел, Поножовщик открыл глаза. Он увидел принца, смертельно бледные черты его лица немного оживились... он страдальчески улыбнулся и слабым голосом произнес:

— Господин Родольф!.. Какое счастье, что я оказался рядом!

— Мой преданный друг, — взволнованно проговорил принц, — ты опять меня спас...

— Я хотел пойти к Шарантонской заставе... чтобы увидеть, как вы уезжаете... к счастью, меня

задержали люди... так и должно было случиться... я об этом сказал Марсиалю... у меня было предчувствие...

— Предчувствие!..

— Да, господин Родольф... сон про сержанта... сегодня ночью он мне снился...

— Забудьте об этом... надейтесь... ваша рана не смертельна...

— Вряд ли... Скелет здорово меня пырнул... Все равно, я был прав... когда сказал Марсиалю, что такой земляной червяк, как я, иногда может быть... полезен... такому великому мужу, как вы...

— Я обязан вам жизнью... жизнью...

— Мы в расчете, господин Родольф... вы сказали мне, что я человек храбрый, честный... эти слова для меня... видите ли... задыхаюсь... Ваше высочество... я не смею вам приказывать, но, прошу вас, окажите честь... подайте вашу руку... я чувствую, что умираю...

— Нет, это невозможно, — воскликнул принц, наклонившись к Поножовщику и держа холодную руку умирающего, — нет... вы будете жить... будете жить...

— Господин Родольф, есть что-то в небесах... Я поразил человека мечом... и теперь умираю от удара меча, — сказал он все более слабеющим

голосом.

В это мгновение его взгляд остановился на Лилии-Марии, которую он только что заметил. На его лице отразилось удивление, он шевельнулся и прошептал:

— Боже мой!.. Певунья...

— Да... моя дочь... она вас благословляет, вы сохранили ей отца.

— Ваша дочь здесь... это напоминает мне наше знакомство, господин Родольф... можно ударить кулаком до смерти, но и этот удар... тоже смертельный... я получил свое...

Поножовщик тяжело вздохнул и запрокинул голову... Он был мертв.

На улице послышался топот лошадей; карета Родольфа встретила карету Мэрфа с Давидом, которые спешили к принцу.

Давид и Мэрф вошли в дом.

— Давид, — обратился Родольф, вытирая слезы и показывая на Поножовщика, — неужели нет надежды?

— Никакой, ваше высочество, — ответил врач после беглого осмотра.

Именно в это время произошла безмолвная сцена между Лилией-Марией и Людоедкой... которую Родольф не заметил.

Когда Поножовщик произнес имя Певуньи, Людоедка быстро подняла голову и увидела Марию.

Ужасная женщина сразу узнала Родольфа; его величали высочество... он называл Певунью своей дочерью... Подобное превращение ошеломило Людоедку, и она упрямо и тупо смотрела на свою прежнюю жертву...

Мария, бледная и испуганная, казалось, была околдована этим взглядом.

Смерть Поножовщика, неожиданная встреча с Людоедкой еще мучительнее, чем когда-либо, пробудили в ней воспоминание о первом ее падении и показались ей мрачным предзнаменованием.

В этот момент у Лилии-Марии возникло одно из тех предчувствий, которые часто имеют неодолимое влияние на таких людей, как она.

Вскоре после столь печальных событий Родольф и его дочь навсегда покинули Париж.

Эпилог

Глава I.
ГЕРОЛЬШТЕЙН

Принц Генрих д'Эркаузен-Олденцааль графу Максимилиану Каминецу

«Олденцааль, 25 августа 1840[170].

Я только что прибыл из Герольштейна, где провел три месяца в обществе великого герцога и его семьи; надеялся найти здесь письмо, извещающее о вашем приезде в Олденцааль, дорогой Максимилиан. Судите же о моем удивлении и огорчении, когда я узнал, что вы задержитесь в Венгрии еще на несколько недель.

В течение четырех месяцев я не мог вам писать, потому что не знал вследствие вашего оригинального способа путешествовать с приключениями, по какому адресу отправить письмо, хотя в Вене вы мне обещали, когда мы расставались,

---

[170] Notes: 170

Напомним читателю, что приблизительно пятнадцать месяцев тому назад Родольф покинул Париж через заставу Сен-Жак после убийства Поножовщика.

что наверняка будете 1 августа в Олденцаале.

Стало быть, я лишен удовольствия видеть вас, однако же теперь, как никогда, мне необходимо излить вам душу, дорогой Максимилиан, мой самый старый друг, потому что, хотя мы и очень молоды, но дружба наша началась еще в детстве.

Что мне сказать вам? За три месяца во мне произошла разительная перемена...

Настал тот момент, который решает вопрос о существовании человека... Судите сами, как мне необходимо ваше присутствие, ваши советы! Я не долго буду ждать вас, как важно бы для вас ни было оставаться в Венгрии; вы приедете, Максимилиан, приедете, я вас заклинаю, так как мне, конечно, будут необходимы ваши утешения... а я не могу приехать за вами. Мой отец, здоровье которого становится все более шатким, вызвал меня из Герольштейна. Он слабеет с каждым днем; я не могу его покинуть...

Мне нужно столь многое поведать вам, что буду многословным; я должен рассказать вам о самом важном, о самом

романтическом периоде моей жизни...

Удивительная и печальная случайность! В течение всего этого периода мы роковым образом оказались далеко друг от друга, это мы-то — неразлучные, мы — братья, самые ревностные апостолы трижды святой дружбы; наконец, мы, которые доказали (и гордимся этим), что Карлос и Поза нашего Шиллера не вымышленные идеалисты и что так же, как эти божественные создания великого поэта, мы умеем наслаждаться пленительными радостями нежной взаимной привязанности!

О мой друг, почему вас нет здесь! Почему вас не было тогда! Вот уже три месяца мое сердце переполняет радостное и невыразимо грустное волнение. А я был одинок и остаюсь в одиночестве... Пожалейте меня, ведь вы знаете мою чрезмерную чувствительность, вы, который часто видел слезы у меня на глазах, когда я слушал рассказ о великодушном поступке, или просто смотрел на прекрасный закат солнца, или наблюдал в тихую летнюю ночь звездное небо! Помните, в

прошлом году во время нашей прогулки среди руин Оппенфельда... на берегу большого озера... наши безмолвные мечтания в тот чудный вечер, полный покоя, поэзии и безмятежности.

Странный контраст!.. Это было за три дня до кровавой дуэли, когда я не захотел приглашать вас в качестве секунданта, потому что мне было бы слишком больно за вас, если б я был ранен на ваших глазах... Дуэли, на которой мой секундант из-за карточной ссоры, к несчастью, убил этого молодого француза, виконта де Сен-Реми... Кстати, не знаете ли вы, что сталось с опасной обольстительницей, которую де Сен-Реми привез в Оппенфельд и которую, кажется, звали Сесили Давид?

Друг мой, вы, должно быть, улыбаетесь, жалея меня, потому что я блуждаю средь смутных воспоминаний минувшего, вместо того чтобы прямо перейти к тем важным признаниям, о которых я вас оповестил; дело в том, что я невольно откладываю эти признания; мне знакома ваша строгость, и я боюсь, что вы станете

бранить меня, да, бранить, ибо, вместо того чтобы действовать рассудительно (увы, с мудростью юнца в возрасте двадцати одного года), я действовал неразумно либо вообще никак не действовал... а слепо плыл по воле волн... и лишь по возвращении из Герольштейна я, так сказать, пробудился после чарующего сна, которым наслаждался в течение трех месяцев. И это пробуждение оказалось мрачным.

Ну вот, мой друг, мой дорогой Максимилиан, я набираюсь храбрости. Слушайте меня снисходительно... Я начинаю, опустив глаза и не смея взглянуть на вас... ибо, когда вы будете читать эти строки, вы нахмуритесь, станете суровым... вы, непоколебимый человек.

Получив шестимесячный отпуск, я уехал из Вены и некоторое время прожил здесь, у отца, тогда он чувствовал себя хорошо, он посоветовал мне навестить мою любимую тетку Юлиану, настоятельницу Герольштейнского аббатства. Кажется, я говорил вам, что моя бабушка была двоюродной сестрой деда нынеш-

него великого герцога, а этот последний, Густав Родольф, благодаря нашему родству, всегда благосклонно называл нас (меня и отца) кузенами. Я полагаю, вам известно, что на время довольно длительного путешествия герцога во Францию он поручил моему отцу управлять великим герцогством.

Вы, надеюсь, уверены, что я сообщаю вам об этом обстоятельстве не из тщеславия, а лишь для того, чтобы объяснить вам, почему я так близко общался с великим герцогом и его семьей во время моего пребывания в Герольштейне.

Помните ли вы, что в прошлом году, во время нашего путешествия по берегам Рейна, нам сообщили, что герцог увиделся во Франции с графиней Мак-Грегор и женился на ней in extremis, чтобы узаконить свою дочь, родившуюся во время их тайного союза, который распался вследствие нарушения брачных формальностей и в силу того, что брак состоялся без согласия правившего тогда великого герцога.

Эта девушка, таким образом торже-

ственно признанная, и есть очаровательная принцесса Амелия[171], о которой нам рассказывал зимой в Вене лорд Дадлей, видевший ее в Геролыптейне год тому назад. Он говорил о ней с таким восторгом, что мы сочли его суждение преувеличенным... Удивительная случайность... кто мог сказать мне тогда!!!

Но, хотя вы теперь, конечно, почти угадали мою тайну, позвольте мне повествовать о событиях последовательно, не забегая вперед.

Монастырь св. Германгильды, настоятельница которого моя тетка, расположен невдалеке от Герольштейна, ибо парк аббатства доходит до предместий города; тетушка предоставила мне совершенно изолированный от монастыря дом; вы ведь знаете, что она меня любит с материнской нежностью.

В день моего приезда она сообщила мне, что на завтра назначен торжественный прием и празднество при дворе; великий герцог должен официально объ-

[171] Notes: 171

Имя Мария вызывало у Родольфа и его дочери печальные воспоминания, поэтому он дал ей имя Амелии, одно из имен его матери.

явить о своей предстоящей женитьбе на маркизе д'Арвиль, недавно прибывшей в Герольштейн в сопровождении своего отца графа д'Орбиньи[172].

Одни порицали принца, избравшего на этот раз невесту не царствующей семьи (покойная герцогиня, первая жена принца, принадлежала к Баварской династии); другие, напротив, и в том числе моя тетка, поздравляли его с тем, что он предпочел браку, связанному с династическими интересами, союз с молодой прелестной женщиной, которую он обожал и которая принадлежала к высшей аристократии Франции.

Впрочем, знайте, дорогой друг, что моя тетка всегда питала к великому герцогу Родольфу самую глубокую привязанность; как никто другой она могла оценить его исключительные достоинства.

— Дорогой мой, — сказала она мне по поводу этого торжественного приема, где

---

[172] Notes: 172

Напомним читателю, чтобы этот рассказ был правдоподобным, что последняя царствовавшая принцесса Курляндская, женщина исключительно умная, замечательного характера и искренней сердечности, была мадемуазель де Медэм.

на следующий день я должен был присутствовать, — самое чудесное из того, что вы увидите на этом празднике, — это, бесспорно, жемчужина Герольштейна.

— О ком вы говорите, милая тетушка?

— О принцессе Амелии...

— Дочери великого герцога? В самом деле, лорд Дадлей описывал в Вене ее красоту с таким воодушевлением, что мы сочли это поэтическим преувеличением.

— Люди моего возраста, с моим характером и в моем положении, — возразила тетушка, — редко поддаются экзальтации; вот почему вы должны верить в беспристрастность моего суждения, мой дорогой. Ну так вот, уверяю вас, что в своей жизни я никогда не встречала никого очаровательнее принцессы Амелии. Я могла бы говорить о ее ангельской красоте, если бы она не обладала невыразимым шармом, превосходящим любую красоту. Представьте себе чистоту, достоинство и грациозную скромность. С первого же дня, когда меня представил ей великий герцог, я почувствовала к молодой принцессе невольную симпатию. Да и не

только я; эрцгерцогиня София, которая вот уже несколько дней гостит в Герольштейне, эта самая гордая и надменная принцесса, какую я только знаю...

— Вы правы, ирония этой особы язвительна, лишь немногие могут избежать ее колких шуток. В Вене ее боятся как огня... Неужели она пощадила принцессу Амелию?

— Однажды она приехала сюда после того, как посетила приют, которому покровительствовала юная принцесса. «Знаете что? — обратилась ко мне грозная эрцгерцогиня со свойственной ей резкой откровенностью, — у меня склонность ко всему подходить с сарказмом, не правда ли? Так вот, если бы я подольше пожила с дочерью великого герцога, я превратилась бы, уверена в этом, в безобидное существо... так проникновенна ее доброта и так она заразительна».

— Стало быть, моя кузина чародейка? — улыбаясь, спросил я тетушку.

— По моему мнению, самое привлекательное в ней — сочетание нежности, скромности и достоинства, о чем я уже го-

ворила вам; все это придает ее ангельскому лицу самое трогательное выражение.

— Конечно, тетушка, скромность — редкостное качество у такой молодой, красивой и счастливой принцессы.

— Подумайте еще и о том достоинстве принцессы Амелии, что она нисколько не кичится своим высоким званием, по праву ей принадлежащим, хотя она возвысилась сравнительно недавно[173].

— А в разговоре с вами, дорогая тетушка, не проскользнул ли какой-либо намек на ее прежнюю жизнь?

— Нет, но когда, несмотря на свой солидный возраст, как и подобает, я разговаривала с ней почтительно, потому что ее высочество дочь нашего государя, ее наивное смущение, признательность и уважение глубоко растрогали меня, ибо сдержанность в сочетании с благородной обходительностью убедили меня в том, что ее положение в настоящем не ослепляет ее настолько, чтоб забыть прошлое; и она воздала должное моему возрасту

[173] Notes: 173

Прибыв в Германию, Родольф сказал, что Лилия-Мария, которук считали давно погибшей, никогда не покидала свою мать, графиню Сару.

так же почтительно, как я отнеслась к ее званию.

— Конечно, надо обладать особым тактом, — сказал я тетушке, — чтобы соблюдать эти столь тонкие нюансы.

— Вот почему, мой милый, чем чаще я встречаюсь с принцессой Амелией, тем больше подтверждается мое первое впечатление. Со времени своего приезда она совершила невероятное количество добрых дел, причем продуманно, зрело и разумно рассуждая, что крайне удивляет меня у такой юной девушки. Судите сами: по ее просьбе великий герцог основал в Герольштейне приют для девочек-сирот пяти-шести лет и для одиноких девушек шестнадцати лет, возраста рокового для этих несчастных, которых ничто не спасает от соблазнов порочной жизни или от тяжелой нужды. Воспитывают их монахини моего аббатства. Я часто посещаю этот приют и могу судить о том обожании, которое питают эти бедные, всего лишенные существа к принцессе Амелии. Каждый день она проводит несколько часов в этом заведении, находящемся под ее

личным покровительством; и, повторяю, там не только благодарны ей и обожают ее, но и дети и монахини фанатически ей преданы.

— Так, значит, принцесса — просто ангел, — сказал я.

— Да, ангел, ведь вы не можете себе представить, с какой трогательной добротой относится она к своим воспитанницам, какой благочестивой заботой она их окружила. Я никогда не встречала такой деликатности в обращении с несчастными душами, можно сказать, что непреодолимая симпатия привлекает принцессу к судьбе этих бедных, покинутых существ. Наконец, поверите ли вы, что она, дочь государя, иначе не называет этих девушек, как «мои сестры».

При этих словах тетушки, признаюсь вам, Максимилиан, на глазах у меня появились слезы. В самом деле, разве поведение юной принцессы не святое и не прекрасное? Вы знаете мою искренность, клянусь вам, что я почти буквально передаю и буду передавать слова моей тетушки...

— Раз принцесса столь обворожительна, — сказал я ей, — меня охватит сильное волнение, когда я буду ей представлен, — ведь вам известна моя непреодолимая робость; возвышенный характер значит для меня больше, чем высокий ранг, и я заранее убежден, что покажусь принцессе глупым и застенчивым.

— Полноте, дитя мое, — возразила тетушка, улыбаясь, — она вас пожалеет, тем более что она уже знакома с вами.

— Со мной?

— Несомненно.

— Каким образом?

— Вы помните, когда вам было шестнадцать лет, вы покинули Олденцааль, чтобы совершить вместе с отцом путешествие по России и Англии; я заказала художнику ваш портрет в костюме, в котором вы были на балу, состоявшемся у ныне почившей великой герцогини.

— Да, тетушка, в костюме немецкого пажа шестнадцатого века.

— Наш известный художник Фриц Моккер, верно передав ваши черты, не только смог воссоздать ваш облик, но, следуя

своему капризу, повторил старинную манеру письма и даже придал всей картине старинный вид. Некоторое время спустя после приезда в Германию Амелия пришла со своим отцом повидать меня; заметив ваш портрет, она наивно спросила, чье это очаровательное лицо на картине. Ее отец улыбнулся, сделал мне знак молчать и ответил ей: «Это портрет одного из наших кузенов, которому исполнилось бы теперь, как это видно по костюму, моя дорогая Амелия, лет триста, но он, несмотря на свою молодость, уже доказал, что обладает редким мужеством и добрым сердцем; в самом деле, не чувствуется ли на этом портрете смелость во взгляде и доброта в улыбке?»

Умоляю вас, Максимилиан, не пожимайте плечами с нетерпеливым презрением, видя, что я пишу такие вещи о себе; мне самому это нестерпимо, вы должны поверить; но продолжение рассказа убедит вас, что эти наивные подробности, смехотворность которых я с горечью чувствую, к несчастью, необходимы. Я закрываю эти скобки и продолжаю.

— Принцесса Амелия, — продолжала тетушка, — поверив в эту невинную шутку, согласилась с отцом, что у вас было доброе и в то же время гордое выражение лица. Позже, когда я посетила ее в Герольштейне, она спросила меня, улыбаясь, как поживает ее кузен из далекого прошлого. Тогда я призналась ей в том, что мы пошутили, и сказала, что красавец паж шестнадцатого века не кто иной, как мой племянник принц Генрих д'Эркаузен-Олденцааль, ему двадцать один год, что он капитан гвардии его величества императора Австрии и во всем, за исключением костюма, похож на свой портрет. При этих словах принцесса Амелия покраснела и снова стала серьезной, какой она бывает обычно. С тех пор она никогда не заговаривала со мной о портрете. Тем не менее, вы убедились, мой милый, что не будете чужим или новым лицом для вашей кузины, как говорит великий герцог. Итак, успокойтесь и поддержите честь вашего портрета, — улыбаясь, добавила тетушка.

Этот разговор, как я уже сказал вам,

дорогой Максимилиан, происходил накануне того дня, когда я должен был предстать перед принцессой, моей кузиной. Я простился с теткой и вернулся домой.

Я никогда не скрывал от вас своих тайных мыслей, хороших или дурных, и потому должен вам признаться, что после беседы с тетушкой я отдался нелепым и безумным мечтам».

Глава II.
ГЕРОЛЬШТЕЙН

Принц Генрих д'Эркуазен-Олденцааль
графу Максимилиану Каминецу.
«Олденцааль, 25 августа 1840 г.

Вы не раз говорили мне, дорогой Максимилиан, что я лишен какого бы то ни было тщеславия; я вам верю и должен верить, если буду продолжать свой рассказ, полагая, что не покажусь вам высокомерным.

Оставшись наедине с собой и вспоминая наш разговор с теткой, я с тайным удовольствием подумал, что Амелия, заметив мой портрет, написанный шесть или семь лет тому назад, несколько дней спустя в шутку спрашивала, как поживает ее кузен из старинных времен.

Признаюсь, глупо было основывать самую малую надежду на таком незначительном обстоятельстве, но, как я уже сказал, буду с вами совершенно откровенен: это незначительное обстоятельство

меня восхитило. Несомненно, похвалы, расточаемые принцессе такой серьезной и строгой женщиной, как моя тетка, еще более возвысили принцессу в моих глазах, сделали меня особенно чувствительным к вниманию, оказанному ею мне или, вернее, моему портрету. Тем не менее я должен сказать: это внимание пробудило во мне столь безумные надежды, что ныне, более спокойно вспоминая прошлое, я сам удивляюсь, как мог я увлечься такими мыслями, которые неумолимо привели меня на край пропасти.

Хотя я в родстве с великим герцогом и был всегда им обласкан, мне не пристало питать ни малейшей надежды жениться на его дочери, если бы даже она меня не отвергла, что крайне вероятно. Наша семья достойно поддерживает свою родословную, но она бедна, если сравнить ее состояние с громадным состоянием великого герцога, самого богатого принца Германского союза; к тому же мне едва минуло двадцать один год, я был простым гвардейским капитаном, без особой

известности и положения, короче говоря, великий герцог не намеревался сделать меня женихом своей дочери.

Все эти размышления должны были удержать меня от страсти, которую я в то время не испытывал, но уже в какой-то мере предчувствовал. Увы! Напротив, я предавался наивным мечтам, носил кольцо, подаренное мне Теклой, добросердечной графиней, которую вы знаете; хотя этот залог легкомысленной мимолетной любви ничем меня не стеснял, я героически пожертвовал им во имя нарождающегося чувства, и бедное кольцо исчезло в быстрых водах реки, протекающей под моими окнами.

Бесполезно говорить вам, как я провел ночь, вы об этом догадываетесь. Мне было известно, что принцесса блондинка ангельской красоты; в своем воображении я пытался представить себе ее черты, ее фигуру, ее осанку, тембр ее голоса, выражение ее глаз; затем, размышляя о моем портрете, который она заметила, я с огорчением вспомнил, что проклятый художник весьма польстил мне; кроме

того, я с отчаянием сравнивал живописный костюм пажа шестнадцатого века со строгой формой капитана гвардии его императорского величества. Эти глупости порой сменялись, я вас уверяю, мой друг, великодушными мыслями, возвышенными порывами души; я чувствовал, что волнуюсь, да, глубоко волнуюсь при воспоминании о восхитительной доброте принцессы Амелии, которая, как об этом поведала мне моя тетя, называла несчастных покинутых девушек своими сестрами и была их покровительницей.

Наконец, удивительный и необъяснимый контраст! Вам известно, что я самого скромного мнения о себе... и тем не менее я был довольно тщеславным, предположив, что мой портрет поразил воображение принцессы; рассудком я понимал, что нас навсегда разделяет непреодолимая граница, и, однако же, с глубокой тревогой задавал себе вопрос: неужели ей больше понравился портрет, нежели понравлюсь я сам? Наконец, я ее никогда не видел, был заранее убежден, что едва ли она меня заметит... и тем не

менее считал, что вправе пожертвовать в ее честь залогом моей первой любви.

Я провел ночь и утро в ужасном волнении. Час приема наступил. Я переменил два или три мундира, считая их скверно сшитыми, и отправился во дворец великого герцога весьма недовольный собой.

Хотя Герольштейн находится в четверти лье от аббатства св. Германгильды, в течение этого короткого пути на меня нахлынуло множество мыслей, все глупости, недавно так занимавшие меня, исчезли, и в сознании возникла серьезная, печальная, почти угрожающая мысль, моей душой овладело непобедимое предчувствие, что наступает один из тех кризисов, которые определяют судьбу человека; я интуитивно почувствовал, что должен полюбить, полюбить страстно, полюбить так, как любят в жизни только один раз; и что эта любовь, столь возвышенная и достойная, должна стать для меня роковой.

Эти размышления так меня встревожили, что я принял вдруг мудрое решение остановить экипаж, возвратиться в аб-

батство и уехать к отцу, попросив тетю передать великому герцогу мои извинения за внезапный отъезд.

К несчастью, одна из тех простых случайностей, последствия которых иногда бывают огромны, помешала мне осуществить мое намерение. Когда моя карета остановилась на аллее, ведущей к дворцу, я собрался было приказать слугам повернуть обратно, как вдруг барон и баронесса Коллер, которые, как и я, направлялись во дворец, заметили меня и остановили свой экипаж. Барон, видя, что я в мундире, обратился ко мне: «Не смогу ли я оказать вам услугу, дорогой принц? Что у вас случилось? Вы направляетесь во дворец? Переходите к нам, раз ваши лошади заупрямились».

Я легко мог бы, не правда ли, мой друг, найти предлог отказаться от приглашения барона и вернуться в аббатство. Так вот, то ли по малодушию, то ли из тайного желания отменить только что принятое спасительное решение, я, смущаясь, ответил барону, что приказал кучеру узнать у ворот, следует ли въезжать через новый

павильон или через мраморный двор. «Въезжают через мраморный двор, мой дорогой, — ответил барон, — потому что предстоит торжественный прием. Скажите своему кучеру, чтоб он следовал за моим экипажем, я укажу вам путь».

Вам известно, Максимилиан, что я убежденный фаталист; я хотел возвратиться в аббатство, чтоб избежать горестей, которые предчувствовал; судьба воспротивилась этому, и я отдался ее воле. Вы были во дворце великого герцога Герольштейна? По словам тех, кто посещал столицы Европы, нет королевской резиденции, которая при подъезде к ней являла бы более величественный вид, за исключением Версаля. Если я вхожу в подробности на эту тему, то лишь потому, что, вспоминая сейчас о всем этом внушительном великолепии, я удивляюсь, почему оно не напомнило мне о моем ничтожестве; ибо ведь принцесса Амелия была дочерью хозяина этого дворца, этой стражи, этих сказочных богатств.

Мраморный двор, образующий полукруг, назван так потому, что за исклю-

чением огибающей его широкой дороги, где проезжают экипажи, он выложен разноцветным мрамором, образующим великолепную мозаику, в центре которой сооружен огромный бассейн, облицованный горными породами и обильно питаемый водой, постоянно падающей с широкой раковины из порфира.

Этот нарядный двор окружен рядом статуй, прекрасно изваянных из белого мрамора; они держат бронзовые подсвечники, откуда распространяются волны ослепительного газового света.

Статуи перемежаются с вазами Медичи, возвышающимися на лепных цоколях, в них растут огромные олеандры, настоящие цветущие кусты с блестящей листвой, сверкающей металлической зеленью. Экипажи остановились у лестницы. Двойной ряд перил с балясинами вел ко входу во дворец, у подножья этой лестницы стояли на страже два всадника на черных конях из гвардейского полка герцога, который выбирает эту стражу среди самых высоких унтер-офицеров своей армии. Вы, друг мой, который так

любит воинов, вы были бы поражены суровой воинственной осанкой этих двух великанов! Их кольчуга и стальной шлем античного профиля, без гребня и гривы, сверкали на свету; на всадниках был синий мундир с желтым воротником, брюки из белой замши и сапоги выше колен. Наконец, для вас, мой друг, который так любит детали военной формы, добавлю, что на верху лестницы, по обеим сторонам дверей, стояли на часах два гренадера пехотного полка гвардии великого герцога. Их форма, кроме цвета мундира и отворотов, походила, как мне сказали, на форму наполеоновских гренадеров.

Пройдя вестибюль, где с алебардами в руках стояли ливрейные швейцары принца, я поднялся по мраморной лестнице, ведущей в портик, украшенный колоннами из яшмы, над которыми возвышался раскрашенный и позолоченный купол. Там вытянулись два ряда выездных лакеев. Затем я вошел в приемный зал, здесь у дверей всегда находились камергер и адъютант, которые должны

были сопровождать к его королевскому высочеству лиц, имевших право быть лично ему представленными. Я, хотя и дальний родственник, был удостоен этой чести. Меня сопровождал адъютант. Идти пришлось через длинную галерею, заполненную кавалерами в военных и придворных мундирах и дамами в роскошных туалетах.

В то время как я медленно пробирался сквозь эту нарядную толпу, я услышал несколько слов, еще усиливавших мое волнение: со всех сторон восхищались божественной красотой принцессы Амелии, очаровательными чертами маркизы д'Арвиль, поистине царственной осанкой великой герцогини Софии, которая недавно прибыла из Мюнхена с великим герцогом Станиславом и вскоре должна была вернуться в Варшаву; но, отдавая должное достоинствам великой герцогини, изысканной грации маркизы д'Арвиль, все, однако же, признавали, что нет более чарующего существа, нежели принцесса Амелия.

По мере того как я приближался к ме-

сту, где сидели великий герцог и его дочь, сердце мое билось все сильнее. Когда я входил в этот салон (я забыл сказать, что при дворе в тот день давали бал и концерт), прославленный Лист только что сел за рояль, вот почему негромкие разговоры сменились полной тишиной. Ожидая окончания пьесы, как всегда превосходно исполняемой великим артистом, я остановился у двери. Вот тогда, мой дорогой Максимилиан, я впервые увидел принцессу Амелию. Позвольте мне описать эту сцену, ибо я с невыразимым, несказанным очарованием вспоминаю об этой встрече.

Представьте себе, мой друг, просторный обширный салон, обставленный с королевской роскошью, залитый светом, стены которого обтянуты малиновым шелком с рельефным золотым рисунком листвы. В первом ряду в больших позолоченных креслах сидели герцогиня София, принц радушно принимал ее в своем дворце, по левую сторону от нее маркиза д'Арвиль, а по правую — принцесса Амелия; позади великий герцог, в парадной

форме гвардейского полковника, он, казалось, помолодел от счастья, и ему нельзя было дать более тридцати лет; военный мундир придавал особое изящество его фигуре, благородство и красоту — чертам его лица; подле него находился эрцгерцог Станислав в форме фельдмаршала, за ним толпились придворные дамы принцессы Амелии, высокопоставленные сановники и их жены.

Нужно ли говорить вам, что принцесса Амелия не только своим положением, но грацией и красотой выделялась среди этого блестящего общества? Не осуждайте меня, мой друг, прежде чем прочтете описание ее облика. Хотя мне трудно выразить ее божественную красоту, вы все же поймете, как я был очарован, поймете, что при первом взгляде я полюбил ее; быстрота, с какой возникла во мне эта страсть, может сравниться только с ее неистовостью и постоянством.

Принцесса Амелия была в простом муаровом белом платье, как и герцогиня София, носила ленту имперского ордена св. Непомука, недавно присланную

ей императрицей. Жемчужная повязка окаймляла ее благородное и чистое чело, поразительно гармонируя с пепельно-белокурыми косами, обрамлявшими слегка розовые щеки; красивые руки, белее, чем волны окружавших их кружев, были закрыты перчатками, доходившими до локтей с прелестными ямочками. Ничего не. могло быть совершеннее ее фигуры, ее прелестных ножек, обутых в атласные туфельки. В тот момент, когда я ее увидел, ее большие глаза чистейшей лазури были мечтательны. Я уже не знаю, размышляла ли она в это время о чем-то в серьезном или находилась под впечатлением печальной мелодии, исполняемой Листом, но ее легкая улыбка показалась мне несказанно грустной и нежной. Слегка наклонив голову, она машинально обрывала лепестки с большого букета гвоздик и роз, который держала в руке.

Никогда не смогу выразить все, что тогда почувствовал: мне вспомнились слова моей тетушки о несказанной доброте принцессы Амелии... Вы улыбаетесь, мой друг... Но я невольно прослезился,

видя, что столь прелестная, окруженная почестями, уважением, обожаемая таким отцом, как великий герцог, девушка мечтательна и грустна.

Максимилиан, я часто говорил вам, что человек иной раз не способен оценить счастье, слишком сильное для его ограниченных способностей. И я также думаю, что некоторые слишком одаренные существа иногда с горечью чувствуют свое одиночество и жалеют о своей чрезвычайной чувствительности, подвергающей их стольким разочарованиям, стольким обидам, неведомым для менее изысканных натур. Мне казалось, что в ту минуту принцесса Амелия испытывала подобное чувство.

Вдруг по странной случайности (все здесь фатально) она внезапно обратила свой взор в ту сторону, где стоял я.

Вы знаете, как строго соблюдается у нас этикет и иерархия. Благодаря моему титулу и родственным связям с великим герцогом люди, среди которых я вначале остановился, расступились, таким образом я стоял почти один в проеме дверей

галереи, на виду, в первом ряду знатных гостей. Поэтому принцесса Амелия, отбросив свои мечтания, заметила меня, слегка вздрогнула и покраснела.

Она видела портрет в аббатстве у моей тетки, она, узнала меня, здесь нечему удивляться. Принцесса едва взглянула на меня, но я был потрясен этим взглядом, я почувствовал, что щеки мои горят, опустил глаза и так стоял несколько минут, не смея вновь поднять их на принцессу...

Когда я осмелился посмотреть на нее, она разговаривала с эрцгерцогиней Софией, которая, казалось, слушала ее с доброжелательным интересом.

Лист сделал перерыв, перед тем как исполнить вторую пьесу, и великий герцог воспользовался этим моментом, чтобы выразить ему свое восхищение в самых изысканных словах. Возвращаясь на свое место, принц заметил меня, одобрительно кивнул мне и обратился к эрцгерцогине, указывая на меня глазами. Она внимательно посмотрела на меня, повернулась к герцогу, который не сдержал улыбку, отвечая ей и сообщая

что-то своей дочери. Принцесса Амелия, как мне показалось, смутилась и вновь покраснела.

Я был словно подвержен пытке; к несчастью, этикет не позволял мне оставить свое место до окончания концерта после перерыва. Несколько" раз я украдкой смотрел на принцессу, она казалась мне задумчивой и опечаленной; мое сердце сжалось, я страдал из-за того, что невольно вызвал ее смущение, о котором догадывался.

Конечно, герцог шутливо спрашивал ее, похож ли я на портрет ее кузена «прошлых времен», и она наивно упрекала себя за то, что не сказала отцу, что уже узнала меня. После концерта я в сопровождении дежурного адъютанта направился к герцогу, который соблаговолил сделать несколько шагов мне навстречу, дружески взяв меня под руку, подвел к эрцгерцогине Софии и сказал:

— Разрешите, ваше императорское высочество, представить вам моего кузена принца Генриха фон Эркаузен-Олденцааль.

— Я уже видела принца в Вене и с удовольствием встречаю его здесь, — ответила эрцгерцогиня, которой я отвесил почтительный поклон.

— Дорогая Амелия, — произнес принц, обращаясь к дочери, — представляю вам принца Генриха, вашего кузена; он сын принца Пауля, одного из моих самых досточтимых друзей, я очень сожалею, что не вижу его сегодня здесь, в Геролыптейне.

— Благоволите же сообщить принцу Паулю, что я разделяю огорчение моего отца, ибо всегда счастлива познакомиться с его друзьями, — ответила моя кузина с простотой, исполненной грации.

Я никогда не слышал голоса принцессы; представьте себе, мой друг, наиболее нежный, чистый, гармоничный голос, проникающий до глубины души.

— Надеюсь, дорогой Генрих, что вы пробудете достаточно времени у вашей тетушки, которую я люблю ч уважаю как свою мать, вам это известно, — добросердечно сказал герцог. — Приходите к нам почаще по-семейному, не слишком

рано, часа в три; если мы отправимся на прогулку, вы присоединитесь к нам, вы знаете, что я вас всегда очень любил, потому что вы один из самых благородных людей, мне известных.

— Я не знаю, как выразить вашему королевскому высочеству мою признательность за оказанный мне великодушный прием.

— Так вот! Докажите мне вашу признательность, — улыбаясь, сказал принц, — пригласив кузину на вторую кадриль, так как первая по праву принадлежит эрцгерцогу.

— Окажете ли вы мне эту честь, ваше высочество?.. — И я поклонился принцессе Амелии.

— Зовите друг друга просто кузен и кузина согласно старой, доброй немецкой привычке, — шутя произнес герцог, — среди родственников этикет ни к чему.

— Соизволит ли моя кузина танцевать со мной кадриль?

— Да, кузен, — ответила Амелия».

Глава III.
ГЕРОЛЬШТЕЙН

Принц Генрих фон Эркаузен-Олденцааль графу Максимилиану Каминецу.

«Олденцааль, 25 августа 1840.

Трудно рассказать вам, дорогой друг, как я был счастлив и одновременно смущен отеческим приемом великого герцога. Проявленное им доверие, сердечность, с которой он предложил нам отвергнуть этикет, обращаться друг к другу с родственной теплотой, все это переполнило меня глубокой благодарностью; вместе с тем я укорял себя, понимая, что моя роковая любовь не может быть одобрена принцем.

Правда, я поклялся (и остался верен этому обещанию) ни словом не обмолвиться кузине о том чувстве, которое возникло к ней в моей душе; но я боялся, что мое волнение, мои глаза могут выдать меня... Однако чувство, хоть и немое и затаенное, невольно казалось мне преступным.

Так я размышлял в то время, как принцесса Амелия танцевала первую кадриль с эрцгерцогом Станиславом. Здесь, как и в других местах, танец стал не чем иным, как торжественным шествием под музыку оркестра; при этом особенно выделялась грациозная осанка моей кузины.

Со счастливым волнением и одновременно с робостью ожидал я того момента, когда начну дозволенный на балу разговор с моей кузиной. Я достаточно владел собою, чтобы скрыть волнение в то время, когда направился за ней; она снова была подле маркизы д'Арвиль.

Думая об истории с портретом, я был уверен, что принцесса также размышляет о нем, и не ошибся. Помню почти слово в слово наш первый разговор, позвольте мне, друг мой, передать его вам:

— Ваше высочество, можно мне называть вас кузиной, как это разрешил мне великий герцог?

— Конечно же, кузен, — грациозно ответила она, — я всегда счастлива слушаться своего отца.

— А я тем более горжусь этой непринужденностью, кузина, что моя тетушка рассказала мне о вас и тем самым заставила вас оценить.

— Мой отец часто говорил мне о вас, милый кузен, и что вам, быть может, покажется странным, — смущенно добавила она, — я даже знаю вас, если так можно сказать, с виду... Госпожа настоятельница аббатства Святой Германгильды, к которой я почтительнейшим образом привязана, однажды показала мне и отцу один портрет...

— Где я изображен в костюме пажа шестнадцатого века?

— Да, милый кузен, отец даже немного схитрил, заверив меня, что это портрет одного нашего родственника старинных времен и, лестно отозвавшись об этом кузене, сказал, что мы должны гордиться, имея и сейчас среди своей родни его достойного потомка.

— Увы, кузина, боюсь, что в нравственном отношении я столь же мало похож на свой портрет, который соблаговолил начертать великий герцог, как не похож

внешне на пажа шестнадцатого века.

— Вы ошибаетесь, — простодушно сказала принцесса, — ибо, слушая музыку, я случайно посмотрела в сторону галереи и сразу узнала вас, невзирая на различие костюмов.

Затем, желая переменить тему разговора, которая ее смущала, она сказала:

— Восхитительно. С каким удовольствием вы его слушали!

— Какой изумительный талант у господина Листа, не правда ли?

— Мне в самом деле кажется, что в музыке без слов есть двойное очарование: не только наслаждаешься прекрасным исполнением, но можно сопровождать музыкой внезапно возникшую мысль, так что мелодия, которую слушаешь, становится аккомпанементом размышлений... Не знаю, поняли ли вы меня?

— Прекрасно. Мысли становятся тогда словами, которые вы выражаете в возникающей у вас музыке.

— Да, именно так вы меня поняли, — сказала она, грациозно наклонив голову, — я боялась, что плохо объяснила то, что

чувствовала сейчас, слушая эту жалобную и трогательную мелодию.

— Слава богу, — сказал я ей, улыбаясь, — у вас нет таких печальных слов, которые можно было бы положить на эту грустную музыку?

Был ли этот вопрос нескромным, или она не пожелала на него отвечать, а быть может, она его не расслышала, но вдруг принцесса Амелия сказала, указывая на великого герцога, который под руку с эрцгерцогиней Софией проходил по галерее, где танцевали его гости:

— Кузен, взгляните на моего отца, как он прекрасен... Какой у него благородный и добрый вид, как взоры всех почтительно обращены к нему! Мне кажется, что его любят даже сильнее, чем уважают...

— Конечно же, — воскликнул я, — его обожают не только здесь, при дворе! Если благословения народа прозвучат в устах потомства, имя Родольфа Герольштейна по справедливости останется бессмертным.

Я произнес эти слова с искренним воодушевлением, ведь вам известно, друг

мой, что владения герцога с полным основанием называют «раем Германии».

Мне трудно передать тот благодарный взгляд, который кузина бросила на меня, слушая эти слова.

— Такой отзыв о моем отце, — взволнованно сказала она, — доказывает, что вы вполне достойны его привязанности.

— Дело в том, что сильнее меня никто не может любить и обожать его! К тому же среди исключительных качеств, присущих великим принцам, у них есть и гений доброты, вызывающий к ним истинное обожание...

— Вы даже не представляете себе, насколько справедливы ваши слова, — воскликнула принцесса, еще больше растроганная. — Я убежден в этом, и все его подчиненные знают, что это так... Его столь искренне любят, что сочувствовали бы ему в горе, подобно тому как теперь разделяют его радость; усердие гостей, прибывших сюда приветствовать маркизу д'Арвиль, выражает одобрение выбора герцогом невесты и признание достоинств будущей великой герцогини.

— Маркиза д'Арвиль — наиболее достойная из всех привязанностей моего отца, — это высшая похвала, которую я могу ей вознести.

— Вы, несомненно, можете справедливо ее оценить; вероятно, вы были знакомы с ней еще во Франции?

Едва я произнес эти слова, у принцессы Амелии внезапно возникла какая-то мысль; она опустила глаза, черты ее лица приняли печальное выражение; я удивился и замолчал.

Кадриль закончилась, последнее па на минуту разъединило меня с кузиной; когда я сопровождал ее к г-же д Арвиль, мне показалось, что она была немного расстроена... Я подумал и поныне полагаю, что мой намек на пребывание принцессы во Франции разбудил в ней воспоминание о смерти ее матери и произвел на нее тягостное впечатление.

В течение всего вечера я заметил одно обстоятельство, которое покажется вам наивным, незначительным, но, по-моему, свидетельствует о том, что общество проявляет к этой девушке большой инте-

рес.. Лента, вышитая жемчугом, немного сдвинулась, и эрцгерцогиня София, которую Амелия в то время держала под руку, сама соблаговолила выровнять повязку у нее на лбу. Так вот, тому, кто знает надменность эрцгерцогини, такая предупредительность с ее стороны кажется немыслимой. Впрочем, принцесса, за которой я внимательно наблюдал, в этот момент была смущена, я сказал бы даже, сконфужена этим благосклонным вниманием, мне даже показалось, что у нее на глазах появились слезы.

Такой был мой первый вечер, проведенный в Герольштейне. Я так подробно рассказываю о нем только потому, что почти все эти обстоятельства в дальнейшем имели для меня свои последствия.

Теперь буду краток; сообщу вам только о главном, о моих встречах с кузиной и ее отцом.

Через день после этого торжества я был в небольшом числе избранников, приглашенных на свадьбу великого герцога с маркизой д'Арвиль. Никогда я не видел на лице принцессы Амелии столько ра-

дости, столько блаженства, как во время этой церемонии. Она созерцала своего отца и маркизу с каким-то религиозным благоговением, что придавало особую прелесть выражению ее лица; можно было сказать, что на нем отражалось неописуемое счастье принца и маркизы д'Арвиль.

В тот день кузина была очень оживленной, разговорчивой. Я вел ее под руку во время прогулки, которую мы совершили после обеда по иллюминированному парку дворца. По поводу женитьбы своего отца она сказала;

— Мне кажется, что счастье обожаемых нами людей нам даже более отрадно, чем наше собственное счастье; есть какой-то оттенок эгоизма, когда люди наслаждаются только своим личным блаженством.

Я привожу это суждение кузины из многих произнесенных ею лишь для того, чтобы вы могли судить о сердце этого очаровательного создания; ведь она, как и ее отец, — гений доброты.

Несколько дней спустя после свадьбы герцога я имел с ним длительный раз-

говор; он расспрашивал меня, чем я занимался в прошлые годы и что намерен делать в будущем; дал мне много разумных советов, внушил ободряющие надежды, даже с полным доверием рассказал мне о многих своих намерениях в отношении государства, чем я был горд и польщен; что еще сказать вам? Вдруг в моем сознании возникла безумная мысль: я подумал, что принц угадал мою любовь к его дочери и что в этом разговоре он хотел изучить меня, разгадать и, может быть, побудить меня к признанию...

К несчастью, эта безумная надежда длилась недолго, принц закончил разговор, сказав мне, что период длительных войн завершился, что я должен воспользоваться своим именем, семейными связями, полученным образованием, тесной дружбой моего отца с принцем. М., первым министром императора, и сделать карьеру на дипломатическом поприще вместо военной, присовокупив, что если раньше все конфликты решались на поле брани, отныне они будут разрешаться на конгрессах, что скоро изворотливые

и коварные приемы старой дипломатии уступят место широкой гуманной политике, связанной с истинными интересами народов, которые со дня на день все яснее осознают свои права, что человек возвышенного ума, лояльный и великодушный, в ближайшие годы сможет играть важную и благородную роль в политической жизни страны и принести большую пользу. Наконец, он мне предложил свое содействие монарха для того, чтобы облегчить мне начальную деятельность в той области, которую он настоятельно рекомендовал.

Вы понимаете, мой друг, что, если бы принц хоть немного рассчитывал на меня, он не стал бы делать мне подобных открытий. Я горячо поблагодарил его, сказал, что высоко ценю его советы и буду им верен.

Вначале я не позволял себе часто посещать дворец, но по настоянию герцога стал ходить туда почти ежедневно к трем часам дня. Жизнь протекала во всей очаровательной простоте наших германских дворов. Она была похожа на жизнь в

английских замках, но была еще более привлекательной из-за простосердечного обращения, чудесной свободы немецких нравов. Когда позволяла погода, мы совершали длительные прогулки верхом с великим герцогом, герцогиней, моей кузиной и их придворными. Когда мы оставались во дворце, то музицировали, я пел вместе с великой герцогиней и кузиной, голос которой был чистый и удивительно нежный; он волновал меня до глубины души. Иногда мы тщательно осматривали изумительные коллекции картин и произведений искусства или восхитительную библиотеку принца, который, как вам известно, один из самых ученых и просвещенных людей Европы; часто я приходил во дворец обедать, а в дни оперных спектаклей сопровождал семью герцога в театр.

Каждый день проходил как сон; постепенно кузина дружески привязалась ко мне; она не скрывала, что рада меня видеть, рассказывала мне все, чем интересовалась, несколько раз вместе со мной и герцогиней навещала своих

сироток; часто рассуждала о моем будущем, проявляя глубокий интерес и зрелую рассудительность, казавшиеся мне поразительными для столь юного существа; она также расспрашивала меня о моем детстве, о моей матери, увы, всегда со скорбным чувством. Каждый раз, когда я писал письма отцу, она просила напомнить ему о себе; так как она прелестно вышивала, то однажды вручила мне для отца чудесную вышивку, над которой долго трудилась. Что еще сказать вам, мой друг? Между братом и сестрой, встретившимися после долгих лет разлуки, не смогли бы возникнуть более трогательные отношения. Впрочем, когда совершенно случайно мы оставались одни, если к нам присоединялся кто-то другой, характер нашей беседы не изменялся.

Вас, мой друг, быть может, удивят братские отношения, установившиеся между двумя молодыми людьми, в особенности если вы подумаете о признаниях, которые я вам делаю, но с чем большим доверием и непринужденностью от-

носилась ко мне кузина, тем больше я старался быть осторожным, тем больше сдерживал себя, боясь разрушить узы этой восхитительной дружбы. Осторожность моя еще усилилась потому, что принцесса относилась ко мне с полной откровенностью, всецело доверяясь мне, держала себя естественно, без всякого кокетства, и потому я был убежден, что она не догадывалась о моей бурной страсти. Однако же я слегка сомневаюсь на этот счет в связи с одним обстоятельством, о котором я вам расскажу.

Если бы между нами непрестанно продолжались душевные отношения, быть может, я был бы рад этому счастью, но, наслаждаясь им, я думал о том, что вскоре моя служба или предстоящая карьера, начать которую мне советовал герцог, заставит меня уехать в Вену или за границу; я предполагал, что в скором времени герцог захочет выдать дочь замуж за достойного ее человека...

Эти мысли все более и более тяготили меня по мере приближения моего отъезда. Кузина вскоре заметила проис-

шедшую во мне перемену. Накануне того дня, когда я должен был с ней расстаться, она заметила, что в последнее время я казался ей мрачным и встревоженным. Я пытался уклониться от ответа на ее вопросы, объяснил свою печаль каким-то нелепым предчувствием.

— Не могу вам поверить, — сказала она, — мой отец относится к вам почти как к сыну, все вас любят; чувствовать себя несчастным было бы неблагодарно с вашей стороны.

— Послушайте, — обратился я к ней, не в силах побороть свое волнение, — это не печаль, это горе, да, я переживаю большое горе.

— Почему? Что случилось? — допытывалась она.

— Вы только что сказали, что ваш отец относится ко мне как к сыну... что здесь все меня любят... Так вот, вскоре я должен лишиться расположения близких мне людей... придется покинуть Герольштейн, признаюсь вам, эта мысль приводит меня в отчаянье.

— А воспоминанье о тех, кто нам столь

дорог... Разве это ничего не значит, дорогой кузен?

— Согласен... Но ведь годы, события таят столько непредвиденных изменений!

— Существуют вечные привязанности; та, которую вам всегда выражал мой отец... та, которую я чувствую к вам, вы это прекрасно знаете; мы брат и сестра... и никогда не забудем друг друга, — заключила она, подняв на меня свои большие влажные от слез глаза.

Ее взгляд поразил меня, я чуть было не выдал себя, но, к счастью, не потерял самообладания.

— Это правда, что привязанность может быть постоянной, — в смущении проговорил я, — но положение людей изменяется... Когда я вернусь сюда через несколько лет, кузина, кто знает, продолжатся ли наши душевные отношения, прелесть которых я так ценю?

— Почему же они должны измениться?

— Да потому, что вы будете тогда замужем, кузина, у вас будут другие обязанности... и вы забудете бедного брата.

Клянусь вам, мой друг, я больше ниче-

го ей не сказал; не знаю, быть может, я оскорбил ее этим признанием либо она, как и я, была глубоко поражена неизбежными переменами, которые будущее привнесет в наши отношения, но, вместо того чтобы ответить мне, она некоторое время удрученно молчала, затем, внезапно побледнев, вышла из гостиной, после того как в течение нескольких секунд разглядывала вышивку графини Оппенгейм, одной из ее придворных дам, работавшей у окна в салоне, где происходил наш разговор.

В тот же вечер я опять получил письмо от отца, в котором он просил меня немедленно возвратиться домой. На следующий день я пришел к герцогу проститься. Он сказал мне, что кузина не совсем здорова, и что он передаст ей мой прощальный привет. Отечески обняв меня, он добавил, что сожалеет о том, что я так быстро уезжаю, и особенно о том, что мой отъезд вызван беспокойством о здоровье отца; затем, напомнив мне свои советы, связанные с моей будущей карьерой, которой я, по его мнению, дол-

жен постоянно заниматься, герцог сказал мне, чтобы я, исполнив свои обязанности или во время отпуска, приезжал в Герольштейн, где мне всегда будет оказан радушный прием.

К счастью, прибыв сюда, я увидел, что состояние отца несколько улучшилось, хотя он еще лежит в постели и чувствует слабость, но все же его здоровье не внушает серьезных опасений. К сожалению, он заметил мое уныние, мою мрачную молчаливость. Много раз, и всегда напрасно, он просил меня объяснить причину моих тягостных переживаний. Несмотря на его трогательную нежность ко мне, я не посмел ему признаться, вы ведь знаете его суровые требования в отношении искренности и честности людей.

Вчера я бодрствовал подле него, был один и, думая, что он спит, не смог сдержать молчаливых слез, размышляя о счастливых днях, проведенных в Герольштейне. Отец увидел, что я плачу, так как он лишь слегка задремал, а я был всецело поглощен своей скорбью; стал расспрашивать меня с трогательной нежностью;

я приписал свою грусть тревоге за его состояние, но он догадался, что истинная причина моих переживаний другая.

Теперь, когда вам все известно, мой милый Максимилиан, скажите, не безнадежна ли моя судьба? Что делать? На что решиться?

Ах, друг мой, не могу выразить вам своих терзаний. Не знаю, что будет, боже... Все погибло. Я стану несчастным человеком, если отец не откажется от своего решения.

Вот что произошло.

Только что, когда я кончил писать это письмо, к моему удивлению, отец — я считал, что он спит, — вошел в своей кабинет и увидел на_столе несколько исписанных страниц, в то время как я заканчивал последнюю.

— Кому это ты пишешь такое длинное письмо? — спросил он, улыбаясь.

— Максимилиану, отец.

— А, — сказал он мне с ласковым упреком, — я знаю, что он пользуется твоим полным доверием... Счастливец!

Отец произнес эти последние слова с

такой душераздирающей печалью, что я, растроганный, не раздумывая, подал ему письмо.

— Читайте, отец!

Он все прочитал, друг мой. Знаете, что он мне вслед за тем сказал, подумав некоторое время?

— Генрих, я напишу великому герцогу обо всем, что произошло во время твоего пребывания в Герольштейне.

— Отец, умоляю вас, не делайте этого.

— То, что вы рассказываете Максимилиану, это правда?

— Да, отец.

— В таком случае до сих пор ваше поведение было безупречным... Принц сумеет это оценить. Но нельзя в будущем оказаться недостойным благородного доверия принца, а это может случиться, если вы, злоупотребляя его приглашением, появитесь вновь в Герольштейне, быть может, с намерением вызвать к себе любовь его дочери.

— Отец... и вы могли подумать?

— Я думаю, что вы ее страстно любите, а страсть рано или поздно к добру не

приведет.

— Как! Вы напишете принцу, что...

— Что вы безумно любите свою кузину.

— Ради бога, не делайте этого, умоляю вас, отец!

— Вы любите свою кузину?

— Я ее обожаю. Отец прервал меня:

— В таком случае я напишу принцу и буду просить для вас руки его дочери...

— Но такое притязание будет безумством с моей стороны!

— Это правда... Но я должен открыто обратиться к принцу с этой просьбой, объяснив ему причину моего поступка. Он оказал вам самое радушное гостеприимство, проявил к вам отеческие чувства, и было бы бесчестно с моей и вашей стороны обманывать его. Я знаю его возвышенную душу; он поймет мое поведение честного человека. Если он отвергнет это предложение, что почти не вызывает сомнения, он будет, по крайней мере, знать, что, когда в будущем вы посетите Герольштейн, тесное общение между вами и вашей кузиной не должно возобновиться. Вы, дорогой сын, по сво-

ему усмотрению показали мне письмо к Максимилиану, мне теперь все известно, написать принцу мой долг... и я тотчас его исполню.

Дорогой друг, мой отец чудесный человек, но, исполняя то, что он считает своим долгом, он действует неумолимо; судите сами о моей тревоге, о моих опасениях. Хотя поступок отца чистосердечен и благороден, но он тревожит меня не в малой степени. Как воспримет герцог это безумное предложение? Не будет ли он неприятно удивлен; и принцесса Амелия, не будет ли она также оскорблена тем, что, не испросив ее согласия, я позволил отцу написать это письмо?

О мой друг, пожалейте меня, я не знаю, что придумать. Мне кажется, что я стою на краю пропасти и у меня кружится голова...

Наспех кончаю это длинное письмо; вскоре вновь напишу вам. Еще раз прошу пожалеть меня, поистине, боюсь, что сойду с ума, если эти волнения не прекратятся. До свиданья, всем сердцем ваш навсегда

Генрих д'Н. О.».

Теперь мы поведем читателя во дворец в Геролынтейне, где пребывает Лилия-Мария после возвращения из Франции.

Глава IV
ПРИНЦЕССА АМЕЛИЯ

Комнаты в герцогском дворце, которые занимала Лилия-Мария (мы только официально будем называть ее принцессой Амелией), были обставлены по указанию Родольфа с исключительным изяществом.

С балкона молельни молодой девушки вдали видны были две башни монастыря св. Германгильды, которые выделялись на фоне огромных зеленых массивов; над башнями возвышалась лесистая гора, у ее подножья виднелся монастырь.

Прекрасным летним утром Лилия-Мария созерцала расстилавшийся вдали перед ее взором величественный пейзаж. На ней было закрытое платье из белой весенней ткани в голубую полоску, под скромным широким батистовым воротничком, падавшим на плечи, виднелся маленький галстук из того же голубого шелка, что и поясок платья. Волосы ее были распущены. Сидя в большом кресле из резного черного дерева с высокой спинкой, обитом малиновым бархатом, она опиралась на подлокотники и,

слегка опустив голову, прижималась к ладони испещренной голубыми жилками руки.

Томная поза Лилии-Марии, ее бледность, неподвижность взгляда, горечь, сквозившая в ее улыбке, — по всему было видно, что она глубоко опечалена.

Несколько минут спустя она тяжело вздохнула, опустив руку, на которую опиралась щекой, еще ниже склонила голову. Можно было подумать, что несчастная девушка изнемогала под тяжестью какого-то большого горя.

В это время в молельню робко вошла дама серьезной и изысканной внешности, одетая с изящной простотой, она тихонько кашлянула, чтобы привлечь внимание Лилии-Марии.

Девушка, очнувшись от своих мечтаний, подняв голову и грациозно приветствуя вошедшую, спросила:

— Что вы желаете, дорогая графиня?

— Я пришла предупредить вас, что монсеньор просит его подождать, он будет здесь через несколько минут, — ответила статс-дама с почтительной официальностью.

— А я удивлялась, что сегодня еще не видела своего отца, ведь я с таким нетерпением жду его визита каждое утро! Надеюсь, что мадемуазель

фон Арнейм не заболела и что не по этой причине вы, графиня, второй день проводите со мной.

— Не тревожьтесь, ваше высочество, мадемуазель фон Арнейм просила меня заменить ее сегодня; завтра она будет исполнять свои обязанности и надеется, что вы соблаговолите простить ее.

— Конечно же, тем более, что я ничего тут не теряю, я просто буду иметь удовольствие видеть вас два дня подряд, дорогая графиня, а следующие дни со мной проведет мадемуазель фон Арнейм.

— Вы осыпаете нас милостями, — ответила статс-дама, — поэтому я осмелюсь обратиться к вам с просьбой.

— Говорите, прошу вас; вы ведь знаете, что я всегда готова оказать вам услугу.

— Да, вы всегда относились к нам с исключительной добротой, тут такой тяжелый случай, что я бы не заговорила о нем, если б это дело не заслуживало внимания; вот почему я осмеливаюсь рассчитывать на вашу чрезвычайную благосклонность.

— Вы не должны говорить о благосклонности, дорогая графиня, я всегда благодарна тем, кто предоставляет мне возможность оказать добрую услугу.

— Речь идет об одной несчастной девушке, она, к сожалению, уехала из Герольштейна до того, как вы основали приют, столь необходимый сиротам и покинутым девушкам, которых никто не оберегает от дурных страстей.

— А что с ней? Что вы хотите для нее сделать?

— Ее отец, настоящий авантюрист, направился в Америку искать счастья, оставив жену и дочь в довольно стесненном положении. Мать умерла; дочь в шестнадцатилетнем возрасте, став самостоятельной, покинула свою родину и уехала в Вену с каким-то соблазнителем, который вскоре ее бросил. Как это всегда бывает, первый шаг на пути порока привел эту несчастную к пропасти бесчестия; за короткое время она стала, как другие падшие твари, позором женского пола...

Лилия-Мария опустила глаза, покраснела и не смогла скрыть легкого трепета; статс-дама это заметила. Боясь, что оскорбила невинную душу принцессы, говоря с ней о женщине такого поведения, она в смущении продолжала:

— Прошу извинить меня, ваше высочество, за то, что я несомненно огорчила вас, заговорив о столь бесчестном существе; но несчастная так искренне раскаивается... что я сочла возможным просить вас помочь ей.

— И вы были правы. Продолжайте... прошу, — сказала Лилия-Мария, преодолевая мучительное волнение, — все проступки достойны жалости, когда за ними следует раскаяние.

— Так произошло и в данном случае. После двух лет позорного существования на нее снизошла благодать... Охваченная угрызениями совести, она возвратилась сюда. Случай пожелал, чтобы она поселилась в доме у одной достойной вдовы, набожность и сердечность которой известны всем. Поддержанная вдовой, бедняжка призналась ей в своих ошибках; она преисполнена ужаса, вспоминая прошлую жизнь, и хотела бы ценой сурового искупления обрести счастье в монастыре, где она смогла бы замолить свои грехи. Почтенной вдове, которой она сделала это признание, было известно, что я имею честь принадлежать к вашему двору; она написала мне письмо, полагая, что, если всемогущее вмешательство вашего высочества окажет воздействие на настоятельницу принцессу Юлиану, эта несчастная женщина сможет надеяться быть принятой послушницей в монастырь святой Германгильды; она сочтет за милость исполнять самые тяжелые работы, чтобы доказать свое глубокое раскаяние. Я несколько раз говорила

с этой женщиной, прежде чем позволила себе умолять вас, чтобы вы ее пожалели, и я твердо убеждена, что ее раскаяние будет постоянным. Не бедность и не старость принудили ее вернуться к добру; ей едва минуло восемнадцать лет, она очень хороша собой, у нее есть немного денег, которые она хочет отдать для какого-нибудь благотворительного заведения, если к ней проявят благосклонность, о которой она просит.

— Я возлагаю на себя заботу о вашей просительнице, — сказала Лилия-Мария, едва сдерживая волнение, ведь ее прошлая жизнь была похожа на жизнь той женщины, помочь которой ее просили. Затем она продолжала:

— Раскаянье этой несчастной женщины весьма похвально, ее надо поддержать.

— Не знаю, как выразить благодарность вашему высочеству; я едва могла надеяться, что вы соблаговолите проявить великодушие...

— Она была виновна, теперь раскаивается... — произнесла Лилия-Мария с невыразимым сочувствием и грустью. — Справедливости ради следует проявить к ней жалость. Чем искреннее ее угрызения совести, тем больше они мучат ее, дорогая графиня...

— Кажется, идет монсеньор, — воскликнула

фрейлина, не замечая глубокого и все возрастающего волнения Лилии-Марии.

И действительно, в салон вошел Родольф с букетом роз.

При появлении принца графиня незаметно удалилась. Как только она ушла, Лилия-Мария бросилась в объятья отца и, положив голову ему на плечо, молча повисла на его груди.

— Здравствуй... здравствуй, мое дорогое дитя, — произнес Родольф, горячо обнимая дочь и еще не замечая ее печали. — Посмотри на эти розы, какой чудный букет я собрал сегодня для тебя, потому не пришел к тебе раньше. Такого букета я тебе никогда не преподносил...

Держа цветы, принц попытался высвободиться из объятий дочери; увидев ее всю в слезах, он бросил цветы на стол, взял за руки Марию и воскликнул:

— Ты плачешь, боже мой, что с тобой?

— Ничего... просто так... отец... — сказала она, вытирая слезы и стараясь ему улыбнуться.

— Умоляю, скажи мне, что с тобой. Кто тебя расстроил?

— Уверяю вас, отец, вам не о чем беспокоиться... Графиня пришла просить меня помочь одной бедной, несчастной женщине... и я невольно

расчувствовалась...

— Это правда?.. Только и всего?

— Да, — ответила Мария, взяв брошенный отцом на стол букет роз. — Но как вы меня балуете, какой чудный букет! А когда я думаю, что каждый день... вы приносите мне такой же... что вы сами срываете цветы...

— Дитя мое, — сказал Родольф, с тревогой взирая на дочь, — ты от меня что-то скрываешь... Твоя улыбка скорбная, неестественная. Заклинаю тебя, скажи мне, что тебя удручает, оставь в покое букет...

— Но вы же знаете, цветы для меня — большая радость, притом я так люблю розы... Я их всегда любила... Вы помните, — сказала она с печальной улыбкой, — помните мой маленький розовый куст... увядшие листья которого я так бережно хранила.

При этом горестном намеке на прошлое Родольф воскликнул:

— Бедное дитя, так, значит, мои подозрения были не напрасны... Хотя тебя и окружает роскошь и благополучие, ты порою вспоминаешь ужасные времена. Увы, я полагал, что, если буду тебя нежно любить, ты позабудешь былое!

— Простите, простите, отец! Эти слова вырва-

лись у меня. Я огорчила вас...

— Я огорчаюсь за тебя, милый ангел, — с грустью сказал Родольф, — так как воспоминания о прошлом мучат тебя... они отравят тебе жизнь, если ты будешь им предаваться.

— Это случайно, отец... Это в первый раз с тех пор, как мы приехали сюда...

— Да, ты впервые говоришь мне об этом... но терзают тебя эти мысли, быть может, не случайно... Я замечал твои приступы меланхолии и обвинял прошлое в том, что оно заставляет тебя грустить. Но я не был в этом уверен и даже не пытался бороться с пагубным влиянием воспоминаний — убеждать тебя в том, что не следует придавать никакого значения былому; если бы твоя печаль была вызвана другой причиной, если бы прошлое было для тебя тем, чем оно должно быть — суетным и тяжелым, говорить о нем значило бы наводить тебя на тягостные мысли, которые я хотел бы развеять.

— Как вы добры!.. Поистине эти опасения свидетельствуют о вашей безграничной нежности!

— Конечно!.. Я оказался в затруднительном положении, не сказав тебе ни слова, но я был всецело поглощен тобой... Заключая брак, увенчавший все мои желания, я стремился обеспечить и твое

благополучие. Я хорошо знал редкую чуткость твоего сердца и не мог надеяться, что ты никогда... никогда не вспомнишь о былом; но я думал, если у тебя случайно возникнет мысль о нем, то ты должна знать, что благодаря материнской ласке благородной женщины, которая тебя знала и любила, когда ты была глубоко несчастной, ты должна считать, что искупила прошлое своими страшными муками, и быть снисходительной или, вернее, справедливой к себе самой; ведь моя жена благодаря своим редким качествам имеет право на всеобщее уважение, правда? Так вот, ты для нее дочь, любимая сестра, почему же ты не обретешь уверенность в себе? Ее нежная привязанность — разве это не полное твое оправдание? Разве ее отношение не убеждает тебя в том, что жена считает тебя жертвой, а не виновной, что тебя нельзя упрекать за испытанные тобой унижения, муки... начавшиеся с самого твоего рождения? Если бы ты и провинилась, то и тогда вина твоя была бы совершенно искуплена, оправдана всем совершенным тобой добром, исключительным обаянием твоей натуры!..

— Отец...

— Прошу тебя, позволь мне до конца выразить свою мысль, поскольку случай, который,

конечно, надо благословить, навел нас на этот разговор. Я давно уже собирался поговорить с тобой об этом, хотя и опасался последствий... Да будет угодно богу, чтоб наш разговор увенчался спасительным успехом!.. Я должен заставить тебя забыть пережитый кошмар; во имя твоего блага я должен исполнить столь важную и столь святую миссию, что ради твоего покоя готов был бы пожертвовать своей любовью к маркизе д'Арвиль... своей дружбой с Мэрфом, если бы решил, что они напоминают тебе прошлое.

— О, дорогой отец, неужели вы могли подумать такое?.. Присутствие друзей, которые знают, кем я была, и которые нежно меня любят, не означает ли это, что они обо всем забыли и простили меня?.. К тому же, отец, разве я не впала бы в отчаянье, если бы вы ради меня отказались от брака с маркизой д'Арвиль?

— Не только я желал бы принести жертву во имя твоего счастья... Ты не знаешь, чем готова была поступиться ради этой же цели Клеманс... Ведь она тоже понимает, сколь велик мой долг перед тобой.

— Ваш долг передо мной, боже! Что же я совершила, чтоб заслужить такое?

— Что ты совершила, мой милый ангел?.. Вся

твоя жизнь до возвращения ко мне была горестной, несчастной, скорбной... я упрекаю себя за испытанные тобой муки, как будто это я их причинил! Вот почему, когда я вижу, что ты улыбаешься, что ты довольна, я считаю себя прощенным. Единственная моя цель, единственное желание — сделать тебя настолько же счастливой, насколько ты была несчастной, возвысить тебя настолько же, насколько ты была унижена, ибо мне кажется, что последние следы прошлого исчезают, когда самые видные, самые почтенные люди проявляют к тебе должное уважение.

— Уважение ко мне?.. Нет, нет, отец... к моему положению, вернее, к тому, которое вы мне создали.

— Люди чтут и любят не твой титул, пойми это, моя дорогая, а преклоняются перед тобой лично, только перед тобой. Бывает, воздают почести ради титулов, но иногда их воздают обаятельному созданию. Ты не можешь различить эти почести, потому что ты далека от этого, потому что присущие тебе чудесные ум и такт, которыми я горжусь и за которые я обожаю тебя, позволяют тебе вносить в эти незнакомые тебе светские отношения дух благородства, скромности и грации, перед которыми не могут устоять самые высокомерные

персоны...

— Вы меня так любите, отец, и вас так обожают, что, проявляя почтительность ко мне, стремятся понравиться вам.

— О злая девочка, — воскликнул Родольф, прерывая дочь и нежно обнимая ее, — она нисколько не хочет польстить моей отцовской гордости!

— Разве ваша гордость недостаточно удовлетворена тем, что расположение, которое выражают мне, относится к вам, дорогой отец?

— Конечно же нет, мадемуазель, — возразил принц дочери, улыбаясь, чтобы рассеять еще не совсем покинувшую ее грусть, — это не то же самое, мне не дозволено гордиться собой, я могу и я должен гордиться тобой... Да, гордиться! Ты не представляешь себе, насколько ты одарена природой. За год и три месяца твое воспитание завершено столь блистательно, что даже самая строгая мать была бы восхищена тобой; это воспитание еще усилило то неотразимое впечатление, которое ты невольно производишь на окружающих.

— Отец... ваши похвалы меня смущают.

— Я говорю правду, лишь правду. Тебе нужны примеры? Поговорим о прошлом, не стесняясь, это враг, с которым я хочу сразиться, нужно

смотреть ему прямо в лицо. Так вот, вспомни Волчицу, ту смелую женщину, которая тебя спасла. Вспомни ту сцену в тюрьме, о которой ты мне рассказывала: глупые, злые арестантки яростно мучили хилую, больную женщину — нашли козла отпущения, — появляешься ты, и тотчас эти фурии, стыдясь своей удивительной жестокости, становятся настолько же милосердны, насколько они были злобны. Это что-нибудь да значит? А разве не благодаря тебе Волчица, эта неукротимая женщина, раскаялась и пожелала вести честную трудовую жизнь? Да что там, поверь мне, дорогое дитя, подчинить своему влиянию Волчицу и ее буйную компанию, воздействуя на них безграничной добротой в соединении с возвышенным умом, дело не легкое. В других обстоятельствах и совсем в другой сфере со свойственным тебе шармом (не улыбайтесь, мадемуазель, при этом сопоставлении) ты смогла очаровать надменную эрцгерцогиню Софию и всю мою придворную знать; ведь и добрые и злые, и великие и малые почти всегда подвергаются влиянию возвышенных душ... Я не хочу утверждать, что ты родилась принцессой в аристократическом смысле этого слова, — это была бы ничтожная лесть тебе, дитя мое... Нет, ты принадлежишь к небольшому

числу избранных — они даже королеве могут сказать такие слова, которые очаруют ее и заставят полюбить их... они также могут сказать бедной, униженной и беспомощной женщине то, что ее возвысит и утешит и в то же время покорит ее сердце.

— Дорогой отец... умоляю вас...

— О нет, потерпите, мадемуазель, мое сердце встревожено с давних пор. Подумай только: боясь пробудить в тебе воспоминания о былом, которые я хочу приглушить в твоей памяти... я не смел перед тобой приводить эти сравнения... сопоставления, которые так возвышают тебя в моих глазах. Как часто Клеманс и я восхищались тобой... Не однажды она, расчувствовавшись до слез, говорила мне: разве это не чудо, что наше дорогое дитя осталась сама собой, испытав столько бед? Не чудо ли, продолжала Клеманс, что мучения не испортили эту благородную и редкую девушку, а, наоборот, придали ей еще большее обаяние?

В этот момент дверь салона отворилась, и вошла Клеманс, великая герцогиня Герольштейнская, держа в руке письмо.

— Вот, мой друг, — обратилась она к Родольфу, — письмо из Франции. Я решила принести вам

его, чтобы поздороваться с моей ленивицей, моей дочкой, которую я еще не видела сегодня утром, — добавила Клеманс, нежно целуя Марию.

— Это письмо прибыло удивительно кстати, — весело сказал Родольф, бегло прочитав его, — мы как раз беседуем о прошлом... об этом чудовище, с которым мы должны непрестанно вести борьбу, дорогая Клеманс... ибо оно угрожает покою и счастью нашей дочери.

— Значит, это верно, друг мой? Эти приступы меланхолии, замеченные нами...

— Возникали только лишь из-за мучительных воспоминаний; но, к счастью, мы теперь знаем нашего врага, и мы победим его...

— Но от кого же это письмо, друг мой? — спросила Клеманс.

— От милой Хохотушки... жены Жермена.

— Хохотушка!.. — воскликнула Лилия-Мария. — Какое счастье узнать, как она поживает!

— Друг мой, — тихо сказала Клеманс Родольфу, указывая глазами на Лилию-Марию, — вы не боитесь, что это письмо наведет ее на тягостные мысли?

— Это именно те воспоминания, которые я хочу уничтожить, моя дорогая Клеманс, — надо смело бороться с ними, и я уверен, что найду в

письме Хохотушки прекрасное оружие, которое мы обратим против них... так как это милое создание обожало нашу дочь и умело ценить ее по заслугам.

И Родольф вслух прочитал следующее письмо:

— «Букеваль, 15 августа 1841.

Монсеньор, осмелюсь написать вам, чтобы сообщить об огромном счастье, выпавшем на нашу долю, и просить вас о новой милости, вас, которому мы уже стольким обязаны, обязаны тем раем, где мы живем, я, Жермен и его милая мать.

Вот о чем идет речь, монсеньор: уже десять дней, как я почти обезумела от блаженства, так как десять дней тому назад у меня появилась прелестная девочка, по-моему, она вылитый портрет Жермена, а он считает, что она похожа на меня, нашей дорогой маме кажется, что она похожа на нас обоих: во всяком случае, у нее чудные голубые глаза, как у Жермена, и темные вьющиеся волосы, как у меня. Против своего обыкновения мой муж ужасно несправедлив, он хочет все время держать ребенка у себя на ко-

ленях... но ведь это мое право, не правда ли, монсеньор?»

— Честные, достойные молодые люди, как они, должно быть, счастливы, — произнес Родольф, — невозможно составить лучшую семью.

— И Хохотушка достойна своего счастья, — сказала Лилия-Мария.

— Вот почему я благодарен случаю, что мне довелось познакомиться с нею, — сказал Родольф и продолжал:

— «Монсеньор, простите, говорю с вами о семейных ссорах, а они всегда кончаются поцелуем. К тому же у вас, наверно, звенит в ушах, ибо не проходит дня, чтобы мы не сказали: боже, как мы счастливы, счастливы!.. И конечно же тотчас произносим ваше имя... Простите за каракули и кляксу, дело в том, что, не подумав, я написала «господин Родольф», как называла вас раньше, потом исправила. Надеюсь, вы увидите, что мой почерк стал лучше, как и орфография; Жермен учит меня, и я не вывожу теперь вкось и вкривь большие палки, как это было в то время, когда вы точили мне перья».

— Должен заметить, — улыбаясь, сказал Родольф, — что моя поклонница заблуждается, убежден, что Жермен скорее целует ручку ученице, нежели учит ее.

— Полноте, мой друг, вы несправедливы, — заметила Клеманс, глядя на письмо, — буквы крупные и читаются легко.

— Во всяком случае, заметен успех, — возразил Ро-дольф, — раньше ей понадобилось бы много страниц, чтобы изложить все, что теперь она излагает на двух.

Он продолжал:

— «А ведь правда, что вы чинили мне перья, монсеньор. Когда я и Жермен подумаем об этом, нам становится совестно, вы были столь скромны... Ах, боже мой, опять говорю вам совсем о другом, а не о том, о чем мы с мужем хотели просить вас, у нас возникла, мысль... Сейчас вам станет ясно.

Итак, мы вас умоляем, монсеньор, соизволить избрать и предложить нам имя для нашей милой дочери, мы так и условились с крестным отцом и крестной матерью, а знаете, кто они такие?

Двое из тех, кому вы и госпожа маркиза д'Арвиль помогли избавиться от тяжких мук и стать счастливыми, такими же счастливыми, как и мы. Одним словом, это Морель-гранильщик и Жанна Дюпор, сестра бедного арестанта Гобера, достойная женщина, которую я встретила в тюрьме, навещая Жермена, и которую потом госпожа маркиза вызволила из больницы.

Теперь я вам объясню, почему мы избрали Мореля крестным отцом и Жанну Дюпор крестной матерью. Мы с Жерменом решили, что этот выбор будет удобным способом вновь отблагодарить монсеньора Родольфа за его великодушие, взяв в крестные для нашей дочери уважаемых людей, которые всем обязаны ему, да и маркизе... Не считая того, что Морель и Жанна Дюпор являются лучшими среди честных людей. Они из нашего круга, более того, они — наши родственники по счастью, потому что они, как и мы, принадлежат к семье осчастливленных вами, монсеньор».

— Ах, отец, не правда ли, это прелестная

и верная идея, — взволнованно сказала Лилия-Мария, — взять в крестные их ребенка тех, кто всем обязан вам и моей второй матери?

— Вы правы, дорогое дитя, — ответила Клеманс, — я глубоко растрогана тем, что меня помнят.

— А я очень счастлив, что сделал добро таким хорошим людям, — сказал Родольф и продолжал читать:

— «К тому же, благодаря вашей денежной помощи, господин Родольф, Морель стал оценщиком драгоценных камней, он хорошо зарабатывает и может теперь обеспечить семью, выучить ремеслу своих детей. Бедная милая Луиза, кажется, скоро выйдет замуж за хорошего работника, который ее любит и уважает, как она того заслуживает, ведь она была глубоко несчастна, но невиновна в этом, а жених ее душевный человек, он это понимает...»

— Я был уверен, — воскликнул Родольф, обращаясь к дочери, — что обнаружу в письме моей Хохотушки оружие для победы над нашим врагом!.. Ты понимаешь,

какой здравый смысл проявила эта честная и прямая женщина, сказав о Луизе: «Она была несчастна, но невиновна, и ее жених, душевный человек, это понимает»?

Лилия-Мария, взволнованная и опечаленная при чтении письма, содрогнулась, когда отец, взглянув на нее, произнес эти последние слова.

Принц продолжал:

— «Еще скажу вам, монсеньор, что Жанна Дюпор благодаря великодушию маркизы смогла развестись с мужем, этим грубияном, разорявшим семью и избивавшим жену; к ней возвратилась старшая дочь. Теперь они открыли лавочку, где она продает золотое шитье, которое они изготовляют всей семьей, их торговля процветает. Нет более счастливой семьи, и это благодаря кому? Благодаря вам, монсеньор, благодаря маркизе, которые сумели вовремя оказать людям необходимую помощь.

Кстати, Жермен, как обычно, в конце месяца сообщает вам о состоянии банка беспроцентных ссуд для безработных.

Возврат ссуд производится аккуратно, и уже заметно, как улучшилось благосостояние квартала. По крайней мере, теперь бедные семьи могут пережить период безработицы, не закладывая свое белье и матрасы в ломбард. Вот почему, когда находится работа, с каким рвением они за нее берутся, они очень гордятся тем, что им оказывают доверие, верят в их трудолюбие и честность!.. Увы, это их единственное благо. Вот почему они благословляют вас за предоставление займа. Да, они благословляют вас, хотя вы и говорите, что не принимали участия в основании банка, а лишь назначили директором Жермена; якобы доброе дело совершил некий неизвестный... Мы склонны полагать, что заслуга принадлежит вам, так будет вернее.

Знаменитая говорунья, мамаша Пипле, всем повторяет, что именно вас надо благословлять, она утверждает, что только король ее дома (простите, монсеньор Родольф, она вас так величает) способен был сделать это доброе дело, и ее муженек Альфред придерживается того же

мнения. Что до него, то он так горд, так доволен должностью сторожа банка, что ему теперь не страшны преследования Кабриона. Упоминая о благодарных вам лицах, сообщу, что Жермен прочитал в газетах хвалебный отзыв о Марсиале, поселившемся в Алжире, который проявил редкое мужество, во главе фермеров отбив атаку грабителей-арабов, и что его храбрая жена, сражаясь рядом с ним, была легко ранена, стреляя из ружья как настоящий гренадер. С тех пор, сообщает газета, ее называют госпожа Карабин.

Простите меня за столь длинное письмо, монсеньор, но я полагаю, что вы не рассердитесь, узнав от нас, как живут те люди, для которых вы были провидением. Я вам пишу с фермы Букеваль, где мы с весны живем вместе с нашей матерью. Жермен утром уезжает по своим делам и возвращается вечером. Осенью мы вернемся в Париж. Как это странно, монсеньор Родольф, я, которая не любила деревню, теперь ее обожаю... Это объясняется тем, что деревню очень любит Жермен. Кстати, о ферме, вы, конечно,

знаете, где живет прелестная Певунья? Если представится случай, скажите ей, что о ней вспоминают как о самом нежном, истинном чуде на свете, и мне особенно радостно думать, что раз господин Родольф стал благодетелем Лилии-Марии, то благодаря ему она будет так же счастлива, как и многие другие, и я, помня это, становлюсь еще более счастливой.

Боже, как я болтлива! Что вы обо мне подумаете? Но, впрочем, вы такой добрый!.. Однако же вы сами виноваты, если я щебечу столь же весело, как и мои птицы папа Пету и Рамонетта, которые не осмеливаются теперь соревноваться со мной в пении. Иначе, господин Родольф, я доведу их до изнеможения, честное слово!

Вы не откажете нам в нашей просьбе, не так ли, монсеньор? Если вы предложите имя для нашей дочери, нам думается, что это принесет ей счастье и будет для нее счастливой звездой. Послушайте, господин Родольф, иногда я и Жермен... почти радуемся тому, что в начале жизни нам было трудно, потому что мы теперь

знаем, как наше дитя будет счастливо уже потому, что не будет знать нужды, которую претерпели мы.

Заканчивая это письмо, хочу вам сказать, что мы стараемся где только можно по мере наших средств прийти на помощь бедным людям, при этом я не хвастаюсь, а только хочу сообщить вам, что мы не оставляем себе все то счастье, которое вы нам дали, а делимся им с другими. К тому же тем, кому помогаем, мы всегда говорим: не нас надо благодарить и благословлять, а господина Родольфа, наиболее великодушного во всем мире человека. И они вас чтут как святого, если не больше.

До свиданья, монсеньор. Поверьте, что, когда наша дочка начнет читать, первое слово, прочитанное ею, будет вашим именем, а затем слова, написанные вами на моей свадебной корзинке:

«Труд и Благоразумие, Любовь и Счастье».

Благодаря этим словам, нашей нежной любви и заботам мы надеемся, монсеньор, что наша дочь будет достойна

произносить имя того, кто стал провидением для нас и для всех отверженных, которых он знал.

Простите меня, кончая это письмо, я чувствую, что на глазах слезы, но это слезы радости... Извините, пожалуйста... я тут не виновата... плохо вижу, потому скверно пишу...

Честь имею кланяться вам, с признательностью и уважением.
Хохотушка, жена Жермена.

P.S. О боже, монсеньор, прочитав письмо, я заметила, что несколько раз назвала вас господин Родольф. Вы ведь меня простите? Вы отлично знаете, что, под тем или другим именем, все равно мы уважаем и благословляем вас».

Глава V.
ВОСПОМИНАНИЯ

Какая славная Хохотушка, — сказала Клеманс, растроганная простодушным письмом, которое прочел Родольф.

— Конечно, — ответил принц, — она заслужила наши благодеяния, у нее отличный характер, доброе сердце, врожденный ум; Мария любит ее так же, как и мы.

Затем, увидев Марию, ее бледное, печальное лицо, спросил:

— Что с тобой?

— Увы! Грустно видеть, как сложилась моя жизнь и жизнь Хохотушки. «Труд и Благоразумие, Любовь и Счастье» — в этих словах заключается вся ее прошлая и настоящая жизнь... Работящая, разумная девушка, любимая жена, счастливая мать — вот ее участь, в то время как я.....

— Боже мой!.. О чем ты говоришь?

— Пощадите меня, отец, не упрекайте, что я неблагодарна: несмотря на вашу нежность и заботу моей матери, на роскошь, которая меня окружает, на ваш королевский сан, мой позор

несмываем! Забыть прошлое нельзя! До сих пор я скрывала это от вас, но воспоминания о моем унизительном падении убивают меня.

— Клеманс, вы слышите, что она говорит? — в отчаянии произнес Родольф.

— Бедное дитя, — сказала Клеманс, взяв за руку Марию, — наша забота, симпатия всех тех, кто вас окружает, и которую вы заслужили, разве все это не доказывает вам, что прошлое должно стать для вас лишь дурным сном?

— О злой рок! — продолжал Родольф. — Как я проклинаю свое благостное спокойствие, ведь мрачные мысли давно тревожат ее душу. Неведомо для нас они беспрестанно угнетают ее; всему конец, какое несчастье!

— Не отчаивайтесь, друг мой, вы сами только что сказали, что надо знать, какой враг нам угрожает. Мы знаем теперь причину тоски нашей дочери, и мы восторжествуем, так как за нас разум, справедливость и любовь.

— Если ее скорбь неизбывна, то станет неизлечимой и наша, — продолжал Родольф, — право же, придется разочароваться во всякой справедливости, и человеческой и божественной, если эта бедная девочка по-прежнему будет погружена в грустные размышления.

После долгого молчания, во время которого Мария, казалось, что-то обдумывала, она обратилась к Родольфу и Клеманс:

— Выслушайте меня, дорогой отец и моя нежная мать, сегодня торжественный день... Бог не захотел, чтоб я продолжала скрывать свои чувства, я все равно призналась бы вам в том, что вы услышите сейчас, потому что всякому страданию приходит конец.

— О, я все понимаю, — воскликнул Родольф, — для нее нет больше веры в будущее.

— Я надеюсь на будущее, отец, и эта надежда придает мне силу откровенно признаться вам.

— А на что ты можешь надеяться в будущем... — бедное дитя, если ныне твоя судьба приносит тебе только печаль и горечь?

— Я сейчас вам объясню, отец... но прежде позвольте мне напомнить вам прошлое и перед богом, который слышит меня, признаться вам в том, что я чувствовала до сих пор.

— Говори... говори, мы слушаем тебя, — сказал Родольф, садясь вместе с Клеманс возле Лилии-Марии.

— Пока я была в Париже... с вами, отец, я была так счастлива, что эти прекрасные дни невозможно возместить годами страданий... Вот видите... я

все-таки познала счастье.

— В течение нескольких дней, быть может...

— Да, но какое это было светлое блаженство! Вы окружали меня лаской, трогательной заботой! Я без страха отдавалась порывам благодарности и любви... И каждое мгновение сердце мое стремилось к вам... Будущее ослепляло меня: у меня был обожаемый отец, вторая мать, ее я могла любить вдвое сильнее, потому что она заменила мне мою мать, которой я никогда не видела. А потом... я должна признаться во всем, я невольно гордилась тем, что принадлежу вам. Когда ваши приближенные разговаривали со мной в Париже, называли меня «ваше высочество», я восхищалась этим званием. Если в то время мне иногда неясно вспоминалось прошлое, я думала: некогда так низко падшая, теперь я нежно любимая дочь владетельного принца, всеми почитаемого и благословляемого, некогда такая несчастная, теперь я наслаждаюсь великолепием роскоши и почти королевскими почестями! Увы! Что вы хотите, отец, мое возвышение было так неожиданно... ваше могущество окружило меня таким великолепным блеском, что меня можно простить за то, что я позволила так ослепить себя.

— Простить... Но это совершенно нормаль-

но, мой любимый ангел. Почему не гордиться званием, принадлежащим тебе по праву? Не наслаждаться преимуществами положения, которое я вернул тебе? И в то время — я хорошо помню — ты была так очаровательна: сколько раз ты бросалась ко мне в объятия, словно удрученная блаженством, и говорила мне своим великолепным голосом те слова, которые, увы, мне не приходится больше слышать: «Отец... я слишком... слишком счастлива!» Увы! Эти воспоминания... видишь ли... успокоили меня, позже я не придавал значения твоей меланхолии...

— Скажите же нам, дитя мое, — спросила Клеманс, — что заставило вас заглушить эту радость, такую чистую, такую законную, которую вы испытывали вначале?

— Одно обстоятельство, роковой, мрачный случай!..

— Какой?

— Вы помните, отец... — сказала Мария, не в силах одолеть охватившую ее дрожь, — помните кошмарную сцену перед нашим отъездом из Парижа... Когда вашу карету остановили у самой заставы?

— Да, — грустно ответил Родольф. — Славный Поножовщик... он был убит... там... при нас... по-

сле того, как во второй раз спас мне жизнь. Он успел сказать только: «Небо справедливо... я убил, меня убивают...»

— Так вот, отец! В тот момент, когда он умирал, знаете ли вы, что кто-то пристально смотрел на меня?.. О, этот взгляд... этот взгляд... Он вечно преследует меня.

— Какой взгляд? О ком ты говоришь? — воскликнул Родольф.

— О Людоедке из кабака, — прошептала Мария.

— Это чудовище? Ты виделась с ней? Где же?

— Вы не заметили ее там, где умер Поножовщик? Она была среди окружавших его женщин.

— А, теперь я понимаю, — удрученно произнес Родольф, — понимаю... Ты была так поражена убийством Поножовщика, и тебе показалось, что эта неприятная встреча предвещает что-то недоброе!..

— Это истина, отец; при виде Людоедки меня охватил смертельный холод, мое сердце, переполненное счастьем и надеждой, сразу заледенело под ее взглядом. Да, встретить эту женщину, в тот момент, когда, умирая, Поножовщик молвил: «Небо справедливо...» Мне показалось, что провидение напоминает мне, что я возгордилась,

забыла прошлое, которое должна была искупить смирением и раскаянием.

— Но ты ведь не виновата, тебя заставили, ты неповинна за свое прошлое перед богом.

— Вас принудили... напоили... несчастное дитя.

— А когда попала в этот омут, ты уже не могла из него выбраться, несмотря на твое раскаяние и отчаяние. В этом повинно равнодушное общество, жертвой которого ты была. Ты навсегда бы оставалась в этом вертепе, помог только счастливый случай, — я увидел тебя.

— И потом, дитя мое, как говорит ваш отец, вы были жертвой, а не сообщницей этого издевательства! — воскликнула Клеманс.

— Но это издевательство... Я его испытала... мама, — мучительно выговорила Мария. — Ничто не могло избавить меня от страшных воспоминаний. Они постоянно преследовали меня не только среди крестьян фермы, не только среди падших женщин тюрьмы, но также и здесь, во дворце высшего общества Германии... и даже... в объятиях моего отца, на ступенях его трона.

И Лилия-Мария разрыдалась.

Родольф и Клеманс не находили слов, чтоб утешить несчастную страждущую девушку; чувствуя бессилие своих утешений, они тоже

прослезились.

— С тех пор, — продолжала Лилия-Мария, утирая слезы, — я постоянно с горьким стыдом укоряю себя: меня уважают, почитают, самые выдающиеся люди выражают мне свое внимание, на глазах у всего двора сестра императора соблаговолила поправить на моей голове повязку... а я ведь была в грязном притоне Сите, где воры и убийцы были со мной на «ты». Ах, отец, простите меня, но чем выше становилось мое положение... тем больше удручала меня глубина моего падения в прошлом; каждый раз, как мне оказывают уважение, я чувствую, что это профанация. Боже мой, подумайте, кем я была в прошлом! Могу ли я терпеть, чтобы старые люди низко кланялись мне, чтобы благородные девицы, уважаемые дамы гордились тем, что окружали меня... терпеть, наконец, чтобы знатные принцессы, элита духовного сана были так предупредительны ко мне и так меня хвалили, разве это не оскорбление святыни, не кощунство? А потом, если бы вы знали, отец, как я страдала и как продолжаю страдать каждый день, думая: «Если бы господу было угодно, чтобы мое прошлое стало известно всем, с каким заслуженным презрением отнеслись бы к той, которую сейчас возносят так высоко!.. То бы-

ло бы справедливым и страшным наказанием!»

— Но ведь моя жена и я, мы знаем твое прошлое, мы достойны своего положения, и мы тебя нежно любим... обожаем.

— Вы любите меня слепой любовью отца и матери...

— А все совершенные тобою благодеяния? А прекрасное учреждение, этот приют, открытый тобою для сирот и покинутых девушек, эта преданная забота, которой ты их окружаешь? То, что ты называешь их своими сестрами и хочешь, чтобы они тоже называли тебя так, потому что ты и в самом деле обращаешься с ними, как со своими сестрами?.. Разве этого недостаточно, чтобы искупить ошибки, совершенные не тобою?.. Наконец, нежность со стороны настоятельницы монастыря святой Германгильды, которая познакомилась с тобой только после твоего приезда сюда, разве это не говорит о возвышенности твоего духа, о твоем искреннем благочестии?

— Теперь настоятельница одобряет мой образ действий; я радуюсь этому безраздельно, отец, но когда она ставит меня в пример благородным девицам монастыря и они видят во мне образец всех добродетелей, я просто умираю от стыда, как будто принимаю участие в недостойной лжи.

После довольно долгого молчания глубоко удрученный Родольф продолжал:

— Я вижу, что тебя невозможно уговорить: все доводы бессильны перед убеждением, тем более неколебимым, что истоки его к твоем благородном и возвышенном чувстве; ты каждую минуту вспоминаешь прошлое. Контраст между твоим прошлым и настоящим положением и в самом деле постоянно мучит тебя!.. Прости меня, бедное дитя.

— Вы, мой добрый отец, вы просите у меня прощения!.. А за что, боже мой?

— За то, что я не распознал волнений твоей чувствительной души... тонкости твоей натуры, я должен был постигнуть это чувство. Но, впрочем, что я мог сделать?.. Мой долг состоял в том, чтобы торжественно признать свою дочь... и тогда ее обязательно должно было окружить уважение... ставшее для нее столь мучительным... Да, но я был неправ в одном: я слишком гордился тобой, я слишком наслаждался очарованием, которое твоя красота, твой ум и твой характер внушали всем, кто приближался к тебе... Я должен был уберечь свое сокровище... жить уединенно с тобой и Клеманс... отказаться от пышных празднеств, многочисленных приемов, на которых ты

блистала; я, безумный, думал, что вознесу тебя так высоко... так. высоко... думал, что прошлое в твоей душе совершенно померкнет. Но, увы! Вышло наоборот... и, как ты мне сказала, чем выше я возносил свою дочь, тем мрачнее и глубже казалась ей пропасть, из которой я ее извлек... Повторяю: это моя вина... а я — то думал, что поступаю правильно!.. — сказал Родольф, вытирая слезы. — Но я ошибся... И слишком рано решил, что я прощен... Провидение еще недостаточно отомстило мне... Оно преследует меня, отнимая счастье у моей дочери...

В дверь гостиной, которую надо было пройти, чтобы попасть в молельню Лилии-Марии, осторожно постучали; печальный разговор прервался.

Родольф встал и отворил дверь.

Он увидел Мэрфа, который сказал ему:

— Прошу прощения за то, что беспокою ваше высочество, но курьер принца Эркаузена-Олденцааль только что привез это письмо; по его словам, оно очень важное и должно быть сразу же передано вашему высочеству.

— Благодарю, милый Мэрф. Не уходи, — со вздохом сказал Родольф, — сейчас мне нужно будет поговорить с тобой.

И принц, закрыв дверь, остался на минуту в гостиной, чтобы прочесть письмо, переданное ему Мэрфом.

«Монсеньор!

Могу ли я надеяться, что узы родства, связывающие нас с вашим королевским высочеством, дружба, которой вы всегда удостаивали меня, будут служить мне извинением за то, что я пишу вам; этот поступок можно было бы счесть слишком смелым, если бы он не был подсказан мне совестью честного человека.

Пятнадцать месяцев тому назад вы возвратились из Франции вместе с дочерью, тем более дорогой для вас, что вы считали ее погибшей навсегда, в то время как в действительности она никогда не покидала свою мать, на которой вы официально женились в Париже in extremis, чтобы узаконить рождение принцессы Амелии, таким образом ставшей равной по званию с другими принцессами Германского союза.

Итак, ваша дочь из знатного рода, красота ее несравненна, доброта достойна

ее высокого звания, сердце и разум столь же поразительны. Обо всем этом мне сообщила моя сестра, настоятельница монастыря св. Германгильды, удостоенная чести часто видеть горячо любимую вами дочь.

Теперь, монсеньор, я откровенно изложу цель настоящего письма, потому что, к сожалению, серьезная болезнь не позволяет мне покинуть Олденцааль и приехать к вашему королевскому высочеству.

Во время своего пребывания в Герольштейне мой сын почти каждый день встречался с принцессой Амелией; он безумно ее любит, но скрывал от нее свою любовь.

Я посчитал своим долгом, монсеньор, сообщить вам об этом. Вы соизволили по-родственному принять моего сына, пригласили его вновь в лоно вашей семьи и выразили ему столь дорогое для него расположение. С моей стороны было бы бесчестно скрывать от вас обстоятельство, которое должно изменить прием, оказываемый вами моему сыну.

Было бы безумием с нашей стороны возлагать надежду на то, что возможны еще более родственные связи с вашим королевским высочеством.

Я знаю, что дочь ваша, монсеньор, которой вы имеете полное право гордиться, заслуживает самого высокого положения в обществе.

Но мне также известно, что вы ее нежно любите, и если бы вы нашли моего сына достойным принадлежать вашей семье и составить счастье принцессы Амелии, то вас бы не остановила мысль о серьезном различии в нашем положении, которое не позволяет нам на что-либо надеяться.

Мне не пристало хвалить Генриха, монсеньор; я лишь напомню о вашей доброте к нему и о похвалах, которыми вы его часто удостаивали.

Я не смею и не могу больше говорить обо всем этом, я слишком взволнован.

Каково бы ни было ваше решение, соизвольте верить, что я и мой сын подчинимся ему с полным уважением, и я всегда останусь верным глубоким чувствам преданности вам; имею честь быть вашим покорным и послушным слугой.

Густав Пауль, принц д'Эркаузен-Олденцааль».

Глава VI.
ПРИЗНАНИЕ

Прочитав письмо принца, отца Генриха, Родольф некоторое время был задумчив и опечален, но затем лицо его просветлело, и он подошел к своей дочери, которой Клеманс напрасно расточала нежные слова утешения. — Дитя мое, ты сама сказала: бог повелел, чтоб этот день стал днем важных событий, — сказал Родольф дочери, — я не предвидел, что новое, весьма важное обстоятельство должно было оправдать твое предположение.

— А в чем дело, отец?

— Друг мой, что произошло?

— Новые волнения.

— Для кого же, отец?

— Для тебя.

— Для меня?

— Ты поведала нам лишь половину своих тревог, бедное дитя.

— Будьте так добры, пожалуйста, объясните, в чем дело, — ответила Мария, краснея.

— Теперь я могу это исполнить, раньше это

было для меня невозможно, ведь я не знал, до какой степени отчаяния ты дошла. Послушай меня, дорогая дочь, ты убеждена, что глубоко несчастна, скорее, ты несчастна и на самом деле. В начале нашего разговора ты говорила мне, что у тебя остается лишь одна надежда... я понял... мое сердце разрывалось... я должен был лишиться тебя навсегда, ведь ты собиралась уйти в монастырь, живой войти в могилу. Ты хотела бы стать монахиней...

— Отец...

— Дитя мое, это правда?

— Да, если вы разрешите, — задыхаясь, проговорила Мария.

— Покинуть нас! — воскликнула Клеманс.

— Аббатство святой Германгильды так близко от Герольштейна; я буду часто видеть и вас и отца.

— Подумай только, такой обет дается навечно, дорогое дитя. Вам нет и восемнадцати лет, и, быть может, когда-нибудь...

— О, я никогда не раскаюсь в своем решении; лишь в тишине обители я найду покой и забвение, если только мой отец и вы, моя вторая мать, будете любить меня по-прежнему.

— Обязанности, утешения монашеской жизни

смогут и в самом деле, — произнес Родольф, — если не излечить, то все же облегчить страдания твоей истерзанной души. И хотя с тобою уйдет половина счастья из моей жизни, быть может, я и одобрю твое решение. Я знаю, как ты страдаешь, и думаю, что, быть может, уход от света должен стать роковым, но разумным решением в твоей печальной жизни.

— Как! Родольф, — и вы тоже! — воскликнула Клеманс.

— Позвольте, друг мой, полностью выразить мою мысль, — возразил Родольф.

Затем, обращаясь к дочери, он продолжал:

— Но прежде чем принять окончательное решение, надо подумать, нет ли другого выхода, приемлемого и для тебя и для нас. В таком случае я не остановлюсь перед любой жертвой, чтобы обеспечить твое счастливое будущее.

Лилия-Мария и Клеманс посмотрели на него с удивлением. Родольф, не сводя глаз с дочери, продолжал:

— Что ты думаешь... о своем кузене принце Генрихе? Мария затрепетала, покраснела.

Поколебавшись мгновение, она со слезами бросилась в объятия отца.

— Ты его любишь, бедное дитя мое!

— Вы меня об этом никогда не спрашивали, — ответила Мария, вытирая слезы.

— Мой друг, значит, мы не обманывались, — сказала Клеманс.

— Итак, ты его любишь... — добавил Родольф, сжав руки дочери в своих. — Ты его очень любишь, милое дорогое дитя?

— О, если бы вы знали, — ответила Мария, — как трудно мне было скрывать это чувство, с тех пор как оно возникло в моем сердце! Увы, если бы вы меня спросили, я тут же бы во всем призналась... Но меня удерживал стыд, и сама я никогда не посмела бы сказать вам это.

— А как ты думаешь, Генрих знает, что ты любишь его?

— Боже мой! Отец, думаю, что нет! — испуганно возразила Мария.

— А он... ты полагаешь, что он тебя любит?

— Нет, отец... нет... Я надеюсь, что нет... он слишком страдал бы.

— Ангел мой, как же возникла эта любовь?

— Увы, почти помимо моей воли... Вы помните портрет пажа?

— Который находится у аббатисы... портрет Генриха?

— Да, отец... считая, что он относится к прошлой

эпохе, однажды, в вашем присутствии, пораженная его красотой, я не скрыла своего восторга от настоятельницы. Вы шутя мне сказали, что на этой картине изображен один из давних наших родственников, который уже в ранней молодости проявил исключительное мужество и благородство. Очарование его лица, то, что вы мне сказали о благородном характере нашего кузена, еще более усилили мое первое впечатление... С того дня я часто с удовольствием вспоминала увиденный портрет, отнюдь не сомневаясь, что то был наш кузен, давно уже умерший... Постепенно я свыклась с этой мыслью... зная... что мне не дозволено любить на этой земле, — добавила Мария душераздирающим голосом, снова заливаясь слезами. — Странная мечта вызывала во мне меланхолическое настроение, в котором сменялись улыбка, плач; я смотрела на красавца пажа былых времен как на какого-то жениха из иного мира... с которым я, быть может, встречусь в вечности; мне казалось, что лишь такой любви достойно то сердце, которое всецело принадлежит вам... Но простите меня за печальные воспоминания.

— Наоборот, нет ничего более трогательного, бедное дитя, — сказала глубоко взволнованная Клеманс.

— Теперь я понимаю, — заметил Родольф, — почему однажды ты с горестью упрекнула меня за обман с портретом.

— Увы, да, отец, судите сами, как я смутилась, когда вслед затем настоятельница мне сообщила, что это портрет ее племянника, нашего родственника... Тогда я страшно взволновалась; я пыталась отвлечься от первого впечатления, но чем больше старалась, тем сильнее оно укоренялось в моем сердце, как раз благодаря моим настойчивым усилиям изгнать его. К тому же я часто слышала, как вы хвалили сердечность, незаурядный ум и характер принца Генриха...

— Дорогое дитя мое, ты его полюбила уже тогда, когда видела только его портрет и слышала, как говорят о его редких достоинствах.

— Я еще не любила его, отец, но меня влекло к нему, и я горько упрекала себя; но утешалась тем, что никто в мире не узнает мою печальную тайну, которой я так стыдилась. Чтоб я осмелилась полюбить... не довольствуясь вашим трогательным чувством, нежностью моей матери! Разве не должна была я посвятить вам обоим все силы, все порывы моего сердца и души?.. О, из всех упреков, какими я осыпала себя, это мучило меня больше всего. Наконец я впервые увидела кузена... на

балу в честь герцогини Софии; принц Генрих был так поразительно похож на свой портрет, что я сразу же его узнала... В тот же вечер, отец, вы мне представили кузена и позволили нам относиться друг к другу по-родственному.

— И вскоре вы полюбили друг друга?

— О, дорогой отец, он так красноречиво выражал вам свое уважение, привязанность, восхищение... к тому же вы сами так хорошо отзывались о нем!

— Он того заслужил. Нет более возвышенного характера, более благородного сердца.

— Ах, отец, сжальтесь... не хвалите его так... Я и без того столь несчастна!

— А я хочу убедить тебя в том, что у твоего кузена изумительный характер... Тебя удивляет то, что я сейчас говорю, я понимаю, продолжай...

— Я чувствовала, как для меня опасно ежедневно встречаться с принцем, но я не могла избежать этих встреч. Как ни безгранично мое доверие к вам, мой отец, я не осмелилась рассказать вам о моей тревоге, всячески старалась утаить мою любовь; и все же, признаюсь, несмотря на угрызения совести, когда я забывала о прошлом, эта братская близость доставляла мне минуты счастья, неведомого прежде, но сменявшегося

мрачным отчаяньем, как только я начинала вспоминать печальное прошлое... ибо, увы, если эти воспоминания продолжались, в то время как я была окружена почестями и уважением со стороны почти незнакомых мне людей, посудите сами, отец, в каком я была состоянии, когда принц Генрих расточал мне деликатные комплименты... окружил меня чистым и почтительным обожанием, проявляя, как ой говорил, братскую привязанность, которую он чувствовал ко мне под святым покровительством своей матери, умершей, когда он был еще ребенком. Но я, по крайней мере, старалась заслужить прелестное имя сестры, которым он меня называл, я согласно своему слабому уму советовала кузену, как вести себя в будущем, проявляла интерес ко всему, что имело к нему отношение, обещала себе, что всегда буду просить вас оказывать ему вашу доброжелательную поддержку... Но сколько мук, сколько сдержанных слез, когда принц Генрих расспрашивал меня о моем детстве, юности... О, обманывать... всегда обманывать, всегда бояться, вечно лгать... вечно дрожать под взглядом того, кого любишь и уважаешь, как преступник дрожит перед неумолимым взором своего судьи!.. О отец, я виновата, я понимаю, что не имела права

любить; но я искупила эту печальную любовь тяжелым страданием... Что вам еще сказать? Отъезд Генриха причинил мне новое глубокое горе, и я поняла, что люблю его еще больше, чем думала... Вот почему, — сказала Мария, подавленная так, словно эта исповедь поглотила все ее силы, — я вскоре призналась бы вам, так как эта роковая любовь переполнила чашу моих страданий... Теперь скажите, отец, скажите, когда вы все знаете, какое будущее может ожидать меня, кроме пострижения в монахини?

— Да, есть для тебя будущее, дитя мое... настолько же светлое, отрадное и счастливое, насколько монастырь мрачен и зловещ.

— Что вы говорите, отец?..

— Послушай теперь меня... Ты хорошо знаешь, что я тебя горячо люблю, питаю к тебе слишком нежные чувства, чтобы не заметить возникшую между тобой и Генрихом любовь; всего лишь несколько дней спустя я убедился, что он полюбил тебя еще сильнее, чем ты его...

— Отец... нет... нет, это невозможно... он не любит меня так сильно.

— Он тебя любит, говорю тебе... любит страстно, безумно.

— О боже мой, боже мой!

— Слушай же... Когда я сыграл эту шутку с портретом, я не знал, что Генрих должен вскоре приехать к своей тетке в Герольштейн. Когда он сюда приехал, я уступил симпатии, которую он всегда мне внушал, и пригласил его постоянно бывать у нас... До того я относился к Генриху, как к своему сыну, и теперь ничего не изменил в своем отношении к нему... Несколько дней спустя Клеманс и я уже не сомневались в вашем обоюдном чувстве... Если ты страдала и мучилась, дитя мое, то, поверь, мне тоже было не сладко, и я был в крайне затруднительном положении. Как отец, ценя превосходные черты характера Генриха, я был глубоко счастлив, узнав о вашей привязанности друг к другу, так как я не мог мечтать о более достойном муже для тебя.

— Ах, отец... сжальтесь надо мной, сжальтесь!

— Но меня, как человека чести, мучила мысль о твоем печальном прошлом... Вот почему при встречах с Генрихом я не внушал ему никаких надежд, а, наоборот, давал ему советы, совершенно противоположные тем, которых он мог ожидать от меня, если бы я собирался отдать тебя за него замуж. При таких щепетильных обстоятельствах, как отец и порядочный человек, я должен был проявлять строгую сдержанность, не поощрять

любовь кузена, но по-прежнему учтиво относиться к нему... Дорогое дитя, ведь до сих пор ты была так несчастна, что, видя, как ты оживилась под влиянием чистой и благородной любви, я ни за что на свете не захотел бы лишить тебя редкостных и чудесных радостей. Даже если, быть может, в будущем это чувство и померкнет, я все же надеялся, что ты сможешь насладиться немногими днями невинного счастья... и, быть может... эта любовь в-будущем вернет тебе душевный покой.

— Душевный покой?

— Послушай же... Отец Генриха, принц Пауль, написал мне письмо... Хотя он считает, что не может надеяться на эту милость... он просит твоей руки для своего сына, который, по его словам, самозабвенно и страстно тебя любит.

— О боже, — произнесла Лилия-Мария, закрывая лицо руками, — как я могла бы быть счастлива!

— Успокойся, моя любимая! Все зависит от тебя, ты можешь быть счастливой, — нежно произнес Родольф.

— Никогда... Никогда! Разве вы забыли?

— Я ничего не забываю... Но если завтра ты уйдешь в монастырь, я не только расстанусь с тобой навсегда... но помни, что тебе предстоит печаль-

ная, суровая жизнь... Значит, я должен потерять и погубить тебя, вместо того чтобы видеть тебя счастливой, если ты станешь супругой любимого человека, который тебя обожает. — Выйти за него замуж... да что вы, отец!

— Да... но с условием, что после свадьбы, которая состоится здесь, ночью, без свидетелей, за исключением Мэрфа для тебя и барона Грауна для Генриха, вы отправитесь в какое-нибудь тихое убежище в Швейцарии или Италии, и будете жить там в уединении, как живут богатые буржуа. Теперь ты понимаешь, почему я безропотно решил расстаться с тобой. Тебе известно, почему я желаю, чтоб Генрих скрыл свой титул, как только он покинет Германию? Дело в том, что я убежден, что, наслаждаясь уединенным счастьем, ведя образ жизни, лишенный светской роскоши, ты постепенно будешь забывать то ужасное прошлое, особенно нестерпимое для тебя здесь, где оно представляет горький контраст с помпезными почестями, которые тебе беспрерывно оказывают.

— Родольф прав! — воскликнула Клеманс. — Наедине с Генрихом вы будете наслаждаться своим и его счастьем и у вас не будет времени даже подумать о том, что происходило когда-то.

— К тому же я не смогу долгое время не видеть тебя; каждый год Клеманс и я будем навещать вас.,

— И однажды... когда раны, от которых вы так страдаете, заживут... когда вы обретете забвение в счастье, а это время наступит раньше, чем вы предполагаете... вы возвратитесь к нам, чтоб никогда больше не расставаться с нами!

— Забвение в счастье!.. — прошептала Лилия-Мария, невольно зачарованная этой волшебной мечтой.

— Да... да, дитя мое, — повторила Клеманс, — когда вас будет беспрерывно благословлять, почитать, обожать ваш муж, избранный вами, человек с благородным и великодушным сердцем, которым восхищается ваш отец... разве останется у вас время предаваться воспоминаниям о былом? И даже если вы вспомните о прошлом, сможет ли оно вас опечалить? Помешает ли оно вам верить в лучезарное счастье вашего мужа?

— Это правда, скажи мне, дитя мое, — продолжал Родольф, едва сдерживая слезы радости, когда увидел, что его дочь колеблется, — если ты поймешь, как обожает тебя твой муж... если почувствуешь, что своим счастьем он всецело обязан тебе... за что же ты будешь упрекать себя?

— Дорогой отец... — произнесла Мария, увлеченная несказанной надеждой, — неужели меня ждет такое счастье?

— Я был в этом уверен! — воскликнул Родольф в порыве торжествующей радости. — Разве отец не может устроить счастье своей любимой дочери... если он хочет этого?

— Она так заслуживает счастья... что мы должны исполнить просьбу принца Пауля, мой друг, — заметила Клеманс, разделяя радостное восхищение Родольфа.

— Стать женою Генриха... и потом проводить жизнь с ним... и с моей второй матерью, и с вами, отец, — повторяла Мария, все более опьяняясь этими сладостными мыслями.

— Да, мой милый ангел. Мы все будем счастливы!.. Я отвечу отцу Генриха, что соглашаюсь на ваш брак! — воскликнул Родольф, обнимая свою дочь с невыразимым волнением. — Успокойся, разлука с нами будет недолгой... новые обязанности семейной жизни укрепят тебя на пути забвения и блаженства, на который ты теперь вступишь... и наконец, если ты станешь матерью, не только ты одна будешь счастлива...

— Ах, — воскликнула Мария душераздирающим голосом, ибо слово «мать» прогнало охватив-

ший ее волшебный сон. — Мать... я? Никогда!.. Я недостойна этого святого имени... Я бы умерла от стыда перед моим ребенком... если бы раньше не умерла от стыда перед его отцом... признаваясь ему в своем прошлом.

— Что она говорит, боже мой, — воскликнул Родольф, пораженный этим резким поворотом.

— Чтоб я стала матерью, — с горьким отчаяньем продолжала Мария, — чтоб меня уважал, благословлял невинный и чистый ребенок! Меня, которую в прошлом все презирали! Чтобы я позорила святое имя матери... О, никогда... несчастная, безумная, я позволила увлечь себя недостойной надеждой!..

— Дорогая дочь, сжалься, выслушай меня.

Лилия-Мария поднялась, прямая, бледная и прекрасная во всем величии своего неизбывного несчастья.

— Отец... мы забыли, что, прежде чем я выйду за него замуж, принц Генрих должен узнать о моем прошлом.

— Я это не забыл, — воскликнул Родольф. — Он должен все знать... и он узнает все...

— А вы ведь не пожелаете, чтоб я умерла... столь униженная в его глазах?

— Но он также узнает, какой неодолимый рок

вверг тебя в пропасть... узнает, что ты все искупила.

— И он наконец поймет, — продолжала Клеманс, сжимая Марию в своих объятиях, — что если я вас называю дочерью, то он, не стыдясь, может назвать вас своей женой...

— А я... мама, я глубоко уважаю принца Генриха и не могу отдать ему руку, к которой прикасались парижские бродяги...

Вскоре после этой тяжелой сцены можно было прочитать в «Официальной газете Герольштейна» следующее сообщение:

«Вчера в герцогском аббатстве св. Германгильды, в присутствии его королевского высочества правящего герцога и всего его двора произошло вступление в послушницы ее высочества принцессы Амелии Герольштейнской.

Послушничество было принято монсеньором Карлом-Максимом, архиепископом Оппенгеймским, монсеньором Аннибалом-Андре Монтано, принцами Дельфийскими, епископом Чеутским in partibus infidelium[174] и папским нунцием, который передал поздравление и благословение папы.

---

[174] Notes: 174
В иноверческой стране (лат.)

Проповедь была произнесена преподобным монсеньором Петером фон Асфельд, каноником Кельнского собора, графом Священной Римской империи».

«VENI, CREATOR OPTIME»[175]

[175] Notes: 175
Приди, творец всеблагой (лат.).

Глава VII.
ИСПОВЕДЬ

«Родольф к Клеманс
Герольштейн, 12 января 1842[176].

Окончательно успокоив меня сегодня сообщением о здоровье вашего отца, мой друг, вы подаете мне надежду, что сможете в конце недели привезти его сюда. Я его предупреждал, что в замке Розенфельд, находящемся среди лесов, несмотря на всевозможные предосторожности, ему придется терпеть лютый холод; к несчастью, наши советы для такого страстного охотника, как он, оказались бесполезными. Заклинаю вас, Клеманс, как только ваш отец сможет переносить езду в экипаже, увезите его без промедления; покиньте эту суровую страну и это дикое убежище, где могли жить только древние германцы с железным здоровьем, каких

[176] Notes: 176
Почти шесть месяцев прошло с того времени, как Лилия-Мария поступила послушницей в монастырь св. Германгильды.

теперь уже не осталось на свете.

Я боюсь, что и вы заболеете в свою очередь: усталость от этой внезапной поездки, тревога, терзавшая вас, пока вы не увидели своего отца, все это было слишком жестоко для вас. Как жаль, что я не смог вас сопровождать!..

Клеманс, умоляю вас, будьте осторожны. Я знаю, что вы смелая, преданная женщина... мне также известно, какой трогательной заботой вы окружили своего отца; но он, как и я, будет — в отчаянье, если ваше здоровье пострадает во время путешествия; вдвойне сожалею о болезни графа, потому что из-за нее вам пришлось оставить меня в тот момент, когда я смог бы найти утешение в вашей нежной любви.

Обряд пострижения нашей дочери назначен на завтра... 13 января, роковая дата... Именно 13 января я обнажил шпагу против моего отца...

Ах, мой друг... я слишком рано решил, что я прощен. Пьянящая надежда провести жизнь подле вас и дочери заставила меня позабыть, что до сих пор не я, а она

была наказана, мне же еще предстоит возмездие.

И вот оно явилось... когда шесть месяцев тому назад несчастная дочь поведала нам о двойном источнике ее сердечных мук: несмываемый позор прошлого... несчастная любовь к Генриху...

Эти жгучие горестные чувства, каждое из которых усиливает другое, с логической неизбежностью привели к ее неумолимому решению поступить в монастырь. Вам известно, мой друг, что, изо всех сил борясь за нашу обожаемую дочь, уговаривая ее изменить решение, мы не могли утаить от себя, что она поступает мужественно и что на ее месте мы поступили бы так же. Что можно было ответить на эти страшные слова: «Я слишком люблю принца Генриха, чтобы предложить ему руку, к которой прикасались парижские бродяги»? Она должна была пожертвовать собою вследствие благородных терзаний неизгладимого прошлого! Она совершила это храбро... Она отказалась от великолепия света, она спустилась по ступеням трона, чтобы, об-

лаченной во власяницу, стать на колени на плиты церкви; скрестив — на груди руки, она склонила ангельскую головку, и ее чудные белокурые волосы, которые я так любил и которые храню как сокровище, упали наземь.

О мой друг, вы представляете себе мою душевную боль в этот мрачный торжественный момент, она столь же мучительна, как и в минувшие времена... Над этим письмом я плачу как ребенок.

Я ее видел сегодня утром; она выглядела менее бледной, чем обычно, и убеждала, что здорова... ее состояние меня смертельно тревожит. Увы, когда под покрывалом и повязкой, окружавшей благородный лоб, я увидел осунувшиеся черты, белые, как холодный мрамор, и ее большие глаза, ставшие, казалось, еще больше, я не мог не вспомнить о нежном и чистом сиянии ее красоты в день нашей свадьбы. Никогда мы не видели ее столь обворожительной, не правда ли? Ее прелестное лицо, казалось, излучало наше счастье.

Как я вам уже сказал, я видел ее сегодня утром; ее не предупредили, что принцес-

са Юлиана добровольно слагает с себя в ее пользу сан аббатисы; итак, завтра, в день ее пострига, — наша дочь будет избрана настоятельницей, так как у всех благородных девиц обители единодушное мнение: присвоить ей этот почетный сан[177].

Все в один голос говорят, что, став послушницей, она поражала всех своей набожностью, кротостью, святой точностью исполнения правил своего монашеского ордена, суровость которых она, к сожалению, еще усиливала. В монастыре уже чувствуется ее влияние, как и везде, где она присутствует. Она не придает этому значения и даже не знает об этом, что еще более возвеличивает ее авторитет... Сегодняшняя встреча только подтвердила мои подозрения: она не нашла здесь, в одиночестве монастыря, в суровой жизни обители покой и утешение... Однако она рада, что возложила на себя обет, кото-

[177] Notes: 177

Были случаи, когда монахиню возвели в сан аббатисы в день ее пострига, см: «Жизнь высокочтимой и набожной монахини принцессы Шарлотты Фландрской фон Нассау, высокочтимой аббатисы в королевском монастыре св. Креста, ставшей настоятельницей в восемнадцатилетнем возрасте»

рый считает необходимым исполнением повелительного долга; но она постоянно страдает, так как создана не для мистического созерцания, предаваясь которому иные, забывая все свои привязанности, все земные радости, впадают в аскетический восторг.

Нет, Мария безутешна, хотя она молится, соблюдает суровые правила ордена, утешает бедных больных женщин, находящихся на излечении в больнице монастыря, не останавливается перед самыми смиренными заботами о них. Она даже отказалась от помощи послушницы, которая должна убирать печальную, холодную и пустую келью, где, как вы помните, мы со скорбью заметили высохшие веточки ее кустика розы, подвешенные под распятием Христа. Она, наконец, любимый пример, благотворимая душа монастыря... Но она сама мне призналась сегодня утром, горько сожалея об этой слабости, что не столь уж усердно предана труду и исполнению суровых правил монастырской жизни, чтоб у нее постоянно не возникало воспоминание о

невзгодах минувших лет... и о том, как бы могла теперь сложиться ее жизнь.

«Я обвиняю себя, отец, — сказала она выражавшим покорность судьбе спокойным и нежным голосом, который вам знаком, — да, я обвиняю себя, но невольно думаю, что раз бог пожелал избавить меня от полного падения, которое окончательно обесчестило бы мою будущую жизнь, то я могла бы жить невдалеке от вас, любимая избранным вами супругом. И я невольно делю свою жизнь между горькими сожалениями и кошмарными воспоминаниями о Сите. Напрасно я молю бога избавить меня от этих наваждений, наполнить мое сердце благоговением к нему, святым упованием... захватить меня всю... так я хочу всецело отдать себя ему... Он не внимает моей мольбе... конечно, потому, что мои земные заботы недостойны общения с ним».

«Тогда, — воскликнул я, охваченный безумной надеждой, — еще не поздно, сегодня твое послушничество кончается, и лишь завтра состоится торжественное

произнесение обета, ты еще свободна, откажись от столь тяжелой и суровой жизни, которая не приносит тебе ожидаемого облегчения; ты страдаешь во имя страдания, возвратись страдать к нам, наша нежность облегчит твои муки».

С грустью покачав головой, она ответила мне с неумолимой рассудительностью, которая так часто поражала нас в ней:

«Конечно же, дорогой отец, одиночество вызывает во мне глубокую тоску, ведь я так привыкла каждый миг чувствовать вашу ласку. Меня постоянно преследуют горькие упреки, душераздирающие воспоминания, но, по крайней мере, у меня спокойна совесть, я исполнила свой долг... но я понимаю, что где бы я ни находилась, за исключением монастыря, повсюду буду чувствовать себя не на своем месте, опять окажусь в ложном положении, от которого я так страдала... и за себя... и за вас... ведь у меня тоже есть гордость. Ваша дочь станет такой, какой она должна быть... сделает то, что она должна сделать, переживет все, что должна пережить... Если зав-

тра все узнают, из какой грязи вы меня извлекли... быть может, видя меня раскаявшейся у подножия креста, простят мое прошлое за то, что я так смирилась теперь, и если меня увидят в вашем обществе, то я уже не буду блистать среди вашего пышного двора, как это было несколько месяцев тому назад, дорогой отец. К тому же выполнять справедливые и строгие требования света — это в духе моей натуры; вот почему я от всего сердца благодарю бога, зная, что только он мог предоставить вашей дочери убежище и создать ей достойное ее и вас положение... словом, такое положение, которое не было бы ужасным контрастом с моим падением в прошлом... и могло бы заслужить то уважение, на которое я имею право... уважение к искреннему раскаянью и смирению».

Увы! Клеманс... что я мог ей ответить?

Роковое стечение обстоятельств! Роковое! Потому что эта несчастная дочь видит с неумолимой логикой все, что касается тонкостей чести и благородства. Обладая таким разумом и душой, она не

поддастся увещаниям, не будет смягчать, изменять ложное положение, а примет его неодолимые последствия.

Как всегда, я покинул ее с разбитым сердцем.

Не возлагая малейшей надежды на эту последнюю перед постригом встречу, я подумал: «Еще сегодня она может отказаться от ухода в монастырь». Но, вы видите, мой друг, ее воля неумолима, и я должен, увы, согласиться с ней и повторить ее слова:

«Один лишь бог может предоставить ей убежище и положение, достойное ее и меня».

Повторяю, ее решение исключительно разумно, с точки зрения общества, в котором мы живем. При столь тонкой восприимчивости, свойственной Марии, у нее не было другого выхода. Но я часто признавался вам, мой друг, если бы священный долг, более священный, нежели долг перед своей семьей, не удерживал бы меня среди народа, который меня любит и для которого я в известной мере заменяю провидение, то я уехал бы вместе с

вами, дочерью, Генрихом, Мэрфом, и мы бы счастливо жили далеко от света в каком-нибудь безвестном убежище. Тогда, вдали от неумолимых законов общества, не способного излечить им самим же нанесенные раны, мы сумели бы заставить несчастное дитя стать счастливой и забыть прошлое. В то время как здесь, среди славы, блеска парадных приемов, пусть мы даже ограничим их пышность, это было невозможно... Судьба... судьба! Я не могу отречься от престола, рискуя благоденствием подданных, преданных мне... Мужественные и достойные люди! Пусть они никогда даже не узнают, какой ценой я плачу за их верность!..

Прощайте, моя нежно любимая Клеманс. Для меня было утешительно видеть вас столь же огорченной, как и я, судьбой моей дочери, это наше общее горе, и в моем страдании я не вижу никакого эгоизма.

Порою я с ужасом думаю о том, что бы я делал без вас в столь тягостных обстоятельствах... Часто эта мысль приводит меня к очевидности, что судьба Марии

еще горше. Ведь со мной останетесь вы... А кто останется с ней?

Прощайте, шлю вам печальный поклон, благородный друг, добрый ангел в эти тяжелые дни. Скорее возвращайтесь, ведь разлука для вас столь же тягостна, как и для меня...

Вам — и жизнь моя и любовь,
душой и сердцем ваш Р.

Посылаю это письмо с курьером, и, если не помешают непредвиденные обстоятельства, завтра напишу другое после печальной церемонии. Лучшие пожелания вашему отцу, надеюсь, что он скоро совсем поправится. Забыл сообщить вам новость о бедном Генрихе. Его состояние улучшается и уже не вызывает большой тревоги. Его благородный отец, сам больной, нашел в себе силы, чтобы ухаживать за ним, бодрствовать у его постели — чудо отцовской любви, которое нас не удивляет.

Итак, до завтра... Для меня наступит роковой, зловещий день.

Р.»

«Аббатство св. Германгильды, четыре часа утра.

Не беспокойтесь, Клеманс, хотя время, когда я пишу это письмо, и место, где нахожусь, могут вас напугать.

Слава богу, опасность миновала, хотя приступ был угрожающий...

Вчера, после того как я написал вам письмо, движимый каким-то мрачным чувством, вспоминая бледное, измученное лицо моей дочери, слабость, которую она ощущала в последнее время, подумав, наконец, о том, что она должна стоять на молитве почти всю ночь, предшествующую постригу, в холодной большой церкви, я отправил Мэрфа и Давида в аббатство принцессы Юлианы, с тем чтобы она разрешила им ночевать в находящемся за оградой обители особняке, который обычно занимал Генрих. Так что моя дочь смогла бы получить немедленную помощь, и я знал бы об этом, если

бы у нее не хватило сил выдержать эту тяжелую... я не хотел бы сказать, жестокую повинность молиться в январе всю ночь на лютой стуже. Я также написал Марии, чтобы она, строго исполняя религиозные обязанности, подумала о своем здоровье, и совершила ночную молитву у себя в келье, а не в церкви. Вот что она мне ответила:

«Дорогой отец, от всего сердца благодарю вас за новое доказательство вашей нежной преданности. Не беспокойтесь; я убеждена, что в силах исполнить свой долг. Ваша дочь, милый отец, не проявит ни страха, ни слабости. Таков устав, и я должна ему подчиниться. И если за этим последует физическое страдание, я охотно принесу его в дар богу. Надеюсь, вы одобрите мое поведение, вы, который всегда были так строги к себе и верны долгу. Прощайте, дорогой отец, не скажу, что я буду молиться за вас. Обращаясь к богу, я всегда обращаюсь и к вам, ибо вы олицетворяете для меня божество, к которому я взываю. Вы были для меня на земле тем же, кем бог, если я заслужу это,

станет для меня в небесах.

Сегодня вечером удостойте мысленно благословить вашу дочь, дорогой отец. Завтра она станет невестой Христа. Она с благоговением целует вашу руку.

Сестра Амелия».

Обливаясь слезами, читал я это письмо, однако оно меня немного успокоило. Я тоже должен был бодрствовать в эту мрачную ночь.

Когда она наступила, я заперся в павильоне, который приказал построить подле памятника моему отцу, сооруженного в искупление событий той роковой ночи...

Около часа я услышал голос Мэрфа; я задрожал от ужаса. Он поспешно вернулся из монастыря.

Что сказать вам, мой друг? Как я и предвидел, несчастное дитя, несмотря на свое мужество и силу воли, не выдержало полностью этот варварский ритуал, от которого принцесса Юлиана не смогла освободить ее, так как существует категорическое предписание его исполнять.

В восемь часов вечера Лилия-Мария преклонила колени на каменном полу церкви. До полуночи она молилась. К этому времени, изнемогая от слабости, ужасного холода и волнения, тихо плача, она потеряла сознание. Две монахини, разделявшие ее бдение по распоряжению принцессы Юлианы, подняли и отнесли ее в келью.

К ней тотчас вызвали Давида. Мэрф в карете прибыл за мной. Я помчался в монастырь, где меня приняла принцесса Юлиана. Она сообщила, что Давид боится, чтобы мое появление не вызвало слишком сильного волнения у дочери, что она очнулась от своего обморока, который не представляет собой ничего угрожающего и был вызван только ее слабостью.

Вначале у меня возникла страшная мысль. Я подумал, что от меня хотят скрыть ужасное несчастье, или, по крайней мере, подготовить к нему, но настоятельница сказала мне:

«Я подтверждаю, монсеньор, принцесса Амелия вне опасности; легкое сердечное лекарство, которое дал ей доктор Давид,

— подкрепило ее силы».

Я не мог сомневаться в том, что утверждала аббатиса; я поверил ей и ожидал известий с мучительным нетерпением.

После нескольких минут тревоги и тоски пришел Давид. По милости бога ей стало лучше, и она решила продолжать молитву в церкви, согласившись только подложить подушку под колени. И когда я возмутился против того, что настоятельница и он уступили желанию дочери, и заявил, что я официально воспротивлюсь этому, то доктор ответил, что было бы опасно противоречить воле моей дочери в тот момент, когда нервы её предельно напряжены, и к тому же условились с принцессой Юлианой, что дочь покинет церковь в часы всенощной, чтобы отдохнуть перед церемонией и подготовиться к ней.

— Значит, она сейчас в церкви? — спросил я.

— Да, монсеньор, но через полчаса она уйдет оттуда.

Тотчас я просил сопроводить меня на хоры северной стороны, откуда откры-

вался вид на величественный неф. Там, во мраке просторной церкви, освещенной мерцающим светом алтаря, она стояла на коленях подле решетки и, сложив руки, горячо молилась.

Я тоже стал на колени, созерцая свою дочь.

Пробило три часа; две монахини, сидевшие на скамьях и смотревшие на Марию, подошли к ней и тихо что-то сказали. Вскоре она перекрестилась, поднялась и твердым шагом пересекла неф церкви; однако, дорогой друг, когда она проходила мимо светильника, ее лицо показалось мне столь же бледным, как и покрывавшее ее длинное покрывало.

Я сразу же сошел с хоров и сначала хотел подойти к ней,. но побоялся причинить ей новые волнения, нарушить ее покой и лишить отдыха. Тогда я отправил Давида узнать, как она себя чувствует; вернувшись, он сообщил, что ей лучше и она хочет немного отдохнуть.

Я остаюсь в аббатстве, чтобы присутствовать на церемонии посвящения в монахини, которая состоится сегодня

утром.

Полагаю, друг мой, что не стоит отправлять вам незаконченное письмо; допишу его завтра и расскажу о событиях печального дня.

До скорого свидания, я подавлен горем, пожалейте меня!»

13 января

Глава последняя.
РОДОЛЬФ К КЛЕМАНС

13 января... Дважды роковая годовщина!!!

Друг мой... мы потеряли ее навсегда!!!

Все кончено, все!

Слушайте этот рассказ.

Правда, что можно испытывать болезненное сладострастие, излагая глубочайшую-скорбь.

Вчера я жаловался на судьбу за то, что вы далеко от меня... Сейчас, Клеманс, я доволен, что вас здесь нет: вы глубоко страдали бы...

Утром я слегка дремал, как вдруг меня разбудил звон колоколов... я задрожал... мне представилось что-то мрачное... звон был похож на похоронный.

В самом деле... моя дочь умерла для нас... умерла, понимаете ли вы это? Отныне, Клеманс... вы должны носить траур в своем сердце, которое было для нее материнским.

Будет ли наша дочь погребена под мрамором могилы или под сводами монастыря... для нас... это безразлично.

Отныне, Клеманс, надо считать ее умершей... К тому же... она столь хрупкое существо... ее здоровье, надорванное такими горестями и потрясениями, такое слабое... Почему же не наступила настоящая смерть? Или злой рок еще не утомился?..

К тому же... из вчерашнего моего письма вы должны были понять, что другая, настоящая смерть была бы для нее легче...

Умерла... Не находите ли вы, что это слово звучит странно, когда оно относится к обожаемой дочери... прелестной девушке ангельской доброты. Ей едва минуло восемнадцать лет... прежде чем она погибла для света... По сути дела, для нас и для нее зачем губить душу под мрачными сводами монастыря? В самом деле, зачем ей жить, если для нас она потеряна навечно? Она, должно быть, страстно любила жизнь... которою злой рок наделил ее!..

В полдень в торжественной обстановке

состоялось ее пострижение в монахини.

Я присутствовал при этом, скрытый за портьерами нашей ложи.

Я испытываю мучительное волнение, более тяжкое, нежели когда мы узнали о ее желании стать послушницей... Странное явление! Ее обожают, считают, что она должна вести жизнь затворницы в силу неодолимого призвания, что уход в монастырь для нее счастливое событие, а в толпе, наоборот, царила удручающая грусть.

В глубине церкви, среди публики... я увидел двух унтер-офицеров гвардейского полка, двух старых суровых солдат; поникнув головой, они плакали...

Казалось, что возникла обстановка скорбного предчувствия, если это так, то самое страшное еще впереди.

Когда постриг был совершен, нашу дочь увели в зал капитула, где должно было состояться избрание новой аббатисы. Пользуясь положением монарха, — я направился в этот зал и стал ждать прихода Марии из церкви.

Вскоре она вошла... Она так сильно

волновалась и была столь слаба, что две монахини вели ее под руки...

Я был поражен не столько бледностью черт ее лица, сколько улыбкой... она выражала какое-то мрачное торжество...

Клеманс, говорю вам... быть может, вскоре нам предстоит обрести мужество... мы должны собраться с духом... Я чувствую, так сказать, интуитивно, что наша дочь поражена смертельно...

В конце концов, ее жизнь была бы так несчастна...

Я вновь повторяю, что если бы моя дочь умерла... то смерть положила бы конец ее скорби... Эта мысль возникла как ужасный призрак... Но если такое несчастье должно нас постигнуть, тогда нам следует к нему подготовиться; не правда ли, Клеманс? Подготовить себя... Это значит постепенно, заранее ощущать мучительную тревогу... анализировать во всех их тонкостях неслыханные страдания. Это ужаснее, чем внезапный удар... Тут, по крайней мере, оцепенение, упадок духа избавляют вас в какой-то мере от душевных терзаний....

Хотя она выглядела довольно спокойно, когда я покинул ее час тому назад, чтобы закончить это письмо, повторяю, Клеманс, внешний вид ее обманчив, она глубоко страдает...

Но сочувствие требует, чтобы вас подготовили... Наверное, мой бедный друг, я и сам поступил бы так же, если бы мне пришлось сообщить вам печальное событие, о котором я говорю. Поэтому пусть это вас не удивляет, если вы заметите, что я упоминаю о ней... с осторожностью, с увертками отчаявшейся грусти, после того как я сам сообщил вам о том, что ее здоровье не внушает серьезных опасений.

Да, испугайтесь, если я буду говорить с вами так, как сейчас вам пишу... потому что час тому назад, когда я оставил ее, чтобы пойти закончить это письмо, она была довольно спокойна, но, повторяю вам, Клеманс, я в глубине души чувствую, что она страдает больше, чем это кажется внешне... Дай бог, чтобы я ошибался и принимал за предчувствие безнадежную грусть, внушенную мне этой мрачной

церемонией.

Итак, Лилия-Мария вошла в большой зал капитула.

Монахини постепенно заняли все скамьи.

Она скромно уселась на последнее место левого ряда, опираясь на руку одной из сестер, так как все еще была очень слабой.

На возвышении зала сидела принцесса Юлиана, держа в руке золотой посох, символ власти аббатисы, по одну ее сторону — настоятельница, по другую — казначейша.

Наступила глубокая тишина, принцесса встала с посохом в руке и заговорила торжественным и взволнованным голосом:

«Дорогие мои дочери, преклонный возраст обязывает меня вручить в более молодые руки этот символ духовной власти. — И она указала на свой посох. — Я получила послание нашего святейшего отца, разрешающее мне представить на благословение архиепископу Оппенгейскому и на утверждение великого

герцога, нашего правителя, ту из вас, дорогие дочери, которую вы выберете в качестве моей преемницы. Наша настоятельница объявит вам о результатах выборов, и той, которая будет избрана, я вручу мой посох и перстень».

Я не сводил глаз с дочери.

Скрестив руки на груди, опустив глаза, в черной мантии с доходящими до полу складками, наполовину скрытая белым покрывалом, она стояла возле своей скамьи в неподвижной задумчивости. Она ни на мгновение не могла предположить, что ее могут избрать; аббатиса мне сообщила о предстоящем ей возвышении.

Настоятельница взяла бумагу и начала читать:

«Согласно уставу, неделю тому назад каждая из наших дорогих сестер получила приглашение избрать преемницу аббатисы и, сообщив свой выбор одной лишь нашей святейшей матери, держать в тайне имя избранницы до настоящего момента. От имени святейшей матери я объявляю, что одна из вас, дорогие мои сестры, своей образцовой набожностью и

ангельскими добродетелями заслужила единодушное избрание общиной; это наша сестра Амелия, в миру ее высочество принцесса Герольштейнская».

При этих словах в зале послышался шепот, выражавший удивление и радость. Взгляды всех монахинь с нежной симпатией обратились к моей дочери. Вопреки своему подавленному состоянию я сам был глубоко взволнован этим выбором, который, несмотря на тайное выражение воли каждой монахини, оказался так трогательно единодушным.

Лилия-Мария от изумления еще сильнее побледнела, колени ее так дрожали, что она вынуждена была опереться на ограду, окружавшую наши скамьи.

Аббатиса произнесла громко и торжественно:

— Мои дорогие дочери, вы убеждены, что сестра Амелия является наиболее достойной среди вас? Признаете ли вы именно ее вашей духовной наставницей? Пусть каждая из вас поочередно ответит на мой вопрос.

И каждая монахиня громко отвечала:

— Свободно, по своей воле я избрала и избираю сестру Амелию своей святейшей матерью и настоятельницей.

Охваченная невыразимым волнением, моя бедная дочь опустилась на колени, сложила руки и оставалась в такое положении, пока не был завершен ритуал избрания.

Вслед за тем принцесса Юлиана, передав посох и перстень настоятельнице, подошла к моей дочери, чтобы взять ее за руку и отвести к креслу аббатисы.

Мой друг, мой нежный друг, я прервал это письмо, должен собраться с силами, чтобы рассказать вам душераздирающую сцену...

— Поднимитесь, дорогая дочь, — сказала ей аббатиса, — займите место, принадлежащее вам. Вы заслужили его за вашу ангельскую добродетель, а не за высокий титул.

Произнося эти слова, уважаемая принцесса склонилась к моей дочери, чтобы помочь ей подняться.

Лилия-Мария сделала несколько шагов, дрожа от волнения, затем, выйдя на

середину зала, остановилась и с поразившими меня спокойствием и твердостью заговорила:

— Простите меня, святейшая мать... я желала бы обратиться к моим сестрам.

— Поднимитесь вначале на ваше кресло аббатисы, — сказала принцесса, — они должны оттуда услышать ваше обращение.

— Это кресло, святейшая мать... не может быть моим, — ответила Лилия-Мария громким дрожащим голосом.

— Что вы говорите, дорогая дочь?

— Столь высокая честь не предназначена для меня, святейшая мать.

— Но вас призывает к этому единодушное желание всех ваших сестер.

— Позвольте мне здесь, стоя на коленях, произнести торжественное признание; тогда и мои сестры, и вы, святейшая мать, поймете, что я едва ли достойна даже самого скромного места.

— Ваша скромность вводит вас в заблуждение, дорогая дочь, — добродушно заметила настоятельница, в самом деле полагая, что несчастное дитя уступает

чувству преувеличенной скромности.

Но я догадался, в чем будет исповедоваться Лилия-Мария. Охваченный ужасом, я закричал умоляющим голосом:

— Дорогое дитя... заклинаю тебя...

При этих словах... рассказать вам то, что я увидел в обращенном ко мне взгляде дочери, невозможно... Одним словом, к как вам станет ясно, она поняла меня. Да, она поняла, что и я должен разделить позор ее ужасного признания... Она поняла, что после этой исповеди могут и меня обвинить во лжи... потому что я должен был заверять всех, что Мария никогда не расставалась со своей матерью.

При этой мысли бедное дитя осознало, что платит мне черной неблагодарностью... У нее не хватило сил продолжать, она замолчала, удрученно склонив голову:

— Повторяю, дорогая дочь, — заметила аббатиса, — ваша скромность вводит вас в заблуждение... единодушие сестер, избравших вас, доказывает, что вы достойны заменить меня... Как раз потому, что вы познали радости жизни, ваш уход

в монастырь особенно заслуживает похвалы... Нами избрана сестра Амелия, а не ее высочество принцесса Амелия... Для нас ваша жизнь начинается с того момента, когда вы вступили в обитель господню... и за эту примерную святую жизнь мы вас вознаграждаем... Более того, дорогая дочь, если бы, прежде чем вы вошли в нашу обитель, ваша жизнь была бы столь же легкомысленной, сколь она чиста и похвальна здесь... то ваши евангельские добродетели, проявленные здесь с момента вступления в монастырь, искупили бы в глазах господа самые тяжкие грехи прошлого... Внимая этому, дорогая дочь, судите сами, должна ли успокоиться ваша скромность.

Эти слова аббатисы, как вы понимаете, были для Лилии-Марии особенно впечатляющими, так как она считала свой былой позор неизгладимым. К несчастью, эта сцена глубоко ее взволновала, и, хотя внешне она, казалось, обрела спокойствие и твердость духа, я видел, что черты ее лица совсем исказились... В смущении, слабой рукой она вытерла пот со лба.

— Надеюсь, что я вас убедила, дочь моя, — продолжала принцесса Юлиана, — и вы не пожелаете доставлять сестрам глубокое огорчение, пренебрегая их доверием и преданностью вам.

— Нет, святейшая мать, — сказала она слабеющим голосом, с выражением, поразившим меня. — Я думаю, что теперь имею право согласиться... Но так как я очень устала и чувствую, что заболела, вы разрешите, святейшая мать, перенести на несколько дней церемонию возведения меня в сан.

— Будет так, как вы пожелаете, дорогая дочь, но, до того как ваш сан будет благословлен и утвержден... примите этот перстень... Займите свое место... Наши дорогие сестры, по установленному обычаю, воздадут вам почести.

И настоятельница, надев кольцо на палец Лилии-Марии, подвела ее к креслу аббатисы.

Это было простое и трогательное зрелище.

Подле кресла, где она сидела, находились с одной стороны настоятельница,

державшая золотой посох, с другой — принцесса Юлиана. Каждая монахиня, преклонив перед Лилией-Марией колени, целовала нашей дочери руку. Я наблюдал, как она все сильнее волновалась, лицо ее исказилось, она не в силах была перенести эту сцену... и лишилась чувств, когда процессия монахинь еще не закончилась. Судите сами о моем состоянии!.. Мы перенесли ее в апартаменты аббатисы...

Давид еще находился в монастыре. Он прибежал, оказал ей первую помощь. Быть может, он обманывал меня! Но он утверждал, что новый приступ возник в результате крайней слабости, вызванной постом, усталостью и бессонными ночами; все это моя дочь заставляла себя переносить в период своего тяжелого и долгого послушничества...

Я поверил ему, потому что когда она пришла в себя, то ангельские черты ее лица, хотя и бледного, не выражали никаких страданий... Я даже был поражен светом, сияющим на ее благородном челе. Эта душевная умиротворенность

вновь меня напугала: мне показалось, что моя дочь таит надежду на скорое избавление... Аббатиса возвратилась в зал капитула, -чтобы закрыть заседание и отпустить монахинь; я остался наедине с дочерью.

Не сводя с меня глаз, помолчав немного, она сказала:

— Дорогой отец, сможете ли вы простить мне мою неблагодарность? Сможете вы забыть, что, когда я хотела начать эту ужасную исповедь, вы просили меня пощадить вас?

— Замолчи, умоляю тебя.

— Я не подумала, — с горечью продолжала она, — что рассказывать всем о том, из какого омута разврата вы меня извлекли... это значило бы открыть тайну, которую вы хранили, питая ко мне нежную привязанность... Это значило бы публично опозорить вас, отец, обвинить в обмане, на который вы пошли только для того, чтобы обеспечить мне блестящее, почетное положение... О, сможете ли вы простить меня?

Вместо ответа я прикоснулся губами к

ее лбу, и она почувствовала мои слезы.

Несколько раз поцеловав мне руки, она сказала:

— Теперь я чувствую себя лучше, дорогой отец... теперь, когда я умерла для света, как сказано у нас в уставе... я хотела бы сделать распоряжение в пользу некоторых лиц... но то, что принадлежит мне, все это ваше... вы разрешите мне это сделать, дорогой отец?..

— Неужели ты сомневалась?.. Но, умоляю тебя, — сказал я, — не предавайся таким мрачным мыслям... Потом ты займешься своим завещанием, времени у тебя хватит...

— Конечно, милый отец, мне предстоит еще долгая жизнь...

Эти слова она произнесла таким тоном, что, не знаю, почему, меня опять бросило в дрожь.

Я еще внимательнее посмотрел на нее; лицо ее не изменилось, и я успокоился.

— Да, время у меня еще будет, но отныне я не должна заниматься земными делами... ведь сегодня я отреклась от всего, что связывало меня с миром. Прошу

вас, не откажите мне...

— Приказывай... я исполню все, что ты пожелаешь...

— Я хотела бы, чтоб моя нежная мать всегда хранила в маленькой гостиной, где она обычно проводит время, пяльцы... с начатой мною вышивкой.

— Твое желание будет исполнено, дитя мое. Твои покои остаются в полной сохранности, после того... как ты покинула дворец, так как все, что тебе принадлежало, для нас предметы религиозного культа... Клеманс будет глубоко тронута, узнав о твоем желании.

— А вы, дорогой отец, прошу вас, возьмите мое большое кресло черного дерева, сидя в котором я так долго думала, о многом мечтала...

— Оно будет поставлено рядом с моим в рабочем кабинете, и я буду каждый день воображать, что ты здесь, подле меня, как это часто бывало, — сказал я, заливаясь слезами.

— Теперь я хотела бы также оставить память о себе среди тех, кто был мне предан во времена моих скитаний. Госпоже

Жорж я желала бы оставить чернильницу, служившую мне до последнего времени. Этот дар имеет свой смысл, ведь она первая, кто учил меня писать на ферме. Что касается досточтимого кюре Букеваля, обратившего меня в нашу веру, то ему я оставляю прекрасное распятие из моей молельни...

— Хорошо, дорогое дитя...

— Я желала бы также отправить моей Хохотушке жемчужную повязку; эта скромная вещь, и она могла бы носить ее на своих прекрасных черных волосах... И, если возможно, ведь вы знаете алжирский адрес Марсиаля и Волчицы, я хотела бы, чтоб эта мужественная женщина, которая спасла мне жизнь, получила бы золотой с эмалью крест... Все эти сувениры, дорогой отец, должны быть вручены от имени Лилии-Марии.

— Я исполню твою волю... Ты никого не забыла?..

— Думаю, что нет.

— Подумай... среди тех, кто тебя любил; нет ли какого-нибудь очень несчастного человека... который страдает так же, как

твоя мать и я... кто столь же тяжело, как мы, переживает твой уход в монастырь?

Бедная дочь поняла меня, она пожала мне руку, легкий румянец на мгновенье покрыл ее бледное лицо.

Предчувствуя вопрос, который она, вероятно, боялась мне задать, я сказал:

— Он выздоравливает... опасность миновала.

— А его отец?

— Состояние его улучшилось после того, как стал поправляться его сын. Он также чувствует себя хорошо... А что оставишь ты Генриху? Твой сувенир будет для него дорогим и вечным утешением!..

— Отец... подарите ему мой аналой для молитвы... Увы; я много раз орошала его слезами, взывая к богу помочь мне забыть Генриха, любви которого я была недостойна...

— Как он будет счастлив, когда узнает-, что ты вспомнила о нем!

— Что касается приюта для сирот и покинутых родителями девушек, я желала бы, дорогой отец, чтобы...»

На этом месте письмо Родольфа было прервано, и далее следуют едва различимые слова:

«Клеманс... Мэрф закончит это письмо; я ничего не соображаю, схожу с ума... Ах, 13 января!!!»

Окончание письма было написано рукой Мэрфа:

«Сударыня!

По повелению его высочества заканчиваю этот печальный рассказ. Два письма монсеньора должны были подготовить ваше высочество к печальному известию, которое я принужден сообщить.

Три часа тому назад монсеньор начал писать письмо вашему высочеству; я ожидал в соседней комнате, чтобы отправить его с курьером. Вдруг вошла растерянная принцесса Юлиана.

— Где его высочество? — с тревогой спросила она.

— Принцесса, монсеньор пишет письмо великой герцогине, в котором извещает ее о том, что здесь происходит.

— Сэр Вальтер, нужно сообщить монсе-

ньору об ужасном событии. Вы его друг... благоволите его уведомить. От вас ему будет легче выслушать эту страшную весть...

Я все понял и решил с предосторожностями оповестить его высочество об этом роковом событии... Принцесса предупредила, что Амелия медленно угасает и что монсеньор должен поторопиться, чтобы застать ее в живых, поэтому у меня не было времени для длительных разговоров. Я вошел в гостиную. Его высочество сразу заметил мою бледность.

— Ты пришел известить меня о несчастье!..

— О неизбежном несчастье, монсеньор... Мужайтесь!..

— О, я предчувствовал!.. — воскликнул он и, не говоря ни слова, бросился в монастырь. Я последовал за ним.

Из кабинета настоятельницы принцесса Амелия была перенесена — в ее келью, после того как она в последний раз виделась с монсеньором. При ней находилась одна из монахинь; через некоторое время она заметила, что голос Амелии слабеет

и дыхание становится все более прерывистым. Сестра поспешила предупредить аббатису. Был вызван доктор Давид; он полагал восстановить упадок сил, применив сердечное лекарство, но напрасно; пульс был едва ощутимый. Доктор с отчаяньем признал, что непрерывные волнения, быть может, окончательно подорвали слабое здоровье Амелии, и нет никакой надежды на ее спасение.

В это время прибыл герцог; принцесса приняла соборование, сознание ее не совеем померкло; руки ее были сложены на груди, и она держала поблекшую веточку своего розового куста.

Монсеньор упал на колени возле ее изголовья и зарыдал.

— Моя дочь, мое дорогое дитя!.. — воскликнул он душераздирающим голосом.

Принцесса услышала его, слегка повернула к нему голову, открыла глаза... попыталась улыбнуться и тихо произнесла:

— Дорогой отец... прости... Генрих... моя милая мать... простите...

Это были ее последние слова.

После спокойной, если можно так сказать, агонии, длившейся около часа, она отдала богу душу.

Когда она испустила последний вздох, герцог безмолвствовал... В его безмолвии таилось отчаяние. Закрыв усопшей глаза, он несколько раз поцеловал её, осторожно взял из рук розу и вышел из кельи.

Я последовал за ним; он возвратился в служебный особняк монастыря и показал мне письмо, которое начал писать вам; он хотел сообщить еще несколько слов, но не смог этого сделать, потому что рука его дрожала; тогда он сказал мне:

— Не могу... я бессилен... потерял голову! Напиши герцогине, что отныне у меня нет дочери!

Я исполнил просьбу монсеньора.

Да будет мне разрешено как его старому слуге, умолять ваше высочество ускорить приезд... насколько это позволит здоровье графа д'Орбиньи. Только ваше присутствие может успокоить отчаянье монсеньора... Он хочет проводить все ночи подле дочери, пока она не будет погребена в герцогском приделе.

Я исполнил свою печальную обязанность, сударыня, простите за бессвязность письма и примите уверения в моей почтительной преданности. Имею честь быть покорным слугой вашего высочества.

Вальтер Мэрф».

Накануне похорон принцессы Амелии Клеманс приехала вместе с отцом в Герольштейн. Родольф был не один в день погребения Лилии-Марии.